

БОЛЬШИЕ  КНИГИ

ROALD DAHL

Роальд
Даль

ДОРОГА
В РАЙ

« ИНОСТРАНКА »



БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Роальд Даль

ДОРОГА
В РАЙ



*Полное собрание
рассказов*

Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
Д 15

Roald Dahl
OVER TO YOU:
Ten Stories of Flyers and Flying
Copyright © Roald Dahl Nominee Ltd, 1946
SOMEONE LIKE YOU
Copyright © Roald Dahl Nominee Ltd, 1953
KISS KISS
Copyright © Roald Dahl Nominee Ltd, 1960
SWITCH BITCH
Copyright © Roald Dahl Nominee Ltd, 1974
THE UMBRELLA MAN
MR BOTIBOL
VENGEANCE IS MINE INC.
THE BUTLER
AH, SWEET MYSTERY OF LIFE
THE BOOKSELLER
THE HITCHHIKER
THE SURGEON
Copyright © Roald Dahl Nominee Ltd, 1979
All rights reserved

Перевод с английского
Игоря Богданова, Михаила Пчелинцева

Оформление обложки Ильи Кучмы

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-12381-6

© И. Богданов (наследник), перевод, 2017
© М. Пчелинцев (наследники), перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство Иностранка®

**ПЕРЕХОЖУ
НА ПРИЕМ**



СМЕРТЬ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА

О господи, как мне страшно.

Но теперь я один и не буду это скрывать. Мне вообще больше ничего не нужно скрывать. Теперь я могу дать волю чувствам, потому что меня никто не видит, потому что между мною и ними двадцать одна тысяча футов. И еще потому, что больше я не могу притворяться, даже если бы и захотел. Мне теперь не нужно стискивать зубы и поджимать подбородок, как я это сделал во время обеда, когда капрал принес приказ и отдал его Жестящику, а Жестящик посмотрел на меня и сказал: «Твоя очередь, Чарли. Ты следующий». Будто я этого не знал. Будто не знал, что следующим полечу я. Будто я не знал об этом накануне, когда отправился спать. Да я знал об этом и в полночь, когда не мог заснуть, и помнил об этом всю ночь напролет, помнил и в час ночи, и в два, и в три, и в четыре, и в пять, и в шесть, и в семь часов утра, когда встал с кровати. Будто я этого не знал, когда одевался, завтракал и просматривал журналы в столовой, играл там в орел и решку и бильярд и читал объявления на доске. Я и тогда это знал и помнил об этом, когда мы шли обедать и когда ели баранину на обед. А когда капрал принес приказ, то я счел, что так и должно быть. Стоит ли удивляться, что начинается дождь после того, как налетит туча? Когда капрал вручил приказ Жестящику, я знал, что Жестящик скажет, прежде чем тот открыл рот. Я точно знал, что он скажет.

Так что чему тут удивляться.

Но когда он сложил приказ, сунул его в карман и сказал: «Доедай свой пудинг. У тебя еще куча времени», — вот тогда мне сделалось не по себе, потому что я понял, что скоро все начнется сначала, через полчаса буду застегиваться на все ремни, проверять двигатель и подам знак технику убрать колодки. Все остальные доедали пудинги; мой же лежал нетронутым на тарелке; я и прикоснуться к нему не мог. Но мне полегчало, когда я поджал подбородок и сказал: «Ну наконец-то. Давно надоело сидеть тут и ковы-

рять в носу». Мне точно полегчало, когда я это сказал. Наверное, и другие говорят то же самое перед вылетом. А когда я встал из-за стола и сказал: «Увидимся за чаем», то и это, думаю, прозвучало нормально.

Но теперь мне уже не нужно делать ничего такого. Слава богу, ничего подобного делать уже не нужно. Теперь можно расслабиться. Теперь я могу делать все, что захочу. Главное — правильно вести самолет. Раньше такого не было. Четыре года назад все было прекрасно. Мне нравилось летать, потому что это увлекательно, потому что ожидание на аэродроме можно было сравнить с ожиданием начала футбольного матча или вечеринки с друзьями. Да и три года назад все было нормально. И потом, эти обязательные три месяца отдыха, затем возвращение в строй, отдых, возвращение. Всегда возвращаешься и всегда без последствий, и при этом все говорят, какой ты замечательный летчик, и никто не знает, что с тобой было в тот раз около Брюсселя, и как тебе повезло над Дьепом¹, и какой кошмар творился в другой раз над Дьепом, и как тебе фартило каждую неделю в этом году, и сколько страху ты натерпелся, и сколько раз удача отворачивалась от тебя, — и так во время каждого полета. Никто этого не знает. Все только и говорят: «Чарли — отличный летчик», «Чарли — прирожденный пилот», «Чарли — молодец».

Был когда-то. Но не сейчас.

Теперь с каждым разом ему все хуже. Начинается все с того, что сзади к тебе медленно что-то подкатывается, как бы надвигается, притом бесшумно, а потом будто на тебя что-то давит. Не повернувшись, так и не узнаешь, что это. Если бы можно было обернуться, то, вероятно, это можно было бы и остановить, но всякий раз происходит внезапно. Словно что-то подбирается, становится ближе и ближе. Точно так же кот подкрадывается к воробью, но только то, что приближается к тебе, не прыгает, как прыгнул бы кот, а просто склоняется над тобой и что-то шепчет в ухо. Потом мягко касается твоего плеча и нашептывает тебе, что ты молод, что тебе нужно сделать миллион дел и сказать миллион слов, что если ты не будешь осторожен, то пеняй на себя, раньше или позже тебе все равно придется пенять на себя, и что, когда тебе крупно не повезет, ты превратишься в ничто, в обожженный труп. Тебе будто кто-то на-

¹ Город во Франции. (Здесь и далее примеч. перев.)

шептывает, как будет выглядеть твой труп, когда сгорит, каким он будет черным, исковерканным и покоробившимся, с черным лицом, черными пальцами и босыми ногами, потому что ботинки всегда сползают с ног, когда вот так умираешь. Поначалу нашептывание происходит только по ночам, когда тебе не спится. Потом — в самое неподходящее время днем, когда ты чистишь зубы, или пьешь пиво, или идешь по коридору. А в конце концов ты слышишь все это и днем и ночью.

Вон там Имуйден¹. Такой же, как обычно, с небольшим выступом в море. А вон Фризские острова — Тексель, Влиланд, Тершеллинг, Амеланд, Юйст и Нордерней. Я их все знаю. Они похожи на бактерии под микроскопом. А вон там Зейлер-Зе², вон Голландия, Северное море, там Бельгия и весь мир. Там, внизу, весь этот чертов мир, со всеми его людьми, которых никто не собирается убивать, с его домами, городами и морем, полным рыбы. Рыбу тоже никто не собирается убивать. Убивать собираются только меня. Но я не хочу умирать. О боже, да не хочу я умирать! Сегодня, во всяком случае. И дело не в том, что может быть больно. Вовсе нет. Пусть мне отдавит ногу или обгорит рука — клянусь, я этого не боюсь. Но умирать я не хочу. А ведь четыре года назад я не боялся. Точно помню — четыре года назад мне было не страшно. Да и три года назад тоже. Все было замечательно, просто отлично. Всегда отлично, когда кажется, что проигрываешь, а тогда именно так и казалось. Всегда отлично вести бой, когда кажется, что в любом случае все потеряешь, а четыре года назад так и было. Но теперь то мы побеждаем. А это ведь совсем другое, когда побеждаем. Если я сейчас погибну, то потеряю пятьдесят лет жизни, а это терять я не хочу. Я готов потерять все, что угодно, но только не это, потому что это как раз то, что я хочу сделать, что хочу увидеть, вообще все, включая нас с Джоуи. И я хочу когда-нибудь вернуться домой. И гулять по лесу. И наливать что-нибудь из бутылки. И с нетерпением ждать уик-энда, и чувствовать каждый час, каждый день, каждый год, что я жив, и чтобы это продолжалось пятьдесят лет. Если я сейчас умру, то этого не будет, да и всего остального тоже. Не будет того, чего я не знаю. Мне кажется, что именно это я и боюсь потерять. Думаю, умирать я не хочу потому, что на что-то на-

¹ Порт в Амстердаме.

² Северное море (гол.).

деюсь. Да, пожалуй, так и есть. Уверен, что это так. Наставь револьвер на бродягу, на промокшего трясущегося бродягу, стоящего на обочине дороги, и скажи ему: «Я тебя сейчас убью», — и он ответит сквозь слезы: «Не стреляйте. Прошу вас, не стреляйте». Бродяга цепляется за жизнь потому, что на что-то надеется. И я цепляюсь за нее по этой же причине. Но я уже так давно за нее цепляюсь, что больше не могу. Скоро сдамся. Это все равно что висеть над обрывом, вот что это такое. А я уже давно повис, ухватившись пальцами за выступ скалы, не в силах подтянуться, а пальцы все слабеют и немеют, так что раньше или позже я точно сдамся. Звать на помощь я не стану, это единственное, на что у меня не хватает духу, поэтому и дальше буду висеть над обрывом и скрести ногами о скалу, отчаянно пытаясь нащупать опору. Скала, однако, крутая и гладкая, как борт судна, а опоры все нет и нет. Теперь я стучу по ней ногами, вот чем я занимаюсь. Я стучу ногами по гладкой скале, но опоры-то нет. Скоро придется сдаться. Чем дольше буду висеть, тем больше буду в этом уверен, поэтому с каждым часом, с каждым днем, с каждой ночью, с каждой неделей страх все больше одолевает меня. Четыре года назад я вот так не висел на краю обрыва. Я бегал по плоской вершине, и, хотя и знал, что где-то есть обрыв, с которого можно упасть, мне это никак не мешало. Так было три года назад, а сейчас все по-другому.

Я знаю, что я не трус. Да, я уверен в этом. Я всегда буду делать свое дело. Сегодня, в два часа дня, я лечу курсом сто тридцать пять со скоростью триста шестьдесят миль в час, и полет проходит нормально. И хотя я настолько боюсь, что с трудом шевелю мозгами, я все равно буду и дальше летать. Еще ни разу не вставал вопрос о том, чтобы не лететь или возвращаться назад. Лучше умру, чем поверну назад. Мне никогда и в голову не приходит повернуть назад. Хотя было бы легче, если бы пришло. Я бы скорее предпочел бороться с этим искушением, чем со страхом.

Вон там Вассалт. Несколько замаскированных зданий и большой замаскированный аэродром, на котором, наверное, полно «сто девярых» и «сто девяностых»¹. Голландия выглядит прекрасно. Летом, должно быть, это замечательное место. Думаю, сейчас там внизу заготавливают сено, а немецкие солдаты, надо полагать, смотрят, как голландки заготавливают сено. Мерзавцы. Сначала

¹ Немецкие самолеты «Мессершмитт-109» и «Фокке-Вульф-190».

смотрят, как те заготовливают сено, потом уводят их к себе в дом. Хотел бы я сейчас заготовливать сено. Заготовливать сено и пить сидр.

Летчик сидел в кабине. Его лица не было видно за очками и кислородной маской. Его правая рука свободно лежала на ручке управления, а левая — на рычаге газа. Он то и дело осматривал небо. Его голова по привычке все время вертелась из стороны в сторону — медленно, механически, как у заводной куклы, так что почти каждое мгновение он осматривал какую-либо часть голубого неба: вверх, вниз и вокруг себя. Но пару раз он посмотрел и в сторону солнца, как смотрел в другие стороны, ибо именно там прячется враг, там он тебя поджидает, чтобы броситься на тебя. На небе можно спрятаться только в двух местах. Одно из них — это туча, а другое — солнечный свет.

Он продолжал полет. И хотя мысли его были заняты совсем другим, а мозг был мозгом человека, испытывающего страх, им все-таки владел инстинкт летчика, который находится во вражеском небе. Не прекращая крутить головой, он бросил быстрый взгляд на приборы. На это ушло не больше секунды, но так же, как фотокамера фиксирует множество предметов после открытия затвора, так и он одним взглядом отметил давление масла, количество горючего, обороты двигателя, высоту и скорость, и почти в то же время он снова осматривал небо. Он посмотрел в сторону солнца, и, когда сощурил глаза и впился взглядом в ослепительную яркость солнца, ему показалось, будто он что-то увидел. Ну да — маленькая черная точка медленно движется по яркой поверхности солнца, но для него это была вовсе не точка, а самый настоящий немецкий летчик в «фокке-вульфе» с пушкой в крыле.

Он понял, что его увидели. Он был уверен, что тот, наверху, наблюдает за ним, выжидает удобный момент, точно знает, что его не видно из-за яркого солнца, следит за «спитфайром» и готовится к атаке. Человек в «спитфайре» не отводил глаз от маленькой черной точки. Он больше не крутил головой. Он следил за врагом и, не спуская с него глаз, убрал левую руку с рычага газа и осторожно отвел ее назад. Его рука двигалась быстро и уверенно, касаясь то этого, то того, включая тумблер «огонь», снимая гашетку с предохранителя, а большой палец медленно нажимал на рычаг, с помощью которого едва заметно увеличивается шаг винта.

Теперь все его мысли были только о бое, больше ни о чем. Он уже не испытывал страха и не думал о том, что ему страшно. Все это осталось в мечтах, и так же, как человек, проснувшись утром, забывает свой сон, так и он, увидев врага, забыл, что ему было страшно. Такое с ним случалось уже сотни раз, и вот теперь происходит то же самое. Неожиданно, в одно мгновение, он стал спокойным и расчетливым и, в то время как готовился внутренне и производил необходимые действия в кабине, не спускал глаз с немца, выжидая действий с его стороны.

Он был отличным летчиком. Потому что когда было необходимо, когда наступал нужный момент, он становился спокойным, смелым и руководствовался инстинктом, который превосходил его спокойствие, смелость или опыт. Он добавил газ и осторожно взял на себя ручку управления, стремясь набрать высоту и лишить немца хотя бы немного того преимущества, которое тот имел, находясь на пять тысяч футов выше. Но времени у него было не много. «Фокке-вульф» пикировал на него со стороны солнца, на всей скорости. Летчик увидел его, но продолжал свой полет, делая вид, что ничего не заметил, и все это время он смотрел на немца через плечо, выбирая момент, когда можно будет повернуть. Если повернуть слишком рано, то и немец повернет вместе с ним, и тогда ему крышка. Если повернуть слишком поздно, то немец все равно его достанет, если сможет выстрелить прямо по курсу, а значит, и тогда ему крышка. Поэтому он смотрел и выжидал, повернув голову и глядя через плечо, и прикидывал, какое между ними расстояние. И едва немец приблизился настолько, что мог в любую секунду нажать большим пальцем на гашетку, летчик резко изменил курс. Он рванул ручку управления на себя и налево, сильно надавил левой ногой на педаль руля направления, и «спитфайр» метнулся в сторону, точно лист, подхваченный порывом ветра. Летчик на мгновение потерял сознание.

Когда к нему вернулось зрение, когда кровь отхлынула от головы и от глаз, он взглянул вверх и увидел, как немецкий истребитель, сильно накренившись, разворачивается вместе с ним, пытаясь крутануться как можно круче, чтобы снова сесть на хвост «спитфайру». Бой начался. «Поехали, — сказал он про себя. — Ну, кто кого на сей раз?» И быстро улыбнулся потому, что был уверен в себе, и еще потому, что в такой ситуации ему приходилось быть не раз, а также потому, что он всегда выходил победителем.

Он был великолепным летчиком. Но и немец был неплох, и, когда «спитфайр» развернулся круче, «фокке-вульф», кажется, сделал то же самое, и они развернулись вместе. Когда «спитфайр» неожиданно убрал газ и встал свечой, «фокке-вульф» перевернулся через крыло и ушел в пике, а затем закрутил петлю, так что снова оказался сверху и сзади. «Спитфайр» перевернулся через крыло и метнулся в сторону, но «фокке-вульф» следил за ним и тоже перевернулся через крыло и метнулся в сторону, сидя у него на хвосте, и тотчас выпустил по «спитфайру» короткую очередь, но промахнулся. Минут пятнадцать два небольших самолета кружились друг вокруг друга, делая крутые виражи; они следили друг за другом и держали дистанцию, как это делают боксеры на ринге, выжидая момент, когда противник раскроется или потеряет бдительность. То и дело, резко развернувшись, один самолет атаковал другой, и маневры с пикированием, переворотом через крыло и набором высоты повторялись.

Все это время летчик в «спитфайре» сидел в кабине с прямой спиной и вел самолет не руками, а кончиками пальцев, и «спитфайр» был не самолетом, а частью его тела. Мышцы его рук и ног были в крыльях и в хвосте машины, и, когда он делал вираж, разворот, пикировал или набирал высоту, он двигал не своими руками и ногами, а крыльями, хвостом и корпусом самолета, потому что корпус «спитфайра» был телом летчика и между тем и другим не было разницы.

Бой продолжался, и все это время, пока они сражались друг с другом, они теряли высоту и оказывались все ближе и ближе к голландским полям, так что скоро до земли осталось всего три тысячи футов и можно было разглядеть изгороди, и низкие деревья, и тени, которые эти деревья бросали на траву.

Раз немец выстрелил наудачу длинной очередью с расстояния тысячи ярдов. Летчик «спитфайра» увидел, как перед носом его машины промелькнул трассирующий снаряд. В другой раз, когда они летели близко друг от друга, он успел разглядеть под стеклянным фонарем кабины голову, коричневый шлем, очки, маску, белый шарф и плечи немца, причем голова была повернута в его сторону. И еще был раз, когда он потерял сознание после быстрого выхода из пикирования и временная слепота длилась дольше, чем обычно. Она продолжалась секунд, быть может, пять, и, когда зрение вернулось к нему, он быстро огляделся в поисках «фокке-вульфа» и увидел его на расстоянии полумили. Тот летел прямо на

него — тонкая полоска длиной в дюйм, которая быстро увеличивалась, притом так быстро, что почти тотчас она была длиной уже не в дюйм, а в полтора, потом в два, потом в шесть, а потом и в фут. Времени в его распоряжении не было совсем — может, секунда, самое большее две, но и этого было достаточно, потому что ему не нужно было думать или решать, что предпринять. Ему надо было лишь дать волю инстинкту, который руководит его руками, ногами и крыльями и корпусом самолета. Нужно было сделать только одно, и «спитфайр» это сделал. Он круто набрал высоту и, резко развернувшись под прямым углом, бросился на «фокке-вульф». Он летел прямо на него, лобовая атака.

Две машины быстро мчались навстречу друг другу. Летчик в «спитфайре» сидел с прямой спиной в своей кабине, и теперь самолет окончательно стал частью его тела. Он смотрел на перекрестие прицела — маленькую желтую точку электрического света, выступающую в верхней части козырька кабины, и теперь она приближалась к «фокке-вульфу». Он быстро и точно подправлял самолет немного в одну сторону, немного в другую, и желтая точка, двигавшаяся вместе с самолетом, плясала и дергалась из стороны в сторону, и неожиданно она остановилась на тонкой полоске «фокке-вульфа». Большим пальцем правой руки в кожаной перчатке он нащупал гашетку, осторожно нажал на нее, как охотник нажимает на курок ружья, его пушки выстрелили, и он увидел, как в то же самое время из носа «фокке-вульфа» вырвались маленькие язычки пламени. От начала и до конца на все про все ушло не больше времени, чем на то, чтобы закурить сигарету. Немецкий летчик шел прямо на него, и неожиданно пилот «спитфайра» отчетливо увидел перед собой круглый бесцветный нос «фокке-вульфа» и его тонкие распростертые крылья. Когда концы крыльев встретились, раздался треск и левое крыло «спитфайра» с хрустом оторвалось от корпуса.

«Спитфайру» пришел конец. Он стал падать, как падает мертвая птица, и, умирая, слегка трепетал одним крылом. Падая, самолет продолжал движение по тому курсу, которым летел. Руки летчика единым движением расстегнули ремни, сорвали шлем и отодвинули колпак кабины, затем ухватились за ее края. Покинув самолет, летчик потянулся за вытяжным кольцом парашюта, схватил его правой рукой и дернул, так что парашют вырвался и раскрылся и ремни впились ему в промежность.

Неожиданно наступила полная тишина. Ветер дул ему в лицо, трепал его волосы. Он поднял руку и убрал волосы с глаз. Он находился на высоте примерно в тысячу футов. Взглянув вниз, он увидел плоскую зеленую местность — поля, изгороди, и никаких деревьев. На поле, внизу, он увидел несколько коров. Потом он посмотрел вверх и тут же произнес: «О господи», и его рука быстро метнулась к правому бедру. Он нащупал револьвер в кобуре. Не более чем в пятистах ярдах от него одновременно с ним и с такой же высоты спускался на парашюте еще один человек. Едва взглянув на него, он понял, что это мог быть только немецкий летчик, и никто другой. Его самолет наверняка тоже пострадал в столкновении со «спитфайром». Должно быть, и он быстро выбрался. И вот они оба спускаются на парашюте так близко друг от друга, что, возможно, и приземлятся на одном поле.

Расставив ноги и держась за ремни парашюта поднятыми руками, он еще раз посмотрел на немца. Это был невысокий мужчина, коренастый, но отнюдь не молодой. Немец тоже смотрел на него, просто не сводил с него глаз, и, когда его крутануло в воздухе, он повернул голову и принялся смотреть через плечо.

Они продолжали опускаться. Оба смотрели друг на друга, думая о том, что же будет дальше, но немец был королем, потому что приземлялся на своей территории. Летчик «спитфайра» опускался на вражеской территории: его возьмут в плен или же убьют, или он убьет немца, а если сделает это, то убежит. В любом случае убегу, подумал он. Я уверен, что бегаю быстрее, чем этот немец. Он, похоже, не очень-то быстро бегаёт. Побегу от него по полю и скроюсь где-нибудь.

Земля была уже близко. До приземления оставалось лишь несколько секунд. Он видел, что немец почти наверняка приземлится на том же поле, что и он, на поле, где паслись коровы. Он посмотрел, что это за поле, широкая ли изгородь и есть ли в изгороди проход, и тут увидел небольшой пруд и ручеек. Коровы пили воду из этого пруда, вокруг него было грязно, и вода была грязной. Пруд оказался прямо под ним. Он уже был на высоте роста лошади над прудом и быстро падал. Он падал в самую середину пруда. Он быстро ухватился за ремни над головой и попытался подтянуть парашют стропами с одной стороны, чтобы изменить направление, но было слишком поздно — его усилия не увенчались успехом. Неожиданно что-то пронеслось у него в голове и отдалось где-то в желудке, и страх, о котором он забыл во время боя, снова нава-

лился на него. Он видел пруд и черную поверхность воды в пруду, но это был уже и не пруд вовсе, а вода — совсем не вода. Это была небольшая черная дыра в земле, углублявшаяся на многие мили вниз, с крутыми гладкими стенами, как борт судна, и она была такая глубокая, что стоит в нее попасть, как будешь падать, и падать, и падать, и так до конца жизни. Он видел вход в эту дыру, видел, какая она глубокая, а он был лишь маленьким коричневым камешком, который кто-то поднял, потом подбросил в воздух, да так, чтобы он полетел в эту дыру. Он был камешком, который кто-то нашел в траве в поле, вот что он такое. И вот он падает, а внизу эта дыра.

Подняв брызги, он опустился в воду. Он с головой ушел под воду, и его ноги коснулись дна пруда и увязли в грязи. Голова его была под водой, но она снова показалась над поверхностью. Он стоял на дне. Вода была ему по плечи. Парашют накрыл его сверху. Его голова была опутана ремнями и белым шелком, он попытался было высвободиться, сначала с одной стороны, потом с другой, но вышло только хуже, да и страх усилился, потому что белый шелк накрыл его с головой и он ничего не видел, кроме груды белой материи и спутавшихся ремней. Он шагнул к берегу, но его ноги застряли в грязи; он стоял по колено в грязи. Поэтому он продолжал бороться с парашютом и спутавшимися ремнями. Он дергал за ремни, стараясь высвободить голову, и тут услышал шаги человека, который бежал по траве. Он слышал, как шаги приближаются. Немец, должно быть, прыгнул, потому что послышался всплеск и летчик упал под весом чужого тела.

Оказавшись под водой, он начал инстинктивно сопротивляться. Но его ноги увязли в грязи, тот, другой человек был сверху и, держа руками за шею, пытался удержать его под водой. Сильные пальцы сдавили ему горло. Он открыл глаза и увидел коричневую воду, а в воде — пузырьки. Маленькие светлые пузырьки медленно поднимались вверх в коричневой воде. Не было ни шума, ни криков, ничего больше не было, лишь светлые пузырьки поднимались в воде, и вдруг в голове у него тоже просветлело, как светлеет в тихий солнечный день. Да не буду я бороться, подумал он. К чему бороться, ведь если на небо набежала туча, значит быть дождю.

Он обмяк и расслабил все мышцы, потому что у него не было никакого желания бороться. Как это хорошо — не бороться. Да и зачем это? Глупо было столько бороться и так долго; глупо было

молиться за то, чтобы вышло солнце, когда на небе туча. Надо было кричать: «Пусть идет дождь! Пусть льет как из ведра! Мне все равно!» Тогда было бы легче. Тогда было бы намного легче. Я сражался пять лет, но мне больше не нужно это делать. Так гораздо лучше, гораздо, ведь где-то есть лес, по которому мне хотелось бы пройти, а не пойдешь же гулять в лес затем, чтобы сражаться. Где-то есть девушка, с которой мне хотелось бы переспать, но ведь не станешь же спать с ней и одновременно бороться. Ничего нельзя сделать, одновременно борясь. И особенно нельзя жить, все время борясь. Теперь я сделаю все то, что хочу, но борьбы больше не будет.

Как сразу стало спокойно и чудесно. Какой солнечный день и какое красивое поле, с коровами, и маленьким прудом, и зелеными изгородями с примулами, растущими прямо в них. Ничто меня больше не будет беспокоить, ничто, ничто, ничто. Даже тот, другой человек, который плещется вон там в воде, в этом же пруду. Кажется, он совсем запыхался и дышит с трудом. Кажется, он вынимает что-то из пруда, что-то тяжелое. Вот уже вынул на берег и теперь тащит по траве. Смешно. Оказывается, это тело. Тело какого-то мужчины. Вообще-то, по-моему, это я. Да-да, я. Я это знаю точно, потому что на груди моего комбинезона пятнышко желтой краски. Вот он наклонился и проверяет мои карманы, вынимает деньги и удостоверение личности. Он нашел мою трубку и письмо, которое я получил утром от матери. Снимает часы. Встает. Уходит. Он решил оставить мое тело на траве рядом с прудом. Он быстро идет по полю в сторону прохода в изгороди. Похоже, он насквозь промок и к тому же возбужден. Надо бы ему немного отдохнуть. Надо бы отдохнуть, как это делаю я. Если не отдохнет, то ему и самому это не понравится. Надо ему сказать об этом.

— Почему бы тебе немного не отдохнуть?

Боже мой, как он вздрогнул, когда я заговорил. А его лицо! Вы только посмотрите на его лицо. Никогда не видел такого испуганного человека. Он побежал прочь. То и дело оглядывается через плечо, а сам бежит. Но вы только посмотрите на его лицо; видите, какой у него несчастный вид и как он напуган. Нет, мне с ним не по пути. Думаю, лучше его оставить. Пожалуй, побуду здесь еще немного. Потом пойду вдоль изгороди, поищу примулы, а повезет, так и фиалки найду. А потом усну. Прямо на солнце.

АФРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ

Для Англии война началась в сентябре 1939 года. Жители острова тотчас о ней узнали и принялись готовиться. В более отдаленных местах о ней узнали спустя несколько минут после начала войны и тоже стали готовиться.

А в Восточной Африке, в Кении, жил молодой белый человек; он был охотником и любил равнины и долины и холодные ночи на склонах Килиманджаро. Он тоже прослышал о войне и начал готовиться. Он прибыл в Найроби, для чего ему понадобилось пересечь всю страну, явился в местное управление Королевских воздушных сил и попросил сделать из него летчика. Его приняли, и он приступил к тренировкам в аэропорту Найроби. Он летал на небольших «бабочках-медведицах»¹ и хорошо справлялся с управлением ими.

Спустя пять недель он едва не предстал перед военно-полевым судом за то, что, вместо того чтобы учиться вращению ласточкой и входить в повороты с заглушкой двигателя, как ему было приказано, он полетел в сторону Накуру посмотреть сверху на животных и на равнину. По пути ему показалось, будто он увидел саблерогую антилопу, а поскольку это редкое животное, его охватило любопытство, и он снизился, чтобы получше ее рассмотреть. Он разглядывал антилопу с левой стороны кабины и потому не увидел жирафа с другой. Передней кромкой правое крыло врезалось в шею жирафа чуть ниже головы животного и прошло насквозь. Вот так низко он летел. Крыло получило повреждение, но он дотянул до Найроби, и, как я уже говорил, он едва не предстал перед военно-полевым судом, ибо разве можно оправдаться, заявив, что сбил большую птицу, когда к крылу и к стойкам пристали куски жирафьей шкуры и его шерсть.

¹ «Тайгер-Мот» (Tiger Moth) — учебный биплан фирмы «Де Хэвилленд».

Через шесть недель ему разрешили совершить первый самостоятельный маршрутный полет, и он полетел из Найроби в местечко под названием Эльдорет — маленький городишко, расположившийся в горах на высоте восьми тысяч футов. Но ему опять не повезло. На этот раз случился перебой в работе двигателя, из-за того что в баки с горючим попала вода. Он сохранил самообладание и, не повредив самолета, совершил великолепную, хотя и вынужденную, посадку неподалеку от маленького домика, одиноко стоявшего на высокогорной равнине. Других жилищ не было видно. Местность там пустынная.

Он подошел к домику и обнаружил жившего в одиночестве старика, у которого всего-то и было что небольшой клочок земли, засаженный сладким картофелем, а также несколько куриц и черная корова.

Старик был добр к нему. Он дал ему еды и молока, уложил спать; летчик оставался у него два дня и две ночи, пока спасательный самолет из Найроби не обнаружил на земле его машину; летчик-спасатель приземлился рядом, узнал, что случилось, улетел и вернулся с неразбавленным горючим, что дало возможность и молодому человеку взлететь и вернуться на базу.

Однако, пока он был с одиноким стариком, который месяцами никого не видел, тот радовался его обществу и выпавшему случаю поболтать. Старик без конца говорил, а летчик слушал. Старик рассказывал о своей одинокой жизни, о львах, которые приходили по ночам, о слоне-отшельнике, который жил за холмом на западе, о знойных днях и о тишине, опускавшейся в полночь вместе с прохладой.

На вторую ночь он рассказал о себе. Он поведал летчику длинную странную историю, и, когда он рассказывал ее, слушателю казалось, будто старик тем самым снимает с плеч огромную тяжесть. Закончив, он сказал, что никогда раньше никому не рассказывал эту историю и что никогда никому больше ее не расскажет, но история была такая странная, что летчик записал ее на бумаге, как только возвратился в Найроби. Он записал ее не словами старика, а своими собственными, так что старик стал персонажем рассказа, — да так, наверное, и лучше было. Раньше летчик никогда не писал рассказов и, естественно, не избежал ошибок. Ему неведомы были приемы, к которым прибегают писатели, равно как не знал

он ничего и о методах, которыми пользуются художники, но, когда он закончил писать, отложил карандаш и отправился в клуб-столовую, чтобы выпить там пинту пива, ему показалось, что у него вышел рассказ редкой силы.

Мы нашли этот рассказ в его чемодане две недели спустя, когда разбирали его вещи, после того как он разбился в учебном полете, а поскольку у него, похоже, не было родственников и поскольку он был моим другом, я взял рукопись и позаботился о ней за него.

Вот что он написал.

Старик вышел из дому. Ослепительно сияло солнце, и с минуту он стоял, опираясь на свою палку, оглядываясь вокруг и щурясь от яркого света. Он стоял, склонив голову набок, поглядывая наверх, прислушиваясь к шуму, который ему незадолго перед тем почудился.

Он был невысок ростом, коренаст, и ему уже давно перевалило за семьдесят, хотя на вид можно было дать и восемьдесят пять — так его скрутил ревматизм. Его лицо было покрыто щетиной, а когда он раскрывал рот, двигался только один его уголок. На его голове, находился ли он дома или на открытом воздухе, всегда был грязный белый тропический шлем.

Он стоял совершенно неподвижно на ярком солнце, щурясь и прислушиваясь к шуму.

И снова те же звуки. Старик резко повернул голову и посмотрел в сторону небольшой деревянной лачуги, стоявшей на пастбище в сотне ярдов от него. На этот раз сомнений никаких не было: где-то визжала собака; так мучительно и пронзительно она взвизгивает, когда ей грозит большая опасность. Визг раздался еще дважды, на сей раз больше похожий на крик. Казалось, эти звуки вырывались из самого нутра животного.

Старик повернулся и быстро заковылял по траве к деревянной лачуге, где жил Джадсон; подойдя к ней, он распахнул дверь и вошел внутрь.

На полу лежала маленькая белая собака, а над ней, расставив ноги, стоял Джадсон; темные волосы закрывали его длинное красное лицо. Высокий и тощий, он стоял и бормотал что-то про себя; его грязная белая рубаха пропиталась потом. Челюсть его отвисла, будто отяжелела, рот как-то странно раскрылся, точно онемел,

а посередине подбородка медленно текла слюна. Он стоял и смотрел на маленькую белую собаку, лежавшую на полу, и медленно тербил рукой мочку левого уха; в другой руке он держал тяжелую бамбуковую палку.

Не обращая внимания на Джадсона, старик опустился на колени рядом с собакой и ласково погладил ее своими костлявыми пальцами. Собака лежала неподвижно, глядя на него водянистыми глазами. Джадсон не двигался. Он смотрел на собаку и на старика.

Старик медленно, с трудом поднялся, опираясь обеими руками на палку. Он оглядел комнату. В дальнем углу лежал грязный матрас; на столе, сколоченном из упаковочных ящиков, стояли примус и кастрюля с оббитыми краями. Грязный пол был усеян куриными перьями.

Старик увидел то, что ему было нужно. Это был тяжелый железный лом, стоявший у стены возле матраса. Он заковылял к нему, стуча своей палкой по прогнувшимся половым доскам. Пока он ковылял, собака не сводила с него глаз. Старик взял палку в левую руку, лом — в правую, приковылял обратно к собаке, поднял лом и не мешкая с силой опустил его на голову животного. Отшвырнув лом в сторону, он взглянул на Джадсона, который по-прежнему стоял в той же позе; подбородку его все еще текла слюна, а краешки глаз подергивались. Старик приблизился к Джадсону и заговорил. Он говорил очень тихо и медленно, кипя от гнева, и при этом двигался только один уголок его рта.

— Ты убил ее, — сказал он. — Ты сломал ей хребет.

Затем, переполнившись гневом и ощутив прилив сил, он нашел и другие слова. Он поднял голову и плюнул в лицо тощего Джадсона, который заморгал и попятился к стене.

— Ты, паршивый подлый ублюдок, ты убил собаку. Это была моя собака. Какое чертово право ты имел бить мою собаку, говори! Отвечай же, ты, слюнявый псих. Отвечай!

Джадсон принялся медленно вытирать ладонь и тыльную сторону руки о рубашку, все лицо его при этом дергалось. Не поднимая глаз, он сказал:

— Она без конца лизала себя, и так шумно, что я не мог это вынести. Терпеть не могу, когда вот так себя лизут, лизут, лизут. Я сказал ей, чтобы она прекратила. Она посмотрела на меня и помахала хвостом, а потом снова стала себя лизать. Этого я стерпеть не мог, потому взял и побил ее.

Старик ничего на это не сказал. Какое-то мгновение казалось, что он вот-вот ударит Джадсона. Он даже поднял было руку, но потом опустил ее, сплюнул на пол, повернулся и проковылял за дверь, туда, где светило солнце. Он прошел по траве к тому месту, где в тени небольшой акации стояла черная корова, жевавшая свою жвачку; корова стояла и смотрела, как он ковыляет к ней. Жевать она не переставала ни на минуту, челюстями двигала размеренно, механически — точно метроном отмеривает время. Старик подошел к ней, остановился и принялся гладить ее шею. Потом оперся о ее лопатку и стал чесать ей спину толстым концом своей палки. Он долго так стоял, прислонившись к корове, почесывая ей спину палкой; время от времени он заговаривал с ней, тихо произнося какие-то слова, — точно так же один человек делится с другим своими секретами.

В тени акации было прохладно; все вокруг нее после долгих дождей буйно заросло и радовало глаз, ведь на кенийском высокогорье растет по-настоящему зеленая трава. В это время года, после дождей, она сочная и зеленая, какой и должна быть трава. Далеко на севере возвышалась сама гора Кения, увенчанная снежной шапкой; с ее вершины, где ледяные ветры подняли бурю, сдувая белую пыль, тянулась белая струйка. Где-то внизу на склонах той же горы обитали львы и слоны, и по ночам иногда можно было слышать, как лев рычит на луну.

Прошло несколько дней, и Джадсон вернулся к своей работе на ферме; молча, как бы механически, он собирал зерно, выкапывал сладкий картофель и доил черную корову, тогда как старик оставался в доме, прячась от жестокого африканского солнца. Только к концу дня, когда становилось прохладнее и поднимался резкий ветер, он, прихрамывая, выходил наружу и всякий раз шел к черной корове, чтобы провести с ней часок под акацией. Однажды, выйдя из дому, он застал возле коровы Джадсона. Тот как-то странно смотрел на нее, в присущей ему манере выставив вперед ногу и теребя мочку уха правой рукой.

- В чем дело? — медленно подойдя к нему, спросил старик.
- Корова без конца жует, — ответил Джадсон.
- Ну и пусть себе жует, — сказал старик. — Оставь ее в покое.
- Этот хруст, разве ты не слышишь его? — сказал Джадсон. — Такой стоит хруст, будто она жует гальку, только это совсем дру-

гое. Она жует траву, смачивает ее в слюне. Посмотри на нее — все жует и жует, а ведь это всего лишь трава и слюна. Совершенно невыносимый хруст.

— Убирайся, — сказал старик. — Убирайся с глаз моих.

По утрам старик сидел и обыкновенно глядел в окно. Вот Джадсон выходит из хижины и идет доить корову. Сонно пересекает поле, при ходьбе разговаривая сам с собой, волочит ноги, оставляя на мокрой траве темный зеленый след. В руках у него старая канистра из-под керосина в четыре галлона, которую он приспособил для молока. Солнце поднималось над откосом, бросая длинные тени за Джадсоном, коровой и невысокой акацией. Старик видел, как Джадсон ставит канистру, тащит ящик из-за акации и усаживается на него, готовясь к дойке. Опускается на колени, нащупывая коровье вымя. В этот раз и старик, даже с такого расстояния, увидел, что у коровы нет молока. Джадсон поднялся и быстро пошел к дому старика. Остановившись под окном, возле которого сидел старик, он поднял голову.

— У коровы нет молока, — сказал он.

Старик высунулся в открытое окно, опершись обеими руками о подоконник:

— Ты, паршивый ублюдок, ты украл его.

— Я его не брал, — сказал Джадсон. — Я спал.

— Ты украл его. — Старик еще дальше высунулся из окна; голосом он говорил тихим, при этом двигался лишь один уголок его рта.

— Кто-то украл его ночью, кто-нибудь из кикуйю¹, — сказал Джадсон. — А может, она заболела.

Старик подумал, что, может, это и правда.

— Ладно, посмотрим, — ответил он, — даст ли она молока вечером. А теперь проваливай.

К вечеру у коровы было полное вымя, и старик видел, как Джадсон вынул из-под нее две кварты хорошего густого молока.

На следующее утро корова была пуста. Вечером молока было много. На третье утро она снова была пуста.

На третью ночь старик решил проследить, в чем дело. Как только начало темнеть, он уселся перед открытым окном со старым

¹ Народ группы банту в Кении.

ружьём двенадцатого калибра, положив его на колени. Он стал дожидаться вора, который доит его корову по ночам. Тьма была крошечная, и корову он не видел, но скоро над холмами поднялась луна в три четверти, и стало светло как днем. Было страшно холодно — как-никак высота семь тысяч футов над уровнем моря. Старик дрожал и плотнее кутал плечи коричневым пледом. Корову он теперь хорошо видел, так же хорошо, как днем; небольшая акация бросала на траву глубокую тень, потому что луна находилась за ней.

Всю ночь старик сидел и следил за коровой и только один раз оторвал взгляд от нее, когда поднялся и, ковыляя, сходил еще за одним одеялом. Корова мирно стояла под деревцем, жуя свою жвачку и поглядывая на луну.

За час до рассвета вымя было полным. Старик видел это; он все время следил за ней, и хотя не видел того момента, когда оно начало разбухать, — невозможно ведь уследить за началом движения часовой стрелки, — однако он чувствовал, что оно все это время наполнялось молоком. До рассвета оставался один час. Луна висела низко, но светила по-прежнему. Он видел корову, деревце и зелень травы вокруг коровы. Неожиданно он вскинул голову. Он что-то услышал. Разумеется, что-то ему послышалось. Да-да, вот и опять послышался шелест травы под окном, у которого он сидел. Он быстро поднялся и, перегнувшись через подоконник, посмотрел вниз.

И тут он увидел ее. Большая черная змея, мамба, длиной восемь футов и толщиной в человеческую руку, ползла по сырой траве прямо к корове, и притом быстро. Ее небольшая, грушевидной формы головка немного приподнималась над землей, а тело, скользя по мокрой траве, производило отчетливое шипение, точно газ выходил из горелки. Он поднял ружье, собираясь выстрелить, но тотчас снова его опустил, почему — он и сам не знал, и продолжал сидеть не двигаясь, глядя, как мамба приближается к корове, прислушиваясь к шороху, следя за тем, как она все ближе подползает к корове, и выжидая, когда же произойдет нападение.

Но она не нападала. Она подняла голову и с минуту покачивала ею из стороны в сторону, потом подняла переднюю часть своего черного тела прямо под выменем коровы, бережно взяла один из толстых сосков и начала пить.

Корова не шевелилась. Не было слышно ни звука; тело мамбы изящно изгибалось, поднимаясь от земли, и висело под коровьим выменем. Черная змея и черная корова были отчетливо видны при лунном свете.

С полчаса старик наблюдал за тем, как мамба берет у коровы молоко. Он видел, как мягко пульсирует черное тело, высасывая жидкость из вымени. Время от времени змея передвигалась от одного соска к другому, пока у коровы совсем не осталось молока. Тогда мамба осторожно опустилась на землю и поползла назад по траве в том же направлении, откуда появилась. И снова она производила тот же шипящий звук, и снова проползала под окном, возле которого сидел старик, и оставляла на мокрой траве темный след. Затем она исчезла за домом.

Луна медленно опустилась за Кенийским хребтом. Почти тотчас из-за откоса на востоке поднялось солнце, и Джадсон вышел из своей лачуги с четырехгаллонной канистрой из-под керосина в руке. Он сонно поплелся к корове, волоча ноги по густой росе. Старик смотрел на него и ждал. Джадсон наклонился и ощупал вымя, и едва он проделал это, как старик заговорил. Джадсон вздрогнул, услышав голос старика.

— Его опять нет, — сказал старик.

Джадсон ответил:

— Да, корова пуста.

— Думаю, — медленно произнес старик, — это проделки какого-нибудь мальчишки-кикуйю. Я задремал, а когда проснулся, он уже удрал. Выстрелить я не мог, потому что боялся попасть в корову. Но сегодня вечером я его дождусь. Уж сегодня-то он у меня не уйдет, — прибавил он.

Джадсон не отвечал. Он подхватил четырехгаллонную жестянку и побрел к своей лачуге.

В эту ночь старик опять сидел у окна и наблюдал за коровой. На этот раз он предвкушал некое удовольствие. Он знал, что снова увидит мамбу, но хотел в этом убедиться. И когда за час до восхода солнца большая черная змея проползла по траве к корове, старик перегнулся через подоконник и принялся внимательно следить за ее движением. Он видел, как она выждала какое-то мгновение под животом, медленно покачав головой с полдюжины раз, прежде чем оторвала свое тело от земли, чтобы взять первый сосок. Он видел,

как она с полчаса пила молоко, пока его совсем не осталось, и видел, как змея опустила свое тело и мягко заскользила за дом, откуда и явилась. Наблюдая за всем этим, старик едва заметно улыбался краешком рта.

Потом из-за холмов поднялось солнце, и из своей лачуги вышел Джадсон с четырехгаллонной канистрой в руке, но на этот раз он направился прямо к окну, возле которого, завернувшись в одеяло, сидел старик.

— Ну как? — спросил Джадсон.

Старик смотрел на него из окна.

— Не знаю, — ответил он. — Никого не видел. Я опять задремал, а этот паршивец явился и взял молоко, пока я спал. Послушай-ка, Джадсон, — прибавил он, — нам надо поймать этого мальчишку, иначе тебе не хватит молока, хотя это тебе и не повредит. Но мальчишку поймать надо. Выстрелить в него не могу, очень уж он ловок, да и корова мешает. Ты должен схватить его.

— Я? Но как?

Старик заговорил очень медленно.

— Думаю, — сказал он, — думаю, тебе лучше спрятаться недалеко от коровы. Только так его и можно схватить.

Джадсон взъерошил волосы левой рукой.

— Сегодня, — продолжал старик, — ты выкопаешь неглубокую яму рядом с коровой. Ты ляжешь в нее, я прикрою тебя сеном и травой. Воришка тебя не заметит, пока совсем близко не подойдет.

— У него может быть нож, — сказал Джадсон.

— Нет, ножа у него не будет. Возьми свою палку. Больше тебе ничего не понадобится.

Джадсон сказал:

— Хорошо, я возьму палку. Когда он подойдет, я выскочу и поколочу его палкой.

Тут он вдруг что-то вспомнил.

— А как же насчет того, что она все время жует? — спросил он. — Она ведь будет хрустеть всю ночь, пережевывая слюну и траву, точно гальку. Всю ночь мне этого не вынести. — И он снова принялся тереть мочку левого уха.

— Ты сделаешь так, как тебе, черт побери, говорят, — сказал старик.

В тот день Джадсон выкопал канаву рядом с коровой, которую решили привязать к акации, чтобы она не бродила по полю. Затем,

когда наступил вечер и когда уже можно было улечься в канаву, старик подошел к двери его лачуги и сказал:

— До утра можно ничего не делать. Пока вымя не наполнится, никто не придет. Заходи ко мне; у меня теплее, чем в твоей конуре.

Джадсон никогда еще не получал приглашения зайти к старику. Он последовал за ним, довольный тем, что ему не придется лежать всю ночь в канаве. В комнате горела свеча. Она была воткнута в горлышко пивной бутылки, а бутылка стояла на столе.

— Приготовь-ка чаю, — сказал старик, указывая на примус, стоявший на полу.

Джадсон зажег примус и приготовил чай. Они уселись на пару деревянных ящичков и начали пить. Старик пил чай горячим и шумно прихлебывал. Джадсон дул на свой чай, осторожно его потягивал и поглядывал поверх кружки на старика. Старик продолжал прихлебывать чай, когда Джадсон сказал:

— Прекрати.

Он произнес это тихо, почти жалостно, и уголки его глаз и рта тотчас задергались.

— Что? — спросил старик.

Джадсон сказал:

— Шумно ты очень пьешь.

Старик поставил кружку и спокойно смотрел на него короткое время, потом спросил:

— Сколько собак ты убил за свою жизнь, Джадсон?

Ответа не последовало.

— Я спрашиваю — сколько? Сколько собак?

Джадсон принялся вынимать чайные листочки из своей кружки и приклеивать их к тыльной стороне левой руки. Старик, не вставая с места, подался вперед:

— Так сколько же, Джадсон?

Джадсон вдруг засуетился. Он сунул пальцы в пустую кружку, вынул оттуда чайный листок, быстро приклеил его к тыльной стороне руки и тут же полез за следующим. Когда листов осталось немного и ему никак не удавалось выудить хотя бы один, он близко поднес кружку к глазам, чтобы посмотреть, сколько их там. Тыльная сторона руки, державшей кружку, была облеплена мокрыми черными листочками.

— Джадсон! — вскричал старик, и один уголок его рта открылся и закрылся, точно то были клещи.

Свеча вспыхнула и едва не погасла, но спустя мгновение снова загорелась ровным пламенем.

Тихо и очень медленно, точно уговаривая маленького ребенка, старик спросил:

— За всю твою жизнь сколько же было собак?

— Почему я должен тебе говорить? — отозвался Джадсон.

Не поднимая глаз, он отлеплял чайные листочки один за другим с тыльной стороны руки и снова складывал их в кружку.

— Я хочу знать, Джадсон. — Старик говорил очень ласково. — Меня это тоже интересует. Поговорим об этом, а потом о чем-нибудь другом.

Джадсон поднял глаза. По его подбородку потекла капля слюны, зависла на какое-то время в воздухе, потом сорвалась и упала на пол.

— Я их только потому убиваю, что они шумят.

— Как часто ты это делаешь? Мне бы хотелось знать — как часто?

— Много раз, да и давно.

— Как? Расскажи мне, как ты это обычно делаешь? Как тебе больше нравилось?

Молчание.

— Скажи мне, Джадсон. Я хочу знать.

— Не понимаю, почему я должен об этом говорить. Это секрет.

— Я никому не скажу. Клянусь, никому.

— Что ж, если ты обещаешь... — Джадсон придвинул свой ящик и заговорил шепотом: — Как-то я подождал, пока она заснет, потом взял большой камень и размозжил ей голову.

Старик поднялся и налил себе еще одну кружку чая.

— Мою ты не так убивал.

— У меня не было времени. Столько было шума, когда она облизывалась, я просто обязан был все сделать быстро.

— Ты ведь так и не убил ее.

— Зато тише стало.

Старик подошел к двери и выглянул наружу. Было темно. Луна еще не взошла, но ночь была светлая и холодная, и на небе было много звезд. На востоке небо было немного бледным, и, глядя в том направлении, старик видел, как бледность сменяется яркостью, разливавшейся по небосводу, так что свет отражался в кап-

лях росы в траве. Над холмами медленно взошла луна. Старик обернулся и сказал:

— Собирайся-ка. Никогда не знаешь — сегодня, может, и раньше явится.

Джадсон поднялся, и они вдвоем вышли из дома. Джадсон улегся в канаву рядом с коровой, и старик прикрыл его травой, так что только голова торчала над землей.

— Я тоже буду смотреть, — сказал он. — Из окна. Когда крикну, вскакивай и хватай его.

Он доковылял до своего домика, поднялся наверх, завернулся в одеяло и занял свой пост у окна. Было еще рано. Луна была почти полной и продолжала подниматься. Она освещала снег на вершине горы Кения.

Спустя час старик выкрикнул в окно:

— Ты еще не уснул там, Джадсон?

— Нет, — ответил тот. — Я не сплю.

— И не надо, — сказал старик. — Делай что хочешь, только не спи.

— Корова все время хрустит, — пожаловался Джадсон.

— Пусть себе хрустит, только я тебя пристрелю, если ты поднимешься, — сказал старик.

— Пристрелишь меня?

— Поднимешься — сразу пристрелю.

Оттуда, где лежал Джадсон, донеслось едва слышное всхлипывание — странный судорожный вздох, точно ребенок старался не расплакаться, — и тут же послышался голос Джадсона:

— Я должен встать, пожалуйста, дай мне встать. Этот хруст...

— Если ты поднимешься, — отвечал старик, — я выстрелю тебе в живот.

Всхлипывания продолжались еще около часа, потом неожиданно прекратились.

Ближе к четырем часам утра очень сильно похолодало, и старик, плотнее закутавшись в плед, прокричал:

— Ты не замерз там, Джадсон? Холодно тебе?

— Да, — послышался ответ. — Так холодно! Но зато корова больше не хрустит. Она спит.

— Что ты собираешься сделать с вором, когда схватишь его? — спросил старик.

— Не знаю.

— Убьешь его?

Пауза.

— Не знаю. Брошусь на него, а там посмотрим.

— Посмотрим, — повторил старик. — Будет, наверное, на что посмотреть.

Он смотрел в окно, опершись руками о подоконник.

И тут он услышал скользкий звук под окном и, бросив взгляд вниз, увидел черную мамбу, которая ползла по траве к корове, двигаясь быстро и чуть приподняв голову над землей.

Когда мамба оказалась в пяти ярдах от коровы, старик закричал. Он сложил ладони трубочкой и крикнул:

— Он идет, Джадсон, вон он идет. Давай хватай его.

Джадсон быстро поднял голову и тут же увидел мамбу, а мамба увидела его. Змея на секунду, быть может, на две замерла, подалась назад и вскинула переднюю часть тела. Потом она бросилась на свою жертву — просто метнулось что-то черное, и послышался легкий шлепок, когда она стукнулась ему в грудь. Джадсон закричал — протяжный высокий крик, который не усиливался и не стихал, а без конца тянулся на одной ноте, пока не превратился в ничто. И наступила тишина. Он стоял, разорвав на себе рубашку и нащупывая то самое место на груди, при этом он тихо скулил, постанывал и тяжело дышал раскрытым ртом. И все это время старик спокойно сидел возле открытого окна, высунувшись наружу, и не отрывал глаз от того, там, внизу.

Когда кусает черная мамба, все происходит очень быстро; яд и на этот раз начал тотчас оказывать свое действие. Он бросил человека на землю, и тот принялся кататься по траве, выгнув спину. Не было слышно ни звука. Все происходило бесшумно, будто силач борется с великаном, которого не видно, а великан держит его и не дает ему подняться, вытягивает ему руки, а колени прижимает к подбородку.

Затем Джадсон принялся выдергивать траву и спустя короткое время повалился на спину, судорожно раскинув ноги. Но держался он не очень долго. Скорчившись, он еще раз выгнул спину, перевернулся и остался спокойно лежать на земле лицом вниз, подогнув под себя правую ногу и вытянув руки перед головой.

Старик продолжал сидеть у окна, и, даже когда все было конечно, он не вставал с места и не шевелился. В тени под акацией что-то пришло в движение — это мамба медленно направилась к коро-

ве. Она приблизилась к ней, остановилась, приподнялась, выждала какое-то время, опустила голову и проскользнула прямо под брюхо животного. Приподнявшись еще выше, она взяла один из коричневых сосков и начала пить. Старик сидел и смотрел, как мамба берет у коровы молоко. Он снова увидел, как мягко пульсирует ее тело, когда она вытягивает жидкость из вымени.

Змея продолжала пить, когда старик поднялся и отошел от окна.

— Забирай его долю, — тихо произнес он. — Мы не против, если ты возьмешь его долю.

И с этими словами он оглянулся и снова увидел черное тело мамбы, которое, изгибаясь, поднималось от земли, соединяясь с животом коровы.

— Да-да, — снова произнес он, — мы не против, если тебе достанется его доля.

ПУСТЯКОВОЕ ДЕЛО

Из того, что произошло, я мало что запомнил. Что было до этого, не помню. Да вообще ничего не помню, пока это не случилось.

Была посадка в Фоуке¹, где парни, летавшие на «бленхеймах»², помогли нам и угостили нас чаем, пока заправляли наши самолеты. Помню, какие спокойные были парни с «бленхеймов». Они зашли в палаточную столовую выпить чаю и пили его молча. Напившись чаю, поднялись и вышли, так и не проронив ни слова. Я знал, что каждый из них старается сдерживаться, потому что дела у них тогда шли не очень-то хорошо. Им приходилось часто вылетать, а замен не было.

Мы поблагодарили их за чай и вышли, чтобы посмотреть, не заправили ли наши «гладиаторы». Помню, дул такой ветер, что «колдун»³ лежал как указатель. Песок шуршал возле наших ног, со свистом бился о палатки, и палатки хлопали на ветру, точно сшитые из брезента люди хлопали в ладоши.

— Невеселый вид у бомберов, — сказал Питер.

— Чего уж тут веселиться, — отозвался я.

— Рассердились на кого-то, что ли.

— Да не в этом дело. Просто они сыты по горло, вот и все. Но они держатся. Да ты и сам видел.

Два наших старых «гладиатора» стояли бок о бок на песке, и ребята в рубашках и шортах цвета хаки, похоже, все еще были заняты заправкой. На мне был тонкий белый хлопчатобумажный комбинезон, а на Питере — синий. Летать в чем-либо более теплом не было нужды.

— Далеко это отсюда? — спросил Питер.

— Двадцать одна миля за Черинг-кросс, — ответил я, — справа от дороги.

¹ Аэродром в Ливии во время Второй мировой войны

² Английские бомбардировщики

³ Конструкция для определения силы и направления ветра

Так называемый Черинг-кросс находился там, где дорога, тянувшаяся по пустыне, отходила на север к Мерса-Матруху¹. Итальянские войска стояли близ Мерсы и действовали довольно хорошо. Насколько я знаю, они только здесь и действовали хорошо. Их моральный дух то поднимался, то падал, как чувствительный высотомер, и в то время он находился на отметке в сорок тысяч, потому что державы оси Берлин — Рим были на седьмом небе. Мы побродили вокруг, ожидая, когда закончат заправку.

— Дело-то пустяковое, — сказал Питер.

— Да. Ничего сложного нет.

Мы разошлись. Я забрался в свою кабину. Всегда буду помнить лицо техника, который помог мне пристегнуться. Немолодой уже, лет сорока, лысый, если не считать ухоженного пучка золотистых волос на макушке. Все его лицо было в морщинах, глаза напомнили мне глаза моей бабушки, и вид у него был такой, будто он всю жизнь помогал пристегнуться летчикам, которые не возвращались. Он стоял на крыле, затягивал потуже ремни и говорил:

— Будь осторожнее. Об осторожности никогда нельзя забывать.

— Дело-то пустяковое, — сказал я.

— Мне так не кажется.

— Да ну. И говорить-то не о чем. Пустяки.

Что было дальше, не очень хорошо помню, но помню то, что произошло уже спустя какое-то время. Кажется, мы взлетели с Фоука и взяли курс на Мерсу и летели, кажется, на высоте футов восьмисот. Справа, кажется, мы видели море, и, кажется, — да нет, я уверен в этом, — оно было голубое и красивое, особенно было красиво, когда волны накатывались на песок и на запад, и на восток, на сколько хватало глаз, тянулась широкая белая полоса. Кажется, мы пролетели над Черинг-кросс и летели двадцать одну милю, куда нам было приказано, но точно сказать не могу. Знаю лишь, что у нас были неприятности, куча неприятностей, и еще знаю, что мы повернули назад и, когда возвращались, дела пошли совсем плохо. Самая большая неприятность состояла в том, что я летел слишком низко, так что выпрыгнуть с парашютом у меня не было возможности. С этого момента память возвращается ко мне. Помню, как самолет клюнул носом, и еще помню, как я посмотрел вниз и увидел на земле несколько кустов верблюжьей колючки,

¹ Город в Египте.

жавшихся друг к другу. Помню, что я видел несколько камней, валившихся рядом с колючкой, и вдруг верблюжья колючка, песок и камни оторвались от земли и полетели в меня. Это я помню очень хорошо.

Потом наступил небольшой провал. Возможно, он продолжался секунду, а может, и полминуты, не знаю. Наверное, он был очень короткий, с секунду, и в следующее мгновение я услышал «бах!» — это загорелся бак в правом крыле, потом снова — «бах!» — то же случилось и с баком в левом крыле. Для меня это было не важно, и какое-то время я сидел спокойно, чувствуя себя вполне нормально, хотя меня немного клонило в сон. Глаза мои ничего не видели, но и это было не важно. Поводов для волнений никаких. Совсем никаких. Вот только ногам горячо. Сначала я почувствовал тепло, но не обращал на это внимания, но вдруг ногам стало горячо, обе ноги охватил сильнейший жар.

Я знал, жар — не к добру, но только это я и знал. Мне он не нравился, поэтому я убрал ноги под сиденье и стал ждать. Думаю, нарушилась телеграфная связь между телом и мозгом. Она, кажется, не очень-то хорошо действовала. По какой-то причине она медленно передавала мозгу сообщения и столь же медленно спрашивала, что делать. Но полагаю, сообщение в конце концов дошло. Вот оно: «Тут внизу очень горячо. Что нам делать?» И подпись: «Левая Нога и Правая Нога». Долгое время ответа не было. Мозг обдумывал сложившееся положение.

Потом медленно, слово за словом, по проводам пришел ответ: «Самолет... горит... Выбирайся из него... повторяю... выбирайся... выбирайся». Приказ был отдан всей системе, всем мышцам ног, рук и тела, и мышцы принялись за работу. Они делали все возможное, где-то слегка что-то подтолкнули, где-то немного потянули и при этом сильно напряглись, но все без толку. Наверх ушла вторая телеграмма: «Не можем выбраться. Что-то нас держит». На сей раз на ответ ушло еще больше времени, поэтому я просто сидел и ждал, а жар между тем все усиливался. Что-то удерживало меня, а вот что — это должен был решить мозг. То ли меня держали за плечи руки гигантов, а может, то были булыжники, или дома, или катки, или шкафы, или я был связан веревками... Погодите-ка. Веревки... веревки... Послание стало доходить до меня. Но очень медленно. «Привязные ремни... расстегни привязные ремни». Руки получили послание и принялись за работу. Они потянули ремни, но те

не поддавались. Они тянули и тянули, поначалу слабо, но в меру сил, а толку никакого. Ушло новое послание: «Как нам отстегнуть ремни?»

На этот раз я сидел в ожидании ответа минуты, наверное, три или четыре. Не было никакого смысла спешить или нервничать. Это единственное, в чем я был уверен. Однако как же долго приходится ждать! Я громко сказал:

— Черт побери, да я же сгорю. Я...

Но меня прервали.

Кажется, пришел ответ... нет, еще не пришел, идет, но очень медленно. «Вытащи... предохранитель... ты... болван... да побыстрее».

Я вытащил предохранитель, и ремни ослабли. Теперь надо бы выбраться. Да выбирайся же, выбирайся. Но я не мог это сделать. Не мог подняться из кабины. Руки и ноги старались вовсю, но безрезультатно. Наверх пулей улетел отчаянный запрос, на сей раз с пометкой «срочно».

«Что-то еще нас держит внизу, — говорилось в сообщении. — Что-то еще, что-то еще, что-то тяжелое».

А руки и ноги по-прежнему не боролись. Похоже, они чувствовали инстинктивно, что им нет смысла использовать свою силу. Они вели себя спокойно, ожидая ответа, но как же долго он не приходил! Двадцать, тридцать, сорок жарких секунд. Еще не раскаленных добела, еще не шипит обожженная плоть и нет запаха горелого мяса, но это может начаться в любую минуту, потому что эти старые «гладиаторы», в отличие от «харрикейнов» и «спитфайров», сделаны не из упрочненной стали. У них полотняные, туго натянутые крылья, пропитанные отлично воспламеняющимся составом, а под ними — сотни тоненьких реечек, вроде хвороста на растопку, только еще суше и тоньше. Если бы какой-нибудь умник сказал: «А смастерю-ка я этакую большую штуковину, которая загорится быстрее и будет полыхать лучше, чем что-либо на свете» — и доведись ему прилежно исполнить эту задачу, то он, вероятно, смастерил бы в конце концов что-то вроде «гладиатора». Я продолжал ждать.

И вот пришел ответ, замечательный по краткости, но в то же время он все объяснил. «Парашют... открой... замок».

Я открыл замок, освободился от привязных ремней парашюта и с некоторым усилием приподнялся и перевалился за борт. Каза-

лось, что-то горит, поэтому я покатался немного по песку, а затем отполз от огня на четвереньках и лег.

Я слышал, как в огне рвется боезапас моего пулемета, слышал, как пули со стуком падают в песок рядом со мной. Я их не боялся, просто слышал.

Начались боли. Сильнее всего болело лицо. С лицом у меня было что-то не то. Что-то с ним произошло. Я медленно поднял руку и ощупал его. Оно было липким. Носа, казалось, не было на месте. Я попытался пощупать зубы, но не помню, пришел ли я к какому-либо заключению насчет зубов. Кажется, я задремал.

Откуда ни возьмись появился Питер. Я слышал его голос и слышал, как он суетится вокруг, кричит как сумасшедший, трясет мою руку и говорит:

— О господи, я думал, ты все еще в кабине. Я приземлился в полумиле отсюда и бежал как черт. Ты в порядке?

— Питер, что с моим носом? — спросил я.

Я услышал, как он чиркнул спичкой в темноте. В пустыне быстро темнеет. Наступило молчание.

— Вообще-то, его как бы и нет, — ответил он. — Тебе больно?

— Что за дурацкий вопрос, еще как больно.

Он сказал, что сходит к своему самолету и возьмет морфий в аптечке, но скоро вернулся и сообщил, что не смог найти свой самолет в темноте.

— Питер, — сказал я, — я ничего не вижу.

— Сейчас ночь, — ответил он. — И я ничего не вижу.

Было холодно. Было чертовски холодно, и Питер лег рядом со мной, чтобы нам обоим было хоть немного теплее. Он то и дело повторял:

— Никогда еще не видел человека без носа.

Я без конца сплевывал кровь, и Питер всякий раз, когда я делал это, зажигал спичку. Он предложил мне сигарету, но она тотчас промокла, да мне и не хотелось курить.

Не знаю, сколько мы там оставались, да и помню еще совсем немного. Помню, я несколько раз говорил Питеру, что у меня в кармане коробочка с таблетками от горла и чтоб он взял одну, а то заразится от меня и у него тоже заболит горло. Помню, я спросил у него, где мы находимся, и он ответил:

— Между двумя армиями.

И еще помню английские голоса — это английский патруль спрашивает, не итальянцы ли мы. Питер что-то сказал им, но не помню что.

Потом помню густой горячий суп, от одной ложки которого меня стошнило. И помню замечательное ощущение того, что Питер рядом, что он ведет себя прекрасно, делает то, что нужно, и никуда не уходит. Вот и все, что я помню.

Возле самолета стояли люди с кистями и красками и жаловались на жару.

— Разрисовывают самолеты, — сказал я.

— Да, — сказал Питер. — Отличная идея. Не всякому придет в голову.

— А зачем они это делают? — спросил я. — Расскажи.

— Картинки должны быть смешными, — сказал он. — Немецкие летчики увидят их и будут смеяться. Они будут так трястись от смеха, что не смогут точно стрелять.

— Что за ерунда!

— Да нет же! Прекрасная мысль. Чудесная. Пойдем, сам увидишь.

Мы побежали к самолетам, выстроившимся в линию.

— Прыг-скок, — приговаривал Питер. — Прыг-скок! Не отставай!

— Прыг-скок, — повторял я. — Прыг-скок!

И мы побежали вприпрыжку.

Первый самолет разрисовывал человек в соломенной шляпе и с грустным лицом. Он перерисовывал картинку из какого-то журнала, и, увидев ее, Питер сказал:

— Вот это да! Ты только посмотри, — и рассмеялся.

Сначала он издал какой-то непонятный звук, который быстро перешел в раскатистый смех. Он хлопал себя по бедрам двумя руками одновременно и раскачивался взад-вперед, широко раскрыв рот и зажмурив глаза. Шелковый цилиндр свалился с его головы на песок.

— Не смешно, — сказал я.

— Не смешно? — воскликнул он. — Что ты этим хочешь сказать — «не смешно»? Да ты на меня посмотри. Видишь, как я смеюсь? Разве могу я сейчас попасть в цель? Да я ни в телегу с сеном не попаду, ни в дворец, ни в холодец.

И он запрыгал по песку, сотрясаясь от смеха. Потом схватил меня за руку, и мы попрыгали к следующему самолету.

— Прыг-скок, — приговаривал он. — Прыг-скок.

Мужчина невысокого роста с морщинистым лицом красным карандашом писал на фюзеляже что-то длинное. Его соломенная шляпа сидела у него на самой макушке, лицо блестело от пота.

— Доброе утро, — произнес он. — Доброе утро, доброе утро.

И весьма элегантно жестом снял шляпу.

— Ну-ка, помолчи, — сказал Питер.

Он наклонился и стал читать, что написал мужчина. Питера уже разбирал смех, а начав читать, он стал смеяться еще пуще. Он покачивался из стороны в сторону, подпрыгивал на песке, хлопал себя по бедрам и сгибался в пояснице.

— Ну и дела, вот так история. Посмотри-ка на меня. Видишь, как мне смешно?

И он приподнялся на цыпочки и стал трясти головой и смеяться сдавленным смехом как ненормальный. А тут и до меня дошло, и я тоже расхохотался. Я так смеялся, что у меня заболел живот. Я повалился на песок и стал кататься по нему и при этом хохотал, хохотал, потому что было так смешно, что словами не передать.

— Ну, Питер, ты даешь, — кричал я. — Но как насчет немцев? Они что, умеют читать по-английски?

— Вот черт, — сказал он. — Ну и ну. Прекратите! — крикнул он. — Прекратить работу.

Все те, кто был занят разрисовыванием самолетов, оставили это занятие и, медленно повернувшись, уставились на Питера. Потом приподнялись на цыпочки и, пританцовывая на месте, запели хором.

— Разрисуем самолеты и отправимся в полет мы, — пели они.

— Замолчите! — сказал Питер. — У нас проблема. Надо подумать. Где мой цилиндр?

— А при чем тут цилиндр? — спросил я.

— Ты говоришь по-немецки, — сказал он. — Вот ты и переведешь нам. Он вам переведет! — крикнул он. — Он переведет.

И тут я увидел его черный цилиндр на песке. Я отвернулся, потом крутнулся волчком и снова посмотрел. Шелковый парадный цилиндр лежал на боку на песке.

— Да ты с ума сошел! — закричал я. — Совсем рехнулся! Сам не знаешь, что делаешь. Да нас убьют из-за тебя. Ты просто ненормальный! Сам-то знаешь об этом? Свихнулся! Чокнутый какой-то.

— Ну и шуму ты наделал. Нельзя так кричать. Тебе это не идет. Это был женский голос.

— Зачем так кипятиться? Не нужно так себя накручивать.

После этого она ушла, и я видел только небо, бледно-голубое небо. Облаков не было, но всюду были немецкие истребители — вверху, внизу, с обеих сторон, и от них некуда было деться. И сделать я ничего не мог. Они атаковали меня по очереди, а пока один атаковал, другие делали виражи и мертвые петли, беззаботно кружась и танцуя в воздухе. Но я не боялся, потому что на крыльях у меня были смешные картинки. Я держался уверенно и думал про себя: «Да я и один с целой сотней справлюсь и всех сшибу. Как распеются, так и начну стрелять. Вот что я сделаю».

Они подлетели ближе. Все небо кишело ими. Их было так много, что я не знал, за кем из них следить и кого атаковать. Их было так много, что они образовали сплошную черную завесу, и лишь в некоторых местах можно было увидеть кусочки голубого неба. Но самолетов хватало и на то, чтобы залатать эти прорехи, а только это и имело значение. Главное — чтобы их хватало, тогда все будет в порядке.

А они все приближались. Они подлетали все ближе и ближе и вот уже были прямо у меня перед носом, так что я видел черные кресты, которые ярко выступали на «мессершмиттах» и на фоне голубого неба. Поворачивая голову из стороны в сторону, я видел все больше самолетов и все больше крестов, а потом видел только кресты и кусочки голубого неба. Кресты соединились друг с другом, словно взялись за руки, образовали круг и стали танцевать вокруг моего «гладиатора». Моторы «мессершмиттов» радостно пели низкими голосами. Они распевали «Апельсинчики как мед»¹. То и дело в центр круга по очереди выходили двое из них и атаковали меня, и я понимал, что они и есть «апельсинчики». Они делали виражи, резко меняли курс, приподнимались на цыпочках и опирались о воздух то одним крылом, то другим.

Апельсинчики как мед —
В колокол Сент-Клемент бьет.

Но я по-прежнему сохранял уверенность. Я умел танцевать лучше, чем они, да и партнерша у меня была лучше. Это была самая красивая девушка на свете. Я бросил взгляд вниз и увидел изгиб ее шеи, мягкий наклон плеч, изящные руки, распростертые в страстном томлении.

¹ Песенка-считалка из популярной детской игры (наподобие нашего «ручейка»), в которой обыгрывается звон колоколов лондонских церквей.

Неожиданно я увидел пробоины от пуль в правом крыле. Я рассердился и одновременно испугался, но больше рассердился. Потом снова обрел уверенность и сказал про себя: «Немец, который сделал это, лишен чувства юмора. В любой компании всегда найдется человек, у которого нет чувства юмора. Но мне-то что тревожиться. Тут и тревожиться-то не о чем».

Потом я увидел еще пробоины и опять испугался. Я отодвинул фонарь кабины, приподнялся и закричал:

— Идиоты, да вы бы хоть посмотрели, что за смешные картинки! Смотрите, что нарисовано на хвосте, почитайте, что написано на фюзеляже. Вы только посмотрите на фюзеляж!

Но они продолжали делать свое дело — танцевали парами в центре круга и, приблизившись ко мне, стреляли. А двигатели «мессершмиттов» громко пели:

И Олд-Бейли, ох, сердит.
Возвращай должок! — гудит.

Все больше пробоин было в крыльях моего самолета, в капоте двигателя и в кабине.

И неожиданно пробоины появились и в моем теле.

Боли, однако, я не чувствовал, даже когда вошел в штопор и крылья моего самолета захлопали — хлоп-хлоп-хлоп, а потом они стали хлопать все быстрее и быстрее, голубое небо и черное море погнались друг за другом по кругу и наконец исчезли, и только солнце мелькало, когда я крутился. Однако черные кресты преследовали меня, продолжая танцевать и держась друг за друга. Я по-прежнему слышал пение их моторов:

Вот зажгу я пару свеч —
Ты в постельку можешь лечь.
Вот возьму я острый меч —
И головка твоя с плеч¹.

Хлоп-хлоп-хлоп — били крылья, и вокруг меня не было ни неба, ни моря, осталось одно лишь солнце.

А потом было только море. Я видел его внизу и видел белые барашки на нем. «Белые барашки бегут по беспокойному морю», — сказал я про себя. Я знал, что соображаю хорошо, потому что белые барашки были на море, — это я видел. И еще я знал, что време-

¹ Перевод считалки В. Голышева.

ни оставалось немного, потому что море и барашки приближались, белые барашки делались все больше, а море уже было похоже на море и на воду, а не на пустую тарелку. И вот остался только один белый барашек. Он мчался с пеной у рта, поднимая брызги и выгибая спину. Он как безумный скакал по морю, один-одинешенек, и остановить его было невозможно. Вот тут я понял, что сейчас разобьюсь.

Потом стало теплее. Ни черных крестов больше не было, ни неба. Было тепло, но не жарко и не холодно. Я сидел в красном бархатном кресле. Был вечер. В спину дул ветер.

— Где я? — спросил я.

— Ты не вернулся с боевого задания. А поскольку ты не вернулся, тебя считают погибшим.

— Тогда я должен сообщить об этом матери.

— Нет. Пользоваться телефоном запрещено.

— Почему?

— Отсюда звонят только Богу.

— Так что же со мной произошло?

— Не вернулся с боевого задания, считаешься погибшим.

— Неправда. Это ложь. Гнусная ложь, потому что вот я здесь, а вы говорите — не вернулся. Просто вы хотите запугать меня, но вам это не удастся. Вам это не удастся, потому что я знаю, что это ложь, и я возвращаюсь в свою эскадрилью. Вы меня не оставите, потому что я просто встану и пойду. Видите, я уже иду, видите — иду.

Я поднялся с кресла и побежал.

— Сестра, покажите мне еще раз эти рентгеновские снимки.

— Вот они, доктор.

Снова тот же самый женский голос, на этот раз ближе.

— Что-то вы сегодня ночью расшумелись. Дайте я поправлю вам подушку, а то вы ее с кровати сбросите.

Голос был совсем близко. Он звучал мягко и ласково.

— Я пропал без вести?

— Ну что вы, конечно нет. С вами все в порядке.

— А мне сказали, что пропал.

— Не говорите глупости. У вас все хорошо.

Глупости, глупости, сплошные глупости, но день-то до чего хо-роший, и бежать никуда не хочется, и остановиться нельзя. Я продолжал бежать по траве и не мог остановиться, потому что ноги

сами несли меня и я не мог ничего с этим поделать. Они будто и не моими были, хотя когда я посмотрел вниз, то увидел, что мои, и ботинки мои, да и ноги составляют с телом одно целое. Но они не хотели слушаться меня. Они бежали себе по полю, и я вынужден был бежать вместе с ними. Я бежал, бежал, бежал, и, хотя в некоторых местах на поле встречались кочки и ухабы, я ни разу не споткнулся. Я бежал мимо деревьев и изгородей, и на каком-то поле мне встретились овцы. Они перестали щипать траву и бросились наутек, когда я пробежал мимо. Раз я увидел свою мать в светло-сером платье. Она собирала грибы. Когда я пробежал мимо, она подняла голову и сказала: «Я собрала уже почти целую корзину. Скоро пойдем домой, хорошо?» Но мои ноги не пожелали останавливаться и продолжали бежать.

Потом я увидел отвесную скалу. А за ней было темно — это я тоже видел. Вот стоит себе эта скала, а за ней сплошная темнота, хотя, когда я бежал по полю, светило солнце. Солнечные лучи не проникали дальше скалы, за которой была одна лишь темнота. «Вот, наверное, где начинается ночь», — подумал я и снова попытался остановиться, но и на этот раз не вышло. Мои ноги побежали быстрее к скале, делая большие шаги. Я попытался остановить их, схватившись за штанину, но и это не помогло. Тогда я попробовал упасть. Но мои ноги оказались проворнее, и, падая, я всякий раз приземлялся на обе ступни и продолжал бежать.

Теперь скала и темнота были гораздо ближе, и я видел, что если не остановлюсь, то свалюсь со скалы. Я еще раз попытался броситься на землю и снова приземлился на ступни и побежал дальше.

Оказавшись у обрыва, я по-прежнему бежал быстро, а потому полетел в темноту и стал падать.

Поначалу было не очень темно. Я видел деревца, росшие на склоне скалы, и по пути я хватался за них руками. Несколько раз мне удавалось ухватиться за ветки, но те всякий раз тотчас ломались, потому что я был такой тяжелый, да и падал так быстро, а однажды я вцепился обеими руками в толстый сук. Дерево согнулось, и я услышал, как корни с треском вырываются из скалы, так что я вместе с деревом полетел дальше вниз. Потом стало темнее, потому что солнце и день остались далеко в полях за вершиной скалы. Падая, я старался не закрывать глаза и видел, как темнота из серо-черной делается черной, из черной — иссиня-черной, из иссиня-черной превращается в сплошную тьму, до того осязаемую, что

я мог коснуться ее руками, а вот видеть не мог. Я продолжал падать, но было так темно, что нигде ничего не было видно. Что-либо предпринимать было бесполезно, как бесполезно было беспокоиться или думать о чем-то, и всему виной темнота и падение. Бесполезно, и все тут.

— Сегодня вам уже лучше. Намного лучше.

Опять женский голос.

— Привет.

— Привет. Мы уж решили, что вы никогда не придете в сознание.

— Где я?

— В Александрии. В госпитале.

— И давно я здесь?

— Четыре дня.

— Сколько сейчас времени?

— Семь утра.

— Почему я ничего не вижу?

Я услышал, что она подошла ближе.

— Просто мы ненадолго наложили вам на глаза повязку.

— Ненадолго — это на сколько?

— Скоро снимем. Да вы не беспокойтесь. С вами все в порядке.

Знаете, а вам очень повезло.

Я пытался ощупать свое лицо, но у меня ничего не вышло. Под пальцами было что-то другое.

— Что у меня с лицом?

Я услышал, как она подошла к кровати и коснулась моего плеча.

— Не говорите больше ничего. Вам нельзя разговаривать. От этого вам может быть только хуже. Лежите спокойно и ни о чем не беспокойтесь. У вас все в порядке.

Я услышал, как она подошла к двери, открыла, а потом закрыла ее.

— Сестра, — сказал я. — Сестра.

Но она уже ушла.

МАДАМ РОЗЕТТ

— О боже, до чего же хорошо, — сказал Старик.

Он лежал в ванне: в одной руке — стакан виски с содовой, в другой — сигарета. Ванна наполнилась до краев, и время от времени он добавлял горячей воды, поворачивая кран пальцами ног.

Он приподнял голову и отхлебнул виски, потом снова откинулся и закрыл глаза.

— Умоляю тебя, вылезай, — послышался голос из соседней комнаты. — Вылезай, Старик, ты уже больше часа там торчишь.

Юнец сидел голый на краю кровати, медленно попивая из стакана и дожидаясь своей очереди.

— Ладно, — отозвался Старик. — Выпускаю воду.

И он протянул ногу и вытащил пальцами пробку.

Юнец поднялся и побрел в ванную со стаканом в руке. Старик полежал в ванне еще немного, потом бережно поставил свой стакан на полочку для мыла, поднялся и взял полотенце. Он был невысокого роста, приземист, с сильными толстыми ногами и выступающими икрами. У него были грубые вьющиеся рыжие волосы, а треугольное лицо покрыто веснушками. Рыжие волосы росли у него и на груди.

— Боже мой, — сказал он, глянув на дно ванны, — да я полпустыни сюда принес.

— А ты смой песок и пусти туда меня. Я пять месяцев не мылся в ванне.

Это было в начале войны, когда мы сражались с итальянцами в Ливии. Очень были трудные денечки, потому что летчиков не хватало, а летать приходилось много. Из Англии их, разумеется, не могли прислать, поскольку шла битва за Британию. Поэтому приходилось подолгу оставаться в пустыне, ведя странную, неестественную жизнь, обитая в одной и той же грязной маленькой палатке, моясь и бреясь каждый день из той же кружки, из которой до этого чистил зубы, постоянно вынимая мух из чая и из тарелок

с едой, при этом песчаные бури бушевали как за стенками палаток, так и внутри, и даже обычно уравновешенные мужчины ожесточались, теряли самообладание, срываясь на товарищах и злясь на самих себя. Они страдали дизентерией, «египетским поносом», у них болели уши, и их донимали все те болячки, которые неизбежны при жизни в пустыне. На них падали бомбы с итальянских С-79, у них не было ни воды, ни женщин, они не видели, чтобы из земли росли цветы. У них почти ничего не было, а был лишь песок, песок, песок. На старых «глостер-гладиаторах» они сражались с итальянскими СР-42, а когда не летали, не знали, чем себя занять.

Иногда кто-нибудь ловил скорпионов, сажал их в канистры из-под керосина и заставлял сражаться не на жизнь, а на смерть. В эскадрилье всегда был чемпион среди скорпионов, свой Джо Луис¹, который был непобедим и выигрывал все бои. Ему давали кличку; он становился знаменитым, а его тренировочный рацион держался под большим секретом, известный только хозяину. Считалось, что тренировочный рацион для скорпионов очень важен. Одних кормили солониной, другим давали нечто под названием «маконачи» — отвратительные мясные консервы, третьих потчевали живыми жуками, а еще были такие, которых заставляли выпить перед боем немного пива. От пива скорпион будто бы становится счастливым и обретает уверенность. Эти последние всегда проигрывали. Но были великие битвы и великие чемпионы, а по вечерам, когда полеты заканчивались, летчики и техники собирались на песке в кружок. Опершись руками о колени, они следили за битвой, подбадривали скорпионов и кричали, как кричат зрители во время поединка боксеров или борцов. Потом приходила победа, и хозяин победителя ликовал. Он плясал на песке, кричал, размахивал руками и громко расписывал достоинства победоносного питомца. Хозяином самого выдающегося скорпиона был сержант по прозвищу Мечтатель. Он кормил чемпиона одним лишь мармеладом. У скорпиона была неприличная кличка, но он выиграл подряд сорок два боя, а потом тихо скончался во время тренировки, и это случилось как раз тогда, когда Мечтатель подумывал, не перевести ли того из бойцов в производители.

Так что сами видите: поскольку, когда живешь в пустыне, больших радостей нет, маленькие радости становятся большими, а дет-

¹ Джо Луис (1914–1981) — американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе в 1937–1949 годах.

ские забавы — забавами взрослых мужчин. Это относилось ко всем в равной мере: к летчикам, механикам, укладчикам парашютов, капралам, которые готовили еду, и к владельцам лавок. Это относилось и к Старику, и к Юнцу. Они выпросили себе отпуск на двое суток, и их подбросили самолетом до Каира. Оказавшись в гостинице, они мечтали о ванне с таким же нетерпением, с каким молодожены ждут первой брачной ночи.

Старик вытерся и, обмотавшись полотенцем и положив руки под голову, улегся на кровати. Юнец был в ванной. Положив голову на край ванны, он постанывал и вздыхал от блаженства.

— Послушай-ка, Юнец, — произнес Старик.

— Да.

— А чем мы теперь займемся?

— Женщинами, — ответил Юнец. — Найдем женщин и пригласим их на ужин.

— Это потом, — сказал Старик. — Это может подождать.

Был еще ранний вечер.

— Мне так не кажется, — сказал Юнец.

— А по-моему, — возразил Старик, — с этим можно и подождать.

Старик был очень старым и разумным. Действовать поспешно было не в его правилах. Ему было двадцать семь лет, гораздо больше, чем кому-либо в эскадрилье, включая командира, и все весьма считались с его мнением.

— Сначала пройдемся по магазинам, — сказал он.

— А потом? — послышался голос из ванной.

— Потом обдумаем тот другой вопрос.

Наступило молчание.

— Старик?

— Да.

— Ты знаешь здесь каких-нибудь женщин?

— Знал когда-то. Знал одну турчанку с очень белой кожей. Ее звали Венка. Еще была одна югославка, на голову выше меня, по имени Кики, и еще была, кажется, сирийка. Не помню, как ее звали.

— Позвони им, — сказал Юнец.

— Уже позвонил, пока ты ходил за виски. Ни одну не застал.

Не вышло.

— Вот так всегда, — сказал Юнец.

— Походим сначала по магазинам, — сказал Старик. — У нас еще куча времени.

Юнец вылез из ванны через час. Оба надели на себя чистые шорты и рубашки цвета хаки и пошли вниз. Пройдя через гостиничный вестибюль, они оказались на улице, залитой жарким солнцем. Старик надел темные очки.

- Знаю, что мне нужно, — сказал Юнец. — Очки от солнца.
- Хорошо. Пойдем купим.

Они остановили извозчика и велели ему ехать в Сигурел. Юнец купил очки, а Старик — покерные кости, после чего они побрели по раскаленной многолюдной улице.

- Обратил внимание на девушку? — спросил Юнец.
- У которой ты купил очки?
- Да. Теменькая.
- Наверное, турчанка, — сказал Старик.
- Мне все равно, — сказал Юнец. — Но девчонка потрясающая. Тебе так не показалось?

Засунув руки в карманы, они шли вдоль Шариа-Касрэль-Нил. Юнец надел только что купленные очки. Был жаркий день. Пыльная улица была переполнена египтянами, арабами и босоногими мальчишками. Мухи кружились вокруг мальчишек, жужжали возле их воспаленных глаз. Глаза у них были воспалены, потому что их матери сделали с теми что-то ужасное, когда мальчики были совсем детьми, и все затем, чтобы их не взяли в армию, когда они вырастут. Мальчишки шли следом за Стариком и Юнцом и громко кричали без устали: «Бакшиш! Бакшиш!» — и мухи преследовали попрошайек. В Каире пахнет не так, как в каком-нибудь другом городе. Пахнет тут не чем-то одним, и запах не исходит из какого-то определенного места. Им пропитано все вокруг: сточные канавы, тротуары, дома, магазины, товары, продающиеся в магазинах, еда, которая готовится тут же, лошади и лошадиный навоз на улицах. Им пропахли люди и солнце, заливающее своими лучами людей, а также сточные канавы, лошадей, еду и отбросы, валяющиеся на улицах. Это особый острый запах, в котором одновременно чувствуется и что-то сладкое, и гниющее, и жаркое, и соленое, и горькое, и он никогда не исчезает, даже прохладным ранним утром.

Два летчика медленно брели в толпе.

- Разве тебе она не показалась потрясающей? — спросил Юнец.

Ему хотелось услышать мнение Старика.

- Хороша.

— Еще как хороша. Знаешь что, Старик?

— Что?

— Я бы хотел провести вечер с этой девушкой.

Они перешли на другую сторону улицы и двинулись дальше.

— Да ради бога, — сказал Старик. — Почему бы тебе не позвонить мадам Розетт?

— Что еще за Розетт?

— Мадам Розетт, — поправил его Старик. — Великая женщина.

Они проходили мимо бара, который назывался «У Тима». Его держал англичанин по имени Тим Гилфиллан. Во время минувшей войны он был сержантом-квартирмейстером, и каким-то образом ему удалось остаться в Каире, после того как оттуда ушли военные.

— А вот и Тим, — сказал Старик. — Давай-ка заглянем к нему.

Внутри, кроме Тима, никого не было. Он был занят тем, что расставлял бутылки на полках за стойкой.

— Так-так-так, — сказал он, обернувшись. — Где же вы, ребята, пропадали все это время?

— Привет, Тим.

Он не помнил их, но и так было ясно, что они явились из пустыни.

— Как там мой старый друг Грациани? — спросил он, облокотившись о стойку бара.

— Он недалеко от нас, — сказал Старик. — Около Мерсы.

— На чем вы сейчас летаете?

— На «гладиаторах».

— Вот черт, да на них же еще лет восемь назад летали.

— Это все те же, — сказал Старик. — Совсем износились.

Они взяли стаканы с виски и направились к столику в углу.

— А кто она, эта Розетт? — спросил Юнец.

Старик сделал большой глоток и поставил стакан.

— Великая женщина, — ответил он.

— Кто она такая?

— Старая грязная сирийская еврейка.

— Это ладно, — сказал Юнец, — но почему ты о ней вспомнил?

— Что ж, — ответил Старик. — Я скажу тебе. Мадам Розетт держит самый большой бордель на свете. Говорят, что она может достать тебе любую девушку во всем Каире.

— Чушь собачья.

— Нет, так и есть. А ты возьми позвони ей и скажи, где ты видел женщину, где она работает, в каком магазине, в каком отделе, опиши ее поточнее, а все остальное она сделает сама.

— Ну ты совсем уже, — сказал Юнец.

— Это правда. Чистая правда. Мне о ней в тридцать третьей эскадрилье рассказывали.

— Тебя разыграли.

— Хорошо. Давай возьмем телефонный справочник и найдем ее номер.

— Что, в справочнике так и будет написано — «мадам Розетт»? Да ни в жизнь.

— А я тебе говорю — так и будет, — сказал Старик. — Пойди и поищи мадам Розетт. Сам увидишь, что я прав.

Юнец не верил ему, однако пошел к Тиму и попросил у него телефонный справочник. Вернувшись, он положил книгу на стол, раскрыл ее и принялся листать страницы, пока не дошел до «Роз...». Его палец двинулся по колонке. Розеппи... Розери... Розетт. Вот она, Розетт, мадам, адрес и номер телефона, все есть. Старик внимательно наблюдал за ним:

— Нашел?

— Да, вот здесь. Мадам Розетт.

— Ну так почему бы тебе не позвонить ей?

— А что я ей скажу?

Старик посмотрел на дно своего стакана и перемешал пальцами кусочки льда.

— Скажи, что ты полковник, — ответил он. — Полковник Хиггинс. Летчикам она не очень-то доверяет. И скажи, что ты видел красивую смуглую девушку, которая продает солнцезащитные очки в Сигуреле, и ты хотел бы, как ты выразился, поужинать с ней.

— Здесь нет телефона.

— Еще как есть. Вон он.

Юнец огляделся и увидел телефон, который висел на стене в конце стойки бара.

— У меня нет пиастра.

— У меня есть, — сказал Старик.

Он порылся в кармане и положил на столик монету.

— Тим услышит все, что я буду говорить.

— Ну и что, черт возьми, с того? Может, он и сам ей иногда звонит. — И прибавил: — Трус ты.

— А ты говнюк, — сказал Юнец.

Юнец был еще совсем ребенком. Недавно ему исполнилось двенадцать — на восемь лет меньше, чем Старику. Он был довольно высок ростом, худой, с большой копной черных волос и красивым лицом с широким ртом; под солнцем пустыни кожа его стала цвета кофе. Несомненно, он был лучшим летчиком в эскадрилье. Уже в начале войны он сбил четырнадцать итальянцев, что было четко подтверждено. По земле он передвигался медленно и лениво, как это делает усталый человек, и думал он медленно и лениво, как сонный ребенок, но, поднявшись в воздух, соображал быстро, и движения его становились быстрыми, настолько быстрыми, что казалось, он действует рефлекторно. Когда он ходил по земле, было такое впечатление, что он отдыхает, дремлет, дабы накопить силы, перед тем как сесть в кабину, но зато потом он становился свежим и быстрым и готовым для двухчасовой предельной концентрации. Но сейчас Юнец находился далеко от аэродрома, и в мыслях у него было нечто такое, что заставляло его бодрствовать, как во время полета. Может, это состояние и не продлится долго, но, по крайней мере, в ту минуту он действовал сосредоточенно.

Он еще раз взглянул на номер в справочнике, потом поднялся и медленно направился к телефонному аппарату. Опустив монету в один пиастр, он набрал номер и услышал гудок на другом конце. Старик сидел за столиком и смотрел на него, тогда как Тим по-прежнему расставлял за стойкой бара бутылки. Тим был всего-то ярдах в пяти от Юнца и явно расположился слушать, о чем пойдет разговор. Юнец чувствовал себя довольно глупо. Он облокотился о стойку бара и стал ждать, надеясь, что никто не ответит.

Но тут раздался щелчок. Трубку на том конце подняли, и он услышал женский голос:

— Алло.

— Здравствуйте, — ответил он. — Могу я поговорить с мадам Розетт?

Он не сводил глаз с Тима. Тим продолжал расставлять бутылки, делая вид, что разговор его не касается, но Юнец понял, что тот прислушивается.

— А я и есть мадам Розетт. А вы кто?

В ее голосе слышались нотки нетерпения и недовольства. Казалось, ей меньше всего хотелось, чтобы ее тревожили именно в эту минуту.

Юнец постарался сделать так, чтобы в его голосе звучала непринужденность:

- Это полковник Хиггинс.
- Полковник... как вы сказали?
- Полковник Хиггинс.

Он назвал фамилию по буквам.

- Да-да, полковник. Что вам угодно?

В ее голосе по-прежнему слышалось нетерпение. Эта женщина явно не из тех, кто станет церемониться. Он постарался держаться как можно более естественно.

— Видите ли, мадам Розетт, я тут подумал... Не могли бы вы мне помочь в одном дельце?

Юнец не отводил глаз от Тима. Тот совершенно очевидно подслушивал. Подслушивающего можно запросто вычислить, даже если тот и притворяется, будто ничего не слышит. В таких случаях человек старается не шуметь и делает вид, будто очень занят своей работой. Тим именно так себя и вел, переставляя бутылки с полки на полку, вертел их в руках, но не шумел и не оглядывался. В другом углу Старик курил сигарету, положив локти на столик. Он внимательно наблюдал за Юнцом. Ему нравилось следить за тем, что происходит, и он чувствовал, что Юнец стесняется Тима. Однако Юнцу надо было продолжать разговор.

— Я тут подумал, может, вы могли бы мне помочь, — сказал он. — Я сегодня был в Сигуреле, купил там темные очки и увидел девушку, с которой очень хотел бы сегодня поужинать.

- Как ее зовут?

Резкий скрипучий голос зазвучал по-деловому.

- Не знаю, — застенчиво ответил он.

- Как она выглядит?

- У нее... темные волосы, она... высокая и... очень красивая.

- Какое платье на ней было?

- Э-э-э... дайте подумать. Кажется, белое, в красный цветочек.

И тут, будто его осенило, он прибавил:

- И красный пояс.

Он вспомнил, что на ней был блестящий красный пояс.

Наступила пауза. Юнец смотрел на Тима, который старался не греметь бутылками. Он осторожно брал в руки бутылку и так же осторожно ставил ее на место.

И тут вновь послышался скрипучий голос:

- Это может обойтись вам недешево.

— Я понимаю.

Юнцу вдруг надоел весь этот разговор. Хотелось закончить его поскорее.

— Может, это будет стоить шесть фунтов, а то и восемь или десять. Не могу ничего сказать, пока не увижу ее. Вас это устраивает?

— Да-да, устраивает.

— Где вы остановились, полковник?

— В отеле «Метрополитен», — не задумываясь ответил он.

— Хорошо, я вам перезвоню.

И она бросила трубку.

Юнец повесил трубку, медленно вернулся к столику и опустился на стул.

— Ну как, — спросил Старик, — удачно?

— Да вроде да.

— Что она сказала?

— Сказала, что перезвонит мне в гостиницу.

— То есть перезвонит полковнику Хиггинсу в гостиницу?

— О господи, — пробормотал Юнец.

— Да все в порядке. Скажем дежурному, что полковник сидит у нас в номере и чтобы соединяли с нами. Что она еще сказала?

— Что это будет дорого стоить, от шести до десяти фунтов.

— Розетт возьмет себе девяносто процентов, — сказал Старик. — Грязная старая сирийская еврейка.

— И как она теперь?.. — спросил Юнец.

Он был тихим человеком и чувствовал себя неловко, оттого что затеял нечто такое, что может обернуться делом серьезным.

— Она поручит какому-нибудь своему своднику разыскать девушку и разузнать, кто она такая. Если она уже есть в списках, тогда все просто. Если нет, то сводник тут же, в Сигуреле, не отходя от прилавка, сделает ей предложение. Если девушка скажет ему, чтобы он убирался к чертям, он поднимет цену, если она еще раз пошлет его к чертям, он снова поднимет цену, и в конце концов она соблазнится наличными и, скорее всего, согласится. Затем мадам Розетт назовет тебе цену в три раза больше, а разницу возьмет себе. Платить ты будешь ей, а не девушке. Разумеется, потом девушка попадет в списки Розетт, а как только она окажется у нее в лапах, ей конец. В следующий раз Розетт будет диктовать цену, и девушка не сможет с ней спорить.

— Почему?

— Потому что если она откажется, то Розетт скажет: «Ладно, моя милая, я уж позабочусь, чтобы твои хозяева в Сигуреле узнали, чем ты занималась в прошлый раз, как работала на меня и как использовала их магазин в собственных интересах. И тебя уволят». Вот что скажет Розетт. Несчастливая девушка перепугается и будет делать то, что ей скажут.

— Судя по всему, хороший человек, — сказал Юнец.

— Кто?

— Мадам Розетт.

— Чудесный, — сказал Старик. — Просто чудесный человек.

Было жарко. Юнец вытер лицо носовым платком.

— Еще виски, — сказал Старик. — Эй, Тим, еще пару того же.

Тим принес стаканы и, не говоря ни слова, поставил на столик. Взяв пустые стаканы, он тотчас удалился. Юнцу казалось, что он изменился по сравнению с тем Тимом, который встретил их, когда они пришли. Теперь он был не веселым, а молчаливым и безразличным. Казалось, это не тот человек, который говорил: «Привет, ребята, где же вы пропадали все это время?» Зайдя за стойку бара, он повернулся к ним спиной и стал опять расставлять бутылки.

Старик спросил:

— Сколько у тебя денег?

— Думаю, фунтов девять.

— Этого может и не хватить. Ты ведь отдал ей инициативу. Надо было тебе обозначить какой-то предел. Теперь она обдерет тебя как липку.

— Знаю, — сказал Юнец.

Какое-то время они пили молча.

— Тебя что-то волнует, Юнец?

— Ничего, — был ответ. — Совсем ничего. Пошли в гостиницу. Она может позвонить.

Они расплатились за напитки и попрощались с Тимом, который кивнул им, но ничего не сказал. Они вернулись в «Метрополитен».

Подойдя к дежурному за стойкой, Старик сказал:

— Если будут спрашивать по телефону полковника Хиггинса, переключите на наш номер. Он будет у нас.

— Да, сэ, — сказал египтянин и сделал у себя пометку.

Войдя в спальню, Старик лег на кровать и закурил сигарету.

— А вот я чем займусь сегодня вечером? — спросил он.

Юнец по дороге в гостиницу был молчалив и не произнес ни слова. Он сел на край другой кровати, так и не вынув рук из карманов.

— Послушай, Старик, — сказал он, — что-то мне больше не нравится затея с этой Розетт. Это очень дорого может стоить. Можем мы все это как-то отменить?

— Да ты что! Ты теперь связан по рукам и ногам. С Розетт такие шутки не шутят. Скорее всего, она уже этим делом занимается. Тебе никак нельзя отказываться.

— А если у меня денег не хватит? — спросил Юнец.

— А ты подожди, еще не вечер.

Юнец поднялся, подошел к парашютному ранцу и вытащил бутылку виски. Он плеснул виски в два стакана, плеснул туда же в ванной воды из-под крана, вернулся и протянул один стакан Старика.

— Старик, — сказал он, — позвони Розетт и скажи ей, что полковник Хиггинс вынужден был срочно покинуть город и вернуться в свой полк в пустыне. Позвони ей и скажи. Скажи, что полковник просил тебя передать ей это сообщение, потому что у него не было времени.

— Сам позвони.

— Она знает мой голос. Ну давай же, Старик, звони.

— Нет, — ответил Старик. — Не буду.

— Послушай, — неожиданно заговорил Юнец другим голосом — голосом ребенка. — Я не хочу никуда идти с этой женщиной и не хочу сегодня иметь никаких дел с мадам Розетт. Давай придумаем что-нибудь другое.

Старик коротко взглянул на него и сказал:

— Ладно. Позвоню.

Он взял телефонный справочник, поискал номер и набрал его. Юнец слышал, как Старик попросил ее к телефону и передал ей сообщение полковника. Наступила пауза, потом Старик сказал:

— Простите, мадам Розетт, но я тут ни при чем. Я просто передаю то, что меня просили передать.

Еще одна пауза; потом Старик повторил то же самое еще раз, на что у него ушло довольно много времени, в результате он, похоже, устал от всего этого и положил трубку. Его разобрал смех.

— Паршивая старая сука, — говорил он сквозь смех.

— Она была недовольна? — спросил Юнец.

— Недовольна, — повторил Старик. — По-твоему, это называется «недовольна»? Да ты бы слышал ее. Хочет знать, в каком полку служит полковник и бог знает что еще. Сказала, что он за это заплатит. Вы, парни, говорит, думаете, что надо мной можно издеваться, но это вам не пройдет.

— Ура! — воскликнул Юнец. — Грязная старая еврейка.

— Чем мы теперь займемся? — спросил Старик. — Уже шесть часов.

— Пойдем пройдемся и выпьем чего-нибудь в каком-нибудь египетском заведении.

— Отлично. Походим по египетским кабакам.

Они выпили еще, а потом вышли из гостиницы. Сначала они отправились в заведение под названием «Эксельсиор», потом перешли в заведение под названием «Сфинкс», потом в небольшое заведение, названное по имени какого-то египтянина, и в десять часов, счастливые и довольные, сидели в заведении без названия вообще, пили пиво и смотрели что-то вроде представления. В «Сфинксе» они познакомились с летчиком из тридцать третьей эскадрильи, который сказал, что его зовут Уильям. Он был примерно такого же возраста, что и Юнец, но на первый взгляд казался моложе, потому что еще не летал так долго. Возраст его выдавал рот — как у ребенка. У него было круглое лицо, как у школьника, небольшой вздернутый нос, а кожа стала коричневой под солнцем пустыни.

Счастливые и довольные, они сидели втроем в заведении без названия и пили пиво. А пиво они пили потому, что ничего другого там не было. Вокруг были дощатые стены, на некрашеном деревянном полу, посыпанном опилками, стояли деревянные столы и стулья. В дальнем конце был дощатый помост, на котором шло какое-то представление. В помещении было полно египтян в красных фесках. Они пили черный кофе. На сцене находились две толстые девушки в блестящих серебряных штанах и серебряных лифчиках. Одна из них виляла задом в такт музыке. Другая трясла грудями, и тоже в такт музыке. Та, что трясла грудями, была более искусной. Она могла трясти только одной грудью, а при этом еще и виляла задом. Египтяне смотрели на нее как зачарованные и не скупилась на аплодисменты. Чем больше они аплодировали и чем больше она трясла грудями, тем быстрее играла музыка, и чем быстрее

играла музыка, тем быстрее она трясла грудями — все быстрее, быстрее и быстрее, не сбиваясь с ритма, не переставая улыбаться застывшей бесстыжей улыбкой. Египтяне хлопали все больше и больше, по мере того как убыстрялась музыка. Все были очень счастливы.

Когда все закончилось, Уильям спросил:

— Почему у них женщины всегда такие скучные и толстые? Где же их красивые женщины?

— Египтяне любят толстых. Вроде этих, — сказал Старик.

— Быть такого не может, — сказал Юнец.

— Правду говорю, — сказал Старик. — Это у них с давних пор. Все началось с того времени, когда здесь был голод, все бедняки были худыми, а богатые и аристократы — упитанными и жирными. Так что если тебе доставалась толстуха, значит она из высших слоев общества.

— Ерунда какая-то, — сказал Юнец.

— А мы сейчас узнаем, — сказал Уильям. — Пойду спрошу вон у тех египтян.

Он указал большим пальцем на двух египтян среднего возраста, сидевших за соседним столиком, футах в четырех от них.

— Нет, — сказал Старик. — Не надо. Они нам тут не нужны.

— Да, — сказал Юнец.

— Да, — сказал Уильям. — Мы должны узнать, почему египтяне любят толстых женщин.

Он не был пьян. Никто из них не был пьян, но выпитое пиво и виски сделали их счастливыми, а счастливее всех чувствовал себя Уильям. Его загорелое мальчишеское лицо светилось счастьем, вздернутый нос, казалось, задрался еще больше. Похоже, он впервые расслабился за много недель. Он поднялся, сделал три шага к столику, за которым сидели египтяне, и, улыбаясь, остановился перед ними.

— Господа, — сказал он, — мои друзья и я сочтем за большую честь, если вы пересядете за наш столик.

У египтян была темная лоснящаяся кожа и пухлые лица. На них были красные фески, а у одного сверкал во рту золотой зуб. Когда Уильям обратился к ним, они вроде как встревожились. Потом поняли, что к чему, переглянулись и, ухмыльнувшись, закивали.

— Пажалста, — сказал один из них.

— Пажалста, — сказал другой.

Они поднялись, пожали Уильяму руку и направились с ним к столику, за которым сидели Старик и Юнец.

— Познакомьтесь с моими друзьями, — сказал Уильям. — Это Старик. Это Юнец. А меня зовут Уильям.

Старик и Юнец поднялись, все пожали друг другу руки, египтяне еще раз повторили «пажалста», и все сели.

Старик знал, что их религия запрещает им пить спиртное.

— Будете кофе? — спросил он.

Тот, у кого был золотой зуб, широко улыбнулся, поднял руки ладонями кверху и слегка пожал плечами.

— Мне — да, — ответил он. — Я к нему привык. А вот за своего друга я не могу говорить.

Старик взглянул на друга.

— Кофе? — спросил он.

— Пажалста, — ответил тот. — Я к нему привык.

— Отлично, — сказал Старик. — Значит, два кофе.

Он подозвал официанта.

— Два кофе, — заказал он. — Да, и еще кое-что. Юнец, Уильям, еще пива?

— Мне — да, — ответил Юнец. — Я к нему привык. А вот за своего друга, — он повернулся к Уильяму, — я не могу говорить.

— Пожалуйста, — сказал Уильям. — Я к нему привык.

Ни тот ни другой при этом не улыбнулись.

— Отлично, — сказал Старик. — Официант, два кофе и три пива.

Официант принес заказ, и Старик расплатился. Старик поднял свой стакан и, повернувшись к египтянам, произнес:

— Будьте здоровы.

— Будьте здоровы, — сказал Юнец.

— Будьте здоровы, — сказал Уильям.

Египтяне, казалось, поняли их и подняли свои чашки с кофе.

— Пажалста, — сказал один из них.

— Спасибо, — сказал другой.

Все выпили.

Старик поставил свой стакан и сказал:

— Для нас это честь — находиться в вашей стране.

— Вам нравится?

— Да, — ответил Старик. — Очень нравится.

Снова заиграла музыка, и две толстые женщины в серебристых штанах и лифчиках вышли на бис. Зрелище было сногшибательное. Без сомнения, то была невиданная, поистине замечательная демонстрация владения своим телом и мышцами, ибо, хотя та, которая до этого виляла задом, продолжала делать то же самое, другая, с грудями, застыла, как дуб, в центре помоста, воздев над головой руки. При этом она вертела своей левой грудью по часовой стрелке, а правой — против часовой стрелки. Одновременно она вертела задом, и все это в такт музыке. Постепенно темп музыки возрос, и по мере его нарастания скорости кручения и верчения тоже увеличивались. Некоторые египтяне были настолько заворожены тем, что груди женщины крутятся в противоположных направлениях, что невольно повторяли движения грудей своими руками. Держа перед собой руки, они описывали круги в воздухе. Все топали ногами, кричали от восторга, и две женщины на сцене продолжали улыбаться своими застывшими бесстыжими улыбками.

Но вот все кончилось. Аплодисменты постепенно стихли.

— Замечательно, — сказал Старик.

— Вам понравилось?

— Еще как.

— Эти девушки, — сказал человек с золотым зубом, — они особенные.

Уильям не мог больше сдерживаться. Он перегнулся через столик и спросил:

— Могу я задать вам вопрос?

— Пажалста, — сказал Золотой Зуб. — Пажалста.

— Какие женщины вам нравятся? — спросил Уильям. — Вот такие, — и он показал руками, — тонкие? Или вот такие — толстые?

Золотой зуб ярко сверкнул за широкой улыбкой.

— Я сам, я люблю таких, толстых. — И две пухлые ладошки нарисовали в воздухе большой круг.

— А ваш друг? — спросил Уильям.

— За своего друга, — ответил он, — я не могу говорить.

— Пажалста, — ответил друг. — Вот таких.

Он усмехнулся и нарисовал руками в воздухе толстую женщину.

— А почему вам нравятся толстые? — спросил Юнец.

Золотой Зуб подумал с минуту, а потом спросил:

— А вам нравятся худые, а?

— Пожалуйста, — ответил Юнец. — Мне нравятся худые.

— А почему вам нравятся худые? Скажите мне.

Юнец потер ладонью затылок.

— Уильям, — спросил он, — тебе нравятся худые женщины?

— Мне — да, — ответил Уильям. — Я к ним привык.

— Мне тоже, — сказал Юнец. — Но почему?

Уильям задумался.

— Не знаю, — сказал он. — Сам не знаю, почему нам нравятся худые.

— Ха, — произнес Золотой Зуб. — И вы не знаете.

И он перегнулся через столик и торжествующе сказал Уильяму:

— Вот и я не знаю.

Но Уильяма такой ответ не устроил.

— Старик говорит, — сказал он, — что раньше в Египте все богатые были толстыми, а все бедные — худыми.

— Нет, — сказал Золотой Зуб. — Нет, нет и нет. Посмотрите вон на тех девушек. Очень толстые. Очень бедные. Посмотрите на королеву Египта Фариду. Очень худая. Очень богатая. Так что ошибаетесь.

— Да, но как было в давние времена? — спросил Уильям.

— Что такое — давние времена?

— Ладно, — сказал Уильям. — Оставим это.

Египтяне пили кофе и при этом производили те же звуки, что и вода, которая уходит из ванны. Выпив кофе, они поднялись, чтобы уйти.

— Уходите? — спросил Старик.

— Пажалста, — ответил Золотой Зуб.

— Спасибо, — сказал Уильям.

— Пажалста, — сказал Юнец.

Другой египтянин сказал:

— Пажалста.

А Старик сказал:

— Спасибо.

Они пожали друг другу руки, и египтяне удалились.

— Лопухи, — сказал Уильям.

— Самые настоящие, — согласился Юнец.

Все трое продолжали с удовольствием выпивать до полуночи, пока к ним не подошел официант и не сказал, что заведение закрывается и наливать больше не будут. Они, в общем-то, и не были пьяны, потому что выпивали медленно, и чувствовали в себе силы продолжать.

— Говорит, мы должны уйти.
— Хорошо. А куда пойдём? Куда пойдём, Старик?
— Не знаю. А куда вы хотите?
— Пойдёмте в какое-нибудь заведение вроде этого, — сказал Уильям. — Мне тут понравилось.

Наступила пауза. Юнец поглаживал ладонью затылок.

— Слушай, Старик, — медленно произнес он. — Я знаю, куда хочу пойти. Я хочу пойти к мадам Розетт и спасти всех ее девушек.

— А кто это — мадам Розетт? — спросил Уильям.

— Великая женщина, — ответил Старик.

— Грязная старая сирийская еврейка, — сказал Юнец.

— Паршивая старая сука, — сказал Старик.

— Отлично, — сказал Уильям. — Пошли. Но кто она все-таки такая?

Они объяснили ему, кто она такая, рассказали о телефонных разговорах, о полковнике Хиггинсе, и Уильям сказал:

— Пошли немедленно. Спасем всех девушек.

Они поднялись и вышли. Оказавшись на улице, они вспомнили, что находятся в весьма отдаленной части города.

— Придется немного пройтись, — сказал Старик. — Извозчиков тут нет.

Была темная звездная безлунная ночь. Улица была узкая и неосвещенная. На ней сильно пахло каирским запахом. Они шли в тишине, иногда проходя мимо мужчин, которые стояли в темноте по одному или по двое, прислонившись к стене, и курили.

— Говорил ведь — лопухи, — сказал Уильям.

— Самые что ни на есть, — поддержал его Юнец.

Так они и шагали нога в ногу — коренастый рыжий Старик, высокий темноволосый Юнец и высокий юный Уильям. Последний шел с обнаженной головой, потому что потерял свою фуражку. Они направлялись наугад к центру города и были уверены, что там найдут извозчика, который отвезет их к Розетт.

— А как рады будут девчонки, когда мы их освободим, — сказал Юнец.

— Еще как! — сказал Старик. — Надо будет это отметить.

— Она действительно держит их взаперти? — спросил Уильям.

— Нет, — ответил Старик. — Не совсем так. Но если мы сейчас их освободим, то им, во всяком случае сегодня, не придется работать. Видите ли, сейчас в ее заведении простые девчонки, которые

днем работают в магазинах. Каждая из них совершила какую-нибудь ошибку, которой Розетт либо воспользовалась, либо узнала о ней, а теперь держит их всех на крючке. Она заставляет их приходить к ней вечером. Но они ненавидят ее и не на ее деньги живут. Будь у них возможность, так они бы зубы ей выбили.

— Мы дадим им такую возможность, — сказал Юнец.

Они перешли на другую сторону улицы.

— Слушай, Старик, а сколько там будет девушек? — спросил Уильям.

— Не знаю. Думаю, около тридцати.

— О боже, — сказал Уильям. — Вот это будет вечеринка. Она действительно очень плохо с ними обращается?

— Ребята из тридцать третьей говорили мне, что она им ничего не платит, может, аkerов двадцать за ночь. С каждого клиента она берет сто или двести аkerов. Каждая девушка зарабатывает для Розетт от пятисот до тысячи аkerов за ночь.

— Вот это да! — воскликнул Уильям. — Тысяча пиастров за ночь, и тридцать девушек. Да она, должно быть, миллионерша.

— Самая настоящая. Кто-то прикинул, что, даже если не учитывать другой ее бизнес, она зарабатывает в пересчете на английские деньги тысячи полторы фунтов в неделю. А это... дайте-ка подумать... пять-шесть тысяч фунтов в месяц. Шестьдесят тысяч фунтов в год.

Юнец словно очнулся.

— О господи, — произнес он. — О господи боже мой. Грязная старая сирийская еврейка.

— Паршивая старая сука, — сказал Уильям.

Они оказались в более цивилизованной части города, но извозчиков по-прежнему не было.

— Вы что-нибудь слышали о Доме Марии? — спросил Старик.

— Что еще за Дом Марии? — сказал Уильям.

— Место такое, в Александрии. Мария — это Розетт из Алекса.

— Паршивая старая сука, — сказал Уильям.

— Совсем нет, — возразил Старик. — Говорят, она хорошая женщина. Но как бы то ни было, в Дом Марии на прошлой неделе попала бомба. В порту в то время стоял военный корабль, и в завещении было полно матросов.

— Все убиты?

— Много погибло. И знаете, что было потом? Их объявили погибшими в бою.

— Адмирал — джентльмен, — сказал Юнец.

— Молодчага! — сказал Уильям.

Тут они увидели извозчика и остановили его криками.

— Но мы не знаем адреса, — сказал Юнец.

— Он знает, — сказал Старик. — К мадам Розетт, — добавил он, обращаясь к извозчику.

Извозчик ухмыльнулся и кивнул.

— Править буду я, — сказал Уильям. — Отдай-ка мне поводья, извозчик, а сам садись рядом и говори, куда ехать.

Извозчик поначалу энергично возражал, но, получив от Уильяма десять пиастров, передал ему поводья. Уильям уселся на высокие козлы, а извозчик занял место возле него. Старик и Юнец забрались в повозку.

— Взлет разрешаю, — сказал Юнец.

Уильям тронулся в путь. Лошади помчались галопом.

— Так нельзя! — завопил извозчик. — Так нельзя! Остановитесь!

— В какую сторону к Розетт? — крикнул ему Уильям.

— Остановитесь! — не унимался извозчик.

Уильям был счастлив.

— Розетт! — кричал он. — В какую к ней сторону?

Извозчик принял решение. Он решил, что единственный способ остановить этого безумца — доставить его по месту назначения.

— Сюда! — закричал он. — Налево!

Уильям резко дернул поводья, и лошади свернули налево за угол дома. Коляска повернула на одном колесе.

— Вираж крутоват, — слышался голос Юнца.

— Теперь куда? — крикнул Уильям.

— Налево! — завопил извозчик.

На следующей улице они повернули налево, потом направо, потом еще пару раз свернули налево, потом снова направо, и неожиданно извозчик крикнул:

— Здесь, пажалста, здесь Розетт. Остановитесь.

Уильям с силой натянул поводья, лошади медленно задрали головы и перешли на рысцу.

— Где? — спросил Уильям.

— Здесь, — ответил извозчик. — Пажалста.

Он указал на какой-то дом ярдах в двадцати впереди. Уильям остановил лошадей прямо перед этим домом.

- Отличная работа, Уильям, — сказал Юнец.
- О господи, — сказал Старик. — Ну ты и гнал.
- Все отлично, — сказал Уильям. — А что, не понравилось?

Он был очень счастлив.

Извозчик весь вспотел. Он был слишком напуган, чтобы выражать недовольство.

- Сколько с нас? — спросил Уильям.
- Двадцать пиастров, пажалста.

Уильям дал ему сорок и сказал:

- Большое спасибо. Отличные лошади.

Извозчик взял деньги, вскочил в коляску и укатил. Он постарался уехать как можно быстрее.

Они снова оказались на узкой темной улице, но дома здесь, насколько можно было их разглядеть, казались большими и богатыми. Тот, на который указал извозчик, был широким, с толстыми стенами, в три этажа. Построен дом был из серого бетона. Большая толстая входная дверь была распахнута настежь.

— Теперь предоставьте все мне, — сказал Старик, когда они вошли. — У меня есть план.

Они оказались в сером каменном холле, холодном и пыльном, освещенном одной-единственной электрической лампочкой, свешивавшейся с потолка. В холле стоял человек-гора, огромный египтянин с плоским лицом и двумя изуродованными ушными раковинами. В те времена, когда он был борцом, на афишах он, наверное, значился под именем Абдул Убийца или Паша Отравитель. Теперь же на нем был грязный белый хлопчатобумажный костюм.

- Добрый вечер, — сказал Старик. — Мадам Розетт у себя?

Абдул подозрительно посмотрел на трех летчиков и после некоторого колебания ответил:

- Мадам Розетт на верхнем этаже.
- Спасибо, — сказал Старик. — Большое спасибо.

Юнец отметил, что Старик держится вежливо. Если он так себя ведет, значит кому-то несдобровать. Когда он вел за собой эскадрилью и они, завидев врага, готовились к бою, Старик никогда не отдавал приказа, не сказав «пожалуйста», а получив ответ, неизменно говорил «спасибо». Он только что сказал «спасибо» Абдулу.

Они поднялись по голой каменной лестнице с железными перилами, миновали первую площадку, вторую — в доме было пусто, как в пещере. Наверху, в конце третьего марша, площадки не оказалось; перед ними была стена, и ступеньки вели прямо к двери. Старик нажал на звонок. Они подождали немного, потом в двери отодвинулась планка, и в образовавшейся щели показалась пара небольших черных глаз.

— Чего вам, ребята, надо? — спросил женский голос.

Старик и Юнец узнали этот голос — они слышали его по телефону.

— Мы бы хотели повидать мадам Розетт, — сказал Старик.

Слово «мадам» он произнес на французский манер, потому что был вежлив.

— Вы офицеры? Здесь обслуживают только офицеров, — произнес голос.

Она издавала звуки, напоминающие треск ломающейся доски.

— Да, — сказал Старик. — Мы офицеры.

— Что-то вы не похожи на офицеров. В каких войсках служите?

— ВВС Великобритании.

Наступила пауза. Старик понял, что она раздумывает. Наверное, уже имела неприятности с летчиками. Он надеялся, что она не разглядит Уильяма и особенно блеска в его глазах, ибо Уильям еще не пришел в себя, после того как они прокатились в коляске. Неожиданно планка задвинулась, и дверь открылась.

— Ладно, заходите, — сказала она.

Эта женщина была очень жадной и потому не слишком разборчивой с клиентами.

Они вошли и теперь увидели ее всю. Низкого роста, толстая, с прядями сальных нечесаных черных волос на лбу, лицо крупное, цвета грязи, большой широкий нос и маленький ротик, как у рыбы, с черными усиками над верхней губой. На ней было черное атласное платье свободного покроя.

— Заходите в контору, мальчики, — сказала она и, переваливаясь с боку на бок, пошла по коридору налево.

Коридор был длинный и широкий, ярдов пятьдесят в длину и четыре-пять ярдов в ширину. Он тянулся посередине дома, параллельно улице, и, поднявшись по лестнице, нужно было повернуть налево, чтобы пройти по этому коридору. По обеим его сторонам было по восемь-десять дверей. Если, поднявшись по лест-

нице, поворачивали направо, то оказывались в конце коридора, но и там была одна дверь, и, когда они проходили мимо, за этой дверью слышалось журчание женских голосов. Старик отметил про себя, что в этой комнате девушки переодеваются.

— Сюда, мальчики, — сказала Розетт.

Она повернула налево и зашагала по коридору, удаляясь от двери, за которой слышались голоса. Трое летчиков шли за ней следом — первым был Старик, потом Юнец, за ним Уильям. Они шли по коридору, устланному красным ковром. С потолка свисали огромные розовые абажуры. Они прошли примерно половину коридора, когда из той комнаты, где девушки переодевались, раздался крик. Розетт остановилась и оглянулась.

— Вы, мальчики, идите в контору, — сказала она, — это последняя дверь налево. Я мигом вернусь.

Она повернулась и направилась обратно к комнате, откуда был слышен крик. Однако они не пошли в контору, а, оставшись на месте, стали смотреть ей вслед. В тот самый момент, когда она подошла к гардеробной, дверь распахнулась и в коридор выбежала девушка. С того места, где они стояли, им было видно, что ее белокурые волосы растрепаны. На ней было измятое зеленое вечернее платье. Увидев перед собой Розетт, она остановилась. Они услышали, как Розетт сердито и быстро что-то сказала, а девушка громко ей ответила. Потом они увидели, как Розетт подняла правую руку и ладонью со всего размаха ударила девушку по лицу. Затем ударила еще раз по той же щеке. Била она сильно. Девушка подняла руки к лицу и расплакалась. Розетт открыла дверь в комнату и втолкнула девушку внутрь.

— О господи, — произнес Старик. — Тяжелая рука.

— У меня тоже, — сказал Уильям.

Юнец промолчал.

Вернувшись к ним, Розетт сказала:

— Пошли, мальчики. Небольшие неприятности, только и всего.

Дойдя до конца коридора, они вошли вслед за ней в последнюю дверь слева. Это и была контора — комната средних размеров с двумя красными плюшевыми диванами, двумя или тремя красными плюшевыми креслами и толстым красным ковром на полу. В одном углу стоял небольшой письменный стол, за который Розетт и села лицом к двери.

— Присаживайтесь, мальчики, — сказала она.

Старик сел в кресло, Юнец и Уильям — на диван.

— Итак, — сказала она. — Перейдем к делу.

В ее голосе появились резкие, нетерпеливые нотки.

Старик подался вперед. Его короткие рыжие волосы выглядели нелепо на фоне ярко-красного плюша.

— Мадам Розетт, — сказал он, — для нас огромное удовольствие познакомиться с вами. Мы так много о вас слышали.

Юнец бросил взгляд на Старика. Тот снова стал вежливым. Розетт тоже смотрела на него, при этом в ее маленьких черных глазах было подозрение.

— Поверьте мне, — продолжал Старик, — мы действительно уже довольно давно с нетерпением ждали этой встречи.

Его голос звучал так приятно и он был так вежлив, что Розетт приняла его поведение за чистую монету.

— Рада слышать это, мальчики, — сказала она. — Вы всегда можете хорошо провести здесь время. Я об этом позабочусь. А теперь к делу.

Уильям не мог больше ждать.

— Старик говорит, что вы великая женщина, — медленно произнес он.

— Спасибо, мальчики.

— И еще Старик говорит, что вы грязная старая сирийская еврейка, — сказал Юнец.

— Старик говорит, что вы паршивая старая сука, — быстро добавил Уильям.

— А я знаю, что говорю, — сказал Старик.

Розетт вскочила с места.

— Это еще что такое? — заорала она.

Теперь лицо ее было не цвета грязи, а цвета красной глины. Мужчины не двигались. Они не улыбались и не смеялись, а сидели спокойно, немного подавшись вперед, и смотрели на нее.

Розетт уже имела раньше неприятности, много неприятностей, и знала, как справиться с ними. Но на этот раз случилось нечто новое. Похоже, они не были пьяны, речь не шла о деньгах или о какой-нибудь из ее девушек. Речь шла о ней самой, а ей это не нравилось.

— Убирайтесь вон, — закричала она. — Убирайтесь, если не хотите скандала.

Но они не двигались с места.

Она выждала какое-то время, потом выскочила из-за стола и направилась к двери. Но Старик опередил ее, и, когда она набросилась на него, Юнец и Уильям схватили ее сзади за руки.

— Запрет ее, — сказал Старик. — И уходим.

Она совсем раскричалась, а слова, которые при этом употребляла, невозможно передать, потому что это были ужасные слова. Они выплескивались из ее маленького, рыбьего рта одним длинным непрерывным пронзительным криком, а вместе с ними вылетала слюна, которую она обращала в плевки. Юнец и Уильям подтолкнули ее к одному из больших кресел. Она сопротивлялась и кричала, как большая жирная свинья, которую волокут на бойню. Подведя к креслу, они резко подтолкнули ее, и она упала на него спиной. Юнец подскочил к столу, быстро нагнулся и выдернул телефонный шнур. Старик открыл дверь, и все трое выскочили в коридор, прежде чем Розетт успела подняться. Старик вынул ключ с внутренней стороны двери и запер ее снаружи. Они стояли в коридоре.

— О господи! — воскликнул Старик. — Ну и женщина!

— Совсем бесится, — сказал Уильям. — Вы только послушайте.

Они прислушались. Женщина сначала кричала, потом стала колотить в дверь, не переставая при этом вопить совсем не женским голосом. Это был голос разъяренного быка, способного издавать членораздельные звуки.

— Теперь быстро к девушкам, — сказал Старик. — Следуйте за мной. Настройтесь на серьезный лад. На самый серьезный.

Он побежал по коридору к гардеробной, Юнец и Уильям устремились следом за ним. Перед дверью он остановился, остановились и двое других. Слышно было, как Розетт вопит в конторе.

— Ничего не говорите, — сказал Старик. — И будьте серьезны.

И он открыл дверь и вошел в комнату.

Там было около дюжины девушек. Они все уставились на него. Их разговоры прервались на полуслове. Все глаза были прикованы к Старику, стоявшему у дверей. Щелкнув каблуками, он сказал:

— Военная полиция. *Les Gendarmes Militaires*.

Он произнес это строгим голосом, с самым серьезным выражением лица, стоя в дверях по стойке смирно. Фуражку он не снял. Юнец и Уильям находились за его спиной.

— Военная полиция, — повторил он.

Он достал свое удостоверение и, держа его двумя пальцами, показал девушкам. Те не двигались и ничего не говорили, замерев в позах, в которых их застали летчики. Настоящая живая картина. Одна из них натягивала чулок, да так и застыла: сама сидит на стуле, вытянув ногу, чулок надет до колена, руки держат чулок. Другая причесывалась перед зеркалом, а обернувшись, так и замерла с поднятыми руками. Третья красила губы; она подняла глаза на Старика, а помаду по-прежнему держала у рта. Несколько девушек просто сидели на некрашенных деревянных стульях и ничем не были заняты. Они повернули головы в сторону двери, но продолжали сидеть. По большей части они были в блестящих вечерних платьях; одна или две оставались полуодетыми, но на большинстве были все-таки зеленые, голубые, красные или золотые блестящие платья. Обернувшись в сторону Старика, они так и застыли — словом, живая картина.

Старик помолчал. Потом сказал:

— Должен заявить от имени властей — мы сожалеем, что вынуждены вас потревожить. Примите мои извинения, барышни. Однако вам надлежит пойти со мной для регистрации и всего такого прочего. После этого вы сможете уйти. Это простая формальность. А теперь прошу вас следовать за мной. С мадам я переговорил.

Старик умолк, но девушки по-прежнему не двигались.

— Прошу вас, — сказал Старик, — одевайтесь. Мы люди военные.

Он отступил на шаг и открыл дверь. Неожиданно картина ожила, девушки поднялись со своих мест. Некоторые выражали недоумение, другие что-то бормотали, а две или три направились к двери. За ними последовали остальные. Те, кто не успел одеться до прихода летчиков, быстро надели платья, пригладили волосы руками и также пошли к дверям. Пальто ни у кого из них не было.

— Пересчитай их, — сказал Старик Юнцу, когда девушки одна за другой стали выходить из гардеробной.

Юнец сосчитал вслух — их было четырнадцать.

— Четырнадцать, сэр, — доложил Юнец, как это сделал бы эскадронный старшина.

— Хорошо, — сказал Старик и повернулся к девушкам, которые столпились в коридоре. — А теперь, барышни, послушайте меня. У меня есть список с вашими именами, которые мне дала мадам,

так что прошу не разбегаться. И не волнуйтесь. Это простая формальность военного времени.

Уильям был в коридоре. Открыв дверь, которая вела на лестницу, он вышел первым. За ним последовали девушки, а замыкали шествие Старик и Юнец. Девушки вели себя тихо. Некоторые были озадачены и взволнованы, некоторые немного напуганы, но никто из них ничего не говорил. Лишь высокая черноволосая девушка сказала:

— *Mon Dieu*¹, формальность военного времени. *Mon Dieu, mon Dieu*, что же дальше-то будет.

Но этим все и кончилось, и они пошли дальше. В холле они столкнулись с египтянином с плоским лицом и изуродованными ушами. Поначалу показалось, что неприятностей не избежать, однако Старик сунул ему в лицо свое удостоверение и сказал:

— Военная полиция.

И тот так удивился, что беспрепятственно пропустил их.

Когда они оказались на улице, Старик сказал:

— Придется немного пройти пешком, но очень немного.

И они повернули направо и пошли по тротуару. Впереди шествовал Старик, сзади — Юнец, а Уильям шагал по мостовой, охраняя фланг. Появилась луна, и было видно довольно хорошо. Уильям старался идти в ногу со Стариком, а Юнец старался идти в ногу с Уильямом. Все трое размахивали руками, высоко держали головы и казались военными хоть куда, да и вообще зрелище было еще то. Четырнадцать девушек в блестящих вечерних платьях, четырнадцать девушек, шагающих под луной в своих сверкающих голубых, красных, черных и золотых туалетах, при этом Старик идет впереди, Уильям рядом, а Юнец замыкает процессию. Зрелище было еще то.

Девушки начали болтать. Старик слышал их, но не оборачивался. Он продолжал шагать во главе колонны, а когда они подошли к перекрестку, повернул направо. Остальные последовали за ним, и, пройдя ярдов пятьдесят вдоль ряда домов, они подошли к египетскому кафе. Старик увидел его первым, и он же обратил внимание на то, что сквозь затемненные окна пробивается свет.

— Стой! — обернувшись, крикнул он.

Девушки остановились, но продолжали болтать. Было очевидно, что в их рядах зреет недовольство. Трудно заставить четырна-

¹ Боже мой (*фр*)

дцать девушек шагать с вами по всему городу на высоких каблуках и в блестящих вечерних платьях. Долго, во всяком случае, они идти не станут, ни за что на свете, даже если это формальность военного времени. Старик знал, что так и будет, и произнес следующее.

— Барышни, — сказал он, — слушайте меня.

Однако в рядах все зрело недовольство, и девушки продолжали болтать, а высокая черноволосая говорила:

— *Mon Dieu*, да что же это такое? Что же это происходит, о *mon Dieu*?

— Тихо! — сказал Старик. — Тихо!

Во второй раз он произнес это слово командным тоном. Разговоры прекратились.

— Барышни, — продолжал он.

Он опять стал вежливым. Он говорил с ними так, как только он и умеет, а когда Старик был вежлив, никто не мог перед ним устоять. Происходило нечто удивительное, потому что в его голосе звучала улыбка, тогда как губы не улыбались. В голосе звучала улыбка, а лицо оставалось серьезным. Воздействие было очень сильное, потому что у людей складывалось впечатление, будто он всерьез старается казаться приятным.

— Барышни, — заговорил он, и в его голосе прозвучала улыбка. — У военных всегда находится какая-нибудь формальность. Избежать этого нельзя. Я чрезвычайно об этом сожалею. Но есть ведь и такая вещь, как рыцарство. И вы должны знать, что особенно оно характерно для ВВС Великобритании. Поэтому всем нам доставит удовольствие, если вы зайдете вместе с нами в это заведение и выпьете по стакану пива.

Он распахнул дверь кафе и сказал:

— О господи, да давайте же выпьем. Кто хочет выпить?

И тут девушки поняли, что к чему, притом поняли все разом. А сообразив, удивились и задумались. Потом они переглянулись, посмотрели на Старика, на Юнца и на Уильяма, а когда смотрели на двух последних, то увидели в их глазах смех. Все девушки рассмеялись, рассмеялись и Уильям с Юнцом, а потом все вошли в кафе.

Высокая черноволосая девушка взяла Старика за руку и сказала:

— *Mon Dieu*, военная полиция, *mon Dieu*, о *mon Dieu*.

И, откинув голову назад, она рассмеялась, и Старик рассмеялся вместе с ней.

— Со стороны военных это проявление рыцарства, — сказал Уильям, и они тоже пошли в кафе.

Заведение оказалось примерно таким же, как то, в котором они были до этого, — деревянные столы и стулья, пол, посыпанный опилками. Несколько египтян в красных фесках пили кофе. Уильям и Юнец составили три круглых стола и принесли стулья. Девушки расселись. Египтяне, сидевшие за другими столиками, поставили чашки, обернулись, не вставая со своих стульев, и стали на них глазеть. Они глазели на них, как жирные рыбы, выглядывающие из ила. Некоторые даже переставили стулья, чтобы лучше было видно вновь пришедших.

Подошел официант, и Старик сказал ему:

— Пиво для семнадцати человек. Принеси-ка нам всем пива.

Официант произнес «пажалста» и удалился.

Они сидели в ожидании пива и смотрели друг на друга: девушки на троих летчиков, а летчики на девушек.

— Это и есть рыцарство по-военному, — сказал Уильям.

А черноволосая высокая девушка все приговаривала:

— *O mon Dieu*, вы ненормальные, *o mon Dieu*.

Официант принес пиво. Уильям поднял свой стакан и сказал:

— За рыцарство военных.

На что темноволосая девушка откликнулась:

— *O mon Dieu*.

Юнец ничего не говорил. Он был занят тем, что рассматривал девушек, оценивал их, пытаясь решить для себя, какая ему больше нравится, с тем чтобы тотчас приступить к делу. Старик между тем продолжал улыбаться. Девушки сидели в своих блестящих вечерних платьях — красных, золотых, голубых и зеленых, черных и серебряных, и опять возникло впечатление, будто это живая картина. Конечно, это была картина: сидят девушки, потягивают пиво, выглядят счастливыми, не испытывают более никаких подозрений, потому что они все поняли так, как нужно.

— О господи, — проговорил Старик.

Он поставил свой стакан и огляделся.

— О господи, да вас тут на целую эскадрилью хватит. Как бы я хотел, чтобы ребята были здесь!

Он сделал еще один глоток и вдруг отставил стакан.

— Знаю, что надо делать, — сказал он. — Официант, эй, официант!

— Пажалста.

— Принесите мне большой лист бумаги и карандаш.

— Пажалста.

Официант удалился и вскоре вернулся с листом бумаги. Вынув карандаш из-за уха, он вручил его Старику. Старик ударил по столу, призывая к тишине.

— Барышни, — сказал он, — еще одна формальность, на этот раз последняя. Больше формальностей не будет.

— Со стороны военных, — сказал Уильям.

— *O mon Dieu*, — произнесла черноволосая девушка.

— Дело пустяковое, — сказал Старик. — Вы должны написать на этом листе бумаги свое имя и номер телефона. Это для моих друзей из эскадрильи. Хочу, чтобы и они были счастливы, как вот я сейчас, но только без тех сложностей, через которые нам пришлось пройти.

В голосе Старика опять прозвучала улыбка. Девушкам явно нравился его голос.

— Вы окажете очень большую любезность, если сделаете то, что я прошу, — продолжал он, — потому что и они хотели бы познакомиться с вами. Для них это будет удовольствием.

— Замечательно, — произнес Уильям.

— Ненормальные, — сказала черноволосая девушка, но и она написала на бумаге свое имя и номер телефона и пустила бумагу дальше по кругу.

Старик заказал еще всем по пиву. Девушки выглядели забавно в своих платьях. Между тем все записали свои имена. Вид у них был довольный, а вот Юнец казался серьезным, потому что проблема выбора была сложной и это омрачало его существование. Девушки были симпатичными, молодыми и симпатичными, все разные, очень разные, потому что среди них были и гречанки, и сирийки, и француженки, и итальянки, и светлокожие египтянки, и югославки, и представительницы других национальностей, но они были симпатичными, все как одна, симпатичными и привлекательными.

Лист бумаги вернулся к Старику; все девушки на нем расписались. Четырнадцать имен причудливым почерком, четырнадцать телефонных номеров. Старик не спеша ознакомился со списком.

— Этот список будет висеть на доске объявлений, — сказал он, — а на меня будет смотреть как на великого благодетеля.

— Да в штаб его надо отправить, — сказал Уильям. — Распечатать на ротаторе и разослать по всем эскадрильям. Для поддержания боевого духа.

— *O mon Dieu*, — проговорила черноволосая девушка. — Да вы ненормальные.

Юнец медленно поднялся, взял свой стул и, обойдя с ним стол, втиснул его между стульями двух девушек.

— Извините, — только это он и сказал. — Не возражаете, если я здесь присяду?

В конце концов он принял решение. Повернувшись к девушке, что сидела справа от него, он спокойно принялся за дело. Она была очень хороша: очень темная, очень симпатичная и очень стройная. Повернувшись к девушке и подперев подбородок рукой, Юнец заговорил с ней, совершенно забыв об остальных. Глядя на него, несложно было понять, почему он считался лучшим летчиком в эскадрилье. Он был молод, этот Юнец, но он умел концентрироваться, умел собраться и идти к цели строго по прямой. Оказавшись на извилистых дорогах, он тщательно распрямлял их и затем двигался по ним с огромной скоростью, и ничто не могло остановить его. Вот таким он был. А теперь он разговаривал с красивой девушкой, но никто не слышал, что он ей говорит.

Старик между тем задумался. Он раздумывал над тем, каков будет его следующий шаг. Когда все допивали по третьему стакану пива, он снова стукнул по столу, призывая к тишине.

— Барышни, — сказал он, — для нас будет удовольствием проводить вас домой. Я беру с собой пять человек, — он уже все рассчитал, — Юнец тоже пять, а Лихач — четырех. Мы возьмем трех извозчиков, пять девушек я посажу в свою коляску и быстро развезу вас по домам.

— Это и есть рыцарство военных, — сказал Уильям.

— Юнец... — сказал Старик. — Эй, Юнец, тебя это устраивает? Ты возьмешь пять девушек. Тебе решать, кого высадишь последней.

Юнец оглянулся.

— Да, — ответил он. — Хорошо. Меня это устраивает.

— Уильям, ты возьмешь четырех. Каждую довезешь до дому. Понял?

— Еще как понял, — ответил Уильям. — Будет сделано.

Все поднялись и направились к двери. Высокая черноволосая девушка взяла Старика за руку и спросила:

— Ты возьмешь меня с собой?

— Да, — ответил он. — Возьму.

— А высадишь меня последней?

— Да. Высажу тебя последней.

— *O mon Dieu*, — сказала она. — Это просто замечательно.

Выйдя на улицу, они взяли три экипажа и разбились на группы. Юнец не терял времени. Быстро усадив своих девушек в коляску, он взобрался туда вслед за ними, и Старик видел, как они отъехали. Потом он видел, как отъехал экипаж Уильяма, при этом ему показалось, что лошади дернулись резко и едва ли не с места помчались галопом. Старик посмотрел внимательнее и увидел, что Уильям сидит на козлах с поводьями в руках.

— Поехали, — сказал Старик.

Пять его девушек заняли места в коляске. Было тесно, но все поместились. Старик тоже сел и тут почувствовал, как кто-то берет его под руку. Это была высокая черноволосая девушка. Он обернулся к ней.

— Привет, — сказал он. — Ну привет.

— Ах, — прошептала она. — Какие же вы ненормальные, черт побери.

У Старика потеплело внутри, и он принялся напевать некую мелодию, прислушиваясь к тому, как коляска грохочет по темным улицам.

КАТИНА

*(Заметки о последних днях истребителей ВВС Великобритании
во время первой греческой кампании)*

Питер увидел ее первым.

Она совершенно неподвижно сидела на камне, положив руки на колени, и отсутствующим взором смотрела перед собой, ничего не видя. А вокруг нее по маленькой улочке взад-вперед сновали люди с ведрами воды. Воду они выплескивали в окна горящих домов.

На бульжной мостовой лежал мертвый мальчик. Кто-то оттащил его тело в сторону, чтобы оно никому не мешало.

Чуть поодаль старик разбирал кучу камней и бульжников. Он оттаскивал камни по одному и складывал их на обочине. Время от времени он наклонялся и всматривался в развалины, снова и снова повторяя чье-то имя.

Все вокруг кричали, бегали с ведрами воды, стараясь затушить огонь. Пыль стояла столбом. А девочка преспокойно сидела на камне и смотрела прямо перед собой, не двигаясь. По ее левой щеке со лба бежала струйка крови и капала с подбородка на грязное ситцевое платье.

Увидев ее, Питер сказал:

— Посмотрите-ка вон на ту девчущку.

Мы подошли к ней. Киль положил руку ей на плечо и склонился над ней, чтобы получше рассмотреть рану.

— Похоже на шрапнель, — сказал он. — Надо бы показать ее врачу.

Мы с Питером сплели руки. Киль поднял девочку и усадил ее нам на руки, как на стул. Мы пошли по улицам к аэродрому. Идти нам с Питером было довольно неудобно, потому что мы нагнулись над ношей. Я чувствовал, как пальцы Питера крепко сжимают мои, и совсем не чувствовал ягодиц маленькой девочки на моих запястьях, такие они были легкие. Я был слева от нее, и кровь капала с ее лица на рукав моего комбинезона, а с непромокаемой материи

стекала на тыльную сторону руки. Девочка не двигалась и так ничего и не говорила.

— У нее довольно сильное кровотечение, — сказал Киль. — Надо бы прибавить шагу.

Я не очень-то хорошо разглядел ее лицо, потому что левая половина его была в крови, но было ясно, что она симпатичная — высокие скулы и большие круглые глаза, бледно-голубые, как осеннее небо. Белокурые волосы коротко подстрижены. Думаю, ей было лет девять.

Это было в Парамитии, в Греции, в начале апреля 1941 года. Наша истребительная эскадрилья базировалась на грязном поле близ деревни. Мы расположились в глубокой долине. Вокруг нас были горы. Холодная зима кончилась, и не успел никто разобраться, что к чему, как пришла весна. Она пришла тихо и быстро, растопив лед на озерах и сметя снег с горных вершин. Вокруг аэродрома пробивались сквозь грязь травинки — бледно-зеленый взлетно-посадочный ковер. В нашей долине дули теплые ветры и росли полевые цветы.

Пройдя несколькими днями ранее через Югославию, немцы теперь вели наступление крупными силами. Днем очень высоко в небе появились тридцать пять «дорнье»¹. Они сбросили бомбы на деревню. Питер, Киль и я были в это время свободны, и мы втроем отправились туда посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь. Несколько часов мы копались в развалинах, помогали тушить огонь и уже собирались возвращаться, когда заметили девочку.

Подходя к летному полю, мы увидели, как в небе кружатся «харрикейны», собираясь садиться. Врач, как ему и подобает, стоял перед входом в палаточный медпункт в ожидании раненых. Мы направились в его сторону с девочкой, и Киль, шедший впереди нас, сказал ему:

— Доктор, старый ты лентяй, вот тебе работенка.

Врач был молод и добр, а будучи непьяным, мрачнел. Выпив, он очень хорошо пел.

— Отнесите ее в палатку, — сказал он.

Мы с Питером внесли ее внутрь и посадили на стул, после чего побрели к выходу, чтобы посмотреть, как дела у парней.

¹ Средний бомбардировщик До-217, по имени немецкого авиаконструктора К. Дорнье (1884–1969).

Смеркалось. На западе, за хребтом, был виден закат. В небе поднималась полная луна — «луна бомбардировщиков». Лунный свет освещал палатки со всех сторон, отчего те казались белыми — маленькие белые квадратные пирамиды, теснящиеся небольшими аккуратными группами по краям аэродрома. Стоят, прижавшись друг к другу, точно перепуганные овцы, а то и живые люди, — так тесно они друг к другу прижимались. Казалось, они знали, что быть беде, будто кто-то предупредил их, что их могут забыть и оставить здесь. Я смотрел на них, и мне почудилось, будто они шевелятся. Мне показалось, что они прижимаются друг к другу еще теснее.

И тут совершенно неожиданно и горы чуть теснее обступили нашу долину.

В следующие несколько дней было много полетов. Вставать приходилось на рассвете, потом вылет, воздушный бой и сон; и еще отступление армии. Это почти все. Или все, на что уходило время. Но на третий день облака закрыли горы и опустились в долину. И пошел дождь. Мы сидели в палаточной столовой, пили пиво и рецину¹, а дождь между тем стучал по крыше, как швейная машинка. Потом обед. Впервые за многие дни собралась вся эскадрилья. Пятнадцать летчиков за длинным столом сидят на скамейках по обеим его сторонам, а во главе сидит Шеф, наш командир.

Только мы приступили к жареной солонине, как у входа хлопнул брезент и вошел врач в огромном плаще с капюшоном. С плаща текла вода. А под плащом была девочка. У нее была перевязана голова.

— Привет, — сказал врач. — Со мной гость.

Мы обернулись и неожиданно все встали как по команде.

Врач снял свой плащ, и маленькая девочка осталась стоять, вытянув руки по бокам. Она смотрела на мужчин, а мужчины смотрели на нее. Со своими белокурыми волосами и бледной кожей она менее всего походила на гречанку, я, во всяком случае, таких гречанок никогда не видел. Пятнадцать неопрятных на вид иностранцев, которые неожиданно поднялись, когда она вошла, внушали ей страх, и с минуту она стояла полуобернувшись, будто собиралась выбежать под дождь.

— Привет, — сказал Шеф. — Ну, привет. Проходи, садись.

¹ Греческое вино, крепкое и смолистое.

— Говорите по-гречески, — сказал врач. — Она вас не понимает. Киль, Питер и я переглянулись, и Киль сказал:

— О господи, да это же наша маленькая девочка. Отличная работа, доктор.

Она узнала Киля и подошла к нему. Он взял ее за руку и сел на скамейку. Остальные тоже сели. Мы дали ей немного жареной солонины. Она стала медленно есть, не отрывая глаз от тарелки.

— Подать сюда Перикла, — сказал Шеф.

Перикл, грек, был переводчиком, прикрепленным к эскадрилье. Замечательный был человек. Мы нашли его в Янине, где он работал учителем в местной школе. С начала войны у него не было работы.

— Дети не ходят в школу, — говорил он. — Они уходят воевать в горы. Я не могу преподавать арифметику камням.

Вошел Перикл. Он был старый, с бородой, с длинным острым носом и грустными серыми глазами. Рта не было видно, но, когда он говорил, казалось, что улыбается его борода.

— Спросите, как ее зовут, — сказал Шеф.

Тот произнес что-то по-гречески. Девочка подняла глаза и ответила:

— Катина.

Только это она и сказала.

— Послушай-ка, Перикл, — попросил Питер, — спроси у нее, зачем она сидела на груде этих развалин в деревне.

— Да оставьте вы ее в покое, ради бога, — сказал Киль.

— Давай, Перикл, спрашивай, — повторил Питер.

— Что я должен спросить? — нахмурившись, сказал Перикл.

— Зачем она сидела на груде развалин в этой деревне, когда мы ее нашли?

Перикл опустился на скамью рядом с девочкой и снова заговорил с ней. Говорил он ласково, и видно было, как при этом улыбается и его борода. Он подбадривал девочку. Она слушала его и, казалось, раздумывала, прежде чем ответить. Потом произнесла лишь несколько слов, которые старик и перевел:

— Она говорит, что под камнями осталась ее семья.

Дождь зарядил еще сильнее. Он стучал по крыше палаточной столовой так, что брезент трясся от напора воды. Я встал и, подойдя к выходу, поднял кусок брезента. Гор из-за дождя не было вид-

но, но я знал, что они окружают нас со всех сторон. Мне казалось, будто они смеются над нами, смеются над тем, как нас мало, и еще над тем, что храбрость наших летчиков бессмысленна. Я чувствовал, что горы умнее нас. Разве это не они повернулись сегодня утром к северу в сторону Тепелена¹, где увидели тысячу немецких самолетов, собравшихся под сенью Олимпа? Разве не правда, что снег над Додоной² растаял за день и по летному полю побежали ручейки? Разве Катафиди³ не спрятал голову в облаке, так что наши летчики, если и решатся на полет сквозь белизну, разобьются о его твердые плечи?

Я стоял и смотрел на дождь. Я точно знал, что теперь горы против нас, — чувствовал это нутром.

Вернувшись в палатку, я увидел, что Киль сидит рядом с Катиной и учит ее английским словам. Не знаю, преуспел ли он в этом, но он рассмешил ее, и то, что ему это удалось, замечательно. Помню, как она вдруг звонко рассмеялась. Мы все обернулись в ее сторону и увидели совершенно другое выражение лица. Только Киль мог сделать это, никто другой. Он был таким веселым, что трудно было сохранять серьезность в его присутствии. Этот веселый высокий черноволосый человек сидел на скамейке и, подавшись вперед, что-то негромко говорил и при этом улыбался. Он учил Катину говорить по-английски. Он учил ее смеяться.

На следующий день небо прояснилось, и мы снова увидели горы. Мы патрулировали войска, которые медленно отступали в направлении Фермопил, и столкнулись с «мессершмиттами» и пикировавшими на пехоту Ю-87. Кажется, мы подбили несколько машин, но они сбили Сэнди. Я видел, как он падает. С полминуты я сидел не двигаясь и наблюдал за тем, как его самолет по спирали идет вниз. Я сидел и ждал, когда он выпрыгнет с парашютом. Помню, я включил связь и тихо произнес: «Сэнди, давай прыгай. Да прыгай же. Земля уже совсем близко». Но парашюта не было видно.

Приземлившись и вырулив к месту стоянки, мы увидели Катину, которая стояла около медпункта с врачом, — крохотулька

¹ Город в Албании

² Древнегреческий город в Эпире (область на северо-западе Греции, граничит с Южной Албанией)

³ Гора в хребте Пинд

в грязном ситцевом платье. Она стояла и смотрела, как приземляются самолеты. Когда к ней подошел Киль, она сказала:

— *Tha girisis xana.*

— Что это значит, Перикл? — спросил Киль.

— Просто — «ты снова вернулся», — ответил Перикл и улыбнулся.

Когда самолеты взлетали, девочка сосчитала их на пальцах и теперь обратила внимание, что одного самолета не хватает. Мы снимали с себя парашюты, а она все пыталась нас спросить об этом, и тут кто-то вдруг сказал:

— Смотрите. Вон они.

Они вынырнули из просвета между холмами — масса тонких черных силуэтов приближалась к аэродрому.

Все бросились к окопам для укрытия; помню, как Киль подхватил Катину под мышку и побежал за нами, а она всю дорогу вырывалась, точно тигренок.

Едва мы оказались в окопах и Киль отпустил ее, как она выскочила наружу и бросилась бежать. Опустившись так низко, что можно было разглядеть носы летчиков под очками, «мессершмитты» открыли огонь из пулеметов. Вокруг вскипали облачка пыли, и я увидел, как запылал один из наших «харрикейнов». Я смотрел на Катину, стоявшую прямо посреди поля. Расставив ноги, она твердо стояла на земле к нам спиной и смотрела вверх на немцев, пронесившихся мимо нее. В жизни я не видел такого маленького человечка, такого сердитого и грозного. Казалось, она кричит на них, но шум стоял такой, что слышны были только гул двигателей и стрельба авиационных пулеметов.

А потом все кончилось. Все кончилось так же внезапно, как и началось, и тут Киль сказал, пока другие молчали:

— Никогда бы так себя не повел, никогда. Даже если бы с ума сошел.

В тот же вечер Шеф подсчитал, сколько нас осталось в эскадрилье, и добавил имя Катины к списку личного состава, а начальнику материально-технического обеспечения было приказано выдать ей палатку. Таким образом, 11 апреля 1941 года она вошла в списочный состав нашей эскадрильи.

Спустя два дня она знала имена или клички всех летчиков, а Киль уже выучил ее говорить «удачно слетал?» и «отличная работа».

Но время было очень напряженное, и, когда я пытаюсь восстановить события час за часом, в голове у меня образуется туман. Главным образом, помнится, мы сопровождали «бленхеймы» к Валлоне, или же атаквали с бреющего полета итальянские грузовики на албанской границе, или получали сигнал бедствия от Нортумберлендского полка, гласивший, что их бомбит едва ли не половина самолетов, имеющих в Европе, и у них там творится черт знает что.

Ничего этого я не помню. Толком вообще ничего не помню, если не считать Катинь. Помню, как она была с нами все это время, как была всюду и, куда бы ни пришла, ей всегда были рады. Еще помню, как Бык зашел однажды вечером в столовую после одиночного патрулирования. Бык был огромным человеком с широкими, слегка сутулыми плечами, а грудь его напоминала дубовую столешницу. До войны он много чем занимался, в основном тем, на что человек может пойти, лишь заранее уверившись, что нет разницы между жизнью и смертью. Он вел себя тихо и незаметно и в комнату или в палатку всегда заходил с таким видом, будто делает что-то не так и, вообще-то, он вовсе и не собирался заходить. Темнело. Мы сидели за столом и играли в шафлборд, и тут вошел Бык. Мы знали, что он только что приземлился.

Он огляделся с несколько извиняющимся видом, а потом сказал:

— Привет.

После чего подошел к стойке и потянулся за бутылкой пива.

— Бык, ты ничего не видел? — спросил кто-то.

— Видел, — ответил Бык, продолжая возиться с бутылкой пива.

Наверное, мы все были увлечены шафлбордом, потому что в последующие минут пять никто не произнес ни слова. А потом Питер спросил:

— И что же ты видел, Бык?

Бык стоял, облокотившись о стойку. Он то потягивал пиво, то дул в пустую бутылку, отчего та гудела.

— Так что ты видел?

Бык поставил бутылку и посмотрел на него.

— Пять «С — семьдесят девярых», — сказал он.

Помню, я слышал, как он это произнес, но помню и то, что игра шла интересная и Киль должен был выиграть еще одну партию. Мы все наблюдали за тем, как он ее проигрывает.

— Киль, по-моему, ты проиграешь, — сказал Питер.

А Киль ему на это ответил:

— Да иди ты к черту.

Мы закончили игру. Я поднял глаза и увидел, что Бык по-прежнему стоит, прислонившись к стойке, и заставляет гудеть бутылку.

— Звук такой, будто «Мавритания»¹ заходит в нью-йоркскую гавань, — сказал он и снова загудел своей бутылкой.

— А что случилось с «С — семьдесят девятыми»? — спросил я.

Он отставил бутылку в сторону:

— Я их сбил.

Все это услышали. В ту минуту одиннадцать летчиков, находившиеся в палатке, оторвались от того, чем занимались, одиннадцать голов повернулись в сторону Быка, и все устали на него. Он еще глотнул пива и тихо произнес:

— В воздухе я насчитал восемнадцать парашютов.

Спустя несколько дней он вылетел на боевое патрулирование и больше не вернулся.

Вскоре после этого Шеф получил предписание из Афин. В нем говорилось, что эскадрилья должна перебазироваться в Элевсин и вести оттуда оборону самих Афин, а также обеспечивать прикрытие войск, отступающих через горный проход Фермопилы.

Катина должна была отправиться с грузовиками. Мы поручили врачу проследить за тем, чтобы она добралась благополучно. На поездку у них должен был уйти один день. Нас было четырнадцать, и, перелетев через горы к югу, в половине третьего мы приземлились в Элевсине. Аэродром был отличный, со взлетно-посадочными полосами и ангарами, но еще лучше было то, что до Афин было всего-то двадцать пять минут на машине.

В тот вечер, когда стемнело, я стоял возле своей палатки. Засунув руки в карманы, я смотрел, как садится солнце, и думал о работе, которую нам предстояло сделать. Чем больше я думал о ней, тем сильнее укреплялся в мысли о том, что сделать ее невозможно. Я взглянул наверх и снова увидел горы. Здесь они находились еще ближе. Обступив нас со всех сторон, они стояли плечо к плечу, высокие, голые, с головами в облаках. Они окружали нас отовсюду,

¹ Пассажирский лайнер, совершавший рейсы через Атлантический океан в 1906–1934 годах

кроме юга, где были Пирей и открытое море. Я знал, что каждую ночь, когда очень темно, когда мы все, усталые, спим в наших палатках, горы бесшумно подкрадываются к нам поближе, и это будет происходить до тех пор, пока в назначенный день они не спихнут нас в море всей своей чудовищной массой.

Из палатки вышел Киль.

— Ты видел горы? — спросил я.

— Там полно богов. Ничего хорошего в этом нет, — ответил он.

— Лучше бы они стояли на месте, — сказал я.

Киль посмотрел на огромные скалистые Парнес и Пентеликон.

— Там полно богов, — повторил он. — Иногда посреди ночи, когда светит луна, можно увидеть богов, восседающих на вершинах. Один из них был на Катафиди, когда мы стояли в Парамитии. Громадный, как дом, только бесформенный и совершенно черный.

— Ты его видел?

— Конечно видел.

— Когда? — спросил я. — Когда ты его видел, Киль?

— Поехали-ка лучше в Афины, — сказал Киль. — Посмотрим на афинских женщин.

На следующий день на аэродром с грохотом въехали грузовики с наземным оборудованием. Катина сидела на переднем сиденье ведущего грузовика, а рядом с ней сидел врач. Соскочив с подножки, она замахала рукой и побежала нам навстречу. Она смеялась и произносила наши имена на греческий лад. На ней по-прежнему было все то же грязное ситцевое платье, и голова ее была перевязана, однако солнце сияло в ее волосах.

Мы показали ей палатку, которую для нее приготовили, а затем показали и ночную рубашку из хлопка, которую Киль накануне достал неким загадочным образом в Афинах. Та была белой, а спереди на ней было вышито много маленьких голубых птичек. Нам всем казалось, что это очень красивая вещь. Катина захотела тут же ее надеть, и мы очень долго убеждали ее, что эта рубашка только затем, чтобы в ней спать. Шесть раз Киль вынужден был разыгрывать непростую сцену, в ходе которой делал вид, будто надевает ночную рубашку, потом запрыгивает на кровать и быстро засыпает. В конце концов она все поняла и энергично закивала.

В следующие два дня ничего не произошло, если не считать того, что с севера явились остатки другой эскадрильи и присоеди-

нились к нам. Они доставили шесть «харрикейнов», так что всего у нас стало машин двадцать.

Потом мы стали ждать.

На третий день появился немецкий разведывательный самолет. Он кружил высоко над Пиреем. Мы бросились за ним, но опоздали, что и понятно, поскольку наш радар весьма особенный. Теперь он уже вышел из употребления, и я сомневаюсь, что им когда-нибудь снова будут пользоваться. По всей стране: во всех деревнях, на островах — всюду были греки, и все они были связаны посредством полевого телефона с нашим маленьким командным пунктом.

Офицера оперативного отдела штаба у нас не было, поэтому дежурили мы по очереди. Моя очередь пришла на четвертый день, и я четко помню, что произошло в тот день.

В половине седьмого утра зазвонил телефон.

— Это А-семь, — произнес голос, звучащий очень по-гречески. — Это А-семь. Слышу шум наверху.

Я посмотрел на карту. Прямо возле Янины на ней был нарисован кружочек, а внутри написано — «А-7». Я поставил крестик на целлулоиде планшета с полетной картой и написал рядом: «шум», а также время: 06.31.

Через три минуты телефон снова зазвонил.

— Это А-четыре. Это А-четыре. Надо мной много шумов, — проговорил старческий дребезжащий голос, — но я ничего не вижу из-за облачности.

Я взглянул на карту. А-4 — это гора Карава. Я поставил еще один крестик на целлулоиде и написал: «Много шумов. 06.34», а потом провел линию между Яниной и Каравой. Линия шла к Афинам, поэтому я дал сигнал дежурным экипажам на взлет, и они поднялись в воздух и начали кружить над городом. Потом они увидели над собой Ю-88, который производил разведку, но так и не добрались до него. Вот так работал радар.

В тот вечер, сменившись с дежурства, я не мог выбросить из головы мысли о старом греке, который сидел один-одинешенек в хижине на А-4. Сидит он себе на склоне Каравы, вглядывается в белизну и прислушивается днем и ночью к разным звукам в небе. Я представил себе, с какой жадностью он схватился за телефон, когда что-то услышал, и какую, должно быть, ощутил радость, когда голос на другом конце повторил сообщение и поблагодарил его.

Интересно, во что он одет, подумал я, теплые ли на нем вещи, и еще почему-то я подумал о его ботинках, у которых, наверное, не осталось подошв, а внутрь он напихал кору и бумагу.

Это было семнадцатого апреля. Это было в тот вечер, когда Шеф сказал:

— Говорят, немцы в Ламии, а это означает, что мы в пределах досягаемости их истребителей. Вот завтра повеселимся.

И повеселились. На рассвете налетели бомбардировщики. Над ними кружились истребители и следили за бомбардировщиками, выжидая момент, когда нужно будет устремиться вниз, однако пока никто не мешал бомбардировщикам, они ничего не предпринимали.

Еще до их появления мы подняли в воздух, наверное, восемь «харрикейнов». Моя очередь взлетать еще не пришла, поэтому мы стояли с Катиной и наблюдали за боем с земли. Девочка не говорила ни слова. Она то и дело вертела головой, следя за маленькими серебристыми точками, танцевавшими высоко в небе. Я увидел, как падает самолет, за которым стелется след черного дыма, и посмотрел на Катину. Ее лицо выражало ненависть. То была сильная, жгучая ненависть старухи, которая носит ее в своем сердце. То была ненависть женщины, немало повидавшей на своем веку, и это было странно.

В том бою мы потеряли сержанта по имени Дональд.

В полдень Шеф получил еще одно предписание из Афин. В нем говорилось, что моральный дух в столице сломлен и все имеющиеся «харрикейны» должны пролететь парадным строем низко над городом, дабы продемонстрировать жителям, насколько мы сильны и как много у нас самолетов. Мы взлетели, все восемнадцать. Мы летали туда-сюда в тесном боевом порядке над главными улицами, едва не задевая крыши домов. Я видел, как люди смотрят на нас, подняв головы, приставив к глазам ладони, чтобы защититься от солнца, а на одной улице я увидел старуху, которая вообще не смотрела вверх. Никто не махал нам, и я понял, что они смирились со своей судьбой. Никто не махал, и, даже не видя их лиц, я понял: они отнюдь не рады тому, что мы тут летаем.

Потом мы направились к Фермопилам, но по дороге дважды облетели Акрополь. Я впервые увидел его так близко.

Я увидел небольшой холм — может, курган, как мне показалось, — а на вершине его стояли белые колонны. Их было много,

и они были выстроены в идеальном порядке, а не тесно сгрудившись, белые на солнце. Глядя на них, я подумал, как это кому-то удалось расставить так много колонн на вершине такого маленького холма и расставить столь изящно.

Потом мы перелетели через горный проход Фермопилы, и я видел длинные транспортные обозы, медленно двигавшиеся в южном направлении к морю. Когда снаряд падал в долину, то тут, то там появлялось облачко белого дыма. Я видел, как в результате прямого попадания в обозе возник разрыв. Но вражеских самолетов мы не видели.

Когда мы приземлились, Шеф сказал:

— Быстро заправляйтесь и взлетайте еще раз. По-моему, они хотят застать нас на земле.

Но было поздно. Они ринулись на нас с небес через пять минут, после того как мы приземлились. Помню, я находился в комнате летчиков в ангаре номер два и разговаривал с Килем и большим высоким человеком со взъерошенными волосами, которого звали Пэдди. Мы услышали, как по рифленой железной крыше ангара застучали пули, потом раздались взрывы, и мы все трое бросились под небольшой деревянный стол, стоявший посреди комнаты. Но стол перевернулся. Пэдди поставил стол и заполз под него.

— Все-таки хорошо под столом, — сказал он. — Я не чувствую себя в безопасности, пока не заберусь под стол.

— А я вообще никогда не чувствую себя в безопасности, — сказал Киль.

Он сидел под столом и смотрел, как пули дырявят рифленую железную стену комнаты. Когда пули застучали по жести, поднялся жуткий грохот.

Потом мы осмелели, вылезли из-под стола и выглянули за дверь. Над аэродромом кружилось много «Мессершмиттов-109». Они вываливались из строя один за другим и пикировали на ангары, поливая землю из пулеметов. Но это еще не все. Пролетая над нами, они сдвигали фонари кабин и выбрасывали небольшие бомбы, которые взрывались, едва касаясь земли, и с ужасной силой разбрасывали во все стороны и в большом количестве крупную шрапнель. Именно эти взрывы мы и слышали, и, когда шрапнель стучала об ангар, поднимался большой шум.

Потом я увидел, как техники, стоя в окопах, вели по «мессершмиттам» ружейный огонь. Они перезаряжали винтовки и быстро

стреляли, ругаясь и крича при каждом выстреле, при этом целились неумело, безнадежно рассчитывая попасть в самолет. Другой противовоздушной обороны в Элевсине не было.

Неожиданно все «мессершмитты» развернулись и ушли, кроме одного, который спланировал вниз и приземлился на аэродроме на брюхо.

Поднялась суматоха. Греки с криками забрались на пожарную машину и направились к потерпевшему аварии немецкому самолету. В то же самое время отовсюду высыпало еще сколько-то греков. Все они кричали, требуя крови летчика. Толпа жаждала мести, и людей нельзя было за это винить. Но были и другие соображения. Нам нужен был летчик для допроса, и он нужен был живой.

Шеф что-то крикнул нам от бетонированной площадки перед ангаром, и мы с Килем и Пэдди бросились к фургону, стоявшему в пятидесяти ярдах от нас. Шеф молнией влетел в кабину, завел мотор и рванул с места; мы трое успели вскочить на подножку. Пожарная машина с греками двигалась медленно, а проехать предстояло еще двести ярдов, людям же нужно было бежать за ней. Шеф ехал быстро, и мы обошли их ярдов на пятьдесят.

Спрыгнув с подножки, мы подбежали к «мессершмитту». В кабине сидел белокурый мальчик с розовыми щеками и голубыми глазами. Я никогда не видел человека, на лице которого был бы написан такой страх.

Он сказал Шефу по-английски:

— Я ранен в ногу.

Мы вытащили его из кабины и посадили в машину. Греки стояли и смотрели на него. Пуля раздробила ему голень.

Мы отвезли его назад и препоручили врачу. Катина подошла близко к немцу и стала смотреть ему в лицо. Девятилетний ребенок стоял и смотрел на немца, не в силах произнести ни слова; она и двигаться была не в состоянии. Уцепившись руками за подол платья, она не сводила глаз с лица летчика. «Тут что-то не так, — казалось, говорила она. — Вышла какая-то ошибка. У этого розовые щеки, белокурые волосы и голубые глаза. Он никак не может быть одним из них. Это же самый обыкновенный мальчик». Его положили на носилки и унесли, и только после этого она повернулась и побежала к своей палатке.

Вечером на ужин я ел жареные сардины, а вот ни хлеб, ни сыр есть не мог. Три дня я маялся животом. У меня сосало под ложеч-

кой, как это бывает перед операцией или перед удалением зуба. Это продолжалось целыми днями, с раннего утра, когда я просыпался, и до позднего вечера, когда засыпал. Питер сидел напротив меня. Я рассказал ему об этом.

— У меня такое было неделю, — сказал он. — Для кишечника это нормально. Потом лучше работать будет.

— Немецкие самолеты — как таблетки от печени, — сказал Киль, сидевший в конце стола. — От них одна польза, разве не так, доктор?

— А ты не переборщил с этими таблетками? — спросил врач.

— Может быть, — ответил Киль. — Принял слишком большую дозу немецких таблеток от печени. Не прочитал инструкцию на пузырьке, а там сказано: «Принимать по две штуки перед выходом в отставку».

— С удовольствием бы вышел в отставку, — сказал Питер.

После ужина мы пошли все трое вместе с Шефом к ангарам.

Шеф сказал:

— Меня беспокоит эта атака с бреющего полета. Они никогда не атакуют ангара, потому что знают, что у нас там ничего нет. Думаю, сегодня надо бы завести четыре самолета в ангар номер два.

Мысль хорошая. Обычно «харрикейны» были рассредоточены по краю аэродрома, но их поражали один за другим, потому что нельзя все время находиться в воздухе. Мы все четверо сели в машины и зарулили их в ангар номер два, потом задвинули большие скользящие ворота и заперли их.

На следующее утро, когда солнце еще не поднялось из-за гор, прилетела стая Ю-87 и попросту смела ангар номер два с лица земли. Попадание было точным, соседние ангара даже не зацепило.

Днем они достали Питера. Он вылетел в сторону деревни под названием Халкис, которую бомбили Ю-87, и больше его никто не видел. Веселый, смешливый Питер. Его мать жила на ферме в Кенте. Она присылала ему письма в длинных бледно-голубых конвертах, и он всюду носил ее послания с собой в карманах.

Я всегда жил в одной палатке с Питером, с того самого времени, когда появился в эскадрилье, и в тот вечер, как только я лег спать, он вернулся в эту палатку. Вы можете не верить мне; я и не жду, чтобы вы поверили, но рассказываю так, как было.

Я всегда ложился спать первым, потому что в этих палатках не хватит места для того, чтобы двое возились в ней одновременно. Питер обычно заходил минуты через две-три. В тот вечер, улегшись спать, я лежал и думал о том, что сегодня он не придет. Я думал, что его тело, наверное, осталось в обломках самолета на склоне продуваемой ветром горы, а может, лежит на дне моря. Мне оставалось лишь надеяться на то, что у него были достойные похороны.

Неожиданно я услышал какое-то движение. Кусок брезента на входе приподнялся и снова опустился. Но шагов не было слышно. Потом донесся скрип кровати. Этот звук я слышал каждую ночь в течение последних нескольких недель, и всегда он был один и тот же. Человек садится на походную кровать, и ее деревянные ножки скрипят. Один за другим скидываются на землю летные ботинки, и, как обычно, на то, чтобы снять один из них, уходит в три раза больше времени, чем на другой. После этого едва слышно шуршит одеяло, а потом под весом тела скрипит шаткая койка.

Эти звуки я слышал каждую ночь, одни и те же звуки в одной и той же последовательности. Вот и сейчас я приподнялся на кровати и произнес: «Питер». В палатке было темно. Мой голос прозвучал очень громко.

— Привет, Питер. Ну и не повезло же тебе сегодня.

Но ответа не последовало.

Мне не было не по себе, я не испытывал страха, но помню, что дотронулся до кончика носа, дабы убедиться, что не сплю. А потом уснул, потому что очень устал.

Утром я посмотрел на постель и увидел, что она смята. Но я ее никому не показал, даже Килю. Я снова ее застелил и взбил подушку.

В этот день, 20 апреля 1941 года, мы участвовали в битве за Афины. Наверное, это была последняя из крупных «собачьих свалок», потому что в наши дни самолеты всегда летают в плотных боевых порядках авиакрыльев и эскадрилий, и атака осуществляется строго научно по приказам ведущего группы, и таких боев, как тот, больше, пожалуй, не будет. В наши дни «собачьих свалок» вообще не бывает, за исключением очень редких случаев. Но битва за Афины была настоящим, красивым, долгим воздушным боем, в ходе которого пятнадцать «харрикейнов» полчаса бились с немец-

кими бомбардировщиками и истребителями, которых было от ста пятидесяти до двухсот.

Бомбардировщики появились первыми где-то днем. Был чудесный весенний день, и впервые солнце светило по-летнему тепло. Небо было голубое, правда на нем то тут, то там плавали клочковатые облака, а горы на фоне голубого неба казались черными.

Пентеликон больше не прятал свою голову в облаках. Он навис над нами, мрачный и грозный, следил за каждым нашим шагом и знал, что от всего, что мы ни делаем, мало толку. Люди глупы и созданы лишь для того, чтобы умереть, а вот горы и реки живут вечно и течения времени не заменяют. Да разве сам Пентеликон не глядел сверху вниз на Фермопилы и не видел горстку спартанцев, защищавших проход от посягателей, разве не видел, как они бились до последнего? Разве он не видел, как Леонид¹ рубится у Марафона, и разве он не смотрел сверху вниз на Саламин и на море, когда Фемистокл и афиняне оттеснили персов от своих берегов, уничтожив больше двухсот парусников?² Все это он видел, как и многое другое, а теперь он смотрел на нас сверху вниз. В его глазах мы были ничто. Мне даже показалось, будто я увидел презрительную улыбку и услышал смех богов. Уж им-то отлично известно, что нас мало и в конце концов мы потерпим поражение.

Бомбардировщики налетели вскоре после обеда. Сразу же было видно, что их много. Глядя на небо, мы различали множество маленьких серебряных точек. Солнечные лучи плясали и сверкали на сотне самых разных крыльев.

Всего было пятнадцать «харрикейнов», грозных, как ураган³. Нелегко вспомнить подробности этой битвы, но я помню, как смотрел на небо и видел массу маленьких черных точек. Помню, я тогда еще подумал, что это точно не самолеты; ну не могут они быть самолетами, потому что на свете нет столько самолетов.

Потом они полетели на нас, и я помню, как выпустил щиток-закрылок, чтобы иметь возможность делать более крутые виражи.

¹ Царь Спарты, сдерживавший в течение двух дней натиск персидских завоевателей во главе с Ксерксом на проходе к Фермопилам.

² *Фемистокл* (582–462 до н. э.) — афинский государственный деятель и командующий флотом, инициатор эвакуации афинян после поражения греческих войск у Фермопил, затем дал генеральное сражение в Сароническом заливе и разбил персов. *Саламин* — остров в Эгейском море, где в 480 году произошло морское сражение во время Греко-персидских войн.

³ Hurricane (*англ.*) — ураган.

Еще в моем мозгу отпечаталось, как из пулеметов «мессершмитта», атаковавшего меня на встречнопересекающихся курсах справа, вырывались вспышки пламени. Как загорелся, едва раскрывшись, парашют немца. Как ко мне подлетел немец и стал делать пальцами неприличные знаки. Как «харрикейн» столкнулся с «мессершмиттом». Как самолет налетел на летчика, спускавшегося с парашютом, и вошел в штопор, и помчался к земле вместе с летчиком и парашютом, зацепившимся за его левое крыло. Как столкнулись два бомбардировщика, уклоняясь от истребителя, и я отчетливо помню, как человека выбросило из дыма и обломков и как он завис на миг в воздухе, раскинув руки и ноги. Говорю вам, в этой битве было все, что только может произойти. В некий момент я видел, как одинокий «харрикейн» кружит вокруг вершины горы Парнес, почти прижимаясь к ней, а на хвосте у него сидят девять «мессершмиттов», а потом, помню, на небе начало неожиданно проясняться. Самолеты исчезли из виду. Битва закончилась. Я развернулся и полетел назад, в сторону Элевсина. По дороге я видел внизу Афины и Пирей и берег моря, огибавший залив и уходивший к югу, к Средиземному морю. Я видел разбомбленный порт Пирей. Над горевшими доками поднимался дым. Я видел узкую прибрежную равнину и крошечные костры на ней. Тонкие струйки черного дыма, извиваясь, тянулись вверх и плыли в восточном направлении. Это горели сбитые самолеты, и мне оставалось лишь уповать на то, что среди них нет «харрикейнов».

И тут я увидел «Юнкерс-88». Этот бомбардировщик, последним возвращавшийся с задания, отстал от строя. У него были неприятности — один из двигателей густо и черно дымил. Хотя я выстрелил в него, думаю, можно было этого и не делать. Он все равно снижался. Мы летели над морем, и мне было ясно, что до суши он не дотянет. И не дотянул. Он мягко сел на брюхо в Пирейском заливе, в двух милях от берега. Я покружил над ним, дабы убедиться, что экипаж благополучно сядет в надувную лодку.

Машина начала медленно тонуть, погружаясь носом в воду, тогда как ее хвост поднимался в воздух. Однако экипажа не было видно. Неожиданно хвостовая турель «юнкерса» открыла огонь, и пули проделали рваные дырочки в моем правом крыле. Я свернул в сторону и, помню, заорал на них. Я отодвинул фонарь кабины и крикнул: «Эй вы, паршивые мерзавцы! Тоже мне смельчаки! Да

чтоб вы все утонули». Скоро и хвостовая часть бомбардировщика ушла под воду.

Когда я сел, все стояли возле ангаров и считали вернувшиеся самолеты, а Катина сидела на ящике, и по ее щекам катились слезы. Но она не плакала. Киль стоял на коленях рядом с ней и тихо, нежно говорил ей что-то по-английски, забыв, что она ничего не понимает.

Мы потеряли в этой битве треть наших машин, но немцы еще больше.

Врач накладывал повязку летчику, получившему ожог.

— Ты бы слышал, как радовались греки, когда бомбардировщики падали с неба, — посмотрев на меня, сказал он.

Мы стояли и разговаривали, и тут подъехал грузовик, из которого вышел грек и сказал, что у него в машине части тела.

— Эти часы, — говорил он, — с чьей-то руки.

Часы были наручные, со светящимся циферблатом и инициалами на обратной стороне. Мы не стали заглядывать в грузовик.

Теперь, думал я, у нас осталось девять «харрикейнов».

В тот вечер из Афин приехал очень высокий чин Военно-воздушных сил Великобритании и заявил:

— Завтра на рассвете вы все летите в Мегару. Это миль десять вдоль побережья. Там есть маленькое поле, на котором сможете приземлиться. Солдаты подготовят его за ночь. У них там два больших катка, и они выравнивают поле. Как только приземлитесь, спрячьте самолеты в оливковой роще к югу от поля. Наземная служба переместится дальше к югу, в Аргос, и вы присоединитесь к ней позднее, однако день или два можете действовать и из Мегары.

— А где Катина? — спросил Киль. — Доктор, разыщите Катину и проследите, чтобы она благополучно добралась до Аргоса.

— Хорошо, — ответил врач.

Мы знали: на него можно положиться.

На следующее утро, на рассвете, когда было еще темно, мы взлетели и направились к маленькому полю в Мегаре, что в десяти милях. Приземлившись, мы спрятали наши самолеты в оливковой роще. Наломав веток, закрыли ими самолеты. Потом уселись на склоне холма в ожидании приказаний.

Когда солнце поднялось над горами, мы увидели толпу греческих крестьян, которые направлялись из деревни Мегара в сторо-

ну нашего поля. Их было несколько сотен, в основном женщины и дети, и они все шли к полю и при этом спешили.

— Что за черт, — сказал Киль.

Мы поднялись, гадая, что же у них на уме.

Подойдя к полю, они разбрелись и принялись собирать охапками вереск и папоротник. Потом, выстроившись друг за другом, стали разбрасывать вереск и папоротник по траве. Таким образом, они маскировали наш аэродром. Катки, проехав по земле, оставили легко видимые сверху полосы, вот греки — все мужчины, женщины и дети — и пришли из деревни, чтобы исправить ситуацию. Я и сегодня не знаю, кто просил их об этом. Они вытянулись в длинную цепочку на поле и медленно двигались, разбрасывая вереск. Мы с Килем прошли между ними.

В основном там были старики и старухи, очень маленькие и очень печальные с виду, с темными лицами в глубоких морщинах. Разбрасывали вереск они медленно. Когда мы проходили мимо, они прекращали работу и улыбались, говоря что-то по-гречески, чего мы не понимали. Кто-то из детей протянул Килю маленький розовый цветочек, и он, не зная, что с ним делать, так и ходил с цветком в руке.

Потом мы вернулись к тому месту на склоне холма, где сидели прежде, и стали ждать. Скоро зазвонил полевой телефон. Говорил очень высокий военно-воздушный чин. Он сказал, что кто-нибудь должен немедленно вылететь обратно в Элевсин, забрать оттуда важные сообщения и деньги. Он также сказал, что мы все должны оставить наше маленькое поле в Мегаре и вечером отправиться в Аргос. Летчики решили дожждаться, когда я вернусь с деньгами, чтобы полететь в Аргос всем вместе.

В то же время кто-то сказал двум солдатам, которые продолжали выравнивать поле, чтобы они уничтожили катки, иначе те останутся немцам. Забираясь в свой «харрикейн», я, помню, увидел, как два огромных катка двигаются по полю навстречу друг другу. Помню, как солдаты-водители спрыгнули, прежде чем катки столкнулись. Раздался оглушительный скрежет, и все греки, разбрасывавшие вереск, прекратили работу и замерли на месте, глядя на катки. Потом кто-то из них побежал. Это была старуха. Она рванула к деревне изо всех сил, что-то при этом крича, и тотчас все мужчины, женщины и дети, находившиеся в поле, будто испугались и броси-

лись вслед за ней. Мне захотелось побежать с ними рядом и объяснить им, в чем дело, сказать, что мне жаль, но делать нечего. Мне хотелось сказать им, что мы их не забудем и когда-нибудь вернемся. Но все напрасно. Сбитые с толку и напуганные, они бежали к своим домам и бежали, включая стариков, до тех пор, пока не скрылись из глаз.

Я взлетел и направился к Элевсину. Приземлился я на мертвом аэродроме. Нигде не было ни души. Я остановил свой «харрикейн» и едва подошел к ангарам, как снова налетели бомбардировщики. Пока они не закончили свою работу, я прятался в канаве, потом вылез оттуда и направился к штабной палатке. Телефон все еще стоял на столе. Я зачем-то снял трубку и сказал:

— Алло.

На другом конце кто-то ответил с немецким акцентом.

— Вы слышите меня? — спросил я, и голос произнес:

— Да-да, я вас слышу.

— Хорошо, — сказал я, — тогда слушайте внимательно.

— Да, продолжайте, пожалуйста.

— Это ВВС Великобритании. Мы еще вернемся, понятно? Мы обязательно вернемся.

После этого я выдернул шнур из розетки и швырнул аппарат в стекло закрытого окна. Когда я вышел наружу, там стоял небольшого роста мужчина в гражданской одежде. В одной руке он держал револьвер, а в другой — небольшой мешок.

— Вам нужно что-нибудь? — спросил он на довольно хорошем английском.

— Да, — сказал я, — мне нужны важные сведения и бумаги, которые я должен отвезти обратно в Аргос.

— Вот они, — сказал он, протягивая мне мешок. — И желаю удачи.

Я полетел обратно в Мегару. Недалеко от берега стояли два подожженных греческих эсминца. Они тонули. Я покружил над нашим полем, другие самолеты вырулили из укрытий, и мы все полетели в сторону Аргоса.

Площадка для приземления в Аргосе представляла собой большое поле. Оно было окружено густыми оливковыми рощами, где мы спрятали наши самолеты. Не знаю, какой длины было поле, но приземлиться на нем было не просто. Поэтому следовало пла-

нирывать с низкой глиссадой, «вися на пропеллере», а в момент касания нажимать на тормоз, отпуская его в критический момент, чтобы избежать капотирования. Лишь одному из наших не удалось все правильно сделать, и он разбил машину.

Наземная служба была уже там, и, когда мы вылезли из самолетов, подбежала Катина с корзинкой черных оливок. Она показывала на наши животы, и это, судя по всему, означало, что мы должны поесть.

Киль наклонился и потрепал ее по волосам.

— Катина, — сказал он, — когда-нибудь мы ходим в город и купим тебе новое платье.

Она улыбнулась ему, но ничего не поняла, и мы все принялись за черные оливки.

Потом я огляделся и увидел, что в лесу полно самолетов. За каждым деревом стоял самолет, и, когда мы спросили, в чем дело, нам ответили, что греки перегнали в Аргос все свои военно-воздушные силы и спрятали их в этом небольшом лесу. У них были машины какого-то древнего типа, очень странные, каждой не меньше пяти лет, а сколько десятков их было, не знаю.

Ту ночь мы провели под деревьями. Катину завернули в большой комбинезон и подложили ей под голову шлем вместо подушки. Когда она уснула, мы расселись полукругом и стали есть черные оливки и пить рецину из огромной канистры. Но мы очень устали за день и скоро заснули.

Весь следующий день мы наблюдали, как грузовики перевозят войска по дороге, ведущей к морю. Мы взлетали так часто, как только могли, и кружили над ними.

То и дело прилетали немцы и бомбили дорогу недалеко от нас, но наш аэродром они не заметили.

Позднее в тот же день нам сообщили, что все имеющиеся в наличии «харрикейны» должны взлететь в шесть часов вечера, чтобы защитить важное передвижение по морю, и девять машин — все, что осталось, — были дозаправлены и приготовились к вылету. Без трех шесть мы начали вырывать из оливковой рощи на поле.

Взлетели первые две машины, но едва они оторвались от земли, как что-то черное метнулось с неба, и они обе запылали. Я пригляделся и увидел не меньше пятидесяти «Мессершмиттов-110», круживших над полем. Некоторые из них развернулись и атаковали

оставшиеся семь «харрикейнов», которые ждали разрешения на взлет.

Времени на то, чтобы что-то предпринять, не было. Все самолеты были повреждены во время первого налета, хотя, как это ни смешно, ранение получил только один летчик. Взлетать теперь было невозможно, поэтому мы повыпрыгивали из самолетов, вытащили раненого летчика из кабины и побежали вместе с ним к окопам, к большим, глубоким зигзагообразным спасительным окопам, которые выкопали греки.

«Мессершмитты» не спешили. Противодействия не было ни с земли, ни с воздуха, если не считать того, что Киль стрелял по ним из револьвера.

Не очень-то приятно, когда тебя атакуют с бреющего полета, особенно если на крыльях имеются пушки, а если нет глубокого окопа, в котором можно укрыться, то это совсем без шансов. По какой-то причине — возможно, немцы решили порезвиться — их летчики начали обстреливать окопы, прежде чем взяться за самолеты. Первые десять минут мы как безумные носились по окопам, чтобы не оказаться в том окопе, который шел параллельно курсу атакующего самолета. То были жуткие, страшные десять минут. Кто-то кричал: «Вон еще один», после чего все вскакивали и бежали к углу, чтобы скрыться в другой части окопа.

Затем немцы взялись за «харрикейны», а заодно и за кучу старых греческих самолетов, стоявших в оливковой роще, и методично и систематически расстреливая их, подожгли один за другим. Шум стоял страшный, повсюду стучали пули — по деревьям, скалам и по траве.

Помню, я осторожно выглянул из окопа и увидел маленький белый цветочек, который рос всего-то в нескольких дюймах от моего носа. Он был чисто-белый, с тремя лепестками. Помню, я посмотрел дальше и увидел трех немцев, заходивших на мой «харрикейн», который стоял на другой половине поля. Помню, я крикнул на них, хотя и не помню что.

И тут вдруг я увидел Катину. Она бежала с дальнего конца аэродрома прямо туда, куда стреляли пушки и где горели самолеты, и бежала изо всех сил. Раз она споткнулась, но снова поднялась на ноги и побежала дальше. Потом она остановилась и стала смотреть вверх, махая кулачками пролетающим мимо самолетам.

Помню — вот она стоит и один из «мессершмиттов» разворачивается и устремляется вниз, в ее сторону. Еще помню, я тогда подумал — да она такая маленькая, что в нее и не попадешь. Помню, когда он подлетел ближе, показались язычки пламени из его пушек, и помню, как я смотрю на ребенка, который стоит совершенно неподвижно — это продолжалось долю секунды, — лицом к машине. Помню, ветер трепал ее волосы.

А потом она упала.

То, что было в следующий момент, я не забуду никогда. Точно по волшебству, отовсюду из земли повыскакивали люди. Они вылезли из своих окопов и обезумевшей толпой выплеснулись на аэродром. Все бежали к крошечному тельцу, которое неподвижно лежало посреди поля. Они бежали быстро, хотя и пригнувшись. Помню, я тоже выскочил из окопа и присоединился к ним. Помню, я тогда вообще ни о чем не думал и бежал, глядя на ботинки человека, бежавшего впереди меня. Я заметил, что у него немного кривые ноги, а синие штаны непомерно длинные.

Помню, я увидел, что Киль подбежал первым, тут же оказался сержант по кличке Мечтатель, и помню, как они вдвоем подхватили Катину и побежали обратно к окопам. Я увидел ее ногу, которая представляла собой кровавое месиво из костей, а кровь из раны на груди заливала ее белое ситцевое платье. Я мельком увидел ее лицо, которое было белым, как снег на вершине Олимпа.

Я бежал рядом с Килем, а он без конца повторял на бегу:

— Паршивые мерзавцы, паршивые, грязные мерзавцы.

Когда мы добрались до нашего окопа, он, помню, с удивлением огляделся. Было тихо, и стрельба прекратилась.

— Где врач? — спросил Киль, а врач уже был рядом. Он смотрел на Катину, вернее, на ее лицо.

Врач нежно коснулся ее запястья и, не поднимая глаз, произнес:

— Она мертва.

Ее положили под низким деревом. Я отвернулся и увидел, как повсюду дымятся бесчисленные самолеты. Я увидел, что и мой «харрикейн» горит неподалеку. Я стоял и, не в силах ничего предпринять, смотрел, как язычки пламени пляшут по двигателю и лижут металл крыльев.

Я глаз не мог отвести от огня. Я видел, что огонь становится ярко-красным, а за ним я увидел не груды дымящихся обломков,

ПЕРЕХОЖУ НА ПРИЕМ

а пламя еще более обжигающего и сильного огня, который горел в сердцах народа Греции.

Я продолжал смотреть на огонь, и в том самом месте, откуда вырывались языки пламени, мне показалось, будто что-то накалилось добела, будто яркость пламени достигла предела.

Потом яркость рассеялась, и я увидел мягкий желтый свет, какой исходит от солнца, а за ним я увидел маленькую девочку, стоявшую посреди поля. Солнечный свет играл в ее волосах. С минуты она стояла и смотрела в небо. Оно было чистое и голубое, без единого облака. Затем она повернулась и посмотрела в мою сторону, и, когда она повернулась, я увидел, что ее ситцевое платье спереди все в ярко-красных пятнах, цвета крови.

А потом исчезли и огонь, и пламя, и я видел перед собой лишь тлеющие обломки сгоревшего самолета. Должно быть, я долго стоял возле него.

ПРЕКРАСЕН БЫЛ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Он наклонился и потер лодыжку в том месте, где от ходьбы растянулись связки. Спустил какое-то время выпрямился и огляделся. Нашупав в кармане пачку, он достал сигарету и закурил. Тыльной стороной руки вытер пот со лба и, стоя посреди улицы, снова огляделся.

— Черт побери, да кто-то ведь должен здесь быть, — громко сказал он.

Услышав собственный голос, он почувствовал себя лучше.

Прихрамывая, ступая только на пальцы больной ноги, он пошел дальше. За следующим поворотом он увидел море. Дорога, петляя, тянулась между разрушенными домами и спускалась с холма к берегу. Темное море было спокойным. На материке, вдали, отчетливо виднелась линия холмов; навскидку до них было миль восемь. Он снова нагнулся и потер лодыжку.

— Черт побери, — произнес он. — Кто-то ведь должен тут быть живой.

Но нигде не было ничего слышно. От домов, да и от всей деревни исходила такая тишина, что казалось, будто все здесь вымерло тысячу лет назад.

Неожиданно он услышал едва различимый звук, словно кто-то переступил с ноги на ногу на гравии. Он оглянулся и увидел старика, который сидел на камне возле поилки для скота. Странно, как это он его раньше не заметил.

— Здравствуйте, — сказал летчик. — *Ghia sou.*

Он выучил греческий, когда общался с людьми около Ларисы и Янины.

Старик медленно поднял глаза, при этом повернулась его голова, а плечи остались неподвижны. У него была почти белая борода, на голове матерчатая кепка. Он был в серой, в тонкую черную полосу рубашке без воротничка. На летчика он смотрел так, как слепой смотрит на то, чего не видит.

— Я рад тебя видеть, старик. В деревне есть еще кто-нибудь?
Ответа не было.

Летчик присел на край поилки, давая отдохнуть своей ноге.

— Я *Inglese*¹, — сказал он. — Я летчик. Меня сбили, и я выпрыгнул с парашютом. Я *Inglese*.

Старик поднял голову и снова опустил ее.

— *Inglesus*, — произнес он. — Ты *Inglesus*.

— Да. Я ищу кого-нибудь, у кого была бы лодка. Хочу вернуться на материк.

Наступила пауза, а потом старик заговорил как во сне.

— Они все время приходят, — говорил он. — *Germanoi* приходят все время.

Его голос звучал бесстрастно. Он взглянул на небо, потом опустил голову, повернулся и снова посмотрел вверх.

— Они и сегодня придут, *Inglese*. Скоро придут снова.

В его голосе не было тревоги, вообще не было никакого выражения.

— Не понимаю, почему они приходят к нам, — прибавил он.

— Может, не сегодня, — сказал летчик. — Сейчас уже поздно. Думаю, на сегодня они закончили.

— Не понимаю, почему они приходят к нам, *Inglese*. Здесь же никого нет.

— Я ищу человека с лодкой, — сказал летчик, — который смог бы отвезти меня на материк. В деревне есть кто-нибудь с лодкой?

— С лодкой?

— Ну да.

Чтобы ответить на этот вопрос, понадобилось какое-то время.

— Есть такой человек.

— Как мне его найти? Где он живет?

— В деревне есть человек с лодкой.

— Пожалуйста, скажи мне, как его зовут.

Старик снова посмотрел на небо.

— Йоаннис. Вот кто имеет здесь лодку.

— Йоаннис, а дальше как?

— Йоаннис Спиракис. — И старик улыбнулся.

Видимо, это имя что-то значило для старика. Он улыбнулся.

— Где он живет? — спросил летчик. — Извините, что беспокою вас из-за этого.

¹ Англичанин (греч.).

— Где живет?

— Да.

Старик опять задумался. Потом отвернулся и посмотрел в конец улицы, которая шла к морю.

— Йоаннис жил в доме, который ближе других к воде. Но его дома больше нет. *Germanoi* разрушили его сегодня утром. Было рано и еще темно. Видите — дома больше нет. Нет его.

— А где он сам?

— Живет в доме Антонины Ангелу. Вон тот дом с красными окнами.

Он указал в конец улицы.

— Большое вам спасибо. Пойду поговорю с хозяином лодки.

— Он еще мальчиком был, — продолжал старик, — а лодку уже имел. У него белая лодка с голубой полосой по всей корме.

Он снова улыбнулся.

— Но я не думаю, что он сейчас в доме. А жена его там. Анна, наверное, там, с Антониной Ангелу. В доме они.

— Еще раз спасибо. Пойду поговорю с его женой.

Летчик поднялся и пошел было по улице, однако старик окликнул его:

— *Inglese*.

Летчик обернулся.

— Когда будешь разговаривать с женой Йоанниса... когда будешь разговаривать с Анной... не забудь кое-что.

Он умолк, подбирая слова. Его голос уже не был невыразительным, и он смотрел летчику прямо в глаза.

— Его дочь была в доме, когда пришли *Germanoi*. Вот это ты должен помнить.

Летчик стоял на дороге и ждал.

— Мария. Ее зовут Мария.

— Я запомню, — ответил летчик. — Мне жаль.

Он отвернулся и стал спускаться вниз, направляясь к дому с красными окнами. Подойдя к дому, он постучался и стал ждать. Потом постучался снова и еще подождал. Послышался звук шагов, и дверь раскрылась.

В доме было темно, и он смог разглядеть только черноволосую женщину с такими же черными, как волосы, глазами. Она смотрела на летчика, который стоял на солнце.

— Здравствуйте, — произнес он. — Я *Inglese*.

Она не пошевелилась.

— Я ищу Йоанниса Спиракиса. Говорят, у него есть лодка.

Она по-прежнему стояла не шевелясь.

— Он в доме?

— Нет.

— Может, его жена здесь? Она, наверное, знает, где он.

Сначала ответа не было. Затем женщина отступила на шаг и распахнула дверь:

— Входи, *Inglesus*.

Она провела его по коридору в заднюю комнату. В комнате было темно, потому что в окнах не было стекол — только куски картона. Но он увидел старую женщину, которая сидела на скамье, положив руки на стол. Она была совсем крошечной, точно маленький ребенок, а лицо ее напоминало скомканный клочок оберточной бумаги.

— Кто это? — спросила она резким голосом.

Первая женщина сказала:

— Это *Inglesus*. Он ищет твоего мужа, потому что ему нужна лодка.

— Здравствуй, *Inglesus*, — сказала старая женщина.

Переступив порог, летчик остановился в дверях. Первая женщина стояла возле окна, опустив руки.

Старая женщина спросила:

— Где *Germanoi*?

Казалось, ее голосу было тесно в тщедушном теле.

— Сейчас где-то около Ламии.

— Ламия.

Она кивнула.

— Скоро они будут здесь. Может, уже завтра будут здесь. Но мне все равно. Слышишь, *Inglesus*, все равно.

Она подалась вперед. Голос ее зазвучал еще резче:

— Ничего нового не произойдет, когда они придут. Они уже были здесь. Каждый день они здесь. Являются каждый день и бросают бомбы — бах, бах, бах. Закроешь глаза, потом откроешь их, поднимешься, выйдешь на улицу, а от домов одна пыль... да и от людей тоже.

Она умолкла и быстро задышала.

— Сколько человек ты убил, *Inglesus*?

Летчик оперся рукой о дверь, снимая тяжесть с больной ноги.

ПРЕКРАСЕН БЫЛ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

— Сколько-то убил, — тихо произнес он.

— Сколько?

— Сколько смог. Мы не можем вести подсчет.

— Убивай их всех, — спокойно сказала она. — Иди и убивай каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка. Слышишь меня, *Inglesus*? Ты должен их всех убить.

Кусок оберточной бумаги сделался еще меньше.

— Сама я убью первого же, который мне попадетя.

Она помолчала.

— А потом, *Inglesus*, потом его семье сообщат, что он мертв.

Летчик ничего не сказал. Она посмотрела на него и заговорила другим голосом:

— Что тебе нужно, *Inglesus*?

— Что касается *Germanoi*, то мне жаль. Мало что в наших силах.

— Да, — ответила она, — я понимаю. Но что тебе нужно?

— Я ищу Йоанниса. Я бы хотел взять его лодку.

— Йоаннис, — тихо произнесла она, — его здесь нет. Он вышел.

Неожиданно она оттолкнула скамью, поднялась на ноги и вышла из комнаты.

— Идем, — сказала она.

Он пошел следом за ней по коридору к входной двери. Теперь она казалась еще меньше, чем когда сидела. Она быстро дошла до двери и открыла ее. Когда она оказалась на солнце, он впервые увидел, насколько она старая.

У нее не было губ. Вокруг рта была такая же морщинистая кожа, как и на всем лице. Она прищурилась от солнца и посмотрела в сторону дороги.

— Вон он, — сказала она. — Это он и есть.

И она показала на старика, который сидел возле поилки.

Летчик посмотрел на него. Потом повернулся, чтобы сказать что-то старухе, но она уже исчезла в доме.

ОНИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ ВЗРОСЛЫМИ

Мы сидели вдвоем возле ангара на деревянных ящиках.

Был полдень. Солнце стояло высоко в небе и шпарило, как огонь. Жара была страшная. Горячий воздух с каждым вдохом обжигал легкие, поэтому мы старались дышать быстро, почти не разжимая губ, — так было легче. Солнце жарило нам плечи, спину, пот просачивался сквозь поры, струился по шее, груди и ниже к животу и собирался там, где брюки были туго перетянуты ремнем. Он все-таки просачивался и под ремень, где собиралась влага, неприятно покалывая.

Два наших «харрикейна» стояли всего лишь в нескольких ярдах от нас. У них обоих был тот исполненный терпения и самоуверенности вид, который характерен для истребителей, когда двигатель не работает. Тонкая черная взлетная полоса спускалась к пляжу и морю. Черная поверхность полосы и белый песок по ее сторонам, сквозь который пробивалась трава, блестели и сверкали на солнце. Знойное марево висело над аэродромом.

Старик посмотрел на часы.

— Пора бы ему уже и вернуться, — сказал он.

Мы оба были готовы к вылету и сидели в ожидании приказа. Старик поджал под себя ноги, убрав их с горячей земли.

— Пора бы и вернуться, — повторил он.

Прошло уже два с половиной часа с того времени, когда Киль улетел, и, конечно, ему давно уже пора было бы вернуться. Я посмотрел на небо и прислушался. Возле топливозаправщика громко разговаривали техники, и было слышно, как волны накатываются на берег, самолета же было ни видно ни слышно. Мы еще немного молча посидели.

— Похоже, ему не повезло, — сказал я.

— Да, — ответил Старик. — Выходит, что так.

Старик поднялся и засунул руки в карманы своих шорт цвета хаки. Я тоже встал. Мы смотрели в северном направлении, где бы-

до чистое небо, и при этом переминались с ноги на ногу, потому что гудрон был мягкий и горячий.

— Как звали эту девчонку? — спросил Старик, не поворачивая головы.

— Никки, — ответил я.

Не вынимая рук из карманов, Старик снова сел на деревянный ящик и стал рассматривать землю между ног. Старик был самым старшим по возрасту летчиком в нашей эскадрилье; ему было двадцать семь. У него была копна рыжих волос, которые он никогда не расчесывал. Лицо его было бледным, хотя он и провел столько времени на солнце, и все покрыто веснушками. Рот был широкий, а губы плотно сжаты. Он не был высок ростом, но под рубашкой цвета хаки бугрились широкие и мускулистые плечи, как у борца. Человек он был тихий.

— Может, все и обойдется, — сказал он, поглядев на небо. — И кстати, хотел бы я посмотреть на француза, которому по зубам Киль.

Мы находились в Палестине и воевали с французами-вишистами в Сирии. Мы стояли в Хайфе, и тремя часами раньше Старик, Киль и я приготовились к вылету. Киль вылетел в ответ на срочную просьбу военных моряков, которые позвонили и сказали, что из гавани Бейрута выходят два французских эсминца. Пожалуйста, вылетайте немедленно и посмотрите, куда они направились, попросили военные моряки. Просто подлетите к побережью, осмотритесь и быстро возвращайтесь, а потом сообщите нам, куда они направляются.

И Киль вылетел на своем «харрикейне». Прошло много времени, а он так и не вернулся. Мы знали, что надежды нет почти никакой. Если его не сбили, то у него какое-то время назад уже должно было бы кончиться горючее.

Я посмотрел на его голубую фуражку с кокардой ВВС Великобритании. Он бросил ее на землю, когда побежал к своему самолету. Сверху на ней были масляные пятна, а выдавший виды козырек погнулся. Трудно было поверить в то, что его больше нет. Он был в Египте, Ливии и Греции. Он всегда был с нами на аэродроме и в столовой. Это был человек высокого роста, весельчак. Он всегда много смеялся, этот Киль. У него были черные волосы и длинный прямой нос, по которому он частенько проводил кончиком пальца. Слушая чей-нибудь рассказ, он имел обыкновение откидываться на стуле с высоко поднятой головой, при этом глаза

его смотрели вниз. Еще вчера вечером за ужином он неожиданно сказал:

— А знаешь, я не прочь жениться на Никки. По-моему, она неплохая девчонка.

Старик сидел напротив него и ел вареную фасоль.

— Ты хочешь сказать — иногда неплохая, — произнес он.

Никки работала в кабаре в Хайфе.

— Нет, — ответил Киль. — Из девушек, работающих в кабаре, получают хорошие жены. Они никогда не бывают неверными. В неверности для них нет новизны. Это все равно что вернуться к прежним занятиям.

Старик оторвался от тарелки с фасолью.

— Да не будь же ты таким дураком, — сказал он. — Ни за что не поверю, что ты собираешься жениться на Никки.

— Никки, — совершенно серьезно заговорил Киль, — из хорошей семьи. Она отличная девушка. И никогда не спит на подушке. Знаешь, почему она никогда не кладет подушку под голову?

— Нет.

Все сидевшие за столом прислушались к разговору. Всем было интересно узнать, что Киль расскажет о Никки.

— Еще очень молоденькой она была обручена с французским моряком. Она его очень любила. Однажды они загорали на пляже, и он сказал ей, что никогда не кладет подушку под голову, когда спит. Подобные вещи люди часто говорят друг другу просто так, для поддержания разговора. Но Никки этого не забыла. С того времени она стала пробовать обходиться без подушки. Француз попал под грузовик и погиб, и в память о своем возлюбленном она стала спать без подушки, хотя это и очень неудобно.

Киль набил рот фасолью и стал медленно ее пережевывать.

— Печальная история, — сказал он. — Из нее следует, что девушка она хорошая. Мне кажется, и я бы не прочь жениться на ней.

Киль говорил это накануне вечером за ужином. Теперь его больше нет. Интересно, что сделает Никки, чтобы сохранить память о нем.

Солнце раскалило мне спину, и я невольно повернулся, подставляя зною другой бок. Повернувшись, я увидел Кармель¹ и го-

¹ Горная гряда на северо-западе нынешнего Израиля. Город Хайфа расположен на северо-восточном склоне одноименной горы.

род Хайфу. Крутой бледно-зеленый склон спускался к морю, а внизу раскинулся город. На солнце ярко сверкали дома. Дома с выбеленными стенами покрывали склоны Кармеля, и их красные крыши усыпали всю гору.

Из серого железного ангара вышли трое летчиков, которые должны были вылететь вслед за нами, и медленно направились в нашу сторону. На них были захлестнутые стропами желтые парашюты. Они неторопливо шли в нашу сторону, неся в руках шлемы.

Когда они приблизились, Старик сказал:

— Килю не повезло.

И они ответили:

— Да, мы знаем.

Они сели на такие же деревянные ящики, на которых сидели мы, и солнце тотчас стало жечь им спины, и они начали потеть. Мы со Стариком пошли прочь.

На следующий день было воскресенье. Утром мы вылетели к Ливанской долине, чтобы на бреющем полете атаковать аэродром под названием Райяк. Мы пролетели мимо Хермона¹ с его снежной шапкой, снизившись, спрятались от солнца и атаковали на бреющем полете французские бомбардировщики, стоявшие в Райяке. Помню, что, когда мы летели низко над землей, двери французских бомбардировщиков стали открываться. Помню, я видел, как по аэродрому побежало много женщин в белых платьях. Особенно хорошо я запомнил белые платья.

Дело в том, что было воскресенье и французские летчики пригласили женщин из Бейрута посмотреть на их бомбардировщики. Приезжайте в воскресенье, говорили французы, мы покажем вам наши самолеты. Очень по-французски.

И когда мы начали стрелять, женщины повыскакивали из самолетов и побежали по аэродрому в своих выходных белых платьях.

Помню, Шеф сказал по радию:

— Пусть уходят, дайте им уйти.

И вся эскадрилья развернулась и сделала круг над аэродромом, пока женщины разбегались в разные стороны по траве. Одна из них споткнулась и дважды упала, другая захромала, и ей помогал какой-то мужчина, но мы не спешили. Помню, я увидел яркие

¹ Гора на границе Сирии и Ливана. Самая высокая точка на восточном побережье Средиземного моря.

вспышки пулеметной стрельбы со стороны земли. Я еще тогда подумал, что лучше бы они не стреляли, пока мы ждем, когда их женщины в белых платьях убегут прочь.

Это было на следующий день после того, как не стало Киля. Через день мы снова уселись со Стариком на деревянные ящики возле ангара. Пэдди, большой белокурый мальчик, занял место Киля и сидел рядом с нами.

Был полдень. Солнце стояло высоко в небе и шпарило, как огонь. Пот бежал по шее, под рубашкой, по груди и по животу, а мы сидели и ждали, когда нас сменят. Старик пришивал отодравшийся ремешок своего шлема и рассказывал мне о Никки, которую он увидел как-то вечером в Хайфе, и о том, как рассказал о ней Килю.

Неожиданно мы услышали гул летящего самолета. Старик умолк. Мы стали смотреть на небо. Гул слышался с севера. Он все нарастал, по мере того как самолет подлетал все ближе, и Старик неожиданно произнес:

— Это «харрикейн».

В следующую минуту самолет закружил над аэродромом, выпуская шасси для посадки.

— Кто это? — спросил белокурый Пэдди. — Сегодня еще никто не вылетал.

Когда самолет скользнул мимо нас по полосе, мы увидели номер на хвосте машины — Н.4427. Это был Киль.

Мы вскочили и уставились, как машина вырывается в нашу сторону, а когда она подъехала ближе и развернулась, чтобы встать, мы увидели в кабине Киля. Он махнул нам рукой, усмехнулся и вылез. Мы побежали к нему с криками:

— Где ты был?

— Да где, черт возьми, тебя носило?

— Ты что, сел на вынужденную, а потом снова взлетел?

— Женщину в Бейруте нашел, что ли?

— Да где же, черт побери, ты был все это время?

Вокруг него столпились и другие летчики, техники, укладчики парашютов, водители спецмашин. Все ждали, что скажет Киль. Он между тем снял шлем и рукой откинул назад свои черные волосы. Поначалу его так удивило наше поведение, что он просто молча смотрел на нас, а потом рассмеялся и сказал:

— Да что тут, черт возьми, происходит? Что это с вами?

— Где ты был? — заговорили мы. — Где ты пропал два дня?

На лице Киля было написано искреннее изумление. Он бросил быстрый взгляд на часы.

— Сейчас пять минут первого, — сказал он. — Вылетел я в одиннадцать — час и пять минут назад. Да не толпитесь вы как идиоты, дайте пройти. Мне нужно срочно доложить о выполненном задании. Морякам наверняка интересно будет узнать, что эти эсминцы все еще в бейрутской гавани.

Он повернулся, намереваясь уйти. Я схватил его за руку.

— Киль, — спокойно произнес я, — тебя не было с позавчерашнего дня. Что с тобой случилось?

Он взглянул на меня и рассмеялся.

— Мог бы и получше шутить, — сказал он. — Уж я-то знаю. Но на этот раз не смешно. Совсем не смешно.

И он ушел.

Мы стояли — Старик, Пэдди, я, техники, укладчики парашютов, водители спецмашин — и смотрели Килю вслед. Потом мы переглянулись, не зная, что сказать и что думать, ничего не понимая, ничего не зная, за исключением того, что Киль был совершенно серьезен и сам верил в то, что сказал. Мы знали, что это так, поскольку знали Киля, и к тому же когда люди вместе, как мы, тогда никто не сомневается в словах другого, особенно если речь идет о полете. Сомневаться можно только в самом себе. Вот мы и засомневались в себе. Старик стоял на солнце около крыла машины Киля и отколупывал пальцами краску, которая высохла и потрескалась на солнце.

— Черт знает что, — сказал кто-то, и все разошлись по своим делам.

Выйдя из серого железного ангара, к нам неспешно подошли трое летчиков, готовые к полету. Они медленно шли под горячим солнцем, размахивая шлемами, которые держали в руках. Старик, Пэдди и я направились в столовую, чтобы выпить и пообедать.

Столовая размещалась в небольшом деревянном строении с верандой. Внутри были две комнаты, одна представляла собой что-то вроде гостиной с креслами и журналами и дыркой в стене, через которую можно было заказать напитки, а другая и была столовой с длинным деревянным столом. В гостиной мы застали Киля, который беседовал с Шефом, нашим командиром. Другие летчики сидели вокруг них и слушали. Все пили пиво. Мы знали, что дело

серьезное, хотя все сидят в креслах и пьют пиво. Шеф делал то, что и должен был делать. Редкий человек Шеф. Высокого роста, с красивым лицом, с раной от итальянской пули в ноге, всегда готовый прийти на помощь. Он никогда не смеялся громко, а давился от смеха, издавая глубокие гортанные звуки.

— Да не волнуйтесь вы так, Шеф, — говорил Киль. — Лучше помогите мне не думать, будто я сошел с ума.

Киль оставался серьезен и рассуждал здраво, но вместе с тем был не на шутку встревожен.

— Я рассказал все, что знаю, — говорил он. — Как взлетел в одиннадцать часов, высоко взобрался, потом полетел в Бейрут, увидел два французских эсминца и вернулся, приземлившись в пять минут первого. Клянусь, это все, что я знаю.

Он обвел нас взглядом, посмотрел на Старика и на меня, на Пэдди и на Джонни и на полдюжины других летчиков, находившихся в помещении. Мы улыбнулись ему и закивали, давая понять, что мы с ним, не против него и что мы ему верим.

— И что, по-твоему, мне докладывать в штабе в Иерусалиме? — спросил Шеф. — Я уже доложил, что ты пропал без вести. Теперь я должен сообщить, что ты вернулся. Они потребуют узнать, где ты был.

Все это начинало выводить Килья из себя. Он сидел прямо, постукивая быстро и резко пальцами левой руки по кожаному подлокотнику, а потом стал еще и ногой притопывать. Терпение у Старика лопнуло.

— Слушай, Шеф, — сказал он. — Давай пока оставим все это. Может, Киль потом что-то вспомнит.

Пэдди, сидевший на подлокотнике кресла Старика, сказал:

— Правильно, а мы можем пока доложить в штаб, что Киль совершил вынужденную посадку на поле в Сирии, два дня у него ушло на ремонт самолета, а потом он полетел домой.

Все старались помочь Килью, все летчики. У нас всех было убеждение, будто в этом деле есть что-то такое, что в большой степени касается каждого из нас. И Киль это знал, хотя только это он и знал, а другие это тоже знали, что и было написано на их лицах. Возникло напряжение, и довольно высокое, потому что впервые мы столкнулись с чем-то новым — это тебе не пули, не огонь, не чиханье двигателя, не лопнувшая резина колес, не кровь в кабине, не

вчера, и не сегодня, и даже не завтра. Шефу тоже передалось это напряжение, и он сказал:

— Да-да, давайте еще выпьем и оставим пока все как есть. Я доложу в штабе, что ты вынужден был приземлиться в Сирии, а потом тебе удалось снова взлететь.

Мы выпили еще пива и пошли обедать. Шеф заказал несколько бутылок палестинского белого вина к обеду, чтобы отметить возвращение Киля.

После этого никто и не вспоминал о том, что произошло. Мы и в отсутствие Киля не говорили об этом. Но каждый из нас продолжал думать об этом про себя, зная наверняка, что случилось нечто важное и не все еще закончилось. Напряжение быстро распространилось по эскадрилье и охватило всех летчиков.

Между тем дни шли своим чередом. Солнце сияло над аэродромом и над самолетами, и Киль снова стал с нами летать, как и прежде.

И вот однажды — думаю, это было неделю спустя — мы снова атаковали Райяк на бреющем полете. Нас было шестеро, Шеф шел ведущим, Киль летел справа. Мы снизились над Райяком. Легкие зенитки открыли плотный огонь. Во время первого захода подбили машину Пэдди. Когда мы заходили флангом во второй раз, то увидели, как его «харрикейн» мягко вошел в полубочку и устремился к земле прямо у края аэродрома. Когда он ударился о землю, поднялось огромное облако белого дыма, потом показалось пламя. Оно стало распространяться, дым из белого стал черным, а там был Пэдди. В наушниках тотчас же раздался треск, и я услышал очень взволнованный голос Киля, который кричал в микрофон:

— Я вспомнил. Алло, Шеф, я все вспомнил.

А потом Шеф проговорил медленно и спокойно:

— Хорошо, Киль. Хорошо. Только смотри не забудь.

Мы сделали еще один заход, после чего Шеф быстро увел нас. Мы петляли над долинами, а по сторонам над нами возвышались голые серо-коричневые горы. Мы возвращались домой, и лету было полчаса. Киль без умолку что-то кричал по радиотелефону. Сначала он вызвал Шефа и сказал:

— Алло, Шеф, я вспомнил, все вспомнил, все детали.

Потом он говорил:

— Алло, Старик, я вспомнил, все вспомнил. Теперь уже не забуду.

Потом он вызывал меня, Джонни и Мечтателя. Он вызывал каждого из нас по очереди и был так взволнован, что иногда кричал в микрофон чересчур громко и мы не могли разобрать ни слова.

Приземлившись, мы вылезли из самолетов, а поскольку Киль почему-то вздумалось посадить свою машину в дальнем конце аэродрома, то мы пришли на командный пункт раньше его.

Пункт управления находился рядом с ангаром. Это было голое помещение с большим столом посередине, на котором лежала карта района. Там был еще один небольшой столик с парой телефонов, несколько деревянных стульев и скамеек, а в углу были сложены надувные спасательные жилеты, парашюты и шлемы. Мы снимали с себя комбинезоны и бросали их в угол, и тут появился Киль. Он быстро вошел и остановился в дверях. Его черные волосы были взъерошены, потому что он только что стянул с себя шлем. Лицо блестело от пота, а рубашка цвета хаки потемнела от влаги. Он быстро дышал открытым ртом. Вид у него был такой, будто он только что бежал. Он был похож на ребенка, который ворвался в комнату, где полно взрослых, дабы сообщить, что кошка родила в детской котят, но не знает, с чего начать.

Мы все слышали, как он приближается, потому что только его и ждали. Все оторвались от своих занятий и замерли на месте, глядя на Киля.

— Привет, Киль, — сказал Шеф.

А Киль ответил:

— Шеф, ты должен поверить мне, потому что все так и было.

Шеф стоял возле столика с телефонами, рядом со Стариком, с приземистым рыжеволосым Стариком. Он стоял, держа в руках захлестнутый стропами парашют, и смотрел на Киля. Остальные находились в дальнем конце помещения. Когда Киль заговорил, летчики стали потихоньку подходить поближе, пока не оказались около стола с большой картой. Опершись о него, они уставились на Киля и стали ждать, что он скажет.

Он заговорил тотчас же. Говорил он быстро, потом успокоился и, по мере того как развивался сюжет его рассказа, стал говорить медленнее. Он рассказал все, так и не отойдя от дверей командного пункта, не сняв своего желтого парашюта и держа в руках шлем и кислородную маску. Другие тоже оставались на своих местах, стояли и слушали. Слушая его, я забыл, что это говорит Киль и что мы находимся на командном пункте в Хайфе. Я все забыл и отпра-

вился вместе с ним в его путешествие и не возвращался, пока он не закончил.

— Я летел на высоте около двадцати тысяч, — рассказывал он. — Пролетел над Тиром и Сидоном¹ и над рекой Дамур, а потом полетел над ливанскими горами, потому что хотел зайти на Бейрут с востока. Неожиданно я оказался в облаке, в плотном белом облаке, которое было таким густым и плотным, что я ничего не видел, кроме кабины. Я ничего не понимал, потому что за минуту до этого небо было чистое и голубое, нигде ни облачка... Чтобы выбраться из облака, я начал снижаться. Я летел все ниже и ниже, но по-прежнему находился в нем. Я знал, что слишком низко лететь из-за гор нельзя, но на высоте шесть тысяч облако все еще окружало меня. Оно было таким плотным, что я ничего не видел, даже носа машины или крыльев. Пары на лобовом стекле превращались в жидкость, и струйки воды бежали по стеклу. Горячий воздух двигателя высушивал их. Никогда раньше я не видел такого облака. Оно было плотным и белым у самой кабины. У меня было такое ощущение, будто я лечу на ковре-самолете, сижу один-одинешенек в этой кабинке со стеклянным верхом, без крыльев, без хвоста, без двигателя и без самолета. Я знал, что мне нужно выбираться из этого облака, поэтому развернулся и полетел от гор на запад над морем. Согласно высотомеру, я снизился намного. Я летел на высоте пятьсот футов, потом четыреста, триста, двести, сто, а облако все еще окружало меня. Я перестал снижаться, зная, что это опасно. Потом совершенно неожиданно, точно порыв ветра, меня охватило чувство, что подо мной ничего нет, ни моря, ни земли, вообще ничего, и я медленно, совершенно сознательно задросселировал двигатель, с силой отдал ручку вперед и вошел в пике.

На высотомер я не смотрел. Я глядывался в белизну перед собой за лобовым стеклом и продолжал пикировать. Ручку я держал в положении «от себя», сохраняя угол пикирования, и продолжал всматриваться в обступившую меня обширную белизну. Я даже не задумывался, куда лечу, а просто летел.

Не знаю, сколько это продолжалось, может, несколько минут, а может, и часов. Знаю только, что я сидел в самолете, который находился в пике. Я был уверен, что подо мною не горы, не реки, не земля и не море, но мне не было страшно.

¹ *Тир* — город-государство в Финикии, современный город Сур в Ливане. *Сидон* — город-государство в Финикии, современный город Сайда в Ливане.

И тут меня ослепил свет. Как будто ты только что дремал и вдруг кто-то включил свет.

Я выскочил из облака так неожиданно и так быстро, что свет меня ослепил. Переход из одной среды в другую был мгновенным. Только что меня окружала плотная белизна, и вот ее уже нет и вокруг так светло, что свет слепит. Я крепко зажмурился и несколько секунд не открывал глаза.

Когда я открыл их, все вокруг было голубым. Такого голубого цвета мне еще не приходилось видеть. Цвет был не синий и не ярко-голубой, а именно голубой, чистый сверкающий свет, какого я никогда раньше не видел и не могу описать. Я огляделся. Потом взглянул вверх и покрутил головой. Приподнявшись, посмотрел вниз сквозь стекло кабины. Все было голубым. Было светло и ясно, будто светило солнце, но солнца не было.

И тут я увидел их.

Надо мной и впереди меня по небу летели самолеты, вытянувшись в тонкую длинную линию. Они двигались одной черной линией, все летели с одной скоростью, в одном направлении, близко друг от друга, один за другим, и эта линия растянулась по небу, на сколько хватало глаз. Так они и летели, не сворачивая со взятого курса, точно парусные суда, подгоняемые сильным ветром, и тут я все понял. Сам не знаю, как я догадался, но, глядя на них, я понял, что это летчики и экипажи, убитые в боях, а теперь они в своих самолетах отправились в свой последний полет, в последнее путешествие.

Поднявшись выше и приблизившись к ним, я узнал некоторые машины. В этой длинной процессии были почти все типы самолетов. Я видел «ланкастеры» и «дорнье», «галифаксы» и «харрикейны», «мессершмитты», «спитфайры», «стерлинги», «Савойи-79С», «Юнкерсы-88С», «гладиаторы», «хэмпдены», «Маччи-200С», «бленхеймы», «фокке-вульффы», «бофайтеры», «сордфиши» и «хейнкели». Я видел самолеты всех этих типов, да и многих других, и я видел, как движущаяся линия достигла края голубого неба, прорезав его из конца в конец, и наконец исчезла из виду.

Я находился близко от них, и мне казалось, что меня тянет за ними помимо моей воли. Мою машину подхватил ветер и начал подбрасывать ее, как игрушку, и меня вихрем потянуло за другими самолетами. Я ничего не мог поделать, потому что меня захватил вихрь и закружил ветер. Все это произошло очень быстро, но я чет-

ко все помню. Помню, что мой самолет потянуло сильнее, я летел все быстрее и быстрее и вскоре и сам вдруг оказался в процессии, двигаясь вперед вместе с остальными, с той же скоростью и тем же курсом. Впереди меня летел — так близко, что я видел, какого цвета краска на крыльях, — «сордфиш», старый «сордфиш» военно-морской авиации. Я видел головы и шлемы летчика-наблюдателя и пилота, сидевших в кабине один за другим. За «сордфишем» летел «дорнье», «летающий карандаш», а за «дорнье» — другие машины, типы которых я не мог определить из-за расстояния.

Мы летели все дальше и дальше. Свернуть или улететь от них я не мог, даже если бы захотел. Не знаю почему, хотя, возможно, все дело было в вихре и в ветре. Да, так и есть. Мало того, я не управлял своим самолетом; он летел сам по себе. Мне не нужно было ни маневрировать, ни следить за скоростью и высотой, я не управлял ни двигателем, ни самолетом. Я бросил взгляд на приборную доску и увидел, что приборы не работают, как это бывает, когда машина стоит на земле.

Итак, мы продолжали лететь. Понятия не имею, как быстро мы летели. Ощущения скорости не было, но, насколько я мог себе представить, она составляла что-то около миллиона миль в час. Вспоминаю, что ни разу тогда я не почувствовал ни холода или жары, ни голода или жажды; ничего этого я не чувствовал. Страх я тоже не чувствовал, потому что не знал, чего бояться. Беспокойства не чувствовал, потому что ничего не помнил и не думал ни о чем таком, что вызывает беспокойство. У меня не было желания что-либо делать, да и вообще не было никаких желаний. От того, где нахожусь, я испытывал только удовольствие — все вокруг расцвечено прекрасными яркими красками. Я случайно увидел отражение своего лица в зеркале: я улыбался, улыбался глазами и ртом. Отвернувшись, я знал, что продолжаю улыбаться, потому что мне хотелось улыбаться. Летчик-наблюдатель в «сордфише» как-то раз обернулся и помахал мне рукой. Я отодвинул фонарь кабины и помахал ему в ответ. Помню, что, когда я открыл кабину, не было ни дуновения, не стало ни холоднее, ни теплее, а руку мою не обдал горячий воздух от двигателей. Потом я заметил, что все машут друг другу, как дети на детской железной дороге, и я обернулся и помахал летчику в «маччи», летевшему за мной.

Но тут далеко впереди стало что-то происходить. Я увидел, что самолеты меняют курс, поворачивают налево и теряют высоту. Вся

процессия, достигнув определенной точки, накренившись, спускалась вниз широким, с большим охватом, кругом. Я инстинктивно посмотрел вниз и увидел раскинувшуюся подо мною обширную зеленую равнину. Она была зеленой, гладкой и красивой и простиралась к самому краю горизонта, где небесная голубизна смыкалась с зеленью равнины.

И еще там был свет. С левой стороны далеко-далеко возник яркий белый свет, сиявший ярко, но бесцветно. Казалось, это было солнце, но гораздо больше, чем солнце, нечто бесформенное и аморфное. Свет был яркий, но не ослепляющий, и исходил он от того, что лежало на дальнем конце зеленой равнины. Свет распространялся во все стороны из ослепительно-яркой точки и заливал небо и всю долину. Увидев его в первый раз, я сначала глаз не мог от него оторвать. У меня не было желания приближаться к нему, входить в него, и почти тотчас же меня охватило столь страстное желание слиться с ним, что я несколько раз попытался увести свой самолет из строя и полететь прямо на свет, но это было невозможно, и я вынужден был лететь вместе со всеми.

Как только самолеты вошли в крен и стали терять высоту, я последовал за ними. Мы начали спускаться к лежавшей внизу зеленой равнине. Теперь, когда равнина оказалась ближе, я увидел на ней огромное множество самолетов. Они были всюду — точно смородина рассыпалась по зеленому ковру. Их были многие сотни, и каждую минуту, почти каждую секунду число их увеличивалось, по мере того как садились и выруливали на стоянку те, кто летел впереди меня.

Мы быстро теряли высоту. Скоро я увидел, как те, которые летят прямо передо мной, выпускают шасси и готовятся к посадке. «Дорнье», летевший за одну машину до меня, выровнялся и приземлился. За ним сел «сордфиш». Летчик свернул немного влево от «дорнье» и приземлился рядом с ним. Я свернул влево от «сордфиша» и выровнял самолет, после чего выглянул из кабины и посмотрел на землю, рассчитывая высоту. Зелень под быстро летевшим самолетом слилась в одно сплошное пятно.

Я ждал, когда мой самолет коснется земли. Казалось, на это ушло слишком много времени. «Ну, — говорил я. — Ну, давай же, давай». Я был лишь в шести футах от земли, но самолет не терял высоты. «Да садись же, — закричал я. — Пожалуйста, садись». Я потерял голову. Меня охватил страх. Вдруг я заметил, что набираю

скорость. Я выключил зажигание, но это ни к чему не привело. Самолет набирал скорость и летел все быстрее и быстрее. Я оглянулся и увидел позади длинную процессию из самолетов, падавших с неба и заходивших на посадку. На земле я увидел множество самолетов, разбросанных по равнине, а на одном конце ее был виден свет, сверкающий белый свет, который так ярко озарял всю равнину. К нему меня и тянуло. Я знал, что стоит мне приземлиться, и я побегу к этому свету, как только выберусь из самолета.

А теперь я улетаю от него. Мой страх увеличивался. Чем быстрее и чем дальше я улетаю, тем больший страх меня одолевал, и я стал сопротивляться, как только мог: дергал за ручку управления, боролся с самолетом, пытаюсь развернуть его назад к свету. Когда я понял, что это невозможно, я попытался убить себя. Я попробовал войти в пике, чтобы врезаться в землю, но самолет продолжал лететь прямо. Я попытался выпрыгнуть из кабины, но на моем плече будто лежала чья-то рука и прижимала меня к сиденью. Попробовал я и биться головой о стены кабины, но и это ни к чему не привело, и я продолжал бороться со своей машиной и неизвестно с чем еще, пока вдруг не заметил, что нахожусь в облаке. Я попал в такое же плотное белое облако, что и раньше; и самолет, казалось, набирал высоту. Я оглянулся. Облако окружало меня со всех сторон. Не было ничего, кроме этой обширной непроницаемой белизны. У меня закружилась голова. Тошнота подступила к горлу. Мне теперь было все равно, что будет дальше. Потеряв к происходящему всякий интерес, я просто сидел, позволив машине лететь самой по себе.

Прошло много времени. Я уверен, что сидел так несколько часов. Должно быть, я уснул. Пока я спал, мне снился сон. Мне снилось не то, что я только что видел. Мне снилась моя повседневная жизнь: эскадрилья, Никки и аэродром здесь, в Хайфе. Мне снилось, будто я сижу в готовности возле ангара с двумя другими летчиками, будто от военных моряков поступила просьба, чтобы кто-нибудь быстренько произвел разведку над Бейрутом, а поскольку я должен был лететь первым, то я вскочил в свой «харрикейн» и умчался. Мне снилось, будто я пролетел над Тиром и Сидоном и над рекой Дамур и поднялся на высоту двадцать тысяч футов. Потом я повернул в сторону ливанских гор, развернулся и приблизился к Бейруту с востока. Я был над городом; глядя вниз на гавань, я старался обнаружить французские эсминцы. Скоро я увидел их,

увидел отчетливо; они стояли на якоре у верфи бок о бок, и я на вираже развернулся и полетел домой как можно быстрее.

Военные моряки не правы, думал я в пути. Эсминцы все еще в гавани. Я взглянул на часы. Прошло полтора часа. «Быстро обернулся, — сказал я. — Они будут довольны». Я попытался связаться по радио, чтобы передать информацию, но мне это не удалось.

Потом я вернулся сюда. Когда приземлился, вы все собрались вокруг меня и стали спрашивать, где я пропадал два дня, но я ничего не мог вспомнить. Пока не сбили Пэдди, я ничего не помнил, кроме полета в Бейрут. Как только его машина ударилась о землю, я поймал себя на том, что говорю: «Ну и повезло же тебе, подлец. До чего тебе повезло». И, сказав так, я понял, почему произнес эти слова. Я все вспомнил. Вот тогда я и закричал по радио. Я тогда все вспомнил.

Киль умолк. Никто не шелохнулся и не произнес ни слова за все то время, что он говорил. Теперь заговорил Шеф. Он переступил с ноги на ногу, повернулся к окну и тихо, почти шепотом, произнес:

— Черт знает что.

И мы все продолжили снимать комбинезоны и складывать их в углу на пол, все, кроме Старика, этого приземистого коротышки. Он стоял и смотрел, как Киль медленно идет в угол, чтобы сложить там свою одежду.

После рассказа Киля жизнь в эскадрилье снова вошла в норму. Исчезло напряжение, которое мы испытывали больше недели. На аэродроме всем было занятие. Но никто больше не вспоминал о путешествии Киля. Мы никогда больше об этом не говорили, даже когда пили по вечерам в «Эксельсиоре» в Хайфе.

Сирийская кампания подходила к концу. Всем было ясно, что скоро она должна закончиться, хотя французы и сражались отчаянно южнее Бейрута. Мы продолжали летать. Мы много летали над судами, с которых обстреливали берег, ибо наша работа состояла в том, чтобы защищать их от «Юнкерсов-88», прилетавших с Родоса. Во время последнего полета над судами Киль и погиб.

Мы летели высоко над кораблями, когда нас атаковали крупными силами Ю-88, и все завертелось. У нас в воздухе было только шесть «харрикейнов»; «юнкерсов» налетело много, и битва была серьезная. Не очень хорошо помню, как тогда все происходило,

да это и не запомнишь. Но помню, что сражение было сумасшедшим, с преследованиями, «юнкерсы» с ходу атаковали корабли, с кораблей отстреливались чем только можно, так что небо было полно белых цветов, которые быстро расцветали, вырастали на глазах и уносились с ветром. Помню, как немец взорвался в воздухе. Это произошло быстро, вспыхнуло что-то белое, и там, где только что был бомбардировщик, ничего не осталось, только крошечные железные обломки медленно посыпались вниз. Помню еще одного, у которого отстрелили заднюю турель, и та летела вместе со стрелком, который уцепился за хвост стропами, пытаясь снова взобраться в машину. Помню одного смельчака, который оставался вверху, чтобы биться с нами, пока другие заходили на бомбометание. Помню, мы его сбили, и помню, как он медленно перевернулся на спину, бледно-зеленым животом вверх, как дохлая рыба, а потом штопором ринулся вниз.

И помню Киля.

Я был рядом с ним, когда его самолет загорелся. Я видел, как пламя вырывается из носа его машины и пляшет на капоте двигателя. Из выхлопных патрубков его «харрикейна» потянулся черный дым.

Я подлетел ближе и стал вызывать его по радио:

— Алло, Киль. Тебе надо прыгать.

Я услышал его голос. Он говорил спокойно и медленно:

— Это не так-то просто.

— Прыгай, — кричал я, — прыгай быстрее!

Я видел его под стеклянной крышей кабины. Он посмотрел в мою сторону и покачал головой.

— Это не так-то просто, — ответил он. — Я ранен. У меня прострелены руки, и я не могу расстегнуть замок привязных ремней.

— Выпрыгивай, — кричал я. — Ради бога, прыгай же!

Но он не отвечал. Какое-то время его самолет продолжал лететь прямо, а потом мягко, словно умирающий орел, опустил одно крыло и устремился к морю. Я смотрел ему вслед; в небе осталась тонкая полоска черного дыма. И тут я снова услышал голос Киля, который отчетливо и медленно произнес: «Ну и повезло же мне, подлецу. Как же мне повезло».

ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ СОБАКА

Внизу нескончаемым морем простирались волнистые облака. Сверху светило солнце. Оно было белым, как и облака, потому что солнце никогда не бывает желтым, когда на него смотришь, находясь высоко в небе.

Он продолжал лететь на «спитфайре». Его правая рука была на штурвале, а руль направления он контролировал одной левой ногой. Это было очень просто. Машина летела хорошо. Он знал, что делает.

Все идет отлично, думал он. Все в порядке. Со мной все нормально. Дорогу домой я знаю. Буду там через полчаса. Когда приземлюсь, вырuchu на стоянку, выключу двигатель и скажу: «Ну-ка, помогите мне выбраться». Постараюсь, чтобы голос мой звучал как обычно и естественно, никто ничего и не заметит. Потом я скажу: «Да помогите же кто-нибудь выбраться. Самому мне никак, я ведь ногу потерял». Они все рассмеются и подумают, что я шучу, и тогда я скажу: «Хорошо, идите и сами посмотрите, мерзавцы неверующие». Тогда Йорки заберется на крыло и заглянет внутрь кабины. Его, наверное, стошнит, столько там кровавого месива. А я рассмеюсь и скажу: «Ради бога, да помогите же мне выбраться».

Он снова взглянул на свою правую ногу. От нее мало что осталось. Осколок угодил ему в бедро, чуть выше колена, и теперь там была лишь кровавая мешанина. Но боли не было. Когда он смотрел на свою ногу, ему казалось, будто он смотрит на что-то чужое. То, на что он смотрел, не имело к нему отношения. Просто в кабине оказалось какое-то месиво, и это странно, необычно и довольно занятно. Это все равно что найти на диване мертвого кота.

Он и вправду чувствовал себя отлично, немного разве что был взвинчен, но страха не испытывал.

И не буду я выходить на связь, чтобы приготовили санитарную машину, думал он. К чему это? А когда приземлюсь, из кабины вы-

лезать в этот раз сам не буду, но скажу: «Эй, ребята, кто там есть. Идите сюда, помогите-ка мне вылезти, я ведь ногу потерял». Вот будет смеху. Я и сам хохотну, когда скажу это; я произнесу это спокойно и медленно, а они подумают, будто я шучу. Когда Йорки залезет на крыло и его стошнит, я скажу: «Йорки, старый ты сукин сын, ты приготовил мою машину?» Потом, когда выберусь, напишу рапорт. А уже потом полечу в Лондон. Возьму полбутылки виски и зайду к Голубке. Сядем у нее в комнате и будем пить. Воду я наберу из крана в ванной. Много я говорить не буду, но, когда придет время идти спать, я скажу: «Слушай, Голубка, а у меня для тебя сюрприз. Сегодня я потерял ногу. Но мне все равно, если и ты не против. Мне даже не больно. В машине мы куда угодно съездим. Пешком ходить я никогда не любил, если не считать прогулок по улицам медников в Багдаде, но я могу передвигаться на рикше. Могу поехать домой и рубить там дрова, правда обух то и дело соскакивает с топорница. Надо бы его в горячую воду опустить, положить в ванну, пусть разбухает. В прошлый раз я нарубил дома много дров, а потом положил топорница в ванну...»

Тут он увидел, как солнце сверкает на капоте двигателя его машины. Он видел, как солнце сверкает на заклепках в металле, и тогда вспомнил о самолете и о том, где он находится. Он уже не чувствовал себя хорошо: его тошнило и кружилась голова. Голова то и дело падала на грудь, потому что у него уже не было сил держать ее. Но он знал, что летит на «спитфайре». Пальцами правой руки он чувствовал ручку управления.

«Сейчас я потеряю сознание, — подумал он. — В любой момент могу отключиться».

Он бросил взгляд на высотомер. Двадцать одна тысяча. Чтобы испытать себя, он попробовал сосредоточиться на сотнях и тысячах. Двадцать одна тысяча и сколько? Показания высотомера размылись. Он и стрелки не видел. Тут до него дошло, что надо прыгать с парашютом, нельзя терять ни секунды, иначе он потеряет сознание. Быстро, лихорадочно он попытался отодвинуть фонарь левой рукой, но сил не было. Он на секунду убрал правую руку с ручки управления, и двумя руками ему удалось отодвинуть крышку. Поток воздуха, казалось, освежил его. На минуту к нему вернулось ясное сознание. Его действия стали правильными и точными. Вот как это бывает с хорошими летчиками. Он сделал несколько быстрых и глубоких глотков из кислородной маски, а потом по-

вернул голову и посмотрел вниз. Там было лишь обширное белое море из облаков, и он понял, что не знает, где находится.

«Наверное, это Ла-Манш. Точно, упаду в Ла-Манш».

Он стянул шлем, расстегнул привязные ремни и рывком поставил ручку управления в левое положение. «Спитфайр» мягко перевернулся через крыло брюхом кверху, и летчик резко отдал ручку от себя. Его выбросило из самолета.

Падая, он открыл глаза, потому что знал: ему нельзя терять сознание, прежде чем он дернет за кольцо парашюта. С одной стороны он видел солнце, с другой — белизну облаков, и, падая и переворачиваясь в воздухе, он видел, как облака бегут за солнцем, а солнце преследует облака. Так и бегали друг за другом по маленькому кругу; они бежали все быстрее и быстрее, солнце за облаками, облака — за солнцем, облака подбегали все ближе, и вдруг солнце исчезло и осталась одна лишь обширная белизна. Весь мир стал белым, и в нем ничего не было. Мир был таким белым, что иногда казался черным, а потом становился то белым, то черным, но больше белым. Он смотрел, как мир из белого становится черным, а потом опять белым, и белым он был долгое время, а черным — лишь несколько секунд. В эти белые периоды он засыпал, но просыпался, едва мир становился черным. Однако черным тот был недолго — так, сверкнет иногда черной молнией. Белый мир тянулся долго, и тогда он засыпал.

Однажды, когда мир был белым, он протянул руку и дотронулся до чего-то. Он стал разминать это пальцами. Какое-то время он лежал и раскатывал пальцами то, что оказалось под рукой. Потом медленно открыл глаза, посмотрел на свою руку и увидел, что держит в руке нечто белое. Это был край простыни. Он знал, что это простыня, потому что видел фактуру ткани и строчку на кромке. Он сощурил глаза и тотчас снова открыл их. На этот раз он увидел комнату. Он увидел кровать, на которой лежал; он увидел серые стены, дверь, зеленые занавески на окнах. На столике возле кровати стояли розы.

Потом он увидел миску на столике рядом с розами. Миска была эмалированная, белая, а рядом стояла мензурка.

«Это госпиталь, — подумал он. — Я в госпитале». Но он ничего не помнил. Он откинулся на подушке, глядя в потолок и стараясь вспомнить, что же произошло. Он смотрел на ровный серый потолок, который был таким чистым и серым, и вдруг увидел, что по

потолку ползет муха. При виде этой мухи, этой маленькой черной точки, неожиданно появившейся на сером море, пелена спала с его сознания, и он тотчас, в долю секунды, все вспомнил. Он вспомнил «спитфайр», вспомнил высотомер, показывающий двадцать одну тысячу футов. Вспомнил, как сдвигает назад фонарь кабины обеими руками и выпрыгивает с парашютом. Он вспомнил про свою ногу.

Теперь, кажется, с ним все в порядке. Он посмотрел на другой конец кровати, но ничего определенного сказать не смог. Тогда просунул руку под одеяло и ощупал колена. Одно из них он обнаружил сразу, но, когда стал нащупывать другое, его рука коснулась чего-то мягкого, перебинтованного.

В эту минуту открылась дверь и вошла сестра.

— Привет, — сказала она. — Проснулся наконец.

Несимпатичная, но большая и чистая. Лет тридцати—сорока, белокурая. Больше он ничего не сумел разглядеть.

— Где я?

— Тебе повезло. Ты упал в лес у берега. Ты в Брайтоне. Тебя привезли два дня назад, теперь с тобой все в порядке. Выглядишь ты отлично.

— Я потерял ногу.

— Это ничего. Мы тебе другую найдем. А теперь спи. Доктор придет через час.

Она взяла миску и мензурку и вышла.

Но он не мог уснуть. Ему хотелось лежать с открытыми глазами, потому что он боялся, что если снова закроет их, то все кончится. Он лежал и смотрел в потолок. Муха была все там же. Она вела себя очень энергично. Пробежит несколько дюймов, остановится. Еще пробежит, остановится, потом опять побежит, и при этом она то и дело взлетала и с жужжанием кружилась. Садилась она на одно и то же место на потолке, после чего опять бежала и останавливалась. Он так долго наблюдал за ней, что спустя какое-то время ему стало казаться, будто это и не муха вовсе, а всего лишь черное пятнышко на сером море. Он продолжал следить за мухой, когда сестра открыла дверь. Она отступила в сторону, уступая дорогу врачу. Это был военный врач, на кителе у него были ленточки с прошлой войны. Он был лысый, небольшого роста, но у него было приветливое лицо и добрые глаза.

— Так-так, — сказал он. — Значит, решили все-таки проснуться. Как вы себя чувствуете?

— Хорошо.

— Вот и отлично. Мы вас быстренько поправим.

Врач взял его запястье, чтобы послушать пульс.

— Кстати, — сказал он, — звонили парни из вашей эскадрильи и спрашивали насчет вас. Хотят навестить, но я им сказал, чтобы подождали пару дней. Еще сказал, что с вами все в порядке и они могут заглянуть чуть попозже. Так что лежите спокойно и ни о чем не тревожьтесь. У вас есть что-нибудь почитать?

Он бросил взгляд в сторону столика, на котором стояли розы.

— Нет? Ничего, сестра об этом позаботится. Она в вашем полном распоряжении.

И с этими словами он махнул рукой и вышел, сопровождаемый сестрой.

Когда они ушли, он вытянулся на кровати и снова стал смотреть в потолок. Муха была все еще там. Пока он рассматривал ее, где-то вдалеке послышался шум самолета. Он прислушался к гулу двигателей. Шум был очень далеко. «Интересно, что это за самолет, — подумал он. — Попробую определить тип». Неожиданно он резко дернул головой. Всякий, кто попадал под бомбежку, узнает по звуку «Юнкерс-88». По шуму можно вычислить и другие немецкие самолеты, однако «Юнкерс-88» издает особый звук. Он низко, басовито вибрирует, но к этому голосу примешивается высокий тенор. Именно тенор и отличает «Юнкерс-88», так что ошибиться невозможно.

Прислушиваясь к звуку, он решил: он точно знает, какой это самолет. Но где же сирены и орудия? Этот немецкий летчик большой смельчак, если отважился оказаться около Брайтона среди бела дня.

Самолет гудел где-то вдаль, и скоро звук пропал. Потом появился другой звук, на этот раз тоже где-то вдалеке, но опять же — глубокий вибрирующий бас смешался с высоким колеблющимся тенором, так что ошибиться невозможно. Он слышал такие звуки каждый день во время битвы за Британию.

Он был озадачен. На столике рядом с кроватью стоял колокольчик. Он протянул руку и позвонил в него. В коридоре раздались шаги. Вошла сестра.

— Сестра, что это были за самолеты?

— Вот уж не знаю. Я их не слышала. Наверное, истребители или бомбардировщики. Думаю, они возвращаются из Франции. А в чем дело?

— Это были Ю — восемьдесят восемь. Уверен, что это Ю — восемьдесят восемь. Я знаю, как звучат их двигатели. Их было два. Что они здесь делали?

Сестра подошла к кровати, разгладила простыню и подоткнула ее под матрас.

— О господи, да что ты там себе выдумываешь. Не нужно тебе ни о чем таком думать. Хочешь, принесу что-нибудь почитать?

— Нет, спасибо.

Она взбила подушку и убрала волосы с его лба.

— Днем они больше не прилетают. Да ты и сам это знаешь. Это, наверное, «ланкастеры» или «летающие крепости».

— Сестра.

— Да?

— Можете дать мне сигарету?

— Ну конечно же.

Она вышла и почти тотчас вернулась с пачкой «Плейерс» и спичками. Она дала ему сигарету и, когда он вставил ее в рот, зажгла спичку, и он закурил.

— Если понадобится, — сказала она, — просто позвони в колокольчик.

И она вышла.

Вечером он еще раз услышал звук самолета, уже другого. Тот летел где-то далеко, но, несмотря на это, он определил, что машина одномоторная. Она летела быстро; это было ясно. Что за тип, трудно сказать. Не «спит» и не «харрикейн». Да и на американский двигатель не похоже. Те шумнее. Он не знал, что это за самолет, и это не давало ему покоя. «Наверное, я очень болен, — подумал он. — Наверное, мне все чудится. Быть может, я в бреду. Просто не знаю, что и думать».

В этот вечер сестра принесла миску с горячей водой и начала его обмывать.

— Ну так как, — спросила она, — надеюсь, тебе больше не кажется, что нас бомбят?

Она сняла с него верхнюю часть пижамы и стала фланелью намывать ему руку. Он не отвечал.

Она смочила фланель в воде, еще раз намылила ее и стала мыть ему грудь.

— Ты отлично выглядишь сегодня, — сказала она. — Тебе сделали операцию, как только доставили. Отличная была работа. С тобой все будет в порядке. У меня брат в военно-воздушных войсках, — прибавила она. — Летает на бомбардировщиках.

— Я ходил в школу в Брайтоне, — сказал он.

Она быстро взглянула на него.

— Что ж, это хорошо, — сказала она. — Наверное, у тебя в городе есть знакомые.

— Да, — ответил он. — Я здесь многих знаю.

Она вымыла ему грудь и руки, после чего отдернула одеяло в том месте, где была его левая нога, притом она сделала это так, что перевязанный обрубок остался под одеялом. Развязав тесемку на пижамных брюках, сняла и их. Это было нетрудно сделать, потому что правую штанину отрезали, чтобы она не мешала перевязке. Она стала мыть его левую ногу и остальное тело. Его впервые мыли в кровати, и ему стало неловко. Она подложила полотенце ему под ступню и стала мыть ногу фланелью.

— Проклятое мыло совсем не мылится. Вода здесь такая. Жесткая, как железо, — сказала она.

— Сейчас вообще нет хорошего мыла, а если еще и вода жесткая, тогда, конечно, совсем дело плохо, — сказал он.

Тут воспоминания нахлынули на него. Он вспомнил ванны в брайтонской школе. В длинной ванной комнате с каменным полом стояли в ряд четыре ванны. Он вспомнил — вода была такая мягкая, что потом приходилось принимать душ, чтобы смыть с тела все мыло, и еще он вспомнил, как пена плавала на поверхности воды, так что ног под водой не было видно. Еще он вспомнил, что иногда им давали таблетки кальция: школьный врач говорил, что мягкая вода вредна для зубов.

— В Брайтоне, — заговорил он, — вода не...

Но не закончил фразу. Ему кое-что пришло в голову, нечто настолько фантастическое и нелепое, что он даже задумался: а не рассказать ли об этом сестре, чтобы вместе с ней посмеяться?

Она посмотрела на него.

— И что там с водой? — спросила она.

— Да так, ничего, — ответил он. — Просто вспомнилось.

Она сполоснула фланельку в миске, стерла мыло с его ноги и вытерла его полотенцем.

— Хорошо, когда тебя вымоют, — сказал он. — Мне стало лучше.

Он провел рукой по лицу:

— Побриться бы.

— Оставим на завтра, — сказала она. — Это ты и сам сделаешь.

В эту ночь он не мог уснуть. Он лежал и думал о «Юнкерсах-88» и о жесткой воде. Ни о чем другом он думать не мог. «Это были Ю — восемьдесят восемь, — сказал он про себя. Точно знаю. Однако этого не может быть, ведь не могут же они летать здесь так низко среди бела дня. Знаю, что это „юнkersы“, и знаю, что этого не может быть. Наверное, я болен. Наверное, я веду себя как идиот и не знаю, что говорю и что делаю. Может, я брежу». Он долго лежал и думал обо всем этом, а раз даже приподнялся в кровати и громко произнес:

— Я докажу, что не сумасшедший. Я произнесу небольшую речь о чем-нибудь важном и умном. Буду говорить о том, как поступить с Германией после войны.

Но не успел он начать, как уже спал.

Он проснулся, когда из-за занавешенных окон пробивался дневной свет. В комнате было еще темно, но он видел, как свет за окном разгоняет тьму. Он лежал и смотрел на серый свет, который пробивался сквозь щель между занавесками, и тут вспомнил вчерашний день. Он вспомнил «Юнкеры-88» и жесткую воду. Он вспомнил приветливую сестру и доброго врача, а потом зернышко сомнения зародилось в его мозгу и начало расти.

Он оглядел палату. Розы сестра вынесла накануне вечером. На столике были лишь пачка сигарет, коробок спичек и пепельница. Палата была голая. Она больше не казалась теплой и приветливой. И уж тем более удобной. Она была холодная и пустая, и в ней было очень тихо.

Зерно сомнения медленно росло, а вместе с ним пришел страх, легкий пляшущий страх; он скорее предупреждал о чем-то, нежели внушал ужас. Такой страх появляется у человека не потому, что он боится, а потому, что чувствует: что-то не так. Сомнение и страх росли так быстро, что он занервничал и рассердился, а когда дотронулся до лба рукой, обнаружил, что лоб мокрый от пота. Надо что-то предпринимать, решил он, нужно как-то доказать самому

себе, что он либо прав, либо не прав. Он снова увидел перед собой окно и зеленые занавески. Окно находилось прямо перед его кроватью, однако в целых десяти ярдах от него. Надо бы каким-то образом добраться до окна и выглянуть наружу. Эта мысль полностью захватила его, и теперь он не мог думать ни о чем другом, кроме как об окне. Но как же быть с ногой? Он просунул руку под одеяло и нащупал толстый перебинтованный обрубок — все, что осталось с правой стороны. Казалось, там все в порядке. Боли нет. Но вот тут-то и может возникнуть проблема.

Он сел на кровати. Потом откинул в сторону одеяло и спустил левую ногу на пол. Действуя медленно и осторожно, он сполз с кровати на ковер и оперся обеими руками о пол. Стоя в таком положении, посмотрел на обрубок — очень короткий и толстый, весь перевязанный. Тут появилась боль и запульсировала кровь. Ему захотелось рухнуть на пол и ничего не делать, но он знал, что надо двигаться дальше.

Руками он как можно дальше подтягивал себя вперед, потом слегка подпрыгивал и волочил левую ногу. Каждый раз он стонал от боли, но продолжал ползти по полу на руках и ноге. Приблизившись к окну, он ухватился руками за подоконник, сначала одной, потом другой, и медленно встал на одну ногу, потом быстро отдернул занавески и выглянул наружу.

Он увидел маленький домик с серой черепичной крышей. Дом стоял в одиночестве близ узкой аллеи, а за ним начиналось вспаханное поле. Перед домиком был неухоженный сад. От аллеи сад отделяла зеленая изгородь. На изгороди он увидел табличку. Это была обыкновенная дощечка, прибитая к короткой жерди, а поскольку изгородь давно не приводили в порядок, ветки обвили табличку, так что казалось, будто ее установили посреди изгороди. На дощечке что-то было написано белой краской. Он уткнулся в оконное стекло, пытаясь прочесть надпись. Первая буква была «G», это он четко видел, вторая — «a», а третья — «г». Ему удалось разобрать буквы одну за одной. Всего было три слова, и он медленно их прочитал по буквам: «*G-a-r-d-e a-u c-h-i-e-n*»¹. Только это и было там написано.

Он нетвердо стоял на одной ноге, крепко ухватившись руками за подоконник, и смотрел на табличку и на буквы, выведенные бе-

¹ «Осторожно, злая собака» (фр.).

лой краской. Какое-то время ни о чем другом он и думать не мог. Он смотрел на табличку и повторял про себя написанные на ней слова. Неожиданно до него дошло. Он еще раз посмотрел на домик и на вспаханное поле. Потом посмотрел на фруктовый сад слева от домика и окинул взглядом всю местность, покрытую зеленью.

— Значит, я во Франции, — произнес он. — Я во Франции.

Кровь сильно пульсировала в правом бедре. Казалось, кто-то стучит по обрубку молотком, и вдруг боль стала такой сильной, что у него в голове помутилось. Ему показалось, что он сейчас упадет. Он снова быстро опустился на пол, подполз к кровати и взобрался на нее, после чего в изнеможении откинулся на подушку и натянул на себя одеяло. Он по-прежнему не мог думать ни о чем другом, кроме как о табличке на изгороди, о вспаханном поле и фруктовом саде. Слова на табличке не выходили у него из головы.

Спустя какое-то время пришла сестра. Она принесла миску с горячей водой.

— Доброе утро, как ты себя сегодня чувствуешь? — сказала она.

Боль под перевязкой была все еще сильная, но ему не хотелось ей ничего говорить. Он смотрел, как она возится с тем, что принесла с собой. Теперь он рассмотрел ее внимательнее. У нее были очень светлые волосы. Женщина она была высокая, крупная, с приятным лицом. Но в глазах ее была какая-то тревога. Глаза все время бегали, не задерживаясь ни на чем более мгновения, и быстро перебегали с одного предмета на другой. Да и в движениях было что-то особенное. Движения ее были чересчур резкие и нервные, что никак не сочеталось с тем небрежным тоном, каким она разговаривала.

Она поставила миску, сняла верхнюю часть его пижамы и стала обмывать его торс.

— Ты хорошо спал?

— Да.

— Вот и отлично, — сказала она.

Она мыла ему руки и грудь.

— Кажется, после завтрака кто-то из воздушного ведомства собирается навестить тебя, — продолжала она. — Им нужен отчет, или как там это у вас называется. Да ты лучше знаешь. Как тебя сбили и все такое. Я не дам им засиживаться, так что не беспокойся.

Он не отвечал. Она обмыла его и дала ему зубную щетку и порошок. Он почистил зубы, сполоснул рот и выплюнул воду в миску.

Потом она принесла ему завтрак на подносе, но есть он не хотел. Он по-прежнему ощущал слабость, его подташнивало. Ему хотелось лежать не двигаясь и думать о том, что произошло. А из головы у него не выходила фраза. Эту фразу Джонни, офицер разведки из его эскадрильи, каждый день повторял летчикам перед вылетом. У него и сейчас Джонни стоял перед глазами. Вот он стоит с трубкой в руке, прислонившись к летному домику на запасном аэродроме, и говорит: «Если вас собьют, называйте только свое имя, звание и личный номер. Больше ничего. Ради бога, не говорите больше ничего».

— Ну вот, — сказала она и поставила поднос ему на колени. — Съешь-ка яйцо. Сам справишься?

— Да.

Она стояла возле его кровати.

— Ты хорошо себя чувствуешь?

— Да.

— Вот и отлично. Если яйца мало, то, думаю, смогу принести еще одно.

— Нет, хватит.

— Ну ладно, позвони в колокольчик, если захочешь чего-нибудь еще.

И она вышла из палаты.

Он как раз доедал то, что сестра принесла, когда она возвратилась.

— Пришел Роберте, командир авиакрыла. Я ему сказала, что он может находиться здесь только несколько минут.

Она сделала знак рукой, и вошел командир авиакрыла.

— Извините за беспокойство, — сказал он.

Это был офицер ВВС Великобритании в выдавшей виды форме. Его китель украшали «крылья»¹ и крест «За летные боевые заслуги». Он был довольно высок и худощав, с большой копной черных волос. Из рта у него торчали неровные, неплотно примыкающие друг к другу зубы, хотя он и старался сжимать губы покрепче. Он достал бланк и карандаш и, придвинув к кровати стул, уселся.

¹ Нагрудный знак летчиков.

— Как вы себя чувствуете?

Ответа не последовало.

— Не повезло вам с ногой. Знаю, каково вам. Слышал, какой концерт вы им устроили, прежде чем они вас сбили.

Человек на кровати лежал совершенно неподвижно, глядя на другого человека, который сидел на стуле.

Человек, сидевший на стуле, сказал:

— Давайте покончим с этим побыстрее. Боюсь, вам придется ответить на несколько вопросов, а я заполню боевое донесение. Итак, для начала, из какой вы эскадрильи?

Человек, лежавший на кровати, не шелохнулся. Он смотрел прямо в глаза командиру авиакрыла:

— Меня зовут Питер Уильямсон. Я ведущий эскадрильи, мой номер девять семь два четыре пять семь.

БЫТЬ РЯДОМ

Та ночь выдалась очень холодной. Мороз прихватил живые изгороди и выбелил траву в полях, так что казалось, будто выпал снег. Но ночь была ясной, спокойной, на небе светились звезды и была почти полная луна.

Домик стоял на краю большого поля. От двери тропинка тянулась через поле к мосткам, а потом шла через другое поле до ворот, которые вели к дороге милях в трех от деревни. Других домов не было видно. Местность вокруг была открытой и ровной, и многие поля из-за войны превратились в пашни.

Домик заливало лунным светом. Свет проникал в открытое окно спальни, где спала женщина. Она лежала на спине, лицом вверх, ее длинные волосы были рассыпаны по подушке, и, хотя она спала, по ее лицу нельзя было сказать, что женщина отдыхает. Когда-то она была красивой, теперь же лоб ее был прорезан тонкими морщинами, а кожа на скулах натянулась. Но губы у нее были еще нежными, и она не сжимала их во сне.

Спальня была небольшой, с низким потолком, из мебели были туалетный столик и кресло. Одежда женщины лежала на спинке кресла; она положила ее туда, когда ложилась спать. Ее черные туфли стояли рядом с креслом. На туалетном столике лежали расческа, письмо и большая фотография молодого человека в форме с «крыльями» на левой стороне кителя. На фотографии он улыбался. Такие снимки приятно посылать матери. Фото было вставлено в тонкую черную деревянную рамку. Луна светила в открытое окно, а женщина продолжала спать беспокойным сном. Слышны были лишь ее мягкое размеренное дыхание и шорох постельного белья, когда она ворочалась во сне, других звуков не было.

И вдруг где-то вдалеке послышался глубокий ровный гул, который нарастал и нарастал, становился громче и громче, пока, казалось, все небо не наполнилось оглушительным шумом. И он все усиливался.

Женщина слышала этот шум с самого начала, еще когда он не приблизился. Она ждала его во сне, прислушивалась и боялась упустить момент, когда он возникнет. Услышав его, она открыла глаза и какое-то время лежала неподвижно и вслушивалась. Потом приподнялась, сбросила одеяло и встала с кровати. Подойдя к окну и положив обе руки на подоконник, она стала смотреть в небо; ее длинные волосы рассыпались по плечам, по тонкой хлопчатой ночной рубашке. Она долго стояла на холоде, высовываясь в окно, и прислушивалась к шуму. Однако, осмотрев все небо, она смогла увидеть только яркую луну и звезды.

— Да хранит тебя Господь, — громко произнесла она. — Храни его, о Господи.

Потом повернулась и быстро подошла к кровати. Взяв одеяло, укутала им свои плечи, как шалью. Всунав босые ноги в черные туфли, она подошла к креслу, придвинула его к окну и уселась.

Шум и гул не прекращались. Огромная процессия бомбардировщиков направлялась к югу. Женщина сидела, закутавшись в одеяло, и долго смотрела через окно в небо.

Потом все кончилось. Снова наступила ночная тишина. Мороз плотно укутал поля и живые изгороди, и казалось, будто все вокруг затаило дыхание. По небу прошла армия. Вдоль пути ее следования люди слышали шум. Они знали, что он означает. Они знали, что скоро, прежде чем они уснут, начнется сражение. Мужчины, пившие пиво в пабах, умолкли, чтобы лучше слышать. Люди в домах прикрутили радио и вышли в свои сады и, стоя там, смотрели в небо. Солдаты, спорившие в палатках, перестали кричать, а мужчины и женщины, возвращавшиеся домой с фабрик, остановились посреди дороги, прислушиваясь к шуму.

Всегда так бывает. Когда бомбардировщики ночью летят через страну на юг, люди, услышав их, странным образом умолкают. Для тех женщин, чьи мужчины летят в этих самолетах, наступает нелегкое время.

И вот они улетели, и женщина откинулась в кресле и закрыла глаза. Но она не спала. Лицо у нее было белым и кожа крепко натянута на скулах, а вокруг глаз собрались морщины. Губы приоткрыты, и кажется, будто она прислушивается к чьему-то разговору. Когда он возвращался после работы в поле, то подходил к окну и почти вот таким же голосом окликал ее. Вот он говорит, что проголодался, и спрашивает, что у них на ужин. А потом он всегда обнимал ее за плечи и спрашивал, чем она занималась целый день.

Она приносила ужин, он садился и начинал есть и всегда спрашивал: «А ты почему не поешь?» — и она никогда не знала, что отвечать, и говорила только, что не голодна. Она сидела и смотрела на него и наливала ему чай, а потом брала его тарелку и шла на кухню за добавкой.

Нелегко иметь только одного ребенка. Такая пустота, когда его нет, да еще это постоянное предчувствие беды. В глубине души она знала, что жить стоит только ради этого, что если что-то и случится, то и ты сама умрешь. Какой потом толк в том, чтобы подметать пол, мыть посуду и прибираться в доме. Надо ли разжигать печь или кормить куриц? Жить будет незачем.

Сидя у открытого окна, она ощущала не холод, а лишь полное одиночество и огромный страх. Страх все усиливался, так что она не могла найти себе места. Она поднялась с кресла, снова выглянула в окно и стала глядеть в небо. Ночь более не казалась ей спокойной; ночь была холодной, светлой и бесконечно опасной. Она не видела ни поля, ни изгороди, ни морозной пленки, которая лежала на всем вокруг; она видела лишь небо и видела опасность, которая скрывалась в его глубинах.

Она медленно повернулась и снова опустилась в кресло. Страх переполнял ее. Она должна увидеть сына, быть с ним, и увидеть его она должна сейчас же, потому что завтра будет поздно; ни о чем другом она не могла и думать. Она откинула голову на спинку кресла и, когда закрыла глаза, увидела самолет; она отчетливо увидела его в лунном свете. Он двигался в ночи, как большая черная птица. Она была рядом с ним и видела, как нос машины рвется вперед — точно птица вытягивает шею в стремительном полете. Она увидела разметку на крыльях и на фюзеляже. Она знала, что он там, внутри, и дважды окликнула его, но ответа не последовало. Тогда страх и желание увидеть его разгорелись с новой силой. Она больше не могла сдерживать себя, и понеслась сквозь ночь, и летела до тех пор, пока не оказалась рядом с ним, так близко, что могла дотронуться до него, стоило лишь протянуть руку.

Он сидел в кабине, глядя на приборную доску, в перчатках; на нем был мешковатый комбинезон, в котором он казался вдвое больше и совсем неуклюжим. Он сосредоточенно смотрел прямо перед собой на приборы и ни о чем другом не думал, кроме как об управлении самолетом.

Она еще раз окликнула его, и на этот раз он услышал. Он оглянулся и, увидев ее, улыбнулся, вытянул руку и коснулся ее плеча,

и ее тотчас покинули страх, одиночество и тоска. Она была счастлива.

Она долго стояла рядом с ним и смотрела, как он управляет машиной. Он то и дело оборачивался и улыбался ей, а раз что-то сказал, но она не расслышала из-за шума двигателей. Неожиданно он указал на что-то впереди, и она увидела сквозь стекло кабины, как по небу рыщут прожекторы. Их было несколько сотен; длинные белые пальцы лениво ощупывали небо, покачиваясь то в одну, то в другую сторону и работая в унисон, так что иногда несколько из них сходились вместе и встречались в одной точке, а потом расходились и снова где-нибудь встречались, беспрестанно разыскивая в ночи бомбардировщики, которые направлялись к цели.

За лучами прожекторов она увидела зенитный огонь. Он поднимался из города плотным многоцветным занавесом, и от взрывов снарядов в небе в кабине бомбардировщика становилось светло.

Теперь он смотрел прямо перед собой, весь уйдя в управление самолетом. Он пробирался сквозь лучи прожекторов, держа курс прямо на эту завесу зенитного огня. Она смотрела на него и ждала, не осмеливаясь ни шелохнуться, ни заговорить, чтобы не отвлечь его от задачи.

Она поняла, что в них попали, когда увидела языки пламени, вырывающиеся из ближайшего двигателя слева. Она смотрела через боковое стекло, как пламя, сдуваемое ветром, лижет поверхность крыла. Она видела, как пламя охватило все крыло и стало плясать по черной обшивке, пока не подобралось к самой кабине. Сначала ей не было страшно. Она видела, что он держится очень спокойно, постоянно посматривает в сторону, следит за пламенем и ведет машину, а раз он быстро обернулся и улыбнулся ей. И она поняла, что опасности нет. Она видела лучи прожекторов, разрывы зенитных и следы трассирующих снарядов, и небо было и не небом вовсе, а небольшим ограниченным пространством, в котором сновали лучи прожекторов и разрывались снаряды, и казалось, что преодолеть это пространство невозможно.

Пламя на левом крыле разгорелось ярче. Оно распространилось по всей поверхности крыла. Оно наполнилось жизнью и активизировалось, но еще не насытилось; пламя отклонилось от ветра, который раздувал его, поддерживал, не оставляя шансов на задувание.

Потом раздался взрыв. Вспыхнуло что-то ослепительно-белое, и послышался глухой звук, будто кто-то ударил по надутому бу-

мажному пакету. Тотчас все стихло, и опять появилось пламя, а потом повалил густой беловато-серый дым. Пламя охватило дверь и обе стороны кабины, а дым был такой густой, что было трудно смотреть и почти невозможно дышать. Ею овладел панический страх, потому что он по-прежнему сидел за приборной доской, пытаясь рулями удержать самолет от болтанки; вдруг налетел поток холодного воздуха, и ей показалось, будто перед ней торопливо замелькали чьи-то фигуры, выбрасываясь из горящего самолета.

Теперь все превратилось в сплошное пламя. Сквозь дым она видела, что он по-прежнему борется с рулем, пока экипаж покидает машину. Одной рукой он прикрыл лицо — такая была жара. Она бросилась к нему, схватила его за плечи и стала трясти, крича: «Прыгай, быстрее, да быстрее же!»

И тут она увидела, что его голова безжизненно упала на грудь. Он потерял сознание. Отчаянным усилием она попыталась поднять его с сиденья и подтащить к двери, но он обмяк и сделался слишком тяжелым. Дым наполнил ее легкие, у нее запершило в горле, появилась тошнота, и стало трудно дышать. Она впала в истерику, борясь со смертью и со всем на свете. Ей удалось подхватить его под мышки и чуть подтащить к двери. Но дальше ничего не получалось. Его ноги застряли в педалях, и она ничем не могла ему помочь. Она знала, что все напрасно, что из-за дыма и огня нет никакой надежды, да и времени не было. И неожиданно силы покинули ее. Она повалилась на него и заплакала так, как никогда не плакала.

Потом самолет вошел в штопор и стремительно понесся вниз. Ее отбросило в огонь, и последнее, что она помнила, — это желтый цвет пламени и запахи горения.

Ее глаза были закрыты, а голова лежала на подголовнике кресла. Она ухватилась руками за край одеяла, словно хотела закутаться поплотнее. Ее волосы разметались по плечам.

Луна висела низко в небе. Мороз еще крепче схватил поля и живую изгородь. Не было слышно ни звука. Но потом откуда-то далеко с юга донесся глубокий ровный гул, который нарастал и делался громче, пока все небо не переполнилось шумом и пением двигателей тех, кто возвращался.

Однако женщина, сидевшая перед окном, так и не пошевелилась. Она была мертва.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

— Пива?

— Да, пива.

Я сделал заказ, и официант принес бутылки и два стакана. Наклонив стакан и приставив к его краю горлышко, мы налили себе пива — каждый из своей бутылки.

— Будь здоров, — сказал я.

Он кивнул. Мы подняли стаканы и выпили.

Я не видел его пять лет. Все это время он воевал. Он воевал с самого начала войны и до того времени, пока мы не встретились. Я сразу заметил, насколько он изменился. Из молодого здорового юноши он превратился в старого, мудрого и покорного человека. Он стал покорным, как наказанный ребенок. Он стал старым, как усталый семидесятилетний старик. Он стал настолько другим и так сильно изменился, что поначалу мы оба ощущали неловкость. Непросто было найти тему для разговора.

Он летал во Франции с первых дней войны, а во время битвы за Англию защищал родное небо. Он был в Западной пустыне¹, когда наше положение казалось безнадежным, был в Греции и на Крите. Он был в Сирии и в Хаббании² во время восстания. Он был в Аламейне³, летал над Сицилией и Италией, а потом вернулся и снова стал летать с английских аэродромов. Теперь он был стариком.

Он был небольшого роста, от силы пять футов шесть дюймов, с бледным, широким и открытым лицом, которое ничего не скрывало, и с острым выдающимся подбородком. Глаза у него были блестящие и темные. Они все время бегали, пока его взгляд не встречался со взглядом другого человека. Волосы у него были чер-

¹ В Ливии.

² Британская военно-воздушная база к западу от Багдада в 1942 году.

³ *Эль-Аламейн* — город в Египте, за который шли бои между английскими и германскими войсками в 1942 году.

ные, неопрятные. Надо лбом постоянно висел клок; он то и дело отбрасывал его рукой.

Какое-то время нам было не по себе, и мы больше молчали. Он сидел за столиком напротив меня, немного подавшись вперед, и пальцем выводил линии на запотевшем стакане. Он смотрел в стакан с таким видом, будто то, что он делает, сильно его занимает, но мне казалось, он хочет что-то сказать, но не знает, как лучше начать. Я сидел и, таская орешки с блюдца, громко их разжевывал и делал вид, будто мне на все наплевать, даже на то, что я шумно жую.

Продолжая выводить линии на стакане и не поднимая глаз, он вдруг проговорил тихо и очень медленно:

— О господи, как бы я хотел быть официантом, или шлюхой, или не знаю кем еще.

Он взял стакан и медленно выпил пиво, все сразу, двумя глотками. Я знал, что у него что-то на уме; он явно настраивался на то, чтобы заговорить.

— Давай еще выпьем, — сказал я.

— Да, но лучше виски.

— Хорошо, пусть будет виски.

Я заказал два двойных скотча с содовой. Мы плеснули содовой в скотч и выпили. Он взял свой стакан и сделал глоток, потом поставил стакан, снова поднял и отпил еще немного. Поставив стакан во второй раз, он наклонился ко мне и совершенно неожиданно начал говорить.

— Знаешь, — заговорил он, — знаешь, во время налета, когда мы приближаемся к цели и вот-вот сбросим бомбы, я все время думаю, все время про себя думаю: а не вильнуть ли, не свернуть ли в сторону самую малость? Тогда мои бомбы упадут на кого-то другого. И вот я думаю: на кого они упадут? Кого я убью сегодня? Кто эти десять, двадцать или сто человек, которых я сегодня убью? Все зависит от меня. И теперь я думаю об этом каждый раз, когда вылетаю.

Он взял маленький орешек и расколочил его ногтем большого пальца, при этом глаз он не поднимал, так как стыдился того, что говорил.

А говорил он очень медленно.

— Всего-то и нужно, что нажать легонько на педаль руля направления, да я и сам не пойму, что делаю, а бомбы между тем упа-

дут на другой дом или на других людей. Все от меня зависит, все в моей власти, и каждый раз, когда я вылетаю, я должен решить, кто будет убит. А убить я могу, легонько нажав ногой на педаль. Я могу сделать это так, что и сам не замечу, что происходит. Просто потянуть немного в сторону, изменив позу, и все, а убиты будут совсем другие люди.

Стакан снаружи высох, но он продолжал водить по гладкой поверхности пальцами правой руки вверх-вниз.

— Да, — говорил он, — вот такие непростые мысли с далекоидущими последствиями. Когда я сбрасываю бомбы, только об этом и думаю. Понимаешь, всего-то — нажать легонько ногой. Чуть нажать ногой на педаль, так что бомбардир и не заметит ничего. Каждый раз перед вылетом я говорю себе: кто будет на этот раз, те или эти? Кто из них хуже? Стоит мне отклониться немного налево, может, попаду в дом, полный паршивых немецких солдат, воюющих с женщинами, а отклонюсь туда — попаду не в солдат, а в старика, прячущегося в укрытии. Откуда мне знать? Как это вообще можно знать?

Он умолк и оттолкнул от себя пустой стакан к середине стола.

— Поэтому я никогда не виляю, — прибавил он. — То есть почти никогда.

— А я однажды вильнул, — сказал я, — когда атаковал на брешющем полете. Рассчитывал убить тех, что находились на другой стороне дороги.

— Все виляют, — сказал он. — Может, еще выпьем?

— Да, давай выпьем еще.

Я позвал официанта и сделал заказ, и, пока он не принес выпивку, мы сидели и рассматривали других посетителей. Помещение начало заполняться людьми, потому что было почти шесть часов, и мы смотрели, как они заходят. Они останавливались возле входа, высматривали свободный столик, потом садились и со смехом заказывали выпивку.

— Посмотри вон на ту женщину, — сказал я. — Вон на ту, которая сейчас садится.

— И что в ней особенного?

— Отличная фигура, — сказал я. — Великолепная грудь. Ты только посмотри на ее грудь.

Официант принес выпивку.

— Я когда-нибудь рассказывал тебе о Вонючке? — спросил он.

- Это еще кто такой?
- Вонючка Салливан, на Мальте.
- Нет.
- А о собаке Вонючки?
- Нет.

— Так вот, у Вонючки была собака, большая восточноевропейская овчарка, и он любил эту собаку, будто она была его отцом, матерью и всем на свете, а собака любила Вонючку. Куда бы он ни пошел, она следовала за ним, а когда он вылетал на задание, она сидела на бетоне около ангара и ждала его возвращения. Пса звали Смит. Вонючка очень любил эту собаку.

- Отвратительный виски, — сказал я.
- Да, давай еще выпьем.

Мы заказали еще виски.

— Так вот, — продолжал он, — приходит однажды распоряжение, чтобы эскадрилья передислоцировалась в Египет. Вылетать нужно было немедленно. Не через два часа или вечером, а немедленно. А Вонючка не мог найти свою собаку. Нигде не мог найти Смита. Он бегал по всему аэродрому, звал Смита и сходил с ума, крича каждому, не видел ли кто Смита, и все звал: «Смит! Смит!» Но Смита нигде не было.

- А где он был? — спросил я.

— Да нигде — а нам уже пора лететь. Вонючка должен был улететь без Смита. Расстроился он страшно. Члены его экипажа говорили, что он даже по радио спрашивал, не нашли ли пса. На всем пути до Гелиополиса он вызывал Мальгу и спрашивал: «Смита нашли?» И Мальга отвечала: «Нет, не нашли».

- Виски просто ужасный, — сказал я.
- Да. Надо выпить еще.

Мы подозвали официанта, и тот быстро выполнил наш заказ.

- Так я рассказывал тебе о Вонючке, — сказал он.
- Да, рассказывай дальше.

— Прилетели мы, значит, в Египет, а он только о Смите и говорит. Он и ходил так, будто собака шла рядом с ним. Чертов дурак, идет и приговаривает: «Рядом, Смит, рядом, мой мальчик» — и при этом все смотрел вниз, как бы разговаривая с собакой. Наклонялся то и дело, похлопывал воздух и гладил собаку, которой не было.

- А где она была?
- Думаю, на Мальте. Должно быть, там.

— Ну не мерзкий ли виски?

— Ужасный. Этот допьем, еще надо будет заказать.

— Будь здоров.

— И ты тоже. Официант. Эй, официант. Да-да, еще.

— Итак, Смит был на Мальте.

— Да, — сказал он. — А этот чертов дурак Вонючка Салливан продолжал так себя вести до тех пор, пока его не убили.

— Наверное, с ума сошел.

— Точно. Просто свихнулся.

— Знаешь, он как-то зашел в спортивный клуб в Александрии в час, когда все выпивают.

— Это нормально.

— Вошел, а дверь за собой не закрыл и стал звать собаку. Потом, когда решил, что собака вошла, закрыл дверь и пошел дальше, то и дело останавливаясь и говоря: «Рядом, Смит, рядом, мой мальчик». И шел пальцами. Раз он залез под стол, за которым выпивали двое мужчин и две женщины. Встал на четвереньки и произнес: «Эй, Смит, а ну-ка вылезай оттуда. Живо иди сюда». И протянул руку, и начал тащить из-под стола то, чего не было. Потом извинился перед людьми, сидевшими за столом. «Вот чертова собака», — сказал он им. Ты бы видел их лица. И так он ходил по всему клубу, а потом открыл дверь, пустив вперед собаку, и вышел вслед за ней.

— Ненормальный какой-то.

— Чокнутый. Но ты бы видел их лица. Там было полно людей, которые выпивали и не могли понять, то ли они с ума сошли, то ли Вонючка. Они переглядывались, хотели убедиться, что не только они не видели собаку. Один человек даже стакан выронил.

— Вот беда-то.

— Ужас.

Подошел официант, поставил стаканы и ушел. В помещении теперь было много народа. Все сидели за маленькими столиками, разговаривали и выпивали. Все были в форме. Летчик бросил в стакан кусочек льда и подтолкнул его пальцем.

— Он тоже вилял, — сказал он.

— Кто?

— Вонючка. Сам не раз говорил об этом.

— Ну и что тут такого? — сказал я. — Это все равно что стараться не наступать на трещины в асфальте, когда идешь по тротуару.

- Вот именно. Дело личное. Кому какое дело?
 - Это все равно что не сразу трогаться.
 - А это еще что такое?
 - Я всегда так делаю.
 - Что это значит?
 - Прежде чем тронуться с места, нужно сосчитать до двадцати, а потом — в путь.
 - Ты тоже ненормальный. Как Вонючка.
 - Отличный способ избежать неприятностей на дороге. В машине со мной еще ничего не происходило. По крайней мере, ничего серьезного.
 - Да ты пьян.
 - Да нет, я всегда так делаю.
 - Зачем?
 - Потому что если кто-то перешел улицу перед твоей машиной, то ты его уже не собьешь, ведь тронулся-то позднее. Ты задержался, потому что считал до двадцати, а человек, которого ты мог бы сбить, уже перешел дорогу.
 - Почему?
 - Он перешел дорогу гораздо раньше, чем ты тронулся, потому что ты считал до двадцати.
 - Хорошая мысль.
 - Сам знаю, что хорошая.
 - Да просто, черт возьми, отличная.
 - Я многим сохранил жизнь. И через перекрестки можно смело переезжать, потому что машина, с которой ты мог бы столкнуться, уже проехала. Она проехала чуть раньше тебя, потому что ты задержался, считая до двадцати.
 - Здорово.
 - Вот видишь.
 - Но это не то же самое, что вилять, — сказал он. — Тут никогда не знаешь, что лучше.
 - А я всегда виляю, — сказал я.
- Мы выпили еще.
- Посмотри-ка вон на ту женщину, — сказал я.
 - На ту, с грудью?
 - Ну да, прекрасная грудь.
 - Клянусь, я убил немало женщин более красивых, чем эта, — медленно произнес он.

- Но не с такой же грудью.
 - Да и с такой тоже. Может, еще выпьем?
 - Да, на дорожку.
 - Такой груди больше ни у кого нет, — сказал я. — Во всяком случае, в Германии.
 - Да сколько хочешь. Я немало таких убил.
 - Ладно. Ты убил много женщин с красивой грудью. Он откинулся на стуле и повел рукой.
 - Видишь, сколько тут народу, — сказал он.
 - Да.
 - Представляешь, сколько будет шуму, если они вдруг все умрут. Просто свалятся мертвыми со стульев на пол.
 - Ну и что?
 - Разве не будет шуму?
 - Конечно будет.
 - Предположим, официанты сговорились, подсыпали им что-то в стаканы — и все умерли.
 - Шум будет страшный.
 - Ну вот, а я такое сотни раз проделывал. Я в сотни раз больше убил людей, чем собралось здесь сейчас. Да и ты тоже.
 - Гораздо больше, — сказал я. — Но это же другое.
 - Такие же люди. Мужчины, женщины, официанты. Все сидят в пивной и выпивают.
 - Это другое.
 - Да то же самое. Случись здесь такое, разве не поднялся бы шум?
 - Еще какой.
 - А мы делали это. И не раз.
 - Сотни раз, — сказал я. — И ничего.
 - Паршивое заведение.
 - Хуже не бывает. Пойдем куда-нибудь в другое место.
 - Сначала допьем.
- Мы допили виски, а потом стали спорить, кому платить, и я выиграл. Счет составил шестнадцать долларов двадцать пять центов. Он дал официанту на чай два доллара.
- Мы поднялись, обошли вокруг столиков и вышли на улицу.
 - Такси, — сказал он.
 - Да, надо взять такси.

Швейцара в этом заведении не было. Мы стояли на краю тротуара и ждали, когда подъедет такси.

— Хороший город, — сказал он.

— Замечательный, — ответил я.

Чувствовал я себя отлично. Было темно, но горело несколько фонарей. Мимо нас проезжали машины, а по другой стороне улицы шли люди. Неслышно моросил мелкий дождь, и желтый свет фар и уличных фонарей отражался на черной мостовой. Шины шуршали на мокрой дороге.

— А давай пойдем туда, где много виски, — сказал он. — Чтоб там было много виски и разливал его бармен с крошками в бороде.

— Отлично.

— И чтоб там больше никого не было, кроме нас и бармена с крошками в бороде. Или — или.

— Да, — сказал я. — Или что?

— Или пойдем туда, где сто тысяч человек.

— Да, — сказал я. — Хорошо.

Мы стояли и ждали. Из-за поворота, откуда-то слева, выезжали машины и, шурша по мокрому асфальту шинами, двигались в нашу сторону. Проехав мимо нас, они направлялись к мосту, который ведет на другую сторону реки. В свете фар был виден морозящий дождь, а мы все стояли и ждали такси.

У КОГО ЧТО БОЛИТ



ВКУС

В тот вечер за ужином у Майка Скофилда в его лондонском доме нас собралось шестеро: Майк с женой и дочерью, я с женой и человек по имени Ричард Пратт.

Ричард Пратт был известный гурман. Он состоял президентом небольшого общества под названием «Эпикурейцы» и каждый месяц рассылал его членам брошюры о еде и винах. Он устраивал обеды, во время которых подавались роскошные блюда и редкие вина. Он не курил из боязни испортить вкус и, когда обсуждали достоинства какого-нибудь вина, имел обыкновение отзываться о нем как о живом существе, что было довольно забавно. «Характер у него весьма щепетильный, — говорил он, — довольно застенчивый и стеснительный, но безусловно щепетильный». Или: «Добродушное вино и бодрое, несколько, может, резковатое, но все же добродушное».

До этого я уже пару раз обедал у Майка с Ричардом Праттом в компании, и всякий раз Майк с женой лезли из кожи вон, чтобы удивить знаменитого гурмана каким-нибудь особым блюдом. Ясно, что и в этот раз они не собирались делать исключение. Едва мы ступили в столовую, как я понял, что нас ожидает пиршество. Высокие свечи, желтые розы, сверкающее серебро, три бокала для вина перед каждым гостем и сверх того слабый запах жареного мяса, доносившийся из кухни, — от всего этого у меня слюнки потекли.

Мы расселись за столом, и я вспомнил, что, когда был у Майка раньше, он оба раза держал с Праттом пари на ящик вина, предлагая тому определить сорт вина и год. Пратт тогда отвечал, что это нетрудно сделать, если речь идет об известном годе, — соглашался и оба раза выиграл пари. Я был уверен, что и в этот раз они заключат пари, которое Майк очень хотел проиграть, доказывая, насколько хорошее вино у него, а Пратт, со своей стороны, казалось, находит истинное удовольствие в том, что имеет возможность обнаружить свои познания.

Обед начался со сетков, поджаренных в масле до хруста, а к ним подали мозельвейн. Майк поднялся и сам разлил вино, а когда снова сел, я увидел, что он наблюдает за Ричардом Праттом. Бутылку он поставил передо мной, чтобы я мог видеть этикетку. На ней было написано: «Гайерслей Олигсберг, 1945». Он наклонился ко мне и прошептал, что Гайерслей — крошечная деревушка в Мозеле, почти неизвестная за пределами Германии. Он сказал, что вино, которое мы пьем, не совсем обычное. В тех местах производят так мало вина, что человек посторонний не может его достать. Он сам ездил в Германию прошлым летом, чтобы добыть те несколько бутылок, которые в конце концов ему уступили.

— Сомневаюсь, чтобы в Англии оно было у кого-нибудь еще, — сказал он и взглянул на Ричарда Пратта. — Чем отличается мозельское, — продолжал он, повысив голос, — так это тем, что оно очень хорошо перед кларетом. Многие пьют перед кларетом рейнское, но это потому, что не знают ничего лучше. Рейнское убивает тонкий аромат кларета, вам это известно? Это просто варварство — пить рейнское перед кларетом. А вот мозельское именно то, что надо.

Майк Скофилд был приятным человеком средних лет. Он служил биржевым маклером. Точнее, комиссионером на фондовой бирже, и, подобно некоторым представителям этой профессии, его, казалось, несколько смущало, едва ли не ввергало в стыд то, что он «сделал» такие деньги, имея столь ничтожные способности. В глубине души он сознавал, что был простым брокером — тихим, втайне неразборчивым в средствах, — и подозревал, что об этом знали его друзья. Поэтому теперь он стремился стать человеком культурным, развить литературный и эстетический вкусы, приобщиться к собиранию картин, нот, книг и всякого такого. Его небольшая проповедь насчет рейнвейна и мозельвейна была составной частью той культуры, к которой он стремился.

— Прелестное вино, вам так не кажется? — спросил он.

Майк по-прежнему следил за Ричардом Праттом. Я видел, как всякий раз, склоняясь над столом, чтобы отправить в рот рыбку, он тайком бросал взгляд в другой конец стола. Я прямо-таки физически ощущал, что он ждет того момента, когда Пратт сделает первый глоток и поднимет глаза, выражая удовлетворение, удивление, быть может, даже изумление, а потом развернется дискуссия и Майк расскажет ему о деревушке Гайерслей.

Однако Ричард Пратт и не думал пробовать вино. Он был полностью поглощен беседой с Луизой, восемнадцатилетней дочерью Майка. Он сидел, повернувшись к ней вполоборота, улыбался и рассказывал, насколько я мог уловить, о шеф-поваре одного парижского ресторана. По ходу своего рассказа он придвигался к ней все ближе и ближе и в своем воодушевлении едва ли не наваливался на нее. Бедная девушка отодвинулась от него как можно дальше, кивая вежливо, но с каким-то отчаянием, и смотрела на верхнюю пуговицу его смокинга, а не в лицо.

Мы покончили с рыбой, и тотчас же явилась служанка, чтобы убрать тарелки. Когда она подошла к Пратту, то увидела, что тот еще не притрагивался к своему блюду, поэтому застыла в нерешительности, и тут Пратт заметил ее. Взмахом руки он велел ей удалиться, прервал свой рассказ и начал есть, проворно накалывая маленькие хрустящие рыбки на вилку и быстро отправляя их в рот. Затем, покончив с рыбой, он взял бокал, в два глотка опростал его и сразу повернулся к Луизе Скофилд, чтобы продолжить свой рассказ.

Майк все это видел. Я чувствовал, не глядя на него, что он хотя и сохраняет спокойствие, но сдерживается с трудом и не сводит глаз с гостя. Его добродушное лицо вытянулось, щеки обвисли, но он сделал над собой усилие и не произнес ни слова.

Скоро служанка принесла второе блюдо. Это был большой кусок ростбифа. Она поставила кушанье на стол перед Майком, тот поднялся и принялся разрезать мясо на очень тонкие кусочки и осторожно раскладывать их по тарелкам, которые разносила служанка. Нарезав мяса всем, включая самого себя, он положил нож и оперся обеими руками о край стола.

— А теперь, — сказал он, обращаясь ко всем, но глядя на Ричарда Пратта, — теперь перейдем к кларету. Прошу прощения, но я должен сходить за ним.

— Сходить за ним, Майк? — удивился я. — Где же он?

— В моем кабинете. Я откупорил бутылку, и теперь вино дышит.

— А почему в кабинете?

— Чтобы оно приобрело комнатную температуру, разумеется.

Оно там уже сутки.

— Но почему именно в кабинете?

— Это лучшее место в доме. В прошлый раз Ричард помог мне выбрать его.

Услышав свое имя, Пратт повернулся.

— Так ведь? — спросил Майк.

— Да, — ответил Пратт, с серьезным видом кивнув. — Так.

— Оно стоит в моем кабинете на зеленом бюро, — сказал Майк. — Мы выбрали именно это место. Хорошее место — сквозняка нет и температура ровная. Простите, но мне нужно сходить за ним.

При мысли о том, что у него есть еще вино, достойное пари, к нему вернулось веселое расположение духа, и он торопливо вышел из комнаты и появился спустя минуту, бережно неся в руках корзинку для вина, в которой лежала темная бутылка, повернутая этикеткой вниз.

— Ну-ка! — воскликнул он, подходя к столу. — Как насчет этого вина, Ричард? Ни за что не отгадаете, что это такое!

Ричард Пратт медленно повернулся и взглянул на Майка, потом перевел взгляд на бутылку, покоившуюся в маленькой плетеной корзинке. С поднятыми бровями и оттопыренной влажной нижней губой вид у него был надменный и не очень-то симпатичный.

— Ни за что не догадаетесь, — сказал Майк. — Хоть сто лет думайте.

— Кларет? — снисходительно поинтересовался Ричард Пратт.

— Разумеется.

— Надо полагать, из какого-нибудь небольшого виноградника.

— Может, и так, Ричард. А может, и не так.

— Но речь идет об одном из самых известных урожайных годов?

— Да, за это я ручаюсь.

— Тогда ответить будет несложно, — сказал Ричард Пратт, растягивая слова, и вид у него при этом был скучающий.

Мне, впрочем, это растягивание слов и тоскливый вид, который он напустил на себя, показались несколько странными; зловещая тень мелькнула в его глазах, а во всем его облике появилась какая-то сосредоточенность, отчего мне сделалось не по себе.

— Задача на сей раз действительно трудная, — сказал Майк. — Я даже не буду настаивать на пари.

— Ну вот еще. Это почему же? — И снова медленно поднялись брови, а взгляд его стал холодным и настроженным.

— Потому что это трудно.

— Это не очень-то любезно по отношению ко мне.

— Мой дорогой, — сказал Майк, — я с удовольствием с вами поспорю, если вы этого хотите.

— Назвать это вино не слишком трудно.
 — Значит, вы хотите поспорить?
 — Я вполне к этому готов, — сказал Ричард Пратт.
 — Хорошо, тогда спорим как обычно. На ящик этого вина.
 — Вы, наверно, думаете, что я не смогу его назвать?
 — По правде говоря, да, при всем моем к вам уважении, — сказал Майк.

Он делал над собой некоторое усилие, стараясь соблюдать вежливость, а вот Пратт даже и не пытался скрыть свое презрительное отношение ко всему происходящему. И вместе с тем, как это ни странно, следующий вопрос, похоже, обнаружил некоторую его заинтересованность:

- А вы не хотели бы увеличить ставку?
- Нет, Ричард. Ящик вина — этого достаточно.
- Может, поспорим на пятьдесят ящиков?
- Это было бы просто глупо.

Майк стоял за своим стулом во главе стола, бережно держа эту нелепую корзинку с бутылкой. Ноздри его, казалось, слегка побелели, и он крепко стиснул губы.

Пратт сидел развалившись на стуле — глаза полузакрыты, а в уголках рта скрывалась усмешка. И снова я увидел, а может, мне показалось, что увидел, будто тень озабоченности скользнула по его лицу, а во взоре появилась какая-то сосредоточенность, в самих же глазах, прямо в зрачках, мелькнули и затаились искорки.

- Так, значит, вы не хотите увеличивать ставку?
- Что до меня, то мне, старина, ровным счетом все равно, — сказал Майк. — Готов поспорить на что угодно.

Мы с тремя женщинами молча наблюдали за ними. Жену Майка все это начало раздражать. Она сидела с мрачным видом, и я чувствовал, что она вот-вот вмешается. Ростбиф остывал на наших тарелках.

- Значит, вы готовы поспорить со мной на все, что угодно?
- Я уже сказал. Я готов поспорить на все, что вам будет угодно, если для вас это так важно.
- Даже на десять тысяч фунтов?
- Разумеется, если захотите.

Теперь Майк был спокоен. Он отлично знал, что может согласиться на любую сумму, которую вздумается назвать Пратту.

- Так вы говорите, я могу назначить ставку?

— Именно это я и сказал.

Наступило молчание, во время которого Пратт медленно обвел глазами всех сидящих за столом, посмотрев по очереди сначала на меня, потом на женщин. Казалось, он напоминал нам, что мы являемся свидетелями этого соглашения.

— Майк! — сказала миссис Скофилд. — Майк, давайте прекратим эти глупости и продолжим ужин. Мясо остывает.

— Но это вовсе не глупости, — ровным голосом произнес Пратт. — Просто мы решили немного побиться об заклад.

Я обратил внимание на то, что служанка, стоявшая поодаль с блюдом овощей, не решается подойти к столу.

— Что ж, хорошо, — сказал Пратт. — Я скажу, на что я хотел бы с вами поспорить.

— Тогда говорите, — довольно бесстрашно произнес Майк. — Я согласен на все, что придет вам в голову.

Пратт кивнул, и снова улыбочка раздвинула уголки его рта, а затем медленно, очень медленно, не спуская с Майка глаз, он сказал:

— Я хочу, чтобы вы отдали за меня вашу дочь.

Луиза Скофилд вскочила на ноги.

— Стойте! — вскричала она. — Ну уж нет! Это уже не смешно. Слушай, папа, это совсем не смешно.

— Успокойся, дорогая, — сказала ее мать. — Они всего лишь шутят.

— Нет, я не шучу, — уточнил Ричард Пратт.

— Глупо все это как-то, — сказал Майк.

Казалось, он снова был выбит из колеи.

— Вы же сказали, что готовы спорить на что угодно.

— Я имел в виду деньги.

— Но вы не сказали — деньги.

— Но именно это я имел в виду.

— Тогда жаль, что вы этого прямо не сказали. Однако, если хотите взять свое предложение назад...

— Вопрос, старина, не в том, брать назад свое предложение или нет. Да и пари не выходит, поскольку вы не можете выставить ничего равноценного. Ведь в случае проигрыша не выдадите же вы за меня свою дочь — у вас ее нет. А если бы и была, я вряд ли захотел бы жениться на ней.

— Рада слышать это, дорогой, — сказала его жена.

— Я готов поставить все, что хотите, — заявил Пратт. — Дом, например. Как насчет моего дома?

— Какого? — спросил Майк, снова обращая все в шутку.

— Загородного.

— А почему бы и другой не прибавить?

— Хорошо. Если угодно, ставлю оба своих дома.

Тут я увидел, что Майк задумался. Он подошел к столу и осторожно поставил на него корзинку с бутылкой. Потом отодвинул солонку в одну сторону, перечницу — в другую, взял нож, с минуту задумчиво рассматривал лезвие, затем положил нож на место. Его дочь тоже заметила, что им овладела нерешительность.

— Папа! — воскликнула она. — Да это же нелепо! Это так глупо, что и словами не передать. Не хочу, чтобы на меня спорили.

— Ты совершенно права, дорогая, — сказала ее мать. — Немедленно прекрати, Майк, сядь и поешь.

Майк не обращал на нее внимания. Он посмотрел на свою дочь и улыбнулся — улыбнулся медленно, по-отечески, покровительственно. Однако в глазах его вдруг загорелись торжествующие искорки.

— Видишь ли, — улыбаясь, сказал он, — видишь ли, Луиза, тут есть о чем подумать.

— Все, папа, хватит! В жизни не слышала ничего более глупого!

— Да нет же, серьезно, моя дорогая. Ты только послушай, что я скажу.

— Но я не хочу тебя слушать.

— Луиза! Прощу тебя! Выслушай меня. Ричард предложил нам серьезное пари. На этом настаивает он, а не я. И если он проиграет, ему придется расстаться с солидной недвижимостью. Погоди, моя дорогая, не перебивай меня. Дело тут вот в чем. Он никак не может выиграть.

— Похоже, он думает иначе.

— Да выслушай же меня, я ведь знаю, что говорю. Специалист, пробуя кларет, если только это не какое-нибудь знаменитое вино вроде лафита или латура, может лишь весьма приблизительно определить виноградник. Он, конечно, назовет тот район Бордо, откуда происходит вино, будь то Сент-Эмийон, Помроль, Грав или Медок. Но ведь в каждом районе есть общины, маленькие графства, а в каждом графстве много небольших виноградников. Отличить их друг от друга только по вкусу и аромату вина невозможно.

Могу лишь сказать, что это вино из небольшого виноградника, окруженного другими виноградниками, и он ни за что не угадает, что это за вино. Это невозможно.

— Да разве можно в этом быть уверенным? — спросила его дочь.

— Говорю тебе — можно. Не буду хвастаться, но я кое-что смыслю в винах. И потом, девочка моя, я твой отец, да видит бог, а уж не думаешь ли ты, что я позволю вовлечь тебя... во что-то такое, чего ты не хочешь, а? Просто я хочу сделать так, чтобы у тебя прибавилось немного денег.

— Майк! — резко проговорила его жена. — Немедленно прекрати, прошу тебя!

И снова он не обратил на нее внимания.

— Если ты согласишься на эту ставку, — сказал он своей дочери, — то через десять минут будешь владелицей двух больших домов.

— Но мне не нужны два больших дома, папа.

— Тогда ты их продашь. Тут же ему и продашь. Я это устрою. И потом, подумай только, дорогая, ты будешь богатой! Вся жизнь ты будешь независимой!

— Папа, мне все это не нравится. Мне кажется, это глупо.

— Мне тоже, — сказала ее мать. Она резко дернула головой и нахохлилась, точно курица. — Стыдно даже предлагать такое, Майк! Это ведь твоя дочь!

Майк даже не взглянул на нее.

— Соглашайся! — горячо проговорил он, в упор глядя на девушку. — Быстрее соглашайся! Гарантирую, что ты не проиграешь.

— Но мне это не нравится, папа.

— Давай же, девочка моя. Соглашайся!

Майк подошел вплотную к Луизе. Он вперился в нее суровым взглядом, и его дочери было нелегко возражать ему.

— А что, если я проиграю?

— Еще раз говорю тебе — не проиграешь. Я это гарантирую.

— Папа, а может, не надо?

— Я сделаю тебе состояние. Давай же. Соглашайся, Луиза. Ну?

Она в последний раз поколебалась. Потом безнадежно пожалала плечами и сказала:

— Ладно. Если только ты готов поклясться, что проиграть мы не можем.

— Отлично! — воскликнул Майк. — Замечательно! Значит, спорим!

Майк схватил бутылку, плеснул немного вина сначала в свой бокал, затем возбужденно запрыгал вокруг стола, наливая вино в другие бокалы. Теперь все смотрели на Ричарда Пратта. Это был человек лет пятидесяти с не очень-то приятным лицом. Прежде всего обращал на себя внимание его рот; у него были полные мокрые губы гурмана; нижняя губа отвисла и была готова в любой момент коснуться края бокала или захватить кусочек пищи. «Точно замочная скважина, — подумал я, разглядывая его рот, — точно большая влажная замочная скважина».

Он медленно поднес бокал к носу. Кончик носа оказался в бокале и задвигался над поверхностью вина, деликатно сопя. Чтобы получить представление о букете, он осторожно покрутил бокалом. Он был предельно сосредоточен. Глаза закрыты, и вся верхняя половина его тела — голова, шея и грудь — будто превратилась в нечто вроде огромной обоняющей машины, воспринимающей, отфильтровывающей и анализирующей данные, посылаемые фыркающим носом.

Майк сидел развалившись на стуле, всем своим видом выражая безразличие, однако он следил за каждым движением Пратта. Миссис Скофилд, не шевелясь, сидела за другим концом стола и глядела прямо перед собой. На ее лице застыло выражение недовольства. Луиза чуть отодвинула стул, чтобы удобнее было следить за дегустиатором, и, как и ее отец, не сводила с него глаз.

Процесс нюханья продолжался по меньшей мере минуту; затем, не открывая глаз и не поворачивая головы, Пратт отхлебнул едва ли не половину бокала. Задержав вино во рту, он помедлил, составляя первое впечатление о нем, и я видел, как шевельнулось его адамово яблоко, пропуская глоток. Но большую часть вина он оставил во рту. Теперь, не глотая оставшееся вино, он втянул через губы немного воздуха, который смешался с парами вина во рту и прошел в легкие. Он задержал дыхание, выдохнул через нос и наконец принялся перекачивать вино под языком и жевать его, прямо жевать зубами, будто это был хлеб.

Это было грандиозное, впечатляющее представление, и, должен сказать, исполнил он его замечательно.

— Хм, — произнес Пратт, поставив стакан и облизывая губы розовым языком. — Хм... да. Очень любопытное вино — мягкое и благородное, я бы сказал — почти женственное.

Во рту у него набралось слишком много слюны, и, когда он говорил, она капельками вылетала прямо на стол.

— Теперь пойдем методом исключения, — сказал он. — Простите, что я буду двигаться медленно, но слишком многое поставлено на карту. Обычно я высказываю какое-то предположение, потом быстро продвигаюсь вперед и приземляюсь прямо в середине названного мной виноградника. Однако на сей раз, на сей раз я должен двигаться медленно, не правда ли?

Он взглянул на Майка и улыбнулся, раздвинув свои толстые влажные губы.

Майк не улыбался ему в ответ.

— Итак, прежде всего из какого района Бордо это вино? Это нетрудно угадать. Оно слишком легкое, чтобы быть из Сент-Эмий-она или из Грава. Это явно Медок. Здесь сомнения нет... Теперь — из какой общины в Медоке оно происходит? И это нетрудно определить методом исключения. Марго? Вряд ли это Марго. У него нет сильного букета Марго. Пойяк? Вряд ли и Пойяк. Оно слишком нежное, чересчур благородное и своеобразное для Пойяка. Вино из Пойяка имеет почти навязчивый вкус. И потом: по мне, Пойяк обладает какой-то энергией, неким суховатым энергетическим привкусом, которые виноград берет из почвы этого района. Нет, нет. Это... это вино очень нежное, на первый вкус сдержанное и скромное, поначалу кажется застенчивым, но потом становится весьма грациозным. Быть может, несколько еще и игривое и чуть-чуть капризное, дразнящее лишь малость, лишь самую малость танином. Во рту остается привкус чего-то восхитительного — женственно утешительного, чего-то божественно щедрого, что можно связать лишь с винами общины Сен-Жюльен. Нет никакого сомнения в том, что это вино из Сен-Жюльена.

Он откинулся на стуле, оторвал руки от стола и соединил кончики пальцев, напустив на себя до смешного напыщенный вид, но мне показалось, он делал это намеренно, просто чтобы потешиться над хозяином, и я с нетерпением ждал, что будет дальше. Луиза между тем взяла сигарету, собираясь закурить. Прагт услышал, как чиркнула спичка, и, обернувшись к ней, неожиданно рассердился не на шутку.

— Прошу вас! — закричал он. — Прошу вас, не делайте этого! Курить за столом — отвратительная привычка!

Она посмотрела на него, держа в руке горящую спичку, потом медленно, с презрением отвела взор. Наклонив голову, она задула спичку, однако продолжала держать сигарету.

— Простите, дорогая, — уже спокойнее сказал Пратт, — но я просто терпеть не могу, когда курят за столом.

Больше она на него не смотрела.

— Так на чем мы остановились? — спросил он. — Ах да. Это вино из Бордо, из общины Сен-Жюльен, из района Медок. Пока все идет хорошо. Однако теперь нас ожидает самое трудное — нужно назвать сам виноградник. Ибо в Сен-Жюльене много виноградников, и, как наш хозяин справедливо заметил, нет большой разницы между вином одного виноградника и вином другого. Однако посмотрим.

Он снова помолчал, прикрыв глаза.

— Я пытаюсь определить возраст виноградника, — сказал он. — Если я смогу это сделать, это будет полдела. Так-так, дайте-ка подумать. Вино явно не первого урожая, даже не второго. Оно не из самых лучших. Ему недостает качества, так называемой лучистости, энергии. Но вот третий урожай — очень может быть. И все же я сомневаюсь. Нам известно, что год сбора был одним из лучших — наш хозяин так сказал, — и это, пожалуй, немного льстит вину. Мне следует быть осторожным. Тут мне надо бы быть крайне осторожным.

Он взял бокал и сделал еще один небольшой глоток.

— Пожалуй, — сказал он, облизывая губы, — я был прав. Это вино четвертого урожая. Теперь я уверен в этом. Год — один из очень хороших, даже один из лучших. И именно поэтому оно на какую-то долю секунды показалось на вкус вином третьего, даже второго урожая. Что ж! Уже хорошо! Теперь мы близки к разгадке. Сколько в Сен-Жюльене виноградников этого возраста?

Он снова умолк, поднял бокал и прижал его край к своей свисающей нижней губе. И тут я увидел, как выскочил язык, розовый и узкий, и кончик его погрузился в вино и медленно потянулся назад — отвратительное зрелище! Когда он поставил бокал, глаза его оставались закрытыми, лицо сосредоточенным, шевелились только губы, напоминавшие двух мокрых улиток.

— И опять то же самое! — воскликнул он. — На вкус ощущается танин, и на какое-то мгновение возникает впечатление, будто на языке появляется что-то вязущее. Да-да, конечно! Теперь я понял! Это вино из одного из небольших виноградников вокруг Бейшевелля. Теперь я вспомнил. Район Бейшевель, река и небольшая бухточка, которая засорилась настолько, что суда, перевозившие вино, не

могут ею больше пользоваться. Бейшевель... Может ли все-таки это быть Бейшевель? Пожалуй, нет. Вряд ли. Но где-то близко от него. Шато Талбо? Может, это Талбо? Да, вроде бы. Погодите минутку.

Он снова отпил вина, и краешком глаза я увидел, как Майк Скофилд, приоткрыв рот, наклоняется все ниже и ниже над столом и не сводит глаз с Ричарда Пратта.

— Нет, я был не прав. Это не Талбо. Талбо заявляет о себе сразу же. Если это вино урожая тридцать четвертого года, а я думаю, что так оно и есть, тогда это не Талбо. Так-так. Дайте-ка подумать. Это не Бейшевель и не Талбо, и все же вино так близко и к тому и к другому, что виноградник, должно быть, расположен где-то между ними. Что же это может быть?

Он задумался, а мы не сводили с него глаз. Даже жена Майка теперь смотрела на него. Я слышал, как служанка поставила блюдо с овощами на буфет за моей спиной и сделала это очень осторожно, чтобы не нарушить тишину.

— Ага! — воскликнул он. — Понял! Да-да, понял!

Он в последний раз отпил вина. Затем, все еще держа бокал около рта, повернулся к Майку, медленно улыбнулся шелковистой улыбкой и сказал:

— Знаете, что это за вино? Оно из маленькой деревушки Бранэр-Дюкрю.

Майк сидел не шевелясь.

— Что же касается года, то год тысяча девятьсот тридцать четвертый.

Мы все посмотрели на Майка, ожидая, когда он повернет бутылку и покажет нам этикетку.

— Это ваш окончательный ответ? — спросил Майк.

— Да, думаю, что так.

— Так да или нет?

— Да.

— Как, вы сказали, оно называется?

— Шато Бранэр-Дюкрю. Замечательный маленький виноградник. Прекрасная старинная деревушка. Очень хорошо ее знаю. Не могу понять, как я сразу не догадался.

— Ну же, папа, — сказала девушка. — Поверни бутылку, и посмотрим, что там на самом деле. Я хочу получить свои два дома.

— Минутку, — сказал Майк. — Одну минутку. — Он был совершенно сбит с толку и сидел неподвижно, с побледневшим лицом, будто силы покинули его.

— Майк! — громко произнесла его жена, сидевшая за другим концом стола. — Так в чем дело?

— Прошу тебя, Маргарет, не вмешивайся.

Ричард Пратт, улыбаясь, глядел на Майка, и глаза его сверкали. Майк ни на кого не смотрел.

— Папа! — в ужасе закричала девушка. — Папа, он ведь не отгадал!

— Не волнуйся, моя девочка, — сказал Майк. — Не нужно волноваться.

Думаю, скорее для того, чтобы отвязаться от своих близких, Майк повернулся к Ричарду Пратту и сказал:

— Послушайте, Ричард. Мне кажется, нам лучше выйти в соседнюю комнату и кое о чем поговорить.

— Мне больше не о чем говорить, — сказал Пратт. — Все, что я хочу, — это увидеть этикетку на бутылке.

Он знал, что выиграл пари, и сидел с надменным видом победителя. Я понял, что он готов пойти на все, если его победу попытаются оспорить.

— Чего вы ждете? — спросил он у Майка. — Давайте же, поверните бутылку.

И тогда произошло вот что: служанка в аккуратном черном платье и белом переднике подошла к Ричарду Пратту, держа что-то в руках.

— Мне кажется, это ваши, сэр, — сказала она.

Пратт обернулся, увидел очки в тонкой роговой оправе, которые она ему протягивала, и поколебался с минуту.

— Правда? Может, и так, я не знаю.

— Да, сэр, это ваши.

Служанка, пожилая женщина, ближе к семидесяти, чем к шестидесяти, была верной хранительницей домашнего очага в продолжение многих лет. Она положила очки на стол перед Праттом.

Не поблагодарив ее, Пратт взял их и опустил в нагрудный карман, за носовой платок.

Однако служанка не уходила. Она продолжала стоять рядом с Ричардом Праттом, за его спиной, и в поведении этой маленькой

женщины, стоявшей не шелохнувшись, было нечто столь необычное, что не знаю, как других, а меня вдруг охватило беспокойство. Ее морщинистое посеревшее лицо приняло холодное и решительное выражение, губы были плотно сжаты, подбородок выдвинут вперед, а руки крепко стиснуты. Смешная шапочка и белый передник придавали ей сходство с какой-то крошечной, взъерошенной, белогрудой птичкой.

— Вы позабыли их в кабинете мистера Скофилда, — сказала она. В голосе ее прозвучала неестественная, преднамеренная учтивость. — На зеленом бюро в его кабинете, сэр, когда вы туда заходили перед обедом.

Прошло несколько мгновений, прежде чем мы смогли постичь смысл сказанного ею, и в наступившей тишине слышно было, как Майк медленно поднимается со стула. Лицо его побагровело, глаза широко раскрылись, рот искривился, а вокруг носа начало расплываться угрожающее белое пятно.

— Майк! Успокойся, Майк, дорогой. Прошу тебя, успокойся! — проговорила его жена.

АГНЕЦ НА ЗАКЛАНЬЕ

В комнате было натоплено, чисто прибрано, шторы задернуты, на столе горели две лампы: одну она поставила возле себя, другую — напротив. В буфете за ее спиной были приготовлены два высоких стакана, содовая, виски. В ведерко-термос уложены кубики льда.

Мэри Мэлони ждала мужа с работы.

Она то и дело посматривала на часы, но не с беспокойством, а лишь затем, чтобы лишний раз убедиться: каждая минута приближает момент его возвращения. Движения ее были неторопливы, и казалось, что она все делает с улыбкой. Она склонилась над шитьем, и вид у нее при этом был на удивление умиротворенный. Кожа ее (она была на шестом месяце беременности) приобрела жемчужный оттенок, уголки рта разгладились, а глаза, в которых появилась безмятежность, казались гораздо более круглыми и темными, чем прежде.

Когда часы показали без десяти пять, она начала прислушиваться, и спустя несколько минут, как всегда в это время, по гравию зашуршали шины, потом хлопнула дверца автомобиля, раздался звук шагов за окном, в замке повернулся ключ. Она отложила шитье, поднялась и, когда он вошел, направилась к нему, чтобы поцеловать.

— Привет, дорогой, — сказала она.

— Привет, — ответил он.

Она взяла у него шинель и повесила в шкаф. Затем подошла к буфету и приготовила напитки — ему покрепче, себе послабее — и спустя короткое время снова сидела на своем стуле за шитьем, а он — напротив нее, на своем, сжимая в обеих ладонях высокий стакан и покачивая его так, что кубики льда звенели, ударяясь о стенки.

Для нее всегда это было самое счастливое время дня. Она знала: его не разговоришь, пока он не выпьет немного, но рада была

после долгих часов одиночества посидеть и молча, довольная тем, что они снова вместе. Ей было хорошо с ним рядом. Когда они оставались наедине, она ощущала его тепло — точно так же загорающий чувствует солнечные лучи. Ей нравилось, как он сидит, беспечно развалившись на стуле, как входит в комнату или медленно передвигается по ней большими шагами. Ей нравился этот внимательный и вместе с тем отстраненный взгляд, когда он смотрел на нее, ей нравилось, как он забавно кривит губы, и особенно то, что он ничего не говорит о своей усталости и сидит молча до тех пор, пока виски не вернет его к жизни.

— Устал, дорогой?

— Да, — ответил он. — Устал.

И, сказав это, он сделал то, чего никогда не делал прежде. Он разом осушил стакан, хотя тот был полон наполовину — да, пожалуй, наполовину. Она в ту минуту не смотрела на него, но догадалась, что он именно это и сделал, услышав, как кубики льда ударились о дно стакана, когда он опустил руку. Он подался вперед, помедлил с минуту, затем поднялся и неторопливо направился к буфету, чтобы налить себе еще.

— Я принесу! — воскликнула она, вскакивая на ноги.

— Сиди, — сказал он.

Когда он снова опустил на стул, она заметила, что он не пожалел виски и напиток в его стакане приобрел темно-янтарный оттенок.

— Тебе принести тапки, дорогой?

— Не надо.

Она смотрела, как он потягивает крепкий напиток, и видела маленькие маслянистые круги, плававшие в стакане.

— Это просто возмутительно, — сказала она, — заставлять полицейского в твоем чине целый день быть на ногах.

Он ничего на это не ответил, и она снова склонилась над шитьем; между тем всякий раз, когда он подносил стакан к губам, она слышала стук кубиков льда.

— Дорогой, — сказала она, — может, принести тебе немного сыру? Я ничего не приготовила на ужин, ведь сегодня четверг.

— Не нужно, — ответил он.

— Если ты слишком устал и не хочешь пойти куда-нибудь поужинать, то еще не поздно что-то приготовить. В морозилке много мяса, можно поужинать, не выходя из дома.

Она посмотрела на него, дожидаясь ответа, улыбнулась, кивком выражая нетерпение, но он не сделал ни малейшего движения.

— Как хочешь, — настаивала она, — а я все-таки пойду и принесу печенье и сыр.

— Я ничего не хочу, — отрезал он.

Она беспокойно заерзала на стуле, неотрывно глядя на него своими большими глазами.

— Но тебе надо поесть. Пойду что-нибудь приготовлю. Я это сделаю с удовольствием. Можно приготовить баранью отбивную. Или свиную. Что бы ты хотел? У нас все есть в морозилке.

— Давай не будем об этом, — сказал он.

— Но, дорогой, ты должен поужинать. Я все равно что-нибудь приготовлю, а там как хочешь, можешь и не есть.

Она поднялась и положила шитье на стол возле лампы.

— Сядь, — сказал он. — Присядь на минутку.

Начиная с этой минуты ею овладело беспокойство.

— Ну же, — говорил он. — Садись.

Она медленно опустила на стул, не спуская с него встревоженного взгляда. Он допил второй стакан и теперь, хмурясь, рассматривал его дно.

— Послушай, — сказал он, — мне нужно тебе кое-что сказать.

— В чем дело, дорогой? Что-то случилось?

Он сидел не шевелясь и при этом так низко опустил голову, что свет от лампы падал на верхнюю часть его лица, а подбородок и рот оставались в тени. Она увидела, как у него задергалось левое веко.

— Для тебя это, боюсь, будет потрясением, — заговорил он. — Но я много об этом думал и решил, что лучше уж разом все выложить. Надеюсь, ты не будешь судить меня слишком строго.

И он ей все рассказал. Это не заняло у него много времени: самое большее — четыре-пять минут. Она слушала мужа, глядя на него с ужасом, который возрастал по мере того, как он с каждым словом все более отдалялся от нее.

— Ну вот и все, — произнес он. — Понимаю, что не вовремя тебе обо всем этом рассказал, но у меня просто нет другого выхода. Конечно же, я дам тебе деньги и буду следить за тем, чтобы у тебя все было. Но давай не будем устраивать скандала. Надеюсь, ты меня понимаешь. На службе косо посмотрят на скандал.

Поначалу она не хотела ничему верить и решила, что все это выдумка. Может, он вообще ничего не говорил, думала она, а она себе все это вообразила. Наверное, лучше заняться своими делами и вести себя так, будто ей все это слышалось, а потом, когда она придет в себя, нужно будет просто убедиться в том, что ничего вообще не произошло.

— Пойду приготовлю ужин, — выдавила она из себя, и на сей раз он ее не удерживал.

Она не чувствовала под собой ног, когда шла по комнате. Она вообще ничего не чувствовала. Ее лишь слегка подташнивало и мутило. Она все делала механически: спустилась в погреб, нащупала выключатель, открыла морозилку, взяла то, что попало ей под руку. Она взглянула на сверток в руках и сняла бумагу.

Баранья нога.

Ну что ж, пусть у них на ужин будет баранья нога. Держа ее за один конец обеими руками, она пошла вверх. Проходя через гостиную, она увидела, что он стоит к ней спиной у окна, и остановилась.

— Ради бога, — сказал он, услышав ее шаги, но при этом не обернулся, — не нужно для меня ничего готовить.

В эту самую минуту Мэри Мэлони просто подошла к нему сзади, не задумываясь, высоко подняла замороженную баранью ногу и с силой ударила его по затылку.

Это было все равно что ударить его дубиной.

Она отступила на шаг, помедлила, и ей показалось странным, что он секунды четыре, может, пять стоял, едва заметно покачиваясь, а потом рухнул на ковер.

При падении он задел небольшой столик, тот перевернулся, и грохот заставил ее выйти из оцепенения. Холодея, она медленно приходила в себя и в изумлении из-под полуопущенных ресниц смотрела на распростертое тело, по-прежнему крепко сжимая в обеих руках кусок мяса.

«Ну что ж, — сказала она про себя. — Итак, я убила его». Неожиданно мозг ее заработал четко и ясно, и это ее еще больше изумило. Она начала очень быстро соображать. Будучи женой сыщика, она отлично знала, какое ее ждет наказание. Тут все ясно. Впрочем, ей все равно. Будь что будет. Но с другой стороны, как же ребенок? Что говорится в законе о тех, кто ждет ребенка? Их что,

обоих убивают — мать и ребенка? Или все-таки ждут, когда наступит десятый месяц? Как поступают в таких случаях?

Этого Мэри Мэлони не знала. А испытывать судьбу она не собиралась.

Она отнесла мясо на кухню, положила его на противень, включила плиту и сунула в духовку. Потом вымыла руки и быстро поднялась в спальню. Сев перед зеркалом, припудрила лицо и подкрасила губы. Попыталась улыбнуться. Улыбка вышла какая-то странная. Она сделала еще одну попытку.

— Привет, Сэм, — весело сказала она громким голосом. И голос звучал как-то странно. — Я бы хотела купить картошки, Сэм. Да, и еще, пожалуй, баночку горошка.

Так-то лучше. Улыбка на этот раз получилась лучше, да и голос звучал твердо. Она повторила те же слова еще несколько раз. Потом спустилась вниз, надела пальто, вышла в заднюю дверь и, пройдя через сад, оказалась на улице.

Еще не было и шести часов, и в бакалейной лавке горел свет.

— Привет, Сэм, — беззаботно произнесла она, обращаясь к мужчине, стоявшему за прилавком.

— А, добрый вечер, миссис Мэлони. Что желаете?

— Я бы хотела купить картошки, Сэм. Да, и еще, пожалуй, баночку горошка.

Продавец повернулся и достал с полки горошек.

— Патрик устал и не хочет никуда идти ужинать, — сказала она. — По четвергам мы обычно ужинаем не дома, а у меня как раз не оказалось овощей.

— Тогда как насчет мяса, миссис Мэлони?

— Нет, спасибо, мясо у меня есть. Я достала из морозилки отличную баранью ногу.

— Ага!

— Обычно я ничего не готовлю из замороженного мяса, Сэм, но сегодня попробую. Думаешь, получится что-нибудь съедобное?

— Лично я, — сказал бакалейщик, — не вижу разницы, замороженное мясо или нет. Эта картошка вас устроит?

— Да, вполне. Выберите две картофелины.

— Что-нибудь еще? — Бакалейщик склонил голову набок, добродушно глядя на нее. — Как насчет десерта? Что бы вы выбрали на десерт?

— А что бы вы предложили, Сэм?

Продавец окинул взглядом полки своей лавки.

— Что скажете насчет доброго куска творожного пудинга? Уж я-то знаю, он это любит.

— Отлично, — согласилась она. — Он это действительно любит.

И когда покупки были завернуты, она расплатилась, приветливо улыбнулась ему и сказала:

— Спасибо, Сэм. Доброй ночи.

— Доброй ночи, миссис Мэлони. И спасибо вам.

А теперь, говорила она про себя, торопливо направляясь к дому, теперь она возвращается к своему мужу, который ждет ужина; и она должна хорошо его приготовить, и чтобы все было вкусно, потому что бедняга устал; а если, когда она войдет в дом, ей случится обнаружить что-то необычное, неестественное или ужасное, тогда, само собой, она испытает ужасное потрясение и обезумит от горя и ужаса. Но ведь она не знает, что ее ждет что-то ужасное. Она просто возвращается домой с овощами. Сегодня четверг, и миссис Патрик Мэлони идет домой с овощами, чтобы приготовить ужин для мужа.

«Делай все как всегда. Пусть все выглядит естественно, и тогда совсем не нужно будет играть», — говорила она себе.

Вот почему, входя на кухню через заднюю дверь, она тихо напевала под нос и улыбалась.

— Патрик! — позвала она. — Как ты там, дорогой?

Она положила пакет на стол и прошла в гостиную, и, увидев его лежащим на полу, скорчившимся, с вывернутой рукой, которую он придавил всем телом, она действительно испытала потрясение. Любовь к нему всколыхнулась в ней с новой силой, она подбежала к нему, упала на колени и разрыдалась. Это нетрудно было сделать. Играть не понадобилось.

Спустя несколько минут она поднялась и подошла к телефону. Она помнила наизусть номер телефона полицейского участка и, когда ей ответили, крикнула в трубку:

— Быстрее! Приезжайте быстрее! Патрик мертв!

— Кто это говорит?

— Миссис Мэлони. Миссис Мэлони.

— Вы хотите сказать, что Патрик Мэлони мертв?

— Мне кажется, да, — говорила она сквозь рыдания. — Он лежит на полу, и мне кажется, он мертв.

— Сейчас будем, — ответили ей.

Машина приехала очень быстро, и, когда она открыла дверь, вошли двое полицейских. Она знала их — она знала почти всех на этом участке — и, истерически рыдая, упала в объятия Джека Нунана. Он бережно усадил ее на стул и подошел к другому полицейскому, по фамилии О'Мэлли, склонившемуся над распростертым телом.

— Он мертв? — сквозь слезы проговорила она.

— Боюсь, да. Что здесь произошло?

Она сбивчиво рассказала ему о том, как вышла в бакалейную лавку, а когда вернулась, нашла Патрика лежащим на полу. Пока она говорила, плакала и снова говорила, Нунан обнаружил на голове умершего сгусток запекшейся крови. Он показал рану О'Мэлли, который немедленно поднялся и торопливо направился к телефону.

Скоро в дом стали приходить другие люди. Первым явился врач, за ним прибыли еще двое полицейских, одного из которых она знала по имени. Позднее пришел полицейский фотограф и сделал снимки, а за ним появился дактилоскопист. Полицейские, собравшиеся возле трупа, вполголоса переговаривались, а сыщики тем временем задавали ей массу вопросов. Но, обращаясь к ней, они были неизменно предупредительны. Она снова все рассказала, на этот раз с самого начала, — Патрик пришел, а она сидела за шитьем, и он так устал, что не хотел никуда идти ужинать. Она сказала и о том, как поставила в духовку мясо — «оно и сейчас там готовится» — и как сбегала к бакалейщику за овощами, а когда вернулась, он лежал на полу.

— К какому бакалейщику? — спросил один из сыщиков.

Она сказала ему, и он обернулся и что-то прошептал другому сыщику, который тотчас же вышел на улицу.

Через пятнадцать минут он возвратился с исписанным листком, и снова послышался шепот, и сквозь рыдания она слышала некоторые произносимые вполголоса фразы: «...вела себя нормально... была весела... хотела приготовить для него хороший ужин... горошек... творожный пудинг... быть не может, чтобы она...»

Спустя какое-то время фотограф с врачом удалились, явились два других человека и унесли труп на носилках. Потом ушел дактилоскопист. Остались два сыщика и двое других полицейских. Они вели себя исключительно деликатно, а Джек Нунан спросил,

не лучше ли ей уехать куда-нибудь, к сестре например, или же она переночует у его жены, которая приглядит за ней.

Нет, сказала она. Она не чувствует в себе сил даже сдвинуться с места. Можно она просто посидит, пока не придет в себя? Ей действительно сейчас не очень-то хорошо.

Тогда не лучше ли лечь в постель, спросил Джек Нунан.

Нет, ответила она, она бы предпочла просто посидеть на стуле. Быть может, чуть позднее, когда она почувствует себя лучше, она найдет в себе силы, чтобы сдвинуться с места.

И они оставили ее в покое и принялись осматривать дом. Время от времени кто-то из сыщиков задавал ей какие-нибудь вопросы. Проходя мимо, Джек Нунан всякий раз ласково обращался к ней. Ее муж, говорил он, был убит ударом по затылку, нанесенным тяжелым тупым предметом, почти с уверенностью можно сказать — металлическим. Теперь они ищут оружие. Возможно, убийца унес его с собой, но он мог и выбросить его или спрятать где-нибудь в доме.

— Обычное дело, — сказал он. — Найди оружие — и считай, что нашел убийцу.

Потом к ней подошел один из сыщиков и сел рядом. Может, в доме есть что-то такое, спросил он, что могло быть использовано в качестве оружия? Не могла бы она посмотреть, не пропало ли что, например большой гаечный ключ или тяжелая металлическая ваза?

У них нет металлических ваз, отвечала она.

— А большой гаечный ключ?

И большого гаечного ключа, кажется, нет. Но что-то подобное можно поискать в гараже.

Поиски продолжались. Она знала, что полицейские ходят и в саду, вокруг дома. Она слышала шаги по гравию, а в щели между шторами иногда мелькал луч фонарика. Становилось уже поздно — часы на камине показывали почти десять часов. Четверо полицейских, осматривавших комнаты, казалось, устали и были несколько раздосадованы.

— Джек, — сказала она, когда сержант Нунан в очередной раз проходил мимо нее, — не могли бы вы дать мне выпить?

— Конечно. Как насчет вот этого виски?

— Да, пожалуйста. Но только немного. Может, мне станет лучше.

Он протянул ей стакан.

— А почему бы и вам не выпить? — сказала она. — Вы, должно быть, чертовски устали. Прошу вас, выпейте. Вы были так добры ко мне.

— Что ж, — ответил он. — Вообще-то, это не положено, но я пропущу капельку для бодрости.

Один за другим в комнату заходили полицейские и после уговоров выпивали по глотку виски. Они стояли вокруг нее со стаканами в руках, чувствуя себя несколько неловко, и пытались произносить какие-то слова утешения. Сержант Нунан забрел на кухню, тотчас же вышел оттуда и сказал:

— Послушайте-ка, миссис Мэлони, а плита-то у вас горит, и мясо все еще в духовке.

— О боже! — воскликнула она. — И правда!

— Может, выключить?

— Да, пожалуйста, Джек. Большое вам спасибо.

Когда сержант снова вернулся, она взглянула на него своими большими темными, полными слез глазами.

— Джек Нунан, — сказала она.

— Да?

— Не могли бы вы сделать мне одолжение, да и другие тоже?

— Попробуем, миссис Мэлони.

— Видите ли, — сказала она, — тут собрались друзья дорогого Патрика, и вы стараетесь напасть на след человека, который убил его. Вы, верно, ужасно проголодались, потому что время ужина давно прошло, а Патрик, я знаю, не простил бы мне, упокой господь его душу, если бы я отпустила вас без угощения. Почему бы вам не съесть эту баранью ногу, которую я поставила в духовку? Она уже, наверное, готова.

— Об этом и речи быть не может, — ответил сержант Нунан.

— Прошу вас, — умоляюще проговорила она. — Пожалуйста, съешьте ее. Лично я и притронуться ни к чему не смогу, во всяком случае, ни к чему такому, что было в доме при нем. Но вам-то что до этого? Вы сделаете мне одолжение, если съедите ее. А потом можете продолжать свою работу.

Четверо полицейских поколебались было, но они уже давно проголодались, и в конце концов она уговорила их отправиться на кухню и поесть. Женщина осталась на своем месте, прислушиваясь к их разговору, доносившемуся из-за приоткрытых дверей, и слы-

шала, как они немногословно переговаривались между собой, пережевывая мясо.

— Еще, Чарли?

— Нет. Оставь ей.

— Она хочет, чтобы мы ничего не оставляли. Она сама так сказала. Говорит, сделаем ей одолжение.

— Тогда ладно. Дай еще кусочек.

— Ну и дубина же, должно быть, была, которой этот парень огрел беднягу Патрика, — рассуждал один из них. — Врач говорит, ему проломили череп, точно кувалдой.

— Значит, нетрудно будет ее найти.

— Точно, и я так говорю.

— Кто бы это ни сделал, долго таскать с собой эту штуку не станешь.

Один из них рыгнул.

— Лично мне кажется, что она где-то тут, в доме.

— Может, прямо у нас под носом. Как по-твоему, Джек?

И миссис Мэлони, сидевшая в комнате, захихикала.

ЧЕЛОВЕК С ЮГА

Время близилось к шести часам, и я решил посидеть в шезлонге рядом с бассейном, выпить пива и немного погреться в лучах заходящего солнца.

Я отправился в бар, купил пива и через сад прошел к бассейну.

Сад был замечательный: лужайки с подстриженной травой, клумбы с кустами азалий, а вокруг всего этого стояли кокосовые пальмы. Сильный ветер раскачивал вершины пальм, и листья шипели и потрескивали, точно были объаты пламенем. Под листьями висели гроздь больших коричневых плодов.

Вокруг бассейна стояло много шезлонгов; за белыми столиками под огромными яркими зонтами сидели загорелые мужчины в плавках и женщины в купальниках. В самом бассейне находились три или четыре девушки и около полудюжины молодых людей; они плескались и шумели, бросая друг другу огромный резиновый мяч.

Я остановился, чтобы рассмотреть их получше. Девушки были англичанками из гостиницы. Молодых людей я не знал, но у них был американский акцент, и я подумал, что это, наверное, курсанты морского училища, сошедшие на берег с американского учебного судна, которое утром бросило якорь в гавани.

Я сел под желтым зонтом, под которым было еще четыре свободных места, налил себе пива и закурил.

Очень приятно было сидеть на солнце, пить пиво и курить сигарету. Я с удовольствием наблюдал за купальщиками, плескающимися в зеленой воде.

Американские моряки весело проводили время с английскими девушками. Они уже настолько с ними сблизились, что позволяли себе нырять под воду и щипать их за ноги.

И тут я увидел маленького пожилого человечка в безукоризненном белом костюме, бодро шагавшего вдоль бассейна. Он шел быстрой подпрыгивающей походкой, с каждым шагом приподни-

маясь на носках. На нем была большая панамы бежевого цвета; обходя бассейн, он поглядывал на людей, сидевших в шезлонгах.

Он остановился возле меня и улыбнулся, обнажив очень мелкие неровные зубы, чуточку темноватые. Я улыбнулся в ответ.

— Простите, пажалста, могу я здесь сесть?

— Конечно, — ответил я. — Присаживайтесь.

Он присел на шезлонг, как бы проверяя его на прочность, потом откинулся и забросил ногу на ногу. Его белые кожаные башмаки были в дырочку, для вентиляции.

— Отличный вечер, — сказал он. — Тут, на Ямайке, все вечера отличные.

По его акценту я не мог определить, итальянец он, или испанец, или, скорее, откуда-нибудь из Южной Америки. При ближайшем рассмотрении он оказался человеком пожилым, лет, наверное, шестидесяти восьми — семидесяти.

— Да, — ответил я. — Здесь правда замечательно.

— А кто, позвольте спросить, все эти люди? — Он указал на купающихся в бассейне. — Они не из нашей гостиницы.

— Думаю, это американские моряки, — сказал я. — Это американцы, которые хотят стать моряками.

— Разумеется, американцы. Кто еще будет так шуметь? А вы не американец, нет?

— Нет, — ответил я. — Не американец.

Неожиданно возле нас вырос американский моряк. Он только что вылез из бассейна, и с него капала вода; рядом с ним стояла английская девушка.

— Эти шезлонги заняты? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Ничего, если мы присядем?

— Присаживайтесь.

— Спасибо, — сказал он.

В руке у него было полотенце, и, усевшись, он развернул его и извлек пачку сигарет и зажигалку. Он предложил сигарету девушке, но та отказалась, затем предложил сигарету мне, и я взял одну. Человек сказал:

— Спасибо, нет, я, пожалуй, закурю сигару.

Он достал коробочку из крокодиловой кожи и взял сигару, затем вынул из кармана складной ножик с маленькими ножничками и отрезал у нее кончик.

- Прикуривайте. — Юноша протянул ему зажигалку.
- Она не загорится на ветру.
- Еще как загорится. Она отлично работает.

Человечек вынул сигару изо рта, так и не закурив ее, склонил голову набок и взглянул на юношу.

- Отлично? — медленно произнес он.
- Ну конечно, никогда не подводит. Меня, во всяком случае.

Человечек продолжал сидеть, склонив голову набок и глядя на юношу.

— Так-так. Значит вы говорите, что эта ваша замечательная зажигалка никогда вас не подводит? Вы ведь так сказали?

- Ну да, — ответил юноша. — Именно так.

Ему было лет девятнадцать-двадцать; его вытянутое веснушчатое лицо украшал заостренный птичий нос. Грудь его не очень-то загорела и тоже была усеяна веснушками и покрыта несколькими пучками бледно-рыжих волос. Он держал зажигалку в правой руке, готовясь щелкнуть ею.

— Она никогда меня не подводит, — повторил он, на сей раз с улыбкой, поскольку явно преувеличивал достоинства предмета своей гордости.

— Один момент, пажалста. — Человечек вытянул руку, в которой держал сигару, и выставил ладонь, точно останавливал машину. — Один момент. — У него был удивительно мягкий монотонный голос, и он не отрываясь смотрел на юношу. — А не заключить ли нам пари? — Он улыбнулся, глядя на юношу. — Не поспорить ли нам, так ли уж хорошо работает ваша зажигалка?

- Давайте поспорим, — сказал юноша. — Почему бы и нет?
- Вы любите спорить?
- Конечно люблю.

Человечек умолк и принялся рассматривать свою сигару, и, должен сказать, мне не очень-то было по душе его поведение. Казалось, он собирается извлечь какую-то для себя выгоду из всего этого, а заодно и посмеяться над юношей, и в то же время у меня было такое чувство, будто он вынашивает некий тайный замысел.

Он пристально посмотрел на юношу и медленно произнес:

— Я тоже люблю спорить. Почему бы нам не поспорить насчет этой штуки? По-крупному.

— Ну уж нет, — сказал юноша. — По-крупному не буду. Но двадцать пять центов могу предложить, или даже доллар, или сколько

это будет в пересчете на местные деньги — сколько-то там шиллингов, кажется.

Человечек махнул рукой:

— Послушайте меня. Давайте весело проводить время. Давайте заключим пари. Потом поднимемся в мой номер, где нет ветра, и я спорю, что если вы щелкнете своей зажигалкой десять раз подряд, то хотя бы раз она не загорится.

— Спорим, что загорится, — сказал юноша.

— Хорошо. Отлично. Так спорим, да?

— Конечно, я ставлю доллар.

— Нет-нет. Я поставлю кое-что побольше. Я богатый человек и к тому же азартный. Послушайте меня. За гостиницей стоит моя машина. Очень хорошая машина. Американская машина, из вашей страны. «Кадиллак»...

— Э, нет. Пойдите-ка. — Юноша откинулся в шезлонге и расмеялся. — Против машины мне нечего выставить. Это безумие.

— Вовсе не безумие. Вы успешно щелкаете зажигалкой десять раз подряд, и «кадиллак» ваш. Вам бы хотелось иметь «кадиллак», да?

— Конечно, «кадиллак» я бы хотел. — Улыбка не сходила с лица юноши.

— Отлично. Замечательно. Мы спорим, и я ставлю «кадиллак».

— А я что ставлю?

Человечек аккуратно снял с так и не закуренной сигары опоясывавшую ее красную бумажку.

— Друг мой, я никогда не прошу, чтобы человек ставил что-то такое, чего он не может себе позволить. Понимаете?

— Ну и что же я должен поставить?

— Я у вас попрошу что-нибудь попроще, да?

— Идет. Просите что-нибудь попроще.

— Что-нибудь маленькое, с чем вам не жалко расстаться, а если бы вы и потеряли это, вы бы не очень-то огорчились. Так?

— Например, что?

— Например, скажем, мизинец с вашей левой руки.

— Что? — Улыбка слетела с лица юноши.

— Да. А почему бы и нет? Выиграете — берете машину. Проигрываете — я беру палец.

— Не понимаю. Что это значит — берете палец?

— Я его отрублю.

— Ничего себе ставка! Нет, уж лучше я поставлю доллар.

Человечек откинулся в своем шезлонге, развел руками и презрительно пожал плечами.

— Так-так-так, — произнес он. — Этого я не понимаю. Вы говорите, что она отлично работает, а спорить не хотите. Тогда оставим это, да?

Юноша, не шевелясь, смотрел на купающихся в бассейне. Затем он неожиданно вспомнил, что не прикурил сигарету. Он взял ее в рот, заслонил зажигалку ладонью и щелкнул. Фитилек загорелся маленьким ровным желтым пламенем; руки он держал так, что ветер не задувал его.

— Можно и мне огонька? — спросил я.

— О, простите, я не заметил, что вы тоже не прикурили.

Я протянул руку за зажигалкой, однако он поднялся и подошел ко мне сам.

— Спасибо, — сказал я, и он возвратился на свое место.

— Вам здесь нравится? — спросил я у него.

— Очень, — ответил он. — Здесь просто замечательно.

Снова наступило молчание; я видел, что человечку удалось растормошить юношу своим нелепым предложением. Тот сидел совершенно неподвижно, но было заметно: что-то в нем всколыхнулось. Спустя какое-то время он беспокойно заерзал, принялся почесывать грудь и скрести затылок и наконец положил обе руки на колени и стал постукивать пальцами по коленным чашечкам. Скоро он начал постукивать и ногами.

— Давайте-ка еще раз вернемся к этому вашему предложению, — в конце концов проговорил он. — Вы говорите, что мы идем к вам в номер, и если я зажгу зажигалку десять раз подряд, то выиграю «кадиллак». Если она подведет меня хотя бы один раз, то я лишуюсь мизинца на левой руке. Так?

— Разумеется. Таково условие. Но мне кажется, вы боитесь.

— А что, если я проиграю? Я протягиваю вам палец, и вы его отрубаете?

— О нет! Так не пойдет. К тому же вы, может быть, пожелаете убрать руку. Прежде чем мы начнем, я привяжу вашу руку к столу и буду стоять с ножом, готовый отрубить вам палец в ту секунду, когда зажигалка не работает.

— Какого года ваш «кадиллак»? — спросил юноша.

— Простите. Я не понимаю.

— Какого он года — сколько ему лет?

— А! Сколько лет? Да прошлого года. Совсем новая машина. Но вы, я вижу, не спорщик, как, впрочем, и все американцы.

Юноша помолчал с минуту, посмотрел на девушку, потом на меня.

— Хорошо, — резко произнес он. — Я согласен.

— Отлично! — Человечек тихо хлопнул в ладоши. — Прекрасно! — сказал он. — Сейчас и приступим. А вы, сэр, — обернулся он ко мне, — не могли бы вы стать этим... как его... судьей?

У него были бледные, почти бесцветные глаза с яркими черными зрачками.

— Видите ли, — сказал я. — Мне кажется, это безумное пари. Мне все это не очень-то нравится.

— Мне тоже, — сказала девушка. Она заговорила впервые. — По-моему, это глупо и нелепо.

— Вы и вправду отрубите палец у этого юноши, если он проиграет? — спросил я.

— Конечно. А выиграет, отдам ему «кадиллак». Однако пора начинать. Пойдемте ко мне в номер. — Он поднялся. — Может, вы оденетесь? — спросил он.

— Нет, — ответил юноша. — Я так пойду.

Потом он обратился ко мне:

— Я был бы вам обязан, если бы вы согласились стать судьей.

— Хорошо, — ответил я. — Я пойду с вами, но пари мне не нравится.

— И ты иди с нами, — сказал он девушке. — Пойдем, посмотришь.

Человечек повел нас через сад к гостинице. Теперь он был оживлен и даже возбужден и оттого при ходьбе подпрыгивал еще выше.

— Я остановился во флигеле, — сказал он. — Может, сначала хотите посмотреть машину? Она тут рядом.

Он подвел нас к подъездной аллее, и мы увидели сверкающий бледно-зеленый «кадиллак», стоявший неподалеку.

— Вон она. Зеленая. Нравится?

— Машина что надо, — сказал юноша.

— Вот и хорошо. А теперь посмотрим, сможете ли вы ее выиграть.

Мы последовали за ним во флигель и поднялись на второй этаж. Он открыл дверь номера, и мы вошли в большую комнату, оказавшуюся уютной спальней с двумя кроватями. На одной из них лежал пеньюар.

— Сначала, — сказал он, — мы выпьем немного мартини.

Бутылки стояли на маленьком столике в дальнем углу, так же как и все то, что могло понадобиться, — шейкер, лед и стаканы. Он начал готовить мартини, однако прежде позвонил в звонок, в дверь тотчас же постучали, и вошла цветная горничная.

— Ага! — произнес он и поставил на стол бутылку джина. Потом извлек из кармана бумажник и достал из него фунт стерлингов. — Пажалста, сделайте для меня кое-что.

Он протянул горничной банкноту.

— Возьмите это, — сказал он. — Мы тут собираемся поиграть в одну игру, и нам нужны две... нет, три вещи. Гвозди, молоток и мясницкий тесак, который вы одолжите на кухне. Вы можете все это принести, да?

— Мясницкий тесак! — Горничная широко раскрыла глаза и всплеснула руками. — Вам нужен настоящий мясницкий тесак?

— Да-да, конечно. А теперь идите, пажалста. Я уверен, что вы все это сможете достать.

— Да, сэ, я попробую, сэ. Я попробую. — И она удалилась.

Человечек разлил мартини по стаканам. Мы стояли и потягивали напиток — юноша с вытянутым веснушчатым лицом и острым носом, в выгоревших коричневых плавках, англичанка, крупная светловолосая девушка в бледно-голубом купальнике, то и дело посматривавшая поверх стакана на юношу, человечек с бесцветными глазами, в безукоризненном белом костюме, смотревший на девушку в бледно-голубом купальнике. Я не знал, что и думать. Кажется, человечек был настроен серьезно по поводу пари. Но черт побери, а что, если юноша и вправду проиграет? Тогда нам придется везти его в больницу в «кадиллаке», который ему не удалось выиграть. Ну и дела. Ничего себе дела, а? Все это представлялось мне совершенно необязательной глупостью.

— Вам не кажется, что все это довольно глупо? — спросил я.

— Мне кажется, что все это замечательно, — ответил юноша.

Он уже осушил один стакан мартини.

— А вот мне кажется, что все это глупо и нелепо, — сказала девушка. — А что, если ты проиграешь?

— Мне все равно. Я что-то не припомню, чтобы когда-нибудь в жизни мне приходилось пользоваться левым мизинцем. Вот он. — Юноша взялся за палец. — Вот он, и до сих пор от него не было никакого толку. Так почему же я не могу на него поспорить? Мне кажется, что пари замечательное.

Человечек улыбнулся, взял шейкер и еще раз наполнил наши стаканы.

— Прежде чем мы начнем, — сказал он, — я вручу судье ключ от машины. — Он извлек из кармана ключ и протянул его мне. — Документы, — добавил он, — документы на машину и страховка находятся в автомобиле, в кармане на дверце.

В эту минуту вошла цветная горничная. В одной руке она держала небольшой тесак, таким пользуются мясники для рубки костей, а в другой — молоток и мешочек с гвоздями.

— Отлично! Вижу, вам удалось достать все. Спасибо, спасибо. А теперь можете идти. — Он подождал, пока горничная закроет за собой дверь, после чего положил инструменты на одну из кроватей и сказал: — Подготовимся, да? — И, обращаясь к юноше, прибавил: — Помогите мне, пожалуйста. Давайте немного передвинем стол.

Это был обыкновенный письменный прямоугольный стол, урядный предмет гостиничного интерьера, размерами фута четыре на три, с промокательной и писчей бумагой, чернилами и ручками. Они вынесли его на середину комнаты и убрали с него письменные принадлежности.

— А теперь, — сказал он, — нам нужен стул.

Он взял стул и поставил его возле стола. Действовал он очень живо, как затейник на детском утреннике.

— А теперь гвозди. Я должен забить гвозди.

Он взял гвозди и начал вбивать их в столешницу.

Мы стояли — юноша, девушка и я — со стаканами мартини в руках и наблюдали за его действиями. Сначала он забил в стол два гвоздя на расстоянии примерно шести дюймов один от другого. Забивал он их не до конца. Затем подергал гвозди, проверяя, прочно ли они забиты.

Похоже, сукин сын проделывал такие штуки и раньше, сказал я про себя. Ни секунды же не колеблется. Стол, гвозди, молоток, тесак с кухни. Он точно знает, чего хочет и как все это обставить.

— А теперь, — сказал он, — нам нужна какая-нибудь веревка.

Какую-нибудь веревку он нашел.

— Отлично, наконец-то мы готовы. Пажалста, садитесь за стол, вот здесь, — сказал он юноше.

Юноша поставил свой стакан и сел на стул.

— Теперь положите левую руку между этими двумя гвоздями. Гвозди нужны для того, чтобы я смог привязать вашу руку. Хорошо, отлично. Теперь я попрочнее привяжу вашу руку к столу... так...

Он несколько раз обмотал веревкой сначала запястье юноши, потом кисть и крепко привязал веревку к гвоздям. Он отлично справился с этой работой, и, когда закончил ее, ни у кого не могло возникнуть сомнений насчет того, сможет ли юноша вытащить свою руку. Однако пальцами шевелить он мог.

— А теперь, пажалста, сожмите в кулак все пальцы, кроме мизинца. Пусть мизинец лежит на столе. Ат-лич-но! Вот мы и готовы. Правой рукой работаете с зажигалкой. Однако еще минутку, пажалста.

Он подскочил к кровати и взял тесак. Затем снова подошел к столу и встал около юноши с тесаком в руках.

— Все готовы? — спросил он. — Господин судья, вы должны объявить о начале.

Девушка в бледно-голубом купальнике стояла за спиной юноши. Она просто стояла и ничего при этом не говорила. Юноша сидел очень спокойно, держа в правой руке зажигалку и посматривая на нож. Человечек смотрел на меня.

— Вы готовы? — спросил я юношу.

— Готов.

— А вы? — Этот вопрос был обращен к человечку.

— Вполне готов, — сказал он и занес тесак над пальцем юноши, чтобы рубануть в любую минуту.

Юноша следил за ним, но ни разу не вздрогнул, и ни один мускул не шевельнулся на его лице. Он лишь нахмурился.

— Отлично, — сказал я. — Начинайте.

— Не могли бы вы считать, сколько раз я зажгу зажигалку? — попросил меня юноша.

— Хорошо, — ответил я. — Это я беру на себя.

Большим пальцем он откинул колпачок зажигалки и им же резко повернул колесико. Кремень дал искру, и фитилек загорелся маленьким желтым пламенем.

— Раз! — громко произнес я.

Он не стал задувать пламя, а опустил колпачок и выждал секунд, наверное, пять, прежде чем откинуть его снова.

Он очень сильно повернул колесико, и фитилек снова загорелся маленьким пламенем.

— Два!

Все молча наблюдали за происходящим. Юноша не спускал глаз с зажигалки. Человечек стоял с занесенным тесаком и тоже смотрел на зажигалку.

— Три!.. Четыре!.. Пять!.. Шесть!.. Семь!..

Это наверняка была одна из тех зажигалок, которые исправно работают. Кремень давал большую искру, да и фитилек был нужной длины. Я следил за тем, как большой палец опускает колпачок. Затем пауза. Потом большой палец снова откидывает колпачок. Всю работу делал только большой палец. Я затаил дыхание, готовясь произнести цифру «восемь». Большой палец повернул колесико. Кремень дал искру. Появилось маленькое пламя.

— Восемь! — воскликнул я, и в ту же секунду раскрылась дверь.

Мы все обернулись и увидели в дверях женщину, маленькую черноволосую женщину, довольно пожилую; постояв пару секунд, она бросилась к маленькому человечку, крича:

— Карлос! Карлос!

Она схватила его за руку, вырвала у него тесак, бросила на кровать, потом ухватила за лацканы белого пиджака и принялась изо всех сил трясти, громко при этом выкрикивая какие-то слова на языке, похожем на испанский. Она трясла его так сильно, что Карлос напоминал мелькающую спицу быстро вращающегося колеса.

Потом она немного утомилась, и человечек опять стал самим собой. Она потащила его через всю комнату и швырнула на кровать. Он сел на край кровати и принялся мигать и вертеть головой, точно проверяя, на месте ли она.

— Простите меня, — сказала женщина. — Мне так жаль, что это все-таки случилось.

По-английски она говорила почти безупречно.

— Это просто ужасно, — продолжала она. — Но я и сама во всем виновата. Стоит мне оставить его на десять минут, чтобы вымыть голову, как он опять за свое.

Она, казалось, была очень огорчена и глубоко сожалела о том, что произошло.

Юноша тем временем отвязывал свою руку от стола. Мы с девушкой молчали.

— Он просто опасен, — сказала женщина. — Там, где мы живем, он уже отрубил сорок семь пальцев у разных людей и проиграл одиннадцать машин. Ему в конце концов пригрозили, что отправят его куда-нибудь. Поэтому я и привезла его сюда.

— Мы лишь немного поспорили, — пробормотал человек с кровати.

— Он, наверное, поставил машину? — спросила женщина.

— Да, — ответил юноша. — «Кадиллак».

— У него нет машины. Автомобиль мой. А это уже совсем никуда не годится, — сказала она. — Он заключает пари, а поставить ему нечего. Мне стыдно за него и жаль, что это случилось.

Вероятно, она была очень доброй женщиной.

— Что ж, — сказал я, — тогда возьмите ключ от вашей машины.

Я положил его на стол.

— Мы лишь немного поспорили, — бормотал человек.

— Ему не на что спорить, — сказала женщина. — У него вообще ничего нет. Ничего. По правде, когда-то давно я сама у него все выиграла. У меня ушло на это какое-то время, много времени, и мне пришлось изрядно потрудиться, но в конце концов я выиграла все.

Она взглянула на юношу и улыбнулась, и улыбка вышла печальной. Потом подошла к столу и протянула руку, чтобы взять ключи.

У меня до сих пор стоит перед глазами эта рука — на ней было всего два пальца, один из них большой.

СОЛДАТ

Ночь была чернее черного, и ему не составило труда вообразить себе, что значит быть слепым; царил полный мрак, даже силуэты деревьев не просматривались на фоне неба.

Со стороны изгороди, из темноты до него донеслось легкое шуршание, где-то в поле захрапела лошадь и неторопливо ударила копытом, переступив ногами; и еще он услышал, как в небе, высоко над его головой, пролетела птица.

— Джок, — громко сказал он, — пора домой.

И, повернувшись, начал подниматься по дорожке. Собака потянула его за собой, указывая путь в темноте.

Уже, наверное, полночь, подумал он. А это значит, что скоро наступит завтра. Завтра хуже, чем сегодня. Хуже, чем завтрашний день, вообще ничего нет, потому что он превратится в день сегодняшней, а сегодня — это сейчас.

Сегодня был не очень-то удачный день, особенно с этой занозой.

Ну ладно, хватит, сказал он самому себе. Сколько можно думать об одном и том же? Надо ли возвращаться к этому снова и снова? Подумай для разнообразия о чем-нибудь другом. Выбросишь из головы мрачную мысль, на ее место тотчас приходит другая. Возвратись лучше мысленно в прошлое. Вспомни о далеком беззаботном времени. Летние дни на берегу моря, мокрый песок, красные ведерки, сети для ловли креветок, скользкие камни, покрытые морскими водорослями, маленькие чистые заводи, морская ветреница, улитки, мидии; или вот еще — серая полупрозрачная креветка, застывшая в зеленой воде.

Но как же все-таки он не почувствовал, что занозил ступню?

Впрочем, это не важно. Помнишь, как ты собирал каури¹ во время прилива, а потом нес их домой, притом каждая казалась драго-

¹ Вид раковин.

ценным камнем — такими совершенными они были на ощупь, будто кто-то их выточил; а маленькие оранжевые гребешки, жемчужные устричные раковины, крошечные осколки изумрудного стекла, живой рак-отшельник, спинной хребет ската; однажды — никогда этого не забыть — ему попалась отполированная морскими волнами, иссохшая человеческая челюсть с зубами, казавшимися такими прекрасными среди раковин и гальки. Мама, мама, посмотри, что я нашел! Смотри, мама, смотри!

Однако вернемся к занозе. Жена была явно недовольна.

— Что это значит — не заметил? — с презрением спросила она тогда.

— Да, не заметил, и все.

— Не хочешь ли ты сказать, что, если я воткну тебе в ногу булавку, ты и этого не почувствуешь?

— Этого я не говорил.

И тут она неожиданно воткнула в его лодыжку булавку, с помощью которой вынимала занозу, а он в это время смотрел в другую сторону и ничего не чувствовал, пока она не закричала в ужасе. Опустив глаза, он увидел, что булавка наполовину вошла в щиколотку.

— Вынь ее, — сказал он. — Как бы не началось заражение крови.

— Неужели ты ничего не чувствуешь?

— Да вынь же ее!

— Неужели не больно?

— Больно ужасно. Вынь ее.

— С тобой что-то происходит!

— Я же сказал — больно ужасно. Ты что, не слышишь?

Зачем они так с ним?

Когда я был возле моря, мне дали деревянную лопатку, чтобы я копался в прибрежном песке. Я вырывал ямки размером с чашку, и их заливало водой, а потом и море не смогло добраться до них.

Год назад врач сказал:

— Закройте глаза. А теперь скажите, я двигаю вашим большим пальцем ноги вверх или вниз?

— Вверх, — отвечал он.

— А теперь?

— Вниз. Нет, вверх. Пожалуй, вверх.

Странно, с чего это нейрохирургу вздумалось вдруг забавляться с пальцами чужих ног.

— Я правильно ответил, доктор?

— Вы отлично справились.

Но это было год назад. Год назад он чувствовал себя довольно хорошо. Того, что происходит с ним сейчас, прежде никогда не было. Да взять хотя бы кран в ванной.

Почему это сегодня утром кран в ванной оказался с другой стороны? Это что-то новенькое.

В общем-то, это не так уж и важно, но любопытно все-таки знать, как же это произошло.

Можно подумать, это она переставила кран, взяла гаечный и трубный ключи, пробралась ночью в ванную и переставила.

Вы действительно так думаете? Что ж, если хотите знать, так и было. Она так себя ведет в последнее время, что вполне могла пойти и на такое.

Странная женщина, трудно с ней. Причем обратите внимание, раньше она такой не была, но теперь-то какие могут быть сомнения в том, что она странная, а трудно с ней так, что и не сказать. Особенно ночью.

Да-да, ночью. Хуже ночи вообще ничего нет.

Почему ночью, лежа в постели, он теряет способность осязать? Однажды он опрокинул ночник, она проснулась и от неожиданности села в кровати, тогда он попытался нащупать в темноте лампу, лежавшую на полу.

— Что ты там делаешь?

— Ночник уронил. Извини.

— О боже! — сказала она. — Вчера он уронил стакан с водой. Да что с тобой происходит?

Как-то врач провел перышком по тыльной стороне его руки, но он и этого не заметил. Однако, когда тот цапнул его руку булавкой, он что-то почувствовал.

— Закройте глаза. Нет-нет, вы не должны подглядывать. Крепко закройте. А теперь скажите — горячо или холодно?

— Горячо.

— А так?

— Холодно.

— А так?

— Холодно. То есть горячо. Ведь горячо, правда?

— Верно, — сказал врач. — Вы отлично справились.

Но это было год назад.

А почему это в последнее время, когда он пытается нащупать в темноте выключатели на стенах, они всякий раз оказываются на несколько дюймов в сторону от хорошо знакомых ему мест?

Да не думай ты об этом, сказал он самому себе. Лучше об этом вообще не думать.

Однако, раз уж мы об этом заговорили, почему это стены гостиной чуть-чуть меняют цвет каждый день?

Зеленые, потом голубовато-зеленые и голубые, а иногда... иногда они медленно плывут и меняют цвет на глазах, словно смотришь на них поверх тлеющих углей жаровни.

Вопросы сыпались равномерно, один за другим, точно листы бумаги из типографского станка.

А чье это лицо промелькнуло в окне за ужином? Чьи это были глаза?

— Ты что-то увидел?

— Да так, ничего, — ответил он. — Но лучше нам задернуть занавески, ты согласна?

— Роберт, ты что-то увидел?

— Ничего.

— А почему ты так смотришь в окно?

— Лучше нам все-таки задернуть занавески, тебе так не кажется? — ответил он тогда.

Он шел мимо того места, где паслась лошадь, и снова услышал ее: храп, мягкие удары копытами, хруст пережевываемой травы — казалось, это человек с хрустом жует сельдерей.

— Привет, лошадка! — крикнул он в темноту. — Лошадка, привет!

Неожиданно он услышал за спиной шаги, медленные, широкие. Он остановился. Остановился и тот, другой. Он обернулся, глядя в темноту.

— Добрый вечер, — сказал он. — Это опять ты?

Он услышал, как в тишине ветер шевелит листья в изгороди.

— Ты опять идешь за мной? — спросил он.

Затем повернулся и продолжил путь вслед за собакой, а тот человек пошел за ним, ступая теперь совсем неслышно, будто на цыпочках.

Он остановился и еще раз обернулся.

— Я не вижу тебя, — сказал он, — сейчас так темно. Я тебя знаю?

Снова тишина, и прохладный летний ветерок дует ему в лицо, и собака тянет за поводок, торопясь домой.

— Ладно, — громко сказал он. — Не хочешь — не отвечай. Но помни — я знаю, что ты идешь за мной.

Кто-то решил разыграть его.

Где-то далеко в ночи, на западе, очень высоко в небе, он услышал слабый гул летящего самолета. Он снова остановился, прислушиваясь.

— Далеко, — сказал он. — Сюда не долетит.

Но почему, когда самолет пролетает над его домом, все у него внутри обрывается, и он умолкает, замирает на месте и, будто парализованный, ждет, когда пронзительно засвистит бомба. Да вот хотя бы сегодня вечером.

— Чего это ты вдруг пригнулся? — спросила она.

— Пригнулся?

— Да. Ты чего испугался?

— Пригнулся? — повторил он. — Не знаю, с чего ты это взяла.

— Ладно уж, не прикидывайся, — сказала она, сурово глядя на него своими голубовато-белыми глазами, слегка прищурившись, как это бывало всегда, когда она выказывала ему презрение.

Ему нравилось, как она прищуривается — веки опускаются, и глаза будто прячутся. Она так делала всякий раз, когда презрение переполняло ее.

Вчера, лежа рано утром в кровати — далеко в поле как раз только начался артиллерийский обстрел, — он вытянул левую руку и коснулся ее тела, ища утешения.

— Что это ты делаешь?

— Ничего, дорогая.

— Ты меня разбудил.

— Извини.

Ему было бы легче, если бы она позволяла ему по утрам, когда он слышит, как грохочут пушки, придвигаться к ней поближе.

Скоро он будет дома. За последним изгибом дорожки он увидел розовый свет, пробивающийся сквозь занавески окна гостиной; он поспешил к воротам, вошел в них и поднялся по тропинке к двери. Собака все тянула его за собой.

Он стоял на крыльце, нащупывая в темноте дверную ручку.

Когда он выходил, та была справа. Он отчетливо помнил, что ручка была с правой стороны, когда он полчаса назад закрывал дверь и выходил из дома.

Не может же быть, чтобы она и ручку переставила? Вздумала опять разыграть его? Взяла ящик с инструментами и быстро переставила ее на внутреннюю сторону, пока он гулял с собакой, так, что ли?

Он провел рукой по левой стороне двери, и в ту самую минуту, когда его пальцы коснулись ручки, что-то в нем разорвалось и с волной ярости и страха вырвалось наружу. Он открыл дверь, быстро закрыл ее за собой и крикнул:

— Эдна, ты здесь?

Так как ответа не последовало, то он снова крикнул, и на этот раз она его услышала.

— Что тебе опять нужно? Ты меня разбудил.

— Спустись-ка на минутку. Я хочу поговорить с тобой.

— Умоляю тебя, — ответила она, — успокойся и поднимайся наверх.

— Иди сюда! — закричал он. — Сейчас же иди сюда!

— Черта с два. Сам иди сюда.

Он помедлил, запрокинул голову, всматриваясь в темноту второго этажа, куда вела лестница. Перила поворачивали налево и там, где была площадка, скрывались во мраке. И если пройти по площадке, то попадешь прямо в спальню, а там тоже царит мрак.

— Эдна! — кричал он. — Эдна!

— Иди к черту!

Он начал медленно подниматься по ступеням, ступая неслышно и легко касаясь руками перил, — вверх и налево, куда поворачивали перила, во мрак. На самом верху он хотел переступить еще через одну ступеньку, которой не было, однако он помнил об этом, и лишний шаг делать не стал. Он снова помедлил, прислушиваясь, и хотя и не был уверен в этом, но ему показалось, что далеко в поле опять начали стрелять из пушек, в основном из тяжелых орудий, семидесятипятимиллиметровых, при поддержке, наверное, пары минометов.

Теперь — через площадку и в открытую дверь, которую легко найти в темноте, потому что он отлично знал, где она, а дальше — по ковру, толстому, мягкому, бледно-серому, хотя он ни видеть его не мог, ни чувствовать под ногами.

Дойдя до середины комнаты, он подождал, прислушиваясь к звукам. Она снова погрузилась в сон и дышала довольно громко, со свистом выдыхая воздух между зубами. Окно было открыто, и занавеска слегка колыхалась, возле кровати тикал будильник.

Теперь, когда его глаза привыкали к темноте, он уже мог различить край кровати, белое одеяло, подоткнутое под матрас, очертания ног под одеялом; и тут, будто почувствовав его присутствие в комнате, женщина пошевелилась. Он услышал, как она повернулась один раз, потом другой. Ее дыхания он больше не различал, зато было слышно, как она шевелится, а один раз скрипнули пружины, точно кто-то прокричал в темноте.

— Это ты, Роберт?

Он не сделал ни одного движения, не издал ни единого звука.

— Роберт, это ты здесь?

Голос был какой-то странный и очень ему не понравился.

— Роберт!

Теперь она совсем проснулась.

— Где ты?

Где он раньше слышал этот голос? Он звучал резко, неприятно, точно две высокие ноты столкнулись в диссонансе. И потом — она не выговаривала «р», называя его по имени. Кто же это был, тот, кто когда-то называл его Обетом?

— Обет, — снова сказала она. — Что ты здесь делаешь?

Может, санитарка из госпиталя, высокая такая, белокурая? Нет, это было еще раньше. Такой ужасный голос он должен помнить. Дайте-ка немножко подумать, и он вспомнит, как ее зовут.

И тут он услышал, как щелкнул выключатель прикроватного ночника, и свет залил сидевшую в постели женщину в розовом пеньюаре. На лице ее застыло удивление, глаза широко раскрыты. Щеки и подбородок, намазанные кремом, блестели.

— Убери-ка эту штуку, — произнесла она, — пока не порезался.

— Где Эдна?

Он сурово смотрел на нее. Сидевшая в постели женщина внимательно следила за ним. Он стоял в ногах кровати, огромный, широкоплечий мужчина, стоял недвижимо, вытянувшись, пятки вместе, почти как по стойке смирно, на нем был темно-коричневый шерстяной мешковатый костюм.

— Слышишь? — строго сказала она. — Убери эту штуку.

— Где Эдна?

— Что с тобой происходит, Обет?

— Со мной ничего не происходит. Просто я спрашиваю, где моя жена?

Женщина попыталась спустить ноги с кровати.

— Что ж, — произнесла она наконец изменившимся голосом, — если ты действительно хочешь это знать, Эдна ушла. Она ушла, пока тебя не было.

— Куда она пошла?

— Этого она не сказала.

— А ты кто?

— Ее подруга.

— Не кричи на меня, — сказал он. — Зачем поднимать столько шума?

— Просто я хочу, чтобы ты знал: я не Эдна.

Он с минуту обдумывал услышанное, потом спросил:

— Откуда ты знаешь, как меня зовут?

— Эдна мне сказала.

Он снова помолчал, внимательно глядя на нее, несколько озадаченный, но гораздо более спокойный, притом во взгляде его даже появилась некоторая веселость.

В наступившей тишине никто из них не решался сделать какое-либо движение. Женщина была очень напряжена; она сидела, согнув руки и упираясь ими в матрас.

— Видишь ли, я люблю Эдну. Она тебе говорила когда-нибудь, что я люблю ее?

Женщина не отвечала.

— Думаю, что она сука. Но самое смешное, что я все равно ее люблю.

Женщина не смотрела ему в лицо, она следила за его правой рукой.

— Эта Эдна — просто сука.

Теперь наступила продолжительная тишина; он стоял неподвижно, вытянувшись в струнку, она сидела на кровати не шевелясь. Неожиданно стало так тихо, что они слышали сквозь открытое окно, как журчит вода в мельничном лотке на соседней ферме.

Потом он произнес, медленно, спокойно, как бы ни к кому не обращаясь:

— По правде говоря, не похоже, что я ей до сих пор нравлюсь.

Женщина подвинулась ближе к краю кровати.

— Убери-ка этот нож, — сказала она, — пока не порезался.

— Прошу тебя, не кричи. Ты что, не можешь нормально разговаривать?

Неожиданно он склонился над ней, внимательно вглядываясь в ее лицо, и поднял брови.

— Странно, — сказал он. — Очень странно.

Он придвинулся к ней на один шаг, при этом колени его касались края кровати.

— Вроде ты немного похожа на Эдну.

— Эдна ушла. Я тебе уже это сказала.

Он продолжал пристально смотреть на нее, и женщина сидела не шевелясь, вдавив кисти рук в матрас.

— Да, — повторил он. — Странно.

— Я же сказала тебе — Эдна ушла. Я ее подруга. Меня зовут Мэри.

— У моей жены, — сказал он, — маленькая смешная родинка за левым ухом. У тебя ведь такой нет?

— Конечно нет.

— Поверни-ка голову, дай взглянуть.

— Я уже сказала тебе — родинки у меня нет.

— Все равно я хочу в этом убедиться.

Он медленно обошел вокруг кровати.

— Сиди на месте, — сказал он. — Прошу тебя, не двигайся.

Он медленно приближался к ней, не спуская с нее глаз, и в уголках его рта появилась улыбка.

Женщина подождала, пока он не приблизится вплотную, и тогда резко, так резко, что он даже не успел увернуться, с силой ударила его по лицу. И когда он сел на кровать и расплакался, она взяла у него из рук нож и быстро вышла из комнаты. Спустившись по лестнице, она направилась в гостиную, туда, где стоял телефон.

МОЯ ЛЮБИМАЯ, ГОЛУБКА МОЯ

Есть у меня давняя привычка вздремнуть после ланча. Обычно я устраиваюсь в гостиной в кресле, подкладываю подушку под голову, ноги кладу на небольшую квадратную скамеечку, обитую кожей, и читаю что-нибудь, покуда не засыпаю.

В ту пятницу я сидел в кресле, как всегда уютно расположившись, и держал в руках свою любимую книгу «Бабочки-однодневки» Даблдея и Вествуда¹, когда моя жена, никогда не отличавшаяся молчаливостью, заговорила, приподнявшись на диване, который стоял напротив моего кресла.

— Эти двое, — спросила она, — в котором часу они должны приехать?

Я не отвечал, поэтому она повторила свой вопрос громче.

Я вежливо ответил ей, что не знаю.

— Они мне совсем не нравятся, — продолжала она. — Особенно он.

— Хорошо, дорогая.

— Артур, я сказала, что они мне совсем не нравятся.

Я опустил книгу и взглянул на жену. Закинув ноги на спинку дивана, она листала журнал мод.

— Мы ведь только раз их и видели, — возразил я.

— Ужасный тип, просто ужасный. Без конца рассказывает анекдоты, или какие-то там истории, или еще что-то.

— Я уверен, ты с ними поладишь, дорогая.

— Она тоже хороша. Когда, по-твоему, они явятся?

Я отвечал, что они, должно быть, приедут около шести часов.

— А тебе они разве не кажутся ужасными? — спросила она, ткнув в мою сторону пальцем.

— Видишь ли...

¹ Книга Э. Даблдея и Дж. О. Вествуда о бабочках была издана в Лондоне в середине XIX в.

- Они до того ужасны, что хуже некуда.
- Мы ведь уже не можем им отказать, Памела.
- Хуже просто некуда, — повторила она.
- Тогда зачем ты их пригласила? — выпалил я и тотчас же пожалел, ибо я взял себе за правило — никогда, если можно, не провоцировать жену.

Наступила пауза, в продолжение которой я наблюдал за выражением ее лица, дожидаясь ответа. Это крупное белое лицо казалось мне иногда таким необычным и притягательным, что я должен был предпринять определенные усилия, дабы оторвать от него взгляд. В иные вечера, когда она сидела за вышивкой или рисовала свои затейливые цветочки, лицо ее каменело и начинало светиться какой-то таинственной внутренней силой, не поддающейся описанию, и я сидел, не в силах отвести от него взгляд, хотя и делал при этом вид, будто читаю. Да вот и сейчас, в эту самую минуту, должен признаться, в этой женщине было что-то волшебное, с этой ее кислой миной, прищуренными глазами, наморщенным лбом, недовольно вздернутым носиком, что-то прекрасное, я бы сказал — величавое. И еще про нее надо добавить, что она такая высокая, гораздо выше меня, хотя сегодня, когда ей пошел пятьдесят первый год, думаю, лучше сказать «большая», чем «высокая».

— Тебе отлично известно, зачем я их пригласила, — резко ответила она. — Чтобы сразиться в бридж, вот и все. Играют они просто здорово, к тому же на приличные ставки.

Она подняла глаза и увидела, что я внимательно смотрю на нее.

- Ты ведь, наверное, и сам так думаешь, не правда ли?
- Ну конечно, я...
- Артур, не будь кретином.
- Я встречался с ними только однажды и должен признаться, что они довольно милые люди.

— Такое можно про любого идиота сказать.

— Памела, прости тебя... пожалуйста. Давай не будем вести разговор в таком тоне.

— Послушай, — сказала она, хлопнув журналом о колени, — ты же не хуже меня знаешь, что это за люди. Два самодовольных дурака, которые полагают, что можно напроситься в любой дом только потому, что они неплохо играют в бридж.

— Уверен, ты права, дорогая, но вот чего я никак не возьму в толк, так это...

— Еще раз говорю тебе — я их пригласила, чтобы хоть раз сыграть приличную партию в бридж. Нет у меня больше сил играть со всякими раззявами. И все равно не могу примириться с тем, что эти ужасные люди будут в моем доме.

— Я тебя понимаю, дорогая, но не слишком ли теперь поздно...

— Артур!

— Да?

— Почему ты всегда споришь со мной? Ты же испытываешь к ним не меньшую неприязнь, сам прекрасно знаешь.

— По-моему, тебе не стоит так волноваться, Памела. Да и потом, мне показалось, что это воспитанные молодые люди, с хорошими манерами.

— Артур, к чему этот высокопарный слог?

Она глядела на меня широко раскрытыми глазами, и, чтобы укрыться от ее сурового взора (иногда мне становилось от него не по себе), я поднялся и направился к высокому, от потолка до пола, окну, которое выходило в сад.

Трава на большой покатоj лужайке перед домом была недавно подстрижена, и по газону тянулись светлые и темно-зеленые полосы. В дальнем краю наконец-то зацвели два ракитника, и длинные золотые цепочки ярко выделялись на фоне растущих позади них деревьев. Распустились и розы, и ярко-красные бегонии, и на цветочном бордюре зацвели все мои любимые гибридные люпины, колокольчики, дельфиниумы, турецкие гвоздики и большие дымные ирисы. Кто-то из садовников возвращался по дорожке после обеда. За деревьями была видна крыша его домика, а за ним дорожка вела через железные ворота к Кентербери-роуд.

Дом моей жены. Ее сад. Как здесь замечательно! Как покойно! Если бы только Памела чуть-чуть поменьше тревожилась о моем благополучии, пореже внушала бы мне сделать то-то или то-то ради моего же блага, а не моего удовольствия, тогда все было бы божественно. Поверьте, я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, будто я не люблю ее — я обожаю самый воздух, которым она дышит, — или не могу совладать с ней, или не хозяин самому себе. Я лишь хочу сказать, что то, как она себя ведет, временами меня чуточку раздражает. К примеру, все эти ее повадки. Как бы мне хотелось, чтобы она от них отказалась, особенно от манеры тыкать в меня пальцем, чтобы подчеркнуть сказанное. Должен признать, что роста я довольно небольшого, и подобный жест, не в меру употребляемый человеком вроде моей жены, может подействовать

устрашающе. Иногда мне трудно убедить себя в том, что она не властная самодурша.

— Артур! — крикнула она. — Иди-ка сюда.

— Что такое?

— Мне пришла в голову потрясающая мысль. Иди же сюда.

Я подошел к дивану, на котором она возлежала.

— Послушай-ка, — сказала она, — хочешь немного посмеяться?

— Посмеяться?

— Над Снейпами.

— Что еще за Снейпы?

— Очнись, — сказала она. — Генри и Салли Снейп. Наши гости.

— Ну?

— Слушай. Я тут лежала и думала, что это за ужасные люди... и как они себя ужасно ведут... он — со своими шутками, и она — точно какая-нибудь помирающая от любви воробьяха...

Она помолчала, плутовато улыбаясь, и я почему-то подумал, что вот сейчас она произнесет нечто страшное.

— Что ж, если они себя так ведут в нашем присутствии, то каковы же они должны быть, когда остаются наедине?

— Погоди-ка, Памела...

— Артур, не будь дураком. Давай сегодня посмеемся немного, хотя бы раз от души посмеемся.

Она приподнялась на диване, лицо ее неожиданно засветилось каким-то безрассудством, рот слегка приоткрылся, и она глядела на меня своими круглыми серыми глазами, причем в каждом медленно загоралась искорка.

— Почему бы нет?

— Что ты затеяла?

— Это же очевидно. Неужели ты не понимаешь?

— Нет, не понимаю.

— Нам нужно лишь спрятать микрофон в их комнате.

Должен признаться, я и ожидал чего-то неприятного, но, когда она произнесла это, был так поражен, что не нашелся что ответить.

— Именно так и сделаем, — сказала она.

— Да ты что! — воскликнул я. — Ну уж нет. Погоди минуту. На это ты не пойдешь.

— Почему?

— Более гнусного ничего и придумать нельзя. Это все равно что... все равно что... подслушивать у дверей или читать чужие письма, только гораздо хуже. Ты серьезно говоришь?

— Конечно серьезно.

Я знал, как сильно моя жена не любит, когда ей возражают, но иногда ощущал необходимость заявить свои права, хотя и понимал, что чрезмерно при этом рискую.

— Памела, — резко возразил я, — я запрещаю тебе делать это!

Она спустила ноги с дивана.

— Артур, кем это ты прикидываешься? Я тебя просто не понимаю.

— Меня понять несложно.

— Что за чепуху ты несешь? Сколько раз ты проделывал штуки похуже этой.

— Никогда!

— О да, еще как проделывал! Что это тебе вдруг взбрело в голову, будто ты лучше меня?

— Ничего подобного я никогда не делал.

— Хорошо, мой мальчик, — сказала она и навела на меня палец, точно револьвер. — Что ты скажешь насчет твоего поведения у Милфордов в Рождество? Помнишь? Ты так смеялся, что я вынуждена была закрыть тебе рот рукой, чтобы они нас не услышали. Что скажешь?

— Это другое, — сказал я. — Это было не в нашем доме. И они не были нашими гостями.

— А какая разница?

Она сидела, глядя на меня, и подбородок ее начал презрительно подниматься.

— Ведешь себя как эдакий напыщенный лицемер, — сказала она. — Что это с тобой происходит?

— Видишь ли, Памела, я действительно думаю, что это неприлично. Я правда так думаю.

— Но послушай, Артур. Я человек неприличный. Да и ты тоже — где-то в глубине души. Поэтому мы и находим общий язык.

— Впервые слышу такую чепуху.

— Вот если бы ты вдруг задумал стать совершенно другим человеком — тогда другое дело.

— Давай прекратим весь этот разговор, Памела.

— Послушай, — продолжала она, — если ты действительно решил измениться, то что же мне остается делать?

— Ты не понимаешь, что говоришь.

— Артур, и как только такой хороший человек, как ты, может иметь дело с гадюкой?

Я медленно опустился в кресло, стоявшее против дивана; она не спускала с меня глаз. Женщина она большая, с крупным белым лицом, и, когда она глядела на меня сурово — вот прямо как сейчас, — я, как бы это сказать?.. погружался в нее, точно утопал в ушате со сливками.

— Ты серьезно обо всей этой затее с микрофоном?

— Ну конечно. Самое время немного посмеяться. Ну же, Артур. Не будь таким деликатным.

— Это нечестно, Памела.

— Это так же честно, — она снова выставила палец, — так же честно, как и в том случае, когда ты вынул из сумочки Мэри Проберт ее письма и прочитал их от начала до конца.

— Этого нам не нужно было делать.

— Нам?

— Но ведь ты их потом тоже читала, Памела?

— Это никому нисколько не повредило. Ты тогда так сказал. А эта затея ничем не хуже.

— А как бы тебе понравилось, если бы кто-то с тобой такое проделал?

— Да как бы я могла возмущаться, если б не знала, что за моей спиной что-то происходит? Ну же, Артур. Не будь таким застенчивым.

— Мне нужно подумать.

— Может, великий радиоинженер не знает, как соединить микрофон с динамиком?

— Проще простого.

— Ну так действуй. Действуй же.

— Я подумаю и потом дам тебе ответ.

— На это у нас нет времени. Они могут явиться в любую минуту.

— Тогда я не буду этого делать. Не хочу, чтобы меня застукали за этим занятием.

— Если они явятся, прежде чем ты закончишь, я просто попридержу их здесь. Ничего страшного. А сколько, кстати, времени?

Было почти три часа.

— Они едут из Лондона, — сказала она, — а уж отбудут никак не раньше чем после ланча. У тебя много времени.

— Куда ты намерена их поселить?

— В большую желтую комнату в конце коридора. Это ведь не слишком далеко?

— Думаю, что-то можно сделать.

— Да, и вот еще что, — сказала она, — а куда ты поставишь динамик?

— Я не говорил, что собираюсь это сделать.

— Бог ты мой! — вскричала она. — Посмотрел бы кто-нибудь на тебя. Видел бы ты свое лицо. Ты даже порозовел и весь горишь, так тебе не терпится приступить к делу. Поставь динамик к нам в спальню — почему бы и нет? Да приступай же, и поживее.

Я заколебался. Я всегда проявлял нерешительность, когда она приказывала мне что-то сделать, вместо того чтобы вежливо попросить.

— Не нравится мне все это, Памела.

Но она уже ничего не говорила, а просто сидела, совершенно не двигаясь, и глядела на меня. На лице ее застыло обреченное выражение, будто она стояла в длинной очереди. По опыту я знал, что это дурной знак. Она была точно граната, из которой выдернули чеку, и должно лишь пройти какое-то время, прежде чем — бах! — она взорвется. Мне показалось, что в наступившей тишине я слышу, как тикает механизм.

Поэтому я тихо поднялся, пошел в мастерскую, взял микрофон и полторы сотни футов провода. Теперь, когда ее не было рядом, я, должен признаться, и сам начал испытывать какое-то волнение, а в кончиках пальцев ощутил приятное покалывание. Ничего особенного, поверьте, со мной не происходило — правда ничего особенного. Черт побери, да нечто подобное я каждый день испытываю, когда по утрам раскрываю газету и смотрю, на каких котировках закрылись накануне торги по самым крупным пакетам акций в портфеле моей жены. Меня не так-то просто сбить с толку. И в то же время я не мог упустить возможности поразвлечься.

Перепрыгивая через две ступеньки, я вбежал в желтую комнату в конце коридора. Как и во всякой другой комнате для гостей, в ней было чисто прибрано, и она имела нежилой вид; двуспальная кровать была покрыта желтым шелковым покрывалом, стены выкрашены в бледно-желтый цвет, а на окнах висели золотистые занавески. Я огляделся в поисках места, куда бы можно было спрятать микрофон. Это была самая главная задача, ибо, что бы ни случилось, он не должен быть обнаружен. Сначала я подумал о ведерке с поленьями, стоявшем возле камина. Почему бы не спрятать его под поленьями? Нет, пожалуй, это не совсем безопасно. За радиа-

тором? На шкафу? Под письменным столом? Все эти варианты казались мне не лучшими с профессиональной точки зрения. Во всех этих случаях на него можно случайно наткнуться, нагнувшись за упавшей запонкой или еще за чем-нибудь. В конце концов, обнаружив незаурядную сообразительность, я решил спрятать его в пружинах дивана. Перед диваном лежал ковер, и провод можно было пропустить прямо под ковром к двери.

Я приподнял диван и, надрезав обивку внизу, просунул микрофон внутрь. Затем надежно привязал тот среди пружин, развернув к середине комнаты. После этого протянул провод под ковром к двери. Во всех своих действиях я проявлял спокойствие и осторожность. На пороге я пропилил маленькую ложбинку, так что выходящий из-под ковра провод почти не было видно.

Все это, разумеется, заняло какое-то время, и когда я неожиданно услышал, как по дорожке, усыпанной гравием, зашуршали шины, а вслед за тем хлопнули дверцы автомобиля и раздались голоса наших гостей, я еще находился в середине коридора, закрепляя провод вдоль плинтуса. Я прекратил свою работу и вытянулся, держа молоток в руке, и, должен признаться, мне стало страшно. Вы представить себе не можете, как на меня подействовал весь этот шум. Такое же внезапное чувство страха я испытал однажды, когда во время войны в другом конце деревни упала бомба, а я в то время преспокойно сидел в библиотеке над коллекцией бабочек.

Не волнуйся, сказал я самому себе. Памела займется этими людьми. Сюда она их не пустит.

Несколько лихорадочно я принялся доделывать свою работу и скоро протянул провод вдоль коридора в нашу спальню. Здесь его уже можно было и не прятать, хотя из-за слуг я не мог себе позволить такую беспечность. Поэтому я протянул провод под ковром и незаметно подсоединил его к радиоприемнику с задней стороны. Заключительная операция много времени не заняла.

Итак, я сделал то, что от меня требовалось. Я отступил на шаг и посмотрел на радиоприемник. Теперь он почему-то и выглядел иначе — не бестолковый ящик, производящий звуки, а хитрое маленькое существо, взобравшееся на стол и тайком протянувшее свои щупальца в запретное место в конце коридора. Я включил его. Он еле слышно загудел, но иных звуков не издавал. Я взял будильник, который громко тикал, отнес его в желтую комнату и поставил на пол рядом с диваном. Когда я вернулся, приемник тикал

так громко, будто будильник находился в комнате, пожалуй, даже громче.

Я сбегал за часами. Потом, запершись в ванной, привел себя в порядок, отнес инструменты в мастерскую и приготовился к встрече гостей. Но прежде, дабы успокоиться и не появляться перед ними, так сказать, с кровавыми руками, я провел пять минут в библиотеке наедине со своей коллекцией. Я принялся сосредоточенно рассматривать собрание прелестных *Vanessa cardui* — «разукрашенных дам» — и сделал кое-какие пометки в своем докладе «Соотношение между узором и очертаниями крыльев», который намеревался прочитать на следующем заседании нашего общества в Кентербери. Таким образом, я снова обрел присущий мне серьезный, сосредоточенный вид.

Когда я вошел в гостиную, двое наших гостей, имена которых я так и не смог запомнить, сидели на диване. Моя жена готовила напитки.

— А вот и Артур! — воскликнула она. — Где это ты пропадал? Этот вопрос показался мне неуместным.

— Прощу прощения, — произнес я, здороваясь с гостями за руку. — Я так увлекся работой, что забыл о времени.

— Мы-то знаем, чем вы занимались, — сказала гостья, понимающе улыбаясь. — Однако мы простим ему это, не правда ли, дорогой?

— Думаю, простим, — отвечал ее муж.

Я в ужасе представил себе, как моя жена рассказывает им о том, что я делаю наверху, а они при этом покатываются со смеху. Да нет, не могла она этого сделать, не могла! Я взглянул на нее и увидел, что и она улыбается, разливая по стаканам джин.

— Простите, что мы потревожили вас, — сказала гостья.

Я подумал, что если уж они шутят, то и мне лучше поскорее составить им компанию, и потому принужденно улыбнулся.

— Вы должны нам ее показать, — продолжала гостья.

— Что показать?

— Вашу коллекцию. Миссис Бошан говорит, что она просто великолепна.

Я медленно опустился на стул и расслабился. Смешно быть таким нервным и дерганым.

— Вас интересуют бабочки? — спросил я у нее.

— На ваших хотелось бы посмотреть, мистер Бошан.

До обеда еще оставалось часа два, и мы расселись с бокалами мартини в руках и принялись болтать. Именно тогда у меня начало складываться впечатление о наших гостях как об очаровательной паре. Моя жена, происходящая из родовитого семейства, склонна выделять людей своего круга и воспитания и нередко делает поспешные выводы в отношении тех, кто, будучи мало с ней знаком, выказывает ей дружеские чувства, и особенно это касается высоких мужчин. Чаще всего она бывает права, но мне казалось, что в данном случае она ошибается. Я и сам не люблю высоких мужчин; обыкновенно это люди надменные и всеведущие. Однако Генри Снейп (жена шепотом напомнила мне его имя) оказался вежливым, скромным молодым человеком с хорошими манерами, и более всего его занимала — что и понятно — миссис Снейп. Его вытянутое лицо было по-своему красиво, как красива бывает морда у лошади, а темно-карие глаза глядели ласково и доброжелательно. Копна его темных волос вызывала у меня зависть, и я поймал себя на том, что задумался, какой же он употребляет лосьон, чтобы они выглядели такими здоровыми. Он рассказал нам пару шуток, они были на высоком уровне, и никто против ничего не имел.

— В школе, — сказал он, — меня называли Сервиксом. Знаете почему?

— Понятия не имею, — ответила моя жена.

— Потому что по-латыни «сервикс» — то же, что по-английски «нейп»¹.

Для меня это оказалось довольно мудреным, и мне потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, в чем тут соль.

— А в какой школе это было? — спросила моя жена.

— В Итоне, — ответил он, и моя жена коротко кивнула в знак одобрения.

Теперь, решил я, она не сочтет ниже своего достоинства разговаривать с ним, поэтому переключил внимание на другого гостя, Салли Снейп. Это была приятная молодая женщина с неплохой грудью. Повстречалась бы она мне пятнадцатью годами раньше, я бы точно впутался в историю. Как бы то ни было, я с удовольствием рассказал ей все о моих замечательных бабочках. Беседуя с ней, я внимательно ее разглядывал, и спустя какое-то время у меня начало складываться впечатление, что на самом деле она не такая

¹ *Cervix* в переводе с латыни, *pare* в переводе с английского означают «затылок».

уж веселая и улыбочивая женщина, какой поначалу мне показалась. Она будто бы ревностно хранила какую-то тайну. Ее глаза чересчур быстро бегали по комнате, ни на минуту ни на чем не останавливаясь, а на лице лежала едва заметная печать озабоченности.

— Я с таким нетерпением жду, когда мы сыграем в бридж, — сказал я, переменяв наконец тему.

— Мы тоже, — отвечала она. — Мы ведь играем почти каждый вечер, так нам нравится эта игра.

— Вы оба большие мастера. Как это получилось, что вы научились играть так хорошо?

— Практика, — ответила она. — В этом все дело. Практика, практика и еще раз практика.

— Вы участвовали в каких-нибудь чемпионатах?

— Пока нет, но Генри очень этого хочет. Вы же понимаете, чтобы достичь такого уровня, надо упорно трудиться. Ужасно упорно трудиться.

Не с оттенком ли покорности произнесла она эти слова, подумал я. Да, видимо, так: он слишком давил на нее, заставляя относиться к этому увлечению чересчур серьезно, и бедная женщина устала.

В восемь часов, не переодеваясь, мы перешли к обеденному столу. Ужин прошел хорошо, при этом Генри Снейп рассказал нам несколько весьма забавных историй. Обнаружив чрезвычайно хорошую осведомленность по части вин, он похвалил мой «Ришбург» урожая 1934 года, что доставило мне большое удовольствие. К тому времени, когда подали кофе, я понял, что очень полюбил этих молодых людей, и, как следствие, начал ощущать неловкость из-за затей с микрофоном. Было бы все в порядке, если бы они были негодьями, но то, что мы собрались проделать эту штуку с такими милыми людьми, наполняло меня сильным ощущением вины. Поймите меня правильно. Страх я не испытывал. Не было нужды отказываться от задуманного предприятия. Но я не хотел смаковать предстоящее удовольствие столь же неприкрыто, как это, похоже, делала моя жена, тайком улыбаясь мне, подмигивая и незаметно кивая.

Около девяти тридцати, плотно поужинав и пребывая в отличном расположении духа, мы возвратились в гостиную, чтобы приступить к игре. Ставки были высокие — десять шиллингов за сто очков, поэтому мы решили не разбивать семьи, и я все время был

партнером своей жены. К игре мы все отнеслись серьезно, как только и нужно к ней относиться, и играли молча, сосредоточенно, раскрывая рот лишь в тех случаях, когда объявляли ставки. Играли мы не ради денег. Чего-чего, а этого добра у моей жены хватает, да, видимо, и у Снейпов тоже. Но мастера обыкновенно относятся к игре серьезно.

Карты в этот вечер легли примерно одинаково, но моя жена играла не на своем обычном уровне, и мы оказались в худшем положении. Я видел, что она не совсем сосредоточенна, а когда время приблизилось к полуночи, вообще стала играть беспечно. Она то и дело вскидывала на меня свои большие серые глаза и поднимала брови, при этом ноздри ее удивительным образом расширялись, а в уголках рта появлялась злорадная улыбка.

Наши противники играли отлично. Они умело объявляли масть и за весь вечер сделали только одну ошибку. Это случилось, когда молодая женщина слишком уж понадеялась, что у ее партнера на руках хорошие карты, и объявила шестерку пик. Я удвоил ставку, и они вынуждены были сбросить три карты, что обошлось им в восемьсот очков. То была лишь временная неудача, но я помню, что Салли Снейп очень огорчилась, несмотря даже на то, что муж ее тотчас же простил, поцеловал ей руку и сказал, чтобы она не беспокоилась.

Около половины первого моя жена объявила, что хочет спать.

— Может, еще один роббер? — спросил Генри Снейп.

— Нет, мистер Снейп. Я сегодня устала. Да и Артур, судя по всему, тоже. Давайте-ка все спать.

Мы вышли вслед за ней из комнаты, и все четверо отправились наверх. Наверху мы, как и полагается, поговорили насчет завтрака — чего бы они хотели и как позвать служанку.

— Надеюсь, ваша комната вам понравится, — сказала моя жена. — Окна выходят прямо на долину, и солнце в них заглядывает часов в десять.

Мы стояли в коридоре, где находилась и наша спальня, и я видел, как провод, который я уложил днем, тянется поверх плинтуса и исчезает в их комнате. Хотя он был того же цвета, что и краска, мне казалось, что он так и лезет в глаза.

— Спокойной ночи, — сказала моя жена. — Приятных сновидений, миссис Снейп. Доброй ночи, мистер Снейп.

Я последовал за ней в нашу комнату и закрыл дверь.

— Быстрее! — вскричала она. — Включай его!

Совершенно в духе моей жены — она всегда боялась что-нибудь пропустить. Про нее говорили, что во время охоты (сам я никогда не охочусь) она всегда, чего бы это ни стоило ей или ее лошади, была первой вместе с гончими из страха, что дичь прикончат без нее. Было ясно, что и на этот раз она не собиралась упустить своего.

Маленький радиоприемник разогрелся как раз вовремя, чтобы можно было расслышать, как открылась и закрылась их дверь.

— Ага! — произнесла моя жена. — Вошли.

Она стояла посреди комнаты в голубом платье, стиснув пальцы и вытянув шею, и внимательно прислушивалась, при этом ее крупное белое лицо сморщилось, словно это было и не лицо вовсе, а мех для вина. Из радиоприемника тотчас же раздался голос Генри Снейпа, прозвучавший сильно и четко.

— Ты просто дура, — говорил он, и этот голос так резко отличался от того, который был мне знаком, таким он был грубым и неприятным, что я вздрогнул. — Весь вечер пропал к черту! Восемьсот очков — это восемь фунтов на двоих!

— Я запуталась, — ответила Салли. — Обещаю, больше этого не повторится.

— Что такое? — произнесла моя жена. — Что это происходит?

Она быстро подбежала к приемнику, широко раскрыв рот и высоко подняв брови, и склонилась над ним, приставив ухо к динамику. Должен сказать, что и я несколько разволновался.

— Обещаю, обещаю тебе, больше этого не повторится, — говорила Салли.

— Хочешь не хочешь, — безжалостно отвечал Генри, — а попробуем прямо сейчас еще раз.

— О нет, прошу тебя! Я этого не выдержу!

— Послушай-ка, — сказал Генри, — стоило ехать сюда только ради того, чтобы поживиться за счет этой богатой суки, а ты взяла и все испортила.

На этот раз вздрогнула моя жена.

— И это второй раз на неделе, — продолжал он.

— Обещаю, больше это не повторится.

— Садись. Я буду объявлять масть, а ты отвечай.

— Нет, Генри, прошу тебя. Не все же пятьсот. На это уйдет три часа.

— Ладно. Оставим фокусы с пальцами. Полагаю, ты их хорошо запомнила. Займемся лишь объявлением масти и онёрами.

— О Генри, нужно ли все это затевать? Я так устала.

— Абсолютно необходимо, чтобы ты овладела этими приемами в совершенстве, — ответил он. — Ты же знаешь, на следующей неделе мы играем каждый день. А есть-то нам надо.

— Что происходит? — прошептала моя жена. — Что, черт возьми, происходит?

— Тише! — сказал я. — Слушай!

— Итак, — говорил мужской голос. — Начнем с самого начала. Ты готова?

— О Генри, прошу тебя! — Судя по голосу, она вот-вот готова была расплакаться.

— Ну же, Салли. Возьми себя в руки.

Затем совершенно другим голосом, тем, который мы уже слышали в гостиной, Генри Снейп произнес:

— Одна трефа.

Я обратил внимание на то, что слово «одна» он произнес как-то странно, нараспев.

— Туз, дама треф, — устало ответила Салли. — Король, валет пик. Червей нет. Туз, валет бубновой масти.

— А сколько карт каждой масти? Внимательно следи за моими пальцами.

— Ты сказал, что мы оставим фокусы с пальцами.

— Что ж, если ты вполне уверена, что знаешь их...

— Да, я их знаю.

Он помолчал, а затем произнес:

— Трефа.

— Король, валет треф, — заговорила Салли. — Туз пик. Дама, валет червей и туз, дама бубен.

Он снова помолчал, потом сказал:

— Одна трефа.

— Туз, король треф...

— Бог ты мой! — вскричал я. — Это ведь закодированное объявление масти. Они сообщают друг другу, какие у них карты на руках!

— Артур, этого не может быть!

— Точно такие же штуки проделывают фокусники, когда спускаются в зал, берут у вас какую-нибудь вещь, а на сцене стоит де-

вушка с завязанными глазами, и по тому, как он строит вопрос, она может определенно назвать предмет — даже если это железнодорожный билет, она скажет, на какой станции он куплен.

— Быть этого не может!

— Ничего невероятного тут нет. Но чтобы научиться этому, нужно здорово потрудиться. Послушай-ка их.

— Я пойду с червей, — говорил мужской голос.

— Король, дама, десятка червей. Туз, валет пик. Бубен нет. Дама, валет треф...

— И обрати внимание, — сказал я, — пальцами он показывает ей, сколько у него карт такой-то масти.

— Каким образом?

— Этого я не знаю. Ты же слышала, что он говорил об этом.

— Боже мой, Артур! Ты уверен, что они весь вечер именно этим и занимались?

— Боюсь, что да.

Она быстро подошла к кровати, на которой лежала пачка сигарет. Закурив, она повернулась ко мне и тоненькой струйкой выпустила дым к потолку. Что-то нужно было предпринять, но я не знал что, ведь мы никак не могли обвинить их, не раскрыв источника информации. Я ждал решения моей жены.

— Знаешь, Артур, — медленно проговорила она, выпуская облачка дыма. — Знаешь, а ведь это превосходная идея. Как ты думаешь, мы сможем этому научиться?

— Что?!

— Ну конечно сможем. Почему бы и нет?

— Послушай. Ни за что! Погоди минуту, Памела...

Но она уже шагнула вплотную ко мне, опустила голову, посмотрела на меня сверху вниз и при этом улыбнулась такой знакомой улыбкой, которая, быть может, была и не улыбкой вовсе, — ноздри раздувались, а большие серые глаза с блестящими черными точками посередине испещрены сотнями крошечных красных вен. Когда она пристально и сурово глядела на меня такими глазами, клянусь, у меня возникало чувство, будто я тону.

— Да, — сказала она. — Почему бы и нет?

— Но, Памела... Боже праведный... Нет... В конце концов...

— Артур, будь так добр, не спорь со мной все время. Именно так мы и поступим. А теперь принеси-ка колоду карт, прямо сейчас и начнем.

КОНЦЫ В ВОДУ

На утро третьего дня море успокоилось. Из своих кают вылезали даже самые чувствительные натуры — из числа тех пассажиров, которых не было видно со времени отплытия. Они вышли на верхнюю палубу, стюард расставил для них шезлонги, подоткнул пледы им под ноги и удалился, а путешественники остались лежать рядами, с лицами, повернутыми к бледному, почти не излучавшему тепла январскому солнцу.

Первые два дня на море было умеренное волнение, и это внезапное спокойствие и пришедшее вместе с ним чувство комфорта способствовали тому, что настроение у всех пассажиров стало более благожелательным. К вечеру, имея позади двенадцать часов хорошей погоды, они начали чувствовать себя уверенно, и к восьми часам кают-компания заполнилась людьми, которые держались как бывалые моряки.

Где-то к середине ужина по тому, как под ними слегка закачались стулья, пассажиры поняли, что снова началась бортовая качка. Поначалу она была едва ощутимой — медленный, неспешный крен в одну сторону, потом в другую, но и этого было довольно, чтобы среди собравшихся произошла внезапная перемена настроения. Некоторые пассажиры оторвались от своих тарелок, словно ожидая, едва ли не прислушиваясь, когда судно будет снова крениться. При этом они нервно улыбались, а во взглядах была тревога. Другие оставались совершенно невозмутимыми, третьи открыто выражали уверенность — кое-кто из последних шутил по поводу ужина во время качки, издеваясь над теми, кто уже испытывал мучения. Затем корабль стал крениться из стороны в сторону быстро и резко. Всего через пять-шесть минут после того, как произошел первый крен, судно уже сильно раскачивалось и сидевших на стульях пассажиров стало мотать в сторону, как в автомобиле на крутом повороте.

Наконец судно качнулось весьма основательно, и мистер Уильям Ботибол, сидевший за столом старшего интенданта, увидел, как

из-под поднятой вилки его тарелка с отварным палтусом под голландским соусом неожиданно поехала в сторону. Начался переполох, все потянулись за своими тарелками и бокалами для вина. Миссис Реншо, сидевшая справа от старшего интенданта, вскрикнула и уцепилась за руку своего соседа.

— Веселенькая нас ждет ночь, — сказал интендант, глядя на миссис Реншо. — Дует так, что нам, похоже, нелегко придется.

Он произнес это едва ли не с удовольствием.

Подбежал стюард и обрызгал водой скатерть между тарелками¹. Волнение среди пассажиров улеглось. Большинство из них продолжили ужин. Остальные, включая миссис Реншо, осторожно поднялись и, стараясь не обнаруживать нетерпения, стали пробираться между столиками к выходу.

— Ну вот, — сказал интендант, — началось.

Он одобрительно оглядел оставшихся. Путешественники сидели тихо, внешне держались спокойно. На лицах некоторых была написана нескрываемая гордость; кому-то казалось, что их принимают за настоящих моряков.

Когда ужин закончился и подали кофе, мистер Ботибол, который со времени начала качки был необычайно серьезен и задумчив, неожиданно поднялся и, взяв свою чашку кофе, сел на освободившийся стул миссис Реншо и тотчас зашептал в ухо интенданту:

— Простите, не могли бы вы мне кое-что сказать, прошу вас.

Интендант, человек небольшого роста, толстый, с красным лицом, наклонился к нему, выражая готовность слушать.

— Что случилось, мистер Ботибол?

— Вот что мне хотелось бы знать...

На его лице была написана тревога. Интендант внимательно смотрел на него.

— Вот что мне хотелось бы знать. Капитан уже рассчитал расстояние, которое судно пройдет за сутки? То есть прежде чем на море стало так беспокойно. После ужина ведь будут принимать ставки.

Интендант, собравшийся выслушать слова благодарности в свой адрес, улыбнулся и откинулся на стуле, как это делает человек с полным животом.

¹ Скатерть смачивают во время качки, чтобы она не скользила вместе с посудой.

— Думаю, что да, — ответил он.

О том, чтобы произнести эти слова шепотом, он и не подумал, хотя голос автоматически понизил, словно в ответ на заданный шепотом вопрос.

— И давно, по-вашему, он это сделал?

— Да где-то днем. Обычно это происходит днем.

— В котором часу?

— Ну, этого я не знаю. Часов, думаю, около четырех.

— Скажите мне еще вот что. Как капитан определяет расстояние? Это очень сложно?

Интендант взглянул на озабоченное лицо продолжавшего хмуриться мистера Ботибола и улыбнулся, отлично понимая, к чему тот клонит.

— Видите ли, капитан проводит небольшое совещание со штурманом, они изучают погодные условия и многое другое, а потом рассчитывают расстояние, которое судно должно пройти за определенное время.

Мистер Ботибол кивнул, какое-то время обдумывая услышанное, а потом спросил:

— Как вы полагаете, капитан знал, что сегодня испортится погода?

— На этот счет ничего не могу сказать, — ответил интендант.

Он глядел прямо в маленькие темные глазки собеседника и видел, как в его зрачках пляшут искорки.

— Я правда ничего не могу сказать, мистер Ботибол. Не знаю.

— Если погода вконец испортится, не стоит ли поставить на меньшую цифру? Как вы думаете?

В его шепоте слышалось все больше настойчивости и тревоги.

— Может, и стоило бы, — ответил интендант. — Скорее всего, он не предполагал, что ночь предстоит беспокойная. Днем, когда он делал расчеты, было довольно тихо.

За столом все притихли, внимательно прислушиваясь к разговору. Некоторые, склонив голову набок, слушали интенданта и искоса на него поглядывали. Человека в такой позе можно увидеть на скачках среди зрителей — он пытается угадать, что говорит тренер наезднику: у слушающего в такую минуту рот слегка приоткрыт, брови подняты, шея вытянута, а голова наклонена немного набок, он напряжен и как бы загипнотизирован. Такой вид бывает у всякого, кто хочет услышать что-то важное из первых рук.

— А допустим, вас попросили бы предположить, какое расстояние пройдет судно сегодня, что за число вы бы назвали? — шепотом спросил мистер Ботибол.

— Еще не знаю, в каких пределах будут ставки, — терпеливо ответил интендант. — Об этом объявят после ужина, когда соберутся игроки. Да и не очень-то хорошо я во всем этом разбираюсь. Я ведь всего лишь интендант.

Тут мистер Ботибол поднялся.

— Прошу у всех прощения, — произнес он и, стараясь сохранить равновесие, медленно пошел между столиками по качающемуся полу.

Пару раз ему пришлось схватиться за спинку стула, чтобы удержаться на ногах.

— На верхнюю палубу, пожалуйста, — сказал он лифтеру.

Едва мистер Ботибол вышел на открытую палубу, как ветер ударил ему в лицо. Он пошатнулся, крепко схватился за поручни двумя руками и стал всматриваться в темнеющее море. Вдвигались огромные волны, и белые барашки бежали по гребням навстречу ветру, оставляя позади себя фонтаны брызг.

— Неплохо задувает, верно, сэр? — спросил лифтер, когда они спускались вниз.

Мистер Ботибол достал маленькую красную расческу и принялся приводить в порядок растрепавшиеся волосы.

— Как по-твоему, мы очень замедлили ход из-за непогоды? — спросил он.

— О да, сэр. Мы стали плыть гораздо медленнее. В такую погоду надо обязательно сбавлять ход, иначе пассажиры полетят за борт.

В курительной комнате возле столиков уже собирались участники игры. Мужчины были в смокингах и держались несколько скованно. Они только что тщательно побрились, и у них были розовые лица. Женщины, в длинных белых перчатках, держались холодно и, казалось, были безразличны к тому, что происходит. Мистер Ботибол занял место возле столика аукциониста. Он закинул ногу на ногу, сложил на груди руки и устроился на стуле с видом человека, который принял чрезвычайно смелое решение и испугать его не удастся.

Сумма выигрыша, размышлял он про себя, составит, вероятно, тысяч семь долларов. Почти такой же она была последние два дня.

Чтобы заключить пари на расстояние, которое пройдет судно, нужно выложить сотни три-четыре, в зависимости от того, на какое число ставишь. Поскольку судно было английское, здесь имели дело с фунтами стерлингов, но он предпочитал вести счет в родной валюте. Семь тысяч долларов — хорошие деньги. Да просто огромные! Вот что он сделает: попросит, чтобы они расплатились с ним стодолларовыми купюрами, а деньги, прежде чем сойти на берег, положит во внутренний карман пиджака. С этим проблем не будет. И немедленно, да-да, немедленно купит «линкольн» с откидывающимся верхом. Он купит машину, как только сойдет с судна, и поедет на ней домой — и какое же удовольствие доставит ему выражение лица Этель, когда она выйдет из дома и увидит его. Картина еще та — он подкатывает к самым дверям в новеньком светло-зеленом «линкольне» с откидывающимся верхом, и тут выходит Этель! «Привет, Этель, дорогая, — бросит он как бы между прочим. — Вот, хотел сделать тебе небольшой подарок. Проходил мимо, заглянул в витрину, вспомнил о тебе и о том, как ты всегда мечтала о такой машине. Она ведь тебе нравится, моя милая? — спросит он. — Как тебе цвет?» А потом будет следить за выражением ее лица.

Аукционист поднялся из-за столика.

— Дамы и господа! — громко произнес он. — Капитан считает, что до завтрашнего полудня судно преодолет расстояние в пятьсот пятнадцать морских миль. Отступим, как обычно, на десять позиций в ту и другую сторону от названного капитаном числа и обозначим пределы — от пятисот пяти до пятисот двадцати пяти. Те же, кто полагает, что истинное число все-таки находится вне этих пределов, будут иметь возможность поставить на числа больше пятисот двадцати пяти или меньше пятисот пяти. Теперь достаем первые числа из этой шляпы — так, пятьсот двенадцать!

Наступила тишина. Все сидели не шелохнувшись и не сводили глаз с аукциониста. Чувствовалось некоторое напряжение, и едва ставки начали повышаться, напряжение стало нарастать. Тут собрались не забавы ради; достаточно было посмотреть на мужчину, который бросил взгляд на того, кто назвал большее число; возможно, он и улыбался, но только краешками губ, взгляд же был совершенно холодным.

Число пятьсот двенадцать ушло за сто десять фунтов, следующие три или четыре числа — примерно за такую же сумму.

Судно сильно раскачивалось, и каждый раз, когда оно кренилось, деревянная обшивка на стенах скрипела, точно собиралась

расколотся. Пассажиры сидели, ухватившись за подлокотники своих кресел, и внимательно следили за ходом аукциона.

— Кто меньше? — выкрикнул аукционист. — Следующий номер — за пределами десятки.

Мистер Ботибол выпрямился. Напряжение сковало его. Он решил, что будет ждать, пока другие перестанут делать ставки, после чего вскочит и сделает последнюю. Дома на его банковском счету было, насколько он помнил, не меньше пятисот долларов, может, шестьсот — около двухсот фунтов, чуть больше двухсот.

— Как вам известно, — говорил аукционист, — когда я перехожу к меньшим числам, это означает, что они находятся за пределами самого меньшего числа десятки, в данном случае это будут числа меньше пятисот пяти. Поэтому, если кто-то из вас полагает, что судно покроет расстояние меньше чем пятьсот пять миль за сутки, считая до завтрашнего полудня, можете подключиться к игре и сделать свою ставку. Итак, с чего начнем?

Ставка составила почти сто тридцать фунтов. Похоже, не только мистер Ботибол заметил, что погода испортилась. Сто сорок... пятьдесят... Наступила пауза. Аукционист поднял молоток.

— Сто пятьдесят — раз!

— Шестьдесят! — крикнул мистер Ботибол, и все повернулись в его сторону.

— Семьдесят!

— Восемьдесят! — крикнул мистер Ботибол.

— Девяносто!

— Двести! — крикнул мистер Ботибол.

Теперь его было не остановить.

Наступила пауза.

— Кто-то может предложить больше двухсот фунтов?

«Сиди тихо, — сказал мистер Ботибол себе. — Сиди как можно тише и не смотри по сторонам. Не дыши. Не будешь дышать, никто не перебьет твою ставку».

— Двести фунтов — раз...

У аукциониста был розовый лысый череп, макушка которого покрылась капельками пота.

— Двести фунтов — два...

Мистер Ботибол не дышал.

— Двести фунтов — три... Продано!

Он стукнул молотком по столу. Мистер Ботибол выписал чек и протянул его помощнику аукциониста, после чего откинулся

в кресле, намереваясь дождаться, чем все кончится. Он не собирался ложиться спать, пока не узнает, сколько денег в банке.

После того как была сделана последняя ставка, деньги сложили, и получилось две тысячи сто с чем-то фунтов — около шести тысяч долларов. Девяносто процентов предназначалось для победителя, десять — в пользу нуждающихся матросов. Девяносто процентов от шести тысяч долларов — пять тысяч четыреста. Что ж, этого хватает. Он купит «линкольн» с откидывающимся верхом, и еще кое-что останется. С этими приятными мыслями он, счастливый и довольный, удалился в свою каюту.

Проснувшись на следующее утро, мистер Ботибол несколько минут лежал с закрытыми глазами. Он прислушался, нет ли бури и насколько сильна качка. Но бури, похоже, не было, как и качки. Он вскочил и выглянул в иллюминатор. Море — о боже милостивый! — было гладким, как стекло. Огромное судно быстро двигалось вперед, явно наверстывая время, потерянное за ночь. Мистер Ботибол отвернулся и медленно опустился на краешек койки. Он почувствовал что-то похожее на страх. Теперь нет никакой надежды. Выиграет наверняка кто-нибудь из тех, кто поставил на большее число.

— О господи, — громко произнес он. — Что же делать?

Что, к примеру, скажет Этель? Как он ей объяснит, что почти все их двухлетние сбережения он спустил на судне? Да и не скроешь ничего. Ему придется сказать ей, чтобы она перестала снимать деньги со счета. А как быть с ежемесячными отчислениями на телевизор и «Британскую энциклопедию»? Он уже видел гнев и презрение в ее глазах; вот ее голубые глаза становятся серыми, а вот прищуриваются — верный признак того, что она сердится.

— О господи. Да что же мне делать?

Что толку теперь делать вид, будто есть еще хоть малейший шанс — разве только чертов корабль не попятится назад. Чтобы у него теперь появился хоть какой-то шанс выиграть, судно должно дать полный ход назад. А не попросить ли капитана так и сделать? Предложить ему десять процентов от выигрыша, а захочет — и больше. Мистер Ботибол захихикал. Потом вдруг умолк. Его глаза и рот широко раскрылись от изумления, ибо именно в эту самую минуту ему пришла в голову идея. Она явилась как гром среди ясного неба. В невероятном возбуждении он вскочил с койки, подбежал к иллюминатору и снова выглянул в него. А почему бы и нет, поду-

мал он. Почему бы, черт возьми, и нет? Море спокойное, и он запросто удержится на плаву, пока его не подберут. Им овладело странное чувство, будто кто-то это уже проделывал, но что мешает ему сделать это еще раз? Корабль вынужден будет остановиться, с него спустят лодку, чтобы его подобрать, и лодке придется преодолеть, может, с полмили, после чего она должна будет вернуться к судну, а это тоже время. Час — это миль тридцать. С дневного рейса можно будет скинуть тридцать миль. Этого должно хватить, чтобы выигрышным оказалось меньшее число. Главное — позаботиться о том, чтобы кто-то увидел, как он падает за борт, а это устроить нетрудно. И одеться надо полегче — в чем можно легко плавать. Спортивный костюм — это то, что надо. Он оденется так, будто собрался поиграть в теннис на палубе, — майка, шорты и легкие туфли. А вот часы надо оставить. Кстати, который час? Пятнадцать минут десятого. Решено. Чем скорее, тем лучше. Сделать и забыть. Да, надо бы поторопиться, чтобы успеть до полудня.

Когда мистер Ботибол вышел на верхнюю палубу в спортивном костюме, им владели страх и возбуждение. Он был небольшого роста, с широкими бедрами и чрезвычайно узкими покатыми плечами, так что его тело — силуэтом во всяком случае — напоминало швартовую тумбу. Его белые худые ноги были покрыты черными волосами. Он осторожно вышел на палубу, мягко ступая в своих теннисных туфлях, и нервно огляделся. На палубе был еще только один человек — пожилая женщина с очень толстыми лодыжками и огромными ягодицами. Перегнувшись через перила, она смотрела на море. На ней была каракулевая шуба. Воротник был поднят, так что лица ее мистер Ботибол не видел.

Он стоял не двигаясь, внимательно наблюдая за ней со стороны. «Ну что ж, — сказал он про себя, — эта, пожалуй, подойдет. Наверное, сразу тревогу поднимет. Но погоди минутку, не торопись, Уильям Ботибол, не торопись. Помнишь, что ты говорил себе несколько минут назад в каюте, когда переодевался? Помнишь ли ты это?»

Затея спрыгнуть с корабля в океан в тысяче миль от ближайшей земли сделала мистера Ботибола — человека, вообще-то, осторожного — чрезвычайно осмотрительным. Он еще не успел удостовериться в том, что эта женщина, которую он перед собой видел, совершенно точно поднимет тревогу, когда он прыгнет. На его взгляд, не отреагировать на происшествие она могла по двум при-

чинам. Во-первых, она, может, ничего не слышит и не видит. Это едва ли так, но, с другой стороны, такое ведь вероятно, — тогда зачем рисковать? Для начала надо бы побеседовать с ней. Во-вторых — и это говорит о том, каким подозрительным может стать человек, когда им движут чувство самосохранения и страх, — во-вторых, ему пришло в голову, что эта женщина поставила на большее число и, если это так, у нее будет веская финансовая причина не хотеть, чтобы судно остановилось. Мистер Ботибол вспомнил, что люди, бывало, убивали себе подобных за гораздо меньшую сумму, чем шесть тысяч долларов, — газеты об этом каждый день пишут. Да и стоит ли рисковать? Сначала нужно все проверить. Убедиться, что действуешь правильно. Завести вежливый разговор. А потом, если окажется, что женщина — особа приятная, добродушная, значит дело верное и можно с легким сердцем прыгать за борт.

Мистер Ботибол осторожно подошел к женщине и встал рядом с ней, перегнувшись через перила.

— Здравствуйте, — любезно произнес он.

Она повернулась и улыбнулась ему. Улыбка вышла на удивление милой, почти очаровательной, хотя лицо у нее было весьма некрасивое.

— Здравствуйте, — произнесла она в ответ.

«Сначала, — дал себе задание мистер Ботибол, — убедись, что она не слепая и не глухая». В этом он уже убедился.

— Скажите, — заговорил он без предисловий, — что вы думаете о вчерашнем аукционе?

— Аукционе? — нахмурившись, переспросила она. — Каком еще аукционе?

— Ну, эта глупая игра, которую обычно затевают в кают-компании после ужина, — пытаться отгадать, сколько миль пройдет судно за определенное время. Просто мне интересно, что вы об этом думаете.

Она покачала головой и еще раз улыбнулась — мягкая приятная улыбка, немного, пожалуй, извиняющаяся.

— Я очень ленива, — ответила она, — и рано ложусь спать. Да и ужинаю лежа. Это не так утомительно — ужинать лежа.

Мистер Ботибол улыбнулся ей в ответ и сделал шаг в сторону.

— Что ж, пора размяться, — сказал он. — Никогда не упускаю случая размяться утром. Было приятно познакомиться. Очень приятно.

Он отступил от нее шагов на десять. Женщина даже не обернулась.

Теперь все в порядке. Море спокойно, он легко одет для плавания, в этой части Атлантики почти наверняка нет акул-людоедов, а тут еще и эта приятная пожилая женщина, которая поднимет тревогу. Вопрос теперь в том, задержится ли судно достаточно надолго для того, чтобы аукцион разрешился в его пользу. Скорее всего, так и будет. В любом случае он хотя бы немного себе поможет. Можно создать кое-какие трудности, когда его будут поднимать в лодку, — поплескаться в воде, незаметно отплыть в сторону. Каждая выигранная минута, каждая секунда пойдут ему на пользу. Он снова направился к поручням, но вдруг его охватил новый страх. А что, если он угодит под винт? Он слышал, что такое случается с теми, кто падает за борт больших кораблей. Но ведь он и не собирается падать, он будет прыгать, а это совсем другое дело. Если подалее прыгнуть, то никакой винт не страшен.

Мистер Ботибол медленно подошел к поручням ярдах в двадцати от женщины. Она не смотрела на него. Что ж, тем лучше. Ему не хотелось, чтобы она видела, как он будет прыгать. Раз его никто не видит, потом он скажет, что поскользнулся и упал нечаянно. Он заглянул за борт. Лететь придется долго, очень долго. Вообще-то, о воду можно сильно удариться. Кажется, кто-то однажды прыгнул с такой высоты, плюхнулся о воду животом и разорвал его. Надо прыгать так, чтобы войти в воду ногами. Войти в нее как нож. Именно так. Вода казалась холодной, глубокой и серой, и, глядя на нее, он содрогнулся. Но либо сейчас, либо никогда. Будь мужчиной, Уильям Ботибол, будь же мужчиной. Итак... вперед.

Он взобрался на широкий деревянный поручень, постоял на нем, балансируя, секунды три, показавшиеся мучительно страшными, а потом прыгнул — немного вверх и как можно дальше от борта — и тут же закричал:

— Помогите! Помогите!

Потом он ударился о воду и скрылся из виду.

Когда послышался первый крик о помощи, женщина, стоявшая возле поручня, вздрогнула от удивления. Она быстро оглянулась и увидела, как мимо нее по воздуху, разбросав руки и ноги, с криками летит тот самый человек небольшого роста в белых шортах и теннисных туфлях. Поначалу казалось, она не знает, что делать: бросить ли спасательный круг, бежать за помощью или просто сто-

ять на месте и кричать. Она отступила на шаг от поручня, резко обернулась в сторону капитанского мостика и застыла в напряжении, не зная, что предпринять. Но почти тотчас ею овладело равнодушие — так могло показаться со стороны. Перегнувшись через поручни, она стала смотреть на воду, в кильватер за судном. Вскоре в морской пене появилась крошечная круглая черная голова, рядом с ней поднялась рука — один раз, другой. Рука отчаянно махала, и откуда-то издали доносился голос, но слов было не разобрать. Женщина наклонилась еще дальше, стараясь не упустить из виду маленькое, качающееся на волнах черное пятнышко, но скоро, очень скоро оно уже оказалось так далеко, что она не могла поручиться, было это на самом деле или нет.

Спустя какое-то время на палубу вышла другая женщина — сухопарая, угловатая, в очках в роговой оправе. Заметив первую женщину, она подошла к ней, ступая по палубе решительной, марширующей походкой старой девы.

— Так вот ты где, — сказала она.

Женщина с толстыми лодыжками обернулась и взглянула на нее, но промолчала.

— Я давно тебя ищу, — продолжала сухопарая женщина. — Везде искала.

— Очень странно, — сказала женщина с толстыми лодыжками. — Какой-то мужчина только что прыгнул за борт в одежде.

— Ерунда!

— Да нет же. Он говорил, что хочет размяться, и прыгнул в воду, но даже не удосужился раздеться.

— Пойдем-ка лучше вниз, — сказала сухопарая женщина.

Неожиданно она заговорила твердым голосом, черты лица ее приняли суровое выражение, любезный тон исчез.

— И никогда больше не гуляй одна по палубе. Ты же прекрасно знаешь, что без меня тебе — никуда.

— Да, Мэгги, — ответила женщина с толстыми лодыжками и еще раз улыбнулась, ласково и доверчиво.

Она взяла руку другой женщины и позволила ей увести себя с палубы.

— Такой приятный мужчина, — произнесла она. — Он мне еще и помахал.

ФОКСЛИ-СКАКУН

Вот уже тридцать шесть лет пять раз в неделю я езжу в Сити поездом, который отправляется в восемь двенадцать. Он никогда не бывает чересчур переполнен и к тому же доставляет меня прямо на станцию Кэннон-стрит, а оттуда всего одиннадцать с половиной минут ходьбы до дверей моей конторы в Остин-Фрайерз.

Мне всегда нравилось ездить ежедневно на работу из пригорода в город и обратно: каждая часть этого небольшого путешествия доставляет мне удовольствие. В нем есть какая-то размеренность, успокаивающая человека, любящего постоянство, и в придачу оно служит своего рода артерией, которая неспешно, но уверенно выносит меня в водоворот повседневных деловых забот.

Всего лишь девятнадцать-двадцать человек собираются на нашей небольшой пригородной станции, чтобы сесть на поезд, отправляющийся в восемь двенадцать. Состав нашей группы редко меняется, и когда на платформе появляется новое лицо, то это всякий раз вызывает недовольство, как бывает, когда в клетку к канарейкам сажают новую птицу.

По утрам, когда я приезжаю на станцию за четыре минуты до отхода поезда, они обыкновенно уже все там — добропорядочные, солидные, степенные люди, стоящие на своих обычных местах с неизменными зонтиками, в шляпах, при галстуках, с одним и тем же выражением лиц и с газетами под мышкой. не меняющиеся с годами, как не меняется мебель в моей гостиной. Мне это нравится.

Мне также нравится сидеть в своем углу у окна и читать «Таймс» под стук колес. Эта часть путешествия длится тридцать две минуты и, подобно хорошему продолжительному массажу, успокаивает мою душу и старое больное тело. Поверьте мне, чтобы сохранить спокойствие духа, нет ничего лучше размеренности и постоянства. В общей сложности я уже почти десять тысяч раз проделал это утреннее путешествие и с каждым днем наслаждаюсь им все больше и больше. Я и сам (это отношения к делу не имеет, но любо-

пытно) стал чем-то вроде часов. Я могу без труда сказать, опаздываем мы на две, три или четыре минуты, и мне не нужно смотреть в окно, чтобы понять, на какой станции мы остановились.

Путь от конца Кэннон-стрит до моей конторы ни долог, ни короток — это полезная для здоровья небольшая прогулка по улицам, заполненным такими же путешественниками, направляющимися к месту службы по тому же неизменному графику, что и я. У меня возникает чувство уверенности оттого, что я двигаюсь среди этих заслуживающих доверия, достойных людей, которые преданы своей работе, а не шатаются по белу свету. Их жизни, как и мою, превосходно регулирует минутная стрелка точно идущих часов, и очень часто наши пути пересекаются на улице в одно и то же время на одном и том же месте.

К примеру, когда я сворачиваю на Сент-Суизинз-лейн, неизменно сталкиваюсь с благообразной дамой средних лет в серебряном пенсне и с черным портфелем в руке. Наверное, это образцовый бухгалтер, а может, управляющая какой-нибудь текстильной фабрикой. Когда я по сигналу светофора перехожу через Треднидл-стрит, в девяти случаях из десяти мне встречается джентльмен, у которого каждый день в петлице какой-нибудь новый садовый цветок. На нем черные брюки и серые гетры. Это определенно человек педантичный, скорее всего — банковский работник или, возможно, адвокат, как и я. Торопливо проходя мимо друг друга, мы несколько раз за последние двадцать пять лет обменивались мимолетными взглядами в знак взаимной симпатии и расположения.

Мне знакомы по меньшей мере полдюжины лиц, с которыми я встречаюсь в ходе этой небольшой прогулки. И должен сказать, все это добрые лица, лица, которые мне нравятся, все это симпатичные мне люди — надежные, трудолюбивые, занятые, и глаза их не горят и не бегают беспокойно, как у всех этих так называемых умников, которые хотят перевернуть мир с помощью своих лейбористских правительств, государственного здравоохранения и прочего.

Итак, как видите, я в полном смысле этого слова являюсь довольным путешественником. Однако не правильнее ли будет сказать, что я был довольным путешественником? В то время, когда я писал этот небольшой автобиографический очерк, который вы только что прочитали, у меня было намерение распространить его

среди сотрудников нашей конторы в качестве наставления и примера — я совершенно правдиво описывал свои чувства. Но это было целую неделю назад, а за это время произошло нечто необычное. По правде говоря, все началось во вторник на прошлой неделе, в то самое утро, когда я направлялся в столицу с черновым наброском своего очерка в кармане, и все сошлось столь неожиданным образом, что мне не остается ничего другого, как предположить, что тут не обошлось без Провидения. Господь Бог, видимо, прочитал мое небольшое сочинение и сказал про себя: «Что-то этот Перкинс становится чересчур уж самодовольным. Пора бы мне прочесть его». Я искренне верю, что так оно и было.

Как я уже сказал, это произошло во вторник на прошлой неделе, в первый вторник после Пасхи. Было теплое светлое весеннее утро, и я шагал к платформе нашей небольшой станции с «Таймс» под мышкой и наброском очерка «Довольный путешественник» в кармане, когда меня вдруг пронзила мысль — что-то не так. Я прямо-таки физически ощутил ропот, прошедший по рядам моих попутчиков. Я остановился и огляделся.

Незнакомец стоял посередине платформы, расставив ноги и сложив на груди руки, глядя на окружающее так, словно все вокруг принадлежало ему. Этот большой, плотный мужчина даже со спины умудрялся производить впечатление человека высокомерного и надменного. Определенно он не принадлежал к нашему кругу. Вместо зонтика он держал трость, башмаки на нем были коричневые, а не черные, шляпа серого цвета сидела набекрень, и в общем и целом он демонстрировал нарочитый избыток лоска. Более я не утруждал себя разглядыванием его персоны. Я прошел мимо него с высоко поднятой головой, добавив — я искренне надеюсь, что это так, — настоящего морозцу в атмосферу, и без того достаточно холодную.

Подожел поезд. А теперь постарайтесь, если можете, вообразить, какой ужас меня охватил, когда незнакомец последовал за мной в мое собственное купе. Такого никто еще не предельвал в продолжение пятнадцати лет. Мои спутники всегда почитали мое превосходство. Одна из моих небольших привилегий состоит в том, что я сижу наедине с собой хотя бы одну, иногда две или даже три остановки. А тут, видите ли, место напротив меня оккупировал этот незнакомец, который принялся сморкаться, шелестеть страницами «Дейли мейл», да еще закурил свою отвратительную трубку.

Я опустил «Таймс» и взгляделся в его лицо. Он, видимо, был того же возраста, что и я, — лет шестидесяти двух или трех, однако у него было одно из тех неприятно красивых загорелых, обветренных лиц, которые нынче то и дело видишь на рекламе мужских рубашек: тут тебе и охотник на львов, и игрок в поло, и альпинист, побывавший на Эвересте, и исследователь тропических джунглей, и яхтсмен одновременно; темные брови, стальные глаза, крепкие белые зубы, сжимающие трубку. Лично я недоверчиво отношусь ко всем красивым мужчинам. Сомнительные удовольствия будто сами находят их, и по миру они идут, словно лично ответственные за свою привлекательную внешность. Я не против, если красива женщина. Это другое. Но мужская красота, вы уж простите меня, совершенно оскорбительна. Как бы то ни было, прямо напротив меня сидел этот самый человек, а я глядел на него поверх «Таймс», и вдруг он посмотрел на меня, и наши глаза встретились.

— Вы не против того, что я курю трубку? — спросил он, вынув ее изо рта.

Только это он и сказал. Но голос его произвел на меня неожиданное действие. Мне даже показалось, будто я вздрогнул. Потом я как бы замер и по меньшей мере с минуту пристально смотрел на него, прежде чем смог совладать с собой и ответить.

— Это вагон для курящих, — сказал я, — поэтому поступайте как угодно.

— Просто я решил спросить.

И опять этот удивительно рассыпчатый знакомый голос, проглатывающий слова, а потом сыплющий ими, — маленькие и жесткие, как зернышки, они точно вылетали из пулемета. Где я его слышал? И почему каждое слово, казалось, отыскивало самое уязвимое место в закоулках моей памяти? Боже мой, думал я, да возьми же ты себя в руки. Что еще за чепуха лезет тебе в голову!

Незнакомец снова погрузился в чтение газеты. Я сделал вид, будто тоже читаю. Однако теперь я уже был совершенно выбит из колеи и никак не мог сосредоточиться. Я то и дело бросал на него взгляды поверх газеты, так и не развернув ее. У него было поистине несносное лицо, вульгарно, почти похотливо красивое, а маслянистая кожа блестела попросту непристойно. Однако приходилось ли мне все-таки когда-нибудь видеть это лицо или нет? Я начал склоняться к тому, что уже видел его, потому что теперь, глядя на

него, я начал ощущать какое-то беспокойство, которое не могу толком описать, — оно каким-то образом было связано с болью, с насилием, быть может, даже со страхом, когда-то испытанным мною.

В продолжение поездки мы больше не разговаривали, но вам нетрудно вообразить, что мое спокойствие исчезло. Весь день был испорчен, и не раз кое-кто из товарищей по службе слышал от меня в тот день колкости, особенно после обеда, когда ко всему добавилось еще и несварение желудка.

На следующее утро он снова стоял посередине платформы со своей тростью, трубкой, шелковым шарфиком и тошнотворно красивым лицом. Я прошел мимо него и приблизился к некоему мистеру Граммиту, биржевому маклеру, который ездил со мной в город и обратно вот уже более двадцати восьми лет. Не могу сказать, чтобы я с ним когда-нибудь прежде разговаривал — на нашей станции собираются обыкновенно люди сдержанные, — но в сложившейся критической ситуации вполне можно вступить в разговор.

— Граммит, — прошептал я. — Кто этот прохвост?

— Понятия не имею, — ответил Граммит.

— Весьма неприятный тип.

— Очень.

— Полагаю, он не каждый день будет с нами ездить.

— Упаси бог, — сказал Граммит.

И тут подошел поезд.

На этот раз, к моему великому облегчению, незнакомец сел в другое купе.

Однако на следующее утро он снова оказался рядом со мной.

— Да-а, — проговорил он, устраиваясь прямо напротив меня. — Отличный денек.

И вновь что-то закопошилось на задворках моей памяти, на этот раз сильнее, и уже почти всплыло на поверхность, но ухватиться за нить воспоминаний я так и не смог.

Затем наступила пятница, последний рабочий день недели. Помню, что, когда я ехал на станцию, шел дождь, один из тех теплых искрящихся апрельских дождичков, которые идут лишь минут пять или шесть, и когда я поднялся на платформу, все зонтики были уже сложены, светило солнце, а по небу плыли большие белые облака. Несмотря на все это, у меня было подавленное состояние. В путешествии я уже не находил удовольствия. Я знал, что опять явится этот незнакомец. И вот пожалуйста, он уже был тут

как тут; расставив ноги, ощущал себя здесь хозяином и на сей раз к тому же еще и небрежно помахивал своей тростью.

Трость! Ну конечно же! Я остановился точно оглушенный.

«Да это же Фоксли! — воскликнул я про себя. — Фоксли-Скакун! И он по-прежнему размахивает своей тростью!»

Я подошел к нему поближе, чтобы лучше разглядеть. Никогда прежде, скажу я вам, не испытывал такого потрясения. Это и в самом деле был Фоксли. Брюс Фоксли, или Фоксли-Скакун, как мы его называли. А в последний раз я его видел... дайте-ка подумать... Да, я тогда еще учился в школе, и мне было лет двенадцать-тринадцать, не больше.

В эту минуту подошел поезд, и, бог свидетель, он снова оказался в моем купе. Он положил шляпу и трость на полку, затем повернулся, сел и принялся раскуривать свою трубку. Взглянув на меня сквозь облако дыма своими маленькими холодными глазками, он произнес:

— Потрясающий денек, не правда ли? Прямо лето.

Теперь я его голос уже не спутаю ни с каким другим. Он совсем не изменился. Разве что другими стали слова.

«Ну что ж, Перкинс, — говорил он когда-то. — Что ж, скверный мальчишка. Придется мне поколотить тебя».

Как давно это было? Должно быть, лет пятьдесят назад. Любопытно, однако, как мало изменились черты его лица. Тот же надменно вздернутый подбородок, те же раздутые ноздри, тот же презрительный взгляд маленьких, пристально глядящих глаз, посаженных слишком близко друг к другу; все та же манера приближать к вам свое лицо, наваливаться на вас, как бы загонять в угол; даже волосы его я помню — жесткие и слегка завивающиеся, немного отливающие маслом, подобно хорошо заправленному салату. На его столе всегда стоял пузырек с экстрактом для волос (когда вам приходится вытирать в комнате пыль, то вы наверняка знаете, что где стоит, и начинаете ненавидеть все находящиеся в ней предметы), и на этом пузырьке красовалась этикетка с королевским гербом и названием магазина на Бонд-стрит, а внизу мелкими буквами было написано: «Изготовлено по специальному распоряжению для парикмахеров его величества короля Эдуарда VII». Я это помню особенно хорошо, поскольку мне казалось забавным, как это магазин гордится тем, что является поставщиком для парикмахеров того, кто практически лыс, — пусть это и сам монарх.

И вот теперь я смотрел на Фоксли, который откинулся на сиденье и принялся за чтение газеты. Меня охватило какое-то странное чувство оттого, что я сижу всего лишь в ярде от человека, который пятьдесят лет назад сделал меня настолько несчастным, что я помышлял о самоубийстве. Меня он не узнал, потому что я отрастил усы; да я и не боялся его теперь. Я чувствовал себя вполне уверенно и мог рассматривать его, сколько мне было угодно.

Оглядываясь назад, я теперь не сомневаюсь, что изрядно страдал от Брюса Фоксли весь первый год учебы в школе, и, как ни странно, этому невольно споспешествовал мой отец. Мне было двенадцать с половиной лет, когда я впервые попал в эту замечательную старинную школу. Кажется, в 1907 году. Мой отец, в шелковом цилиндре и фраке-визитке, проводил меня до вокзала, и до сих пор помню, как мы стояли на платформе среди груды ящиков и чемоданов и, наверное, тысяч очень больших мальчиков, теснившихся вокруг и громко переговаривавшихся, и тут кто-то, пытаясь протиснуться мимо нас, сильно толкнул моего отца в спину и чуть не сшиб его с ног.

Мой отец, человек небольшого роста, отличавшийся обходительностью и всегда державшийся с достоинством, обернулся с поразительной быстротой и схватил виновника за руку.

— Разве вас в школе не учат хорошим манерам, молодой человек? — спросил он.

Мальчик, оказавшийся на голову выше отца, посмотрел на него сверху вниз холодным взором, но ничего не сказал.

— Сдается мне, — заметил мой отец, столь же пристально глядя на него, — что недурно было бы извиниться.

Однако мальчик продолжал смотреть на него свысока, при этом в уголках его рта появилась надменная улыбочка, а подбородок все более выступал вперед.

— По-моему, ты мальчик дерзкий и невоспитанный, — продолжал мой отец. — И мне остается лишь искренне надеяться, что в школе ты исключение. Не хотел бы я, чтобы кто-нибудь из моих сыновей выучился таким же манерам.

Тут этот большой мальчик слегка повернул голову в мою сторону, и пара небольших холодных, довольно близко посаженных глаз заглянула в мои глаза. Тогда я не особенно испугался — я еще ничего не знал о том, какую власть имеют в школах старшие маль-

чки над младшими, и помню, что, полагаясь на поддержку своего отца, которого я очень любил и уважал, взгляд я выдержал.

Мой отец принялся было еще что-то говорить, но мальчик просто отвернулся и неторопливо пошел по платформе среди толпы.

Брюс Фоксли не забыл этого эпизода; но, конечно, самое неприятное выяснилось в школе: мы с ним оказались в одном общежитии и в одной комнате. Он учился в соседнем классе и был старостой, а будучи таковым, имел официальное разрешение колотить всех «шестерок»¹. Оказавшись же в его комнате, я автоматически сделался его особым личным рабом. Я был его слугой, поваром, горничной и мальчиком на побегушках, и в мои обязанности входило следить, чтобы он и пальцем не пошевелил, если только в этом не было крайней необходимости. Насколько я знаю, нигде в мире слугу не угнетают до такой степени, как угнетали нас, несчастных маленьких «шестерок», старосты в школе. Был ли мороз, шел ли снег, в любую погоду каждое утро после завтрака я принужден был сидеть на стульчаке в туалете (который находился во дворе и не обогревался) и греть его к приходу Фоксли.

Я помню, как он своей изысканно-расхлябанной походкой ходил по комнате, и если на пути ему попадался стул, он отбрасывал его ногой в сторону, а я должен был подбежать и поставить его на место. Он носил шелковые рубашки и всегда прятал шелковый платок в рукаве, а башмаки его были от какого-то Лобба (у которого тоже этикетки с королевским гербом). Я обязан был каждый день в течение пятнадцати минут тереть остроносые башмаки костью, чтобы они блестели.

Но самые худшие воспоминания у меня связаны с раздевалкой.

Я и сейчас вижу себя, маленького бледного мальчика, сиротливо стоящего в этой огромной комнате в пижаме, тапочках и халате из верблюжьей шерсти. Единственная ярко горящая электрическая лампочка свисает с потолка, а вдоль стен развешаны черные и желтые футболки, наполняющие комнату запахом пота, и голос, сыплющий словами, жесткими, словно зернышки, говорит: «Так как мы поступим на сей раз? Шесть раз в халате или четыре без него?»

Я так никогда и не смог заставить себя ответить на этот вопрос. Я просто стоял, глядя в грязный пол, — от страха у меня кружилась голова — и только о том и думал, что скоро этот большой мальчик

¹ В английских школах младший ученик, прислуживающий старшекласснику.

будет бить меня длинной тонкой белой палкой, будет бить неторопливо, со знанием дела, искусно, законно, с видимым удовольствием, и у меня пойдет кровь. Пять часов назад я не смог разжечь огонь в комнате. Я истратил все свои карманные деньги на коробку специальных спичек, поджигал газету в каминной трубе, чтобы была тяга, и дул что было мочи на каминную решетку — угли так и не разгорелись.

— Если ты настолько упрям, что не хочешь отвечать, — говорил он, — тогда мне придется решать за тебя.

Я отчаянно хотел ответить ему, поскольку знал: мне нужно что-то выбрать. Это первое, что узнают, когда приходят в школу. Обязательно оставайся в халате и лучше стерпи лишние удары. В противном случае почти наверняка появятся раны. Лучше три удара в халате, чем один без него.

— Снимай халат и отправляйся в дальний угол. Коснись руками пола. Всыплю тебе четыре раза.

Я медленно снимаю халат и кладу его на шкафчик для обуви. И медленно, поеживаясь от холода и неслышно ступая, иду в дальний угол в одной лишь хлопчатобумажной пижаме, и неожиданно все вокруг заливается ярким светом, точно я гляжу на картинку в волшебном фонаре, и предметы становятся непомерно большими и нереальными, и перед глазами у меня все плывет.

— Давай же коснись руками пола. Ниже, еще ниже.

Затем он направляется в другой конец раздевалки, и я смотрю на него, расставив ноги и опустив голову, а он исчезает в дверях и, спустившись на две ступеньки, идет через так называемый умывальный коридор. Это было помещение с каменным полом и с умывальниками, тянувшимися вдоль одной стены; отсюда можно было понасть в ванную. Когда Фоксли исчез, я понял, что он отправился в дальний конец умывального коридора. Фоксли всегда так делал. Но вот он скачущей походкой возвращается назад, стуча ногами по каменному полу так, что дребезжат умывальники, и я вижу, как он одним прыжком преодолевает две ступеньки между коридором и раздевалкой и с тростью наперевес быстро приближается ко мне. В такие моменты я закрываю глаза, дожидаясь удара, и говорю себе: только не разгибайся, как бы ни было больно.

Всякий, кого били как следует, скажет, что по-настоящему больно становится только спустя восемь — десять секунд после удара. Сам удар — это всего лишь резкий глухой шлепок, вызывающий

полное онемение (говорят, так же действует пуля). Но потом — о боже, потом! — кажется, будто к твоим голым ягодицам прикладывают раскаленную докрасна кочергу, а ты не можешь протянуть руку и схватить ее.

Фоксли отлично знал, как выдержать паузу: он медленно преодолевал расстояние, которое в общей сложности составляло ярдов, должно быть, пятнадцать, прежде чем нанести очередной удар; он выжидал, пока я сполна испытаю боль от предыдущего удара.

После четвертого удара я обычно разгибаюсь. Больше я не могу. Это лишь защитная реакция организма, предупреждающая, что больше тело вынести не может.

— Да ты струсил, — говорит Фоксли. — Последний удар не считается. Ну-ка наклонись еще разок.

В следующий раз надо будет не забыть покрепче ухватиться за лодыжки.

Потом он смотрит, как я иду, держась за спину, не в силах ни согнуться, ни разогнуться. Надевая халат, я всякий раз пытаюсь отвернуться от него, чтобы он не видел моего лица. Я уже собрался было уйти, но тут слышу:

— Эй, ты! Вернись-ка!

Я останавливаюсь в дверях и оборачиваюсь.

— Иди сюда. Ну, иди же сюда. Скажи, не забыл ли ты чего-нибудь?

Единственное, о чем я сейчас могу думать, — это то, что меня пронизывает мучительная боль.

— По-моему, ты мальчик дерзкий и невоспитанный, — говорит он, подражая голосу моего отца. — Разве вас в школе не учат хорошим манерам?

— Спа-а-сибо, — заикаясь, говорю я. — Спа-а-сибо за... то... что ты побил меня.

И потом я поднимаюсь по темной лестнице в спальню, чувствуя себя уже гораздо лучше, потому что все кончилось, боль проходит, и вот меня обступают другие ребята и принимаются расспрашивать с каким-то грубоватым сочувствием, рожденным из собственного опыта.

— Эй, Перкинс, дай-ка посмотреть.

— Сколько он тебе всыпал?

— По-моему, раз пять. Отсюда слышно было.

— Ну, давай показывай свои раны.

Я снимаю пижаму и спокойно стою, давая возможность группе экспертов внимательно осмотреть нанесенные мне повреждения.

— Отметины-то далековато друг от друга. Не похоже на Фоксли.

— А вот эти две рядом. Почти касаются друг друга. А эти-то — гляди — до чего хороши!

— А вот тут внизу он смазал.

— Он из умывального коридора разбежался?

— Ты, наверное, струсил, и он тебе еще разок всыпал, а?

— Ей-богу, Перкинс, старина Фоксли на тебе душу отвел.

— Кровь-то так и течет. Ты бы смысл ее, что ли.

Затем открывается дверь и появляется Фоксли. Все разбегаются и делают вид, будто чистят зубы или читают молитвы, а я между тем стою посреди комнаты со спущенными штанами.

— Что тут происходит? — говорит Фоксли, бросив быстрый взгляд на творение своих рук. — Эй, ты, Перкинс! Приведи себя в порядок и ложись в постель.

Так заканчивается день.

В течение недели у меня не было ни одной свободной минуты. Стоило только Фоксли увидеть, как я беру в руки какой-нибудь роман или открываю свой альбом с марками, как он тотчас же находил мне занятие. Одним из его любимых выражений — особенно когда шел дождь — было следующее:

— Послушай-ка, Перкинс, мне кажется, букетик ирисов украсил бы мой стол, как ты думаешь?

Ирисы росли только возле Апельсиновых прудов. Чтобы туда добраться, нужно было пройти две мили по дороге, а потом свернуть в поле и преодолеть еще полмили. Я поднимаюсь со стула, надеваю плащ и соломенную шляпу, беру в руки зонтик и отправляюсь в долгий путь, который мне предстоит проделать в одиночестве. На улице всегда нужно было ходить в соломенной шляпе, но от дождя она быстро теряла форму, поэтому, чтобы сберечь ее, и нужен зонтик. С другой стороны, невозможно бродить по заросшему берегу в поисках ирисов с зонтиком над головой, поэтому, чтобы предохранить шляпу, я кладу ее на землю и раскрываю над ней зонтик, а сам иду собирать цветы. В результате я не раз простужался.

Но самым страшным днем было воскресенье. По воскресеньям я убирал комнату, и как же хорошо мне запомнилось, что за ужас

меня охватывал в те утренние часы, когда после остервенелого выколачивания пыли и уборки я ждал, пока не придет Фоксли и не примет мою работу.

— Закончил? — спрашивал он.

— Д-думаю, что да.

Тогда он идет к своему столу, вынимает из ящика белую перчатку, медленно натягивает ее на правую руку, приминая между пальцами, чтобы сидела как влитая, а я стою и с дрожью смотрю, как он двигается по комнате, проводя указательным пальцем по верху развешенных по стенам картинок в рамках, по плинтусам, полкам, подоконникам, абажурам. Я не могу отвести глаз от этого пальца. Для меня это перст судьбы. Почти всегда он умудрялся отыскать какую-нибудь крохотную щелку, которую я не заметил или о которой, быть может, и не подумал вовсе. В таких случаях Фоксли медленно поворачивался, едва заметно улыбаясь этой своей не предвещавшей ничего хорошего улыбкой, и выставлял палец так, чтобы и я мог видеть грязное пятнышко на белой перчатке.

— Так, — говорил он. — Значит, ты — ленивый мальчишка. Не правда ли?

Я молчу.

— Не правда ли?

— Мне кажется, я везде вытирал.

— Так все-таки ты ленивый мальчишка или нет?

— Д-да.

— А ведь твой отец не хочет, чтобы ты рос таким. Твой отец ведь очень щепетилен на этот счет, а?

Я молчу.

— Я тебя спрашиваю: твой отец ведь щепетилен на этот счет?

— Наверное... да.

— Значит, я сделаю ему одолжение, если накажу тебя, не правда ли?

— Я не знаю.

— Так сделать ему одолжение?

— Д-да.

— Тогда давай встретимся попозже в раздевалке, после молитвы.

Остаток дня я провожу в мучительном ожидании вечера.

Боже праведный, воспоминания совсем одолели меня. По воскресеньям мы также писали письма. «Дорогие мама и папа, боль-

шое вам спасибо за ваше письмо. Я надеюсь, вы оба здоровы. Я тоже здоров, правда простудился немного, потому что попал под дождь, но скоро простуда пройдет. Вчера мы играли с командой Шрюсбери и выиграли у них со счетом 4:2. Я наблюдал за игрой, а Фоксли, который, как вы знаете, является нашим старостой, забил один гол. Большое вам спасибо за торт. Любящий вас Уильям».

Письмо я обычно писал в туалете, в чулане или же в ванной — где угодно, лишь бы только туда не мог заглянуть Фоксли. Однако много времени у меня не было. Чай мы пили в половине пятого, и к этому моменту должен был быть готов гренок для Фоксли. Я каждый день жарил для Фоксли ломтик хлеба, а в будние дни в комнатах не разрешалось разводить огонь, поэтому все «шестерки», жарившие хлебцы для хозяев своих комнат, толпились вокруг небольшого камина в библиотеке и просовывали к огню длинные металлические вилки. И еще я должен был следить за тем, чтобы гренок Фоксли был: во-первых, хрустящим, во-вторых, неподгоревшим, в-третьих, горячим и подан точно вовремя. Несоблюдение какого-либо из этих требований рассматривалось как «наказуемый проступок».

— Эй, ты! Что это такое?

— Гренок.

— По-твоему, это гренок?

— Ну..

— Ты, я вижу, совсем обленился и толком ничего сделать не можешь.

— Я старался.

— Знаешь, что делают с ленивой лошастью, Перкинс?

— Нет.

— А ты разве лошадь?

— Нет.

— Ты, по-моему, просто осел — ха-ха! — а это, наверное, одно и то же. Ну ладно, увидимся попозже.

Ох и тяжелые были денечки! Дать Фоксли подгоревший гренок — значит совершить «наказуемый проступок». Забыть считать грязь с бута Фоксли — значит также провиниться. Или не развесить его футболку и трусы. Или неправильно сложить зонтик. Или постучать в дверь комнаты, когда он занимается. Или наполнить ванну слишком горячей водой. Или не вычистить до блеска пуговицы на его форме. Или, надраивая пуговицы, оставить го-

лубые пятнышки раствора на самой форме. Или не начистить до блеска подошвы башмаков. Или не прибрать вовремя в комнате. Для Фоксли я, по правде говоря, и сам был «наказуемым проступком».

Я посмотрел в окно. Бог ты мой, да мы уже почти приехали. Что-то я совсем разнюнился и даже не раскрыл «Таймс». Фоксли по-прежнему сидел в своем углу и читал «Дейли мейл», и сквозь облачко голубого дыма, поднимавшегося из его трубки, я мог разглядеть половину лица над газетой, маленькие сверкающие глазки, сморщенный лоб, волнистые, слегка напомаженные волосы.

Любопытно было разглядывать его теперь, по прошествии стольких лет. Я знал, что он более не опасен, но воспоминания не отпускали меня, и я чувствовал себя не очень-то уютно в его присутствии. Это все равно что находиться в одной клетке с дрессированным тигром.

Что за чепуха лезет тебе в голову, спросил я себя. Не будь же дураком. Да стоит тебе только захотеть, и ты можешь взять и выложить ему все, что о нем думаешь, и он тебя и пальцем не тронет. Неплохая мысль!

Разве что... как бы это сказать... зачем это нужно? Я уже слишком стар для подобных штук и вдобавок не уверен, так ли уж он мне сейчас ненавистен.

Но как же все-таки быть? Не могу ведь я просто сидеть и смотреть на него как идиот!

И тут мне пришла в голову озорная мысль. «Вот что я сделаю, — сказал я себе, — протяну-ка я руку, похлопаю его слегка по колену и скажу ему, кто я такой. Потом понаблюдаю за выражением его лица. После этого пушусь в воспоминания о школе, а говорить буду достаточно громко, чтобы меня могли слышать и те, кто едет в нашем вагоне.

Я весело напомню ему, какие шутки он проделывал со мной, и, быть может, поведаю и об избиениях в раздевалке, чтобы вогнать его в краску. Ему не повредит, если я его немного подразню и заставлю поволноваться. А вот мне это доставит массу удовольствия».

Неожиданно он поднял глаза и увидел, что я пристально гляжу на него. Это случилось уже не первый раз, и я заметил, как в его глазах вспыхнул огонек раздражения.

И тогда я улыбнулся и учтиво поклонился.

— Прошу простить меня, — громким голосом произнес я. — Но я бы хотел представиться.

Я подался вперед и внимательно посмотрел на него, стараясь не пропустить реакции на мои слова.

— Меня зовут Перкинс, Уильям Перкинс, в тысяча девятьсот седьмом году я учился в Рептоне.

Все, кто ехал в вагоне, затихли, и я чувствовал: они напряженно ждут, что же произойдет дальше.

— Рад познакомиться с вами, — сказал он, опустив газету на колени. — Меня зовут Фортескью, Джоселин Фортескью. Я закончил Итон в тысяча девятьсот шестнадцатом.

КОЖА

В том году — 1946-м — зима слишком затянулась. Хотя наступил уже апрель, по улицам города гулял ледяной ветер, а по небу ползли снежные облака.

Старик, которого звали Дриоли, с трудом брел по улице Риволи. Он дрожал от холода, и вид у него был жалкий; в своем грязном черном пальто он был похож на дикобраза, а над поднятым воротником видны были только его глаза.

Раскрылась дверь какого-то кафе, на него пахнуло жареным цыпленком, живот его свело голодной судорогой. Он двинулся дальше, равнодушно посматривая на выставленные в витринах вещи: духи, шелковые галстуки и рубашки, драгоценности, фарфор, старинную мебель, книги в прекрасных переплетах. Спустя какое-то время он поравнялся с картинной галереей. Раньше ему нравилось бывать в картинных галереях. В витрине был выставлен один холст. Он остановился и взглянул на него. Потом повернулся и пошел было дальше, но тут же еще раз остановился и оглянулся; и вдруг его охватила легкая тревога, всколыхнулась память, словно вспомнилось что-то далекое, виденное давным-давно. Он снова посмотрел на картину. На ней был изображен пейзаж — купа деревьев, безумно клонившихся вбок, словно согнувшихся под яростным порывом ветра; облака вихрем кружились в небе. К раме была прикреплена небольшая табличка, на которой было написано: «Хаим Сутин (1894–1943)».

Дриоли уставился на картину, пытаясь сообразить, что в ней показалось ему знакомым. Жуткая картина, подумал он. Какая-то странная и жуткая... Но мне она нравится... Хаим Сутин... Сутин...

— Боже мой! — неожиданно воскликнул он. — Да это же мой маленький калмык, вот кто это такой! Мой маленький калмык, это его картина выставлена в одном из лучших парижских салонов! Подумать только!

Старик приблизился к витрине. Он отчетливо вспомнил этого юношу — да-да, теперь он вспомнил его. Но когда это было? Все остальное не так-то просто было вспомнить. Это было так давно. Когда же все-таки? Двадцать — нет, больше тридцати лет назад; пожалуй, так. Нет-нет, погодите-ка. Это было за год до войны, Первой мировой войны, в 1913 году. Именно так. Тогда он и встретил Сутина, этого маленького калмыка, мрачного, вечно о чем-то размышляющего юношу, которого он тогда полюбил — почти влюбился в него, — и непонятно за что, разве что, пожалуй, за то, что тот умел рисовать.

И как рисовать! Теперь он все помнил гораздо четче: улица, баки с мусором, запах гнили, рыжие кошки, грациозно бродящие по свалке, и женщины — потные жирные женщины, сидевшие на порогах домов и выставившие свои ноги на булыжную мостовую. Что это была за улица? Где жил этот юноша?

На Сите-Фальгьер, вот где! Старик несколько раз кивнул, довольный тем, что вспомнил название. И там была студия с единственным стулом и грязной красной кушеткой, на которой юноша устраивался на ночлег; пьяные сборища, дешевое белое вино, яростные споры и вечно мрачное лицо юноши, размышляющего о работе.

Странно, подумал Дриоли, как легко ему все это вспомнилось, будто каждая незначительная подробность тотчас тянула за собой другую.

Вот, скажем, эта глупая затея с татуировкой. Но ведь это же было просто безумие, каких мало. С чего все началось? Ах да, как-то он разбогател и купил вина, именно так оно и было. Он ясно вспомнил тот день, когда вошел в студию с пакетом бутылок под мышкой, при этом юноша сидел перед мольбертом, а его (Дриоли) жена стояла посреди комнаты, позируя художнику.

— Сегодня мы будем веселиться, — сказал он. — Устроим небольшой праздник втроем.

— А что мы будем праздновать? — спросил юноша, не поднимая глаз. — Может, то, что ты решил развестись с женой, чтобы она вышла замуж за меня?

— Нет, — отвечал Дриоли. — Сегодня мы отпразднуем то, что мне удалось заработать кучу денег.

— А вот я пока ничего не заработал. Это тоже можно отметить.

— Конечно, если хочешь.

Дриоли стоял возле стола, раскрывая пакет. Он чувствовал себя усталым, и ему хотелось скорее выпить вина. Девять клиентов за день — очень хорошо, но с глазами это может сыграть злую шутку. Раньше у него никогда не было девяти человек за день. Девять пьяных солдат, и — что замечательно — целых семеро смогли расплатиться наличными. В результате он разбогател невероятно. Но напряжение было очень велико. Дриоли от усталости прищурил глаза, белки которых были испещрены красными прожилками, а за глазами яблоками будто что-то ныло. Но наконец-то наступил вечер, он чертовски богат, а в пакете три бутылки — одна для его жены, вторая для друга, а третья для него самого. Он отыскал штопор и принялся откупоривать бутылки, при этом каждая пробка, вылезая из горлышка, негромко хлопала.

Юноша отложил кисть.

— О господи! — произнес он. — Да разве при таком шуме можно работать?

Девушка подошла к картине. Приблизился к картине и Дриоли, держа в одной руке бутылку, в другой — бокал.

— Нет! — вскричал юноша, неожиданно вскипев. — Пожалуйста, не подходите!

Он схватил холст с мольберта и поставил его к стене. Однако Дриоли успел кое-что разглядеть.

— А мне нравится.

— Это ужасно.

— Замечательно. Как и все, что ты делаешь, это замечательно. Мне все твои картины нравятся.

— Вся беда в том, — хмурясь, проговорил юноша, — что сыт ими не будешь.

— И все же они замечательны.

Дриоли протянул ему полный бокал светло-желтого вина.

— Выпей, — сказал он. — Это тебя взбодрит.

Никогда еще, подумал он, не приходилось ему видеть ни более несчастного человека, ни более мрачного лица. Он встретил юношу в кафе месяцев семь назад, тот сидел и пил в одиночестве, и, поскольку он был похож то ли на русского, то ли на выходца из Азии, Дриоли подсел к нему и заговорил:

— Вы русский?

— Да.

— Откуда?

— Из Минска.

Дриоли вскочил с места и обнял его, громко заявив, что он и сам родился в этом городе.

— Вообще-то, я родился не в Минске, — сказал тогда юноша, — а недалеко от него.

— Где же?

— В Смиловичах, милях в двенадцати от Минска.

— Смиловичи! — воскликнул Дриоли, снова обнимая его. — Мальчиком я бывал там несколько раз.

Потом он снова уселся, с любовью глядя в лицо своему собеседнику.

— Знаешь, — продолжал он, — а ты не похож на русских, живущих на Западе. Ты больше похож на татарина или на калмыка. Да, ты самый настоящий калмык.

Теперь, в студии, Дриоли снова посмотрел на юношу, который взял у него бокал с вином и осушил его залпом. Да, точно, лицо у него как у калмыка — широкоскулое, с широким крупным носом. Широкоскулость подчеркивалась и ушами, которые торчали в разные стороны. И еще у него были узкие глаза, черные волосы, толстые губы калмыка, но вот руки — руки юноши всегда удивляли Дриоли: такие тонкие и белые, как у женщины, с маленькими тонкими пальцами.

— Налей-ка еще, — сказал юноша. — Праздновать так праздновать.

Дриоли разлил вино по бокалам и уселся на стул. Юноша опустился на дряхлую кушетку рядом с женой Дриоли. Бутылки стояли на полу.

— Сегодня будем пить сколько влезет, — проговорил Дриоли. — Я исключительно богат. Пожалуй, схожу и куплю еще несколько бутылок. Сколько еще взять?

— Шесть, — сказал юноша. — По две на каждого.

— Отлично. Сейчас принесу.

— Я схожу с тобой.

В ближайшем кафе Дриоли купил шесть бутылок белого вина, и они вернулись в студию. Они расставили бутылки на полу в два ряда, и Дриоли откупорил их, после чего все снова расселись и продолжали выпивать.

— Только очень богатые люди, — сказал Дриоли, — могут позволить себе развлекаться таким образом.

- Верно, — сказал юноша. — Ты тоже так думаешь, Жози?
- Разумеется.
- Как ты себя чувствуешь, Жози?
- Превосходно.
- Бросай Дриоли и выходи за меня.
- Нет.
- Прекрасное вино, — сказал Дриоли. — Одно удовольствие его пить.

Они стали медленно и методично напиваться. Дело привычное, и вместе с тем всякий раз требовалось соблюдать некий ритуал, сохранять серьезность и притом что-то говорить, а потом повторять сказанное и хвалить вино. А еще важно было не торопиться, чтобы насладиться тремя восхитительными переходными периодами, особенно (как считал Дриоли) тем из них, когда начинаешь плыть и ноги отказываются тебе служить. Это был лучший период из всех — смотришь на свои ноги, а они так далеко, что просто диву даешься, какому чудаку они могут принадлежать и почему это валяются там, на полу.

Спустя какое-то время Дриоли поднялся, чтобы включить свет. Он с удивлением обнаружил, что ноги его пошли вместе с ним, а особенно странно было то, что он не чувствовал, как они касаются пола. Появилось приятное ощущение, будто он шагает по воздуху. Тогда он принялся ходить по комнате, тайком поглядывая на холсты, расставленные вдоль стен.

- Послушай, — сказал наконец Дриоли. — У меня идея.
- Он пересек комнату и остановился перед кушеткой, покачиваясь.
- Послушай, мой маленький калмык.
 - Что там у тебя еще?
 - Отличная идея. Да ты меня слушаешь?
 - Я слушаю Жози.
 - Прошу тебя, выслушай меня. Ты мой друг — мой безобразный маленький калмык из Минска, а кроме того, ты такой хороший художник, что мне бы хотелось иметь твою картину, прекрасную картину...
 - Забирай все. Бери все, что хочешь, только не мешай мне разговаривать с твоей женой.
 - Нет-нет, ты только послушай. Мне нужна такая картина, которая всегда была бы со мной... всюду... куда бы я ни поехал... что бы ни случилось... чтобы эта твоя картина была со мной всегда...

Он наклонился к юноше и стиснул его колено.

— Выслушай же меня, прошу тебя.

— Да дай ты ему сказать, — произнесла молодая женщина.

— Вот какое дело... Напиши картину на моей спине, прямо на коже. А потом нанеси татуировку на то, что написал, чтобы картина всегда была со мной.

— Ну и идеи тебе приходят в голову!

— Я научу тебя, как татуировать. Это просто. С этим и ребенок справится.

— Я не ребенок.

— Прощу тебя...

— Да ты совсем спятил. Зачем тебе это нужно? — Художник заглянул в его темные, блестящие от вина глаза. — Объясни, ради бога, зачем тебе это нужно?

— Тебе же это ничего не стоит! Ничего! Совсем ничего!

— Ты о татуировке говоришь?

— Да, о татуировке! Я научу тебя в две минуты!

— Это невозможно!

— Думаешь, я не понимаю, о чем говорю?

Нет, этого у молодого человека и в мыслях не было. Если кто и смыслил что-нибудь в татуировке, так это он, Дриоли. Не он ли не далее как в прошлом месяце разукрасил весь живот одного парня изумительным и тонким узором из цветов? А взять того клиента, с волосатой грудью, которому он нарисовал гималайского медведя, да так, что волосы на его груди стали как бы мехом животного? Не он ли мог нарисовать на руке женщину, да так, что, когда мускулы руки были напряжены, дама оживала и изгибалась самым удивительным образом?

— Одно тебе скажу, — заметил ему юноша, — ты пьян, и эта твоя идея — пьяный бред.

— Жози могла бы нам попозировать. Представляешь — портрет Жози на моей спине! Разве я не имею права носить на спине портрет жены?

— Портрет Жози?

— Ну да.

Дриоли знал — стоит только упомянуть жену, как толстые коричневые губы юноши отвиснут и задрожат.

— Нет, — сказала девушка.

— Жози, дорогая, прошу тебя. Возьми эту бутылку и прикончи ее, тогда станешь более великодушной. Это же великолепная идея. Никогда в жизни мне не приходило в голову ничего подобного.

— Что еще за идея?

— Нарисовать твой портрет на моей спине. Разве я не имею права на это?

— Мой портрет?

— Нью, — сказал юноша. — Тогда согласен.

— Ну уж нет, только не это, — отрезала молодая женщина.

— Отличная идея, — повторил Дриоли.

— Идея просто безумная, — сказала Жози.

— Идея как идея, — заметил юноша. — И за нее можно выпить.

Они распили еще одну бутылку. Потом юноша сказал:

— Ничего не выйдет. С татуировкой у меня ничего не получится. Давай лучше я просто нарисую ее портрет на твоей спине, и носи его сколько хочешь, пока не примешь ванну. А не будешь больше никогда мыться, так он всегда будет с тобой, до конца твоих дней.

— Нет, — сказал Дриоли.

— Да. И в тот день, когда ты решишь принять ванну, я буду знать, что больше ты не дорожишь моей картиной. Пусть для тебя это будет испытанием — ценишь ли ты мое искусство.

— Мне все это не нравится, — сказала молодая женщина. — Он так высоко ценит твое искусство, что не будет мыться много лет. Пусть уж лучше будет татуировка. Но обнаженной позировать не буду.

— Пусть тогда будет одна голова, — сказал Дриоли.

— У меня ничего не получится.

— Да это же невероятно просто. Я берусь обучить тебя за две минуты. Вот увидишь. Сейчас сбегая за инструментами. Иглы и тушь — вот и все, что нам нужно. У меня есть тушь самых разных цветов — столько же, сколько у тебя красок, но несравненно более красивых...

— Повторяю — это невозможно.

— У меня есть самые разные цвета. Правда, Жози?

— Правда.

— Вот увидишь, — сказал Дриоли. — Сейчас принесу.

Он поднялся со стула и вышел из комнаты нетвердой, но решительной походкой.

Спустя полчаса Дриоли вернулся.

— Я принес все, что нужно! — воскликнул он, размахивая коричневым чемоданчиком. — Здесь все необходимое для татуировщика.

Он поставил чемоданчик на стол, раскрыл его и вынул машинку и флакончики с тушью разных цветов. Включив машинку в сеть, он щелкнул выключателем. Послышалось гудение, и игла, выступавшая на четверть дюйма с одного конца, начала быстро ходить вверх-вниз. Он скинул пиджак и засучил рукава.

— Теперь смотри. Следи за мной, я покажу тебе, как все просто. Сначала нарисую что-нибудь на своей руке.

Вся его рука, от кисти до локтя, была уже покрыта разными синими рисунками, однако ему удалось найти маленький участок кожи для демонстрации своего искусства.

— Прежде всего я выбираю тушь — возьмем обыкновенную, синюю... окунаю кончик иглы в тушь... так... держу иглу прямо и осторожно веду ее по поверхности кожи... вот так... и под действием небольшого моторчика и электричества игла скачет вверх-вниз и прокалывает кожу, чернила попадают в нее, вот и все. Видишь, как все просто... вот смотри, я нарисовал на руке собаку...

Юноша заинтересовался.

— Ну-ка, дай попробую. На тебе.

Гудящей иглой он принялся наносить синие линии на руке Дриоли.

— И правда просто, — сказал он. — Все равно что рисовать чернилами. Разницы никакой, разве что так медленнее.

— Я же говорил — ничего здесь трудного нет. Так ты готов? Начнем?

— Немедленно.

— Натурщицу! — крикнул Дриоли. — Жози, иди сюда!

Он засуетился, охваченный энтузиазмом, и, пошатываясь, принялся расхаживать по комнате, делая разные приготовления, точно ребенок в предвкушении какой-то захватывающей игры.

— Где она будет стоять?

— Пусть стоит там, возле моего туалетного столика. Пусть причесывается. Хорошо, если бы она распустила волосы и причесывалась — так я ее и нарисую.

— Грандиозно. Ты гений.

Молодая женщина нехотя подошла к туалетному столику с бокалом вина в руке.

Дриоли стащил с себя рубашку и вылез из брюк. На нем остались только трусы, носки и ботинки. Он стоял и покачивался из стороны в сторону; он был хотя и невысок ростом, но крепкого сложения, а кожа у него была белая, почти лишенная растительности.

— Итак, — сказал он, — я — холст. Куда ты поставишь свой холст?

— Как всегда — на мольберт.

— Не валяй дурака. Холст ведь я.

— Ну так и становись на мольберт. Там твое место.

— Это как же?

— Так ты холст или не холст?

— Холст. Уже начинаю чувствовать себя холстом.

— Тогда становись на мольберт. Для тебя это должно быть делом привычным.

— Честное слово, это невозможно.

— Ладно, тогда садись на стул. Спиной ко мне, а свою пьяную башку положи на спинку стула. Да поживее, мне не терпится начать.

— Я готов.

— Сначала, — сказал юноша, — я сделаю набросок. Потом, если он меня устроит, займусь татуировкой.

Он принялся водить широкой кистью по голой спине Дриоли.

— Эй! — закричал Дриоли. — У меня по спине бегают огромная сороконожка!

— Сиди спокойно! Не двигайся!

Юноша работал быстро, накладывая краску тонким слоем, чтобы потом она не мешала татуировке. Едва приступив к рисованию, он так увлекся, что, казалось, протрезвел. Он наносил мазки быстрыми движениями, при этом рука от кисти до локтя не двигалась, и не прошло и полчаса, как все было закончено.

— Вот и все, — сказал он Жози, которая тотчас же вернулась на кушетку, легла на нее и заснула.

А вот Дриоли не спал. Он следил за тем, как юноша взял иглу и окунул ее в тушь; потом он почувствовал острое щекочущее жжение, когда игла коснулась кожи на его спине. Заснуть ему не давала боль — неприятная, но терпимая. Дриоли развлекал себя,

стараясь представить, что делается у него за спиной. Юноша работал с невероятным напряжением. Судя по всему, он был полностью поглощен работой инструмента и тем необычным эффектом, который тот производил.

Наступила полночь, но игла жужжала, и юноша все работал. Дриоли вспомнил, что, когда художник наконец отступил на шаг и произнес: «Готово», за окном уже рассвело и слышно было, как на улице переговаривались прохожие.

— Я хочу посмотреть, — сказал Дриоли.

Юноша взял зеркало, повернул его под углом, и Дриоли вытянул шею.

— Боже мой! — воскликнул он.

Зрелище было потрясающее. Вся спина, от плеч до основания позвоночника, горела красками — золотистыми, зелеными, голубыми, черными, розовыми. Татуировка была такой густой, что казалось, портрет написан маслом. Юноша старался как можно ближе следовать мазкам кисти, густо заполняя их, и удачно сумел воспользоваться выступом лопаток, так что и они стали частью композиции. Более того, хотя работал он медленно, ему каким-то образом удалось передать свой стиль. Портрет получился вполне живой, в нем явно просматривалась вихреобразная, выстрадавшая манера, столь характерная для других работ Сутина. Ни о каком сходстве речи не было. Скорее было передано настроение, а не сходство; очертания лица женщины были расплывчаты, хотя само лицо обнаруживало пьяную веселость, а на заднем плане кружились в водовороте темно-зеленые мазки.

— Грандиозно!

— Мне и самому нравится.

Юноша отступил, критически разглядывая картину.

— Знаешь, — прибавил он, — вышло и вправду недурно — можно и подписать.

И, взяв машинку, он в правом нижнем углу вывел жужжащей иглой свое имя, как раз над почками Дриоли.

И вот старик, которого звали Дриоли, стоял точно замороженный, разглядывая картину, выставленную в витрине. Это было так давно, будто произошло в другой жизни.

А что же юноша? Что случилось с ним? Он вспомнил, что, вернувшись с войны — первой войны, — он затосковал по нему и спросил у Жози:

— А где мой маленький калмык?

— Уехал, — ответила она тогда. — Не знаю куда, но слышала, будто его нанял какой-то меценат и услав в Серэ писать картины.

— Может, еще вернется.

— Может, и вернется. Кто знает...

Тогда о нем вспомнили в последний раз. Вскоре после этого они перебрались в Гавр, где было больше матросов и работы. Старик улыбнулся, вспомнив Гавр. Эти годы между войнами были отличными годами: у него была небольшая мастерская недалеко от порта, хорошая квартира и всегда много работы — каждый день приходили трое, четверо, пятеро матросов, желавших изобразить что-нибудь на руке. Это были действительно отличные годы.

Потом разразилась вторая война, явились немцы, Жози убили, и всему пришел конец. Татуировки больше никому были не нужны. А он к тому времени стал слишком стар, чтобы делать что-нибудь еще. В отчаянии он отправился назад в Париж, смутно надеясь на то, что в этом большом городе ему повезет. Однако этого не произошло.

И вот война закончилась, а у него нет ни сил, ни средств, чтобы снова приняться за свое ремесло. Не очень-то просто старику найти себе занятие, особенно если он не любит попрошайничать. Но что еще остается, если не хочешь помереть с голоду?

Так-так, думал он, глядя на картину. Значит, это работа моего маленького калмыка. И как при виде ее оживает память! Еще несколько минут назад он и не помнил, что у него расписана спина. Он уже давным-давно позабыл об этом. Придвинувшись поближе к витрине, он заглянул в галерею. На стенах было развешено много других картин, и, похоже, все они были работами одного художника. По галерее бродило много людей. Наверное, это была персональная выставка.

Повинуясь внезапному побуждению, Дриоли распахнул дверь галереи и вошел внутрь.

Он оказался в длинном помещении, на полу лежал толстый ковер цвета красного вина, и — боже мой! — как же здесь красиво и тепло! Вокруг, рассматривая картины, бродили люди — холеные, с достоинством державшиеся, и у каждого в руке был каталог. Дриоли стоял в дверях, нервно озираясь, соображая, хватит ли у него решимости двинуться вперед и смешаться с этой толпой. Но не успел он набраться смелости, как за его спиной раздался голос:

— Что вам угодно?

Это спросил коренастый человек в черной визитке с очень белым лицом, дряблым и таким толстым, что щеки свисали складками, как уши у спаниеля. Он подошел вплотную к Дриоли и снова спросил:

— Что вам угодно?

Дриоли молчал.

— Будьте любезны, — говорил человек, — потрудитесь выйти из моей галереи.

— Разве мне нельзя посмотреть картины?

— Я прошу вас выйти.

Дриоли не двинулся с места. Неожиданно он почувствовал прилив ярости.

— Давайте не будем устраивать скандал, — говорил человек. — Сюда, пожалуйста.

Он положил свою жирную белую лапу на руку Дриоли и начал подталкивать его к двери.

Этого Дриоли стерпеть не мог.

— Убери от меня свои чертовы руки! — крикнул он.

Его голос разнесся по длинной галерее, и все повернулись в его сторону. Испуганные лица глядели на того, кто произвел этот шум. Какой-то служитель поспешил на помощь, и вдвоем с хозяином они попытались выставить Дриоли за дверь. Люди молча наблюдали за борьбой, их лица почти не выражали интереса, и, казалось, они думали про себя: «Все в порядке. Никакой опасности нет. Сейчас все уладят».

— У меня тоже, — кричал Дриоли, — у меня тоже есть картина этого художника! Он был моим другом, и у меня есть картина, которую он мне подарил!

— Сумасшедший.

— Ненормальный. Чокнутый.

— Нужно вызвать полицию.

Сделав резкое движение, Дриоли неожиданно вырвался из рук двоих мужчин, и не успели они остановить его, как он уже бежал по галерее и кричал:

— Я вам сейчас ее покажу! Сейчас покажу! Сейчас сами увидите!

Он скинул пальто, потом пиджак и рубашку и повернулся к людям спиной.

— Ну что? — закричал он, часто дыша. — Видите? Вот она!

Внезапно наступила полная тишина. Все замерли на месте, молча, в каком-то оцепенении разглядывая татуировку на его спине. Она еще не сошла, и цвета были по-прежнему яркие, однако старик похудел, лопатки выступили, и в результате картина не производила столь сильного бывшего впечатления и казалась какой-то сморщенной и мятой.

Кто-то произнес:

— О господи, да ведь он прав!

Все тотчас пришли в движение, поднялся гул голосов, и вокруг старика мгновенно собралась толпа.

— Да, тут никакого сомнения!

— Его ранняя манера, не так ли?

— Просто удивительно!

— Смотрите-ка — она еще и подписана!

— Ну-ка, наклонитесь вперед, друг мой, дайте картине расправиться.

— Вроде старая, когда она была написана?

— В тысяча девятьсот тринадцатом, — ответил Дриоли, не оборачиваясь. — Осенью.

— Кто научил Сутина татуировке?

— Я.

— А кто эта женщина?

— Моя жена.

Владелец галереи протискивался сквозь толпу к Дриоли. Теперь он был спокоен, совершенно серьезен и вместе с тем улыбался во весь рот.

— Мсье, — сказал он. — Я ее покупаю.

Дриоли увидел, как складки жира на лице хозяина заколыхались, когда тот задвигал челюстями.

— Я говорю, покупаю ее.

— Как же вы можете ее купить? — мягко спросил Дриоли.

— Я дам вам за нее двести тысяч франков.

Маленькие глазки торговца затуманились, а крылья широкого носа начали подрагивать.

— Не соглашайтесь! — шепотом проговорил кто-то в толпе. — Она стоит в двадцать раз больше.

Дриоли раскрыл было рот, собираясь что-то сказать. Но ему не удалось выдать из себя ни слова, и он закрыл его. Потом снова раскрыл и медленно произнес:

— Но как же я могу продать ее?

В его голосе прозвучала безысходная печаль.

— Вот именно! — заговорили в толпе. — Как он может продать ее? Это же часть его самого!

— Послушайте, — сказал владелец галереи, подходя к нему ближе. — Я помогу вам. Я сделаю вас богатым. Мы ведь сможем договориться насчет этой картины, а?

Дриоли глядел на него, предчувствуя недоброе.

— Но как же вы можете купить ее, мсье? Что вы с ней станете делать, когда купите? Где будете ее хранить? Куда поместите ее сегодня? А завтра?

— Ага, где я буду ее хранить? Да, где я буду ее хранить? Так, где же я буду ее хранить? Гм... так...

Галерист почесал свой нос жирным белым пальцем.

— Мне так кажется, — сказал он, — что если я покупаю картину, то я покупаю и вас. В этом вся беда.

Он помолчал и снова почесал свой нос.

— Сама картина не представляет никакой ценности, пока вы живы. Сколько вам лет, друг мой?

— Шестьдесят один.

— Но здоровье у вас, кажется, не очень-то крепкое, так ведь?

Галерист отнял руку от своего носа и смерил Дриоли взглядом, точно фермер, оценивающий старую клячу.

— Мне все это не нравится, — отходя бочком, сказал Дриоли. — Правда, мсье, мне это не нравится.

Пятясь, он попал прямо в объятия высокого мужчины, который расставил руки и мягко обхватил его за плечи. Дриоли оглянулся и извинился. Мужчина улыбнулся ему и рукой, затянутой в перчатку канареечного цвета, ободряюще похлопал старика по голому плечу.

— Послушайте, дружище, — сказал незнакомец, продолжая улыбаться. — Вы любите купаться и греться на солнышке?

Дриоли испуганно взглянул на него.

— Вы любите хорошую еду и знаменитое красное вино из Бордо?

Мужчина все улыбался, обнажив крепкие белые зубы с проблеском золота. Он говорил мягким завораживающим голосом, не снимая при этом руки в перчатке с плеча Дриоли.

— Вам все это нравится?

— Ну... да, — недоумевая, ответил Дриоли. — Конечно.

— А общество красивых женщин?

— Почему бы и нет?

— А гардероб, полный костюмов и рубашек, сшитых специально для вас? Кажется, вы испытываете некоторую нужду в одежде.

Дриоли смотрел на этого щеголеватого господина, ожидая, когда тот изложит свое предложение до конца.

— Вы когда-нибудь носили обувь, сделанную по вашей мерке?

— Нет.

— А хотели бы?

— Видите ли...

— А чтобы вас каждое утро брили и причесывали?

Дриоли смотрел на него во все глаза и ничего не говорил.

— А чтобы пухленькая симпатичная девушка ухаживала за вашими ногтями?

Кто-то в толпе захихикал.

— А чтобы возле вашей постели был колокольчик, с помощью которого вы утром вызывали бы служанку и велели ей принести вам завтрак? Хотели бы вы все это иметь, дружище? Вам это кажется заманчивым?

Дриоли молча смотрел на него.

— Видите ли, я владелец гостиницы «Бристоль» в Каннах. И я приглашаю вас поехать туда и жить там в качестве моего гостя до конца жизни в удобстве и комфорте.

Человек помолчал, дав возможность своему слушателю сполна насладиться столь радостной перспективой.

— Единственной вашей обязанностью — могу я сказать — удовольствием?... будет... проводить время на берегу в плавках, расхаживая среди гостей, загорая, купаясь, попивая коктейли. Вы бы хотели этого?

Ответа не последовало.

— Ну как вы не поймете — все гости таким образом смогут рассматривать удивительную картину Сутина. Вы станете знаменитым, и о вас будут говорить: «Глядите-ка, вон тот человек с десятком миллионами франков на спине». Вам нравится эта идея, мсье? Вам это льстит?

Дриоли взглянул на высокого мужчину в перчатках канареечного цвета, по-прежнему не понимая, шутит он или нет.

— Идея забавная, — медленно произнес он. — Но вы серьезно об этом говорите?

— Разумеется, серьезно.

— Пойдите, — вмешался галерист. — Послушайте меня, старина. Вот как мы разрешим нашу проблему. Я куплю картину и договорюсь с хирургом, чтобы он снял кожу с вашей спины, а вы сможете идти на все четыре стороны и тратить в свое удовольствие те громадные деньги, которые я вам за нее дам.

— Без кожи на спине?

— Нет-нет, что вы! Вы меня неправильно поняли. Хирург заменит вам старую кожу на новую. Это просто.

— А он сможет это сделать?

— Здесь нет ничего сложного.

— Это невозможно! — сказал человек в перчатках канареечного цвета. — Он слишком стар для такой обширной пересадки кожи. Его это погубит. Это погубит вас, дружище.

— Погубит?

— Естественно. Вы этого не перенесете. Только картине ничего не сделается.

— О господи! — вскричал Дриоли.

Ужас охватил его; он окинул взором лица людей, наблюдавших за ним, и в наступившей тишине из толпы послышался еще чей-то негромкий голос:

— А если бы, скажем, предложить этому старику достаточно денег, он, может, согласится прямо на месте покончить с собой. Кто знает?

Несколько человек хихикнули. Галерист беспокойно переступил с ноги на ногу.

Рука в перчатке канареечного цвета снова похлопала Дриоли по плечу.

— Решайтесь, — говорил мужчина, широко улыбаясь белозубой улыбкой. — Пойдемте закажем хороший обед и еще немного поговорим. Ну так как? Вы, верно, голодны?

Нахмурившись, Дриоли смотрел на него. Ему не нравилась длинная шея этого человека и не нравилось, как он выгибал ее при разговоре, точно змея.

— Как насчет жареной утки и бутылочки «Шамбертэна»? — говорил мужчина. Он сочно, с аппетитом выговаривал слова. — Или, допустим, каштанового суфле, легкого и воздушного?

Дриоли обратил свой взор к потолку, его губы увлажнились и отвисли. Видно было, что бедняга буквально распустил слюни.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

— Какую вы предпочитаете утку? — продолжал мужчина. — Чтобы она была хорошо прожарена и покрыта хрустящей корочкой или...

— Иду, — быстро проговорил Дриоли. Он схватил рубашку и лихорадочно натянул ее через голову. — Подождите меня, мсье. Я иду.

И через минуту он исчез из галереи вместе со своим новым хозяином.

Не прошло и нескольких недель, как картина Сутина, изображающая женскую голову, исполненная в необычной манере, оправленная в замечательную раму и густо покрытая лаком, была выставлена для продажи в Буэнос-Айресе. Это наводит на размышления, как и то, что в Каннах нет гостиницы под названием «Бристоль». Вместе с тем не остается ничего другого, как пожелать старику здоровья и искренне понадеяться на то, что, где бы он ни был в настоящее время, при нем состоят пухленькая симпатичная барышня, которая ухаживает за его ногтями, и служанка, приносящая ему по утрам завтрак в постель.

ЯД

Было, наверное, около полуночи, когда я возвращался домой. У самых ворот бунгало я выключил фары, чтобы свет не попал в окно спальни и не потревожил спящего Гарри Поупа. Однако беспокойство было напрасным. Подъехав к дому, я увидел, что у него горит свет — Гарри наверняка еще не спал, если только не заснул с книгой в руках.

Я поставил машину и поднялся по лестнице на веранду, внимательно пересчитывая в темноте каждую ступеньку — всего их было пять, — чтобы нечаянно не ступить лишний раз, потом открыл дверь с сеткой, вошел в дом и включил в прихожей свет. Подойдя к двери комнаты Гарри, я тихонько открыл ее и заглянул к нему.

Он лежал на кровати и не спал. Однако он не пошевелился, даже не повернул голову в мою сторону, а только тихо произнес:

— Тимбер, Тимбер, иди сюда.

Я распахнул дверь и быстро вошел в комнату.

— Остановись. погоди минутку, Тимбер.

Я с трудом разбирал, что он говорит. Казалось, каждое слово стоило ему огромных усилий.

— Что случилось, Гарри?

— Тсс! — прошептал он. — Тсс! Тише, умоляю тебя. Сними ботинки и подойди ближе. Прошу тебя, Тимбер, делай так, как я говорю.

Я вспомнил Джорджа Барлинга, который, получив пулю в живот, прислонился к ящику с самолетным двигателем, схватился за живот обеими руками и при этом что-то говорил вслед немецкому летчику тем же хриплым шепотом, каким сейчас обращался ко мне Гарри.

— Быстрее, Тимбер, но сначала снимите ботинки.

Я не мог понять, зачем нужно снимать их, но подумал, что если он болен — а судя по голосу, так оно и было, — то лучше выполнить

его волю, поэтому нагнулся, снял ботинки и оставил их посреди комнаты. После этого я подошел к кровати.

— Не притрагивайся к постели! Ради бога, не притрагивайся к постели!

Он лежал на спине, накрытый лишь одной простыней, и продолжал говорить так, будто был ранен в живот. Пижама в голубую, коричневую и белую полоску вся взмокла, он обливался потом. Ночь была душная, я и сам вспотел, но не так, как Гарри. Лицо его было мокрым, подушка вокруг головы пропиталась потом. Я решил, что его сразила малярия.

— Что с тобой, Гарри?

— Крайт¹, — ответил он.

— Крайт? О господи! Он тебя укусил? Когда?

— Помолчи, — прошептал он.

— Послушай, Гарри, — сказал я и, наклонившись к нему, коснулся его плеча. — Нужно действовать быстро. Ну же, говори скорее, куда он тебя укусил.

Он по-прежнему не двигался и был напряжен, точно крепился, дабы не закричать от острой боли.

— Он не укусил меня, — прошептал он. — Пока не укусил. Он лежит у меня на животе. Лежит себе и спит.

Я быстро отступил на шаг и невольно перевел взгляд на его живот, или, лучше сказать, на простыню, которая закрывала его. Простыня в нескольких местах смялась, и невозможно было понять, что под нею.

— Ты правду говоришь, прямо сейчас на твоём животе лежит крайт?

— Клянусь.

— Как он там оказался?

Глупый вопрос, потому что, конечно, Гарри не валял дурака. Лучше было попросить его помолчать.

— Я читал. — Гарри заговорил медленно, с расстановкой, выдавливая из себя слова и стараясь не двигать мышцами живота. — Лежал на спине и читал и вдруг почувствовал что-то на груди, за книгой. Будто меня кто-то щекочет. Потом краем глаза увидел крайта, он полз по пижаме. Небольшого, дюймов десять. Я понял,

¹ Род змей. Наиболее известен ленточный крайт длиной до 180 сантиметров.

что лучше мне не шевелиться. Да и не мог я это сделать. Просто лежал и смотрел на него. Думал, что он проползет по простыне.

Гарри умолк и несколько минут не произносил ни слова. Взгляд его скользнул по простыне к тому месту, где она прикрывала живот, и я понял, что он хотел убедиться, не потревожил ли его шепот того, кто там лежал.

— Там была складка, — проговорил он еще медленнее и так тихо, что я вынужден был наклониться. — Видишь, вот она. В нее он и забрался. Я чувствовал, как он ползет по пижаме к животу. Потом он перестал ползти и теперь лежит там в тепле. Наверное, спит. Я тебя уже давно жду.

Он поднял глаза и посмотрел на меня.

— Как давно?

— Уже несколько часов, — прошептал он. — Уже несколько, черт побери, часов. Я не могу больше лежать неподвижно. Мне хочется откашляться.

В том, что Гарри говорит правду, не приходилось сомневаться. Вообще-то, на крайтов это похоже. Они ползают вокруг человеческих жилищ и любят тепло. Странно только то, что змея до сих пор не укусила Гарри, а укус у нее смертельный. Ежегодно в Бенгалии, главным образом в деревнях, крайты убивают довольно много людей.

— Хорошо, Гарри, — заговорил я тоже шепотом. — Не двигайся и ничего больше не говори без надобности. Ты же знаешь — если его не пугать, он не укусит. Сейчас мы что-нибудь придумаем.

Неслышно ступая, я вышел из комнаты, взял на кухне острый ножик и положил его в карман брюк на случай, если что-то произойдет, пока мы обдумываем план действий. Вдруг Гарри кашляет, пошевелится или сделает что-нибудь такое, что испугает змею и она его укусит, тогда я надрежу место укуса и высосу яд. Я вернулся в спальню. Гарри по-прежнему был недвижим, и пот струился по его лицу. Он следил за тем, как я иду по комнате к кровати, ему не терпелось узнать, что я затеял. Я остановился возле него в раздумье.

— Гарри, — зашептал я, почти касаясь губами его уха, — лучшее, что я могу сделать, — это очень осторожно стянуть с тебя простыню. А там посмотрим. Мне кажется, я смогу это сделать, не потревожив змею.

— Не будь идиотом.

Голос его прозвучал бесстрастно. Каждое слово он произносил медленно и осторожно, и фраза не прозвучала грубо.

— Но почему?

— Она испугается света.

— Тогда, может быть, быстро сдернуть простыню и сбросить змею, прежде чем она успеет укусить?

— Почему бы тебе не пригласить врача? — спросил Гарри.

Его взгляд выражал то, о чем я бы и сам мог догадаться.

— Врача? Ну конечно. Вот именно. Сейчас вызову Гандербая.

Я на цыпочках вышел в прихожую, разыскал в телефонной книге номер Гандербая и попросил телефонистку побыстрее соединить меня с ним.

— Доктор Гандербай? — сказал я. — Это Тимбер Вудс.

— Хэлло, мистер Вудс. Вы еще не спите?

— Послушайте, не могли бы вы немедленно приехать? И захватите змеиную сыворотку.

— Кто укушен?

Вопрос был задан так резко, будто у меня выстрелили над самым ухом.

— Никто. Пока никто. Гарри Поуп в постели, а на животе у него лежит змея и спит — прямо под простыней.

Секунды три в трубке молчали. Потом медленно и отчетливо Гандербай произнес:

— Передайте ему, чтобы он не шевелился. Он не должен ни двигаться, ни разговаривать. Вы понимаете?

— Разумеется.

— Сейчас буду!

Он положил трубку, и я отправился назад, в спальню. Гарри следил за тем, как я приближаюсь к нему.

— Гандербай сейчас приедет. Он сказал, чтобы ты не шевелился.

— А что он, черт побери, думает, я тут делаю?

— Слушай, Гарри, и еще он сказал, чтобы ты не разговаривал. Вообще не разговаривал. Да и я тоже.

— Почему бы тебе тогда не заткнуться?

Пока он говорил, уголок его рта быстро дергался, и продолжалось это, даже когда он замолчал. Я достал платок и очень осторожно вытер пот на его лице и шее, чувствуя, как под моими пальцами подергивается та мышца, которая служит для выражения улыбки.

Я выскользнул на кухню, достал лед из морозилки, завернул его в салфетку и принялся разбивать на мелкие кусочки. Мне не нравилось, что у него дергается уголок рта. Да и то, как он разговаривал, мне тоже не нравилось. Я вернулся в спальню и положил на лоб Гарри мешочек со льдом.

— Так тебе будет лучше.

Он сощурил глаза и, не раскрывая рта, резко втянул в себя воздух.

— Убери, — прошептал он. — У меня от этого начинается кашель. — Мышца снова задергалась.

По комнате скользнул луч света. Это Гандербай свернул на своей машине к бунгалу. Я вышел встретить его с мешочком льда в руках.

— Как дела? — спросил Гандербай и, не дожидаясь ответа, прошествовал мимо меня; он прошел через веранду, толкнул дверь с сеткой и ступил в прихожую. — Где он? В какой комнате?

Оставив чемоданчик на стуле, он последовал за мной в комнату Гарри. На нем были мягкие тапочки, и передвигался он бесшумно и мягко, как осторожный кот. Скопив глаза, Гарри наблюдал за ним. Дойдя до кровати, Гандербай посмотрел на него сверху и улыбнулся со спокойной уверенностью, кивком дав Гарри понять, что дело тут простое и не о чем беспокоиться, а нужно лишь положиться на доктора Гандербая. Затем он повернулся и вышел в прихожую, а я последовал за ним.

— Прежде всего попытаемся ввести ему сыворотку, — сказал он и, раскрыв свой чемоданчик, занялся необходимыми приготовлениями. — Внутривенно. Но мне нужно быть осторожным. Он не должен дрогнуть.

Мы прошли на кухню, и он прокипятил иглу. Взяв в одну руку шприц, а в другую — небольшой пузырек, он проткнул резиновую пробку пузырька и начал набирать бледно-желтую жидкость. Потом протянул шприц мне:

— Держите его, пока он мне не понадобится.

Он взял чемоданчик, и мы вернулись в спальню. Глаза Гарри были широко раскрыты и блестели. Гандербай склонился над Гарри и очень осторожно, будто имел дело с кружевом работы шестнадцатого века, закатал ему до локтя рукав пижамы, не пошевелив руку. Он проделал все это, не касаясь кровати.

— Я сделаю вам укол, — прошептал он. — Это сыворотка. Вы почувствуете слабую боль, но постарайтесь не двигаться. Не напрягайте мышцы живота.

Гарри взглянул на шприц.

Гандербай достал из чемоданчика красную резиновую трубку и обмотал ею его руку выше локтя, затем крепко завязал трубку узлом. Протерев небольшой участок кожи спиртом, он протянул мне тампон и взял у меня шприц. Поднеся его к свету, он, сощурившись, выпустил вверх тоненькой струйкой какую-то часть желтой жидкости. Я стоял возле него и наблюдал. Гарри тоже не спускал с него глаз; лицо его блестело от пота, точно было намазано толстым слоем крема, который таял на коже и стекал на подушку.

Я видел, как на сгибе руки Гарри, стянутой жгутом, вздулась голубая вена, а потом увидел над веной иглу, причем Гандербай держал шприц почти параллельно руке, втыкая иглу через кожу в вену, втыкая медленно, но так уверенно, что она входила мягко, словно в сыр. Гарри закатил глаза, закрыл их, потом снова открыл, но не шелохнулся.

Когда все кончилось, Гандербай склонился над ним и приставил губы к уху Гарри.

— Даже если теперь она вас и укусит, все будет в порядке. Но только не двигайтесь. Прошу вас, не двигайтесь. Я сейчас вернусь.

Он взял свой чемоданчик и вышел в прихожую. Я последовал за ним.

— Теперь ему ничто не угрожает? — спросил я.

— Не совсем так.

— Но как же все-таки помочь ему?

Маленький врач-индиец молча покусывал нижнюю губу.

— Укол ведь должен хоть как-то защитит? — спросил я.

Он отвернулся и направился к дверям, выходящим на веранду. Я подумал было, что он собирается выйти из дома, но он остановился перед дверьми с сеткой и уставился в темноту.

— Сыворотка эффективная? — спросил я.

— К сожалению, не очень, — не оборачиваясь, ответил он. — Может, она подействует. А может, и нет. Я пытаюсь придумать что-нибудь другое.

— А что, если мы быстро сдернем простыню и сбросим змею на пол, прежде чем она успеет укусить его?

— Ни в коем случае! Мы не имеем права рисковать.

Голос его прозвучал резче обычного.

— Но ведь нельзя же ничего не делать, — сказал я. — Он начинает психовать.

— Пожалуйста! Прошу вас! — проговорил он, обернувшись и воздев руки. — Ради бога, потерпите. В таких случаях не действуют очертя голову.

Он вытер лоб платком и задумался, покусывая губу.

— Впрочем, — произнес он наконец, — есть один выход. Вот что мы сделаем — дадим этой твари наркоз.

Мысль показалась мне замечательной.

— Это небезопасно, — продолжил он, — потому что змея холоднокровное существо и наркоз не действует на них ни хорошо, ни быстро, но это лучшее, что можно сделать. Возьмем эфир... или хлороформ...

Он говорил медленно, вслух обдумывая свой замысел.

— Так на чем же мы остановимся?

— Хлороформ, — наконец произнес он. — Обычный хлороформ. Это лучше всего. А теперь — быстро за дело!

Он схватил меня за руку и потянул за собой на балкон.

— Поезжайте ко мне домой. Пока вы едете, я разбуду по телефону моего помощника, и он вам покажет шкафчик с ядами. Вот ключ от шкафчика. Возьмите бутылку с хлороформом. На ней оранжевая этикетка. Я останусь здесь на тот случай, если что-то произойдет. Поторапливайтесь же! Нет-нет, ботинки не надевайте!

Я быстро поехал к нему и минут через пятнадцать вернулся с хлороформом. Гандербай вышел из комнаты Гарри и встретил меня в прихожей.

— Привезли? — спросил он. — Отлично, отлично. Я ему только что рассказал, что мы собираемся сделать. Но теперь нам нужно спешить. Он уже порядком измучился. Боюсь, как бы он не пошевелился.

Он возвратился в спальню, и я последовал за ним, бережно неся бутылку. Гарри лежал на кровати все в той же позе, что и прежде, и пот ручьем стекал по его щекам. Лицо было бледным и мокрым. Он скосил глаза в мою сторону, и я улыбнулся и кивнул ему в знак поддержки. Он продолжал смотреть на меня. Я поднял вверх большой палец, давая понять, что все будет в порядке. Гарри закрыл глаза. Гандербай присел на корточки возле кровати; рядом с ним на полу лежала полая резиновая трубка, которую он ранее исполь-

зовал как жгут; к одному концу этой трубки он приделал небольшую бумажную воронку.

Потихоньку он начал вытаскивать край простыни из-под матраса. Гандербай находился прямо против живота Гарри, примерно в восемнадцати дюймах от него, и я следил за его пальцами, осторожно тянувшими край простыни. Он действовал так медленно, что почти невозможно было различить ни движение пальцев, ни то, как тянется простыня.

Наконец ему удалось немного приподнять простыню, и он просунул под нее резиновую трубку, так чтобы можно было протолкнуть ее по матрасу к телу Гарри. Не знаю, сколько ушло времени на то, чтобы просунуть трубку на несколько дюймов. Может, двадцать минут, а может, и сорок. Я так и не увидел, чтобы трубка двигалась, однако видимая ее часть становилась короче. Теперь и Гандербай вспотел, на лбу его и над верхней губой выступили большие капли пота. Однако руки его не дрожали, и я обратил внимание на то, что он следил не за трубкой, а за складками простыни на животе Гарри.

Не поднимая глаз, он протянул руку за хлороформом. Я отвернул плотно притертую стеклянную пробку и вложил бутылку в его руку, не отпуская ее до тех пор, пока не убедился, что он крепко держит ее. Затем он кивнул мне, чтобы я наклонился, и прошептал:

— Скажите ему, что матрас под ним сейчас станет мокрым и очень холодным. Он должен быть готов к этому и не должен двигаться. Скажите ему об этом сейчас же.

Я склонился над Гарри и передал ему это послание.

— Почему же он не начинает? — спросил Гарри.

— Сейчас он приступит, Гарри. Тебе будет очень холодно, так что приготовься.

— О господи, да начинайте же! — Он впервые возвысил голос, и Гандербай бросил на него недовольный взгляд, несколько секунд глядел на него, после чего продолжил свою работу.

Гандербай капнул немного хлороформа в бумажную воронку и подождал, пока он побежит по трубке. Затем он капнул еще немного, чуть-чуть выждал, и по комнате распространился тяжелый, тошнотворный запах хлороформа, неся с собой смутные воспоминания о сестрах в белых халатах, о хирургах, стоящих в выбеленной комнате вокруг длинного белого стола. Гандербай теперь лил жидкость непрерывной струей, и я видел, как тяжелые пары хлорофор-

ма медленно клубились над бумажной воронкой. Сделав паузу, он поднес пузырек к свету, налил еще одну полную воронку и протянул пузырек мне. Осторожно вытащив резиновую трубку из-под простыни, он поднялся.

Должно быть, вставить трубку и налить в нее хлороформ оказалось для него делом трудным, и я помню, что, когда Гандербай обернулся ко мне и шепотом заговорил, голос у него был слабый и усталый.

— Подождем пятнадцать минут. На всякий случай.

Я склонился над Гарри.

— На всякий случай мы подождем минут пятнадцать. Но ей, наверное, уже конец.

— Тогда почему, черт побери, вы не посмотрите и не убедитесь в этом?

Он снова заговорил громко, и Гандербай резко повернулся, при этом его маленькое смуглое лицо сделалось очень сердитым. Глаза у него были почти совсем черные, и он уставился на Гарри; мышца на лице Гарри начала подергиваться. Я достал платок, вытер его мокрое лицо и, чтобы немного успокоить его, несколько раз провел рукой по лбу.

Потом мы стояли возле кровати и ждали, Гандербай пристально вглядывался в лицо Гарри. Маленький индеец более всего беспокоился о том, чтобы Гарри не пошевелился. Он не отрывал глаз от пациента и, хотя не издал ни звука, казалось, все время кричал на него: «Послушайте, ну неужели вы все испортите?» А у Гарри между тем подергивался рот, он потел, закрывал глаза, открывал их, смотрел на меня, на простыню, на потолок, снова на меня, но только не на Гандербая. И все же Гандербаю удавалось каким-то образом удерживать его от движений. Запах хлороформа действовал угнетающе и вызывал тошноту, но я не мог выйти из комнаты. У меня было такое чувство, будто кто-то надувает огромный шар, который должен вот-вот лопнуть, но глаз я отвести не мог.

Наконец Гандербай повернулся ко мне, кивнул, и я понял, что он готов действовать дальше.

— Подойдите к той стороне кровати, — сказал он. — Мы возьмемся за края простыни и потянем ее, но, прошу вас, очень медленно и очень осторожно.

— Потерпи еще немного, Гарри, — сказал я и, обойдя вокруг кровати, взялся за простыню.

Гандербай стоял напротив меня, и, приподняв простыню над Гарри, мы принялись очень медленно стаскивать ее, при этом немало отступив от кровати, но одновременно пытаюсь заглянуть под простыню. Хлороформ пах очень сильно. Помню, что я пытался не дышать, а когда более не мог сдерживать дыхание, попробовал дышать неглубоко, чтобы эта дрянь не угодила в легкие.

Стала видна грудь Гарри, или, лучше сказать, верх полосатой пижамы, которая скрывала ее, а потом я увидел белую тесьму его пижамных брюк, аккуратно завязанную узелком. Чуть-чуть дальше — и я увидел пуговицу из перламутра. Вот уж чего ни за что не увидишь на моей пижаме, так это пуговиц на ширинке, тем более перламутровых. Да этот Гарри, подумал я, просто щеголь. Странно, что в тревожные минуты в голову подчас лезут фривольные мысли, и я отчетливо помню, что, увидев эту пуговицу, подумал, какой, мол, Гарри щеголь.

Кроме этой пуговицы, ничего другого на его животе не было.

Тогда мы быстрее стащили простыню и, когда показались ноги, выпустили ее из рук на пол.

— Не двигайтесь, — сказал Гандербай, — не двигайтесь, мистер Поуп. — И он принялся осматривать постель и заглядывать под ноги Гарри. — Мы должны быть осторожны. Змея может заползти куда угодно. Она может прятаться в штанине.

Едва Гандербай произнес это, как Гарри поднял голову с подушки и посмотрел на свои ноги. Это было его первым движением. Затем он неожиданно вскочил и, стоя на кровати, стал яростно трясти сначала одной ногой, потом другой. В ту минуту мы оба подумали, что змея укусила его, и Гандербай уже полез было в свой чемоданчик за скальпелем и жгутом, но тут Гарри перестал прыгать и замер на месте. Взглянув на матрас, на котором он стоял, он прокричал:

— Ее нигде нет!

Гандербай выпрямился и с минуту тоже осматривал матрас, затем посмотрел на Гарри. Гарри был в порядке. Он не был укушен и, судя по всему, не должен был быть укушен, и все было замечательно. Но похоже, легче от этого никому не стало.

— Мистер Поуп, вы, разумеется, совершенно уверены в том, что видели ее?

В голосе Гандербая прозвучала саркастическая нотка, чего он не позволил бы себе при обычных обстоятельствах.

— Не кажется ли вам, что вы могли себе все это вообразить, а, мистер Поуп?

Судя по тому, как Гандербай смотрел на Гарри, сарказм его не нужно было принимать всерьез. Просто он пытался разрядить обстановку.

Гарри стоял на кровати в своей полосатой пижаме, свирепо глядя на Гандербая, и краска постепенно заливала его лицо.

— Не хочешь ли ты сказать, что я все выдумал? — закричал он.

Гандербай стоял и смотрел на Гарри. Гарри сделал шаг вперед на кровати, и глаза его сверкнули.

— Ты, индусская крыса!

— Успокойся, Гарри! — сказал я.

— Ты, грязный черномазый...

— Гарри! — вскричал я. — Молчи, Гарри!

То, что он говорил, было ужасно.

Гандербай вышел из комнаты, будто нас в ней и не было вовсе, и я последовал за ним. Положив ему руку на плечо, я вышел вместе с ним на веранду.

— Не слушайте его, — сказал я. — Все это так на него подействовало, что он сам не знает, что говорит.

Мы сошли с веранды по ступенькам и направились по темной дорожке к тому месту, где стоял его старенький «моррис». Он открыл дверцу и сел в машину.

— Вы прекрасно поработали, — сказал я. — Огромное вам спасибо за то, что вы приехали.

— Ему нужно как следует отдохнуть, — тихо произнес он, не глядя на меня, после чего завел мотор и уехал.

ФАНТАЗЕР

Мальчик ладонью нащупал на коленке коросту, которая покрыла давнишнюю ранку. Он нагнулся, чтобы повнимательнее рассмотреть ее. Короста — это всегда интересно: она обладала какой-то особой притягательностью, и он не мог удержаться от того, чтобы время от времени не разглядывать ее.

Пожалуй, решил он, я отковыряю ее, даже если она еще не созрела, даже если в середине она крепко держится, даже если будет страшно больно.

Он принялся осторожно подсовывать ноготь под край коросты. Ему это удалось, и, когда он поддел ее, почти не приложив к тому усилия, она неожиданно отвалилась, вся твердая коричневая короста просто-напросто отвалилась, оставив любопытный маленький кружок гладкой красной кожи.

Здорово. Просто здорово. Он потер кружочек и боли при этом не почувствовал. Потом взял коросту, положил на бедро и щелчком сбил ее, так что она отлетела в сторону и приземлилась на краю ковра, огромного красно-черно-желтого ковра, тянувшегося во всю длину холла от лестницы, на ступеньках которой он сидел, до входной двери. Потрясный ковер. Больше теннисного корта. Намного больше. Он принялся с нескрываемым удовольствием рассматривать его. Раньше он вообще не обращал на него внимания, а тут вдруг ковер точно заиграл всеми красками, и они просто ослепили его.

Я-то понимаю, в чем тут дело, сказал он про себя. Красные пятна — это раскаленные угли. Сделаю-ка я вот что: дойду до двери, не наступая на них. Если наступлю на красное, то обожгусь. Наверное, весь стору. А черные линии на ковре... Ага, черные линии — это змеи, ядовитые змеи, в основном гадюки и еще кобры, в середине толстые, как стволы деревьев, и если я наступлю на одну из них, то она меня укусит, и я умру еще до того, как меня позовут к чаю. А если я пройду по ковра и при этом не обожгусь и меня не укусит змея, то завтра, в день рождения, мне подарят щенка.

Он поднялся по лестнице, чтобы получше рассмотреть это обширное красочное поле, где на каждом шагу тебя подстерегает смерть. Смогу ли я перейти через него? Не мало ли желтого? Идти ведь можно только по желтому. По силам ли вообще такое кому-нибудь? Решиться на это рискованное путешествие — непростое дело. Мальчик со светло-золотистой челкой, большими голубыми глазами и маленьким острым подбородком с тревогой глядел вниз поверх перил. В некоторых местах желтая полоска была довольно узкой и раз или два опасно прерывалась, но, похоже, все-таки тянулась до дальнего конца ковра. Для того, кто накануне с успехом прошел весь путь по уложенной кирпичами дорожке от конюшни до летнего домика и при этом ни разу не наступил на щели между кирпичами, эта новая задача не должна показаться слишком уж трудной. Вот разве что змеи. При одной только мысли о змеях он от страха ощутил покалывание в ногах, точно через них пропустили слабый ток.

Он медленно спустился по лестнице и подошел к краю ковра. Вытянув ножку, обутую в сандалию, он осторожно поставил ее на желтую полоску. Потом поднял вторую ногу — и места как раз хватило для того, чтобы встать двумя ногами. Ну вот! Начало положено! Его круглое лицо с блестящими глазами сосредоточенно замерло, хотя оно, быть может, и было бледнее обычного; пытаясь удержать равновесие, он расставил руки. Высоко подняв ногу над черным пятном, он сделал еще один шаг, тщательно стараясь попасть носком на узкую желтую полоску. Сделав второй шаг, он остановился, чтобы передохнуть, и застыл на месте. Узкая желтая полоска уходила вперед, не прерываясь, по меньшей мере ярдов на пять, и он осмотрительно двинулся по ней, ступая шаг за шагом, словно шел по канату. Там, где она наконец свернула в сторону, он вынужден был сделать еще один большой шаг, переступив на сей раз через устрашающего вида сочетание черного и красного. На середине пути он зашатался. Пытаясь удержать равновесие, он дико замахал руками, точно мельница, и снова ему удалось успешно преодолеть отрезок пути и передохнуть. Он уже совсем выбился из сил, оттого что ему все время приходилось быть в напряжении и передвигаться на носках с расставленными руками и сжатыми кулаками. Добравшись до большого желтого острова, он почувствовал себя в безопасности. На острове было много места, упасть с него он никак не мог, и мальчик просто стоял, раздумывая и вы-

жидая. Ему захотелось навсегда остаться на этом большом желтом острове, где можно чувствовать себя в безопасности. Однако, испугавшись, что не получит щенка, он продолжил путь.

Шаг за шагом он продвигался вперед и, прежде чем ступить куда-либо, медлил, стремясь точно определить, куда следует поставить ногу. Один раз у него появился выбор — либо налево, либо направо, и он решил пойти налево, потому что, хотя это было и труднее, в этом направлении было не так много черного. Черный цвет особенно беспокоил его. Он быстро оглянулся, чтобы узнать, как далеко ему удалось пройти. Позади — почти половина пути. Назад дороги уже нет. Он находился в середине и возвратиться не мог, как не мог и свернуть в сторону, потому что это было слишком далеко, а когда увидел, сколько впереди красного и черного, внутри у него опять возникло это противное чувство страха, как на прошлогодней Пасхе, в тот день, когда он заблудился в лесной чаще.

Он сделал еще один шаг, осторожно поставив ногу на единственное небольшое желтое пятно, до которого смог дотянуться, и на этот раз нога его оказалась в сантиметре от черного. Она не касалась черного, он это видел, отлично видел узкую желтую полоску между носком его сандалии и черным, однако змея зашевелилась, будто почуяв его близость, подняла голову и уставилась на его ногу блестящими, как бусинки, глазами, следя за тем, наступит он на нее или нет.

— Я не дотронулся до тебя! Ты не укусишь! Я же не дотронулся!

Еще одна змея бесшумно проползла возле первой, подняла голову, и теперь в его сторону были повернуты две головы, две пары глаз пристально следили за его ногой, уставившись как раз в то место под ремешком сандалии, где видна была кожа. Мальчик сделал несколько шагов на носках и замер, охваченный ужасом. Прошло несколько минут, прежде чем он решился снова сдвинуться с места.

А вот следующий шаг, наверное, будет самым длинным. Впереди была глубокая извивающаяся черная река, протекавшая через весь ковер, а там, где он должен был через нее перебираться, находилась ее самая широкая часть. Поначалу он задумал было перепрыгнуть через нее, но решил, что вряд ли сумеет точно приземлиться на узкую полоску желтого на другом берегу. Он глубоко вздохнул, поднял одну ногу и стал вытягивать ее вперед, дюйм за дюймом, все дальше и дальше, потом стал опускать ее все ниже

и ниже, и наконец сандалия благополучно коснулась желтого края, а затем и ступила на него. Он потянулся вперед, перенося тяжесть тела на эту ногу. Потом попытался переставить и другую ногу. Он вытягивал тело, но ноги были расставлены слишком широко, и у него ничего не получалось. Тогда он попробовал вернуться назад. Но и из этого ничего не вышло. У него получился шпагат, и он почти не мог сдвинуться с места. Он посмотрел вниз и увидел под собой глубокую извилистую черную реку. В некоторых местах она ожила и, извиваясь, побежала и засветилась каким-то ужасным маслянистым блеском. Он закачался, дико замахал руками, сиюсь удержать равновесие, но, похоже, только испортил дело. Он начал падать. Поначалу он медленно клонился вправо, потом все быстрее и быстрее. В последнее мгновение он инстинктивно выставил руку и тут увидел, что своей голой рукой может угодить прямо в середину огромной сверкающей массы черного, и, когда это случилось, он издал пронзительный крик ужаса.

А где-то далеко от дома, там, где светило солнце, мать искала своего сына.

ШЕЯ

Когда лет восемь назад умер старый сэра Уильям Тёртон и его сын Бэзил унаследовал «Тёртон пресс» (а заодно и титул), помню, по всей Флит-стрит принялись заключать пари насчет того, скоро ли найдется какая-нибудь очаровательная молодая особа, которая сумеет убедить молодого господина в том, что именно она должна присматривать за ним. То есть за ним и его деньгами.

В то время новоиспеченному сэру Бэзилу Тёртону было, пожалуй, лет сорок; он был холостяком, нрава мягкого и скромного и до той поры не обнаруживал интереса ни к чему, кроме своей коллекции современных картин и скульптур. Женщины его не волновали, скандалы и сплетни не затрагивали его имя. Но как только он стал властелином весьма обширной газетно-журнальной империи, у него появилась надобность в том, чтобы выбраться из тиши загородного дома своего отца и объявиться в Лондоне.

Естественно, тотчас же стали собираться хищники, и полагаю, что не только Флит-стрит, но и весь город принялся внимательно следить за тем, как они берут в кольцо добычу. Подбирались они, разумеется, неспешно, осмотрительно и очень медленно, и поэтому лучше будет сказать, что это были не простые хищники, а группа проворных крабов, пытающихся вцепиться в кусок мяса, оказавшийся под водой.

Между тем, ко всеобщему удивлению, молодой господин оказался на редкость увертливым, и охота растянулась на всю весну и захватила начало лета. Я не был знаком с сэром Бэзилем лично и не имел причин чувствовать по отношению к нему дружескую приязнь, но не мог не встать на сторону представителя пола, к которому сам принадлежу, и не раз ловил себя на том, что бурно радовался, когда ему удавалось сорваться с крючка.

И вот где-то примерно в начале августа, видимо, по своему, женскому, условному знаку, барышни объявили что-то вроде перемирия и отправились за границу, где набирались сил, перегруппи-

ровывались и строили новые планы на зимнюю охоту. Это явилось ошибкой, потому как именно в это время ослепительное создание по имени Наталия, о котором дотоле никто и не слыхивал, неожиданно явилось из Европы, крепко взяло сэра Бэзила за руку и отвело его, пребывавшего в полубессознательном состоянии, в Кэкс-тон-холл, в регистратуру, где и свершилось бракосочетание, прежде чем кто-либо, а менее всего жених, сообразил, что к чему.

Нетрудно представить себе, в какое негодование пришли лондонские дамы, и, естественно, они принялись распространять в большом количестве разные пикантные сплетни насчет новой леди Тёртон. («Эта подлая браконьерша», — называли они ее.) Но не будем на этом задерживать внимания. По существу, для целей настоящего рассказа можем пропустить шесть последующих лет и в результате подходим к нынешнему времени, к тому случившемуся неделю назад, день в день, событию, когда я имел удовольствие впервые познакомиться с ее светлостью. Теперь она, как вы, должно быть, уже догадались, не только заправляла всей «Тёртон пресс», но и, как следствие, являла собою значительную политическую силу в стране. Я отдаю себе отчет в том, что женщины проделывали подобное и прежде, но что делает этот случай исключительным, так это то обстоятельство, что она иностранка, и никто толком так и не знал, откуда она приехала — из Югославии, Болгарии или России.

Итак, в прошлый четверг я отправился на небольшую вечеринку к одному лондонскому приятелю. Когда мы стояли в гостиной, дожидаясь приглашения к столу, потягивали отличное мартини и беседовали об атомной бомбе и мистере Бивене¹, в комнату заглянула служанка, чтобы объявить о приходе последнего гостя.

— Леди Тёртон, — произнесла она.

Разговора никто не прервал: мы были слишком хорошо воспитаны. Никто и головы не повернул. В ожидании ее появления мы лишь скосили глаза в сторону двери.

Она вошла быстрой походкой — высокая, стройная женщина в красно-золотистом платье с блестками; улыбаясь, протянула руку хозяйке, и, клянусь, это была красавица, честное слово.

— Милдред, добрый вечер!

¹ *Эньюрин Бивен* (1897–1960) — английский политический деятель, с 1930-х гг. лидер левого крыла Лейбористской партии.

— Моя дорогая леди Тёртон! Как я рада!

Мне кажется, в эту минуту мы все-таки умолкли и, повернувшись, устали на нее и принялись покорно ждать, когда нас ей представят, точно она была королевой или знаменитой кинозвездой. Однако выглядела она лучше королевы или актрисы. У нее были черные волосы, а к ним в придачу бледное круглое невинное лицо, вроде тех, что изображали фламандские художники в пятнадцатом веке, почти как у Мадонны Мёмлинга¹ или Ван Эйка². Таково, по крайней мере, было первое впечатление. Позднее, когда пришел мой черед пожать ей руку, я рассмотрел ее поближе и увидел, что, кроме очертания и цвета лица, она не была похожа на Мадонну — отнюдь не похожа.

Скажем, ноздри у нее были весьма странные, несколько более открытые, более широкие, чем мне когда-либо приходилось видеть, и к тому же чрезмерно выгнутые. Это придавало всему носу какой-то фыркающий вид. Что-то в нем было от дикого животного вроде мустанга.

Глаза же, когда я увидел их вблизи, были не такими широкими и круглыми, как на картинах художников, рисовавших Мадонну, а узкие и полузакрытые. В них застыла то ли улыбка, то ли печаль, и вместе с тем что-то в них было вульгарное, что так или иначе общало ее лицу утонченно-пресыщенное выражение. Что еще примечательнее — они не глядели прямо на вас, а как-то медленно нацеливались сбоку, отчего мне становилось не по себе. Я пытался разглядеть, какого они цвета; поначалу мне показалось — бледно-серые, но я в этом не был уверен.

Затем ее повели через всю комнату, чтобы познакомить с другими гостями. Я стоял и наблюдал за ней. Очевидно было одно: она понимала, что пользуется успехом, и чувствовала, что эти лондонцы раболепствуют перед ней. «Вы только посмотрите на меня, — будто бы говорила она, — я приехала сюда всего лишь несколько лет назад, однако я уже богаче любого из вас, да и власти у меня побольше». В походке ее было нечто величественное и надменное.

Спустя несколько минут нас пригласили к столу, и, к своему удивлению, я обнаружил, что сижу по правую руку от ее светло-

¹ Ханс Мемлинг (ок. 1440–1494) — нидерландский живописец.

² Ван Эйк, братья, Хуберт (ок. 1370–1426) и Ян (ок. 1390–1441) — нидерландские живописцы.

сти. Мне показалось, что наша хозяйка выказала таким образом любезность по отношению ко мне, полагая, что я смогу найти какой-нибудь материал для колонки светской хроники, которую каждый день пишу для вечерней газеты. Я уселся, намереваясь с интересом провести время. Однако знаменитая леди не обращала на меня ни малейшего внимания; она все время разговаривала с тем, кто сидел слева от нее, то есть с хозяином. И так продолжалось до тех пор, пока наконец, в ту самую минуту, когда я доедал мороженое, она неожиданно не повернулась ко мне и, протянув руку, не взяла со стола мою карточку и не прочитала мое имя. После чего, как-то странно закатив глаза, она взглянула мне в лицо. Я улыбнулся и чуть заметно поклонился. Она не улыбнулась в ответ, а принялась забрасывать меня вопросами, причем вопросами личного свойства — работа, возраст, семейное положение и всякое такое, и голос ее при этом как-то странно журчал. Я поймал себя на том, что стараюсь ответить на них как можно полнее.

Во время этого допроса среди прочего выяснилось, что я являюсь поклонником живописи и скульптуры.

— В таком случае вы должны как-нибудь к нам приехать и посмотреть коллекцию моего мужа.

Она сказала это невзначай, вроде для поддержания разговора, но, как вы понимаете, в моем деле нельзя упускать подобную возможность.

— Как это любезно с вашей стороны, леди Тёртон. Мне бы очень этого хотелось. Когда я могу приехать?

Она склонила голову и заколебалась, потом нахмурилась, пожала плечами и сказала:

— О, все равно. В любое время.

— Как насчет ближайшего уик-энда? Это вам будет удобно?

Она медленно перевела взор на меня, задержав его на какое-то мгновение на моем лице, после чего вновь отвела глаза.

— Думаю, что да, если вам так угодно. Мне все равно.

Вот так и получилось, что в ближайшую субботу я ехал в Вутон, уложив в багажник автомобиля чемодан. Вы можете подумать, будто я сам напросился на приглашение, но иным способом получить его я не мог. И помимо профессиональной стороны дела мне просто хотелось побывать в этом доме. Вутон — один из самых известных особняков раннего английского Возрождения. Как и его собратья Лонглит, Уолатон и Монтакьют, он был сооружен во вто-

рой половине шестнадцатого столетия, когда впервые для аристократов стали строить удобные жилища, а не замки и когда новая волна архитекторов, таких как Джон Торп¹ и Смитсоны², начала возводить удивительные постройки по всей стране. Вутон расположен к югу от Оксфорда, близ небольшого городка под названием Принсиз-Ризборо, — от Лондона это недалекий путь, — и когда я завернул в главные ворота, небо темнело и наступал ранний зимний вечер.

Я неспешно двинулся по длинной дорожке, стараясь разглядеть как можно больше. Особенно мне хотелось увидеть знаменитый сад с подстриженными кустами, о котором я столько слышал. И должен сказать, это было впечатляющее зрелище. По обеим сторонам стояли огромные тисовые деревья, подстриженные так, что они имели вид кур, голубей, бутылок, башмаков, стульев, замков, рюмок для яиц, фонарей, старух с развевающимися юбками, высоких колонн; некоторые были увенчаны шарами, другие — большими круглыми крышами и флеронами³, похожими на шляпку гриба. В наступившей полутьме зеленый цвет превратился в черный, так что каждая фигура, то есть каждое дерево, казалась точеной скульптурой. В одном месте я увидел расставленные на лужайке гигантские шахматные фигуры, причем каждая, чудесным образом исполненная, была живым тисовым деревом. Я остановил машину, вышел и принялся бродить среди них; фигуры были в два раза выше меня. Что особенно удивительно, комплект был полный — короли, ферзи, слоны, кони, ладьи и пешки стояли в начальной позиции, готовые к игре.

За следующим поворотом я увидел огромный серый дом и обширный передний двор, окруженный высокой стеной с парапетом и небольшими павильонами в виде колонн по внешним углам. Устои парапетов были увенчаны каменными обелисками — итальянское влияние на мышление эпохи Тюдоров⁴, — а к дому вел лестничный марш шириной не меньше сотни футов.

Подъехав к переднему двору, я с немалым удивлением обнаружил, что чашу фонтана, стоявшую посередине его, украшала боль-

¹ *Джон Торп* (1563–1655) — английский архитектор.

² Семья английских архитекторов, творивших в конце XVI — начале XVII в.; Роберт (1535–1614), Джон (ум. 1634) и Хантингдон (ум. 1648).

³ Завершающее украшение.

⁴ Королевская династия в Англии в 1485–1603 гг.

шая статуя Эпстайна¹. Вещь, должен вам сказать, замечательная, но она явно не гармонировала с окружением. Потом, поднимаясь по лестнице к парадной двери, я оглянулся и увидел, что повсюду, на всех маленьких лужайках и газонах, стоят и другие современные статуи и множество разнообразных скульптур. Мне показалось, что в отдалении я разглядел работы Годье-Бжеска², Бранкузи³, Сент-Годенса⁴, Генри Мура⁵ и снова Эпстайна.

Дверь мне открыл молодой лакей, который провел меня в спальню на втором этаже. Ее светлость, объяснил он, отдыхает, как и прочие гости, но все спустятся в главную гостиную примерно через час, переодевшись к ужину.

В моей работе уик-энд занимает важное место. Полагаю, что в год я провожу около пятидесяти суббот и воскресений в чужих домах и, как следствие, весьма восприимчив к непривычной обстановке. Едва войдя в дверь, я уже носом чую, повезет мне тут или нет, а в доме, в который я только что вошел, мне сразу же не понравилось. Здесь как-то не так пахло. В воздухе точно веяло предощущением беды; я это чувствовал, даже когда нежился в огромной мраморной ванне, и только и тешил себя надеждой, что ничего неприятного до понедельника не случится.

Первая неприятность, хотя скорее это была неожиданность, произошла спустя десять минут. Я сидел на кровати и надевал носки, когда дверь неслышно открылась и в комнату проскользнул какой-то древний кривобокий гном в черном фраке. Он объяснил, что служит тут дворецким, зовут его Джелкс и ему надобно знать, хорошо ли я устроился и все ли у меня есть, что нужно.

Я ему отвечал, что мне удобно и у меня все есть.

На это он сказал, что сделает все возможное, чтобы я приятно провел уик-энд. Я поблагодарил его и стал ждать, когда он уйдет. Он замялся в нерешительности, а потом елеинным голосом попросил у меня дозволения затронуть один весьма деликатный вопрос. Я велел ему не церемониться.

Если откровенно, сказал он, речь о чаевых. Вся эта процедура с чаевыми делает его глубоко несчастным.

¹ Джейкоб Эпстайн (1880–1959) — американский и английский скульптор.

² Годье-Бжеска (настоящее имя Анри Годье; 1891–1915) — французский скульптор.

³ Константин Бранкузи (1876–1957) — румынский скульптор.

⁴ Огастес Сент-Годенс (1848–1907) — английский скульптор.

⁵ Генри Мур (1898–1986) — английский скульптор.

Вот как? Это почему же?

Ну, если мне это действительно интересно, то ему не нравится то, что гости, покидая дом, чувствуют себя как бы обязанными давать ему чаевые — просто не могут их не давать. А это унижительно как для дающего, так и для берущего. Более того, он отлично понимает, какие душевные муки одолевают некоторых гостей вроде меня, которые, если позволите, повинуюсь условности, иногда ощущают желание дать больше, чем могут себе позволить.

Он умолк, и его маленькие лукавые глазки испытующе заглянули в мои глаза. Я пробормотал, что насчет меня ему нечего беспокоиться.

Напротив, сказал он, он искренне надеется на то, что я с самого начала соглашусь не давать ему никаких чаевых.

— Что ж, — отвечал я. — Давайте сейчас не будем об этом говорить, а придет время, посмотрим, какое у нас будет настроение.

— Нет, сэр! — вскричал он. — Прошу вас, я предпочел бы настоять на своем.

И я согласился.

Он поблагодарил меня и, волоча ноги, приблизился еще на пару шагов, после чего, склонив голову набок и стиснув руки, как священник, едва заметно пожал плечами, словно извинялся. Он так и не сводил с меня своих маленьких острых глаз, а я выжидал, сидя в одном носке и держа в руке другой, и пытался угадать, что будет дальше.

Все, что ему нужно, тихо произнес он, так тихо, что его голос прозвучал, точно музыка, которую можно услышать на улице, проходя мимо концертного зала; все, что ему нужно взамен чаевых, так это чтобы я отдал ему тридцать три и три десятых процента от суммы, которую выиграю в карты в продолжение уик-энда.

Все это было сказано так тихо и спокойно и прозвучало столь неожиданно, что я даже не удивился.

— Здесь много играют в карты, Джелкс?

— Да, сэр, очень много.

— Тридцать три и три десятых — не слишком ли это много?

— Я так не думаю, сэр.

— Дам вам десять процентов.

— Нет, сэр, на это я не пойду.

Он принялся рассматривать ногти на пальцах левой руки, терпеливо хмурясь.

— Тогда пусть будет пятнадцать. Согласны?

— Тридцать три и три десятых. Это вполне разумно. В конце концов, сэр, я даже не знаю, хороший ли вы игрок, и то, что я делаю — простите, но я не имею в виду вас лично, — это ставлю на лошадь, которую еще не видел в деле.

Вам, возможно, показалось, будто я торговался с дворецким, и, пожалуй, вы правы. Однако, будучи человеком либеральных взглядов, я всегда стараюсь делать все от себя зависящее, чтобы быть любезным с представителями низших сословий. Кроме того, чем больше я размышлял над сделанным мне предложением, тем больше склонялся к тому, что азартный человек отвергнуть его не вправе.

— Ладно, Джелкс. Как вам будет угодно.

— Благодарю вас, сэр.

Он направился было к двери, двигаясь бочком, как краб, однако, взявшись за ручку, снова замялся.

— Могу я дать вам один небольшой совет, сэр?

— Слушаю.

— Просто я хотел сказать, что у ее светлости есть склонность объявлять больше взяток, чем она может взять.

Ну это уж слишком! Я вздрогнул, так что даже носок выпал у меня из рук. В конце концов, одно дело — ради спортивного интереса условиться с дворецким насчет чаевых, но когда он начинает вступать с вами в сговор по поводу того, чтобы отобрать у хозяйки деньги, тогда с этим надо кончать.

— Хорошо, Джелкс. Больше ничего не хочу слышать.

— Надеюсь, сэр, вы не обиделись. Я лишь имел в виду, что вам придется играть против ее светлости. Она всегда берет в партнеры майора Хэддока.

— Майора Хэддока? Вы говорите о майоре Джеке Хэддоке?

— Да, сэр.

Я обратил внимание на то, что, когда он произнес имя этого человека, на лице его появилась презрительная ухмылка. С леди Тёртон дело обстояло еще хуже. Всякий раз, говоря слова «ее светлость», он произносил их кончиками губ, словно жевал лимон, и в голосе его слышалась насмешка.

— Теперь простите меня, сэр. Ее светлость спустится к семи часам. К тому же времени сойдут майор Хэддок и остальные.

Он выскользнул за дверь, оставив за собой какой-то слабый запах, вроде горчичной припарки.

Вскоре после семи я отыскал дорогу в главную гостиную, и леди Тёртон, как всегда прекрасная, поднялась, чтобы поздороваться со мной.

— Я не была уверена, что вы приедете, — пропела она своим голоском. — Как, вы сказали, вас зовут?

— Боюсь, что я поймал вас на слове, леди Тёртон. Надеюсь, я ничего дурного не совершил?

— Ну что вы, — сказала она. — В доме сорок семь спален. А это мой муж.

Из-за ее спины выступил маленький человечек и проговорил:

— Я так рад, что вы смогли приехать.

У него была чудесная теплая рука, и, когда он взял мою руку, я тотчас же ощутил дружеское рукопожатие.

— А это Кармен Ляроза, — сказала леди Тёртон.

Это была женщина крепкого сложения, и мне показалось, что она имеет какое-то отношение к лошадям. Она кивнула мне и, хотя я протянул ей руку, не дала мне свою, принудив меня таким образом сделать вид, будто я собираюсь высморкаться.

— Вы простудились? — спросила она. — Мне очень жаль.

Мисс Кармен Ляроза мне не понравилась.

— А это Джек Хэддок.

Я тотчас узнал этого человека. Он был директором компаний (сам не знаю, что это означает) и хорошо известен в обществе. Я несколько раз использовал его имя в своей колонке, но он мне никогда не нравился, думаю, главным образом потому, что я испытываю глубокое недоверие ко всем людям, которые сохраняют военное звание и в гражданской жизни. Особенно это касается майоров и полковников. С лицом пышущего здоровьем животного, черными бровями и большими белыми зубами, этот облаченный во фрак человек казался красивым почти до неприличия. Когда он улыбался, приподнималась его верхняя губа и обнажались зубы; протягивая мне волосатую смуглую руку, он расплылся в улыбке.

— Надеюсь, вы напишете о нас что-нибудь хорошее в своей колонке.

— Пусть только попробует не сделать этого, — сказала леди Тёртон. — Иначе я помещу о нем что-нибудь для него неприятное на первой полосе моей газеты.

Я рассмеялся, однако вся тройца — леди Тёртон, майор Хэддок и Кармен Ляроза — уже отвернулась и принялась рассаживаться на диване. Джелкс подал мне бокал, и сэр Бэзил тихонько утащил меня в дальний конец комнаты, где мы могли спокойно беседовать. Леди Тёртон то и дело обращалась к своему мужу с просьбой принести ей то одно, то другое — мартини, сигарету, пепельницу, носовой платок, — и он уже приподнимался было в кресле, как его тотчас опережал бдительный Джелкс, исполнявший за него поручения хозяйки.

Заметно было, что Джелкс любит своего хозяина, и также было заметно, что он ненавидит его жену. Всякий раз, исполняя какую-нибудь ее просьбу, он слегка усмехался и поджимал губы, отчего рот его становился похожим на индейкину гузку.

За обедом наша хозяйка усадила двух своих друзей, Хэддока и Лярозу, по обе стороны от себя. В результате столь нетрадиционного размещения гостей мы с сэром Бэзилем получили возможность продолжить нашу приятную беседу о живописи и скульптуре. Теперь я уже не сомневался, что майор был сильно увлечен ее светлостью. И хотя мне не следовало бы этого говорить, но скажу, что мне показалось, будто и Ляроза пыталась завоевать симпатии леди Тёртон.

Все эти уловки, похоже, забавляли хозяйку, но не приводили в восторг ее мужа. Я видел, что в продолжение всего нашего разговора он следил за этим небольшим представлением. Иногда он забывался и умолкал на полуслове, при этом взгляд его скользил в другой конец стола и на мгновение останавливался, жалостный, на этой чудесной головке с черными волосами и раздувающимися ноздрями. Сэр Бэзил уже, видимо, обратил внимание на то, как она была оживлена, как рука ее, которой она при разговоре жестикулировала, то и дело касалась руки майора и как та, другая женщина, судя по всему, имевшая некое отношение к лошадям, без конца повторяла: «Наталия! Наталия, ну выслушай же меня!»

— Завтра, — сказал я, — вы должны взять меня на прогулку и показать мне все скульптуры в саду.

— Разумеется, — отвечал он, — с удовольствием.

Он снова посмотрел на жену, и во взгляде его появилась невыразимая мольба. Он был человеком таким тихим и спокойным, что даже теперь я не заметил, чтобы он выражал гнев или беспокойст-

во по поводу надвигавшейся опасности или каким-либо иным образом обнаруживал, что вот-вот взорвется.

После обеда меня тотчас же усадили за карточный столик; мы с мисс Кармен Лярозой должны были играть против майора Хэддока и леди Тёртон. Сэр Бэзил тихонько уселся на диване с книжкой.

Сама игра ничего особенного собой не представляла, — по обыкновению, она проходила довольно скучно. Но вот Джелкс был невыносим. Весь вечер он шнырял возле нас, заменяя пепельницы, спрашивая насчет выпивки и заглядывая в карты. Он явно был близорук, и вряд ли ему удавалось толком что-либо разглядеть, потому что — не знаю, известно вам это или нет, — у нас в Англии дворецкому никогда не разрешали носить очки, а также, коли на то пошло, и усы. Это золотое незыблемое правило, и притом весьма разумное, хотя я не совсем уверен, что за ним стоит. Я полагаю, впрочем, что с усами он бы больше походил на джентльмена, а в очках — на американца, и куда это годится, хотелось бы мне знать? Как бы то ни было, Джелкс был невыносим весь вечер; невыносима была и леди Тёртон, которую беспрерывно звали к телефону по делам газеты.

В одиннадцать часов она оторвалась от карт и сказала:

— Бэзил, тебе пора спать.

— Да, дорогая, пожалуй, действительно пора.

Он закрыл книгу, поднялся и с минуту стоял, наблюдая за нами.

— И как игра? — спросил он.

Поскольку другие промолчали, то я ответил:

— Замечательно, большое спасибо.

— Я рад. Джелкс останется на тот случай, если вам что-нибудь понадобится.

— Джелкс пусть тоже идет спать, — сказала его жена.

Я слышал, как майор Хэддок сопит возле меня, как одна за другой на стол неслышно ложатся карты и как Джелкс, волоча ноги, направляется к нам по ковру.

— Вы не желаете, чтобы я оставался, ваша светлость?

— Нет. Отправляйтесь спать. Ты тоже, Бэзил.

— Да, дорогая. Доброй ночи. Доброй вам всем ночи.

Джелкс открыл дверь, и сэр Бэзил медленно вышел, сопровождаемый дворецким.

Как только закончился следующий роббер, я сказал, что тоже хочу спать.

— Хорошо, — сказала леди Тёртон. — Доброй ночи.

Я поднялся в свою комнату, запер дверь, принял таблетку и заснул.

На следующее утро, в воскресенье, я поднялся около десяти часов, оделся и спустился к завтраку. Сэр Бэзил уже сидел за столом, и Джелкс подавал ему жареные почки с беконом и помидорами. Он сказал, что рад видеть меня, и предложил после завтрака показать мне все поместье. Я отвечал, что ничто не доставит мне большего удовольствия, чем утренняя прогулка.

Спустя полчаса мы вышли, и вы представить себе не можете, какое это было облегчение — выйти из дома на свежий воздух. Был один из тех теплых солнечных дней, которые случаются в середине зимы после ночи с проливным дождем, когда на удивление ярко светит солнце и нет ни ветерка. Голые деревья, освещенные солнцем, казались прекрасными, с веток капало, и земля повсюду сверкала изумрудами. По небу плыли прозрачные облака.

— Какой чудесный день!

— В самом деле, день просто чудесный!

Во время прогулки мы едва ли обменялись еще хотя бы парой слов, да в этом и не было нужды. Между тем он водил меня всюду, и я увидел все — огромные шахматные фигуры и сад с подстриженными деревьями. Вычурные садовые домики, пруды, фонтаны, детский лабиринт, где грабы и липы составляли живую изгородь — летом она была особенно впечатляюща, — а также цветники, сад с декоративными каменными горками, оранжерея с виноградными лозами и нектаринами. И конечно же, скульптуры. Здесь были представлены образцы почти всей современной европейской скульптуры в бронзе, граните, известняке и дереве, и, хотя приятно было видеть, как они греются и сверкают на солнце, мне они все же казались немного не на месте среди этого строго распланированного простора.

— Может, присядем здесь ненадолго? — спросил сэр Бэзил, после того как мы пробыли в саду больше часа.

И мы уселись на белую скамью возле заросшего водяными лилиями пруда, полного карпов и серебряных карасей, и закурили. Мы находились в некотором отдалении от дома; земля тут не-

сколько возвышалась, и с того места, где сидели, мы видели раскинувшийся внизу сад, который казался иллюстрацией из какой-нибудь старой книги по садовой архитектуре; изгороди, лужайки, газоны и фонтаны составляли красивый узор из квадратов и колец.

— Мой отец купил это поместье незадолго до моего рождения, — проговорил сэр Бэзил. — С тех пор я здесь живу и знаю каждый его дюйм. С каждым днем мне здесь нравится все больше.

— Летом здесь, должно быть, замечательно.

— О да! Вы должны побывать у нас в мае или июне. Обещаете?

— Ну конечно, — сказал я. — Очень бы хотел сюда приехать.

И тут я увидел фигуру женщины в красном, которая где-то в отдалении двигалась среди клумб. Я видел, как она, размеренно шагая, пересекала широкую лужайку и короткая тень следовала за нею; перейдя через лужайку, она повернула налево и пошла вдоль тянувшихся высокой стеной стриженных тисовых деревьев, пока не оказалась на круглой лужайке меньших размеров, посреди которой стояла какая-то скульптура.

— Сад моложе дома, — сказал сэр Бэзил. — Он был разбит в начале восемнадцатого века одним французом, его звали Бомон, тот самый, который участвовал в планировке садов в Ливенсе, в Уэст-морленде. Наверное, целый год здесь работали двести пятьдесят человек.

К женщине в красном платье присоединился мужчина, и они встали примерно в ярде друг от друга, оказавшись в самом центре всей садовой панорамы. По-видимому, они разговаривали. У мужчины в руке был какой-то небольшой черный предмет.

— Если вам это интересно, я покажу счета, которые этот Бомон представлял старому герцогу за работу в саду.

— Было бы весьма интересно их посмотреть. Это, наверное, уникальные документы.

— Он платил своим рабочим шиллинг в день, а работали они по десять часов.

День был солнечный и яркий, и нетрудно было следить за движениями и жестами двух человек, стоявших на лужайке. Они повернулись к скульптуре и, указывая на нее руками, видимо, потешались над ее формой. В скульптуре я распознал одну из работ Генри Мура, исполненную в дереве, — тонкий гладкий предмет необыкновенной красоты с двумя-тремя прорезями и несколькими торчащими из него конечностями странного вида.

— Когда Бомон сажал тисовые деревья, которые должны были потом стать шахматными фигурами и прочими предметами, он знал, что пройдет по меньшей мере сотня лет, прежде чем из этого что-нибудь выйдет. Когда мы сегодня что-то планируем, мы, кажется, не столь терпеливы, не правда ли? Как вы думаете?

— Это верно, — отвечал я. — Так далеко мы не рассчитываем.

Черный предмет в руке мужчины оказался фотоаппаратом; отойдя в сторону, он принялся фотографировать женщину рядом со скульптурой Генри Мура. Она принимала разнообразные позы, одна другой уморительнее. То обхватывала какую-нибудь из деревянных торчащих конечностей, то взбиралась на фигуру и усаживалась на нее верхом, держа в руках воображаемые поводья. Высокая стена тисовых деревьев заслоняла их от дома и, по сути, от всего остального сада, кроме небольшого холма, на котором мы сидели. У них были все основания надеяться на то, что их не увидят, а если им и случалось взглянуть в нашу сторону, то есть против солнца, то сомневаюсь, заметили ли они две маленькие неподвижные фигурки, сидевшие на скамье возле пруда.

— Знаете, а мне нравятся эти тисы, — сказал сэр Бэзил. — Глаз отдыхает, на них глядя. А летом, когда вокруг буйствует разноцветье, они приглушают яркость красок и взору являются восхитительные тона. Вы обратили внимание на различные оттенки зеленого цвета на гранях и плоскостях каждого подстриженного дерева?

— Да, это просто удивительно.

Мужчина теперь, казалось, принялся что-то объяснять женщине, указывая на работу Генри Мура, и по тому, как они откинули головы, я догадался, что они снова рассмеялись. Мужчина продолжал указывать на скульптуру, и тут женщина обошла вокруг нее, нагнулась и просунула голову в одну из прорезей. Скульптура была размерами, наверное, с небольшую лошадь, но тоньше последней, и с того места, где я сидел, мне было видно все, что происходит по обе стороны скульптуры: слева — тело женщины, справа — выходящая голова. Это мне сильно напомнило одно из курортных развлечений, когда просовываешь голову в отверстие в шите и тебя снимают в виде толстой женщины. Именно такой снимок задумал сделать мужчина.

— Тисы вот еще чем хороши, — говорил сэр Бэзил. — Ранним летом, когда появляются молодые веточки...

Тут он умолк и, выпрямившись, подался немного вперед, и я почувствовал, как он неожиданно весь напрягся.

— Да-да, — сказал я, — появляются молодые веточки. И что же?

Мужчина сфотографировал женщину, однако она не вынимала голову из прорези, и я увидел, как он убрал руку (вместе с фотоаппаратом) за спину и направился в ее сторону. Затем он наклонился и приблизил к ее лицу свое, касаясь его, и так и стоял, полагая, целуя ее, хотя я и не уверен. Мне показалось, что в наступившей тишине я услышал доносившийся издали женский смех, рассыпавшийся под солнечными лучами по всему саду.

— Не вернуться ли нам в дом? — спросил я.

— Вернуться в дом?

— Да, не выпить ли чего-нибудь перед ланчем?

— Выпить? Да, пожалуй, надо выпить.

Однако он не двинулся. Он застыл на месте, но мыслями был очень далеко, пристально глядя на две фигуры. Я также внимательно следил за ними, не в силах оторвать от них глаз. Я должен был досмотреть, чем все кончится. Это все равно что смотреть издали балетную миниатюру, когда знаешь, кто танцует и кто написал музыку, но не знаешь, чем закончится представление, кто ставил танцы, что будет происходить в следующий миг.

— Годье-Бжеска, — произнес я. — Как вы полагаете, стал бы он великим, если бы не умер таким молодым?¹

— Кто?

— Годье-Бжеска.

— Да-да, — ответил он. — Разумеется.

Теперь и я увидел, что происходило нечто странное. Голова женщины еще находилась в прорези. Вдруг женщина стала медленно изгибаться всем телом из стороны в сторону несколько необычным образом, а мужчина, отступив на шаг, при этом наблюдал за ней и не двигался. По тому, как он держится, было видно, что ему не по себе, а положение головы и напряженная поза говорили о том, что больше он не смеется. Какое-то время он оставался недвижимым, затем положил фотоаппарат на землю и, подойдя к женщине, взял ее голову в руки. И все это тотчас показалось похожим скорее на кукольное представление, чем на балетный спектакль, — на дале-

¹ Годье-Бжеска начал заниматься скульптурой в 1910 году, а в 1915-м, во время Первой мировой войны, погиб в возрасте 24 лет.

кой, залитой солнцем сцене крошечные деревянные фигурки, словно обезумев, производили едва заметные судорожные движения.

Мы молча сидели на белой скамье и следили за тем, как крошечный кукольный человечек начал проделывать какие-то манипуляции с головой женщины. Действовал он осторожно, в этом сомнений не было, осторожно и медленно, и то и дело отступал, чтобы обдумать, как быть дальше, и несколько раз припадал к земле, чтобы посмотреть на голову под другим углом. Как только он оставлял женщину, та снова принималась изгибаться всем телом и напоминала мне собаку, на которую впервые надели ошейник.

— Она застряла, — произнес сэр Бэзил.

Мужчина подошел к скульптуре с другой стороны, где находилось тело женщины, и обеими руками попытался помочь ей высвободиться. Потом, вдруг выйдя из себя, он раза два или три резко дернул ее за шею, и на этот раз мы отчетливо услышали женский крик, полный то ли гнева, то ли боли, то ли того и другого.

Краешком глаза я увидел, как сэр Бэзил едва заметно закивал.

— Однажды у меня застряла рука в банке с конфетами, — сказал он, — и я никак не мог ее оттуда вынуть.

Мужчина отошел на несколько ярдов и встал — руки в боки, голова вскинута. Женщина, похоже, что-то говорила ему или, скорее, кричала на него, и, хотя она не могла сдвинуться с места и лишь изгибалась всем телом, ноги ее были свободны, и она ими всюду топала.

— Банку пришлось разбить молотком, а матери я сказал, что нечаянно уронил ее с полки.

Он, казалось, успокоился, напряжение покинуло его, хотя голос звучал на удивление бесстрастно.

— Думаю, нам лучше пойти туда, может, мы чем-нибудь сумеем помочь.

— Пожалуй, вы правы.

Однако он так и не сдвинулся с места. Достав сигарету, он закурил, а использованную спичку тщательно спрятал в коробок.

— Простите, — сказал он. — А вы не хотите закурить?

— Спасибо, пожалуй, и я закурю.

Он устроил целое представление, угощая меня сигаретой, давая прикурить, а спичку снова спрятал в коробок. Потом мы поднялись и неспешно стали спускаться по поросшему травой склону.

Мы молча приблизились к ним, войдя в сводчатый проход, устроенный в тисовой изгороди; для них наше появление явилось, очевидно, полной неожиданностью.

— Что здесь происходит? — спросил сэр Бэзил.

Он говорил голосом, который не предвещал ничего хорошего и который, я уверен, его жена никогда прежде не слышала.

— Она вставила голову в прорезь и теперь не может ее вынуть, — сказал майор Хэддок. — Просто хотела пошутить.

— Что хотела?

— Бэзил! — вскричала леди Тёртон. — Да не стой же ты как истукан! Сделай что-нибудь!

Видимо, она не могла много двигаться, но говорить еще была в состоянии.

— Дело ясное — нам придется расколоть эту деревяшку, — сказал майор.

На его седых усах запечатлелось красненькое пятнышко, и как один-единственный лишний мазок портит всю картину, так и это пятнышко лишало его спеси. Вид у него был комичный.

— Вы хотите сказать — расколоть скульптуру Генри Мура?

— Мой дорогой сэр, другого способа вызволить даму нет. Бог знает, как она умудрилась влезть туда, но я точно знаю, вылезти она не может. Уши мешают.

— О боже! — произнес сэр Бэзил. — Какая жалость. Мой любимый Генри Мур.

Тут леди Тёртон принялась оскорблять своего мужа самыми непристойными словами; и неизвестно, сколько бы это продолжалось, не появившись неожиданно из тени Джелкс. Скользящей походкой он молча пересек лужайку и остановился на почтительном расстоянии от сэра Бэзила в ожидании его распоряжений. Его черный наряд казался просто нелепым в лучах утреннего солнца, и со своим древним розово-белым лицом и белыми руками он был похож на краба, который всю свою жизнь прожил в норе.

— Могу я для вас что-нибудь сделать, сэр Бэзил?

Он старался говорить ровным голосом, но не думаю, чтобы и лицо его оставалось бесстрастным. Когда он взглянул на леди Тёртон, в глазах его сверкнули торжествующие искорки.

— Да, Джелкс, можешь. Ступай и принеси мне пилу или ножовку, чтобы я мог отпилить кусок дерева.

— Может, позвать кого-нибудь, сэр Бэзил? Уильям хороший плотник.

— Не надо, я сам справлюсь. Просто принеси инструменты, и поторапливайся.

В ожидании Джелкса я отошел в сторону, потому что не хотелось более слушать то, что леди Тёртон говорила своему мужу. Но я вернулся как раз к тому моменту, когда явился дворецкий, на сей раз сопровождаемый еще одной женщиной, Кармен Лярозой, которая тотчас бросилась к хозяйке.

— Ната-лия! Моя дорогая Ната-лия! Что они с тобой сделали?

— О, замолчи, — сказала хозяйка. — И прошу тебя, не вмешивайся.

Сэр Бэзил стоял рядом с головой леди, дожидаясь Джелкса. Джелкс медленно подошел к нему, держа в одной руке ножовку, в другой — топор, и остановился, наверное, на расстоянии ярда. Затем он подал своему хозяину оба инструмента, чтобы тот мог сам выбрать один из них. Наступила непродолжительная — не больше двух-трех секунд — тишина; все ждали, что будет дальше, и вышло так, что в эту минуту я наблюдал за Джелксом. Я увидел, что руку, державшую топор, он вытянул на какую-то толику дюйма ближе к сэру Бэзилу. Движение казалось едва заметным — так, всего лишь чуточку дальше вытянутая рука, жест невидимый и тайный, незримое предложение, незримое и ненавязчивое, сопровождаемое, пожалуй, лишь едва заметным поднятием бровей.

Я не уверен, что сэр Бэзил видел все это, однако он заколебался, и снова рука, державшая топор, чуть-чуть выдвинулась вперед, и все это было как в карточном фокусе, когда кто-то говорит: «Возьмите любую карту» — и вы непременно возьмете ту, которую хотят, чтобы вы взяли. Сэр Бэзил взял топор. Я видел, как он с несколько задумчивым видом протянул руку, принял топор у Джелкса, и тут, едва ощутив в руке топориче, казалось, понял, что от него требуется, и тотчас же ожил.

После этого происходящее стало напоминать мне ту ужасную ситуацию, когда видишь, как на дорогу выбегает ребенок, мчится автомобиль, и единственное, что ты можешь сделать, — это зажмурить глаза и ждать, покуда по шуму не догадаешься, что произошло. Момент ожидания становится долгим периодом затишья, когда желтые и красные точки скачут по черному полю, и даже если

снова откроешь глаза и обнаружишь, что никто не убит и не ранен, это уже не имеет значения — ты-то все видел и чувствовал нутром.

Я все отчетливо видел и на этот раз, каждую деталь, и не открывал глаза, пока не услышал голос сэра Бэзила, прозвучавший еще тише, чем прежде, и в голосе его слышалось недовольство дворецким.

— Джелкс... — произнес он.

И тут я посмотрел на него.

Он стоял с топором в руках и сохранял полнейшее спокойствие. На прежнем месте была и голова леди Тёртон, все так же торчавшая из прорези, однако лицо ее приобрело пепельно-серый оттенок, а рот то открывался, то закрывался, и в горле у нее словно булькало.

— Послушай, Джелкс, — говорил сэр Бэзил. — О чем ты только думаешь? Эта штука ведь очень опасна. Дай-ка лучше ножовку.

Он поменял инструмент, и я увидел, как его щеки впервые порозовели, а в уголках глаз быстро задвигались морщинки, предвещающая улыбку.

ЗВУКОВАЯ МАШИНА

Стоял теплый летний вечер. Выйдя из дома, Клоснер прошел вглубь сада, где находился сарай, открыл дверь, вошел внутрь и закрыл ее за собой.

Сарай служил ему мастерской. Вдоль одной из стен, слева, стоял длинный верстак, а на нем, среди разбросанных как попало проводов, батареек и разных инструментов, возвышался черный ящик фута три длиной, похожий на детский гробик.

Клоснер подошел к ящику. Крышка была открыта, и он склонился над ним и принялся копаться в хитросплетении разноцветных проводов и серебристых ламп. Он взял схему, лежавшую возле ящика, внимательно изучил ее, положил на место и начал водить пальцами по проводам, осторожно потягивая их, проверяя прочность их соединения; при этом он заглядывал то в бумажку со схемой, то в ящик, то снова в бумажку, пока не проверил каждый проводок. Занимался он всем этим, наверное, с час.

Затем он протянул руку к передней части ящика, на которой находились три верньера, и принялся поочередно крутить их, одновременно следя за работой механизма внутри ящика. Все это время он тихо что-то про себя говорил, кивал, иногда улыбался, при этом руки его находились в непрерывном движении, пальцы ловко и умело сновали внутри ящика; рот его странным образом кривился, когда у него что-то не получалось, и он бормотал: «М-да... угу... А теперь так... Хорошо ли это? Где-то тут была схема... Ага, вот она... Ну конечно... Да-да... Отлично... А теперь... Хорошо... Хорошо... Да-да...»

Он был предельно сосредоточен; быстрые движения его подчеркивали спешность, безотлагательность работы, и делал он ее, подавляя в себе сильное волнение.

Неожиданно он услышал шаги на посыпанной гравием дорожке. Он выпрямился и резко обернулся, и в ту же минуту дверь открылась и вошел высокий мужчина. Это был Скотт. Это был всего лишь Скотт, местный доктор.

— Так-так-так, — произнес доктор. — Вот, оказывается, где вы прячетесь по вечерам.

— Привет, Скотт, — сказал Клоснер.

— Я тут проходил мимо, — продолжил врач, — и решил заглянуть. В доме никого нет, поэтому я и пришел сюда. Как ваше горло?

— В порядке. Все хорошо.

— Раз уж я пришел, то могу и посмотреть его.

— Прошу вас, не беспокойтесь. Я уже поправился и вполне здоров.

Доктору передалось царившее в помещении напряжение. Он посмотрел на стоявший на верстаке ящик, потом перевел взгляд на Клоснера.

— Да ведь вы в шляпе, — сказал он.

— Правда?

Клоснер снял шляпу и положил ее на верстак.

Доктор подошел к ящику и заглянул в него.

— Что это? — спросил он. — Радиоприемник мастерите?

— Да нет, так, ковыряюсь.

— Сложный прибор, судя по внутренностям.

— Да.

Клоснер, казалось, был где-то далеко.

— Так все-таки что же это? — спросил доктор. — С виду штука довольно страшноватая.

— Да у меня появилась одна идея.

— Вот как?

— Она имеет кое-какое отношение к звуку, вот и все.

— Боже милостивый! Да разве вам мало всего этого на работе?

— Звук — это интересно.

— Понятно.

Доктор подошел к двери, обернулся и произнес:

— Что ж, не буду вам мешать. Рад, что горло вас больше не беспокоит.

Однако он продолжал стоять и смотреть на ящик, заинтригованный его назначением и сгорая от любопытства.

— Но для чего же он все-таки? — спросил он. — Вы разбудили мое любопытство.

Клоснер посмотрел на ящик, потом на доктора и принялся почесывать мочку правого уха. Наступила пауза. Доктор стоял возле дверей и, улыбаясь, ждал ответа.

— Хорошо, я расскажу, если вам это интересно.

Наступила еще одна пауза, и доктор почувствовал, что Клоснер не знает, с чего начать. Он переминался с ноги на ногу, дергал мочку уха, глядел в пол и наконец медленно заговорил:

— Дело вот в чем... В теории все очень просто. Человеческое ухо, как вы знаете, улавливает не все звуки. Существуют низкие и высокие звуки, которые оно не может воспринимать.

— Да, — сказал доктор. — Это мне известно.

— Так вот, звуки частотой свыше пятнадцати тысяч колебаний в секунду мы не можем слышать. У собак слух тоньше, чем у нас. Как вы знаете, в магазине можно купить свисток, который издает такой высокий звук, что его совсем не слышно. Но собака его слышит.

— Да, я видел такой свисток, — сказал доктор.

— Конечно же видели. А в диапазоне звуковых частот есть звук еще более высокий, чем у свистка, это скорее колебание, но я предпочитаю говорить о нем как о звуке. Его также невозможно слышать. А есть еще выше и выше... непрерывная последовательность звуков... их бесконечность... есть и еще один звук — если бы только мы могли его слышать, — такой высокий, что частота его достигает миллиона колебаний в секунду... а другой — в миллион раз выше... и так далее, все выше и выше... Это даже не выразить в числах, это бесконечность... вечность... дальше звезд.

Клоснер с каждой минутой оживлялся все больше. Это был маленький тщедушный человечек, нервный и дерганый, и руки его не знали ни минуты покоя. Его большая голова клонилась набок, словно шея не могла держать ее прямо. У него было гладкое бледное лицо, почти белое, и бледно-серые глаза, которые, мигая, глядели из-за очков в металлической оправе; и взгляд его казался озадаченным, рассеянным, отстраненным. Тщедушный, нервный, дерганый человечек, мотылек, мечтательный и рассеянный, — и вдруг такое рвение. Глядя на это странное бледное лицо с бледно-серыми глазами, доктор внезапно почувствовал, что этот маленький человечек был где-то далеко и мысли его витали за пределами телесной оболочки.

Доктор ждал, когда он продолжит свой рассказ. Клоснер вздохнул и крепко стиснул руки.

— Я думаю, — продолжил он, говоря еще медленнее, — что нас окружает целый мир звуков, которых мы не слышим. Возможно,

в недоступных нашему восприятию высотах звучит неведомая нам волнующая музыка с тончайшими гармониями и неистовыми скрежещущими диссонансами, музыка столь могучая, что мы сошли бы с ума, если бы могли услышать ее. А если, скажем, представить себе...

— Да-да, я понимаю, — сказал доктор. — Но все это не очень-то вероятно.

— Почему? Но почему? — Клоснер указал на муху, сидевшую на мотке медной проволоки на верстаке. — Видите эту муху? Какой звук она сейчас издает? Мы не слышим никакого. Но она, может, свистит как ненормальная на очень высокой ноте, или лает, или квакает, или распевает песни. Ведь рот-то у нее есть! И глотка есть!

Доктор посмотрел на муху и улыбнулся. Он по-прежнему стоял возле дверей и держался за ручку.

— Итак, — сказал он, — вы намерены проверить это опытным путем?

— Недавно, — продолжал Клоснер, — я изготовил простой прибор, который подтверждает существование многих странных неслышимых звуков. Я часто сидел и наблюдал за тем, как игла моего прибора регистрирует звуковые колебания, тогда как сам я ничего не слышал. И это именно те звуки, которые я хочу услышать. Я хочу знать, откуда они исходят и кто или что их издает.

— И эта машина, что стоит вон там на верстаке, — спросил доктор, — она и даст вам возможность услышать эти звуки?

— Может быть. Кто знает? До сих пор меня преследовали неудачи. Но я кое-что в ней переделал и сегодня собираюсь попытаться еще раз. Этот прибор, — сказал он, коснувшись его рукой, — сконструирован таким образом, чтобы улавливать звуковые колебания, которые слишком высоки для восприятия человеческим ухом, и его задача — трансформировать их в слышимые тона. Я настраиваю его почти как радиоприемник.

— Как это понимать?

— Это несложно. Скажем, я хочу услышать писк летучей мыши. Это довольно высокий звук — примерно тридцать тысяч колебаний в секунду. Человеческое ухо не способно его расслышать. Так вот, если бы здесь летала летучая мышь и я бы настроил прибор на частоту тридцать тысяч колебаний, то смог бы услышать этот писк. Я даже могу услышать ноту — фа-диез, или си-бемоль,

или какую-то другую, но на гораздо более низкой частоте. Понимаете?

Доктор взглянул на длинный, похожий на гробик ящик.

— И вы собираетесь его испытывать сегодня?

— Да.

— Что ж, пожелаю вам удачи. — Он взглянул на часы. — Боже мой! — воскликнул он. — Да мне нужно бежать. До свидания и спасибо за то, что вы мне рассказали. Я как-нибудь еще разок к вам загляну, проведать, как идут дела.

Доктор вышел и закрыл за собой дверь. Клоснер еще какое-то время возился с проводами в черном ящике, потом выпрямился и возбужденно прошептал:

— Теперь попробуем еще раз... Вынесем-ка его в сад... и тогда, может быть... может быть... прием будет лучше. Так, поднимаем его... осторожненько... Ого, ну и тяжелый!

Он подошел к двери, но понял, что ему не открыть ее с ящиком в руках, тогда он отнес его назад, поставил на верстак, открыл дверь и только затем не без труда вынес в сад. Он осторожно поставил ящик на небольшой деревянный столик, стоявший на лужайке. Возвратившись в сарай, взял наушники. Затем присоединил наушники к прибору и надел их. Движения его были быстрыми и точными. Клоснер был возбужден и дышал громко и быстро, через рот. Все это время он подбадривал себя, произнося какие-то слова утешения, словно боялся, что прибор не будет работать, и еще боялся того, что что-то произойдет, если он заработает.

Маленький, тщедушный, бледный человек стоял в саду возле деревянного столика и был похож на чахоточного ребенка в очках. Солнце уже село. Ветра не было, стояла полная тишина. С того места, где он находился, ему был виден соседний сад за низким забором, и там ходила женщина с корзинкой для цветов. Некоторое время он следил за ней, вообще ни о чем не думая. Затем повернулся к ящику на столе и нажал на кнопку. Левой рукой он стал крутить ручку, регулирующую громкость, а правой — ту, которая двигала стрелку на большой, расположенной в центре шкале, похожей на шкалу настройки радиоприемника. Шкала была помечена множеством чисел, соответствующих полосам частот, начиная с 15 000 и кончая 1 000 000.

Клоснер склонился над прибором, напряженно во что-то вслушиваясь. Стрелка медленно поползла по шкале, так медленно, что

он почти не замечал ее движения, а в наушниках слышал лишь слабое хаотичное потрескивание.

Затем послышался невнятный гул, который производил сам прибор, и больше ничего. Клоснер продолжал вслушиваться, и постепенно им овладевало какое-то странное чувство, будто его уши вытягиваются и каждое ухо соединено с головой посредством тонкой жесткой проволоки, а проволоки тянутся, и уши поднимаются выше и выше — в неведомую и запретную область, опасную сверхзвуковую зону, где уши еще не бывали и не имеют права находиться.

Стрелка продолжала медленно ползти по шкале, и вдруг Клоснер услышал пронзительный испуганный крик — вздрогнув, он схватился руками за край стола. Он огляделся, словно ожидал увидеть человека, который издал этот крик. Вокруг никого не было, кроме женщины в соседнем саду, но кричала не она. Наклонившись, она срезала желтые розы и складывала их в корзинку.

И снова он его услышал — этот безголосый, нечеловеческий крик, резкий и короткий, очень отчетливый и звонкий. В самом звуке было что-то минорное и вместе с тем металлическое, чего он прежде никогда не слышал. Клоснер снова огляделся, инстинктивно ища глазами источник шума. Женщина в соседнем саду была единственным живым существом в пределах видимости. Вот она наклонилась, взялась пальцами одной руки за стебель розы и срезала его ножницами. И снова — крик.

Крик раздался в то самое мгновение, когда она срезала стебель розы.

И тут женщина выпрямилась, положила ножницы в корзину и повернулась, чтобы уйти.

— Миссис Сондерс! — закричал Клоснер срывающимся от волнения голосом. — Миссис Сондерс!

Обернувшись, женщина увидела своего соседа, стоявшего посреди лужайки, — этого нелепого маленького человечка в наушниках, который махал руками и кричал так пронзительно и громко, что ей стало тревожно.

— Срежьте еще цветок! Прошу вас, быстрее срежьте еще один цветок!

Она застыла на месте и пристально посмотрела на него.

— Что случилось, мистер Клоснер? — спросила она.

— Пожалуйста, сделайте то, о чем я прошу, — сказал он. — Срежьте розу, только одну!

Миссис Сондерс сосед всегда казался человеком довольно странным, теперь же, похоже, он совсем свихнулся. Может, сбежать в дом за мужем, подумала она. Впрочем, не стоит — сосед не опасен. Посмеюсь-ка я лучше над ним.

— Ну разумеется, мистер Клоснер, если вы этого хотите, — сказала она.

Она достала из корзинки ножницы, наклонилась и срезала еще одну розу.

И снова Клоснер услышал в наушниках этот испуганный безголосый крик, и снова он раздался в то самое мгновение, когда срезали розу. Он снял наушники и подбежал к забору.

— Хорошо, — сказал он. — Достаточно. Больше не нужно. Благодарю вас, больше не нужно.

Женщина держала в одной руке розу, в другой — ножницы и смотрела на него.

— Я вам кое-что скажу, миссис Сондерс, — заявил он. — Нечто такое, чему вы не поверите.

Он положил руки на забор и внимательно посмотрел на нее сквозь толстые стекла очков.

— Вы только что нарезали целую корзину цветов. Острыми ножницами вы резали стебли живых существ, и при этом каждая роза кричала просто ужасно. Вы не знали этого, миссис Сондерс?

— Нет, — сказала она. — Конечно же, я этого не знала.

— А ведь это так, — проговорил он.

Он учащенно дышал и пытался унять свое волнение.

— Я слышал, как они кричат. Каждый раз, когда вы срезали розу, я слышал крик боли. Очень высокий звук, приблизительно сто тридцать две тысячи колебаний в секунду. Вы никак не могли его слышать. Но я его слышал.

— Правда, мистер Клоснер? — Она решила, что секунд через пять ей лучше бежать к дому.

— Вы можете сказать, — продолжал он, — что у куста роз нет нервной системы и он не может ничего чувствовать и не может кричать, так как у него нет горла. И вы были бы правы. Ничего этого у него и на самом деле нет. Во всяком случае, у него нет того, что есть у нас. Но откуда вам знать, миссис Сондерс, — тут он перегнулся через забор и заговорил хриплым шепотом, — откуда вам знать, не испытывает ли роза такую же боль, когда ее срезают, какую почувствовали бы вы, если бы кто-то отрезал вашу кисть с по-

мощью садовых ножниц? Разве можете вы это знать? Но роза ведь тоже живая.

— Да-да, мистер Клоснер. Я согласна с вами, и доброй вам ночи.

Она быстро повернулась и побежала по садовой дорожке к дому. Клоснер вернулся к столику. Надев наушники, изобретатель какое-то время стоял и слушал, но слышал лишь слабое потрескивание и гул прибора, и больше ничего. Наклонившись, он увидел маленькую белую маргаритку, которая росла на лужайке, сжал ее большим и указательным пальцами и потянул вверх, покачивая из стороны в сторону, пока не сломался стебель.

С того самого момента, как он начал тянуть, до того, как сломался стебелек, он отчетливо слышал в наушниках слабый высокий крик, до странности неживой. Клоснер взял еще одну маргаритку и проделал с ней то же самое. И снова услышал крик, однако не был так уверен, что этот звук выражает боль. Нет, это была не боль, скорее удивление. Однако так ли это? В действительности звук не выражал каких-либо чувств или эмоций, известных человеку. Это был просто крик, нейтральный, холодный крик — всего лишь бесчувственная нота, ничего не выражающая. То же было с розами. Он был не прав, назвав это криком боли. Цветок, наверное, не чувствует боли. Он чувствует что-то другое, что нам неизвестно, — может, это называется как-то иначе?

Клоснер выпрямился и снял наушники. Темнело, в окнах домов загорались огоньки. Бережно взяв в руки черный ящик, он отнес его в сарай и поставил на верстак. Потом вышел, запер за собой дверь и отправился в дом.

На следующее утро Клоснер поднялся с рассветом. Он оделся и незамедлительно отправился в сарай. Взяв прибор, вынес его в сад, прижимая обеими руками к груди. Он обошел вокруг дома, вышел за ворота и, перейдя дорогу, оказался в парке. Тут Клоснер остановился и огляделся; потом продолжил путь, пока не подошел к большому буковому дереву и не поставил прибор на землю, рядом со стволом. Затем быстро сходил в дом, достал из подвала топор и вернулся с ним в парк. Топор положил на землю рядом с деревом.

Затем он осмотрелся, глядя вокруг сквозь толстые стекла очков. Никого. Было шесть утра.

Надев наушники и включив прибор, с минуту он прислушивался к знакомому слабому гулу, потом занес над головой топор, рас-

ставил ноги — и ударил изо всех сил. Лезвие глубоко вошло в древесину и застряло в ней, а в момент удара он услышал в наушниках необычный шум. Это был какой-то новый звук — резкий, глухой, не похожий на все остальные, раскатистый, низкий, кричащий, не короткий вскрик, как у розы, а протяжный, как рыдание, длившийся целую минуту, и особенно громко он прозвучал в тот момент, когда в дерево вонзился топор, а затем становился все слабее и слабее, пока не исчез совсем.

Клоснер в ужасе смотрел на то место, где лезвие топора вошло в дерево, потом осторожно вытащил топор и бросил его на землю. Он дотрагивался пальцами до раны, которую сделал в стволе, касался ее краев, пытаясь стянуть их, и при этом говорил:

— Дерево... о дерево... мне так жаль тебя... Прости меня... Рана заживет... Все будет хорошо...

Какое-то время он стоял, обхватив руками толстый ствол, затем резко повернулся и поспешил из парка домой. Взяв телефонную книгу, нашел нужный номер, набрал его и стал ждать. Он крепко прижимал трубку левой рукой и нетерпеливо барабанил по столу пальцами правой руки. На другом конце раздавались гудки, затем что-то щелкнуло, когда там сняли трубку, и мужчина сонным голосом произнес:

— Алло. Слушаю.

— Доктор Скотт?

— Да. Кто это?

— Доктор Скотт, вы должны немедленно приехать — быстрее, прошу вас.

— Кто это говорит?

— Это Клоснер. Помните, я вчера вечером рассказывал вам о своих экспериментах со звуком и о том, что смогу...

— Да-да, конечно, но что случилось? Вы не больны?

— Нет, я не болен, но...

— Сейчас половина седьмого, — сказал доктор, — а вы мне звоните и утверждаете, что не больны.

— Приезжайте, прошу вас. Приезжайте скорее. Я хочу, чтобы кто-нибудь это услышал. Меня это сводит с ума! Не могу в это верить...

В голосе Клоснера доктор уловил безумные, почти истерические нотки, те же нотки, что он всегда слышал в голосах людей, которые звонили и говорили: «Произошел несчастный случай. Немедленно приезжайте».

Он спросил, растягивая слова:

— Вы хотите, чтобы я поднялся с постели и приехал сейчас же?

— Да, сейчас же. Прошу вас, быстрее.

— Что ж, хорошо, еду.

Клоснер сел возле телефона и принялся ждать. Он попытался вспомнить, на что был похож крик дерева, но не смог. Только и помнил, что крик был кошмарный, испуганный и что ему стало дурно от ужаса. Он попытался представить себе, какие звуки произвел бы человек, если бы кто-то намеренно ударил его по ногам острым предметом, да так, что лезвие глубоко вошло бы в тело и застряло в нем. Наверное, это был бы такой же крик. Впрочем, нет. Совсем другой. Крик дерева страшнее человеческого крика, потому что звучит испуганно, монотонно, безголосо. Он подумал о других живых существах, а потом — о поле зрелой пшеницы, которая тянется вверх и кажется живой, а по нему идет косилка и срезает колосья, пятьсот колосьев в секунду, каждую секунду. О боже, как же они должны кричать! Пятьсот колосьев пшеницы кричат одновременно, и каждую секунду срезается пятьсот штук, и все они кричат и... «Ну уж нет, — подумал он, — в пшеничное поле я со своим прибором не пойду. Я потом никогда не буду есть хлеб. А что же картошка, капуста, морковка, лук? А яблоки? Э, нет. С яблоками все в порядке. Они падают сами по себе, когда созревают. С яблоками все в порядке, если дать им падать, а не срывать с веток. Не то с овощами. Картошка, например. Картофелина обязательно издаст крик; закричит и морковка, и лук, и капуста...»

Щелкнула задвижка на воротах; он вскочил, вышел из дома и увидел высокого доктора, идущего по дорожке с черным чемоданчиком в руке.

— Ну, — сказал доктор. — Что тут стряслось?

— Идемте со мной, доктор. Я хочу, чтобы вы это услышали. Я позвонил вам, потому что вы единственный человек, кому я об этом рассказывал. Это через дорогу, в парке. Так вы идете?

Доктор взглянул на него. Теперь Клоснер, кажется, успокоился. Не видно было признаков безумия или истерии; просто он был чересчур возбужден.

Они перешли через дорогу и оказались в парке. Клоснер подвел доктора к огромному буковому дереву, у подножия которого стоял длинный, похожий на гробик ящик, а рядом лежал топор.

— Зачем вы его сюда принесли? — спросил доктор.

— Мне нужно было дерево. В саду нет больших деревьев.

— А топор зачем?

— Сейчас узнаете. А теперь наденьте, пожалуйста, наушники и слушайте. Слушайте внимательно, а потом подробно расскажете мне все, что услышали. Я бы хотел окончательно убедиться...

Доктор улыбнулся и надел наушники.

Клоснер наклонился и щелкнул выключателем на панели прибора, затем поднял топор, расставил ноги и изготовился нанести удар. С минуту он выжидал.

— Вы слышите что-нибудь? — спросил он у доктора.

— Что, например?

— Хотя бы что-то?

— Только гул какой-то.

Клоснер стоял с топором в руках, сиюсь заставить себя ударить, но при одной мысли о том, какой крик издаст дерево, он медлил.

— Чего же вы ждете? — спросил доктор.

— Ничего, — ответил Клоснер и, подняв топор, ударил по дереву, и в то мгновение, когда он ударил, ему показалось, что он почувствовал (он готов был поклясться, что почувствовал), как почва всколыхнулась; ему показалось, будто земля качнулась у него под ногами, будто корни дерева дернулись в почве, но было уже слишком поздно, и топор ударил по дереву, и лезвие глубоко вошло в древесину.

В эту минуту высоко над головой раздался древесный треск и громко зашуршала листва; они оба вскинули головы, и доктор крикнул:

— Берегитесь! В сторону! Бегите быстрее!

Доктор сорвал наушники и метнулся прочь, однако Клоснер стоял точно зачарованный, глядя на огромную ветку, длиной по меньшей мере футов шестьдесят, которая медленно клонилась вниз, с треском разламываясь в самом толстом месте, где она соединялась со стволом. Ветка с треском упала на прибор и разбила его вдребезги, Клоснер едва успел отскочить в сторону.

— Боже мой! — воскликнул доктор, бегом возвратившись назад. — Еще немного — и вас бы придавило.

Клоснер глядел на дерево, и на его побледневшем лице застыл ужас. Он медленно подошел к дереву и осторожно вытащил топор.

— Вы слышали? — тихо спросил он, повернувшись к доктору.

Доктор еще не успел отдышаться и прийти в себя от испуга.

- Что слышал?
- В наушниках. Вы что-нибудь слышали, когда я ударил топором?

Доктор принялся потирать затылок.

— По правде говоря... — начал он, но тотчас же умолк и, нахмурившись, прикусил нижнюю губу. — Нет, я не уверен. Никак не могу утверждать определенно. Не думаю, что наушники были на мне более секунды, после того как вы ударили топором.

— Да-да, но что вы слышали?

— Не знаю, — сказал доктор. — Не знаю, что я слышал. Наверное, шум падающей ветки.

Он говорил быстро и с каким-то раздражением.

— На что был похож этот звук? — Клоснер немного подался вперед, пристально глядя на доктора. — На что точно был похож этот звук?

— О черт! — произнес доктор. — Да не знаю я. Меня больше волновало, как бы успеть убежать. Давайте не будем об этом.

— Доктор Скотт, на что был похож этот звук?

— О господи, да как я могу вам сказать, когда на меня падало дерево и я должен был думать только о том, как бы спастись.

Доктор явно нервничал. Теперь Клоснер чувствовал это. Он стоял неподвижно, глядя на доктора, и с полминуты не произнес ни слова. Доктор переступил с ноги на ногу, пожал плечами и повернулся, собираясь уйти.

— Ладно, — сказал он, — пора возвращаться.

— Послушайте, — сказал маленький человечек, и в лицо ему неожиданно бросилась краска. — Послушайте, вы должны зашить эту рану. — Он указал на трещину, сделанную топором в стволе. — Быстро зашейте ее.

— Не говорите глупостей, — сказал доктор.

— Делайте, что я вам говорю. Зашивайте ее.

Клоснер сжимал в руках топор и говорил тоном, в котором слышалась угроза.

— Ну хватит глупостей, — сказал доктор. — Не стану же я зашивать дерево. Хватит. Пошли.

— Значит, вы не будете зашивать дерево, потому что не можете?

— Разумеется, нет.

— В вашем чемоданчике есть йод?

— А если и есть, то что из того?

— Тогда замажьте рану йодом. Ему будет больно, но ничего не поделаешь.

— Теперь вы послушайте, — сказал доктор и снова повернулся, показывая всем своим видом, что собирается уйти. — Не будем валять дурака. Вернемся в дом, а там...

— Обработайте рану йодом.

Доктор заколебался. Клоснер по-прежнему держал в руках топор. Доктор решил, что мог бы, конечно, убежать со всех ног, но это, разумеется, не выход.

— Хорошо, — сказал он. — Я обработаю ее йодом.

Он сходил за своим черным чемоданчиком, лежавшим на траве ярдах в десяти, открыл его и достал пузырек с йодом и вату. Подойдя к дереву, он открыл пузырек, вылил немного йода на вату, наклонился и начал протирать ею рану. При этом он искоса поглядывал на Клоснера, который неподвижно стоял с топором в руках и в свою очередь следил за ним.

— Смотрите, чтобы йод попал внутрь.

— Разумеется, — сказал доктор.

— Теперь обработайте еще одну — ту, что повыше!

Доктор сделал так, как было велено.

— Ну вот, — сказал Скотт. — Теперь все в порядке.

Он выпрямился и с серьезным видом осмотрел свою работу.

— Все просто отлично.

Клоснер приблизился и внимательно изучил раны.

— Да, — сказал он, медленно кивая своей большой головой. — Да, все просто отлично. — Он отступил на шаг. — Вы придете завтра, чтобы осмотреть их?

— О да, — ответил доктор. — Разумеется.

— И еще раз обработаете их йодом?

— Если понадобится, то да.

— Благодарю вас, доктор, — сказал Клоснер и снова закивал.

Выпустив из рук топор, он улыбнулся какой-то безумной, возбужденной улыбкой. Тогда доктор быстро подошел к нему, осторожно взял его за руку и сказал:

— Нам нужно идти.

Они молча вышли из парка и, перейдя через дорогу, направились к дому.

NUNC DIMITTIS¹

Уже почти полночь, и я понимаю, что если сейчас же не начну записывать эту историю, то никогда этого не сделаю. Весь вечер я пытался заставить себя приступить к делу. Но чем больше думал о случившемся, тем большие ощущал стыд и смятение.

Я пытался (и, думаю, правильно делал) проанализировать случившееся и найти если не причину, то хоть какое-то оправдание своему возмутительному поведению по отношению к Жанет де Пеладжа. При этом вину свою я признаю. Я хотел (и это самое главное) обратиться к воображаемому сочувствующему слушателю, некоему мифическому «вы», человеку доброму и отзывчивому, которому я мог бы без стеснения поведать об этом злосчастном происшествии во всех подробностях. Мне остается лишь надеяться, что волнение не помешает мне довести рассказ до конца.

Если уж говорить по совести, то надобно, полагаяю, признаться, что более всего меня беспокоят не ощущение стыда и даже не оскорбление, нанесенное мною бедной Жанет, а сознание того, что я вел себя чудовищно глупо и что все мои друзья — если я еще могу их так называть, — все эти сердечные и милые люди, так часто бывавшие в моем доме, теперь, должно быть, думают обо мне как о злом, мстительном старике. Да, это задевает меня за живое. А если я скажу, что мои друзья это вся моя жизнь, все, абсолютно все, — тогда, быть может, вам легче будет меня понять.

Однако сможете ли вы понять меня? Сомневаюсь, но, чтобы облегчить свою задачу, я отвлекусь ненадолго и расскажу, что я собой представляю.

Гм, дайте-ка подумать. По правде говоря, я, пожалуй, являю собою особый тип — притом, заметьте, редкий, но тем не менее совершенно определенный, — тип человека состоятельного, привык-

¹ Ныне отпускаеши (*лат.*). («Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром...» Лк. 2: 29).

шего к размеренному образу жизни, образованного, средних лет, обожаемого (я тщательно выбираю слова) своими многочисленными друзьями за шарм, деньги, ученость, великодушие и — я искренне надеюсь на это — за то, что он вообще существует. Его (этот тип) можно встретить только в больших столицах — в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, в этом я убежден. Деньги, которые он имеет, заработаны его отцом, но памятью о нем он склонен пренебрегать. Тут он не виноват, потому как есть в его характере нечто такое, что заставляет его втайне смотреть свысока на всех тех, у кого так и не хватило ума узнать, чем отличается Рокингем¹ от Споуда², уотерфорд³ от венециана⁴, шератон⁵ от чиппендейла⁶, Моне от Мане или хотя бы поммар от монтраше⁷.

Таким образом, этот человек не только знаток, но, помимо всего прочего, он еще обладает и изысканным вкусом. Имеющиеся у него картины Констебля⁸, Бонингтона⁹, Лотрека¹⁰, Редона¹¹, Вюйяра¹², Мэтью Смита¹³ не хуже произведений тех же мастеров, хранящихся в галерее Тейт¹⁴, и, будучи не только прекрасными, но и баснословно дорогими, они создают в доме весьма гнетущую атмосферу — взору является нечто мучительное, захватывающее дух, пугающее даже, пугающее настолько, что страшно подумать о том, что у этого человека есть и право, и власть, и стоит ему только пожелать, и он может изрезать, разорвать, пробить кулаком «Долину Дэдхэм», «Гору Сент-Виктуар», «Кукурузное поле в Арле», «Тайтянку», «Портрет госпожи Сезанн». От самих стен, на которых развешаны эти чудеса, исходит какое-то великолепие, едва замет-

¹ Гончарные мастерские в Англии, в Суинтоне, основаны в 1745 году. В 1825 году продукция получила торговую марку «Рокингем».

² *Джозайя Споуд* (1754–1827) — английский мастер гончарного ремесла.

³ *Уотерфорд* — место в Ирландии, где производят хрусталь.

⁴ *Венециан* — ткань и тяжелый подкладочный сатин.

⁵ *Шератон* — стиль мебели XVIII века, по имени английского мастера Томаса Шератона (1751–1806).

⁶ *Чиппендейл* — стиль мебели XVIII века, по имени английского мастера Томаса Чиппендейла (1718–1779).

⁷ *Поммар, монтраше* — марки вин.

⁸ *Джон Констебль* (1776–1837) — английский живописец.

⁹ *Ричард Паркс Бонингтон* (1801/2–1828) — английский живописец.

¹⁰ *Анри де Тулуз-Лотрек* (1864–1901) — французский живописец.

¹¹ *Одilon Редон* (1840–1916) — французский живописец.

¹² *Эдуар Вюйяр* (1868–1940) — французский живописец.

¹³ *Мэтью Смит* (1879–1959) — английский живописец.

¹⁴ *Тейт* — национальная галерея живописи Великобритании.

ный золотистый свет, почти неуловимое сияние роскоши, среди которой он живет, двигается, предается веселью с лукавой беспечностью, доведенной едва ли не до совершенства.

Он закоренелый холостяк и, сколько можно судить, никогда не позволяет себе увлечься женщинами, которые его окружают, а некоторые еще и так горячо любят. Очень может быть (и на это вы, вероятно, обратили уже внимание), что ему присущи и разочарование, и неудовлетворенность, и сожаление. Как и некоторое отклонение от нормы.

Продолжать, думаю, нет смысла. Я и без того был слишком откровенен. Вы меня уже достаточно хорошо знаете, чтобы судить обо мне по справедливости и — смею ли я надеяться на это? — посочувствовать мне, после того как выслушаете мой рассказ. Вы даже можете прийти к заключению, что большую часть вины за случившееся следует возложить не на меня, а на некую даму, которую зовут Глэдис Понсонби. В конце концов, именно из-за нее все и началось. Если бы я не провожал Глэдис Понсонби домой в тот вечер, почти полгода назад, и если бы она не рассказывала обо мне столь откровенно кое-кому из своих знакомых, тогда это трагическое происшествие никогда и не случилось бы.

Если я хорошо помню, это произошло в декабре прошлого года; я обедал с четой Ашенден в их чудесном доме, который обращен фасадом на южную границу Риджентс-парка. Было довольно много народа, но Глэдис Понсонби, сидевшая рядом со мной, была единственной дамой, пришедшей без спутника. И когда настало время уходить, я предложил проводить ее до дома. Она согласилась, и мы отправились в моем автомобиле; но, к несчастью, когда мы прибыли к ней, она настояла на том, чтобы я зашел в дом и выпил, как она выразилась, «на дорожку». Мне не хотелось показаться чопорным, поэтому я последовал за ней.

Глэдис Понсонби — весьма невысокая женщина, ростом явно не выше четырех футов и девяти или десяти дюймов, а может, и того меньше; она из тех крошечных человечков, находится рядом с которыми — значит испытывать такое чувство, будто стоишь на стуле. Она вдова, моложе меня на несколько лет — пожалуй, ей пятьдесят три или пятьдесят четыре года, и, возможно, тридцать лет назад была весьма соблазнительной штучкой. Но теперь кожа на ее лице обвисла, сморщилась, и ничего особенного леди Понсонби собою уже не представляет. Индивидуальные черты лица —

глаза, нос, рот, подбородок — все это погребено в складках жира, скопившегося вокруг сморщенного лица, и всего перечисленного попросту не замечаешь. Кроме, пожалуй, рта, который очень похож (не могу удержаться от сравнения) на рыбий, в точности как у лосося.

Когда она в гостиной наливала мне бренди, я обратил внимание на то, что у нее чуть-чуть дрожат руки. Дама устала, решил я про себя, поэтому мне не следует долго задерживаться. Мы сели на диван и какое-то время обсуждали вечер у Ашенденов и их гостей. Наконец я поднялся.

— Сядь, Лайонел, — сказала она. — Выпей еще бренди.

— Нет-нет, мне правда уже пора.

— Сядь и не будь таким церемонным. Я, пожалуй, выпью еще, а ты хотя бы просто посиди со мной.

Я смотрел, как эта крошечная женщина подошла к буфету и, слегка покачиваясь, взяла бокал так, точно приготовилась совершить обряд жертвоприношения; при виде этой невысокой, я бы сказал, приземистой женщины, передвигавшейся на негнущихся ногах, у меня вдруг возникла нелепая мысль, что у нее нет ног выше коленей.

— Чему это ты радуешься, Лайонел?

Наполняя свой бокал, она отвлеклась, взглянув на меня, и пролила немного бренди мимо.

— Да так, моя дорогая. Ничему особенно.

— Тогда прекрати хихикать и скажи-ка лучше, что ты думаешь о моем новом портрете.

Она кивнула в сторону большого холста, висевшего над камином, на который я старался не смотреть с той минуты, как мы вошли в гостиную. Вещь ужасная, написанная, как мне было хорошо известно, человеком, от которого в Лондоне в последнее время все с ума посходили, очень посредственным художником по имени Джон Ройден. Глэдис, леди Понсонби, была изображена в полный рост, и художник сработал так ловко, что она казалась женщиной высокой и обольстительной

— Чудесно, — сказал я.

— Правда? Я так рада, что тебе нравится.

— Просто чудесно.

— По-моему, Джон Ройден — гений. Тебе не кажется, что он гений, Лайонел?

— Ну, это уж несколько сильно сказано.

— То есть ты хочешь сказать, что об этом еще рано говорить?

— Именно.

— Но послушай, Лайонел, думаю, тебе это будет интересно узнать. Джон Ройден нынче так популярен, что ни за что не согласится написать портрет меньше чем за тысячу гиней!

— Неужели?

— О да! И тот, кто хочет иметь свой портрет, выстаивает к нему целую очередь.

— Очень любопытно.

— А возьми этого своего Сезанна, или как там его. Готова поспорить, что ему при жизни столько не платили.

— Это уж точно!

— И ты называешь его гением?

— Пожалуй.

— Значит, и Ройден гений, — заключила она, откинувшись на диване. — Деньги — лучшее тому доказательство.

Какое-то время она молчала, потягивая бренди, и край бокала стучал о ее зубы, когда она подносила его ко рту трясушейся рукой. Она заметила, что я наблюдаю за ней, и, не поворачивая головы, скосила глаза и испытующе поглядела на меня.

— Ну-ка скажи мне, о чем ты думаешь?

Вот уж чего я терпеть не могу, так это когда меня спрашивают, о чем я думаю. В таких случаях я ощущаю прямо-таки физическую боль в груди и начинаю кашлять.

— Ну же, Лайонел. Говори.

Я покачал головой, не зная, что отвечать. Тогда она резко отвернулась и поставила бокал с бренди на небольшой столик, находившийся слева от нее; то, как она это сделала, заставило меня предположить — сам не знаю почему, — что она почувствовала себя оскорбленной и теперь готовилась предпринять какие-то действия. Наступило молчание. Я выжидал, ощущая неловкость, и, поскольку не знал, о чем еще говорить, стал делать вид, будто чрезвычайно увлечен курением сигары — внимательно рассматривал пепел и нарочито медленно пускал дым к потолку. Она, однако, молчала. Что-то меня стало раздражать в этой особе — может, проказливо-мечтательный вид, который она напустила на себя. Мне вдруг захотелось встать и уйти. Когда она снова посмотрела на меня, я увидел, что она хитро мне улыбается этими своими погребенными

глазками, но вот рот — о, опять мне вспомнился лосось! — был совершенно неподвижен.

— Лайонел, мне кажется, я должна открыть тебе один секрет.

— Извини, Глэдис, но мне правда пора.

— Не пугайся, Лайонел. Я не стану смущать тебя. Ты вдруг так испугался.

— Я не очень-то смыслю в секретах.

— Я вот сейчас о чем подумала, — продолжала она. — Ты так хорошо разбираешься в картинах, что это должно заинтересовать тебя.

Она совсем не двигалась, лишь пальцы ее все время шевелились. Она без конца крутила ими, и они были похожи на клубок маленьких белых змей, извивающихся у нее на коленях.

— Так ты не хочешь, чтобы я открыла тебе секрет, Лайонел?

— Ты же знаешь, дело не в этом. Просто уже ужасно поздно...

— Это, наверное, самый большой секрет в Лондоне. Женский секрет. Полагаю, в него посвящены, дай-ка подумать, в общей сложности тридцать или сорок женщин. И ни одного мужчины. Кроме него, разумеется, Джона Ройдена.

Мне не очень-то хотелось, чтобы она продолжала, поэтому я промолчал.

— Но сначала обещай мне, что ни единой живой душе ничего не расскажешь.

— Да бог с тобой!

— Так ты обещаешь, Лайонел?

— Да, Глэдис, хорошо, обещаю.

— Вот и отлично! Тогда слушай.

Она взяла стакан с бренди и удобно устроилась в углу дивана.

— Полагаю, тебе известно, что Джон Ройден рисует только женщин?

— Этого я не знал.

— И притом женщина всегда либо стоит, либо сидит, как я вон там, то есть он рисует ее с ног до головы. А теперь посмотри внимательно на картину, Лайонел. Видишь, как замечательно нарисовано платье?

— Ну и что?

— Пойди и посмотри поближе, прошу тебя.

Я неохотно поднялся, подошел к портрету и внимательно на него посмотрел. К своему удивлению, я увидел, что краска на пла-

ть была наложена таким толстым слоем, что буквально выпячивалась. Это был прием по-своему довольно эффектный, но не слишком оригинальный и для художника несложный.

— Видишь? — спросила она. — Краска на платье лежит толстым слоем, не правда ли?

— Да.

— Между тем за этим кое-что скрывается, Лайонел. Думаю, будет лучше, если я опишу тебе все, что случилось в самый первый раз, когда я пришла к нему на сеанс.

«Ну и зануда, — подумал я. — Как бы мне улизнуть?»

— Это было примерно год назад, и я помню, какое волнение я испытывала оттого, что мне предстоит побывать в студии великого художника. Я облачилась во все новое от Нормана Хартнелла¹, специально напялила красную шляпку и отправилась к нему. Мистер Ройден встретил меня у дверей и, разумеется, покорил меня. У него борода клинышком, глаза голубые и пронизывающий взгляд. На нем был черный бархатный пиджак. Студия огромная, с бархатными диванами красного цвета, обитыми бархатом стульями — он обожает бархат, — с бархатными занавесками и даже бархатным ковром на полу. Он усадил меня, предложил выпить и тотчас же приступил к делу. Рисует он не так, как другие художники. По его мнению, чтобы достичь совершенства при изображении женской фигуры, существует только один-единственный способ. Он высказал надежду, что меня не шокирует, когда я услышу, в чем этот способ состоит. «Не думаю, что меня это шокирует, мистер Ройден», — сказала я ему. «Я надеюсь», — отвечал он. У него просто великолепные белые зубы, и, когда он улыбается, они как бы светятся в бороде. «Дело, видите ли, вот в чем, — продолжал он. — Посмотрите на любую картину, изображающую женщину, — все равно, кто ее написал, — и вы увидите, что хотя платье и хорошо нарисовано, тем не менее возникает впечатление чего-то искусственного, некой ровности, будто платье накинута на бревно. И знаете, почему так кажется?» — «Нет, мистер Ройден, не знаю». — «Потому что сами художники не знают, что под ним».

Глэдис Понсонби умолкла, чтобы сделать еще несколько глотков бренди.

¹ Норман Хартнелл (1901–1979) — английский кутюрье. Шил одежду для королевской семьи.

— Не пугайся так, Лайонел, — сказала она мне. — Тут нет ничего дурного. Успокойся и дай мне закончить. И тогда мистер Ройден сказал: «Вот почему я настаиваю на том, чтобы сначала рисовать обнаженную натуру». — «Боже праведный, мистер Ройден!» — воскликнула я. «Если вы возражаете, я готов пойти на небольшую уступку, леди Понсонби, — сказал он. — Но я бы предпочел иной путь». — «Право же, мистер Ройден, я не знаю». — «А когда я нарисую вас в обнаженном виде, — продолжал он, — вам придется выждать несколько недель, пока высохнет краска. Потом вы возвращаетесь, и я рисую вас в нижнем белье. А когда и оно подсохнет, я нарисую сверху платье. Видите, как все просто».

— Да он попросту нахал! — воскликнул я.

— Нет, Лайонел, нет! Ты совершенно не прав. Если бы ты слышал, как он прелестно обо всем этом рассказывает, с какой неподдельной искренностью. Сразу видно, знает, что говорит.

— Повторяю, Глэдис, он же нахал!

— Ну не будь же таким глупым, Лайонел. И потом, дай мне закончить. Первое, что я ему тогда сказала, что мой муж (который тогда еще был жив) ни за что на это не пойдет. «А ваш муж и не должен об этом знать, — отвечал он. — Стоит ли волновать его? Никто не знает моего секрета, кроме тех женщин, которых я рисовал». Я еще посопротивлялась немного, и потом, помнится, он сказал: «Моя дорогая леди Понсонби, в этом нет ничего безнравственного. Искусство безнравственно лишь тогда, когда им занимаются дилетанты. То же — в медицине. Вы ведь не станете возражать, если вам придется раздеться в присутствии врача?» Я сказала ему, что стану — если пришла к врачу с жалобой на боль в ухе. Это его рассмешило. Однако он продолжал убеждать меня, поэтому спустя какое-то время я сдалась. Вот и все. Итак, Лайонел, дорогой, теперь ты знаешь мой секрет.

Она поднялась и отправилась за очередной порцией бренди.

— Ты мне правду рассказала, Глэдис?

— Разумеется, все это правда.

— То есть ты хочешь сказать, что он всех так рисует?

— Да. И весь юмор состоит в том, что мужья об этом ничего не знают. Они видят лишь замечательный портрет своей жены, полностью одетой. Конечно же, нет ничего плохого в том, что тебя рисуют обнаженной; художники все время это делают. Однако наши глупые мужья почему-то против этого.

— Ну и наглый же он тип!
— А по-моему, он гений.
— Клянусь, он украл эту идею у Гойи.
— Чушь, Лайонел.
— Ну разумеется, это так. Однако скажи мне вот что, Глэдис. Ты что-нибудь знала об этих... так сказать приемах Ройдена, прежде чем отправиться к нему?

Когда я задал ей этот вопрос, она как раз наливала себе бренди; колебавшись, она повернула голову в мою сторону и улыбнулась мне своей шелковистой улыбочкой, раздвинув уголки рта.

— Черт тебя побери, Лайонел, — сказала она. — Ты дьявольски умен. От тебя ничего не скроешь.

— Так, значит, знала?

— Конечно. Мне сказала об этом Гермiona Гэрдлстоун.

— Так я и думал!

— И все равно в этом нет ничего дурного.

— Ничего, — согласился я. — Абсолютно ничего.

Теперь мне все было совершенно ясно. Этот Ройден и вправду нахал, да еще и взялся проделывать самые гнусные психологические фокусы. Ему отлично известно, что в городе имеется множество богатых, совершенно праздных женщин, которые встают с постели в полдень и проводят остаток дня, пытаясь развеять тоску, — играют в бридж, канасту, ходят по магазинам, пока не наступит час пить коктейли. Больше всего они мечтают о каком-нибудь небольшом приключении, о чем-то необычном, и чем это обойдется им дороже, тем лучше. Понятно, новость о том, что можно развлечься таким вот образом, распространяется среди них подобно эпидемии. Я живо представил себе Гермionу Гэрдлстоун за карточным столиком, рассказывающую об этом какой-нибудь своей подруге: «Но, дорогая моя, это просто потрясающе... Не могу тебе передать, как это интересно... гораздо интереснее, чем ходить к врачу...»

— Ты ведь никому не расскажешь, Лайонел? Ты же обещал.

— Ну конечно нет. Но теперь я должен идти. Глэдис, мне в самом деле уже пора.

— Не говори глупости. Я только начинаю хорошо проводить время. Хотя бы посиди со мной, пока я не допью бренди.

Я терпеливо сидел на диване, пока она без конца тянула свое бренди. Она по-прежнему поглядывала на меня своими погребенными глазками, притом как-то озорно и коварно, и у меня было

сильное подозрение, что эта женщина вынашивает замысел очередного скандала. Глаза ее злодейски сверкали, в уголках рта затаилась усмешка, и я почувствовал — хотя, может, мне это только показалось — опасность.

И тут неожиданно, так неожиданно, что я даже вздрогнул, она спросила:

— Лайонел, что это за слухи ходят о тебе и Жанет де Пеладжа?

— Глэдис, прошу тебя...

— Лайонел, ты покраснел!

— Ерунда.

— Неужели старый холостяк наконец-то обратил на кого-то внимание?

— Глэдис, все это так глупо.

Я попытался было подняться, но она положила руку мне на колено и удержала меня.

— Разве ты не знаешь, Лайонел, что теперь у нас не должно быть секретов друг от друга?

— Жанет — прекрасная девушка.

— Едва ли можно назвать ее девушкой.

Глэдис помолчала, глядя в огромный бокал с бренди, который она сжимала в ладонях.

— Но я, разумеется, согласна с тобой, Лайонел, — она во всех отношениях прекрасный человек. Разве что, — очень медленно проговорила она, — разве что иногда она говорит весьма странные вещи.

— Что еще за вещи?

— Ну, всякие... о разных людях. О тебе, например.

— И что же она говорила обо мне?

— Да так, ничего особенного. Тебе это неинтересно.

— Что она говорила обо мне?

— Право же, это даже не стоит того, чтобы повторять. Просто мне это показалось довольно странным.

— Глэдис, что она говорила?

В ожидании ответа я чувствовал, как весь обливаюсь потом.

— Ну как бы тебе сказать? Она, разумеется, просто шутила, и у меня и в мыслях не было рассказывать тебе об этом, но мне кажется, она действительно говорила, что все это ей немножечко надоело.

— Что именно?

— Кажется, речь шла о том, что она вынуждена обедать с тобой чуть ли не каждый день или что-то в этом роде.

— Она сказала, что ей это надоело?

— Да.

Глэдис Понсонби одним большим глотком осушила бокал и подалась вперед.

— Если уж тебе действительно интересно, то она сказала, что ей все это до чертиков надоело. И потом...

— Что она еще говорила?

— Послушай, Лайонел, да не волнуйся ты так. Я ведь для твоей же пользы тебе все это рассказываю.

— Тогда живо выкладывай все до конца.

— Вышло так, что сегодня днем мы играли с Жанет в канасту, и я спросила у нее, не пообедает ли она со мной завтра. Нет, она занята.

— Продолжай.

— Вообще-то, она произнесла следующее: «Завтра я обедаю с этим старым занудой Лайонелом Лэмпсоном».

— Это Жанет так сказала?

— Да, Лайонел, дорогой.

— Что еще?

— По-моему, и этого довольно. Не думаю, что я должна пересказывать тебе и все остальное.

— Немедленно выкладывай все до конца!

— Лайонел, ну не кричи же так на меня. Конечно, я все тебе расскажу, если ты так настаиваешь. Если хочешь знать, я бы не считала себя настоящим другом, если бы этого не сделала. Тебе не кажется, что это знак истинной дружбы, когда два человека вроде нас с тобой...

— Глэдис! Прошу тебя, да говори же!

— О господи, да дай же мне подумать! Значит, так... Если я правильно помню, на самом деле она сказала следующее...

Ноги Глэдис Понсонби едва касались пола, хотя она сидела прямо; она отвела от меня свой взгляд и уставилась в стену, а потом весьма умело заговорила не своим низким голосом, так хорошо мне знакомым:

— «Такая тоска, моя дорогая, ведь с Лайонелом все заранее известно, с начала и до конца. Обедать мы будем в „Савой-гриле“ — мы всегда обедаем в „Савой-гриле“, — и целых два часа я вы-

нуждена буду слушать этого чванливого старого... то есть я хочу сказать, что мне придется слушать, как он будет разглагольствовать о картинах и фарфоре — он только об этом и говорит. Домой мы отправимся в такси. Он возьмет меня за руку, придвинется поближе, я почувствую запах сигары и бренди, и он станет бормотать о том, как бы ему хотелось, о, как бы ему хотелось быть лет на двадцать моложе. А я скажу: „Вы не могли бы опустить стекло?“ И когда мы подъедем к моему дому, я скажу ему, чтобы он отправлялся в том же такси, однако он сделает вид, что не слышит, и быстренько расплатится. А потом, когда мы подойдем к двери и я буду искать ключи, в его глазах появится этот глупый взгляд, точно как у спаниеля. Я медленно вставлю ключ в замок, медленно буду его поворачивать и тут — быстро-быстро, не дав ему опомниться, — пожелаю доброй ночи, вбегу в дом и захлопну за собой дверь...» Лайонел! Да что это с тобой, дорогой? Тебе явно нехорошо...

К счастью, в этот момент я, должно быть, полностью отключился. Что произошло дальше в этот ужасный вечер, я практически не помню, хотя у меня сохранилось смутное и тревожное воспоминание, что когда я пришел в себя, то совершенно потерял самообладание и позволил Глэдис Понсонби утешать меня самыми разными способами. Потом я, кажется, был отправлен домой, однако полностью сознание вернулось ко мне лишь на следующее утро, когда я проснулся в своей постели.

Я чувствовал себя слабым и опустошенным. Я неподвижно лежал с закрытыми глазами, пытаюсь восстановить события минувшего вечера: гостиная Глэдис Понсонби, Глэдис сидит на диване и потягивает бренди, ее маленькое сморщенное лицо, рот, похожий на рыбий, и она говорит и говорит... Кстати, о чем это она говорила? Ах да! Обо мне. Боже мой, ну конечно же! О Жанет и обо мне. Как это мерзко и гнусно! Неужели Жанет произносила эти слова? Да как она могла?

Помню, с какой ужасающей быстротой во мне начала расти ненависть к Жанет де Пеладжа. Все произошло в считанные минуты. Я попытался было отделаться от этого ощущения, но оно охватило меня, точно лихорадка, и скоро я уже обдумывал способ возмездия, словно какой-нибудь кровожадный гангстер.

Вы можете сказать: довольно странная манера поведения для такого человека, как я, на что я отвечу: вовсе нет, если принять во внимание обстоятельства. По-моему, такое может заставить чело-

века пойти на убийство. По правде говоря, не будь во мне некоторой склонности к садизму, побудившей меня изыскивать более утонченное и мучительное наказание для моей жертвы, я бы и сам стал убийцей. Однако я пришел к заключению, что убийства эта женщина не достойна, да и к тому же, на мой вкус, это весьма грубо. Поэтому я принялся обдумывать какой-нибудь более изощренный способ.

Вообще-то, я скверный выдумщик; что-либо выдумывать кажется мне жутким занятием, и практики у меня в этом деле никакой. Однако ярость и ненависть способны невероятно концентрировать мысли, и весьма скоро в моей голове созрел замысел, замысел столь восхитительный и волнующий, что захватил меня полностью. К тому времени, когда я обдумал все детали и мысленно преодолел пару незначительных затруднений, разум мой воспарил необычайно, и я помню, что начал дико прыгать на кровати и хлопать в ладоши. Вслед за тем я уселся с телефонной книгой на коленях и принялся торопливо разыскивать нужную фамилию. Найдя ее, я поднял трубку и набрал номер.

— Хэлло, — сказал я. — Мистер Ройден? Мистер Джон Ройден?

— Да.

Уговорить его заглянуть ко мне ненадолго было нетрудно. Прежде я с ним не встречался, но ему, конечно, известно было мое имя как видного собирателя картин и как человека, занимающего некоторое положение в обществе. Такую важную птицу, как я, он не мог себе позволить упустить.

— Дайте-ка подумать, мистер Лэмпсон, — сказал он. — Я смогу освободиться через пару часов. Вас это устроит?

Я отвечал, что это замечательно, дал ему свой адрес и выскочил из постели. Просто удивительно, какой восторг меня охватил. Еще недавно я был в отчаянии, размышляя об убийстве и самоубийстве и не знаю о чем еще, и вот я уже в ванной насвистываю какую-то арию из Пуччини. Предвкушая удовольствие, потираю руки и выкидываю всякие фортели, даже свалился на пол и захихикал, точно школьник.

В назначенное время мистера Джона Ройдена проводили в мою библиотеку, и я поднялся, чтобы приветствовать его. Это был опрятный человечек небольшого роста, с рыжеватой козлиной бо-

родкой. На нем была черная бархатная куртка, галстук цвета ржавчины, красный пуловер и черные замшевые башмаки. Я пожал его маленькую аккуратненькую ручку.

— Спасибо за то, что вы пришли так быстро, мистер Ройден.

— Не стоит благодарить меня, сэр.

Его розовые губы, прятавшиеся в бороде, как губы почти всех бородатых мужчин, казались неприлично мокрыми и голыми. Еще раз выразив восхищение его работой, я тотчас же приступил к делу.

— Мистер Ройден, — сказал я, — у меня к вам довольно необычная просьба, несколько личного свойства.

— Да, мистер Лэмпсон?

Он сидел в кресле напротив меня, склонив голову, живой и бойкий, точно птица.

— Я могу надеяться, что все сказанное останется между нами?

— Можете во мне не сомневаться, мистер Лэмпсон.

— Отлично. Речь идет о следующем: в городе есть некая дама, и я попросил бы вас написать ее портрет. Мне бы очень хотелось иметь ее хороший портрет. Однако в этом деле имеются некоторые сложности. К примеру, в силу ряда причин мне бы не хотелось, чтобы она знала, кто заказчик.

— То есть вы хотите сказать...

— Именно, мистер Ройден. Именно это я и хочу сказать. Я уверен, что, будучи человеком благовоспитанным, вы меня поймете.

Он улыбнулся кривой улыбочкой, показавшейся в бороде, и понимающе кивнул.

— Разве так не бывает, — продолжал я, — что мужчина... как бы это получше выразиться?.. был без ума от дамы и вместе с тем имел основательные причины желать, чтобы она об этом не знала?

— Еще как бывает, мистер Лэмпсон.

— Иногда мужчине приходится подбираться к своей жертве с необычайной осторожностью, терпеливо выжидая момент, когда можно себя обнаружить.

— Точно так, мистер Лэмпсон.

— Есть ведь лучшие способы поймать птицу, чем гоняться за ней по лесу.

— Да, вы правы, мистер Лэмпсон.

— А можно и насыпать ей соли на хвост.

— Ха-ха!

— Вот и отлично, мистер Ройден. Думаю, вы меня поняли. А теперь скажите, вы случайно не знакомы с дамой, которую зовут Жанет де Пеладжа?

— Жанет де Пеладжа? Дайте подумать... Пожалуй, да. То есть я хочу сказать, по крайней мере, слышал о ней. Но никак не могу утверждать, что я с ней знаком.

— Жаль. Это несколько усложняет дело. А как вы думаете, вы могли бы познакомиться с ней... ну, например, на какой-нибудь вечеринке или еще где-нибудь?

— Это дело несложное, мистер Лэмпсон.

— Хорошо, ибо вот что я предлагаю: вы отправитесь к ней и скажете, что именно она — тот тип, который вы ищете уже много лет, что у нее именно то лицо, та фигура, да и глаза того цвета. Впрочем, вы лучше меня знаете. Потом спросите у нее, не против ли она бесплатно позировать вам. Скажете, что вы бы хотели сделать ее портрет к выставке в академии в следующем году. Я уверен, что она будет рада помочь вам и, я бы сказал, почтет это за честь. Потом вы нарисуете ее и выставите картину, а по окончании выставки доставите ее мне. Никто, кроме вас, не должен знать, что я купил ее.

Мне показалось, что маленькие круглые глазки мистера Джона Ройдена смотрят на меня пронизательно. Он устроился на краешке кресла и в своем красном пуловере под пиджаком напоминал мне малиновку, сидящую на ветке и прислушивающуюся к подозрительному шороху.

— Во всем этом нет решительно ничего дурного, — сказал я. — Пусть это будет, если угодно, невинный маленький заговор, задуманный... э-э-э... довольно романтичным стариком.

— Понимаю, мистер Лэмпсон, понимаю...

Казалось, он еще колеблется, поэтому я быстро прибавил:

— Буду рад заплатить вам вдвое больше того, что вы обычно получаете.

Это его окончательно сломило. Он просто облизнулся.

— Вообще-то, мистер Лэмпсон, должен сказать, что я не занимаюсь такого рода делами. Вместе с тем нужно быть весьма бессердечным человеком, чтобы отказать от такого... скажем так... романтического поручения.

— И прошу вас, мистер Ройден, мне бы хотелось, чтобы это был портрет в полный рост. На большом холсте... Ну, допустим... раза в два больше, чем вот тот Мане на стене.

— Примерно шестьдесят дюймов на тридцать шесть?

— Да. И мне бы хотелось, чтобы она стояла. Мне кажется, в этой позе она особенно изящна.

— Я все понял, мистер Лэмпсон. С удовольствием нарисую столь прекрасную даму.

«Еще с каким удовольствием, — подумал я. — Да ты, мой мальчик, иначе и за кисть не возьмешься. Уж насчет удовольствия не сомневаюсь». Однако ему я сказал:

— Хорошо, мистер Ройден, в таком случае полагаюсь на вас. И не забудьте, пожалуйста, этот маленький секрет должен оставаться между нами.

Едва он ушел, как я заставил себя усесться и сделать двадцать пять глубоких вдохов. Ничто другое не удержало бы меня от того, чтобы не запрыгать и не закричать от радости. Никогда прежде не приходилось мне ощущать такое веселье. Мой план сработал! Самая трудная часть преодолена. Теперь лишь остается ждать, долго ждать. На то, чтобы закончить картину, у него с его методами уйдет несколько месяцев. Что ж, мне остается только запастись терпением, вот и все.

Мне тут же пришла в голову мысль, что лучше всего на это время отправиться за границу; и на следующее утро, отослав записку Жанет (с которой, если помните, я должен был обедать в тот вечер) и сообщив ей, что меня вызвали из-за границы, я отбыл в Италию.

Там, как обычно, я чудесно провел время, омрачаемое лишь постоянным нервным возбуждением, причиной которого была мысль о том, что меня ждет, когда я все-таки вернусь к месту событий.

В конце концов в июле, четыре месяца спустя, я возвратился домой — как раз на следующий день после открытия выставки в Королевской академии — и, к своему облегчению, обнаружил, что за время моего отсутствия все прошло в соответствии с моим планом. Картина, изображающая Жанет де Пеладжа, была закончена, висела в выставочном зале и уже вызвала весьма благоприятные отзывы со стороны как критиков, так и публики. Сам я удержался от соблазна взглянуть на нее, однако Ройден сообщил мне по телефону, что поступили запросы от некоторых лиц, пожелавших купить ее, но он всем дал знать, что она не продается. Когда выставка закрылась, Ройден доставил картину в мой дом и получил деньги.

Я тотчас же отнес ее к себе в мастерскую и со все возрастающим волнением принялся внимательно осматривать. Художник изобразил даму в черном платье, а на заднем плане стоял диван, обитый красным бархатом. Ее левая рука покоилась на спинке тяжелого кресла, также обитого красным бархатом, а с потолка свисала огромная хрустальная люстра.

О господи, подумал я, ну и безвкусица! Сам портрет, впрочем, был неплох. Он схватил ее выражение — наклон головы, широко раскрытые голубые глаза, большой, красивый в своей несообразности рот с тенью улыбки в одном уголке. Конечно же, он польстил ей. На лице ее не было ни одной морщинки и ни малейшего намека на двойной подбородок. Я приблизил лицо, чтобы повнимательнее рассмотреть, как он нарисовал платье. Да, краска тут лежала более толстым слоем, гораздо более толстым. И не в силах более сдерживаться, я сбросил пиджак и занялся приготовлениями к работе.

Здесь мне следует сказать, что картины я реставрирую сам, и делаю это неплохо. Например, подчистить картину — задача относительно простая, если есть терпение и легкая рука, а с теми профессионалами, которые делают невероятную тайну из своего ремесла и требуют за работу умопомрачительного вознаграждения, я дел не имею. Что касается картин в моей коллекции, я всегда занимаюсь ими сам.

Отлив немного скипидара, я добавил в него несколько капель спирта. Смочив этой смесью ватку, я отжал ее и принялся нежно, очень нежно, вращательными движениями снимать черную краску платья. Только бы Ройден дал каждому слою как следует высохнуть, прежде чем наложить другой, иначе два слоя смешались и то, что я задумал, осуществить будет невозможно. Скоро я об этом узнаю. Я трудился над квадратным дюймом черного платья где-то в области живота дамы. Времени я не жалел, тщательно счищая краску, добавляя в смесь каплю-другую спирта, потом, отступив, смотрел на свою работу, добавлял еще каплю, пока раствор не сделался достаточно крепким, чтобы растворить пигмент.

Наверное, целый час я корпел над этим маленьким квадратиком черного цвета, стараясь действовать все более осторожно, по мере того как подбирался к следующему слою. И вот показалось крошечное розовое пятнышко, становившееся все больше и больше, пока весь квадратный дюйм не стал ярким розовым пятном. Я быстро зафиксировал его чистым скипидаром.

Пока все шло хорошо. Я уже знал, что черную краску можно снять, не потревожив то, что было под ней. Если у меня хватит терпения и усердия, я легко смогу снять ее целиком. Я также определил правильный состав смеси и то, с какой силой следует нажимать, чтобы не повредить следующий слой. Теперь дело должно пойти быстрее.

Должен сказать, что это занятие меня забавляло. Я начал с середины тела и пошел вниз, и, по мере того как нижняя часть ее платья по кусочку приставала к ватке, взору стал являться какой-то предмет нижнего белья розового цвета. Хоть убейте, не знаю, как эта штука называется, одно могу сказать — конструкция была капитальная, и назначение ее, видимо, состояло в том, чтобы стиснуть расплывшееся женское тело, придать ему складную обтекаемую форму и создать ложное впечатление стройности. Спускаясь все ниже и ниже, я столкнулся с удивительным набором подвязок, тоже розового цвета, которые соединялись с этой эластичной сбруей и тянулись вниз, дабы ухватиться за верхнюю часть чулок.

Совершенно фантастическое зрелище предстало моим глазам, когда я отступил на шаг. Увиденное вселило в меня сильное подозрение, что меня дурачили, ибо не я ли в продолжение всех этих месяцев восхищался грациозной фигурой дамы? Да она просто мошенница. Тут сомнений никаких нет. Однако вот что интересно: многие ли женщины прибегают к подобному обману? Разумеется, я знал, что в те времена, когда женщины носили корсеты, для дамы было обычным делом шнуровать себя, однако я почему-то полагал, что в наши дни для них остается лишь диета.

Когда сошла вся нижняя половина платья, я переключил свое внимание на верхнюю часть, медленно продвигаясь кверху от середины тела. Здесь, в районе диафрагмы, был кусочек обнаженного тела; затем, чуть повыше, я натолкнулся на покоящееся на груди приспособление, сделанное из некоего тяжелого черного материала и отделанное кружевом. Это, как мне было отлично известно, бюстгальтер — еще одно капитальное устройство, поддерживаемое посредством черных бретелек столь же искусно и ловко, что и вишый мост с помощью подвесных канатов.

«Ну и ну, — подумал я. — Век живи — век учись».

Но вот работа закончена, и я снова отступил на шаг, чтобы в последний раз взглянуть на картину. Зрелище было и вправду удивительное! Эта женщина, Жанет де Пеладжа, изображенная почти

в натуральную величину, стояла в нижнем белье (по-моему, в какой-то гостиной), над головой ее висела огромная люстра, а рядом стояло кресло, обитое красным бархатом. Притом сама она (что было особенно волнующе) глядела столь беззаботно, столь безмятежно. Ее голубые глаза были широко раскрыты, а огромный рот расплылся в легкой улыбке. Еще я вдруг заметил, что она необычайно кривонога, точно жокей, и это несколько потрясло меня. Сказать по правде, картина в целом смущала. Было такое чувство, словно я не имел права находиться в комнате и уж точно не имел права рассматривать картину. Поэтому спустя какое-то время я вышел и прикрыл за собой дверь. Я старался вести себя в рамках приличий.

А теперь — следующий и последний шаг! И не думайте, будто за это время моя жажда мщения сколько-нибудь уменьшилась. Напротив, она только возросла, и, когда осталось совершить последний акт, скажу вам, мне стало трудно сдерживаться. В эту ночь, к примеру, я вообще не ложился спать.

А все дело в том, что мне не терпелось разослать приглашения. Я просидел всю ночь, сочиняя тексты и надписывая конверты. Всего их было двадцать два, и мне хотелось, чтобы каждое послание было личным: «В пятницу, двадцать второго, в восемь вечера, я устраиваю небольшой ужин. Очень надеюсь, что Вы сможете ко мне прийти... С нетерпением жду встречи с Вами...»

Самое первое приглашение, наиболее тщательно обдуманное, было адресовано Жанет де Пеладжа. В нем я выражал сожаление по поводу того, что так долго ее не видел... был за границей... хорошо бы встретиться и т. д. и т. п. Следующее было адресовано Глэдис Понсонби. Я также пригласил леди Гермиону Гэрдлстоун, принцессу Бичено, миссис Кадберд, сэра Хьюберта Кола, миссис Гэлболли, Питера Юана-Томаса, Джеймса Пискера, сэра Юстаса Пигроума, Питера ван Сантена, Элизабет Мойнихан, лорда Малхеррина, Бертрама Стюарта, Филиппа Корнелиуса, Джека Хилла, леди Эйкман, миссис Айсли, Хамфри Кинга-Хауэрда, Джона О'Коффи, миссис Ювари и наследную графиню Воксвортскую.

Список был тщательно продуман и включал в себя самых замечательных мужчин, самых блестящих и влиятельных женщин вертушки нашего общества.

Я отдавал себе отчет в том, что ужин в моем доме является событием незаурядным; все считали обязательным побывать у меня.

И, следя за тем, как кончик пера быстро движется по бумаге, я живо представлял себе дам, которые, едва получив утром приглашение, в предвкушении удовольствия снимают трубку телефона, стоящего возле кровати, и визгливыми голосами сообщают друг дружке: «Лайонел устраивает вечеринку.. Он тебя тоже пригласил? Моя дорогая, как это замечательно... У него всегда так вкусно... и он такой прекрасный мужчина, не правда ли?»

Неужели так и будут говорить? Неожиданно мне пришло в голову, что все может происходить и по-другому. Скорее, пожалуй, так: «Я согласна с тобой, дорогая, да, неплохой старик, но немножко занудливый, тебе так не кажется?.. Что ты сказала?.. Скучный?.. Верно, моя дорогая. Ты прямо в точку попала... Ты слышала, что о нем однажды сказала Жанет де Пеладжа?.. Ах да, ты уже знаешь об этом... Очень смешно, правда?.. Бедная Жанет... не понимаю, как она могла терпеть его так долго...»

Как бы то ни было, приглашения я разослал, и в течение двух дней все с признательностью приняли их, кроме миссис Кадберд и сэра Хьюберта Кола, бывших в отъезде.

Двадцать второго, в восемь тридцать вечера, моя большая гостиная наполнилась людьми. Гости расхаживали по комнате, восхищаясь картинами, потягивая мартини и громко разговаривая друг с другом. От женщин сильно пахло духами, у мужчин, облаченных в строгие смокинги, были розовые лица. Жанет де Пеладжа надела то же черное платье, в котором она была изображена на портрете, и всякий раз, когда она попадала в поле моего зрения, у меня перед глазами, точно в каком-нибудь глупом мультике, возникала, накладываясь, картинка; я видел Жанет в нижнем белье, ее черный бюстгальтер, розовый эластичный пояс, подвязки и ноги жокея.

Я переходил от одной группы к другой, любезно со всеми беседея и прислушиваясь к их разговорам. Я слышал, как за моей спиной миссис Гэлболли рассказывает сэру Юстасу Пигроуму и Джеймсу Пискеру о сидевшем накануне вечером за соседним столиком в «Кларидже» мужчине, седые усы которого были перепачканы помадой. «Он весь был в помаде, — говорила она, — а старикашке никак не меньше девяноста...» Стоявшая неподалеку леди Гэрдлстоун рассказывала кому-то о том, где можно достать трюфели, вымоченные в бренди, а миссис Айсли что-то нашептывала лорду Малхеррину, тогда как его светлость медленно покачивал головой из стороны в сторону, точно старый, безжизненный метроном.

Было объявлено, что ужин подан, и мы потянулись из гостиной.

— Боже милостивый! — воскликнули они, войдя в столовую. — Как здесь темно и зловеще!

— Я ничего не вижу!

— Какие божественные свечи и какие крошечные!

— Однако, Лайонел, как это романтично!

Посередине длинного стола, футах в двух друг от друга, были расставлены шесть очень тонких свечей. Своим небольшим пламенем они освещали лишь сам стол, тогда как вся комната была погружена во тьму. Это выглядело довольно оригинально, и, помимо того обстоятельства, что все эти приготовления вполне отвечали моим намерениям, они вносили и некоторое разнообразие. Гости расселись на отведенные для них места, и ужин начался.

Всем, похоже, понравилось ужинать при свечах, и все шло отлично, хотя темнота почему-то вынуждала их говорить громче обычного. Голос Жанет де Пеладжа казался мне особенно резким. Она сидела рядом с лордом Малхеррином, и я слышал, как она рассказывала ему о том, как скучно провела время в Кап-Ферра неделю назад. «Там одни французы, — говорила она. — Всюду одни только французы...»

Я, со своей стороны, наблюдал за свечами. Они были такими тонкими, что скоро совсем сгорят. И еще я, должен признаться, очень нервничал и в то же время был необыкновенно возбужден, едва ли не опьянен. Всякий раз, когда я слышал голос Жанет или бросал взгляд на ее лицо, едва различимое при свечах, во мне точно взрывалось что-то, и я чувствовал, как под кожей у меня бежит огонь.

Гости перешли к десерту из клубники, когда я в конце концов решил — пора. Сделав глубокий вдох, я громким голосом объявил:

— Боюсь, нам придется зажечь свет. Свечи почти догорели. Мэри! — крикнул я. — Мэри, будьте добры, включите свет.

После моего объявления наступила минутная тишина. Я слышал, как служанка подходит к двери, затем тихо щелкнул выключатель — и комнату залило ярким светом. Все прищурились, потом широко раскрыли глаза и огляделись.

В этот момент я уже поднялся со стула, однако, выскальзывая из гостиной, увидел картину, которую не забуду до конца дней своих. Жанет воздела было руки, да так и замерла, позабыв о том, что,

жестикую, разговаривала с кем-то сидевшим напротив нее. Челюсть у нее упала дюйма на два, и на лице застыло удивленное, непонимающее выражение человека, которого ровно секунду назад застрелили, причем пуля попала прямо в сердце.

Я остановился в холле и прислушался к начинающейся суматохе, к пронзительным крикам дам и негодующим восклицаниям мужчин, отказывавшихся верить увиденному, поднялся невероятный гул, все одновременно заговорили громкими голосами. Затем — и это был самый приятный момент — я услышал голос лорда Малхеррина, заглушивший остальные голоса:

— Эй! Есть тут кто-нибудь? Скорее! Дайте же ей воды!

На улице шофер помог мне сесть в мой автомобиль, и скоро мы выехали из Лондона и весело покатали по Норт-роуд к другому моему дому, который находился всего-то в девяноста пяти милях от столицы.

Следующие два дня я торжествовал. Я бродил повсюду, охваченный иступленным восторгом, необыкновенно довольный собой; меня переполняло столь сильное чувство удовлетворения, что в ногах я ощущал беспрестанное покалывание. И лишь сегодня утром, когда позвонила Глэдис Понсонби, я неожиданно пришел в себя и понял, что вовсе не герой, а мерзавец. Она сообщила (как мне показалось, с некоторым удовольствием), что все восстали против меня, что все мои старые, любимые друзья говорили обо мне ужасные вещи и поклялись никогда больше со мной не разговаривать. Кроме нее, говорила она. Все, кроме нее. И еще спросила, не буду ли я возражать, если она придет и побудет со мной несколько дней, чтобы поддержать меня?

Боюсь, к тому времени я уже был настолько расстроен, что не мог даже вежливо ей ответить. Я просто положил трубку и отправился плакать.

И вот сегодня в полдень меня сразил окончательный удар. Пришла почта, и (с трудом могу заставить себя писать об этом, так мне стыдно) вместе с ней пришло письмо, послание самое доброе, самое нежное, какое только можно вообразить. И от кого бы вы думали? От самой Жанет де Пеладжа. Она писала, что полностью простила меня за все, что я сделал. Она понимала, что это была всего лишь шутка, и я не должен слушать те ужасные вещи, которые люди говорят обо мне. Она любит меня по-прежнему и всегда будет любить, до последнего смертного часа.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

О, каким хамом, какой скотиной я себя почувствовал, когда прочитал эти строки! И ощущение это возросло еще сильнее, когда я обнаружил, что этой же почтой она выслала мне небольшой подарок как знак своей любви — полунунтовую банку моего самого любимого лакомства, свежей икры.

От хорошей икры я ни при каких обстоятельствах не могу отказаться. Наверное, это самая моя большая слабость. И хотя по понятным причинам в тот вечер у меня не было решительно никакого аппетита, должен признаться, что я съел-таки несколько ложечек в попытке утешиться в своем горе. Возможно даже, что я немного переел, потому как уже с час мне не очень-то весело. Пожалуй, мне следует немедленно выпить содовой. Как только почувствую себя лучше, вернусь и закончу свой рассказ; думаю, тогда мне будет легче это сделать.

Вообще-то, мне вдруг действительно стало нехорошо.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СОЧИНИТЕЛЬ

— Ну вот, Найп, дружище, теперь, когда все позади, я пригласил тебя, чтобы сказать: по-моему, ты отлично справился с работой.

Адольф Найп молча стоял перед сидевшим за столом мистером Боуленом, всем своим видом давая понять, что особенного восторга он не испытывает.

— Разве ты не доволен?

— Доволен, мистер Боулен.

— Ты читал, что пишут сегодняшние газеты?

— Нет, сэръ, не читал.

Человек, сидевший за столом, развернул газету и стал читать:

«Завершена работа по созданию аппарата, выполнявшаяся по заданию правительства. На сегодняшний день это, пожалуй, самая мощная электронно-вычислительная машина в мире. Ее основным назначением является удовлетворение постоянно растущих требований науки, промышленности и административных органов в быстрейшем осуществлении математических вычислений, которые раньше, когда пользовались традиционными методами, были бы попросту невозможны или требовали бы несообразно долгого времени. По словам Джона Боулена, главы электротехнической фирмы, в которой в основном проводилась работа, на решение задачи, занимающей у математика месяц, у аппарата уходит лишь пять секунд. Понадобилось бы полмиллиона страниц, чтобы записать на бумаге (если это вообще возможно) вычисления, которые он производит за три минуты. В этом компьютере используются электрические импульсы, генерируемые со скоростью миллион в секунду, и он способен производить вычисления путем сложения, вычитания, умножения и деления. В смысле практического применения возможности машины неисчерпаемы...»

Мистер Боулен взглянул на лицо молодого человека, слушавшего его с безразличным видом.

— Разве ты не гордишься, Найп? Неужели ты не рад?

— Ну что вы, мистер Боулен, разумеется, я рад.

— Думаю, нет нужды напоминать тебе, что твой вклад в этот проект, особенно в его первоначальный замысел, был весьма значителен. Скажу больше — без тебя и без некоторых твоих идей весь этот проект мог бы и поныне остаться на бумаге.

Адольф Найп переступил с ноги на ногу и принялся рассматривать белые руки своего шефа, его тонкие пальцы, в которых тот вертел скрепку, распрямляя ее. Ему не нравились руки этого человека. Да и лицо не нравилось, особенно крошечный рот и фиолетовые губы. Неприятнее всего было то, что, когда он говорил, двигалась только нижняя губа.

— Тебя что-то беспокоит, Найп? Что-то случилось?

— Ну что вы, мистер Боулен. Совсе нет.

— Тогда как ты смотришь на то, чтобы отдохнуть недельку? Тебя это отвлечет. Да ты и заслужил это.

— Право, не знаю, сэр.

Шеф помолчал, рассматривая стоявшего перед ним высокого, худого молодого человека. Странный тип. Неужели он не может держаться прямо? Вечно кислая физиономия, одет небрежно, эти пятна на пиджаке, волосы, закрывающие пол-лица.

— Я бы хотел, чтобы ты отдохнул, Найп. Тебе это пойдет на пользу.

— Хорошо, сэр. Если вам так хочется.

— Возьми неделю. Хочешь, две. Отправляйся куда-нибудь в теплые края. Загорай. Купайся. Ни о чем не думай. Побольше спи. А когда вернешься, мы поговорим о будущем.

Адольф Найп отправился домой, в свою двухкомнатную квартиру, на автобусе. Бросив пальто на диван, он налил себе виски и сел перед пишущей машинкой, стоявшей на столе. Мистер Боулен прав. Конечно же, прав. Если не считать того, что ему и половины неизвестно. Он, наверное, думает, что здесь замешана женщина. Когда молодого человека охватывает депрессия, все думают, что виной тому женщина.

Из машинки торчал отпечатанный наполовину лист бумаги. Адольф Найп склонился над ним и стал читать. Заголовок гласил: «На волосок от гибели». Текст начинался со слов: «Была темная ночь, низко над землей нависли черные тучи. Ветер раскачивал деревья, шел сильный дождь...»

Адольф Найп сделал глоток виски, ощутив сильный привкус солода. Холодный виски тоненькой струйкой побегал по горлу и достиг желудка. По телу разлилась теплота. Да черт с ним, с мистером Джоном Боуленом. К черту компьютер. К черту все...

Неожиданно, как это случается с человеком в минуту озарения, зрачки его расширились, рот приоткрылся. Он медленно поднял голову и замер, не в силах пошевелиться. Он уставился в одну точку на стене, при этом взгляд его выражал скорее любопытство, чем удивление, но он пристально глядел так сорок, пятьдесят, шестьдесят секунд. Затем постепенно (головы он не поворачивал) выражение лица его изменилось, любопытство сменилось удовольствием, поначалу довольно слабо угадывавшимся в уголках рта, но это радостное чувство росло, лицо его разгладилось, обнаруживая полный восторг. Впервые за многие месяцы Адольф Найп улыбнулся.

— Ну конечно же, — громко произнес он, — это просто смешно.

И он снова улыбнулся, при этом его верхняя губа поднялась и обнажились зубы.

— Идея отличная, но едва ли осуществимая, так стоит ли вообще думать об этом?

Начиная с этой минуты Адольф Найп ни о чем другом больше не думал. Идея захватила его целиком, сначала потому, что у него появлялась возможность (правда, неопределенная) самым жестоким образом отомстить своим злейшим врагам. Минут десять или пятнадцать он неспешно рассматривал ее именно с этой точки зрения, затем совершенно неожиданно для себя принялся самым серьезным образом изучать ее и с точки зрения практического осуществления. Он взял лист бумаги и сделал несколько предварительных записей. Но дальше этого дело не пошло. Он тут же вспомнил старую истину, заключающуюся в том, что насколько бы совершенна машина ни была, она не способна творчески мыслить. Она справляется только с теми задачами, которые сводятся к математическим формулам, и задачи эти могут иметь одно — и только одно — верное решение.

В этом все дело. Другого пути нет. Машина не может обладать мозгом. Но, с другой стороны, она может иметь память, не так ли? У компьютера прекрасная память. Преобразуя электрические импульсы в сверхзвуковые волны при помощи ртутного столба, можно заставить аппарат запомнить тысячу цифр одновременно, а затем выдать любую из них в необходимый момент. Нельзя ли таким

образом создать устройство памяти практически неограниченного объема?

Мысль смелая, но как ее осуществить?

Неожиданно ему в голову пришла еще одна, хотя и простая на первый взгляд, идея. Суть ее сводилась к следующему. Грамматика английского языка в известной степени подчиняется математическим законам. Допустим, есть слова и задан смысл того, что должно быть сказано, тогда возможен только один порядок, в который эти слова могут быть организованы.

Нет, подумал он, это не совсем так. Во многих предложениях возможен различный порядок слов и групп слов, оправданный грамматикой. Впрочем, не в этом суть. В основе своей теория верна. Очевидно, можно задать компьютеру ряд слов (вместо цифр) и сделать так, чтобы машина организовывала их в соответствии с правилами грамматики. Нужно только, чтобы она выделяла глаголы, существительные, прилагательные, местоимения, хранила их в устройстве памяти в качестве словарного запаса и готовила к выдаче по первому требованию. Потом нужно будет подкинуть ей несколько сюжетов, и пусть себе пишет.

Найпа теперь было не остановить. Он тут же принялся за работу и не прекращал упорных занятий в течение нескольких дней. По всей гостиной были разбросаны листы бумаги, исписанные формулами и расчетами, словами, тысячами слов, набросками сюжетов для рассказов, странным образом пронумерованных; тут были большие выписки из словаря Роже¹; целые страницы были заполнены мужскими и женскими именами, сотнями фамилий, взятых из телефонного справочника; отдельные листы были испещрены чертежами и схемами контуров, коммутаторов и электронных ламп, чертежами машин, предназначенных для того, чтобы пробивать в перфокартах отверстия различной формы, и схемами какой-то диковинной электрической машинки, способной самостоятельно печатать десять тысяч слов в минуту. На отдельном листе была набросана схема приборной панели с небольшими кнопками, причем на каждой написано название какого-нибудь известного американского журнала.

¹ *Питер Марк Роже* (1779–1869) — английский врач и лексикограф. Автор первого идеографического словаря английского языка (1852), который переиздается до сих пор

Он работал с упоением. Расхаживая по комнате среди разбросанных бумаг, Найп то и дело потирал руки и сам с собой разговаривал; время от времени он криво усмехался и произносил смертельные оскорбления, при этом слово «издатель» звучало довольно часто. На пятнадцатый день напряженной работы он сложил бумаги в две огромные папки и отправился — почти бегом — в контору «Джон Боулен, электронное оборудование».

Мистер Боулен был рад вновь увидеться с ним.

— Слава богу, Найп, ты выглядишь на сто процентов лучше. Хорошо отдохнул? Где ты был?

«Все так же неприятен и неряшлив, — подумал мистер Боулен. — Ну почему он не может стоять прямо? Согнулся, словно высохшее дерево».

— Ты выглядишь на сто процентов лучше, старина.

«И чего это он усмехается, хотелось бы мне знать. Каждый раз, когда я его вижу, мне кажется, что уши у него стали еще больше». Адольф Найп положил папки на стол.

— Смотрите, мистер Боулен! — вскричал он. — Посмотрите, что я принес.

И он стал рассказывать. Раскрыв папки и разложив чертежи перед изумленным маленьким человечком. Целый час он подробно все объяснял, а когда закончил, отступил на шаг, слегка покраснев. Затаив дыхание, он ждал приговора.

— Знаешь что, Найп? Я думаю, что ты голова.

«Осторожнее, — сказал себе мистер Боулен. — Обращайся с ним осторожнее. Он кое-что значит. Если бы только эта его длинная лошадиная морда и огромные зубы не производили такого отталкивающего впечатления. У этого парня уши будто листья ревеня».

— Но, мистер Боулен, она будет работать! Я ведь доказал вам, что она будет работать! И вы не сможете отрицать этого!

— Не спеши, Найп. Не спеши и послушай меня.

Адольф Найп смотрел на своего шефа, с каждой секундой испытывая к нему все большее отвращение.

— Твоя идея, — зашевелилась нижняя губа мистера Боулена, — довольно оригинальна, я бы даже сказал, что идея блестящая, а это еще раз говорит о том, что я высокого мнения относительно твоих способностей, Найп. Но не бери ее всерьез. В конце концов, приятель, какую мы можем извлечь из нее пользу? Кому нужна маши-

на, пишущая рассказы? Да и какая, кстати, от нее выгода? Скажи-ка мне.

— Можно я сяду, сэр?

— Конечно, садись.

Адольф Найп присел на краешек стула. Шеф не сводил с него глаз, ожидая, что он скажет.

— Если позволите, я бы хотел объяснить вам, мистер Боулен, как я пришел к этому.

— Давай, Найп, валяй.

«С ним нужно сейчас помягче, — сказал про себя мистер Боулен. — Этот парень почти гений. Для фирмы это находка. Его ценность можно сравнить со слитком золота, вес которого равен его собственному. Да взять хоть эти бумаги. Просто поразительно. Никакого проку, разумеется, от всего этого нет. Никакой коммерческой выгоды. Но это еще раз говорит о том, что парень талантлив».

— Пусть это будет чем-то вроде исповеди, мистер Боулен. Мне кажется, я смогу объяснить вам, почему я всегда был таким... беспокойным, что ли.

— Выкладывай, что там у тебя, Найп. Сам знаешь — на меня можно положиться.

Молодой человек стиснул пальцы рук коленями и уперся локтями в живот. Казалось, ему стало неожиданно холодно.

— Видите ли, мистер Боулен, по правде, меня не особенно привлекает работа здесь. Я знаю, что я с ней справляюсь и все такое, но душа у меня к ней не лежит. Это не то, чем я хотел бы заниматься.

Словно на пружинах, брови мистера Боулена подскочили вверх. Он замер.

— Понимаете, сэр, всю свою жизнь я хотел стать писателем.

— Писателем?

— Да, мистер Боулен. Наверное, вы не поверите, но каждую свободную минуту я тратил на то, что писал рассказы. За последние десять лет я написал сотни, буквально сотни коротких рассказов. Пятьсот шестьдесят шесть, если быть точным. Примерно по одному в неделю.

— О боже! И зачем тебе это?

— Как я понимаю, сэр, у меня есть страсть.

— Что еще за страсть?

— Страсть к творчеству, мистер Боулен.

Всякий раз, поднимая глаза, он видел губы мистера Боулена. Они делались все тоньше и тоньше и становились еще более фиолетовыми.

— А позволь спросить тебя, Найп, что ты делал с этими рассказами?

— Вот тут-то и начинаются проблемы, сэр. Их никто не покупал. Закончив рассказ, я отсылал его в журнал. Сначала в один, потом в другой. А кончалось, мистер Боулен, тем, что рассказы мне возвращали. Меня это просто убивает.

Мистер Боулен с облегчением вздохнул.

— Очень хорошо понимаю тебя, старина. — В голосе его послышалось сочувствие. — Со всеми хоть раз в жизни случалось нечто подобное. Но теперь, после того как редакторы — а они знают, что к чему, — убедили тебя в том, что твои рассказы... как бы сказать?.. несколько неудачны, нужно оставить это занятие. Забудь об этом, приятель. Забудь, и все.

— Нет, мистер Боулен. Это не так! Я уверен, что пишу хорошие рассказы. О господи, да вы сравните их с той чепухой, что печатают в журналах, — поверьте мне, все это слюнявая невыносимая чушь... Меня это сводит с ума!

— Погоди, старина...

— Вы читаете журналы, мистер Боулен?

— Извини, Найп, но какое это имеет отношение к твоей машине?

— Прямое, мистер Боулен, самое прямое. Вы только послушайте. Я внимательно просмотрел несколько разных журналов, и мне показалось, что каждый из них печатает только то, что для него наиболее типично. Писатели — я имею в виду преуспевающих писателей — знают об этом и соответственно и творят.

— Постой, приятель. Успокойся. Я все же сомневаюсь, что мы сможем как-то это использовать.

— Прошу вас, мистер Боулен, выслушайте меня до конца. Это ужасно важно.

Он замолчал, с трудом переводя дыхание. Он вконец разнервничался и при разговоре размахивал руками. Его длинное некрасивое лицо горело воодушевлением. Рот наполнился слюной, и казалось, что и слова, которые он произносил, были мокрыми.

— Теперь вы понимаете, что с помощью особого регулятора, установленного на моей машине и соединяющего «отдел памяти»

с «сюжетным отделом», я могу, просто нажав на нужную кнопку, получать любой необходимый мне рассказ в зависимости от направления журнала.

— Понимаю, Найп, понимаю. Очень занятно, но зачем это нужно?

— А вот зачем, мистер Боулен. Возможности рынка ограничены. Нужно производить необходимый товар в нужное время. Это чисто деловой подход. Теперь я смотрю на все это с вашей точки зрения — пусть это будет коммерческое предложение.

— Дружище, я никак не могу рассматривать это в качестве коммерческого предложения. Тебе не хуже меня известно, во что обходится создание подобных машин.

— Я это хорошо знаю, сэр. И все равно вы, думаю, представить себе не можете, сколько платят журналы авторам рассказов.

— И сколько же они платят?

— Что-то около двух с половиной тысяч долларов. А в среднем, наверное, около тысячи.

Мистер Боулен подскочил на месте.

— Да, сэр, это так.

— Просто невероятно, Найп. Но это же нелепо!

— Но, сэр, это так.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что журналы платят такие деньги всякому, кто... навалает какой-то там рассказ! О боже, Найп! Да что же это такое? В таком случае все писатели миллионеры!

— Это на самом деле так, мистер Боулен! А тут появляемся мы с нашей машиной. Вы послушайте, сэр, что я вам еще расскажу, я уже все обдумал. В среднем толстые журналы печатают в каждом номере три рассказа. Возьмите пятнадцать самых солидных журналов — те, которые платят больше всего. Некоторые из них выходят раз в месяц, но большинство — еженедельники. Так. Это значит, что каждую неделю у нас будут покупать, скажем, по сорок больших рассказов. Это сорок тысяч долларов. С помощью нашей машины, когда она заработает на полную мощность, мы сможем захватить весь рынок!

— Ты, парень, совсем сошел с ума!

— Нет, сэр, поверьте, то, что я говорю, правда. Неужели вы не понимаете, что мы их завалим одним лишь количеством! За тридцать секунд эта машина выдаст рассказ в пять тысяч слов, и его

тут же можно отсылать. Да разве писатели смогут состязаться с ней? Как по-вашему, мистер Боулен, смогут?

Адольф Найп увидел, как в эту минуту в лице шефа произошла едва заметная перемена. В глазах его забегали искорки, ноздри расширились, но на лице не двигался ни один мускул.

Он быстро продолжал:

— В наше время, мистер Боулен, нельзя возлагать большие надежды на статью, написанную от руки. Она не выдержит конкуренции в мире массовой продукции, типичном для нашей страны, и вы это отлично понимаете. Ковры, стулья, башмаки, кирпичи, посуду — что хотите, — все сейчас делает машина. Качество, возможно, стало хуже, но какое это имеет значение? Считаются только со стоимостью производства. А рассказы... рассказы тоже товар, как ковры и стулья, и кому какое дело, каким образом вы их производите, лишь бы они были. Мы будем продавать их оптом, мистер Боулен! И по более низким ценам, чем любой другой писатель этой страны! Мы завоюем рынок!

Мистер Боулен уселся поудобнее. Он наклонился вперед, положил локти на стол и не сводил глаз с говорившего.

— И все же я думаю, что это неосуществимо, Найп.

— Сорок тысяч в неделю! — воскликнул Адольф Найп. — Если даже мы будем брать полцены, то есть двадцать тысяч в неделю, это все равно миллион в год! — И, понизив голос, он добавил: — Вы ведь не зарабатываете миллион в год на компьютерах, мистер Боулен?

— Однако, Найп, ты серьезно думаешь, что их станут покупать?

— Послушайте, мистер Боулен. Кому нужны написанные по заказу рассказы, если можно за полцены купить точно такие же? Это ведь очевидно, не правда ли?

— А как ты будешь их продавать? Кто-то ведь должен быть их автором?

— Мы создадим литературное агентство, через которое и будем распространять их. И придумаем имена мнимым авторам.

— Мне это не нравится, Найп. Это уже отдает мошенничеством, тебе так не кажется?

— И вот еще что, мистер Боулен. Как только мы начнем, появятся всевозможные побочные продукты, по-своему тоже ценные. Возьмите, скажем, рекламу. Те, кто занимается, допустим, произ-

водством пива, платят в наше время большие деньги знаменитым писателям, если они позволяют использовать свое имя в качестве рекламы. Да что там говорить, мистер Боулен! Все это не детские шалости. Это большой бизнес.

— Не слишком-то обольщайся, приятель.

— И еще. Почему бы нам, мистер Боулен, не подписать несколько наиболее удачных рассказов вашей фамилией? Если, конечно, вы не против.

— Помилуй, Найп. Это еще зачем?

— Не знаю, сэр, хотя некоторые писатели и пользуются уважением, к примеру Эрл Гарднер и Кэтлин Норрис. Нам все равно нужна будет какая-нибудь фамилия, и я подумывал о том, чтобы для начала подписать пару рассказов своей.

— Ишь ты, писатель... — задумчиво произнес мистер Боулен. — Вот удивятся в клубе, когда увидят мою фамилию в журналах, в хороших журналах.

— Ну конечно, мистер Боулен.

Взгляд мистера Боулена сделался отсутствующим, он мечтательно улыбнулся. Но продолжалось это недолго. Он встряхнулся и принялся перелистывать лежавшие перед ним чертежи.

— Одного я не пойму, Найп. Откуда ты будешь брать сюжеты? Ведь не машина же их выдумает?

— Мы ей дадим сюжеты. Это не проблема. У каждого из нас есть какие-то сюжеты. В папке, что слева от вас, их сотни три или четыре. Мы снабдим ими «сюжетный отдел» машины.

— Продолжай.

— Есть и еще кое-какие тонкости, мистер Боулен. Вы поймете, что я имею в виду, когда изучите чертежи. Например, есть прием, который использует каждый писатель: в рассказ вставляется хотя бы одно длинное слово с весьма туманным значением. Тогда читатель думает, будто автор необычайно умен. Моя машина будет делать то же самое. С этой целью в нее запрятана целая куча длинных слов.

— Куда?

— В «словарный отдел», — отвечал Найп.

Остаток дня они обсуждали возможности нового аппарата. Кончилось дело тем, что мистер Боулен пообещал подумать. На следующее утро он был полон энтузиазма, однако виду не подавал. Через неделю идея полностью захватила его.

— Мы должны всем говорить, Найп, что просто работаем над еще одним компьютером, но нового типа. Это позволит нам сохранить нашу тайну.

— Вы правы, мистер Боулен.

И через полгода машина была создана. Ее поместили в отдельном кирпичном доме во дворе здания, в котором размещался офис, и теперь, когда она была готова к работе, к ней и близко никого не подпускали, кроме мистера Боулена и Адольфа Найпа.

И вот настал волнующий момент, когда двое мужчин, один небольшого роста, упитанный, коротконогий, другой высокий, худой, с торчащими зубами, приготовились создать первый рассказ. Все стены вокруг них были переплетены проводами, усеяны выключателями и электронными лампами. Оба нервничали; мистер Боулен, не в силах стоять спокойно, подпрыгивал то на одной, то на другой ноге.

— Итак, какую кнопку нажмем? — спросил Адольф Найп, разглядывая ряд белых маленьких клавишей, напоминавших те, что установлены в пишущей машинке. — Выбирайте вы, мистер Боулен. А выбирать есть из чего — тут и «Сатердей ивнинг пост», и «Кольерс», и «Лейдиз хоум джорнэл», любой журнал, какой вам нравится.

— О господи! Да откуда же мне знать?

Боулен прыгал на месте, будто его жалили пчелы.

— Мистер Боулен, — серьезным тоном произнес Адольф Найп, — осознаете ли вы, что в эту минуту в одном лишь вашем мизинце заключена сила, способная сделать вас самым разносторонним писателем во всей Европе?

— Послушай, Найп, прекрати шутить, прошу тебя, давай без предисловий.

— Хорошо, мистер Боулен. Пусть это будет... дайте-ка подумать... вот этот. Как насчет этого журнала?

Он выпрямил палец и нажал на кнопку, на которой маленькими черными буквами было выведено название «Тудейз вимэн». Что-то щелкнуло, и, когда он убрал палец, кнопка осталась утопленной.

— Журнал мы выбрали, — сказал Найп. — А теперь — вперед!

Он протянул руку и нажал на выключатель на приборной панели. В ту же минуту комнату заполнило громкое гудение, посыпались искры, и застучали бесчисленные крошечные молоточки. И почти тотчас же из щели, расположенной справа от приборной

панели, посыпались в корзину листы бумаги. Каждую секунду появлялся новый лист, и раньше чем через полминуты все было кончено. Листы больше не появлялись.

— Ну вот! — воскликнул Адольф Найп. — Ваш рассказ готов.

Они схватили листы и стали читать. На первой странице было напечатано: «Айфкимосасегуезтплипокудскдгт и, фухпеканвоертуоуиол кйхгфдсаксковоим, перуитрехдйкгмвно, умсюи...» Они переглянулись. Остальные страницы были заполнены примерно таким же текстом. Мистер Боулен стал кричать. Молодой человек пытался его успокоить:

— Все в порядке, сэр. Правда, все в порядке. Нужно только немного отрегулировать ее. Где-то что-то не так соединилось, и все. Не забывайте, мистер Боулен, что в ней больше миллиона футов проводов. Да и трудно ожидать, что с первого раза все пойдет гладко.

— Она никогда не будет работать, — сказал мистер Боулен.

— Наберитесь терпения, сэр. Наберитесь терпения.

Адольф Найп принялся разыскивать неисправность, и через четыре дня объявил, что все готово для очередного испытания.

— Она никогда не будет работать, — говорил мистер Боулен. — Я знаю: она никогда не будет работать.

Наип улыбнулся и нажал на кнопку с надписью: «Ридерз дайджест». Затем он потянул на себя рычаг, и комната наполнилась каким-то странным волнующим гулом. В корзину упала одна страница с отпечатанным текстом.

— А где же остальные? — закричал мистер Боулен. — Она остановилась! Она опять сломалась!

— Нет, сэр. Теперь все в порядке. Это же для «Дайджеста», неужели вы не понимаете?

На этот раз было напечатано следующее: «Малоктознаеткакиепоистинереволюционныепеременынесетноеелекарствоспособноеоблегчитьучастьстрадающихсамойужаснойболезньюнашеговремени...»

— Но это же чепуха! — вскричал мистер Боулен.

— Да нет же, сэр. Отличная работа. Неужели вы не видите? Просто она еще не научилась разбивать слова. Это легко исправить. Но рассказ-то готов. Смотрите, мистер Боулен, смотрите! Он готов, только слова соединены друг с другом.

Это была правда.

На следующем испытании, спустя несколько дней, все было нормально, даже проставлены запятыя. Первый рассказ они послали в знаменитый женский журнал. Это был отлично написанный, с хорошим сюжетом рассказ, в котором речь шла о том, как один юноша стремился получить повышение по службе. И вот этот юноша, говорилось в рассказе, решил вместе со своим приятелем темной ночью похитить дочку своего хозяина, когда та будет возвращаться домой. Потом вышло так, что он, улучив момент, выбил револьвер из рук своего друга и таким образом спас девушку. Та рассыпалась в благодарностях. Но отец заподозрил подвох. Он устроил юноше допрос. Молодой человек расплакался и во всем сознался. Тогда отец, вместо того чтобы вышвырнуть его, сказал, что восхищен находчивостью юноши. Девушка отметила его порядочность (да и внешность). Отец пообещал сделать его главным бухгалтером. А девушка вышла за него замуж.

— Потрясающе, мистер Боулен! Прямо в точку!

— Что-то тут много сантиментов, приятель.

— Ну что вы, сэр, он пойдет, еще как пойдет!

Разгорячившись, Адольф Найп тут же отпечатал еще шесть рассказов за столько же минут. Все рассказы, кроме одного, который получился несколько непристойным, были довольно хороши.

Тут мистер Боулен успокоился. Он согласился с тем, что нужно создать литературное агентство и разместить его в центре города, а заведовать агентством будет Найп. Через пару недель этот вопрос был улажен. Затем Найп разослал первую дюжину рассказов. Он поставил свою фамилию под четырьмя рассказами, авторство одного взял на себя мистер Боулен, а остальные они подписали вымышленными именами.

Пять рассказов были сразу же приняты. Тот, что подписал мистер Боулен, возвратили, а редактор отдела прозы писал: «Вы славно потрудились, но, как нам кажется, рассказ Вам не удался. Хотелось бы познакомиться еще с какой-нибудь Вашей работой...» Адольф Найп взял такси и отправился на фабрику, где машина быстро состряпала еще один рассказ для того же журнала. Он опять поставил под рассказом имя мистера Боулена и срочно отослал его. Рассказ был принят.

Деньги потекли рекой. Найп постепенно, но настойчиво увеличивал производство, и уже через полгода он поставлял тридцать

рассказов в неделю, причем половина из них печаталась в журналах.

В литературных кругах о нем заговорили как о плодовитом и преуспевающем писателе. Говорили и о мистере Боулене, хотя отзывались о нем не столь хорошо; сам он, правда, этого не знал. Одновременно Найп «разрабатывал» дюжину подающих надежды молодых литераторов, совершенно мифических. Все шло превосходно.

К этому времени было решено перенастроить машину таким образом, чтобы она писала не только рассказы, но и романы. Мистер Боулен, жаждавший литературной славы, настойчиво требовал, чтобы Найп тотчас же принялся за выполнение столь ответственной задачи.

— Хочу быть автором романа, — без конца повторял он, — хочу быть автором романа.

— И вы им будете, сэр. Обязательно будете. Но прошу вас, наберитесь терпения. Работа предстоит сложная.

— Мне все твердят, что я должен выпустить роман, — не унижался мистер Боулен. — За мной с утра до вечера охотятся издатели и умоляют меня, чтобы я не тратил времени на рассказы, а занялся бы чем-нибудь более существенным. Роман — это главное, так и говорят.

— Будут у нас романы, — говорил ему Найп. — Причем столько, сколько мы захотим. Но наберитесь терпения, прошу вас.

— Нет, ты послушай, Найп. Я хочу быть автором по-настоящему серьезного романа, такого, чтобы им зачитывались по ночам и чтобы только о нем и говорили. Я в последнее время что-то устал от этих рассказов, под которыми ты ставишь свою фамилию. Если уж говорить по правде, то, как мне кажется, все это время ты делал из меня дурака.

— Дурака, мистер Боулен?

— Ты только тем и занимался, что лучшие рассказы оставлял себе.

— Неправда, мистер Боулен!

— Так вот, черт побери, на этот раз я должен быть уверен в том, что напишу действительно умную, толковую книгу. Запомни это.

— С помощью устройства, над которым я сейчас бьюсь, мистер Боулен, вы напишете любую книгу.

И это была правда, поскольку уже через два месяца благодаря гению Адольфа Найпа была создана машина, способная не только писать романы, но и позволяющая автору, сидящему за пультом управления, заранее выбирать буквально любой сюжет и любой стиль, какой ему нравится. На этом новом замечательном пульте было столько различных панелей и рычагов управления, что он походил на приборную доску авиалайнера.

Прежде всего, нажимая на одну из кнопок первого ряда, автор выбирал жанр: исторический, сатирический, философский, политический, романтический, эротический, юмористический или любой другой. Второй ряд кнопок давал ему выбор темы: солдатские будни, первые поселенцы, гражданская война, мировая война, расовая проблема, Дикий Запад, деревенская жизнь, воспоминания о детстве, мореплавание, исследование морских глубин и многие-многие другие. В третьем ряду кнопок можно было выбрать литературный стиль: классический, причудливый, пикантный, стиль Хемингуэя, Фолкнера, Джойса, женский стиль и т. д. Четвертый ряд предназначался для выбора героев, пятый регулировал подачу слов и т. д. и т. п. — всего было десять рядов кнопок.

Но и это еще не все. Работая над романом (на что уходило примерно пятнадцать минут), автор в течение всего процесса писания должен был сидеть в особом кресле и нажимать на клавиши, как это делает органист. Таким образом он мог постоянно регулировать пятьдесят различных, но иногда переходящих друг в друга особенностей романа, как то: напряжение, нечто удивительное, юмор, пафос, тайна. Посматривая на всевозможные шкалы и счетчики, он мог определить, как подвигается работа.

И наконец, нужно было решить проблему «страсти». Внимательно ознакомившись с содержанием книг, возглавлявших в последний год список бестселлеров, Адольф Найп пришел к выводу, что это важнейшая составляющая романа, некий магический катализатор, могущий даже скучнейшему роману обеспечить потрясающий успех, во всяком случае финансовый. Но Найпу было также известно, что страсть — вещь могучая, бурная, обращаться с ней надо осторожно и использовать ее в меру и только тогда, когда это необходимо; с этой целью он изобрел контрольное устройство, состоящее из двух подвижных тяг, управляемых педалями, подобно тому как это происходит в автомобиле. Одной педалью регулировалось процентное содержание страсти, другой — ее сила. На-

писание романа по методу Найпа сводилось к управлению самолетом, вождению автомобиля и игре на органе — одновременно. Изобретателя, однако, это не беспокоило. Когда все было готово, он с важным видом проводил мистера Боулена в дом, где находилась машина, и принялся растолковывать, как это новое чудо работает.

— Боже праведный, Найп! Да мне никогда с этим не справиться! Черт побери, легче самому написать роман!

— Вы быстро освоитесь, мистер Боулен, обещаю вам. Через пару недель вам даже и думать не придется. Это ведь все равно что управлять автомобилем.

Дело это, однако, оказалось непростым, но, потренировавшись изрядное количество часов, мистер Боулен освоил его, и вот как-то поздно вечером он приказал Найпу, чтобы тот был готов к стряпанью первого романа. Наступил ответственный момент. Толстый маленький человечек уселся в кресле и, нервно озираясь, вобрал голову в плечи, а длинный зубастый Найп засуетился вокруг.

— Я хочу написать крупный роман, Найп.

— Уверен, вы его напишете, сэр. Просто убежден в этом.

Осторожно, одним пальцем, мистер Боулен нажал на нужные кнопки:

жанр — сатирический;

тема — расовая проблема;

стиль — классический;

персонажи — шестеро мужчин, четыре женщины,
один младенец;

объем — пятнадцать глав.

При этом он не спускал глаз с трех регистров, особенно его привлекавших: сила воздействия, загадочность, глубина.

— Вы готовы, сэр?

— Да-да, готов.

Найп потянул на себя рычаг. Машина загудела. Послышалось жужжание хорошо смазанного механизма, затем быстро-быстро застучала электрическая машинка, при этом она так грохотала, что вынести весь этот шум было почти невозможно. В корзину посыпались отпечатанные листы, по одному каждые две секунды. И вдруг среди всего этого шума и грохота, не в силах больше нажимать на клавиши и следить за счетчиком глав и индикатором страсти, мис-

тер Боулен ударился в панику. В результате он поступил так же, как поступает в таких случаях начинающий автолюбитель, — он нажал обеими ногами на педали и держал их до тех пор, пока машина не остановилась.

— Поздравляю вас с первым романом, — сказал Найп, доставая из корзины кипу отпечатанных страниц.

На лице мистера Боулена выступили капельки пота.

— Ну и работенка, приятель.

— Но вы справились с ней. Еще как справились.

— Ну-ка посмотрим, что там получилось, Найп. Дай-ка мне взглянуть.

Он принялся читать первую главу, передавая прочитанные страницы молодому человеку.

— О господи, Найп, что это такое?

Тонкая фиолетовая губа мистера Боулена, похожая на рыбу, едва заметно дернулась, а щеки надулись.

— Ты только посмотри, Найп! Это же возмутительно!

— По-моему, довольно свежо, сэр.

— Свежо! Да это просто отвратительно! Под этим я никогда не подпишусь!

— Понимаю, сэр. Очень даже хорошо понимаю.

— Найп! Ты опять смеешься надо мной?

— Ну что вы, сэр, вовсе нет.

— А по-моему, смеетесь.

— Вам не кажется, мистер Боулен, что нужно было чуть полегче нажимать на педаль, которая определяет объем страсти?

— Дорогой мой, откуда же мне было знать?

— Почему бы вам не попробовать еще раз?

И мистер Боулен настроил второй роман, на этот раз такой, какой им и был задуман.

Через неделю рукопись была прочитана редактором; тот принял ее с восторгом. Найп послал ему свой роман, а затем еще дюжину для ровного счета. За короткое время литературное агентство Адольфа Найпа получило широкую известность, благодаря тому что в нем прошли хорошую школу молодые, подающие надежды романисты. Деньги вновь потекли рекой.

Именно в это время юный Найп начал проявлять недюжинные способности настоящего бизнесмена.

— Знаете что, мистер Боулен, — заявил он как-то, — у нас все-таки слишком много конкурентов. Почему бы нам не поглотить всех остальных писателей в стране?

Мистер Боулен, который теперь щеголял в бархатном пиджаке зеленого цвета и позволял волосам закрывать две трети ушей, был вполне всем доволен.

— Не понимаю, о чем это ты, старина. Как же можно поглощать писателей?

— В том-то и дело, что можно. Точно так же поступал Рокфеллер с нефтяными компаниями. Нужно только купить их или выдать с поля. Все очень просто!

— Ты только не горячись, Найп, только не горячись.

— У меня, сэр, есть список пятидесяти самых преуспевающих писателей, и я собираюсь предложить каждому из них пожизненный контракт. Все, что от них требуется, — это никогда больше не писать ни строчки, ну и, разумеется, они должны позволить нам подписывать наши вещи их именами. Как идея?

— Они никогда не пойдут на это.

— Вы не знаете писателей, мистер Боулен. Вот увидите.

— А как же страсть к творчеству?

— Чепуха все это. Все, что их интересует, — это деньги, как и любого другого.

В конце концов мистер Боулен, хотя и неохотно, согласился, и Найп, положив в карман список писателей, уселся в огромный «кадиллак» с шофером и отправился по адресам.

Сначала он поехал к человеку, с имени которого начинался его список. То был известный, уважаемый писатель, однако попасть к нему не составило труда. Найп изложил суть дела и достал из портфеля кучу романов, а также предложил подписать контракт, гарантировавший писателю столько-то в год до конца его дней. Тот его вежливо выслушал, решив, что имеет дело с ненормальным, предложил выпить, а затем указал на дверь.

Когда писатель, стоявший вторым в списке, понял, что Найп не шутит, он запустил в него огромным металлическим пресс-папье, и изобретателю пришлось бежать через сад. При этом вслед ему неслись такие оскорбления и ругательства, каких ему ранее не приходилось слышать.

Но Адольфа Найпа не так-то просто сбить с толку. Он был разочарован, но не напуган и тут же отправился к следующему кли-

енту. На сей раз это была дама, известная и пользовавшаяся популярностью, чьи толстые романтические бестселлеры расходились по стране миллионными тиражами. Она любезно встретила Найпа, налила ему чаю и внимательно выслушала.

— Все это очень интересно, — сказала она. — Но мне что-то трудно в это поверить.

— Мадам, — отвечал Найп. — Поедьте со мной, и вы все увидите собственными глазами. Моя машина ждет вас.

Они вышли вместе, и вскоре изумленную даму доставили в дом, где хранилось чудо. Найп охотно объяснил, как машина работает, а потом даже позволил ей посидеть в кресле и понажимать на кнопки.

— Впрочем, — неожиданно сказал он, — может, вы хотите прямо сейчас написать книгу?

— Да-да! — воскликнула она. — Прошу вас!

С деловым видом она уселась за машину; по всему было видно, что она знает, чего хочет. Она сама выбрала необходимые кнопки и настроила длинный роман, полный страсти. Прочитав первую главу, она пришла в такой восторг, что тотчас же подписала контракт.

— Одну мы убрали, — сказал Найп мистеру Боулену, когда она ушла. — Причем довольно крупную птицу.

— Молодец, дружище.

— А знаете, почему она согласилась?

— Почему?

— Дело не в деньгах. У нее их хватает.

— Тогда почему же?

Найп усмехнулся, приподняв губу и обнажив бледную десну.

— Просто потому, что она поняла: машинная писанина лучше, чем ее собственная.

С той поры Найп вполне разумно решил сосредоточивать свои усилия только на посредственностях. Те, что были выше этого уровня — а их было так мало, что и вообще не стоило брать в расчет, — по-видимому, не так-то легко поддавались соблазну.

В конце концов, после нескольких месяцев напряженной работы ему удалось уговорить подписать договоры процентов семьдесят писателей из своего списка. Он пришел к выводу, что с более старшими по возрасту, с теми, у кого скудел ум и кто запил, иметь дело проще всего. С молодыми людьми приходилось повозиться.

Когда он пытался уговорить их, они неприлично выражались, а иногда выходили из себя, и не раз после таких визитов Найп возвращался с травмами.

Однако в целом начало было положено неплохое. Подсчитано, что только в прошлом году — а это первый год работы машины — по меньшей мере половина из всех изданных на английском языке романов и рассказов были созданы Адольфом Найпом и его Автоматическим сочинителем.

Вас это удивляет?

Сомневаюсь.

Дальше — больше. Слухом земля полнится, и сегодня многие спешат договориться с мистером Найпом. А тем, кто колеблется поставить под контрактом свою подпись, он еще крепче закручивает гайки.

А сейчас я сижу и слышу, как в соседней комнате плачут мои дети. Их девять, и все они хотят есть. И я чувствую, как рука моя тянется к этому заманчивому контракту, лежащему на краю стола.

Пусть уж наши дети лучше голодают. Дай нам силы, о Боже, перенести это испытание.

СОБАКА КЛОДА

КРЫСОЛОВ

Крысолов явился на заправочную станцию днем. Он двигался мягкой, крадущейся походкой, ноги его беззвучно утопали в гравии подъездной дорожки. На нем была старомодная черная куртка с большими карманами, а за плечами военный рюкзак. Под коленями коричневые плисовые бриджи были перехвачены белой веревкой.

— Да? — спросил Клод, отлично зная, кто это такой.

— Служба по борьбе с грызунами.

Маленькие глазки пришедшего быстро осмотрели все вокруг.

— Крысолов?

— Да.

Это был худой смуглый человек с заострившимися чертами лица и двумя длинными зеленовато-желтыми зубами, которые торчали из верхней челюсти и свисали над нижней губой, вдавливая ее. Его остроконечные уши были сдвинуты к задней части шеи. Глаза были почти черные, но время от времени где-то в глубине их светился желтый огонек.

— Вы пришли очень быстро.

— Особое распоряжение санитарного врача.

— И вы хотите поймать всех крыс?

— Ну да.

Он смотрел украдкой, как смотрит животное, которое всю свою жизнь тайком выглядывает из норы.

— Как вы собираетесь ловить их?

— А! — загадочно произнес крысолов. — Все зависит от того, где они прячутся.

— Наверное, ловушки будете ставить?

— Ловушки! — с отвращением воскликнул он. — Так много крыс не поймаешь! Крысы — это вам не кролики.

Он поднял лицо, втянул воздух через нос, и было видно, как затрепетали его ноздри.

— Ну уж нет, — с презрением сказал он. — Ловушками крыс не ловят. Крыса, скажу я вам, умная. Чтобы поймать ее, нужно ее знать. В таком деле знать крысу обязательно.

Клод смотрел на него с каким-то восторгом.

— Крысы умнее собак.

— Скажете тоже!

— Знаете, что они делают? Они следят за вами! Вы ходите и хотите их поймать, а они тихо сидят себе в темных углах и следят за вами.

Он опустил плечи и вытянул свою жилистую шею.

— А вы что делаете? — в восхищении спросил Клод.

— А! Вот в том-то все и дело. Вот почему нужно знать крыс.

— Так как же вы их ловите?

— Есть разные способы, — искоса глядя на нас, ответил крысолов. — Самые разные.

Он умолк, глубокомысленно кивнув своей отвратительной головой.

— Все зависит от того, — сказал он, — где они прячутся. Не в канализационной трубе?

— Нет, не в трубе.

— В трубе их ловить непросто. Да, — сказал он, тщательно нюхая воздух слева от себя, — в трубе их ловить непросто.

— Ничего особенного, я бы сказал.

— Э, нет. Напрасно так говорите. Хотел бы я посмотреть, как вы их ловите в канализационной трубе! Именно что вы стали бы делать, вот что я хотел бы знать.

— Да я бы просто их отравил, и все тут.

— А куда именно положили бы вы яд, могу я спросить?

— В канализационную трубу. Куда же, черт возьми, еще?

— Вот как! — ликующе воскликнул крысолов. — Я так и знал! В канализационную трубу! И знаете, что будет? Его смоеет, вот и все. Канализационная труба — это вам все равно что река.

— Это вы так думаете, — сказал Клод. — Это только вы так думаете.

— Да это факт.

— Ладно, пусть будет так. А что вы сделали бы, мистер Всезнайка?

— Где нужно знать крыс — так это когдаловишь их в канализационной трубе.

— Ну давайте же, рассказывайте.

— Слушайте. Я расскажу вам. — Крысолов шагнул вперед и заговорил доверительным и конфиденциальным тоном, как человек, разглашающий невероятную профессиональную тайну: — Прежде всего надо помнить, что крыса — это грызун, понятно? Крысы грызут. Все, что ни дайте, не важно что, что-нибудь такое, чего они никогда и не видели, — и что они будут делать? Они будут это грызть. Так вот. Вам надо лезть в канализационную трубу. И что вы делаете?

Он говорил мягко, гортанно, точно лягушка квакала, и казалось, что он все слова произносит с каким-то необыкновенным вкусом, словно чувствует их вкус на языке. Акцент у него такой же, как у Клода, — сильный, приятный акцент бакингомширской глубинки, но голос крысолова был более гортанным, слова звучали сочнее.

— Спускаешься в канализационную трубу и берешь с собой самые обыкновенные бумажные пакеты из коричневой бумаги, а в этих пакетах — сухой алебастр. И больше ничего. Потом подвешиваешь пакеты к верхней части трубы, чтобы они не касались воды. Понятно? Чтобы воды не касались, но чтобы крыса могла дотянуться до них.

Клод зачарованно его слушал.

— А дальше вот что. Крыса плывет себе по трубе и видит пакет. Останавливается. Обнюхивает его и ничего плохого не чувствует. И что она делает?

— Начинает его грызть, — радостно вскричал Клод.

— Ну да! Именно! Именно это она и делает! Она начинает грызть пакет, пакет разрывается, и крыса за свои труды получает целую порцию алебастра.

— Ну?

— Это ее и губит.

— Она умирает?

— Ну да. Тут же!

— Алебастр, вообще-то, не ядовит.

— А! Вот именно! Как раз тут-то вы и не правы. Алебастр разбухает. Если его смочить, он разбухнет. Как только он попадает крысе в брюхо, разбухает и убивает ее наповал.

— Не может быть!

— Крыс надо знать.

Лицо крысолова светилось тайной гордостью, и, поднеся свои костлявые пальцы близко к носу, он принялся потирать ими. Клод в восхищении смотрел на него.

— Ну и где же тут крысы?

Слово «крысы» он произнес мягко, гортанно, сочно, будто по-лоскал горло топленным молоком.

— Давайте-ка посмотрим на кррысы!

— Вон в том стоге сена, за дорогой.

— Не в доме? — явно разочарованный, спросил он.

— Нет. Только вокруг стога. Больше нигде.

— Бьюсь об заклад, что они и в доме есть. По ночам, видно, пробуют вашу еду и распространяют всякие болезни. У вас тут никто не болеет? — спросил он, посмотрев сначала на меня, потом на Клода.

— У нас все в порядке.

— Вполне уверены?

— О да!

— Этого никогда не знаешь. Можно болеть неделями и не чувствовать этого. Потом вдруг... бац! — и готово. Вот почему доктор Арбутнот так привередлив. Вот почему он так быстро меня при-слал, понятно? Чтоб помешать распространению болезни.

Теперь он облачился в мантию санитарного врача. Он словно был тут самой важной крысой, глубоко разочарованной в том, что мы не страдаем от бубонной чумы.

— Я чувствую себя отлично, — нервно проговорил Клод.

Крысолов еще раз взгляделся в его лицо, но ничего не сказал.

— И как вы собираетесь поймать их в стоге сена?

Крысолов хитро усмехнулся, обнажив зубы. Он залез в рюкзак и вынул из него большую жестянку, которую поднес к лицу. Из-за нее он посмотрел на Клода.

— Яд! — прошептал крысолов.

Он произнес это слово зловеще.

— Смертельный яд, вот что тут такое! — При этом он как бы взвешивал банку на ладони. — Хватит, чтобы миллион человек убить!

— Страшная вещь, — сказал Клод.

— Именно так! С ложечкой этого поймают, на полгода поса-дят, — сказал он, облизывая губы.

У него была манера при разговоре вытягивать шею.

— Хотите посмотреть? — спросил он и, вынув из кармана монету в одно пенни, с ее помощью открыл крышку. — Вот! Смотрите!

Протягивая банку Клоду, чтоб тот посмотрел внутрь, он произносил слова нежно, почти любовно.

— Пшеница? А может, ячмень?

— Овес. Вывоченный в смертельном яде. Возьмите в рот только одно зернышко, и через пять минут вам крышка.

— Правда?

— Ну да. Я эту банку всегда на виду держу.

Он погладил ее и слегка потряс, так что зернышки овса внутри мягко зашуршали.

— Но не сегодня. Сегодня ваши крысы этого не получают. Нет, не получают. Вот где нужно знать крыс. Крысы подозрительны. Страшно подозрительные твари крысы. Потому сегодня они получают чистый вкусный овес, который не причинит им никакого вреда. От него они только толще станут. И завтра получают то же самое. И он будет такой вкусный, что через пару дней все крысы с округи сбегутся.

— Довольно умно.

— В таком деле надо быть умным. Надо быть умнее крысы, а это о чем-то говорит.

— Вы и сами стали, как крыса, — сказал я.

У меня это выскочило по ошибке, прежде чем я успел подумать, что говорю, но я действительно не мог этого не сказать, потому что все время не спускал с него глаз. Но на него мои слова произвели удивительное действие.

— Ага! — воскликнул он. — Вот именно! Хорошо сказано! Хороший крысолов должен быть больше крысой, чем любая крыса на свете! Он даже должен быть умнее крысы, а это не так-то просто, скажу я вам!

— Уверен, что непросто.

— Ну ладно, тогда пошли. Я не могу терять тут целый день. Леди Леонора Бенсон просит меня срочно прийти к ней в дом.

— У нее что, тоже крысы?

— Крысы у всех есть, — ответил крысолов и засеменял по дороге, направляясь к стогу сена, а мы стояли и смотрели ему вслед.

Походка его так была похожа на крысиную, что оставалось только удивляться, — медленная, очень осторожная, с согнутыми коленями, и шаги совсем не были слышны. Он ловко перескочил

через изгородь, вышел в поле и быстро обошел вокруг стога сена, разбрасывая овес по земле.

На следующий день он вернулся и проделал то же самое.

Через день он пришел опять и на этот раз положил отравленный овес. Но он не разбрасывал его, а тщательно сложил маленькими кучками по краям стога сена.

— У вас собака есть? — спросил он, когда пришел снова, на третий день после того, как положил яд.

— Есть.

— Если хотите увидеть, как ваша собака будет умирать в страшных корчах, вам нужно лишь выпустить ее вон в те ворота.

— Мы присмотрим за ней, — сказал ему Клод. — Пусть это вас не волнует.

На следующий день крысолов вернулся снова, на сей раз, чтобы собрать дохлых крыс.

— Старого мешка не найдется? — спросил он. — Скорее всего, нам понадобится для них целый мешок.

Вид у него при этом был самодовольный и важный, черные глаза светились гордостью. Он готовился представить публике сенсационные результаты своего искусства.

Клод принес мешок, и мы втроем перешли через дорогу, во главе шагал крысолов. Мы с Клодом остановились возле изгороди и, перегнувшись через нее, стали смотреть. Крысолов крадучись обошел вокруг стога сена, при этом согнулся, чтобы получше рассмотреть кучки с ядом.

— Что-то тут не то, — чуть слышно пробормотал он сердитым голосом.

Он подошел к другой кучке и опустился на колени, чтобы рассмотреть ее повнимательнее.

— Что-то тут, черт возьми, не то.

— А в чем дело?

Он не отвечал, но было очевидно, что крысы не притронулись к приманке.

— Просто эти крысы очень умные, — сказал я.

— Я ему то же самое говорил, Гордон. Вы тут имеете дело не с простыми крысами.

Крысолов подошел к воротам. Он был очень раздосадован и выражал это всем своим видом. Два его желтых зуба впились в нижнюю губу.

— Вы мне басни-то не рассказывайте, — сказал он, глядя на меня. — Ничего особенного в этих крысах нет, разве что кто-то подкармливает их. Где-то у них что-то есть вкусное, и в большом количестве. Ни одна крыса на свете не откажется от овса, если только уже не наелась до отвала.

— Они умные, — сказал Клод.

Крысолов с отвращением отвернулся. Он снова нагнулся и принялся сгребать отравленный овес небольшой лопаткой, тщательно складывая зерна обратно в жестянку. Когда он закончил, мы все втроем пошли обратно через дорогу.

Крысолов остановился возле бензоколонки. Теперь это был расстроенный, жалкий человек, и лицо его постепенно принимало скорбное выражение. Он весь ушел в себя и молчаливо размышлял над своей неудачей, в глазах появилась затаенная враждебность, язык то и дело высовывался сбоку от двух желтых зубов, облизывавая губы. Казалось, это очень важно, чтобы губы были влажными. Он бросил быстрый взгляд исподтишка на меня, потом на Клода. Кончик его носа дернулся, втягивая воздух. Он несколько раз приподнялся на носках, слегка при этом покачиваясь, и тихо, едва слышно спросил:

— Хотите кое-что увидеть?

Он явно пытался восстановить свою репутацию.

— Что?

— Хотите увидеть что-то удивительное?

С этими словами он опустил правую руку в карман своей куртки и извлек из него большую живую крысу, которую крепко сжимал пальцами.

— О господи!

— Ага! Вот, смотрите!

Он слегка опустил плечи, вытянул шею и искоса поглядывал на нас, держа в руках эту огромную коричневую крысу, плотно обхватив указательным и большим пальцами шею твари, чтобы она не могла развернуться и укусить его.

— Вы всегда носите крыс в карманах?

— Обычно держу при себе парочку.

С этими словами он опустил свободную руку в другой карман и вытащил из него маленького белого хорька.

— Хорек, — сказал он, держа его за шею.

Хорек, похоже, был с ним знаком и не противился его хватке.

— Быстрее хорька никто не уьбет крысу. И никого крыса так не боится.

Он свел руки перед собой, так что нос хорька оказался в шести дюймах от морды крысы. Розовые глаза-бусинки хорька глядели на крысу. Крыса сопротивлялась, стараясь увернуться от убийцы.

— А теперь, — сказал он, — смотрите!

Его рубашка цвета хаки была не застегнута на верхнюю пуговицу, и он опустил крысу прямо себе за пазуху. Как только его рука освободилась, он расстегнул куртку, чтобы публика могла видеть выпуклость под рубашкой в том месте, где сидела крыса. Ремень не давал ей спуститься ниже пояса.

Затем вслед за крысой он опустил за пазуху хорька.

Под рубашкой тотчас же началась суматоха. Казалось, что крыса бежит вокруг его тела, преследуемая хорьком. Они пробежали вокруг раз шесть или семь, притом маленькая выпуклость преследовала большую, с каждым кругом нагоняя ее, пока наконец две выпуклости не сошлись и не началась потасовка, сопровождаемая пронзительным визгом.

В ходе всего этого представления крысолов стоял совершенно неподвижно, расставив ноги, руки его свободно висели по бокам, темные глаза смотрели Клоду в лицо. Теперь он запустил одну руку за рубашку и вытащил хорька, другой достал мертвую крысу. На белой мордочке хорька виднелись следы крови.

— Не скажу, что мне это очень понравилось.

— Но, клянусь, ничего подобного вы никогда еще не видели.

— Боюсь, и в самом деле не видел.

— Как бы вам брюхо не прокусили, — сказал ему Клод.

Но он явно был потрясен, а крысолов между тем опять принял самодовольный вид.

— Хотите увидеть кое-что еще более удивительное? — спросил он. — Хотите увидеть что-то такое, чему бы ни за что не поверили, если б только не увидели своими глазами?

— Ну?

Мы стояли на подъездной дорожке перед бензоколонкой. Был один из тех приятных теплых ноябрьских дней, какие случаются в это время года. На заправку подъехали две машины, одна за другой, и Клод подошел к ним и дал им все, что требовалось.

— Так хотите увидеть? — спросил крысолов.

Я взглянул на Клода, предчувствуя недоброе.

— Ладно, посмотрим, — сказал Клод. — Что там у вас еще?

Крысолов опустил мертвую крысу в один карман, хорька — в другой. Затем залез в свой рюкзак и извлек из него — подумайте только! — вторую живую крысу.

— Боже милостивый! — воскликнул Клод.

— Всегда держу при себе парочку крыс, — невозмутимо заявил он. — В этом деле крыс нужно знать, а если хочешь их знать, нужно держать их при себе. Эта крыса из канализации. Долго там прожила, умная как черт. Видите, как она на меня смотрит, — что это я собираюсь делать? Видите?

— Очень неприятно.

— А что вы собираетесь сделать? — спросил я. У меня было предчувствие, что это его представление понравится мне еще меньше, чем предыдущее.

— Принесите мне кусок веревки.

Клод принес ему кусок веревки.

Левой рукой он закрепил петлю на задней лапе крысы. Крыса сопротивлялась, пытаясь повернуть голову и посмотреть, что происходит, но он крепко держал ее за шею указательным и большим пальцем.

— У вас в доме есть стол? — спросил он, осматриваясь вокруг.

— Нам бы не хотелось пускать крысу в дом, — сказал я.

— Мне нужен только стол. Или что-нибудь плоское, вроде стола.

— Как насчет капота вот этой машины? — спросил Клод.

Мы подошли к машине, и он выпустил крысу, долго прожившую в канализации, на капот. Веревку он прикрепил к стеклоочистителю, так что крыса была теперь на привязи.

Сначала она вся сжалась и, не двигаясь, подозрительно поглядывала по сторонам — крупная серая крыса с блестящими черными глазками и длинным голым хвостом, который, скрутившись кольцом, лежал на капоте. Она смотрела в сторону от крысолова, но искоса поглядывала на него, чтобы видеть, что он собирается сделать. Человек отошел на несколько шагов, и крыса тотчас же расслабилась. Она присела на задние лапы и принялась лизать серую шерсть на груди. Потом стала скрести свою морду передними лапами. Похоже, ей не было никакого дела до стоявших рядом троих мужчин.

— Может, поспорим? — спросил крысолов.

- Мы не спорим, — сказал я.
- Да просто так. Интереснее ведь, когда споришь.
- А на что вы хотите поспорить?
- Спорим, что я убью эту крысу без рук. Я засуну руки в карманы и не выну их.

— Значит, убьете ее ногами, — сказал Клод.

Было ясно, что крысолов собрался немного заработать. Я посмотрел на крысу, которую собирались убить, и мне стало немного нехорошо, и вовсе не потому, что ее собирались убить, а потому, что ее должны были убить каким-то особым способом, с каким-то удовольствием.

- Нет, — сказал крысолов. — Не ногами.
- Руками ничего не будете делать? — спросил Клод.
- Никаких рук. Ни ногами, ни руками ничего делать не буду.
- Тогда сядете на нее.
- Нет. Давить ее тоже не буду.
- Тогда посмотрим, как вы это сделаете.
- Сначала поспорим. Ставьте фунт.
- Вы что, рехнулись? — сказал Клод. — С какой стати мы должны ставить фунт?
- А что вы поставите?
- Ничего.
- Хорошо. Тогда ничего не будет.

Он сделал движение, будто собрался отвязать веревку от стеклоочистителя.

— Ставлю шиллинг, — сказал ему Клод.

Тошнота подступила к моему горлу, но что-то во всем этом было такое притягательное, и я поймал себя на том, что не в силах ни отойти, ни даже пошевелиться.

- Вы тоже?
- Нет, — сказал я.
- А что это с вами? — спросил крысолов.
- Просто не хочу с вами спорить, вот и все.
- Значит, вы хотите, чтобы я это сделал за какой-то паршивый шиллинг?

- Я вообще не хочу, чтобы вы это делали.
- Где деньги? — спросил он у Клода.

Клод положил шиллинг на капот, ближе к радиатору. Крысолов достал две монеты по шесть пенсов и положил их рядом с монетой

Клода. Когда он протягивал руку, чтобы положить монету, крыса съежилась, втянула голову и распласталась на капоте.

— Ставки сделаны, — сказал крысолов.

Мы с Клодом отступили на несколько шагов. Крысолов сделал шаг вперед. Он засунул руки в карманы и отклонился всем телом, так что его лицо теперь находилось на одном уровне с крысой, футах в трех от нее.

Он встретился взглядом с глазами крысы и принялся неотрывно смотреть на нее. Крыса вся сжалась, предчувствуя крайнюю опасность, но страха еще не обнаруживала. По тому, как она сжалась, мне показалось, что она изготавилась прыгнуть ему в лицо, но в глазах крысолова, должно быть, была какая-то сила, которая не давала ей сделать это. Подчинившись этой силе и испытывая все больший страх, крыса начала пятиться, медленно отступая на полусогнутых лапах, пока веревка туго не натянулась. Крыса попыталась отступить еще дальше и принялась дергать задней лапой, чтобы высвободить ее. Крысолов потянулся за ней, приближая к ней свое лицо, не спуская с нее глаз, и неожиданно крыса, запаниковав, отпрыгнула в сторону. Веревка дернулась, едва не вывихнув ей лапу.

Она снова распласталась на капоте как можно дальше от крысолова, насколько позволяла длина веревки, и теперь была напугана основательно — усы ее дергались, длинное серое тело дрожало от страха.

В этот момент крысолов снова начал приближать к ней свое лицо. Он делал это очень медленно, так медленно, что вообще не видно было никакого движения, однако всякий раз, когда я смотрел на его лицо, оно оказывалось чуточку ближе. Он ни разу не оторвал взгляда от крысы. Напряжение было огромное, и неожиданно мне захотелось крикнуть ему, чтобы он остановился. Я хотел, чтобы он остановился, поскольку то, что он делал, вызывало у меня тошноту. Но я не мог себя заставить произнести хотя бы слово. Что-то чрезвычайно неприятное должно было произойти — в этом я был уверен. Что-то злое, жестокое и крысиное, и, наверное, меня и в самом деле стошнит. Но я должен был видеть, что будет дальше.

Лицо крысолова находилось дюймах в восемнадцати от крысы. В двенадцати дюймах. Потом в десяти или, может, в восьми, и вот их разделяло расстояние, не превышающее длину человеческой руки. Крыса напряглась и всем телом прижималась к капоту, ис-

пытывая огромный страх. Крысолов также был напряжен, но в его напряжении чувствовалась предвещающая опасность энергия, будто в плотно сжатой пружине. На губах его мелькала тень улыбки.

И вдруг он кинулся на нее.

Он кинулся на нее, как кидается змея. Сделав резкое молниеносное движение головой, он вложил в этот бросок напряжение всех мышц нижней части тела, и я мельком увидел его рот, открывающийся очень широко, и два желтых зуба, и все лицо, искаженное усилием, которое потребовалось для того, чтобы открыть рот.

Больше я ничего не хотел видеть. Я закрыл глаза, и, когда снова открыл их, крыса была мертва, а крысолов опускал деньги в свой карман и плевался, чтобы очистить рот.

— Вот из чего делают лакричные конфеты, — сказал он. — Из крысиной крови, на больших шоколадных фабриках.

И снова то же сочное шлепанье мокрых губ, тот же гортанный голос, та же липкость, когда он произнес слово «лакомства».

— А что плохого в капле крысиной крови? — спросил крысолов.

— Вы говорите так, что противно становится, — сказал ему Клод.

— Ага! Но ведь это правда. Вы и сами ее много раз ели. Лакричные шнурки и батончики — все это делается из крысиной крови.

— Спасибо, но мы не желаем этого слышать.

— Она варится в огромных котлах, кипит и пузырится, ее помешивают длинными баграми. Это один из самых больших секретов шоколадных фабрик, и никто его не знает — никто, кроме крысоловов, которые поставляют им ее.

Неожиданно он заметил, что публика его больше не слушает, что наши лица стали враждебными, покраснели от гнева и омерзения. Он резко умолк и, не говоря ни слова, повернулся и побрел в сторону дороги, двигаясь крадучись, точно крыса, и шаги его не были слышны на подъездной дорожке, хотя она и была посыпана гравием.

РАММИНС

Солнце стояло высоко над холмами, туман рассеялся, и было приятно шагать с собакой по дороге в это раннее осеннее утро, когда золотятся и желтеют листья, когда один возьмет да и оторвет-

ся, а потом медленно переворачивается в воздухе и бесшумно падает прямо на траву возле дороги. Дул легкий ветерок, буки шелестели и бормотали, точно люди в отдалении.

Для Клода Каббиджа это всегда было лучшее время дня. Он одобрительно посматривал на покачивающийся бархатистый зад борзой, бежавшей перед ним.

— Джеки, — тихо окликнул он. — Эй, Джексон. Как ты себя чувствуешь, мой мальчик?

Услышав свою кличку, пес полуобернулся и в знак признательности вильнул хвостом.

«Такой собаки, как Джеки, уже никогда не будет», — сказал он про себя. Изящные пропорции, небольшая заостренная голова, желтые глаза, черный подвижный нос. Прекрасная длинная шея, красивый изгиб груди, и притом совсем нет живота. А как движется на своих лапах — бесшумно, едва касаясь земли.

— Джексон, — сказал он. — Старый добрый Джексон.

Клод увидел в отдалении фермерский дом Рамминса — небольшой, узкий и очень старый, стоящий за изгородью по правую руку.

«Там и сверну, — решил он. — На сегодня хватит».

Неся через двор ведро молока, Рамминс увидел его на дороге. Он медленно поставил ведро и, подойдя к калитке и положив обе руки на верхнюю жердь, стал ждать.

— Доброе утро, мистер Рамминс, — сказал Клод.

С Рамминсом нужно быть вежливым, потому что он продавал яйца.

Рамминс кивнул и перегнулся через калитку, критически оглядывая пса.

— На вид хорош, — сказал он.

— Да и вообще хорош.

— Когда он будет участвовать в бегах?

— Не знаю, мистер Рамминс.

— Да ладно тебе. Так когда же?

— Ему только десять месяцев, мистер Рамминс. Он еще и не выдрессирован как следует, честное слово.

Маленькие глазки-бусинки Рамминса подозрительно глядели с той стороны калитки.

— Могу поспорить на пару фунтов, что скоро ты его где-нибудь выставишь, подпольно.

Клод беспокойно переступил с ноги на ногу. Ему сильно не нравился этот человек с широким, как у лягушки, ртом, сломанными зубами, бегающими глазами; а больше всего ему не нравилось то, что с ним нужно было быть вежливым, потому что он продавал яйца.

— Вон тот ваш стог сена, через дорогу, — сказал он, отчаянно пытаясь переменить тему. — Там полно крыс.

— В каждом стоге полно крыс.

— В этом особенно. По правде, у нас были неприятности с властями по этому поводу.

Рамминс резко взглянул на него. Он не любил неприятностей с властями. Кто продает втихую яйца и убивает без разрешения свиней, тому лучше избегать контактов с такого рода людьми.

— Что еще за неприятности?

— Они присылали крысолова.

— Чтобы выловить несколько крыс?

— Да не одну! Чтоб мне провалиться, там все кишит ими!

— Ну вот еще.

— Честное слово, мистер Рамминс. Их там сотни.

— И крысолов поймал их?

— Нет.

— Почему?

— Думаю, потому, что они слишком умные.

Рамминс принялся задумчиво исследовать внутренний край одной ноздри кончиком большого пальца, держа при этом ноздрю большим и указательным.

— Спасибо я тебе за крысолова не скажу, — произнес он. — Крысоловы — государственные служащие, работают на чертово правительство, и спасибо я тебе не скажу.

— А я тут ни при чем, мистер Рамминс. Все крысоловы — мерзкие хитрые твари.

— Гм, — отозвался Рамминс, просунул пальцы под кепку и поскреб затылок. — Я как раз подумывал прибрать уже этот стог. Лучше бы, наверно, прямо сегодня и прибрать. Не хочу, чтобы всякие там госслужащие совали свой нос в мои дела, покорнейше благодарю.

— Именно так, мистер Рамминс.

— Попозже мы подъедем с Бертом.

С этими словами он повернулся и засеменил через двор.

Часа в три пополудни все видели, как Рамминс с Бертом медленно ехали по дороге в повозке, запряженной большой, красивой ломовой лошастью вороного окраса. Напротив заправочной станции повозка свернула в поле и остановилась возле стога сена.

— На это стоит посмотреть, — сказал я. — Доставай ружье.

Клод принес ружье и вставил в него патрон.

Я медленно перешел через дорогу и прислонился к открытым воротам. Рамминс забрался на вершину стога и принялся развязывать веревку, с помощью которой крепились соломенная крыша. Берт, оставшийся в повозке, вертел в руках нож длиной фута четыре.

У Берта было что-то не в порядке с одним глазом. Весь какой-то бледно-серый, точно вареный рыбий глаз, тот был неподвижен, но как будто все время следил за тобой, как глаза на некоторых портретах в музее. Где бы ты ни стоял и куда бы Берт ни смотрел, этот поврежденный глаз, с маленькой точечкой в центре, точно рыбий глаз на тарелке, искоса холодно поглядывал на тебя.

Телосложением Берт являл собою полную противоположность отцу, который был короток и приземист, точно лягушка. Берт был высокий, тонкий, гибкий юноша с расхлябанными суставами. Даже голова его болталась на плечах, склонившись набок, будто шее было тяжеловато ее держать.

— Вы же только в июне поставили этот стог, — сказал я ему. — Зачем так рано его убирать?

— Папа так хочет.

— Смешно в ноябре разбирать новый стог.

— Папа так хочет, — повторил Берт, и оба его глаза, здоровый и тот, другой, уставились на меня с полнейшим равнодушием.

— Затратить столько сил, чтобы поставить его, обвязать, а потом разобрать через пять месяцев...

— Папа так хочет.

Из носа у Берта текло, и он то и дело вытирал его тыльной стороной руки, а руку вытирал о штаны.

— Иди-ка сюда, Берт, — позвал его отец, и парень, взобравшись на стог, встал в том месте, где часть крыши была снята.

Достав нож, он принялся вонзать его в плотно спрессованное сено, при этом держался за ручку двумя руками и раскачивался всем телом, как это делает человек, распиливающий дерево большой пилой. Я слышал, как лезвие ножа с хрустом входит в сухое

сено, и звук этот становился все более глухим, по мере того как нож глубже проникал внутрь.

— Клод будет стрелять, когда крысы побегут.

Мужчина с юношей замерли и посмотрели через дорогу на Клода, который стоял с ружьем в руках, прислонившись к красной бензоколонке.

— Скажи ему, чтобы убрал это свое чертово ружье, — сказал Рамминс.

— Он хороший стрелок. Вас не заденет.

— Никому не позволю палить по крысам, когда я рядом стою, какой бы тут хороший стрелок ни был.

— Вы его обижаете.

— Скажи ему, чтобы убрал свою пукалку, — медленно и зло проговорил Рамминс. — Собака или палки — это еще ладно, но с ружьями тут делать нечего.

Двое на стоге смотрели, как Клод делает то, что ему было сказано, потом молча продолжили работу. Скоро Берт спустился в повозку, вытянул обеими руками плотно спрессованный брикет из стога и аккуратно положил его рядом с собой.

Из-под стога выскочила серо-черная крыса с длинным хвостом.

— Крыса, — сказал я.

— Убей ее, — сказал Рамминс. — Возьми же палку и убей ее.

Поднялась тревога, и крысы, жирные и длиннотелые, принялись выбегать быстрее: по одной-две каждую минуту. Пробегая под изгородью, они низко прижимались к земле. Лошадь, завидев какую-нибудь из них, всякий раз дергала ушами и провожала ее тревожным взглядом, вращая глазами.

Берт взобрался на вершину стога и принялся вырезать следующий брикет. Неожиданно он замер, поколебался с секунду в нерешительности, потом снова стал резать, но на этот раз очень осторожно, и теперь я услышал совсем новый звук, приглушенный режущий звук, когда нож заскрежетал о что-то твердое.

Берт вытащил нож и осмотрел лезвие, ощупав его пальцем. Потом снова осторожно вставил его в разрез, нащупывая твердый предмет, и опять, едва он сделал пилящее движение, как раздался скрежет.

Рамминс повернул голову. Он как раз поднимал целую охапку соломы, из которой была сделана крыша, как вдруг остановился и посмотрел на Берта через плечо. Берт сидел неподвижно, сжимая

ручку ножа, на лице его появилось выражение замешательства. Две фигуры резко выделялись на бледно-голубом небе.

И тут послышался голос Рамминса. Он прозвучал громче обычного:

— Черт знает что нынче складывают в стог сена.

Он умолк, и снова наступила тишина. Никто не двигался, не двигался и Клод, стоявший по ту сторону дороги, возле красной бензоколонки. Неожиданно сделалось так тихо, что мы услышали, как в другом конце долины, на соседней ферме женщина зовет мужчин обедать.

И снова Рамминс крикнул, хотя кричать не было никакой нужды:

— Ну давай же! Давай режь, Берт! Подумаешь, деревяшка, что с твоим ножом будет!

Клод перешел через дорогу и прислонился рядом со мной к воротам. Он ничего не сказал, но мы оба чувствовали, что те двое своим поведением — и особенно это касалось Рамминса — внушают какое-то беспокойство. Рамминс был напуган. Берт тоже был напуган. И, глядя на них, я почувствовал, как в памяти моей всплывает какой-то смутный образ. Я пытался отчаянно ухватиться за нить воспоминаний. Раз я едва было не коснулся ее, но она выскользнула, и, бросившись за ней, я поймал себя на том, что мысленно возвращаюсь на много недель назад, в солнечные летние дни, — теплый ветерок дует над долиной с юга, большие буки отяжелели от листвы, поля золотятся, сбор урожая, заготовка сена. Ставится стог.

Точно током, меня тотчас же пронзил страх.

Ну да, ставится стог сена. Когда же мы его ставили? В июне? Да, конечно, в июне — был жаркий, душный июньский день, низко висели облака, и в воздухе пахло грозой.

И Рамминс тогда сказал:

— Давайте же, ради бога, закончим быстрее, пока дождь не пошел.

А Старый Джимми возразил:

— Не будет никакого дождя. Да и спешить некуда. Сам же отлично знаешь: когда гром на юге, над долиной дождя не будет.

Рамминс, стоявший в повозке с вилами, ничего на это не ответил. Он сердился, нервничал и думал, как бы побыстрее убрать сено, прежде чем пойдет дождь.

— До вечера дождя не будет, — снова сказал Старый Джимми, глядя на Рамминса.

Рамминс пристально посмотрел на него в ответ, и в глазах его медленно загорались искорки гнева.

Все утро мы работали не останавливаясь — складывали сено в повозку, перевозили его через поле, кидали в медленно растущий стог, стоявший у ворот против заправочной станции. Мы слышали, как на юге гремит гром, то приближаясь к нам, то уходя в сторону. Потом он, похоже, снова возвращался и оставался где-то за холмами, время от времени громяхая. Поглядывая на небо, мы видели, как облака над головой движутся и меняют форму в круговороте воздушных потоков, но на земле было жарко, душно — ни дуновения. Мы работали медленно, вяло, рубахи были мокрые от пота, лица блестели.

Мы с Клодом работали рядом с Рамминсом на стоге, помогая формировать его, и я помню ту жару. Вокруг моего лица вились мухи, градом лился пот, и особенно хорошо я помню хмурое, суровое присутствие рядом со мной Рамминса, работавшего с отчаянной торопливостью, поглядывавшего на небо и кричавшего на людей, чтобы те спешили.

В полдень, несмотря на Рамминса, мы бросили работу, чтобы пообедать.

Мы с Клодом уселись возле изгороди вместе со Старым Джимми и Уилсоном — солдатом, приехавшим домой на побывку. Жара стояла такая, что много говорить не хотелось. У Старого Джимми была сумка, бывший противогазный ранец, и в ней тесно стояли шесть бутылок пива, высовывая наружу горлышки.

— Берите, — сказал он, протягивая каждому из нас по бутылке.

— Давай куплю одну, — предложил Клод, который отлично знал, что у того было очень мало денег.

— Бери так.

— Я бы хотел заплатить.

— Что за глупости? Пей.

Старый Джимми был очень хорошим человеком, добрым, с чистым розовым лицом, которое брил каждый день. Когда-то он работал плотником, но в семьдесят лет его заставили уйти на пенсию, а это было несколько лет назад. Тогда деревенский совет, видя, что он еще активен, поручил ему присматривать за только что построенной детской площадкой, чтобы в порядке были качели

и прочее, а заодно он следил, как добрый сторожевой пес, за тем, чтобы никто из ребятишек не ударился и не слишком шалил.

Для старика это была хорошая работа, и, казалось, все довольны, — и так продолжалось до одной субботней ночи. В ту ночь Джимми напился и принялся расхаживать посередине Хай-стрит и распевать песни с такими завываниями, что люди вставали с постелей посмотреть, что такое происходит. На следующее утро его уволили со словами, что он никудышный человек и пьяница, которому нельзя доверить детишек на площадке.

Но тут произошла удивительная вещь. В первый же день после его отлучения — это был понедельник — ни один ребенок и близко не подошел к детской площадке.

То же самое было и на следующий день, и через день после этого.

Всю неделю качели и горка оставались без внимания. Ни один ребенок к ним не подходил. Вместо этого они пошли за Старым Джимми в поле, что за домом приходского священника, и стали играть в свои игры, а он за ними присматривал, и в результате у совета не оставалось другого выбора, как снова поручить старику его прежнюю работу.

Он работал и опять напивался, но никто ему больше и слова не говорил. Оставлял работу он только на несколько дней раз в год, во время заготовки сена. Старый Джимми всю свою жизнь любил заготавливать сено и не собирался пока расставаться с этой любовью.

— А ты хочешь? — спросил он, протягивая бутылку Уилсону, солдату.

— Нет, спасибо, у меня есть чай.

— Чай, говорят, хорош в жаркий день.

— Да. От пива мне спать хочется.

— Если хотите, — сказал я Старому Джимми, — мы сходим на заправку, и я сделаю вам пару вкусных бутербродов. Хотите?

— У нас тут и пива хватит. Одна бутылка пива, мой мальчик, питательнее двадцати бутербродов.

Он улыбнулся мне, обнажив бледно-розовые беззубые десны, но улыбка вышла приятная, и не было ничего отвратительного в том, что они обнажились.

Какое-то время мы сидели молча. Солдат доел свой хлеб с сыром и лег на землю, прикрыв лицо шапкой. Джимми выпил три бутылки пива и предложил последнюю Клоду и мне.

— Нет, спасибо.

— Нет, спасибо. Мне и одной хватит.

Старик пожал плечами, открутил пробку и, запрокинув голову, стал пить, вытянув губы, так что жидкость текла ровно, не булькая в горле. На нем была шапка, которая не имела ни цвета, ни формы, и, когда он закидывал голову, шапка не сваливалась.

— А что, Рамминс не собирается напоить эту старую клячу? — спросил он, опуская бутылку и глядя на большую распаренную ломовую лошадь, которая стояла между дышлами повозки.

— Только не Рамминс.

— Лошади тоже хотят пить, вроде нас. — Старый Джимми помолчал, глядя на лошадь. — У вас тут есть где-нибудь ведро?

— Конечно.

— Тогда почему бы нам не дать лошадке попить?

— Очень хорошая мысль. Дадим ей попить.

Мы с Клодом поднялись и направились к воротам, и помню, что я обернулся и крикнул старику:

— Точно не надо принести бутерброда? А что, я быстро.

Он покачал головой, помахал нам бутылкой и сказал, что хочет вздремнуть. Мы вышли через ворота на дорогу и направились к заправке.

Думаю, отсутствовали мы примерно час, обслуживая клиентов, закусывая, и, когда наконец вернулись — Клод нес ведро воды, — я увидел, что в стогe уже по меньшей мере шесть футов высоты.

— Водичка для лошадки, — сказал Клод, укоризненно глядя на Рамминса, который стоял в повозке, перекладывая сено на стог.

Лошадь опустила голову в ведро и принялась пить, благодарно фыркая.

— А где Джимми? — спросил я; нам хотелось, чтобы старик увидел, как лошадь пьет воду, потому что это была его идея.

Когда я задал этот вопрос, наступила пауза, короткая пауза, и Рамминс замялся в нерешительности, держа в руках вилы и оглядываясь.

— Я принес ему бутерброд, — прибавил я.

— Этот старый дурак выпил слишком много пива и пошел домой спать, — сказал Рамминс.

Я пошел вдоль изгороди к тому месту, где мы до этого сидели со Старым Джимми. В траве валялись пять пустых бутылок. Там же лежала и сумка. Я поднял ее и отнес Рамминсу.

— Не думаю, что Джимми ушел домой, — сказал я, держа сумку за длинный ремень.

Рамминс посмотрел на нее, но ничего не ответил. Теперь он яростно торопился, потому что гроза была ближе, тучи — темнее, а жара — еще более гнетущей.

С сумкой в руках я отправился назад на заправочную станцию, где и пробыл остаток дня, обслуживая клиентов. К вечеру, когда пошел дождь, я глянул через дорогу и увидел, что сено сложили и закрывали стог брезентом.

Через несколько дней явился кровельщик, снял брезент и сделал соломенную крышу. Это был хороший кровельщик. Он сделал отличную крышу из длинной соломы, толстую и плотную. Скат был хорошо спланирован, края аккуратно подрезаны, и приятно было смотреть на нее с дороги или из дверей конторы заправочной станции.

Все это нахлынуло на меня сейчас так же ясно, как будто это случилось вчера, — возведение стога в тот жаркий грозовой июньский день, желтое поле, сладкий лесной запах сена; и солдат Уилсон в спортивных тапках, Берт с затуманенным глазом, Джимми с чистым старческим лицом и розовыми обнаженными деснами; и Рамминс, широкоплечий карлик, стоящий в повозке и хмуро поглядывающий на небо, потому что он тревожился насчет дождя...

И вот снова этот самый Рамминс стоит, согнувшись на стоге сена с охапкой соломы в руках, глядя на своего сына, высокого Берта, который, как и он, недвижим, и оба выделяются черными силуэтами на фоне неба, и снова меня, будто током, пронзил страх.

— Давай режь, — сказал Рамминс, возвышая голос.

Берт поднажал на свой большой нож, и снова раздался высокий скрежещущий звук, когда лезвие задело что-то твердое. На лице у Берта было написано, что ему не нравится то, что он делает.

Прошло несколько минут, прежде чем нож ушел глубже, потом снова послышался тот же звук, чуть более мягкий, когда лезвие резало плотно спрессованное сено. Берт обернулся к отцу, улыбаясь с облегчением и бессмысленно кивая.

— Давай режь дальше, — сказал Рамминс, по-прежнему не двигаясь.

Берт снова вонзил нож на такую же глубину, что и в первый раз, потом нагнулся, вынул брикет, который выскочил легко, как кусок пирога, и бросил его в повозку, стоявшую внизу.

В ту же секунду юноша замер, пристально глядя в то место, откуда он только что извлек брикет, не в силах поверить или, скорее, отказываясь верить в то, что же он такое разрезал на две части.

Рамминс, который отлично знал, что это такое, отвернулся и быстро стал спускаться с другой стороны стога. Он двигался так быстро, что уже выбежал за ворота и помчался по дороге, когда Берт закричал.

МИСТЕР ХОДДИ

Они вышли из машины и направились к дому мистера Ходди.

— У моего папы к тебе много вопросов, — шепотом произнесла Клэрис.

— И о чем он собирается меня спрашивать, Клэрис?

— Да о чем обычно в таких случаях спрашивают — о работе и все такое. И сможешь ли ты меня обеспечить должным образом.

— Это к Джеки, — сказал Клод. — Вот выиграет Джеки, так вообще не нужно будет думать о работе.

— Никогда не говори про Джеки моему папе, Клод Каббидж, иначе всему конец. Вот уж кого он терпеть не может, так это борзых. Не забывай об этом.

— О господи, — произнес Клод.

— Рассказывай ему все, что хочешь. Но только не раздражай его.

И с этими словами они с Клодом вошли в дом.

Мистер Ходди был вдовец. У него было постное, унылое лицо, будто он вечно чем-то недоволен, плотный ряд мелких зубов, как у его дочери Клэрис, и смотрел он, как и она, подозрительно, искося, а вот свежести и жизненной силы, теплоты он, напротив, был совершенно лишен — не человек, а кислое яблоко. Кожа землистого цвета, весь какой-то сморщенный, с несколькими пучками черных волос на макушке. Между тем мистер Ходди, помощник хозяйина бакалейной лавки, был человеком очень важным. На работе он надевал безукоризненной белизны халат и распоряжался большим количеством таких ценных товаров, как масло и сахар. С его мнением считались все домашние хозяйки в деревне, не упускавшие случая улыбнуться ему.

Клод Каббидж всегда чувствовал себя неуютно в этом доме, а мистер Ходди постарался все сделать для того, чтобы так и было.

Они расположились в гостиной с чашками чая в руках, при этом мистер Ходди занял лучшее место справа от камина, Клод и Клэрис сидели на диване, в благопристойном отдалении друг от друга. Его младшая дочь Ада расположилась слева на жестком стуле с высокой спинкой. Все вместе составили небольшой полукруг возле огня и чинно потягивали чай, хотя некоторое напряжение ощущалось.

— Да, мистер Ходди, — говорил Клод, — вы можете вполне быть уверены в том, что у нас с Гордоном сейчас есть кое-какие соображения. Надо лишь выждать какое-то время, а потом уж брать то, что принесет наибольшую выгоду.

— Какие еще соображения? — спросил мистер Ходди, недоверчиво глядя на Клода своими маленькими глазками.

— То-то и оно, мистер Ходди, то-то и оно.

Клод ерзал на диване. Синий пиджак стягивал ему грудь, но особенно досаждали тесные брюки, от которых было больно в промежности. Ему страшно хотелось приспустить их.

— Этот твой Гордон... Мне казалось, у него и так неплохо дела идут, — сказал мистер Ходди. — Зачем же ему искать чего-то другого?

— Вы абсолютно правы, мистер Ходди. Дела у него идут отлично. Но надо ведь и развиваться. Новые идеи — вот что нас влечет. Да и мне хотелось бы иметь свою долю с выгодного дела.

— Какого, например?

Мистер Ходди держал в руке кусочек черносмородинового пирожного и обкусывал его со всех сторон — точно гусеница, вгрызающаяся в краешек листа.

— Так какого же?

— Мы, мистер Ходди, каждый день с Гордоном подолгу беседуем о разных делах.

— К примеру, каких? — неумолимо повторил мистер Ходди.

Клэрис искоса посмотрела на Клода, как бы подталкивая его к продолжению разговора. Клод медленно поднял свои большие глаза на мистера Ходди и умолк. Ему не нравилось, что мистер Ходди всегда на него давит, засыпает вопросами, сверлит взглядом и вообще ведет себя так, будто Клод у него кто-то вроде адъютанта.

— Так каких же? — спросил мистер Ходди, и Клод понял, что на сей раз тот не отступится. К тому же инстинкт подсказывал Клоду, что старый Ходди ведет дело к скандалу.

— Видите ли, — набрав полную грудь воздуха, произнес он, — мне, вообще-то, не хотелось бы вдаваться в подробности, пока мы все хорошенько не продумали. Понимаете, пока мы прокручиваем наши идеи в головах.

— Я бы хотел знать только одно, — с раздражением проговорил мистер Ходди, — что за дело вы обдумываете? Полагаю, достойное?

— Умоляю вас, мистер Ходди. Неужели вы думаете, что мы станем хотя бы даже размышлять о чем-то недостойном?

Мистер Ходди что-то пробормотал, медленно помешивая чай и глядя на Клода. Клэрис молча смотрела на огонь. Ее начал одолеваять страх.

— Мне вообще никогда не нравилось, когда затевают какое-то предприятие, — заявил мистер Ходди, оправдывая собственные неудачи в этом плане. — Все, к чему человек должен стремиться, это хорошая, достойная работа. Достойная работа в достойном окружении. Много нынче мышинной возни. Не по душе мне это.

— Дело в том, — в отчаянии заговорил Клод, — что прежде всего мне бы хотелось обеспечить свою жену всем тем, чего она только пожелает. Дом, мебель, сад с клумбами, стиральная машина и все самое лучшее на свете. Вот к чему я стремлюсь, а обычной зарплаты разве на все это хватит? Если нет серьезного дела, так где же взять деньги на все это, мистер Ходди? Тут-то вы со мной согласны?

Мистеру Ходди, который работал на обычную зарплату всю свою жизнь, не понравилась такая позиция.

— А позволъ-ка спросить, не кажется ли тебе, что вот мне удастся обеспечивать свою семью всем необходимым?

— О да, даже сверх того! — с жаром воскликнул Клод. — Но ведь у вас превосходная работа, мистер Ходди, а это же совсем другое дело.

— Ну а ты что затеял? — настойчиво спросил еще раз мистер Ходди.

Клод отхлебнул чаю, дав себе передышку. Интересно было бы посмотреть, как перекосит этого мерзкого старикашку, если взять да и рассказать ему всю правду, взять и рассказать прямо сейчас, что мы затеяли. «Да если хотите знать, мистер Ходди, — сказал про себя Клод, — у нас есть пара грейхаундов, похожих друг на дружку как две капли воды, и мы хотим устроить самое большое надува-

тельство в истории собачьих бегов». Очень хотелось бы посмотреть тогда на мистера Ходди.

Все сидели с чашками в руках, смотрели на него и ждали, когда он наконец выскажется, причем поубедительнее.

— Видите ли, — очень медленно заговорил Клод, тщательно взвешивая слова, — я уже давно кое-что обдумываю, кое-что такое, что принесет больше денег, чем даже Гордоновы подержанные машины, а расходов почти никаких.

«Так-то лучше, — сказал он про себя. — Продолжай и дальше в том же духе».

— И что же это может быть?

— Нечто такое необычное, мистер Ходди, что из миллиона не найдется и одного человека, который в это поверил бы.

— Так что же это?

Мистер Ходди осторожно поставил свою чашку на маленький столик, стоявший рядом, и подался вперед, приготовившись внимательно слушать. И, глядя на него, Клод вдруг впервые понял, что этот человек и все подобные — ему враги. От таких вот мистеров ходди только и жди неприятностей. Они все одинаковы. Он не раз встречался с ними — руки чистые до отвращения, кожа землистая, постоянно язвят и любят отращивать животики, торчащие из-под жилеток; и еще у каждого маслянистый нос с широкими ноздрями, круглый подбородок, подозрительно бегающие глаза, заглянув в которые ничего не поймешь. Ох уж эти мистеры ходди, прости господи.

— Ну так что же?

— Это просто золотая жила, мистер Ходди, честное слово.

— Поверю в это, когда сам услышу.

— Это настолько удивительно просто, что большинство людей и не взялись бы за это дело.

Ага, придумал; он и вправду не раз уже всерьез размышлял об этом, прикидывал, что да как. Он потянулся и осторожно поставил свою чашку на столик рядом с чашкой мистера Ходди, потом, не зная, куда девать руки, положил их на колени ладонями книзу.

— Ну, давай же, выкладывай, что там у тебя.

— Опарыши, — тихо произнес Клод.

Мистер Ходди откинулся на стуле, будто ему брызнули в лицо водой.

— Опарыши! — в ужасе произнес он. — При чем тут опарыши?

Клод забыл, что в любой достойной бакалейной лавке это слово почти не произносимо. Ада захихикала, но Клэрис бросила на нее такой злобный взгляд, что хихиканье тотчас прекратилось.

— Вот откуда будут деньги — из фабрики по производству опарышей.

— Ты что — шутить задумал?

— Честное слово, мистер Ходди, может, вам это кажется немного странным, но только потому, что вы никогда раньше об этом не слышали. Это правда маленькая золотая жила.

— Фабрика по производству опарышей! Да ты в своем уме, Каббидж? Что ты такое несешь!

Клэрис не нравилось, когда ее отец называл Клода по фамилии.

— А вы никогда не слышали о такой фабрике, мистер Ходди?

— Конечно нет!

— Сейчас открывается много опарышевых фабрик, это настоящие большие компании с менеджерами, директорами и все такое прочее, и знаете что, мистер Ходди? У них миллионные прибыли!

— Ерунда!

— И знаете, откуда у них миллионы?

Клод помолчал, не замечая, что лицо его слушателя медленно желтеет.

— Потому что на опарышей большой спрос, мистер Ходди.

В ту минуту мистер Ходди прислушивался и к другим голосам, к голосам покупателей за прилавком — к голосу миссис Рэббитс, например. Он как раз отрезал ей кусок масла. У миссис Рэббитс рыжие усы, она всегда громко разговаривает и при этом без конца повторяет «так-так-так»; он услышал, как она говорит: «Так-так-так, мистер Ходди, так, значит, ваша Клэрис вышла замуж на прошлой неделе, а? Что ж, это очень хорошо, и чем, вы сказали, занимается ее муж, мистер Ходди?» — «У него фабрика по производству опарышей, миссис Рэббитс».

«Ну уж нет, — сказал он про себя, враждебно глядя на Клода. — Большое тебе спасибо. Но этого мне не надо».

— Не могу сказать, — с гордостью заявил он, — чтобы мне когда-либо доводилось покупать опарышей.

— И мне тоже, мистер Ходди. Да мы и не знаем никого, кто бы их покупал. Но позвольте спросить у вас кое-что еще. Как часто вам приходилось покупать, скажем... коронную шестерню или ведущую?

Вопрос вышел хитрым, и Клод позволил себе приторно улыбнуться.

— А какое отношение это имеет к личинкам?

— Прямое. Люди покупают то, что им нужно. Вот вы ни разу в жизни не покупали коронную или ведущую шестерню, но это вовсе не значит, что нет людей, богатеющих в эту самую минуту на их производстве, — есть такие люди! То же с опарышами.

— Не мог бы ты назвать мне этих мерзких людишек, которые покупают опарышей?

— Опарышей покупают рыбаки, мистер Ходди. Рыбаки-любители. В стране много тысяч рыбаков, которые каждый уик-энд отправляются на реки рыбачить, и всем им нужны опарыши. И они готовы за них хорошо платить. Пройдитесь как-нибудь вдоль реки выше Марлоу¹, и вы увидите их на обоих берегах. Свободного места нет!

— Опарышей не покупают. Люди идут в сад и выкапывают червяков.

— Прошу прощения, но тут вы не правы, мистер Ходди. Тут вы совершенно не правы. Рыбакам нужны опарыши, а не червяки.

— В таком случае они и без вас их достанут.

— Но они не хотят этим заниматься. Вы только представьте себе, мистер Ходди: субботний день, вы собираетесь на рыбалку, а тут по почте приходит симпатичная баночка с опарышами, и вам остается лишь положить ее в сумку и отправиться в путь. Да зачем копать червей и искать опарышей, когда все это может быть доставлено прямо к порогу дома всего за шиллинг-другой.

— А могу я спросить, как ты собираешься устроить эту твою фабрику по производству опарышей?

Когда он произнес слово «опарышей», показалось, будто он сплюнул шелуху от семечка.

— Нет ничего на свете проще, чем устроить фабрику по производству опарышей.

Теперь Клод держался увереннее, все больше распаляясь.

— Все, что нужно, — это пара бочек из-под автомобильного масла и несколько кусков гнилого мяса или баранья голова. Надо сложить это в бочку, и все. Остальное доделают мухи.

Если бы он в ту минуту видел лицо мистера Ходди, то, скорее всего, попридержал бы язык.

¹ *Марлоу* — город на Темзе

— Конечно, не все так просто. Потом надо посадить опарышей на особую диету. Отруби и молоко. А когда они станут большими и жирными, их надо разложить по жестяным банкам и отправить покупателям. Банка в одну пинту принесет пять шиллингов. Пять шиллингов за пинту! — вскричал он, хлопнув себя по колену. — Вы только представьте себе, мистер Ходди! А одна трупная муха, говорят, запросто дает двадцать пинт!

Он снова помолчал, но только затем, чтобы собраться с мыслями, — теперь его уже было не остановить.

— И еще кое-что, мистер Ходди. На настоящей опарышевой фабрике не только опарышами занимаются. У каждого рыбака ведь свой вкус. Все опарыши одинаковые, но есть и пескожилы. Некоторым рыбакам только пескожила подавай. А между тем опарыши бывают разных цветов. Обычно они белые, но могут быть разного цвета, смотря чем кормить. Красные, зеленые, черные, даже голубые — если правильно корм подобрать. Самое трудное на такой фабрике, мистер Ходди, это вывести голубых опарышей.

Клод умолк, чтобы перевести дыхание. Он увидел картину — ту же, которая сопровождала все его мечты о богатстве: вот стоит огромная фабрика с высокими трубами и широкими железными воротами, и в них стекаются сотни счастливых рабочих, а сам Клод, сидя в роскошном офисе, спокойно и на зависть уверенно руководит производственным процессом.

— Несколько человек с мозгами сейчас изучают этот вопрос, — продолжал он. — Поэтому надо торопиться, если не хочешь остаться на обочине. В том-то и состоит секрет большого бизнеса — успеть раньше других, мистер Ходди.

Клэрис, Ада и их отец сидели совершенно неподвижно, глядя прямо перед собой. Никто из них не двигался и не произносил ни слова. Говорил только Клод.

— Главное — позаботиться о том, чтобы опарыш был жив, когда отправляешь его почтой. Видите ли, он должен шевелиться. Опарыш, который не шевелится, никуда не годится. А когда дело наладим, когда у нас будет капитал, тогда построим теплицу.

Клод помолчал, потирая подбородок.

— Вам всем, наверное, интересно узнать, зачем на опарышевой фабрике нужна теплица. Что ж, скажу. Для разведения мух зимой. Зимой особенно важно позаботиться о мухах.

— Ну ладно, хватит, спасибо, Каббидж, — неожиданно произнес мистер Ходди.

Клод только сейчас увидел выражение лица мистера Ходди. Он замолчал.

— Не желаю больше слышать об этом, — сказал мистер Ходди.

— Я хочу лишь одного, мистер Ходди, — воскликнул Клод, — дать вашей дочери все то, что она может пожелать. Я день и ночь только об этом и думаю, мистер Ходди.

— А я надеюсь, что ты сможешь осуществить свою мечту без помощи опарышей.

— Папа! — с тревогой в голосе проговорила Клэрис. — Я не допущу, чтобы ты разговаривал с Клодом таким тоном.

— Я буду разговаривать с ним так, как сочту нужным, благодарю вас, мисс.

— Мне, пожалуй, пора, — сказал Клод. — Счастливо оставаться!

МИСТЕР ФИЗИ

Мы оба рано были на ногах, когда настал великий день.

Я пошел бриться в ванную, а Клод оделся и сразу же отправился заниматься соломой. Окна кухни выходили на улицу, и я видел, как за деревьями — на горном хребте на краю долины — встает солнце.

Всякий раз, когда Клод проходил мимо окна с охапкой соломы, я видел в уголке зеркала напряженное лицо запыхавшегося человека; он двигался, наклонив голову, морщины на лбу собрались складками от бровей до волос. Я лишь однажды видел его таким — в день, когда он предложил Клэрис выйти за него. На этот раз он был так возбужден, что даже походка у него стала потешной. Он ступал осторожно, будто асфальт у заправочной станции плавился, и он это чувствовал сквозь тонкие подошвы, однако продолжал укладывать солому в кузов грузовика, чтобы Джеки было удобно.

Потом он пришел на кухню, приготовить завтрак. Я смотрел, как он поставил на плиту кастрюлю и стал варить суп. В руке он держал длинную железную ложку, ею и перемешивал суп, едва тот собирался закипеть. Не проходило и полминуты, чтобы он не засовывал свой нос в этот приторно-тошнотворный пар, исходящий от вареной конины. Потом стал заправлять суп: добавил три очищенные луковицы, несколько молодых морковин, полную чашку ботвы жгучей крапивы, чайную ложку соуса к мясу, двенадцать

капель рыбьего жира, при этом за все бережно брался кончиками своих жирных пальцев, будто имел дело с крошечными осколками венецианского стекла. Достав из холодильника конский фарш, положил одну часть в миску Джеки, три части — в другую миску, а когда суп сварился, залил им мясо в обеих мисках.

За этой церемонией я наблюдал каждое утро в течение последних пяти месяцев, но никогда не видел его таким сосредоточенным и серьезным. Он не разговаривал со мной, даже не смотрел в мою сторону, а когда повернулся и снова вышел из дома, чтобы привести собак, даже на спине его, казалось, было написано: «Боже милостивый, помоги мне, чтобы я не сделал чего-нибудь не так, особенно сегодня».

Я слышал, как он, надевая на собак поводки, тихо разговаривает с ними в сарае, а когда он привел их на кухню, они принялись рваться с поводка, приподнимаясь на задних лапах и размахивая из стороны в сторону своими огромными, как кнуты, хвостами.

— Итак, — заговорил наконец Клод. — Что скажешь сегодня?

Обычно, едва ли не каждое утро, он предлагал мне поспорить на пачку сигарет, но сегодня на кону было нечто побольше, и я знал, что в этот момент он, как никогда, ждет от меня поддержки.

Он смотрел, как я обхожу вокруг двух красивых, одинаковых, высоких, с угольно-черной шерстью псов, а сам между тем отступил в сторону, держа поводки на расстоянии вытянутой руки, чтобы я разглядел животных получше.

— Джеки! — сказал я наконец, применив старый прием, который, впрочем, никогда не срабатывал.

Две одинаковые головы с одинаковыми мордами обернулись в мою сторону, и на меня уставились две пары блестящих, одинаковых, глубоко посаженных желтых глаз. Мне как-то почудилось, будто у одного из них глаза чуть потемнее. А в другой раз мне показалось, будто я могу узнать Джеки по более впалой груди и еще по тому, что у Джеки чуть-чуть побольше мышц в задней части туловища. Но не тут-то было.

— Ну же, — подначивал Клод.

Он надеялся, что уж сегодня-то я точно ошибусь.

— Вот этот, — сказал я. — Это Джеки.

— Который?

— Вот этот, слева.

— Ха! — вскричал он. — Опять ты ошибся!

— Мне так не кажется.

— Еще как ошибся. А теперь послушай, Гордон, я тебе кое-что скажу. Все эти последние недели, каждое утро, когда ты пытался отгадать, кто из них Джеки, я... знаешь, что делал?

— Что?

— Вел счет. И в результате выяснилось, что ты почти в половине случаев ошибался. Да лучше бы ты монету бросал!

Вот он о чем! Если уж я (который видел обоих псов каждый день) не всегда догадывался, кто из них Джеки, почему же, черт возьми, ему нужно бояться мистера Физи? Клод знал, что мистер Физи настоящий мастер выявлять на бегах подставных дублей, но он также знал, что очень трудно отличить одну собаку от другой, если между ними нет никакой разницы.

Клод поставил миски с едой на пол, придвинув к Джеки ту из них, где было меньше мяса, потому что бежать в этот день предстояло ему. Отступив в сторону, он стал смотреть, как они едят. На его лице снова появилось выражение глубокой озабоченности, и он глядел на Джеки тем же восхищенным и нежным взором, какой до недавнего времени предназначался только для Клэрис.

— Видишь ли, Гордон, — сказал он. — Я тебе это уже говорил. За последнюю сотню лет много дублей незаконно участвовали в бегах, всякие были дубли — и хорошие, и плохие, но такого за всю историю собачьих бегов еще не было.

— Может, ты и прав, — ответил я.

Я вспомнил промозглый день в самый канун Рождества, четыре месяца назад, когда Клод попросил у меня грузовик и укатил в сторону Эйлсбери, не сказав, куда едет. Я тогда решил, что он отправился повидать Клэрис, но он вернулся поздно вечером и привез с собой пса. Он сказал, что купил его у кого-то за тридцать пять шиллингов.

— Он что, быстро бегает? — спросил я тогда.

Мы стояли возле бензоколонки. Клод держал пса на поводке и смотрел, как редкие снежинки падают ему на спину и тают. Двигатель грузовика продолжал работать.

— Быстро! — усмехнулся Клод. — Да такого медленного пса ты в жизни не видывал!

— Тогда зачем же было его покупать?

— Видишь ли, — ответил он, и на его простом лице появилась плутоватая, загадочная улыбка. — Мне показалось, он немного похож на Джеки.

— Да, вроде похож.

Он протянул мне поводок, и я повел нового пса в дом, чтобы обсох, а Клод пошел в сарай за своим любимцем. Когда он вернулся, мы в первый раз сравнили их. Я помню, как он отступил и воскликнул: «Господи боже мой!» — и так и замер на месте, будто ему явился призрак. Вслед за тем он начал действовать быстро и уверенно. Опустившись на колени, он стал сравнивать собак. Каза-лось, будто в комнате становится все теплее, по мере того как растет его возбуждение вследствие этого долгого молчаливого осмотра, в ходе которого сравнению подвергались даже ногти и зачатки пятого пальца (по восемнадцать на каждой собаке), а также окрас.

— Знаешь что, — поднимаясь, произнес он наконец. — А пройдишь-ка с ними по комнате несколько раз.

Минут пять, а то и шесть Клод стоял, прислонившись к плите. Он прикрыл глаза и склонил голову набок, глядя на собак, хмурясь и покусывая губы. Потом, будто не веря тому, что увидел в первый раз, снова опустился на колени и снова занялся сравнительным анализом, но неожиданно, в самый разгар осмотра, вскочил на ноги и устоял на меня. Мышцы на его лице напряглись, а около ноздрей и вокруг глаз кожа побелела.

— Отлично, — произнес он, при этом голос его немного дрожал. — Знаешь что? Кажется, то, что надо. Теперь мы богаты.

А потом начались наши тайные кухонные беседы с детальным планированием, выбором наиболее подходящего места, из тех, где проводятся бега, и наконец каждую вторую субботу мы стали закрывать станцию (теряя при этом дневную выручку), чтобы отправить пса в Оксфорд, где близ Хедингтона есть замызганная дорожка в поле; там разыгрываются большие деньги, но вообще-то, место бегов — лишь старые столбы в ряд, между которыми натянута веревка, обозначающая трассу, да перевернутый велосипед, тянущий на веревке липового зайца, а в дальнем конце, на некотором расстоянии, шесть будок для собак и позиция для стартера. В продолжение шестнадцати недель мы возили туда пса восемь раз, мистер Физи зарегистрировал его как участника, а потом мы стояли в толпе под ледяным дождем, дожидаясь, когда его кличку напишут мелом на доске. Мы назвали его Черной Пантерой. И когда пришло время ему бежать, Клод всякий раз подводил его к будке, а я вставал у финиша, чтобы там схватить его и не дать в обиду свирепым псам, которых называют «цыганскими», потому что цыгане

частенько включали их в число участников, чтобы по окончании бега собаки разодрали друг дружку в клочья.

Но правду сказать, нам всякий раз было довольно грустно, когда мы везли так далеко этого пса, заставляли его бежать, смотрели за его бегом и надеялись — чуть не молились, — чтобы он во что бы то ни стало пришел последним. Молиться, разумеется, было вовсе не обязательно, да мы и не сомневались в нем ни секунды, потому что этот кабыздох просто не мог бежать, и все тут. Двигался он, как краб. Не пришел последним он единственный раз, когда большой пес желтовато-коричневого окраса, по кличке Янтарь, угодил лапой в ямку, порвал сухожилие и пришел к финишу на трех лапах. Но и тогда наш опередил только его. И таким образом мы добились того, что наш попал в списки замыкающих вместе со слабаками, а в последний раз, когда мы туда ездили, все букмекеры ставили на него из расчета двадцать или тридцать к одному, дразнили пса и умоляли зрителей поддержать его.

И вот в этот солнечный апрельский день настал наконец черед Джеки бежать вместо него. Клод сказал, что больше дубля мы ставить не будем, а то он надоест мистеру Физи, и он вообще снимет пса с бегов — так медленно он двигался. Клод сказал, что с психологической точки зрения сейчас самое время выпускать Джеки, и Джеки будет первым где-то корпусов на двадцать–тридцать.

Джеки был еще щенком, когда Клод начал дрессировать его, а теперь псу было всего лишь пятнадцать месяцев, но бегал он уже быстро. В бегах он еще не участвовал, но мы знали, что он умеет бегать, потому что гоняли его по стадиону маленькой частной школы в Аксбридже, куда Клод возил его каждое воскресенье начиная с семимесячного возраста — за исключением того дня, когда псу делали прививку. Может, говорил Клод, он и не так быстро бежит, чтобы быть у мистера Физи первым, но с той репутацией, которую его дубль завоевал среди самых последних, он может сто раз упасть и встать и все равно опередить всех, как говорил Клод, корпусов на двадцать... ну хорошо, на десять–пятнадцать.

Тем утром мне оставалось сделать лишь одно — сходить в банк в деревне и взять пятьдесят фунтов для себя и пятьдесят для Клода как задаток к его жалованью, а в двенадцать часов закрыть станцию и повесить табличку на одной из бензоколонок — «Сегодня не работаем». Клоду же предстояло запереть другого пса в сарае за станцией, посадить Джеки в грузовик, после чего мы должны от-

правиться в путь. Не могу сказать, что я был так же взбудоражен, как Клод, но, опять же, мне не нужно было покупать дом или жениться, поэтому результат предстоящего состязания меня не очень-то и волновал. Да и не в конуре с борзыми я прожил жизнь в отличие от Клода, который целыми днями ни о чем другом и не думал, хотя по вечерам, может, и вспоминал Клэрис. Лично у меня была хорошая работа — как владелец автозаправочной станции я был по горло занят, не говоря уж о торговле подержанными машинами, но раз Клоду приспичило возиться с грейхаундами, я не против, особенно когда назревало такое событие, — а если бы задуманное еще и осуществилось!.. Вообще, не могу не признаться, что всякий раз, когда я думал о деньгах, которыми мы рисковали и которые предполагали выиграть, внутри у меня начинало что-то шевелиться.

Собаки между тем позавтракали, и Клод вывел их на небольшую прогулку по полю, а я оделся и приготовил яичницу. Потом я сходил в банк и взял деньги (все купюры по одному фунту), а остаток утра пролетел довольно быстро за обслуживанием клиентов.

Ровно в двенадцать я закрыл станцию и повесил табличку на бензоколонке. Появился Клод. Одной рукой он вел на поводке Джеки, а в другой держал большой красновато-коричневый картонный чемодан.

— А это еще зачем?

— Для денег, — ответил Клод. — Ты ведь сам говорил, что в карманах две тысячи фунтов не унесешь.

Был чудесный весенний день. Почки так и лопались на живых изгородях, и солнечные лучи проникали сквозь молодые бледно-зеленые листочки большого бука, стоявшего на той стороне дороги. Джеки выглядел замечательно. На задних лапах выступали две большие твердые мышцы, каждая размером с дыню. Шерсть отливала, как бархат. Пока Клод укладывал в грузовик чемодан, пес прыгал на задних лапах, демонстрируя, в какой он отличной форме. Потом Джеки посмотрел на меня и ухмыльнулся, будто понимал, что отправляется на бега, дабы выиграть две тысячи фунтов и покрыть себя славой. Такой роскошной ухмылки, как у этого Джеки, я сроду не видывал. Он не только приподнимал верхнюю губу, у него даже уголки пасти расплывались, так что видны были все зубы, за исключением, может, пары коренных где-то в глубине. И всякий раз, видя, как пес улыбается, я ловил себя на том, что жду, как он еще и рассмеется в придачу.

Мы забрались в пикап и поехали. За рулем был я. Клод сидел рядом со мной, а Джеки ехал сзади. Стоя на соломе, он смотрел вперед, поверх наших плеч. Клод то и дело оборачивался и пытался убедить Джеки, что нужно лечь, а то, случись крутому повороту, можно и шишки набить, но пес был слишком возбужден и лишь улыбался ему в ответ, да махал своим огромным хвостом.

— Деньги при тебе, Гордон?

Клод курил одну сигарету за другой, не в силах усидеть на месте.

— Да.

— И мои тоже?

— Всего у меня сто пять. Пять для парня, который крутит колесо велосипеда, как ты просил, чтобы он не остановил зайца и чтобы забег не аннулировали.

— Хорошо, — сказал Клод, энергично потирая руки, будто ему было холодно. — Хорошо, хорошо, хорошо.

Проезжая по маленькой узкой Хай-стрит города Грейт-Миссенден, мы увидели старину Рамминса, направлявшегося в паб «Голова лошади» за своей утренней пинтой, потом за деревней повернули налево и поднялись на Чилтерн-Хиллс, держа курс на Принсиз-Ризборо, а оттуда до Оксфорда оставалось всего двадцать с чем-то миль.

Ехали мы теперь молча, поскольку оба начали испытывать какое-то напряжение. Мы сидели очень тихо, не произнося ни слова, каждый вынашивал свои страхи и предчувствия, каждый сдерживал свои тревоги. А Клод все дымил и дымил и выбрасывал сигареты наполовину выкуренными в окно. Обычно в ходе таких поездок он говорил без умолку по дороге туда и обратно, рассказывая, что ему приходилось делать с собаками, на каких работах он работал, где бывал, какие деньги зарабатывал, а также обо всем том, что делали с грейхаундами другие, о воровстве, жестокости и невероятно коварном жульничестве хозяев беговых дорожек. Но в этот раз он не так уверенно себя чувствовал, чтобы много говорить. Да, признаться, и я тоже. Я молча следил за дорогой и старался не думать о ближайшем будущем, вспоминая все то, что Клод рассказывал мне раньше о разбое на собачьих бегах.

Готов поклясться, что никто на свете обо всем этом не знает больше Клода, и с того самого времени, когда мы взяли другую собаку и решили провернуть дело, он счел своей обязанностью по-

святить меня в его особенности. Теперь, во всяком случае в теории, думаю, я знал почти столько же, сколько он.

Началось все с того разговора на кухне, когда речь зашла о возможности мошенничества. Помню, это было на другой день после того, как у Джеки появился дубль. Мы сидели и смотрели в окно на клиентов заправочной станции. Клод объяснял мне, что нам предстоит сделать. Я пытался по возможности внимательно следить за ходом его рассуждений, пока у меня не возник вопрос, не задать который я не мог.

— Вот чего я не понимаю, — сказал я тогда, — зачем вообще нужен дубль? Не будет ли безопаснее все время использовать Джеки, придерживая его в первых шести забегах, чтобы приходил последним? Потом, когда все махнут на него рукой, мы пустим его бежать по-настоящему. Результат-то в конечном счете один и тот же, не правда ли, зато никакой опасности, что нас разоблачат.

Как я только что сказал, вопрос попал в точку. Клод быстро взглянул на меня и произнес:

— Ну уж нет! Заруби себе на носу — придерживанием я не занимаюсь. Да что это пришло тебе в голову, Гордон?

Казалось, мои слова задели его больно и всерьез.

— Не вижу в этом ничего плохого.

— Послушай-ка, Гордон. Придерживать на бегу хорошего пса — значит губить его. Хороший пес знает, что он быстрый, и если видит, что его все обогнали и ему никого не догнать, у него, поверь мне, сердце обрывается. Мало того. Ты не стал бы делать подобных предложений, если бы знал, на какие ухищрения идут некоторые во время бегов, чтобы придержать своих псов.

— На какие например? — спросил я тогда.

— Да на любые, лишь бы сбился. Но попробуй его останови! Он так и рвется в бой и спокойно смотреть, как бегут другие, не может, так и рвется с поводка, чтобы присоединиться к другим. Сколько раз я видел, как даже со сломанной ногой собака бежит к финишу.

Он помолчал, задумчиво глядя на меня своими большими светлыми глазами. По всему было видно, что он глубоко задумался.

— Если уж мы хотим все сделать как надо, — сказал он, — то, может, мне стоит рассказать тебе кое-что, чтобы ты знал, что нас ждет.

— Давай рассказывай, — ответил я. — Мне интересно.

Какое-то время он молча смотрел в окно.

— Запомни главное, — невесело произнес он. — Все те, кто водит на бега собак, очень хитры. Так хитры, что ты и представить себе не можешь.

Он снова умолк, приводя в порядок свои мысли.

— Да взять хоть, для примера, всякие способы сдержат бег собаки. Самый распространенный — затяжка.

— Затяжка?

— Да. Самый ходовой способ. Нужно лишь затянуть ошейник покрепче, чтобы пес даже дышал с трудом. Умный человек знает, на какую дырочку ошейник затянуть, чтобы пес пробежал лишь определенное расстояние. Обычно затягивают на пару дырочек потуже, чтобы отстал на пять-шесть корпусов. А завяжи еще туже, так он и последним придет. Немало знал я собак, которые валились без сил или же умирали, когда им туго затягивали ошейник, да еще в жаркий день. Скверное это дело, душить таким образом собак. А вот другие перехватывают черной ниткой пару ногтей на лапе, и собака уже не побежит быстро, потому что равновесие нарушено.

— Ну, это еще не самое страшное.

— А еще есть такие, которые прилепляют разжеванный чуингам собаке под хвост. И ничего тут смешного нет, — возмущенно прибавил он. — Во время бега хвост собаки поднимается и опускается, и резинка на хвосте приклеивается к шерстинкам в самой нежной части. Поверь мне, ни одной собаке это не понравится. Потом есть снотворные таблетки. Ими нынче многие пользуются. Снотворное назначают в зависимости от веса, как это делают врачи, и отмеряют такую дозу, которая нужна, чтобы пес отстал на пять, десять или пятнадцать корпусов. Вот лишь несколько обычных способов, — говорил он тогда, — но это ничто, абсолютно ничто в сравнении с некоторыми другими приемами сдержат собаку во время бега, особенно цыганскими. Цыгане такие штуки проделывают, что и говорить противно, такое даже со злейшими врагами не делают.

И, поведав мне об этих ужасных вещах — и вправду ужасных, ведь речь шла о физической боли, которую причиняют собакам, — он перешел к рассказу о том, что некоторые делают, дабы собака пришла первой.

— Чтобы пес бежал быстро, с ним делают не менее ужасные вещи, чем когда хотят, чтобы он бежал медленно, — тихо заговорил Клод, сделав загадочное лицо. — Наверное, самый распространенный способ из всех — использование зимолюбки¹. Если увидишь собаку без шерсти на спине или же шерсть растет клочками, значит тут не обошлось без зимолюбки. Перед самым бегом зимолюбку крепко втирают в кожу. Иногда используют мазь Слоуна², но чаще всего это зимолюбка. Жжет страшно. Жжет так, что единственное, чего хочется собаке, это бежать, бежать и бежать — изо всех сил, чтобы только убежать от боли... Есть еще специальные лекарства, которые вводят шприцем. Это, заметь, современный способ, и большинство темных личностей, увлекающихся собачьими бегами, даже и не подозревают о его существовании. А вот парни, приезжающие из Лондона в больших автомобилях с дрессированными собаками, которых за взятку взяли у тренера на денек, — те используют шприцы.

Помню, как он сидел тогда за кухонным столом с сигаретой во рту, прикрывая глаза, когда выпускал дым, смотрел на меня почти закрытыми глазами, вокруг которых собрались морщины, и говорил:

— Запомни-ка вот что, Гордон. Тот, кто хочет, чтобы его пес пришел первым, пойдет на что угодно. С другой стороны, ни один пес не побежит быстрее, чем может, что ты с ним ни делай. Поэтому если нам удастся записать Джеки среди самых слабых, то дело наше выигрышное. Никакой пес из слабых за ним не угонится, хоть зимолюбку возьми, хоть иглу. Да хоть имбирь.

— Имбирь?

— Ну да. Имбирь тоже часто используют. Берут кусок сырого имбиря размером с грецкий орех и минут за пять до старта засовывают внутрь.

— В пасть? Чтобы съел?

— Нет, — ответил он. — Не в пасть.

Наши разговоры продолжались. В ходе восьми долгих поездок к месту бегов, которые мы потом проделали с дублем Джеки, мне довелось услышать еще многое об этом чудесном виде спорта — особенно о способах попрердержать пса или ускорить его бег (да-

¹ Род растений семейства грушанковых

² Эрл Слоун (1848–1913) — американский врач, изобрел мазь, с помощью которой лечили хромоту у лошадей

же о названиях лекарств и в каких количествах их используют). Я услышал о «крысином способе» (для не гончих псов, чтобы заставить их бежать за липовым зайцем), когда крысу кладут в банку и привязывают ее к собачьей шее. В крышке банки делается дырочка, достаточно большая для того, чтобы крыса высунула голову и укусила пса. Но псу крысу не достать, поэтому он начинает беситься оттого, что его кусают в шею, и чем больше он трясет банкой, тем больше крыса кусает. Наконец кто-то выпускает крысу, и пес, который до того времени был милым домашним животным, который лишь хвостом помахивал и даже мышь не обидел бы, в ярости хватает ее и разрывает на куски. Прodelай это несколько раз, сказал тогда Клод («но сам я этим не занимаюсь»), и пес превращается в настоящего убийцу, который побежит за кем угодно, даже за липовым зайцем.

Тем временем мы пересекли поросшие буком Чилтерн-Хиллс и теперь спускались вниз, на плоскую равнину к югу от Оксфорда, где больше вязов и дубов. Клод молча сидел рядом со мной, нервно покуривая. Каждые две-три минуты он оборачивался, чтобы убедиться, что с Джеки все в порядке. Пес наконец улегся, и, поворачиваясь к нему, Клод всякий раз тихо что-то нашептывал, и тот отвечал легким движением хвоста, отчего шуршала солома.

Скоро мы должны были подъехать к широкой Хай-стрит близ Тейма, куда по базарным дням стогняли свиней, коров и овец и где раз в год проходила ярмарка с качелями, каруселями, разбитыми машинами и цыганскими кибитками — и все на этой улице в центре города. Клод родился в Тейме, и не было случая, чтобы он не упомянул об этом, когда мы проезжали мимо этих мест.

— А вот и Тейм, — произнес он, как только появились первые дома. — Я ведь родился в Тейме, Гордон, и вырос здесь.

— Ты мне уже говорил об этом.

— Много чего мы тут вытворяли пацанами, — с ностальгической ноткой в голосе проговорил он.

— Не сомневаюсь.

Он замолчал — скорее, думаю, затем, чтобы успокоиться, нежели почему-либо еще, а потом начал вспоминать о годах юности.

— Вон там один парень жил, — сказал он, — Гилбертом Гоммом звали. Маленькое остроносое лицо, как у хорька, одна нога короче другой. Жуткие вещи мы с ним проделывали. Знаешь, что мы с ним сделали однажды, Гордон?

— Что?

— Как-то вечером, когда мамаша с папашей были в пабе, мы пошли на кухню, отсоединили трубку от конфорки и пустили газ в бутылку из-под молока, полную воды. Потом сели и стали пить ее из чайных чашек.

— Понравилось?

— Еще как! Отвратительное пойло! Но мы не пожалели сахару, и тогда пить стало, в общем-то, можно.

— А зачем вы это пили?

Клод недоверчиво посмотрел на меня.

— Ты хочешь сказать, что никогда не пил воду с пузырями?

— Да вроде нет.

— Я думал, все ее пили в детстве! Шибает в голову почти как вино, только хуже, смотря как долго пропускаешь газ через воду. Как мы назюзюкивались на этой кухне по субботним вечерам! Вот здорово было! До тех самых пор, пока папаша не заявился как-то домой пораньше и не застукал нас. До конца своих дней не забуду тот вечер. Я держу в руках бутылку из-под молока, в ней пузырится газ, Гилберт стоит на коленях, готовый в любой момент по моей команде повернуть кран, и тут входит папаша.

— И что он сказал?

— О боже, Гордон, это было ужасно. Он не произнес ни слова, но остановился в дверях, нацупал свой ремень, потом очень медленно расстегнул его и медленно вынул из брюк. Все это время он не спускал с меня глаз. Мужчина он был крупный, с руками как отбойные молотки, с черными усами и фиолетовыми прожилками на щеках. Потом быстро подошел, схватил за куртку и принялся охаживать меня что было мочи пряжкой, и, клянусь богом, Гордон, я тогда решил, что мне конец. Но тут он остановился, медленно и аккуратно вдел ремень в брюки, застегнул пряжку, заправил конец ремня и рыгнул пивным духом. Потом, так и не сказав ни слова, отправился обратно в паб. Так меня больше в жизни не пороли.

— Сколько тебе тогда было лет?

— Да, наверное, лет восемь, — ответил Клод.

Когда мы подъезжали к Оксфорду, он опять замолчал и то и дело поворачивал голову, чтобы убедиться, что с Джеки все хорошо, трогал его, гладил по голове, а однажды повернулся всем телом, встал на сиденье на колени и обложил пса соломой, пробормотав что-то насчет сквозняка. Мы проехали по окраине Оксфорда и

оказались на пересечении узких проселочных дорог, а спустя какое-то время свернули в небольшой ухабистый переулок и влились в жидкий поток мужчин и женщин, двигавшихся, кто пешком, кто на велосипеде, в том же направлении. Некоторые мужчины вели на поводках собак. Перед нами ехала машина с закрытым кузовом, и мы видели пса, который сидел на заднем сиденье между двумя мужчинами.

— Отовсюду народ собирается, — мрачно произнес Клод. — Эти, видно, специально из Лондона едут. Наверное, взяли пса тайком из большой псарни на денек. Может, это вообще трехлетка, в Эпсоме бегают.

— Будем надеяться, что он не помешает Джеки.

— Не беспокойся, — сказал Клод. — Все новые собаки автоматически попадают в категорию сильнейших. Мистер Физи за этим внимательно следит.

На поле вели открытые ворота. Прежде чем мы въехали, жена мистера Физи взяла у нас деньги за участие.

— Он бы и педали ее крутить заставил, будь у нее силы, — сказал Клод. — На помощников старина Физи не очень-то раскошеливается.

Я проехал через поле и припарковался в конце ряда машин у изгороди. Мы оба вышли из пикапа, и Клод тотчас же занялся Джеки. Я стоял возле машины и ждал. Поле было очень большое, с крутоватым откосом, и я находился на вершине этого откоса и смотрел вниз. Я видел шесть стартовых будок, деревянные столбики, обозначающие дорожку, которая тянулась вдоль нижней части поля и резко поворачивала под прямыми углами, а потом поднималась вверх к зрителям и к финишу. В тридцати ярдах от финишной линии находился велосипед колесами вверх, с помощью них тянули липового зайца. Это обычный способ тянуть липового зайца, используемый на всех скачках. Конструкция состоит из хрупкой деревянной платформы высотой восемь футов, поддерживаемой четырьмя вбитыми в землю столбами. На платформе прочно закреплен обычный старый велосипед колесами вверх. Заднее колесо направлено в сторону дорожки. С него снимают резину, так что остается один вогнутый металлический обод. Один конец веревки, которая тянет зайца, прикреплен к этому ободу, и мотальщик (или крутильщик), расставив ноги над велосипедом, крутит педали руками, колесо таким образом вращается, и веревка нама-

тывается на обод. Липовый заяц движется к нему со скоростью, которую он задает сам, до сорока миль в час. После каждого забега кто-нибудь относит липового зайца (вместе с веревкой, к которой он привязан) обратно к стартовым будкам, одновременно отматывая веревку с колеса, и к новому старту все готово. Мотальщик с высокой платформы следит за ходом бега и регулирует скорость зайца так, чтобы тот все время находился впереди собаки, бегущей первой. Он также может в любое время остановить зайца и объявить бег несостоявшимся, если ему покажется, что выигрывает не та собака. Для этого он резко поворачивает педали назад, и веревка запутывается во втулке колеса. Он может также неожиданно уменьшить скорость зайца — быть может, на секунду, — тогда собака, бегущая первой, машинально замедляет свой бег, и ее догоняют другие. Мотальщик — персона важная.

Я видел, что мотальщик мистера Физи уже стоит на платформе. Это был крепкий на вид мужчина в синем свитере. Он опирался о велосипед и смотрел на толпу сверху вниз сквозь дым своей сигареты.

В Англии существует странный закон, позволяющий проводить подобного рода состязания на одной площадке только семь раз в году. Вот почему все оборудование мистера Физи легко перевозилось с места на место, и после седьмого состязания он просто переезжал на другое поле. Закон ему в этом не препятствовал.

Собралось уже довольно много народа, и букмекеры ставили свои стенды в ряд, с правой стороны. Клод вывел Джеки из грузовика и теперь направлялся вместе с ним к группе людей, толпившихся вокруг приземистого мужчины, на котором были бриджи для верховой езды. Это и был мистер Физи собственной персоной. Каждый из окружавших его держал на поводке собаку, и мистер Физи записывал клички в блокнот, который держал в левой руке. Я неторопливо приблизился к ним, чтобы понаблюдать за происходящим.

— Эту как зовут? — спросил мистер Физи, приготовившись сделать запись в блокноте.

— Полночь, — ответил какой-то мужчина, державший на поводке черную собаку.

Мистер Физи отступил на шаг и внимательнейшим образом осмотрел собаку.

— Полночь. Ладно. Записал.

- Джейн, — сказал следующий мужчина.
- Ну-ка, дай взглянуть. Джейн... значит, Джейн... хорошо.
- Солдат.

Этого пса держал на поводке высокий мужчина с длинными зубами в синем двубортном, выношенном до блеска костюме. Назвав кличку собаки, он почесал свободной рукой ягодицу.

Мистер Физи наклонился, чтобы получше рассмотреть пса. Его хозяин уставился в небо.

- Уведи его отсюда, — сказал мистер Физи.

Мужчина быстро опустил взгляд и перестал чесаться.

- Да уводи же!
- Послушайте, мистер Физи. — Мужчина немного шепелявил сквозь свои длинные зубы. — Что за глупость, ну прошу вас.

— Давай, Ларри, проваливай и не отнимай у меня время. Ты не хуже меня знаешь, что у Солдата два белых пальца на правой передней лапе.

— Погодите, мистер Физи, — сказал мужчина. — Вы ведь Солдата полгода не видели.

- Хватит, Ларри, уходи. Некогда мне спорить с тобой.

Внешне мистер Физи не казался сердитым.

- Следующий, — сказал он.

Я увидел, как из толпы выступил Клод, держа на поводке Джеки. Его широкое простое лицо было неподвижно, глаза смотрели куда-то поверх головы мистера Физи, а поводок он намотал на руку так крепко, что костяшки пальцев сделались похожими на белые луковки. Я знал, каково ему сейчас. Я и сам себя так же чувствовал в ту минуту, а когда мистер Физи рассмеялся, мне сделалось еще хуже.

— Эй! — вскричал он. — Да это же Черная Пантера. Вот вам и чемпион.

- Именно так, мистер Физи, — сказал Клод.

— Вот что я тебе скажу, — говорил мистер Физи, продолжая ухмыляться. — Веди-ка ты его туда, откуда привел. Не хочу его больше видеть.

- Но послушайте, мистер Физи...

— Уже раз шесть или восемь, не меньше, я позволил ему бегать ради твоего удовольствия, а теперь хватит. Почему бы тебе не пристрелить его, и дело с концом?

— Послушайте же, мистер Физи, прошу вас. Еще разок, и больше я вас никогда не стану просить.

— Ни разу! У меня сегодня столько собак, что мне с ними не справиться. Для всяких там крабов вроде этого места нет.

Мне показалось, Клод сейчас расплчется.

— Правду сказать, мистер Физи, — заговорил он, — в последние две недели я вставал каждое утро в шесть, выводил его на прогулку, делал массаж, кормил бифштексами, и поверьте мне, это совершенно другой пес, совсем не тот, который бежал в последний раз.

При словах «другой пес» мистер Физи вздрогнул, будто его укололи булавкой.

— Это еще что значит? — воскликнул он. — Другой пес!

Надо отдать Клоду должное, он не дрогнул.

— Послушайте, мистер Физи, — сказал он. — Не надо придирайтесь к моим словам. Вы и сами отлично знаете, что я не это имел в виду.

— Ну хорошо, хорошо. Но все равно уводи его. Какой смысл участвовать, если он бежит так медленно? Отведи его домой, будь любезен, и не задерживай других.

Я не сводил глаз с Клода. Клод неотрывно смотрел на мистера Физи. Мистер Физи между тем оглядывался в поисках очередной собаки. Он был в желтом свитере и в твидовом пиджаке. Желтая полоска на груди, тонкие ноги в гетрах, манера дергать головой из стороны в сторону — все это делало его похожим на веселую птичку, возможно на щегла.

Клод шагнул вперед. Ввиду явной несправедливости лицо его начало несколько багроветь, и я видел, как адамово яблоко так и ходит у него вверх-вниз, когда он сглатывает слюну.

— Вот что я решил, мистер Физи. Я настолько уверен, что этот пес теперь бежит лучше, что ставлю фунт — он не придет последним. Вот так.

Мистер Физи медленно повернулся и уставился на Клода.

— Ты что, рехнулся? — спросил он.

— Ставлю фунт, только чтобы доказать свою правоту.

Опасный ход, который мог вызвать подозрение, но Клод знал, что ничего другого не оставалось. Стояла тишина, пока мистер Физи, наклонившись, рассматривал собаку — медленно, во всех подробностях. Его скрупулезность невольно вызывала восхищение,

как и его память; и вместе с тем следовало остерегаться этого самоуверенного мошенника, державшего в голове форму, окрас и метки, наверное, нескольких сотен разных, но таких похожих друг на друга собак. Ему довольно было самой мелочи, чтобы отличить одну собаку от другой: небольшого шрама, чуть вывернутого внутрь пальца или скакательного сустава, едва заметной горбатости или подпалины — мистер Физи все помнил.

И вот он склонился над Джеки. У него было розовое мясистое лицо, небольшой, с плотно сжатыми губами рот, который, казалось, не может расплыться в улыбке, а глаза, точно две фотокамеры, были наведены на собаку.

— Что ж, — выпрямившись, произнес он. — Пес вроде тот же.

— Да, хотелось бы надеяться! — воскликнул Клод. — За кого вы меня принимаете, мистер Физи?

— За ненормального, вот за кого. Но отчего бы не заработать фунт, тем более так легко? Полагаю, ты забыл, как Янтарь в прошлый раз чуть не обошел его даже на трех лапах?

— Мой пес в тот раз был не готов, — ответил Клод. — Я недавно стал давать ему бифштексы, делать массаж и выводить на прогулки. Но, мистер Физи, вы же не запишете его в сильнейшую группу только затем, чтобы выиграть пари? Это слабый пес, мистер Физи. Сами знаете.

Маленький ротик мистера Физи округлился, сделавшись похожим на пуговицу. Оглядев толпу, он рассмеялся, и собравшиеся рассмеялись вместе с ним.

— Послушай-ка, — сказал он, кладя волосатую руку на плечо Клода. — Собак я знаю, а чтобы выиграть твой фунт, с этой возиться не собираюсь. Пусть бежит со слабыми.

— Все верно, — согласился Клод. — Договорились.

Он отошел вместе с Джеки, и я присоединился к ним.

— Ну, Гордон, слава богу, пронесло.

— Да и я был как на иголках.

— Теперь самое страшное позади, — сказал Клод.

На его лице снова появилось выражение запыхавшегося человека. Он пошел быстрой, подпрыгивающей походкой, точно земля была горячей.

В ворота продолжали въезжать люди, и на поле их теперь собралось человек триста, не меньше. Не очень-то симпатичный народ — мужчины с острыми носами, женщины с грязными лицами,

плохими зубами и быстро бегающими глазками. Отбросы большого города. Просочились как нечистоты через трещину в канализационной трубе, протекли струей по дороге и, оказавшись в верхней части поля, образовали вонючее озерцо. Все тут были — мошенники, цыгане, «жучки», отребье, подонки, негодяи, подлецы и мерзавцы из треснувших канализационных труб большого города. Некоторые были с собаками. Собак держали на обрывках веревок. Это были жалкие животные с опущенными головами, тощие паршивые собаки с язвами на ляжках, понурые старые собаки с серыми мордами, собаки, которым дали допинг или напичкали кашей, чтобы не пришли первыми. Некоторые передвигались на негнущихся лапах — особенно один пес, белый.

— Клод, а что это вон тот белый идет так, точно у него лапы не сгибаются?

— Который?

— Да вон тот.

— А, ну да, вижу. Скорее всего, потому что висел.

— Висел?

— Ну да, висел. Сутки висел в сбруе с болтающимися лапами.

— О господи, это еще зачем?

— Да чтоб бежал медленно. Мало того что собак потчуют допингом, перекармливают, туго натягивают намордник. Их еще и подвешивают.

— Понятно.

— А то еще и шкуркой чистят, — продолжал Клод. — Трут подушечки на лапах грубой наждачной бумагой, стирают кожу, и собаке больно бежать.

— Да-да, я понял.

А потом мы увидели собак получше, внешне бодрых, откормленных, с блестящей шерстью — из тех, что каждый день едят конину, а не помой для свиней или сухари с капустным отваром. Виляя хвостами, они рвались с поводков. Их не перекармливали, не давали допинг, хотя, возможно, и этих ожидала не очень-то хорошая судьба, когда ошейник затянут на четыре дырочки потуже. *Только смотри, Джок, чтобы он мог дышать. Совсем-то не души его, а то еще свалится в середине забега. Пусть себе сопит. Давай, затягивай по одной дырке зараз, пока не услышишь, как он засопел. Ты сам увидишь, как он откроет пасть и начнет тяжело дышать. Тогда*

хватит, только смотри, чтоб он глаза не пучил. За этим особо смотри, понял? — Понял.

— Пойдем-ка лучше отсюда, Гордон. Джеки только нервничает, когда видит всех этих собак, а это ему ни к чему.

Мы поднялись по склону к тому месту, где стояли машины, потом прошлись перед ними взад-вперед, ведя перед собой собаку. В некоторых машинах сидели люди с собаками и, когда мы проходили мимо, недовольно смотрели на нас сквозь стекла.

— Будь осторожен, Гордон. Только неприятностей нам сейчас не хватало.

— Ладно.

То были самые лучшие собаки, секретное оружие. Их быстро выводили из машины только для того, чтобы зарегистрировать среди участников (обычно под вымышленной кличкой), а потом так же быстро прятали обратно в машине и держали там до последней минуты. После забега их тотчас вели обратно в машину, чтобы какой-нибудь пронырливый негодяй не успел их хорошенько рассмотреть. Ведь что говорил тренер на большом стадионе? *Ладно, берите, но, ради бога, чтобы только никто его не узнал. Этого пса знают тысячи человек, поэтому будьте осторожнее. А обойдется это вам в пятьдесят фунтов.*

Эти собаки очень быстрые, но как бы они ни были быстры, им, наверное, все равно что-нибудь да впрыснут — так, на всякий случай. Полтора кубика эфира подкожно, в машине, очень медленно. Да любая собака потом обгонит на десять корпусов всех остальных. Бывает еще кофеин в масле или камфара. От этого они тоже быстрее бегут. Те, что ездят в больших машинах, знают об этом всё. А некоторые и про виски знают. Но это внутривенное. А ведь можно и не попасть в вену. Не попадешь в вену, и не выйдет ничего, и что тогда? Остается эфир, кофеин или камфара. *Да смотри не переборщи, Джок. Сколько он весит? — Пятьдесят восемь фунтов. — Хорошо, только не забывай, что нам сказал тот парень. Погоди-ка минуту. Я где-то записал на бумажке. Ага, вот она. Один кубик на десять фунтов веса даст выигрыш в пять корпусов на дистанции в триста ярдов. Постой-ка, дай сосчитаю. Да нет, лучше прикинуть. Ты сам прикинь, Джок. То, что надо, сам увидишь. Проблем нет, собак для забега я сам выбирал. Пришлось отдать старику Физи десятку. Цельх десять фунтов отдал ему. Это, говорю, вам, дорогой мистер Физи, на день рождения, в знак любви.*

Большое спасибо, говорит мистер Физи. Спасибо, мой добрый преданный друг.

А чтобы собака притормозила, эти парни, разъезжающие в больших машинах, дают ей хлорбутанол. Хлорбутанол — превосходная вещь, потому что его можно дать накануне, особенно чужой собаке. Или петидин. Смешай петидин со скополамином — жуткая смесь.

— Да-а, много тут собралось знатных господ, любителей спорта, — сказал Клод.

— И не говори.

— Следи-ка лучше за своими карманами, Гордон. Ты деньги-то далеко спрятал?

Мы прошлись позади припаркованных в ряд машин, между машинами и изгородью, — и Джеки напрягся, потянул за поводок и двинулся вперед, припав к земле. Ярдах в тридцати от нас стояли двое мужчин. Один из них держал на поводке большого желтовато-коричневого грейхаунда, который, как и Джеки, дрожал от напряжения, в руке у другого был мешок.

— Смотри, — шепотом произнес Клод, — сейчас ему достанется добыча.

Из мешка на траву вывалился маленький белый кролик — пушистый, молодой, ручной. Он выпрямился и сел, поджав лапы и уткнувшись носом в землю, как обычно сидят кролики. Вид у него был испуганный — так неожиданно выпасть из мешка на траву, да еще удариться. И такой яркий свет. Пес между тем был вне себя от возбуждения. Он рвался с поводка, скреб лапой землю, скулил и бросался вперед. Кролик увидел собаку. Он весь сжался и сидел совершенно неподвижно. Страх парализовал его. Мужчина взял пса за ошейник, и тот стал извиваться и прыгать, пытаясь освободиться. Другой мужчина подтолкнул кролика ногой, но тот был слишком перепуган, чтобы двигаться с места. Он еще раз пнул кролика, словно футбольный мяч. Кролик перевернулся несколько раз, выпрямился и поскакал по траве прочь. Другой мужчина спустил пса, и тот настиг кролика одним громадным прыжком, послышался визг, не очень громкий, но пронзительный, мучительный и довольно долгий.

— Ну вот и добыча, — произнес Клод.

— Не могу сказать, чтобы мне это очень понравилось.

— Я тебе уже говорил, Гордон. Большинство так делает. Собака таким образом разогревается перед забегом.

— Все равно мне это не нравится.

— Мне тоже. Но все это делают. Даже тренеры на больших стадионах. Я это называю настоящим варварством.

Мы отошли в сторону. Толпа на склоне холма росла и росла. Позади зрителей выстроился целый ряд стендов, на которых красным, золотым и голубым были написаны фамилии букмекеров. Все букмекеры стояли возле своих стендов на перевернутых ящиках с пачкой пронумерованных карт в одной руке, куском мела в другой, а за спиной у них расположились помощники с блокнотами и карандашами. Потом мы увидели мистера Физи, направлявшегося к школьной доске, прибитой гвоздем к врытому в землю столбу.

— Сейчас мы узнаем состав участников первого забега, — сказал Клод. — Пойдем быстрее!

Мы быстро спустились по склону холма и присоединились к толпе. Мистер Физи выводил на доске клички участников, сверяясь со своим блокнотом. Толпа в молчаливом ожидании следила за ним.

1. Салли
2. Три Фунта
3. Улитка
4. Черная Пантера
5. Виски
6. Ракета

— И Джеки там! — шепотом произнес Клод. — В первом забеге! Четвертая будка! Теперь слушай, Гордон. Дай-ка мне быстро пятерку. Я покажу ее мотальщику.

Клод так нервничал, что даже говорил с трудом. Вокруг носа и глаз кожа у него снова побелела, а когда я протянул ему банкноту в пять фунтов, он взял ее трясущейся рукой. Человек, который должен был крутить педали велосипеда, по-прежнему стоял в своем синем пиджаке на деревянной платформе и курил. Клод подошел к платформе и стал смотреть на него снизу вверх.

— Видишь пятерку? — тихо произнес он, свернув ее трубочкой и стиснув в ладони.

Мужчина посмотрел на нее, не поворачивая головы.

— Ты только крути по-честному. Без всяких там остановок и задержек. Заяц должен бежать быстро. Идет?

Мужчина не пошевелился, но чуть-чуть, почти незаметно поднял брови. Клод отвернулся от него.

— Теперь слушай, Гордон. Деньги доставай не сразу, понемногу, как я тебе говорил. Ставь по чуть-чуть, чтобы расклад не менялся, понял? А я поведу Джеки так медленно, как смогу, чтобы у тебя хватило времени. Все понял?

— Понял.

— И не забудь занять место на финише в конце забега и сразу хватать пса. Уводи подальше от других собак, когда они начнут драться за зайца. Крепко держи и не отпускай, пока я не подбегу с ошейником и поводком. Запомни, Виски под пятым номером — цыганская собака. Любому ногу откусит, кто на ее пути попадется.

— Все понял, — сказал я. — Пошли.

Клод повел Джеки к финишному столбу, взял желтую жилетку, на которой крупно была выведена цифра 4, а также намордник. Остальные пять собак тоже были там; их хозяева хлопотали около них и надевали им намордники. Мистер Физи в своих узких бриджах деловито суетился поблизости, напоминая суматошную бойкую птичку. Я видел, как он что-то сказал Клоду и рассмеялся. Клод не обращал на него внимания. Скоро всем предстояло повести собак вниз по холму к дальнему краю поля, к стартовым будкам. Идти нужно было минут десять. «Значит, у меня есть не меньше десяти минут», — сказал я про себя и стал проталкиваться сквозь толпу, которая стояла в шесть-семь рядов перед линией букмекеров.

— Виски — пятьдесят на пятьдесят! Пять к двум на Салли! Виски — пятьдесят на пятьдесят! Четыре к одному на Улитку! Делайте ваши ставки! Живее! Кто следующий?

На всех досках Черная Пантера шла из соотношения двадцать пять к одному. Я протиснулся к ближайшему стенду.

— Три фунта на Черную Пантеру, — сказал я, протягивая деньги.

У человека, стоявшего на ящике, было пылающее лицо, а к губам прилипли остатки чего-то белого. Он выхватил у меня деньги и бросил их в свою сумку.

— Семьдесят пять фунтов к трем на Черную Пантеру, — сказал он. — Номер сорок два.

Он протянул мне билет, и его помощник записал ставку.

Я отошел в сторону и быстро записал на обратной стороне билета «75 к 3», после чего положил его во внутренний карман пиджака, где лежали деньги.

Я и дальше собрался распределять деньги небольшими порциями. Следуя указаниям Клода, я и раньше ставил по несколько фунтов на дубля Джеки перед каждым забегом, чтобы не вызвать подозрения, когда наступит решающий день. Поэтому я довольно уверенно обошел все стенды, ставя каждый раз по три фунта. Я не спешил, но и времени не тратил попусту и, сделав ставку, каждый раз записывал сумму на обратной стороне билета, прежде чем опустить его в карман. Всего было семнадцать букмекеров. У меня было семнадцать билетов, всего я поставил пятьдесят один фунт, не сбив соотношение ставки. Оставалось поставить еще сорок девять фунтов. Я быстро посмотрел в сторону поля. Один человек уже привел свою собаку к стартовым будкам. Остальные были ярдах в тридцати—сорока. Кроме Клода. Клод и Джеки еще и половины пути не прошли. Я видел, как Клод медленно бредет в своем старом пальто цвета хаки, не спуская глаз с Джеки, который тянул поводок. Один раз он остановился и наклонился, сделав вид, будто поднял что-то. Продолжив путь, он притворился, будто хромает, — все для того, чтобы идти медленнее. Я поспешил к первому букмекеру, чтобы начать все сначала.

— Три фунта на Черную Пантеру.

Букмекер, тот самый, с пылающим лицом и чем-то белым вокруг рта, внимательно посмотрел на меня, вспомнил, что уже имел со мной дело, и одним быстрым, пожалуй, даже изящным движением руки смочил пальцы слюной и аккуратно стер с доски число 25. Его мокрые пальцы оставили маленькое темное пятнышко против клички «Черная Пантера».

— Хорошо, еще раз семьдесят пять к трем, — сказал он. — Но это в последний раз.

И, возвысив голос, он прокричал:

— Пятнадцать к одному на Черную Пантеру! Пятнадцать на Пантеру!

На всех досках букмекеры тотчас бросились стирать число 25 и написали «15 к 1 на Пантеру». Я заторопился, и когда обошел всех букмекеров, они перестали делать ставку на Черную Пантеру. Каждому из них досталось лишь по шесть фунтов, потерять же они могли сто пятьдесят, а для них, мелких букмекеров на собачьих бегах в небольшой деревне, для одного забега это было слишком — «спасибо, но с нас хватит». Я был доволен, что управился с заданием. Теперь у меня куча билетов. Я достал их из кармана, пересчитал их и сложил вместе — получилась тонкая колода карт.

Всего тридцать три билета. И сколько мы можем выиграть? Дайте-ка подумать... пожалуй, больше двух тысяч фунтов. Клод сказал, что Джеки выиграет тридцать корпусов. Где-то сейчас Клод?

Я увидел пальто цвета хаки возле стартовых будок и большую черную собаку рядом. Все остальные собаки были уже в будках, и их хозяева отходили в сторону. Клод наклонился к Джеки, уговаривая пса забраться в будку 4, потом закрыл за ним дверцу, отвернулся и побежал к толпе. Полы его пальто развевались. На бегу он несколько раз обернулся.

Возле будок стоял стартер. Подняв руку, он махал носовым платком. На другом конце дорожки, за столбом, обозначающим финиш, совсем близко от того места, где находился я, человек в синем пиджаке оседлал перевернутый вверх колесами велосипед, установленный на деревянной платформе. Увидев сигнал, он помахал в ответ и принялся крутить педали обеими руками. Крошечное белое пятнышко — таким на расстоянии виделся искусственный заяц, тогда как на самом деле это был футбольный мяч с пришитым к нему куском белой кроличьей шкуры. Мяч покатился в сторону от будок со все возрастающей скоростью. Будки открылись, и из них вылетели собаки. Они вылетели единой сворой, все разом, и показалось, будто то была одна широкая собака, а не шесть, и почти тотчас Джеки вырвался вперед. Я узнал его по окрасу — других черных собак в забеге не было. Джеки, точно он. Не двигайся, сказал я про себя. Ни мускулом не шевели, ни пальцем на руке или на ноге и не моргай. Стой спокойно, не шевелись и смотри, как он бежит. Ну, давай же, Джексон! Нет, кричать не надо. Криком делу не поможешь. И не двигайся. Через двадцать секунд все кончится. Сейчас будет крутой поворот, вверх по склону. Точно обойдет корпусов на пятнадцать—двадцать. Скорее на двадцать. Не считай корпуса, это плохая примета. И не двигайся. Не крути головой. Смотри краешком глаза. Ты только полюбуйся на Джеки! Вот дает! Он выиграл! Нет, теперь уж не проиграет...

Когда я подбежал к нему, он прижимал лапой кусок кроличьей шкуры, пытаясь ухватить тот пастью, но мешал намордник. Тут подоспели и другие собаки, устроив вокруг «кролика» свалку, тогда я схватил Джеки за ошейник и оттащил в сторону, как говорил Клод, и присел на траву, обхватив пса обеими руками. Хозяева других собак также принялись не без труда разбирать своих питомцев.

С трудом переводя дух, подбежал Клод. Он даже говорить не мог от волнения, лишь отдувался, стягивая с Джеки намордник и надевая ошейник и поводок. Мистер Физи тоже был здесь. Он стоял подбоченившись и поджав свой круглый ротик, сделавшийся похожим на шляпку гриба. Два глаза-камеры снова принялись пристально изучать Джеки с головы до пят.

— Значит, разыграть меня решил, так? — сказал он.

Клод наклонился над собакой и вел себя так, будто ничего не слышал.

— Чтобы после этого я тебя здесь не видел, понял?

Клод продолжал возиться с ошейником Джеки.

Я услышал, как кто-то позади нас проговорил:

— Этот плосколицый мерзавец на этот раз обвел старика Физи вокруг пальца.

Кто-то рассмеялся. Мистер Физи ушел. Клод выпрямился и направился вместе с Джеки к мотальщику в синем пиджаке, который сошел с платформы.

— Сигарету, — сказал Клод, протягивая пачку.

Тот взял сигарету, а вместе с ней и свернутую пятифунтовую банкноту, которую Клод держал между пальцами.

— Спасибо, — сказал Клод. — Большое спасибо.

— Не за что, — ответил мотальщик.

Затем Клод повернулся в мою сторону:

— Все деньги поставил, Гордон?

Он подпрыгивал на одном месте, потирая руки и похлопывая Джеки, а губы его, когда он задал мне свой вопрос, дрожали.

— Да. Половину на двадцать пять, половину на пятнадцать.

— О господи, Гордон, это чудесно. Погоди здесь, пока я схожу за чемоданом.

— Возьми с собой Джеки, — сказал я, — и сиди в машине. Увидимся позже.

Около букмекеров на этот раз никого не было. Я был единственным человеком, который пришел получить какие-то деньги. Я шел танцующей походкой, меня всего прямо распирало от восторга. Сначала я подошел к первому букмекеру, человеку с пылающим лицом и остатками чего-то белого на губах. Остановившись перед ним, я принялся неторопливо искать в пачке два его билета. Его звали Сид Пратчетт. На доске крупными золотыми буквами

на розовом фоне было написано: «Сид Пратчетт. Лучшие шансы в Мидлендс¹. Быстрое разрешение спорных вопросов».

Я протянул ему первый билет со словами:

— С вас семьдесят пять фунтов.

Это прозвучало настолько приятно, что я произнес то же самое еще раз, будто то была строка из песни.

— С вас семьдесят пять фунтов.

Я и не думал потешаться над мистером Пратчеттом. Он мне начинал нравиться, и даже очень. Мне было жаль, что ему придется расстаться с такими большими деньгами. Но я надеялся, что его жена и дети от этого не пострадают.

— Номер сорок два, — сказал мистер Пратчетт, поворачиваясь к своему помощнику, который держал в руках толстый блокнот. — Сорок второй хочет семьдесят пять фунтов.

Пока помощник водил пальцем по столбикам ставок, мы молчали. Он дважды провел пальцем по столбикам, потом посмотрел на своего босса и покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Выплаты не будет. Этот номер поставлен на Улитку.

Не слезая с ящика, мистер Пратчетт наклонился и заглянул в блокнот. Казалось, слова помощника насторожили его, огромное пылающее лицо стало озабоченным.

«Ну и дурак же этот помощник, — подумал я. — Да сейчас, наверное, и мистер Пратчетт скажет то же самое».

Но когда мистер Пратчетт повернулся ко мне, в его сузившихся глазах появилась враждебность.

— Послушай-ка, Гордон², — тихо произнес он. — Давай не будем. Ты ведь отлично знаешь, что ставил на Улитку. Так в чем же дело?

— Я ставил на Черную Пантеру, — сказал я. — Две ставки по три фунта каждая, двадцать пять к трем. Вот второй билет.

На этот раз он даже не удосужился заглянуть в записи.

— Ты ставил на Улитку, Гордон, — сказал он. — Я помню, как ты подходил.

И с этими словами он отвернулся от меня и стал стирать мокрой тряпкой клички остальных собак, принимавших участие в за-

¹ Центральные графства Англии

² В английском фольклоре прозвище лисы

беге. Помощник закрыл блокнот и закурил. Я стоял, смотрел на них и чувствовал, как весь покрываюсь потом.

— Дайте-ка мне посмотреть ваши записи.

Мистер Пратчетт высморкался в мокрую тряпку и бросил ее на землю.

— Слушай, — сказал он, — может, ты прекратишь раздражать меня? Проваливай.

Дело было вот в чем: на билете букмекера, в отличие от билета на тотализаторе, ваша ставка никак не расписана. Это общепринятая практика, распространенная на всех площадках для собачьих бегах в Англии, будь то ньюмаркетский «Силвер-ринг», аскотский «Ройал-инкложьюэ» или безымянная площадка в деревушке близ Оксфорда. Вам дают карточку, на которой написаны лишь фамилия букмекера и серийный номер. Сумма ставки заносится (или должна заноситься) помощником букмекера в специальную книгу вместе с номером билета, но, кроме этого, нет никаких следов того, на что вы поставили и сколько.

— Давай пошевеливайся, — еще раз сказал мистер Пратчетт. — Убирайся отсюда.

Я отступил на шаг и бросил взгляд вдоль ряда стендов. Ни один из букмекеров не смотрел в мою сторону. Каждый из них неподвижно стоял на деревянном ящике под доской со своей фамилией и смотрел прямо в толпу. Я подошел к следующему букмекеру и предъявил билет.

— Я поставил три фунта на Черную Пантеру при двадцати пяти к трем, — твердо произнес я. — С вас семьдесят пять фунтов.

Этот, с рыхлым воспаленным лицом, проделал в точности все то же самое, что и мистер Пратчетт, — задал пару вопросов помощнику, заглянул в блокнот и ответил так же.

— Что это с тобой? — тихо произнес он, обращаясь ко мне, словно я был восьмилетним мальчишкой. — Так глупо пытаешься меня провести.

На этот раз я отступил подальше.

— Вы, грязные воры! Мерзавцы! — закричал я. — Это к вам всем относится!

Все букмекеры автоматически, как игрушечные, повернули головы в мою сторону и посмотрели на меня. Выражения их лиц не изменились. Повернулись только головы, все семнадцать, и се-

мнадцать пар холодных стеклянных глаз посмотрели на меня сверху вниз. Ни малейшего интереса я ни у кого не увидел.

«Кто-то что-то сказал, — казалось, говорили они. — Мы ничего не слышали. Отличный сегодня денек!»

Предвкушая скандал, вокруг меня начала собираться толпа. Я побежал обратно к мистеру Пратчетту и, приблизившись к нему, ткнул его пальцем в живот.

— Ты вор! Паршивый мелкий воришка! — закричал я.

Самое удивительное, что мистера Пратчетта, похоже, это не возмутило.

— Ну ты даешь, — сказал он. — Кто бы говорил.

Неожиданно его лицо расплылось в широкой лягушачьей ухмылке. Он оглядел толпу и громко произнес:

— Ну и ну, кто бы говорил!

И тут все рассмеялись. Букмекеры ожили, стали со смехом поворачиваться друг к другу, показывать на меня и кричать:

— Кто бы говорил! Ну и ну, кто бы говорил!

В толпе слова подхватили. А я все стоял возле мистера Пратчетта, с пачкой билетов толщиной с колоду карт, слушал крики и чувствовал себя не очень-то хорошо. За спинами столпившихся вокруг меня людей мистер Физи уже выводил на доске мелом состав участников следующего забега. А еще дальше, на краю поля, меня ждал Клод с чемоданом в руке.

Пора было возвращаться домой.

ПОЦЕЛУЙ



ХОЗЯЙКА ПАНСИОНА

Билли Уивер приехал из Лондона медленным дневным поездом, сделав пересадку в Суиндоне, и к тому времени, когда добрался до Бата¹, было часов девять вечера. Над домами, против дверей вокзала, в чистом звездном небе всходила луна. Но воздух был страшно холодный, и ледяной ветер обжигал щеки.

— Простите, — спросил он у носильщика, — нет ли здесь неподалеку недорогой гостиницы?

— Загляните в «Колокол и дракон», — ответил тот. — Может, и найдется местечко. Это с четверть мили отсюда по другой стороне улицы.

Билли поблагодарил его, подхватил свой чемодан и отправился пешком к «Колоколу и дракону». Раньше он никогда не бывал в Бате. Знакомых у него здесь не было. Однако мистер Гринслейд из управления в Лондоне говорил ему, что это прекрасный город. «Как устроишься, — сказал он, — сразу дай о себе знать заведующему филиалом».

Билли исполнилось семнадцать лет. В новом темно-синем пальто, новой коричневой фетровой шляпе, новом коричневом костюме, он чувствовал себя отлично и быстро шагал по улице. В последнее время он все старался делать быстро, считая, что быстрота — единственное, что отличает удачливых деловых людей. Вот начальники из управления фантастически быстры. Удивительные люди.

По обеим сторонам широкой улицы тянулись одинаковые высокие дома. Перед каждым — крыльцо с опорами и четыре-пять ступенек к парадной двери. Когда-то это были шикарные жилища, но теперь даже в темноте он видел, что краска на дверных и оконных переплетах облупилась, а красивые белые фасады потрескались и покрылись пятнами.

¹ Суиндон, Бат — города на юго-западе Англии.

Неожиданно в окне нижнего этажа, ярко освещенном уличным фонарем, ярдах в шести, Билли увидел написанное печатными буквами объявление, приклеенное к стеклу: «Ночлег и завтрак». Прямо под объявлением стояла ваза с красивыми ивовыми ветками.

Он остановился и подошел поближе. В окне виднелись зеленые портьеры (из материала, похожего на бархат). Ивовые ветки замечательно смотрелись рядом с ними. Билли приблизился к стеклу, заглянул в комнату, и первое, что увидел, — яркий огонь, плававший в камине. На ковре перед камином, свернувшись калачиком и уткнувшись носом в живот, спала такса. Комната, насколько он мог разглядеть в полутьме, была уставлена красивой мебелью: кабинетный рояль, большой диван и несколько мягких кресел, а в углу клетка с попугаем. Животные обыкновенно добрая примета, отметил про себя Билли, и, в общем, неплохо бы остановиться в таком приличном заведении. Наверняка здесь лучше, чем в «Колоколе и драконе».

С другой стороны, гостиница ему больше по душе, чем пансион. Вечером там можно выпить пива, сыграть в дартс и поболтать найдется с кем, да к тому же, наверное, и дешевле. Он уже раза два останавливался в гостинице, и ему там понравилось. А вот в пансионах он не жил, и, если уж быть до конца честным, он их сторонился. Само это слово вызывало представление о водянистой капусте, прижимистых хозяйках и сильном запахе селедки в гостиной.

Постояв в нерешительности на холоде минуты две-три, Билли решил все-таки заглянуть в «Колокол и дракон», прежде чем делать какой-либо выбор. И тут случилось нечто странное.

Не успел он отвернуться от окна, как что-то заставило его задержаться. Внимание привлекла сама вывеска «Ночлег и завтрак». «Ночлег и завтрак», «Ночлег и завтрак», «Ночлег и завтрак»... Каждое слово, точно черный глаз, глядело на него сквозь стекло, принуждая уступить, заставляя остаться, и он и вправду двинулся от окна к парадной двери, поднялся по ступенькам и потянулся к звонку.

Он нажал на кнопку и услышал, как звонок прозвенел в какой-то дальней комнате, но тотчас же — в ту же самую минуту, он не успел даже оторвать палец от звонка — дверь распахнулась, а за нею стояла женщина... Точно фигурка, выскочившая из ящика. Он нажал на звонок — и вот она! Билли даже вздрогнул.

Ей было лет сорок пять — пятьдесят, и, едва увидев его, она тепло и приветливо ему улыбнулась.

— Прошу вас, заходите, — ласково произнесла женщина.

Она отступила, широко раскрыв дверь, и Билли поймал себя на том, что машинально заходит в пансион. Побуждение или, точнее сказать, желание последовать за женщиной было необычайно сильным.

— Я увидел объявление в окне, — сказал он, замешкавшись.

— Да, я знаю.

— Я насчет комнаты.

— Она уже ждет вас, мой дорогой...

У нее было круглое розовое лицо и очень добрые голубые глаза.

— Я шел в «Колокол и дракон», — сообщил ей Билли. — Но увидел объявление в вашем окне.

— Мой дорогой мальчик, — сказала женщина, — ну почему же вы не заходите, ведь на улице холодно.

— Сколько вы берете?

— Пять шиллингов шесть пенсов за ночь, включая завтрак.

Это было фантастически дешево. Меньше половины того, что он готов был платить.

— Если для вас это слишком дорого, — прибавила она, — я, пожалуй, могла бы и убавить самую малость. Яйцо желаете на завтрак? Яйца нынче дорогие. Без яйца будет на шесть пенсов меньше.

— Пять шиллингов шесть пенсов меня устроит, — ответил Билли. — Мне бы очень хотелось остановиться здесь.

— Я так и знала. Да заходите же.

Она казалась ужасно любезной. Точно мать лучшего школьного товарища, приглашающая погостить в своем доме в рождественские каникулы. Билли снял шляпу и переступил через порог.

— Повесьте ее вон там, — сказала хозяйка, — и давайте мне ваше пальто.

Других шляп или пальто в прихожей не было. И зонтиков не было, и тростей — ничего не было.

Он последовал за ней вверх по лестнице.

— В нашем распоряжении весь дом, — проговорила она, улыбаясь ему через плечо. — Видите ли, не часто я имею удовольствие принимать гостя в моем гнездышке.

Чокнутая, видно, отметил про себя Билли. Но какое это имеет значение, если она просит за ночлег всего пять шиллингов шесть пенсов?

— А я уж думал, у вас отбоя нет от постояльцев, — вежливо сказал он.

— О да, мой дорогой, разумеется, но вся беда в том, что я разборчива и требовательна, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Да-да.

— У меня все готово. В этом доме днем и ночью всегда все готово на тот случай, если объявится подходящий молодой человек. А ведь это такое удовольствие, мой дорогой, такое громадное удовольствие, когда открываешь дверь и видишь, что перед тобой тот, кто как раз и нужен.

Хозяйка остановилась посреди лестницы, держась рукой за перила, и, повернув голову, посмотрела на него сверху вниз, улыбнувшись бледными губами.

— Вот вроде вас, — прибавила она.

Ее голубые глаза медленно скользнули сверху вниз по всей фигуре Билли.

— Этот этаж мой, — сказала она на площадке второго этажа.

Они поднялись еще выше.

— А этот весь ваш... Вот ваша комната. Я так надеюсь, что она вам понравится.

Хозяйка провела Билли в уютную спальню и включила свет.

— Солнце по утрам светит прямо в окно, мистер Перкинс. Вас ведь Перкинсом зовут?

— Нет, — ответил он. — Моя фамилия Уивер.

— Мистер Уивер. Как мило. Под простыню я положила грелку, чтобы было теплее, мистер Уивер. Так приятно, когда в чужой постели с чистыми простынями есть горячая грелка, вы согласны? И можете в любую минуту включить обогреватель, если только почувствуете, что вам холодно.

— Благодарю вас, — сказал Билли. — Большое вам спасибо.

Он обратил внимание на то, что покрывало снято с кровати, а уголок одеяла откинут — все готово для того, чтобы забраться в постель.

— Я так рада, что вы появились, — сказала хозяйка, глядя ему в лицо. — Я уже начала было волноваться.

— Все в порядке, — весело ответил Билли. — Насчет меня можете не беспокоиться.

Он поставил свой чемодан на стул и стал открывать его.

— А как же ужин, мой дорогой? Вы поели, прежде чем прийти сюда?

— Я ничуть не голоден, спасибо, — сказал Билли. — Думаю, мне нужно побыстрее лечь спать, потому что завтра я должен встать довольно рано, чтобы объявиться в конторе.

— Что же, очень хорошо. Не буду мешать вам распаковываться. Однако, прежде чем лечь в постель, не могли бы вы заглянуть в гостиную на первом этаже и расписаться в книге? Таков местный закон, а мы ведь не станем нарушать законы на этой стадии наших отношений, не правда ли?

Она махнула ему ручкой и быстро удалилась из комнаты, закрыв за собой дверь.

То, что хозяйка пансиона, похоже, была с приветом, ничуть не тревожило Билли. Совершенно очевидно — это добрая и благородная душа. Он подумал, что она, наверное, потеряла сына в войну и так и не смогла пережить горе.

Через несколько минут, распаковав чемодан и вымыв руки, он спустился на первый этаж. Хозяйки в гостиной не было, в камине горел огонь, около него спала маленькая такса. В комнате было удивительно тепло и уютно. Ну и повезло же мне, подумал Билли, потирая руки. Просто удача.

Книга для записи гостей лежала в раскрытом виде на рояле, и он достал ручку и записал в нее свое имя и адрес. На этой же странице поместились еще две записи, и Билли машинально их прочел. Одним гостем был некий Кристофер Малхолланд из Кардиффа, другой — Грегори У. Темпл из Бристолья.

Забавно, подумал Билли. Кристофер Малхолланд — знакомое имя.

Где он раньше его слышал? Может, он с этим парнем вместе в школе учился? Нет... Может, это кто-то из бесчисленных поклонников его сестры или знакомый отца? Нет, нет, все не то... Он снова заглянул в книгу.

Кристофер Малхолланд. 231, Катедрал-роуд, Кардифф.

Грегори У. Темпл. 27, Сикамор-драйв. Бристоль.

И второе имя показалось ему почти таким же знакомым, как и первое.

— Грегори Темпл, — громко произнес Билли, напрягая память. — Кристофер Малхолланд...

— Такие милые мальчики, — прозвучал голос у него за спиной, и, обернувшись, он увидел хозяйку, врывающуюся в комнату с большим серебряным чайным подносом в руках. Она держала его да-

леко перед собой и довольно высоко, будто поводья, с помощью которых она управляла резвой лошастью.

— Почему-то эти имена показались мне знакомыми, — сказал Билли.

— В самом деле? Как интересно.

— Я почти уверен, что где-то раньше слышал их. Странно, правда? Может, видел в газете? Они, случайно, ничем не знамениты? То есть, я хочу сказать, может, это известные игроки в крикет, или футболисты, или еще кто-то в таком роде?

— Знамениты? — сказала хозяйка, ставя чайный поднос на низкий столик возле дивана. — О нет, не думаю, что они знамениты. Но они были необычайно красивы, притом оба, можете мне поверить. Они были высокие, молодые и красивые, мой дорогой, в точности как вы.

Билли снова заглянул в книгу.

— Послушайте, — сказал он, обратив внимание на числа. — Да ведь эта запись сделана больше двух лет назад.

— Неужели?

— Ну да, правда. А Кристофер Малхолланд записался еще за год раньше — то есть больше трех лет назад.

— Боже праведный, — сказала хозяйка, покачав головой и изящно вздохнув. — Никогда бы не подумала. Как быстро летит время, правда ведь, мистер Уилкинс?

— Меня зовут Уивер, — сказал Билли. — У-и-в-е-р.

— Ах, ну конечно же! — воскликнула она, усаживаясь на диван. — Как это глупо с моей стороны. Прошу простить меня. В одно ухо влетает, из другого вылетает, вот я какая, мистер Уивер.

— Знаете что? — сказал Билли. — Знаете, что во всем этом особенно удивительно?

— Нет, дорогой, не знаю.

— Видите ли, оба эти имени — Малхолланд и Темпл — я, кажется, не только помню каждое в отдельности, так сказать, но почему-то, неким странным образом они, по-моему, как-то связаны между собой. Будто они знамениты в чем-то одном, вы меня понимаете — как... ну... как Демпси и Танни¹, например, или Черчилль и Рузвельт.

¹ Чемпионы мира по боксу в тяжелом весе: Джек Демпси (с 1919 по 1926 г.) и Джин Танни (с 1926 по 1928 г.).

— Как забавно, — сказала хозяйка. — Но идите же сюда, дорогой, и присядьте рядышком со мной на диван. Я налью вам чашечку чаю и угощу имбирным пирожным, прежде чем вы отправитесь спать.

— Право, не стоит беспокоиться, — сказал Билли. — Мне бы не хотелось, чтобы вы все это затевали.

Он стоял возле рояля, глядя, как она возится с чашками и блюдами, и заметил, что у нее маленькие белые проворные руки и красные ногти.

— Я почти уверен, что встречал эти имена в газетах, — повторил Билли. — Сейчас вспомню, точно вспомню.

Нет ничего более мучительного, чем пытаться извлечь из памяти нечто такое, что, кажется, уже вспомнилось. Сдаваться он не собирался.

— Погодите минуту, — сказал он. — Одну только минутку. Малхолланд... Кристофер Малхолланд... не так ли звали школьника из Итона, который отправился в туристский поход по юго-западным графствам, как вдруг...

— Молока? — спросила хозяйка. — Сахару?

— Да, пожалуйста. Как вдруг...

— Школьник из Итона? — переспросила она. — О нет, мой дорогой, этого никак не может быть, потому что мой мистер Малхолланд точно не был школьником из Итона. Он был студентом последнего курса из Кембриджа. Идите же сюда, присядьте рядышком и погрейтесь возле этого чудесного огня. Да идите же. Ваш чай готов.

Она похлопала по дивану рядом с собой и, улыбаясь, ждала, когда Билли подойдет к ней.

Он медленно пересек комнату и присел на краешек дивана. Хозяйка поставила перед ним чашку на столик.

— Ну вот, — сказала она. — Теперь нам хорошо и удобно, не правда ли?

Билли прихлебывал чай. Она тоже. С полминуты оба молчали. Она сидела полуобернувшись к нему, и он чувствовал, что она смотрит ему в лицо поверх своей чашки. Время от времени он ощущал какой-то странный запах, исходивший от нее. Запах не был неприятным, а напоминал ему... Хм, трудно сказать, что он ему напоминал. Может, так пахнут соленые каштаны? Или новая кожа? Или это запах больничных коридоров?

— Вот уж кто любил чай, так это мистер Малхолланд, — произнесла наконец хозяйка. — Никогда в жизни не видела, чтобы кто-нибудь пил столько чаю, сколько дорогой, бесценный мистер Малхолланд.

— Он, должно быть, уехал совсем недавно, — сказал Билли.

— Уехал? — переспросила она, подняв брови. — Но, мой дорогой мальчик, он никуда и не уезжал. Он еще здесь. И мистер Темпл здесь. Они оба здесь, на третьем этаже.

Билли осторожно поставил чашку на столик и уставился на хозяйку. Она улыбнулась ему в ответ, а потом протянула свою белую руку и, как бы утешая его, похлопала по коленке.

— Сколько вам лет, мой дорогой? — спросила она.

— Семнадцать.

— Семнадцать! — воскликнула она. — Это же самый лучший возраст! Мистеру Малхолланду тоже было семнадцать. Но он, думаю, был чуточку ниже вас ростом, я даже уверена, и зубы у него были не такие белые. У вас просто прекрасные зубы, мистер Уивер, вы знаете?

— Они не такие хорошие, какими кажутся, — сказал Билли. — В коренных куча пломб.

— Мистер Темпл, конечно же, был постарше, — продолжала хозяйка, пропустив мимо ушей его замечание. — По правде, ему было двадцать восемь. Но я бы ни за что не догадалась, если бы он сам мне не сказал, в жизни бы не догадалась. На теле у него не было ни пятнышка.

— Чего не было? — переспросил Билли.

— У него была кожа как у ребенка.

Наступила пауза. Билли взял чашку и отхлебнул еще чаю, после чего так же осторожно поставил ее на блюдце. Он ждал, не скажет ли она еще чего-нибудь, но она молчала. Он сидел, глядя прямо перед собой в дальний угол комнаты, и покусывал нижнюю губу.

— Этот попугай, — произнес он наконец. — Знаете? Как я не догадался, когда заглянул в комнату с улицы в окно? Я готов был поклясться, что он живой.

— Увы, уже нет.

— Здорово сделано, — сказал Билли. — Он совсем не похож на мертвую птицу. Чья это работа?

— Моя.

— Ваша?

— Конечно, — сказала она. — А с Бэзилем вы тоже уже познакомились?

Она кивнула в сторону таксы, уютно свернувшейся в клубок перед камином. Билли посмотрел на собаку и вдруг понял, что собака так же неподвижна, как попугай. Он протянул руку и коснулся ее спины. Спина была жесткая и холодная, а когда он раздвинул пальцами шерсть, то увидел кожу под ней — серовато-черную, сухую и отлично сохранившуюся.

— Боже мой, — сказал он, — просто фантастика.

Он отвернулся от собаки и в глубоком восхищении уставился на маленькую женщину, сидевшую рядом с ним на диване.

— Ужасно трудно, наверное, делать такие вещи?

— Ничуть, — ответила она. — Я из всех своих любимцев делаю чучела после того, как они умирают. Еще чашечку?

— Нет, спасибо, — сказал Билли.

Чай слабо отдавал горьким миндалем, и привкус был ему неприятен.

— Вы ведь расписались в книге?

— О да.

— Это хорошо. Потому что потом, если случится так, что я забуду, как вас звали, я всегда смогу спуститься и посмотреть. Я почти каждый день вспоминаю мистера Малхолланда и мистера... мистера...

— Темпла, — сказал Билли. — Грегори Темпла. Простите, что я спрашиваю об этом, но у вас разве не было других гостей в последние два-три года?

Высоко подняв чашку в руке и слегка склонив голову набок, хозяйка взглянула на него краешком глаза и снова ласково улыбнулась.

— Нет, мой дорогой, — ответила она. — Кроме вас, никого.

УИЛЬЯМ И МЭРИ

Уильям Перл не оставил после своей смерти много денег, и завещание его было простым. За исключением нескольких посмертных даров родственникам, всю свою собственность он завещал жене.

Стряпчий и миссис Перл вместе ознакомились с завещанием в адвокатской конторе, и, когда дело было сделано, вдова поднялась, чтобы уйти. В этот момент стряпчий вынул из папки на столе запечатанный конверт и протянул его своей клиентке.

— Мне поручено вручить вам это письмо, — сказал он. — Ваш муж прислал нам его незадолго до своей кончины.

Стряпчий был бледен и держался официально, но из уважения к вдове склонил голову набок и опустил глаза.

— Кажется, тут нечто важное, миссис Перл. Не сомневаюсь, вам лучше взять письмо домой и прочитать в одиночестве.

Миссис Перл взяла конверт и вышла на улицу. Остановившись на тротуаре, она ощупала конверт пальцами. Прощальное письмо Уильяма? Наверное, да. Формальное. Оно и должно быть формальным и сухим. Что еще от него ожидать? Ничего неформального он в своей жизни не делал.

«Моя дорогая Мэри, надеюсь, ты не допустишь, чтобы мой уход из жизни слишком уж огорчил тебя, и ты и впредь будешь следовать правилам, столь хорошо руководившим тобой во время нашего супружества. Будь во всем усердна и веди себя достойно. Береги деньги. Тщательно следи за тем, чтобы не...» И так далее и тому подобное.

Типичное письмо Уильяма.

А может, он в последний момент не сдержался и написал ей что-то красивое? Вдруг это красивое, нежное послание, что-то вроде любовного письма, милой, теплой записки с благодарностью за то, что она отдала ему тридцать лет жизни, за то, что выгладила миллион рубашек, приготовила миллион блюд, миллион раз расстели-

ла постель? Может, он написал нечто такое, что она будет перечитывать снова и снова, по крайней мере раз в день, и будет хранить вечно в шкатулке на туалетном столике вместе со своими брошками.

Не знаешь, что и ждать от человека, собирающегося умирать, подумала про себя миссис Перл и, засунув письмо под мышку, поспешила домой.

Войдя в дом, она тотчас же направилась в гостиную и опустилась на диван, не снимая шляпу и пальто. Затем раскрыла конверт и извлекла его содержимое. В конверте оказалось пятнадцать-двадцать страниц белой линованной бумаги, сложенных вдвое и скрепленных вместе скрепкой в левом верхнем углу. Каждая страница была исписана мелким аккуратным почерком с наклоном вперед, так хорошо ей знакомым, но, когда она увидела, сколько написано и в какой аккуратной деловой манере — а на первой странице даже нет учтвого обращения, каким начинается всякое письмо, — она заподозрила неладное.

Она отвернулась и закурила. Затянувшись, положила сигарету в пепельницу.

Если письмо о том, о чем я догадываюсь, сказала она про себя, то я не хочу его читать.

Но разве можно не прочесть письмо от покойного?

Можно.

Как сказать...

Миссис Перл бросила взгляд на пустое кресло Уильяма, стоявшее по другую сторону камина. Большое кресло, обитое коричневой кожей; за долгие годы ягодицы мужа проделали в нем вмятину. Выше, на подголовнике, — темное овальное пятно. Он обычно читал в этом кресле, а она сидела напротив на диване, пришивая пуговицы, штопая носки или ставя заплаты на локти пиджака, и его глаза то и дело отрывались от книги и устремлялись на нее, притом взгляд был внимательный, но какой-то до странности безучастный, точно что-то подсчитывающий. Ей никогда не нравились эти глаза. Они были голубовато-ледяными, холодными, маленькими и довольно близко посаженными; их разделяли две глубокие вертикальные морщины неодобрения. Всю жизнь эти глаза следили за ней. И даже теперь, после недели одиночества, проведенной в доме, у нее иногда возникало тревожное чувство, будто

они по-прежнему тут и глядят на нее из дверных проемов, пустых кресел, в окна по ночам.

Она медленно раскрыла сумочку и достала очки. Потом, держа страницы высоко перед собой, чтобы на них падал вечерний свет из окна у нее за спиной, начала читать:

«Это послание, моя дорогая Мэри, предназначено только для тебя, и оно будет вручено тебе вскоре после того, как меня не станет.

Не волнуйся, когда увидишь всю эту писанину. С моей стороны это всего лишь попытка подробно объяснить тебе, что Лэнди намерен проделать со мной и почему я согласился на то, чтобы он это сделал, а также каковы его замыслы и надежды. Ты моя жена и имеешь право знать все. Я бы даже сказал, что ты обязана это знать. В последние несколько дней я весьма настойчиво пытался поговорить с тобой о Лэнди, но ты упорно отказывалась меня выслушать. Это, как я тебе уже говорил, очень глупая позиция. Главным образом она проистекает от невежества, и я абсолютно убежден, что, если бы только тебе были известны все факты, ты бы незамедлительно изменила свою точку зрения. Вот почему я надеюсь, что, когда меня с тобой больше не будет, а твое горе поутихнет, ты согласишься внимательнее выслушать меня с помощью этих страниц. Клянусь тебе, что, когда ты прочитаешь этот рассказ, твое чувство антипатии исчезнет и на его место заступит энтузиазм. Я даже осмеливаюсь надеяться, что ты будешь немного гордиться тем, что я сделал.

Когда будешь читать, прости меня, если сможешь, за холодность изложения, но это единственный известный мне способ донести до тебя то, что я хочу сказать. Видишь ли, по мере того как кончается мой срок, естественно, что меня переполняют всякого рода чувства. С каждым днем мне становится все тягостнее, особенно по вечерам, и, если бы я не старался сдерживаться, мои чувства выплеснулись бы на эти страницы.

У меня, к примеру, есть желание написать что-нибудь о тебе, о том, какой хорошей женой ты была для меня в продолжение многих лет, и я обещаю тебе, что, если у меня будет время и останутся хоть какие-то силы, это будет следующее, что я сделаю.

У меня также есть сильное желание поговорить о моем Оксфорде, в котором я жил и преподавал в последние семнадцать лет,

рассказать что-нибудь о его величии и объяснить, если смогу, хотя бы немного из того, что это значит — иметь возможность работать здесь. В этой мрачной спальне мне теперь являются все те места, которые я так любил. Они ослепительно прекрасны, какими и всегда были, а сегодня почему-то я вижу их более отчетливо, чем когда-либо. Тропинка вокруг озера в парке Вустер-колледжа, где гулял Лавлейс¹. Ворота в Пемброук-колледже. Вид западной части города с башни Магдалины. Здание Крайстчерч-колледжа. Маленький сад с декоративными каменными горками, где я насчитал больше дюжины сортов колокольчиков, включая редкую и изящную вальдштейнию. Вот видишь! Я еще не подступился к тому, что хотел сказать, а уже ухожу в сторону. Поэтому позволь мне теперь приступить к делу; дальше читай медленно, моя дорогая, без всякого чувства скорби или неодобрения, что только затруднит тебе понимание. Обещай же мне, что будешь читать медленно, и, прежде чем начать, возьми себя в руки и наберись терпения.

Подробности болезни, столь неожиданно сразившей меня в середине моей жизни, тебе известны. Нет нужды тратить время на то, чтобы останавливаться на них, разве что мне следует сразу же признаться: как же глупо было с моей стороны не обратиться к врачу раньше. Рак — одна из немногих болезней, которые современные лекарства излечить не могут. Хирург может оперировать, если рак не слишком далеко распространился; однако что касается меня, я не только чересчур запустил болезнь, но рак еще имел наглость напасть и на мою поджелудочную железу, сделав в равной мере невозможным как хирургическое вмешательство, так и надежду на то, чтобы выжить.

Жить мне оставалось от месяца до полугода, и с каждым часом я все глубже погружался в уныние, как вдруг явился Лэнди.

Это было шесть недель назад, как-то во вторник утром, очень рано, задолго до того, когда приходишь ты, и, едва он вошел, я понял — он что-то задумал. Он не подкрался ко мне на цыпочках с робким и смущенным видом, не зная, что сказать, как остальные мои посетители. Лэнди явился уверенным в себе, улыбающимся, подошел к кровати и, остановившись, поглядел на меня сверху вниз с безумным огоньком в глазах, а потом сказал:

— Уильям, мальчик мой, это прекрасно. Именно ты мне и нужен!

¹ *Ричард Лавлейс* (1618–1658) — английский поэт

Мне, пожалуй, следует объяснить тебе, что, хотя Джон Лэнди и не был никогда у нас в доме, а ты редко, если вообще когда-нибудь, встречалась с ним, я был дружен с ним не меньше девяти лет. Разумеется, я прежде всего преподаватель философии, но, как ты знаешь, в последнее время я довольно основательно увлекся психологией. Поэтому наши с Лэнди интересы частично совпали. Он замечательный нейрохирург, один из самых искусных, а недавно был настолько любезен, что позволил мне ознакомиться с результатами своей работы, в частности в области воздействия префронтальной лоботомии на различные типы психопатии. Поэтому ты понимаешь, что, когда он неожиданно появился у меня во вторник утром, нам было о чем поговорить.

— Послушай, — сказал он, придвигая стул к кровати. — Через несколько недель ты умрешь. Так?

Вопрос этот, исходивший от Лэнди, не показался мне таким уж бестактным. Довольно занятно, когда к тебе приходит кто-то настолько смелый, что затрагивает запрещенный предмет.

— Ты скончаешься прямо здесь, в этой палате, а потом тебя вынесут и кремируют.

— Похоронят, — уточнил я.

— И того хуже. А что потом? Ты что, надеешься попасть в рай?

— Сомневаюсь, — сказал я, — хотя думать об этом утешительно.

— А может, в ад попадешь?

— Не вижу причин, чтобы меня туда отправили.

— Этого никогда не знаешь, мой дорогой Уильям.

— А к чему весь этот разговор? — спросил я.

— Видишь ли, — произнес он, внимательно разглядывая меня, — лично я не верю, что после того, как умрешь, ты когда-нибудь услышишь о себе снова... если только... — тут он умолк, улыбнулся и придвинулся еще ближе, — если, конечно, у тебя хватит ума верить себя в мои руки. Не хотел бы ты обдумать одно предложение?

Он пристально и как-то жадно рассматривал меня, точно я был куском отличной говядины, лежавшей на прилавке, а он его купил и теперь ждет, когда покупку завернут.

— Я вполне серьезен, Уильям. Ты не хотел бы обдумать одно предложение?

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— Тогда слушай, и я тебе скажу. Так ты будешь меня слушать?

— Давай говори, если хочешь. Не думаю, что очень много потеряю, если выслушаю тебя.

— Напротив, ты много приобретешь — особенно после того, как умрешь.

Уверен, он ждал, что я вздрогну при этих словах, но я был и к ним готов, сам не знаю почему. Я лежал совершенно неподвижно, не сводя глаз с его лица, на котором застыла открытая улыбка, обнажавшая золото верхнего зубного протеза в левом углу рта.

— Над этим, Уильям, я потихоньку работал в продолжение нескольких лет. Кое-кто мне тут в больнице помогал, особенно Моррисон, и мы провели серию весьма успешных экспериментов с лабораторными животными. Теперь я готов рискнуть и на человеке. Идея грандиозная и на первый взгляд может показаться нереальной, но с хирургической точки зрения не видно причин, почему она не может быть в той или иной степени осуществима.

Лэнди подался вперед и уперся обеими руками о край кровати. У него доброе лицо, красивое, какими бывают худые лица, и на нем нет того выражения, которое присуще всем врачам. Тебе ведь знакомо это выражение, оно у них почти у всех одинаковое. Напоминает тусклую вывеску, гласящую: „Только я могу спасти вас“. Между тем глаза Джона Лэнди были широко раскрыты и лихорадочно блестя.

— Довольно давно, — сказал он, — я видел короткий медицинский фильм, привезенный из России. Зрелище весьма неприятное, но интересное. Там показывали голову собаки, отделенную от тела, однако снабжение кровью осуществлялось по артериям и венам с помощью искусственного сердца. Вот что меня заинтересовало: голова этой собаки, лежавшая на чем-то вроде подноса, была живая. Мозг функционировал. Это было доказано с помощью нескольких тестов. Например, когда губы собаки смазывали пищей, высовывался язык и она слизывала еду, а глаза следили за человеком, двигавшимся по комнате... Разумно было заключить, что голова и мозг не обязательно должны быть присоединены к остальной части тела, чтобы продолжать жить, — при условии, разумеется, что должным образом обеспечивается снабжение оксигенированной кровью... Далее. После просмотра фильма у меня зародилась мысль отделить мозг от черепа человека и поддерживать его живым и функционирующим как независимое целое в течение неограниченного времени после смерти. Твой мозг, к примеру, после твоей смерти...

— Мне это не нравится, — сказал я.

— Не прерывай меня, Уильям. Дай мне закончить. Насколько я мог судить по результатам последующих экспериментов, мозг является удивительно автономным объектом. Он вырабатывает свою собственную спинномозговую жидкость. На его волшебной мыслительной активности никак не отражается отсутствие конечностей, туловища или даже костей черепа, при условии, как я сказал, что беспрерывно осуществляется его питание насыщенной кислородом кровью. Мой дорогой Уильям, ты только подумай о своем собственном мозге. Он отлично сохранился. Он битком набит знаниями, которые ты приобретал всю свою жизнь. У тебя ушли долгие годы на то, чтобы сделать его таким, какой он есть. Он только начинает выдавать первоклассные оригинальные идеи. И между тем скоро ему придется умереть вместе с твоим телом просто потому, что твоя дурацкая поджелудочная железа нафарширована раковыми клетками.

— Благодарю, — сказал я ему. — Ты можешь остановиться. Отвратительная идея, и даже если бы ты смог осуществить ее, в чем я сомневаюсь, в этом не было бы совершенно никакого смысла. Зачем поддерживать мой мозг живым, если я не смогу говорить, видеть, слышать или чувствовать? Лично я ничего более неприятного вообразить не могу.

— Я уверен, ты сможешь общаться с нами, — возразил Лэнди. — И мы даже могли бы сделать так, чтобы ты немного видел. Но давай не будем торопиться. К этому я еще вернусь. Остается тот факт, что ты очень скоро умрешь, что бы ни случилось, а в мои планы не входит каким бы то ни было образом притрагиваться к тебе, пока ты не умер. Подумай же, Уильям. Ни один настоящий философ не стал бы возражать против того, чтобы отдать свое мертвое тело науке.

— Это не совсем честно, — ответил я. — Мне кажется, к тому времени, когда ты разделаешься со мной, возникнут некоторые сомнения на тот счет, умер я или еще живой.

— Что ж, — слегка улыбнувшись, произнес он. — Думаю, тут ты прав. Но мне кажется, ты не должен так быстро отваживать меня, пока не узнал еще кое-что.

— Я уже сказал, что не хочу больше слушать.

— Может, закуришь? — спросил он, протягивая мне свой портсигар.

— Ты же знаешь, я не курю.

Он взял сигарету и прикурил ее от крошечной серебряной зажигалки размером не больше шиллинга.

— Подарок тех, кто делает для меня инструменты, — сказал он. — Остроумно, не правда ли?

Я осмотрел зажигалку и вернул ее ему.

— Я могу продолжать? — спросил он.

— Лучше не надо.

— А ты лежи себе тихо и слушай. Думаю, тебе будет интересно.

На тарелке рядом с кроватью стояла тарелка с виноградом. Я поставил тарелку себе на грудь и стал есть.

— В тот самый момент, когда ты умрешь, — сказал Лэнди, — я должен быть рядом, чтобы попытаться, не теряя времени, сохранить твой мозг живым.

— То есть оставить его в голове?

— Для начала — да. Я вынужден буду это сделать.

— А потом куда ты собираешься его поместить?

— Если тебе интересно — в какой-нибудь сосуд.

— Ты серьезно говоришь?

— Конечно серьезно.

— Хорошо. Продолжай.

— Полагаю, тебе известно, что, когда сердце останавливается и мозг лишается притока свежей крови и кислорода, его ткани очень скоро отмирают. Проходит минуты четыре, может, шесть, и он погибает окончательно. Даже спустя три минуты возможны необратимые последствия. Поэтому мне придется работать быстро, а с помощью аппарата можно все выполнить довольно просто.

— Какого еще аппарата?

— Искусственного сердца. У нас есть приличное подобие прибора, первоначально изобретенного Алексисом Каррелем¹ и Линдбергом². Он насыщает кислородом кровь, поддерживает нужную температуру, откачивает кровь под необходимым давлением и продельывает другие полезные вещи. Все совсем несложно.

— Скажи, что ты намерен делать в момент смерти, — спросил я. — С чего начнешь?

¹ *Алексис Каррель* (1873-1944) — французский хирург и физиолог. Лауреат Нобелевской премии (1912).

² *К. А. Линдберг* — соавтор А. Карреля.

— Тебе что-нибудь известно о системе кровоснабжения мозга?

— Нет.

— Тогда слушай. Понять нетрудно. Кровь поступает в мозг по двум основным каналам: по внутренним сонным артериям и позвоночным артериям. Каждых по две, а всего артерий четыре. Это понятно?

— Да.

— А система кровотока еще проще. Кровь уходит только по двум крупным венам — яремным. Итак, наверх тянутся четыре артерии — они, понятно, идут вверх вдоль шеи, — а вниз идут две вены. В области головного мозга они разветвляются, но мы трогать эти каналы не собираемся.

— Хорошо, — сказал я. — Представь себе, что я только что умер. Что ты будешь делать?

— Немедленно обнажу шейные сосуды и тотчас же произведу их катетеризацию, а это означает, что в каждый я введу большую полую иглу. Четыре иглы будут подсоединены трубками к аппарату искусственного кровообращения. Затем восстановим кровообращение головного мозга с помощью искусственного сердца, подсоединив к нему предварительно отсеченные левую и правую яремные вены.

— И я буду похож на ту русскую собаку.

— Не совсем. Во-первых, ты наверняка потеряешь сознание, когда умрешь, и я очень сомневаюсь, что скоро придешь в себя, если это вообще произойдет. Но вернется к тебе сознание или нет, ты окажешься в довольно любопытном состоянии, не правда ли? У тебя будет холодное мертвое тело и живой мозг.

Лэнди умолк, смакуя эту радостную перспективу. Он донельзя увлекся своим замыслом и ни за что бы не поверил, что я не разделяю его чувств.

— Пока мы можем позволить себе не торопиться, — продолжал он. — И поверь мне, потом у нас будет времени в обрез. Первое, что мы сделаем, — отвезем тебя в операционную, разумеется вместе с аппаратом искусственного кровообращения, который будет непрерывно поддерживать кровоток. Следующей проблемой...

— Хорошо, — перебил я его. — Достаточно. Подробности мне неинтересны.

— Нет, ты должен меня выслушать, — возразил Лэнди. — Важно, чтобы ты хорошо знал, что с тобой будет происходить все это

время. Понимаешь, когда к тебе вернется сознание, тебе же будет лучше, если ты сможешь уверенно вспомнить, где находишься и как там оказался. Тебе следует это знать хотя бы ради собственного спокойствия. Согласен?

Не двигаясь, я лежал на кровати и смотрел на него.

— Итак, следующей проблемой будет удаление мозга, целого и невредимого, из твоего мертвого тела. Тело не понадобится. По сути, оно уже начало разлагаться. Покровы головного мозга мне также не понадобятся. Я не хочу, чтобы они мне мешали. Мне нужен лишь мозг, чистый прекрасный мозг, живой и цельный. Поэтому, когда ты будешь лежать у меня на столе, я возьму пилу, маленькую вибропилку, и вскрыю кости черепа. В это время ты еще будешь без сознания, поэтому я не буду возиться с анестезией.

— Черта с два не будешь, — сказал я.

— К тому времени ты уже будешь холодный, это я тебе обещаю, Уильям. Не забывай, ты умер за несколько минут до этого.

— Никому не позволю отпиливать верхнюю часть моего черепа без обезболивания, — сказал я.

Лэнди пожал плечами.

— Мне все равно, — проговорил он. — С радостью дам тебе небольшую дозу какого-нибудь анестезирующего средства, если хочешь. Если тебе это доставит хоть какое-то удовольствие, я весь твой скальп пропитаю анестетиком, всю голову — от шеи и выше.

— Большое тебе спасибо, — сказал я.

— Знаешь, — продолжал он, — удивительные вещи иногда происходят. Буквально на прошлой неделе доставили человека без сознания, я вскрыл ему череп вообще без всякого обезболивания и удалил тромб. Я продолжал работать внутри черепа, когда он очнулся и заговорил... „Где я?“ — спросил он. „В больнице“. — „Хм, — произнес он. — Надо же“. — „Скажите, — спросил я у него, — вам неприятно то, что я делаю?“ — „Нет, — ответил он. — Со всем нет. А что вы делаете?“ — „Удаляю тромб из вашей головы“. — „Неужели?“ — „Лежите спокойно. Не двигайтесь. Я почти закончил“. — „Так вот, значит, отчего у меня все время болела голова“, — сказал он.

Лэнди умолк и улыбнулся, вспоминая тот случай.

— Так он и сказал, — продолжал Лэнди, — хотя на следующий день даже не вспомнил об этом. Смешная вещь — мозг.

— А мне нужен анестетик, — сказал я.

— Как хочешь, Уильям. А потом, как я уже говорил, я возьму маленькую вибропилу и осторожно удалю твой свод черепа — весь, целиком. В результате обнажится верхняя часть твоего мозга, или, лучше сказать, верхняя оболочка, которой он окутан. Возможно, ты знаешь, а может, и нет, что вокруг самого мозга имеются три отдельные оболочки — внешняя, называемая *dura mater* или просто *dura*, средняя, называемая „паутинной“, и внутренняя, мягкая мозговая, или просто „мягкая“. Большинство людей полагают, будто мозг — незащищенное вещество, которое плавает в голове в какой-то жидкости. Но это не так. Он защищен оболочками и омывается спинномозговой жидкостью, циркулирующей в зазоре между ними, известном как субарахноидальное пространство, и стекающей, как я уже говорил тебе, в венозную систему... Лично я оставил бы нетронутыми все три оболочки, разве не красивые у них названия — внешняя, „паутинная“ и „мягкая“? Тому много причин, и не последняя среди них та, что по внешней оболочке проходят венозные каналы, которые отводят кровь из мозга в яремные вены... Итак, — продолжал он, — мы сняли верхнюю часть твоего черепа, так что обнажилась верхняя часть мозга, окутанного внешней оболочкой. Следующий шаг довольно сложный: нужно высвободить весь мозг таким образом, чтобы его можно было легко извлечь, оставив при этом культы четырех питающих артерий и двух вен и подготовив их для подсоединения к аппарату. Препарирование головного мозга — чрезвычайно длительная и сложная процедура, связанная с отламыванием кости и выделением многочисленных нервов и сосудов. Единственный способ, чтобы иметь хоть какую-то надежду на успех, — это взять щипцы и медленно откусывать остатки твоего черепа, очищая его сверху вниз, как апельсин, пока мозг полностью не обнажится с боков и в основании. Возникающие тут проблемы чисто технического порядка, и я не буду на них останавливаться. Это исключительно вопрос хирургической техники и терпения. И не забывай, у меня будет много времени — столько, сколько я захочу, потому что искусственное сердце будет беспрепятственно качать кровь, поддерживая мозг живым. Теперь допустим, что мне удалось очистить твой череп и удалить все, что окружает мозг. В этом случае он останется соединенным с телом только в основании, главным образом посредством спинномозгового ствола, двух крупных вен и четырех артерий, которые снабжают его кровью. Что же дальше?.. Я отделю спинномозговой ствол чуть

выше первого шейного позвонка. Но ты должен помнить, что в результате отделения спинномозгового ствола образуется отверстие во внешней мозговой оболочке, поэтому мне придется его защитить. Тут проблем нет... К этому моменту я буду готов к заключительному шагу. На столе у меня будет стоять сосуд особой формы, наполненный раствором Рингера¹. Это особая жидкость, которую используют в нейрохирургии для промывания. Теперь я совсем освобожу мозг, отделив кровеносные сосуды и вены. Потом я возьму его в руки и перенесу в сосуд. В последний раз приток крови будет прерван, но как только мозг окажется в сосуде, и мгновения не уйдет на то, чтобы подсоединить культы артерий и вен к искусственному сердцу... И вот, — продолжал Лэнди, — твой мозг находится в сосуде, еще живой, и что мешает ему оставаться живым очень долгое время, быть может, долгие годы, при условии, что мы будем следить за снабжением кровью и работой аппарата?

— Но он будет функционировать?

— Мой дорогой Уильям, откуда мне знать? Я даже не могу тебе сказать, восстановится ли у него когда-нибудь сознание.

— А если восстановится?

— О! Это было бы замечательно!

— Ты так думаешь? — спросил я, и, должен признаться, у меня на то были сомнения.

— Конечно восстановится! Он будет лежать в сосуде, и все мыслительные процессы будут протекать, как и прежде, а память...

— И я не буду иметь возможности видеть, чувствовать, ощущать запахи, слышать или говорить? — спросил я.

— Ага! — воскликнул он. — Я знал, что что-то забуду тебе сказать! Я не сказал тебе о глазе. Слушай. Я хочу попробовать оставить один из твоих зрительных нервов нетронутым, как и сам глаз. Зрительный нерв — маленькая штука толщиной примерно с клинчатый термометр, он имеет дюйма два в длину и тянется от мозга к глазу. Вся прелесть его в том, что он и не нерв вовсе. Это отросток самого мозга, а внешняя мозговая оболочка тянется вдоль него и соединяется с глазным яблоком. Поэтому задняя часть глаза находится в очень тесном контакте с мозгом, и спинномозговая жид-

¹ Солевой раствор, близкий по концентрации ионов морской воде; предназначен для продления жизни тканей; изобретен английским физиологом С. Рингером в 1882 году.

кость подходит прямо к нему.. Все это вполне отвечает моим целям, и разумно предположить, что я смогу сохранить один из твоих глаз. Я уже сконструировал небольшой пластиковый футляр для глазного яблока вместо глазной впадины, и, когда мозг окажется в сосуде, погруженный в раствор Рингера, глазное яблоко будет плавать на поверхности жидкости.

— Глядя в потолок, — сказал я.

— Думаю, что да. Боюсь, что мышцы, которые бы двигали им, не сохранятся. Но это, должно быть, так забавно — лежать тихо и спокойно и поглядывать на мир из сосуда.

— Безумно забавно, — сказал я. — А как насчет того, чтобы оставить мне еще и ухо?

— С ухом я не хотел бы экспериментировать.

— Я хочу ухо, — сказал я. — Я настаиваю на том, чтобы слышать.

— Нет.

— Я хочу слушать Баха.

— Ты не понимаешь, как это трудно, — мягко возразил Лэнди. — Аппарат слуха — он называется улитка — гораздо более тонкое устройство, чем глаз, и он заключен в кость. Как и часть слухового нерва, которая соединяет его с мозгом. Мне никак не удастся извлечь его целиком.

— А ты не можешь оставить его заключенным в кости и поместить в таком виде в чашу?

— Нет, — твердо сказал Лэнди. — Эта штука и без того сложная. Да в любом случае, если глаз будет функционировать, не так уж и важно, слышишь ты или нет. Мы всегда сможем показывать тебе сверху послания, которые ты мог бы прочитать... Ты должен оставить мне право решать, что можно сделать, а что нет.

— Я еще не сказал, что согласен.

— Знаю, Уильям, знаю.

— Не уверен, что мне очень нравится твоя идея.

— Ты бы предпочел совсем умереть?

— Пожалуй, что так. Пока не знаю. А говорить я тоже не смогу?

— Конечно нет.

— Тогда как же я буду общаться с тобой? Как ты узнаешь, что я нахожусь в сознании?

— Мы легко узнаем, вернулось ли к тебе сознание, — сказал Лэнди. — Нам подскажет обыкновенный электроэнцефалограф.

Мы подсоединим электроды к передним долям твоего мозга — там, в сосуде.

— Вы это действительно узнаете?

— О, наверняка. Такое по силам любой больнице.

— Но я ведь не смогу с тобой общаться.

— По правде говоря, — сказал Лэнди, — мне кажется, что сможешь. В Лондоне живет один человек, которого зовут Вертхаймер¹, так у него есть интересные работы в области передачи мысли на расстояние. Я с ним уже связывался. Тебе ведь известно, что мозг в процессе мыслительной деятельности испускает электрические и химические разряды? И что эти разряды исходят в виде волн, похожих на радиоволны?

— Кое-что мне известно, — сказал я.

— Так вот, Вертхаймер сконструировал аппарат, напоминающий энцефалограф, хотя и гораздо более чувствительный, он утверждает, что в определенных, ограниченных пределах сможет интерпретировать то, о чем думает мозг. Аппарат выдает что-то вроде диаграммы, которая, по-видимому, расшифровывается. Хочешь, я попрошу Вертхаймера зайти к тебе?

— Нет, не надо, — ответил я.

Лэнди уже считал само собой разумеющимся, что я буду участвовать в эксперименте, и мне это не нравилось.

— Теперь уходи и оставь меня одного, — сказал я ему. — Ты ничего не добьешься, если будешь давить на меня.

Он тотчас же поднялся и направился к двери.

— Один вопрос, — сказал я.

Он остановился, держась за дверную ручку:

— Да, Уильям?

— Просто я хотел спросить вот что. Сам-то ты искренне веришь, что, когда мой мозг окажется в сосуде, он сможет функционировать точно так же, как сейчас? Ты веришь, что я смогу по-прежнему думать и рассуждать? И сохранится ли у меня память?

— А почему бы и нет? — ответил он. — Это ведь будет тот же мозг. Живой. Невредимый. Да, по сути, совершенно не тронутый. Мы даже не вскрыем твердую оболочку. Мы, правда, отделим все до единого нервы, которые ведут к нему, кроме глазного, а это означает, что на твой мыслительный процесс больше не окажут

¹ Макс Вертхаймер (1880–1943) — психолог.

никакого влияния чувства, этим он и будет отличаться, притом значительно. Ты будешь жить в необычайно чистом и обособленном мире. Ничто не будет тебя беспокоить, даже боль. Ты не будешь чувствовать боли, потому что у тебя не останется нервов. Состояние в своем роде почти идеальное. Ни тревоги, ни страхов, ни боли, ни голода, ни жажды. И никаких желаний. Только твои воспоминания и твои мысли, а если случится, что оставшийся глаз будет функционировать, то ты и книги сможешь читать. По мне, все это весьма приятно.

— Вот как?

— Да, Уильям, именно так. И особенно это приятно доктору философии. Грандиозное испытание. Ты сможешь размышлять о мире с беспристрастностью и безмятежностью, не доступными ни одному человеку! Великие мысли и решения могут прийти к тебе, смелые мысли, которые изменят нашу жизнь! Попытайся, если можешь, представить себе, какой степени духовной концентрации ты сумеешь достигнуть!

— И какой безысходности, — сказал я.

— Чепуха. О какой безысходности ты говоришь? Не может быть безысходности без желаний, а их у тебя не будет. Во всяком случае, физических.

— Я наверняка смогу сохранить воспоминание о своей предыдущей жизни в этом мире, и у меня может возникнуть желание вернуться к ней.

— Что, в этот кавардак? Из твоего уютного сосуда в этот сумасшедший дом?

— Ответь мне еще на один вопрос, — попросил я. — Сколько, по-твоему, ты сможешь поддерживать его в живом виде?

— Мозг? Кто знает. Может, долгие годы. Условия ведь будут идеальные. Кровяное давление будет оставаться постоянным всегда, что в реальной жизни невозможно. Температура также будет постоянной. Химический состав крови будет почти совершенным. В ней не будет ни примесей, ни вирусов, ни бактерий — ничего. Глупо, конечно, гадать, но я думаю, что мозг может жить в таких условиях лет двести—триста... А теперь до свиданья, — заключил он. — Я загляну завтра.

Он быстро вышел, оставив меня, как ты можешь догадаться, в весьма тревожном душевном состоянии.

Я сразу ощутил отвращение ко всей этой затее. Что-то мерзкое было в идее превратить меня в скользкий шарик, лежащий в воде, пусть при мне и останутся мои умственные способности. Это было чудовищно, непристойно, отвратительно. Еще меня беспокоило чувство беспомощности, которое я должен буду испытывать, как только Лэнди поместит меня в сосуд. Оттуда уже нет пути назад, невозможно ни протестовать, ни пытаться что-либо объяснить. Я буду в их руках столько, сколько они смогут поддерживать меня живым.

А если, скажем, я не выдержу? Если мне будет ужасно больно? Вдруг я впаду в истерику?

Ног у меня не будет, чтобы убежать. Голоса не будет, чтобы закричать. Ничего не будет. Мне останется лишь ухмыльнуться и терпеть все это последующие два столетия.

Да и ухмыльнуться-то я не смогу — у меня ведь не будет рта.

В этот момент любопытная мысль поразила меня. Разве человек, у которого ампутировали ногу, не страдает частенько от иллюзии, будто нога у него есть? Разве не говорит он сестре, что пальцы, которые у него отрезали, безумно чешутся, и всякое такое?.. Не будет ли страдать от подобной иллюзии и мой мозг в отношении моего тела? В таком случае на меня нахлынут мои старые боли, и я даже не смогу принять аспирин, чтобы облегчить страдания. В какой-то момент я, быть может, воображу, будто ногу у меня свело мучительной судорогой или же скрутило живот, а спустя несколько минут я, пожалуй, запросто решу, будто мой бедный мочевой пузырь — ведь ты меня знаешь — так наполнился, что, если я немедленно не освобожу его, он лопнет.

Прости меня, Господи.

Я долго лежал, терзаемый ужасными мыслями. Потом совершенно неожиданно, где-то около полудня, настроение мое начало меняться. Я поймал себя на том, что рассматриваю предложение Лэнди в более разумном свете. В конце концов, спросил я себя, разве не утешительно думать, что мой мозг необязательно умрет и исчезнет через несколько недель? Еще как утешительно. Я весьма горжусь своим мозгом. Он чувствительный, ясный и хранит громадный объем информации, и еще он способен выдавать впечатляющие оригинальные теории. Что до мозгов вообще, то мой чертовски хорош... Что же до моего тела, моего бедного старого тела,

которое Лэнди хочет выбросить, — что ж, даже ты, моя дорогая Мэри, должна будешь согласиться со мной — в нем нет ничего такого, что стоило бы сохранить.

Я лежал на спине и ел виноград. Он был вкусный, и в одной ягоде оказались три маленькие косточки, которые я вынул изо рта и положил на край тарелки.

— Я готов к этому, — тихо произнес я. — Да, ей-богу, я к этому готов. Когда Лэнди явится завтра, я ему сразу же скажу, что я готов.

Вот так все быстро и произошло. И начиная с этого времени я стал чувствовать себя гораздо лучше. Я всех удивил, с жадностью съев все, что мне принесли на обед, а вскоре после этого ты, как обычно, пришла навестить меня.

Ты сказала, что я хорошо выгляжу, что я бодр и весел и у меня здоровый цвет лица. Что-то случилось? Нет ли хороших новостей?

Да, ответил я, есть. А потом, если ты помнишь, я велел тебе устроиться поудобнее и стал тотчас же объяснять тебе как можно мягче, что должно произойти.

Увы, ты и слушать об этом не пожелала. Едва я перешел на детали, как ты вышла из себя и сказала, что все это отвратительно, мерзко, ужасно, невысказанно, а когда я попытался было продолжать, ты покинула палату.

Так вот, Мэри, как ты знаешь, с тех пор я много раз пытался поговорить с тобой на эту тему, но ты упорно отказывалась меня выслушать. Так появилось это послание, и мне остается только надеяться, что у тебя хватит здравого смысла прочесть его. У меня ушло много времени на то, чтобы написать все это. Прошло две недели, как я начал выводить первое предложение, и теперь я чувствую себя гораздо слабее, чем тогда. Сомневаюсь, что у меня хватит сил сказать еще что-нибудь. Конечно, я не буду говорить „прощай“, потому что есть шанс, совсем маленький шанс, что, если Лэнди удастся осуществить свой замысел, я, возможно, и вправду увижу тебя потом, то есть если ты решишься навестить меня.

Я распорядился, чтобы эти страницы не давали тебе в руки, пока не пройдет неделя после моей смерти. Значит, теперь, когда ты читаешь их, прошло уже семь дней с того времени, как Лэнди сделал свое дело. Ты, быть может, даже уже знаешь, каков результат. Если же нет, если ты намеренно оставалась в стороне и отказыва-

лась даже слушать об этом — а я подозреваю, что так оно и было, — прошу тебя, измени теперь свое отношение и позвони Лэнди, чтобы узнать, как у меня обстоят дела. Сделай хотя бы это. Я сказал ему, что ты, может быть, позвонишь ему на седьмой день.

Твой преданный муж

Уильям

P. S. Веди себя благоразумно после того, как меня не станет, и всегда помни, что труднее быть вдовой, чем женой. Не пей коктейли. Не трать попусту деньги. Не кури. Не ешь пирожных. Не пользуйся губной помадой. Не покупай телевизор. Летом хорошенько пропалывай мои клумбы с розами и садик с каменными горками. И кстати, предлагаю тебе отключить телефон, поскольку больше он мне не понадобится».

Миссис Перл медленно положила последнюю страницу письма рядом с собой на диван. Она поджала губы, и кожа вокруг ноздрей у нее побелела.

Однако! Казалось бы, став вдовой, она в конце концов имеет право на покой.

Задумаешься обо всем этом, и такой ужас охватывает. Как это гадко.

Она содрогнулась. Взяла из сумочки еще одну сигарету. Закурив, стала глубоко затягиваться и пускать дым облачками по всей комнате. Сквозь дым она видела свой замечательный телевизор, совершенно новый, блестящий, огромный, вызывающе, а вместе с тем и несколько неловко громоздившийся на рабочем столе Уильяма.

Что бы он сказал, подумала она, если бы вдруг оказался рядом?

Она попыталась вспомнить, когда он в последний раз застал ее за курением. Это было год назад, и она сидела на кухне у открытого окна, собираясь покурить, пока он не вернулся домой после работы. Она включила радио на всю громкость, передавали танцевальную музыку, а когда повернулась, чтобы налить себе еще чашку кофе, увидела его в дверях. Огромный и мрачный, он смотрел на нее сверху вниз этими своими ужасными глазами, и в каждом горело по черной точке, предвещающая недоброе.

В продолжение месяца после этого он сам оплачивал все счета и совсем не давал ей денег, но откуда ему было знать, что она припрятала шесть с лишним фунтов в ящике для мыла под раковиной.

— В чем дело? — спросила она у него как-то за ужином. — Ты что, боишься, что у меня будет рак легких?

— Нет, — ответил он.

— Почему же тогда мне нельзя курить?

— Потому что я это не одобряю, вот почему.

Он также не одобрял детей, и в результате детей у них не было.

Где он сейчас, этот ее Уильям, ничего не одобряющий?

Лэнди будет ждать звонка. А нужно ли ей звонить Лэнди? Пожалуй, нет.

Она докурила сигарету и от окурка прикурила еще одну, потом взглянула на телефон, стоявший на рабочем столе рядом с телевизором. Уильям просил, чтобы она позвонила. Он специально просил о том, чтобы она позвонила Лэнди, как только закончит читать письмо. Какое-то время она колебалась, яростно борясь с глубоко укоренившимся чувством долга, от которого еще не смела избавиться. Затем медленно поднялась и подошла к телефону. В телефонной книге она отыскала номер, набрала его и подождала ответа.

— Я хотела бы поговорить с мистером Лэнди, пожалуйста.

— Кто его спрашивает?

— Миссис Перл. Миссис Уильям Перл.

— Одну минутку, пожалуйста.

Почти тотчас же к телефону подошел Лэнди:

— Миссис Перл?

— Да, это я.

Наступила пауза.

— Я так рад, что вы наконец-то позвонили, миссис Перл. Надеюсь, вы вполне здоровы. — Голос был тихий, бесстрастный, вежливый. — Вы не могли бы приехать в больницу? Нам нужно поговорить. Я полагаю, вам не терпится узнать, чем все кончилось.

Она не отвечала.

— Пока могу вам сказать, что все прошло более или менее гладко. Гораздо лучше, по правде сказать, чем я имел право надеяться. Он не только жив, миссис Перл, он в сознании. Он пришел в сознание на второй день. Разве это не любопытно?

Она ждала, что он скажет еще.

— И глаз видит. Мы уверены в этом, потому что получаем резкое изменение в отклонениях на энцефалографе, когда держим перед ним какой-нибудь предмет. Теперь мы каждый день даем ему читать газету.

- Какую? — резко спросила миссис Перл.
- «Дейли миррор». В ней заголовки крупнее.
- Он терпеть не может «Миррор». Давайте ему «Таймс».

Наступила пауза, потом врач сказал:

— Очень хорошо, миссис Перл. Оно будет читать «Таймс». Мы, естественно, хотим сделать все, что в наших силах, чтобы оно чувствовало себя счастливым.

— Он, — поправила она. — Не оно, а он!

— Да-да, — сказал врач. — Он. Прошу прощения. Чтобы он чувствовал себя счастливым. Вот почему я предлагаю вам как можно скорее прийти сюда. Думаю, ему приятно будет увидеть вас. Вы могли бы дать понять, как вы рады снова быть вместе с ним, — улыбнитесь ему, пошлите воздушный поцелуй, ну, вам лучше знать. Он непременно утешится, узнав, что вы рядом.

Наступила долгая пауза.

— Что ж, — наконец произнесла миссис Перл, и голос ее неожиданно сделался покорным и усталым. — Думаю, лучше будет, если я приеду и посмотрю, как он там.

— Хорошо. Я знал, что вы так и сделаете. Я буду ждать вас. Поднимайтесь прямо в мой кабинет на втором этаже. До свиданья.

Спустя полчаса миссис Перл была в больнице.

— Не удивляйтесь, когда увидите его, — говорил Лэнди, когда они шли по коридору.

— Конечно нет.

— Поначалу вы будете немного шокированы. Боюсь, в своем теперешнем состоянии он выглядит не очень-то привлекательно.

— Я вышла за него не из-за его внешности.

Лэнди обернулся и уставился на нее. Ну до чего же странная женщина, подумал он, с этими своими большими глазами и угрюмым, обиженным выражением. Черты ее лица, когда-то, должно быть, весьма приятные, совсем уже истерлись. Уголки рта опустились, щеки сделались дряблыми и отвислыми, и создавалось такое впечатление, будто и все лицо медленно, но верно кривилось все эти долгие годы безрадостной семейной жизни. Какое-то время они шли молча.

— Не спешите, когда войдете в палату, — сказал Лэнди. — Он не узнает, что вы пришли, пока вы не склонитесь прямо над его глазом. Глаз всегда открыт, но он совсем не может им двигать, поэтому поле зрения очень узкое. Сейчас он смотрит прямо в пото-

лок. И конечно же, он ничего не слышит. Мы можем разговаривать между собой, сколько нам вздумается... Сюда, пожалуйста.

Лэнди открыл какую-то дверь и провел ее в небольшую квадратную комнату.

— Слишком близко я не буду подходить, — сказал он, положив ладонь на ее руку. — Пойдите пока немного рядом со мной и осмотритесь.

На высоком белом столе посреди комнаты стоял белый эмалированный сосуд размером с умывальную раковину, и от него отходило с подюжины тонких пластмассовых трубочек. Трубочки соединялись с целой системой стеклянных труб, и было видно, как кровь бежит к аппарату искусственного сердца и из него. Сам аппарат издавал мягкий ритмичный пульсирующий звук.

— Он там, — сказал Лэнди, указывая на сосуд, который стоял так высоко, что она ничего не видела. — Подойдите чуть ближе. Но не слишком близко.

Они шагнули вперед.

Вытянув шею, миссис Перл увидела неподвижную поверхность какой-то жидкости, наполнявшей сосуд. Жидкость была прозрачная, и на ее поверхности плавала овальная капсула размером с голубиное яйцо.

— Это и есть глаз, — сказал Лэнди. — Вы его видите?

— Да.

— Насколько мы можем судить, он по-прежнему в прекрасном состоянии. Это его правый глаз, а пластиковый контейнер имеет линзу, подобную той, что была у него в очках. В настоящий момент он, пожалуй, видит так же хорошо, как и раньше.

— Что толку смотреть в потолок, — сказала миссис Перл.

— Насчет этого не беспокойтесь. Мы разрабатываем целую программу, чтобы не дать ему скучать, но не хотим спешить.

— Дайте ему хорошую книгу.

— Дадим, дадим. Вы хорошо себя чувствуете, миссис Перл?

— Да.

— Тогда давайте подойдем еще поближе, и тогда вы сможете увидеть его целиком.

Когда они оказались лишь в паре ярдов от стола, она смогла заглянуть прямо в сосуд.

— Ну вот, — сказал Лэнди. — Это и есть Уильям.

Он был гораздо больше, чем она представляла себе, и более темного цвета. Со всеми этими складками и бороздками, тянувшимися по поверхности, он напоминал ей не что иное, как соленый грецкий орех. Она видела обрывки четырех крупных артерий и двух вен, отходивших снизу, и то, как они аккуратно подсоединены к пластмассовым трубочкам; с каждой пульсацией аппарата искусственного сердца трубки одновременно чуть заметно вздрагивали, проталкивая кровь.

— Ваше лицо должно находиться прямо над глазом, — сказал Лэнди. — Тогда он вас увидит и вы сможете улыбнуться ему и послать воздушный поцелуй. Будь я на вашем месте, я бы сказал ему что-нибудь приятное. Он, правда, вас не услышит, но я уверен, что основную мысль схватит.

— Он терпеть не может, когда ему посылают воздушные поцелуи, — заметила миссис Перл. — Если не возражаете, я поступлю так, как сочту нужным.

Она подошла к краю стола, потянулась вперед, пока ее лицо не оказалось прямо над сосудом, и заглянула прямо в глаз Уильяма.

— Привет, дорогой, — прошептала она. — Это я, Мэри.

Глаз, блестящий, как и прежде, глядел на нее неподвижно и несколько напряженно.

— Как ты, дорогой? — спросила она.

Пластмассовая капсула была совершенно прозрачная, так что видно было все глазное яблоко. Зрительный нерв, соединявший его заднюю сторону с мозгом, был похож на короткую серую макаронию.

— Ты себя хорошо чувствуешь, Уильям?

То, что она заглядывает мужу в глаз и не видит при этом его лица, вызвало у нее странное ощущение. Видеть она могла только глаз; на него она неотрывно и смотрела, и глаз мало-помалу все увеличивался в размерах, пока не стал чем-то вроде лица. Белая поверхность глазного яблока была испещрена сетью крошечных красных сосудов, а в ледянисто-голубой радужной оболочке от зрачка в центре расходились три или четыре довольно красивые темноватые жилки. Зрачок был черный, с одной стороны искрился отблеск света.

— Я получила твое письмо, дорогой, и сразу же пришла к тебе, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. Доктор Лэнди говорит, что

у тебя все просто замечательно. Наверное, если я буду говорить медленно, ты сможешь по движению моих губ понять кое-что...

Не было никакого сомнения в том, что глаз следил за ней.

— Они всю стараются, чтобы тебе было лучше, дорогой. Чудесный аппарат все время качает кровь, и я уверена, что он гораздо лучше изношенных дурацких сердец, которые есть у нас, у людей. Наши сердца в любую минуту могут отказать, твое же будет работать вечно.

Она внимательно рассматривала глаз, пытаясь понять, что же в нем было необычного.

— Выглядишь ты отлично, дорогой, просто отлично. Я и правда так думаю.

Никогда его глаза не казались ей такими красивыми, как этот, отметила она про себя. От него исходили какая-то нежность, какая-то отзывчивость и доброта — качества, которых она не замечала прежде. Может, все дело в точке в самом центре — в зрачке? Зрачки у Уильяма всегда были похожи на крошечные черные булавоочные головки. Они сверкали, пронизывали тебя насквозь и тотчас же распознавали, как ты намерен поступить и даже о чем думаешь. Между тем глаз, на который она сейчас смотрела, был нежный и добрый, как у коровы.

— Вы вполне уверены, что он в сознании? — спросила она, не поднимая головы.

— О да, абсолютно, — ответил Лэнди.

— И он меня видит?

— Разумеется.

— Разве это не замечательно? Думаю, он удивляется — что же с ним произошло?

— Совсем нет. Он прекрасно знает, где он и почему. Этого он никак не мог забыть.

— Вы хотите сказать, что он знает, что находится в сосуде?

— Конечно. И будь у него дар речи, он бы, наверное, вот прямо сейчас запросто с вами побеседовал. Насколько я понимаю, в умственном отношении Уильям, находящийся здесь, и тот, которого вы знали дома, совершенно не отличаются друг от друга.

— О боже, — произнесла миссис Перл и умолкла, чтобы осмыслить этот удивительный факт.

Вот что, подумала она про себя, осмотрев со всех сторон глаз и этот огромный серый мясистый грецкий орех, который так без-

мятежно лежал под водой. Не вполне уверена, что он мне нравится таким, какой он есть, но я, пожалуй, смогла бы хорошо ужиться с таким вот Уильямом. С этим я смогу управиться.

— Спокойный какой, а? — сказала она.

— Естественно, спокойный.

Не будет ссор и упреков, подумала она, постоянных замечаний, не будет правил, которым нужно следовать, никакого запрета на курение, не будет холодных глаз, неодобрительно глядящих на нее поверх книги по вечерам, не будет рубашек, которые нужно стирать и гладить, и не нужно будет готовить — ничего этого не будет, а будет лишь пульсация искусственного сердца, у которого вполне успокаивающий звук и, уж во всяком случае, не настолько громкий, чтобы он мешал смотреть телевизор.

— Доктор, — сказала она, — мне действительно кажется, что я начинаю испытывать к нему огромную симпатию. Вам это странно?

— Думаю, это вполне понятно.

— Он кажется таким беспомощным, оттого что лежит себе молча в этом своем маленьком сосуде.

— Да, я понимаю.

— Он точно ребенок, вот он кто. Самый настоящий ребенок.

Лэнди неподвижно стоял у нее за спиной, наблюдая за ней.

— Ну вот, — мягко проговорила миссис Перл, заглядывая в сосуд. — Теперь Мэри будет сама ухаживать за тобой, и тебе не о чем беспокоиться. Когда я могу забрать его домой, доктор?

— Простите?

— Я спросила, когда могу забрать его... забрать домой?

— Вы шутите, — сказал Лэнди.

Она медленно повернула голову и посмотрела ему прямо в глаза.

— С чего это мне шутить? — спросила она.

Лицо ее светилось, глаза округлились и засверкали, точно два алмаза.

— Его никак нельзя перемещать.

— Не понимаю почему.

— Это эксперимент, миссис Перл.

— Это мой муж, доктор Лэнди.

Нервная улыбочка тронула губы Лэнди.

— Видите ли... — начал было он.

— Ведь вы же знаете — это мой муж.

В голосе ее не слышалось гнева. Она говорила спокойно, словно напоминала ему об очевидном факте.

— Вопрос весьма щекотливый, — сказал Лэнди, облизывая губы. — Ведь вы вдова, миссис Перл. Думаю, вам следует примириться с этим обстоятельством.

Неожиданно она отвернулась от стола и подошла к окну.

— Я знаю, что говорю, — сказала она, доставая из сумочки сигареты. — Я хочу, чтобы он был дома.

Лэнди видел, как она взяла сигарету и закурила. Какая все-таки странная женщина, подумалось ему, хотя, возможно, он и заблуждался. Кажется, она довольна тем, что ее муж находится в этом суде.

Он попытался представить себе, что бы он сам чувствовал, если бы там находилась его жена и из этой капсулы на него глядел ее глаз.

Ему бы такое не понравилось.

— Может, вернемся в мой кабинет? — спросил он.

Она стояла у окна с видом вполне безмятежным и умиротворенным, попыхивая сигаретой.

— Да-да, хорошо.

Проходя мимо стола, она остановилась и еще раз заглянула в сосуд.

— Мэри уходит, моя лапочка, — сказала она. — И пусть тебя ничто не тревожит, ладно? Как только сможем, заберем тебя домой, где можно будет как следует ухаживать за тобой. И послушай, дорогой... — Тут она умолкла и поднесла сигарету ко рту, намереваясь затянуться.

В тот же миг глаз сверкнул. В самом его центре она увидела крошечную сверкающую искорку, и зрачок сжался — явно от негодования, — превратившись в маленькую булавочную головку.

Она не пошевелилась. Поднеся сигарету ко рту, она стояла, склонившись над сосудом, и следила за глазом.

Потом глубоко затянулась, задержала дым в легких секунды три-четыре, дым с шумом вырвался у нее из ноздрей двумя тоненькими струйками и, коснувшись поверхности воды в сосуде, плотным голубым облачком окутал глаз.

Лэнди стоял у двери спиной к ней и ждал.

— Идемте же, миссис Перл, — позвал он.

— Не сердись так, Уильям, — мягко произнесла она. — Нехорошо сердиться.

Лэнди повернул голову, чтобы посмотреть, что она делает.

— А теперь особенно, — шептала она. — Потому что отныне, мое сокровище, ты будешь делать только то, что Мэри будет угодно. Тебе понятно?

— Миссис Перл... — заговорил Лэнди, направляясь в ее сторону.

— Поэтому не будь больше занудой, обещаешь, радость моя? — говорила она, снова затягиваясь сигаретой. — Зануд нынче очень сурово наказывают, это ты должен знать.

Подойдя к ней, Лэнди взял ее за руку и уверенно, но осторожно стал оттаскивать от стола.

— До свиданья, дорогой, — крикнула она. — Я скоро вернусь.

— Хватит, миссис Перл.

— Ну разве он не мил? — воскликнула она, глядя на Лэнди своими блестящими глазами. — Разве он не чудо? Скорей бы он вернулся домой!

ДОРОГА В РАЙ

Всю свою жизнь миссис Фостер почти патологически боялась опоздать на поезд, самолет, пароход и даже в театр. В прочих отношениях она не была особенно нервной женщиной, но при одной только мысли о том, что куда-то может опоздать, приходила в такое возбуждение, что у нее начинался тик — в уголке левого глаза принималась дергаться жилка, словно миссис Фостер кому-то тайком подмигивала, — и больше всего ее раздражало, что тик исчезал лишь спустя примерно час после того, как она благополучно садилась в поезд или самолет.

Удивительно, как у некоторых людей обыкновенная вещь, вроде боязни опоздать на поезд, перерастает в навязчивую идею. Не меньше чем за полчаса до того, как покинуть дом и отправиться на вокзал, миссис Фостер уже была готова. Не в силах усидеть на месте, она спускалась на лифте — в шляпе, пальто и перчатках — или же беспокойно металась из комнаты в комнату, покуда муж, который, должно быть, понимал ее состояние, не появлялся наконец из своего кабинета и не говорил холодным и сухим голосом, что пора бы, пожалуй, и трогаться, не так ли?

Быть может, мистер Фостер и имел право быть недовольным столь глупым поведением своей жены, но с его стороны было все же непростительно увеличивать ее страдания, заставляя пребывать в мучительном ожидании. Впрочем, никак нельзя утверждать, что он поступал так намеренно. И все же каждый раз он всего-то и медлил минуту-другую, но рассчитывал время так точно и держался столь любезно, что было трудно поверить, будто он умышленно изводит гаденькой пыткой свою несчастную супругу. Правда, одно он знал наверняка, а именно: она никогда не посмеет раскричаться и сказать ему, чтобы он поторапливался. Он ее слишком хорошо воспитал. И еще он, должно быть, знал, что, если пропустить все сроки, ее можно довести почти до истерики. В последние годы их

супружеской жизни бывали случаи, когда, казалось, он только того и добивался, чтобы они опоздали на поезд, тем самым увеличивая страдания бедной женщины.

Возможно, муж и виноват (хотя уверенности здесь нет), однако его действия выглядели вдвойне безрассудными еще и потому, что, если исключить эту неукротимую слабость, миссис Фостер всегда была доброй и любящей женой. Более тридцати лет она служила мужу преданно и верно. Вне всяких сомнений. Она и сама, будучи весьма скромной женщиной, долгие годы отказывалась допустить, что мистер Фостер когда-нибудь станет сознательно мучить ее, но в последнее время ловила себя на том, что задумывается об этом.

Мистер Юджин Фостер, которому было почти семьдесят лет, жил со своей женой в большом шестиэтажном доме в Нью-Йорке, на Шестьдесят второй улице, и у них было четыре человека прислуги. Место мрачное, их мало кто навещал. А в то январское утро дом ожил, в нем поднялась суматоха. Одна служанка доставала кипы простыней, другая разносила их по комнатам и укрывала мебель от пыли. Дворецкий спускал вниз чемоданы и составлял в холле. Повар то и дело выглядывал из кухни, чтобы перекинуться словечком с дворецким, а сама миссис Фостер, в старомодной шубе и в черной шляпе на макушке, летала из комнаты в комнату, делая вид, будто руководит общими действиями. На самом деле она только о том и думала, что опоздает на самолет, если ее муж скоро не соберется и не выйдет из своего кабинета.

— Который час, Уокер? — спросила она у дворецкого, проходя мимо него.

— Десять минут десятого, мэм.

— А машина уже пришла?

— Да, мэм, она ждет. Я как раз собрался сложить в нее багаж.

— До Айдлуайлда целый час добираться, — сказала миссис Фостер. — Самолет вылетает в одиннадцать. Мне нужно там быть за полчаса, чтобы пройти все формальности. Я наверняка опоздаю. Просто уверена, что опоздаю.

— По-моему, у вас много времени, мэм, — любезно проговорил дворецкий. — Я предупредил мистера Фостера, что вы должны выехать в девять пятнадцать. У вас еще пять минут.

— Да, Уокер, я знаю. Однако поторопись с багажом, прошу тебя.

Она слонялась взад-вперед по холлу и всякий раз, когда мимо нее проходил дворецкий, спрашивала у него, который час. На этот рейс, без конца повторяла она про себя, никак нельзя опоздать. У нее не один месяц ушел на то, чтобы уговорить мужа разрешить ей уехать. Если она опоздает, он запросто может решить, что ей все это не нужно. А беда еще и в том, что он сам настоял, чтобы проводить ее до аэропорта.

— О боже, — громко произнесла миссис Фостер, — я опоздаю. Я знаю, знаю, знаю, что опоздаю.

Жилка сбоку от левого глаза безумно задергалась. Казалось, из глаз вот-вот брызнут слезы.

— Который час, Уокер?

— Восемнадцать минут десятого, мэм.

— Теперь я точно опоздаю! — воскликнула она. — Скорей бы он выходил!

Для миссис Фостер это было важное путешествие. Она совсем одна отправлялась в Париж, чтобы навестить свою единственную дочь, которая была замужем за французом. Француз не очень-то нравился миссис Фостер, а вот дочь она обожала и, кроме того, истосковалась по трем своим внукам. Она их знала только по фотографиям, которые расставила по всему дому. Они были красивые, эти ее внуки. Она в них души не чаяла и каждый раз, когда получала новую фотографию, уносила ее в свою комнату и долго сидела, выискивая в детских лицах приметы того кровного сходства, которое так много значит. А в последнее время она все больше и больше осознавала, что желает проводить остаток своих дней рядом с детьми: ей нужно видеть их, брать на прогулку, покупать им подарки и смотреть, как они растут. Она, конечно же, понимала, что думать так, куда муж жив, нехорошо и в некотором смысле нечестно. Муж уже не был так активен в своих предприятиях, но ни за что не согласился бы оставить Нью-Йорк и поселиться в Париже. Удивительно, что он вообще отпускал ее туда одну на шесть недель. А ей так хотелось поселиться там и быть рядом с внуками!

— Уокер, который час?

— Двадцать две минуты десятого, мэм.

Едва он ответил, как дверь открылась и в холл вышел мистер Фостер. Он постоял с минуту, внимательно глядя на жену, а она в свою очередь смотрела на него — на этого тщедушного и все еще

подвижного старика с бородатым лицом, столь удивительно похожего на Эндрю Карнеги¹ на старых фотографиях.

— Так-так, — произнес он, — нам, пожалуй, лучше поторопиться, если ты хочешь успеть на самолет.

— Да, дорогой, да! Все готово. Машина ждет.

— Вот и хорошо, — сказал мистер Фостер.

Склонив голову набок, он пристально глядел на жену. Он имел обыкновение вытягивать шею, а потом быстро и едва заметно дергать головой. По этой причине, а также по тому, как он стискивал пальцы, подняв руки до уровня груди, он походил на белку — на проворную умную белку, которую можно увидеть в парке.

— Вот и Уокер с твоим пальто, дорогой. Одевайся.

— Через минуту вернусь, — сказал он. — Только руки вымою.

Она принялась ждать. Высокий дворецкий стоял рядом с ней, держа пальто и шляпу.

— Уокер, я опоздаю?

— Нет, мэм, — ответил дворецкий. — Думаю, успеете в самый раз.

Затем мистер Фостер появился снова, и дворецкий помог ему надеть пальто. Миссис Фостер торопливо вышла из дому и уселась в нанятый ими «кадиллак». Муж вышел вслед за ней, но по ступенькам спускался медленно. Посреди лестницы он остановился, чтобы взглянуть на небо и вдохнуть холодный утренний воздух.

— Похоже, небольшой туман, — произнес он, усаживаясь рядом с ней в машине. — А в аэропорту в таких случаях обычно бывает еще хуже. Не удивлюсь, если рейс уже отменили.

— Не говори этого, дорогой, прошу тебя.

Больше они не произнесли ни слова, пока машина не достигла Лонг-Айленда.

— С прислугой я все обговорил, — сказал мистер Фостер. — С сегодняшнего дня все свободны. Я выплатил им половину жалованья за шесть недель и предупредил Уокера, что пришлю ему телеграмму, когда они нам снова понадобятся.

— Да-да, — сказала она. — Он говорил мне.

— Сегодня же вечером переберусь в клуб. Приятно иногда переменить обстановку.

¹ Эндрю Карнеги (1835–1919) — американский промышленник и филантроп шотландского происхождения.

— Да, дорогой. Я напишу тебе.

— Время от времени я буду заходить домой, чтобы проверить, все ли в порядке, и забирать почту.

— А тебе не кажется, что Уокеру лучше остаться в доме и присматривать за ним? — робко спросила она.

— Ерунда. Это совершенно не нужно. И потом, мне придется платить ему полное жалованье.

— Ах да, — сказала она. — Ну конечно.

— Скажу больше, никогда не знаешь, чем они занимаются, когда оставляешь их в доме одних, — заявил мистер Фостер и с этими словами достал сигару. Отрезав кончик серебряными ножницами, он прикурил ее от золотой зажигалки.

Миссис Фостер сидела неподвижно, крепко стиснув под пледом руки.

— Ты будешь мне писать? — спросила она.

— Посмотрим, — ответил муж. — Но вряд ли. Ты же знаешь, я не очень-то люблю писать, когда мне нечего сказать.

— Да, дорогой, знаю. Пожалуйста, не бери в голову.

Они ехали вдоль Королевского бульвара, и, когда приближались к болотистой местности, на которой возведен Айдлуайлд, туман начал сгущаться, и ехать пришлось медленнее.

— О боже! — воскликнула миссис Фостер. — Теперь я наверняка опоздаю! Который час?

— Прекрати суетиться, — сказал старик. — Теперь это ни к чему. Рейс наверняка отменили. В такую погоду не летают. Не понимаю, зачем вообще нужно было выходить из дому.

Ей показалось, что в голосе его неожиданно прозвучали новые нотки, и она обернулась. Трудно было различить какую-либо перемену в выражении бородатого лица. Главное — рот. Ей захотелось — как бывало и раньше — увидеть его рот. Глаза его никогда ничего не выражали, кроме тех случаев, когда он приходил в ярость.

— Разумеется, — продолжал мистер Фостер, — если он вдруг все-таки полетит, тогда я согласен с тобой — ты наверняка опоздала. Почему бы тебе с этим не примириться?

Она отвернулась и стала смотреть в окно, за которым висел туман. Чем дальше они ехали, тем больше туман сгущался, и теперь она видела только край дороги и полоску травы, тянувшейся вдоль нее. Она чувствовала, что муж по-прежнему наблюдает за ней. Гля-

нув на него, она заметила, что он внимательно смотрит в уголок ее левого глаза, где, как она чувствовала, у нее дрожит жилка. Ей сделалось страшно.

— Так как? — спросил он.

— Что как?

— Как насчет того, чтобы примириться с тем, что ты наверняка опоздаешь на самолет? Есть ли смысл нестись в такой мгле?

После этой фразы мистер Фостер умолк. Машина двигалась все дальше. Желтые фары освещали дорогу, и шофер вглядывался в нее. Впереди из тумана выплывали огни, то белые, то желтые, а в зеркале заднего вида за «кадиллаком» все время следовал свет, казавшийся особенно ярким.

Неожиданно шофер остановил машину.

— Ну вот! — вскричал мистер Фостер. — Мы застряли. Я так и знал.

— Нет, сэр, — сказал шофер, обернувшись. — Мы приехали. Это аэропорт.

Не говоря ни слова, миссис Фостер выскочила из машины и торопливо направилась через главный вход в здание аэропорта. Внутри было множество народу. Несчастные пассажиры столпились вокруг стоек, где проверяют билеты. Миссис Фостер протолкалась между ними и обратилась к работнику аэропорта.

— Да, — сказал он. — Ваш рейс временно отложен. Но, пожалуйста, не уходите. Мы ожидаем, что погода в любую минуту улучшится.

Она вернулась к мужу, который по-прежнему сидел в машине, и сообщила новости.

— Не жди-ка ты, дорогой, — сказала она. — В этом нет никакого смысла.

— И не буду, — ответил он. — Если только шофер отвезет меня назад. Отвезете меня назад, водитель?

— Думаю, что да, — ответил тот.

— Багаж вы достали?

— Да, сэр.

— До свиданья, дорогой, — сказала миссис Фостер и, просунув голову в машину, коснулась губами его седой бороды.

— До свиданья, — проговорил он в ответ. — Приятной тебе поездки.

Машина тронулась, и миссис Фостер осталась одна.

Остаток дня явился для нее кошмаром. Час проходил за часом, а она все сидела на скамейке, расположившись поближе к стойке регистрации, и примерно каждые полчаса поднималась и спрашивала у служащего, не изменилась ли ситуация. Ответ она неизменно получала один и тот же: нужно подождать, потому что туман может рассеяться в любую минуту. Только после шести вечера наконец-то объявили, что вылет задерживается до одиннадцати часов утра.

Услышав эту новость, миссис Фостер не знала, что и делать. Она еще, наверное, с полчаса сидела на скамье, устало размышляя о том, где бы провести ночь. Ей ужасно не хотелось покидать аэропорт. И мужа видеть не хотелось. Она боялась, что тем или иным способом он помешает ей отправиться во Францию. Она бы предпочла всю ночь просидеть на скамье. Это лучше всего. Но она вконец измучилась и, решив, что негоже так вести себя пожилой женщине, позвонила домой.

Муж как раз собирался в клуб. Трубку он снял сам. Она сообщила ему новости и спросила, есть ли дома еще кто-нибудь.

— Все ушли, — сказал он.

— В таком случае, дорогой, я где-нибудь устроюсь на ночь. И не волнуйся за меня.

— Это просто глупо, — сказал он. — В твоем распоряжении огромный дом.

— Но, дорогой, он же пустой.

— Тогда я с тобой останусь.

— В доме нет еды. Ничего нет.

— Тогда поешь где-нибудь, прежде чем возвращаться. Не будь же такой глупой, дорогая моя. Ты, кажется, только к тому и стремишься, чтобы по любому поводу себя изводить.

— Да, — согласилась она. — Прости меня. Я съем здесь сэндвич, а потом приеду.

Туман немного рассеялся, и все же поездка в такси показалась ей долгой. В дом на Шестьдесят второй улице она прибыла уже довольно поздно.

Муж, услышав, что она вернулась, вышел из своего кабинета.

— Ну, — спросил он, остановившись в дверях, — как там Париж?

— Вылет в одиннадцать утра, — ответила она. — Это уже точно.

— Ты хочешь сказать, если разойдется туман.

— Он уже расходится. Поднялся ветер.
— У тебя усталый вид, — сказал мистер Фостер. — Ты, должно быть, переволновалась сегодня.

— Да, день был беспокойный. Пожалуй, пойду лягу спать.

— Я заказал машину на утро, — сказал он. — На девять часов.

— О, спасибо тебе, дорогой. И я очень надеюсь, ты не будешь опять провожать меня до самого аэропорта.

— Нет, — медленно произнес он. — Скорее всего, нет. Однако по дороге ты могла бы забросить меня в клуб.

Она взглянула на него, и ей показалось, будто он где-то далеко, будто что-то их разделяет. Он вдруг настолько отдалился от нее, что миссис Фостер не смогла бы сказать наверняка, тот это человек, которого она так хорошо знала, или кто-то другой.

— Клуб в центре города, — сказала она. — Это не по пути в аэропорт.

— Но у тебя ведь будет много времени, моя дорогая. Ты что, не хочешь довезти меня до клуба?

— Нет-нет, довезу, разумеется.

— Вот и хорошо. Тогда увидимся утром в девять.

Она поднялась в свою спальню на втором этаже. Усталость, накопленная за день, сморила ее, и она уснула, как только легла.

На следующее утро миссис Фостер поднялась рано и к половине девятого уже была внизу, готовая отправиться в путь. Вскоре после девяти появился муж.

— Ты приготовила кофе? — спросил он.

— Нет, дорогой. Я думала, ты позавтракаешь в клубе. Машина пришла. Она уже ждет. Я готова.

Они стояли в холле — в последнее время они, похоже, только в холле и встречались. Она была в шляпе и пальто, с сумочкой в руках, он — в странно скроенном пиджаке по эдвардианской моде с высокими лацканами.

— Где твой багаж?

— В аэропорту.

— Ах да, — сказал он. — Ну конечно. Если ты хочешь сначала завезти меня в клуб, то, думаю, хорошо бы нам поскорее выехать, а?

— Да! — вскричала она. — Да, да, прошу тебя!

— Я только возьму с собой сигары. Сейчас вернусь. Садись в машину.

Она повернулась и вышла к ожидавшему ее шоферу. Тот открыл дверцу автомобиля.

— Который час? — спросила она.

— Почти четверть десятого.

Мистер Фостер вышел спустя пять минут, и, глядя, как он медленно спускается по ступенькам, она обратила внимание на то, что ноги его в узких, дудочками, брюках похожи на козлиные. Как и накануне, он остановился посреди лестницы, чтобы втянуть в себя воздух и посмотреть на небо. Еще не совсем прояснилось, но сквозь легкий туман уже пробивались солнечные лучи.

— Может, на этот раз тебе и повезет, — сказал он, усаживаясь рядом с ней в машину.

— Поторопитесь, пожалуйста, — сказала она шоферу. — Оставьте в покое плед. Я сама с ним разберусь. Пожалуйста, трогайтесь. Я опаздываю.

Шофер уселся за руль и завел мотор.

— Одну минутку! — неожиданно воскликнул мистер Фостер. — Водитель, подождите-ка.

— В чем дело, дорогой?

Она увидела, как он ищет что-то в карманах пальто.

— Мне бы хотелось, чтобы ты передала Эллен небольшой подарок, — сказал он. — Да куда же он запропастился? Только что держал в руках, когда спускался.

— Я не видела, чтобы у тебя было что-нибудь в руках. Что еще за подарок?

— Небольшая коробочка, завернутая в белую бумагу. Вчера забыл тебе ее отдать.

— Что еще за коробочка! — нервно заговорила миссис Фостер. — Не видела я никакой коробочки!

Она принялась лихорадочно рыскать на заднем сиденье. Муж продолжал ощупывать карманы пальто. Затем он расстегнул пальто и стал осматривать карманы пиджака.

— Черт побери, — произнес он, — должно быть, я оставил ее в спальне. Я мигом вернусь.

— О, прошу тебя! — вскричала миссис Фостер. — У нас нет времени! Пожалуйста, забудь о ней! Вышлешь почтой. Наверное, просто какая-нибудь гребенка. Ты всегда дарил ей гребенки.

— А что плохого в гребенках, позволь узнать? — спросил мистер Фостер, выходя из себя, ибо на этот раз она, кажется, забылась.

- Ничего, дорогой, уверяю тебя. Только...
- Сиди здесь! — велел он. — Сейчас я ее принесу.
- побыстрее, дорогой! Прошу тебя, быстрее!

Она сидела не шевелясь и ждала, ждала...

- Водитель, который час?

Шофер взглянул на наручные часы:

- На моих почти полдесятого.
- За час мы в аэропорт доберемся?
- В самый раз.

В этот момент миссис Фостер увидела кусочек чего-то белого, застрявшего между спинкой и сиденьем с той стороны, где сидел муж. Она потянулась и достала завернутую в бумагу коробочку, обратив внимание на то, что та была засунута так глубоко, будто ее специально туда затолкали.

— Вот она! — воскликнула миссис Фостер. — Я нашла ее! О господи, да он теперь будет целую вечность там ее искать! Водитель, сбегайте быстрее и позовите его.

Шофер, ирландец невысокого роста, сердито скривив рот, нехотя вылез из машины и поднялся по ступенькам к парадной двери дома. Затем повернулся и возвратился назад.

- Дверь заперта, — объявил он. — У вас есть ключ?
- Да, сейчас найду.

Миссис Фостер принялась торопливо рыскать в сумке. На лице ее была написана тревога, губы вытянулись трубочкой.

— Вот он! Нет-нет, я сама схожу. Так будет быстрее. Я знаю, где он.

Она поспешно выбралась из машины и поднялась по ступенькам к парадной двери, держа в руке ключ. Вставив ключ в скважину, она уже собралась было повернуть его, но замерла на месте. Подняв голову, миссис Фостер застыла в полной неподвижности. Она выждала пять, шесть, семь, восемь, девять, десять секунд... Потом вскинула голову и вся напряглась, прислушиваясь, не повторится ли тот донесшийся откуда-то из дома звук, который она только что слышала.

Да-да, она явно к чему-то прислушивалась. Казалось, она и ухом тянется все ближе и ближе к двери. Вот она вплотную приставила ухо к двери и несколько секунд простояла в этой позе — голова вскинута, ухо приставлено к двери, рука сжимает ключ... Вот-вот

она войдет в дом, но пока не заходит, вслушиваясь в некие звуки, слабо доносящиеся откуда-то из его глубины...

Затем миссис Фостер встрепенулась и, вынув ключ из замка, сбежала по ступенькам.

— Уже слишком поздно! — крикнула она шоферу. — Не могу ждать его, просто не могу. Я опоздаю на самолет. Быстрее, водитель, быстрее! В аэропорт!

Шофер, посмотри он на нее пристальнее, мог бы заметить, что лицо ее сделалось совершенно белым. Оно уже не казалось таким безвольным и глуповатым. Печать суровости легла на него. Миссис Фостер поджала свой ротик, уголки которого обыкновенно были опущены, глаза ее засверкали, а в голосе, когда она заговорила, появились властные нотки.

— Живее, водитель, живее!

— А ваш муж разве с вами не едет? — удивленно спросил шофер.

— Разумеется, нет! Я только собиралась высадить его у клуба. Теперь это уже не имеет значения. Он меня поймет. Возьмет такси. Да не разговаривайте же вы! Смотрите на дорогу! Мне нужно успеть на самолет, вылетающий в Париж!

Подгоняемый миссис Фостер, расположившейся на заднем сиденье, шофер быстро добрался до аэропорта, и она успела на свой самолет, когда до вылета оставалось лишь несколько минут. Скоро, удобно откинувшись в кресле, она была высоко над Атлантикой. Наконец-то она направляется в Париж, думала она под гул моторов. Незнакомое душевное состояние владело ею. Она чувствовала себя необычайно уверенно, просто замечательно. Такое состояние ее чуточку настораживало, но чем дальше самолет улетал от Нью-Йорка и Шестьдесят второй улицы, тем больше она успокаивалась. Добравшись до Парижа, миссис Фостер чувствовала себя настолько уверенной, хладнокровной и спокойной, насколько это было в ее силах.

Она увидела своих внуков, и в реальности они оказались еще более красивыми, чем на фотографиях. Да это просто ангелы, говорила она себе, такие они красивые. И каждый день она выводила их гулять, кормила пирожными, покупала им подарки и рассказывала чудесные истории.

Раз в неделю, по вторникам, она писала письма своему мужу — милые непосредственные письма, полные новостей и сплетен, и они

всегда кончались словами: «Не забывай вовремя поесть, дорогой, хотя, боюсь, именно этого ты, наверное, и не станешь делать, пока меня нет с тобой».

Когда шесть недель миновали, все огорчились, что ей нужно возвращаться в Америку, к мужу. То есть все, кроме нее самой. Удивительно, но она, сверх ожидания, против этого ничего не имела, и, когда со всеми прощалась, что-то в ее поведении и словах указывало на возможность ее возвращения в не столь отдаленном будущем.

Однако, будучи преданной женой, она не задержалась дольше положенного времени. Ровно через шесть недель она отослала телеграмму мужу и села в самолет на Нью-Йорк.

Прибыв в Айдлуайлд, миссис Фостер с интересом обнаружила, что никто ее не встречает. Возможно, это даже показалось ей забавным. Однако она была необычайно спокойна и не переборщила с чаевыми носильщику, который помог ей отнести багаж к такси.

В Нью-Йорке было холоднее, чем в Париже, и в сточных канавах вдоль улиц лежали кучи грязного снега. Такси подкатило к дому на Шестьдесят второй улице, и миссис Фостер уговорила шофера отнести два ее тяжелых чемодана на лестницу. Потом она рассчиталась с ним и нажала на звонок. Она подождала, но на звонок никто не откликнулся. На всякий случай она позвонила еще раз и услышала, как звонок пронзительно звенит далеко в буфетной. А к двери так никто и не подошел. Она достала свой ключ и сама отперла дверь.

Первое, что она увидела, войдя внутрь, — это груды писем на полу, лежавших там, где они выпали из щели почтового ящика. В доме было темно и холодно. Дедушкины часы были по-прежнему накрыты накидкой от пыли. Атмосфера царил гнетущая, и в воздухе чувствовался какой-то слабый запах, прежде незнакомый.

Миссис Фостер быстро пересекла холл и на мгновение исчезла слева за углом. Что-то было нарочитое в этом ее действии; у нее был вид женщины, которая отправилась проверить слухи или утвердиться в подозрении. А когда она вернулась несколько секунд спустя, на лице ее слабо светилось удовлетворение.

Она постояла в холле, точно размышляя, что же предпринять дальше. Затем повернулась и пошла в кабинет мужа. Взяв адресную книгу на письменном столе, неторопливо полистала ее, потом подняла трубку и набрала номер.

— Алло, — сказала она. — Говорят из дома девять по Шестьдесят второй улице... Да-да. Не могли бы вы прислать кого-нибудь побыстрее? Да, кажется, он застрял между вторым и третьим этажом. Во всяком случае, так я думаю... Сейчас приедете? О, это очень любезно с вашей стороны. Видите ли, мне уже тяжело подниматься по лестнице с моими ногами. Большое вам спасибо. До свиданья.

Она положила трубку и так и осталась сидеть за письменным столом мужа, дожидаясь рабочего, который должен был скоро прийти, чтобы починить лифт.

ЧЕТВЕРТЫЙ КОМОД ЧИППЕНДЕЙЛА

Мистер Боггис медленно вел машину, удобно откинувшись на сиденье и выставив локоть в открытое окно. Какие красивые места, думал он, как приятно снова видеть первые приметы лета. Особенно примулы. И боярышник. Боярышник расцветал вдоль изгородей белыми, розовыми и красными цветами, а примулы росли то там, то сям под ними, и это было прекрасно.

Он убрал руку с руля и закурил. Самое лучшее сейчас, сказал он про себя, — это попасть на вершину Брилл-Хилла. Он видел его в полумиле впереди. А это, должно быть, деревня Брилл — вон то скопление домов среди деревьев на самой вершине. Замечательно. Нечасто в ходе воскресных вылазок ему доставалась столь отличная точка обзора.

Мистер Боггис остановил автомобиль, чуть не доехав до вершины холма, на окраине деревни. Выйдя из машины, он огляделся. Внизу на несколько миль расстилалась огромным зеленым ковром сельская местность. Великолепное зрелище! Он достал из кармана блокнот и карандаш, прислонился к задней дверце машины и натренированным взглядом неторопливо осмотрел пейзаж.

Внизу справа он увидел фермерский дом средних размеров, стоявший в дальнем конце поля. С дороги к нему тянулась колея. За ним — дом побольше. Был еще один дом, окруженный высокими вязами, на вид — времен королевы Анны¹, а слева стояли два фермерских дома, похожие друг на друга. Итого пять объектов в этом направлении.

Мистер Боггис набросал примерный план в блокноте, пометив расположение каждого дома, чтобы легко можно было найти их, когда он спустится вниз, после чего снова сел в машину и поехал через деревню на другую сторону холма. Там он отметил для себя

¹ *Анна* (1665–1714) — английская королева (с 1702 г.). В архитектуре для эпохи королевы Анны характерны здания из красного кирпича.

еще шесть интересных объектов: пять ферм и большой белый дом в георгианском стиле¹. Он осмотрел его в бинокль. Дом имел опрятный зажиточный вид, да и сад хорошо ухожен. Жаль. Он сразу же вычеркнул его из списка. Какой смысл заходить в зажиточный дом?

Значит, в этом квадрате, на этом участке, всего десять объектов. Десять — отличное число, сказал про себя мистер Боггис. Именно столько можно, не спеша, осмотреть за день. Сколько сейчас времени? Двенадцать часов. Для начала хорошо бы выпить пинту пива в трактире, однако в воскресенье до часа не откроют. Ладно, пива можно выпить и потом. Он пробежал глазами свои записи в блокноте и начать решил с дома в стиле королевы Анны, того, что окружен вязами. В бинокль он казался ветхим, но не утратившим своей прелести. Быть может, тем, кто там живет, не помешают лишние деньги. Ему, впрочем, всегда везло с домами в стиле королевы Анны. Мистер Боггис опять забрался в машину, отпустил ручной тормоз и, не заводя мотора, стал медленно съезжать с холма.

Если не считать того, что он был переодет священником, ничего особенно мрачного в облике мистера Сирила Боггиса не было. По профессии торговец старинной мебелью, он имел собственный магазин и демонстрационный зал на Кингз-роуд в Челси. Помещения, которыми он владел, были невелики, в работе он старался не переусердствовать, и поскольку всегда покупал дешево, очень, очень дешево, а продавал очень, очень дорого, то умудрялся каждый год иметь вполне приличный доход. Он был талантливым коммерсантом и, покупая или продавая какую-нибудь вещь, легко приспособивался к клиенту. С пожилыми мог быть серьезным и обаятельным, с богатыми — подобоострастным, с благочестивыми — сдержанным, со слабовольными — властным, с вдовыми — легкомысленным, со старыми девами — лукавым и беспечным. Он отлично понимал, каким даром владеет, и беззастенчиво пользовался им по любому поводу; частенько, по окончании какого-нибудь особенно удавшегося выступления, он с трудом удерживался от того, чтобы не вернуться к зрительному залу и не поклониться публике, приветствовавшей его громом аплодисментов.

Хотя мистер Боггис имел склонность к лицедейству, дураком он не был. О нем кто-то сказал, что едва ли кто другой в Лондоне

¹ То есть времени первых четырех Георгов (с 1714 по 1830 г.). В архитектуре этот стиль выразался в классической строгости.

знает лучше его французскую, английскую и итальянскую мебель. У него был на редкость хороший вкус, он быстро подмечал недостаток изящества и в таких случаях отвергал предмет, самый что ни на есть подлинный. Его истинной любовью были, естественно, произведения великих английских мастеров восемнадцатого столетия — Инса¹, Мейхью², Чиппендейла, Роберта Адама³, Манваринга⁴, Иниго Джонса⁵, Хепплуайта⁶, Кента⁷, Джонсона⁸, Джорджа Смита⁹, Локка¹⁰, Шератона и других, но даже и тут он иногда бывал разборчив. Он ни за что, к примеру, не мог допустить того, чтобы у него в салоне появился хотя бы один предмет, относящийся к китайскому или готическому периоду Чиппендейла. Таким же было и его отношение к тяжеловесным итальянским композициям Роберта Адама.

В последние несколько лет мистер Боггис добился значительно уважения среди коллег в силу своей способности находить необычные и часто весьма редкие предметы с поразительной регулярностью. Полагали даже, что у него был почти неистощимый источник снабжения, что-то вроде частного хранилища, и казалось, что ему оставалось лишь съездить туда раз в неделю и взять то, что нужно. Всякий раз, когда его спрашивали, где он достал такую-то вещь, он понимающе улыбался, подмигивал и бормотал что-то насчет того, что это маленький секрет.

В основе маленького секрета мистера Боггиса лежал нехитрый замысел, а сама мысль пришла ему в голову как-то воскресным днем, почти девять лет назад, когда он отправился за город.

В то утро он поехал в Севноукс, чтобы навестить свою престарелую мать, и по пути назад в его машине лопнул приводной ре-

¹ Уильям Инс (1760-е) — английский конструктор мебели.

² Томас Мейхью (годы жизни неизвестны) — английский конструктор мебели. Работал вместе с У. Инсом.

³ Роберт Адам (1728–1792) — английский архитектор и конструктор мебели.

⁴ Роберт Манваринг (1760-е) известен главным образом как конструктор стульев; современник Чиппендейла.

⁵ Иниго Джонс (1573–1652) — английский архитектор.

⁶ Джордж Хепплуайт (?–1786) — английский мебельный мастер.

⁷ Уильям Кент (1685–1748) — английский архитектор, дизайнер, садовый мастер.

⁸ Томас Джонсон (1714–1778) — английский конструктор мебели.

⁹ Джордж Смит (годы жизни неизвестны) — английский мебельный мастер.

¹⁰ Маттас Локк (годы жизни неизвестны) — английский мебельный мастер. Работал вместе с Чиппендейлом.

мень. Мотор перегрелся, и вода из радиатора выкипела. Мистер Боггис вышел из машины и направился к ближайшей фермерской постройке, ярдах в пятидесяти от дороги. У женщины, открывшей ему дверь, он попросил кувшин воды.

В ожидании, когда она принесет воду, мистер Боггис случайно заглянул в гостиную и там, ярдах в пяти от того места, где он стоял, узрел нечто, что привело его в такое волнение, что даже на макушке у него выступил пот. Это было солидное дубовое кресло. Нечто подобное он видел только раз в жизни. Оба подлокотника, как и спинка, опирались на ряд из восьми великолепно вырезанных опор. Сама спинка была инкрустирована весьма тонким растительным орнаментом, а половину длины каждого подлокотника занимала вырезанная из дерева голова утки. Боже мой, подумал он, да это же конец пятнадцатого века!

Он просунул голову подальше в дверь, а там, по другую сторону камина, ей-богу, стояло еще одно такое же кресло!

Точно он не мог сказать, но оба кресла должны стоять в Лондоне по меньшей мере тысячу фунтов. И до чего же хороши!

Когда женщина вернулась, мистер Боггис представился и без обиняков спросил, не хотела бы она продать кресла.

О господи, сказала она. Да зачем ей продавать кресла? Совсем незачем, разве что он хорошо за них заплатит. Сколько он даст? Они, конечно, не продаются, но так, из любопытства, шутки ради, сколько бы он дал?

Тридцать пять фунтов.

Сколько-сколько?

Тридцать пять фунтов.

Боже праведный, тридцать пять фунтов. Так-так, очень занятно. Она всегда думала, что они представляют собой ценность. Они ведь очень старые. А удобные какие. Нет, без них ей не обойтись, никак не обойтись. Нет-нет, они не продаются, но все равно спасибо.

Не такие уж они и старые, сказал ей тогда мистер Боггис, да и продать их будет нелегко, а у него есть клиент, которому такие вещи нравятся. Можно было бы накинуть еще пару фунтов. Пусть будет тридцать семь. Так как?

Они поторговались с полчаса, и, разумеется, в конце концов мистер Боггис заполучил кресла, согласившись заплатить ей раз в двадцать меньше их реальной стоимости.

В тот же вечер, когда он возвращался в Лондон в своем старом фургоне с двумя сказочными креслами, аккуратно уложенными в задней части машины, мистера Боггиса неожиданно поразила идея, показавшаяся ему поистине замечательной.

Да ты сам подумай, сказал он про себя. Если есть хорошие вещи в одном фермерском доме, почему бы им не быть и в других? Почему бы ему не поискать? Почему бы не прочесать сельскую местность? Он мог бы делать это по воскресеньям. Работе это никак не помешает. К тому же он просто не знал, чем занять себя в воскресенье.

И мистер Боггис купил карты — масштабные карты всех графств вокруг Лондона — и тонким пером поделил их на ряд квадратов. Каждый квадрат в натуре занимал площадь пять миль на пять — примерно с такой территорией, по его подсчетам, он мог справиться за одно воскресенье, если тщательно ее прочесывать. Города и крупные деревни его не интересовали. Более или менее изолированные места, большие фермерские дома и в меру обветшалые родовые усадьбы — вот что ему было нужно. Таким образом, если обследовать один квадрат за воскресенье, пятьдесят два квадрата в год, можно постепенно осмотреть все фермерские дома вокруг Лондона.

Однако нужно было предусмотреть и кое-что еще. Деревенские жители — народ подозрительный. Не станешь же бродить вокруг, звонить в двери и ждать, что тебя проведут внутрь и все покажут, стоит лишь попросить. Нет, так и порога не переступишь. Но как же тогда добиться приглашения? Может, лучше всего вовсе не говорить им, что он торговец? Можно представиться телефонным мастером, водопроводчиком, газовым техником. Даже священником...

Постепенно план принимал практические очертания. Мистер Боггис заказал превосходного качества карточки, на которых был выведен следующий текст.

Его преподобие
СИРИЛ УИННИНГТОН БОГГИС
*Президент Общества
по сохранению редкой мебели
В сотрудничестве
с Музеем Виктории и Альберта*

Отныне каждое воскресенье он будет перевоплощаться в любезного пожилого священника, который проводит свободное время в трудах из любви к обществу, путешествует, составляет описи сокровищ, которые хранятся в недрах деревенских домов Англии. И кто осмелится вышвырнуть его вон, услышав такое?

Да никто.

Но потом, как только он попадет в дом, где ему случится угладеть что-нибудь эдакое, что-нибудь нужное, потом... Ему были известны сто различных способов, как действовать дальше.

К немалому удивлению мистера Боггиса, план сработал. Да и дружелюбие, с каким его принимали в сельских домах, заставляло смутиться даже его. Кусок холодного пирога, стаканчик портвейна, чашка чаю, корзинка слив, даже полный воскресный обед со всем семейством — все это постоянно ему навязывалось. Случались, конечно, и кое-какие досадные инциденты, однако девять лет — это больше чем четыреста воскресений, а посещенных домов и того больше. В целом же предприятие оказалось интересным, волнующим и выгодным.

И вот как-то в воскресенье мистер Боггис оказался в графстве Бакингемшир, в одном из самых северных квадратов на его карте, милях в десяти от Оксфорда. Съезжая с холма и направляясь к ветхому строению в стиле королевы Анны, он чувствовал, что этот день станет для него весьма удачным.

Он оставил машину ярдах в ста от ворот и остаток пути решил проделать пешком. Он не хотел, чтобы видели его машину, пока сделка не завершена. Добрый старый священник и вместительный пикап почему-то не сочетаются. К тому же прогулка давала ему время внимательно осмотреть недвижимость снаружи и напустить на себя вид, приличествующий случаю.

Мистер Боггис живо шагал по дорожке. Это был человек невысокого роста, толстоногий и с брюшком. Лицо у него было круглое и розовое, весьма подходящее для его роли, а карие выпуклые глаза на розовом лице производили впечатление кроткого тупоумия. Он был одет в черный костюм с обычным для священника высоким стоячим воротником. На голове — мягкая черная шляпа. В руке он держал старинную дубовую трость, что придавало ему, по его мнению, довольно непринужденный и беззаботный вид.

Приблизившись к парадной двери, мистер Боггис позвонил в звонок. Раздался звук шагов в холле, дверь открылась, и перед

ним или, скорее, над ним возникла гигантская женщина в бриджах для верховой езды. Он почуял сильный запах конюшни и конского навоза, хотя она и курила сигарету.

— Да? — спросила женщина, подозрительно глядя на него. — Что вам угодно?

Мистер Боггис, ожидавший, что она вот-вот негромко заржет, приподнял шляпу, слегка поклонился и протянул ей свою карточку.

— Прошу прощения за беспокойство, — сказал он и умолк, рассматривая ее лицо, пока она читала написанное.

— Не понимаю, — сказала она, возвращая ему карточку. — Что вам угодно?

Мистер Боггис объяснил, чем занимается Общество по сохранению редкой мебели.

— Это, часом, не имеет какого-нибудь отношения к социалистической партии? — спросила она, сурово глядя на него из-под бледных кустистых бровей.

Дальше было просто. Тори¹ в бриджах для верховой езды, будь то мужчина или женщина, — легкая добыча для мистера Боггиса. Он потратил минуты две на бесстрастное восхваление крайне правого крыла Консервативной партии, потом еще две — на осуждение социалистов. В качестве решающего довода особо упомянул законопроект о запрещении охоты в стране, который социалисты однажды внесли на рассмотрение, и далее сообщил своей слушательнице, что рай, в его представлении — «только не говорите об этом епископу, моя дорогая», — это место, где можно охотиться на лис, оленей и зайцев со сворами неутомимых собак с утра до вечера каждый день, включая воскресенье.

Глядя на нее, он видел, как по мере того, как он говорит, происходят удивительные вещи. Женщина начала ухмыляться, демонстрируя мистеру Боггису ряд огромных пожелтевших зубов.

— Сударыня, — вскричал он, — прошу вас, умоляю, не заставляйте меня говорить о социализме.

В этот момент женщина разразилась хохотом, подняла громадную красную руку и с такой силой хлопнула его по плечу, что он едва не опрокинулся.

— Входите! — вскричала она. — Не знаю, что вам нужно, но входите!

¹ Член Консервативной партии.

К несчастью, во всем доме не оказалось ничего сколько-нибудь ценного, и мистер Боггис, никогда не тративший время попусту на бесплодной почве, скоро стал извиняться и раскланиваться. Весь визит занял меньше пятнадцати минут. Больше и не надо, говорил он про себя, усаживаясь в машину и направляясь дальше.

Ближайший фермерский дом находился в полумиле вверх по дороге. Это было здание солидного возраста, наполовину деревянное, наполовину кирпичное, и почти всю его южную стену закрывало великолепное грушевое дерево, еще в цвету.

Мистер Боггис постучал в дверь. Подождал, но никто не отзывался, снова постучал, опять без ответа. Он обошел дом, намереваясь поискать фермера в коровнике, но и там никого не было. Он решил, что все еще в церкви, и принялся заглядывать в окна с намерением увидеть что-нибудь интересное. В столовой — ничего такого. В библиотеке тоже. Он заглянул еще в гостиную и там, прямо у себя под носом, в нише, образуемой окном, увидел прекрасную вещь — полукруглый карточный столик красного дерева, богато декорированный, да еще в стиле Хепшлуайта, работы примерно 1780 года.

— Так-так, — громко произнес он, сильно прижимаясь лицом к стеклу. — Молодец, Боггис.

Но это не все. Там же стоял и один-единственный стул, и, если он не ошибается, стул был еще более тонкой работы, чем столик. Еще одно произведение Хепшлуайта? И какая прелесть! Ажурная спинка с круглым орнаментом искусно вырезана из жимолости, ножки весьма изысканно изогнуты, а две задние имели тот особый наклон вперед, который так ценен. Изящная вещь.

— И вечер не наступит, — мягко проговорил мистер Боггис, — а я уже буду иметь удовольствие сидеть на этом прекрасном стуле.

Он никогда не покупал стул, не посидев на нем. Это было его любимым занятием, и всегда увлекательно было видеть, как он осторожно опускается на сиденье, испытывая его на «пружинистость», со знанием дела оценивая бесконечно малую степень усадки, которую годы нанесли пазам и шипам.

Однако не нужно спешить, сказал он про себя. Он вернется сюда потом. Впереди целый день.

Следующая ферма располагалась далеко в поле, и, чтобы не демонстрировать свой фургон раньше времени, мистер Боггис оста-

вил его на дороге и прошел пешком около шестисот ярдов по проселку к заднему двору фермы. Объект, как заметил он, приближаясь, был гораздо меньше предыдущего, и Боггис не возлагал на него особых надежд. Строения были грязны, а служебные постройки явно нуждались в ремонте.

В углу двора тесной группой стояли трое мужчин. Один держал на поводке двух черных гончих псов. Когда мужчины увидели, что к ним направляется мистер Боггис, в черном костюме с воротничком священника, они умолкли, неожиданно напряглись и как бы оцепенели; их лица подозрительно повернулись в его сторону.

Старший был коренастым мужчиной с широким, лягушачьим ртом и маленькими бегающими глазками; его звали Рамминс — хотя мистер Боггис этого и не знал, — хозяин фермы.

Высокого юношу рядом с ним (у него, похоже, был поврежден глаз) звали Берт. Он был сыном Рамминса.

Низкого роста человек с плоским лицом, узким сморщенным лбом и непомерно широкими плечами — по имени Клод — зашел к Рамминсу в надежде получить у него кусок свежего мяса от свиньи, которую закололи накануне. Клод знал о смерти свиньи — визг разнесся по полям — и знал также, что официального разрешения на убой у Рамминса не было.

— Здравствуйте, — сказал мистер Боггис. — Не правда ли, славный денек?

Никто из троих не пошевелился. В ту минуту они думали только об одном: наверное, этот священник не из местных и подослан, чтобы сообщить о том, что выведает, властям.

— Какие красивые собаки, — сказал мистер Боггис. — Сам я, должен признаться, никогда не охотился с собаками, но, глядя на них, сразу видно — порода отличная.

Ответное молчание не прерывалось, и мистер Боггис быстро перевел взгляд с Рамминса на Берта, потом на Клода, потом опять на Рамминса и заметил, что у всех, судя по тому, как они кривили рот и морщили нос, было одно и то же характерное выражение на лице, нечто среднее между презрительной усмешкой и вызовом.

— Могу я узнать, не вы ли хозяин? — бесстрашно спросил Боггис, обращаясь к Рамминсу.

— Что вам угодно?

— Прошу простить, что беспокою вас, особенно в воскресенье.

Мистер Боггис протянул свою карточку. Рамминс взял ее и поднес близко к лицу. Двое других не двигались, однако скосили глаза, пытаясь что-то разглядеть.

— А что вам, собственно, нужно? — спросил Рамминс.

Второй раз за утро мистер Боггис подробно объяснил цели и идеалы Общества сохранения редкой мебели.

— Нет у нас никакой мебели, — сказал ему Рамминс, выслушав объяснение. — Напрасно теряете время.

— Одну минутку, сэр, — сказал Боггис, подняв палец. — Последним, кто мне это говорил, был старый фермер из Сассекса, а когда он впустил меня в дом, знаете, что я обнаружил? Грязный на вид старый стул в углу на кухне, и оказалось, что стоит он четыреста фунтов! Я научил его, как продать стул, и на эти деньги он купил себе новый трактор.

— Да будет вам! — сказал Клод. — Не бывает стульев, которые стоят четыреста фунтов.

— Простите, — с достоинством произнес мистер Боггис, — но в Англии много стульев, которые стоят вдвое больше. И знаете, где они? Стоят себе на фермах и в простых домах по всей стране, а хозяева используют их вместо лестниц — встают на них в подбитых гвоздями башмаках, чтобы достать банку джема с верхней полки или повесить картину. Я правду вам говорю, друзья мои.

Рамминс беспокойно переступил с ноги на ногу:

— Вы хотите сказать, что все, что вам нужно, — это войти в дом, встать посреди комнаты и оглядеться?

— Именно, — ответил мистер Боггис. Он начал догадываться, что их тревожит. — Я вовсе не собираюсь заглядывать в ваши шкафы или в кладовку. Просто хочу взглянуть на мебель и, если случайно увижу какие-нибудь сокровища, смогу написать о них в журнале, который издает наше общество.

— Знаете, что я думаю? — спросил Рамминс, устремив на него плутоватый взгляд. — Думаю, вы тут затем, чтобы самому что-нибудь купить. Стали бы вы иначе этим делом заниматься.

— Боже упаси! Да у меня и денег-то нет! Конечно, если бы я увидел что-нибудь такое, что бы мне понравилось и было бы по средствам, я мог бы войти в искушение... Но, увы, такое редко случается.

— Что ж, — сказал Рамминс, — думаю, большого вреда не будет, если вы заглянете в дом, раз уж вам только это и нужно.

Он первым направился через двор к черной двери фермерского дома, и мистер Боггис последовал за ним; следом шли Берт и Клод с двумя собаками. Они миновали кухню, где единственным предметом мебели был дешевый сосновый стол с лежавшей на нем мертвой курицей, и оказались в просторной и чрезвычайно грязной гостиной.

Ну и ну! Мистер Боггис тотчас же увидел его и, замерев на месте, издал легкий вздох восхищения. Стоял он так по меньшей мере пять, десять, пятнадцать секунд, как идиот, с выпученными глазами, не в силах поверить, не осмеливаясь поверить в то, что видел перед собой. Да этого просто не может быть! Но чем дольше он смотрел, тем сильнее убеждался, что то, что он видит, существует. Предмет стоял у стены. И разве можно ошибиться на сей счет? Пусть он выкрашен белой краской, все равно. Какой-то дурак выкрасил. Но краску легко снять. Однако вы только посмотрите на него! Да еще в таком месте. О боже!

Тут мистер Боггис вспомнил о трех мужчинах — Рамминсе, Берте и Клоде, которые стояли у камина и внимательно за ним наблюдали. Они видели, как он застыл, открыл рот от изумления и уставился на то, что было перед его глазами. И должно быть, видели, как лицо его покраснело, а может, и побелело, но в любом случае они видели слишком много, и нужно было срочно что-нибудь предпринять. Мистер Боггис мгновенно схватился за сердце, пошатываясь дошел до ближайшего стула и, тяжело дыша, рухнул на него.

— Что с вами? — спросил Клод.

— Ничего, — с трудом ответил Боггис. — Сейчас все будет в порядке. Прошу вас стакан воды. Сердце.

Берт принес воды, подал ему и так и стоял рядом, бессмысленно поглядывая на него сверху вниз.

— Мне показалось, будто вы что-то увидели, — сказал Рамминс.

Его широкий, лягушачий рот чуточку раздвинулся в лукавой усмешке, обнажив остатки разрушенных зубов.

— Нет-нет, — сказал мистер Боггис. — Вовсе нет же. Просто прихватило сердце, простите меня. Это у меня бывает. Но быстро проходит. Через минуту все будет хорошо.

Нужно подумать, сказал он про себя. И еще важнее успокоиться, прежде чем он произнесет хоть одно слово. Спокойнее, Боггис.

И что бы ты ни делал, сохраняй невозмутимость. Эти люди могут быть невежественны, но они не такие глупые. Они подозрительны, недоверчивы и хитры. А если это действительно правда... нет, этого не может быть, не может быть...

Он прикрыл рукой глаза — этот жест должен был изображать страдание — и потом осторожно, незаметно раздвинул два пальца и украдкой посмотрел между ними.

Ну конечно же, вещь по-прежнему стояла на месте. Он был прав с самого начала! Никакого сомнения! Просто невероятно!

За то, что он увидел, любой знаток отдаст немало, лишь бы только заполучить. На неспециалиста вряд ли он произвел бы сильное впечатление, будучи покрыт грязной белой краской, но перед мистером Боггисом сияла мечта его жизни. Он знал, как знает всякий торговец в Европе и Америке, что среди самых знаменитых и вожделенных образцов английской мебели восемнадцатого века, какие только существуют, есть три предмета, известные как «комоды Чиппендейла». Он знал всю их историю — первый обнаружили в 1920 году в каком-то доме в Моретон-ин-Марше и в том же году продали на аукционе «Сотби»; два других появились в тех же аукционных залах годом спустя, оба поступили из Рейнем-холла, графство Норфолк. Все они ушли за огромные деньги. Точную цифру за первую вещь и даже за вторую он не помнил, но знал наверняка, что за последний комод выручили три тысячи девятьсот гиней. И это в 1921 году! Сегодняшняя цена наверняка составит десять тысяч фунтов. Кто-то — мистер Боггис не мог вспомнить кто — относительно недавно осмотрел эти комоды и доказал, что все три из одной и той же мастерской, сделаны из одной и той же древесины и в конструкции их использованы одни и те же шаблоны. Счета за них не были найдены, но эксперты сошлись в том, что эти три комода могли быть исполнены самим Томасом Чиппендейлом, его собственными руками, в самый вдохновенный период его творчества.

А здесь, без конца повторял про себя мистер Боггис, подглядывая сквозь пальцы, здесь стоял четвертый комод Чиппендейла! И это он его нашел! Он станет богатым! Да еще и знаменитым! Каждый из трех получил в мире мебели особое название: Часлтонский комод, Первый Рейнемский комод, Второй Рейнемский комод. Этот же войдет в историю как комод Боггиса! Только представьте себе, как вытянутся лица там, в Лондоне, когда кое-кто увидит

комод завтра утром! А какие предложения, ласкающие слух, будут поступать от всех этих уэст-эндских воротил — от Фрэнка Партриджа, Моллета, Джетли и прочих! В «Таймс» появится фотография, а под ней будет написано: «Измумительный комод Чиппендейла, недавно обнаруженный мистером Сирилом Боггисом, лондонским торговцем мебелью...» Боже милостивый, ну и шуму он наделает!

Тот, что стоит здесь, думал мистер Боггис, почти в точности похож на Второй Рейнемский комод. (Все три — комод из Часлтона и два Рейнемских — отличались незначительными деталями.) Эта впечатляющая вещь, исполненная Чиппендейлом во французском стиле рококо в период Директории¹, представляла собою толстый комод, покоящийся на четырех резных желобчатых ножках², которые поднимали его на фут от пола. В нем шесть ящиков — два длинных посередине и два покороче по сторонам. Волнообразный спереди, комод замечательно декорирован сверху, с боков и снизу, а сверху вниз между рядами ящиков тянулась замысловатая резьба в виде гирлянд, завитков и кистей. Медные ручки, хотя и заляпаные белой краской, были великолепны. Вещь, безусловно, тяжеловесная, однако исполнена настолько элегантно и изящно, что тяжеловесность отнюдь не отталкивает.

— Как вы себя сейчас чувствуете? — услышал мистер Боггис чей-то голос.

— Спасибо, спасибо, мне гораздо лучше. Это быстро проходит. Мой врач говорит, что волноваться в таких случаях не стоит, нужно лишь отдохнуть несколько минут. Да-да, — прибавил он, медленно поднимаясь на ноги. — Так лучше. Теперь все в порядке.

Он принялся неуверенно двигаться по комнате, рассматривая мебель. Ему было ясно, что, кроме комода, его окружают весьма убогие вещи.

— Приличный дубовый стол, — говорил он. — Но, боюсь, недостаточно старый, чтобы представлять собою какой-нибудь интерес. Хорошие, удобные стулья, но уж очень современные, да-да, совре-

¹ 1795–1799 годы. При этом годы жизни Томаса Чиппендейла: 1718–1779. Едва ли имеется в виду унаследованный семейный бизнес Томас Чиппендейл-младший (1749–1822).

² Для чиппендейловской мебели характерны резные массивные ножки, обычно в виде лапы, опирающейся на шар.

менные. Вот этот шкафчик, что ж, довольно мил, но, опять же, никакой ценности не представляет. Комод, — он небрежно прошел мимо комода Чиппендейла и презрительно щелкнул пальцами, — стоит, я бы сказал, несколько фунтов, не более. Боюсь, довольно грубая подделка. Изготовлен, наверное, во времена королевы Виктории¹. Это вы выкрасили его белой краской?

— Да, — сказал Рамминс, — работа Берта.

— Очень разумный шаг. Будучи белым, он не кажется таким отталкивающим.

— Отличная вещь, — заметил Рамминс. — И резьба красивая.

— Машинная работа, — с видом превосходства ответил мистер Боггис, нагнувшись, чтобы получше рассмотреть изысканное исполнение. — За милую видно. Но по-своему весьма неплохо. Что-то тут есть.

Он неторопливо двинулся в сторону, как вдруг остановился и повернулся. Упершись кончиком пальца в подбородок, он склонил голову набок и нахмурился, будто погрузился в глубокое раздумье.

— Знаете что? — сказал он, глядя на комод и едва слышно произнося слова. — Я кое-что вспомнил... Мне давно нужны ножки вроде этих. У меня дома есть любопытный столик, из тех, что ставят перед диваном, что-то вроде кофейного столика, и в Михайлов день², когда я переезжал в другой дом, бестолковые грузчики повредили у него ножки, на них теперь лучше не смотреть. А столик мне очень нравится. Я всегда держу на нем большую Библию, а также все мои проповеди. — Он умолк, водя пальцем по подбородку. — Я вот о чем подумал. Эти ножки от вашего комода могли бы вполне сгодиться. Да, пожалуй, что так. Их легко можно отпилить и приладить к моему столику.

Он оглянулся. Трое мужчин стояли совершенно неподвижно. Три пары глаз, таких разных, но в равной степени недоверчивых, подозрительно смотрели на него — маленькие, свинячьи глазки Рамминса, бессмысленные глаза Клода и два разных глаза Берта: один странный, какой-то затуманенный, с маленькой черной точкой в середине, похожий на рыбий глаз на тарелке.

¹ *Виктория* (1819–1901) — английская королева (с 1837 г.).

² День святого Михаила (29 сентября). В Англии традиционная дата совершения долгосрочных сделок и пр.

Мистер Боггис улыбнулся и покачал головой:

— Ну и ну, да что это я несу? Я так говорю, будто это моя вещь. Прощу прощения.

— Вы хотите сказать, что желали бы купить его, — сказал Рамминс.

— Хм... — Мистер Боггис оглянулся на комод и нахмурился. — Не уверен. Можно, конечно... но опять же... если подумать... нет-нет... думаю, с ним хлопот не оберешься. Не стоит он того. Оставлю его, пожалуй.

— И сколько вы хотели бы предложить? — спросил Рамминс.

— Видите ли, вещь-то не подлинная. Обыкновенная подделка.

— А вот я так не думаю, — возразил Рамминс. — Он здесь уже больше двадцати лет, а до этого стоял в замке. Я сам его купил на аукционе, когда умер старый сквайр¹. Так что не рассказывайте мне, будто эта штука новая.

— Она вовсе не новая, но ей точно не больше лет шестидесяти.

— Больше, — возразил Рамминс. — Берт, где бумажка, которую ты как-то нашел в ящике? Этот старый счет?

Юноша отсутствующим взглядом посмотрел на отца. Мистер Боггис открыл было рот, потом быстренько закрыл его, так и не произнеся ни слова. Он буквально трясся от волнения и, чтобы успокоиться, подошел к окну и уставился на пухлую коричневую курицу, клевавшую во дворе рассыпанные зерна.

— Да, в глубине вон того ящика лежала, под силками для кроликов, — говорил Рамминс. — Достань-ка ее и покажи священнику.

Когда Берт подошел к комоду, мистер Боггис снова обернулся. Не смотреть он не мог. Он видел, как юноша вытащил средний ящик, и еще обратил внимание на то, как легко ящик выдвигается. Он видел, как рука Берта скрывается внутри ящика и роется среди проводов и веревок.

— Эта, что ли?

Берт извлек пожелтевшую сложенную бумажку и отнес ее отцу, который развернул ее и приблизил к лицу.

— Не будете же вы говорить, что это не старинный почерк, — сказал Рамминс и протянул бумажку мистеру Боггису, чья рука, когда он брал ее, неудержимо тряслась.

¹ Помещик, землевладелец.

Бумажка была ломкая и слегка хрустела у него между пальцами. Наклонными буквами, каллиграфическим почерком было написано следующее:

«Эдвард Монтегю, эск.,
Томасу Чиппендейлу

Большой комод красного дерева чрезвычайно тонкой работы, с очень богатой резьбой, на желобчатых ножках, с двумя весьма аккуратно исп. длинными ящиками в средней части и двумя такими же по бокам, с богато отд. медными ручками и орнаментом, все вместе полностью закончено и выполнено в изящном вкусе... 87 фунтов».

Мистер Боггис всеми силами старался сохранить спокойствие и побороть волнение, которое распирало его изнутри и вызывало головокружение. Боже мой, в это трудно поверить! Со счетом цена его еще повышается. Сколько же он теперь будет стоить? Двенадцать тысяч фунтов? Четырнадцать? Может, пятнадцать или двадцать? Кто знает?

Ну и дела! Он с презрением бросил бумажку на стол и тихо произнес:

— То, что я вам и говорил, подделка Викторианской эпохи. Это обыкновенный счет — тот, кто изготовил эту штуку, выдал ее за старинную вещь и отдал своему клиенту. Таких счетов я много видел. Обратите внимание, он не пишет, что сам сделал эту вещь. Тут бы сразу все раскрылось.

— Говорите что хотите, — заявил Рамминс, — но бумажка старинная.

— Разумеется, мой дорогой друг. Вещь Викторианской эпохи, конца ее. Примерно тысяча восемьсот девяностый год. Шестьдесят—семьдесят лет назад. Я таких сотни видел. То было время, когда массы столяров-краснодеревщиков только тем и занимались, что подделывали красивую мебель предыдущего столетия.

— Послушайте, святой отец, — сказал Рамминс, тыча в него толстым грязным пальцем, — я уж не буду говорить о том, что вы ничего не смыслите в мебели, но скажу вам вот что. Откуда у вас такая уверенность, что это подделка, когда вы даже не видели, как он выглядит под краской?

— Подите-ка сюда, — сказал мистер Боггис. — Подите сюда, и я покажу вам кое-что. — Он встал рядом с комодом и подождал, пока они не подойдут. — Нож есть у кого-нибудь?

Клод достал карманный ножик с ручкой из рога, мистер Боггис взял его и вынул самое маленькое лезвие. Затем, действуя с видимой небрежностью, но на самом деле чрезвычайно аккуратно, принялся отколупывать белую краску на крошечном участке верхней части комода. Краска легко отслаивалась от старого твердого покрытия. Очистив примерно три квадратных дюйма, он отступил и сказал:

— Взгляните-ка!

Это было прекрасно. Теплое пятнышко красного дерева, сияющее, как топаз, подлинным цветом двухсотлетней давности, сочным и насыщенным.

— Ну и что тут не так? — спросил Рамминс.

— Да он же обработан! Сразу видно!

— И откуда это видно, мистер? Ну-ка, расскажите нам.

— Должен признаться, объяснить это довольно трудно. Тут все дело в опыте. Мой опыт подсказывает мне, что дерево, вне всякого сомнения, обработано известью. Ее используют для того, чтобы придать красному дереву темный цвет, свидетельствующий о приличном возрасте. Для дуба используется поташ, а для ореха — азотная кислота, для красного же дерева — всегда известь.

Трое мужчин придвинулись поближе, чтобы поглядеть на очищенное дерево. Похоже, в них пробудилось что-то вроде интереса. Всегда любопытно узнать о новом виде мошенничества или обмана.

— Посмотрите внимательнее на структуру дерева. Видите характерный оранжевый оттенок темно-красного и коричневого цвета? Это признак извести.

Они потянулись носом к дереву — первым Рамминс, за ним Клод, а потом Берт.

— И потом, эта патина, — продолжал мистер Боггис.

— Чего?

Он объяснил им значение этого слова применительно к мебели.

— Мои дорогие друзья, да вы представить себе не можете, на что готовы негодяи, лишь бы только симитировать великолепный вид настоящей патины, с насыщенным цветом бронзы. Это страшно, просто страшно, и мне больно говорить об этом!

Он презрительно выпаливал слова и корчил кислую физиономию, изображая крайнее отвращение. Мужчины молчали, ожидая новых откровений.

— На какие только ухищрения не пускаются смертные, чтобы ввести в заблуждение невинных! — кричал мистер Боггис. — Все это в высшей степени отвратительно! Знаете, что они здесь сделали, мои друзья? Я-то отлично понимаю. Я вижу, как они это делали. Долго протирали дерево льняным маслом, покрывали его щелочной политурой с добавлением коварного красителя, чистили пемзой и маслом, натирали воском вместе с грязью и пылью и, наконец, прогревали, чтобы полировка потрескалась и стала похожа на покрытие двухсотлетней давности! Не могу без горечи даже думать о таком бесстыдстве!

Трое мужчин продолжали глазеть на небольшой участок темного дерева.

— Дотроньтесь до него! — приказал мистер Боггис. — Приложите к нему свои пальцы! Ну и как, теплое оно или холодное на ощупь?

— Да вроде холодное, — сказал Рамминс.

— Именно, мой друг! А дело-то все в том, что липовая патина всегда на ощупь холодная. Настоящая патина на ощупь удивительно теплая.

— Эта на ощупь нормальная, — сказал Рамминс, намереваясь поспорить.

— Нет, сэр, она холодная. Но конечно же, нужно иметь опытный и чувствительный кончик пальца, чтобы вынести положительное суждение. Трудно ожидать, чтобы вы были способны судить об этом, как трудно ожидать, что я могу судить о качестве вашего ячменя. Все в жизни, мой дорогой сэр, достигается опытом.

Трое мужчин неотрывно глядели на чудаковатого круглолицего священника, но теперь уже не так подозрительно, поскольку кое-что о своем предмете он все-таки знал. Однако доверять ему они пока не собирались.

Мистер Боггис наклонился и указал на металлическую ручку комода.

— Вот где еще мошенники приложили руку, — сказал он. — У старой бронзы обыкновенно есть и цвет, и отличительные особенности. Хоть это-то вам известно?

Они глядели на него во все глаза, ожидая дальнейших откровений.

— Но вся беда в том, что есть мастера необычайно ловко подделывать цвет. По сути дела, почти невозможно отличить настоящий, подлинный цвет от фальшивого. И мне не стыдно признаться, что часто это и меня ставит в тупик. Потому нет никакого смысла соскабливать краску с ручек. Вряд ли это нам что-нибудь даст.

— Как это можно делать так, чтобы новая медь казалась старой? — спросил Клод. — Медь ведь не ржавеет.

— Вы совершенно правы, мой друг. Но у этих негодяев есть свои способы, которые они хранят в тайне.

— Какие, например? — спросил Клод.

Сведения такого рода он не мог пропустить мимо ушей. Никогда не знаешь, вдруг что-то и пригодится.

— Нужно, например, сделать вот что, — сказал Боггис, — поместить ручки вечером в ящик со стружками красного дерева, пропитанными аммиачной солью. Аммиачная соль делает металл зеленым, но, если зелень соскоблить, под ней можно обнаружить приятный, мягкий, теплый оттенок серебристого цвета, тот самый оттенок, который характерен для старой бронзы. Это такое бесстыдство! Впрочем, с железом и не такие штуки вытворяют.

— А что они делают с железом? — со все возрастающим интересом спросил Клод.

— С железом проще, — ответил мистер Боггис. — Железные замки, пластины и петли просто погружают в обыкновенную соль, и те в два счета полностью покрываются ржавчиной и щербинками.

— Хорошо, — заметил Рамминс. — Значит, вы признаетесь, что насчет ручек ничего сказать не можете. По-вашему, им может быть много сотен лет. Так?

— Ага! — едва слышно произнес мистер Боггис, устремив на Рамминса свои выпуклые карие глаза. — Вот тут-то вы и не правы. Смотрите-ка.

Он достал из кармана пиджака отвертку. Одновременно, хотя никто этого и не заметил, извлек маленький медный шуруп и зажал в ладони. Потом выбрал один из шурупов в комодe — каждая ручка крепилась на четырех — и начал бережно соскабливать следы белой краски с ручки. Соскоблив краску, он принялся медленно вывинчивать шуруп.

— Если это настоящий старинный медный шуруп восемнадцатого века, — говорил он, — то винтовая линия будет чуть-чуть неровной, и вы легко сможете убедиться, что она прорезана с помощью напильника. Но если это сделано в более поздние времена, викторианские или еще позднее, тогда, понятно, и шуруп относится к тому же времени. Это будет вещь машинной работы, массового производства. Что ж, сейчас увидим.

Для мистера Боггиса не составило труда, прикрыв рукой старый шуруп, заменить его спрятанным в ладони. Несложный трюк особенно хорошо ему удавался и в продолжение многих лет приносил успех. Карманы его священнического одеяния были всегда набиты дешевыми шурупами различных размеров.

— Ну вот, — сказал он, протягивая новенький шуруп Рамминсу. — Взгляните-ка. Смотрите, какая ровная винтовая линия. Видите? Еще бы не видеть! Обыкновенный шуруп, да вы и сами можете сегодня купить такой же по дешевке в любой скобяной лавке.

Шуруп пошел по рукам. Каждый внимательно рассматривал его. На сей раз даже Рамминс был удивлен.

Мистер Боггис положил в карман отвертку вместе с шурупом ручной работы, после чего повернулся и медленно прошествовал мимо троих мужчин к двери.

— Мои дорогие друзья, — сказал он, остановившись перед входом на кухню, — я так вам благодарен, что вы позволили мне заглянуть в ваш дом, вы так добры. Надеюсь, я вам не показался занудой.

Рамминс оторвался от разглядывания шурупа.

— Вы нам так и не сказали, сколько собирались предложить, — заметил он.

— Ах да! — произнес мистер Боггис. — Совершенно верно. Что ж, если быть до конца откровенным, то с ним столько хлопот. Думаю, оставляю его.

— И все же, сколько бы вы за него дали?

— То есть вы хотите сказать, что и правда желаете расстаться с ним?

— Я не говорил, что хочу расстаться с ним. Я спросил — сколько?

Мистер Боггис перевел взгляд на комод, склонил голову в одну сторону, потом в другую, нахмурился, вытянул губы, пожал плечами и презрительно махнул рукой, будто хотел сказать, что и говорить-то тут не о чем.

— Ну, скажем... десять фунтов. Думаю, это справедливо.

— Десять фунтов! — вскричал Рамминс. — Не смешите меня, святой отец, прошу вас!

— Даже если его на дрова брать, он дороже стоит! — с отвращением произнес Клод.

— Да вы посмотрите на этот счет! — продолжал Рамминс, с такой силой тыча в ценный документ своим грязным указательным пальцем, что мистер Боггис встревожился. — Здесь же точно написано, сколько он стоит! Восемьдесят семь фунтов! Это когда он еще новым был. А теперь он старинный и стоит вдвое дороже!

— Простите меня, сэр, это не совсем так. Это ведь второсортная подделка. Но вот что я вам скажу, мой друг. Человек я довольно отчаянный и справиться с собой не могу. Предлагаю вам целых пятнадцать фунтов. Как?

— Пятьдесят, — сказал Рамминс.

Мистер Боггис ощутил в ногах, вплоть до самых ступней, приятное покалывание. Комод его. Сомнений никаких нет. Но привычка покупать дешево, настолько дешево, насколько это в пределах человеческих сил, была в нем слишком сильна, чтобы сдаваться так легко.

— Мой дорогой, — мягко прошептал он. — Мне нужны только ножки. Возможно, потом я и найду какое-нибудь применение для ящичков, но все остальное, сам каркас, как верно заметил ваш друг, это просто дрова.

— Тогда тридцать пять, — сказал Рамминс.

— Не могу, сэр, не могу. Он того не стоит. Да и не к лицу мне торговаться. Нехорошо это. Сделаю вам окончательное предложение, после чего уйду. Двадцать фунтов.

— Согласен, — отрывисто бросил Рамминс. — Он ваш.

— Ну вот, — сказал мистер Боггис, стиснув руки. — И зачем он мне? Не нужно мне было все это затевать.

— Теперь уже нельзя отступать, святой отец. Сделка состоялась.

— Да-да, знаю.

— Как вы его заберете?

— Дайте-ка подумать. Если я заеду на машине во двор, может, джентльмены не сочтут за труд погрузить его?

— В машину? Эта штука в машину ни за что не влезет! Тут грузовик нужен!

— Совсем не обязательно. Однако посмотрим. Моя машина стоит на дороге. Я мигом вернусь. Как-нибудь управимся, уверен...

Мистер Боггис прошел через двор и, выйдя за ворота, направился по длинной колее через поле к дороге. Он поймал себя на том, что безудержно хихикает, а внутри у него, казалось, от желудка поднимаются сотни крошечных пузырьков и весело лопаются в голове, точно содовая. Лютики в поле, сверкая на солнце, неожиданно стали превращаться в золотые монеты. Земля была просто усеяна ими. Он свернул с колеи и пошел по траве, разбрасывая их ногами, наступая на них и наслаждаясь их металлическим звоном. Он с трудом сдерживался, чтобы не пуститься бежать. Но ведь священники не бегают, они ходят степенно. Иди степенно, Боггис. Угомонись, Боггис. Теперь спешить некуда. Комод твой! Твой за двадцать фунтов, а стоит он пятнадцать или двадцать тысяч! Комод Боггиса! Через десять минут его погрузят в твою машину — он легко в ней поместится, — и ты поедешь назад в Лондон и будешь всю дорогу петь! Мистер Боггис везет комод Боггиса домой в машине Боггиса. Историческое событие. Что бы только не дали газетчики, чтобы запечатлеть такое! Может, устроить им это? Пожалуй. Посмотрим. Какой чудесный день! Восхитительный и солнечный! Черт побори!

Рамминс в это время говорил:

— Посмотрите на этого старого дурака, который дает двадцать фунтов за такое старье.

— Вы держались молодцом, мистер Рамминс, — сказал ему Клод. — Думаете, он вам заплатит?

— А мы грузить не будем, пока не заплатит.

— А если комод не влезет в машину? — спросил Клод. — Знаете что, мистер Рамминс? Хотите знать мое мнение? Думаю, такая громадина в машину не войдет. И что тогда? Тогда он скажет — ну и черт с ней. Уедет, и больше вы его не увидите. Как и денег. Он и не собирался покупать его.

Рамминс задумался над этой новой, весьма тревожной перспективой.

— И как такая штуковина влезет в машину? — неумолимо продолжал Клод. — Да у священников и не бывает больших машин. Вы когда-нибудь видели священника с большой машиной, мистер Рамминс?

— Да вроде нет.

— То-то же! А теперь послушайте меня. У меня идея. Он ведь нам сказал, что ему нужны только ножки. Так? Поэтому отпилим их быстренько, пока он не вернулся, вот тогда комод точно влезет в машину. Ему не придется отпиливать их самому, когда он придет домой, только и всего. Что вы об этом думаете, мистер Рамминс?

На плоском глупом лице Клода было написано приторное самодовольство.

— Идея не такая уж и плохая, — сказал Рамминс, глядя на комод. — По правде, чертовски хорошая. Нам лучше поторопиться. Вы с Бертом выносите его во двор, а я пойду за пилой. Только сначала выньте ящики.

Не прошло и двух минут, как Клод с Бертом вынесли комод во двор и поставили его вверх ногами среди куриного помета, навоза и грязи. Они видели, как в поле по тропинке, ведущей к дороге, вышагивает маленькая черная фигура. Что-то было весьма забавное в том, как фигура себя вела. Она ускоряла шаг, потом подпрыгивала, подскакивала и бежала вприпрыжку, и раз им показалось, будто со стороны лужайки донеслась веселая песня.

— По-моему, он ненормальный, — сказал Клод, и Берт мрачно улыбнулся, вращая своим затуманенным глазом.

Из сарая, ступая враскорячку, по-лягушиному, приковывал Рамминс с длинной пилой. Клод взял у него пилу и приступил к работе.

— Подальше отпиливай, — сказал Рамминс. — Не забывай, что он хочет приладить их к другому столику.

Красное дерево было крепким и очень сухим, и по мере того, как Клод пилил, мелкая красная пыль вылетала из-под пилы и мягко падала на землю. Ножки отскакивали одна за другой, и, когда все были отпилены, Берт нагнулся и аккуратно сложил их стопкой.

Клод отступил, глядя на результаты своего труда. Наступила несколько длинноватая пауза.

— Еще у меня к вам вопрос, мистер Рамминс, — медленно произнес Клод. — А теперь могли бы вы засунуть эту громадную штуковину в багажник?

— Если это не грузовик, то нет.

— Правильно! — воскликнул Клод. — А у священников грузовиков не бывает, вы и сами знаете. Обычно они ездят на крохотных «моррисах»-восьмерках или «остинах»-семерках.

— Ему только ножки нужны, — сказал Рамминс. — Если остальное не поместится, то пусть оставляет. Жаловаться ему не на что. Ножки он получит.

— Ну уж не скажите, мистер Рамминс, — терпеливо проговорил Клод. — Вы не хуже меня знаете, что он начнет сбивать цену, если все до последнего кусочка не втиснет в машину. Когда дело доходит до денег, священники становятся такими же хитрыми, как и все другие, это точно. А этот старикан чем лучше? Поэтому почему бы нам не отдать ему все его дрова — и дело с концом? Где тут у вас топор?

— Думаю, ты верно рассуждаешь, — сказал Рамминс. — Берт, принеси-ка топор.

Берт пошел в сарай, принес длинный колун и подал его Клоду. Клод полплевал на ладони и потерял их одна о другую. Затем, высоко замахнувшись, с остервенением накинудся на безногий каркас комода.

Работа была тяжелая, и прошло несколько минут, прежде чем он более или менее разнес комод на куски.

— Вот что я вам скажу, — заявил Клод, разгибая спину и вытирая лоб. — Что бы там ни говорил священник, а чертовски хорош был плотник, который сколотил эту штуку.

— А вовремя мы успели! — крикнул Рамминс. — Вон он едет!

МИССИС БИКСБИ И ПОЛКОВНИЧЬЯ ШУБА

Америка — страна больших возможностей для женщин. Они уже владеют примерно восемьюдесятью пятью процентами национального богатства. Скоро оно все будет принадлежать им. Выгодным процессом стал развод — его просто начать и легко забыть, и честолюбивые дамы могут повторять его, сколько им вздумается, и доводить суммы своих выигрышей до астрономических чисел. Смерть мужа также приносит удовлетворительную компенсацию, и некоторые женщины предпочитают полагаться на этот способ. Они знают, что период ожидания не слишком затянется, ибо чрезмерная работа и сверхнапряжение скоро обязательно dokonают беднягу и он умрет за своим письменным столом с пузырьком амфетаминов в одной руке и упаковкой транквилизатора в другой.

Нынешнее поколение энергичных американских мужчин столь устрашающая схема развода и смерти ничуть не пугает. Чем выше процент разводов, тем большее нетерпение они обнаруживают. Молодые мужчины женятся, точно мыши, едва достигнув зрелости, а к тридцати шести годам многие из них имеют на своем содержании по меньшей мере двух бывших жен. Чтобы поддерживать этих дам так, как те привыкли, мужчины принуждены ишачить, как рабы, да они и есть рабы. И вот, когда они приближаются к среднему возрасту, наступающему раньше, чем его ожидают, разочарование и страх начинают медленно проникать в их сердца, и по вечерам они предпочитают собираться вместе в клубах и барах, поглощая виски и таблетки и стараясь утешить друг друга разными историями.

Основная тема таких историй неизменна. В них всегда фигурируют три главных персонажа — муж, жена и грязный пес. Муж — это порядочный человек и усердный работник. Жена коварна, лжива и распутна и непременно замешана в каких-то проделках с грязным псом. Мужу и в голову не приходит ее заподозрить, настолько он порядочен. Однако дела его плохи. Докопается ли ко-

гда-нибудь несчастный до истины? Или ему суждено до конца жизни ходить рогиносцем? Выходит, что так. Однако не торопитесь с выводами! Неожиданно, совершив блестящий маневр, муж платит своей коварной супруге той же монетой. Жена ошеломлена, поражена, унижена, повержена: Мужская аудитория вокруг стойки бара тихо улыбается про себя и находит утешение в полете фантазии.

Множество таких повествований, этих выдумок из царства грез, передаются несчастными мужьями из уст в уста, однако большинство этих историй слишком нелепы, чтобы повторять их здесь, или чересчур пикантны, чтобы их можно было изложить на бумаге. Есть, впрочем, одна, которая, кажется, превосходит все остальные потому, что она правдива. Она чрезвычайно популярна среди дважды или трижды укушенных мужчин, ищущих утешения, так что, если вы один из них и не слышали ее раньше, можете с удовольствием выслушать. История называется «Миссис Биксби и полковничья шуба», и вот о чем в ней идет речь.

Мистер и миссис Биксби жили в маленькой квартирке где-то в Нью-Йорке. Мистер Биксби был зубным врачом и имел средний доход. Миссис Биксби была крупной энергичной женщиной с хорошим аппетитом. Раз в месяц, по пятницам, миссис Биксби садилась в поезд на вокзале «Пенсильвания» и отправлялась в Балтимор навестить свою старую тетушку. Она ночевала у тетушки и возвращалась в Нью-Йорк на следующий день, как раз чтобы успеть приготовить мужу ужин. Мистер Биксби благосклонно принимал такой порядок вещей. Он знал, что тетушка Мод живет в Балтиморе и его жена очень любит эту старую женщину, и, конечно же, было бы неразумно лишать их удовольствия встречаться раз в месяц.

— Только не жди, что я буду сопровождать тебя, — заявил мистер Биксби с самого начала.

— Конечно нет, — отвечала миссис Биксби. — В конце концов, она ведь не твоя тетушка, а моя.

Всё, казалось бы, в рамках приличий.

Однако тетушка была лишь удобным алиби для миссис Биксби, только и всего. Грязный пес, в облике некоего джентльмена, известного как Полковник, подло пребывал в тени, и наша героиня львиную долю своего балтиморского времени проводила в ком-

пании этого негодяя. Полковник был необычайно богат. Он жил в прелестном доме на окраине города, не был обременен ни женой, ни детьми, лишь вышколенные и преданные слуги окружали его, и в отсутствие миссис Биксби он тешил себя тем, что ездил на лошадах и охотился на лис.

Год за годом приятный альянс между миссис Биксби и Полковником продолжался без сучка без задоринки. Они встречались так редко — если подумать, двенадцать раз в году, не так уж и много, — и потому вряд ли могли наскучить друг другу.

— Ату! — громко выкрикивал Полковник каждый раз, когда встречал ее на станции в шикарной машине. — Моя дорогая, я уже почти забыл, какая ты красавица. Скорей же в мою уютную норку!

Прошло восемь лет.

Был канун Рождества, и миссис Биксби стояла на станции в Балтиморе, дожидаясь поезда, который должен был отвезти ее обратно в Нью-Йорк. Только что закончившийся визит был более чем удачен, и она пребывала в радостном расположении духа. Впрочем, в те дни общество Полковника всегда оказывало на нее такое действие. Он каким-то образом возбуждал в ней чувство, будто она поистине замечательная женщина, натура тонкая, наделенная редкими талантами, очаровательная сверх меры. И как же это далеко от того, что было дома, где благодаря мужу-дантисту она чувствовала себя кем-то вроде вечного пациента, поселившегося в приемной, молча листającego журналы и редко приглашаемого для того, чтобы терпеливо порадоваться изысканно тонкой работе этих чистых розовых рук.

— Полковник просил меня передать вам это, — произнес вдруг чей-то голос.

Она обернулась и увидела Уилкинса, полковничьего конюха, низкорослого, иссохшего карлика с серым лицом, который совал ей в руки большую плоскую коробку.

— Боже милостивый! — трепетно воскликнула миссис Биксби. — Господи, какая огромная коробка! Что это, Уилкинс? Записки никакой нет? Он не передавал записку?

— Никаких записок нет, — ответил конюх и удалился.

Едва заняв место в вагоне, миссис Биксби прошествовала с коробкой в дамскую комнату и заперла за собой дверь. Как интересно! Рождественский подарок Полковника. Она принялась развязывать веревку.

— Уверена, там платье, — громко произнесла она. — Может, даже два. Или целый комплект красивого нижнего белья. Не буду смотреть. Пощупаю лучше и попытаюсь отгадать, что это такое. И цвет попытаюсь определить, и как оно выглядит. А заодно и сколько стоит.

Она крепко зажмурила глаза и медленно приподняла крышку. Потом просунула руку в коробку. Сверху она нащупала тонкую оберточную бумагу и услышала ее шуршание. Там был и конверт или что-то вроде открытки. Она отложила конверт и принялась рыться под бумагой, осторожно перебирая пальцами, — так насекомое шевелит усиками.

— Боже мой! — неожиданно воскликнула она. — Этого не может быть!

Она широко раскрыла глаза и уставилась на шубу. Затем схватила ее и вынула из коробки. Расправляясь, толстый мех заскользил по бумаге с восхитительным шуршанием, шуба была так красива, что у миссис Биксби перехватило дыхание.

Такой норки она никогда еще не видела. Это ведь норка, не так ли? Ну да, конечно. Но какой великолепный цвет! Мех почти черный, без примесей. Но это ей сначала показалось, что он черный, а когда она поднесла шубу поближе к окну, то увидела, что там еще и голубой оттенок, того сочного богатого голубого цвета, какого бывает кобальтовая синь. Она быстро взглянула на этикетку. На ней было написано: «Дикая лабрадорская норка». И никакого указания на то, где она куплена или что-нибудь в этом духе. Старая хитрая лиса, он постарался не оставлять никаких следов. Молодец! Но сколько же она может стоить? Даже подумать страшно. Четыре, пять, шесть тысяч долларов? Наверное, еще дороже.

Она не могла оторвать от шубы глаз. И не могла ждать, торопясь примерить ее. Скинув свое простое красное пальто, она невольно задыхалась часто, и глаза ее широко раскрылись. Но как приятна шуба на ощупь! А эти широкие рукава с толстыми загнутыми манжетами! Кто это ей однажды сказал, что на рукава идут меха самок, а меха самцов на все остальное? Кто-то ведь говорил ей. Джоан Ратфилд, наверное, хотя откуда Джоан может что-то знать о норке?

Великолепная черная шуба будто сама легла на плечи, как вторая кожа. Ну и ну! Вот это да! Миссис Биксби взглянула на себя в зеркало. Фантастика! Она выглядела ослепительно, блестяще, рос-

кошно. А какое ей передалось ощущение силы! В этой шубе она могла пойти куда угодно, и люди будут суетиться вокруг нее, точно кролики. Словами не выразить, так все прекрасно!

Миссис Биксби взяла в руки конверт, который по-прежнему лежал в коробке. Она раскрыла его и извлекла письмо от Полковника:

«Помню, ты как-то говорила, что любишь норку, поэтому я купил тебе эту шубу. Мне сказали, что это хорошая вещь. Пожалуй-ста, прими ее вместе с моими искренними добрыми пожеланиями как прощальный подарок. В силу личных причин я не смогу больше видаться с тобой. Прощай и желаю удачи».

М-да... Вот оно что!

Совершенно неожиданно. И как раз тогда, когда она чувствовала себя счастливой.

Полковника больше нет. Какой ужасный удар... Ей будет его страшно не хватать.

Миссис Биксби принялась медленно поглаживать великолепный мягкий черный мех.

Выиграешь в одном, в другом потеряешь.

Она улыбнулась и сложила письмо, собираясь разорвать его и выбросить в окно, но обратила внимание, что на обратной стороне тоже что-то написано:

«P. S. Скажи, что это подарок на Рождество от твоей любимой доброй тетушки».

Губы миссис Биксби, растянувшиеся было в нежной улыбке, снова сомкнулись, будто сработала пружина.

— Он что, рехнулся? — вскричала она. — Да откуда у тетушки Мод такие деньги? Разве она может мне такое подарить?

Но если тетушка Мод не дарила ей шубу, то кто?

О господи! Разволновавшись от подарка и от примерки, миссис Биксби совсем позабыла об этом жизненно важном аспекте.

Через два часа она будет в Нью-Йорке. Потом еще десять минут — и она будет дома, а там ее встретит муж. Даже такой человек, как Сирил, хоть он и живет в своем мрачном слизистом мире корневых каналов, клыков и кариеса, станет задавать всякие вопросы, когда его жена, кружась от радости, явится после проведенного

у тетушки уик-энда в норковой шубе стоимостью в шесть тысяч долларов.

Вот оно что, сказала она про себя. Этот чертов Полковник решил поиздеваться надо мной. Он отлично знает, что у тетушки Мод нет денег, чтобы купить такую шубу. И знает, что я не смогу оставить ее у себя.

Но мысль о расставании с шубой была для миссис Биксби невыносима.

— Эта шуба будет моей! — громко сказала она. — Эта шуба будет моей! Эта шуба будет моей!

Очень хорошо, моя дорогая. Она будет твоей. Но не теряй голову. Сядь, успокойся и подумай. Ты ведь умница, не так ли? Ты ведь и раньше его обманывала. Ты же знаешь: дальше кончика своего зонда он ничего не видит. Потому сиди совершенно спокойно и думай. У тебя масса времени.

Через два с половиной часа миссис Биксби сошла с поезда на вокзале «Пенсильвания» и быстро направилась к выходу. На ней по-прежнему было ее старое красное пальто, а в руке она несла коробку. Она остановила такси.

— Водитель, — сказала миссис Биксби, — не знаете ли вы, нет ли здесь поблизости ломбарда, который еще открыт?

Человек за рулем поднял брови и с довольным видом поглядел на нее.

— Ломбардов много на Шестой авеню, — ответил он.

— Тогда остановитесь у первого же, который увидите, хорошо? Она села в машину и поехала.

Вскоре такси остановилось перед дверью, над которой висели три бронзовых шара.

— Подождите меня, пожалуйста, — сказала миссис Биксби шоферу и вошла в ломбард.

На прилавке сидел огромный кот и ел рыбы головы из белого блюда. Животное взглянуло на миссис Биксби блестящими желтыми глазами, потом отвернулось и продолжало есть. Миссис Биксби стояла возле прилавка, как можно дальше от кота, ожидая, когда кто-нибудь появится, и рассматривала часы, пряжки, эмалевые броши, старые бинокли, сломанные очки, вставные челюсти. И зачем это люди закладывают зубы, удивилась она.

— Да? — спросил хозяин, появляясь из темного угла помещения.

— Добрый вечер, — сказала миссис Биксби.

Она принялась развязывать тесьму, которой была обвязана коробка. Мужчина подошел к коту и стал поглаживать его по спине, а кот между тем поедал рыбы головы.

— Ну не глупо ли это, — заговорила миссис Биксби. — Меня угораздило потерять сумочку. Сегодня суббота, банки закрыты до понедельника, а мне позарез нужны деньги на уик-энд. Это очень дорогая шуба, но много я не прошу. Мне бы только дотянуть до понедельника. Тогда я приду и выкуплю ее.

Мужчина ждал, не говоря ни слова. Но едва она достала норку и прекрасный толстый мех рассыпался по прилавку, как его брови поднялись, он убрал руку с кота и подошел, чтобы взглянуть на шубу. Он поднял ее и подержал перед собой.

— Будь у меня с собой часы или какое-нибудь колечко, — говорила миссис Биксби, — я бы предложила вам их. Но кроме шубы, у меня при себе ничего нет.

Она выставила свои ладони и растопырила пальцы, чтобы он смог в этом убедиться.

— Похоже, новая, — сказал мужчина, нежно поглаживая мех.

— О да. Но я вам уже говорила, мне бы только дотянуть до понедельника. Как насчет пятидесяти долларов?

— Я дам вам пятьдесят долларов.

— Она стоит в сто раз больше, но я уверена, вы будете бережно ее хранить, пока я за ней не вернусь.

Мужчина достал из ящика залоговую квитанцию и положил на прилавок. Квитанция была похожа на бирку, которую привязывают к ручке чемодана, — в точности той же формы и размера, из той же плотной коричневатой бумаги. Но посередине были проколоты отверстия, чтобы ее легко можно было разорвать на две части, и обе части были одинаковые.

— Фамилия? — спросил он.

— Это не нужно. И адрес тоже.

Она увидела, как мужчина задумался и кончик пера завис над пунктирной линией.

— Вам ведь не обязательно записывать фамилию и адрес, не правда ли?

Мужчина пожал плечами, покачал головой, и кончик пера переместился к следующей строчке.

— Просто мне бы этого не хотелось, — сказала миссис Биксби. — У меня на то есть причины исключительно личного свойства.

— Тогда вам лучше не терять эту квитанцию.

— Не потеряю.

— Вы понимаете, что любой, кто найдет ее, может явиться и выкупить вашу вещь?

— Да, я знаю.

— Только по номеру.

— Да, знаю.

— Как мне ее описать?

— Не надо описывать, благодарю вас. Это необязательно. Просто поставьте сумму, которую я возьму.

Кончик пера опять завис над пунктирной линией рядом со словами «наименование предмета».

— Думаю, все же нужно хоть какое-то описание. Всегда пригодится, если вы захотите продать квитанцию. Кто знает, может, когда-нибудь вам захочется ее продать.

— Я не собираюсь ее продавать.

— Вдруг придется. Так часто бывает.

— Послушайте, — сказала миссис Биксби. — Я не разорена, если вас это волнует. Просто я потеряла сумочку. Понимаете?

— Как угодно, — произнес мужчина. — Шуба ваша.

В этот момент неприятная мысль пронзила миссис Биксби.

— Скажите мне вот что, — проговорила она. — Если на моей квитанции не будет описания, как я могу быть уверена в том, что вы отдадите мне шубу, а не что-нибудь другое, когда я вернусь за ней?

— Я занесу соответствующую запись в книгу.

— Но у меня-то будет только номер. Поэтому вы можете вручить мне любую старую вещь, разве не так?

— Так вам нужно описание или нет? — спросил мужчина.

— Нет, — сказала она. — Я вам верю.

Мужчина написал «пятьдесят долларов» против слова «стоимость» в обеих частях квитанции, затем разорвал ее пополам вдоль перфорации и нижнюю часть протянул через прилавок. Из внутреннего кармана пиджака он извлек бумажник и достал пять десятидолларовых банкнотов.

— Я беру три процента в месяц, — сказал он.

— Да-да, хорошо. И благодарю вас. Вы ведь будете бережно с ней обращаться?

Мужчина кивнул, но ничего не ответил.

— Положить ее обратно в коробку?

— Нет, не надо, — ответил мужчина.

Миссис Биксби повернулась и вышла из ломбарда на улицу, где ее ждало такси. Через десять минут она была дома.

— Дорогой, — сказала она, целуя своего мужа, — ты скучал по мне?

Сирил Биксби отложил вечернюю газету и взглянул на свои часы.

— Двенадцать с половиной минут седьмого, — сказал он. — Ты немножко опоздала, не так ли?

— Знаю. Эти кошмарные поезда. Тетушка Мод, как обычно, передает тебе привет. Ужасно хочу выпить, а ты?

Ее муж сложил газету аккуратным прямоугольником и положил ее на подлокотник своего кресла. Потом поднялся и подошел к буфету. Его жена стояла посреди комнаты, стягивая перчатки и внимательно наблюдая за ним. Сколько же ей ждать, думала она. Он стоял к ней спиной и, склонившись над мерным стаканом, время от времени подносил его близко к лицу и заглядывал в него, будто в рот пациента.

Какой он маленький после Полковника, просто смешно. Полковник огромный, щетинистый, рядом с ним чувствуешь, как от него исходит слабый запах хрена. Этот же маленький, опрятный, костлявый, и от него вообще ничем не пахнет, разве что мятными леденцами, которые он сосет ради пациентов, чтобы дыхание было свежим.

— Смотри, что я купил, — сказал муж, поднимая стеклянный мерный стакан. — Теперь я могу наливать вермут с точностью до миллиграмма.

— Дорогой, как это разумно.

Нужно мне все-таки подумать о том, чтобы он иначе одевался. Словами не выразить, как смешны его костюмы... Было время, когда ей казалось, что они замечательны, эти эдвардианские пиджаки с высокими лацканами на шести пуговицах, теперь же они казались попросту нелепыми. Да и эти узкие брюки дудочкой. Чтобы носить такие вещи, нужно иметь особое лицо, у Сирила же ничего

особенного в лице нет. Оно у него длинное и худое, с узким носом и немного выдающейся челюстью, и, когда видишь его лицо торчащим над наглухо застегнутым старомодным пиджаком, вспоминаешь карикатурного Сэма Уэллера¹. Сирил же, наверное, казался себе вылитым Бо Браммелом². И пациенток в своем кабинете он неизменно встречал в расстегнутом белом халате, чтобы они могли увидеть под халатом его амуницию... Это явно должно было создать впечатление, будто он тоже немного кобель. Однако миссис Биксби не проведешь. Все это оперение — сплошной обман. Ничего-то оно не значит. Он напоминал ей стареющего ошипанного павлина, с напыщенным и самодовольным видом шествующего по траве... Иногда он был похож на какой-нибудь самоопыляющийся цветок, вроде одуванчика. Одуванчик не нужно опылять, чтобы он дал семена, и все эти яркие желтые лепестки — пустая трата времени, хвостовство, маскарад. Как это биологи говорят? Бесполой. Бесполой одуванчик. Как и рои мошек, кружащиеся летом над водой, если уж такой пошел разговор. Невольно вспомнишь Льюиса Кэрролла, подумала миссис Биксби, — мошки, одуванчики и зубные врачи.

— Спасибо, дорогой, — сказала она, беря картины и усаживаясь на диван с сумочкой на коленях. — А ты чем занимался вчера вечером?

— Остался в кабинете и приготовил несколько пломб. А потом привел счета в порядок.

— Слушай, Сирил, я думаю, тебе уже давно пора другим поручать делать за тебя черную работу. Это ниже твоего достоинства. Почему ты не заставишь техника готовить пломбы?

— Я предпочитаю делать это сам. И очень горжусь своими пломбами.

— Знаю, дорогой, и думаю, они просто замечательны. Это лучшие пломбы на всем свете. Но я не хочу, чтобы ты истязал себя. А почему Палтни не занимается счетами? Это ведь отчасти ее работа, не так ли?

— Она занимается ими. Но мне сначала приходится самому составлять на все расценки. Она не знает, кто богат, а кто нет.

¹ Слуга мистера Пиквика в «Записках Пиквикского клуба» Ч. Диккенса.

² Бо («Франт») Браммел (1778–1840) — английский законодатель мод начала XIX века.

— Прекрасный мартини, — сказала миссис Биксби, ставя свой стакан на столик возле дивана. — Замечательный.

Она раскрыла сумочку и достала носовой платок, будто собралась высморкаться.

— Кстати! — воскликнула она, увидев квитанцию. — Я забыла тебе кое-что показать. Я только что нашла это в такси. Тут есть номер, и я подумала, что это, наверное, лотерейный билет, поэтому оставила у себя.

Она протянула клочок плотной коричневой бумаги мужу, он взял его и начал тщательно осматривать со всех сторон, будто вызывающий подозрения зуб.

— Знаешь, что это такое? — медленно спросил он.

— Нет, дорогой, не знаю.

— Это закладная квитанция.

— Что?

— Квитанция, выданная в ломбарде. Тут есть и фамилия оценщика, и адрес — где-то на Шестой авеню.

— О, дорогой, я так разочарована. Я-то думала — выигрышный билет.

— Для разочарования нет причин, — сказал Сирил Биксби. — По правде, это весьма любопытно.

— А что тут может быть любопытного, дорогой?

Он начал объяснять ей в подробностях, что такое закладная квитанция, особо отметив то обстоятельство, что любой, кто предъявит такой билет, может выкупить заложенную вещь. Она терпеливо слушала, пока он не закончил лекцию.

— Думаешь, стоит ее потребовать? — спросила она.

— Во всяком случае, стоит узнать, что это. Видишь, здесь стоит сумма в пятьдесят долларов? Знаешь, что это означает?

— Нет, дорогой, а что это значит?

— Это означает, что вещь, о которой идет речь, почти наверняка представляет собой что-то ценное.

— То есть она стоит пятьдесят долларов?

— Наверное, больше пятисот.

— Пятьсот долларов!

— Разве ты не понимаешь? — спросил он. — В ломбарде никогда не дают больше десятой части настоящей стоимости.

— О господи! Никогда этого не знала.

— Ты многого не знаешь, моя дорогая. А теперь послушай меня. Притом что здесь нет фамилии и адреса владельца...

— Но что-то ведь указывает на то, кому это принадлежит?

— Нет. Так часто делают, когда не хотят, чтобы знали, что человек был в ломбарде. Этого стыдятся.

— Значит, ты полагаешь, мы можем оставить ее у себя?

— Разумеется, оставим. Теперь это наша квитанция.

— Ты хочешь сказать — моя, — твердо проговорила миссис Биксби. — Это ведь я нашла ее.

— Моя дорогая, какое это имеет значение? Главное — мы теперь вправе пойти и выкупить вещь, когда пожелаем, всего лишь за пятьдесят долларов. Как тебе это нравится?

— О, как интересно! — воскликнула миссис Биксби. — По-моему, это страшно любопытно, особенно когда не знаешь, что это такое. Это может быть все, что угодно, не правда ли, Сирил! Абсолютно все, что угодно!

— Конечно, хотя, скорее всего, либо кольцо, либо часы.

— А если это настоящее сокровище, как будет замечательно! То есть что-нибудь по-настоящему старое, например красивая старинная ваза или римская статуя.

— Это может быть все, что угодно, моя дорогая. Нам нужно лишь набраться терпения, а там посмотрим.

— Потрясающе интересно! Дай мне квитанцию, и я в понедельник прямо с утра помчусь туда и все узнаю!

— Думаю, лучше мне это сделать.

— Ну уж нет! — вскричала она. — Позволь мне.

— Лучше не стоит. Я заберу ее по дороге на работу.

— Но это же моя квитанция! Прошу тебя, позволь мне, Сирил. Почему ты думаешь, что только тебе хочется повеселиться?

— Ты не знаешь оценщиков, моя дорогая. Тебя, скорее всего, обманут.

— Не обманут, честное слово, я этого не допущу. Дай мне ее, пожалуйста.

— К тому же хорошо бы тебе еще и иметь пятьдесят долларов, — улыбаясь, заметил он. — Нужно выплатить пятьдесят долларов наличными, иначе вещь тебе не выдадут.

— Понимаю, — сказала миссис Биксби. — Я подумаю об этом.

— Я бы предпочел, чтобы ты не занималась этим, если не возражаешь.

— Но, Сирил, ведь я нашла ее. Что бы там ни было, квитанция моя, разве не так?

— Разумеется, твоя, моя дорогая. И не нужно так волноваться.

— А я и не волнуюсь. Просто мне интересно, вот и все.

— Полагаю, тебе и в голову не приходило, что это может быть что-то чисто мужское — карманные часы, например, или набор запонок. Ты же знаешь, не только женщины ходят в ломбард.

— Тогда я подарю тебе эту вещь на Рождество, — великодушно сказала миссис Биксби. — С радостью. Но если вещь женская, я возьму ее себе. Договорились?

— Что ж, справедливо. Почему бы тебе тогда не пойти со мной, когда я буду брать ее?

Миссис Биксби уже собралась было ответить «да», но вовремя спохватилась. У нее не было ни малейшего желания, чтобы в ломбарде ее приветствовали как старого клиента — в присутствии мужа.

— Нет, — сказала она. — Думаю, с тобой я не пойду. Видишь ли, будет гораздо интереснее, если я подожду, чем это кончится. Надеюсь, это не будет что-то такое, что никому из нас не нужно.

— Тут ты права, — сказал он. — Если мне покажется, что вещь не стоит пятидесяти долларов, я ее и брать не стану.

— Но ты же сказал, что она будет стоить пятьсот.

— Совершенно уверен, что так и будет. Не беспокойся.

— О Сирил, я сгораю от любопытства. Разве это не интересно?

— Забавно, да, — сказал он, пряча квитанцию в карман жилета. — Очень забавно.

Наконец настал понедельник. После завтрака миссис Биксби проводила мужа до двери и помогла ему надеть пальто.

— Не работай так много, дорогой, — сказала она.

— Хорошо, не буду.

— Вернешься в шесть?

— Надеюсь.

— У тебя будет время зайти в ломбард? — спросила она.

— Боже мой, да я совсем забыл. Возьму такси и сейчас же туда заеду. Это по дороге.

— Квитанцию не потерял?

— Надеюсь, нет, — ответил он, пощупав карман жилета. — Нет, она здесь.

— А денег у тебя хватит?

— В самый раз.

— Дорогой, — сказала миссис Биксби, поправляя ему галстук, который был завязан просто отлично, — если это что-то красивое, что-то такое, что, по-твоему, может мне понравиться, позвонишь мне, как только приедешь на работу?

— Да, если хочешь.

— Понимаешь, я так надеюсь, что это будет что-то для тебя, Сирил. Лучше бы для тебя, чем для меня.

— Это очень великодушно с твоей стороны, моя дорогая. А теперь я должен бежать.

Спустя примерно час, когда зазвонил телефон, миссис Биксби так рванулась к аппарату, что схватила трубку еще на первом звонке.

— Взял! — сказал он.

— Да ну! О Сирил, и что же это? Что-то хорошее?

— Хорошее! — кричал он. — Фантастическое! Ты бы только посмотрела! В обморок упадешь!

— Дорогой, что это? Говори же скорее!

— Ну и везет же тебе.

— Значит, это для меня?

— Конечно для тебя. Хотя почему такую вещь заложили всего за пятьдесят долларов, убей, не пойму. Только ненормальный мог это сделать.

— Сирил! Да не мучай же меня! Я больше не могу!

— С ума сойдешь, когда увидишь.

— Да что же это?

— Попробуй отгадать.

Миссис Биксби помедлила. Осторожнее, сказала она про себя. Теперь будь очень осторожна.

— Колье, — сказала она.

— Нет.

— Бриллиантовое кольцо.

— Ничуть не теплее. Я подскажу тебе. Это что-то такое, что можно надеть на себя.

— Надеть на себя? Шляпа?

— Нет, не шляпа, — рассмеявшись, сказал он.

— Умоляю тебя, Сирил, почему ты не скажешь мне?

— Потому что я хочу, чтобы это был сюрприз. Вечером я принесу эту вещь домой.

— Ничего подобного! — вскричала она. — Я сейчас сама приеду.

— Лучше не надо.

— Но почему же, дорогой? Почему я не могу приехать?

— Потому что я слишком занят. Ты мне испортишь весь утренний график. Я и так уже на полчаса опоздал.

— Тогда приеду в обед. Хорошо?

— Я не обедаю. Впрочем, приезжай полвторого, когда у меня будет перерыв на сэндвич. До свидания.

Ровно в половине второго миссис Биксби явилась туда, где мистер Биксби работает, и нажала на звонок. Ее муж, в белом халате зубного врача, сам открыл дверь.

— О Сирил, я сгораю от нетерпения.

— Еще бы! Ну и везет же тебе, ты хоть догадывалась о чем-нибудь?

Он провел ее по коридору в хирургический кабинет.

— Идите пообедайте, мисс Палтни, — сказал он ассистентке, которая складывала инструменты в стерилизатор. — Закончите, когда вернетесь.

Он подождал, пока она не вышла, потом подошел к шкафчику, в который вешал свою одежду, и встал перед ним.

— Она там, — сказал он, указывая пальцем. — А теперь закрой глаза.

Миссис Биксби сделала то, о чем он ее просил. Потом глубоко вздохнула, задержала дыхание и в наступившей тишине услышала, как он открывает дверцу шкафчика. Когда он доставал оттуда какую-то вещь, раздался мягкий шуршащий звук.

— Теперь можешь смотреть!

— Не могу решиться, — рассмеявшись, сказала миссис Биксби.

— Взгляни хоть одним глазом.

Глупо смеясь, она несмело, чуть-чуть приподняла одно веко ровно настолько, чтобы увидеть темную расплывчатую фигуру мужчины в белом халате, державшего что-то в высоко поднятой руке.

— Норка! — воскликнул он. — Настоящая норка!

Услышав это волшебное слово, она быстро открыла глаза и подалась вперед, чтобы заключить шубу в объятия.

Но никакой шубы не было! В руке мужа болталась какая-то нелепая маленькая меховая горжетка.

— Ты только полюбуйся! — говорил он, помахивая горжеткой перед ее лицом.

Миссис Биксби закрыла рот рукой и отпрянула. Я сейчас закричу, сказала она про себя. Я сейчас точно закричу.

— В чем дело, моя дорогая? Разве тебе это не нравится? — Он перестал размахивать мехом и уставился на нее, ожидая, что она скажет.

— Нравится, — пробормотала миссис Биксби. — Я... я... думаю... это мило... очень мило.

— У тебя ведь в первую минуту даже дыхание перехватило, а?

— Да.

— Великолепное качество, — сказал он. — Да и цвет отличный. Знаешь что, моя дорогая? По-моему, такая вещь, если покупать ее в магазине, обошлась бы тебе в две-три сотни долларов.

— Не сомневаюсь.

Горжетка была сделана из двух шкурок, двух поношенных на вид узких шкурок, у которых были головы со стеклянными бусинками в глазницах и свешивающиеся лапки. Одна держала в пасти зад другой и кусала его.

— Примерь-ка ее на себя.

Он накинул ей горжетку на плечи, после чего отступил, чтобы выразить свое восхищение:

— Прекрасно. Она тебе идет. Не у каждого есть норка, моя дорогая.

— Нет, не у каждого.

— Когда пойдешь в магазин, лучше оставляй ее дома, иначе подумают, что мы миллионеры, и станут драть с нас вдвое.

— Постараюсь запомнить, Сирил.

— Боюсь, что на Рождество тебе другого подарка не будет. Пятьдесят долларов — и без того несколько больше, чем я собирался истратить.

Он повернулся, подошел к умывальнику и стал мыть руки.

— Теперь беги, моя дорогая, и хорошо позавтракай где-нибудь. Я бы и сам составил тебе компанию, но в приемной меня дожидается старик Горман со сломанным зажимом в зубном протезе.

Миссис Биксби двинулась к двери.

Я убью оценщика, говорила она про себя. Я сейчас же пойду к нему в его лавку, швырну эту грязную горжетку ему в лицо, и, если он не вернет мне мою шубу, я убью его.

— Я тебе говорил, что приду сегодня поздно? — сказал Сирил Биксби, продолжая мыть руки.

— Нет.

— Пожалуй, не раньше половины девятого. А может, и в девять.

— Да-да, хорошо. До свидания.

Миссис Биксби захлопнула за собой дверь.

В этот самый момент мисс Палтни, секретарша-ассистентка, направляясь на обед, проплыла мимо нее по коридору.

— Правда, чудесный день? — бросила на ходу мисс Палтни, сверкнув улыбкой.

В походке ее была какая-то легкость, от нее пахло тонкими духами, и она выглядела королевой, самой настоящей королевой в прекрасной черной норковой шубе, которую Полковник подарил миссис Биксби.

МАТОЧНОЕ ЖЕЛЕ

— Меня это смертельно тревожит, Альберт, смертельно, — сказала миссис Тейлор.

Она не отрывала глаз от ребенка, который лежал у нее на левой руке совершенно неподвижно.

— Уверена, с ней что-то не так.

Кожа на лице ребенка была прозрачна и сильно натянута.

— Попробуй еще раз, — сказал Альберт Тейлор.

— Ничего не получится.

— Ты должна попробовать еще и еще раз, Мейбл, — настаивал он.

Она взяла бутылочку из кастрюли с водой и вылила несколько капель молока на ладонь, пробуя, не горячее ли оно.

— Ну же, — прошептала она. — Ну, девочка моя. Проснись и попей еще немножко.

На столе рядом с ней стояла небольшая лампа, освещавшая все вокруг мягким желтым светом.

— Ну пожалуйста, — говорила она. — Попей хотя бы немного.

Муж наблюдал за ней, глядя поверх журнала. Она едва держалась на ногах от изнеможения. Ее бледное продолговатое лицо, обычно невозмутимое и спокойное, еще более вытянулось, и на нем появилось выражение отчаяния. И все равно, со склоненной головой и глазами, устремленными на ребенка, она казалась удивительно красивой.

— Вот видишь, — пробормотала она. — Бесполезно. Она не ест.

Мейбл поднесла бутылочку к свету и, прищурившись, посмотрела, сколько молока убавилось.

— И всего-то выпила одну унцию. А то и того меньше. Три четверти, не больше. Как раз чтобы не умереть. Альберт, меня это смертельно тревожит.

— Я знаю, — сказал он.

— Только бы выяснили, в чем причина.

— Ничего страшного, Мейбл. Нужно набраться терпения.

— Уверена, что-то тут не так.

— Доктор Робинсон говорит, не надо тревожиться.

— Послушай, — сказала она, поднимаясь. — Не станешь же ты говорить, что это естественно, когда шестинедельный ребенок весит на целых два фунта меньше, чем при рождении! Да ты взгляни на эти ноги! Кожа да кости!

Крошечное дитя, не двигаясь, безжизненно лежало у нее на руках.

— Доктор Робинсон сказал, чтобы ты перестала нервничать, Мейбл. Да и тот, другой врач то же самое говорил.

— Ха! — воскликнула она. — Замечательно! Я, видите ли, должна перестать нервничать!

— Успокойся, Мейбл.

— А что, по его мнению, я должна делать? Относиться ко всему этому как к шутке?

— Такого он не говорил.

— Ненавижу докторов! Всех их ненавижу! — сквозь слезы проговорила Мейбл и, резко повернувшись, быстро вышла из комнаты с ребенком на руках.

Альберт Тейлор не удерживал ее.

Спустил короткое время он услышал, как она ходит в спальне прямо у него над головой — быстрые нервные шаги по линолеумному полу. Скоро звук шагов стихнет, и тогда он встанет и последует за ней, а когда войдет в спальню, то, как обычно, застанет ее сидящей возле детской кроватки. Она будет смотреть на ребенка, тихо плакать и ни за что не пожелает сдвинуться с места. «Она умирает от голода, Альберт», — скажет Мейбл. «Вовсе не умирает». — «Умирает. Я уверена, Альберт». — «С чего ты взяла?» — «Я знаю, что и ты так думаешь, только не хочешь признаться. Разве не так?»

Теперь это повторялось каждый вечер.

На прошлой неделе они снова отвезли ребенка в больницу. Врач внимательно осмотрел его и сказал, что ничего страшного нет.

— Мы девять лет ждали ребенка, доктор, — сказала тогда Мейбл. — Я умру, если с ней что-то произойдет.

Это было шесть дней назад, и с того времени девочка потеряла в весе еще пять унций.

Однако сколько ни нервничай, это не поможет, подумал Альберт Тейлор. В таких вещах врачу нужно доверять. Он взял в руки

журнал, который по-прежнему лежал у него на коленях, лениво пробежал глазами содержание и посмотрел, что там напечатали на этой неделе: «Среди майских пчел», «Изделия из меда», «Пчеловод и фармакология», «Из опыта борьбы с нозематозом», «Последние новости о маточном желе», «На этой неделе на пасеке», «Целебная сила прополиса», «Срыгивание», «Ежегодный обед британских пчеловодов», «Новости ассоциации».

Всю свою жизнь Альберт Тейлор увлекался всем тем, что имеет хоть какое-то отношение к пчелам. Маленьким мальчиком он часто ловил их голыми руками и прибегал в дом, чтобы показать своей матери, а иногда пускал их ползать по своему лицу и шее, но самое удивительное, что он ни разу не был ужален. Напротив, пчелам, похоже, нравилось быть с ним. Они никогда не пытались улететь, и, чтобы избавиться от них, Альберт осторожно смахивал их пальцами. Но даже после этого они часто возвращались и снова усаживались ему на руку или на колено, туда, где была голая кожа.

Его отец, каменщик, говорил, что от мальчика, должно быть, исходит какой-то колдовской дух и ничего хорошего из гипнотизирования насекомых не выйдет. Однако мать утверждала, что это дар Божий, и даже сравнивала Альберта со святым Франциском с его птицами¹.

Чем старше становился Альберт Тейлор, тем больше его увлечение пчелами превращалось в наваждение, и, когда ему исполнилось двенадцать лет, он построил свой первый улей. Следующим летом поймал первый рой. Через два года, в четырнадцать лет, на заднем дворе отцовского дома вдоль изгороди аккуратным рядком стояли пять ульев, и уже тогда, помимо обыкновенного добывания меда, он занялся выводением маток, пересаживанием личинок и прочими тонкими и сложными вещами.

Работая с пчелами, Альберт никогда не разводил дым, не надевал перчатки на руки или сетку на голову. Между мальчиком и пчелами явно существовала взаимная симпатия, и в деревенских лавках и трактирах о нем начали говорить с чем-то вроде уважения. Люди все чаще приходили к нему в дом, чтобы купить меду.

Когда ему было восемнадцать, он арендовал акр необработанной земли, тянувшейся вдоль вишневого сада, примерно в миле от

¹ *Святой Франциск* (1181/82–1226) — настоящее имя Франческо ди Пьетри ди Бернардоне. Канонизирован 15 июля 1228 г. По легенде, когда он читал проповеди птицам, те его внимательно слушали.

деревни, и развернул свое дело. Теперь, одиннадцать лет спустя, у него было там уже шесть акров земли, а не один, двести сорок хорошо оборудованных ульев и небольшой дом, который он построил в основном своими руками. Он женился в двадцатилетнем возрасте, и, если не считать того, что они с женой девять с лишним лет ждали ребенка, все у них было удачно. Словом, все шло хорошо, пока не появилась эта странная девочка и не стала доводить их до безумия, отказываясь есть как следует и теряя в весе каждый день.

Альберт оторвался от журнала и подумал о своей дочери.

Этим вечером, например, когда она открыла глаза в самом начале кормления, он заглянул в них и увидел что-то такое, что до смерти его напугало, — взгляд какой-то затуманенный, отсутствующий, будто глаза и вовсе не соединены с мозгом, а просто лежат себе в глазницах, словно пара серых стеклянных шариков.

Да много они понимают, эти врачи!

Он придвинул к себе пепельницу и принялся медленно выковыривать спичкой пепел из трубки.

Можно, конечно, отвезти ее в другую больницу, где-нибудь в Оксфорде например. Надо будет сказать об этом Мейбл, когда он поднимется наверх.

Он слышал, как она ходит в спальне, но она, видимо, уже сняла туфли и надела тапки, потому что звук шагов был слабый.

Альберт снова переключил свое внимание на журнал и продолжил чтение. Закончив читать статью под названием «Из опыта борьбы с нозематозом», он перевернул страницу и глянул на следующую — «Последние новости о маточном желе». Едва ли здесь будет что-то такое, чего он еще не знает.

Что это за чудесное вещество, называемое маточным желе?

Он взял жестяную коробку с табаком, лежавшую на столе, и стал набивать трубку, не отрываясь от чтения.

«Маточное желе — особый продукт, выделяемый железистыми клетками пчел-кормилиц для питания личинок, как только они выводятся из яйца. Глоточные железы пчел вырабатывают это вещество практически по той же схеме, что и молочные железы позвоночных — молоко. Этот факт представляет значительный биологический интерес, потому что никакие другие насекомые в мире не обладают, насколько известно, подобным свойством».

Все это давно известно, сказал он про себя, но за неимением другого занятия продолжал читать.

«Маточное желе дается в концентрированном виде всем личинкам пчел в первые три дня после их появления на свет, но для тех, кому суждено стать трутнем или рабочей пчелой, к этому ценному продукту добавляется мед и цветочная пыльца. С другой стороны, личинки, которым суждено стать матками, в продолжение всей личиночной стадии своего развития усиленно питаются чистым маточным желе. Отсюда и его название».

В спальне над ним звук шагов прекратился. В доме все стихло. Альберт чиркнул спичкой и поднес ее к трубке.

«Маточное желе — вещество огромной питательной ценности, ибо, питаясь только им, личинка пчелы медоносной за пять дней увеличивает свой вес в тысячу пятьсот раз».

Наверное, так и есть, подумал он, хотя никогда раньше почему-то не задумывался о том, на сколько прибавляет в весе личинка по мере роста.

«Ребенок семи с половиной фунтов за это время прибавил бы в весе до пяти тонн».

Альберт Тейлор остановился и снова прочитал это предложение. Потом прочитал в третий раз.

«Ребенок семи с половиной фунтов...»

— Мейбл! — закричал он, вскакивая с кресла. — Мейбл! Иди сюда!

Он выскочил в холл и, остановившись у лестницы, стал ей кричать, чтобы она спустилась.

Ответа не было.

Он взбежал по лестнице и включил на площадке свет. Дверь спальни была закрыта. Он пересек площадку, открыл дверь и заглянул в темную комнату.

— Мейбл, — позвал он, — ты можешь спуститься? У меня появилась идея насчет нашей малышки.

Лампа на площадке у него за спиной бросала слабый свет на кровать, и он смутно увидел ее, лежавшую на животе. Лицо было зарыто в подушку, а руками она обхватила голову. Она опять плакала.

— Мейбл, — сказал Альберт, дотрагиваясь до ее плеча, — пожалуйста, спустись. Это может быть очень важно.

— Уходи, — сказала она. — Оставь меня одну.

— Ты разве не хочешь узнать, что у меня за идея?

— О Альберт, я устала, — сквозь слезы проговорила она. — Я так устала, что вообще ничего не соображаю. Я больше так не могу. Мне не выдержать.

Наступило молчание. Альберт медленно подошел к кровати, в которой лежал ребенок, и заглянул в нее. Было слишком темно, чтобы разглядеть лицо девочки, но, наклонившись, он услышал, как она дышит — очень слабо и быстро.

— Когда ты будешь в следующий раз ее кормить? — спросил он.

— Часа в два.

— А потом?

— В шесть утра.

— Я сам покормлю ее, — сказал он. — А ты спи.

Она не отвечала.

— Забирайся в постель, Мейбл, и усни, хорошо? И не изводи себя. Следующие двенадцать часов я буду кормить ее сам. Ты доведешь себя до нервного истощения, если и дальше будешь так волноваться.

— Да, — сказала она. — Я знаю.

— Я беру соску, будильник и сейчас же уйду в другую комнату, а ты ложись, расслабься и забудь о нас. Хорошо?

Он уже катил кровать к двери.

— О Альберт, — всхлипнула Мейбл.

— Ни о чем не волнуйся. Я все сделаю сам.

— Альберт...

— Да?

— Я люблю тебя, Альберт.

— Я тоже тебя люблю, Мейбл. А теперь спи.

Альберт Тейлор увидел свою жену снова около одиннадцати часов утра.

— О боже! — кричала она, сбегая по лестнице в халате и тапках. — Альберт! Ты только посмотри на часы! Я проспала, наверное, не меньше двенадцати часов! Все в порядке? Ничего не случилось?

Он молча сидел в кресле с трубкой и утренней газетой. Ребенок лежал на полу у его ног в переносной кровати и спал.

— Привет, дорогая, — улыбаясь, сказал он.

Мейбл подбежала к кровати и заглянула в нее:

— Она что-нибудь ела, Альберт? Сколько раз ты ее кормил? В десять часов ее еще раз нужно было покормить, ты не забыл?

Альберт Тейлор аккуратно свернул газету и положил на столик.

— Я кормил ее в два часа ночи, — сказал он, — и она съела что-то с пол-унции. Потом я кормил ее в шесть утра, и она уже справилась с большей порцией, съев две унции...

— Две унции! О Альберт, это просто здорово!

— А десять минут назад мы еще раз поели. Вон бутылочка на камине. Осталась только одна унция. Она выпила три. Как тебе это нравится?

Он гордо улыбался, довольный своим достижением.

Его жена быстро опустила на колени и посмотрела на ребенка.

— Разве она не лучше выглядит? — нетерпеливо спросил он. — Посмотри, какие у нее пухлые щечки!

— Может, это и глупо, — сказала Мейбл, — но мне действительно кажется, что это так. Ах, Альберт, ты просто волшебник. Как тебе это удалось?

— Опасность миновала, — сказал он, — вот и все. Как и предсказывал доктор, самое страшное позади.

— Молю Бога, что это так, Альберт.

— Конечно так. Вот увидишь, как быстро она будет теперь поправляться.

Женщина с любовью смотрела на ребенка.

— Да и ты гораздо лучше выглядишь, Мейбл.

— Я чувствую себя прекрасно. Прости меня за прошлый вечер.

— Давай-ка поступим так, — сказал он. — Теперь я буду кормить ее по ночам. А ты днем.

Она взглянула на него и нахмурилась.

— Нет, — сказала она. — Нет, этого я тебе не позволю.

— Я не хочу, чтобы у тебя случился нервный срыв, Мейбл.

— Ничего не случится, к тому же я хорошо выспалась.

— Будет гораздо лучше, если мы разделим обязанности.

— Нет, Альберт. Это моя обязанность, и я буду выполнять ее. То, что было этой ночью, больше не повторится.

Наступило молчание. Альберт Тейлор вынул трубку изо рта и повертел ее в руках.

— Хорошо, — сказал он. — В таком случае я освобожу тебя от дополнительной работы, вот и все, — буду стерилизовать бутылочки, например. Может, хоть это тебе немного поможет.

Она внимательно посмотрела на мужа, недоумевая, что это с ним вдруг произошло.

— Видишь ли, Мейбл, я вот о чем подумал...

— Да, дорогой?

— До вчерашнего вечера я и пальцем не пошевелил, чтобы помочь тебе с ребенком.

— Неправда.

— Нет, правда. Поэтому я решил, что отныне буду выполнять свою часть работы. Я буду готовить для нее молочную смесь и стерилизовать бутылки. Хорошо?

— Очень мило с твоей стороны, дорогой, но думаю, совсем не обязательно...

— Не говори так! — вскричал он. — К чему все портить? Последние три раза я ее кормил, и ты только посмотри, каков результат! Когда следующее кормление? В два часа, так ведь?

— Да.

— У меня все готово, — сказал он. — И в два часа тебе нужно будет лишь сходить в кладовку, взять смесь с полки и подогреть. Разве это не помощь?

Она поднялась с коленей и поцеловала Альберта в щеку.

— Ты такой добрый, — сказала она. — С каждым днем я люблю тебя все сильнее и сильнее.

Днем Альберт возился на солнце среди ульев. Вдруг он услышал, как жена зовет его из дома.

— Альберт! — кричала она. — Альберт, иди сюда!

Она бежала к нему по траве, усеянной лютиками.

Он бросился ей навстречу, недоумевая, что могло произойти.

— О Альберт! Отгадай, что случилось!

— Что?

— Я только что ее кормила, и она все съела!

— Не может быть!

— До капли! О Альберт, я так счастлива! Она поправляется! Опасность миновала, как ты и говорил!

Она обвила его шею руками и стиснула в объятиях, а он стоял и похлопывал ее по спине, смеялся и говорил, какая она замечательная мать.

— Ты придешь посмотреть, когда я буду ее кормить, может, она опять поест, а, Альберт?

Он сказал ей, что ни за что этого не пропустит, и она снова рас- смеялась, потом повернулась и побежала к дому, подпрыгивая и что-то напевая.

В воздухе повисло некоторое напряжение, когда настало время шестичасового кормления. К половине шестого оба родителя уже сидели в гостиной, ожидая этой минуты. Бутылочка с молочной смесью стояла на камине в кастрюле с теплой водой. Ребенок спал в переносной кроватке на диване.

Без двадцати шесть девочка проснулась и закричала во все горло.

— Вот видишь! — воскликнула миссис Тейлор. — Она просит есть. Быстро бери ее, Альберт, и неси ко мне, но сначала дай-ка бутылочку.

Он протянул жене бутылочку, а потом положил ребенка ей на колени. Мейбл осторожно коснулась губ ребенка концом соски. Девочка стиснула соску деснами и начала жадно высасывать со- держимое бутылочки.

— О Альберт, разве это не здорово? — смеясь, сказала счастли- вая мать.

— Потрясающе, Мейбл.

Минут через семь-восемь содержимое бутылочки исчезло в гор- ле ребенка.

— Ты умница, — проговорила миссис Тейлор. — Четырех унций как не бывало.

Альберт Тейлор склонился над девочкой и внимательно посмот- рел ей в лицо.

— Знаешь что? — сказал он. — Похоже, она уже и в весе прибавила. Как ты думаешь?

Мать глянула на девочку.

— Тебе не кажется, Мейбл, что она выросла и пополнела по сравнению с тем, какой была вчера?

— Может, и так, Альберт, я не знаю. Хотя, скорее всего, вряд ли за такое короткое время можно прибавить в весе. Главное, она нор- мально поела.

— Опасность миновала, — повторил Альберт. — Думаю, тебе не следует теперь за нее волноваться.

— Я и не собираюсь.

— Хочешь, я схожу наверх и переставлю кроватку в нашу спальню, Мейбл?

— Да, сделай это, пожалуйста, — сказала она.

Альберт поднялся наверх и передвинул кровать. Жена последовала за ним вместе с ребенком. Сменив пеленки, она бережно уложила девочку в кровать. Потом накрыла ее простыней и одеялом.

— Ну разве она не хороша, Альберт? — прошептала Мейбл. — Разве это не самый прекрасный ребенок, которого ты видел в своей жизни?

— Оставь ее, Мейбл, — сказал он. — Иди вниз и приготовь нам что-нибудь на ужин. Мы его оба заслужили.

Полужинав, родители устроились в креслах в гостиной — Альберт со своим журналом и трубкой, миссис Тейлор с вязаньем. Однако по сравнению с тем, что происходило накануне вечером, это была совсем другая картина. Напряжение исчезло. Красивое продолговатое лицо миссис Тейлор светилось от радости, щеки розовели, глаза ярко блестели, а на губах застыла мечтательная умиротворенная улыбка. Поминутно она отрывала глаза от вязанья и с любовью глядела на мужа. А то и вовсе переставала стучать спицами и сидела совершенно неподвижно, глядя в потолок, прислушиваясь, не слышится ли наверху плач или хныканье. Но там было тихо.

— Альберт, — спустя какое-то время произнесла Мейбл.

— Да, дорогая?

— А что ты мне хотел сказать вчера вечером, когда вбежал в спальню? Ты говорил, что тебя посетила какая-то идея насчет малышки.

Альберт Тейлор опустил журнал на колени и лукаво ей улыбнулся.

— Разве? — спросил он.

— Да.

Она ждала, что он что-нибудь еще скажет, но он молчал.

— Что тут смешного? — спросила она. — Почему ты так улыбаешься?

— Да забавно все это, — хмыкнул он.

— Расскажи же мне, дорогой

— Не уверен, что стоит, — сказал он. — А вдруг ты мне не пове-ришь?

Она редко видела, чтобы он выглядел таким довольным собой, и, подзадоривая его, улыбнулась ему в ответ.

— Хотел бы я видеть твое лицо, Мейбл, когда ты узнаешь, что я собирался сказать.

— Альберт, да в чем же дело?

Он помолчал, обдумывая, с чего начать.

— Ты согласна, что девочке лучше? — спросил он.

— Конечно.

— Ты согласишься со мной, что неожиданно-негаданно она стала лучше есть, да и выглядит на сто процентов иначе?

— Да, Альберт, это так.

— Хорошо, — сказал он, расплываясь в улыбке. — Видишь ли, это я сделал.

— Что сделал?

— Вылечил ребенка.

— Да, дорогой, я уверена в этом.

Миссис Тейлор снова занялась вязанием.

— Ты что, не веришь мне?

— Разумеется, я тебе верю, Альберт. Это твоя заслуга, целиком и полностью твоя.

— Тогда как же я это сделал?

— Хм, — произнесла она, задумываясь. — Наверное, все дело только в том, что ты мастерски готовишь молочную смесь. С тех пор как ты ее готовишь, девочке все лучше и лучше.

— То есть ты хочешь сказать, что это своего рода искусство — готовить молочную смесь?

— Выходит, так.

Она продолжала вязать и тихо про себя улыбаться, думая о том, какие мужчины смешные.

— Я открою тебе секрет, — сказал Альберт. — Ты совершенно права. Хотя, обрати внимание, важно не как готовить, а что добавлять в эту смесь. Ты понимаешь, Мейбл?

Миссис Тейлор оторвалась от вязания и внимательно посмотрела на мужа.

— Альберт, — проговорила она, — не хочешь ли ты сказать, что ты что-то добавлял в молоко ребенка?

Он сидел и улыбался.

— Да или нет?

— Возможно, — сказал он.

— Не верю.

Его улыбка показалась ей несколько жестокой.

— Альберт, — сказала жена, — не шути так со мной.

— Хорошо, дорогая.

— Ты ведь ничего не добавлял ей в молоко, правда? Ответь нормально, по-человечески, Альберт. Для такого маленького ребенка это может иметь серьезные последствия.

— Отвечу так. Да, Мейбл.

— Альберт Тейлор! Да как ты мог?

— Да ты не волнуйся, — ответил он. — Если ты так настаиваешь, я тебе все расскажу, но, ради бога, возьми себя в руки.

— Пиво! — вскричала она. — Я знаю, это пиво.

— Не нервничай так, Мейбл, прошу тебя.

— Тогда что же?

Альберт аккуратно положил трубку на столик и откинулся в кресле.

— Скажи мне, — проговорил он, — ты, случайно, не слышала, чтобы я упоминал нечто под названием «маточное желе»?

— Нет.

— Это волшебная вещь, — сказал он. — Просто волшебная. А вчера вечером мне пришло в голову, что если я добавлю его немного ребенку в молоко...

— Да как ты смеешь!

— Успокойся, Мейбл, ты ведь еще даже не знаешь, что это такое.

— И знать не хочу, — сказала она. — Как можно что-то добавлять в молоко крошечному ребенку? Ты что, с ума сошел?

— Это совершенно безвредно, Мейбл, это вещество вырабатывают пчелы.

— Об этом я могла бы и сама догадаться.

— И оно настолько дорогое, что практически никто не может себе позволить использовать его. А если и используют, то только маленькую каплю за один раз.

— И сколько ты дал нашему ребенку, могу я спросить?

— Ага, — сказал он, — вот здесь-то весь секрет. Думаю, только за последние четыре кормления наш ребенок проглотил раз в пятьдесят больше маточного желе, чем съедал прежде кто-либо в мире. Как тебе это нравится?

— Альберт, не морочь мне голову.

— Клянусь, это правда, — гордо произнес он.

Она пристально смотрела на него, наморщив лоб и слегка приоткрыв рот.

— Знаешь, во что обойдется желе, если его покупать? В Америке фунтовая баночка стоит почти пятьсот долларов! Пятьсот долларов! Дороже золота!

Она с трудом соображала, о чем он говорит.

— Я сейчас тебе докажу, — сказал он и, вскочив с кресла, подошел к книжному шкафу, где у него хранилась литература о пчелах.

На верхней полке последние номера «Американского журнала пчеловода» аккуратными рядами стояли рядом с «Британским журналом пчеловода», «Разведением пчел» и другими изданиями. Он снял с полки последний номер «Американского журнала пчеловода» и отыскал страницу, где было напечатано рекламное объявление.

— Вот, — сказал Альберт. — Как я тебе и говорил. «Продаем маточное желе — четыреста восемьдесят долларов за фунтовую баночку, оптом».

Он протянул ей журнал, чтобы она смогла прочитать, что там написано.

— Теперь ты мне веришь? Такой магазин действительно существует в Нью-Йорке, Мейбл. О нем здесь как раз и говорится.

— Но здесь не говорится о том, что можно подмешивать желе в молоко только что родившемуся ребенку, — сказала она. — Не знаю, что нашло на тебя, Альберт, просто не знаю.

— Но ведь желе помогло, разве не так?

— Теперь я уже не уверена.

— Да не будь же ты такой глупой, Мейбл. Ты ведь знаешь, что помогло.

— Тогда почему другие не добавляют его в пищу своим детям?

— Я тебе еще раз говорю, — сказал Альберт. — Оно слишком дорогое. Практически никто на свете не может себе позволить купить маточное желе просто для того, чтобы его есть, кроме, может, одного-двух миллионеров. Покупают его крупные компании, чтобы производить женский крем для лица и прочие подобные вещи. Желе используют в качестве приманки. Добавляют немного в баночку с кремом для лица и продают по абсолютно баснословным ценам — расходуется как горячие пирожки. Якобы оно разглаживает морщины.

— И это действительно так?

— Откуда мне знать, Мейбл? — сказал он, вновь усаживаясь в кресло. — Не в этом суть, а вот в чем. Только в последние не-

сколько часов желе принесло столько пользы нашей маленькой девочке, что, я думаю, мы должны давать ей его и дальше. Не прерывай меня, Мейбл. Дай мне закончить. У меня двести сорок ульев, и, если хотя бы сто из них будут работать на маточное желе, мы сможем давать дочери столько, сколько нужно.

— Альберт Тейлор, — сказала жена, глядя на мужа широко раскрытыми глазами, — ты совсем с ума спятил?

— Выслушай меня до конца, хорошо?

— Я запрещаю тебе это делать, — сказала она, — категорически. Ты больше не дашь моему ребенку ни капли этого мерзкого желе, понял?

— Послушай, Мейбл...

— И, кроме того, мы собрали ужасно мало меда в прошлом году, и, если ты опять будешь экспериментировать со своими ульями, я не знаю, чем все закончится.

— При чем тут ульи, Мейбл?

— Ты отлично знаешь, что в прошлом году мы собрали только половину обычного количества меда.

— Сделай милость, а? — сказал он. — Позволь мне объяснить тебе, какие чудеса творит желе.

— Ты мне так и не сказал, что это вообще такое.

— Хорошо, Мейбл, я тебе расскажу. Ты будешь слушать? Дашь мне возможность все объяснить?

Она вздохнула и снова занялась вязанием.

— Облегчи свою душу, Альберт. Давай рассказывай все.

Он помедлил, не зная, с чего начать. Нелегко говорить с человеком, который вообще не имеет представления о пчеловодстве.

— Ты, наверное, знаешь, — сказал он, — что в каждой семье только одна матка?

— Да.

— И эта матка кладет все яйца.

— Да, дорогой. Это я знаю.

— Хорошо. Но матка может класть два различных вида яиц. Этого ты не знала, но это так. Это мы называем одним из чудес улья. Матка может класть яйца, из которых выводятся трутни, и может класть яйца, из которых выводятся рабочие пчелы. Если это не чудо, Мейбл, то я не знаю, что и назвать чудом.

— Да-да, Альберт, продолжай.

— Трутни — самцы. Нас они не волнуют. Рабочие пчелы — самки. Как и матка, разумеется. Но рабочие пчелы — бесполое самки,

если тебе это понятно. У них совершенно неразвитые органы, тогда как матка необычайно развита в половом отношении. За один день она может дать яиц общим весом, равным ее собственному.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

— А дальше происходит вот что. Матка ползает по сотам и кладет яйца в то, что мы называем ячейками. Ты видела сотни маленьких дырочек в сотах? Так вот, соты с детками примерно такие же, если не считать того, что меда в них нет, одни яйца. Она кладет одно яйцо в каждую ячейку, и через три дня из каждого яйца выводится одна малюсенькая детка. Мы называем ее личинкой. Как только появляется личинка, пчелы-кормилицы — молодые рабочие пчелы — собираются вокруг и начинают усиленно ее кормить. И знаешь, чем они ее кормят?

— Маточным желе, — терпеливо произнесла Мейбл.

— Именно! — воскликнул он. — Именно им ее и кормят. Они достают желе из своей глотки и принимаются заполнять им ячейку, чтобы накормить личинку. И что же происходит дальше?

Он сделал драматическую паузу, подмигнув жене своими маленькими водянисто-серыми глазками. Потом медленно повернулся в кресле и протянул руку к журналу, который читал накануне вечером.

— Хочешь знать, что происходит дальше? — спросил он, облизывая губы.

— Стораю от нетерпения.

— «Маточное желе, — прочел Альберт громко, — вещество огромной питательной ценности, ибо, питаясь только им, личинка пчелы медоносной за пять дней увеличивает свой вес в тысячу пятьсот раз...»

— Во сколько?

— В тысячу пятьсот, Мейбл. И знаешь, что это означает, если перевести такое соотношение применительно к человеку? Это означает, — сказал он, понизив голос, подавшись вперед и устремив на нее свои прозрачные глаза, — это означает, что через пять дней ребенок, весивший семь с половиной фунтов, будет весить пять тонн!

Миссис Тейлор во второй раз отложила вязанье.

— Только не нужно воспринимать это буквально, Мейбл.

— Почему же?

— Просто это научное сравнение, вот и все.

— Очень хорошо, Альберт. Продолжай.

— Но это еще половина истории, — сказал он. — Дальше — больше. Сейчас я расскажу тебе о маточном желе самое удивительное — как оно может некрасивую, на вид неповоротливую рабочую пчелу, у которой практически нет половых органов, превратить в прекрасную плодovitую матку.

— Ты хочешь сказать, что наша девочка некрасивая и на вид неповоротливая? — недовольно спросила жена.

— Не цепляйся к словам, Мейбл, прошу тебя. Слушай дальше. Знаешь ли ты, что матка и рабочая пчела, хотя они и сильно отличаются друг от друга, когда вырастают, выводятся из яйца одного и того же вида?

— Не верю, — сказала она.

— Это так же верно, как и то, что я здесь сижу, Мейбл, честное слово. Если пчелы захотят, чтобы из яйца вывелась матка, а не рабочая пчела, они запросто могут сделать это.

— Каким образом?

— Ага, — произнес он, ткнув толстым указательным пальцем в ее сторону. — Вот в этом-то весь секрет. Что, по-твоему, Мейбл, лежит в основе такого чудесного превращения?

— Маточное желе, — ответила она. — Ты мне уже сказал.

— Именно маточное желе! — воскликнул Альберт, хлопнув в ладоши и подскочив в кресле. Его широкое, круглое лицо горело от возбуждения, и два ярко-красных пятна появились на щеках. — Все очень просто. Я опишу тебе, как это происходит. Пчелам нужна новая матка. Для этого они строят сверхбольшую ячейку, мы ее называем маточной, и заставляют старую матку положить туда одно яйцо. Остальные тысячу девятьсот девяносто девять яиц она кладет в обычные рабочие ячейки. Дальше. Как только из этих яиц выводятся личинки, собираются пчелы-кормилицы и принимаются заполнять ячейки маточным желе. Его получают все — как рабочие пчелы, так и матка. Но тут происходит нечто важное, Мейбл, поэтому слушай внимательно. Разница вот в чем. Рабочая личинка получает специальное прекрасное питание только в первые три дня своей жизни. После этого полностью меняется рацион. Ее неожиданно отлучают от матери и через три дня переводят на обычную пчелиную пищу — смесь меда и цветочной пыльцы, и примерно через две недели личинки вылезают из ячеек как рабочие пчелы... А вот с личинкой в маточной ячейке все происходит по-

другому! Она получает маточное желе в течение всей своей личиной жизни. Пчелы-кормилицы просто заливают им ячейку, так что личинка буквально плавает в желе. И — становится маткой!

— Как ты можешь это доказать? — спросила жена.

— Что за глупости, Мейбл. Знаменитые ученые из всех стран мира доказывали это множество раз. Нужно лишь взять личинку из рабочей ячейки и поместить ее в маточную ячейку — это то, что мы называем пересадкой, и если только пчелы-кормилицы будут хорошо снабжать ее маточным желе — опля! — она превращается в матку! А что еще более удивительно, так это огромная разница между маткой и рабочей пчелой, когда они вырастают. Брюшко у них разной формы. Жала разные. Ножки разные. И...

— А чем у них ножки отличаются? — спросила Мейбл, проверяя мужа.

— Ножки? У рабочих пчел на ножках маленькие мешочки, чтобы носить в них цветочную пыльцу, а у матки их нет. Но вот еще что. У матки полностью развиты половые органы, у рабочих пчел — нет. А самое удивительное, Мейбл, что матка живет в среднем от четырех до шести лет. Рабочая же пчела и столько месяцев не живет. И вся разница из-за того, что одна из них получает маточное желе, а другая нет!

— Довольно трудно поверить, — сказала Мейбл, — что пища может оказывать такое действие.

— Конечно трудно. И это еще одно из чудес улья. По правде, это самое, черт возьми, великое чудо из всех. Оно уже сотни лет ставит в тупик самых знаменитых ученых. погоди минутку. Сиди на месте. Не двигайся...

Он снова вскочил и, подойдя к книжному шкафу, принялся рыться среди книг и журналов.

— Сейчас найду кое-какие статьи. Вот. Послушай. — Он принялся громко читать статью из «Американского журнала пчеловода»: — «Доктор Фредерик А. Бэнтинг, возглавляющий в Торонто прекрасно оборудованную исследовательскую лабораторию, которую народ Канады предоставил ему в знак признания его поистине огромных заслуг перед человечеством в деле открытия инсулина, заинтересовался маточным желе. Он попросил своих сотрудников провести стандартный анализ функций...»

Альберт сделал паузу.

— Читать все я не буду, но вот что было дальше. Доктор Бэнтинг со своими сотрудниками взял какое-то количество маточного

желе из маточных ячеек, в которых находились двухдневные личинки. И что, ты думаешь, они обнаружили? Они обнаружили, — сказал Альберт, — что маточное желе содержит фенол, стерин, глицерин, декстрозу и — слушай внимательно — от восьмидесяти до восьмидесяти пяти процентов неизвестных кислот!

Он стоял возле книжного шкафа с журналом в руке, торжествующе улыбаясь, а его жена озадаченно смотрела на мужа.

Альберт не был высок ростом; у него было полное тело, рыхлое на вид, и короткие кривоватые ноги. Голова была огромная и круглая, покрытая щетинистыми, коротко стриженными волосами, а большая часть лица — теперь, когда он и вовсе перестал бриться, — скрывалась под коричневато-желтой бородой длиной примерно в дюйм... Как на него ни смотри, внешность у него оригинальная, тут уж ничего не скажешь.

— От восьмидесяти до восьмидесяти пяти процентов, — повторил он, — неизвестных кислот. Разве не потрясающе?

Альберт снова повернулся к книжному шкафу и принялся искать еще какой-то журнал.

— Что это значит — неизвестные кислоты?

— Вот в этом-то и вопрос! Этого никто не знает! Даже Бэнтинг не мог их определить. Ты когда-нибудь слышала о Бэнтинге?

— Нет.

— Он один из самых известных в мире ученых среди ныне живущих, вот и все.

Глядя, как муж суетится перед книжным шкафом — со своей щетинистой головой, бородатым лицом и пухлым, рыхлым телом, — Мейбл подумала, что он и сам чем-то похож на пчелу. Она часто видела, как наездницы становятся похожими на своих лошадей, а люди, которые держат птиц, бультерьеров или шпицев, поразительно напоминают своих питомцев. Однако до сих пор ей не приходило в голову, что ее муж может быть похож на пчелу. Это вызвало у нее изумление.

— А что, Бэнтинг пробовал когда-нибудь его съесть, — спросила она, — это маточное желе?

— Разумеется, нет, Мейбл. У него не было столько желе. Оно слишком дорогое.

— Послушай-ка, — сказала Мейбл, пристально глядя на мужа и едва заметно улыбаясь. — А ты знаешь, что и сам становишься похожим на пчелу?

Он обернулся и посмотрел на жену.

— Думаю, в основном из-за бороды, — продолжала она. — Мне бы так хотелось, чтобы ты ее сбрил. Тебе не кажется, что борода даже цвета какого-то пчелиного?

— О чем, черт побери, ты говоришь, Мейбл?

— Альберт, — сказала она, — следи за своим языком.

— Так ты будешь меня дальше слушать или нет?

— Да, дорогой, извини. Я пошутила. Продолжай, пожалуйста.

Альберт снял с полки еще один журнал и стал листать страницы.

— Теперь послушай, Мейбл. Вот. «В тысяча девятьсот тридцать девятом году Хейл проводил эксперименты с крысами, которым был двадцать один день, и вводил им маточное желе в разных количествах. В результате он обнаружил, что преждевременное развитие яичников находится в прямой зависимости от количества введенного маточного желе».

— Ну вот! — воскликнула она. — Я так и знала!

— Что ты знала?

— Я знала, что должно произойти что-то ужасное.

— Ерунда. Ничего тут плохого нет. А вот еще, Мейбл. «Стилл и Бэрдетт обнаружили, что самец крысы, который до тех пор не способен был к оплодотворению, получая ежедневную ничтожную дозу маточного желе, много раз потом становился отцом».

— Альберт, — воскликнула она, — это вещество слишком сильное, чтобы давать его ребенку! Мне это совсем не нравится.

— Чепуха, Мейбл.

— Тогда скажи мне, почему они испытывают желе только на крысах? Почему ни один известный ученый сам его не попробовал? Они слишком умные, вот почему. Ты думаешь, доктор Бэнтинг рискнул бы своим драгоценным здоровьем? Ну уж нет, только не он.

— Желе давали и людям, Мейбл. Здесь есть об этом целая статья. Послушай...

Он перевернул страницу и снова начал читать:

— «В Мексике в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году группа квалифицированных врачей начала прописывать мизерные дозы маточного желе больным с такими заболеваниями, как церебральный неврит, артрит, диабет, табачная интоксикация, импотенция, астма, круп и подагра... Существует множество свидетельств... У одного известного биржевого маклера из Мехико развился особенно трудный случай псориаза. Человек сделался физически неприя-

тен. Клиенты стали избегать его. Стало страдать его дело. В отчаянии он обратился к маточному желе — по одной капле с каждым приемом пищи, и — опля! — через две недели он вылечился. Официант кафе „Хена“, также из Мехико, сообщил, что его отец после принятия мизерных доз этого чудесного вещества в возрасте девяноста лет зачал здорового мальчика. Некому антрепренеру из Акапулько, занимающемуся боем быков, попалось вялое на вид животное. Он ввел ему один грамм маточного желе (это чрезмерная доза) незадолго до того, как того вывели на арену. Бык стал таким проворным и свирепым, что быстро справился с двумя пикадорами, тремя лошадьми, одним матодором и наконец...»

— Слышишь? — произнесла миссис Тейлор, перебивая его. — Кажется, ребенок плачет.

Альберт оторвался от чтения. Из спальни наверху и правда доносился громкий плач.

— Должно быть, она проголодалась, — сказал он.

Мейбл посмотрела на часы.

— Боже мой! — вскричала она, вскакивая. — Мы же пропустили время. Быстро приготовь смесь, Альберт, а я принесу девочку сюда. Однако поторопись! Не хочу, чтобы она ждала.

Спустя полминуты миссис Тейлор вернулась с кричащим ребенком на руках. Она нервно суетилась, не успев привыкнуть к безостановочным воплям здорового ребенка, когда тот хочет есть.

— Быстрее же, Альберт, — кричала она, усаживаясь в кресло и устраивая ребенка на коленях. — Прошу тебя, быстрее!

Альберт вернулся из кухни и протянул ей бутылочку с теплым молоком.

— Все в порядке, — сказал он. — Можешь не пробовать.

Она приподняла голову ребенка и вставила соску в широко раскрытый кричащий рот. Ребенок принялся сосать. Плач прекратился. Миссис Тейлор вздохнула с облегчением:

— О Альберт, ну разве она не прелесть?

— Да она у нас лучше всех, Мейбл, и все благодаря маточному желе.

— Послушай, дорогой, я больше ни слова не хочу слышать об этом гадком веществе. Оно меня пугает до смерти.

— Ты очень ошибаешься, — сказал он.

— Посмотрим.

Ребенок продолжал жадно сосать.

— Я так надеюсь, что она опять все до конца выпьет, Альберт.

— Я уверен в этом, — сказал он.

И через несколько минут молоко было допито до конца.

— Вот и умница! — воскликнула миссис Тейлор и осторожно потянула соску.

Ребенок это почувствовал и стал сосать энергичнее, пытаясь удержать бутылку. Женщина легонько дернула, и соска выскочила изо рта девочки.

— Уа! Уа! Уа! Уа! Уа! — закричал ребенок.

— Опять она за свое, — сказала миссис Тейлор.

Прижав девочку к плечу, она стала похлопывать ее по спине. Ребенок дважды срыгнул.

— Ну вот, моя дорогая, теперь тебе будет хорошо.

На несколько секунд плач прекратился. Потом возобновился опять.

— Пусть она срыгнет еще раз, — сказал Альберт. — Она слишком быстро пила.

Мейбл снова подняла девочку на плечо и стала поглаживать по спине. Потом положила ее себе на колени лицом вниз. Затем посадила себе на одно колено. Но девочка больше не срыгивала, и плач с каждой минутой становился все громче и настойчивее.

— Это полезно для легких, — сказал Альберт Тейлор, усмехаясь. — Так они тренируют свои легкие, Мейбл, ты ведь знаешь?

— Ну, полно, не плачь, — приговаривала жена, покрывая лицо девочки поцелуями.

В течение пяти минут крик ни на мгновение не прекращался.

— Перемени ей пеленки, — сказал Альберт. — Они мокрые...

Он принес из кухни чистые пеленки. Миссис Тейлор сняла с девочки то, что на ней было, и надела все чистое.

Однако ничего не изменилось.

— Уа! Уа! Уа! Уа! Уа! — вопила девочка.

— Ты ее, случайно, булавкой не уколола, Мейбл?

— Ты в своем уме? — рассердилась та, прощупав на всякий случай пеленку.

Родители сидели друг против друга в креслах, нервно улыбаясь. Они глядели на ребенка, лежавшего у матери на коленях, и ждали, когда тот утомится и перестанет кричать.

— Знаешь что? — наконец произнес Альберт Тейлор.

— Что?

— Честное слово, она не наелась. Клянусь, еще хочет глоток. Может, я принесу ей добавку?

— Думаю, нам не следует этого делать, Альберт.

— Да ей же лучше станет, — сказал он, поднимаясь с кресла. — Пойду и подогрею еще немного.

Он отправился на кухню, и, когда спустя несколько минут вернулся, в его руке была полная бутылочка молока.

— Я приготовил двойную порцию, — объявил он. — Восемь унций. На всякий случай.

— Альберт! Ты с ума сошел? Ты что, не знаешь, что перекармливать так же плохо, как недокармливать?

— А ты не давай ей все, Мейбл. В любую минуту можешь остановиться. Начинай, — сказал он, встав рядом. — Пусть девочка поест еще чуть-чуть.

Миссис Тейлор провела кончиком соски по верхней губе ребенка. Маленький ротик, точно капканом, захватил резиновый сосок — и в комнате наступила тишина. Тельце ребенка расслабилось, и, как только девочка принялась пить, выражение полнейшего счастья появилось на ее лице.

— Ну вот, Мейбл! Что я тебе говорил?

Жена молчала.

— Она голодная, вот и все. Посмотри, как сосет.

Миссис Тейлор следила за уровнем молока в бутылочке. Оно быстро уменьшалось, и скоро исчезли три или четыре унции из восьми.

— Все, — проговорила она. — Теперь хватит.

— Отрывать соску нельзя, Мейбл.

— Нет, дорогой, я должна...

— Да не волнуйся ты и дай ей поесть как следует.

— Но, Альберт...

— Она проголодалась, разве ты не видишь? Давай, красавица, — сказал он. — Допивай все без остатка.

— Мне это не нравится, Альберт, — сказала жена, но не отняла бутылку.

— Она наверстывает упущенное, Мейбл...

Через пять минут бутылка была пуста. Миссис Тейлор медленно отняла соску, и на этот раз ребенок не возражал и не издал ни единого звука. Дочь мирно лежала у матери на коленях, глаза ее довольно светились, ротик был приоткрыт, губы перепачканы молоком.

— Целых двенадцать унций, Мейбл! — сказал Альберт Тейлор. — В три раза больше обычного! Разве не удивительно?

Женщина смотрела на ребенка. Губы ее сжались, на лице медленно появлялась прежняя обеспокоенность.

— Да что с тобой? — спросил Альберт. — Что ты так волнуешься? Было бы смешно, если бы для того, чтобы поправиться, ей хватило каких-то жалких четырех унций.

— Иди сюда, Альберт, — сказала жена.

— Что?

— Я сказала, иди сюда.

Он подошел к ней.

— Посмотри внимательно и скажи, не замечаешь ли ты чего-нибудь.

Он внимательно посмотрел на ребенка:

— Похоже, она стала больше, Мейбл, если ты это имеешь в виду. Больше и полнее.

— Подержи-ка ее, — потребовала жена. — На же, возьми.

Он наклонился и поднял ребенка с коленей матери.

— Боже мой! — воскликнул он. — Да она весит целую тонну!

— Вот именно.

— Разве это не замечательно! — сияя от удовольствия, воскликнул он. — Значит, она совсем поправилась!

— Вот это-то меня и пугает, Альберт. Слишком уж быстро.

— Ерунда.

— Это все твое мерзкое маточное желе, — сказала Мейбл. — Ненавижу его.

— Ничего в нем нет мерзкого, — с возмущением проговорил муж.

— Не будь же глупцом, Альберт! Ты думаешь, нормально, когда ребенок прибавляет в весе так стремительно?

— Тебе ничем не угодить! — вскричал он. — Тебя до смерти пугает, когда она худеет, а теперь ты перепугалась, потому что она прибавляет в весе! Да что с тобой, Мейбл?

Жена поднялась с кресла с ребенком на руках и направилась к двери.

— Могу сказать только одно, — бросила она, — хорошо еще, что я здесь и слежу за тем, чтобы ты ей больше его не давал, вот что я тебе скажу.

Она вышла. Альберт смотрел жене вслед. Она пересекла холл и стала подниматься по лестнице. На третьей или четвертой ступ-

пенье она неожиданно остановилась и несколько секунд стояла совершенно неподвижно, точно вспомнив что-то. Потом повернулась, довольно быстро сошла вниз и возвратилась в комнату.

— Альберт, — сказала Мейбл.

— Да?

— Я полагаю, в последней бутылке не было маточного желе?

— Не понимаю, почему ты должна так полагать.

— Альберт!

— В чем дело? — спросил он тихо и невинно.

— Да как ты посмел! — вскричала она.

На бородатом лице Альберта Тейлора появилось выражение боли и озадаченности.

— По-моему, ты должна была радоваться, что ей досталась еще одна большая порция желе, — сказал он. — Честное слово. А эта порция действительно большая, Мейбл, можешь мне поверить.

Стоя в дверях, мать прижимала к себе спящего ребенка и смотрела на мужа широко раскрытыми глазами. Она вся напряглась от ярости, лицо ее было бледнее, чем обычно, губы еще крепче сжались.

— Запомни мои слова, — говорил Альберт, — у тебя скоро будет едок, который возьмет первый приз в стране на любом конкурсе младенцев. Почему бы нам не взвесить ее сейчас же и не узнать, сколько она уже весит? Принести весы, Мейбл?

Мейбл подошла к столу, стоявшему посреди комнаты, положила на него ребенка и стала раздевать его.

— Да! — резко ответила она. — Неси весы!

В сторону полетели халатик и ночная рубашка. Потом она сняла с девочки пеленки, отбросила их прочь, и теперь девочка лежала голый.

— Ты только посмотри на нее, Мейбл! — воскликнул муж. — Это же чудесно! Она круглая, точно щенок!

И действительно, ребенок поразительно прибавил в весе. Худая, впалая грудь с торчащими ребрами стала полной и круглой, как бочка, а животик выдавался вперед. Странно, впрочем, но руки и ноги не увеличились в размерах в той же пропорции. Оставаясь по-прежнему короткими и костлявыми, они, точно палки, выступали из толстого тела.

— Смотри! — сказал Альберт. — У нее на животе даже волосики появились, чтобы было теплее!

Он протянул руку и уже собрался было провести кончиками пальцев по шелковистым желтовато-коричневым волоскам на животе ребенка.

— Не смей до нее дотрагиваться! — вскричала жена.

Она повернулась к нему, похожая на воинственно настроенную птицу. Шея у нее вытянулась, будто она собралась налететь на него и выклевать ему глаза.

— Погоди-ка минутку, — сказал Альберт, отступая.

— Ты сошел с ума! — кричала жена.

— Погоди-ка одну только минутку, Мейбл, прошу тебя. Если ты все еще думаешь, что это вещество опасно... Ты ведь так думаешь, правда? Ну, хорошо. Теперь слушай внимательно. Я докажу тебе раз и навсегда, Мейбл, что маточное желе абсолютно безвредно для человека, даже в больших дозах. Например, почему, по-твоему, мы собрали только половину обычного количества меда прошлым летом? Скажи мне.

Отступая, он остановился от нее в трех-четыре шагах, где, похоже, чувствовал себя в безопасности.

— А собрали мы только половину обычного количества меда прошлым летом потому, — медленно произнес он, понизив голос, — что сотню улыев я перевел на производство маточного желе.

— Что?

— Вот-вот, — прошептал он. — Я так и знал, что тебя это удивит. И с тех пор я только этим и занимался прямо у тебя под носом.

Его маленькие глазки заблестели, а в уголках рта показалась лукавая улыбка.

— И почему я так поступал, ты ни за что не догадаешься, — сказал он. — Я боялся до сих пор говорить тебе, потому что думал, что... как бы сказать... это смутит тебя, что ли.

Он умолк. Стиснув пальцы на уровне груди, он потирал одну ладонь о другую.

— Помнишь статью из журнала, которую я читал? Насчет крысы? Там было написано: «Стилл и Бэрдетт обнаружили, что самец крысы, который до тех пор не способен был к оплодотворению...» — Он замылся в нерешительности, расплываясь в улыбке, обнажившей зубы. — Понимаешь, о чем я, Мейбл?

Она стояла не шелохнувшись, глядя ему прямо в лицо.

— Только я прочитал первое предложение, Мейбл, как выскочил из кресла и сказал самому себе: если это действует на какую-

то паршивую крысу, то почему это не может подействовать на Альберта Тейлора?

Он снова умолк. Вытянув шею и повернувшись к ней, он ждал, что скажет жена. Но она ничего не сказала.

— И вот еще что, — продолжал он. — Я стал чувствовать себя чудесно, Мейбл, совершенно иначе, чем прежде, причем настолько, что продолжал принимать желе даже после того, как ты объявила радостное известие. В последний год я поглощал его ведрами.

Ее глаза, в которых застыла тревога, внимательно скользнули по его лицу и шее. На его шее вообще не было видно кожи, даже под ушами. Вся она, вплоть до воротника рубашки, покрылась короткими шелковистыми волосиками желтовато-черного цвета.

— Имей в виду, — сказал он, отворачиваясь от жены и с любовью глядя на ребенка, — на младенце все гораздо лучше скажется, чем на взрослом человеке, вроде меня. Только посмотри на дочь, и ты сама в этом убедишься. Разве ты не согласна?

Мать медленно перевела взгляд на ребенка. Девочка была в коме; она лежала голая на столе, толстая и белая, точно гигантская детка пчелы, которая приближается к финалу своей личиночной жизни и вот-вот явится в мир с оформившимися мандибулами¹ и крылышками.

— Быстрее закутывай ее, Мейбл, — сказал Альберт. — Наша маленькая маточка не должна простудиться.

¹ Первая пара челюстей насекомого.

ДЖОРДЖ-ГОРЕМЬКА

Ни в коей мере не желая бахвалиться, все же скажу, что имею право считать себя во многих отношениях человеком вполне развитым и сложившимся. Я много путешествовал. Я изрядно начитан. Я говорю по-гречески и по-латыни. Я увлекаюсь наукой. Я терпимо отношусь к политическому либерализму других. Я составил томик заметок по эволюции мадригала в пятнадцатом веке. Я был свидетелем большого числа смертей, постигших людей в их собственных постелях, и, кроме того, оказал влияние, или, во всяком случае, надеюсь, что оказал, на жизни весьма значительного количества других людей словами, произнесенными с кафедры

И однако, несмотря на все это, я должен признаться, что никогда в своей жизни — как бы это выразиться? — никогда не имел никаких дел с женщинами.

Если быть до конца откровенным, я даже пальцем ни к одной из них не притрагивался вплоть до того дня три недели назад, разве что помогал взойти на ступеньку или еще что-нибудь в таком духе, как требовали обстоятельства. Но даже в этих случаях я всегда старался касаться только плеча, или пояса, или какого-нибудь другого места, где кожа прикрыта, ибо чего я всегда терпеть не мог, так это физического контакта моей кожи и женской. Касание кожи о кожу, то есть моей кожи о кожу женщины, будь то нога, шея, лицо, рука или просто палец, настолько неприятно мне, что я неизменно приветствовал даму, крепко сцепив руки за спиной, лишь бы обойтись без неизбежного рукопожатия.

Скажу больше. Любой вид физического контакта с ними, даже когда кожа не обнажена, тревожит меня необыкновенно. Если женщина стоит близко от меня в очереди, так что наши тела соприкасаются, или втискивается рядом со мной на сиденье в автобусе, бедро к бедру, бок к боку, мои щеки начинают безумно пылать, а на макушке выступают капельки пота.

Такое состояние нормально для школьника, только что достигшего половой зрелости. Для него это способ, с помощью которого мать-природа нажимает на тормоза и сдерживает юношу, покуда он не повзрослеет настолько, чтобы вести себя как настоящий джентльмен. Это я одобряю.

Но совершенно непонятно, почему я, в зрелом солидном возрасте тридцати одного года, должен страдать подобным же образом. Я слишком хорошо воспитан, чтобы поддаваться искушению, и уж точно не предрасположен к примитивным страстям.

Кабы я хоть чуточку стыдился моей собственной внешности, тогда бы это, возможно, все объясняло. Но нет же. Напротив, хотя я и сам такое говорю, судьба была весьма благосклонна ко мне в этом отношении. Росту во мне, если босиком, ровно пять с половиной футов, а мои плечи, хотя и несколько покатые от шеи, пребывают в приятном равновесии со стройной фигурой (Лично я всегда считал, что покатость плеч придает не чересчур высокому мужчине изысканный и, так сказать, эстетический вид, вы согласны?) Черты лица у меня правильные, зубы в прекрасном состоянии (только самую малость торчат в верхней челюсти), а волосы — необычайно блестящие, рыжие — густо покрывают мой череп. Бог свидетель, я встречал мужчин — настоящих карликов по сравнению со мной, которые в отношении с прекрасным полом обнаруживали удивительную самоуверенность. И как я им завидовал! Как же я мечтал вести себя сходным образом — участвовать в приятных ритуалах, которые, как я видел, постоянно имеют место между мужчинами и женщинами. Скажем, касание рук, легкий поцелуй в щеку, взятое под руку, прикосновение колена к колену или ноги к ноге под обеденным столом и особенно — безудержное порывистое объятие, когда двое сходятся посреди комнаты потанцевать.

Но все это было не для меня. Увы, я принужден был избегать всего этого. А это, друзья мои, легче сказать, чем сделать, пусть я и скромный священник из небольшого сельского уголка, далекого от соблазнов большого города.

Моя паства, как вы догадываетесь, состояла по большей части из дам. В приходе их были десятки, и самое печальное, что по меньшей мере шестьдесят процентов из них были старыми девами, на которых священные узы брака не распространили благосклонного воздействия.

Меня это, скажу вам, ужасно нервировало.

Можно было бы подумать, что при тщательном воспитании, которое дала мне мать, я мог бы легко справиться с этим стеснением, и, несомненно, так бы и сделал, проживи она подольше, чтобы закончить мое образование. Но, увы, она погибла, когда я был еще очень молод.

Моя мать была прекрасной женщиной. На запястьях она носила огромные браслеты, по пять-шесть одновременно, и с них свешивались всякие штучки, и, когда она двигалась, они звенели, стучаясь друг о дружку. Не важно, где она находилась, — ее всегда можно было найти, прислушавшись к звенящему звуку этих браслетов. Как колокольчик у коровы, даже лучше. А по вечерам она обыкновенно сидела на диване в своих черных брюках, поджав под себя ноги и бесконечно курия сигареты в длинном черном мундштуке. А я ползал по полу и смотрел на нее.

— Хочешь попробовать мартини, Джордж? — спрашивала она.

— Прекрати, Клэр, — вмешивался мой отец. — Осторожно, а то ребенок будет плохо расти.

— Ну же, возьми, — говорила она. — Не бойся. Выпей.

Я всегда делал так, как велела мне моя мать.

— Достаточно, — говорил мой отец. — Он только должен узнать, какой у мартини вкус, и все.

— Прощу тебя, не вмешивайся, Борис. Это очень важно для правильного воспитания.

Моя мать придерживалась теории, согласно которой ничего нельзя держать от ребенка в секрете. Показывайте ему все. Пусть он все попробует.

— Я не допущу, чтобы мой мальчик обменивался шепотом грязными секретами с другими детьми и вынужден был догадываться о том и об этом просто потому, что никто ему ничего не рассказал.

Рассказывайте ему все, и пусть он слушает.

— Поди сюда, Джордж, и я расскажу тебе все, что нужно знать о Боге.

Она никогда не читала мне сказки перед сном; вместо этого она чего-нибудь рассказывала. И каждый вечер что-то новое.

— Поди сюда, Джордж, я расскажу тебе о Магомете.

Она усаживалась на диван, поджав под себя ноги, и этак томно манила меня рукой, сжимавшей длинный черный мундштук, и при этом браслеты начинали звенеть.

— Если тебе придется выбирать какое-то религиозное учение, то магометанство ничуть не хуже других. Оно целиком основывается на здоровом образе жизни. У тебя может быть много жен, и тебе нельзя курить и пить.

— А почему нельзя курить и пить, мамочка?

— Потому что если у тебя много жен, ты должен быть здоров и сохранять мужскую силу.

— Что такое мужская сила?

— Об этом я тебе завтра расскажу, моя радость. Давай не будем перескакивать с темы на тему. Еще о магометанстве можно сказать, что от него никогда не бывает запоров.

— Ты уж скажешь, Клэр, — говорил мой отец, отрываясь от книги. — Придерживайся фактов.

— Мой дорогой Борис, ты в этом ничего не смыслишь. Однако, если бы ты попробовал каждый день утром, днем и вечером нагибаться и касаться лбом земли, встав лицом в сторону Мекки, у тебя бы и у самого было меньше проблем в этом смысле.

Я любил слушать ее, хотя и понимал только половину из того, что она говорила. Она действительно открывала мне секреты, а ничего более интересного и быть не может.

— Поди сюда, Джордж, я тебе в подробностях расскажу, как твой отец зарабатывает деньги.

— Послушай, Клэр, хватит уже.

— Чушь, дорогой. Почему нужно держать это от ребенка в секрете? Он лишь вообразит себе что-нибудь несравненно худшее.

Мне было ровно десять лет, когда она стала читать мне подробные лекции по вопросам пола. Это был самый большой секрет из всех и потому самый увлекательный.

— Поди сюда, Джордж, я расскажу тебе, как ты появился на свет, с самого начала.

Отец тихо поднял голову и широко раскрыл рот, как он делал, когда собирался сказать нечто важное, однако мать уже сверлила его своими сверкающими глазами, и он медленно вернулся к чтению, не произнеся ни звука.

— Твой бедный папочка смущен, — сказала она.

И тайком улыбнулась той улыбкой, которой не улыбалась больше никому, только мне: когда медленно поднимается лишь один уголок рта, покуда не образуется длинная чудесная складка, тянущаяся до самого глаза, и получается что-то вроде подмигивания.

— Смущение, моя радость, — это то, что я не хочу, чтобы ты когда-нибудь испытывал. И не думай, будто твой папочка смущен только из-за тебя.

Мой отец заерзал в кресле.

— Да он смущается, даже когда остается наедине со мной, своей женой.

— Почему? — спросил я.

Тут мой отец поднялся и тихо вышел из комнаты. Думаю, примерно спустя неделю после этого моя мать и погибла. Может, это случилось и несколько позднее — через десять дней или через две недели, точно не знаю. Знаю лишь, что мы приближались к концу этой, заслуживающей особого внимания, серии бесед, когда это произошло; и поскольку я и сам оказался вовлечен в короткую цепь событий, приведших к смерти, то помню каждую подробность той странной ночи так же четко, как будто это случилось вчера. Я могу воссоздать ту ночь в памяти в любое время, когда пожелаю, и пропустить ее перед глазами, как кинофильм; и этот фильм всегда один и тот же. Он всегда кончается точно в одном месте, не раньше и не позже, и всегда начинается так же неожиданно: экран затемнен и голос матери откуда-то сверху произносит мое имя:

— Джордж! Проснись, Джордж, проснись!

А потом яркий электрический свет слепит мне глаза, и откуда-то издалека голос продолжает меня звать:

— Джордж, вставай, вылезай из постели и надевай халат! Быстро! Спускайся. Я хочу, чтобы ты кое-что увидел. Ну же, мальчик мой. Скорее! И надень тапки. Мы выходим из дому.

— Выходим из дому?

— Не спорь со мной, Джордж. Делай, что тебе говорят.

Я так хочу спать, что с трудом передвигаюсь, однако моя мать крепко берет меня за руку, ведет вниз, и через парадную дверь мы выходим в ночь, где холодный воздух, точно мокрой губкой, смачивает мое лицо. Я шире открываю глаза и вижу лужайку, искрящуюся инеем, и кедр с огромными лапами, чернеющий на фоне тонкого маленького месяца. А над головой — множество звезд, усеявших небосвод.

Мы спешим через лужайку, моя мать и я, ее браслеты звенят как безумные, а я, чтобы поспеть за ней, семеню ногами. Я чувствую, как покрытая инеем трава неслышно хрустит под ногами.

— У Жозефины начались роды, — говорит моя мать. — Прекрасная возможность увидеть весь процесс.

Когда мы подходим к гаражу, там горит свет. Мы входим внутрь. Моего отца там нет, как нет и машины, и помещение выглядит огромным и голым, а сквозь подошвы домашних тапочек бетонный пол кажется ледяным. Жозефина полулежит на куче соломы в низкой, огороженной проволокой клетке в дальнем углу помещения. Это крупная голубая крольчиха с розовыми глазами, которые подозрительно глядят на нас, когда мы входим. Ее муж, которого зовут Наполеон, находится в другой клетке в противоположном углу, он стоит на задних лапах и нетерпеливо скребет сетку.

— Смотри! — кричит моя мать. — У нее как раз сейчас будет первый! Он уже почти вышел!

Мы подкрадываемся поближе к Жозефине, и я сажусь на корточки рядом с сеткой, упершись лицом прямо в проволоку. Я в восхищении. Один кролик выходит из другого. Это чудесно и довольно красиво. А происходит все очень быстро.

— Смотри, как он выходит, аккуратно упакованный в целлофановый мешочек! — говорит моя мать. — А посмотри, как она о нем заботится! У бедняжки нет полотенца для лица, а если бы и было, она не смогла бы держать его в лапах, поэтому она просто облизывает малыша языком.

Взглянув в нашу сторону, крольчиха тревожно закатывает свои розовые глазки, и следующее, что я вижу, это как она передвигается по соломе, чтобы устроиться между нами и маленьким.

— Подойди с другой стороны, — говорит моя мать. — Глупышка передвинулась. Наверное, она хочет спрятать от нас свое дитя.

Мы подходим с другой стороны клетки. Крольчиха провожает нас глазами. В двух шагах от нас самец как безумный скачет вверх-вниз, вцепившись в проволоку.

— А чего это Наполеон так нервничает? — спрашиваю я.

— Не знаю, дорогой. Да ты не обращай на него внимания. Смотри на Жозефину. Думаю, скоро у нее появится еще один. Посмотри, как бережно она моет этого маленького! Она обращается с ним, как женщина со своим ребенком! И я когда-то почти то же самое проделывала с тобой, вот смешно, правда?

Крупная голубая самка по-прежнему наблюдает за нами. Оттолкнув дитя носом, она медленно перемещается, чтобы снова заслонить его от нас. Затем продолжает облизывать его и чистить.

— Разве не замечательно, что всякая мать инстинктивно чувствует, что ей нужно делать? — говорит моя мама. — Ты только

представь себе, моя радость, что детеныш — это ты, а Жозефина — это я... Погоди-ка, иди сюда, отсюда лучше видно.

Мы осторожно обошли вокруг клетки, не отрывая глаз от маленького кролика.

— Смотри, как она его ласкает и целует! Видишь? Она буквально целует его, правда? Точно так же, как и я целую тебя!

Я тянусь поближе к клетке. Такой способ целоваться мне кажется странноватым.

— Смотри! — кричу я. — Да ведь она его ест!

И точно, голова маленького кролика быстро исчезает во рту матери.

— Мама! Быстрее!

Но не успел стихнуть мой крик, как маленькое розовое тельце полностью исчезло в горле крольчихи.

Я сразу оборачиваюсь, и следующее, что помню, — я смотрю прямо в лицо моей матери, оно меньше чем в шести дюймах над моим, и мать, несомненно, пытается что-то сказать, а может, слишком изумлена, чтобы что-то говорить... Все, что я вижу, это рот, огромный красный рот, раскрывающийся все шире и шире, покуда он не становится круглым зияющим отверстием с черной серединой, и я снова кричу и уже не могу остановиться. Потом мать неожиданно протягивает руки, и я чувствую, как ее кожа касается моей, длинные холодные пальцы обхватывают мои кулачки, я резко вырываюсь и, ничего перед собой не видя, выбегаю в ночь. Я мчусь по подъездной дорожке, выскакиваю за ворота, и, хотя я все время кричу, слышно, как звон браслетов настигает меня в темноте. Этот звон становится все громче и громче по мере того, как мы бежим по длинному склону холма, а потом по мосту, ведущему к главной дороге, где со скоростью шестьдесят миль в час мчатся автомобили с ярко горящими фарами.

Потом где-то позади я слышу визг автомобильных шин, тормозящих по дорожному покрытию. Наступает тишина, и вдруг до меня доходит, что браслеты у меня за спиной больше не звенят.

Бедная мама.

Если бы только она могла пожить еще немного.

Я допускаю, что она меня страшно перепугала этими своими кроликами, но то была не ее вина, да к тому же между нами всегда происходили странности. Я научился рассматривать их как своего рода воспитательный процесс, приносящий мне больше пользы,

нежели вреда. Но если бы она прожила дольше, дабы завершить мое воспитание, я уверен, что никогда бы не имел тех проблем, о которых я вам рассказывал несколько минут назад.

Теперь мне хотелось бы к ним вернуться. Вообще-то, я не соби-рался затевать весь этот разговор о своей матери. К тому, о чем я начал говорить, она никакого отношения не имеет. Больше не ска-жу о ней ни слова.

Я говорил вам о старых девах в моем приходе. Мерзко звучит «старая дева», правда? Будто речь идет либо о волокнистой старой курице со сморщенным клювом, либо об огромном вульгарном чудовище, которое без конца кричит и расхаживает по дому в рейту-зах для верховой езды. Но не таковы мои старые девы. Они были опрятными, здоровыми, стройными дамами, зачастую высокообра-зованными и состоятельными, и я уверен, что средний неженатый мужчина был бы рад иметь их подле себя.

Сперва, приняв должность приходского священника, я чувст-вовал себя весьма неплохо. Мое призвание и облачение, в извест-ной степени разумеется, защищали меня. В придачу я напустил на себя вид невозмутимого достоинства, что, по моим расчетам, долж-но было отбивать охоту к проявлениям фамильярности. В резуль-тате в течение нескольких месяцев я смог свободно передвигаться среди прихожан, и никто не позволял себе взять меня под руку на благотворительном базаре или же коснуться своими пальцами мо-их пальцев, передавая мне во время вечерней трапезы потирную чашу. Я был очень счастлив. Я чувствовал себя лучше, чем чувст-вовал многие годы до этого. Даже эта моя нервная привычка при разговоре почесывать мочку уха указательным пальцем стала ис-чезать.

Это было то, что я называю моим первым периодом, и он про-должался приблизительно полгода. Потом возникли проблемы.

Наверное, мне следовало бы знать, что здоровый мужчина, вро-де меня, не может бесконечно избегать неприятностей, полагаясь лишь на соблюдение приличной дистанции между собой и дама-ми. Так не бывает. Результат получается прямо противоположный.

Я видел, как они тайком посматривают в мою сторону во время партии в вист, как перешептываются друг с дружкой, кивают, обли-зывают губы, посасывают свои сигареты, строят планы, как лучше подступиться, притом всегда шепотом... Иногда до меня доноси-лись обрывки их разговора: «Какой застенчивый... немножко нерв-

ный, правда?.. слишком уж напряжен... ему недостает дружеского общения... да он и сам не прочь раскрепоститься... мы должны научить его расслабляться». Минуло несколько недель, и постепенно они принялись преследовать меня. Я чувствовал, что происходит, хотя поначалу они ничем определенным себя не обнаруживали.

То был мой второй период. Он длился почти год и оказался весьма утомительным. Но это был рай по сравнению с третьим периодом и заключительной фазой.

Ибо теперь, вместо того чтобы вести по мне спорадический огонь из укрытия, атакующие, презрев опасности, стали нападать со штыками наперевес. Это было ужасно и вызывало страх. Ничто так не лишает мужчину присутствия духа, как неожиданное нападение. Впрочем, я не трус. Я постою за себя против любого человека моей комплекции при любых обстоятельствах. Однако такой натиск — теперь я в этом убежден — осуществлялся большими силами, действующими как одно умело координируемое соединение.

Первым нарушителем явилась мисс Элфинстоун, высокая женщина с бородавками. Я зашел к ней как-то днем с просьбой о пожертвовании на новые мехи для органа, и в результате довольно милой беседы в библиотеке она благосклонно протянула мне чек на две гиней. Я сказал ей, чтобы она не утруждала себя и не провожала меня до дверей, после чего вышел в холл, чтобы надеть шляпу, и уже потянулся было за ней, как вдруг — мисс Элфинстоун, должно быть, шла за мной на цыпочках — совершенно неожиданно я почувствовал, что она взяла меня под руку своей голой рукой. Секунду спустя она сплела свои пальцы с моими и принялась с силой пожимать мою ладонь, будто то был пульверизатор.

— Вы и вправду такой преподобный, каким всегда стараетесь казаться? — прошептала мисс Элфинстоун.

Ну и дела!

Могу лишь вам сказать, что, когда она взяла меня под руку, у меня возникло такое чувство, будто кобра обвила мое запястье. Я отпрыгнул в сторону, распахнул парадную дверь и, не оглядываясь, побежал по дорожке.

Буквально на следующий день мы проводили в деревне распродажу дешевых вещей на благотворительном базаре (опять же, чтобы собрать деньги на новые мехи). Процедура заканчивалась, я стоял в углу, мирно попивая чай и посматривая на деревенских жителей, толпившихся вокруг прилавков... И тут я услышал рядом голос:

«О господи, какой же у вас голодный взгляд!» В следующее мгновение длинное гибкое тело прильнуло к моему, а рука с красными ногтями попыталась запихать в мой рот толстый кусок кокосового торта.

— Мисс Прэттли! — вскричал я. — Умоляю вас!

Однако она уже прижала меня к стене, а с чашкой в одной руке и с блюдцем в другой я был бессилен сопротивляться. Я почувствовал, как меня всего бросило в пот, и если бы рот у меня не был забит тортом, который она в него запихивала, то, честное слово, я бы закричал.

Пренебрежительное происшествие, но впереди меня ждали худшие испытания.

Следующей была мисс Анвин. Мисс Анвин оказалась близкой приятельницей мисс Элфинстоун и мисс Прэттли, и уже этого, разумеется, было достаточно, чтобы я проявил крайнюю осмотрительность. И кто бы мог подумать, что именно она, мисс Анвин, тихая, кроткая мышка, которая всего лишь за несколько недель перед тем преподнесла мне новую подушечку для коленапреклонения, изящно расшитую своими собственными руками, кто бы мог подумать, что она может позволить себе вольности по отношению к мужчине? И когда она попросила меня сопроводить ее в склеп, чтобы я показал ей древнесаксонские росписи, мне и в голову не могло прийти, что тут таится какое-то коварство. Но именно так и случилось.

Я не намерен описывать тот инцидент — для меня это слишком мучительно. Да и те, что последовали вслед за ним, были не менее чудовищны. Едва ли не каждый день с тех пор имело место какое-нибудь новое проявление бесчеловечного обращения со мной. Нервы у меня сдали. Иногда я попросту не понимал, что со мной. На свадьбе юной Глэдит Питчер я стал читать заупокойную службу. Во время крещения очередного ребенка миссис Харрис я уронил его в купель и неудачно окунул. На шее у меня снова появилась сыпь, которой не было больше двух лет и за которую мне неловко, и возобновилось это раздражающее почесывание мочки уха. И даже волосы стали оставаться на зубьях расчески. Чем резвее я отступал, тем резвее дамы преследовали меня. Таковы женщины. Ничто их так не возбуждает, как проявление в мужчине скромности и застенчивости. И они вдвойне настойчивы, ежели им удастся разглядеть — и здесь я должен сделать самое трудное признание, —

ежели им удастся разглядеть, как они разглядели во мне, тайный проблеск желания, светящийся в глубине глаз.

В действительности я был без ума от женщин.

Да-да, знаю. Вам трудно в это поверить после всего, что я рассказал, но это истинная правда. И поймите, я тревожился только тогда, когда они касались меня своими пальцами или прижимались ко мне телом. На безопасном расстоянии я бы часами любовался ими с тем необыкновенным восторгом, который и вы, наверное, испытываете, когда любуетесь каким-нибудь существом, не смея до него дотронуться, — спрутом, например, или длинной ядовитой змеей. Я любил смотреть на гладкую белую руку, выскользывающую из рукава, обнаженную, точно очищенный банан. Я мог прийти в необыкновенное волнение, глядя на девушку, идущую по комнате в облегающем платье; и особенно мне нравился вид сзади пары ног на высоких каблуках — какая пружинистость за коленями, притом и сами ноги упруги, будто сделаны из прочного эластика, натянутого едва ли не до предела, но не совсем. Иногда, сидя летним днем возле окна в гостиной леди Бёрдвелл, я поглядывал поверх чайной чашки в сторону плавательного бассейна, и непомерный трепет охватывал меня при виде участка кожи на загорелом животе, между верхней и нижней частью купальника.

В том, что возникают такие мысли, ничего дурного нет. Все мужчины время от времени дают им приют. У меня же они вызвали ужасное чувство вины. Не я ли, спрашивал я себя, несу невольную ответственность за бесстыдное поведение этих дам? Не проблеск ли в моих глазах (который я не могу контролировать) постоянно возбуждает страсти и подстрекает их? Не посылаю ли я им бессознательно то, что известно как зазывающий сигнал, всякий раз, когда гляжу в их сторону?

Или же такая жестокость свойственна женской натуре?

Я имел весьма ясное представление о том, каков ответ на этот вопрос, но он был недостаточно хорош для меня. Такая уж у меня совесть, что ее трудно успокоить догадками; ей нужны доказательства. Я обязан был узнать, кто в данном случае является виновной стороной — я или они, и с таковым намерением решил провести эксперимент собственного изобретения с использованием крыс Спеллинга.

Примерно за год до этого я имел кое-какие проблемы с одним неприятным мальчиком, певчим по имени Билли Спеллинг. Три

воскресенья подряд этот юноша приносил в церковь двух белых крыс и пускал их гулять по полу во время моей проповеди. В конце концов я конфисковал животных, отнес их домой и поместил в ящик в сарае, расположенном в дальнем углу сада. Кормил я их исключительно из гуманных соображений, и в результате, но без какого-либо поощрения с моей стороны, твари стали очень быстро размножаться. Из двух получилось пять, а из пяти — двенадцать.

Именно тогда я решил использовать крыс в научных целях. Число самок и самцов было абсолютно одинаково, по шестеро тех и других, так что условия были идеальными.

Сначала я развел их по половому признаку, поместив в две отдельные клетки, и оставил в таком положении на целых три недели. Крыса — весьма похотливое животное, и любой зоолог вам скажет, что для них это чрезмерно долгий период разлуки. Я бы сказал, что, по грубому подсчету, неделя вынужденного безбрачия для крысы равна приблизительно году такого же обхождения с человеком, вроде мисс Элфинстоун или мисс Прэттли; как вы понимаете, я честно старался воспроизвести реальные условия.

Когда три недели закончились, я взял объемистый ящик, который был разделен посередине небольшой перегородкой, и поместил самок в одну половину, а самцов — в другую. Перегородка состояла всего лишь из трех голых проводов, расположенных на расстоянии дюйма друг от друга, однако по проводам шел мощный электрический ток.

Для пущей реалистичности каждой самке я дал имя. Самую крупную, у которой к тому же были самые длинные усы, я назвал мисс Элфинстоун. Та, что с коротким толстым хвостом, стала мисс Прэттли. Самая маленькая из них — мисс Анвин... и так далее. Самцами — всеми шестью — был я.

Я придвинул стул и откинулся на нем, чтобы понаблюдать, как будет результат.

Все крысы по природе подозрительны, и, когда я поместил представителей и того и другого пола в ящик, разделенный только проволокой, ни одна из них не пошевелилась. Самцы пристально смотрели на самок сквозь перегородку. Самки смотрели на них в ответ, ожидая, когда самцы двинутся вперед. Я видел, что обе стороны пребывают в возбужденном напряжении. Шевелились усы, дергались носы, и время от времени чей-то длинный хвост резко бил о стену ящика.

Спустя какое-то время первый самец отделился от своей группы и осторожно двинулся к перегородке, прижавшись к земле. Он коснулся проволоки и был сразу же убит электрическим током. Остальные одиннадцать крыс застыли и не двигались.

В течение следующих девяти с половиной минут ни одна крыса не шевелилась, однако я обратил внимание на то, что, если все самцы смотрели на мертвое тело своего товарища, глаза самок были устремлены только на самцов.

И вдруг — короткохвостая мисс Прэттли не могла более сдерживаться. Она бросилась вперед, ударилась о проволоку и упала замертво.

Самцы еще ниже прижались к земле и задумчиво смотрели на трупы возле перегородки. Самки, казалось, тоже были несколько потрясены; наступил очередной период ожидания, притом ни одна из крыс не двигалась.

Теперь мисс Анвин начала обнаруживать признаки нетерпения. Она громко фыркнула и повела подвижным розовым кончиком носа, потом вдруг стала дергаться вверх-вниз, будто делала выжимание в упоре. Она оглянулась на своих четырех приятельниц и высоко задрала хвост, как бы говоря: «Я пошла, девочки»; живо рванувшись вперед, она просунула голову сквозь проволоку и была убита.

Через шестнадцать минут свой первый шаг сделала мисс Фостер... Настоящая мисс Фостер разводила кошек и недавно имела наглость повесить на своем доме на Хай-стрит вывеску «Кошатник мисс Фостер». Вследствие своего долгого общения с этими существами она, похоже, переняла их самые отвратительные качества, и, когда она оказывалась близко от меня в какой-нибудь комнате, я ощущал слабый, но едкий кошачий запах, хотя мисс Фостер и курила папиросы. Она никогда не умела особо контролировать свои низменные инстинкты, и потому я с некоторым удовольствием наблюдал теперь, как глупо покончила с собой в последнем отчаянном рывке к мужскому полу ее тезка.

Следующей была некая мисс Монтгомери-Смит, маленькая решительная женщина, которая как-то попыталась заставить меня поверить, будто она обручена с епископом. Крыса с ее именем умерла, пытаясь проползти на животе под нижней проволокой, и должен сказать, что я счел это справедливым итогом того, как мисс Монтгомери-Смит прожила свою жизнь.

Пятой была мисс Пламли, хитрая особа, которая постоянно опускала адресованные мне записочки в мешок для сбора пожертвований. Буквально в прошлое воскресенье я в ризнице подсчитывал деньги после утренней службы и наткнулся на одну из записочек, спрятанную в сложенной купюре в десять шиллингов. «Ваше бедное горло звучало хрипло во время сегодняшней проповеди, — говорилось в ней. — Дозвольте мне принести вам настоенное на вишне лекарство, благотворно действующее на органы грудной клетки, моего собственного изготовления, чтобы облегчить ваши страдания. Юнис Пламли».

Хвостатая мисс Пламли неторопливо подошла к проволоке, понюхала центральную жилу кончиком своего носа, но приблизилась чересчур близко, в результате по ее телу прошло двести сорок вольт переменного тока.

Пять самцов не трогались с места, глядя, как свершаются убийства.

С женской стороны теперь оставалась только мисс Элфинстоун.

Целых полчаса ни она, ни самцы не двигались. Наконец один из самцов слегка пошевелился, шагнул было вперед, замялся в нерешительности, решил, что лучше не рисковать, и снова принял прежнюю, сидячую позу.

Должно быть, это чрезвычайно огорчило мисс Элфинстоун, ибо она с горящими глазами ринулась вперед и в затяжном прыжке перелетела через проволоку. Это был эффектный прыжок, и он ей почти удался, однако одна из задних лап задела верхнюю жилу, и самка погибла, составив компанию остальным представительницам своего пола.

Не могу сказать вам, сколько радости мне доставил этот простой и, пусть я и сам это говорю, довольно остроумный эксперимент. Одним ударом я вскрыл невероятно сладострастный характер женской природы, которая ни перед чем не остановится. Пол, к которому я принадлежу, был реабилитирован, моя собственная совесть была очищена от подозрений. Вызывающие неловкость вспышки вины, отчего я постоянно страдал, вмиг вылетели в окно. Я почувствовал себя очень сильным и уверенным от сознания, что я невиновен.

В продолжение нескольких минут я забавлялся мыслью о том, что можно бы пустить ток по черной железной изгороди, окружавшей мой сад, а может, и ворот хватило бы. Тогда бы я смог удобно

устроиться в кресле в библиотеке и смотреть в окно, как настоящие мисс Элфинстоун, Прэттли и Анвин бросаются одна за другой вперед и сполна расплачиваются за преследование невинного мужчины.

Какие глупые мысли!

Что я теперь действительно должен сделать, решил я, так это возвести вокруг себя нечто вроде невидимой электрической изгороди, сооруженной исключительно из моральных устоев. За ними я буду в полной безопасности, тогда как враги один за другим будут набрасываться на проволоку.

Начну с того, что выработаю в себе грубую манеру общения. Со всеми женщинами я буду разговаривать строго и воздержусь от того, чтобы им улыбаться. Если кто-то из них попытается приблизиться ко мне, не отступлю ни на шаг. Я буду твердо занимать свою позицию, сурово смотреть на женщину, и, если она скажет что-то такое, что покажется мне неприличным, я резко ей отвечу.

Именно в таком настроении я и отправился на следующий день к леди Бёрдвелл, которая собрала гостей поиграть в теннис.

Сам я в теннис не играю, однако ее светлость любезно пригласила и меня, чтобы я был среди гостей, если игра затянется за шесть часов. Я полагаю, она считала, что присутствие священника сообщит собранию некий настрой, и, вероятно, надеялась уговорить меня повторить то представление, которое я дал в прошлый раз, когда я час с четвертью сидел за роялем и развлекал гостей подробным рассказом об эволюции мадригала на протяжении веков.

Я подъехал к воротам на велосипеде ровно в шесть часов и покати по длинной дорожке к дому. Была первая неделя июня, и по обеим сторонам дорожки во множестве расцветали розовые и лиловые рододендроны. Я чувствовал себя необыкновенно беспечно и бесстрашно. Эксперимент с крысами, который я провел накануне, гарантировал, что меня никто не захватит врасплох. Я точно знал, чего мне следует ожидать, и был соответственно вооружен. Вокруг меня была возведена своего рода изгородь.

— А, добрый вечер, святой отец, — воскликнула леди Бёрдвелл, идя мне навстречу с протянутыми руками.

Я стоял и смотрел ей прямо в глаза.

— Как там Бёрдвелл? — фамильярно спросил я. — Так и занят в городе?

Вряд ли, чтобы она когда-либо слышала, чтобы о лорде Бёрдвелле так отзывался тот, кто никогда прежде и не встречался с ним.

Она замерла, взглянула на меня подозрительно, но не знала, что и ответить.

— Пойду присяду, если позволите, — сказал я и двинулся мимо нее к террасе, где человек десять гостей, удобно устроившись в плетеных креслах, потягивали напитки.

В основном это были женщины — обычное сборище; на всех белые теннисные костюмы, и, когда я шел среди них, мне показалось, что скромное черное одеяние в данном случае отмежевывает меня от них настолько, насколько необходимо.

Дамы приветствовали меня улыбками. Я кивнул им и опустился в свободное кресло, однако не стал улыбаться в ответ.

— Пожалуй, я закончу свою историю в другой раз, — говорила мисс Элфинстоун. — Не думаю, что священник одобрит ее.

Она захихикала и лукаво на меня посмотрела. Я знал, она ждет, что и я разражусь нервным смешком и произнесу свою обычную фразу насчет того, какие у меня широкие взгляды, — но ничего подобного я себе не позволил. Я лишь приподнял краешек верхней губы настолько, насколько хватило для презрительной усмешки (отрепетированной утром перед зеркалом), и затем громко произнес:

— *Mens sana in corpore sano.*

— Что это значит? — воскликнула мисс Элфинстоун. — Повторите еще раз, святой отец.

— В здоровом теле здоровый дух, — ответил я. — Это семейный девиз.

После этого наступила довольно продолжительная тишина. Я видел, как женщины переглядываются и, жмурясь, покачивают головами.

— Священник хандрит, — объявила мисс Фостер, та самая, которая разводит кошек. — Думаю, священнику нужно выпить.

— Благодарю вас, — сказал я, — но я не пью. Вы же знаете.

— Тогда позвольте, я принесу вам стаканчик холодного крюшона?

Последняя фраза прозвучала мягко и неожиданно, откуда-то из-за моей спины справа, и в голосе говорившей послышалось такое искреннее участие, что я обернулся.

Я узрел даму необычайной красоты, которую видел прежде только раз, примерно месяц назад. Ее звали мисс Роуч, и я вспомнил, что тогда она поразила меня как человек весьма незаурядный. Особое впечатление на меня произвели ее мягкость и сдер-

жанность, а то обстоятельство, что в ее присутствии я чувствовал себя удобно, без сомнения, доказывало, что это не тот человек, который станет на меня покушаться.

— Вы, должно быть, утомились, проделав на велосипеде такой путь, — говорила мисс Роуч.

Я повернулся в кресле и внимательно посмотрел на нее. Она и вправду производила сильное впечатление — необычайно мускулиста для женщины, с широкими плечами, крепкими руками и икрами. После предпринятой днем физической работы ее лицо сияло здоровым красным блеском.

— Большое вам спасибо, мисс Роуч, — сказал я, — но я никогда не употребляю алкоголь ни в каком виде. Разве что стаканчик лимонаду...

— Крюшон готовится только из фруктов, падре.

Как я люблю тех, кто называет меня «падре»! В этом слове слышится какой-то военный отзвук, вызывающий в воображении представление о строгой дисциплине и офицерском достоинстве.

— Крюшон? — произнесла мисс Элфинстоун. — Да он безвреден.

— Мой дорогой, да это чистый витамин С, — сказала мисс Фостер.

— Гораздо лучше, чем шипучий лимонад, — сказала леди Бёрдвелл. — Углекислый газ отрицательно действует на желудочную оболочку.

— Сейчас я принесу вам крюшон, — сказала мисс Роуч, любезно мне улыбаясь. Это была добрая, открытая улыбка, и в уголках рта не видно было и намека на коварство или озорство.

Мисс Роуч поднялась и направилась к столу с напитками. Я видел, как она чистит апельсин, потом яблоко, потом огурец, потом виноград и все это складывает в стакан. Потом она налила туда изрядное количество жидкости из бутылки, этикетку на которой я не сумел разглядеть без очков, однако мне подумалось, что я увидел на ней имя Джим, или Тим, или Пим, или что-то похожее.

— Надеюсь, там еще осталось, — крикнула леди Бёрдвелл. — Мои ненасытные дети так это любят.

— Тут еще много, — ответила мисс Роуч и, принеся напиток, поставила стакан передо мной на столик.

Еще не пробуя, я легко догадался, почему дети так его любят. Напиток был янтарно-красного цвета, в нем плавали куски фрук-

тов вместе с кубиками льда, а сверху мисс Роуч положила веточку мяты. Я догадался, что мята положена специально для меня, чтобы устранить приторность месива, которое в противном случае предназначалось бы явно для молодежи.

— Слишком сладко для вас, падре!

— Восхитительно, — сказал я, потягивая напиток. — Просто замечательно.

Было жаль после всех хлопот мисс Роуч проглотить крющон мигом, но он действовал так освежающе, что удержаться я не мог.

— Позвольте приготовить вам еще один крющон!

Мне понравилось, что она подождала, пока я не поставлю стакан на стол, вместо того чтобы пытаться вырвать его у меня из рук.

— Мяту я на вашем месте не стала бы есть, — сказала мисс Элфинстоун.

— Пожалуй, принесу еще бутылку, — громко сказала леди Бёрдвелл. — Вам она наверняка понадобится, Милдред.

— Принесите, пожалуйста, — ответила мисс Роуч. — Сама я могу пить крющон галлонами. — Она обращалась ко мне. — И едва ли вы скажете про меня, будто я, что называется, изнурена.

— Ну что вы, — с жаром ответил я.

Я принялся снова наблюдать, как она готовит для меня напиток. Мышцы руки, которой она взяла бутылку, перекачивались под кожей. Шея, если смотреть сзади, была необычайно красива, не тонкая и жилистая, как у так называемых современных красавиц, а толстая и сильная, и там, где выступали жилы, тянулась едва заметная выпуклость. Непросто было определить возраст такого человека, но я не думаю, чтобы ей было больше сорока восьми — сорока девяти лет.

Едва я допил второй стакан крющона, как меня охватило поистине необыкновенное чувство. Мне показалось, будто я выплываю из кресла, а подо мной катятся теплые волны и поднимают меня все выше и выше. Я чувствовал себя бодрым, как пузырек воздуха, и мне казалось, что все вокруг меня скачет вверх-вниз и тихо кружится туда-сюда. Все это было очень приятно, и меня захватило почти неодолимое желание спеть песню.

— Вам хорошо? — прозвучал голос мисс Роуч откуда-то издалека, и когда я повернулся в ее сторону, то с удивлением увидел, как близко от меня она находится. Она тоже словно прыгала вверх-вниз.

— Чудесно, — ответил я. — Я чувствую себя чудесно.

У нее было розовое лицо, и находилось оно так близко от моего, что я мог разглядеть даже бледный пушок на щеках и то, как солнечные лучи выхватывали каждую волосинку и заставляли сверкать золотом. Я поймал себя на том, что мне хочется протянуть руку и провести пальцами по ее щекам. Сказать по правде, я бы не стал возражать, если бы и она проделала то же самое со мной.

— Послушайте, — мягко произнесла мисс Роуч. — Как насчет того, чтобы мы вдвоем прогулялись по саду и полюбовались люпинами?

— Замечательно, — ответил я. — Прекрасно. Все, что хотите.

В саду леди Бёрдвелл, возле площадки для игры в крокет, стоит маленький летний домик в стиле королей Георгов, и следующее, что я помню, это то, что я сижу в нем на чем-то вроде шезлонга, а мисс Роуч — рядом со мной. Я по-прежнему прыгал вверх-вниз, да и она тоже, да, пожалуй, и летний домик, но чувствовал я себя превосходно. Я спросил мисс Роуч, не хочет ли она, чтобы я спел ей песню.

— Не сейчас, — сказала мисс Роуч, обхватывая меня руками и прижимая к своей груди так крепко, что мне стало больно.

— Не надо, — растаяв, произнес я.

— Так лучше, — проговорила она. — Так ведь лучше, правда?

Попробайся мисс Роуч или кто-либо из женщин проделать со мной такое час назад, я даже не знаю, что бы произошло. Думаю, скорее всего, я бы лишился чувств. Может быть, и умер бы. Но теперь я получал удовольствие оттого, что эти огромные голые руки касаются моего тела! К тому же — и это самое удивительное — я испытывал желание ответить взаимностью.

Большим и указательным пальцами взяв мочку ее левого уха, я игриво потянул его вниз.

— Скверный мальчишка, — сказала мисс Роуч.

Я потянул за ухо сильнее и слегка стиснул мочку. Это вызвало у нее такой прилив страсти, что она принялась хрюкать и храпеть, как свинья. Дыхание ее становилось громким и затрудненным.

— Поцелуй меня, — приказала она.

— Что? — спросил я.

— Ну же, целуй меня.

В этот момент я увидел ее рот. Я увидел ее хищный рот, медленно надвигающийся на меня, начинающий раскрываться, прибли-

жающийся все ближе и ближе и открывающийся все шире и шире, и — оцепенел от ужаса.

— Нет! — закричал я. — Не надо! Не надо, мамочка, не надо!

Только одно могу вам сказать: никогда в жизни не видел я ничего страшнее этого рта. Я попросту не мог вынести, чтобы он на меня вот так надвигался. Будь это раскаленный утюг, который кто-то подносил к моему лицу, я не был бы так ошеломлен, клянусь, не был бы. Сильные руки обхватили меня и прижали книзу, так что я не мог двигаться, а рот открывался все шире и шире, и потом он как-то навис надо мной — огромный, мокрый, похожий на пещеру, — и в следующую секунду я оказался в нем.

Я очутился внутри этого огромного рта, распластавшись на животе вдоль языка, притом ноги мои оказались где-то в районе горла. Инстинктивно я понимал, что если немедленно не вырвусь на свободу, то буду проглочен живьем — как тот маленький кролик. Я чувствовал, как мои ноги затягивает в горло, и тогда я выбросил руки и схватился за нижние передние зубы, цепляясь таким образом за жизнь. Моя голова покоилась у входа в рот, между губами. Я даже мог разглядеть кусочек внешнего мира — солнечные лучи, падающие на полированный деревянный пол летнего домика, и гигантскую ногу на полу в белой кроссовке.

Я хорошенько ухватился за кончики зубов и, несмотря на то что меня продолжало засасывать, медленно подтягивался к дневному свету, пока вдруг верхние зубы не опустились на мои костяшки, застучали, и я вынужден был отнять руки. Я заскользил вниз по горлу ногами вперед, пытаюсь ухватиться по пути за что-нибудь, но все было такое гладкое и скользкое, что я так и не смог это сделать. Проскальзывая мимо коренных зубов, я мельком увидел, как слева сверкнуло золото, а тремя дюймами дальше я увидел над собой, должно быть, язычок, свешивающийся, подобно толстому красному сталактиту, с верхней поверхности горла. Я схватился за язычок обеими руками, однако он выскользнул у меня из пальцев, и я продолжил скатываться вниз.

Помню, что я кричал о помощи, но едва ли мог слышать звук собственного голоса, заглушаемый шумом ветра, вызванного дыханием обладательницы горла. Ветер, похоже, все время был штормовой, притом до странности неустойчивый и попеременно то очень холодный (при вдохе), то очень горячий (при выдохе).

Мне удалось зацепиться локтями за острый мясистый бугорок — полагаю, то был надгортанник, — и какое-то мгновение я ви-

сел на нем, противясь затягиванию и нащупывая ногами какую-нибудь опору на стенке гортани, однако горло сделало сильное глотательное движение, меня отшвырнуло, и я снова полетел вниз.

Дальше мне было не за что уцепиться, я направлялся все ниже и ниже, пока мои ноги не повисли подо мной на передних подступах к желудку, и я почувствовал мощную перистальтику, захватывающую мои ноги в области лодыжек и затягивающую меня все ниже и ниже...

Высоко наверху, на открытом воздухе, слышалось далекое бормотание женских голосов:

- Этого не может быть...
- Но, моя дорогая Милдред, как это ужасно...
- Он, должно быть, с ума сошел...
- Ваш бедный рот, только взгляните на себя...
- Сексуальный маньяк...
- Садист...
- Надо написать епископу...

А потом все голоса заглушил голос мисс Роуч, она, точно попугай, принялась хрипло выкрикивать ругательства:

— Ему еще, черт побери, повезло, что я не убила его, этого мерзавца!.. Я ему говорю, слушай, говорю я, если мне когда-нибудь понадобится тащить зубы, я пойду к дантисту, а не к чертову священнику... Да и повода я ему не давала!..

- А где он сейчас, Милдред?
- Кто его знает? Наверное, в этом чертовом летнем домике.
- Девочки, пошли выкорчем его оттуда!

О-ля-ля! Оглядываясь сейчас, три недели спустя, на случившееся, я не знаю, как пережил кошмар того ужасного дня и не сошел с ума.

Весьма опасно иметь дело с такой шайкой ведьм, и, если бы им удалось схватить меня в летнем домике, пока у них кипела кровь, они бы, скорее всего, разорвали меня на части. Либо потащили за руки и за ноги лицом вниз в полицейский участок, а леди Бёрдвелл и мисс Роуч возглавили бы процессию по главной улице деревни.

Но разумеется, они меня не поймали.

Они не поймали меня тогда и не поймали до сих пор, и если удача и дальше будет сопутствовать мне, то, думаю, у меня есть неплохой шанс вообще ускользнуть от них или хотя бы не встречаться с ними несколько месяцев, пока они не забудут эту историю.

Как вы можете догадаться, я вынужден пребывать в полном одиночестве и не принимаю участия в публичных делах и общественной жизни. Литературное творчество — самое спасительное занятие в такое время, так что я каждодневно по многу часов играю с предложениями. Каждое предложение я рассматриваю как колесико, и в последнее время у меня появилось желание выстроить несколько сот их в ряд, чтобы зубцы их сцепились, как шестерни, но чтобы колеса были разных размеров и вращались с разной скоростью. Я пытаюсь приставить самое большое непосредственно к самому маленькому так, чтобы большое, медленно вращаясь, заставляло маленькое крутиться так быстро, чтобы оно гудело.

По вечерам я по-прежнему пою мадригалы, но мне ужасно не хватает моего клавесина.

Но вообще-то, здесь не так уж и плохо, и я устроился настолько удобно, насколько позволяют обстоятельства. У меня маленькая комнатка, расположенная почти наверняка в переднем отделе двенадцатиперстной кишки — там, где она вертикально уходит вниз перед правой почкой. Пол совершенно ровный, — по сути, это первое ровное место, которое мне попало во время того ужасного спуска по горлу мисс Роуч, и единственное, где вообще можно остановиться. Над головой я вижу мясистое на вид отверстие, которое, как я полагаю, является привратником желудка, где желудок входит в небольшую кишку (я все еще помню некоторые из тех диаграмм, которые показывала мне моя мать), а подо мной — смешная дырочка в стене, где панкреатический канал примыкает к нижнему отделу двенадцатиперстной кишки.

Все это чуточку странно для человека консервативных вкусов, вроде меня. Лично я предпочитаю дубовую мебель и паркетный пол. Но здесь, впрочем, есть одна вещь, которая весьма мне нравится. Это стены. Они красивые и мягкие, покрыты чем-то вроде набивочного материала, и преимущество их в том, что я могу налетать на них сколько угодно и при этом мне не больно.

Тут есть еще несколько человек, что довольно удивительно, но, благодарение Богу, все они мужчины. В силу какой-то причины на них белые одежды, и они суетятся вокруг, делая вид, будто очень заняты. В действительности же они крайне невежественны и, похоже, даже не понимают, где находятся. Я пытаюсь рассказать им, но они и слушать не хотят. Иногда я так сержусь, что выхожу из себя и начинаю кричать, и тогда на их лицах появляется плутова-

тое недоверчивое выражение, они медленно отступают и говорят: «Ну, успокойтесь. Успокойтесь же, святой отец».

Что с ними говорить?

Но есть там и один пожилой человек — он навещает меня каждое утро после завтрака, — и кажется, что он ближе ощущает реальность, чем остальные. Он вежлив, держится с достоинством и, мне кажется, одинок, потому что ничего так не любит, как сидеть тихо в моей комнате и слушать, как я разговариваю. Одна беда — едва мы затрагиваем тему нашего местопребывания, как он предлагает мне бежать. Утром он снова об этом заговорил, и мы крупно поспорили.

— Ну разве вы не понимаете, — терпеливо сказал я, — что я не хочу бежать.

— Мой дорогой святой отец, но почему же?

— Еще раз говорю вам — потому, что там меня повсюду ищут.

— Кто?

— Мисс Элфинстоун, мисс Роуч, мисс Прэттли и все остальные.

— Какая чушь.

— Еще как ищут! И думаю, и вас ищут, но вы в этом не признаетесь.

— Нет, друг мой, меня они не ищут.

— Тогда позвольте узнать, что именно вы здесь делаете?

Вопросец для него трудноватый. Я вижу, что он не знает, как и ответить.

— Клянусь, вы забавлялись с мисс Роуч и она вас проглотила точно так же, как меня. Клянусь, именно так все и было, только вам стыдно признаться.

Едва я произнес это, он погрузился, и вид у него при этом был такой расстроенный, что мне стало жаль его.

— Хотите, я спою вам песню? — спросил я.

Но он, ничего не ответив, поднялся и тихо вышел в коридор.

— Выше голову! — крикнул я ему вслед. — Не отчаивайтесь. Есть еще бальзам в Гилеаде.

БЫТИЕ И КАТАСТРОФА

(Правдивая история)

- Все нормально, — говорил врач. — Лежите спокойно. Голос его звучал где-то далеко, и казалось, он кричит на нее.
- У вас сын.
- Что?
- У вас чудесный сын. Понимаете? Чудесный. Слышали, как он плакал?
- С ним все в порядке, доктор?
- Разумеется, в порядке.
- Прошу вас, дайте мне на него взглянуть.
- Скоро вы его увидите.
- Вы уверены, что с ним все в порядке?
- Совершенно уверен.
- Он еще плачет?
- Попробуйте отдохнуть. Вам не о чем беспокоиться.
- А почему он больше не плачет, доктор? Что случилось?
- Да не волнуйтесь вы так. Все нормально.
- Я хочу видеть его. Пожалуйста, позвольте мне посмотреть на него.
- Дорогая моя, — сказал врач, похлопывая ее по руке, — у вас чудесный, здоровый ребенок. Разве вы не верите тому, что я говорю?
- А что это там женщина делает с ним?
- Вашего ребенка готовят к тому, чтобы на него было приятно смотреть, — сказал врач. — Мы его немножко вымоем, вот и все. Дайте нам минутку.
- Клянется, что с ним все в порядке?
- Клянусь. А теперь лежите спокойно. Закройте глаза. Ну закройте же. Вот так. Так-то лучше. Умница...
- Я так молилась, чтобы он выжил, доктор.
- Разумеется, он будет жить. О чем вы говорите?
- Другие же не выжили.

— Что?

— Из других моих детей ни один не выжил, доктор.

Врач стоял возле кровати и смотрел на бледное, изможденное лицо молодой женщины. До сегодняшнего дня он ее никогда не видел. Они с мужем были новыми людьми в городе. Жена хозяина гостиницы, пришедшая помочь принять роды, говорила, что муж ее работает в местной таможне на границе и что они неожиданно прибыли в гостиницу с одним чемоданом и сумкой три месяца назад. Муж был пьяницей, говорила жена хозяина гостиницы, заносчивый, властный, задиристый, а вот молодая женщина была тихой и набожной. И очень грустной. Она никогда не улыбалась. За те несколько недель, что она там прожила, жена хозяина гостиницы ни разу не видела, чтобы она улыбнулась. Ходили слухи, что это третий брак мужа, одна его жена умерла, а другая развелась с ним в силу каких-то неприглядных причин. Но это были только слухи.

Доктор нагнулся и натянул простыню повыше на грудь пациентки.

— Вам не о чем тревожиться, — мягко произнес он. — У вас совершенно нормальный ребенок.

— То же самое мне говорили и о других детях. Но я всех их потеряла, доктор. За последние восемнадцать месяцев я потеряла троих своих детей, поэтому не вините меня, что я нервничаю.

— Троих?

— Это мой четвертый... за четыре года.

Врач беспокойно переступил с ноги на ногу.

— Вряд ли вы понимаете, что это значит, доктор, потерять их всех, всех троих, по очереди, одного за другим. Они и сейчас у меня перед глазами. Я вижу лицо Густава так ясно, как будто он лежит рядом со мной в постели. Густав был замечательным мальчиком, доктор. Но он всегда болел. Ужасно, когда они все время болеют и нельзя ничем им помочь.

— Знаю.

Женщина открыла глаза, несколько секунд пристально смотрела на врача, потом снова закрыла их.

— Мою маленькую девочку звали Идой. Она умерла накануне Рождества. Всего четыре месяца назад. Как бы мне хотелось, чтобы вы видели Иду, доктор.

— Теперь у вас другой ребенок.

- Но Ида была такая красивая.
- Да, — сказал врач. — Я знаю.
- Откуда вы можете это знать? — вскричала она.
- Я уверен, что это был прекрасный ребенок. Но и этот тоже красивый.

Врач отвернулся от кровати и стал смотреть в окно. Был дождливый серый апрельский день, и он видел красные крыши домов на другой стороне улицы. Огромные капли дождя стучали по черепице и разлетались брызгами.

— Иде было два года, доктор... и она была такая красивая, что я глаз не могла от нее оторвать с утра, когда одевала ее, и до вечера, когда она снова благополучно лежала в постели. Я все время боялась, как бы с ней не случилось чего-нибудь страшного. Густава не стало, не стало моего маленького Отто, и она единственная у меня оставалась. Иногда среди ночи я тихо подходила к кроватке и прикладывала ухо к ее ротику, чтобы убедиться, что она дышит.

— Попробуйте отдохнуть, — сказал врач. — Пожалуйста, попробуйте отдохнуть.

Лицо женщины было бледно и бескровно, а вокруг носа и рта появился едва заметный голубовато-серый оттенок. Ко лбу прилипли пряди мокрых волос.

— Когда она умерла... я опять была беременна, когда это произошло, доктор. Этому, который только что родился, было целых четыре месяца, когда Ида умерла. «Не хочу! — кричала я после похорон. — Не буду его рожать! Достаточно я похоронила детей!» А мой муж... он расхаживал среди гостей с огромной кружкой пива... он быстро обернулся и сказал: «У меня для тебя есть новости, Клара, хорошие новости». Вы можете себе такое представить, доктор? Мы только что похоронили нашего третьего ребенка, а он мне говорит, что у него для меня хорошие новости. «Сегодня я получил назначение в Браунау, — говорит он, — так что собирайся. Там ты все начнешь сначала, Клара, — говорит он. — Новое место, да и врач там новый...»

- Пожалуйста, не разговаривайте...
- Вы ведь и есть новый врач, правда, доктор?
- Да, это так.
- А мы в Браунау?
- Да.
- Я боюсь, доктор.

— Постарайтесь ничего не бояться.
— У четвертого есть хоть какие-то шансы?
— Не настраивайте себя так.
— А я не могу думать иначе. Я уверена — что-то наследственное заставляет моих детей умирать. Это точно.

— Какая ерунда.
— Знаете, доктор, что сказал мне мой муж, когда родился Отто? Он вошел в комнату, заглянул в кроватку, в которой лежал Отто, и сказал: «Почему все мои дети такие маленькие и слабенькие?»

— Я уверен, он этого не говорил.

— Он низко наклонился над кроваткой Отто, будто там лежало крошечное насекомое, и сказал: «Я хочу знать только одно: отчего получше экземпляры не получают? Только это я и хочу знать». А через три дня после этого Отто умер. На третий день мы было окрестили его, и в тот же вечер он умер. А потом умер Густав. А потом Ида. Все умерли, доктор... И неожиданно весь дом опустел.

— Не думайте сейчас об этом.

— А этот очень маленький?

— Нормальный ребенок.

— Но маленький?

— Пожалуй, немножко маленький. Но маленькие часто покрепче больших будут. Только представьте себе, фрау Гитлер, — на будущий год в это время он уже будет учиться ходить. Разве не приятно об этом думать?

Она ничего не ответила.

— А через два года, наверное, будет болтать без умолку и сводить вас с ума своим лепетом. Вы уже выбрали для него имя?

— Имя?

— Ну да.

— Нет. Пока не знаю. Кажется, мой муж говорил, что, если будет мальчик, мы назовем его Адольфусом.

— Значит, Адольф.

— Да. Моему мужу нравится имя Адольф, потому что оно чем-то напоминает ему его собственное имя. Моего мужа зовут Алоиз.

— Вот и замечательно.

— Нет! — вскричала она, оторвав голову от подушки. — То же самое у меня спрашивали, когда родился Отто! Значит, он умрет! Нужно сейчас же окрестить его!

— Ну-ну, — проговорил врач, осторожно беря ее за плечи. — Вы не правы. Уверяю вас. Просто я любопытный старик, вот и все. Люблю поговорить об именах. Думаю, Адольфус — очень хорошее имя. Одно из моих любимых. Смотрите-ка — вон его несут.

Жена хозяина гостиницы, прижимая ребенка к своей огромной груди, проплыла по палате и приблизилась к кровати.

— Вот он, красавец! — улыбаясь лучезарной улыбкой, сказала она. — Хотите поддержать его, моя дорогая? Положить его рядом с вами?

— Он хорошо закутан? — спросил врач. — Здесь очень холодно.

— Конечно хорошо.

Ребенок был плотно закутан белой шерстяной шалью, из которой высовывалась только крошечная розовая головка. Жена хозяина гостиницы бережно положила его на кровать рядом с матерью.

— Ну вот, — сказала она. — Теперь можете лежать себе и вдоволь им любоваться.

— По-моему, он вам понравится, — улыбаясь, произнес врач. — Прекрасный ребенок.

— Да у него просто чудесные ручки! — воскликнула жена хозяина гостиницы. — Какие длинные изящные пальчики!

Мать лежала не шелохнувшись. Она даже голову не повернула, чтобы посмотреть на ребенка.

— Ну же! — громко сказала жена хозяина гостиницы. — Он вас не укусит!

— Боюсь смотреть. Не могу поверить, что у меня еще один ребенок и с ним все в порядке.

— Ну хватит глупостей.

Мать медленно повернула голову и посмотрела на маленькое безмятежное лицо ребенка, лежавшего рядом с ней на подушке:

— Это мой ребенок?

— Ну конечно.

— О... о... да он красивый.

Врач отвернулся и, подойдя к столу, начал складывать свои вещи в чемоданчик. Мать лежала на кровати и, глядя на ребенка, улыбалась, касалась его пальцами и что-то бормотала от удовольствия.

— Привет, Адольфус, — шептала она. — Привет, мой маленький Адольф...

— Тсс! — сказала жена хозяина гостиницы. — Слышите? Кажется, идет ваш муж.

Врач подошел к двери, открыл ее и выглянул в коридор:

— Герр Гитлер!

— Да.

— Входите, пожалуйста.

Небольшого роста человек в темно-зеленой форменной одежде тихо вошел в комнату и огляделся.

— Поздравляю вас, — сказал врач. — У вас сын.

У мужчины были огромные бакенбарды, тщательно подстриженные на манер императора Франца-Иосифа, и от него сильно пахло пивом.

— Сын?

— Да.

— И как он?

— Отлично. Как и ваша жена.

— Хорошо.

Отец повернулся и с надменным видом прошествовал к кровати, на которой лежала его жена.

— Ну-с, Клара, — проговорил он, — как дела?

Он нагнулся, чтобы посмотреть на ребенка. Потом нагнулся еще ниже. Дергаясь всем телом, он нагибался все ниже и ниже, пока лицо его не оказалось в десятке дюймов от головки ребенка. Свесив голову с подушки, жена смотрела на него. Во взгляде ее была мольба.

— У малыша просто замечательные легкие, — заявила жена хозяина гостиницы. — Послушали бы вы, как он кричал, едва только появился на свет.

— Но, Клара...

— Что такое, дорогой?

— Этот даже меньше, чем Отто!

Врач быстро шагнул к кровати.

— Самый обычный ребенок, — возразил он.

Муж медленно выпрямился, отвернулся от кровати и посмотрел на врача.

— Нехорошо врать, доктор, — сказал он. — Я знаю, что это значит. Опять будет то же самое.

— Теперь послушайте меня, — сказал врач.

— А вы знаете, что случилось с другими, доктор?

БЫТИЕ И КАТАСТРОФА

- О других вы должны забыть, герр Гитлер. Дайте шанс этому.
- Но он такой маленький и слабый!
- Дорогой мой, он же только что родился.
- Все равно...
- Что вы тут устроили? — воскликнула жена хозяина гостиницы. — Хотите своей болтовней свести его в могилу?
- Хватит! — резко произнес врач.
- Мать плакала. Рыдания сотрясали ее тело.
- Врач подошел к ее мужу и положил руку ему на плечо.
- Будьте с ней поласковее, — прошептал он. — Прошу вас. Это очень важно.

Потом он сильно стиснул плечо мужа и незаметно подтолкнул его к кровати. Муж замялся в нерешительности. Доктор стиснул его плечо сильнее. В конце концов муж нехотя нагнулся и коснулся щеки жены губами.

- Все хорошо, Клара, — сказал он. — Хватит плакать.
- Я так молилась, чтобы он выжил, Алоиз.
- Да-да.
- Несколько месяцев я каждый день ходила в церковь и молила, стоя на коленях, чтобы этому дано было выжить.
- Да, Клара, я знаю.
- Трое мертвых детей — больше я не могу выдержать, разве ты этого не понимаешь?
- Разумеется.
- Он должен жить, Алоиз. Должен, должен... О Господи, будь же милостив к нему...

ЭДВАРД-ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Луиза вышла из задней двери дома, с кухонным полотенцем в руках. Сад был залит холодными лучами октябрьского солнца.

— Эдвард! — крикнула она. — Эдвард! Обед готов!

Она постояла с минуту, прислушиваясь, потом ступила на газон и пошла по саду, и ее тень последовала за ней; обойдя по пути клумбу с розами, она слегка коснулась пальцем солнечных часов. Двигалась Луиза довольно грациозно для женщины полной и невысокой; в походке ее была какая-то размеренность, а руки и плечи в такт ходьбе слегка покачивались. Она прошла под тутовым деревом, свернула на уложенную кирпичом дорожку и двинулась по ней дальше, пока не приблизилась к тому месту этого большого сада, где начинался уклон.

— Эдвард! Обедать!

Теперь она увидела его ярдах в восьмидесяти, в низине на окраине леса, — высокую худощавую фигуру в брюках цвета хаки и темно-зеленом свитере. Он стоял возле огромного костра, с вилами в руках, и бросал в него ветки куманики. Костер вовсю полыхал оранжевым пламенем, и облака молочного дыма плыли над садом, разнося прекрасный запах осени и горящих листьев.

Луиза стала спускаться по склону к мужу. Она могла бы еще раз окликнуть его, и он бы наверняка ее услышал, но в костре было что-то притягательное. Ей захотелось подойти к нему поближе, ощутить его жар и послушать, как он горит.

— Обед готов, — сказала она мужу.

— А, привет... Хорошо, сейчас иду.

— Какой замечательный костер.

— Я решил вычистить это место, — сказал ее муж. — Надоела мне эта куманика.

Его длинное лицо было мокрым от пота. Маленькие капли, точно росинки, висели на усах, а два ручейка стекали по шее к вороту свитера.

— Смотри не перетрудишься, Эдвард.

— Луиза, мне же не восемьдесят лет! Немного движения никому еще не повредило.

— Да, дорогой, знаю. Эдвард! Смотри! Смотри!

Он обернулся и посмотрел на Луизу, которая указывала куда-то по ту сторону костра.

— Смотри, Эдвард! Кот!

На земле, вблизи огня, так что языки пламени, казалось, касались его, сидел большой кот необычного окраса. Он был совершенно неподвижен. Склонив голову набок и задрав нос, он глядел на мужчину и женщину холодными желтыми глазами.

— Да он обгорит! — вскричала Луиза и, бросив полотенце, подскочила к коту, схватила обеими руками и отнесла на траву подалее от огня. — Сумасшедший кот, — сказала она, отряхивая руки. — Что с тобой?

— Коты знают, что делают, — отвечал муж. — Ни за что не встретишь кота, который делал бы то, чего он не хочет. Кто угодно, только не они.

— Чей он? Ты его видел когда-нибудь?

— Нет, никогда. Какой удивительный окрас, черт побери.

Кот уселся на траве и искоса поглядывал на них. Глаза его выражали какую-то затаенную многозначительность и задумчивость, а вместе с тем и едва уловимое презрение, словно эти люди среднего возраста — невысокая женщина, полная и розовощекая, худощавый мужчина, весь в поту, — вызывали у него некоторый интерес, но особого внимания не заслуживали. У кота окрас действительно был удивительный — чисто серебряный цвет, совсем без примеси голубого, — а шерсть длинная и шелковистая.

Луиза наклонилась и погладила кота по голове.

— Иди-ка ты домой, — сказала она. — Будь хорошим котом...

Муж и жена стали взбираться по склону. Кот поднялся и побрел следом за ними, сначала в некотором отдалении, но постепенно приближаясь. Скоро он уже шествовал рядом с ними, потом — впереди; держа хвост трубой, кот двигался по газону в сторону дома с таким видом, будто все здесь принадлежало ему.

— Иди к себе домой, — сказал Эдвард. — Давай иди домой. Ты нам не нужен.

Но кот вошел вместе с ними, и Луиза дала ему на кухне молока. Во время обеда он запрыгнул на пустой стул между ними и так

и сидел, держа голову чуть выше уровня стола, наблюдая за происходящим своими темно-желтыми глазами и медленно переводя взгляд от женщины к мужчине, а потом от мужчины к женщине.

— Не нравится мне этот кот, — сказал Эдвард.

— А по-моему, он красивый. Мне бы так хотелось, чтобы он побыл у нас еще хотя бы недолго.

— Послушай-ка меня, Луиза. Это животное никак не может здесь оставаться. У него есть хозяин. Он просто потерялся. И если он до вечера так и не уйдет, отнеси его в полицию. Там позаботятся о том, чтобы он попал домой.

После обеда Эдвард вернулся к своим садовым занятиям. Луиза по обыкновению направилась к роялю. Она была хорошей пианисткой и настоящим любителем музыки и почти каждый день примерно час играла для себя. Кот разлегся на диване, и, проходя мимо, она остановилась, чтобы погладить его. Он открыл глаза, коротко взглянул на нее, потом снова закрыл их и продолжал спать.

— Ты ужасно милый кот, — сказала Луиза. — И какой красивый окрас. Как бы я хотела оставить тебя.

И тут ее пальцы, гладившие кота, наткнулись на бугорок, небольшую опухоль как раз над правым глазом.

— Бедный котик, — сказала она. — Да у тебя шишки на твоей прекрасной морде. Ты, наверное, стареешь.

Она села за рояль, но играть начала не сразу. Ее маленьким удовольствием было превращать каждый день в своего рода концерт, с тщательно составленной программой, которую она подробно продумывала. Она не любила прерывать это удовольствие и играла, не останавливаясь и не задумываясь, что бы сыграть еще. Ей нужна была лишь короткая пауза после каждого номера, пока публика восторженно аплодирует и требует продолжения. Представлять себе публику было так приятно, и, когда она играла, комната всякий раз — то есть в особенно удачные дни — уплывала куда-то, гас свет, и Луиза видела лишь ряды сидений и море обращенных к ней белых лиц, слушающих с восхищенным вниманием.

Иногда она играла по памяти, иногда по нотам. Сегодня она будет играть по памяти — такое у нее настроение. А какая будет программа? Она сидела перед роялем, стиснув на коленях руки, — полная розовощекая женщина с круглым, все еще красивым лицом и с волосами, аккуратно собранными на затылке в пучок. Скосив глаза вправо, она увидела кота, свернувшегося на диване. Его се-

ребристо-серая шерсть казалась особенно красивой на фоне фиолетового дивана. Может, начать с Баха? Или, еще лучше, Вивальди. Концерто гротто Баха для органа ре минор. Это сначала. Потом, пожалуй, немного Шумана. «Карнавал»? Неплохо. А после этого — хм, немного Листа для разнообразия. Один из «Сонетов Петрарки». Второй, самый красивый — ми мажор. Потом опять Шуман, что-нибудь повеселее — «Kinderscenen»¹. И наконец, на бис, вальс Брамса или даже два, если будет настроение.

Вивальди, Шуман, Лист, Шуман, Брамс. Очень хорошая программа — из тех, которые она легко может исполнить без нот. Она придвинулась поближе к роялю и выждала с минуту, пока кто-то из публики — она уже чувствовала, что это ее удачный день, — пока кто-то из публики не откашлялся; потом, с неторопливым изяществом, сопровождавшим почти все ее движения, она поднесла руки к клавиатуре и заиграла.

В этот момент она вообще не смотрела на кота, вовсе забыв о его существовании, но, едва только мягко прозвучали первые глубокие ноты Вивальди, она почувствовала, как справа, на диване, что-то встрепенулось. Она тут же перестала играть.

— Что такое? — спросила она, оборачиваясь к коту. — В чем дело?

Животное, несколько секунд назад мирно дремавшее, сидело, вытянувшись в струнку, на диване, все тело его было напряжено; кот трепетал, наострив уши и широко раскрыв глаза, и пристально смотрел на рояль.

— Я напугала тебя? — ласково спросила Луиза. — Ты, наверное, никогда раньше не слышал музыки?

Да нет, сказала она про себя. Похоже, дело не в этом. Внимательнее посмотрев на кота, она заметила, что он принял совсем не ту позу, которая выражает страх. Он не съехался и не отпрянул. Скорее подался вперед, притом с каким-то одушевлением, а морда... на морде появилось странное выражение, что-то среднее между удивлением и восторгом. Морды у котов, разумеется, весьма невыразительные, но если обратить внимание, как у них взаимодействуют глаза и уши, и особенно если посмотреть на подвижную кожу под ушами, то можно увидеть отражение очень сильных эмоций. Луиза глядела на кошачью морду, и, поскольку ей любопытно

¹ «Детские сцены» (нем.).

было узнать, что будет дальше, она поднесла руки к клавишам и снова заиграла Вивальди.

На сей раз кот был к музыке готов и лишь еще немного напрягся. Однако, по мере того как музыка набирала мощь и убыстрялась, переходя к волнующему месту во вступлении к фуге, на морде животного, как это ни странно, появлялось выражение бурного восторга. Уши, которые до этого стояли торчком, кот постепенно отвел назад, веки опустились, голова склонилась набок, и Луиза готова была поклясться, что он в этот момент действительно чувствует музыку.

Она увидела (или же ей показалось, что увидела) то, что много раз замечала на лицах людей, поглощенных каким-нибудь музыкальным произведением. Когда музыка их полностью захватывает и они растворяются в ней, на лицах возникает особое, проникновенное выражение, которое так же легко узнаваемо, как улыбка. Луизе почудилось, будто почти такое же выражение она увидела на морде кота.

Луиза доиграла фугу, потом исполнила сицилиану и все время не сводила глаз с дивана. Когда музыка смолкла, она окончательно убедилась, что кот слушал ее. Он сощурился, пошевелился, вытянул лапу, устроился поудобнее, окинул комнату быстрым взглядом, после чего выжидающе посмотрел в ее сторону. Именно так реагирует слушатель во время концерта, когда музыка ненадолго отпускает его в паузе между двумя частями симфонии. Кот вел себя так по-человечески естественно, что Луиза ощутила волнение в груди.

— Тебе понравилось? — спросила она. — Тебе нравится Вивальди?

Едва она это произнесла, как сообразила, что ведет себя глупо, но ощущение было не таким сильным, как следовало бы, и ее это насторожило.

Что ж, ничего не оставалось, как переходить к следующему номеру программы, к «Карнавалу». Едва она начала играть, как кот выпрямил спину; потом, когда музыка наполнила его блаженством, он снова впал в то необыкновенное состояние восторга, которое сродни витанию в облаках. Зрелище было поистине необычайное и забавное: серебристый кот сидит на диване и слушает музыку, позабыв обо всем на свете. А что еще более странно, думала Луиза, — кот наслаждается очень сложной музыкой, чересчур трудной

для восприятия, даже мало кто из людей может оценить ее по достоинству.

Быть может, подумала она, он вовсе ею и не наслаждается. Может, это что-то вроде гипнотической реакции, как в случае со змеями. В конце концов, если можно змею приручить с помощью музыки, то почему нельзя пленить ею кота? Миллионы котов слышат музыку каждый день по радио, на пластинках и во время домашнего музицирования, но вряд ли ведут себя так. Этот же будто следил за каждой нотой. Потрясающе!

Это было просто чудо, одно из тех редких чудес, которые можно наблюдать раз в сто лет, если только она не очень сильно заблуждается.

— Я вижу, тебе понравилось, — сказала Луиза, когда сочинение закончилось. — Хотя, к сожалению, играла я сегодня не очень хорошо. Кто тебе больше понравился — Вивальди или Шуман?

Кот не отвечал, и Луиза, опасаясь, как бы не лишиться внимания слушателя, перешла, согласно программе, ко «Второму сонету Петрарки» Листа.

И тут случилось и вовсе нечто необычайное. Она еще не сыграла и трех-четырёх тактов, как усы кота задергались. Он медленно потянулся, склонив голову налево, потом направо, и уставился в пространство с тем сердито-сосредоточенным видом, который, казалось, говорил: «Что это? Не подсказывайте мне. Я это хорошо знаю, но вот как раз сейчас не могу вспомнить». Луиза была восхищена и с улыбкой продолжала играть, ожидая, что же будет дальше.

Кот поднялся, пересел на другой конец дивана, послушал еще немного, потом вдруг спрыгнул на пол и забрался на стул, на котором она сидела. Там он и оставался, слушая чудесный сонет — на сей раз не мечтательно, а напряженно следя своими желтыми глазницами за пальцами Луизы.

— Ну вот! — произнесла она, когда прозвучал последний аккорд. — Значит, пришел со мной рядом посидеть? Здесь тебе больше нравится, чем на диване? Что ж, сиди, но веди себя смирно и не прыгай.

Луиза ласково провела рукой по кошачьей спине от головы к хвосту.

— Это был Лист, — продолжала она. — Конечно, иногда он может быть вульгарен, но в таких вещах, как эта, просто очарователен.

Ей нравилась эта кошачья пантомима, и она перешла непосредственно к «Kinderscenen» Шумана.

Луиза и двух минут не играла, как почувствовала, что кот опять переместился на свое прежнее место на диване. Она следила за своими руками и, видимо, потому и не уловила момента, когда он ушел. Кот по-прежнему пристально смотрел на нее, явно внимая музыке, и все же Луизе показалось, что теперь — без того восторженного энтузиазма, который охватил его во время исполнения сонета Листа. Возвращение со стула на диван само по себе явилось красноречивым жестом разочарования.

— В чем дело? — спросила Луиза. — Чем тебе не нравится Шуман? Чем так хорош Лист?

Кот смотрел на нее своими желтыми глазами, в центре которых были видны черные как смоль вертикальные черточки.

Это становится интересным, сказала она про себя, что-то тут есть сверхъестественное. Но стоило ей бросить взгляд на кота, сидевшего на диване в напряженно-выжидательной позе, как она тут же взяла себя в руки.

— Хорошо, — сказала она. — Сделаю-ка я вот что. Я изменю свою программу специально для тебя. Похоже, тебе нравится Лист, так вот тебе еще одно его сочинение.

Она помедлила, поискав в памяти что-нибудь из Листа, потом мягко заиграла одну из двенадцати маленьких пьес «Weihnachtsbaum»¹. Теперь она очень внимательно следила за котом, и первое, что заметила, — это как его усы снова задержались. Он соскочил на ковер, постоял минуту, склонив голову и дрожа от волнения, а потом, неслышно ступая, обошел вокруг рояля, прыгнул на стул и сел рядом с ней.

В этот момент из сада вернулся Эдвард.

— Эдвард! — вскричала Луиза, вскакивая со стула. — Эдвард, дорогой! Послушай! Слушай, что произошло!

— Что там еще? — спросил он. — Я бы хотел выпить чаю.

У него было узкое, остроносое красноватое лицо, и от пота оно блестело, точно длинная мокрая виноградина.

— А все он! — громко говорила Луиза, указывая на кота, преспокойно сидевшего на стуле. — Ты только послушай!

— Мне кажется, я уже говорил тебе, чтобы ты отнесла его в полицию.

¹ «Рождественская елка» (нем.).

— Но, Эдвард, выслушай же меня. Это ужасно интересно. Этот кот музыкальный.

— Ну вот еще.

— Он чувствует и понимает музыку.

— Прекрати нести чушь, Луиза, и, ради бога, давай лучше выпьем чаю. Я устал, пока вырубал куманику и разводил костер.

Он опустил в кресло, взял сигарету из пачки и прикурил ее от огромной зажигалки.

— Ты не понимаешь, — говорила Луиза, — пока тебя не было в доме, здесь происходило нечто удивительное, нечто такое, что может даже быть... как бы сказать... что может иметь серьезное значение.

— Не сомневаюсь в этом.

— Эдвард, прошу тебя!

Луиза стояла возле рояля. Ее розовое лицо еще сильнее порозовело, а на щеках выступил румянец.

— Хочешь знать, — произнесла она, — что я думаю.

— Слушаю, дорогая.

— Я думаю, что в настоящий момент мы, возможно, находимся рядом с... — Она умолкла, будто вдруг поняла всю нелепость своего предположения.

— Да?

— Может, тебе это покажется глупым, Эдвард, но я действительно так думаю.

— Рядом с кем же?

— С самим Ференцем Листом!

Ее муж глубоко затаился и медленно выпустил дым к потолку.

— Я тебя не понимаю, — сказал он.

— Эдвард, послушай меня. То, что я видела сегодня днем своими собственными глазами... это что-то вроде реинкарнации.

— Ты имеешь в виду этого паршивого кота?

— Не говори так, дорогой, пожалуйста.

— Ты не больна, Луиза?

— Я совершенно здорова, большое тебе спасибо. Просто я немного сбита с толку — и не боюсь в этом признаться. Но кого бы не сбilo с толку то, что только что произошло? Эдвард, клянусь тебе...

— Да что же все-таки произошло, могу я узнать?

Луиза рассказала ему, и все то время, пока она говорила, ее муж сидел развалившись на стуле, вытянув перед собой ноги, посасы-

вая сигарету и пуская дым к потолку. На губах его играла циничная улыбочка.

— Ничего особенно необычного я здесь не вижу, — сказал он, когда она умолкла. — Все дело в том, что это дрессированный кот. Он обучен разным штучкам, и все тут.

— Не говори глупости, Эдвард. Как только я начинаю играть Листа, он весь приходит в волнение и бежит ко мне, чтобы сесть рядом со мной на стул. Но только когда я играю Листа, а никто не может обучить кота отличать Листа от Шумана. Да и ты их не можешь отличить. А вот он может. К тому же не самые известные вещи Листа.

— Дважды, — сказал муж. — Он сделал это всего лишь дважды.

— Этого вполне достаточно.

— Давай посмотрим, сделает ли он это еще раз. Начинай.

— Нет, — сказала Луиза. — Ни за что. Потому что, если это и вправду Лист, а я так и думаю, или душа Листа, или что-то такое, что перевоплотилось, тогда несправедливо и не очень-то гуманно подвергать его глупым, недостойным испытаниям.

— Дорогая ты моя! Это всего-навсего кот, глупый серый кот, который утром едва не спалил свою шерсть у костра. И потом, что ты знаешь о перевоплощении?

— Если в нем душа Листа, этого мне достаточно, — твердо заявила Луиза. — Только это имеет значение.

— Тогда сыграй. Посмотрим на его реакцию. Посмотрим, сможет ли он отличить свою собственную вещь от чужой.

— Нет, Эдвард. Я уже сказала тебе, я не хочу подвергать его глупым цирковым испытаниям. На сегодня для него вполне хватит. Но вот что мы сделаем. Я сыграю для него еще кое-что из его сочинений.

— Черта с два это что-нибудь докажет.

— Посмотрим. Но, уверяю тебя, если только он узнает, он ни за что не сдвинется со стула, на котором сидит.

Луиза подошла к полке с нотами, взяла папку с сочинениями Листа, полистала ее и выбрала замечательную композицию — Сонату си минор. Она собралась было сыграть только первую часть этого произведения, но едва тронула клавиши, как увидела, что кот буквально дрожит от удовольствия и следит за ее пальцами с выражением восторженной сосредоточенности. Она сыграла сонату до конца, так и не решившись остановиться. Потом взглянула на мужа и улыбнулась.

— Ну вот, — произнесла Луиза. — Теперь ты сам видел, в какой он пришел восторг, и даже не пытайся отрицать.

— Просто он любит шум, вот и все.

— Он был в восторге. Разве не так, моя прелесть? — спросила она, беря кота на руки. — О боже, если б он умел говорить! Только представь себе, дорогой, в молодости он встречался с Бетховеном! Он знал Шуберта, Мендельсона, Шумана, Берлиоза, Грига, Делакруа, Энгра, Гейне, Бальзака. И еще... О господи, да он же был тестем Вагнера! У меня на руках тесть Вагнера!

— Луиза! — резко проговорил муж, выпрямляя спину. — Возьми себя в руки.

В голосе его прозвучали суровые нотки. Луиза торопливо взглянула на него:

— Эдвард, я уверена, ты завидуешь!

— Этому жалкому серому коту?

— Тогда не будь таким несносным и циничным. Если ты будешь и дальше так себя вести, лучше тебе отправиться в свой сад и оставить нас двоих в покое. Так будет лучше для нас всех, правда, моя прелесть? — сказала она, обращаясь к коту и поглаживая его по голове. — А вечером мы с тобой еще послушаем музыку, твою музыку... Ах да, — прибавила она, несколько раз поцеловав его в шею, — и Шопена мы можем послушать. Нет-нет, не говори ничего — я знаю, ты обожаешь Шопена. Вы ведь были с ним близкими друзьями, правда, моя прелесть? Ведь именно на квартире Шопена, если я правильно помню, ты встретил самую большую любовь в своей жизни, госпожу... как там ее? У тебя было от нее трое внебрачных детей, так ведь? Да, так, скверный ты мальчишка, и не вздумай отрицать этого. Так что будет тебе Шопен, — сказала она, снова целуя кота, — и на тебя, наверное, нахлынут разные приятные воспоминания, правда?

— Луиза, прекрати немедленно!

— Да не будь же ты таким занудой, Эдвард!

— Ты ведешь себя как круглая дура. И потом, ты забыла, что сегодня вечером мы идем к Биллу и Бетти играть в канасту.

— Но я никак не могу сегодня пойти. Об этом и речи быть не может.

Эдвард медленно поднялся со стула, потом нагнул и со злостью погасил окурки в пепельнице.

— Скажи-ка мне вот что, — тихо произнес он. — Ты и вправду веришь во всю эту чушь, которую несешь?

— Конечно верю. У меня теперь вообще никаких сомнений нет. Более того, я считаю, что на нас возложена огромная ответственность, Эдвард, — на нас обоих. И на тебя тоже.

— Знаешь, что я думаю, — сказал он. — Думаю, тебе нужно обратиться к врачу. И как можно, черт возьми, быстрее.

С этими словами он повернулся и, выйдя из комнаты через высокое, до пола, окно, отправился в сад.

Луиза смотрела, как он вышагивает по газону к костру и куманике. Подождав, пока он совсем не исчез из виду, она побежала к парадной двери, держа кота на руках.

Скоро она сидела в машине, направляясь в город.

Оставив кота в машине, Луиза вышла у библиотеки. Торопливо взбежав по ступенькам, она направилась прямо в справочный отдел. Там она принялась искать карточки по двум темам: «Перевоплощение душ» и «Лист».

В разделе «Перевоплощение душ» она нашла сочинение под названием «Возвращение к земной жизни — как и почему», опубликованное неким Ф. Милтоном Уиллисом в 1921 году. В разделе «Лист» — два биографических тома. Взяв книги, она вернулась к машине.

Дома, положив кота на диван, она уселась с книгами и приготовилась к серьезному чтению. Она решила начать с работы Ф. Милтона Уиллиса. Книжка была тоненькая и какая-то замызганная, но на ощупь казалась основательной, а имя автора звучало авторитетно.

Учение о реинкарнации утверждает, прочитала Луиза, что бесплотные души переходят от высших видов животных к еще более высшим. «Человек, к примеру, не может возродиться как животное, так же как взрослый не может снова стать ребенком».

Она перечитала эту фразу. Откуда ему известно? Разве можно быть настолько уверенным? Конечно нет. Да в этом никто не может быть уверен. В то же время утверждение несколько ее озадачило.

«Вокруг центра сознания каждого из нас, помимо плотного внешнего тела, существуют четыре других тела, не видимые материальным глазом, но явственно видимые теми людьми, чьи способности восприятия необъяснимых законами физики явлений претерпели существенное развитие...»

Эту фразу Луиза вообще не поняла, но продолжала читать дальше и скоро натолкнулась на любопытное место, где говори-

лось о том, сколько душа обычно пребывает вне земли, прежде чем вернуться в чье-либо тело. Время пребывания колебалось в зависимости от принадлежности человека к какой-либо группе, и мистер Уиллис предлагал следующий расклад.

Пьяницы и безработные	40–50 лет
Неквалифицированные рабочие	60–100 лет
Квалифицированные рабочие	100–200 лет
Буржуазия	200–3000 лет
Высшие слои общества	500 лет
Землевладельцы	600–1000 лет
Ступившие на Путь Посвящения	1500–2000 лет

Луиза заглянула в другую книгу, чтобы узнать, как давно Лист умер. Там говорилось, что он умер в Байрёйте в 1886 году. Шестидесять семь лет назад. Значит, по мистеру Уиллису, он должен был быть неквалифицированным рабочим, чтобы так скоро возвратиться. Но это не укладывалось ни в какие рамки. С другой стороны, она была не очень-то высокого мнения о методах классификации автора. Согласно ему, землевладельцы едва ли не лучше всех на земле. Красные куртки, стремяна и кровавое, садистское убийство лисы. Нет, подумала она, это несправедливо. Она с удовольствием поймала себя на том, что начинает не доверять мистеру Уиллису.

Дальше в книге она обнаружила список наиболее известных случаев перевоплощения. Эпиктет, узнала она, вернулся на землю как Ральф Уолдо Эмерсон. Цицерон — как Гладстон, Альфред Великий — как королева Виктория, Вильгельм Завоеватель — как лорд Китченер. Ашока Вардана, король Индии, в 272 году до нашей эры, перевоплотился в полковника Генри Стила Олкотта, высокочтимого американского юриста. Пифагор вернулся как магистр Кут Хооми — это он основал Теософское общество с госпожой Блаватской и полковником Г. С. Олкоттом (высокочтимый американский юрист, он же Ашока Вардана, король Индии). Там не говорилось, кем была госпожа Блаватская. А вот «Теодор Рузвельт, — сообщалось дальше, — в ряде перевоплощений играл значительную роль в качестве лидера... От него пошла королевская линия древней Халдеи; Эго, которого мы знаем как Цезаря, ставший затем правителем Персии, назначил его губернатором Халдеи... Рузвельт и Цезарь неоднократно были вместе как военные

и административные руководители; одно время, много тысяч лет назад, они были мужем и женой...».

Луиза все поняла. Мистер Ф. Милтон Уиллис — обыкновенный гадалщик. Его догматические утверждения весьма сомнительны. Может, он и на правильном пути, но его высказывания — особенно первое, насчет животных, — нелепы. Она надеялась, что скоро поставит в тупик все Теософское общество доказательством того, что человек и вправду может перевоплотиться в низшее животное. И вовсе не обязательно быть неквалифицированным рабочим, чтобы возвратиться на землю через сто лет.

Теперь она обратилась к биографии Листа. Ее муж как раз вернулся из сада.

— Чем это ты тут занимаешься? — спросил он.

— Да так... кое-что уточняю. Послушай, мой дорогой, ты знал, что Теодор Рузвельт был когда-то женой Цезаря?

— Луиза, — сказал он, — послушай, не пора ли нам прекратить все эти глупости? Мне бы не хотелось видеть, как ты строишь из себя дуру. Дай-ка мне этого чертова кота, я сам отнесу его в полицию.

Луиза, похоже, не слышала его. Раскрыв рот, она с изумлением смотрела на портрет Листа в книге, которая лежала у нее на коленях.

— Господи помилуй! — вскричала она. — Эдвард, смотри!

— Что там еще?

— Смотри! У него на лице бородавки! А я ведь о них совсем забыла! У него на лице были бородавки, и об этом все знали. Даже его студенты отращивали на своих лицах пучки волос в тех же местах, чтобы быть похожими на него.

— А какое отношение это имеет к коту?

— Никакого. То есть студенты не имеют. А вот бородавки имеют.

— О господи! — воскликнул Эдвард. — О господи всемогущий боже.

— У кота тоже есть бородавки! Смотри, сейчас я тебе покажу.

Она посадила кота себе на колени и принялась рассматривать его морду:

— Вот! Вот одна! Вот еще одна! Погоди минутку! Я уверена, что они у него в тех же местах! Где портрет?

Это был известный портрет композитора в преклонном возрасте — красивое крупное лицо, обрамленное ворохом длинных седых волос, закрывавших уши и половину шеи. На лице была добросовестно воспроизведена каждая большая бородавка, а всего их было пять.

— На портрете одна бородавка как раз над правой бровью. — Луиза пощупала правое надбровие кота. — Да! Она там! В том же самом месте! А другая — слева, выше носа. И эта тут же! А еще одна — под ней, на щеке. А две — довольно близко друг от друга, под подбородком справа. Эдвард! Эдвард! Посмотри же! Те самые бородавки.

— Это ничего не доказывает.

Она посмотрела на мужа, который стоял посреди комнаты в своем зеленом свитере и брюках цвета хаки. Он все еще обильно потел.

— Ты боишься. Правда, Эдвард? Боишься потерять свое драгоценное достоинство и показаться смешным.

— Просто я не желаю впасть из-за всего этого в истерику, вот и все.

Луиза взяла книгу и продолжила чтение.

— Вот что любопытно, — сказала она. — Здесь говорится, что Лист любил все сочинения Шопена, кроме одного — Скерцо си минор. Кажется, он эту вещь терпеть не мог. Он называл ее «скерцо гувернантки» и говорил, что она должна быть адресована только гувернанткам.

— Ну и что с того?

— Эдвард, послушай. Поскольку ты продолжаешь стоять на своем, я вот как поступлю. Сыграю-ка я прямо сейчас это скерцо, и посмотрим, что будет.

— А потом, может, ты снизойдешь до того, чтобы приготовить нам ужин?

Луиза поднялась и взяла с полки зеленый альбом с произведениями Шопена:

— Вот здесь. Ну да, я помню его. Это скерцо и правда ужасное. Теперь слушай. Нет, лучше смотри. Смотри, как он будет себя вести.

Она поставила ноты на рояль и села. Муж остался стоять. Он держал руки в карманах, а сигарету во рту и, сам того не желая, смотрел на кота, который дремал на диване. Едва Луиза начала

играть, как эффект оказался потрясающим. Кот подскочил точно ужаленный, с минуту стоял недвижимо, наострив уши и дрожа всем телом. Затем забеспокоился и стал ходить туда-сюда по дивану. Наконец он спрыгнул на пол и, высоко задрвав нос и хвост, величественно вышел из комнаты.

— Ну что! — возликовала Луиза, вскочив со стула и выбежав за котом. — Это же все доказывает! Разве не так?

Она принесла кота и снова усадила его на диван. Лицо ее горело от возбуждения, она стиснула пальцы так сильно, что они побелели, а узелок у нее на голове распустился, и волосы с одной стороны рассыпались.

— Ну так как, Эдвард? Что ты думаешь? — спросила она, нервно смеясь.

— Должен сказать, довольно забавно.

— Забавно! Мой дорогой Эдвард, это нечто удивительное! О господи! — вскричала она, снова беря кота на руки и прижимая его к груди. — Разве не замечательно думать о том, что у нас в доме живет Ференц Лист?

— Послушай, Луиза. Не впадай в истерику.

— Ничего не могу с собой поделать, не могу. А представь только, что он всегда будет жить с нами!

— Прости, что ты сказала?

— О Эдвард! Я так волнуюсь... А знаешь... Всем музыкантам на свете наверняка захочется встретиться с ним и порасспрашивать его о людях, которых он знал, — о Бетховене, Шопене, Шуберте...

— Он ведь не умеет говорить, — сказал муж.

— Что ж... это так. Но они все равно захотят с ним встретиться, чтобы просто посмотреть на него, потрогать и сыграть ему свои произведения, современную музыку, которую он никогда не слышал.

— Он не настолько велик. Будь он Бахом или Бетховеном...

— Не прерывай меня, Эдвард, прошу тебя. Вот что я собираюсь сделать. Извещу всех наиболее значительных из ныне живущих композиторов во всех странах. Это мой долг. Я им скажу, что у меня Лист, и приглашу их повидать его. И знаешь что? Они слетятся сюда со всех уголков земли!

— Чтобы посмотреть на серого кота?

— Дорогой мой, какая разница? Это ведь он! Кому какое дело, как он выглядит. О Эдвард, это же феноменально!

— Тебя примут за сумасшедшую.

— Посмотрим.

Она держала кота на руках. Ласково поглаживая его, она по-матривала на мужа — он стоял у окна и смотрел в сад. Наступал вечер. Газон из зеленого медленно превращался в черный, а вдаль был виден дым от костра, поднимающийся белой струйкой.

— Нет, — сказал он, оборачиваясь. — Я этого не потерплю. Только не в моем доме. Нас обоих примут за круглых дураков.

— Эдвард, что ты хочешь этим сказать?

— Только то, что уже сказал. И слушать не хочу о том, чтобы ты привлекала внимание к такой глупости. Просто тебе попался дрессированный кот. Ну и хорошо. Оставь его у себя, если он тебе нравится. Я не возражаю. Но мне бы не хотелось, чтобы ты заходила дальше. Ты понимаешь меня, Луиза?

— Дальше чего?

— Я не хочу больше слушать твою глупую болтовню. Ты ведешь себя как сумасшедшая.

Луиза медленно положила кота на диван. Потом разогнулась и шагнула вперед.

— Черт тебя побери, Эдвард! — крикнула она, топнув ногой. — Впервые в нашей жизни случилось нечто необычное, и ты играешь труса только потому, что кто-то может над тобой посмеяться! Так ведь? Ты ведь не станешь этого отрицать?

— Луиза, — сказал Эдвард, — хватит. Возьми себя в руки и прекрати немедленно.

Он подошел к столику и вынул сигарету из пачки, потом прикурил ее от своей огромной зажигалки. Его жена смотрела на него, и тут слезы поползли у нее из глаз, и два блестящих ручейка побежали по напудренным щекам.

— В последнее время у нас было слишком много подобных сцен, Луиза, — сказал он. — Нет-нет, не прерывай. Выслушай меня... Вполне допускаю, что у тебя, возможно, сейчас не самая лучшая пора в жизни и что...

— О господи! Да ты просто идиот! Самоуверенный идиот! Неужели ты не понимаешь, что это что-то другое, что-то... чудесное? Неужели ты этого не понимаешь?

Он подошел к ней и крепко взял ее за плечи. Во рту он держал только что закуренную сигарету. На его коже, там, где пот высох, она увидела пятна.

— Послушай, — сказал он. — Я голоден. Я отказался от гольфа и целый день работал в саду, я устал, голоден и хочу ужинать. Да и ты тоже. Иди же теперь на кухню и приготовь нам что-нибудь поесть.

Луиза отступила на шаг и закрыла рот обеими руками.

— Боже мой! — вскричала она. — Я совсем упустила из виду. Он же, должно быть, умирает с голоду. Кроме молока, я ему вообще ничего не давала с тех пор, как он появился.

— Кому?

— Ему, конечно. Сейчас же пойду и приготовлю что-нибудь особенное. Как бы я хотела знать, какие блюда были у него самые любимые. Что, ты думаешь, ему больше понравится, Эдвард?

— Черт тебя возьми, Луиза!

— Послушай-ка, Эдвард, прошу тебя. Я буду поступать так, как сама сочту нужным. Оставайся здесь, — сказала она коту и, наклонившись, легко коснулась его пальцами. — Я скоро вернусь.

Луиза вошла в кухню и остановилась на минуту, раздумывая, какое бы особое блюдо приготовить. Может, суфле? Вкусное суфле с сыром. Да, это будет нечто особое. Эдвард, правда, не очень-то любит суфле, но тут уж ничего не поделаешь.

Поварихой она была неважной и никогда не могла поручиться, что суфле у нее получится, однако на сей раз она постаралась и долго ждала, пока плита не раскалится до нужной температуры. Пока суфле запекалось и Луиза рыскала повсюду, что бы такое подать к нему, ей пришло в голову, что Лист, наверное, никогда в жизни не пробовал ни авокадо, ни грейпфрут, и поэтому решила предложить ему и то и другое сразу, приготовив фруктовый салат. Любопытно будет понаблюдать за его реакцией. Правда, любопытно.

Когда все было готово, она поставила еду на поднос и понесла в гостиную. В тот самый момент, когда она входила в комнату, муж как раз возвращался из сада.

— Вот и его ужин, — сказала Луиза, ставя поднос на столик и оборачиваясь к дивану. — Но где же он?

Эдвард закрыл за собой дверь в сад и подошел к столику, чтобы закурить сигарету.

— Эдвард, где он?

— Кто?

— Ты знаешь кто.

— Ах да. Ну конечно же. Что ж, я скажу тебе.

Он нагнулся, чтобы прикурить сигарету, и обхватил ладонями свою огромную зажигалку. Подняв глаза, он увидел, что Луиза смотрит на него — на его башмаки и брюки, мокрые оттого, что он шел по мокрой траве.

— Я выходил посмотреть, как горит костер, — сказал Эдвард. И принялся рассматривать свои руки. — Прекрасно горит, — продолжал он. — Думаю, до утра не погаснет.

Однако под ее взглядом он чувствовал себя неловко.

— А в чем дело? — спросил он, опустив руку с зажигалкой.

И только теперь увидел длинную царапину, которая тянулась по диагонали вдоль тыльной стороны кисти, от костяшек к запястью.

— Эдвард!

— Да, — сказал он. — Я знаю. Это все куманика. Весь исцарапался. Постой-ка, Луиза...

— Эдвард!

— Ради бога, сядь и успокойся. Не из-за чего так расстраиваться, Луиза! Сядь же, Луиза!

СВИНЬЯ

1

Однажды в городе Нью-Йорке на свет появилось прекрасное дитя, и счастливые родители назвали его Лексингтоном.

Едва только мать возвратилась домой из больницы с Лексингтоном на руках, как сказала своему мужу:

— Дорогой, теперь ты должен свести меня в самый роскошный ресторан, чтобы мы отметили рождение нашего сына и наследника.

Муж нежно обнял ее и сказал, что женщина, которая смогла произвести на свет такого прекрасного ребенка, как Лексингтон, заслуживает того, чтобы пойти абсолютно куда угодно. Но достаточно ли она уже окрепла, спросил он, чтобы по ночам бегать по городу?

— Нет, — ответила она, — еще нет. Но разве, черт побери, это имеет значение?

И в тот же вечер они оба вырядились по последней моде и, оставив маленького Лексингтона на попечение опытной сиделки, которая стоила двадцать долларов в день и была шотландкой в придачу, отправились в самый изысканный и дорогой ресторан в городе. Там каждый из них съел по огромному омару, они распили бутылку шампанского на двоих, а после этого пошли в ночной клуб, где выпили еще одну бутылку шампанского и, держась за руки, просидели несколько часов, обсуждая все индивидуальные физические достоинства своего любимого, только что родившегося сына и восхищаясь им.

В свой дом в манхэттенском Ист-Сайде они вернулись часа в два ночи. Муж расплатился с таксистом и стал рыться в карманах в поисках ключей от парадной двери. Спустя какое-то время он объявил, что, должно быть, оставил ключи в кармане другого костюма, и предложил позвонить в звонок, чтобы сиделка сошла вниз и выпустила их. По словам мужа, сиделка, которой платят двадцать долларов в день, не должна удивляться тому, что периодически ее вытаскивают из постели по ночам.

И они позвонили в звонок. Подождали. Дверь не открывали. Они позвонили снова, и звонок на этот раз звенел дольше и громче. Они подождали еще минуту. Потом отошли на мостовую и выкрикнули фамилию сиделки (Макпоттл) в ее окно на третьем этаже, но по-прежнему без ответа. В доме было темно и тихо. Жену начали одолевать дурные предчувствия. Ребенок заточен в доме, сказала она про себя. И он там один с Макпоттл. А кто такая эта Макпоттл? Они с ней знакомы всего-то два дня. У нее тонкие губы, маленькие, неодобрительно глядящие глазки и платье с накрахмаленной грудью, и совершенно очевидно, что она имеет обыкновенные слишком крепко спать. Если она не слышит дверного звонка, то как же она услышит, как плачет ребенок? А может, в эту самую секунду бедняжка проглатывает свой язык или задыхается в подушке.

— Он не спит на подушке, — сказал муж. — На этот счет не беспокойся. Но в дом я тебя доставлю...

Он чувствовал себя весьма возвышенно после шампанского. Нагнувшись, он развязал шнурки на одном из своих черных лакированных ботинок и снял его. После чего, взяв ботинок за носок, с силой швырнул его в окно столовой на первом этаже.

— Вот так-то, — ухмыляясь, проговорил он. — Это мы вычтем из жалованья Макпоттл.

Он подошел к окну, осторожно засунул руку в разбитое стекло и отодвинул задвижку. Потом открыл окно.

— Сначала я подниму тебя, моя маленькая мамочка, — сказал он и, обхватив жену за пояс, поднял ее с земли.

В результате ее накрашенные губы оказались на одном уровне с его губами, и к тому же очень близко от них, поэтому он начал целовать ее. Из опыта он знал, что женщины очень любят, когда их целуют в такой позе — тело крепко обхвачено и ноги висят в воздухе, — поэтому он целовал ее довольно продолжительное время, а она болтала ногами и производила горлом громкие звуки, точно задыхалась. Наконец муж принялся осторожно запихивать жену в открытое окно столовой. В этот момент полицейская патрульная машина, обнюхивавшая улицу, неслышно двигалась в их сторону. Она остановилась ярдах в тридцати от них, из нее выскочили трое полицейских ирландского происхождения и, размахивая револьверами, побежали в направлении мужа и жены.

— Руки вверх! — кричали полицейские. — Руки вверх!

Однако муж никак не мог подчиниться этому требованию, не отпустив предварительно свою жену, а сделай он это, она бы либо упала на землю, либо осталась болтаться наполовину в доме, наполовину вне его, а это ужасно неудобная поза для женщины, поэтому муж продолжал галантно подталкивать ее вверх и запихивать в окно. Полицейские, уже получившие ранее медали за убийство грабителей, немедленно открыли огонь и, несмотря на то что они продолжали бежать, а жена, о которой здесь рассказывается, представляла для них поистине крошечную мишень, сумели произвести несколько прямых попаданий в мужа и жену — вполне достаточных, впрочем, чтобы раны в обоих случаях оказались смертельными.

Таким образом, маленький Лексингтон, которому не исполнилось еще и двенадцати дней, стал сиротой.

2

Известие об убийстве, за которое трое полицейских впоследствии получили поощрения, газетчики довели до сведения всех родственников почившей пары, и на следующее утро самые близкие из этих родственников, а также сотрудники похоронного бюро, три юриста и священник сели в несколько такси и направились к дому с разбитым окном. Они собрались в гостиной — мужчины и женщины — и расселись кружком на диванах и креслах, покуривая, потягивая херес и размышляя вслух, что же теперь делать с этим ребенком, с сиротой Лексингтоном.

Скоро выяснилось, что никто из родственников особенно и не жаждет брать на себя ответственность за ребенка, и споры и дискуссии продолжались целый день. Все выражали огромное, почти неукротимое желание присматривать за ним и делали бы это с величайшим удовольствием, кабы не то обстоятельство, что квартира у них слишком мала, или что у них уже есть один ребенок и они никак не могут позволить себе еще одного или же не знают, что делать с бедняжкой, когда летом уедут за границу, или что им уже немало лет, а это крайне несправедливо по отношению к мальчику, когда он подрастет, и так далее и тому подобное. Все они, разумеется, помнили, что отец новорожденного был в солидных долгах, дом заложен, и на ребенка совсем не остается денег.

Было шесть вечера, а они все еще спорили как ненормальные, когда неожиданно, в самый разгар спора, старая тетушка покойного отца (ее звали Глосспан) примчалась из Виргинии и, даже не сняв шляпу и пальто, не присев даже, игнорируя предложения выпить martini, виски или хереса, твердо заявила собравшимся родственникам, что отныне она намерена единолично заботиться о маленьком. Более того, сказала она, она возлагает на себя полную финансовую ответственность по всем расходам, включая образование, и теперь все могут отправляться по домам успокаивать свою совесть. Сказав это, тетушка живо поднялась в детскую,хватила Лексингтона из люльки и умчалась, крепко сжимая ребенка в объятиях, тогда как родственники продолжали себе сидеть, глазеть, улыбаться и выражать всем своим видом облегчение, а Макпоттл, сиделка, застыла у подножия лестницы, поджав губы и сложив руки на накрахмаленной груди, и при этом неодобрительно взирала на происходящее.

Таким образом, младенец Лексингтон покинул город Нью-Йорк, когда ему было тринадцать дней, и поехал на юг, чтобы жить в штате Виргиния со своей двоюродной бабушкой Глосспан.

3

Бабушке Глосспан было почти семьдесят лет, когда она стала опекуной Лексингтона, но посмотришь на нее — и ни за что об этом не догадаешься. Можно было бы подумать, что лет ей вдвое меньше. У нее было маленькое, морщинистое, но все еще вполне красивое лицо и пара симпатичных карих глаз, которые, сверкая, глядели на окружающих самым милейшим образом. Еще она была старой девой, хотя и этого никогда не подумаешь, ибо ничего того, что отличает старых дев, в натуре Глосспан не было. Она никогда не бывала желчна, мрачна или раздражительна; у нее не было усов, и она ничуть не завидовала другим, что уже редко скажешь и о старой деве, и о девственнице, хотя, конечно же, точно не известно, можно ли ее оценивать и по тому, и по другому счету.

Между тем это была эксцентричная старушка, тут сомнений нет. Последние тридцать лет она жила странной обособленной жизнью в полном одиночестве в крохотном домике высоко на склонах Голубого хребта, в нескольких милях от ближайшей деревни. У нее

было пять акров пастбищной земли, участок для выращивания овощей, сад с цветами, три коровы, дюжина кур и отличный петушок.

А теперь у нее появился еще и Лексингтон.

Она была строгой вегетарианкой и считала, что употребление в пищу мяса животных не только вредно для здоровья и само по себе отвратительно, но и ужасно жестоко. Она питалась превосходными чистыми продуктами, такими как молоко, масло, яйца, сыр, овощи, орехи, травы и фрукты, радовалась, будучи уверенной в том, что ради нее не будет убито ни одно живое существо, даже креветка. Однажды, когда от запора в расцвете сил скончалась ее коричневая курица, бабушка Глосспан так огорчилась, что едва не отказалась вообще есть яйца.

О малых детях она практически ничего не знала, но это ничуть ее не беспокоило. На нью-йоркской железнодорожной станции, дожидаясь поезда, который должен был отвезти ее и Лексингтона в Виргинию, она купила шесть детских рожков, две дюжины пеленок, коробку английских булавок, пакет молока в дорогу и книжку в бумажном переплете под названием «Уход за детьми». Что еще нужно? И когда поезд тронулся, она накормила ребенка молоком, как могла, сменила пеленки и положила его на сиденье, чтобы он уснул. Потом от корки до корки прочитала «Уход за детьми».

— Какие тут проблемы? — сказала она, выбрасывая книгу в окно. — Нет тут никаких проблем.

Да их и не было, как это ни странно. Когда они приехали в ее домик, все пошло гладко, да иначе и быть не могло. Маленький Лексингтон пил молоко и срыгивал, он кричал и спал, как и должен спать хороший ребенок, а бабушка Глосспан светила от радости всякий раз, когда глядела на него, и целыми днями осыпала его поцелуями.

4

К шести годам юный Лексингтон превратился в прекрасного мальчика с длинными золотистыми волосами и темно-голубыми глазами, цвета васильков. Он был смышлен и полон бодрости и уже учился помогать своей старой бабушке делать всякие разные вещи по хозяйству: приносил яйца из курятника, крутил ручку маслобойки, копал картошку в огороде и собирал травы на склоне

горы. Скоро, говорила про себя бабушка Глосспан, ей нужно будет задуматься и о его образовании.

Однако мысль о том, чтобы отправить его в школу, была для нее невыносима. Она так его полюбила, что не вынесла бы расставания с ним ни на какое время. В долине, правда, была деревенская школа, но на вид она была ужасна, и, отправь она его туда, там в первый же день Лексингтона заставят есть мясо.

— Знаешь что, дорогой? — обратилась она к нему однажды, когда он сидел на высоком стуле на кухне и смотрел, как она делает сыр. — Не понимаю, почему бы мне самой не давать тебе уроки?

Мальчик посмотрел на нее своими большими голубыми глазами и очень мило и доверчиво ей улыбнулся.

— Это было бы замечательно, — сказал он.

— А начну я с того, что научу тебя готовить.

— Думаю, мне это будет интересно, бабушка Глосспан.

— Понравится это или нет, а учиться тебе придется много, — сказала она. — Нам, вегетарианцам, почти не из чего выбирать по сравнению с другими людьми, и потому мы должны научиться вдвойне грамотнее готовить пищу, которую употребляем.

— Бабушка Глосспан, — сказал мальчик, — а что едят другие люди такого, чего мы не едим?

— Животных, — ответила она, с отвращением вскинув голову.

— Живых животных?

— Нет, — сказала она. — Мертвых.

Какое-то время мальчик обдумывал услышанное.

— То есть они едят их, когда те умирают, вместо того чтобы хоронить?

— Они не ждут, когда те умрут, моя радость. Они их убивают.

— А как они их убивают, бабушка Глосспан?

— Обычно перерезают горло ножом.

— Это о каких животных ты говоришь?

— В основном о коровах и свиньях, а также об овцах.

— Коровы! — вскричал мальчик. — Вроде Розы, Снежинки и Белки?

— Именно так, мой дорогой.

— Но как же их едят, бабушка Глосспан?

— Их режут на куски, а куски готовят. Больше всего им нравится, когда мясо красное и на костях. Они очень любят есть мясо коровы кусками, чтобы кровь так и сочилась.

- И свиней тоже?
- Они обожают свиней.
- Кровавое мясо свиньи кусками, — проговорил мальчик. — Подумать только. А что они еще едят, бабушка Глосспан?
- Кур.
- Кур?
- Притом миллионами.
- С перьями и всем остальным?
- Нет, дорогой, перья они не едят. А теперь сбегай-ка в огород и принеси бабушке Глосспан пучок лука, хорошо, дорогой?

Вскоре после этого начались уроки. Предметов было пять: чтение, письмо, география, арифметика и приготовление пищи; и последний долгое время оставался самым любимым предметом как учителя, так и ученика. Очень скоро выяснилось, что юный Лексингтон обладает поистине замечательным талантом. Он был прирожденным поваром. Он был проворен и спор. Со сковородками обращался, как жонглер. Картофелину он разрезал на двадцать тонких, как бумага, долек быстрее, чем его бабушка чистила ее. Он обладал исключительно тонким вкусом и мог, отведав крепкого лукового супа, тотчас определить присутствие в нем одного-единственного листика шалфея. Все это в таком маленьком мальчике чуточку удивляло бабушку Глосспан, и, сказать по правде, она не знала, что и думать. И все же она гордилась им, как водится, и предсказывала ребенку блестящее будущее.

— Мне радостно осознавать, — говорила она, — что у меня есть такой замечательный молодой человек, который будет присматривать за мной, когда я совсем состарюсь.

И года через два она навсегда оставила кухню, вверив Лексингтону попечительство над всем домашним хозяйством. Мальчику к тому времени исполнилось десять лет, а бабушке Глосспан — почти восемьдесят.

5

Предоставленный на кухне самому себе, Лексингтон тотчас же принялся экспериментировать с блюдами собственного изобретения. Те, что он любил раньше, более не интересовали его. У него появился неодолимый импульс творить. В голове роились сотни свежих идей.

— Начну-ка я с того, — сказал он, — что изобрету каштановое суфле.

Он приготовил его и в тот же вечер подал к столу. Суфле было восхитительно.

— Ты гений! — воскликнула бабушка Глосспан, вскакивая со стула и целуя его в обе щеки. — Ты войдешь в историю!

Теперь дня не проходило, чтобы на столе не появлялось какое-нибудь новое усладительное творение. Тут был и суп из бразильских орехов, и котлеты из мамалыги, и овощное рагу, и омлет из одуванчиков, и оладьи из сливочного сыра, и голубцы, и компот из полевых трав, и лук-шалот *à la bonne femme*, и пикантный свекольный мусс, и чернослив по-строгановски, и гренки с сыром, и опрокинутая репа, и горячий торт из иголок хвой, и много других прекрасных композиций. Никогда в жизни, заявила бабушка Глосспан, не пробовала она подобной пищи, и по утрам, когда до завтрака было еще далеко, она выходила на крылечко, усаживалась в кресло-качалку и размышляла о предстоящей трапезе, облизывая морщинистые губы и вдыхая ароматы, доносившиеся через кухонное окно.

— Что ты сегодня готовишь, мальчик? — громко спрашивала она.

— Попробуй отгадать, бабушка Глосспан.

— По запаху это вроде как козлотородниковые оладьи, — отвечала она, усиленно принохиваясь.

Тогда десятилетний мальчуган выходил из кухни с торжествующей улыбкой на лице, неся в руках большую дымящуюся кастрюлю поистине божественного компота, приготовленного исключительно из пастернака и лечебных трав.

— Знаешь, что ты должен, — сказала ему бабушка, с жадностью поглощая компот. — Ты должен сейчас же взять бумагу и перо и написать поваренную книгу.

Он смотрел на нее, медленно пережевывая пастернак.

— А почему бы и нет? — спросила она. — Я научила тебя писать, я научила тебя готовить, и тебе остается соединить то и другое. Ты напишешь поваренную книгу, мой дорогой, и прославишься на весь мир.

— Что ж, — ответил он. — Так и будет.

И в тот же день Лексингтон начал писать первую страницу этого монументального труда, которому суждено было завладеть его помыслами до конца жизни. Он назвал свой труд «Ешьте хорошую и здоровую пищу».

Через семь лет, когда ему исполнилось семнадцать, он записал больше девяти тысяч различных рецептов, притом все они были оригинальные и вкусные.

Но неожиданно его труды были прерваны трагической смертью бабушки Глосспан. Ночью ее сразил жестокий приступ, и Лексингтон, примчавшийся в спальню, чтобы посмотреть, из-за чего шум, застал ее лежащей в кровати. Она кричала, изрыгала проклятия и корчилась самым невыносимым образом. Страшно было смотреть на нее, и взволнованный юноша прыгал вокруг нее в пижаме, ломая руки, и не знал, что и делать. Наконец, чтобы остудить ее жар, он принес ведро воды из пруда, возле которого паслись коровы, и вылил ей на голову, но это лишь усугубило приступ, и не прошло и часа, как старая женщина угасла.

— Это очень скверно, очень, — проговорил бедный мальчик, уцепив бабушку несколько раз, чтобы убедиться, что она умерла. — И как неожиданно! Как быстро и неожиданно! Всего лишь несколько часов назад она была в отличном настроении. Она даже трижды отведала мое самое последнее творение, грибобургеры с пряностями, и сказала, что они очень сочные!

Горько поплакав несколько минут, ибо он очень любил свою бабушку, он все-таки взял себя в руки, вынес ее тело из дому и похоронил за коровником.

На следующий день, приводя в порядок ее вещи, Лексингтон наткнулся на конверт, который был надписан почерком бабушки Глосспан и адресован ему. Он вскрыл конверт, вынул две пятидесятидолларовые бумажки и письмо.

«Дорогой мальчик, — говорилось в письме, — я знаю, ты еще никогда не спускался с горы с того времени, как тебе было тринадцать дней от роду, но, как только я умру, ты должен надеть пару башмаков, чистую рубашку, пойти в деревню и найти доктора. Попроси его дать тебе свидетельство о смерти, которое доказывает, что я умерла. Потом отнеси это свидетельство моему адвокату, человеку, которого зовут мистер Сэмюэль Цукерман. Он живет в Нью-Йорке, и у него есть копия моего завещания. Мистер Цукерман все устроит. В этом конверте деньги, чтобы заплатить доктору за свидетельство и оплатить стоимость твоей поездки в Нью-Йорк. Мистер Цукерман даст тебе еще денег, когда ты туда приедешь, и я иск-

ренне желаю, чтобы ты употребил их на совершенствование своих изысканий в кулинарии и вегетарианских вопросах и продолжал работать над этой твоей великой книгой, покуда не убедишься, что она во всех отношениях доведена до совершенства.

Любящая тебя бабушка Глосспан».

Лексингтон, который всегда все делал так, как велела ему бабушка, спрятал деньги в карман, надел пару башмаков и чистую рубашку и спустился с горы в деревню, где жил доктор.

— Старуха Глоспан? — изумился доктор. — Боже мой, она что же — умерла?

— Конечно умерла, — ответил юноша. — Если вы ходите со мной, я выкопаю ее, и вы сами сможете в этом убедиться.

— И глубоко вы ее закопали? — спросил доктор.

— Думаю, футов на шесть-семь.

— И давно?

— Да часов восемь назад.

— Значит, точно умерла, — объявил доктор. — Вот свидетельство.

7

Затем наш герой отправился в город Нью-Йорк, чтобы разыскать мистера Сэмюеля Цукермана. Путешествовал он пешком, спал под заборами, питался ягодами и дикими травами, и на то, чтобы добраться до этого громадного города, у него ушло шестнадцать дней.

— Какое сказочное место! — воскликнул Лексингтон, остановившись на углу Пятьдесят седьмой улицы и Пятой авеню и оглядываясь вокруг. — Нигде ни коров, ни цыплят, и ни одна из женщин нисколько не похожа на бабушку Глоспан.

Что же до мистера Сэмюеля Цукермана, то таких Лексингтон вообще никогда не видывал.

Это был маленький, рыхлый человечек с лиловато-синей челоюстью и огромным красным носом, и, когда он улыбался, в разных точках его рта самым чудесным образом сверкало золото. Приняв Лексингтона в своем роскошном кабинете, он горячо пожал ему руку и поздравил со смертью бабушки.

— Полагаю, вы знали, что ваша любимая, дорогая опекуниша обладала значительным состоянием? — спросил он.

- Вы имеете в виду коров и цыплят?
- Я имею в виду полмиллиона зелененьких.
- Сколько?
- Полмиллиона долларов, мой мальчик. И все это она оставила вам.

Мистер Цукерман откинулся в кресле и стиснул руки, положив их на свое рыхлое брюшко. При этом он принялся незаметно просовывать свой правый указательный палец за жилетку и под рубашку, намереваясь почесать кожу около пупка — любимое его упражнение, доставлявшее особое удовольствие.

— Разумеется, мне придется удержать пятьдесят процентов за мои услуги, — сказал он, — но тем не менее у вас останется двести пятьдесят кусков.

— Я богат! — вскричал Лексингтон. — Это прекрасно! Когда я могу получить деньги?

— Хм, — пробормотал мистер Цукерман, — да вам везет. К счастью, я в весьма сердечных отношениях с налоговой службой и смогу убедить их отказаться от обязательств, сопряженных и со смертью, и с выплатой налогов.

— Как это любезно с вашей стороны, — пробормотал Лексингтон.

— Естественно, я должен буду выплатить кое-кому кое-какой гонорар.

— Как скажете, мистер Цукерман.

— Думаю, сотни тысяч будет достаточно.

— Боже праведный, а не чересчур ли это много?

— Никогда не скупитесь на чаевые налоговому инспектору или полицейскому, — сказал мистер Цукерман. — Запомните это.

— Но сколько же у меня останется? — робко спросил юноша.

— Сто пятьдесят тысяч. Однако из этого вам придется понести и похоронные расходы.

— Похоронные расходы?

— Вам нужно рассчитаться с бюро похоронных принадлежностей. Вы, конечно, знаете об этом?

— Но я сам ее похоронил, мистер Цукерман, за коровником.

— Не сомневаюсь, — сказал адвокат. — И что же?

— Я не обращался в бюро похоронных принадлежностей.

— Послушайте, — произнес мистер Цукерман. — Вы, может, и не знаете, но в этом штате существует закон, который гласит, что

ни один владелец завещания не имеет права получить ни единого гроша из своего наследства, пока полностью не расплатится с бюро похоронных принадлежностей.

— Вы хотите сказать, что таков закон?

— Разумеется, таков закон, и к тому же очень хороший. Бюро похоронных принадлежностей — один из самых замечательных национальных институтов. Его следует защищать всеми доступными средствами.

Сам мистер Цукерман вместе с группой патриотически настроенных докторов руководил корпорацией, которая владела в городе сетью из девяти всегда готовых принять посетителей бюро похоронных принадлежностей, не говоря уже о фабрике по изготовлению гробов в Бруклине и высшей школе мастеров бальзамирования на Вашингтонских холмах. Вот почему торжества по случаю смерти были в глазах мистера Цукермана глубоко религиозным процессом. Все это волновало его так же, можно сказать, глубоко, как рождение Христа волновало лавочника.

— Вы не имели права вот так вот пойти и закопать свою бабушку, — сказал он. — Ни малейшего.

— Мне очень жаль, мистер Цукерман.

— Да это просто подрыв устоев.

— Я исполню все, что вы скажете, мистер Цукерман. Я только хочу знать, сколько же я в результате получу, когда все будет оплачено.

Наступила пауза. Мистер Цукерман вздохнул и нахмурился, продолжая незаметно водить кончиком пальца по краям своего пупка.

— Как, скажем, насчет пятнадцати тысяч? — предложил он, сверкнув широкой золотой улыбкой. — Хорошая круглая цифра.

— Могу я взять эти деньги сегодня же?

— Почему бы, собственно, и нет.

Мистер Цукерман вызвал старшего кассира и велел ему выплатить Лексингтону пятнадцать тысяч долларов из мелких расходов и взять расписку в получении этой суммы. Юноша, который рад был получить хоть что-то, с благодарностью принял деньги и спрятал их в своем заплечном мешке. Потом он горячо пожал мистеру Цукерману руку и поблагодарил его за помощь.

— Теперь весь мир передо мной! — вскричал наш герой, выходя на улицу. — Пока не закончена моя книга, буду жить на пят-

надцать тысяч долларов. А потом, разумеется, у меня будет гораздо больше.

Он остановился на тротуаре, размышляя, куда бы ему пойти, повернул налево и медленно побрел по улице, рассматривая городские достопримечательности.

— Какой отвратительный запах, — произнес он, нюхая воздух. — Он мне не нравится.

Его чувствительные обонятельные нервы, настроенные только на восприятие самых тонких кухонных ароматов, терзал смрад выхлопных газов, исторгавшихся дизельными автобусами.

— Поскорее бы убраться отсюда, пока мой нос окончательно не испортился, — сказал Лексингтон. — Но прежде надо бы что-нибудь съесть. Умираю от голода.

В последние две недели бедный мальчик питался только ягодами и дикими травами, и желудок его требовал основательной пищи. Хорошо бы сейчас котлету на мамалыги, подумал он. Или несколько сочных козлородниковых оладий.

Он пересек улицу и вошел в ресторан. Внутри было душно, темно и тихо. Сильно пахло жиром и рассолом. Единственный посетитель, в коричневой шляпе на голове, низко склонился над своей тарелкой и даже не взглянул на Лексингтона.

Наш герой уселся за угловым столиком и повесил свой заплечный мешок на спинку стула. Это должно быть интересно, размышлял он. Все свои семнадцать лет я ел пищу, приготовленную только двумя людьми — бабушкой Глоспан и мною самим, если не считать няню Макпоттл, которая, наверное, подогрела несколько раз для меня бутылочку с молоком, когда я был младенцем. А сейчас я ознакомлюсь с искусством совершенно незнакомого мне повара и, быть может, если повезет, возьму на заметку какую-нибудь полезную идею для своей книги.

Откуда-то из темноты к нему приблизился официант и встал возле столика.

— Здравствуйте, — сказал Лексингтон. — Я бы хотел большую котлету из мамалыги. Подержите ее двадцать пять секунд на каждой стороне на раскаленной сковороде со сметаной, а прежде чем подавать, бросьте щепотку измельченных лекарственных трав — если, конечно, вашему шефу не известен более оригинальный способ, в каком случае с радостью с ним ознакомлюсь.

Официант склонил голову набок и внимательно посмотрел на посетителя.

— Жареную свинину с капустой будете? — спросил он. — Другого ничего нет.

— Жареное... что с капустой?

Официант достал из кармана брюк грязный носовой платок и что есть силы взмахнул им, будто щелкнул кнудом. После чего громко высморкался и прыснул.

— Так будете или нет? — спросил он, вытирая ноздри.

— Не имею ни малейшего представления, что это такое, — ответил Лексингтон, — но хотел бы попробовать. Видите ли, я пишу поваренную книгу и...

— Одну свинину с капустой! — крикнул официант, и где-то в глубине ресторана, далеко в темноте, ему ответил чей-то голос.

Официант исчез. Лексингтон полез в заплечный мешок за своим ножом и вилкой из чистого серебра. Это был подарок бабушки Глосспан, он получил его в шесть лет, и с тех пор никаким другим прибором он не пользовался. Ожидая, когда подадут еду, он с любовью протер нож и вилку мягким муслином.

Вскоре вернулся официант с тарелкой, на которой лежал толстый кусок чего-то горячего. Едва блюдо поставили на стол, как Лексингтон тотчас же потянулся к нему, чтобы понюхать. Ноздри его широко расширились, втягивая запах.

— Да это просто божественно! — воскликнул он. — Какой аромат! Грандиозно!

Официант отступил, внимательно глядя на посетителя.

— Никогда в жизни не обонял ничего более изысканного и восхитительного! — вскричал наш герой, хватаясь за нож и вилку. — Из чего, черт побери, это приготовлено?

Мужчина в коричневой шляпе оглянулся и пристально посмотрел на него, потом снова принялся есть. Официант между тем пятился в сторону кухни.

Лексингтон отрезал маленький кусочек мяса, пронзил его своей серебряной вилкой и поднес к носу, чтобы еще раз понюхать. Затем сунул кусочек в рот и стал медленно жевать, прикрыв глаза и напрягшись.

— Фантастика! — вскричал он. — Совершенно новый вкус! О Глосспан, моя любимая бабушка, как бы я хотел, чтобы ты была сейчас со мной и попробовала это замечательное блюдо! Официант! Идите сюда скорее! Вы мне нужны!

Изумленный официант смотрел на Лексингтона из другого конца зала и, похоже, приближаться не желал.

— Если подойдете и поговорите со мной, вас ждет вознаграждение, — сказал Лексингтон, размахивая стодолларовой купюрой. — Пожалуйста, подойдите сюда и поговорите со мной.

Официант бочком приблизился к столику, выхватил деньги и поднес их близко к лицу, рассматривая купюру. Потом опустил ее в карман.

— Чем могу быть полезен, мой друг? — спросил он.

— Послушайте, — сказал Лексингтон. — Если вы мне скажете, из чего приготовлено это восхитительное блюдо, я дам вам еще сотню.

— Я уже сказал вам, — ответил тот. — Это свинина.

— А что такое свинина?

— Вы что, никогда не ели жареную свинину? — спросил официант, уставившись на него.

— Ради бога, приятель, не держите меня в напряжении.

— Это свинья, — сказал официант.

— Свинья!

— Свинина и есть свинья. Вы разве не знали?

— Вы хотите сказать, что это свиное мясо?

— В этом я ручаюсь.

— Но... но... этого не может быть, — запинаясь, проговорил юноша. — Бабушка Глосспан, которая знала о еде лучше всех на свете, говорила, что любое мясо отвратительно, омерзительно, ужасно, противно, тошнотворно и гадко. Однако кусок, который лежит тут у меня на тарелке, без сомнения, самая вкусная вещь, которую я когда-либо пробовал. Так как же вы это объясните? Бабушка Глосспан наверняка не стала бы мне врать.

— Может, ваша бабушка не знала, как готовить свинину.

— А как?

— Со свиной нужно осмотрительно обращаться, иначе ее нельзя есть.

— Эврика! — вскричал Лексингтон. — Клянусь, именно так и было! Она неправильно ее готовила! — Он протянул официанту еще одну сотенную бумажку. — Сведите меня на кухню и познакомьте с тем гением, который приготовил это мясо.

Лексингтона немедленно проводили на кухню, и там он встретился с поваром — пожилым мужчиной с сыпью на шее.

— Это будет стоить вам еще одну сотню, — сказал официант.

Лексингтон был только рад исполнить такую просьбу, однако на сей раз деньги перекочевали к повару.

— Теперь выслушайте меня, — сказал юноша, — должен признаться, то, что мне сейчас говорил официант, меня несколько сбилось с толку. Вы вполне уверены, что восхитительное блюдо, которое я только что ел, приготовлено из мяса свиньи?

Повар поднял свою правую руку и принялся почесывать сыпь на шее.

— Хм, — произнес он, поглядывая на официанта и хитро ему подмигивая, — могу лишь сказать, я надеюсь, что это мясо свиньи.

— То есть вы не уверены?

— Никогда нельзя быть ни в чем уверенным.

— Тогда что же это могло быть?

— Хм, — произнес повар, по-прежнему глядя на официанта и медленно произнося слова. — Может быть и так, знаете ли, что это был кусочек человечины.

— То есть мужчины?

— Да.

— Господи помилуй.

— Или женщины. На вкус они одинаковые.

— Вы меня просто удивляете, — заявил юноша.

— Век живи — век учись.

— Вот уж верно.

— По правде, в последнее время мы его много получали от мясника вместо свинины, — заявил повар.

— Вот как?

— Вся беда в том, что свинину и человечину невозможно отличить друг от друга. Обе хороши.

— То, что я только что съел, было просто великолепно.

— Рад, что вам понравилось, — сказал повар. — Но если быть до конца честным, я думаю, это скорее свинья. Почти уверен.

— Уверены?

— Да.

— В таком случае мы должны допустить, что вы правы, — сказал Лексингтон. — А теперь расскажите, пожалуйста, — и вот вам еще сто долларов за хлопоты, расскажите, пожалуйста, подробно, как вы ее приготовили.

Спрятав деньги, повар пустился в красочное описание того, как следует жарить филейную часть свинины, а юноша, не желая пропустить ни единого слова из столь замечательного рецепта, уселся за кухонный стол и записал каждую подробность в свою записную книжку.

— Это все? — спросил он, когда повар закончил.

— Все.

— Но наверняка есть что-то еще?

— Для начала нужно иметь хороший кусок мяса, — сказал повар. — Это уже полдела. Боров должен быть упитанный, и разделять его надо правильно, иначе, как ни готовь, выйдет скверно.

— Покажите, как это делается, — сказал Лексингтон. — Разделяйте свинью прямо сейчас, чтобы я научился.

— Мы не разделяем свиней на кухне, — сказал повар. — То мясо, что вы сейчас ели, поступило с завода в Бронксе.

— Так дайте же мне адрес!

Повар дал ему адрес, и наш герой, многократно поблагодарив их обоих за любезность, выбежал на улицу, вскочил в такси и направился в Бронкс.

8

Вокруг четырехэтажного здания мясокомбината стоял сладкий и тяжелый запах, точно пахло мускусом. У главных ворот висело объявление: «Добро пожаловать в любое время», и воодушевленный Лексингтон прошел через ворота и оказался в мощном булыжником дворе. Затем он двинулся дальше, придерживаясь указателя «Экскурсии с гидом», и наконец приблизился к сараю из рифленого железа, в стороне от главного здания, с вывеской «Комната ожидания для посетителей». Вежливо постучав в дверь, он вошел внутрь.

В комнате ожидания уже сидели шесть человек. Там была толстая мама с мальчиками лет девяти и одиннадцати, молодая пара с блестящими глазами, похоже отмечающая медовый месяц, и еще бледная женщина в длинных белых перчатках. Она сидела в напряженной позе и, сложив руки на коленях, глядела прямо перед собой. Никто не произносил ни слова. Уж не пишут ли и они, подобно ему, поваренные книги, подумал Лексингтон, но, когда он громко спросил их об этом, ответа не получил. Взрослые лишь загадочно улыбнулись про себя и покачали головами, а двое детей уставились на него, точно увидели сумасшедшего.

Вскоре дверь открылась. В комнату просунул голову какой-то человек с веселым розовым лицом и сказал:

— Следующий, пожалуйста.

Поднялась мать с мальчиками и вышла.

Минут через десять тот же человек возвратился.

— Следующий, пожалуйста, — снова произнес он.

Вскочила пара, у которой был медовый месяц, и последовала за ним.

Вошли новые посетители и сели — муж среднего возраста и среднего возраста жена. У жены была плетеная корзинка с продуктами.

— Следующий, пожалуйста, — сказал гид.

Поднялась женщина в длинных белых перчатках.

Вошли еще несколько человек и расселись на стульях с жесткими спинками.

Скоро гид вернулся в третий раз, и теперь наступил черед Лексингтона.

— Следуйте за мной, пожалуйста, — сказал гид, ведя юношу через двор к главному зданию.

— Как интересно! — вскричал Лексингтон, прыгая с ноги на ногу. — Как бы мне хотелось, чтобы сейчас со мной была моя дорогая бабушка Глоспан и посмотрела на то, что я собираюсь увидеть.

— Я провожу лишь предварительную экскурсию, — сказал гид. — Потом я препоручу вас кому-нибудь другому.

— Как скажете, — восторженно проговорил юноша.

Сначала они посетили просторную огороженную площадку, где бродило несколько сот свиней.

— Вот здесь все начинается, — сказал гид. — Вон туда они входят.

— Куда?

— Да прямо туда. — Гид указал на длинный деревянный сарай у стены, окружавшей фабрику. — Мы его называем Кандальным домом. Сюда, пожалуйста.

Когда Лексингтон с гидом подошли к сараю, трое мужчин в высоких резиновых сапогах как раз загоняли туда дюжину свиней, и они вошли вместе с ними.

— Теперь, — сказал гид, — смотрите, как их будут заковывать в кандалы.

Внутри Кандальный дом представлял собой голое помещение без крыши, однако вдоль одной стены, параллельно земле, футях в трех над ней, медленно двигался стальной кабель с крюками. В кон-

це сарая кабель менял направление и через открытую крышу поднимался вертикально к верхнему этажу главного здания.

Двенадцать свиней сгрудились в дальнем конце сарая и стояли тихо, опасливо озираясь. Мужчина в резиновых сапогах снял со стены металлическую цепь и сзади приблизился к ближайшему животному. Нагнувшись, он быстро накинул петлю на его заднюю ногу. Другой конец прикрепил к крюку, двигавшемуся мимо него на кабеле. Цепь натянулась. Ногу свиньи потянуло вверх, и цепь потащила свинью за собой, но она не упала. Она оказалась ловкой, и ей каким-то образом удавалось сохранять равновесие на трех ногах. Свинья прыгала с ноги на ногу и сопротивлялась натяжению цепи, однако все же пятилась и пятилась, пока в конце сарая кабель не изменил направление и не ушел вертикально вверх. Там свинья дернулась, оторвалась от земли и повисла в воздухе. Пронзительный протестующий визг заполнил помещение.

— Поистине захватывающий процесс, — сказал Лексингтон. — Но что это так смешно треснуло, когда она стала подниматься наверх?

— Наверное, нога, — ответил гид. — А может, и тазовая кость.

— И что, это так и должно быть?

— Да какая разница, — ответил гид. — Кости ведь не едят.

Мужчины в резиновых сапогах меж тем принялись заковыдывать в кандалы остальных свиней. Одну за другой они прицепляли их к крюкам на движущемся кабеле и поднимали выше крыши. Поднимаясь, свиньи громко выражали протест.

— Этот рецепт будет посложнее, чем собирание трав, — сказал Лексингтон. — Бабушка Глоспан ни за что бы с ним не справилась.

Пока Лексингтон глядел вверх на последнюю поднимающуюся свинью, мужчина в резиновых сапогах тихо приблизился к нему сзади и, пропустив один конец цепи вокруг лодыжки юноши, закрепил петлю, прицепив другой ее конец к движущейся ленте. Не успев сообразить, что происходит, наш герой в следующий момент резко дернулся, потом упал, и его потащило ногами вперед по бетонному полу Дома, где заковыдывают в кандалы.

— Остановитесь! — кричал он. — Стойте! Ногу защемило!

Но его, казалось, никто не слышал, и пять секунд спустя несчастный молодой человек оторвался от пола и стал подниматься вертикально вверх сквозь открытую крышу сарая. Он висел вниз головой и дергался, как рыба, которую только что вытащили на берег.

— Помогите! — кричал он. — Помогите! Произошла ужасная ошибка. Остановите моторы! Спустите меня вниз!

Гид вынул сигару изо рта, невозмутимо взглянул на быстро поднимающегося юношу, но ничего не произнес. Мужчины в резиновых сапогах уже направились за следующей партией свиней.

— Спасите меня! — кричал наш герой. — Дайте мне спуститься! Пожалуйста, дайте мне спуститься!

Между тем он уже приближался к верхнему этажу здания, где движущаяся лента изгибалась, как змея, и уходила в отверстие в стене, похожее на дверной проем без двери; а там, на пороге, точно святой Петр у райских врат, его поджидал мясник в желтом запятанном резиновом фартуке.

Лексингтон, хотя и висел вниз головой, все же увидел его, пусть и мельком, но выражение абсолютного покоя и добросердечия на лице этого человека заметить успел, равно как и веселые огоньки в глазах, легкую задумчивую улыбку, ямочки на щеках, — и все это дало ему надежду.

— Привет! — улыбаясь, сказал мясник.

— Быстрее! Спасите меня! — кричал наш герой.

— С удовольствием, — сказал мясник и, ласково взяв Лексингтона за ухо левой рукой, поднял правую руку и ловко вскрыл ножом его яремную вену.

Лента продолжала двигаться. Лексингтон по-прежнему висел вверх ногами, кровь лилась у него из горла и заливала глаза, но кое-что он все-таки мог разглядеть. У него возникло смутное впечатление, будто он оказался в необычайно длинной комнате и в дальнем конце этой комнаты стоит огромный дымящийся котел с водой, а вокруг котла, едва видимые сквозь пар, пляшут темные фигуры, размахивая длинными колыями. Конвейерная лента проходила прямо над котлом, и свиньи падали в кипящую воду одна за другой. У одной свиньи на передних ногах были длинные белые перчатки.

Неожиданно нашего героя страшно потянуло в сон. Но лишь когда его здоровое, сильное сердце откачало из тела последнюю каплю крови, только тогда он перешел из этого, лучшего из всех миров, в другой мир.

ЧЕМПИОН МИРА

Целый день, в перерывах между обслуживанием клиентов, мы горбились в конторе заправочной станции над столом и готовили изюм. Ягоды от пребывания в воде размякли и набухли, и, когда мы надрезали их бритвой, кожица лопалась, и содержимое легко выдавливалось наружу.

Между тем всего изюмин у нас было сто девяносто шесть, и, когда мы закончили, был уже почти вечер.

— Ну чем не хороши! — воскликнул Клод, яростно потирая руки. — Который час, Гордон?

— Шестой.

В окно мы увидели, как к колонке подъехал фургон с женщиной за рулем и, наверное, восемь ребятешками, которые сидели сзади и ели мороженое.

— Надо двигаться, — сказал Клод. — Сам понимаешь, не явемся туда до заката, все пойдет насмарку.

Он уже начинал дергаться. Его лицо покраснело, а глаза выпучились, как перед собачьими бегами или вечерним свиданием с Кларис.

Мы оба вышли из конторы, и Клод отпустил женщине столько галлонов бензина, сколько она просила. Когда она отъехала, он остался стоять посреди дороги и, шурясь, с беспокойством глядел на солнце — оно висело в дальнем конце долины чуть выше ширины ладони над линией деревьев, на гребне холма.

— Ладно, — сказал я. — Закрывай лавочку.

Клод быстро обошел все колонки, закрыв их на замок.

— Ты бы лучше снял этот свой желтый свитер, — сказал он.

— Это еще зачем?

— При лунном свете ты будешь сверкать в нем, как маяк.

— Все будет в порядке.

— Нет, — сказал Клод. — Сними его, Гордон, прошу тебя. Вернись через три минуты.

Он исчез в своем автоприцепе за станцией, а я вернулся в контору и поменял желтый свитер на синий.

Когда мы снова встретились, на Клоде были черные брюки и темно-зеленый свитер с высоким завернутым воротником. На голове коричневая кепка, низко надвинутая на глаза. Он был похож на артиста, играющего в ночном клубе бандита.

— А это что у тебя там? — спросил я, увидев, что на поясе у него что-то топорщится.

Клод задрал свитер и показал мне два тонких белых хлопчатобумажных мешка, аккуратно и прочно привязанные к животу.

— Чтобы складывать добычу, — зловеще ответил он.

— Понятно.

— Пошли, — сказал он.

— Не лучше ли нам взять машину?

— Слишком рискованно. Ее могут увидеть, когда мы ее оставим.

— Но ведь до леса больше трех миль.

— Ну да, — сказал Клод. — Сам же понимаешь, нам светит полгода тюрьмы, если попадемся.

— Этого ты мне раньше не говорил.

— Разве?

— Я не пойду, — сказал я. — Не стоит того.

— Тебе полезно прогуляться, Гордон. Идем.

Был тихий солнечный вечер, яркие белые облачка неподвижно висели в небе, и в долине было прохладно и очень тихо. Мы пошли по траве вдоль дороги, которая тянулась между холмами в сторону Оксфорда.

— Изюм у тебя? — спросил Клод.

— В кармане.

— Хорошо, — сказал он. — Отлично.

Через десять минут мы свернули с главной дороги на узкую тропинку с высокой изгородью по обеим сторонам. Дальше нам предстояло взбираться вверх.

— Сколько там сторожей? — спросил я.

— Трое.

Клод выбросил выкуренную наполовину сигарету. Спустя минуту он закурил другую.

— Обычно я не одобряю новые методы, — сказал он. — Особенно в такого рода делах.

— Понимаю.

— Но, честное слово, Гордон, думаю, сегодня у нас все получится.

— Точно?

— Не сомневаюсь.

— Надеюсь, ты прав.

— Это будет вехой в истории браконьерства, — сказал он. — И смотри, ни единой живой душе потом не проговорись, как мы это сделали, понял? Потому что если это просочится, каждый болван в округе будет делать то же самое, и тогда ни одного фазана не останется.

— Ни слова никому не скажу.

— Ты должен гордиться собой, — продолжал он. — Умные люди уже сотни лет бьются над этой проблемой, но никто ничего похожего не придумал. Почему ты мне об этом раньше не рассказывал?

— А ты никогда и не интересовался моим мнением, — ответил я.

И это было правдой. Буквально до позавчерашнего дня Клоду и в голову не приходило обсуждать со мной святую тему браконьерства. Летними вечерами, после работы, я частенько видел, как он незаметно выскальзывает в своей кепке из автоприцепа и направляется к лесу. Иногда, глядя на него в окно, я ловил себя на том, что задумываюсь: что же он все-таки собирается предпринять один-одинешенек среди ночи, какие хитрости замышляет? Он редко возвращался рано и никогда, абсолютно никогда сам добычу не приносил. Однако на следующий день (я и представить себе не мог, как ему это удавалось) в сарае у заправки висел фазан, или заяц, или пара куропаток, которых мы потом съедали.

Летом он был особенно активен, а в последние два месяца задал такой темп, что уходил в лес четыре, а то и пять раз в неделю. Но и это еще не все. Мне казалось, что его отношение к браконьерству изменилось самым загадочным и неуловимым образом. Теперь он действовал более решительно, более хладнокровно и целеустремленно, чем прежде, и у меня было такое впечатление, что теперь это уже не охота, а крестовый поход, своего рода тайная война, которую Клод вел в одиночку против невидимого и ненавидимого врага.

Но кто же был этим врагом?

Точно не могу сказать, у меня возникло подозрение, что им был не кто иной, как сам знаменитый мистер Виктор Хейзел, владелец

земли и фазанов. Мистер Хейзел был местным пивоваром и держался невероятно надменно. Он был так богат, что невозможно выразить словами, и его собственность простиралась на мили по всей долине. Он выбился из низов, был напрочь лишен обаяния и обладал весьма скудным числом добродетелей. Он презирал всех людей, занимавших низкое общественное положение, поскольку сам был когда-то одним из них, и отчаянно стремился общаться только с теми, с кем, по его мнению, и нужно общаться. Он охотился верхом с собаками, любил пригласить гостей, носил модные жилетки и каждый день проезжал на огромном черном «роллс-ройсе» мимо заправочной станции к своей пивоварне. Когда он проносился мимо, мы иногда успевали разглядеть за рулем сияющее лицо пивовара, розовое, как ветчина, дряблое и воспаленное от злоупотребления пивом.

Ну да ладно. Вчера днем Клод ни с того ни с сего вдруг сказал мне:

— Сегодня вечером я опять пойду в лес Хейзела. Хочешь пойти со мной?

— Кто — я?

— На фазанов. В этом году, может, последний шанс, — сказал он. — В субботу открывается охотничий сезон, и потом все птицы разлетятся. Если будет кому разлетаться.

— А почему ты вдруг меня приглашаешь? — с подозрением спросил я.

— Особой причины у меня нет, Гордон. Просто так.

— А это рискованно?

Он не ответил.

— У тебя, наверно, и ружье припасено?

— Ружье! — с отвращением воскликнул Клод. — В фазанов не стреляют, ты что, не знаешь? В лесах Хейзела достаточно пистону хлопнуть, чтобы тебя сторожа тут же схватили.

— Тогда как же ты охотишься?

— Ага, — произнес он и загадочно прикрыл веком один глаз.

Наступила долгая пауза. Потом Клод сказал:

— Как тебе кажется, ты сможешь держать рот на замке, если я тебе кое-что расскажу?

— Вполне.

— Я этого еще никому в жизни не рассказывал, Гордон.

— Весьма польщен, — сказал я. — Мне ты можешь полностью довериться.

Он повернул голову, устремив на меня свои бледные глаза. Глаза у него были большие и влажные, как у быка, и они были так близко от меня, что я увидел, как отражаюсь вверх ногами в его зрачках.

— Сейчас я раскрою тебе три лучших на свете способа охоты на фазана, — сказал Клод. — А поскольку ты будешь моим гостем, выбор из них за тобой. Что скажешь?

— По-моему, тут какой-то подвох.

— Да нет тут никакого подвоха, Гордон, клянусь тебе.

— Ладно, тогда продолжай.

— Значит, так, — сказал он. — Вот первый большой секрет.

Он умолк и сделал длинную затяжку.

— Фазаны, — мягко прошептал он, — без ума от изюма.

— От изюма?

— От самого обыкновенного изюма. У них это самая большая слабость. Мой папа открыл это сорок лет назад, так же как открыл и все три эти способа, о которых я тебе собираюсь сейчас рассказать.

— Ты, кажется, говорил, что твой папа был пьяницей.

— Может, и был. Но еще он был замечательным браконьером, Гордон. Может, самым замечательным за всю историю Англии. Мой папа изучал браконьерство, как ученый.

— Ты правду говоришь?

— Я не шучу. Честное слово, не шучу.

— Я тебе верю.

— Чтоб ты знал, — сказал он, — мой папа держал на заднем дворе целый выводок первоклассных петушков исключительно с научными целями.

— Петушков?

— Ну да. И когда он придумывал какой-нибудь новый хитроумный способ ловли фазана, он сначала испытывал его на петушке. Так он узнал насчет изюма. И так же он изобрел способ с конским волосом.

Клод умолк и оглянулся, как будто хотел убедиться, что его никто не подслушивает.

— Вот как это делается, — сказал он. — Для начала нужно взять несколько изюминок, замочить их на ночь в воде, чтобы они стали красивые, круглые и сочные. Затем берешь прочный конский волос и разрезаешь на части длиной полдюйма. Нанизываешь на них

по изюминке, чтобы примерно восьмая часть дюйма высовывалась с каждого конца. Пока все понятно?

— Да.

— Дальше. Подходит старина-фазан и съедает одну из этих изюминок. Так? А ты следишь за ним из-за дерева. И что происходит потом?

— Думаю, она застрянет у него в горле.

— Точно, Гордон. Но вот что удивительно. Вот что открыл мой папа. Птица после этого не может пошевелить лапами. Она просто-напросто пригвождена к земле и двигает своей глупой шеей вверх-вниз, будто поршнем, а ты спокойно выходишь из-за дерева и берешь ее голыми руками.

— Да ладно тебе!

— Клянусь, — сказал Клод. — Как только фазан схватит конский волос, ты можешь стрелять у него над ухом из ружья, он даже не вздрогнет. Это необъяснимо. Но нужно быть гением, чтобы открыть такое.

Он умолк и минуту-другую вспоминал своего отца, великого изобретателя. В глазах Клода светилась гордость.

— Итак, это способ номер один, — сказал он. — Способ номер два еще проще. Нужно взять удочку. На крючок насаживаешь изюминку и ловишь фазана, как будто рыбу удишь. Забрасываешь наживку ярдов на пятьдесят, лежишь себе на животе в кустах и ждешь, когда клюнет. Потом подтаскиваешь его.

— Не думаю, что это твой отец изобрел.

— Этот способ очень популярен у рыболовов, — сказал Клод, предпочтя не расслышать меня. — У страстных рыболовов, которым не так часто, как хотелось бы, удается выбраться к морю. Беда только в том, что этот способ довольно шумный. Когда фазана подтаскивают, он кричит как ненормальный, и сбегаются все сторожа, какие только есть в лесу.

— А в чем заключается способ номер три? — спросил я.

— Ага, — произнес он, — номер три просто красавчик. Последнее изобретение моего папы перед кончиной.

— Его последнее великое дело?

— Именно, Гордон. И я даже помню тот самый день. Было воскресенье утро, и вдруг папа входит на кухню с крупным белым петушком в руках и говорит: «Кажется, у меня получилось!» На лице улыбочка, а в глазах светится гордость. Он преспокойно ставит птицу прямо посреди стола и говорит: «Честное слово, думаю, на

этот раз я отличился!» — «Отличился? — переспрашивает мама, отрываясь от раковины. — Гораций, убери эту грязную птицу со стола». На петушке смешная бумажная шапочка, как перевернутый стаканчик из-под мороженого, и мой папа с гордостью на петушка показывает. «Погладь-ка его, — говорит он. — Он и с места не сдвинется». Петушок начинает скрести лапой по бумажной шапочке, но та, похоже, приклеена и не сползает. «Никакая птица не убежит, если закрыть ей глаза», — говорит мой папа, и тычет в петушка пальцем, и толкает его по столу, но петушок не обращает на это никакого внимания. «Забирай его, — говорит он маме. — Сверни ему шею и приготовь его на обед: отпразднуем мое новое изобретение». И тут он берет меня за руку, быстро выводит за дверь, и мы идем в поле, а потом в тот лес по другую сторону Хедденема, когда-то принадлежавший герцогу Букингемскому, и часа за два отлавливаем пять отличных жирных фазанов, с меньшими усилиями, чем если бы купили их в лавке.

Клод остановился, чтобы перевести дыхание. Вспоминая замечательные дни своей молодости, он преобразился — его глаза еще больше увеличились, повлажнели и стали мечтательными.

— Я не совсем понимаю, — сказал я. — Как ему удавалось надеть бумажные колпачки на головы фазанам в лесу?

— Ни за что не догадаешься.

— Конечно нет.

— Тогда слушай. Прежде всего в земле выкапываешь маленькую лунку. Потом скручиваешь кусок бумаги, чтобы получился конус, который помещался бы в эту лунку широким концом вверх. Потом всю внутренность этой бумажной чашки смазываешь птичьим клеем и бросаешь туда несколько изюминок. Одновременно нужно набросать изюминок вокруг лунки. Дальше. Идет старина-фазан и клюет и, когда подходит к лунке, засовывает туда свою голову, чтобы съесть изюминки, и — на голове у него оказывается колпак, и он ничего не видит. Ну разве не замечательно, до чего некоторые додумываются, а, Гордон? Ты не согласен?

— Твой папа был гением, — сказал я.

— Тогда делай свой выбор. Какой из трех способов тебе нравится, тот мы и используем сегодня ночью.

— Тебе не кажется, что все они немного грубоватые?

— Грубоватые! — с возмущением вскричал Клод. — О господи! А кто это последние полгода почти каждый день ел жареного фазана и не заплатил за это ни гроша?

Он повернулся и направился к двери мастерской. Видно, мое замечание глубоко его уязвило.

— Погоди минуту, — сказал я. — Не уходи.

— Так ты хочешь пойти со мной или нет?

— Да, но сперва позволь кое-что у тебя спросить. У меня тут возникла одна мысль.

— Держи ее при себе, — сказал Клод. — Ты говоришь о предмете, в котором ничего не смыслишь.

— Помнишь тот пузырек со снотворными таблетками, которые врач выписал мне в прошлом месяце, когда у меня болела спина?

— Ну и что?

— А на фазанов они не могут подействовать?

Клод прикрыл глаза и сочувственно покачал головой.

— Погоди, — сказал я.

— Тут и обсуждать нечего, — сказал он. — Да ни один фазан на свете не станет глотать эти паршивые красные капсулы. Ничего лучше не мог придумать?

— Ты забываешь об изюме, — сказал я. — Послушай, что я тебе скажу. Берем изюм. Вымачиваем его, пока он не разбухнет. Потом делаем лезвием надрез. Вынимаем чуть-чуть мякоти. Потом открываем одну из моих красных капсул и высыпаем весь порошок в изюминку. Потом берем иглу и очень тщательно зашиваем надрез. И вот...

Краешком глаза я увидел, как рот Клода медленно приоткрывается.

— И вот, — продолжил я, — у нас есть чистая нетронутая изюминка с двумя с половиной гранями снотворного внутри, и позволь сказать тебе еще кое-что. Этого хватит, чтобы свалить с ног среднего мужчину, не то что птицу!

Я выждал десяток секунд, чтобы сказанное мной попало по адресу.

— Кроме того, мы могли бы действовать более масштабно. Захотим — и приготовим двадцать изюминок, а потом, на закате, нам останется только разбросать их на поляне, где фазанов подкармливают, и уйти. Через полчаса таблетки начнут действовать. Когда мы возвращаемся, птицы уже расселись по веткам и покачиваются, ощущая некоторую слабость, пытаясь удержать равновесие. Но скоро каждый фазан, который съел хотя бы одну изюминку, обязательно свалится без сознания на землю. Дорогой ты мой, да они будут сыпаться с веток, как яблоки, а мы — ходить и собирать их!

Клод в восхищении смотрел на меня.

— О господи, — неслышно произнес он.

— И нас ни за что не поймают. Мы просто пройдем по лесу, разбрасывая по дороге изюминки, и даже если бы за нами наблюдали, все равно ничего бы не заметили.

— Гордон, — сказал он, кладя руку мне на колено и глядя на меня большими и сверкающими, точно звезды, глазами, — если эта штука сработает, она произведет настоящую революцию в браконьерстве.

— Рад слышать.

— Сколько у тебя осталось таблеток? — спросил он.

— Сорок девять. В пузырьке было пятьдесят, я съел только одну.

— Сорока девяти мало. Нам нужно не меньше двухсот.

— Ты с ума сошел! — вскричал я.

Он медленно отошел и встал у двери спиной ко мне, уставившись в небо.

— Двести — крайний минимум, — тихо произнес он. — Особого смысла нет все это затевать, пока у нас не будет двухсот штук.

«Что же он, черт побери, замыслил?» — подумал я.

— До открытия сезона для нас это последняя возможность, — сказал Клод.

— Больше никак не могу достать.

— Ты ведь не хочешь, чтобы мы вернулись с пустыми руками?

— Но зачем так много?

Клод повернул голову и посмотрел на меня невинными глазами.

— А почему бы и нет? — мягко произнес он. — У тебя что, есть какие-то возражения?

О боже, неожиданно подумал я, да этот сумасшедший вздумал испортить мистеру Виктору Хейзелу церемонию открытия охотничьего сезона.

— Достанешь две сотни таблеток, — сказал он, — и тогда мы этим займемся.

— Не могу.

— Но попробовать-то ты можешь?

По случаю открытия охотничьего сезона мистер Хейзел принимал гостей каждый год первого октября, что было великим событием. Немощные джентльмены в твидовых костюмах — некоторые с титулами, а некоторые просто богатые — съезжались отовсюду на

автомобилях со своими подносчиками ружей, собаками и женами, и целый день в долине гремела канонада. Фазанов там всегда было предостаточно, поскольку каждое лето леса методично заселялись сотнями дюжин молодых птиц, что влетало в копеечку. Я слышал, будто разведение и содержание каждого фазана, до того как его застрелят, обходится дороже пяти фунтов (приблизительно цена двухсот буханок хлеба). Но мистер Хейзел с затратами не считался. Пусть и на несколько часов, но он становился большим человеком в маленьком мире, и даже глава судебной власти графства, прощаясь с ним, похлопывал его по спине и пытался вспомнить, как его бишь по имени.

— А что, если мы уменьшим дозу? — спросил Клод. — Почему бы нам не разделить содержимое одной капсулы на четыре изюминки?

— Думаю, можно, если ты этого хочешь.

— Но достаточно ли птице четверти капсулы?

Можно только восхищаться его хладнокровием. Даже на одного фазана опасно охотиться в этом лесу в такое время года, а он собрался наловить целую кучу.

— Четверти вполне достаточно, — сказал я.

— Ты уверен?

— Сам подумай. Рассчитывать нужно по отношению к массе тела. Это все равно в двадцать раз больше, чем необходимо.

— Тогда уменьшим дозу вчетверо, — сказал он, потирая руки, и помолчал, подсчитывая в уме. — Нам нужно сто девяносто шесть изюмин!

— Ты понимаешь, о чем говоришь? — сказал я. — Да у нас на одну подготовку уйдет куча времени.

— Ну и что! — вскричал Клод. — Тогда пойдем завтра. Изюминки оставим на ночь, чтобы размокли, и у нас будет все утро и весь день, чтобы приготовить их.

Именно так мы и поступили.

И вот, сутки спустя, мы были в пути. Мы шли не останавливаясь минут сорок и уже приближались к тому месту, где тропинка сворачивает вправо и тянется по гребню холма к лесу, где живут фазаны. Оставалось пройти что-то около мили.

— Надеюсь, у сторожей, случайно, нет ружей? — спросил я.

— Ружья есть у всех сторожей, — сказал Клод.

Этого-то я и боялся.

— В основном против вредителей.
— Ну вот!
— Конечно, нет никакой гарантии, что они не пальнут и в браконьера.

— Ты шутишь.

— Совсем нет. Но они стреляют только в спину. Тому, кто убегает. Они любят стрелять мелкой дробью по ногам ярдов с пятидесяти.

— Они не имеют права! — вскричал я. — Это уголовное преступление!

— Как и браконьерство, — сказал Клод.

Какое-то время мы шли молча. Солнце висело справа от нас ниже высокой изгороди, и тропинка была в тени.

— Можешь считать, тебе повезло, — продолжал он. — Тридцать лет назад стреляли без предупреждения.

— Ты в это веришь?

— Я знаю, — сказал он. — Сколько было таких ночей, когда я мальцом заходил, бывало, на кухню и видел моего папу. Лежит он лицом вниз на столе, а мама стоит над ним и выковыривает картофельным ножом дробины из его ягодиц.

— Хватит, — сказал я. — Мне от этого не по себе.

— Так ты мне веришь?

— Да, верю.

— К старости он был весь покрыт мелкими белыми шрамами, будто усыпан снегом.

— Да-да, — сказал я. — Не надо напоминать.

— Тогда говорили: «задница браконьера», — сказал Клод. — Во всей деревне не было ни одного мужчины без таких примет. Но мой папа был чемпионом.

— Рад за него, — сказал я.

— Как бы я хотел, чтобы он был сейчас здесь, черт возьми, — мечтательно проговорил Клод. — Он бы все на свете отдал, чтобы пойти с нами сегодня...

— Он мог бы пойти вместо меня, — сказал я. — Я бы с радостью уступил ему свое место.

Мы добрались до гребня холма и увидели перед собой лес, густой и мрачный, и солнце садилось за деревьями, а между ними сверкали золотые искорки.

— Дай-ка лучше мне эти изюминки, — сказал Клод.

Я отдал ему пакет, и он аккуратно опустил его в карман брюк.

— Как только войдем в лес, никаких разговоров, — сказал он. — Иди за мной и старайся не задевать ветки.

Через пять минут мы вошли в лес. Тропинка, приведя к лесу, продолжалась вдоль его кромки ярдов триста. От леса ее отделяла только живая изгородь. Клод пролез через ту на четвереньках, и я последовал за ним.

В лесу было прохладно и темно. Ни один солнечный луч не проникал сюда.

— Страшно, — сказал я.

— Тсс!

Клод был очень напряжен. Он шел впереди, высоко поднимая ноги и осторожно опуская их на влажную землю. Он все время вертел головой и высматривал, нет ли где опасности. Я попытался повторять то же самое, но скоро мне стали чудиться сторожа за каждым деревом, и я прекратил это занятие.

Потом впереди показался открытый прогал неба над деревьями, и я догадался, что это, должно быть, и есть поляна. Клод говорил мне, что сюда в начале июля привозят молодых птиц. Сторожа их там кормят и стерегут, и птицы привыкают и остаются здесь до охотничьего сезона.

«На поляне всегда много фазанов», — сказал он тогда. «И сторожей, наверное, тоже», — отозвался я. «Да, но вокруг плотные кусты, и это помогает», — не сдавался он.

Мы двинулись дальше короткими перебежками. Пригнувшись, мы перебегали от дерева к дереву, останавливались, выжидали, прислушивались и снова бежали и наконец опустились на колени за тесной группой деревьев на краю поляны, почувствовав себя в безопасности. Тут Клод принялся усмехаться и тыкать мне в бок локтем, указывая сквозь кусты на фазанов.

Все вокруг было буквально забито птицами. Не меньше двусот фазанов с важным видом расхаживали между пнями.

— Ну как? — прошептал Клод.

Зрелище было удивительное — воплощенная мечта браконьера. И как они были близко! Некоторые всего шагах в десяти от того места, где мы стояли на коленях. Тетерки были упитанные, сливочно-коричневого цвета и такие жирные, что при ходьбе едва не задевали землю перьями на груди. Петушки были стройные и красивые, с длинными хвостами и ярко-красными пятнами вокруг

глаз, будто на них надели очки. Я взглянул на Клода. Его бычьё лицо было охвачено восторгом. Рот слегка приоткрылся, а глаза, глядящие на фазанов, точно остекленели.

Наверное, все браконьеры при виде дичи реагируют примерно таким же образом. Они походят на женщин, которые рассматривают изумруды в витрине ювелирного магазина, с той только разницей, что женщины, приобретая добычу, используют менее достойные методы. «Задница браконьера» — ничто по сравнению с тем, на что готова пойти женщина.

— Смотри, — тихо произнес Клод. — Сторожа видишь?

— Где?

— На той стороне, вон у того ветвистого дерева. Смотри внимательнее.

— О господи!

— Все в порядке. Нас он не видит.

Мы припали ближе к земле, не спуская со сторожа глаз. Это был человек невысокого роста, с кепкой на голове и с ружьем под мышкой. Он не двигался. Стоял, точно столб.

— Пошли, — прошептал я.

Лицо сторожа было спрячено тенью от козырька, но мне казалось, что он смотрит прямо на нас.

— Я здесь не останусь, — сказал я.

— Тише, — сказал Клод.

Не сводя глаз со сторожа, он медленно залез в свой карман и вытащил одну изюминку. Положив ее на ладонь, он быстрым движением кисти подбросил изюминку высоко в воздух. Я смотрел, как она взлетела над кустами и упала на землю примерно в ярде от двух тетерок, расположившихся возле старого пня. Едва изюминка упала, как обе птицы резко повернули головы. Затем одна из них подскочила и мгновенным клевком проглотила то, что упало на землю.

Я взглянул на сторожа. Он не шевелился.

Клод бросил на поляну вторую изюминку, потом третью, четвертую, пятую...

Когда сторож отвернулся, чтобы посмотреть, что происходит у него за спиной, Клод молниеносно выхватил из кармана пакет и высыпал кучу изюминок на ладонь.

— Не надо, — сказал я.

Однако Клод, размахнувшись, швырнул всю горсть через кусты на поляну.

Изюминки упали с мягким стуком, точно капли дождя по сухим листьям, и все фазаны наверняка либо видели, как они летят, либо слышали, как они падают. Захлопали крылья, и фазаны бросились на поиск добычи.

Голова сторожа резко повернулась, точно в шее у него была пружина. Птицы торопливо склевывали изюминки. Сторож сделал два быстрых шага вперед, и я уже было подумал, не собирается ли он начать расследование. Но он остановился, поднял голову и принялся медленно водить глазами по периметру поляны.

— Иди за мной, — прошептал Клод. — Пригнись.

Он резво пополз на четвереньках, точно обезьяна.

Я последовал за ним. Нос он держал близко к земле, а его громадные, обтянутые штанами ягодицы смотрели в небо, и теперь я понял, почему вышло так, что у его земляков-браконьеров задница подвержена профессиональному заболеванию.

Мы продвигались так ярдов сто.

— Теперь беги, — сказал Клод.

Мы поднялись на ноги и побежали. Через несколько минут мы пролезли через изгородь на нашу чудесную тропинку, где почувствовали себя в полной безопасности.

— Дело сделано, — тяжело дыша, проговорил Клод. — Что скажешь?

Его широкое лицо покраснело и светилось торжеством.

— Мы все испортили, — сказал я.

— Что! — вскричал он.

— Ну конечно. Мы ведь не сможем вернуться. Сторож знает, что там кто-то есть.

— Да ничего он не знает, — сказал Клод. — Через пять минут в лесу будет темно, хоть глаз выколи, и он смоеся домой ужинать.

— Я, пожалуй, присоединюсь к нему.

— Ты великий браконьер, — сказал Клод.

Он сел на заросшую травой насыпь под изгородью и закурил.

Солнце село, и небо, слегка окрашенное желтым цветом, было бледно-голубым. В лесу, за нашей спиной, тени и пространства между деревьями превращались из серых в черные.

— Сколько нужно времени, чтобы таблетка подействовала? — спросил Клод.

— Смотри-ка, — сказал я. — Кто-то идет.

Из темноты незаметно появился какой-то человек, и, когда я увидел его, он был от нас всего лишь в тридцати ярдах.

— Еще один чертов сторож, — сказал Клод.

Мы оба смотрели на сторожа, который приближался к нам по тропинке. Под мышкой у него было дробовое ружье, а по пятам за ним бежал черный лабрадор. Сторож остановился в нескольких шагах, его собака остановилась тоже и уставилась на нас.

— Добрый вечер, — дружелюбно приветствовал сторожа Клод.

Это был высокий костлявый человек лет сорока, с цепким взглядом, суровыми скулами и крепкими, предвещающими недоброе руками.

— А я вас знаю, — тихо сказал он, подходя поближе. — Я знаю вас обоих.

Клод на это ничего не ответил.

— Вы ведь с заправочной станции. Верно?

Губы у него были тонкие и сухие, с какой-то коричневатой коркой над ними.

— Вы Каббидж и Хоз. Вы с заправочной станции на главной дороге. Верно?

— А у нас тут что? — спросил Клод. — Отгадайка?

Сторож смачно сплюнул, плевков полетел по воздуху и шлепнулся в сухую пыль в шести дюймах от ног Клода, похожий на маленькую устрицу.

— Проваливайте, — сказал сторож. — Ну же, топайте.

Клод сидел на насыпи, курил свою сигарету и посматривал на плевков.

— Повторяю, — рассердился сторож, — убирайтесь отсюда.

Когда он открывал рот, его верхняя губа приподнималась над десной, и я видел ряд мелких зубов, один из них был черный, другие — айвовые и коричневато-желтые.

— Это, между прочим, общественная дорога, — сказал Клод. — Пожалуйста, не приставайте к нам.

Сторож переложил ружье из левой руки в правую.

— Вы тут слоняетесь, — сказал он, — с намерением совершить уголовное преступление. Уже одного этого хватит, чтобы забрать вас.

— Не хватит, — возразил Клод.

Я разнервничался.

— Я давно за тобой слежу, — заметил сторож, глядя на Клода.

— Уже поздно, — сказал я. — Может, пойдем?

Клод отбросил сигарету и медленно поднялся на ноги.

— Хорошо, — согласился он. — Идем.

Мы пошли по тропинке в ту же сторону, откуда пришли, оставив сторожа стоять там, где он стоял, и скоро он исчез в полутьме у нас за спиной.

— Это главный сторож, — сказал Клод. — Его зовут Рэббитс.

— Быстрее бы смыться отсюда, — предложил я.

— Пошли здесь, — сказал Клод.

Слева была калитка, выходящая в поле. Мы перелезли через нее и сели за изгородью.

— Мистер Рэббитс тоже собрался поужинать, — сказал Клод. — Забудь про него.

Мы тихо сидели за изгородью и ждали, когда сторож пройдет мимо нас, направляясь домой. Показались звезды, а на востоке над холмами за нашей спиной поднималась яркая луна в три четверти.

— А вот и он, — прошептал Клод. — Не шевелись.

Сторож, неслышно ступая, шел по дорожке, а за ним по пятам мягко и споро двигалась собака. Мы смотрели из-за изгороди, как они шествовали мимо.

— Сегодня он уже не вернется, — сказал Клод.

— Откуда ты знаешь?

— Зачем сторожу ждать тебя в лесу, если он знает, где ты живешь? Он подождет, пока ты не вернешься, у твоего дома.

— Это хуже.

— Нет — если ты выгрузишь где-нибудь добычу, прежде чем возвратиться домой. Тогда он тебя не тронет.

— А как насчет другого, того, что на поляне?

— Он тоже ушел.

— Откуда такая уверенность?

— Я месяцами изучал этих мерзавцев, Гордон, честное слово. Я знаю все их повадки. Нет никакой опасности.

Я неохотно последовал за ним обратно в лес. Теперь там царила крошечная тьма и было совсем тихо. По мере того как мы осторожно продвигались вперед, звуки наших шагов разносились эхом вокруг, будто мы шли по кафедральному собору.

— Вот здесь мы разбросали изюм, — сказал Клод.

Я раздвинул кусты.

Поляна была тускло освещена молочным светом луны.

— Ты вполне уверен, что сторож ушел?

— Да точно ушел.

Я видел лицо Клода под козырьком его кепки — бледные губы, бледные щеки и большие глаза, в которых плясали искорки нервного возбуждения.

— Они сейчас на ночлег устраиваются?

— Да.

— Где?

— Везде. Далеко не улетят.

— Что будем делать дальше?

— Сидеть и ждать. Я тут захватил для тебя кое-что, — прибавил Клод и протянул мне маленький карманный фонарик в виде авторучки. — Он тебе может понадобиться.

Постепенно я стал чувствовать себя лучше.

— Мы их увидим, если они рассядутся на деревьях? — спросил я.

— Нет.

— Хотел бы я посмотреть, как они устраиваются на ночлег.

— Тут тебе не кабинет зоологии, — сказал Клод. — И потише, пожалуйста.

Мы долго стояли и ждали.

— Мне сейчас пришла в голову скверная мысль, — сказал я. — Если птица спокойно удерживает равновесие, когда просто спит, с какой стати таблетка заставит ее упасть?

Клод бросил на меня нервный взгляд.

— В конце концов, — сказал я, — она ведь не мертвая. А просто спит.

— В отрубе, — уточнил Клод.

— Но это тоже сон, только покрепче. Зачем ей вообще падать?

Наступила зловещая тишина.

— Надо было испытать на цыплятах, — сказал Клод. — Мой папа так бы поступил.

— Твой папа был гением, — заметил я.

В этот момент у нас за спиной послышался мягкий стук.

— Эй!

— Тсс!

Мы стояли, прислушиваясь.

Шмяк.

— Опять!

Звук был приглушенный, точно примерно с уровня плеча сбрасывали мешок с песком. Шмяк!

— Это фазаны! — вскричал я.

— Погоди!

— Уверен, что фазаны!

Шмяк! Шмяк!

— Ты прав!

Мы побежали вглубь леса.

— Где это было?

— Вон там! Двое были вон там!

— Мне показалось, где-то здесь.

— Давай искать! — сказал Клод. — Они не могут быть далеко.

С минуту мы занимались поисками.

— Одного нашел! — крикнул Клод.

Когда я подскочил к нему, он держал обеими руками отличного петушка.

Мы внимательно рассмотрели фазана, осветив фонариками.

— В полном отрубе, — сказал Клод. — Еще жив, я чувствую, как бьется его сердце, но он в полном отрубе.

Шмяк!

— Еще один!

Шмяк! Шмяк!

— Еще два!

Шмяк! Шмяк! Шмяк! Шмяк!

— Господи помилуй!

Шмяк! Шмяк! Шмяк! Шмяк! Шмяк!

Фазаны вокруг дождем падали с деревьев. Мы принялись как сумасшедшие бегать туда-сюда в темноте, освещая землю фонариками.

Шмяк! Шмяк! Шмяк! Эти трое мне чуть на голову не свалились. Я как раз находился под деревом, когда они падали, и нашел их сразу же — двух петушков и тетерку. Они были вялые и теплые, перья на ощупь казались удивительно приятными.

— Куда мне их складывать? — крикнул я, держа фазанов за лапы.

— Клади сюда, Гордон! Сваливай сюда, здесь светлее!

Клод стоял на краю поляны, залитой лунным светом. В каждой руке он держал по паре фазанов. Лицо его светилось, глаза сверкали от удовольствия, и он оглядывался вокруг, как ребенок, который только что обнаружил, что весь мир сделан из шоколада.

Шмяк! Шмяк! Шмяк!

— Мне это не нравится, — сказал я. — Их слишком много.

— Да это же прекрасно! — крикнул Клод и, бросив птиц, которых принес, побежал искать еще.

Шмяк! Шмяк! Шмяк! Шмяк! Шмяк!

Теперь их нетрудно было находить. Под каждым деревом лежала птица, а то и две. Я поднял еще шесть штук и, захватив в каждую руку по три, побежал и бросил их к остальным. Потом еще шесть. И еще столько же.

А они все продолжали падать.

Клод, охваченный восторгом, точно безумный призрак, метался между деревьями. Я видел, как лучик его фонарика скользит в темноте, и каждый раз, наткнувшись на птицу, Клод победоносно вскрикивал.

Шмяк! Шмяк! Шмяк!

— Услышал бы это старина Хейзел! — крикнул он.

— Не кричи, — сказал я. — Меня это пугает.

— Что такое?

— Не кричи. Здесь могут быть сторожа.

— К черту сторожей! — вскричал Клод. — Они все ушли спать!

Фазаны падали еще минуты три-четыре. Потом вдруг все прекратилось.

— Продолжай искать! — крикнул Клод. — Их еще много на земле!

— Тебе не кажется, что лучше уйти, пока не поздно?

— Нет.

Мы продолжали искать, осмотрели пространство в сотню ярдов на север, юг, восток и запад и в конце концов, надеюсь, собрали почти всех фазанов. Целую кучу.

— Это чудо, — говорил Клод. — Просто чудо, черт побери.

Он смотрел на фазанов в состоянии, близком к экстазу.

— Давай лучше возьмем дюжину и смоемся, — сказал я.

— Я бы хотел их сосчитать, Гордон.

— На это у нас нет времени.

— Я должен их сосчитать.

— Нет, — сказал я. — Пошли.

— Один... два... три... четыре...

Он тщательно их пересчитывал, поднимая каждую птицу и бережно откладывая ее в сторону. Луна висела у нас прямо над головой, и вся поляна была ярко освещена.

— Не буду я здесь больше прохлаждаться, — сказал я, спрятавшись в тени и ждал, когда он закончит подсчет.

— Сто семнадцать... сто восемнадцать... сто девятнадцать... сто двадцать! — вскричал Клод. — Сто двадцать птиц! Это же рекорд всех времен!

Я ни минуты в этом не сомневался.

— Самое большое, что удавалось моему папе собрать за одну ночь, — это пятнадцать штук, и потом он неделю после этого пил!

— Ты чемпион мира, — сказал я. — Ну что, теперь готов?

— Минутку, — ответил Клод и, приподняв свитер, принялся разматывать хлопчатобумажные мешки, обернутые вокруг живота. — Это твой, — сказал он, протягивая один из них. — Ну-ка, наполни его не мешкая.

Луна светила так ярко, что я смог прочитать написанное на мешке мелкими буквами: «Дж. У. Крамп. Мукомольня Кестона, Лондон, Ю.-З., 17».

— Тебе не кажется, что тот гнилозубый мерзавец сейчас наблюдает за нами из-за деревьев?

— Этого никак не может быть, — сказал Клод. — Он на запра-вочной станции, как я тебе уже говорил, и ждет, когда мы вернемся домой.

Мы загрузили фазанов в мешки. Птицы были мягкие, шеи у них болтались, а кожа под перьями была еще теплая.

— В конце тропинки нас будет ждать такси, — сказал Клод.

— Что?

— Я всегда возвращаюсь на такси, Гордон, разве ты не знал?

Я ответил, что не знал.

— Такси вызывается анонимно, — сказал Клод. — Никто, кроме шофера, не знает, кто поедет. Этому меня научил мой папа.

— А кто шофер?

— Чарли Кинч. Он всегда рад услужить.

Мы заполнили мешки фазанами, и я попытался взвалить распухший мешок на спину. В моем мешке было около шестидесяти птиц, и он, должно быть, весил сотни полторы фунтов.

— Мне это не снести, — сказал я. — Придется часть тут оставить.

— Волочи его, — сказал Клод. — Тащи за собой, и все.

Мы двинулись во мраке по лесу, таща за собой фазанов.

— Так нам до деревни не добаться, — сказал я.

— Чарли меня еще ни разу не подвел, — ответил Клод.

Мы вышли из леса и выглянули через изгородь на тропинку.

— Чарли, — тихо окликнул Клод, и старик, сидевший за рулем не дальше чем в пяти ярдах от нас, выставил голову на лунный свет и плутовато улыбнулся нам беззубым ртом.

Мы пролезли сквозь изгородь, волоча за собой мешки по земле.

— Привет! — сказал Чарли. — Что там у вас?

— Капуста, — ответил ему Клод. — Открывай двери.

Две минуты спустя мы благополучно сидели в такси и неторопливо катили в сторону деревни.

Теперь все было позади и можно было вволю покричать. Клод был в восторге, его распирали гордость и возбуждение, и он то и дело хлопал Чарли Кинча по плечу и говорил:

— Каково, Чарли? Как тебе улов, а?

И Чарли то и дело оглядывался, и, вытаращив глаза, смотрел на огромные распухшие мешки, лежавшие между нами на полу, и говорил:

— Боже праведный, приятель, да как тебе это удалось?

— Шесть пар для тебя, Чарли, — сказал Клод.

А Чарли сказал:

— Боюсь, маловато будет фазанов у мистера Виктора Хейзела в этом году на открытии охотничьего сезона.

На что Клод заметил:

— Боюсь, что да, Чарли, боюсь, что да.

— А что ты собираешься делать со ста двадцатью фазанами? — спросил я.

— Положу их на зиму в холод, — ответил Клод. — Спрячу в морозильнике на заправочной станции вместе с мясом для собак.

— Надеюсь, не сегодня?

— Нет, Гордон, не сегодня. Сегодня мы оставим их в доме у Бесси.

— У какой Бесси?

— У Бесси Оргэн.

— Бесси Оргэн?

— Бесси всегда доставляет мою дичь, разве ты не знал?

— Я вообще ничего не знаю, — сказал я.

Я был совершенно потрясен. Миссис Оргэн была женой преподающего Джека Оргэна, местного священника.

— Для доставки дичи выбирай только достойных женщин, — заявил Клод. — Так ведь, Чарли?

— Бесси дамочка что надо, — сказал Чарли.

Тем временем мы ехали по деревне. Фонари еще горели, а мужчины возвращались домой из трактиров. Я видел, как Уилл Прэттли тайком проникает в боковую дверь своей рыбной лавки, а голова миссис Прэттли торчит из окна прямо над ним, но он этого не замечает.

— Священник весьма неравнодушен к жареным фазанам, — заметил Клод.

— Он вывешивает их на восемнадцать дней, — сказал Чарли, — потом встряхивает пару раз, и все перья отваливаются.

Такси свернуло налево и въехало в ворота дома священника. Света в доме не было, и никто нас не встретил. Мы с Клодом выгрузили фазанов в сарае на заднем дворе, где хранился уголь, потом попрощались с Чарли Кинчем и при свете луны отправились на заправочную станцию с пустыми руками. Видел мистер Рэббитс, как мы возвращаемся, или нет, я не знаю. Мы его не заметили.

— Вон она идет, — сказал мне Клод на следующее утро.

— Кто?

— Бесси, Бесси Оргэн.

Он произнес ее имя гордо, с таким видом, будто он был генералом, который говорит о своем самом бравом офицере.

Я вышел вслед за ним из конторы.

— Да вон там, — указывая куда-то, сказал Клод.

Я увидел вдали маленькую женскую фигурку, двигавшуюся к нам по дороге.

— Что это она перед собой толкает? — спросил я.

Клод хитровато посмотрел на меня.

— Существует только один безопасный способ доставки дичи, — заявил он, — а именно: перевозить дичь под ребенком.

— Да-да, — пробормотал я, — да, конечно.

— Там юный Кристофер Оргэн, полутора лет. Чудесное дитя, Гордон.

Теперь я увидел маленькую точку — это ребенок сидел высоко в коляске, верх которой был опущен.

— Под мальчонкой по меньшей мере шестьдесят или семьдесят фазанов, — радостно проговорил Клод. — Ты только представь себе.

— Как ты уместишь в коляску шестьдесят-семьдесят фазанов?

— Легко, если внизу расчистить место, убрать матрас и упаковать их плотно, до самого верха. Потом нужна лишь простыня. Удивительно, как мало фазан занимает места, когда он без чувств.

Мы стояли возле колонок, дожидаясь, когда подойдет Бесси Оргэн. Был один из тех теплых безветренных сентябрьских дней, когда темнеет небо и в воздухе чувствуется приближение грозы.

— Прямо через всю деревню, ничего не боится, — сказал Клод. — Молодец Бесси.

— По-моему, она слегка спешит.

Клод прикурил новую сигарету от окурка.

— Бесси никогда не спешит, — сказал он.

— Да она точно идет как-то не так, — сказал я ему. — Посмотри сам.

Сошурившись, он посмотрел на Бесси сквозь сигаретный дым. Потом вынул сигарету изо рта и снова посмотрел.

— Ну? — спросил я.

— Вроде как торопится, а? — осторожно проговорил он.

— А по мне, так просто спешит.

Наступила пауза. Клод пристально смотрел на приближающуюся женщину.

— Наверное, не хочет попасть под дождь, Гордон. Клянусь, в этом все дело. Думает, вот сейчас пойдет дождь, и не хочет, чтобы ребенок промок.

— А почему бы ей тогда не поднять верх?

На это он ничего не ответил.

— Она бежит! — вскричал я. — Смотри!

Бесси неожиданно рванулась вперед.

Клод стоял неподвижно и глядел на женщину, и в наступившей тишине мне показалось, что я слышу плач ребенка.

— В чем дело?

Он не отвечал.

— Что-то случилось с ребенком, — сказал я. — Слушай.

В этот момент Бесси находилась от нас примерно в двух сотнях ярдов, но расстояние между нами быстро сокращалось.

— А теперь слышишь? — спросил я.

— Да.

— Кричит, будто его режут.

Пронзительный визг вдаль с каждой секундой нарастал, становился все более безудержным, мучительным, непрерывным, почти истеричным.

— У него приступ, — заявил Клод.

— Наверное.

— Потому она и бежит, Гордон. Она хочет привезти ребенка сюда как можно быстрее и подставить под кран с холодной водой.

— Думаю, ты прав, — сказал я. — Я даже уверен, что ты прав. Только послушай, как кричит.

— Если это и не приступ, то наверняка что-то близкое к тому.

— Вполне согласен.

Клод беспокойно переступил с ноги на ногу.

— С такими маленькими детьми каждый день что-нибудь случается, — сказал он.

— Конечно.

— Я как-то знал одного ребенка, у которого пальцы попали в спицы коляски. Он их все потерял. Ему их просто отрезало.

— Да-да.

— Что бы там ни было, — сказал Клод, — лучше бы она не бежала.

За спиной Бесси показался длинный грузовик, груженный кирпичами. Водитель сбавил ход, высунул голову в окно и уставился на нее. Бесси, не обращая на него внимания, летела вперед. Теперь она была так близко, что я видел ее большое красное лицо и широко раскрытый рот, хватающий воздух. Я обратил внимание, что на ней изысканный наряд. Она была в белых перчатках, а на голове, в тон, красовалась смешная белая шляпка, точно гриб.

Неожиданно из коляски в воздух взлетел огромный фазан!

Клод испустил крик ужаса. Болван в грузовике, ехавший рядом с Бесси, разразился хохотом.

Фазан, как пьяный, полетал вокруг несколько секунд, потом потерял высоту и опустился на траву возле дороги.

К грузовику сзади приблизился фургон бакалейщика и загудел с намерением объехать его. Бесси продолжала бежать.

И тут из коляски со свистом вылетел второй фазан... потом третий... четвертый. За ним пятый.

— Боже мой! — воскликнул я. — Таблетки! Их действие кончается!

Клод на это ничего не ответил.

Бесси преодолела последние пятьдесят ярдов с рекордной скоростью и вырвалась на дорогу к заправочной станции, а из коляски во все стороны разлетались птицы.

— Что, черт возьми, происходит? — кричала она.

— Заходите с той стороны! — крикнул я. — Заходите с той стороны!

Однако Бесси резко остановилась возле первой же колонки и выхватила плачущего ребенка из коляски.

— Нет! Нет! — крикнул Клод, подбегая к ней. — Не берите ребенка! Положите его назад! Держите простыню!

Но Бесси и слушать не хотела, и, как только ребенка неожиданно убрали, огромное облако фазанов поднялось из коляски, штук пятьдесят или шестьдесят, не меньше, и все небо над нами покрылось коричневыми птицами, яростно хлопающими крыльями в попытке набрать высоту.

Мы с Клодом бегали туда-сюда по дороге и размахивали руками, пытаясь отогнать птиц подальше.

— Прочь! — кричали мы. — Кыш! Убирайтесь!

Но фазаны были еще слишком сонными, чтобы обращать на нас хоть какое-то внимание, и не прошло и полминуты, как они спустились на заправочную станцию, как туча саранчи. Все было забито фазанами. Они сидели крыло к крылу на краю крыши и на бетонном навесе над колонками, а не меньше дюжины прицепилось к наружному подоконнику окна конторы. Птицы слетали на полку, где стояли бутылки с автомобильным маслом, скользили по капотам моих подержанных машин. Петушок с красивым хвостом величественно восседал на колонке, а те, кто не мог еще держаться в воздухе, попросту расселись у нас под ногами, распушив перья и моргая глазками.

На дороге за грузовиком с кирпичами и фургоном бакалейщика выстраивались машины, люди открывали дверцы и выходили, чтобы получше рассмотреть, что происходит. Я взглянул на часы. Было без двадцати девять. Теперь в любую минуту, подумал я, из деревни может примчаться большой черный автомобиль, и автомобиль этот будет «роллс-ройсом», а за рулем окажется пивовар мистер Виктор Хейзел с круглым сияющим лицом.

— Они его чуть не заклевали! — кричала Бесси, прижимая реющего ребенка к груди.

— Идите домой, Бесси, — сказал Клод.

Лицо его было белым.

— Закрывайся, — сказал я. — Вешай табличку. Сегодня мы не работаем.

«СУКА»



НОЧНАЯ ГОСТЬЯ

Недавно служащий отдела доставки железнодорожной компании принес мне большой деревянный ящик, прочный и умело сколоченный. Он был темно-красного цвета, возможно, что и из красного дерева. Я с большим трудом отнес ящик в сад, поставил на стол и тщательно его осмотрел. Надпись, сделанная по трафарету на одной из сторон, гласила, что ящик доставлен морем из Хайфы на борту торгового судна «Падающая звезда», однако ни фамилии, ни адреса отправителя мне не удалось обнаружить. Я попытался было вспомнить, не живет ли кто в Хайфе или где-то в тех краях, кому вздумалось бы послать мне дорогой подарок. Ничье имя не приходило мне в голову. Я медленно побрел к сараю, погрузившись в глубокие раздумья. Возвратившись с молотком и отверткой, я принялся осторожно открывать крышку ящика.

Верите ли, ящик оказался полным книг! Удивительных книг! Я их вынул одну за другой (не заглядывая ни в одну из них) и сложил на столе в три высокие стопки. Всего оказалось двадцать восемь томов, очень красивых. Все в одинаковых роскошных переплетках из зеленого сафьяна, а на корешках золотом вытиснены инициалы «О. Х. К.» и римские цифры (от I до XXVIII).

Я взял первый попавшийся том — им оказался шестнадцатый — и раскрыл его. Нелинованные белые страницы были исписаны аккуратным мелким почерком черными чернилами. На титульном листе было написано «1934». И ничего больше. Я взял другой том — двадцать первый. Он был исписан тем же почерком, однако на титульном листе стояло «1939». Я положил его и вытащил том один, надеясь найти в нем какое-нибудь предисловие или хотя бы узнать фамилию автора. Однако вместо этого под обложкой я обнаружил конверт. Конверт был адресован мне. Я вынул из него письмо и быстро взглянул на подпись. Подпись гласила: «Освальд Хендрикс Корнелиус».

Так, значит, книги прислал дядюшка Освальд!

Уже больше тридцати лет никто из членов семьи не имел известий от дядюшки Освальда. Это письмо было датировано 10 марта 1964 года. До сих пор мы могли лишь предполагать, что он еще жив. О нем ничего не было известно, кроме того, что он жил во Франции, много путешествовал и был богатым холостяком с несносными, но изящными привычками и упорно не желал вступать в какие-либо контакты со своими родственниками. Все прочее относилось к области слухов и молвы, но слухи были столь живописны, а молва столь экзотична, что Освальд давно уже для всех нас стал блестящим героем и легендой.

«Мой дорогой мальчик, — так начиналось письмо, — думаю, что ты и три твои сестры — мои самые близкие родственники по крови из числа оставшихся в живых. А потому вы являетесь моими законными наследниками, и, поскольку я не составил завещания, все, что я оставляю, когда умру, будет вашим. Увы, но оставить мне нечего. Когда-то у меня было довольно много чего, а тот факт, что недавно я от всего избавился так, как счел нужным, не должен тебя интересовать. В качестве утешения, впрочем, посылаю тебе мои личные дневники. Думаю, что они должны сохраниться в семье. Они охватывают лучшие годы моей жизни, и тебе не повредит, если ты их прочтешь. Но если ты станешь показывать их всем подряд или будешь давать читать незнакомым людям, то тем самым можешь навлечь на себя неприятности. Если ты опубликуешь их, тогда, как мне представляется, придет конец и тебе, и твоему издателю одновременно. Ты должен запомнить, что тысячи упоминаемых мною в дневниках героинь живы и поныне и, стоит тебе совершить такую глупость, как очернить их белоснежную репутацию, они позаботятся о том, чтобы твою голову живо доставили им на подносе, и, дабы воздать тебе полной мерой, велят поместить ее в духовку. Посему будь осторожен. Я встречался с тобой лишь однажды. Это было много лет назад, в 1921 году, когда твоя семья жила в этом огромном жутком доме в Южном Уэльсе. Я был для тебя взрослым дядей, а ты — очень маленьким мальчиком, лет пяти. Не думаю, что ты помнишь эту вашу молоденькую служанку-норвежку. Удивительно опрятная была девушка, стройная и очень изящная даже в своей форменной одежде с этим нелепым накрахмаленным передником, скрывавшим ее чудесную грудь. В тот день, когда я у вас гостил, она собралась с тобой в лес за колокольчика-

ми, и я спросил, нельзя ли и мне пойти с вами. А когда мы углубились в лес, я сказал тебе, что дам шоколадку, если ты сам сможешь отыскать дорогу домой. И тебе это удалось (см. том III). Ты был разумным ребенком. Прощай,

Освальд Хендрикс Корнелиус.

Неожиданное появление дневников вызвало в семье немалое волнение, и всем не терпелось побыстрее их прочесть. Мы не были разочарованы. Вещь оказалась удивительной — веселой, остроумной, волнующей, а подчас еще и довольно трогательной. Этот человек обладал невероятной энергией. Он всегда двигался — из города в город, из страны в страну, от женщины к женщине, а переходя от одной женщины к другой, ловил пауков в Кашмире или же разыскивал голубую фарфоровую вазу в Нанкине. Но женщины были прежде всего. Куда бы он ни отправлялся, он оставлял за собою нескончаемый хвост из женщин, рассерженных и очарованных до такой степени, что и словами не выразить, при этом все они мурлыкали, как кошки.

Одолеть двадцать восемь томов по триста страниц каждый — огромный труд, и едва ли найдется много писателей, которые могли бы удержать внимание читательской аудитории на протяжении столь долгого пути. Освальду, однако, это удалось. Его повествование, похоже, ни в одном месте не утрачивало пикантности, темп редко замедлялся, и любая запись, длинная или короткая, о чем бы ни шла речь, почти непременно становилась захватывающей историей, вполне законченной. А в финале, когда была прочитана последняя страница последнего тома, у читателя возникало просто поразительное чувство, что это, пожалуй, один из интереснейших автобиографических трудов нашего времени.

Если прочитанное рассматривать исключительно как хронику любовных походов мужчины, то, без сомнения, с этими дневниками ничто не может тягаться. «Мемуары» Казановы в сравнении с ними читаются как церковно-приходский журнал, а сам знаменитый любовник рядом с Освальдом представляется едва ли не импотентом.

Что до возбуждения общественного мнения, то каждая страница дневников казалась взрывоопасной; тут Освальд был прав. Но он решительно был не прав, полагая, будто организацией взрывов будут заниматься только женщины. А как же их мужья, эти рога-

носцы, униженные до состояния побитых воробушков? Вообще-то, рогоносец, если его задеть, превращается в самую настоящую хищную птицу, и они тысячами стали бы выпархивать из кустов, если бы дневники Корнелиуса увидели свет в полном виде при их жизни. О публикации, следовательно, не могло быть и речи.

А жаль. Так, по правде говоря, жаль, что я подумал: что-то все равно надо сделать. Поэтому я снова засел за дневники и перечитал их от корки до корки в надежде отыскать хотя бы одну законченную запись, которую можно было бы опубликовать, не вовлекая ни издателя, ни себя в серьезную тяжбу. К своей радости, я нашел по меньшей мере шесть таких записей. Я показал их юристу. Тот сказал, что их можно рассматривать как «безопасные», но гарантировать он ничего не может. Одна запись под заглавием «Происшествие в Синайской пустыне» показалась ему «безопаснее» пяти других.

Вот почему я решил начать именно с этой записи и, не откладывая, публикую ее вслед за этим небольшим предисловием. Если все пойдет хорошо, тогда, быть может, выпущу в свет еще парочку фрагментов.

Запись о синайском происшествии взята из последнего, XXVIII тома и датируется 24 августа 1946 года. По сути, это самая последняя запись последнего тома, последнее, что написал Освальд, и у нас нет сведений, куда он затем направился и чем занялся. Об этом можно только догадываться. Сейчас вы подробнейшим образом ознакомитесь с самой записью, но прежде всего, дабы облегчить вам понимание некоторых поступков и реплик Освальда, позвольте мне рассказать немного о нем самом. Из множества признаний и откровенных высказываний, содержащихся в этих двадцати восьми томах, вырисовывается довольно четкий портрет автора дневников.

Во время синайского происшествия Освальду Хендриксу Корнелиусу был пятьдесят один год. Разумеется, он никогда не был женат. «Боюсь, — имел он обыкновение говорить, — что я наделен или, лучше сказать, обременен характером человека необыкновенно разборчивого».

В некоторых отношениях это справедливо, но в прочих — и в особенности что касается женитьбы — подобное утверждение попросту противоречит истине.

На самом деле Освальд отказывался жениться только лишь потому, что никогда в жизни ему не удавалось уделить одной отдель-

но взятой женщине больше внимания, чем требовалось для того, чтобы покорить ее. Обольстив ее, он тотчас же терял к ней интерес и принимался оглядываться по сторонам в поисках очередной жертвы.

Для нормального мужчины это не причина, чтобы оставаться одиноким, но Освальд не был нормальным мужчиной. Даже с точки зрения полигамии он не был нормальным. Откровенно говоря, он был до того распутным и неисправимым волокитой, что ни одна женщина не смогла бы прожить с ним и нескольких дней после свадьбы, не говоря уже о столь продолжительном периоде, как медовый месяц, хотя, видит бог, немало было и таких, кто не прочь был бы рискнуть.

Он был высок и худощав, и что-то в его наружности изобличало в нем эстета. Голосом он говорил тихим, манеры имел учтивые и на первый взгляд был похож скорее на камергера королевы, нежели на известного повесу. Он никогда не обсуждал свои любовные похождения с другими мужчинами, и незнакомец, доведись ему провести с ним в разговорах целый вечер, так и не сумел бы углядеть в ясных голубых глазах Освальда ни малейшего намека на неискренность. Словом, он являл собой именно тот тип мужчины, на котором тревожащийся за свою дочь отец, скорее всего, остановит выбор и попросит проводить ее домой.

Но стоило Освальду оказаться рядом с женщиной, которая была ему интересна, как во взоре его тотчас же происходила перемена и в самом центре каждого зрачка начинали медленно плясать маленькие, предвещавшие опасность искорки. Он пускался в разговор непринужденный, откровенный и такой остроумный, какого с ней еще никто не вел. Это был дар, выдающийся талант, и когда он решительно брался за дело, то слова его мало-помалу обволакивали слушательницу, покуда та не подпадала под их неошутимое гипнотическое действие.

Но женщин очаровывало не только прекрасное умение вести беседу или выражение его глаз. Еще у него был необыкновенный нос. (В четырнадцатый том Освальд не без удовольствия включил присланную ему некой дамой записку, в которой та подробнейшим образом описывает свои впечатления на сей счет.) Все дело в том, что, когда Освальд возбуждался, нечто странное начинало происходить с его ноздрями: кончики их напрягались, сами ноздри заметно расширялись, увеличивая носовые отверстия и обнажая

ярко-красную слизистую оболочку. Впечатление возникало странное, будто во внешности его появлялось что-то жестокое, зверское, и, хотя на бумаге это кажется не таким уж привлекательным, на дам его нос действовал завораживающе.

Почти всех женщин без исключения тянуло к Освальду. Во-первых, это был мужчина, который ни за что на свете не соглашался кому-либо принадлежать, и это автоматически делало его желанным. Добавьте к этому необыкновенное сочетание первоклассного ума, море обаяния и репутацию человека, отличающегося чрезмерной неразборчивостью в связях, — вот вам и весь секрет притягательности.

И еще. Оставим на минуту его беспутство и сомнительную репутацию; надо сказать, что в характере Освальда был и ряд других качеств, которые делали его вполне привлекательной личностью.

Очень мало было такого, к примеру, чего бы он не знал касательно итальянской оперы девятнадцатого столетия. Он предложил вниманию читателей прелюбопытный свод сведений из жизни трех композиторов — Доницетти, Верди и Понкьелли¹. В нем он перечислил по именам всех более или менее значительных любовниц, которых они имели в своей жизни, и далее серьезнейшим образом проанализировал связь между творческой и плотской страстями, а также влияние одной на другую, особенно в творчестве упомянутых композиторов.

Китайский фарфор был еще одним его увлечением, и в этой области Освальд являлся признанным международным авторитетом. Особую любовь он питал к голубым вазам цзинь-яо, и у него было небольшое, но изысканное собрание этих предметов.

Еще он собирал пауков и трости.

Его коллекция пауков, или, точнее, паукообразных, ибо она включала скорпионов и прочих членистоногих, была настолько полной, насколько полным может быть немусейное собрание, а его знания сотен отрядов и видов паукообразных впечатляли. Он, между прочим (и видимо, справедливо), утверждал, что паутина превосходит по качеству шелковую нить обыкновенного шелкопряда, и никогда не носил галстук из какого-либо другого материала. Всего у него было около сорока таких галстуков, и, чтобы иметь их

¹ А. Понкьелли (1834–1886) — итальянский композитор. Самое известное произведение — опера «Джоконда» (1876).

еще больше и получить возможность присовокуплять к своему гардеробу по два новых галстука ежегодно, ему приходилось держать в старой оранжерее в саду своего загородного дома под Парижем тысячи и тысячи *arana* и *epeira diademata* (обыкновенных английских садовых пауков). Там они плодились и размножались приблизительно с той же быстротой, с какой пожирали друг друга. Он сам собирал сырую нить (да никто другой и не вошел бы в эту мрачную оранжерею) и отсылал ее в Авиньон, где ее сматывали, скручивали, обезжиривали, красили и ткали из нее материю. Из Авиньона материя отправлялась непосредственно в компанию «Сулка», где были в восторге от такого редкого и замечательного материала.

— Неужели вам и вправду нравятся пауки? — спрашивали Освальда посещавшие его женщины, когда он демонстрировал им свою коллекцию.

— О, я их просто обожаю, — отвечал он. — Особенно самок. Они так мне напоминают кое-кого из моих знакомых женщин. Они напоминают мне моих самых любимых женщин.

— Какая чушь, дорогой.

— Чушь? Вовсе нет.

— Это звучит довольно оскорбительно.

— Напротив, моя дорогая, это самый большой комплимент, который я могу сделать. Известно ли тебе, к примеру, что самка паука столь яростно предается любви, что самцу, можно считать, повезло, если ему удастся в конце концов живым унести ноги? Чтобы остаться целым и невредимым, он вынужден проявлять необыкновенное проворство и редкостную изобретательность.

— Ты уж скажешь, Освальд!

— А самка морского паука, моя милая, эта крошечная букашечка, столь опасна в своей страсти, что ее любовнику, прежде чем он осмелится обнять ее, приходится связывать ее с помощью замысловатых узлов и петель...

— О, прекрати сейчас же, Освальд! — воскликнет женщина, и глаза ее засверкают.

Собрание тростей Освальда — это опять же нечто особенное. Каждая из них прежде принадлежала какому-либо гению или злодею, и Освальд хранил их в своей парижской квартире, где они стояли двумя длинными рядами вдоль стен коридора (впрочем, не лучше ли сказать, улицы?), который тянулся от гостиной к спаль-

не. Над каждой тростью была укреплена табличка из слоновой кости с именами Сибелиуса, Мильтона, короля Фарука, Диккенса, Робеспьера, Пуччини, Оскара Уайльда, Франклина Рузвельта, Геббельса, королевы Виктории, Тулуз-Лотрека, Гинденбурга, Толстого, Лавалья, Сары Бернар, Гёте, Ворошилова, Сезанна, Тодзио... Всего их было, наверное, больше сотни, некоторые очень красивые, иные — весьма обыкновенные, одни с золотыми или серебряными набалдашниками, а другие с изогнутыми ручками.

— Возьми трость Толстого, — говорил Освальд какой-нибудь своей хорошенькой гостье. — Ну же, возьми ее... так... а теперь... теперь нежно проведи ладонью по набалдашнику, который отполировала до блеска рука великого человека. Разве не передается тебе ощущение чего-то необычного, когда ты касаешься этой вещи?

— Да, пожалуй, что-то такое я испытываю.

— А теперь возьми трость Геббельса и сделай то же самое. Только возмись за ручку как следует. Крепко сожми ее всей ладонью... хорошо... а теперь... теперь обопрись на нее всем телом, обопрись сильнее, как делал этот уродец... так... вот так... теперь постой так с минутку, а потом скажи мне, не чувствуешь ли ты, как холодок ползет по твоей руке и леденит грудь?

— Мне страшно!

— Еще бы! Конечно страшно. Некоторые вообще сознание теряют. Просто грохаются без чувств.

В обществе Освальда никому не было скучно, и, наверное, именно это обстоятельство в большей степени, нежели какое-либо другое, являлось причиной его удач.

Теперь мы подходим к синайскому происшествию. В то время Освальд в продолжение месяца развлекался тем, что не спеша ехал на автомобиле из Хартума в Каир. У него была превосходная «лагонда»¹ довоенного выпуска, которую он на время войны тщательно упрятал в Швейцарии, и, как нетрудно вообразить, она была напичкана всякого рода новомодными приспособлениями. Накануне синайского происшествия (23 августа 1946 года) он прибыл в Каир и остановился в гостинице под названием «У Шепарда»²; в тот же вечер, предприняв несколько дерзких вылазок, он сумел заарканить некую мавританку, даму предположительно благород-

¹ Очень дорогая машина производства английской компании «Астон Мартин».

² Гостиница в Каире, построенная по проекту английского архитектора Дж. С. Кларка.

ного происхождения, по имени Изабелла. Как выяснилось, она была любовницей не кого иного, как славившегося дурной репутацией — и еще более дурным нравом — члена королевской семьи (в то время в Египте еще была монархия), который следил за своей пассией донельзя ревниво. Ситуация складывалась типично освальдовская.

Но главные события были впереди. В полночь он отвез даму в Гизу и уговорил ее подняться вместе с ним при свете луны на самую вершину знаменитой пирамиды Хеопса.

«...В теплую ночь при полной луне невозможно сыскать место более безопасное, — писал он в дневнике, — а вместе с тем и более романтическое, чем верхняя точка пирамиды. Когда обозреваешь мир с большой высоты, прекрасный вид не только волнует кровь, но и придает уверенности в своих силах. Что же касается безопасности, то пирамида эта имеет в высоту ровно 481 фут, а это на 115 футов выше собора Святого Павла, и с ее вершины можно с величайшей легкостью следить за всеми подходами. Таких удобств не имеет ни один будуар на свете. Нигде нет и столь большого числа путей отступления, так что, случись появиться какому-нибудь нежелательному лицу, которое, пустившись в погоню, вздумает карабкаться по одной стороне пирамиды, нужно лишь тихо и незаметно спуститься по другой...»

Вышло так, что Освальд в ту ночь оказался на волосок от гибели. Во дворце, видимо, каким-то образом прослышали о его намерениях, ибо Освальд с освещенной луной вершины неожиданно увидел не одно, а три нежелательных лица, которые карабкались к нему с трех разных сторон. Впрочем, к счастью для него, у знаменитой пирамиды Хеопса оказалась четвертая сторона, и к тому времени, когда эти арабы-разбойники достигли вершины, двое влюбленных уже находились внизу и сидели в машине.

Запись за 24 августа начинается как раз с этого места. Далее рассказ воспроизводится так, как его записал Освальд, слово в слово, с сохранением пунктуации, без каких-либо изменений, дополнений или изъятий.

«— Он голову отсечет Изабелле, если поймает ее, — сказала Изабелла.

— Ерунда, — ответил я, но про себя подумал, что, скорее всего, так и произойдет.

— Он и Освальду голову отсечет, — сказала она.

— Ну уж нет, моя дорогая, когда рассветет, меня здесь не будет. Я немедленно отправляюсь в Луксор, вверх по Нилу.

Мы быстро удалялись от пирамид. Было около половины третьего ночи.

— В Луксор? — переспросила она.

— Да.

— Изабелла едет с тобой.

— Нет, — отрезал я.

— Да, — сказала она.

— Я никогда не путешествую с дамой. Это противоречит моим принципам, — настаивал я.

Впереди я увидел какие-то огни. Это была гостиница „Менахаус“, место, где туристы ночуют в пустыне, недалеко от пирамид. Я подъехал довольно близко к гостинице и остановил машину.

— Я тебя здесь оставляю, — сказал я. — Спасибо, мы отлично провели время.

— Значит, ты не возьмешь Изабеллу в Луксор?

— Боюсь, что нет, — сказал я. — Давай вылезай.

Она уже открывала дверцу и опустила одну ногу на землю, как вдруг резко обернулась и обрушила на меня поток грязных ругательств, изливавшийся, впрочем, довольно гладко; ничего подобного я не слышал из уст дамы с... дайте-ка подумать... с 1931 года, когда в Марракеше одна жадная старуха, герцогиня из Глазго, запустила руку в коробку с шоколадными конфетами и была укушена скорпионом, которого мне случилось туда положить для лучшей его же сохранности (том XIII, 5 июня 1931 года).

— Ты отвратительна, — сказал я.

Изабелла выскочила из автомобиля и хлопнула дверцей с такой силой, что машина подскочила на месте. Я быстренько умчался. Как хорошо, что удалось от нее избавиться. Не терплю в хорошенькой девушке дурных манер.

По дороге я то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, но, похоже, никто меня не преследовал. Подъехав к окраине Каира, я двинулся боковыми улочками, стараясь не оказаться в центре города. Я совсем не волновался. Королевские ищейки вряд ли станут и дальше преследовать меня. Как бы то ни было, в моем положении было бы опрометчиво возвращаться в гостиницу „У Шепарда“. Да в этом и не было нужды, поскольку весь мой багаж, за исключением небольшого баула, находился в машине. Я никогда

не оставляю чемоданы в номере, когда выхожу вечером из гостиницы в чужом городе. Люблю иметь свободу для маневра.

Ехать в Луксор я, конечно же, не собирался. Теперь мне хотелось как можно скорее покинуть Египет. Что-то мне эта страна разонравилась. Да, если откровенно, никогда и не нравилась. Я не очень-то уютно здесь себя чувствую. Все дело, думаю, в том, что тут повсюду грязно и отвратительно пахнет. Однако давайте смотреть правде в глаза, это ведь действительно нищая страна; еще у меня есть сильное подозрение, хотя мне и не хотелось бы об этом говорить, что египтяне не так тщательно моются по сравнению с другими народами — за исключением, пожалуй, монголов. А то, что посуду они моют не так тщательно, как, мне кажется, следовало бы, это уж точно. Поверите ли, вчера за завтраком передо мной поставили чашку, на ободке которой красовался длинный, покрытый кофейной коркой отпечаток губ. Брр! Это было омерзительно! Я глядел на него и думал о том, чья же слюнявая губа касалась этой чашки до меня.

Я ехал по узким грязным улочкам восточных пригородов Каира. Я отлично знал, куда держу путь. Свой дальнейший маршрут я определил, не проехав с Изабеллой и полдороги от пирамид. Путь мой лежал в Иерусалим. Для меня это не бог весть какое расстояние, и к тому же этот город мне всегда нравился. Кроме того, это был кратчайший путь из Египта. Следовать я предполагал таким образом:

1. Из Каира в Исмаилию. Около трех часов езды. Как обычно, в дороге пою оперные арии. Прибытие в Исмаилию в 6–7 часов утра. Затем душ, бритве и завтрак.

2. В 10 часов утра пересекаю Суэцкий канал по Исмаилийскому мосту и еду по пустыне через Синайский полуостров к палестинской границе. В дороге ищу скорпионов в Синайской пустыне. На это уходит около четырех часов; к палестинской границе прибываю в 2 часа дня.

3. Оттуда направляюсь прямо в Иерусалим через Беэр-Шеву и прибываю в гостиницу „Царь Давид“ как раз к коктейлю и обеду.

Прошло уже несколько лет с тех пор, когда я в последний раз ехал этой дорогой, но я до сих пор помню, что Синайская пустыня славится как замечательное место для ловли скорпионов. Мне позарез нужна была еще одна самка *opisthophthalmus*, притом большая. Имевшийся у меня экземпляр утратил пятый сегмент хвоста, и вследствие этого я испытывал за него некоторую неловкость.

Я недолго разыскивал главную дорогу в Исмаилию, а найдя ее, повел „лагонду“ с привычной для нее скоростью — шестьдесят пять миль в час. Дорога была узкая, но гладкая; движения на ней не было никакого. При свете луны долина Нила казалась унылой и мрачной, по обеим сторонам дороги тянулись ровные безлесные поля, разделенные каналами, и, куда ни глянь, всюду черная земля. Словом, тоска невыразимая.

Впрочем, это на кого угодно могло подействовать, но только не на меня. В своей роскошной скорлупе я чувствовал себя в полной изоляции от окружающего мира; мне было в ней уютно, точно раку-отшельнику, только вот передвигался я чуточку быстрее. О, как я люблю быть в движении, стремясь к новым людям и новым местам и оставляя старые далеко позади! Ничто на свете не доставляет мне большей радости. И как же я презираю обывателя, который селится на крохотном клочке земли со своей глупой женой, чтобы размножаться, подыхать с тоски и гнить там до конца жизни. Да еще с одной и той же женщиной! Не могу поверить, чтобы здравомыслящий мужчина мог изо дня в день, из года в год терпеть одну и ту же женщину. Некоторые, конечно, этого себе не позволяют. Но миллионы делают вид, будто им это нравится.

Сам я никогда, решительно никогда не допускал, чтобы связь длилась более двенадцати часов. Это предел. Даже восемь часов, по-моему, слишком. Взять хотя бы Изабеллу. Пока мы находились на вершине пирамиды, она выражала бурный восторг, точно доверчивый и игривый щенок, и, оставь я ее там на милость этих трех арабов-разбойников и смойся, все было бы хорошо. Но я зачем-то остался вместе с ней, помог ей спуститься вниз, и в результате красивая женщина превратилась в мерзкую визгливую ведьму, на которую смотреть тошно.

В каком мире мы живем! Нынче не дождешься благодарностей за великодушие.

„Лагонда“ плавно двигалась в ночи. Настало время вспомнить какую-нибудь арию. Но вот какую? Моему душевному состоянию вполне отвечал Верди. Как насчет „Аиды“? Ну разумеется! Именно „Аида“ — как-никак это ведь египетская опера!¹ Она будет очень кстати.

¹ В 1870 году по заказу из Египта Дж. Верди создал оперу «Аида» (в 1871 г. поставлена в Каире).

Я начал петь. Голос у меня в тот вечер был исключительно хорош. Я разошелся. Все шло замечательно, и, проезжая через городок под названием Бильбейс, я ощущал себя самой Аидой, распевая „*Numei pieta*“¹, этот дивный заключительный пассаж из первой сцены.

Спустя полчаса, в Эз-Заказике, я уже ощутил себя Амнерис и принялся умолять египетского короля спасти эфиопских пленников, напевая „*Ma tu, re, tu signore possente*“².

Следуя через Эль-Аббасу, я сделался Радамесом и, исполняя „*Fuggiam gli adori nospiti*“³, открыл все окна автомобиля, дабы эта несравненная песнь любви долетела до слуха феллахов, храпевших в своих лачугах, стоявших вдоль дороги, — как знать, быть может, эта песнь явится им во сне?

Когда я въехал в Исмаилию, было шесть часов утра и солнце уже вскарабкалось высоко в молочно-голубое небо, а я меж тем пребывал в страшной темнице с Аидой, распевая „*O, terra, addio, addio valle di piante*“⁴. Как быстро пролетела эта часть путешествия! Я подъехал к гостинице. Служащие как раз начали шевелиться. Я еще немного расшевелил их и заполучил лучший из имевшихся там номеров. Простыни и пододеяльники выглядели так, будто в постели двадцать пять ночей кряду спали двадцать пять немых египтян; я собственноручно содрал эту грязь и, с помощью антисептического мыла и щетки отскоблив кровать, заменил собственным постельным бельем. Затем завел будильник и крепко проспал два часа.

На завтрак я заказал яйцо пашот с кусочком поджаренного хлебца. Когда блюдо подали — а должен вам сказать, у меня тошнота подступает к горлу даже сейчас, когда я пишу об этом, — в желтке моего яйца я увидел блестящий, вьющийся иссиня-черный человеческий волос, трех дюймов длины. Это уже было слишком. Я выскочил из-за стола и выбежал из ресторана.

— *Addio*, — крикнул я, швырнув на ходу деньги. — *Addio valle di piante!* — И с такими словами покинул эту грязную гостиницу.

Теперь — в Синайскую пустыню. Уж там-то все будет в порядке. Настоящая пустыня — одно из наименее загаженных мест на

¹ «Сжальтесь, о боги!» (ит.)

² «Бежим, о ты, король, ты, великий владыка!» (ит.)

³ «Бежим отсюда» (ит.).

⁴ «О земля, прощай; прощай, юдоль слез!» (ит.)

земле, и Синай в этом смысле не исключение. По пустыне тянется узкая полоска черного гудрона длиной примерно сто сорок миль с одной заправочной станцией и несколькими хижинами на полпути, в местечке под названием Бир-Рауд-Селим. На всем же остальном протяжении это абсолютно необитаемая пустыня. В это время года там очень жарко, и на случай поломки автомобиля важно было запастись питьевой водой. Поэтому я остановился на главной улице Исмаилии возле того, что мне показалось лавкой, чтобы заполнить водой канистру.

Я вошел в магазин и обратился к хозяину. У него оказался тяжелый случай трахомы. На внутренней стороне век была такая грануляция, что веки нависали над глазами яблоками, — жуткое зрелище. Я спросил, не продаст ли он мне галлон кипяченой воды. Он решил, что я ненормальный, и счел меня еще более сумасшедшим, когда я настоял на том, чтобы пойти вместе с ним на его грязную кухню, дабы убедиться, что он сделает все так, как нужно. Он наполнил чайник водой из-под крана и поставил его на керосинку. Керосинка горела крошечным коптящим желтым огоньком. Хозяин, похоже, очень гордился ею и тем, как она работает. Склонив голову набок, он стоял и восхищенно смотрел на нее. Спустя какое-то время он предложил мне оставить его и подождать в магазине. Воду он принесет, когда она вскипит. Я отказался покидать его. Я стоял и смотрел на чайник, как лев, дожидаясь, когда закипит вода; и, пока все это происходило, неожиданно перед моим взором стала всплывать во всем своем ужасе сцена за завтраком — яйцо, желток и волос. Чей это волос оказался в скользком желтке яйца, поданного мне на завтрак? Без сомнения, это был волос повара. А когда, скажите на милость, повар в последний раз мыл голову? Скорее всего, он вообще не мыл ее ни разу. Очень хорошо. Почти наверняка у него вши. Но от вшей волосы не выпадают. Отчего же тогда в то утро из головы повара выпал волос и оказался в яйце, когда он перекладывал яйца со сковородки на тарелку? Всему есть причина, а в данном случае причина очевидна. Кожа черепа повара была поражена гнойным лишаем. И сам волос, длинный черный волос, который я запросто мог проглотить, будь я менее бдителен, кишел, следовательно, многими миллионами прелестных патогенных кокков, точное научное название которых я, к счастью, позабыл.

Мог ли я, спросите вы, быть абсолютно уверен в том, что у повара был гнойный лишай? Абсолютно — нет. Но если не гнойный, то стригущий лишай у него был наверняка. А что это означает? Мне было отлично известно, что это означает. Это означает, что десять миллионов микроспор прилепились к этому ужасному волосу и дожидались только того, как бы отправиться в мой рот. Я почувствовал тошноту.

— Вода закипает, — торжествуя произнес хозяин лавки.

— Пусть еще покипит, — сказал я ему. — Подождите еще восемь минут. Вы что, хотите, чтобы я тифом заболел?

Лично я, если только в этом нет крайней необходимости, никогда не пью простую воду, какой бы чистой она ни была. Простая вода совершенно безвкусна. Разумеется, я пью ее в виде чая или кофе, но даже в этих случаях стараюсь использовать „виши“ или „мальверн“ в бутылках. Воды из-под крана я стараюсь избегать. Вода из-под крана — дьявольская вещь. Чаще всего это не что иное, как отфильтрованная вода из сточной канавы.

— Вода скоро выкипит, — произнес торговец, обнажив в улыбке зеленые зубы.

Я сам снял чайник и перелил его содержимое в канистру.

В том же магазине я купил шесть апельсинов, небольшой арбуз и плитку английского шоколада в плотной обертке. После этого я вернулся к „лагонде“. Наконец-то можно было отправляться в путь.

Спустя несколько минут я переехал через шаткий мост над Суэцким каналом чуть выше озера Тимсах¹, и передо мной раскинулась плоская, освещенная яркими лучами солнца пустыня, по которой к самому горизонту убегала черной лентой узкая гудронная дорога. Я поехал с привычной для „лагонды“ скоростью — шестьдесят пять миль в час — и широко открыл окна. На меня пахнуло как из печки. Время близилось к полудню, и солнце бросало свои горячие лучи прямо на крышу моей машины. В салоне термометр показывал 103° по Фаренгейту². Однако, как вам известно, некоторое повышение температуры воздуха я обыкновенно переношу нормально, если только мне не приходится предпринимать каких-либо усилий и если я облачен в соответствующую одежду, — в дан-

¹ На озере Тимсах расположен город Исмаилия.

² То есть примерно 40° по Цельсию.

ном случае на мне были льняные кремовые брюки, белая рубашка из хлопка и великолепный паутинный галстук насыщенного болотного цвета. Я чувствовал себя вполне комфортно и умиротворенно.

Минуту-другую я размышлял над тем, не исполнить ли мне по дороге еще какую-нибудь арию — настроению моему более всего отвечала „La Gioconda“¹, — однако, пропев несколько тактов из той части, где вступает хор, я немного вспотел, поэтому решил, что пора опускать занавес, и, вместо того чтобы петь, закурил.

Я ехал по местности, знаменитой на весь мир скорпионами, и мне не терпелось поскорее остановиться и побродить в поисках их, прежде чем я доеду до заправочной станции в Бир-Рауд-Селиме. За час, прошедший с того времени, как я покинул Исмаилию, мне не встретился ни один автомобиль и ни одна живая душа. Это мне нравилось. Синай — настоящая пустыня. Я остановился на обочине и выключил двигатель. Мне захотелось пить, и я съел апельсин. Затем надел белый тропический шлем, медленно выбрался из машины, из этого уютного прибежища краба-отшельника, и оказался под палящими лучами солнца. Целую минуту я неподвижно стоял посреди дороги и, шурясь, оглядывался по сторонам.

Ослепительно светило солнце, надо мной простиралось широкое раскаленное небо, а во все стороны тянулись огромные, ярко освещенные моря желтого песка, казавшиеся неземными. К югу от дороги возвышались песчаные горы — голые светло-коричневые, терракотовые горы, слегка отливающие голубым и фиолетовым. Они неожиданно вырастали вдаль и растворялись в знойной дымке на фоне неба. Стояла всепоглощающая тишина. Не слышно было ни звука — ни птицы, ни насекомые не подавали голоса, и, стоя в одиночестве посреди этого величественного знойного, безжизненного пейзажа, я ощутил какое-то необыкновенное божественное чувство, будто оказался и вовсе на другой планете — на Юпитере, или на Марсе, или в каком-нибудь еще более далеком и пустынном краю, где никогда не растет трава и не рдеют облака.

Я подошел к багажнику и достал морилку, сетку и лопатку. Затем сошел с дороги и ступил на мягкий горячий песок. Я медленно побрел по пустыне, неотрывно глядя себе под ноги, и прошел при-

¹ «Джоконда» (ит.).

мерно сотню ярдов; искал я не самих скорпионов, а их норы. Скорпион — криптозойское¹, ночное существо, которое весь день прячется либо под камнем, либо в норе в зависимости от того, к какому виду принадлежит. Он выходит наружу в поисках пищи только после захода солнца.

Тот, который мне был нужен, *opisthophthalmus*, обитает в норе, поэтому я не стал тратить время на то, чтобы ворочать камни. Я искал норы. Прошло минут десять-пятнадцать, а я так ни одной и не нашел, и, поскольку жара уже начинала донимать меня, я, хотя и неохотно, принял решение вернуться к машине. Назад я брел очень медленно, по-прежнему не отрывая глаз от земли, и уже дошел до дороги, как вдруг не далее чем в двенадцати дюймах от края гудрона увидел в песке нору скорпиона.

Я положил морилку и сетку на землю и принялся очень осторожно раскапывать песок вокруг норы. Эта процедура всякий раз возбуждала меня. Для меня это то же, что откапывать сокровище, — сопутствующая опасность ничуть не меньше волнует кровь. Я чувствовал, что, по мере того как я все глубже копаю песок, сердце все сильнее колотится в груди.

И неожиданно... вот она!

О господи, ну и чудовище! Гигантская самка скорпиона, не *opisthophthalmus*, как я тотчас заметил, а *pandimus* — еще один большой африканский обитатель нор. А к спине ее прижимались — в это трудно поверить! — буквально кишки вокруг нее... один, два, три, четыре, пять... четырнадцать крошечных младенцев! Сама мать была по меньшей мере шести дюймов в длину! Дети ее были размером с небольшую револьверную пулю. Теперь и она меня увидела, первого в своей жизни человека. Клешни ее широко раскрылись, хвост изогнулся над спиной подобно вопросительному знаку, и она изготвилась ужалить меня. Я тут же просунул под нее сетку и быстрым движением затянул. Самка принялась извиваться и корчиться, яростно тыча кончиком хвоста во все стороны. Я увидел большую каплю яда, всего одну, просочившуюся сквозь ячейку сети в песок. Мигом переложив ее вместе с отпрысками в морилку, я закрыл крышку, потом принес из машины эфир и через мелкую металлическую сетку в крышке морилки принялся лить его внутрь, пока им хорошенько не пропиталась мягкая прокладка.

¹ От греческих слов *kryptos* — «тайный», «скрытый» и *zoe* — «жизнь», «образ жизни».

Как красиво она будет смотреться в моей коллекции! Дети, конечно, умрут и свалятся с нее, но я приклею их на место и сделаю так, чтобы они приняли прежнее положение; а потом я стану гордым обладателем огромной самки *pandimus*, к спине которой прильнули четырнадцать отпрысков! Я был чрезвычайно рад.

Взяв морилку (я чувствовал, как самка скорпиона неистово мечется внутри), я положил ее в багажник вместе с сеткой и лопаткой. После этого сел в машину, закурил и поехал дальше.

Чем более я чем-то доволен, тем медленнее еду. Теперь я ехал довольно неторопливо, и у меня, наверное, целый час ушел на то, чтобы добраться до Бир-Рауд-Селима.

Местечко оказалось на редкость унылым. По левую сторону находились единственная бензоколонка и деревянная хибара. Справа стояли еще три хибары, каждая размером с сарай, в котором хранят горшки с рассадой. Все остальное было пустыней. Вокруг — ни души. Было без двадцати два, и температура в машине составляла 106° по Фаренгейту.

Глупо потратив время на то, чтобы вскипятить воду, прежде чем выехать из Исмаилии, я совершенно забыл заправиться бензином, и стрелка показывала, что в баке осталось чуть меньше двух галлонов. Этого должно хватить в обрез, но может и не хватить. Я подрулил к бензоколонке и стал ждать. Никто не появлялся. Я посигналил, и четыре специально настроенных гудка „лагонды“ разнесли на всю пустыню „Son gia mille e tre!“¹. Никто не появлялся. Я еще раз посигналил.



пропели гудки. Фраза Моцарта звучала в этой обстановке великолепно. Однако никто так и не появился. Похоже, что обитателям Бир-Рауд-Селима было наплевать на моего друга дона Джованни и на тысячу трех женщин, которых он лишил девственности в Испании².

Наконец, после того, как я посигналил раз шесть, не меньше, дверь хибары, стоявшей за бензоколонкой, открылась и на пороге

¹ «А испанок — тысяча три» (*ut.*).

² Речь идет об опере австрийского композитора В. А. Моцарта «Наказанный распутник, или Дон Жуан» (1787), по-итальянски — «Дон Джованни»

появился довольно высокий мужчина, который принялся обеими руками застегиваться на все пуговицы. Занимался он этим не спеша и, пока не закончил, даже не взглянул на „лагонду“. Я смотрел на него в открытое окно. Спустя какое-то время он сделал первый шаг в мою сторону... но переступил очень, очень медленно... и затем сделал второй шаг...

„О боже! — тотчас пронеслось у меня в голове. — Да его же спирохеты замучили!“

Он передвигался медленно, пошатываясь, неуклюжей походкой человека, подверженного сухотке спинного мозга. Делая шаг, он высоко заносил ногу и потом резко опускал ее на землю, будто пытался раздавить какое-то опасное насекомое.

Смоюсь-ка я лучше отсюда, подумал я. Успеть бы завести мотор да отъехать, прежде чем он приблизится ко мне. Но я знал, что не смогу этого сделать. Мне был нужен бензин. Я сидел в машине и неотрывно смотрел, как это жуткое создание с трудом передвигается по песку. Он, должно быть, уже много лет болен этой ужасной болезнью, иначе она не перешла бы в сухотку спинного мозга. В профессиональных кругах ее называют *tabes dorsalis*, и это означает, что больной страдает от перерождения тканей позвоночника. Но знали бы вы, о мои недруги и друзья мои, что дело в таких случаях обстоит гораздо хуже: происходит медленное и безжалостное уничтожение нервных волокон сифилитическими токсинами.

Между тем человек — назову его арабом — подошел к машине с той стороны, где сидел я, и заглянул в открытое окно. Я отпрянул от него, моля Бога, чтобы он не приблизился более ни на дюйм. Вне всякого сомнения, это был один из самых заразных больных, которых мне когда-либо доводилось видеть. Лицо его было похоже на старинную деревянную резьбу, изъеденную червями, и, глядя на него, я подумал — сколько же еще болезней мучают этого человека помимо сифилиса.

— Саям, — пробормотал он.

— Заполни бак, — сказал я ему.

Он и с места не сдвинулся, с интересом рассматривая салон „лагонды“. От него исходил мерзкий, тошнотворный запах.

— Поторапливайся! — резко проговорил я. — Мне нужен бензин!

Он взглянул на меня и ухмыльнулся. Это была не усмешка даже, а именно презрительная, издевательская ухмылка, которая,

казалось, говорила: „Я — король заправочной станции Бир-Рауд-Селима! Ну-ка, попробуй дотронуться до меня!“ В уголок его глаза уселась муха. Он не сделал ни малейшего движения, чтобы согнать ее.

— Значит, вам нужен бензин? — спросил он, как бы поддразнивая меня.

Я хотел было разразиться ругательствами в его адрес, однако вовремя спохватился и любезно ответил:

— Да, пожалуйста, я был бы тебе за это весьма признателен.

В продолжение нескольких минут он хитро поглядывал на меня, словно хотел удостовериться, что я не разыгрываю его, затем кивнул, будто бы удовлетворившись моим поведением. Повернувшись, он медленно направился к задней части машины. Я опустил руку в карман на дверце и достал бутылку „Гленморанжи“. Плеснув в стакан изрядную порцию, я принялся потягивать виски. Лицо этого человека только что находилось в ярде от меня; его зловонное дыхание проникло внутрь салона... и кто знает, сколько миллиардов вирусов перенеслось по воздуху? В подобных случаях лучше всего простерилизовать рот, а заодно и горло глотком шотландского виски. К тому же виски еще и успокаивает. Я осушил стакан, налил еще один и скоро успокоился. На соседнем сиденье лежал арбуз. Мне пришло в голову, что кусок арбуза наверняка подействует на меня освежающе. Я вынул нож из чехла и отрезал толстый кусок. Потом кончиком ножа тщательно выковырял все черные семечки, складывая их в арбузную корку.

Я сидел и попивал виски и ел арбуз. И то и другое было очень вкусно.

— С бензином готово, — молвил ужасный араб, возникнув возле окна. — Проверю воду и масло.

Я бы предпочел, чтобы он держался подальше от „лагонды“, но, не желая связываться с ним, промолчал. Тяжело ступая, он приблизился к передней части машины, и его походка напомнила мне пьяного берлинского штурмовика,двигающегося очень медленным гусиным шагом.

Клянусь, у него не что иное, как *tabes dorsalis*.

Единственное другое заболевание, которое способно вызвать такую странную походку, когда при ходьбе высоко поднимают ноги, — это хронический авитаминоз. Наверняка у него и авитаминоз. Я отрезал еще кусок арбуза и минуту-другую был занят тем, что

выковыривал с помощью ножа семечки. Когда я оторвался от своего занятия, то увидел, что араб поднял капот с правой стороны и склонился над мотором. Его голова и плечи не были видны, как и его руки. Что он там делает? Ведь масло наливают слева. Я постучал по ветровому стеклу. Он, казалось, не слышал меня. Я высунулся из окна и закричал:

— Эй! Вылезай оттуда!

Медленно выпрямившись, он вынул свою правую руку из внутренних мотора, и я увидел, что в руке он держит что-то длинное, извивающееся и очень тонкое.

„Боже милостивый! — подумал я. — Да ведь он там змею нашел!“

Ухмыляясь, он подошел ко мне, чтобы я мог получше разглядеть, что у него было в руке; и только теперь я увидел, что это вовсе не змея, а приводной ремень „лагонды“!

Пока я молча разглядывал испорченный приводной ремень, меня внезапно охватил ужас при мысли о том, что теперь я, возможно, отрезан от всего мира — один на один в такой глухомани с этим омерзительным типом.

— Тут вот какое дело, — говорил араб, — он держался на одной ниточке. Хорошо, что я это заметил.

Я взял у него ремень и внимательно его осмотрел.

— Да ты ведь его отрезал! — вскричал я.

— Отрезал? — тихо переспросил он. — Зачем мне его отрезать?

Откровенно говоря, я не мог с точностью утверждать, отрезал он его или нет. Если он и сделал это, то тогда должен был бы взять на себя труд обработать обрезанные концы с помощью какого-нибудь инструмента, чтобы было похоже на обыкновенный разрыв. И все равно я склонялся к тому, что он обрезал ремень, а если так, то оправдывались мои самые мрачные предчувствия.

— Я полагаю, ты понимаешь, что без приводного ремня я далеко не уеду? — спросил я у него.

Он снова ухмыльнулся своим ужасным кривым ртом, обнажив гнилые зубы.

— Если вы сейчас поедете, — сказал он, — то вода в радиаторе закипит через три минуты.

— И что ты предлагаешь?

— Я достану вам другой приводной ремень.

— Вот как?

— Разумеется. Здесь есть телефон, и, если вы заплатите за разговор, я позвоню в Исмаилию. В Каир позвоню. Нет проблем.

— Нет проблем! — вскричал я, вылезая из машины. — А когда, по-твоему, скажи на милость, приводной ремень доставят в это богом забытое место?

— Каждое утро часов около десяти здесь проезжает почтовый грузовик. Ремень будет у вас завтра.

Да у него на все вопросы есть ответы. Он даже не задумывается, прежде чем ответить.

Этот мерзавец, подумал я, уже, наверное, не раз отрезал приводные ремни.

За ним нужен глаз да глаз, решил я.

— В Исмаилии не найти приводного ремня к этой машине, — сказал я. — Его можно достать только в Каире. Я сам туда позвоню.

То, что здесь был телефон, немного успокоило меня. Телеграфные столбы тянулись по пустыне вдоль всей дороги, и я увидел, что от ближайшего столба к хибаре идут два провода.

— Я попрошу, чтобы из Каира немедленно прислали сюда кого-нибудь специально, — добавил я.

Араб посмотрел на дорогу в Каир, находящийся милях в двухстах.

— Кто это поедет шесть часов сюда, а потом шесть часов обратно из-за приводного ремня? — спросил он. — Почтой будет быстрее.

— Покажи, где тут телефон, — сказал я, направляясь к хибаре.

И тут пренеприятная мысль пронзила меня, и я остановился.

Да разве смогу я воспользоваться зараженным аппаратом этого человека? Мне придется прижать трубку к уху, и я почти наверняка коснусь ее ртом; что бы там ни говорили врачи о невозможности подхватить сифилис воздушно-капельным путем, я им не верю. Сифилитическая трубка — это сифилитическая трубка, и чтобы я близко к своим губам ее поднес? Да ни за что, покорнейше благодарю. Я и в хибару-то его не войду.

Я стоял под палящими лучами солнца и глядел на обезображенное болезнью лицо араба, а араб смотрел на меня как ни в чем не бывало.

— Так вам нужен телефон? — спросил он.

— Нет, — ответил я. — Ты можешь прочитать по-английски?

— О да.

— Очень хорошо. Я напишу тебе фамилии моих торговых агентов и марку машины, а также мою фамилию. Меня там знают. Скажешь им, что от них требуется. И послушай... скажи, чтобы немедленно прислали специального курьера за мой счет. Я им хорошо заплачу. А если они на это не пойдут, скажи им, что они обязаны вовремя отправить в Исмаилию приводной ремень, чтобы не упустить почтовый грузовик. Понял?

— Нет проблем, — сказал араб.

Я написал все, что нужно, на клочке бумаги и вручил ему. Он направился к хибаре своей медленной сифилитической походкой и скрылся внутри. Я закрыл капот. Затем сел за руль, чтобы обдумать ситуацию.

Я налил еще виски и закурил. Но ведь должно быть на этой дороге какое-то движение. До наступления ночи наверняка кто-нибудь проедет мимо. Однако поможет ли мне это? Нет, не поможет — если только я не готов к тому, чтобы попросить подвезти меня, а багаж оставить на попечение араба. Готов ли я к такому? Этого я не знал. Пожалуй, да. Но если мне придется провести здесь ночь, то я запрусь в машине и постараюсь как можно дольше бодрствовать. Ни за что на свете не войду в хибару, в которой обитает этот тип. И к пище его не притронусь. У меня виски и вода, поларбуза и плитка шоколада. Этого достаточно.

А вот жара была совсем некстати. В машине термометр показывал по-прежнему что-то около 104°. На солнце было еще хуже. Я обильно потел. Боже мой, надо же застрять в таком месте! Да еще очутиться в такой компании!

Минут через пятнадцать араб вышел из хибары. Все то время, что он шел до машины, я не спускал с него глаз.

— Я позвонил в гараж в Каире, — сказал он, просунув голову в окно. — Приводной ремень доставят завтра на почтовом грузовике. Все в порядке.

— Ты попросил их, чтобы они прислали его немедленно?

— Они говорят, что это невозможно.

— Ты точно их об этом попросил?

Он склонил голову набок и ухмыльнулся своей хитрой презрительной ухмылкой. Я отвернулся, ожидая, что уж теперь-то он уйдет. Он, однако, продолжал стоять на месте.

— У нас есть дом для гостей, — сказал он. — Вы там сможете хорошо выспаться. Моя жена приготовит еду, но вам придется за это заплатить.

— Кто здесь есть еще, кроме тебя и твоей жены?

— Один человек, — ответил он, махнув рукой в направлении трех хижин по ту сторону дороги. Обернувшись, я увидел мужчину, стоявшего в дверном проеме средней хижины, — невысокого, плотного сложения мужчину в грязных штанах цвета хаки и такой же рубашке. Он стоял совершенно неподвижно, прячась в тени дома, и руки его висели по бокам. Он смотрел на меня.

— Кто это? — спросил я.

— Салех.

— Что он здесь делает?

— Мне помогает.

— Я буду спать в машине, — сказал я. — Твоей жене не нужно готовить еду. У меня своя есть.

Араб пожал плечами, повернулся и побрел назад к той хижине, где был телефон. Я остался в машине. Что мне еще было делать? Времени уже больше половины четвертого. Часа через три-четыре станет немного прохладнее. Тогда я смогу прогуляться и, быть может, поймать несколько скорпионов. А пока мне придется примириться со своим положением. Я протянул руку к заднему сиденью, где стоял ящик с книгами, и, не глядя, взял первый попавшийся том. В ящике находилось тридцать или сорок лучших в мире книг, все их можно перечитывать сотни раз, и с каждым разом они нравятся все больше. Мне было все равно, какая из них попадет под руку. Оказалось, я вытащил „Естественную историю Сельборна“¹. Я открыл ее наугад..

„...Больше двадцати лет назад в нашей деревне жил один слабоумный юноша. Я хорошо его помню. Он с детства обнаруживал сильное влечение к пчелам; они служили ему пропитанием, развлечением, были его единственной страстью. А поскольку у таких людей редко бывает больше одного пристрастия, то и наш юноша направлял все свое усердие на это занятие. Зимой он почти все время спал под крышей отцовского дома, расположившись у откры-

¹ «Естественная история и древности Сельборна» (1789). Автор — Г. Уайт (1720–1793), английский натуралист и священнослужитель. Сельборн — местечко в графстве Гемпшир, где родился Г. Уайт. Первая в Англии работа по естественной истории, признанная классической.

того огня, погрузившись в состояние, близкое к спячке. Он редко покидал уютный теплый уголок, но летом оживал, употребляя всю свою энергию на поиски добычи в полях и на залитых солнцем берегах. Поживой его становились медоносные пчелы, шмели, осы; укусов их он не страшился, хватая их *nudis minibus*¹, тотчас же обезоруживая и высасывая медовый желудок. Иногда он прятал их на груди, за воротом рубахи, иногда заточал в бутылки. Он был *merops apiaster*, или большой охотник до пчел, и представлял немалую опасность для людей, которые держали пчел, ибо тайком пробирался на их пасеки и, усевшись перед каким-нибудь ульем, принимался стучать по нему пальцами и таким образом ловил вылетавших насекомых. Бывали случаи, когда он опрокидывал ульи ради меда, который страстно любил. Если кто-то приправлял мед специями, он принимался ходить вокруг бочек и сосудов, выпрашивая глоток того, что называется пчелиным вином. Расхаживая по своим делам, он бормотал себе что-то под нос, издавая при этом звук, похожий на жужжание пчел...

Я оторвался от книги и огляделся. Человек, неподвижно стоявший по ту сторону дороги, исчез. Тихо было — до жути. Полное безмолвие и дикость этого места производили глубоко тягостное впечатление. Я знал, что за мной наблюдают. Знал, что кто-то внимательно следит за каждым моим самым незначительным движением, за каждым глотком виски, который я делал, за каждой затяжкой. Я ненавижу насилие и никогда не ношу оружия, но сейчас оно бы мне не помешало. Какое-то время я размышлял над тем, не завести ли мне машину и не проехать ли хоть немного, пока не перегреется мотор. Но куда я смогу уехать? Не очень-то далеко при такой жаре и без приводного ремня. Может, одну милю, самое большее две...

Нет, это ни к черту не годится. Останусь-ка лучше на месте и почитаю.

Спустя, должно быть, час я увидел, как по дороге со стороны Иерусалима движется в моем направлении маленькая черная точка. Я отложил книгу, не отрывая глаз от точки. Она становилась все больше и больше. Двигалась она с огромной, просто с удивительной скоростью. Я вышел из „лагонды“ и поспешил встать у обочины, чтобы вовремя дать знак водителю остановиться. Машина подъез-

¹ Голыми руками (лат.).

жала все ближе и ближе и на расстоянии примерно в четверть мили начала замедлять ход. И тут я обратил внимание на форму радиатора. „Роллс-ройс“! Я поднял руку и так и застыл с вытянутой рукой, пока большой зеленый автомобиль, за рулем которого сидел мужчина, не съехал с дороги и не остановился возле моей „лагонды“.

Я был вне себя от радости. Будь это „форд“ или „моррис“, я бы уже был доволен, но не радовался бы так сильно. То обстоятельство, что это „роллс-ройс“ — а на его месте вполне мог бы быть и „бентли“, и „изотта“¹ или же еще одна „лагонда“, — служило достаточной гарантией того, что мне будет оказана необходимая помощь, ибо — не знаю, известно вам это или нет, — людей, владеющих очень дорогими автомобилями, связывает могучее братство. Они автоматически уважают друг друга, а уважают они друг друга просто-напросто потому, что богатство уважает богатство. По сути дела, очень богатый человек никого так не уважает на всем белом свете, как другого очень богатого человека, и поэтому, куда бы ни лежал их путь, естественно, они всюду ищут друг друга, а при встрече используют многообразные опознавательные знаки. У женщин, пожалуй, наиболее распространено ношение массивных драгоценностей, однако известное предпочтение отдается и дорогим автомобилям, чем пользуются представители обоих полов. Такой автомобиль — своего рода передвижная афиша, публичная декларация богатства, он служит удостоверением, дающим право на членство в этом изысканном неофициальном обществе — Союзе Очень Богатых Людей. Сам я уже давно состою его членом и весьма этому рад. Когда я встречаюсь с другим членом, как это должно было произойти сейчас, мной тотчас же овладевает чувство единения. Я проникаю к этому человеку уважением. Мы говорим на одном языке. Он один из нас. Поэтому я имел самые веские причины быть вне себя от радости.

Водитель „роллс-ройса“ вышел из машины и приблизился ко мне. Это был темноволосый человечек небольшого роста, с кожей оливкового цвета, одетый в безупречный белый льняной костюм. Вероятно, сириец, подумал я. А может, и грек. Несмотря на зной, он чувствовал себя великолепно.

— Добрый день, — сказал он. — У вас неприятности?

¹ «Изотта-Фраскини», дорогой итальянский спортивный автомобиль

Я поприветствовал его и затем во всех подробностях рассказал, что произошло.

— Мой дорогой, — произнес он на превосходном английском, — дорогой мой, как это ужасно. Вам очень не повезло. Застрять в таком месте!

— Увы!

— И вы говорите, что новый приводной ремень для вас точно заказан?

— Да, — ответил я, — если можно положиться на хозяина этого заведения.

Тут к нам подковылял араб, который вышел из своей хижины, еще когда „роллс-ройс“ только собирался остановиться, и незнакомец принялся быстро расспрашивать его по-арабски относительно предпринятых им на мой счет шагов. Мне показалось, они хорошо знакомы, и было ясно, что араб испытывал большое почтение к новопривывшему. Он буквально расстился перед ним.

— Что ж, похоже, все в порядке, — произнес наконец незнакомец, обернувшись ко мне. — Но совершенно очевидно, что до утра вам отсюда не выбраться. Куда вы держите путь?

— В Иерусалим, — ответил я. — Но меня не очень-то радует, что ночь придется провести в этом проклятом месте.

— Я вас понимаю, мой дорогой. Это было бы весьма неудобно.

Он улыбнулся мне, обнажив великолепные белые зубы. Потом достал портсигар и предложил сигарету. Портсигар был золотой, инкрустированный по диагонали тонкой полоской зеленого нефрита. Замечательная вещица. Я взял сигарету. Он дал мне прикурить, потом прикурил сам.

Незнакомец глубоко затянулся. Потом запрокинул голову и выпустил дым в сторону солнца.

— Да нас солнечный удар хватит, если мы будем здесь стоять, — сказал он. — Вы позволите мне предложить вам кое-что?

— Разумеется.

— Очень надеюсь, что вы не сочтете мое предложение бесцеремонным, поскольку оно исходит от совершенно незнакомого вам человека...

— Прошу вас...

— Здесь вам никак нельзя оставаться, поэтому я предлагаю вам переночевать в моем доме, но для этого нам нужно немного вернуться.

Ну вот, что я говорил! „Роллс-ройс“ улыбался „лагонде“, как никогда бы не улыбнулся „форду“ или „моррису“!

— Вы имеете в виду Исмаилию? — спросил я.

— Нет-нет, — рассмеявшись, ответил он. — Я живу тут неподалеку, вон там.

Он махнул рукой в ту сторону, откуда приехал.

— Но ведь вы ехали в Исмаилию? Мне бы не хотелось, чтоб вы из-за меня меняли свои планы.

— Вовсе не в Исмаилию, — сказал он. — Я приехал сюда за корреспонденцией. Мой дом — возможно, это удивит вас — находится совсем недалеко отсюда. Видите вон ту гору? Это Магара. Я живу как раз за ней.

Я посмотрел на гору. Она находилась милях в десяти к северу — желтая скалистая глыба, тысячи, наверное, две футов высотой.

— Не хотите ли вы сказать, что у вас действительно дом в этом... безлюдье? — удивился я.

— Вы мне не верите? — улыбаясь, спросил он.

— Разумеется, я вам верю, — ответил я. — Меня, впрочем, ничто не удивляет. Кроме, пожалуй, того, — и я улыбнулся ему в ответ, — кроме того, что здесь, посреди пустыни, можно повстречать незнакомого человека, который будет обращаться с тобой как с братом. Я чрезвычайно тронут вашим предложением.

— Чепуха, мой дорогой. Мотивы, которые я преследую, исключительно эгоистичны. В этих краях нелегко найти цивилизованное общество. Я необычайно рад тому обстоятельству, что за ужином у меня будет гость. Позвольте представиться — Абдул Азиз.

Он слегка поклонился.

— Освальд Корнелиус, — сказал я. — Весьма рад.

Мы пожали друг другу руки.

— Отчасти я живу в Бейруте, — сказал он.

— А я в Париже.

— Превосходно. Так что ж, едем? Вы готовы?

— Но... моя машина, — сказал я. — Я могу ее здесь оставить?

— Об этом не беспокойтесь. Омар — мой друг. Вид у него не ахти какой — бедный малый! — но он вас не подведет, раз вы со мной. А второй, Салех, хороший механик. Он приладит вам завтра приводной ремень, когда его привезут. Сейчас дам указания.

Салех, мужчина, стоявший прежде по ту сторону дороги, подошел к нам, пока мы разговаривали. Мистер Азиз отдал ему распоря-

жения. Потом он поговорил с обоими мужчинами насчет охраны автомобиля. Омар и Салех слушали его, неловко кланяясь. Я направился к „лагонде“, чтобы взять чемодан. Мне нужно было скорее переодеться.

— Кстати, — крикнул мне вдогонку Азиз, — к ужину я обычно надеваю вечерний костюм.

— Разумеется, — пробормотал я, быстро закинув назад чемодан, который уже держал в руках, и беря другой.

— В основном я делаю это ради женщин. Это они любят переодеваться к ужину.

Я резко обернулся и посмотрел в его сторону, но он уже садился в машину.

— Готовы? — спросил он.

Чемодан я положил на заднее сиденье „роллс-ройса“, а сам сел на переднее, и мы тронулись в путь.

Во время поездки мы неторопливо беседовали о том о сем. Он рассказал мне, что занимается торговлей коврами. У него были конторы в Бейруте и Дамаске. Его предки, по его словам, занимались торговлей сотни лет.

Я упомянул о том, что на полу спальни моей парижской квартиры лежит дамасский ковер семнадцатого века.

— Быть этого не может! — с восторгом воскликнул он, едва не съехав с дороги. — Из шелка и шерсти, но больше из шелка? А основа соткана из золотых и серебряных нитей?

— Да, — ответил я. — Именно так.

— Но, дорогой мой! Такая вещь не должна лежать на полу!

— По нему ходят только босыми ногами, — заметил я.

Это его успокоило. Похоже, он так же любил ковры, как я люблю синие вазы цзинь-яо.

Скоро мы свернули с гудронной дороги влево, на твердую каменистую грунтовку, и поехали прямо через пустыню по направлению к горе.

— Это моя собственная подъездная дорога, — сказал мистер Азиз. — Она тянется на пять миль.

— У вас и телефон есть? — спросил я, увидев, что столбы, стоящие вдоль главной дороги, тянутся и вдоль этой частной.

И тут меня вдруг поразила странная мысль.

Араб на заправочной станции... У него тоже есть телефон...

Не этим ли объясняется случайный приезд мистера Азиза?

Быть может, этот скучающий здесь богачей изобрел хитроумный способ увозить путешественников с главной дороги, чтобы доставлять себе на ужин то, что он называет „цивилизованным обществом“? Не он ли дал арабу указание выводить из строя один за другим автомобили господ соответствующей наружности, проезжающих мимо? „Просто отрежь приводной ремень, Омар, и сразу звони мне. Но смотри, чтобы с виду господин был приличный, в хорошем автомобиле. Я тут же подскочу и посмотрю, стоит ли приглашать его в дом...“

Что за глупости приходят мне в голову!

— Мне кажется, — говорил мой спутник, — что вам любопытно узнать, зачем это мне взбрело в голову поселиться в таком месте.

— По правде говоря, да.

— Этим все интересуются, — сказал он.

— Все? — переспросил я.

Так-так, подумал я. Значит, все.

— Я живу здесь, — продолжал он, — потому, что ощущаю духовную связь с пустыней. Меня к ней тянет так же, как моряка к морю. Вам это кажется очень странным?

— Нет, — ответил я, — мне это вовсе не кажется странным.

Он умолк, затянувшись сигаретой. Потом снова заговорил:

— Это одна причина. Но есть и другая. Вы семейный человек, мистер Корнелиус?

— К несчастью, нет, — осторожно ответил я.

— А я семейный, — сказал он. — У меня есть жена и дочь. Обе, во всяком случае на мой взгляд, очень красивы. Дочери только что исполнилось восемнадцать. Она закончила прекрасную школу в Англии, а теперь, — он пожал плечами, — теперь просто сидит дома и ждет, когда можно будет выйти замуж. А чем можно занять красивую молодую девушку в этот период ожидания? Одну я ее отпустить никуда не могу. С нее глаз не сводят. Когда я беру ее с собой в Бейрут, мужчины так и вьются вокруг нее, точно волки, дожидаясь момента, чтобы цапнуть. Меня это с ума сводит. Я все про мужчин знаю, мистер Корнелиус. Мне известно, на что они способны. Не я один сталкиваюсь с этой проблемой. Но другие умудряются каким-то образом воспринимать ее стоически. Они отпускают своих дочерей на волю. Просто выпроваживают их из дома и занимаются своими делами. Я так не могу. Просто не могу себя заставить так поступить! Не могу позволить, чтобы ее искалечил

какой-нибудь там Ахмед, Али и Хамил или кто там еще попадется ей на пути. И это и есть, как вы понимаете, вторая причина, почему я живу в пустыне, — я хочу еще несколько лет защищать мое дорогое дитя от диких зверей. Вы, кажется, сказали, что у вас совсем нет семьи, мистер Корнелиус?

— Боюсь, что это действительно так.

— О! — Он, похоже, был разочарован. — То есть вы хотите сказать, что никогда и не были женаты?

— Н-нет, — сказал я. — Нет, никогда.

Я ждал, что сейчас последует еще один неизбежный вопрос. И минуту спустя он был задан.

— А вам никогда не хотелось жениться и иметь детей?

Все задают этот вопрос. Это все равно что спросить: „Так, значит, вы гомосексуалист?“

— Один раз хотелось, — сказал я. — Только один раз.

— И что же произошло?

— В моей жизни, мистер Азиз, была только одна женщина... а после того, как ее не стало...

Я вздохнул.

— Вы хотите сказать, что она умерла?

Я кивнул, не в силах произнести что-нибудь еще.

— Мой дорогой, — сказал он. — О, мне так жаль. Простите мое чрезмерное любопытство.

Какое-то время мы ехали молча.

— Удивительно, — пробормотал я, — но человек теряет всякий интерес к вопросам пола после того, как с ним случается такое. Я, пожалуй, испытал самое настоящее потрясение. Забыть это невозможно.

Он сочувственно кивнул, принимая все за чистую монету.

— Вот я и путешествую, чтобы забыться. И уже много лет...

Мы достигли подножия Магары и последовали по дороге, которая огибала гору и шла к ее невидимой — северной — стороне.

— За следующим поворотом вы увидите дом, — сказал мистер Азиз.

Мы свернули за поворот — и дом вырос перед нами! Я замигал, уставившись на него, и скажу вам, что в первые несколько мгновений буквально не мог поверить своим глазам. Передо мной стоял белый замок — именно замок — высокий, с башенками, башнями и шпилями, возникший как по волшебству среди яркой зелени

у подножия раскаленной солнцем голой желтой горы! Зрелище было фантастическое! Казалось, я очутился в сказке Ганса Христиана Андерсена или братьев Гримм. В свое время я видел множество романтических замков в долинах Рейна и Луары, но никогда прежде мне не приходилось лицезреть ничего более изящного, грациозного и сказочного! Когда мы подъехали ближе, я увидел сад с подстриженной травой и финиковыми пальмами; высокая белая стена отделяла его от пустыни.

— Вам нравится? — улыбаясь, спросил меня хозяин.

— Потрясающе! — воскликнул я. — Словно все волшебные замки собрались со всего света в одном месте.

— Именно! — сказал он. — Это самый настоящий волшебный замок! Я построил его специально для моей дочери, для моей прекрасной принцессы.

А прекрасная принцесса заточена в его стенах строгим и ревнивым отцом, королем Абдулом Азизом, который отказывает ей в удовольствии мужского общества. Однако берегитесь, ибо на выручку ей спешит принц Освальд Корнелиус! Тайком от короля он собирается похитить прекрасную принцессу, чтобы сделать ее очень счастливой.

— Вы должны признать, что он отличается от прочих замков, — сказал мистер Азиз.

— Совершенно согласен.

— И в нем уютно и покойно. Я очень хорошо здесь сплю. И принцесса хорошо спит. А в эти окна ночью не проникнет ни один молодой человек с дурными намерениями.

— Разумеется, — произнес я.

— Когда-то здесь был небольшой оазис, — продолжал он. — Я купил его у правительства. Воды нам хватает, у нас есть бассейн и три акра земли.

Мы въехали в главные ворота, и, должен сказать, я испытал удивительное чувство, неожиданно оказавшись в миниатюрном раю с зелеными газонами, клумбами и пальмами. Кругом царил образцовый порядок, а на лужайках играли фонтаны. Едва мы остановились перед входом, как нам навстречу выбежали двое слуг в безупречных балахонах и алых фесках, чтобы открыть дверцы.

Но почему их двое? Разве они появились бы оба, если бы не ожидали двоих людей? Я задумался. Мои предположения насчет того, что на ужин меня заманили, оправдывались. Все это очень забавно.

Я последовал за хозяином через главный вход, и меня тотчас же охватило то приятное трепетное чувство, которое возникает, когда в знойный день неожиданно оказываешься в комнате с кондиционером. Я очутился в холле, пол которого был из зеленого мрамора. Справа от меня широкий сводчатый проход вел в большую комнату, и я на секунду мысленно представил себе холодные белые стены, прекрасные картины и изысканную мебель в стиле Людовика XV. Надо же оказаться в таком месте, да еще посреди Синайской пустыни!

Между тем по лестнице медленно спускалась женщина. Хозяин в тот момент отвернулся, давая указания слугам, и не сразу ее увидел, поэтому, дойдя до нижней ступени, женщина остановилась и, положив на перила обнаженную руку, напомнившую мне белую анаконду, принялась рассматривать меня, точно она была царицей Семирамидой, стоящей на ступенях Вавилона, а я — предполагаемым фаворитом, который может прийтись ей по вкусу, а может — и нет. У нее были черные как смоль волосы, а фигура такая, что я облизнулся.

Мистер Азиз обернулся и, увидев ее, сказал:

— А, это ты, дорогая. Я привел тебе гостя. У него сломалась машина на заправочной станции — вот незадача! — и я попросил его переночевать у нас. Мистер Корнелиус... моя жена.

— Очень приятно, — тихо произнесла она, подходя ко мне.

Я взял ее руку и поднес к губам.

— Пленен вашим гостеприимством, мадам, — пробормотал я.

От ее руки исходил какой-то дьявольский аромат. В нем было что-то животное. Он точно вобрал в себя неуловимые половые секреты кашалота, мускусного оленя-самца и бобра — секреты невыразимо острые и бесстыдные; в смеси запахов они властвовали безраздельно, давая возможность слабо проявить себя только чистым растительным маслам разных экзотических растений. Потрясающе! И вот что еще я успел заметить в то первое мгновение: когда я взял ее руку, она, в отличие от прочих женщин, не позволила той вяло лежать в моей ладони, подобно филе сырой рыбы. Напротив, положив четыре пальца сверху, большой палец она пропустила снизу, что дало ей возможность — клянусь, так оно и было! — легонько, но многозначительно пожать мне руку, когда я наносил приличествующий ситуации поцелуй.

— А где же Дайана? — спросил мистер Азиз.

— Она у бассейна, — ответила женщина.

И, обернувшись ко мне, спросила:

— А вы не хотели бы искупаться, мистер Корнелиус? Вы, должно быть, изнываете от жары, проведя столько времени на этой ужасной заправочной станции?

У нее были большие темные глаза, казавшиеся почти совсем черными, и, когда она улыбнулась мне, кончик ее носа приподнялся и ноздри расширились.

Принц Освальд Корнелиус передумал. Ему совершенно безразлична прекрасная принцесса, которую ревнивый король держит в замке пленницей. Пожалуй, он похитит королеву.

— Мм... — произнес я.

— А я искупаюсь, — сказал мистер Азиз.

— Давайте все искупаемся, — сказала его жена. — Плавки мы для вас найдем.

Я спросил, нельзя ли сначала подняться в отведенную мне комнату, чтобы после купания я мог надеть чистую рубашку и чистые брюки, на что хозяйка ответила:

— Разумеется, — и велела одному из слуг проводить меня.

Мы поднялись на третий этаж и вошли в большую белую спальню, в которой стояла двуспальная кровать невероятных размеров. Рядом была ванная комната, оборудованная всем необходимым, с бледно-голубой ванной и биде ей в пару. Все было безупречно чисто и в полной мере отвечало моему вкусу. Пока слуга распаковывал мой чемодан, я подошел к окну и, выглянув в него, увидел огромную пылающую пустыню, простирающуюся желтым морем от самого горизонта до белой садовой стены, которая тянулась как раз под моими окнами. А по эту сторону стены я увидел бассейн, рядом с которым в тени большого розового зонта лежала на спине девушка. На ней был белый купальник; она читала книгу. У нее были длинные стройные ноги и черные волосы. Принцесса.

Ну и дела, подумал я. Белый замок, комфорт, чистота, кондиционированный воздух, две ослепительно прекрасные женщины, внимательно следящий за ними муж и отец и целый вечер впереди! Все так замечательно для меня складывалось, что лучшего нельзя было и желать. Меня весьма прельщало то, что передо мной стояли препятствия. Откровенное обольщение меня уже не увлекало. Это ведь не требует артистизма. Смею вас уверить, мне бы вовсе не хотелось, чтобы мистер Абдул Азиз, этот бдительный сто-

рожевой пес, исчез на ночь по мановению волшебной палочки. Мне не нужны пирровы победы.

Я вышел из комнаты, и слуга направился вслед за мной. Мы спустились по лестнице, и, остановившись на площадке между этажами, я небрежно спросил:

— А что, вся семья спит на этом этаже?

— О да, — ответил слуга. — Вон там комната хозяина, — он указал на дверь, — а рядом — спальня миссис Азиз. Комната мисс Дайаны напротив.

Три отдельные комнаты. Все очень близко друг от друга. Практически недоступны. Я решил приберечь эту информацию на будущее и спустился к бассейну. Хозяин с хозяйкой были уже там.

— Моя дочь Дайана, — сказал хозяин.

Девушка в белом купальнике поднялась, и я поцеловал ей руку.

— Здравствуйте, мистер Корнелиус, — произнесла она.

От нее исходил тот же тяжелый животный запах, что и от матери, — серая амбра, мускус и бобровая струя! Ну и запах — дух самки, бесстыдный и манящий! Я принюхивался, как пес. Мне показалось, что она красивее своей родительницы, если это вообще возможно. Такие же большие темные глаза, такие же черные волосы и такой же овал лица, но ноги бесспорно длиннее, и было в ее фигуре что-то такое, что давало ей некоторое преимущество в сравнении с формами старшей женщины; она была более волнообразна, более подвижна и почти наверняка гораздо более гибка. Между тем у старшей женщины, которой было лет, наверное, тридцать семь, хотя выглядела она не более чем на двадцать пять, светились искорки в глазах, которым ее дочери нечего было противопоставить.

Принц Освальд только что поклялся, что похитит королеву — и к черту принцессу. Но теперь, когда он увидел принцессу во плоти, он не знает, кого из них предпочесть. Обе — и каждая по-своему — сулили неисчислимые наслаждения, притом одна была невинна и не терпелива, другая — опытна и ненасытна. Правда заключалась в том, что ему хотелось их обеих: принцессу на закуску, а королеву в качестве основного блюда.

— В раздевалке вы найдете плавки, мистер Корнелиус, — говорила между тем миссис Азиз.

Я вошел в пристройку, где и переоделся, а когда вышел из нее, все трое уже плескались в воде. Я прыгнул в бассейн и присоеди-

нился к ним. Вода была такая холодная, что у меня перехватило дыхание.

— Я так и знал, что вы удивитесь, — рассмеявшись, сказал мистер Азиз. — Вода охлаждена. Я велел поддерживать температуру в шестьдесят пять градусов¹. В таком климате холодная вода освежает лучше.

Потом, когда солнце начало садиться, мы сели друг против друга в мокрых купальных костюмах, и слуга принес нам бледный ледяной мартины; именно с этого момента я начал очень медленно, очень осторожно, в присущей только мне манере соблазнять двух дам. Обычно, когда мне дают волю, труда это особого не составляет. Небольшой оригинальный талант, которым мне случилось обладать, — то есть умение гипнотизировать женщину словами, — весьма редко меня подводит. В ход, разумеется, идут не только слова. Сами слова, безобидные, ничего не значащие слова произносятся ртом, тогда как главный посыл, интимное и волнующее обещание, исходит от всех членов и органов тела, а передается через глаза. Как это делается, я, честное слово, сказать не могу. Главное — что это действует безотказно. Как шпанские мушки. Я уверен, что если бы у папы римского была жена и она сидела бы напротив меня, то не прошло бы и пятнадцати минут, как она, стоило бы мне лишь сильно постараться, потянулась ко мне через стол с раскрытыми губами и сверкающими от желания глазами. Это не большой талант, во всяком случае не великий, но я тем не менее благодарен судьбе за то, что она меня им наградила, и всегда тщательно следил за тем, чтобы он не растрчивался попусту.

Итак, мы все четверо — две дивные женщины, маленький чело-вечек и я — сидели тесным полукругом возле плавательного бассейна, удобно устроившись в шезлонгах, потягивая напитки и кожей ощущая лучи заходящего солнца. Я был в хорошей форме и все делал для того, чтобы они вволю посмеялись. Рассказ о жадной графине из Глазго, которая сунула руку в коробку с шоколадными конфетами и была укушена скорпионом, кончился тем, что девушка от смеха сползла с шезлонга, а когда я подробнейшим образом описал внутреннее устройство своего питомника для разведения пауков в саду под Парижем, обе дамы стали буквально корчиться от отвращения и удовольствия.

¹ Примерно 18° по Цельсию.

Именно в этот момент я обратил внимание на то, что мистер Абдул Азиз добродушно и как бы игриво посматривает на меня. „Так-так, — казалось, говорили его глаза, — мы рады узнать, что вы не так уж и равнодушны к женщинам, как пытались уверить нас в машине... Или, быть может, все дело в том, что благоприятная обстановка помогла вам наконец-то забыть ваше горе...“ Мистер Азиз улыбнулся мне, обнажив свои чистые белые зубы. Улыбка вышла дружеской. Я в свою очередь дружески улыбнулся ему в ответ. До чего же он радушный малый! Искренне счастлив тому, что я оказываю дамам столько внимания. Что ж, посмотрим, что будет дальше.

Несколько последовавших за тем часов я пропущу, потому что только после полуночи со мной произошло нечто действительно значительное. Достаточно нескольких коротких фраз для описания предшествовавшего этому времени периода.

В семь часов мы покинули бассейн и возвратились в дом, чтобы переодеться к ужину.

В восемь часов мы собрались в большой гостиной, чтобы выпить еще один коктейль. Обе дамы были разодеты в пух и прах и сверкали жемчугами. На обеих были вечерние платья с глубоким вырезом и без рукавов, доставленные, вне всякого сомнения, из какого-нибудь известного парижского дома мод. Хозяйка была в черном, ее дочь — в бледно-голубом, и опять от них исходил этот пьянящий аромат! Великолепная пара! Старшая женщина чуть заметно сутулилась, что отличает только самых страстных и опытных дам, ибо, так же как у наездницы ноги делаются кривыми оттого, что она постоянно сидит на лошади, так и у страстной женщины некоторым образом округляются плечи, потому что она беспрестанно обнимает мужчин. Это профессиональный изъян, к тому же из всех самый благородный.

Дочь не успела еще приобрести этот знак особого отличия, но, дабы составить о ней мнение, мне достаточно было со стороны окинуть взором ее фигуру и отметить изумительное скользящее движение бедер под плотно облегающим шелковым платьем, когда она проходила по комнате. По обнаженной части ее спины, вдоль позвоночника, тянулись ниточкой крошечные мягкие волнистые волоски, и, когда я стоял за ее спиной, мне трудно было удержаться от искушения провести костяшками пальцев по этим чудесным позвонкам.

В восемь тридцать мы направились в столовую. Последовавший ужин явился поистине великолепным мероприятием, но я не стану здесь тратить время на описание яств и вин. Призвав на помощь свой талант, я на протяжении всего ужина продолжал тонко и коварно играть на чувствах женщин, и к тому времени, когда подали десерт, они таяли у меня на глазах, как масло на солнце.

После ужина мы вернулись в гостиную, где нас ждали кофе и бренди, а затем по предложению хозяина сыграли пару робберов в бридж.

К концу вечера я был уверен в том, что хорошо сделал свое дело. Испытанные приемы меня не подвели. Коли позволят обстоятельства, любая из двух женщин будет моей — стоит только об этом попросить. На сей счет я не заблуждался. Факт очевидный. Неоспоримый. Лицо хозяйки горело от возбуждения, и всякий раз, когда она смотрела на меня через карточный стол, ее огромные темные глаза становились все больше и больше, ноздри расширялись, а рот слегка приоткрывался и обнажался кончик влажного розового языка, протискивавшегося сквозь зубы. Зрелище было удивительно сладострастное, и я не раз бил козырем собственную взятку. Дочь была менее смела, хотя столь же откровенна. Всякий раз, когда мы встречались с ней глазами, а это происходило довольно часто, она на какую-то долю сантиметра приподнимала брови, будто спрашивала о чем-то, потом лукаво, едва заметно улыбалась, тем самым как бы давая ответ.

— Пожалуй, пора спать, — сказал мистер Азиз, сверившись со своими часами. — Уже двенадцатый час. Пойдемте, мои дорогие.

И тут случилось нечто странное. Тотчас же, не задумываясь ни на секунду и даже не бросив взгляда в мою сторону, обе дамы поднялись и направились к двери! Удивительно! Меня это ошеломило. Я не знал, что и думать. Все произошло так быстро. Однако мистер Азиз, кажется, не выказывал недовольства. Голос его — во всяком случае, мне так показалось — звучал, как всегда, приятно. Но он уже выключал свет, ясно давая понять, что ему хотелось бы, чтобы и я шел отдыхать. Какой удар! Я надеялся, что, прежде чем расстаться, либо его жена, либо дочь хотя бы шепнет мне что-нибудь, каких-нибудь три-четыре слова, чтобы я знал, куда мне идти и когда, но вместо этого я стоял дурак дураком возле карточного стола, тогда как две дамы бесшумно выскальзывали из комнаты.

Мы с хозяином последовали за ними по лестнице. На площадке второго этажа мать с дочерью остановились, дожидаясь меня.

— Доброй ночи, мистер Корнелиус, — сказала хозяйка.

— Доброй ночи, мистер Корнелиус, — сказала дочь.

— Доброй ночи, мой дорогой друг, — сказал мистер Азиз. — Надеюсь, у вас есть все, что вам может понадобиться.

Они отвернулись, и мне не оставалось ничего другого, как медленно, неохотно подняться на третий этаж в свою комнату. Я вошел и закрыл за собой дверь. Слуга уже задернул тяжелые парчовые портьеры, однако я раздвинул их, выглянул в окно и вгляделся в ночь. Воздух был теплый и неподвижный, а над пустыней светила блестящая луна. Бассейн при лунном свете казался чем-то вроде огромного зеркала, лежавшего на лужайке, а рядом с ним я увидел четыре шезлонга, в которых мы сидели вчетвером.

Так-так, думал я. Что-то сейчас будет?

Я знал, что единственное, чего я не должен делать в этом доме, — это пытаться выйти из комнаты и отправиться рыскать по коридорам. Это равносильно самоубийству. Много лет назад я узнал, что есть три сорта мужей, с которыми лучше не связываться, — болгары, греки и сирийцы. Ни один из них почему-то не препятствует тому, чтобы вы открыто флиртовали с его женой, но он тотчас же вас убьет, если поймает в момент, когда вы забираетесь к ней в постель. Мистер Азиз был сириец. Поэтому необходима была известная предусмотрительность, и если и намечался какой-то шаг, то он должен был быть сделан не мной, а одной из двух женщин, ибо она (или они) знает наверняка, что безопасно, а что чревато риском. Однако должен признаться: явившись четыре минуты назад свидетелем того, как хозяин заставил их обеих беспрекословно подчиниться его приказанию, я имел мало надежды на какое-либо развитие событий в ближайшем будущем. Беда еще и в том, что я так чертовски распалился.

Я разделся и долго стоял под холодным душем. Это помогло. Затем, поскольку мне никогда не удастся заснуть при луне, я плотно задернул портьеры, забрался в постель и в течение примерно часа читал „Естественную историю Сельборна“ Гилберта Уайта. Это тоже помогло, и наконец, где-то между полуночью и часом ночи, наступило время, когда я смог выключить свет и приготовиться ко сну без излишних сожалений.

Я уже начал засыпать, когда услышал едва различимые звуки. Я их тотчас же узнал. Мне много раз в жизни приходилось слышать эти звуки, но для меня они всегда оставались самыми волнующими на свете и воскрешали в памяти много приятных минут. Они представляли собою железный скрежет, когда металл едва слышно трется о металл, и их производил, их всегда производил тот, кто очень медленно, очень осторожно поворачивал ручку двери снаружи. Я медленно очнулся ото сна. Однако я не двинулся, а просто открыл глаза и стал смотреть в сторону двери; помню, что в ту минуту мне так хотелось, чтобы портьеры были хотя бы немного раздвинуты, тоненький луч лунного света проник в комнату и я смог разглядеть очертания прекрасной фигуры той, которая должна была вот-вот войти ко мне. Однако в комнате было темно, как в застенке.

Я не слышал, как открылась дверь. Ни одна петля не скрипнула. Но по комнате вдруг пронеслось дуновение воздуха, зашуршали портьеры, и мгновение спустя я услышал, как дерево глухо стукнуло о дерево, когда дверь снова осторожно закрылась. Затем, когда ручку отпустили, звякнула щеколда.

В следующее мгновение я услышал, как кто-то на цыпочках крадется ко мне по ковру.

Меня на какую-то секунду охватил ужас при мысли о том, что это вполне может быть мистер Абдул Азиз, приближающийся ко мне с длинным ножом в руке, но тут надо мной склонилось теплое гибкое тело, и женщина прошептала мне на ухо:

— Тише!

— Любовь моя, — заговорил я, гадая, кто же это из них двух мог быть. — Я знал, что ты...

Она быстро закрыла мне рот ладонью.

— Прошу тебя, — прошептала она. — Ни слова больше!

Я не стал спорить. Мои губы ждало более интересное занятие, чем произносить слова. Да и ее тоже.

Здесь я должен прервать свой рассказ. Знаю, на меня это не похоже. Но мне бы хотелось, чтобы меня хотя бы на этот раз избавили от необходимости подробных описаний великолепной сцены, которая последовала далее. У меня на то есть свои причины, и я прошу вас отнестись к ним с уважением. В любом случае вам не помешает разнообразия ради напрячь собственное воображение, и, если хотите, я помогу вам немного, просто и откровенно сказав,

что из многих тысяч женщин, которых я знал в своей жизни, ни одна не доводила меня до таких высот исступленного восторга, как эта дама из Синайской пустыни. Ее ловкость была изумительна, страсть — необычайна, диапазон — невероятен... Она во всякую минуту была готова к новому и сложному маневру. И сверх всего, мне никогда дотоле не приходилось сталкиваться со столь изысканным и тонким стилем. Она была большой искусницей. Она была гением.

Все это, вы можете сказать, явно указывает на то, что моей ночной гостьей, скорее всего, была старшая женщина. И будете не правы. Это ни на что не указывает. Истинная гениальность дается от рождения. С возрастом она не связана почти никак, и должен вас заверить, что в темной комнате у меня не имелось ни малейшего шанса распознать с определенностью, кто из них двух это был. Ни на одну, ни на другую я не решился бы держать пари. В какую-то минуту, после особенно бурной каденции¹, я приходил к убеждению, что это мать. Ну конечно мать! Затем темп вдруг начинал меняться, и мелодия становилась такой детской и невинной, что я ловил себя на мысли: готов поклясться — это дочь. Ну конечно дочь!

Всего досаднее, что истинной правды я не знал. Для меня это было мучительно. И потом, я чувствовал себя посрамленным, ибо знаток, настоящий знаток всегда угадает сорт вина, не глядя на этикетку. Однако на сей раз я определенно попал впросак. В какой-то момент я потянулся за сигаретами, намереваясь раскрыть тайну при свете спички, но она живо схватила меня за руку, и сигареты и спички полетели в другой конец комнаты. Я не раз пытался было задать ей шепотом и сам вопрос, но не успевал произнести и трех слов, как вновь взлетала рука и со звонким шлепком запечатывала мой рот. Весьма притом немилосердно.

Очень хорошо, подумал я. Пока пусть все будет так. Завтра утром, когда мы увидимся внизу при дневном свете, я наверняка узнаю, кто из вас это был. Я узнаю это по румянцу на щеках, по тому, как твои глаза будут смотреть в мои, и по сотне других маленьких предательских примет. Я также узнаю это по следам, которые оставили мои зубы на левой стороне шеи, выше того места, которое прикрывает платье. Довольно коварный прием, подумал я, и так блестяще рассчитанный по времени — этот злонамеренный укус

¹ Virtuозный сольный эпизод в инструментальном концерте.

был нанесен мной в момент наивысшего взлета страсти, — что она ни о чем и не догадалась.

В целом это была поистине незабываемая ночь, и прошло, должно быть, по меньшей мере четыре часа, прежде чем она в последний раз обняла меня и выскользнула из комнаты так же быстро, как и вошла.

На следующее утро я проснулся лишь в одиннадцатом часу. Я поднялся с кровати и раздвинул шторы. Опять ослепительно светило солнце и было жарко. Так всегда начинается день в пустыне. Я понежился в ванне, затем, по обыкновению, тщательно оделся. Я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Мысль о том, что я могу привлечь женщину в свою комнату с помощью одних лишь глаз даже в моем почтенном возрасте, делала меня очень счастливым. И какую женщину! Было бы интересно узнать, кто из них это был. Скоро я это узнаю.

Я неспешно спустился по лестнице в гостиную.

— Доброе утро, мой дорогой, доброе утро! — проговорил мистер Азиз, поднимаясь из-за небольшого письменного стола. — Хорошо провели ночь?

— Великолепно, благодарю вас, — ответил я, стараясь не выдать голосом самодовольства.

Он близко подошел ко мне, обнажая свои очень белые зубы. Его пронизательные глазки медленно передвигались по моему лицу, точно что-то искали.

— У меня для вас хорошие новости, — сказал он. — Пять минут назад звонили из Бир-Рауд-Селима и сообщили, что с почтовым грузовиком прибыл ваш приводной ремень. Салех сейчас его прилаживает, через час все будет готово. Поэтому после завтрака я отвезу вас туда, и вы сможете продолжить путь.

Я выразил ему свою благодарность.

— Очень жаль, что вы нас покинете, — сказал он. — То, что вы у нас побывали, доставило нам всем огромное удовольствие, огромное удовольствие.

Я позавтракал в столовой в одиночестве. Потом вернулся в гостиную, чтобы выкурить сигарету. Хозяин по-прежнему что-то писал.

— Прошу простить меня, — сказал он. — Я должен закончить кое-какие дела. У меня это не займет много времени. Я распорядился, чтобы ваш чемодан упаковали и отнесли в машину, поэтому

вам не о чем беспокоиться. Присаживайтесь и закуривайте. Дамы вот-вот спустятся.

Первой явилась его жена. Она прошествовала в комнату, будучи более чем когда-либо похожа на ослепительную царицу Семи-рамиду, и первое, на что я обратил внимание, был бледно-зеленый шифоновый шарфик, небрежно повязанный вокруг шеи! Небрежно, но тщательно! Так тщательно, что шеи совсем не было видно. Женщина направилась прямо к мужу и поцеловала его в щеку.

— Доброе утро, мой дорогой, — сказала она.

Какая хитрая красивая стерва, подумал я.

— Доброе утро, мистер Корнелиус, — весело произнесла она, подходя ко мне и опускаясь в кресло напротив. — Хорошо провели ночь? Надеюсь, у вас было все, что нужно?

Никогда в жизни не видел я такой искорки в женских глазах, какую увидел в то утро в глазах этой женщины, и никогда не видел, чтобы женское лицо так светилось от удовольствия.

— Я провел очень хорошую ночь, благодарю вас, — ответил я, давая ей понять, что узнал ее.

Она улыбнулась и закурила. Я взглянул на мистера Азиза, который по-прежнему торопливо что-то писал за столом, повернувшись к нам спиной. Он не обращал ни малейшего внимания ни на свою жену, ни на меня. Да он, подумал я, точно такой же рогоносец, как и все другие, которых я наградил рогами. Ни один из них не мог поверить, что это может с ним случиться, да еще под самым носом.

— Всем доброе утро! — громко сказала дочь, вбегая в комнату. — Доброе утро, папа! Доброе утро, мама! — Она поцеловала их обоих. — Доброе утро, мистер Корнелиус!

На ней были розовые брюки и блузка цвета ржавчины, и разрази меня гром, если и вокруг ее шеи не был небрежно, но тщательно повязан шарфик! Шифоновый шарфик!

— Хорошо ли вы провели ночь? — спросила она и уселась на подлокотник моего кресла, точно юная невеста, скользнув бедром по моей руке.

Я откинулся и внимательно посмотрел на нее. Она ответила мне взглядом и при этом подмигнула. Она действительно подмигнула! Лицо ее пылало, и в глазах бегали в точности такие же искорки, как в глазах ее матери, и, если уж на то пошло, она казалась еще более довольной собой, чем ее мать.

Я пришел в некоторое замешательство. Только у одной из них были следы от укуса, которые нужно было замаскировать, однако обе прикрыли шею шарфиками. Я заключил, что это, быть может, и совпадение, однако больше это было похоже на заговор против меня. Судя по всему, они сговорились, чтобы помешать мне узнать правду. Все это чрезвычайно подозрительно! И какая тут преследуется цель? И что еще, позвольте спросить, замышляют они? Не тянули ли они накануне жребий? Или же они проделывали такое с гостями по очереди? Надо как можно скорее снова приехать сюда, сказал я самому себе, и только лишь затем, чтобы узнать, что произойдет в следующий раз. Да я могу специально заехать к ним через пару дней на пути из Иерусалима. Я рассчитывал на то, что приглашение будет получить нетрудно.

— Вы готовы, мистер Корнелиус? — спросил мистер Азиз, поднимаясь из-за письменного стола.

— Вполне, — ответил я.

Дамы, довольные и улыбающиеся, проводили нас до поджидающего меня большого зеленого „роллс-ройса“. Я поцеловал им руки и пробормотал миллион благодарностей каждой. Затем сел рядом с хозяином, и мы тронулись. Мать с дочерью помахали мне на прощание. Я опустил стекло и тоже помахал им. Затем мы выехали из сада и покатали по пустыне, следуя каменистой желтой дорогой, огибавшей подножие Магары, а впереди нас вдоль дороги шагали телеграфные столбы.

Во время поездки мы с хозяином премило беседовали о том о сем. Я всю старался быть как можно более любезным, поскольку поставил перед собой цель еще раз побывать в его доме в качестве гостя. Если не удастся сделать так, чтобы он меня попросил об этом, придется напрашиваться самому. Я решил оставить это на последнюю минуту. „Прощайте, мой дорогой друг, — скажу я, нежно беря его за горло. — Могу я иметь удовольствие еще раз побывать у вас на обратном пути?“ Конечно же, он не откажет.

— Я ведь не преувеличивал, когда говорил вам, что у меня красивая дочь? — спросил он.

— Вы преуменьшили ее достоинства, — ответил я. — Она просто красавица. Поздравляю вас. Но и жена ваша не менее красива. По правде, они обе меня с ума свели, — прибавил я, рассмеявшись.

— Я это заметил, — сказал он, рассмеявшись вместе со мной. — Такие гадкие девчонки. Ужасно любят флиртовать. Но я ничего не имею против. Что дурного во флирте?

- Ничего, — сказал я.
- Думаю, это просто забава.
- Да, это очень мило, — сказала я.

Не прошло и получаса, как мы достигли шоссе Исмаилия—Иерусалим. Мистер Азиз направил „роллс-ройс“ на гудронную дорогу и помчался к заправочной станции со скоростью семьдесят миль в час. Через несколько минут мы будем на месте. Поэтому я попытался завести речь об очередном визите, ненавязчиво напрашиваясь на приглашение.

— Не могу забыть ваш дом, — сказал я. — По-моему, он просто великолепен.

— Отличный дом, не правда ли?

— А вам там не скучно втроем?

— Не скучнее, чем если бы мы жили в каком-нибудь другом месте, — ответил он. — Людям везде скучно. В пустыне ли, в городе — по правде, большой разницы нет. Но у нас, знаете ли, бывают гости. Вы бы удивились, если бы я назвал вам число людей, посещающих нас время от времени. Вот вы, например. Нам было очень приятно принять вас у себя, мой дорогой.

— Я никогда этого не забуду, — сказал я. — В наши дни редко встретишь такое радушие и гостеприимство.

Я ждал, что он пригласит меня снова их посетить, но он ничего не сказал. Наступило молчание, несколько неловкое. Чтобы не затягивать его, я произнес:

— Мне кажется, вы самый заботливый отец, которого мне приходилось встречать в своей жизни.

— Вот как?

— Да. Надо же — построить дом неведомо где и жить в нем ради дочери, чтобы уберечь ее. По-моему, это замечательно.

Я увидел, что он улыбнулся, но не оторвал глаз от дороги и промолчал. На расстоянии мили от нас показалась заправочная станция и несколько хибар. Солнце стояло высоко, и в машине становилось жарко.

— Немногие отцы пойдут на такое, — продолжал я.

Он снова улыбнулся, но на этот раз несколько застенчиво. А потом сказал:

— Таких похвал, которые вы мне расточаете, я недостоин, право, недостоин. Если уж быть до конца откровенным, моя красавица-дочь — не единственная причина, чтобы жить в такой великолепной изоляции.

— Я это знаю.

— Знаете?

— Вы же мне говорили. Вы сказали, что другая причина — это пустыня. Вы сказали, что любите ее так же, как моряк любит море.

— Да, это так. И это правда. Но есть и третья причина.

— И в чем же она заключается?

Он не ответил. Он сидел, положив руки на руль, и неподвижно смотрел на дорогу.

— Простите меня, — сказал я. — Мне не нужно было спрашивать. Это не мое дело.

— Нет-нет, все нормально, — проговорил он. — Не извиняйтесь.

Я посмотрел в окно на расстилающуюся перед нами пустыню.

— Похоже, сегодня еще более жаркий день, чем вчера, — сказал я. — Наверное, уже перевалило за сотню градусов.

— Да.

Я увидел, что он заерзал на месте, как бы желая поудобнее усесться, а потом сказал:

— Не пойму, почему бы мне не рассказать вам правду об этом доме. Вы мне не кажетесь болтуном.

— Такого за мной не водится, — заметил я.

Мы уже подъехали к заправочной станции, и он замедлил ход почти до скорости пешехода, чтобы успеть сказать то, что хотел сказать. Я увидел двух арабов, стоявших возле моей „лагонды“. Они смотрели в нашу сторону.

— Эта дочь, — произнес он наконец, — та, с которой вы познакомились, — не единственная моя дочь.

— Вот как?

— У меня есть еще одна дочь, на пять лет ее старше.

— И несомненно, такая же красивая, — сказал я. — И где же она живет? В Бейруте?

— Нет, в доме.

— В каком доме? Не в том ли, который мы только что покинули?

— Да.

— Но я так и не увидел ее!

— Что ж, — сказал он и неожиданно повернулся ко мне, чтобы увидеть, как я прореагирую на его слова, — может, это и к лучшему.

— Но почему?

— У нее проказа.

Я так и подпрыгнул.

— Да, знаю, — сказал он, — это страшная вещь. У бедной девочки к тому же самая тяжелая форма — лепрозная. Очень стойкая и практически неизлечимая. Будь это узелковая форма, было бы намного легче. Но у нее лепрозная, вот вам и результат. Вот почему, когда у нас гости, она не выходит из своей комнаты на третьем этаже...

Должно быть, машина в этот момент уже остановилась возле заправочной станции, ибо следующее, что я помню, — это как мистер Азиз смотрит на меня своими маленькими умными глазками и при этом говорит:

— Но, дорогой мой, вам нет нужды так тревожиться. Успокойтесь, мистер Корнелиус, успокойтесь! Вам решительно не о чем беспокоиться. Это не очень заразная болезнь. Чтобы заболеть ею, нужно вступить в очень интимный контакт с больным...

Очень медленно я вышел из машины и так и застыл под палящим солнцем. Араб с обезображенным лицом ухмылялся мне и говорил:

— Приводной ремень на месте. Все в порядке.

Я полез в карман за сигаретами, но у меня так дрожали руки, что я выронил пачку на землю. Я наклонился и поднял ее. Затем достал сигарету и умудрился прикурить. Когда я поднял глаза, зеленый „роллс-ройс“ находился уже в полумиле от меня».

СДЕЛКА

В тот вечер у Джерри и Саманты нас собралось человек сорок. Обычное сборище. Как всегда, было тесно и ужасно шумно. Чтобы быть услышанным, приходилось жаться друг к другу и кричать. Многие широко улыбались, обнажая белые зубные коронки. У большинства в левой руке была сигарета, а в правой — бокал.

Я отошел от своей жены Мэри и окружавших ее людей и направился к небольшому бару в дальнем углу. Усевшись на высокий табурет, я обернулся лицом к собравшимся. Сделал я это затем, чтобы можно было разглядывать женщин. Спиной я уперся в стойку бара и, потягивая виски, принялся поверх бокала рассматривать поочередно то одну, то другую женщину.

Я изучал не фигуры, а лица, и интересовало меня не столько само лицо, сколько большой красный рот. Если точнее — то не весь рот, а только нижняя губа. Не так давно я пришел к выводу, что нижняя губа о многом говорит. Она выдает больше, чем глаза. Глаза скрывают секреты. Нижней губе очень мало что удастся скрыть. Да взять хоть нижнюю губу Джасинт Винкельман, стоявшей ко мне ближе всех. Стоит обратить внимание на морщинки, на то, как некоторые из них идут параллельно, а другие лучами расходятся вверх. Ни у кого другого не увидишь такой рисунок губных морщинок, и согласитесь, что, имея в архиве отпечаток губы, можно поймать преступника, если на месте преступления он прикладывался к стакану. Когда сердятся, нижнюю губу посасывают и прикусывают, и именно это и делала сейчас Марта Салливан, наблюдая со стороны за тем, как ее бестолковый муж сюсюкает с Джуди Мартинсон. Губу облизывают, вожделяя. Я видел, как Джинни Ломак облизывает кончиком языка нижнюю губу и при этом не сводит глаз с лица Теда Дорлинга. То было преднамеренное облизывание; язык медленно высовывается и скользит вдоль всей нижней губы, оставляя влажный след. Я видел, как Тед Дорлинг смотрит на язык Джинни, а ей только это и нужно.

Похоже, это несомненный факт, говорил я про себя, переводя глаза с одной нижней губы на другую, что все самые непривлекательные человеческие черты — высокомерие, жадность, обжорство, сладострастие — наиболее отчетливо проявляются на этом маленьком розовом участке кожи. Однако надо знать шифр. Выпяченная или оттопыренная нижняя губа, по-видимому, означает чувственность. Но это лишь отчасти верно в отношении мужчин и совсем неверно, если иметь в виду женщин. У женщин нужно искать тонкую линию, узкую полоску с резко очерченным нижним краем. А вот у нимфоманки в центре верхней части нижней губы имеется едва заметный гребешок кожи.

Такой гребешок был у Саманты, хозяйки.

Кстати, а где Саманта?

Да вот же она — берет пустой бокал из рук гостя и направляется в мою сторону, чтобы его наполнить.

— Хэлло, Вик, — сказала она. — Ты не скучаешь?

Самая настоящая нимфоманка, отметил я про себя. Однако весьма редкая представительница этой породы, ибо исключительно и категорически моногамна. Замужняя моногамная нимфоманка, никогда не покидающая своего гнездышка.

А еще это самая соблазнительная бабенка, какую мне только приходилось встречать в жизни.

— Давай я помогу тебе, — сказал я, вставая со стула и беря у нее из рук бокал. — Что сюда налить?

— Водки со льдом, — ответила она. — Спасибо, Вик.

Она положила свою красивую длинную белую руку на стойку бара, подалась вперед, и груди ее легли на прилавок.

— А, черт, — сказал я, перелив водку через край.

Саманта посмотрела на меня своими огромными карими глазами, но промолчала.

— Я вытру, — произнес я.

Она взяла у меня наполненный бокал и пошла прочь. Я смотрел ей вслед. На ней были черные брюки. Они так тесно обтягивали ягодицы, что любая родинка или прыщик были бы видны сквозь материю. Однако зад Саманты Рейнбоу не имел недостатков. Я поймал себя на том, что и сам облизываю нижнюю губу. Все ясно, подумал я. Меня к ней тянет. Я испытываю влечение к этой женщине. А ведь это довольно рискованно. Попытка вступить в связь с такой женщиной равносильна самоубийству. Во-первых, она жи-

вет в соседнем доме, а это чересчур близко. Во-вторых, как я уже сказал, она моногамна. В-третьих, с Мэри, моей женой, их водой не разольешь. Они делятся друг с другом большими женскими секретами. В-четвертых, ее муж Джерри — мой очень старый и хороший друг, и даже я, Виктор Хэммонд, пусть и сгораю от желания, и не подумаю пытаться соблазнить жену человека, являющегося моим старым и преданным другом.

Хотя...

Именно в эту минуту, когда я сидел на высоком табурете и страстно желал Саманту Рейнбоу, в моем мозгу начала зарождаться интересная мысль. Я подождал, пока она не оформится со всей определенностью. Следя за тем, как Саманта идет по комнате, я принялся втискивать ее в рамки своей затеи. Ох и доберусь же я до тебя, Саманта, мое роскошное сокровище.

Разве можно всерьез надеяться на это?

Да ни за что на свете!

И думать нечего, если только Джерри не согласится. Лучше вообще выбросить все это из головы.

Саманта стояла неподалеку от меня, беседуя с Гилбертом Маккизи. Пальцами правой руки она сжимала высокий бокал. Пальцы у нее были длинные и почти наверняка проворные.

Предположим, смеха ради, что Джерри согласится, но даже тогда на пути возникнут огромные трудности. К примеру, существуют такие мелкие детали, как физические особенности. Я много раз мылся с Джерри в душе после тенниса, но сейчас, хоть убей, не вспомню то, что надо бы знать. Обычно на это и внимания не обращают. Стараются и не смотреть.

В любом случае было бы безумием сделать Джерри откровенное предложение. Настолько хорошо я его знал. Скорее всего, он придет в ужас. А то и станет угрожать. Может выйти безобразная сцена. Нужно поэтому как-нибудь незаметно его испытать.

— Послушай, — сказал я Джерри примерно через час, когда мы сидели на диване и допивали последний бокал.

Гости расходились, и Саманта стояла возле дверей и прощалась с ними. Моя жена Мэри разговаривала на веранде с Бобом Суэйном. Я видел их через открытую дверь.

— Хочешь, расскажу кое-что забавное?

— Ну? — произнес он.

— Один парень, с которым я сегодня обедал, рассказал мне фантастическую историю. Просто трудно поверить, что такое вообще может случиться.

— Что еще за история? — спросил Джерри.

От выпитого виски его клонило ко сну.

— Этот человек, тот, с которым я обедал, положил глаз на жену своего приятеля, живущего по соседству. А его приятель положил глаз на жену человека, с которым я обедал. Понимаешь, в чем дело?

— Ты хочешь сказать, что два парня, которые живут рядом, втюрились в жен друг друга?

— Именно, — ответил я.

— Так в чем проблема? — спросил Джерри.

— Проблема в том, — сказал я, — что обе жены — женщины верные и порядочные.

— Вот и Саманта такая же, — заметил Джерри. — Ни за что не посмотрит на другого мужчину.

— Мэри тоже, — сказал я. — Я в ней уверен.

Джерри допил виски и аккуратно поставил стакан на столик рядом с диваном.

— Ну и что же было дальше? — спросил он. — Довольно, по моему, грязная история.

— А дальше случилось то, — сказал я, — что эти типы замыслили план и у каждого появилась возможность соблазнить жену соседа, притом жены так ничего об этом и не узнали. Если ты только можешь поверить в такое.

— Хлороформ пошел в ход? — спросил Джерри.

— Ничего подобного. Жены находились в полном сознании.

— Быть не может, — сказал Джерри. — Тебя просто надули.

— Не думаю, — возразил я. — Он мне такие подробности порассказал. Да я и без того уверен, что это правда. Они и потом не раз все это проделывали хотя бы раз в две-три недели, и так продолжалось несколько месяцев.

— И жены ничего не знали?

— Даже не догадывались.

— Должен выслушать твою историю, — сказал Джерри. — Но сначала выпьем.

Мы прошли к бару и снова наполнили бокалы, после чего вернулись на диван.

— Ты должен иметь в виду, — сказал я, — что это дело требует долгой предварительной подготовки. И чтобы иметь хоть какой-то шанс, что план сработает, им пришлось обменяться друг с другом множеством интимных подробностей. Однако в основе своей план прост. Они выбирали какую-то ночь, скажем с субботы на воскресенье. В эту ночь мужа и жены отправлялись спать как обычно, допустим в одиннадцать или в половине двенадцатого. Начиная с этого времени все идет как обычно. Супруги немного почитают, потом, быть может, немного поговорят, а потом выключают свет. Как только свет выключен, мужа немедленно отворачиваются и делают вид, что собираются заснуть. Это делается затем, чтобы жены не вздумали заигрывать, а на этой стадии подобное никак не допустимо. Тогда жены засыпают. А мужа нет. Пока все идет по плану. Затем, ровно в час ночи, когда жены глубоко заснут, мужа тихо выскальзывают из кровати, суют ноги в тапки и, в пижаме, осторожно спускаются вниз. Открыв дверь, они исчезают в ночи, при этом дверь за собой не закрывают. Они живут, — продолжал я, — почти напротив друг друга, через улицу. Это тихий пригородный поселок, и в такой час там редко кого встретишь, так что на улице можно увидеть только эти две фигуры в пижамах, направляющиеся в чужой дом, в чужую постель, к чужой жене.

Джерри внимательно слушал меня. Глаза его немного потускнели от алкоголя, но он старался не пропустить ни одного слова.

— Следующая часть плана, — продолжал я, — была тщательно продумана обоими. Каждый из них ориентируется в доме приятеля, как в своем собственном. Каждый знает, как пройти наверх или спуститься вниз, не опрокинув при этом мебель. Каждый знает, как добраться до лестницы, и сколько точно ступенек ведет наверх, и какая из них скрипнет, а какая нет. Каждый знает, с какой стороны кровати женщина спит. Каждый снимал тапки и оставлял их в холле, затем поднимался в пижаме наверх, ступая босыми ногами. Эта часть, если верить моему другу, всякий раз вызывает особое волнение. Человек находится в темном, погруженном в тишину доме, к тому же чужом, и на пути к спальне должен пройти мимо по меньшей мере трех детских комнат, двери которых всегда немного приоткрыты.

— Дети! — вскричал Джерри. — А что, если бы кто-нибудь из них проснулся и спросил: «Папа, это ты?»

— И это было предусмотрено, — ответил я. — В таком случае предполагалось немедленно прибегнуть к экстренным мерам. Экстренные меры пошли бы в ход и в том случае, если бы женщина проснулась, когда чужой муж прокрадывался в ее комнату, и спросила: «Что случилось, дорогой? Что ты бродишь?»

— Что еще за экстренные меры? — спросил Джерри.

— Все очень просто, — ответил я. — Тот, к кому обратились бы с таким вопросом, сбегал по лестнице, мчался в свой дом и звонил в звонок. Это был сигнал для его приятеля, чем бы тот в это время ни занимался, также пулей сбежать по лестнице, впустить в дом своего приятеля, а самому выбежать из дома. Таким образом, они оба вовремя оказывались в своих домах.

— И на лице у каждого все написано, — сказал Джерри.

— Ничего подобного, — возразил я.

— Да звонок весь дом поднимет на ноги, — заметил Джерри.

— Разумеется, — сказал я. — И муж, поднявшись наверх в пижаме, просто-напросто скажет: «Я ходил узнать, кто это там трезвонит в такой час. Никого нет. Должно быть, какой-то пьяный».

— А что же другой парень? — спросил Джерри. — Как он объяснит то, что бросился вниз, когда к нему обратилась его собственная жена или ребенок?

— Он скажет: «Мне показалось, что кто-то чужой бродит вокруг дома, вот я и побежал, чтобы схватить его, но там никого нет». — «А ты видел кого-нибудь?» — с тревогой спросит его жена. «Конечно видел, — ответит муж. — По улице бежал какой-то человек. За ним и не угнаться». После чего мужа горячо поблагодарят за храбрость.

— О'кей, — произнес Джерри. — Тут все ясно. До сих пор все можно рассчитать. Но что происходит, когда один из этих рогатых типов залезает в постель жены своего приятеля, а тот забирается в постель его жены?

— Они приступают к делу, — ответил я.

— Но ведь жены спят, — сказал Джерри.

— Верно, — согласился я. — Так что эти парни незамедлительно и очень умело начинают ласкать дамочек, и те, едва проснувшись, уже умирают от желания.

— Полагаю, разговоры при этом не ведутся, — сказал Джерри.

— Нет, не произносится ни слова.

— О'кей, итак, жены проснулись, — сказал Джерри, — и они тоже пускают в ход руки. Но вот ответь-ка мне для начала на простой вопрос: как насчет роста и веса? Ведь есть же разница между этим парнем и ее мужем? Один может быть высоким, другой — ниже, один толстым, другой — худым. Что ты на это скажешь? Уж мне-то не рассказывай, будто эти парни одинаковой комплекции.

— Конечно нет, — ответил я. — Но они более или менее одинакового роста и веса. Это существенно. Оба гладко выбриты и имеют примерно одинаковое количество волос на голове. Такого рода сходство распространено. Посмотри, например, на нас с тобой. Мы ведь примерно одного роста и телосложения, не правда ли?

— Разве? — удивился Джерри.

— Ты сколько ростом? — спросил я.

— Ровно шесть футов.

— А я пять футов одиннадцать дюймов, — сказал я. — Разница в один дюйм. А сколько ты вешишь?

— Сто восемьдесят семь фунтов.

— А я сто восемьдесят четыре, — сказал я. — Что такое три фунта между друзьями?

Настунило молчание. Джерри смотрел на мою жену Мэри, стоящую на веранде. Мэри по-прежнему беседовала с Бобом Суэйном, и заходящее солнце освещало ее волосы. Темноволосая красивая женщина с неплохой грудью. Я взглянул на Джерри и увидел, как он высунул язык и провел им по нижней губе.

— По-моему, ты прав, — сказал Джерри, не спуская глаз с Мэри. — Телосложения мы примерно одинакового.

Когда он снова повернулся ко мне лицом, на его щеках распустились розочки.

— Расскажи-ка еще что-нибудь про этих двух парней, — сказал он. — Чем-то ведь они отличаются друг от друга?

— Ты имеешь в виду их лица? — спросил я. — Но в темноте невозможно разглядеть лица.

— Я не о лицах говорю, — сказал Джерри.

— А о чем же?

— Я говорю об их членах, — сказал Джерри. — Вот в чем все дело, разве не понимаешь? Ты ведь не хочешь мне сказать, что...

— Как раз это я и хочу сказать, — сказал я. — Вопрос только в том, подвергались они обрезанию или нет. Все остальное не имеет значения.

— Ты что, серьезно думаешь, что у всех мужчин члены одинаковых размеров? — спросил Джерри. — Но ведь это же не так.

— Знаю, что не так, — согласился я.

— У некоторых огромные члены, — продолжал Джерри. — А у некоторых просто крошечные.

— Бывают исключения, — сказал я ему. — Но ты бы удивился, когда бы узнал, у скольких мужчин члены одинаковых размеров, разница всего-то на какой-нибудь сантиметр. По словам моего друга, у девяноста процентов мужчин члены нормальных размеров. И только десять процентов имеют члены чрезмерно большие или явно маленькие.

— Не верю, — сказал Джерри.

— Это нетрудно проверить, — сказал я. — Поинтересуйся у какой-нибудь опытной девицы.

Джерри сделал большой глоток виски, и взгляд его вновь устремился поверх стакана в сторону Мэри, стоявшей на веранде.

— Ну и чем все кончается? — спросил он.

— Дальше нет проблем, — сказал я.

— Скажешь тоже, нет проблем, — заявил он. — Знаешь, почему все это, по-моему, басни?

— Валяй.

— Всякому известно, что муж и жена, женатые несколько лет, привыкают друг к другу. Это неизбежно. Да черт побери, нового труженика тут же вычислят. Это и тебе понятно. Нельзя же вдруг наброситься на женщину, применяя совершенно новые приемы, и при этом рассчитывать, что она этого не заметит, как бы она ни была распалена. Да она в первую же минуту почует неладное!

— Приемы можно скопировать, — сказал я. — Если только заранее обменяться всеми секретами.

— Это несколько интимно, — заметил Джерри.

— Все мероприятие интимно, — сказал я. — И поэтому каждый выкладывает все. Говорит, что он обычно делает. Ничего не утаивая. Все. Все, что требуется. Рассказывает о том, как это у него заведено, — от начала до конца.

— О господи, — вымолвил Джерри.

— И каждый, — продолжал я, — должен выучить новую роль. По сути, нужно стать актером. Ибо приходится кого-то играть.

— Непростое дело, — сказал Джерри.

— Как считает мой друг, тут нет проблем. Единственное, чего нужно опасаться, — это чтобы не увлечься и не начать импровизировать. Нужно действовать строго в соответствии с авторскими ремарками.

Джерри сделал еще глоток. Потом снова взглянул на Мэри, стоящую на веранде. После чего откинулся на диване, сжимая в руке стакан.

— Эти два парня, — спросил он, — они что, правда провернули это дело?

— Еще как, — ответил я. — До сих пор проворачивают. Примерно раз в три недели.

— Фантастическая история, — произнес Джерри. — Но чертовски трудное это дельце. Только представь себе, сколько будет шума, если тебя поймают. Мгновенный развод. Если точнее, два развода. По одному на каждой стороне улицы. Не стоит того.

— Тут нужна смелость, — заметил я.

— Уже поздно, — сказал Джерри. — Все расходятся вместе со своими женами, черт бы их побрал.

После этого я уже ничего не говорил. Мы посидели еще пару минут, потягивая свои напитки, пока гости перемещались к прихожей.

— Другу твоему понравилось? — спросил вдруг Джерри.

— Он говорит, что это нечто, — ответил я. — Он говорит, что из-за риска это в сотню раз сильнее любого другого удовольствия. Он клянется, что нет ничего лучше, чем когда играешь роль мужа, а жена об этом ничего не знает.

В этот момент в комнату вошла Мэри с Бобом Суэйном. В одной руке она держала пустой бокал, а в другой — азалию цвета яркого пламени. Она сорвала азалию на веранде.

— Я следила за тобой, — сказала она, наводя на меня цветок, точно револьвер. — В последние десять минут ты рта не закрывал. Что он тебе рассказывал, Джерри?

— Грязную историю, — усмехнувшись, ответил Джерри.

— Он только это и делает, когда выпьет, — сказала Мэри.

— История любопытная, — сказал Джерри. — Но совершенно неправдоподобная. Пусть он тебе ее как-нибудь расскажет.

— Не люблю грязных историй, — сказала Мэри. — Пойдем, Вик. Нам пора.

— Постой, — сказал Джерри, устремив свой взор на ее великолепно-грудь. — Выпьем еще.

— Нет, спасибо, — ответила она. — Дети, наверное, уже кричат, хотят ужинать. Мы отлично провели время.

— Ты разве не поцелуешь меня на прощание? — спросил Джерри, поднимаясь с дивана.

Он потянулся к ее губам, но она быстро увернулась, и он успел лишь коснуться ее щеки.

— Оставь, Джерри, — сказала она. — Ты пьян.

— Совсем не пьян, — возразил Джерри. — Просто я возбужден.

— Надеюсь, я тут ни при чем, мой мальчик, — резко проговорила Мэри. — Я не люблю такие разговоры.

Она направилась к двери, выставив перед собой свою грудь, точно стенобитное орудие.

— Пока, Джерри, — сказал я. — Мы хорошо повеселились.

Мэри ждала меня в прихожей, всем видом выражая недовольство. Рядом стояла Саманта, провожая последних гостей, — Саманта, с ее проворными пальцами, гладкой кожей и стройными, опасно манящими бедрами.

— Выше голову, Вик, — бросила она мне, оскалив свои белые зубы. Она показалась мне центром мироздания, началом жизни, первым утром. — Доброй ночи, Вик, — сказала она, и мне почудилось, будто ее пальцы проникают в самое мое нутро.

Я вышел вслед за Мэри из дома.

— Ты хорошо себя чувствуешь? — спросила она.

— Да, — ответил я. — А почему ты спрашиваешь?

— Ты столько пьешь, что любого другого уже давно бы стошнило, — ответила она.

От дома Джерри нас отделяет старая живая изгородь, и в ней есть щель, которой мы всегда пользуемся. Мы с Мэри молча пролезли в эту щель. Затем вошли в дом, и она приготовила огромную яичницу с ветчиной, которую мы съели вместе с детьми.

После еды я вышел побродить. Летний вечер был безоблачен и прохладен, и, не зная, чем себя занять, за неимением лучшего я решил постричь траву перед домом. Я вытащил из сарая газонокосилку и запустил ее. Потом, как это водится, стал ходить за ней взад-вперед. Мне нравится стричь траву. Это занятие действует успокаивающе, и к тому же, направляясь в одну сторону, я мог смотреть на дом Саманты, а идя обратно — думать о ней.

Я ходил туда-сюда минут десять, когда из щели в изгороди вылез Джерри и прогуливающейся походкой направился ко мне. Он курил трубку; засунув руки в карманы, он остановился на краю газона и уставился на меня. Я подошел к нему вместе с газонокосилкой и остановился, но выключать ее не стал, только обороты скинул.

— Привет, друг, — сказал он. — Как делишки?

— Я в немилости, — ответил я. — Думаю, и ты тоже.

— Твоя женушка, — сказал он, — чересчур строга.

— Это точно.

— Отчитала меня в моем собственном доме, — сказал Джерри.

— Похоже, тебе не очень попало.

— Мне и этого достаточно, — сказал он, слабо улыбнувшись.

— Достаточно для чего?

— Чтобы захотеть ей немножко отомстить. Что ты скажешь, если я предложу, чтобы мы попробовали проделать то, о чем твой друг рассказывал тебе за обедом?

Едва он произнес это, я ощутил такое волнение, будто у меня все внутренности выскочат наружу. Я схватился за ручки газонокосилки и прибавил оборотов.

— Я что-то не то сказал? — спросил Джерри.

Я молчал.

— Послушай, — продолжал он. — Если ты считаешь эту затею паршивой, давай забудем, что я вообще об этом заговорил. Ты ведь не рассердился на меня?

— Нет, Джерри, я на тебя не сержусь, — ответил я. — Просто мне никогда не приходило в голову, что именно мы можем это проделать.

— А вот мне это пришло в голову, — сказал он. — Условия у нас отличные. Нам даже через улицу переходить не надо. — Лицо его неожиданно посветлело и глаза засверкали, точно две звезды. — Так что скажешь, Вик?

— Я думаю, — ответил я.

— Может, тебе не нравится Саманта?

— Честно говоря, не знаю, — признался я.

— Она способна на многое, — сказал Джерри. — Это я гарантирую.

В эту минуту я увидел, как на веранду вышла Мэри.

— А вот и Мэри, — сказал я. — Детей ищет. Ладно, завтра продолжим разговор.

— Так, значит, договорились?

— Посмотрим, Джерри. Но только при условии, что не будем торопиться. Я должен быть до конца уверен, что, прежде чем приступить к делу, мы все хорошенько обдумаем. Черт побери, да ведь дело-то для нас совершенно новое!

— Ну и что? — возразил он. — Сказал же твой друг, что это нечто. И проблем никаких.

— Да-да, — согласился я. — Мой друг так говорил. Ну конечно. Но каждый случай — особенный.

Я отпустил тормоз и со взревевшей газонокосилкой двинулся по газону. Когда я дошел до дальнего края его и повернул назад, Джерри уже пролез в щель в изгороди и теперь направлялся к своему дому.

Следующие две недели мы с Джерри вели себя как люди, вступившие в секретный сговор. Мы тайком встречались в барах и ресторанах, чтобы выработать стратегию, а иногда он заходил после работы ко мне в контору, и мы совещались, планируя дальнейшие действия, за закрытыми дверями. Как только возникал какой-нибудь сложный вопрос, Джерри всякий раз спрашивал:

— А как в таком случае поступал твой друг?

И я, чтобы выиграть время, отвечал:

— Я ему позвоню и спрошу.

После множества заседаний и бесед мы сошлись на следующих основных пунктах:

1. Операция начинается в субботу.
2. В день проведения операции мы приглашаем наших жен в ресторан на ужин.
3. Мы с Джерри выходим из дому и встречаемся у щели в изгороди ровно в час ночи.
4. Вместо того чтобы лежать в постели, дожидаясь часа ночи, мы сразу же, как только жены заснут, тихо спускаемся на кухню и пьем кофе.
5. В случае возникновения непредвиденной ситуации вступает в силу вариант с использованием звонка у входной двери.
6. Возвращение назначено на два часа ночи.
7. Находясь в чужой постели, на все вопросы женщины (если таковые последуют) нужно отвечать «угу», при этом губы должны быть плотно сжаты.

8. Я должен незамедлительно отказаться от сигарет и перейти к трубке, чтобы пахнуть так же, как Джерри.

9. Мы немедленно начинаем пользоваться одними и теми же шампунем и лосьоном после бритья.

10. Поскольку мы оба обыкновенно ложимся спать в наручных часах примерно одной формы, было решено не меняться ими. Колец мы не носили.

11. Чтобы женщина не сомневалась, что это ее муж, последний должен отличаться чем-то запоминающимся. С этой целью мы изобрели то, что получило название «уловка с пластырем». Дело должно происходить следующим образом: вечером в день проведения операции, когда пары возвращаются домой после ужина, каждый из нас идет на кухню, чтобы отрезать кусочек сыра. Там он тщательно заклеивает кончик указательного пальца правой руки пластырем. Прюделав это, он поднимает палец и говорит жене: «Вот черт, порезался. Ничего страшного, но кровь пошла». Таким образом, позднее, когда мы поменяемся постелями, каждая из жен почувствует обмотанный пластырем палец (мы об этом позаботимся), призванный убедить ее в том, что рядом с ней муж, и никто другой. Это важная психологическая уловка наверняка рассеет сомнения, могущие возникнуть в голове той или иной из наших жен.

Таков основной план. Далее следовало то, что мы в своих записях обозначили как «ориентировка на местности». Сначала меня испытывал Джерри. Как-то воскресным днем, когда его жены и детей не было, он в продолжение трех часов знакомил меня со своим домом. Раньше мне в их спальне бывать не приходилось. На туалетном столике были духи Саманты, расчески и прочие мелочи. На спинке стула висели чулки, за дверью ванной — бело-голубая ночная рубашка.

— Итак, — сказал Джерри. — Когда ты сюда войдешь, здесь будет очень темно. Саманта спит с этой стороны, поэтому ты должен на цыпочках обойти вокруг кровати и проскользнуть в постель с другой стороны, вон там. Сейчас я завяжу тебе глаза и посмотрю, что у тебя выйдет.

Поначалу с завязанными глазами я ходил по комнате как пьяный. Но, потренировавшись с час, я смог довольно хорошо преодолевать это расстояние. Однако, прежде чем Джерри сказал, что я успешно прошел курс обучения, мне пришлось пройти с завязанными глазами весь путь от входной двери через прихожую, по

лестнице, мимо детских, дойти до комнаты Саманты и закончить путешествие точно в нужном месте. И я должен был красться молча, как вор. Потратив три часа упорного труда, я в конце концов сдал экзамен.

В следующее воскресенье, когда Мэри повела наших детей в церковь, уже я подверг Джерри такому же испытанию в моем доме. Он сориентировался быстрее меня, и не прошло и часа, как он сумел пройти весь путь с закрытыми глазами, ни разу не сбившись с курса.

Во время экзаменационной сессии мы решили, что, войдя в спальню, нужно отключать лампу, стоящую на столике с той стороны кровати, где спит жена. И Джерри научился нащупывать розетку и выдергивать вилку с завязанными глазами, а в следующий уик-энд и я смог проделать то же самое в доме Джерри.

И вот настала самая важная часть нашей подготовки. Мы называли ее «разговор начистоту», и тут нам пришлось обоим во всех подробностях описать то, как каждый из нас ведет себя во время любовной близости. Мы договорились не утомлять друг друга описанием экзотических способов, которые один из нас мог — или не мог — применять. Мы старались лишь ознакомить друг друга с самыми обычными приемами, с теми, которые вряд ли могут возбудить подозрение.

Сессия проходила в моей конторе в среду, в шесть часов вечера, когда все уже разошлись по домам. Поначалу мы оба чувствовали себя скованно и никто не хотел начинать. Тогда я достал бутылку виски, и, сделав пару добрых глотков, мы расслабились, и обмен опытом начался. Когда говорил Джерри, я записывал, и наоборот. В конце концов выяснилось, что единственная разница между нашими приемами заключается в темпе их исполнения. Но какая это разница! Он вел себя (если верить тому, что он говорил) столь неторопливо и позволял себе до такой степени растягивать удовольствие, что я подумал про себя: как это его партнерша не засыпает по ходу дела? Моя задача, однако, была не критиковать, а запоминать, чтобы делать то же, что и он, поэтому я промолчал.

Джерри был не столь сдержан. Когда я закончил свой рассказ, у него хватило наглости сказать:

- Ты что, именно так себя и ведешь?
- О чем это ты? — спросил я.
- Все так быстро заканчивается...

— Послушай, — сказал я. — Мы тут собрались не нотации друг другу читать. Главное — усвоить азы.

— Знаю, — сказал он. — Но я буду дураком, если стану в точности повторять твои приемы. Да черт побери, в этом деле ты мне напоминаешь паровоз, который пронесится на всех парах мимо пригородной станции!

Раскрыв рот, я уставился на него.

— Не удивляйся так, — сказал он. — То, что ты мне рассказал, заставляет задуматься...

— И о чем бы это? — спросил я.

— Да так, ни о чем, — ответил он.

— Вот и спасибо, — сказал я.

Я был вне себя. Есть две вещи, которыми я вправе гордиться. Одна из них — мое умение водить машину, а другая... ну... сами понимаете. Поэтому с его стороны было чудовищной наглостью говорить мне, будто я не знаю, как вести себя с моей собственной женой. Это он не знает, как себя вести, а не я. Бедная Саманта. Тяжело, должно быть, ей приходилось все эти годы.

— Извини, что я заговорил об этом, — произнес Джерри.

Он разлил виски по стаканам.

— Выпьем за великую сделку! — произнес он. — Когда начнем?

— Сегодня среда, — сказал я. — Как насчет этой субботы?

— О боже, — вымолвил Джерри.

— Нужно приступать немедленно, пока у нас все свежо в голове, — сказал я. — А запомнить нам нужно много.

Джерри подошел к окну и стал смотреть на улицу.

— О'кей, — обернувшись, произнес он наконец. — Суббота так суббота!

После этого мы разъехались по домам — каждый в своей машине.

— Мы с Джерри решили пригласить вас с Самантой на ужин в субботу вечером, — сказал я Мэри.

Мы были на кухне, где она готовила бутерброды для детей.

Она повернулась и уставилась на меня, держа в одной руке скорородку, в другой — ложку. Ее голубые глаза глядели в мои.

— Боже мой, Вик, — произнесла она. — Как это приятно. Но что у нас за праздник?

Я тоже посмотрел ей в глаза и сказал:

— Просто я подумал, что неплохо бы разнообразия ради повидать новые лица. А то мы встречаем одних и тех же людей в одних и тех же домах.

Она подошла ко мне и поцеловала меня в щеку.

— Какой ты добрый, — сказала она. — Я люблю тебя.

— Не забудь позвонить няне.

— Сегодня же это сделаю, — ответила она.

Четверг и пятница пролетели очень быстро, и неожиданно наступила суббота. В этот день должна была начаться операция. Проснувшись, я почувствовал невероятное возбуждение. После завтрака я не мог найти себе места, поэтому решил помыть машину. Я был увлечен этим занятием, когда в щели в изгороди появился Джерри, с трубкой в зубах, и прогуливающейся походкой направился ко мне.

— Привет, парень, — сказал он. — Наш день настал.

— Знаю, — ответил я.

У меня тоже была трубка во рту. Я всю старался раскурить ее, но у меня ничего не получалось. Дым обжигал мне язык.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Джерри.

— Отлично, — ответил я. — А ты?

— Немного нервничаю, — признался он.

— Не нужно нервничать, Джерри.

— Ну и дельце мы затеяли, — сказал он. — Надеюсь, все пройдет гладко.

Я продолжал драить ветровое стекло. Насколько мне известно, Джерри вообще никогда не нервничает. То, что он нервничает теперь, меня несколько обеспокоило.

— Я так рад, что мы не первые, кто пытается проделать такое, — сказал он. — Не думаю, что я стал бы рисковать, если бы знал, что раньше такого никто не делал.

— Согласен, — сказал я.

— Единственное, что не позволяет мне нервничать слишком уж сильно, — сказал он, — это то, что твоему другу все это показалось фантастически легким делом.

— Мой друг говорил, что дело верное, — согласился я. — Но ради бога, Джерри, не нервничай, когда мы приступим к операции, иначе всему конец.

— За меня не беспокойся, — сказал он. — Но черт побери, это ведь здорово, а?

— Еще как, — ответил я.

— Послушай, — добавил он. — Было бы хорошо, если бы мы сегодня вечером не налегали на выпивку.

— Отличная идея, — сказал я. — Увидимся в половине девятого.

В половине девятого Саманта, Джерри, Мэри и я отправились в машине Джерри в «Стейк-хаус Билли». Ресторан, несмотря на название, был первоклассный и дорогой, и дамы по этому случаю надели длинные платья. На Саманте было нечто зеленое, начинавшееся чуть ли не от пояса; такой красивой я ее никогда не видел. На нашем столе стояли свечи. Саманта сидела напротив меня, и всякий раз, когда она наклонялась вперед и ее лицо приближалось к пламени свечи, я мог видеть гребешок кожи на верхней части ее нижней губы.

— Посмотрим, — сказала она, беря у официанта меню, — что меня ждет сегодня вечером.

«О-го-го, — подумал я, — вот это вопрос». Все шло хорошо, и дамы отлично проводили время. Когда мы вернулись к дому Джерри, было без четверти двенадцать, и Саманта сказала:

— Зайдемте к нам, выпьем по стаканчику на ночь.

— Спасибо, — ответил я, — но уже поздно. Да и няню надо домой отвезти.

И мы с Мэри зашагали домой. С этого момента, сказал я про себя, когда мы подошли к входной двери, начинается отсчет времени. Мне нужно иметь ясную голову, и я ничего не должен забывать.

Пока Мэри расплачивалась с няней, я открыл холодильник и отыскал в нем кусок канадского чеддера. В буфете взял нож, а в шкафчике — кусочек пластыря. Приклеив пластырь к кончику указательного пальца, я подождал, пока Мэри не обернется.

— Вот черт, порезался, — сказал я и показал ей палец. — Ничего страшного, но кровь пошла.

— Мне казалось, у тебя сегодня было что поесть, — только это она и сказала. Однако пластырь зафиксировался у нее в мозгу, а я провел в жизнь вступительную часть моего плана.

Я отвез няню домой, и, когда вернулся и поднялся в спальню, было около полуночи. Мэри уже выключила свою лампу и, кажется, заснула. Я выключил лампу, стоящую с моей стороны кровати, и отправился раздеваться в ванную. Повертелся там минут десять, и, когда вышел, Мэри, как я и надеялся, уже крепко спала. Укладываться рядом с ней в постель не было никакого смысла. Поэтому я просто немного откинул одеяло со своей стороны, чтобы избавиться

от этой работы Джерри, затем в тапках спустился в кухню и включил электрический чайник. Было семнадцать минут первого. Осталось сорок три минуты.

В тридцать пять минут первого я поднялся наверх, чтобы удостовериться насчет Мэри и детей. Все крепко спали.

В двенадцать пятьдесят пять, за пять минут до решающего часа, я снова поднялся наверх, чтобы произвести окончательную проверку. Я подошел близко к Мэри и, наклонившись, шепотом окликнул ее. Ответа не последовало. Отлично! Все идет по плану! Пора идти!

Я накинул коричневый плащ поверх пижамы. Свет на кухне я выключил, чтобы весь дом был погружен во тьму, а входную дверь запер на засов. После чего, необыкновенно волнуясь, бесшумно ступил в темноту.

На нашей стороне улицы фонари не горели. На небе не видно было ни луны, ни единой звезды. Ночь стояла черная-пречерная, но воздух был теплый, и откуда-то дул легкий ветерок.

Я направился к щели в изгороди, но, лишь только подойдя к ней вплотную, смог различить и саму изгородь, и щель в ней. Я остановился, выжидая. Затем я услышал шаги Джерри. Он направлялся в мою сторону.

— Привет, парень, — прошептал он. — Все в порядке?

— Для тебя все готово, — прошептал я в ответ.

Он двинулся дальше. Я услышал, как его ноги в тапках мягко ступают по траве, когда он пошел в сторону моего дома. А я направился к его дому.

Я открыл входную дверь дома Джерри. Внутри было еще темнее, чем снаружи. Я осторожно закрыл дверь. Сняв плащ, повесил его на дверную ручку, потом снял тапки и приставил их к стене возле двери. Я даже рук своих не мог разглядеть, когда подносил их к лицу. Все приходилось делать на ощупь.

Боже мой, как я был рад, что Джерри так долго меня тренировал. Вперед меня несли не ноги, а руки. Пальцы то одной, то другой руки все время чего-то касались — стены, перил, мебели, занавесок. И я точно знал — или мне так казалось, — где я в данную минуту нахожусь. Мной владело жутковатое чувство оттого, что я пробираюсь по чужому дому среди ночи. Поднимаясь на ощупь по лестнице, я поймал себя на том, что вспомнил о ворах, которые прошлой зимой забрались в нашу комнату на первом этаже и украли теле-

визор. Когда на следующее утро явилась полиция, я указал им на огромную кучу дерьма, лежавшую на снегу возле гаража. «Они почти всегда это оставляют, — сказал мне один из полицейских. — Ничего не поделаешь — страшно».

Я поднялся по лестнице и пересек площадку, все время касаясь стены пальцами правой руки. Потом двинулся по коридору и, когда моя рука нащупала дверь первой детской, остановился ненадолго. Дверь была немного приоткрыта. Я прислушался; в комнате ровно дышал юный Роберт Рейнбоу, восьми лет. Я двинулся дальше и нащупал дверь второй детской, в которой располагались Билли, шести лет, и трехлетняя Аманда. Я постоял, прислушиваясь. Все было в порядке.

Главная спальня находилась в конце коридора, ярдах в четырех впереди. Я добрел и до нее. Джерри оставил дверь открытой, как и было задумано. Я вошел в комнату и неподвижно постоял за дверью, ловя каждый звук, который мог бы выдать, что Саманта не спит. Все было тихо. Держась за стену, я подошел к той стороне кровати, с которой лежала Саманта. Быстро присел на пол и нащупал розетку, от которой тянулся провод к лампе, стоящей на ее столике. Выдернул вилку и положил ее на ковер. Хорошо. Так гораздо безопаснее. Я поднялся. Саманты я не видел и поначалу ничего и не слышал. Я низко склонился над кроватью. Ага, вот теперь слышно, как она дышит. Неожиданно я почувал тяжелый мускусный запах духов, которыми она душилась в этот вечер, и в пах мне бросилась кровь. Я быстро обошел на цыпочках вокруг огромной кровати, едва касаясь ее края.

Теперь мне оставалось лишь залезть в постель. Я так и сделал, но едва я придавил своим телом матрас, как пружины подо мной закрипели так, точно в комнате кто-то выстрелил из ружья. Я замер, затаив дыхание. Сердце гулко застучало, готовое выскочить из груди. Саманта лежала ко мне спиной. Она не двигалась. Я натянул на себя одеяло и повернулся к ней. От нее исходило приятное ощущение женского тепла. А теперь пора! Вперед!

Я вытянул руку и коснулся ее тела. На ней была шелковая рубашка, сквозь которую я ощутил тепло. Я осторожно положил руку на ее бедро. Она по-прежнему не двигалась. Я выждал с минуту, затем позволил руке, лежавшей на ее бедре, крадучись отправиться на разведку. Мои пальцы медленно, нарочито и со знанием дела принялись возбуждать ее.

Она пошевелилась. Перевернулась на спину. Потом пробормотала сквозь сон: «О боже... О господи боже мой... Боже мой, дорогой!» Я, разумеется, ничего не сказал, но продолжал делать свое дело.

Прошло минуты две.

Она лежала совершенно неподвижно.

Прошла еще минута. Потом еще одна. Саманта не пошевелила ни одним мускулом.

Я уже начал было подумывать о том, сколько же еще пройдет времени, прежде чем она разгорячится, но продолжал свои манипуляции.

Однако почему она молчит? Почему она абсолютно, совершенно недвижима, почему застыла в одной позе?

И тут до меня дошло. Я совсем позабыл о том, что мне говорил Джерри. Я так распалился, что напрочь забыл о том, как он себя ведет в такую минуту! Я все делал по-своему, а не так, как он! А его подход гораздо более сложный. До нелепого мудреный. И зачем? Однако она к этому привыкла. И теперь заметила разницу и пыталась сообразить, что, черт возьми, происходит.

Но ведь уже слишком поздно что-либо менять. Нужно действовать в том же направлении.

И я продолжал. Женщина, лежавшая рядом со мной, была точно сжатая пружина. Я чувствовал, как она вся напряглась. Я начал покрываться испариной.

Неожиданно она как-то странно простонала. В голове у меня пронеслись еще более страшные мысли. Может, ей плохо? Может, у нее сердечный приступ? Не лучше ли будет, если я быстренько смотаюсь?

Она еще раз простонала, на этот раз громче. Потом вдруг разом выкрикнула: «Да-да-да-да-да!» — и взорвалась, точно бомба замедленного действия. Она схватила меня в объятия и принялась тискать с такой невероятной яростью, что мне показалось, будто на меня напал тигр.

Впрочем, не лучше ли сказать — тигрица?

Я никогда и не думал, что женщина способна на то, что со мной тогда проделывала Саманта. Она была ураганом, неудержимым яростным ураганом, вырвавшим меня с корнем, закрутившим и вознесшим на такие высоты, о существовании которых я и не подозревал.

Сам я ей не помогал. Да и как я мог это делать? Я был беспомощен. Я был пальмовым деревом, крутившимся в небе, овцой в когтях тигра. Я едва успевал перевести дух.

А у меня и вправду захватывало дух оттого, что я отдался в руки страстной женщины, и в продолжение следующих десяти, двадцати, тридцати минут — да разве я следил за временем? — буря неистовствовала. У меня, впрочем, нет намерения развлекать читателя описанием необычных подробностей. Мне не нравится, когда на людях стирают нижнее белье. Прошу меня простить, но дело обстоит именно таким образом. Я только надеюсь, что мое молчание не будет истолковано как желание скрыть что-либо неприглядное. Что до меня, то я в тот момент не пытался ничего скрывать и в заключительный миг наивысшего блаженства издал крик, который должен был бы поднять на ноги всех соседей. После этого я почувствовал полное изнеможение. Я осел, точно опорожненный бурдюк.

Саманта, будто выпив стакан воды, просто отвернулась от меня и тотчас же снова заснула. Ну и ну!

Я неподвижно лежал, медленно приходя в себя.

Все-таки я был прав насчет этой еле видимой приметы на ее нижней губе, разве не так?

Да если подумать, я был более или менее прав насчет всего, что имело отношение к этой невероятной эскападе. Ну и успех! Я чувствовал, что прекрасно провел время, да и не зря.

Однако интересно, который час. У моих часов циферблат не светится, но я догадывался, что мне пора. Я выполз из кровати. На ощупь обойдя вокруг нее, на сей раз с чуть меньшей осторожностью, я прошел по коридору, спустился по лестнице и оказался в холле. Там я нашел свой плащ и тапки и надел их. В кармане плаща у меня была зажигалка. Я зажег ее и посмотрел на часы. Было без восьми два — позднее, чем я думал. Я открыл входную дверь и ступил в черную ночь.

Теперь мои мысли занимал Джерри. Как идут у него дела? Все ли ему удалось? Я двигался в темноте в сторону щели в изгороди.

— Привет, парень, — услышал я рядом шепот.

— Джерри!

— Все в порядке? — спросил Джерри.

— Фантастика! — сказал я. — Потрясающе! А ты как?

— Про себя могу сказать то же самое, — ответил он. Я увидел, как в темноте блеснули его белые зубы. — Наша взяла, Вик! — прошептал он, коснувшись моей руки. — Ты был прав! План сработал! Это было грандиозно!

— Завтра увидимся, — прошептал я. — Иди домой.

Мы разошлись в разные стороны. Я пролез в щель в изгороди и вошел в свой дом. Три минуты спустя я снова благополучно лежал в своей постели, а рядом со мной крепко спала моя жена.

На следующий день было воскресенье. Я поднялся в восемь тридцать и спустился вниз в пижаме и халате, как и обычно по воскресеньям, чтобы приготовить завтрак для семьи. Мэри я оставил спящей. Двое мальчиков, Виктор, девяти лет, и Уолли, семи, уже были внизу.

— Привет, пап, — сказал Уолли.

— Сейчас я приготовлю новый роскошный завтрак, — объявил я.

— Чего? — произнесли в один голос оба мальчика.

Они уже сходили за воскресной газетой и теперь просматривали комиксы.

— Тосты мы намажем маслом, а сверху — апельсиновым джемом, — сказал я. — А на джем положим кусочки свежего бекона.

— Бекона! — воскликнул Виктор. — На апельсиновый джем!

— Знаю, что так не делают. Но погодите, пока не попробуете. Это замечательно.

Я достал грейпфрутовый сок и выпил два стакана. Еще один стакан я поставил на стол, чтобы его выпила Мэри, когда спустится вниз. Я включил электрический чайник, положил хлеб в тостер и принялся поджаривать бекон. В этот момент на кухню вошла Мэри. На ней была какая-то легкая тряпка персикового цвета, накинутая поверх ночной рубашки.

— Доброе утро, — сказал я, глядя на нее через плечо и одновременно манипулируя сковородкой.

Она не отвечала. Подойдя к своему стулу возле кухонного стола, она опустилась на него. Потом стала медленными глотками пить сок, не глядя ни на меня, ни на детей. Я продолжал жарить бекон.

— Привет, мам, — сказал Уолли.

Она и на это ничего не отвечала.

От запаха свиного жира меня начало тошнить.

— Я хочу кофе, — сказала Мэри, не поднимая головы.

Голос ее прозвучал очень странно.

— Сейчас будет, — сказал я.

Я сдвинул с огня сковородку и быстро приготовил чашку растворимого кофе. Чашку я поставил перед ней.

— Мальчики, — сказала она, обращаясь к детям, — не могли бы вы почитать в другой комнате, пока не приготовят завтрак?

— Мы? — переспросил Виктор. — Почему?

— Потому что я прошу вас об этом.

— Мы что-то не так делаем? — спросил Уолли.

— Нет, мой хороший, все так. Просто я хочу, чтобы меня ненадолго оставили с папой.

Я почувствовал, как внутри у меня все сжалось. Мне захотелось бежать. Захотелось выскочить на улицу через входную дверь, пробежать сломя голову и где-нибудь спрятаться.

— Налей и себе кофе, Вик, и сядь.

Голос у нее был совершенно ровный. Гнева в нем не слышалось. Да в нем вообще ничего не слышалось. Однако она так ни разу и не взглянула на меня. Мальчики вышли, прихватив с собой страницу с комиксами.

— Закройте за собой дверь, — сказала им Мэри.

Я положил себе ложку растворимого кофе и налил в чашку кипяченой воды. Потом добавил молока и положил сахар. Тишина стояла оглушающая. Я подошел к столу и сел на стул напротив Мэри. У меня было такое чувство, будто я сижу на электрическом стуле.

— Послушай, Вик, — сказала она, глядя в свою чашку. — Я хочу высказаться сейчас, потому что потом не смогу сказать тебе этого.

— Ради бога, к чему этот трагический тон? — спросил я. — Что-то случилось?

— Да, Вик, случилось.

— Что же?

Ее бледное неподвижное лицо выглядело абсолютно отстраненным; казалось, она ничего вокруг себя не замечает.

— Ну же, выкладывай, — смело сказал я.

— Тебе это не очень-то понравится, — начала она, и ее большие голубые глаза, в которых застыло тревожное выражение, остановились на мгновение на моем лице, но она тотчас же отвела их.

— Что именно мне не очень понравится? — спросил я.

Внутри у меня все похолодело. Я почувствовал себя как один из тех воров, о которых мне рассказывал полицейский.

— Ты ведь знаешь, я очень не люблю говорить о физической близости и тому подобном, — сказала она. — Сколько мы с тобой женаты, я ни разу с тобой об этом не говорила.

— Это правда, — согласился я.

Она сделала глоток кофе и, мне показалось, даже не почувствовала его вкуса.

— Дело в том, — сказала она, — что мне никогда это не нравилось. Если хочешь знать, я это всегда ненавидела.

— Что ненавидела? — спросил я.

— Секс, — сказала она. — Заниматься им.

— О господи! — произнес я.

— Я никогда не получала от этого ни малейшего удовольствия.

Это само по себе звучало обескураживающе, однако настоящий удар меня ждал впереди, в этом я был уверен.

— Извини, если тебя это удивляет, — добавила она.

Я не знал, что и говорить, поэтому промолчал. Она снова подняла взгляд от кофейной чашки и внимательно заглянула в мои глаза, будто взвешивая что-то, потом снова опустила голову.

— Я не собиралась никогда с тобой об этом говорить, — сказала она. — И не стала бы этого делать, если бы не минувшая ночь.

Очень медленно я спросил:

— А при чем тут минувшая ночь?

— Минувшей ночью, — ответила она, — я неожиданно узнала, что это, черт возьми, такое.

— Вот как?

Она поглядела мне в глаза, и ее лицо раскрылось, точно цветок.

— Да, — ответила она, — теперь я это точно знаю.

Я не двигался.

— О дорогой! — вскричала она и, вскочив со стула, бросилась ко мне и наградила меня сочным поцелуем. — Огромное тебе спасибо за прошлую ночь! Ты был прекрасен! И я была прекрасна! Мы оба были прекрасны! Не смущайся так, мой дорогой! Ты должен гордиться собой! Ты был неподражаем! Я люблю тебя! Люблю! Люблю!

Я сидел не двигаясь.

Она придвинулась еще ближе ко мне и обняла меня за плечи.

— А теперь, — мягко заговорила она, — теперь, когда ты... даже не знаю, как сказать... теперь, когда ты... открыл, что ли... что мне нужно, теперь все будет замечательно!

Я по-прежнему сидел не двигаясь. Она медленно пошла назад на свое место. По щеке ее бежала большая слеза. Я не понимал почему.

— Я ведь правильно сделала, что сказала тебе? — спросила она, улыбаясь сквозь слезы.

— Да, — ответил я. — О да.

Я поднялся и подошел к плите, чтобы только не смотреть ей в лицо. В окно я увидел Джерри, который шел через сад с воскресной газетой под мышкой. В походке его было что-то бодрое, в каждом шаге чувствовалось горделивое торжество, и, подойдя к своему дому, он взбежал на крыльцо, перепрыгивая через две ступеньки.

ПОСЛЕДНИЙ АКТ

Анна стояла у кухонной раковины, моя головку бостонского латука-салата к семейному ужину, когда в дверь позвонили. Звонил висел на стене прямо над раковиной, и он всякий раз заставлял ее вздрагивать, когда ей случалось оказаться рядом. По этой причине ни муж, ни кто-либо из детей никогда не звонили в него. На этот раз он, как ей показалось, прозвенел громче, и Анна вздрогнула сильнее, чем обычно.

Когда она открыла дверь, за порогом стояли двое полицейских с бледно-восковыми лицами. Они смотрели на нее. Она тоже смотрела на них, ожидая, что они скажут.

Она смотрела на них, но они ничего не говорили. И не двигались. Они стояли так неподвижно, что казались похожими на две восковые фигуры, которых кто-то шутки ради поставил у дверей. Оба держали перед собой в руках свои шлемы.

— В чем дело? — спросила Анна.

Они были молоды, и оба были в перчатках с крагами. Она увидела их огромные мотоциклы, стоявшие за ними у тротуара; вокруг мотоциклов кружились мертвые листья и, гонимые ветром, летели вдоль тротуара, а вся улица была залита желтым светом ветреного сентябрьского вечера. Тот из полицейских, что был выше ростом, беспокойно переступил с ноги на ногу. Потом тихо спросил:

— Вы миссис Купер, мадам?

— Да, это я.

— Миссис Эдмунд Джей Купер? — спросил другой.

— Да.

И тут ей начало медленно приходить в голову, что эти два человека, не торопившиеся объяснить свое появление, не вели бы себя так, если бы на них не была возложена неприятная обязанность.

— Миссис Купер, — услышала она голос одного из них, и по тому, как были произнесены эти слова, ласково и нежно, точно уте-

шали больного ребенка, она тотчас же поняла, что ей собираются сообщить нечто страшное.

Волна ужаса захлестнула ее, и она спросила:

— Что-то случилось?

— Мы должны сообщить вам, миссис Купер...

Полицейский умолк. Женщине показалось, будто она вся сжалась в комок.

— ...что ваш муж попал в аварию на Хадсон-ривер-паркуэй приблизительно в пять сорок пять вечера и скончался в машине «скорой помощи»...

Говоривший полицейский извлек бумажник из крокодиловой кожи, который она подарила Эду на двадцатую годовщину их свадьбы два года назад, и, протягивая руку, чтобы взять его, она поймала себя на том, что бумажник, наверное, еще хранит тепло груди мужа.

— Если вам что-то нужно, — говорил полицейский, — скажем, позвонить кому-нибудь, чтобы к вам пришли... какому-нибудь знакомому или, может, родственнику...

Анна слышала, как его голос постепенно уплывал куда-то, а потом исчез и вовсе, и, должно быть, в эту минуту она и закричала. Затем с ней случилась истерика, и двое полицейских измучились, утешая ее, пока минут через сорок не явился врач и не впрыснул ей в руку какое-то лекарство.

Проснувшись на следующее утро, лучше она себя не почувствовала. Ни врач, ни дети не могли привести ее в чувство, и она наверняка покончила бы с собой, если бы в продолжение нескольких следующих дней не находилась под почти постоянным действием успокаивающих средств. В короткие периоды ясного сознания, в промежутках между приемом лекарств, она вела себя как помешанная, выкрикивая имя своего мужа и голоса, что ей не терпится к нему присоединиться. Слушать ее было невозможно. Однако в оправдание ее поведения следует сказать — она потеряла необыкновенного мужа.

Анна Гринвуд вышла замуж за Эда Купера, когда им обоим было по восемнадцать, и за то время, что были вместе, они настолько привязались друг к другу, что выразить это словами невозможно. С каждым годом любовь их становилась все крепче и безграничнее и достигла такого апогея, что, пусть это и покажется смешным, они с трудом выносили ежедневное расставание, когда Эд утром от-

правлялся на службу. Возвратившись вечером, он принимался разыскивать ее по всему дому, а она, услышав, как хлопает входная дверь, бросала все и тотчас же устремлялась ему навстречу, и они, точно обезумевшие, сталкивались где-нибудь нос к носу на полном ходу, например посреди лестницы, или на площадке, или между кухней и прихожей. А после того, как они находили друг друга, он сжимал ее в объятиях и целовал несколько минут подряд, будто только вчера на ней женился. Это было прекрасно. Это было столь невыразимо, невероятно прекрасно, что не так уж и трудно понять, почему у нее не было ни желаний, ни отваги и дальше жить в мире, в котором ее муж больше не существовал.

Трое ее детей — Анджела (двадцати лет), Мэри (девятнадцати) и Билли (семнадцати с половиной) находились постоянно возле нее с того самого времени, как произошло несчастье. Они обожали свою мать и всеми силами старались не допустить того, чтобы она покончила с собой. С отчаянием любящих людей они всячески старались убедить ее в том, что жить все-таки стоит, и только благодаря им ей удалось в конце концов выкарабкаться из того кошмарного состояния, в котором она находилась, и постепенно вернуться к нормальной жизни.

Через четыре месяца после трагедии врачи объявили, что «жизнь ее более или менее вне опасности», и она смогла вернуться к тому, чем занималась прежде, — домашнему хозяйству, покупкам и приготовлению еды для своих взрослых детей, хотя делала все равнодушно.

Но что же было дальше?

Не успел растаять снег той зимы, как Анджела вышла замуж за молодого человека из штата Род-Айленд и отправилась жить в пригород Провиденса.

Несколько месяцев спустя Мэри вышла замуж за белокурого гиганта из города под названием Слейтон, что в штате Миннесота, и улетела навсегда. И хотя сердце Анны вновь начало разбиваться на мелкие кусочки, она с гордостью думала: ни одна из двух ее девочек даже не подозревает, что с ней происходит. («Мамочка, разве ты не рада за меня?» — «Ну что ты, да такой прекрасной свадьбы еще никогда не было! Я больше тебя волновалась!» — и так далее.)

А затем, в довершение всего, уехал и ее любимый Билли, которому исполнилось только восемнадцать, чтобы начать первый учебный год в Йельском университете.

И неожиданно Анна оказалась в совершенно пустом доме.

После двадцати трех лет шумной, беспокойной, волшебной семейной жизни страшно одной спускаться по утрам к завтраку, сидеть с чашкой кофе и кусочком тоста и думать о том, как бы прожить наступающий день. Ты сидишь в комнате, которая слышала столько смеха, видела столько дней рождения, столько рождественских елок, столько подарков, и теперь в этой комнате тихо и как-то зябко. Она отапливается, и температура воздуха нормальная, и все же, находясь в ней, ощущаешь какую-то дрожь. Часы остановились, потому что заводила их всегда не она. Ножки стула подкосились, и она сидит и смотрит, удивляясь, почему не замечала этого раньше. А когда снова поднимаешь глаза, тебя вдруг охватывает панический ужас, потому что все четыре стены, пока ты на них не смотрела, угрожающе приблизились.

Поначалу она брала чашку кофе, шла к телефону и принималась названивать своим знакомым. Но у всех ее приятельниц были мужья и дети, и, хотя они всегда были ласковы, добры и приветливы с ней, как только могли, у них просто не было времени, чтобы сидеть и болтать с одинокой женщиной, звонившей некстати с раннего утра. Тогда она стала звонить своим замужним дочерям.

Они тоже были добры и ласковы, но очень скоро Анна уловила незначительную перемену в их отношении к ней. Она больше не была для них главным в их жизни. Теперь у них были мужья, на которых все их мысли и сосредоточивались. Нежно, но твердо они отодвигали свою мать на задний план. Для нее это было настоящим потрясением. Но она понимала, что они правы. Они были абсолютно правы. Она уже не могла вторгаться в их жизнь или заставлять их чувствовать вину за то, что они забывают о ней.

Она регулярно встречалась с доктором Джекобсом, но помощи от него не было никакой. Он пытался заставить ее разговориться, и она старалась ничего не скрывать, а иногда он произносил небольшие речи, полные туманных намеков, о сексе и сублимации. Анна так и не могла толком понять, к чему он клонит, но суть его излияний, кажется, сводилась к тому, что ей нужен другой мужчина.

Она принялась бродить по дому и брать в руки вещи, которые когда-то принадлежали Эду. Взяв какой-нибудь его ботинок и просунув в него руку, она нащупывала небольшие углубления, оставленные в подошве его пяткой и пальцами ног. Она нашла как-то

дырявый носок, и удовольствие, с которым она заштопала этот носок, не поддается описанию. Время от времени она доставала рубашку, галстук и костюм и раскладывала все это на кровати, чтобы ему оставалось их только надеть, а однажды, дождливым воскресным утром, приготовила баранину, тушенную с луком и картошкой...

Продолжать такое существование было бессмысленно.

Так сколько же нужно таблеток, чтобы не сплеховать на этот раз? Она поднялась вверх, где хранился ее тайный запас, и пересчитала их. Всего девять штук. Хватит ли этого? Сомнительно. Вот же черт! Только бы опять не постигла неудача — это единственное, чего она боялась; снова больница, желудочный зонд, палата на седьмом этаже, психиатры, унижение, страдания...

В таком случае пусть это будет лезвие бритвы. Но проблема в том, что нужно знать, как обращаться с бритвой. Многие самым жалким образом терпели неудачу, пытаясь использовать бритву на запястье. По сути, неудача подстерегала почти всех, ибо надрез делался недостаточно глубокий. Где-то там идет большая артерия, и всего-то и надо, что до нее добраться. Вены лучше не трогать. Вены только портят все дело и никогда не помогают осуществить задуманное. И потом, лезвие бритвы не так-то просто держать в руке, а ведь надо еще и прикладывать большое усилие, если уж твердо решил. Нет, она-то не потерпит неудачу. Те, с кем это случалось, именно неудачи и хотели. Ей же хотелось добиться своего.

Она подошла к шкафчику в ванной и принялась искать лезвия. Однако их там не оказалось. Бритвенный прибор Эда был на месте, так же как и ее прибор, но лезвий ни в одном из них не оказалось. Нигде не было и пакетика. Впрочем, это и понятно. Все эти вещи еще в прошлый раз были вынесены из дома. Однако это не проблема. Лезвия купить нетрудно.

Она вернулась на кухню и сняла со стены календарь. Против 23 сентября — дня рождения Эда — она написала букву «л» (лезвия). Было 9 сентября, и у нее оставалось ровно две недели, чтобы привести дела в порядок. Сделать же предстояло немало: оплатить старые счета, составить новое завещание, убрать в доме, позаботиться о счетах Билли за учебу на следующие четыре года, написать письма детям, родителям, матери Эда и так далее.

Но, как ни была она занята, эти две недели, эти четырнадцать долгих дней тянулись, на ее взгляд, чересчур медленно. Ей ужасно хотелось пустить в ход лезвие, и каждое утро она нетерпеливо под-

считывала оставшиеся дни. Она была точно ребенок, считающий дни, оставшиеся до Рождества. Ибо, куда бы ни отправился Эд Купер, когда он умер, даже если всего-навсего в могилу, ей не терпелось присоединиться к нему.

В самой середине этого двухнедельного срока в восемь тридцать утра к ней зашла ее приятельница Элизабет Паолетти. Анна как раз готовила на кухне кофе, и, когда прозвенел звонок, она вздрогнула, и вздрогнула снова, когда звонок опять прозвенел, на этот раз настойчивее.

Лиз стремительно вошла в дом, по обыкновению болтая без умолку:

— Анна, дорогая моя, мне нужна твоя помощь! В конторе все свалились с гриппом. Ты просто обязана у нас поработать! Не спорь со мной! Знаю, ты умеешь печатать на машинке, а заняться тебе совершенно нечем и ты только и делаешь, что хандрить. Надевай шляпу, бери сумочку, и идем. Да быстрее, прошу тебя, быстрее! Я и так опаздываю!

— Уходи, Лиз. Оставь меня одну, — сказала Анна.

— Нас ждет такси, — настаивала Лиз.

— Прощу тебя, — сказала Анна, — не пытайся меня уговорить. Я никуда не пойду.

— Пойдешь, — стояла на своем Лиз. — Возьми себя в руки. Закончились твои славные денечки мученичества.

Анна продолжала упираться, но Лиз сломила ее сопротивление, и в конце концов она согласилась пойти всего на несколько часов.

Элизабет Паолетти заведовала агентством по усыновлению, одним из лучших в городе. Девять ее сотрудников заболели гриппом. Кроме нее, оставались только двое.

— Чем мы занимаемся, ты не имеешь ни малейшего представления, — говорила она в такси, — поэтому просто помогай нам чем можешь...

В агентстве царил суматоха. Одни телефонные звонки едва не свели Анну с ума. Она бегала из одной комнаты в другую и принимала телефонограммы, содержание которых было ей непонятно. А в приемной сидели молодые женщины с каменными лицами пепельного цвета, и в ее обязанности входило на машинке записывать их ответы на официальном бланке.

— Фамилия отца?

— Не знаю.

— Как это — не знаете?

— А при чем тут фамилия отца?

— Моя дорогая, если известен отец, тогда нам нужно получить его согласие, так же как и ваше, прежде чем можно будет предложить ребенка для усыновления.

— Вы в этом вполне уверены?

— Боже мой, если я вам говорю, значит знаю.

В обед кто-то принес ей сэндвич, но съесть его было некогда. В девять часов вечера, уставшая, проголодавшаяся и в значительной степени потрясенная некоторыми приобретенными ею знаниями, Анна шатающейся походкой возвратилась домой, выпила чего-то крепкого, съела яичницу с беконом и отправилась спать.

— Я заеду за тобой завтра утром в восемь часов, — предупредила ее Лиз. — Ради бога, будь готова.

И с этого времени она оказалась на крючке.

Все произошло очень быстро.

Ей только это и нужно было с самого начала — интересная, трудная работа и множество проблем, которые требовалось решить, — чужих проблем, а не собственных.

Работа была напряженная и подчас отнимала у нее все душевные силы, но Анне она не оставляла ни одной свободной минуты, и примерно через полтора года — мы перескакиваем прямо к настоящему времени — она вновь почувствовала себя более или менее счастливой. Ей становилось все труднее живо представить себе мужа, увидеть его таким, каким он был, когда взбегал по лестнице к ней навстречу или сидел по вечерам напротив нее за ужином. Не так легко уже было и вспомнить, как звучал его голос, да и само лицо, пока не взглянешь на фотографию, не так четко вырисовывалось в памяти. Она по-прежнему постоянно думала о нем, однако обнаружила, что делает это теперь без слез, и, оглядываясь назад, испытывала некоторое смущение при мысли о том, какой была раньше. Она начала следить за своей одеждой и прической, снова стала пользоваться губной помадой и брить волосы на ногах. Ела она с аппетитом и, когда ей улыбались, искренне улыбалась в ответ. Другими словами, она снова почувствовала себя в своей тарелке. Ей доставляло радость жить.

Именно в этот момент Анне пришлось по делам отправиться в Даллас.

Обычно агентство Лиз работало только в пределах штата, но на этот раз случилось так, что пара, усыновившая с их помощью ребенка, выехала из Нью-Йорка и перебралась жить в Техас. И вот, спустя пять месяцев после переезда, женщина написала письмо, в котором сообщала, что ребенок ей больше не нужен. Ее муж, писала она, умер от сердечного приступа вскоре после того, как они прибыли в Техас. Сама она вскоре снова вышла замуж, и ее новый муж «счел невозможным привыкнуть к усыновленному ребенку...»

Положение было серьезное, и помимо благополучия самого ребенка приходилось думать еще и об обязательствах, налагаемых законом.

Анна вылетела из Нью-Йорка очень рано утром и прибыла в Даллас до завтрака. Устроившись в гостинице, следующие восемь часов она занималась тем делом, ради которого прилетела. К тому времени, когда она сделала все, что можно было сделать в этот день, было около половины пятого, и она чувствовала себя совершенно разбитой. В гостиницу она возвратилась на такси и поднялась в свою комнату. Она позвонила Лиз и рассказала ей о том, как обстоят дела, потом разделась и долго отмокала в теплой ванне. После этого, завернувшись в полотенце, легла на кровать и закурила.

Все ее усилия насчет ребенка пока ни к чему не привели. Двое местных адвокатов обращались с ней с полным презрением. Как она их ненавидела! Ей ненавистны были их высокомерие и тихие, но откровенные намеки на то, что она не сможет сделать ничего такого, что имело бы хоть малейшее значение для их клиента. Один из них в продолжение всего разговора сидел, положив ноги на стол. У обоих выступали складки жира на животе; жир, подобно некой жидкости, разливался у них под рубашками и огромными складками свисал над ремнями брюк.

Анне много раз приходилось бывать в Техасе, но она никогда прежде не ездила туда одна. Она всегда сопровождала Эда в его деловых поездках; и во время этих поездок они часто говорили о техасцах вообще и о том, как трудно заставить себя их полюбить. Дело даже не в том, что они грубы и вульгарны. Вовсе не в этом. Но в этих людях, похоже, живет какая-то жестокость, есть в них что-то безжалостное, немилосердное и беспощадное, что простить невозможно. У них нет чувства сострадания, нет жалости или нежности. Этакая снисходительность — единственная их добродетель,

и они без устали щеголяют ею перед незнакомыми людьми. Их от нее прямо распирает. Она обнаруживается в их голосе, улыбке. Но Анна всегда оставалась невозмутимой. Ее это не задевало.

— Неужели им нравится быть такими напыщенными? — спрашивала она.

— Просто они ведут себя как дети, — отвечал Эд. — Но это опасные дети, которые во всем пытаются подражать своим дедушкам. Их дедушки были пионерами. А эти люди — нет.

Казалось, что ими, этими нынешними техасцами, движет лишь самомнение: проталкивайся вперед, и ничего, если и тебя толкнут. Проталкивался каждый. И каждого толкали. И пусть чужой человек, оказавшийся среди них, отступал и твердо говорил: «Я не буду толкаться и не хочу, чтобы меня толкали». Для себя они такое считали недопустимым. И особенно недопустимо такое было в Далласе. Из всех городов этого штата Даллас более других будоражил Анну. Это такой нечестивый город, думала она, такой хищный и нечестивый, он всегда готов стиснуть тебя в своих железных объятиях. Деньги развратили его, и никакой внешний лоск или показная культура не в состоянии скрыть тот факт, что огромный золотой плод внутри прогнил, что бы там ни говорили.

Анна лежала на кровати, завернувшись в полотенце. В этот раз она была в Далласе одна. Теперь с ней не было Эда, который смог бы ее утешить, и, наверное, поэтому она вдруг начала ощущать легкое беспокойство. Она закурила вторую сигарету и принялась ждать, когда беспокойство покинет ее. Оно не проходило; ей становилось все хуже. Она почувствовала, как в груди образовался комок страха, разрастающийся с каждой минутой. Это было неприятное ощущение, из тех, которые испытываешь, когда находишься один в доме ночью и слышишь или кажется, что слышишь, шаги в соседней комнате.

Шагов в этом городе — миллион, и она слышала их все.

Она поднялась с кровати и подошла к окну, по-прежнему завернутая в полотенце. Ее номер находился на двадцать втором этаже, и окно было открыто. Освещенный тусклыми лучами заходящего солнца, огромный город казался окрашенным в молочно-желтый цвет. Вся улица внизу была забита автомобилями. Тротуар был полон людей. Все спешили домой после работы, и при этом каждый толкался и каждого толкали. Она ощутила потребность в друге. Ей ужасно захотелось, чтобы в эту минуту можно было с кем-то по-

говорить. Больше всего ей захотелось пойти в дом, дом, в котором живет семья — жена, муж, дети, где есть комнаты, полные игрушек, и чтобы муж с женой схватили ее в объятия у двери и воскликнули: «Анна! Как мы рады тебя видеть! Сколько ты у нас пробудешь? Неделю, месяц, год?»

Неожиданно, как это часто бывает в таких случаях, ее будто осенило, и она громко воскликнула:

— Конрад Крюгер! Боже милостивый! Да ведь он в Далласе живет... по крайней мере, жил когда-то...

Она не видела Конрада с тех пор, когда они учились вместе в старшей школе в Нью-Йорке. Тогда им обоим было лет по семнадцать и Конрад был ее возлюбленным, ее любовью, всем на свете. Больше года они не расставались и поклялись в вечной преданности друг другу, а в будущем собирались пожениться. Но потом в ее жизнь ворвался Эд Купер, и это, разумеется, положило конец любовной истории с Конрадом. Однако Конрад, кажется, и не очень-то горевал по поводу этого разрыва. А уж то, что он не был убит горем, это точно, потому что месяца через два стал сильно приударять за другой девушкой из их класса...

Как же ее звали?

Это была крупная грудастая девушка с огненно-рыжими волосами и оригинальным именем, очень старомодным. Но вот каким? Арабелла? Нет, не Арабелла. Хотя имя начинается на «Ара»... Араминта? Да! Ну конечно же Араминта! Более того, не прошло, кажется, и года, как Конрад Крюгер женился на Араминте и увез ее к себе в Даллас, где он родился.

Анна подошла к тумбочке возле кровати и взяла телефонную книгу.

Крюгер Конрад, доктор медицины.

Разумеется, это Конрад. Он всегда ей говорил, что будет врачом. В телефонной книге были и служебный, и домашний телефоны.

Может, позвонить?

А почему бы и нет?

Она посмотрела на часы. Двадцать минут шестого. Она сняла трубку и назвала номер его служебного телефона.

— Клиника доктора Крюгера, — ответил женский голос.

— Здравствуйте, — сказала Анна. — Скажите, доктор Крюгер на месте?

— Доктор сейчас занят. Позвольте узнать, кто его спрашивает?

- Не могли бы вы передать ему, что звонила Анна Гринвуд?
- Как?
- Анна Гринвуд.
- Хорошо, мисс Гринвуд. Вы хотели бы записаться на прием?
- Нет, благодарю вас.
- Чем-то еще я могу быть полезна?

Анна попросила ее передать доктору Крюгеру номер своего телефона в гостинице.

— Непременно это сделаю, — заверила ее ассистентка. — До свидания, мисс Гринвуд.

— До свидания, — сказала Анна.

Интересно, подумала она, вспомнит ли доктор Конрад П. Крюгер ее имя по прошествии стольких лет. Хорошо бы вспомнил. Она снова легла на кровать и попыталась припомнить, каким был Конрад. Необычайно красивый, вот каким он был. Высокий... стройный... широкоплечий... с почти абсолютно черными волосами... и еще у него было красивое лицо... энергичное, с точеными чертами, лицо одного из этих героев — Персея или Улисса. Вместе с тем это был очень нежный юноша, серьезный, воспитанный и тихий. Много он ее не целовал — разве что прощаясь по вечерам. И лапать ее не пытался, как это делали все другие. Когда в субботние вечера он привозил ее домой из кино, то обычно парковал свой старый «бьюик» возле ее дома и сидел в машине рядом с ней, без конца говоря о будущем, о ее будущем и своем, и о том, как он собирается вернуться в Даллас, чтобы стать знаменитым врачом. Его нежелание лапать ее и вообще заниматься всей этой чепухой бесконечно ее поражало. «Он меня уважает, — говорила она про себя. — Он любит меня». И наверное, она была права. Во всяком случае, это был приятный молодой человек, приятный и добрый. И если бы не то обстоятельство, что Эд Купер был еще приятнее и добрее, она наверняка вышла бы замуж за Конрада Крюгера.

Зазвонил телефон. Анна взяла трубку.

- Да, — сказала она. — Алло.
- Анна Гринвуд?
- Конрад Крюгер?
- Моя дорогая Анна! Какой фантастический сюрприз! Боже мой! Столько лет прошло!
- Немало, не правда ли?
- Целая жизнь. Твой голос звучит как прежде.

- Твой тоже.
- Что привело тебя в наш прекрасный город? Ты надолго здесь?
- Нет, завтра мне нужно возвращаться. Надеюсь, ты не против, что я тебе позвонила?
- Черт возьми, нет, Анна. Я очень рад. Ты здорова?
- Да, все в порядке. Теперь со мной все в порядке. Но какое-то время мне было плохо, после того как умер Эд...
- Что?
- Он разбился на машине два с половиной года назад.
- Мне так жаль, Анна. Как это ужасно! Я... не знаю, что и сказать...
- Ничего не нужно говорить.
- Теперь ты в порядке?
- Все замечательно. Вкалываю как рабыня.
- Вот и умница...
- А как... как поживает Араминта?
- О, прекрасно.
- Дети у вас есть?
- Один, — ответил он. — Мальчик. А у тебя?
- У меня трое, две девочки и мальчик.
- Вот это да! Послушай-ка, Анна...
- Слушаю.
- Давай я заеду в гостиницу и угощу тебя чем-нибудь? Мне бы это доставило удовольствие. Клянусь, ты ничуть не изменилась.
- Я выгляжу старой, Конрад.
- Неправда.
- Я и чувствую себя старой.
- Может, тебе нужен хороший врач?
- Да. То есть нет. Конечно нет. Мне больше не нужны врачи. Мне нужно лишь... как бы это сказать...
- Да?
- Мне здесь немного не по себе, Конрад. Наверное, мне нужно, чтобы рядом со мной был друг. Вот и все, что мне нужно.
- Считай, что у тебя есть друг. Мне осталось осмотреть еще только одного пациента, и я свободен. Давай встретимся в твоём гостиничном баре... позабыл, как он там называется... в шесть часов, примерно через полчаса. Устраивает?
- Да, — сказала она. — Конечно. И... спасибо тебе, Конрад.

Она положила трубку, потом поднялась с кровати и начала одеваться.

Она чувствовала себя немного взволнованной. После смерти Эда она никуда не ходила и тем более не выпивала с женщиной. Доктор Джекобс будет доволен, когда она расскажет ему об этом по возвращении. Поздравлять он ее не станет, но наверняка будет доволен. Он скажет, что это шаг в правильном направлении, что это начало. Она по-прежнему регулярно посещала его, и теперь, когда ей стало гораздо лучше, его туманные замечания сделались не столь туманными, и он не раз говорил ей, что ее депрессии и тяга к самоубийству никуда не денутся, пока она физически не «заменит» Эда на другого мужчину.

— Но ведь нельзя же заменить человека, которого безумно любил, — сказала ему Анна, когда он в последний раз заговорил об этом. — Боже милостивый, доктор, да когда в прошлом месяце у миссис Крамли-Браун умер попугай — слышите, попугай, а не муж, — она была так шокирована этим, что поклялась никогда больше не заводить птицу!

— Миссис Купер, — сказал доктор Джекобс, — с попугаем обыкновенно не вступают в сексуальные отношения.

— Да... но...

— Поэтому его не обязательно заменять. Но когда умирает муж, а вдова еще деятельна и здорова, она обязательно, если это возможно, найдет ему замену. И наоборот.

Секс. Наверное, это единственное, о чем думал этот доктор. У него на уме один только секс.

Когда Анна оделась и спустилась вниз на лифте, было десять минут седьмого. Едва она вошла в бар, как из-за одного из столиков поднялся мужчина. Это был Конрад. Должно быть, он следил за дверью. Он пошел ей навстречу, нервно улыбаясь. Анна тоже улыбалась. В таких случаях всегда улыбаются.

— Так-так, — проговорил он. — Так-так-так.

И она, ожидая приличествующего ситуации поцелуя, подставила ему щеку, продолжая улыбаться. Однако она забыла, каким чопорным был Конрад. Он просто взял ее руку в свою и пожал — один раз.

— Вот уж действительно сюрприз, — сказал он. — Проходи, садись.

Бар ничем не отличался от бара в любой другой гостинице. Он был тускло освещен и заполнен множеством небольших столиков. На каждом столике стояло блюдечко с орешками, а вдоль стен тянулись кожаные кресла-скамьи. На официантах были белые пиджаки и темно-бордовые брюки. Конрад повел ее к столику, стоявшему в углу, и они сели лицом друг к другу. Официант уже стоял рядом.

— Что ты будешь пить? — спросил Конрад.

— Можно мне martini?

— Разумеется. С водкой?

— Нет, с джином, пожалуйста.

— Один martini с джином, — сказал он официанту. — Нет, лучше два. Ты, наверное, помнишь, Анна, я не очень-то люблю выпивать, но, думаю, сегодня для этого есть повод.

Официант удалился. Конрад откинулся в кресле и внимательно посмотрел на нее.

— Ты очень хорошо выглядишь, — заметил он.

— И ты очень хорошо выглядишь, Конрад, — сказала она ему.

И это было действительно так. Удивительно, как мало он постарел за двадцать пять лет. Все такой же стройный и красивый, как и тогда, — по правде, даже более красивый. Его черные волосы были по-прежнему черными, взгляд — ясным, и, в общем, он выглядел как мужчина, которому не дашь больше тридцати.

— Ты ведь старше меня, не так ли? — спросил он.

— Это что еще за вопрос? — рассмеялась она. — Да, Конрад, я ровно на год тебя старше. Мне сорок два.

— Я так и подумал.

Он по-прежнему изучал ее с предельным вниманием, взгляд его скользил по ее лицу, шее и плечам. Анна почувствовала, что краснеет.

— У тебя, наверное, просто замечательно идут дела? — спросила она. — Ведь лучше тебя во всем городе нет врача?

Он наклонил голову набок, так что ухо едва не коснулось плеча. Эта его манера Анне всегда нравилась.

— Замечательно? — переспросил он. — В наше время у любого врача в большом городе дела могут идти замечательно — я имею в виду в финансовом отношении. Но вот действительно ли я первоклассный специалист — это другое дело. Мне остается только надеяться и молиться, что это так.

Подали напитки, и Конрад поднял свой бокал и произнес:

— Добро пожаловать в Даллас, Анна. Я так рад, что ты мне позвонила. Приятно снова тебя увидеть.

— И мне приятно тебя увидеть, Конрад, — сказала она, и это была правда.

Он взглянул на ее бокал. Она сразу же сделала большой глоток, и бокал наполовину опустел.

— Ты предпочитаешь джин водке? — спросил он.

— Да, — ответила она.

— Тебе нужно переучиться.

— Почему?

— Джин вреден для женщин.

— Вот как?

— И даже очень.

— Наверняка он вреден и для мужчин, — сказала она.

— По правде говоря, нет. Для мужчин он не так вреден, как для женщин.

— А почему он вреден для женщин?

— Да просто так, — ответил он. — Просто они так устроены. Чем ты занимаешься, Анна? И что привело тебя в Даллас? Расскажи мне о себе.

— Почему джин вреден для женщин? — улыбаясь, спросила она.

Он улыбнулся ей в ответ и покачал головой, но не ответил.

— Говори же, — настаивала она.

— Нет, оставим это.

— Нехорошо недоговаривать, — сказала она. — Это нечестно.

Помолчав, он произнес:

— Что ж, если ты действительно хочешь знать, в джине содержится определенное количество масла, которое выжимают из ягод можжевельника. Это делается для того, чтобы придать напитку особый вкус.

— И что же это масло делает в организме?

— Много чего.

— Например?

— Нечто ужасное.

— Конрад, не смущайся. Я уже взрослый человек.

Это был все тот же Конрад, подумала она, все такой же застенчивый, щепетильный и скромный, как и раньше. Этим он ей и нравился.

— Если этот напиток и правда делает нечто ужасное в моем организме, — сказала она, — с твоей стороны нехорошо не говорить мне, что именно.

Он слегка подергал мочку левого уха большим и указательным пальцами правой руки. Потом сказал:

— Видишь ли, все дело в том, Анна, что можжевельное масло непосредственно воздействует на матку.

— Ну уж ты скажешь!

— Я не шучу.

— Чепуха, — сказала Анна. — Бабьи сказки.

— Боюсь, что это не так.

— Ты, наверное, имеешь в виду беременных женщин.

— Я имею в виду всех женщин, Анна.

Он перестал улыбаться и говорил вполне серьезно. Похоже, его тревожило ее здоровье.

— В какой области ты специализируешься? — спросила она. — В какой области медицины? Ты мне так и не сказал.

— Гинекология и акушерство.

— Ага!

— И давно ты пьешь джин? — спросил он.

— О, лет двадцать, — ответила Анна.

— Помногу?

— Ради бога, Конрад, перестань беспокоиться о моем здоровье.

Пожалуйста, я бы хотела еще один мартини.

— Разумеется.

Он подозвал официанта и сказал:

— Один мартини с водкой.

— Нет, — сказала Анна, — с джином.

Он вздохнул, покачал головой и произнес:

— Нынче не прислушиваются к советам своего врача.

— Ты не мой врач.

— Это так, — согласился он. — Но я твой друг.

— Поговорим лучше о твоей жене, — сказала Анна. — Она такая же красивая, как и раньше?

Он помолчал какое-то время, потом ответил:

— По правде говоря, мы разведены.

— Быть не может!

— Наш союз просуществовал целых два года. Но потребовалось много усилий, чтобы сохранить его даже на такое время.

Анну это почему-то глубоко потрясло.

— Но она же была такой прекрасной девушкой, — сказала она. — Что же произошло?

— Все произошло, все, что только может быть плохого.

— А как же ребенок?

— Она забрала его. Женщины всегда так делают.

В голосе его прозвучала горечь.

— Она увезла его к себе в Нью-Йорк... Он приезжает повидаться со мной раз в год, летом. Ему сейчас двадцать лет. Он учится в Принстоне.

— Хороший мальчик?

— Замечательный, — сказал Конрад. — Но я его почти совсем не знаю. Все это не очень-то весело.

— И ты так больше и не женился?

— Нет. Но хватит обо мне. Поговорим о тебе.

Он начал медленно и осторожно подталкивать ее к разговору о здоровье и о том, что ей пришлось пережить после смерти Эда. Она поймала себя на том, что без смущения говорит с ним обо всем.

— Но что же заставляет твоего врача думать, будто ты не совсем выздоровела? — спросил он. — Ты мне не кажешься человеком, который собирается покончить с собой.

— Я тоже думаю, что не способна на это. Хотя временами — не часто, имей в виду, а только иногда, когда я впадаю в депрессию, — у меня возникает чувство, что покончить счеты с жизнью было бы не так уж и сложно.

— Что с тобой в таких случаях происходит?

— Я направляюсь к ванной, где есть полочка.

— А что там у тебя?

— Ничего особенного. Обыкновенный прибор, который есть у всякой женщины, чтобы сбрасывать волосы на ногах.

— Понятно.

Конрад какое-то время внимательно всматривался в ее лицо, потом спросил:

— Именно такое у тебя было состояние, когда ты мне позвонила?

— Не совсем. Но я думала об Эде. А это всегда немного рискованно.

— Я рад, что ты позвонила.

— Я тоже рада, — сказала она.

Анна допивала второй бокал мартини. Конрад переменял тему и начал рассказывать о своей работе. Она смотрела на него и почти не слушала. Он был так чертовски красив, что нельзя было не смотреть на него. Она взяла сигарету и протянула пачку Конраду.

— Нет, спасибо, — сказал он. — Я не курю.

Он взял со стола коробок и поднес ей огонек, потом задул спичку и спросил:

— Эти сигареты с ментолом?

— Да.

Она глубоко затянулась и медленно выпустила дым к потолку.

— А теперь расскажи о том, какой непоправимый вред они могут нанести всей моей половой системе, — сказала она.

Он рассмеялся и покачал головой.

— Тогда почему же ты спросил?

— Просто интересно было узнать, вот и все.

— Неправда. По твоему лицу вижу, что ты хотел мне сообщить, сколько заядлых курильщиков заболевает раком легких.

— Ментол не имеет никакого отношения к раку легких, Анна, — сказал он и, улыбнувшись, сделал маленький глоточек мартини из своего бокала, к которому до сих пор едва притронулся, после чего осторожно поставил бокал на стол. — Ты мне так и не сказала, чем ты занимаешься, — продолжал он, — и зачем приехала в Даллас.

— Сначала расскажи мне о ментоле. Если он хотя бы наполовину столь же вреден, как и сок ягод можжевельника, мне срочно нужно об этом узнать.

Он рассмеялся и покачал головой.

— Прошу тебя!

— Нет, мадам.

— Конрад, ну нельзя же начинать о чем-то говорить и недоговаривать. Это уже второй раз за последние пять минут.

— Не хочу показаться занудой, — сказал он.

— Это не занудство. Мне это очень интересно. Ну же, говори! Не смущайся.

Приятно было чувствовать себя немного навеселе после двух больших бокалов мартини и неторопливо беседовать с этим элегантным мужчиной, с этим тихим, спокойным, элегантным челове-

ком. Наверное, он и не смущался. Скорее всего, нет. Просто он оставался собой, все таким же щепетильным.

— Речь идет о чем-то страшном? — спросила она.

— Нет, этого не скажешь.

— Тогда выкладывай.

Он взял со стола пачку сигарет и повертел ее в руках.

— Дело вот в чем, — сказал он. — Ментол, который ты вдыхаешь, поглощается кровью. А это нехорошо, Анна, потому что он оказывает весьма определенное воздействие на центральную нервную систему. Впрочем, врачи его иногда прописывают.

— Знаю, — сказала она. — Он входит в состав капель для носа и в средства для ингаляции.

— Это далеко не основное его применение. Другие тебе известны?

— Его втирают в грудь при простуде.

— Можно и так делать, если хочешь, но это не помогает.

— Его добавляют в мазь и смазывают ею потрескавшиеся губы.

— Ты говоришь о камфаре.

— Действительно.

Он подождал, что она еще скажет.

— Лучше говори сам, — сказала она.

— То, что я скажу, тебя, наверное, немного удивит.

— Я к этому готова.

— Ментол, — сказал Конрад, — широко известный антиафродизиак.

— Что это значит?

— Он подавляет половое чувство.

— Конрад, ты выдумываешь.

— Клянусь, это правда.

— Кто его применяет?

— В наше время не очень многие. У него весьма сильный привкус. Селитра гораздо лучше.

— Да-да, насчет селитры я кое-что знаю.

— Что ты знаешь насчет селитры?

— Ее дают заключенным, — сказала Анна. — В ней смачивают кукурузные хлопья и дают их заключенным на завтрак, чтобы те вели себя тихо.

— Ее также добавляют в сигареты, — сказал Конрад.

— Ты хочешь сказать — в сигареты, которые дают заключенным?

— Я хочу сказать — во все сигареты.

— Чепуха.

— Ты так думаешь?

— Конечно.

— А почему?

— Это никому не понравится, — сказала она.

— Рак тоже никому не нравится.

— Это другое, Конрад. Откуда тебе известно, что селитру добавляют в сигареты?

— Ты никогда не задумывалась, — спросил он, — почему сигарета продолжает дымиться, когда ты кладешь ее в пепельницу? Табак сам по себе не горит. Всякий, кто курит трубку, скажет тебе это.

— Чтобы сигарета дымилась, используют особые химикаты, — сказала она.

— Именно для этого и используют селитру.

— А разве селитра горит?

— Еще как. Когда-то она служила основным компонентом при производстве пороха. Ее также используют, когда делают фитили. Очень хорошие получаются фитили. Эта твоя сигарета — первоклассный медленно горящий фитиль, разве не так?

Анна посмотрела на свою сигарету. Хотя не прошло еще и пары минут, как она ее закурила, сигарета медленно догорала, и дым с ее кончика тонкими голубовато-серыми завитками поднимался вверх.

— Значит, в ней есть не только ментол, но и селитра? — спросила она.

— Именно так.

— И они вместе подавляют половое чувство?

— Да. Ты получаешь двойную дозу.

— Смешно это, Конрад. Доза чересчур маленькая, чтобы иметь хоть какое-то значение.

Он улыбнулся, но ничего на это не сказал.

— В сигарете всего этого так мало, что она и в таракане не убьет желанья, — сказала она.

— Это тебе так кажется, Анна. Сколько сигарет ты выкуриваешь в день?

— Около тридцати.

— Что ж, — произнес он. — Наверное, это не мое дело.

Он помолчал, а потом добавил:

— Но лучше бы это было не так.

— А как?

— Чтобы это было мое дело.

— Конрад, ты о чем?

— Просто я хочу сказать, что, если бы ты однажды не решила вдруг бросить меня, ни с тобой, ни со мной не случилось бы того, что случилось. Мы были бы по-прежнему счастливо женаты.

Он вдруг как-то пристально посмотрел на нее.

— Бросила тебя?

— Для меня это было потрясением, Анна.

— О боже, — сказала она, — да в этом возрасте все бросают друг друга, и что с того?

— Ну не знаю, — сказал Конрад.

— Ты ведь не дуешься на меня за это?

— Дуешься! — воскликнул он. — Боже мой, Анна! Это дети дуются, когда теряют игрушку! Я потерял жену!

Она молча уставилась на него.

— Скажи, — продолжал он, — ты, наверное, и не задумывалась, каково мне было тогда?

— Но, Конрад, мы ведь были так молоды.

— Я тогда был просто-напросто убит, Анна.

— Но как же...

— Что — как же?

— Если для тебя это имело такое значение, как же ты взял и спустя несколько месяцев женился на другой?

— Ты разве не знаешь, что женятся и разочаровавшись в любви, но на другой женщине? — спросил он.

Она кивнула, в смятении глядя на него.

— Я безумно любил тебя, Анна.

Она молчала.

— Извини, — сказал он. — Глупая получилась вспышка. Прошу тебя, прости меня.

Наступило долгое молчание.

Конрад откинулся в кресле, внимательно рассматривая ее. Она взяла из пачки еще одну сигарету и закурила. Потом задула спичку и бережно положила ее в пепельницу. Когда она снова подняла

глаза, он по-прежнему внимательно смотрел на нее, хотя, как ей показалось, и несколько отстраненно.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

Он не отвечал.

— Конрад, — сказала она, — ты все еще ненавидишь меня за то, что я сделала?

— Ненавижу?

— Да, ненавидишь меня. Мне почему-то кажется, что это так.

Я даже уверена, что это так, хотя и прошло столько лет.

— Анна, — сказал он.

— Да, Конрад?

Он придвинул свое кресло ближе к столику и подался вперед:

— Тебе никогда не приходило в голову...

Он умолк.

Она ждала.

Неожиданно он сделался таким серьезным, что и она к нему потянулась.

— Что не приходило мне в голову? — спросила она.

— Что у тебя и у меня... у нас обоих... есть одно незаконченное дельце.

Она неотрывно глядела на него.

Он смотрел ей в лицо, при этом глаза его сверкали, точно две звезды.

— Пусть это тебя не шокирует, — сказал он. — Прошу тебя.

— Шокирует?

— У тебя такой вид, будто я попросил тебя выброситься вместе со мной из окна.

Бар к этому времени заполнился людьми, и было шумно, как в разгар вечеринки с коктейлями. Чтобы быть услышанным, приходилось кричать.

Конрад напряженно, нетерпеливо смотрел на нее.

— Я бы выпила еще martini, — сказала она.

— Ты в этом уверена?

— Да, — ответила она, — уверена.

За всю жизнь ее любил только один мужчина — ее муж Эд.

И это всегда было прекрасно.

Три тысячи раз?

Пожалуй, больше. Наверняка больше. Да и кто считал?

Предположим, однако, подсчета ради, что точное число (а точное число обязательно должно быть) составляет три тысячи шестьсот восемьдесят раз...

...и, памятуя о том, что каждый раз, когда это происходило, это было актом чистой, страстной, настоящей любви одного и того же мужчины и одной и той же женщины...

...как же, скажите на милость, совершенно новый мужчина, с которым она не была прежде близка, может ни с того ни с сего рассчитывать на три тысячи шестьсот восемьдесят первый раз, да и вообще думать об этом?

Он вторгнется в чужие владения.

И воспоминания нахлынут на нее. Она будет лежать, а воспоминания — душисть ее.

Несколько месяцев назад, во время одного из долгих разговоров с доктором Джекобсом, она затронула эту самую тему, и старый Джекобс тогда сказал:

— К тому времени вас не будут тревожить воспоминания, моя дорогая миссис Купер. Выбросьте-ка вы из головы всю эту чепуху. Для вас будет существовать только настоящее.

— Но как я решусь на это? — говорила она. — Как я смогу найти в себе силы подняться в спальню и хладнокровно раздеться перед другим мужчиной, незнакомцем?..

— Хладнокровно? — воскликнул он. — Да у вас кровь будет кипеть!

А позднее он ей сказал:

— Поверьте мне, миссис Купер, постарайтесь поверить, когда я говорю вам, что любая женщина, лишившаяся полового общения после более чем двадцатилетнего опыта, — а в вашем случае, если я вас правильно понимаю, частота такого общения была необычайна, — любая женщина, оказавшаяся в таких обстоятельствах, непременно будет продолжительное время испытывать серьезный психологический дискомфорт, покуда заведенный режим не будет восстановлен. Знаю, вы чувствуете себя гораздо лучше, но мой долг предупредить вас, что ваше состояние далеко не то, что было прежде...

Конраду Анна сказала:

— Это, случайно, не терапевтическое предложение?

— Что?

— Терапевтическое предложение.

— Что это значит?

— Очень уж оно напоминает заговор, подготовленный моим доктором Джекобсом.

— Послушай, — сказал он и, перегнувшись через стол, коснулся кончиком пальца ее левой руки. — Когда я знал тебя раньше, я был слишком молод и не решался сделать такое предложение, хотя мне этого очень хотелось. Я тогда думал, что не нужно спешить. Мне казалось, что впереди у нас целая жизнь. Я ведь не знал, что ты собираешься бросить меня.

Ей принесли еще один martini. Анна взяла бокал и стала быстро пить. Она точно знала, что с ней теперь будет. Сейчас она поплывет. Такое всегда с ней бывало после третьего бокала. Дайте ей третий бокал martini, и в какие-то секунды тело ее станет невесомым и она поплывет по комнате, точно струйка дыма.

Она сжимала бокал обеими руками, будто причастие. Потом отпила из него еще немного. Бокал был уже почти пуст. Краешком глаза она видела, что Конрад неодобрительно смотрит на нее, когда она подносит бокал к губам. Она лучезарно улыбнулась ему.

— Ты ведь не против анестезии, когда оперируешь? — спросила она.

— Анна, прошу тебя, не говори так.

— Я поплыла, — сказала она.

— Вижу, — ответил он. — Почему бы тебе в таком случае не остановиться?

— Что ты сказал?

— Я говорю, почему бы тебе не остановиться?

— Сказать тебе почему?

— Не надо, — произнес он.

Он сделал быстрое движение рукой, будто с намерением выхватить у нее martini, поэтому она тотчас же поднесла бокал к губам, и опрокинула его, и подержала вверх дном несколько секунд, пока из него не вытекла последняя капля. Снова взглянув на Конрада, она увидела, как он положил десятидолларовую банкноту на поднос официанту, и тот сказал: «Благодарю вас, сэр. Большое вам спасибо», и следующее, что она запомнила, это как она выплывает из бара и плывет по гостиничному вестибюлю, а Конрад при этом бережно поддерживает ее под локоть, направляя к лифту. Они приплыли на двадцать второй этаж, потом проплыли по коридору к двери ее но-

мера. Она выудила из сумочки ключ, открыла дверь и вплыла в комнату. Конрад последовал за ней, закрыв за собой дверь. И тут, совершенно неожиданно, он схватил ее, обнял своими огромными руками и принялся с жаром целовать.

Она не сопротивлялась. Он целовал ее в рот, щеки и шею, делая глубокие вдохи между поцелуями. Она не закрывала глаза, глядя на него как-то безучастно, и то, что она видела, смутно напоминало ей лицо зубного врача, обрабатывающего верхний задний зуб.

Потом Конрад вдруг засунул ей в ухо язык. Ее точно пронзило электрическим током. Будто вилку вставили в розетку, ярко вспыхнул свет, она обмякла, и горячая кровь побежала по жилам; ею овладело безумие. Это было то прекрасное, безудержное, отчаянное, пылающее безумие, которое так часто возбуждал в ней когда-то Эд, едва ее коснувшись. Она обвила шею Конрада руками и принялась целовать его с гораздо большим жаром, чем он, и, хотя сначала у него был такой вид, будто он опасается, как бы она не проглотила его живьем, ему удалось справиться с потрясением.

Анна не имела ни малейшего представления, как долго они обнимались и целовались с такой страстью, но, должно быть, довольно долго. Наконец-то она снова испытала такое счастье, неожиданно обрела такую... такую уверенность, такую безграничную уверенность в себе, что ей захотелось сорвать с себя одежду и станцевать посреди комнаты какой-нибудь дикий танец для Конрада. Но подобной глупости она не совершила. Вместо этого она просто поплыла к кровати и уселась на краю, чтобы перевести дух. Конрад быстро сел рядом с ней. Она склонила голову ему на грудь и сидела, вся пылая, пока Конрад гладил ее волосы. Затем она расстегнула одну пуговицу на его рубашке, просунула руку и положила ее ему на грудь. Она чувствовала, как сквозь ребра бьется его сердце.

— Что я здесь вижу? — спросил Конрад.

— Что ты видишь, где, мой дорогой?

— У тебя на голове. Тебе нужно последить за этим, Анна.

— Последи за этим сам, дорогой.

— Я серьезно говорю, — сказал он. — Знаешь, на что это похоже? Это похоже на первый признак облысения.

— Хорошо.

— Нет, это нехорошо. У тебя же воспаление волосяных мешочков, а это является причиной облысения. Такое часто встречается среди женщин зрелого возраста.

— О, заткнись, Конрад, — сказала она, целуя его в шею. — У меня просто роскошные волосы.

Она приподнялась и сняла с него пиджак. Затем развязала галстук и швырнула его через комнату.

— У меня сзади на платье есть маленький крючок, — сказала она. — Расстегни его, пожалуйста.

Конрад расстегнул крючок, потом молнию и помог ей выбраться из платья. На ней была довольно красивая бледно-голубая комбинация. Конрад был в обыкновенной белой рубашке, какие носят врачи, но ворот ее уже был расстегнут, и это его устраивало. По обеим сторонам его шеи прямо вверх тянулись две жилки, и, когда он поворачивал голову, жилки шевелились под кожей. Это была самая красивая шея, которую Анна когда-либо видела.

— Давай все делать очень медленно, — сказала она. — Давай сводить друг друга с ума от нетерпения.

Его взгляд задержался на мгновение на ее лице, потом скользнул вдоль ее тела, и она увидела, что он улыбнулся.

— А не заказать ли нам бутылку шампанского, Конрад? Это было бы очень кстати, очень стильно и распутно. Я попрошу, чтобы нам принесли ее в номер, а ты спрячешься в ванной, когда ее принесут.

— Нет, — сказал он. — Ты уже достаточно выпила. Встань, пожалуйста.

Тон, каким он это произнес, заставил ее тотчас же подняться.

— Иди сюда, — сказал он.

Она приблизилась к нему. Он по-прежнему сидел на кровати; не вставая, он протянул руки и начал снимать с нее все, что на ней оставалось. Он делал это медленно и осторожно. Лицо его неожиданно сделалось бледным.

— Боже мой, дорогой, — воскликнула она, — это же замечательно! У тебя из каждого уха торчит по пучку волос! Ты знаешь, что это значит? Это верный признак огромной потенции!

Она наклонилась и поцеловала его в ухо. Он продолжал раздевать ее — лифчик, туфли, пояс, трусики и, наконец, чулки; все это он бросал грудой на пол. Сняв второй чулок и бросив его, он отвернулся от нее, словно ее и не существовало, и стал раздеваться сам.

Ей показалось несколько странным, что она стоит перед ним обнаженная, а он даже не смотрит на нее. Такое, наверное, бывает с мужчинами. Эд, возможно, был исключением. Откуда ей знать?

Конрад сначала снял свою белую рубашку, после чего, аккуратно сложив ее, поднялся и, подойдя к креслу, повесил ее на подлокотник. То же самое он проделал с майкой. Потом снова сел на край кровати и начал снимать ботинки. Анна стояла неподвижно, не сводя с него глаз. Его неожиданная перемена в настроении, молчание, странная сосредоточенность — все это внушало ей какой-то трепет, а вместе с тем и возбуждало. В его движениях была какая-то скрытность, нечто вроде угрозы, будто он был каким-нибудь красивым животным, крадущимся за добычей. Скажем, леопардом.

Она зачарованно следила за ним. Она смотрела на его пальцы, пальцы хирурга, которые сначала ослабили, а потом развязали шнурки левого ботинка, после чего сняли его с ноги и аккуратно поставили под кровать. Затем наступила очередь второго ботинка. Затем — левого и правого носков, причем оба с предельной тщательностью укладывались на носки ботинок. Наконец пальцы добрались к верхней части брюк, расстегнули одну пуговицу и принялись манипулировать молнией. Брюки, будучи снятыми, были сложены по стрелкам и отнесены к креслу. За ними последовали трусы.

Конрад, теперь уже совсем раздетый, медленно вернулся к кровати и сел на край. Потом он наконец повернул голову и заметил ее. Она стояла и... дрожала. Он неторопливо оглядел ее. Затем вдруг выкинул руку, схватил ее за запястье и резким движением опрокинул на кровать.

Наступило громадное облегчение. Анна обхватила его и крепко прижалась к нему, очень крепко, потому что боялась, что он покинет ее. Она смертельно боялась, что он ее покинет и уже никогда не вернется. И так они и лежали: она прижималась к нему, словно он был единственным на свете живым существом, к которому можно прижаться, а он, необычайно тихий, сосредоточенный, медленно освобождался от объятий и одновременно касался ее в разных местах своими пальцами, этими своими искусными пальцами хирурга. И снова ею овладело безумие.

То, что он делал с ней в последующие несколько минут, вызывало у нее и ужас, и восторг. Она понимала, что он просто-напросто подготавливает ее, или, как говорят в больнице, готовит непосредственно к операции, но, бог свидетель, она никогда не знала и не испытывала ничего даже отдаленно похожего на то, что с ней происходило. А происходило все необычайно быстро, и, как ей по-

казалось, всего лишь за несколько секунд она достигла того умопомрачительного состояния, когда вся комната превращается в ослепительный пучок света, который вот-вот разорвется, едва коснется его, и разнесет тебя на кусочки. В этот момент с ловкостью хищника Конрад перебросил свое тело на нее для заключительного акта.

И тут Анна почувствовала, как страсть вырывается из нее, будто из тела медленно тянут длинный живой нерв, длинную живую наэлектризованную нить, и она закричала, моля Конрада, чтобы он не останавливался, и тут услышала доносившийся откуда-то сверху другой голос, и этот другой голос звучал все громче и громче, все настойчивее и требовательнее:

— Я спрашиваю, у тебя что-то есть?

— У кого — у меня?

— Мне что-то мешает. У тебя, наверное, диафрагма или что-нибудь еще.

— У меня ничего нет, дорогой. Все прекрасно. Прошу тебя, успокойся.

— Нет, не все прекрасно, Анна.

Подобно изображению на экране, все вокруг стало обретать четкие контуры. На переднем плане было лицо Конрада. Оно нависало над ней, опираясь на голые плечи. Его глаза смотрели в ее глаза. Рот продолжал что-то говорить.

— Если ты и впредь намерена пользоваться какими-нибудь приспособлениями, то, ради бога, научись как следует вводить их. Нет ничего хуже, когда их устанавливают спустя рукава. Диафрагму нужно размещать прямо против шейки.

— Но у меня ничего нет.

— Ничего? Что-то, однако, мне все равно мешает.

Не только комната, но, казалось, весь мир куда-то медленно от нее поплыл.

— Меня тошнит, — сказала она.

— Что?

— Меня тошнит.

— Не говори глупости, Анна.

— Конрад, уйди, пожалуйста. Уйди сейчас же.

— О чем ты говоришь?

— Уйди от меня, Конрад!

— Но это же смешно, Анна. О'кей, извини, что я об этом заговорил. Забудем об этом.

— Уходи! — закричала она. — Уходи! Уходи! Уходи!

Она попыталась столкнуть его с себя, но он всей своей огромной тяжестью давил на нее.

— Успокойся, — сказал он. — Возьми себя в руки. Нельзя же вот так вдруг посреди всего передумать. И ради бога, не вздумай расплакаться.

— Оставь меня, Конрад, умоляю тебя.

Он, похоже, навалился на нее всем, что у него было, — руками и локтями, плечами и пальцами, бедрами и коленями, лодыжками и ступнями. Он навалился на нее, точно жаба. Он и впрямь был огромной жабой, которая навалилась на нее, крепко держит и не хочет отпускать. Она однажды видела, как жаба совокуплялась с лягушкой на камне возле ручья; жаба была точно так же омерзительна, сидела неподвижно, а в желтых глазах ее мерцал злобный огонек. Она прижимала лягушку двумя мощными передними лапами и не отпускала ее...

— Ну-ка перестань сопротивляться, Анна. Ты ведешь себя как истеричный ребенок. Да что происходит?

— Ты делаешь мне больно! — вскричала она.

— Я делаю тебе больно?

— Мне ужасно больно!

Она сказала это только затем, чтобы он отпустил ее.

— Знаешь, почему тебе больно? — спросил он.

— Конрад! Прошу тебя!

— погоди-ка минутку, Анна. Дай я тебе объясню...

— Нет! — воскликнула она. — Хватит объяснений!

— Дорогая моя...

— Нет! — Она отчаянно сопротивлялась, пытаясь высвободиться, но он продолжал прижимать ее.

— Тебе больно потому, — говорил он, — что твой организм не вырабатывает жидкость. Слизистая оболочка, по правде, совсем сухая...

— Прекрати!

— Название этому — старческая атрофия влагалища. Это происходит с возрастом, Анна. Потому это и называется старческой атрофией. С этим ничего не поделаешь...

В этот момент она начала кричать. Крики были не очень громкие, но это были крики, ужасные, мучительные крики; прислушавшись к ним, Конрад вдруг сделал лишь одно-единственное изящ-

ное движение и скатился с нее, оттолкнув ее обеими руками. Он оттолкнул ее с такой силой, что она упала на пол.

Она медленно поднялась на ноги и шатающейся походкой направилась в ванную, говоря сквозь слезы:

— Эд!.. Эд!.. Эд!.. — И в голосе ее звучала мольба.

Дверь за ней закрылась.

Конрад лежал неподвижно, прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за дверей. Поначалу он слышал только ее всхлипывания, однако спустя несколько секунд он услышал, как с резким металлическим звуком открылась дверца шкафчика. Он мгновенно вскочил с кровати и необычайно быстро начал одеваться. Его одежда, так аккуратно сложенная, была под рукой, и у него заняло не больше двух минут, чтобы все на себя надеть. Одевшись, он метнулся к зеркалу и стер носовым платком губную помаду с лица. Достав из кармана расческу, причесал свои красивые черные волосы. Потом обошел вокруг кровати, чтобы убедиться, не забыл ли он чего, и осторожно, как человек, выходящий на цыпочках из комнаты, где спит ребенок, выскользнул в коридор, тихо прикрыв за собой дверь.

«СУКА»

Пока я подготовил к печати только одну запись из дневников дяди Освальда. Речь в ней шла, как кто-то из вас, вероятно, помнит, о физической близости моего дяди и прокаженной сирийки в Синайской пустыне. Со времени этой публикации прошло шесть лет, и до сих пор никто не объявился с претензиями. Поэтому я смело могу выпустить в свет вторую запись из этого любопытного сочинения. Мой адвокат, впрочем, не рекомендует мне этого делать. Он утверждает, что некоторые затронутые в нем лица еще живы и легко узнаваемы. Он говорит, что меня будут жестоко преследовать. Что ж, пусть преследуют. Я горжусь своим дядей. Он знал, как нужно прожить жизнь. В предисловии к первой записи я говорил, что «Мемуары» Казановы в сравнении с дневниками дяди Освальда читаются как церковно-приходский журнал, а сам знаменитый любовник рядом с моим дядей кажется едва ли не импотентом. Я по-прежнему стою на этом и, дайте мне только время, докажу свою правоту всему миру. Итак, вот этот небольшой отрывок из тома XXIII, публикуемый точно в том виде, в каком его записал дядя Освальд:

«Париж.

Среда.

Завтрак в десять. Я попробовал мед. Его доставили вчера в старинной сахарнице северского фарфора того прелестного канареечного оттенка, который известен под названием *jonquille*¹. „От Сюзи, — говорилось в записке, — и спасибо тебе“. Приятно, когда тебя ценят. А мед этот непростой. У Сюзи Жолибуа, помимо всего прочего, была еще и небольшая пасека к югу от Касабланки, и она безумно любила пчел. Ее ульи стояли посреди плантации *cannabis*

¹ Жонкиль — сорт нарцисса (*лат*)

*indica*¹, и пчелы брали нектар исключительно из этого источника. Они пребывали, эти пчелы, в состоянии постоянной эйфории и не были расположены трудиться. Меда поэтому было очень мало. Я намазал им третий кусочек хлебца. Вещество было почти черным и имело острый привкус. Зазвонил телефон. Я поднес трубку к уху и подождал. Я никогда не заговариваю первым, когда мне звонят. Не я же, в конце концов, звоню. Звонят-то ведь мне.

— Освальд! Вы меня слышите?

Я узнал этот голос.

— Да, Анри, — откликнулся я. — Доброе утро.

— Послушайте! — Звонивший говорил быстро и взволнованно. — Кажется, у меня получилось! Я почти уверен, что получилось! Простите, не могу отдышаться, но я только что провел фантастический эксперимент. Теперь все в порядке. Замечательно! Вы можете ко мне приехать?

— Да, — сказал я. — Еду.

Я положил трубку и налил еще одну чашку кофе. Неужели Анри наконец добился своего? Если это так, тогда я должен быть рядом с ним, чтобы разделить его восторг.

Здесь я должен отвлечься и рассказать вам, как я познакомился с Анри Биотом. Года три назад я приехал в Прованс, чтобы провести летний уик-энд с дамой, которая привлекала меня лишь тем, что у нее была необычайно мощная мышца в том месте, где у других женщин вообще нет мышц. Спустя час после приезда, когда я бродил в одиночестве по лужайке близ речки, ко мне подошел смуглый человечек небольшого роста. На тыльной стороне его руки росли черные волоски. Он слегка поклонился мне и произнес:

— Анри Биот. Я здесь тоже в гостях.

— Освальд Корнелиус, — представился я.

Анри Биот был мохнатый, как коза. Его подбородок и щеки были покрыты черной щетиной, а из ноздрей торчали густые пучки волос.

— Позвольте присоединиться к вам? — спросил он, зашагав рядом со мной и сразу же заговорив.

И таким он оказался говоруном! Воодушевился, точно француз. При ходьбе он нервно подпрыгивал, а пальцы его так и летали, словно он хотел разбросать их по всему свету. Слова выскакивали

¹ Конопля (лат.).

из него подобно фейерверку, притом с громадной скоростью. Он рассказал, что он бельгиец, химик, а работает в Париже. Как химика, его интересовало все, что связано с органами обоняния. Изучению обоняния он посвятил всю свою жизнь.

— То есть запахам? — переспросил я.

— Да-да! — воскликнул он. — Именно! Я специалист по запахам. Больше меня ни один человек в мире не знает о запахах!

— Хороших запахах или плохих? — спросил я, стараясь успокоить его.

— Хороших запахах, прекрасных запахах, восхитительных запахах! — проговорил он. — Каких угодно! Я могу создать любой запах, какой пожелаете!

Далее он мне поведал, что работает в одном из самых известных домов мод в качестве специалиста по духам. Вот этот нос, сказал он, положив волосатый палец на кончик своего длинного волосатого носа, наверное, ничем не отличается от любого другого носа, не правда ли? Я хотел было указать ему, что из его ноздрей торчит больше волос, чем в поле растёт пшеницы, и непонятно, почему бы ему не попросить парикмахера выстричь их, но вместо этого вежливо согласился, что ничего необычного не вижу.

— Вот-вот, — сказал он. — Однако на самом деле это обонятельный орган необыкновенной чувствительности. Втянув пару раз воздух, он может обнаружить наличие единственной капли мускуса в галлоне гераниевого масла.

— Удивительно, — произнес я.

— На Елисейских Полях, — продолжал он, — а это широкая улица, мой нос может определить, какими именно духами душилась женщина, идущая по другой стороне.

— А посередине движется транспорт?

— Посередине сплошной поток транспорта, — сказал он.

Потом он назвал два самых известных в мире сорта духов, созданных в доме мод, на который он работал.

— Это мои личные творения, — скромно заявил он. — Я сам их изготовил. Они составили целое состояние этой знаменитой старшей суке, которая держит фирму.

— А разве не вам?

— Мне? Я всего лишь бедный, жалкий служащий на жалованье, — сказал он, вытянув ладони и подняв плечи так высоко, что

они коснулись мочек его ушей. — Но когда-нибудь я все-таки вырвусь от нее и осуществлю свою мечту.

— У вас есть мечта?

— Мой дорогой сэр, у меня есть замечательная, изумительная, необыкновенная мечта!

— Тогда почему же вы ее не осуществите?

— Потому что сначала я должен найти человека, достаточно дальновидного и достаточно богатого, который поддержал бы меня.

Ага, подумал я, так вот в чем все дело.

— С вашей репутацией это не должно составить большого труда, — заметил я.

— Богатого человека, которого я ищу, трудно найти, — сказал он. — Это должен быть азартный авантюрист с обостренной страстью ко всему необычайному.

Каков плут, да ведь это он меня имеет в виду, подумал я.

— А что за мечту вы хотите осуществить? — спросил я у него. — Хотите создать какие-то новые духи?

— Дорогой вы мой! — воскликнул он. — Создать духи всякий может! Я же говорю о единственных в своем роде духах. О неповторимых!

— И что же это будут за духи?

— О, очень опасные! И когда я создам их, я завоюю весь мир!

— Что ж, удачи вам, — сказал я.

— Я не шучу, мсье Корнелиус. Вы позволите мне объяснить вам, чего я хочу добиться?

— Валяйте.

— Простите, но я сяду, — сказал он, направляясь к скамейке. — В апреле прошлого года со мной случился сердечный приступ, и мне следует быть осторожным.

— Мне очень жаль.

— О, не жалейте меня. Все будет хорошо, но мне важно не переусердствовать.

День был прекрасный. На лужайке близ берега реки стояла скамейка, на которую мы и уселись. Неподалеку от нас медленно и спокойно текла глубокая речка. Гладь ее была подернута рябью. Вдоль противоположного берега росли ивы, а за ивами тянулся изумрудно-зеленый луг, покрытый желтыми лютиками. На лугу паслась одна-единственная корова. Корова была бурая с белыми пятнами.

— Я расскажу вам, какие духи я хочу создать, — сказал он. — Но попутно — это существенно — я объясню вам кое-что, иначе вы меня не совсем поймете. Поэтому потерпите, пожалуйста.

Одна его рука неподвижно лежала на колене волосатой стороной кверху. Она была похожа на черную крысу. Он нежно гладил ее пальцами другой руки.

— Для начала представим себе, — сказал он, — что происходит с псом, когда он встречает суку во время течки. Половое влечение пса необычайно. Исчезает всякий самоконтроль. У него только одна мысль в голове, а именно: совокупиться на месте, и, если ему не помешать силой, он так и сделает. Но знаете ли вы, что вызывает у пса это необычайное половое влечение?

— Запах, — ответил я.

— Именно, мсье Корнелиус. Пахучие молекулы особого состава попадают в нос пса и возбуждают обонятельные нервные окончания. Это ведет к тому, что срочные сигналы посылаются к органам обоняния и далее — к высшим мозговым центрам. Все это делает запах. Если лишить пса обонятельных нервных окончаний, он потеряет всякий интерес к сексу. То же относится и ко многим другим млекопитающим — но не к человеку. Запах не имеет никакого отношения к сексуальному влечению мужчины. Мужчина возбуждается зрительно, осязательно и посредством своего живого воображения. Запах его не возбуждает.

— А как же духи? — спросил я.

— Все это чушь! — ответил он. — Все эти дорогие духи во флакончиках, те, которые я создаю, они никоим образом не являются средством, усиливающим половое чувство мужчины. Да духи никогда и не создавались с такой целью. В прежние времена женщины пользовались ими, дабы скрыть то обстоятельство, что они дурно пахнут. Нынче же, когда они уже не пахнут дурно, духами пользуются чисто из себялюбивых соображений. Женщинам нравится душиться и вдыхать свои собственные приятные запахи. Мужчины этого почти не замечают. Уверяю вас.

— А я замечаю, — сказал я.

— И вас это волнует физически?

— Физически — нет. Эстетически — да.

— Просто вам нравится хороший запах. Мне тоже. Но существует множество других запахов, которые нравятся мне больше, —

букет хорошего лафита, аромат свежей груши или же благоухание воздуха, который веет с моря на побережье Бретани.

В середине речки высоко выпрыгнула из воды форель, и солнечный луч блеснул на ее теле.

— Нужно выкинуть из головы, — продолжал мсье Биот, — всю эту чепуху насчет мускуса, серой амбры и секретий из яичек виверры. Духи сегодня делают из химикатов. Если мне нужен мускусный запах, я использую этиленовый жир. Фенилуксусная кислота даст мне цибетин, а бензальдегид — запах миндаля. Нет уж, сэр, мне больше неинтересно смешивать химикаты, чтобы получить хорошие запахи.

Уже несколько минут из его носа что-то сочилось, смачивая черные волоски, торчавшие из ноздрей. Он заметил это и, достав платок, высморкался и вытер нос.

— Что я собираюсь сделать, — сказал он, — так это создать духи, которые имели бы такое же возбуждающее воздействие на мужчину, какое имеет запах, исходящий от суки во время течки, на кобеля! Одно дуновение — и готово! Мужчина потеряет над собой контроль. Он скинет с себя штаны и тут же напрыгнет на дамочку!

— Мы могли бы неплохо позабавиться, — сказал я.

— Да мы могли бы завоевать весь мир! — воскликнул он.

— Да, но вы же мне только что сказали, что запах не имеет никакого отношения к сексуальному влечению мужчины.

— Не имеет, — согласился он. — Но когда-то имел. У меня есть свидетельство, что в начале послеледникового периода, когда первобытный человек был гораздо ближе к обезьяне, чем сейчас, он еще сохранял обезьянью манеру прыгать на первую же встречную женщину, которая соответственно пахла. А позднее, в палеолит и неолит, запах по-прежнему сексуально возбуждал его, но все в меньшей и меньшей степени. К тому времени, когда в Египте и Китае появились более развитые цивилизации, а произошло это около десятого века до нашей эры, эволюция сыграла свою роль и полностью лишила мужчину способности возбуждаться от запаха. Вам не скучно?

— Отнюдь. Но скажите мне, означает ли это, что в обонятельной системе человека действительно произошли физические изменения?

— Все нет, — ответил он. — Иначе мы бы ничего не могли сделать. Аппарат, который позволял нашим предкам улавливать эти

едва различимые запахи, по-прежнему на месте. Мне это известно лучше других. Вам приходилось видеть человека, который умеет шевелить ушами?

— Я и сам могу это делать, — сказал я, демонстрируя свое умение.

— Вот видите, — сказал он, — мускул, с помощью которого можно шевелить ушами, по-прежнему на месте. Он сохранился с того времени, когда человек, подобно собаке, должен был уметь наострить уши, чтобы лучше слышать. Он утратил эту способность больше ста тысяч лет назад, а мускул сохранился. То же относится и к нашему обонятельному аппарату. Устройство, с помощью которого мы улавливаем эти сокровенные запахи, по-прежнему на месте, но мы утратили способность пользоваться им.

— Как вы можете быть уверены, что оно по-прежнему на месте? — спросил я.

— Вы представляете, как функционирует наша обонятельная система? — спросил он.

— Не совсем.

— Тогда я расскажу вам, иначе не смогу ответить на ваш вопрос. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Воздух вдыхается через ноздри и минует три костные перегородки в верхней части носа. Там он теплеет и фильтруется. Далее этот теплый воздух идет через два отверстия, в которых имеются обонятельные органы. Этими органами являются участки желтоватой ткани, каждая примерно с квадратный дюйм. В этой ткани имеются нервные волокна и нервные окончания обонятельного нерва. Каждое нервное окончание состоит из обонятельной клетки, имеющей пучок крошечных, похожих на волоски волокон. Эти волокна действуют как улавливатели. Впрочем, лучше сказать — рецепторы. И когда эти рецепторы раздражаются или возбуждаются пахучими молекулами, они посылают сигналы в мозг. Допустим, утром вы спускаетесь к завтраку и втягиваете в свои ноздри пахучие молекулы жарящегося бекона, которые и возбуждают ваши рецепторы; рецепторы мигом отправляют сигнал по обонятельному нерву в мозг, а мозг интерпретирует его в зависимости от природы и интенсивности запаха. И вот тут вы и воскликнете: „Ага, на завтрак у нас бекон!“

— Никогда не ем бекон на завтрак, — сказал я.

Он пропустил это замечание мимо ушей.

— Эти рецепторы, — продолжал он, — эти волоконца нас и интересуют. А теперь вы у меня спросите, каким же образом они отличаются одну пахучую молекулу от другой, скажем, мяту от камфары?

— И каким же образом? — спросил я. Это мне было интересно.

— Теперь слушайте, пожалуйста, еще внимательнее, — сказал он. — На кончике каждого рецептора имеется что-то вроде чашечки, хотя и не круглой. Это узел рецептора. Представьте теперь, как тысячи этих волоконцев с крошечными чашечками на окончаниях колышутся, будто волоски морских анемонов, и только и ждут, как бы захватить в свои чашечки любую проносящуюся мимо пахучую молекулу. Обратите внимание, именно так все и происходит. Когда вы принимаетесь к какому-то запаху, пахучие молекулы вещества, которое этот запах производит, устремляются в ваши ноздри и там захватываются этими маленькими чашечками, узлами рецепторов. Теперь важно запомнить следующее. Молекулы бывают разных форм и размеров. Маленькие чашечки, или узлы рецепторов, также имеют разные формы. Таким образом, молекулы размещаются только в тех рецепторных узлах, которые им подходят. Молекулы мяты попадают только в специальные узлы, принимающие молекулы мяты. Молекулы камфары, имеющие совсем другую форму, разместятся только в рецепторных узлах, способных принимать молекулы камфары, и так далее. Это напоминает детскую игру, когда предметы разной формы входят в углубления, только для них и предназначенные.

— Если я вас правильно понимаю, — произнес я, — вы хотите сказать, что мой мозг распознает запах мяты только лишь потому, что молекула разместилась в рецепторном узле, способном принять молекулу мяты?

— Совершенно верно.

— Но вы ведь не станете утверждать, что для всех на свете запахов имеются рецепторные узлы разных форм?

— Нет, — ответил он. — По сути, у человека имеется только семь узлов разных форм.

— Почему только семь?

— Потому что наши обонятельные органы фиксируют только семь чистых основных запахов. Все прочие являются сложными запахами, возникшими в результате смешения основных.

— Вы в этом уверены?

— Вполне. На вкус человек распознает и того меньше, всего лишь четыре первоосновы — сладкое, кислое, соленое и горькое! Все прочие вкусовые ощущения возникают в результате смешения этих первооснов.

— И каковы же семь основных чистых запахов? — спросил я у него.

— Их названия не имеют для нас значения, — ответил он. — К чему усложнять дело?

— Мне бы хотелось услышать, что это за запахи.

— Хорошо, — сказал он. — Запахи бывают камфарные, острые, мускусные, эфирные, растительные, мятные и гнилостные. Пожалуйста, не смотрите на меня так недоверчиво. Это не мое открытие. Весьма видные ученые работали над этим в продолжение многих лет. И их выводы точны, за исключением одного аспекта.

— Какого же?

— Существует восьмой чистый основной запах, о котором они не подозревают, и восьмой рецепторный узел, способный захватывать молекулы этого запаха своеобразной формы!

— Ага! — воскликнул я. — Вижу, к чему вы клоните.

— Да, — сказал он, — восьмым чистым основным запахом является тот самый половой, который тысячи лет назад заставлял первобытного человека вести себя, подобно псу. У него очень оригинальная молекулярная структура.

— И она вам известна?

— Разумеется, известна.

— И вы утверждаете, что у нас сохранились рецепторные узлы, которые могут улавливать эти своеобразные молекулы?

— Именно так.

— Этот загадочный запах, — сказал я, — достигает ли он наших ноздрей?

— Часто.

— А мы чувствуем его? Я имею в виду — понимаем ли мы, что он означает?

— Нет.

— Вы хотите сказать, что молекулы не попадают на рецепторные узлы?

— Попадать-то попадают, мой дорогой друг. Но ничего не происходит. Никаких сигналов в мозг не отправляется. Телефонная линия не работает. Это как в случае с мускулом, который шевелит

ухом. Механизм по-прежнему на месте, но мы утратили способность должным образом пользоваться им.

— И что вы предлагаете? — спросил я.

— Я собираюсь возродить его к жизни, — ответил он. — Здесь мы имеем дело с нервами, а не с мускулами. А эти нервы не умерли, не повреждены — они попросту спят. Вероятно, я добавлю каталлизатор и увеличу интенсивность этого запаха в тысячу раз.

— Продолжайте, — сказал я.

— Этого достаточно.

— Я бы хотел еще что-нибудь услышать, — настаивал я.

— Простите, что приходится говорить вам это, мистер Корнелиус, но я не думаю, что вы достаточно осведомлены об органолептических свойствах, чтобы понять меня дальше. Лекция закончена.

Анри Биот принял самодовольный вид и стал невозмутимо поглаживать тыльную сторону одной руки пальцами другой. Пучки волос, торчавшие из его ноздрей, придавали ему вид какого-то колдуна, но это была маскировка. Он мне скорее казался похожим на некое опасное и грациозное маленькое существо, с острым глазом и жалом в хвосте, что прячется за камнями в ожидании одинокого путника. Я незаметно рассмотрел его лицо. Рот показался мне интересным. Губы имели фуксиновый оттенок, — вероятно, причиной тому было его больное сердце. Мясистая нижняя губа отвисала. Она выпячивалась, и рот становился похожим на кошелек, в который запросто можно было складывать монеты. Кожа на губе казалась крепко натянутой, будто была надута, и все время была влажной, и не оттого, что он ее облизывал, а от избытка слюны во рту.

И вот он сидел, этот мсье Анри Биот, коварно улыбаясь, и терпеливо ждал моей реакции. Совершенно аморальный тип, тут все ясно, но ведь и я такой же. Он к тому же был человеком порочным, и, хотя, если быть до конца откровенным, я не могу утверждать, будто порочность является одной из моих добродетелей, в других она мне кажется неотразимой. У порочного человека особенный, присущий только ему блеск. И к тому же есть нечто дьявольски прекрасное в том, кто хочет вернуть цивилизованному человеку половые привычки пятисоттысячелетней давности.

Да, он поймал меня на удочку. Поэтому я прямо тут же, сидя возле речки в саду одной дамы из Прованса, сделал Анри предложение. Я предложил ему тотчас же оставить свою службу и устроить небольшую лабораторию. Я буду оплачивать все счета этого

предприятия, а также обеспечу его самого хорошим жалованьем. Контракт будет рассчитан на пять лет, а любую прибыль мы поделим пополам.

Анри был вне себя от радости.

— Это правда? — вскричал он. — Вы не шутите?

Я протянул ему руку. Он схватил ее обеими руками и принялся с силой трясти. Мне показалось, что руку мне жмет тибетский як.

— Мы покорим весь мир! — восклицал он. — Мы будем богами на земле!

Он раскинул руки, обнял меня и поцеловал сначала в одну щеку, потом в другую. Ох уж эти ужасные галльские поцелуи! Когда Анри коснулся меня своей нижней губой, мне почудилось, будто жаба приложилась ко мне своим влажным животом.

— Оставим ликование на потом, — сказал я, вытираясь насухо льняным носовым платком.

Анри Биот принес извинения хозяйке и в тот же вечер умчался в Париж. Не прошло и недели, как он оставил свою прежнюю службу и снял три комнаты, которые должны были служить ему лабораторией. Комнаты находились на третьем этаже дома на Левом берегу, на рю де Кассет, рядышком с бульваром Распай. Он истратил кучу моих денег на закупку сложного оборудования и даже установил большую клетку, в которую поместил двух обезьян — самца и самку. Он также взял себе в помощники умную и скромную на вид молодую женщину по имени Жанет. Обзаведясь всем этим, он приступил к работе.

Вы, должно быть, понимаете, что для меня это небольшое предприятие и оно не имело сколько-нибудь серьезного значения. У меня не было проблем с выбором развлечений. Я заглядывал к Анри раза, наверное, два в месяц, чтобы посмотреть, как идут дела, но в общем я предоставил его всецело самому себе. О его работе я и не думал. Следить за такого рода исследованиями у меня не хватает терпения. А когда выяснилось, что скорых результатов не последует, я начал терять к этому всякий интерес. Спустя какое-то время даже парочка перевозбужденных обезьян меня уже перестала забавлять.

Только однажды я извлек удовольствие из посещения его лаборатории. Как вы, должно быть, уже знаете, я редко могу пройти мимо даже скромной на вид женщины. И потому в один дождливый четверг, пока Анри был занят тем, что прилаживал электроды к обонятельным органам лягушки в одной комнате, я прилаживал не-

что несравненно более приятное Жанет в другой. Разумеется, я не ожидал ничего необычного от этой маленькой шалости. Я действовал скорее по привычке, нежели в силу каких-либо иных соображений. Но боже мой, какой меня ждал сюрприз! Под халатом этой весьма скромной химички скрывалась ловкая и гибкая женщина, обладающая неумемной сноровкой. Эксперименты, которые она проводила — сначала с осциллятором, потом с высокоскоростной центрифугой, — были поистине захватывающи. По правде, я не испытывал ничего сколько-нибудь похожего с момента встречи в Анкаре с одной турчанкой-канатоходкой (см. том XXI). А все это в тысячный раз подтверждает то, что женщины непостижимы, как океан. Покуда не бросишь лот, не узнаешь, что у тебя под килем — глубина или мель.

О том, чтобы снова побывать после этого в лаборатории, я и не помышлял. Вы же знаете мое правило. Я никогда не возвращаюсь к женщине на второй раз. Со мной, во всяком случае, женщины отбрасывают все условности еще на первом свидании, и потому вторая встреча наверняка явится не чем иным, как исполнением старой мелодии на все той же старой скрипке. Кому это нужно? Мне — нет. Поэтому, когда я в то утро за завтраком неожиданно услышал голос Анри, я уже почти позабыл о его существовании. Он срочно приглашал меня к себе.

Преодолев дьявольски плотное парижское движение, я приехал на рю де Кассет. Припарковав машину, я поднялся на крошечном лифте на третий этаж. Анри открыл дверь лаборатории.

— Не двигайтесь! — вскричал он. — Стойте, где стоите!

Он поспешно скрылся и вернулся спустя несколько секунд, держа в руках небольшой поднос, на котором лежали два красных резиновых предмета неопрятного вида.

— Затычки, — пояснил он. — Вставьте их, пожалуйста, в нос. Как я. Они не пропускают молекулы. Давайте же, запикивайте их поплотнее. Вам придется дышать через рот, но какая разница?

У каждой затычки на тупом конце имелась ниточка, служившая, видимо, для того, чтобы выдергивать ее из ноздри. Я увидел, что из ноздрей Анри болтаются два кончика голубых ниточек. Я вставил затычки в нос. Анри посмотрел, как я это сделал, и затолкал их поглубже большим пальцем. Потом он танцующей походкой направился в свою лабораторию, громко говоря:

— Заходите, мой дорогой Освальд! Заходите, заходите! Простите, что я так волнуюсь, но сегодня у меня большой день!

Из-за затычек он говорил так, будто был сильно простужен. Он подскочил к шкафчику и, запустив в ящик руку, достал один из тех небольших квадратных флакончиков, в которые вмещается что-то около унции духов. Он поднес его ко мне, сжимая в обеих ладонях, словно маленькую птичку:

— Смотрите! Вот она! Самая ценная жидкость на свете!

Подобные нелепые преувеличения мне изрядно претят.

— И вы полагаете, дело сделано? — спросил я.

— Конечно же, Освальд! Успех, я уверен, полный!

— Расскажите мне все.

— Это не так-то просто сделать, — сказал он. — Но я попробую.

Он бережно поставил флакончик на скамейку.

— Вчера вечером я оставил эту смесь, ее номер тысяча семьдесят шесть, на ночь, — продолжал он. — Я это делаю потому, что каждые полчаса выделяется только одна капля дистиллята. Во избежание испарения я слежу за тем, чтобы капли попадали в запечатанную колбу. Жидкости такого рода необыкновенно летучи. А утром, в половине девятого, я взял жидкость под номером тысяча семьдесят шесть, вынул пробку из колбы и принялся. Всего то разок втянул запах. А потом снова закрыл.

— И что же?

— О боже мой, Освальд, случилось нечто удивительное! Я просто потерял контроль над собой! Я делал такие вещи, какие мне бы и в мечтах не явились!

— Например?

— Дорогой вы мой, я был вне себя! Я сделался диким животным, зверем! Я стал нечеловеком. Куда-то делось все многовековое влияние цивилизации. Я вернулся в каменный век!

— Что же вы такое сделали?

— Я не очень отчетливо помню, что было в следующую минуту. Все случилось так стремительно. И между тем я был охвачен самой необычайной страстью, какую только можно себе вообразить. Единственное, чего я хотел, — это женщину. Все остальное утратило всякий смысл. У меня было такое чувство, что если я немедленно не раздобуду женщину, то взорвусь.

— Везет же этой Жанет, — заметил я, глядя в сторону другой комнаты. — Как она себя сейчас чувствует?

— Жанет оставила меня больше года назад, — сказал он. — Я заменил ее на блестящую молодую химичку, которую зовут Симона Готье.

— Значит, Симоне повезло.

— Нет-нет! — воскликнул Анри. — В этом-то и весь ужас! Она не пришла! Именно сегодня она опоздала на работу! Я начал сходиться с ума. Я выскочил в коридор и бросился бежать по лестнице. Я был точно какое-нибудь опасное животное. Я гнался за женщиной, за любой женщиной и надеялся, что Бог спасет ту, за которой я бегу!

— И кто же вам попался?

— Слава богу, никто. Потому что неожиданно я пришел в себя. Эффект кончился. Это произошло очень быстро, и я остановился на площадке второго этажа. Я был один. Мне было холодно. Но я тотчас же понял, что случилось. Я побежал наверх и снова вошел в ту же комнату, крепко зажав ноздри большим и указательным пальцами. Я направился прямо к ящику, где хранятся затычки. Я держал запас затычек как раз на такой случай еще с того времени, как начал осуществлять свой замысел. Я запихнул затычки в нос. Теперь я был в безопасности.

— А разве молекулы не могут попасть в нос через рот? — спросил я.

— Им не добраться до рецепторных узлов, — ответил он. — Вот почему ртом не чувствуют запаха. Затем я подошел к аппарату и выключил его. После этого я перелил мизерное количество драгоценной жидкости из колбы в этот очень прочный герметичный пузырек, который вы здесь видите. В нем ровно одиннадцать кубических сантиметров жидкости под номером тысяча семьдесят шесть.

— И потом вы позвонили мне.

— Не сразу, нет. Потому что в этот момент вошла Симона. Она взглянула на меня и тотчас же бросилась в другую комнату, громко крича.

— Почему она так поступила?

— Боже мой, Освальд, я же был совершенно голый и не понимал этого. Должно быть, я сорвал с себя всю одежду!

— Что было потом?

— Я оделся. После этого пошел и рассказал Симоне все как было. Когда она узнала правду, она тоже разволновалась. Не забывайте, мы работаем вместе уже больше года.

— Она еще здесь?

— Да. Она в соседней лаборатории, за дверью.

Ну и историю рассказал Анри. Я взял квадратный пузырек и рассмотрел его на свет. Сквозь толстое стекло я увидел с полдюйма жидкости, бледной и розовато-серой, похожей на свежий айвовый сок.

— Не уроните, — сказал Анри. — Лучше поставьте-ка его на место.

Я поставил пузырек.

— Следующим шагом, — продолжал Анри, — будет тест в строго научных условиях. Для этого я должен буду брызнуть определенное количество жидкости на женщину, а потом позволю мужчине приблизиться к ней. Мне важно понаблюдать за тем, что произойдет, с близкого расстояния.

— Грязный вы человек, — сказал я.

— Я ученый, интересующийся обонятельными органами, — с достоинством произнес он.

— А почему бы мне не выйти на улицу с затычками в носу, — спросил я, — и не брызнуть немного этой жидкости на первую же встречную женщину? А вы можете понаблюдать из окна. Это должно быть забавно.

— Это будет именно забавно, — сказал Анри, — но не очень научно. Я должен проводить тесты в помещении, под контролем.

— А я сыграю роль мужчины, — сказал я.

— Нет, Освальд.

— Это почему же? Я настаиваю.

— Теперь послушайте меня, — сказал Анри. — Нам пока неизвестно, что произойдет, когда рядом будет женщина. Я уверен, что эта штука очень сильно действует. А вы, мой дорогой сэр, уже немолоды. Опасность очень велика. Вы можете не выдержать.

Меня это задело.

— Я могу выдержать что угодно, — сказал я.

— Глупости, — возразил Анри. — Я не хочу рисковать. Поэтому я решил воспользоваться услугами самого крепкого и сильного молодого человека, которого сумел найти.

— Вы хотите сказать, что уже сделали это?

— Разумеется, — сказал Анри. — И я очень волнуюсь. Мне не терпится приступить к делу. Юноша будет здесь с минуты на минуту.

— Кто он?

— Профессиональный боксер.

— О господи.

— Его зовут Пьер Лакай. За работу я плачу ему тысячу франков.

— Где вы его нашли?

— Я знаком с гораздо большим числом людей, чем вы думаете, Освальд. Я не отшельник.

— Ему известно, зачем он понадобился?

— Я сказал ему, что он будет участвовать в научном эксперименте, который имеет отношение к психологии секса. Чем меньше он знает, тем лучше.

— А как насчет женщины? Кого вы в данном случае используете?

— Симону, конечно, — ответил Анри. — Она настоящий ученый. Она сможет изучить реакцию мужчины гораздо ближе, чем я.

— Это точно, — сказал я. — А она понимает, что с ней может произойти?

— Даже очень хорошо понимает. Мне пришлось чертовски потрудиться, чтобы убедить ее решиться на это. Я сказал ей, что она будет участвовать в эксперименте, который войдет в историю. Об этом будут говорить столетиями.

— Чепуха, — сказал я.

— Мой дорогой сэр, в истории человечества время от времени совершаются незабываемые научные открытия, и всякий раз это становится грандиозным событием. Такое событие случилось в тысяча восемьсот сорок четвертом году, когда доктору Горацию Уэллсу из Хартфорда, штат Коннектикут, вырвали зуб¹.

— А что в этом такого исторического?

— Доктор Уэллс был зубным врачом и проводил эксперименты с закисью азота. Однажды у него ужасно разболелся зуб. Он знал, что зуб придется удалить, и с этой целью вызвал другого зубного врача. Но сначала он попросил коллегу надеть ему на лицо маску и выпустить газ, после чего потерял сознание. Зуб ему удалили, через какое-то время он очнулся, чувствуя себя превосходно. Так вот, Освальд, это была первая в мире операция, произведенная под общим наркозом. Она явилась началом больших дел. Наш эксперимент тоже войдет в историю.

В этот момент прозвенел звонок. Анри схватил парочку затычек и бросился открывать дверь. А там стоял Пьер, боксер. Анри, однако, не позволил ему войти, пока тот плотно не затолкал в свои

¹ Г. Уэллс (1815–1848) — американский дантист, пионер в области хирургической анестезии.

ноздри затычки. Думаю, парень полагал, что ему предстоит сниматься в порнофильме, однако процедура с затычками, должно быть, быстро разрушила его планы. Пьер Лакай был боксером легчайшего веса — небольшого роста, жилистым, с плоским лицом и кривым носом. Ему было двадцать два года, и он не производил впечатления человека сообразительного.

Анри представил мне его, затем провел нас прямо в соседнюю лабораторию, где работала Симона. Она стояла в белом халате возле лабораторного столика, делая какие-то записи в блокноте. Когда мы вошли, она посмотрела на нас сквозь толстые стекла очков в белой пластмассовой оправе.

— Симона, — обратился к ней Анри, — это Пьер Лакай.

Симона посмотрела на боксера, но ничего не сказала. Меня Анри не удосужился ей представить.

Симона была стройной женщиной лет тридцати, правда несколько бледноватой. Волосы ее были зачесаны назад и собраны в пучок. Все это вместе с белой кожей лица придавало ей какой-то антисептический вид. Было такое впечатление, будто ее минут тридцать стерилизовали в автоклаве и дотрагиваться до нее можно только в резиновых перчатках. Она глядела на боксера своими большими карими глазами.

— Давайте приступать, — предложил Анри. — Вы готовы?

— Не знаю, что должно произойти, — откликнулся боксер, — но я готов.

Приподнявшись на носки, он запрыгал на месте. Анри тоже был готов. Наверняка он все обдумал еще до того, как я явился.

— Симона будет сидеть на этом стуле, — сказал он, указав на простой деревянный стул, поставленный посередине лаборатории. — А вы, Пьер, встаньте на расстоянии шести метров с затычками в носу.

На полу мелом были проведены линии на разном расстоянии от стула — от полуметра до шести.

— Я начну с того, что брызну небольшое количество жидкости на шею этой дамы, — продолжал Анри, обращаясь к боксеру. — После этого вынимайте затычки и начинайте медленно приближаться к ней.

Мне он сказал:

— Для меня самое главное — узнать дальность действия жидкости, точное расстояние, на котором будет находиться испытуемый, когда молекулы начнут действовать.

— Он приступает к эксперименту в одежде? — спросил я.
— В том виде, в каком есть.
— Предполагается, что дама будет ему помогать или сопротивляться?

— Ни то ни другое. В его руках она должна быть абсолютно пассивным инструментом.

Симона не сводила с боксера глаз. Я увидел, как она кончиком языка медленно облизала губы.

— Эти духи, — спросил я у Анри, — воздействуют ли они как-нибудь на женщину?

— никоим образом, — ответил он. — Вот почему я сейчас прошу Симону выйти из лаборатории, чтобы она приготовила жидкость для пульверизации.

Молодая женщина вышла из главной лаборатории, закрыв за собою дверь.

— Значит, вы чем-то обрызгиваете ее, а я к ней подхожу, — сказал боксер. — Что дальше?

— Посмотрим, — ответил Анри. — Вы ведь не волнуетесь?

— Я? Волнуюсь? — изумился боксер. — Из-за женщины?

— Вот и молодец, — сказал Анри.

Сам он не мог найти себе места. Он метался из одного конца комнаты в другой, еще раз проверяя, точно ли на линии стоит стул, и убирал со стола на верхнюю полку все, что может разбиться, — стеклянные колбы, бутылки и пробирки.

— Место тут не идеальное, — говорил он при этом, — но мы должны с толком его использовать.

Он закрыл нижнюю часть лица хирургической маской и такую же маску протянул мне.

— Вы разве не доверяете затычкам?

— Просто это дополнительная мера предосторожности, — сказал он. — Надевайте.

Женщина вернулась, держа в руках крошечный пульверизатор из нержавеющей стали. Она отдала пульверизатор Анри. Тот достал из кармана секундомер.

— Приготовьтесь, пожалуйста, — сказал он. — Вы, Пьер, встаньте вон там, на шестиметровой отметке.

Пьер так и сделал. Женщина села на стул. Стул был без подлокотников. Напустив на себя важность, она сидела в своем белом халате, сложив руки на плотно сжатых коленях и выпрямив спину. Анри встал у нее за спиной. Я нашел место в стороне.

— Готовы? — громко спросил Анри.

— Подождите, — сказала женщина.

Это было первое слово, которое она произнесла. Она поднялась, сняла очки и, положив их на верхнюю полку, вернулась на место. Разгладив халат на бедрах, она стиснула пальцы и снова положила руки на колени.

— Теперь готовы? — спросил Анри.

— Ну, давайте же, — сказал я. — Нажимайте.

Анри направил маленький пульверизатор на участок голой кожи как раз под ухом Симоны и нажал на кнопку. Пульверизатор издал мягкий шипящий звук, и из выпускного отверстия вырвалось облачко водяной пыли.

— Вынимайте затычки! — крикнул Анри боксеру и, быстро отскочив от женщины, встал рядом со мной.

Боксер взялся за ниточки, торчавшие из ноздрей, и дернул за них. Смазанные вазелином затычки легко выскользнули из носа.

— Ну что же вы! — крикнул Анри. — Начинайте двигаться! Бросьте затычки на пол и медленно идите вперед! — (Боксер сделал шаг вперед.) — Не так быстро! — закричал Анри. — Медленнее! Так лучше! Идите! Идите же! Не останавливайтесь!

Он был вне себя от возбуждения, и должен признать, что и я начал заводиться. Я взглянул на женщину. Она сидела съежившись на стуле, всего лишь в нескольких ярдах от боксера, напряженная, недвижимая, следя за каждым его движением, и я поймал себя на том, что вспомнил о белой крысе, которую однажды видел в одной клетке с питоном. Питон собирался проглотить крысу, и крыса это знала, и потому она низко прижималась к земле, будучи загипнотизирована или, скорее, околдована медленным приближением змеи.

Боксер медленно двигался вперед.

Когда он миновал пятиметровую отметку, женщина разжала руки и положила их на колени ладонями вниз. Потом передумала и положила их как бы под ягодицы, ухватившись за сиденье стула с обеих сторон, приготовившись, так сказать, к предстоящему нападению.

Не успел боксер миновать двухметровую отметку, как запах ударил ему в нос. Он резко остановился. Глаза его потускнели, и он закачался, точно его ударили по голове молотком. Мне показалось, что он вот-вот упадет, но он удержался на ногах. Он стоял

и легко покачивался из стороны в сторону, как пьяный. Потом неожиданно начал как-то странно фыркать и сопеть, напомнив мне свинью, обнюхивающую свое корыто, и вдруг без всякого предупреждения прыгнул на женщину. Он содрал с нее белый халат, платье, белье. После этого началось черт знает что.

Вряд ли стоит в подробностях описывать, что происходило в последующие несколько минут. Вы и сами можете почти обо всем догадаться. Должен, однако, признать, что Анри, вероятно, был прав, остановив свой выбор на исключительно крепком и здоровом молодом человеке. Очень не хотелось бы об этом говорить, но сомневаюсь, что мое тело человека среднего возраста выдержало бы эти невероятно энергичные упражнения, которые вынужден был проделывать боксер. Я никогда не был вуайером. Это не по мне. Но в данном случае я был буквально прикован к месту. В боксере проснулась страшная силы животная страсть. Он вел себя как дикий зверь. И в самый разгар происходящего Анри проделал интересную вещь. Достав пистолет, он бросился к боксеру и закричал:

— Отойдите от женщины! Оставьте ее, или я вас застрелю!

Боксер не обращал на него внимания, поэтому Анри выстрелил у него прямо над головой и закричал:

— Я не шучу, Пьер! Я убью вас, если вы не прекратите!

Боксер и взглядом его не удостоил. Анри прыгал и плясал по всей комнате, крича:

— Это удвительно! Потрясающе! Невероятно! Смесь действует! Действует! Мы добились своего, мой дорогой Освальд! Мы добились своего!

Представление кончилось так же внезапно, как и началось. Боксер вдруг отпустил женщину, поднялся, моргнул несколько раз, а потом спросил:

— Где это я, черт побери? Что случилось?

Симона — вроде бы отделавшаяся без телесных повреждений — вскочила со стула, схватила свою одежду и выбежала в соседнюю комнату.

— Благодарю вас, мадемуазель, — сказал Анри, когда она пролетала мимо него.

Самым интересным было то, что ошеломленный боксер ни малейшего представления не имел о происходившем. Он стоял голый, весь в поту, озираясь и пытаясь сообразить, как оказался в таком положении.

— Что я делал? — спрашивал он. — Где женщина?

— Вы были великолепны! — крикнул Анри и бросил ему полотенце. — Все в порядке! Тысяча франков ваши!

В эту минуту дверь распахнулась и в лабораторию вбежала голая Симона.

— Обрызгайте меня еще раз! — воскликнула она. — О мсье, хотя бы разок обрызгайте меня.

Лицо ее светилось, глаза сверкали.

— Эксперимент закончен, — сказал Анри. — Идите одевайтесь.

Он крепко взял ее за плечи и вытолкал в другую комнату. Потом запер дверь.

Спустя полчаса мы с Анри отмечали наш успех в небольшом кафе. Мы пили кофе с коньяком.

— Сколько это продолжалось? — спросил я.

— Шесть минут тридцать две секунды, — ответил Анри.

Потягивая коньяк, я смотрел на людей, прогуливающихся по тротуару.

— Каков будет следующий шаг?

— Прежде всего я должен кое-что записать, — сказал Анри. — Потом поговорим о будущем.

— Кому-нибудь еще известна формула?

— Никому.

— А как же Симона?

— И она ничего не знает.

— Вы ее записали?

— Да, но так, что разобрать никто не сможет. Завтра перепишу.

— С этого и начните, — сказал я. — Мне тоже потребуется экземпляр. Как мы назовем эту смесь? Нам нужно придумать название.

— Что вы предлагаете?

— „Сука“, — сказал я. — Назовем ее „Сукой“.

Анри улыбнулся и медленно покачал головой. Я заказал еще коньяку.

— С ее помощью запросто можно подавить бунт, — сказал я. — Получше слезоточивого газа. Представьте, какая разыграется сцена, если обрызгать ею разбушевавшуюся толпу.

— Мило, — произнес Анри. — Очень мило.

— Еще „Суку“ можно продавать очень толстым, очень богатым женщинам по баснословным ценам.

— Можно, — сказал Анри.

— Как вы полагаете, она сможет помочь мужчинам восстановить потенцию? — спросил я у него.

— Разумеется, — ответил Анри. — Об импотенции навсегда будет забыто.

— А как насчет восьмидесятилетних старцев?

— У них тоже восстановится потенция, — сказал он, — хотя это их и погубит.

— А неудачные браки?

— Мой дорогой, — сказал Анри, — да возможности ее применения беспредельны.

В этот самый момент в голове у меня медленно начала зарождаться одна мысль. Как вы знаете, я страстно увлекаюсь политикой. И моей самой сильной страстью, хотя я и англичанин, является политика Соединенных Штатов Америки. Я всегда считал, что именно там, в этой могущественной стране, населенной разными народами, наверняка решаются судьбы всего человечества. А между тем во главе ее стоял президент, которого я терпеть не мог. Это был порочный человек, проводивший порочную политику. Что еще хуже, это было непривлекательное существо, лишенное чувства юмора. Так почему бы мне, Освальду Корнелиусу, не сделать так, чтобы он оставил свой пост?

Мысль мне понравилась.

— Какое количество „Суки“ у вас сейчас имеется в лаборатории? — спросил я.

— Ровно десять кубических сантиметров, — ответил Анри.

— А сколько требуется для одной дозы?

— В нашем эксперименте мы использовали один кубический сантиметр.

— Именно столько мне и нужно, — сказал я. — Один кубический сантиметр. Я возьму его домой. Вместе с набором затычек.

— Нет, — сказал Анри. — Не будем пока с этим шутить. Это слишком опасно.

— Это моя собственность, — сказал я. — То есть наполовину моя. Не забывайте о нашем соглашении.

В конце концов он вынужден был уступить, хотя ему очень этого не хотелось. Мы вернулись в лабораторию, вставили в нос затычки, и Анри отмерил ровно один кубический сантиметр „Суки“ в небольшой флакончик для духов. Запечатав пробку воском, он передал флакончик мне.

— Умоляю вас, будьте осторожны, — сказал он. — Быть может, это самое значительное научное открытие столетия, и с этим не следует шутить.

От Анри я поехал в мастерскую моего старого приятеля Марселя Броссоле. Марсель изобретал и сам делал миниатюрные точные инструменты, необходимые для научных целей. Он изготавливал для хирургов сердечные клапаны, синусовые узлы и еще что-то, что снижает внутричерепное давление у страдающих водянкой головного мозга.

— Я хочу, чтобы ты сделал капсулу, — сказал я Марселю, — в которую помещается ровно один кубический сантиметр жидкости. К этой маленькой капсуле должен быть подсоединен часовой механизм, с помощью которого можно будет расколоть капсулу и высвободить жидкость в заранее определенное время. Все устройство должно иметь не больше полдюйма в длину и полдюйма в толщину. Чем меньше, тем лучше. Можешь с этим справиться?

— Запросто, — ответил Марсель. — Тонкая пластмассовая капсула, маленький кусочек бритвенного лезвия, пружина, направляющая лезвию, и обыкновенное устройство, вроде будильника типа очень маленьких дамских часиков. Капсула будет чем-то заполняться?

— Да. Сделай так, чтобы я сам смог заполнить ее и плотно закрыть. Недели на все хватит?

— Почему бы и нет? — сказал Марсель. — Дело нехитрое.

Следующее утро принесло печальные известия. Симона, эта развратная потаскушка, едва явившись в лабораторию, видимо, опрыскала себя всем оставшимся запасом „Суки“, то есть более чем девятью кубическими сантиметрами смеси! Затем подкралась к Анри, который уселся за стол, чтобы привести в порядок свои записи, и притаилась за его спиной.

Мне не нужно вам рассказывать, что было дальше. А самое скверное, что глупая девчонка позабыла о больном сердце Анри. Поэтому, когда молекулы добрались до него, у бедняги было мало шансов. Не прошло и минуты, как он был мертв, пал, что называется, в бою, вот и делу конец.

Эта чертова женщина могла хотя бы подождать, пока он не запишет формулу. Как бы то ни было, Анри не оставил ни единой записи. После того как вынесли его тело, я обыскал всю лабораторию, но ничего не нашел. Поэтому я преисполнился еще

большей решимости с толком использовать единственный оставшийся в мире кубический сантиметр „Суки“.

Через неделю я забрал у Марселя Бросоле замечательно исполненное маленькое устройство. Часовой механизм состоял из самых крошечных часиков, которые я когда-либо видел, и это вместе с капсулой и всеми другими частями было заключено в алюминиевую пластину размером в три восьмых квадратного дюйма. Марсель показал мне, как нужно заполнять и запечатывать капсулу и устанавливать счетчик времени. Я поблагодарил его и расплатился с ним.

После этого я тотчас же отправился в Нью-Йорк. Прибыв туда в три часа дня, я принял ванну, побрился и заказал в номер бутылку „Гленливета“ и лед. Почувствовав себя свежо и бодро, я надел халат, налил добрую порцию отменного односолодового виски и устроился в глубоком кресле с утренним выпуском „Нью-Йорк таймс“. Окна моего номера выходили на Центральный парк, и сквозь открытое окно я слышал гул уличного движения и гудки таксистов на Сентрал-парк-саут. Неожиданно мое внимание привлек мелкий заголовок на первой полосе. Он гласил: „Президент выступит сегодня вечером по телевидению“. Дальше я прочел:

„Ожидается, что президент сделает важное заявление по вопросу внешней политики в ходе своего выступления сегодня вечером во время обеда, устраиваемого в его честь Дочерьми американской революции в банкетном зале «Уолдорф-Астории»...“

Вот так удача!

Такого случая я приготовился ждать в Нью-Йорке много недель. Президент Соединенных Штатов не часто появляется на телевидении в окружении женщин. А именно это мне и было нужно. Это был необычайно жуликоватый тип. Он не раз попадал в дерьмо, и от него всегда дурно пахло. Однако он всякий раз умудрялся убедить людей в том, что запах исходит от кого-то другого, но никак не от него. Поэтому, по моим расчетам, должно было произойти следующее. Человеку, насилующему женщину на глазах у двадцати миллионов телезрителей, будет трудно повернуть все так, будто он этого не делал.

Дальше я прочитал следующее:

„Президент будет говорить приблизительно двадцать минут, начиная с девяти вечера, и его речь будет транслироваться всеми

главными телевизионными компаниями. Его представит миссис Эльвира Понсонби, исполняющая обязанности президента Дочерей американской революции. В интервью, которое миссис Понсонби дала в своем номере в «Уолдорф Тауэрс», она сказала...

Прекрасно! Миссис Понсонби будет сидеть справа от президента. Ровно в десять минут десятого, когда президент разойдется и половина населения Соединенных Штатов будет смотреть на него, маленькая капсула, незаметно упрятанная в районе груди миссис Понсонби, лопнет и полсантиметра „Суки“ вытечет на парчовую ткань ее вечернего платья. Президент поднимет голову и начнет приноживаться, при этом ноздри его расширятся и он захрапит, точно жеребец, а потом набросится на миссис Понсонби. Она окажется на банкетном столе, и президент запрыгнет на нее, а шарлотка и слоеный пирог с фруктовой начинкой полетят в разные стороны.

Я откинулся в кресле и прикрыл глаза, смакуя эту прелестную сцену. Я увидел заголовки, которые появятся в газетах на следующее утро:

ЛУЧШЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СЕКРЕТЫ
СТАНОВЯТСЯ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫМИ
ПРЕЗИДЕНТ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫВАЕТ
ПОРНОТЕЛЕВИДЕНИЕ

и так далее.

Послезавтра ему объявят импичмент, а я тихонько покину Нью-Йорк и отправлюсь в Париж. Хотя нет, лучше бы мне улететь прямо завтра!

Я посмотрел на часы. Было почти четыре. Я не спеша оделся. Спустившись на лифте в главный вестибюль, прошел пешком до Мэдисон-авеню. Где-то около Шестьдесят второй улицы я нашел хороший цветочный магазин. Там я купил корсажный букет из трех огромных орхидей. Орхидеи были в белых и розовато-лиловых пятнах. Это мне показалось особенно вульгарным. Таковой, без сомнения, была и миссис Эльвира Понсонби. Цветы мне упаковали в красивую коробку, которую завязали золоченой тесьмой. После этого я отправился назад в „Плазу“, с коробкой в руках, и поднялся в свой номер.

Я запер все двери в коридор на тот случай, если придет горничная, чтобы застелить постель. Затем достал затычки, тщательно смазал их вазелином, вставил в ноздри и затолкал поглубже. В качестве дополнительной меры предосторожности нижнюю часть лица я закрыл хирургической маской, как это когда-то делал Анри. Теперь я был готов к дальнейшим действиям.

С помощью обыкновенной пипетки я переместил драгоценный кубический сантиметр „Суки“ из пузырька в крошечную капсулу. Рука, в которой я держал пипетку, немного тряслась, но все прошло удачно. Я запечатал капсулу. После этого завел миниатюрные часики и выставил точное время. Было три минуты шестого. В довершение всего я настроил часовой механизм таким образом, чтобы капсула лопнула в десять минут десятого.

Стебли трех громадных орхидей цветочник связал широкой белой лентой в дюйм шириной, и мне не составило труда снять эту ленту и прикрепить маленькую капсулу и часовой механизм к стеблям орхидей с помощью нитки. Проделав это, я снова обмотал лентой стебли, а заодно и мое устройство. Затем я снова завязал на коробке бант. Все было сделано отлично.

Потом я позвонил в „Уолдорф“ и узнал, что обед должен начаться в восемь часов вечера, но гости должны собраться в банкетном зале к семи тридцати, до прибытия президента.

Без десяти семь я расплатился с таксистом возле входа в „Уолдорф Тауэрс“ и вошел в здание. Я пересек небольшой вестибюль и положил коробку с орхидеями на стол дежурного гостиницы. Перегнувшись через стол, я наклонился как можно ближе к портье и прошептал с американским акцентом:

— Подарок от президента.

Портье подозрительно посмотрел на меня.

— Миссис Понсонби предваряет сегодня выступление президента в банкетном зале, — прибавил я. — Президент пожелал, чтобы ей незамедлительно прислали этот букет.

— Оставьте его здесь, и я попрошу, чтобы его отнесли к ней в номер, — сказал портье.

— Нет, ни в коем случае, — твердо возразил я. — Мне приказано доставить его лично. В каком номере она остановилась?

Служащий был поражен.

— Миссис Понсонби живет в номере пятьсот один, — сказал он.

Я поблагодарил его и направился к лифту. Когда я вышел на пятом этаже и пошел по коридору, лифтер смотрел мне вслед. Я позвонил в номер пятьсот один.

Дверь открыла самая огромная женщина, какую мне только приходилось видеть в жизни. Я видел гигантских женщин в цирке. Я видел женщин, занимающихся борьбой и поднятием тяжестей. Я видел громадных женщин племени масаи у подножия Килиманджаро. Но никогда я не видывал такую высокую, широкую и толстую женщину, как эта. И наружности столь отталкивающей. Она вырядилась и тщательно причесалась по случаю самого большого события в своей жизни, и за те две секунды, которые пролетели прежде, чем один из нас заговорил, я смог разглядеть почти все: серебристо-голубые волосы с металлическим отливом, каждая прядь которых была прилеплена там, где нужно, коричневые свинячьи глаза, длинный острый нос, почуявший неладное, кривые губы, выступающую челюсть, пудру, тушь для ресниц, ярко-красную помаду и, что меня особенно потрясло, внушительных размеров грудь на подпорках, выступавшую, точно балкон. Она выдавалась так далеко, что было удивительно, как эта женщина не опрокидывалась под ее весом. И вот этот надутый исполин стоял передо мной, обмотанный с головы до пят в звездно-полосатый американский флаг.

— Миссис Эльвира Понсонби? — пробормотал я.

— Да, я миссис Понсонби, — прогудела она. — Что вам угодно? Я очень занята.

— Миссис Понсонби, — сказал я, — президент приказал мне доставить вам это лично.

Она тотчас растаяла.

— Как это мило! — громогласно заявила она. — Как это чудесно с его стороны!

Двумя своими огромными ручищами она выхватила коробку. Я не препятствовал этому.

— Мне велено проследить, чтобы вы открыли ее, прежде чем отправиться на банкет, — сказал я.

— Разумеется, я открою ее, — сказала она. — Я что, у вас на глазах должна это сделать?

— Если не возражаете.

— О'кей, входите. Но у меня не много времени.

Я последовал за ней в гостиную.

— Мне велено присовокупить, — произнес я, — наилучшие пожелания от президента президенту.

— Ха! — рывкнула она. — Мне это нравится! Он просто прелесть!

Она развязала золоченую тесьму на коробке и сняла крышку.

— Я так и думала! — вскричала она. — Орхидеи! Как это прекрасно! Да их и не сравнить с этими малюсенькими цветочками, которые я нацепила!

Я был настолько ослеплен обилием звезд у нее на груди, что и не заметил единственную орхидею, которую она прикрепила слева.

— Я должна сменить украшение, — заявила она. — Президент наверняка захочет увидеть свой подарок на мне.

— Несомненно, — сказал я.

Чтобы вы лучше представили себе, как далеко выступала ее грудь, должен вам сказать, что, когда она потянулась, дабы открепить цветок, ее вытянутые руки едва коснулись его. Она повозилась с булавкой какое-то время, но никак не могла увидеть, что делает.

— Страшно боюсь порвать свое нарядное платье, — сказала она. — Ну-ка, помогите мне.

Она резко обернулась и ткнулась своей исполинской грудью мне в лицо. Я заколебался.

— Ну же! — прогремела она. — Не могу же я тратить на это целый вечер!

Я взялся за булавку и в конце концов сумел отстегнуть ее от платья.

— А другую давайте прикрепим, — сказала она.

Я отложил ее орхидею и бережно вынул из коробки свои цветы.

— Булавки там есть? — спросила она.

— Не думаю, — ответил я.

Вот чего я не предусмотрел.

— Все равно, — сказала она. — Пустим в дело вот эту.

Она отстегнула булавку от своей орхидеи, и не успел я остановить ее, как она схватила три орхидеи, которые я держал в руках, и с силой проткнула белую ленту, стягивавшую стебли. Она проткнула ленту именно в том месте, где была спрятана моя маленькая капсула с „Сукой“. Булавка уперлась во что-то твердое и дальше не проходила. Она ткнула еще раз. И снова булавка уперлась во что-то металлическое.

— Что это там еще? — возмущенно фыркнула она.

— Дайте-ка мне! — воскликнул я, но было слишком поздно, потому что „Сука“ из проколотой капсулы уже разливалась мокрым пятном по белой ленте, и сотую долю секунды спустя запах сразил меня.

Он ударил мне прямо в нос. Вообще-то, это был и не запах во все, потому что запах — это нечто неуловимое. Запах нельзя почувствовать физически. А это было нечто осязаемое. Плотное. У меня было такое чувство, будто некая горячая жидкость ударила мне в нос под высоким давлением. Это было чрезвычайно неприятно. Я чувствовал, как что-то забивается в нос все дальше и дальше, проникает за носовые перегородки, проталкивается за лобные пазухи и устремляется к мозгу. Звезды и полосы на платье миссис Понсонби неожиданно начали прыгать и скакать, а потом и вся комната запрыгала, и я услышал, как в голове у меня застучало. Мне показалось, будто я попал под действие наркоза.

В этот момент я, должно быть, совсем потерял сознание, быть может, всего-то на пару секунд.

Придя в себя, я обнаружил, что стою голый посреди розовой комнаты, а в паху у меня происходит что-то забавное. Я опустил глаза и увидел, что мой любимый половой орган вырос до трех футов в длину и соответствующей толщины и продолжал увеличиваться. Он удлинялся и раздувался с невероятной быстротой. В то же время сам я становился все меньше и меньше. Все больше и больше увеличивался мой удивительный орган и все продолжал расти, пока, клянусь Богом, не вобрал в себя все мое тело. Теперь я был гигантским перпендикулярным пенисом семи футов роста и таким красивым, что лучше и не бывает.

Я прошелся танцующей походкой вокруг комнаты, чтобы отпраздновать мое новое великолепное состояние. На пути я встретил девицу в усыпанном звездами платье. Она была очень большая, по крайней мере для девицы. Я вытянулся в полный рост и продекламировал во весь голос:

Для дам удовольствие солнечным днем
Полюбоваться прекрасным цветком.
Красуется пестик, маня и дразня...
Но кто видел пестик размером с меня?¹

¹ Стихи в переводе В. Н. Андреева.

Девушка подпрыгнула и обхватила меня обеими руками. А потом прокричала:

С тобой никакой не сравнится цветок,
Тебе позавидовать может сам Бог.
А пестик такой — я не стану скрывать —
Всю жизнь я мечтала поцеловать!

Минуту спустя мы оба взлетели на миллионы миль во внесземное пространство и помчались по Вселенной сквозь дождь красных и желтых метеоритов. Я скакал, припадая к ее голой спине и крепко сжимая ее бедрами. „Быстрее! — кричал я, вонзая длинные шпоры в ее бока. — Быстрее!“ И она летела все быстрее, кружась и толчками уходя к краю неба, и в ее гриве струился солнечный свет, а в хвосте кружился снег. Силу я в себе ощущал невероятную. Я был всемогущ, неповторим. Я был Богом всей Вселенной, я расшвыривал планеты, ловил ладонью звезды и отбрасывал их в сторону, точно это были шарики для игры в настольный теннис.

Какой экстаз, какое блаженство! О Иерихон, Тир и Сидон! Стены рухнули, и твердь небесная обрушилась, и в мое сознание среди дыма и огня медленно вплыла гостиная „Уолдорф Тауэрс“. Все было перевернуто вверх дном. Ураган и то нанес бы меньший урон. Моя одежда была разбросана по полу. Я начал торопливо одеваться и через полминуты был одет. И я уже бежал к двери, когда услышал чей-то голос, доносившийся из дальнего угла комнаты, где лежал перевернутый вверх ногами стол. „Не знаю, кто вы, молодой человек, — говорил голос, — но большое вам спасибо за доставленное удовольствие“».

**НОВЫЕ
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ**



ЗОНТИЧНИК

Я хочу рассказать вам забавную историю, случившуюся вчера с мамой и со мной. Мне двенадцать лет, и я девочка. Маме моей тридцать четыре, но я уже почти с нее ростом.

Вчера после обеда мама повезла меня в Лондон к дантисту. Дантист нашел у меня дупло. Дупло было в одном из задних зубов, и он запломбировал его почти без всякой боли. Потом мы пошли в кафе. Мама взяла мне банановый сплит¹, а себе чашку кофе. Часов в шесть мы собрались уходить.

Но только мы вышли из кафе, как пошел дождь.

— Нужно поймать такси, — сказала мама.

На нас были самые обычные промокающие шляпы и плащи, а лило как из ведра.

— Почему бы нам, — предложила я, — не вернуться в кафе и не переждать, пока дождь не кончится?

Мне очень понравился тамошний сплит, и я не отказалась бы от второго.

— Он никогда не кончится, — сказала мама. — Нужно поскорее домой и обсохнуть.

Мы стояли под дождем и высматривали такси. Такси так и шныряли мимо, но все они были с пассажирами.

— Хорошо бы иметь машину с шофером, — вздохнула мама.

И тут к нам подошел этот человек. Совсем коротышка и очень старый, лет семидесяти или больше. Он вежливо приподнял шляпу и обратился к маме:

— Очень надеюсь, что вы меня извините, прошу буквально минуту вашего времени...

У него были роскошные седые усы, густые седые брови и розовое, сплошь в морщинах лицо. От дождя он укрывался красивым зонтиком.

¹ *Сплит* — десерт из нарезанных фруктов с мороженым и орехами.

— Да? — сказала мама, очень холодно и отстраненно.

— Мне хотелось бы попросить вас о маленьком одолжении, — сказал человек. — Об очень маленьком одолжении.

Мама смотрела на него с крайним подозрением. Мама вообще очень подозрительная. Особенное подозрение вызывают у нее две вещи: незнакомые мужчины и яйца всмятку. Срезав верхушку яйца всмятку, она начинает копаться в нем ложкой, словно ожидая найти внутри мышь или что-нибудь вроде. В отношении незнакомых мужчин она придерживается золотого правила, гласящего: «Чем более милым кажется мужчина, тем с большим подозрением нужно к нему относиться». Этот маленький старичок был особенно мил. Он был очень вежливый. Он правильно говорил. Он был хорошо одет. Он был настоящим джентльменом. Я поняла, что он джентльмен, по его обуви. Другая мамина поговорка гласила: «Настоящего джентльмена легче всего различить по обуви». У этого мужчины были прекрасные коричневые туфли.

— Правду говоря, — сказал старичок, — я попал в небольшую беду. Я очень нуждаюсь в помощи. Нет, могу вас заверить, ничего такого особенного. Мелочь, ерунда, но я в ней нуждаюсь. Видите ли, мадам, старые люди вроде меня становятся ужасно забывчивыми...

За это время мамин подбородок высоко вздернулся, и она взирала на старичка вдоль всей длины своего носа. В ледяном, со вздернутым носом, взгляде моей мамы есть что-то устрашающее. Как правило, от этого взгляда люди тут же рассыпаются на куски. Я раз видела, как наша директриса стала от этого жуткого взгляда заикаться и нести всякую околесицу, как полная идиотка. Но старичок с зонтиком и глазом не моргнул. Он ласково улыбнулся и сказал:

— Прошу, мадам, мне поверить, что я отнюдь не имею привычки останавливать леди на улицах и рассказывать им про свои беды.

— Да уж надеюсь, — сказала мама.

Я даже смутилась от маминой резкости. Мне хотелось сказать ей: мамочка, ради бога, этот незнакомец, он же очень старый и он же милый и вежливый; он попал в какую-то неприятность, а ты на него собачишься.

Но я ничего не сказала.

Старичок переложил зонтик в другую руку.

— И ведь я никогда его раньше не забывал, — пояснил он что-то, понятное только ему.

— Вы никогда не забывали — что? — сурово спросила мама.

— Бумажник, — сказал человечек. — Наверное, я забыл его в кармане другого пиджака. Только представьте себе такую глупость.

— Вы хотите попросить, чтобы я дала вам деньги? — спросила мама.

— Да нет, конечно же, боже упаси! — испугался старичок. — Мне бы и в голову такое прийти не могло!

— Тогда чего же вы хотите? — спросила мама. — Только побыстрее, мы и так уже промокли.

— Я это вижу, — сказал старичок. — Именно поэтому я хочу предложить вам для защиты этот зонтик, если... если только...

— Если только что? — спросила мама.

— Если только вы дадите мне в обмен фунт на такси, чтобы доехать до дому.

Мамины подозрения ничуть не уменьшались.

— Начнем с того, — спросила она, — что если у вас нет денег, как же вы попали сюда?

— Я шел пешком, — объяснил старичок. — Каждый день я совершаю длинную прогулку, а потом беру такси, чтобы доехать до дому. Я делаю так ежедневно, круглый год.

— Так почему бы вам не дойти до дому сейчас? — спросила мама.

— О, как бы мне хотелось иметь такую возможность. Я бы очень хотел, чтобы это было возможно. Но вряд ли мои дурацкие старые ноги справятся с такой нагрузкой. Я и так зашел уже далеко.

Мама стояла и жевала свою нижнюю губу. Мне было видно, что она немного оттаяла. Да и мысль прикрыться от дождя зонтиком явно ее соблазняла.

— Это хороший зонтик, — сказал старичок.

— Я успела заметить, — сказала мама.

— Он шелковый, — сказал старичок.

— Вижу, — сказала мама.

— Так почему бы вам его не взять? — спросил старичок. — Он стоил мне больше двадцати фунтов, как одно пенни. Но все это ерунда по сравнению с возможностью вернуться домой и дать отдых этим моим старым ногам.

Я увидела, как мамина рука нащупала застежку сумки. И она тоже увидела, что я на нее смотрю. Теперь уже я окинула ее моим

собственным ледяным взглядом, и она прекрасно понимала, что я имею в виду. Слушай, мамочка, говорила я ей, ты не должна таким образом воспользоваться положением этого усталого старика. Это было бы очень паскудно. Мама помедлила, взглянула на меня и сказала старичку:

— Я не думаю, что имею право взять у вас зонтик ценой в двадцать фунтов. Пожалуй, я лучше дам вам на такси, и покончим с этим делом.

— Нет, нет, нет! — вскричал старичок. — Это даже не подлежит обсуждению! Я и помыслить о таком не могу! Ни в коем случае! Я не могу взять ваши деньги на таких условиях! Возьмите этот зонтик, дорогая леди, и закройте свои плечи от дождя!

Мама бросила на меня косой торжествующий взгляд. Вот видишь, говорил этот взгляд, ты ошибалась. Он хочет, чтобы я его взяла.

Она порылась в сумочке, достала фунтовую ассигнацию и протянула ее старичку. Тот взял ассигнацию и передал ей зонтик. Затем он спрятал деньги в карман, чуть приподнял шляпу, поклонился всем телом, от пояса, и сказал:

— Спасибо, мадам, огромное вам спасибо.

И тут же исчез.

— Подвисься поближе и спрячься, — сказала мама. — Ну и здорово же нам повезло. У меня никогда еще не было шелкового зонтика. Нам они не по карману.

— А почему ты сначала вела себя с ним так кошмарно? — спросила я.

— Я хотела убедиться, что он не какой-нибудь жулик, — объяснила мама. — И я убедилась. Он настоящий джентльмен, и я довольна, что смогла ему чем-то помочь.

— Да, мамочка, — согласилась я.

— Настоящий джентльмен, — продолжила мама. — И состоятельный, иначе бы он не раздавал шелковые зонтики. Ничуть не удивлюсь, если он титулованная персона. Сэр Гарри Голдсуорси или что-нибудь в этом роде.

— Да, мамочка.

— И пусть это послужит тебе уроком, — продолжила мама. — При любых условиях избегай излишней поспешности. Чтобы верно кого-нибудь оценить, непременно требуется время. Так ты никогда не ошибешься.

— Вон он, — сказала я. — Смотри.

— Где?

— Да там, он переходит улицу. Господи, мамочка, он-то куда так спешит?

Мы стояли и смотрели, как старичок ловко лавирует в потоке машин. Перейдя улицу, он повернул налево, ничуть не замедлив шагов.

— Что-то мне он не кажется слишком усталым, а тебе, мамочка?

Мама молчала.

— И как-то не похоже, — добавила я, — чтобы он пытался поймать такси.

Мама стояла совершенно неподвижная и смотрела через улицу на старичка. Нам было его прекрасно видно, и он явно куда-то спешил. Прямо мчался по тротуару, огибая других прохожих и размашивая руками, как солдат на марше.

— Он что-то задумал, — сказала мама. Ее лицо окаменело.

— Только что?

— Не знаю, — бросила мама. — Но непременно узнаю. Пошли.

Она взяла меня за руку, и мы с ней вместе перешли улицу. Затем свернули налево.

— Ты его видишь? — спросила мама.

— Да. Вон он. Сворачивает за угол.

Мы дошли до угла и свернули направо. До старичка было ярдов двадцать. Он трусил по тротуару, как кролик, и нам, чтобы не отстать, приходилось очень спешить. Дождь лупил еще сильнее, чем прежде, и я видела, как с полей его промокнутой шляпы стекает на плечи вода. А вот нам под нашим большим шелковым зонтиком было уютно и сухо.

— Что же он все-таки задумал? — спросила мама.

— А что, если он повернется и заметит нас? — спросила я.

— А мне плевать, — сказала мама. — Он нам соврал. Сказал, что не может уже идти, что буквально валится с ног! Он — бессовестный лжец! Он самый настоящий жулик!

— Ты хочешь сказать, — сказала я, — что он все-таки не титулованный джентльмен.

— Помолчи немного, — сказала мама.

На следующем перекрестке старичок опять свернул направо.

Затем он свернул налево.

Затем направо.

— Я от него так не отстану, — сказала мама.

— Он исчез! — закричала я. — Куда же он делся?

— Он вошел вон в ту дверь! — сказала мама. — Я это видела! В тот дом! Господи, да это паб!

Это действительно был паб. «Красный лев» — гласила надпись на его фасаде.

— Ты же не думаешь, мамочка, туда зайти?

— Нет, — сказала мама. — Мы посмотрим через окно.

Вдоль всего фасада паба было большое окно; с той стороны стекло чуть запотело, но все равно видно было прекрасно, особенно если подойти вплотную.

Мы стояли у окна паба, тесно прижавшись друг к другу. Я цеплялась за мамину руку. Огромные капли гулко стучали по зонтику.

— Вон он, — сказала я. — Вон там.

Зал был полон людей и сигаретного дыма, и наш старичок был в самой гуще всего этого. Он успел уже снять пальто и шляпу и теперь проталкивался сквозь толпу к стойке бара. Протолкавшись, положил ладони на стойку и что-то сказал бармену. Я видела, как двигаются губы; он делал заказ. Бармен отвернулся и через несколько секунд подал ему небольшой стаканчик, полный до краев светло-бурой жидкости. Старичок положил на стойку фунтовую ассигнацию.

— Это мой фунт! — прошипела мама. — Это надо же такое нахальство!

— А что там в стаканчике? — спросила я.

— Виски, — сказала мама. — Чистый виски.

Бармен не дал с фунта никакой сдачи.

— Видимо, это тройной виски, — сказала мама.

— Что такое тройной? — спросила я.

— В три раза больше нормальной порции, — ответила мама.

Старичок взял стакан и поднес его к губам. И осторожно наклонил. Затем он наклонил его сильнее... еще сильнее... еще сильнее... и очень скоро весь этот виски исчез в его горле одним длинным глотком.

— Недешевая выпивка, — заметила я.

— Это попросту смехотворно! — сказала мама. — Ты представь себе, заплатить целый фунт за то, что можно проглотить одним глотком!

— Это обошлось ему больше чем в фунт, — поправила я. — Это обошлось ему в двадцатифунтовый шелковый зонтик.

— Вот именно, — согласилась мама. — Он просто сумасшедший.

Старичок стоял у стойки с пустым стаканом в руке. Он тихо улыбался, и по его круглому розовому личику разливалось золотое блаженство. Я видела, как кончик его языка облизнул седые усы, словно в поисках последней капли драгоценного виски. Он медленно отвернулся от стойки и стал проталкиваться назад, туда, где висели его пальто и шляпа. Он надел шляпу. Надел пальто. Затем с великолепной небрежностью, так что никто бы ничего не заподозрил, прихватил с вешалки один из многих мокрых зонтиков, которые там висели, и направился к выходу.

— Ты только посмотри! — воскликнула мама. — Ты видела, что он сделал?

— Тсс! — прошептала я. — Он выходит.

Мы опустили зонтик, чтобы скрыть свои лица, и опасливо выглянули снизу.

Старичок вышел, но даже не взглянул в нашем направлении. Он раскрыл над головой свой новый зонтик и поспешил по улице в ту сторону, откуда пришел.

— Так вот чем он тут пробавляется! — сказала мама.

— Чисто сделано, — сказала я. — Супер.

Мы последовали за ним и пришли на главную улицу, где встретили его впервые, а затем пронаблюдали, как он легко и непринужденно обменял свой новый зонтик еще на одну фунтовую ассигнацию. Этот зонтик достался высокому тощему парню, у которого не было даже пальто и шляпы. Как только сделка была завершена, наш старичок зашпешил по улице и быстро потерялся в толпе. На этот раз он ушел в другом направлении.

— Ты только посмотри, до чего же хитрый! — восхитилась мама. — Он никогда не ходит дважды в один и тот же паб!

— Пабов тут достаточно, — заметила я. — Хватит на весь вечер.

— Да, — согласилась мама. — Конечно. И как же он, наверное, молит Бога о ниспослании дождя.

МИСТЕР БОТИБОЛ

Мистер Ботибол протолкнулся через вращающуюся дверь и попал в просторное фойе гостиницы. Сняв шляпу и держа ее перед собой обеими руками, он прошел несколько шагов и остановился, выискивая глазами среди обедающих знакомые лица. Несколько людей повернулись и уставились на него в легком недоумении, и он услышал — или ему показалось, что он услышал, — как какой-то женский голос произнес: «Милочка, ты только посмотри, что к нам пришло!»

В конце концов он увидел мистера Клементса, сидевшего в дальнем углу за маленьким столиком, и радостно направился к нему. Клементс это заметил и теперь, глядя, как мистер Ботибол осторожно пробирается между людьми и столиками едва ли не на цыпочках, по-прежнему держа обеими руками перед собою шляпу, не мог не подумать, какой это ужас — быть таким заметным и странным, как этот Ботибол. Этот человек был поразительно похож на спаржу. Его длинный тонкий стебель словно совсем не имел плеч и как-то истончался к верхней оконечности, становясь все уже и уже, пока не завершался маленькой лысой головкой. Он был туго завернут в синий двубортный костюм, что почему-то усиливало его сходство с неким растением до совсем уже гротескных масштабов.

Клементс встал, и они пожали друг другу руки, и тут же, к его полному изумлению, даже не успев сесть за столик, мистер Ботибол сказал:

— Я решил, да, я точно решил принять ваше вчерашнее предложение.

Уже несколько дней Клементс старался устроить для своих клиентов покупку фирмы «Ботибол и К°», полностью принадлежавшей мистеру Ботиболу, и как раз предыдущим вечером он сделал первое предложение. Предложенная цена была явно заниженной,

и все это было скорее осторожное прощупывание, вроде как сигнал продавцу, что покупатели проявляют серьезный интерес. Господи, подумал Клементс, а этот несчастный придурок возьми да и согласись. Он несколько раз с серьезнейшим видом кивнул, стараясь не обнаружить свое изумление, а затем сказал:

— Хорошо, очень хорошо, я рад это услышать. — И тут же подал знак официанту. — Два больших мартини.

— Нет-нет, спасибо, — в испуге вскинул руки мистер Ботибол.

— Да бросьте вы, — отмахнулся Клементс. — Для такого-то случая.

— Я пью очень мало и никогда, абсолютно никогда не пью среди дня.

Но Клементс пришел в веселое настроение и словно не слышал его протестов. Он заказал два мартини, и, когда официант их принес, его жизнерадостный треп буквально вынудил мистера Ботибола выпить за только что заключенную сделку. Клементс упомянул о необходимости подписать документы, а когда с этим было покончено, заказал еще два коктейля. Мистер Ботибол снова протестовал, но уже не так активно, и Клементс, получив заказ, повернулся к нему с дружелюбной улыбкой.

— Ну что ж, — сказал он, — мистер Ботибол, с этим вроде бы и покончено. Я предлагаю вам расслабиться и спокойно со вкусом пообедать. Ну что вы на это скажете? Расходы, конечно же, на мне.

— Как вам угодно, — сказал Ботибол без всякого энтузиазма.

У него был тихий печальный голос и странная манера произносить все слова по отдельности, словно объясняя что-то ребенку.

Когда они перешли в ресторан, Клементс заказал бутылку лафита 1912 года и пару пухленьких жареных куропаток. Он уже прикинул в уме размеры своей комиссии и чувствовал себя великолепно. Он начал с легкой светской беседы, непринужденно переходя от темы к теме в надежде наткнуться на что-нибудь, интересующее его гостя. Но — безуспешно. Мистер Ботибол слушал разве что вполуха; время от времени он наклонял свою лысую голову то в одну, то в другую сторону и говорил: «Подумать только». Когда на столе появилось вино, Клементс попытался говорить о нем.

— Я не сомневаюсь, что оно великолепно, — сказал мистер Ботибол, — но налейте мне, пожалуйста, буквально капельку.

Клементс стал рассказывать анекдот. После того как анекдот закончился, мистер Ботибол несколько секунд с серьезнейшим видом созерцал Клементса, а затем констатировал:

— Очень смешно.

Дальше они ели молча. Мистер Ботибол исправно пил вино и ничуть не возражал, когда хозяин раз за разом доливал его бокал. К моменту, когда они кончили есть, по оценке Клементса, его гость оприходовал по меньшей мере три четверти бутылки.

— Сигару, мистер Ботибол?

— Нет-нет, спасибо.

— Капельку бренди?

— Нет-нет, не стоит. Я не привык...

Клементс заметил, что лицо его гостя чуть покраснелось, глаза увлажнились и стали блестящими. Напою-ка я парня, подумал он и приказал официанту:

— Два бренди.

Когда официант поставил перед ними бренди, мистер Ботибол какое-то время взирал на большой фужер с подозрением, а затем взял его, сделал крошечный, воробьиный глоток и снова поставил на стол.

— Ох, мистер Клементс, — сказал он неожиданно, — как же я вам завидую.

— Мне? Почему?

— Я скажу вам, мистер Клементс, обязательно скажу, если только наберусь храбрости.

В его голосе было что-то нервное, мышинное, казалось, что он извиняется за каждое слово.

— Так расскажите, пожалуйста, — попросил Клементс.

— Потому, что, как мне кажется, вам во всем сопутствует успех.

Он напился до черной меланхолии, подумал Клементс. Он один из тех, кто, напившись, впадает в меланхолию, а я этого не терплю.

— Успех, — сказал он задумчиво. — Я не вижу в себе ничего такого уж успешного.

— Но он же есть, этот успех, конечно есть. Вся ваша жизнь, если так сказать, это нечто приятное и успешное.

— Я самый обычный человек, — возразил Клементс.

Он пытался сообразить, насколько пьян его гость.

— Я думаю, — начал мистер Ботибол, говоря очень медленно и с расстановкой, — я думаю, что вино слегка ударило мне в го-

лову, и все же... — Он сделал паузу, подыскивая слова. — И все же мне хотелось задать вам вопрос.

Он высыпал соль из солонки на скатерть и теперь кончиком пальца собирал ее в горку.

— Мистер Клементс, — сказал он, не поднимая глаз, — как вы думаете, возможно такое, чтобы человек дожился до пятидесяти двух лет и ни разу за всю свою жизнь не имел ни малейшего успеха, чем бы он ни занимался?

— Дражайший мистер Ботибол, — рассмеялся Клементс, — у каждого человека случаются время от времени маленькие успехи, ну пусть самые малюсенькие.

— О нет, — мягко возразил Ботибол. — Тут вы абсолютно не правы. Я, к примеру, не могу припомнить ни единого успеха за всю свою жизнь.

— Да бросьте вы, — улыбнулся Клементс. — Это не может быть правдой. Да вот только сейчас вы продали свой бизнес за сотню тысяч. Я бы назвал это большим успехом.

— Этот бизнес был оставлен мне отцом. Девять лет назад, когда он умер, бизнес стоил в четыре раза больше. Под моим управлением он потерял три четверти своей цены. Сомневаюсь, чтобы это был успех.

Клементс знал, что все это правда.

— Да-да, конечно, — согласился он. — Но все равно на долю каждого из живущих достаются какие-то успехи. Может быть, и не большие, но зато куча мелких. Кой черт, да забить на школьном стадионе гол — это тоже успех, это маленький триумф. Или научиться плавать. Просто это потом забывается, но ведь было же, если подумать.

— Я в жизни не забил ни единого гола, — сказал Ботибол. — И я до сих пор не умею плавать.

Клементс раздраженно фыркнул и вскинул руки:

— Да, конечно, может быть, и так, но неужели вы не видите вокруг тысячи, буквально тысячи прочих радостей и занятий — ну, скажем, поймать крупную рыбу, починить мотор автомобиля, доставить кому-нибудь радость подарком, или вырастить грядку фасоли, или выиграть немного на бегах, или... кой черт, перечислять можно до вечера.

— Вам, мистер Клементс, может быть, и можно, но я-то никогда не делал ничего подобного. И это именно то, что я хочу вам сказать.

Клементс отставил фужер и с новым интересом взгляделся в своего странного бесплечего собеседника. В нем закипало раздражение, без малейшей примеси сочувствия. Этот человек не вызывал никакого сочувствия. Идиот, иначе не скажешь. Несомненный идиот. Кошмарный, стопроцентный идиот. Клементс испытал неожиданное желание смутить его как только возможно.

— А как насчет женщин, мистер Ботибол?

В его голосе не слышалось извинения за такой вопрос.

— Женщин?

— Да, женщин! Каждый жилец этого мира, даже самый жалкий опустившийся бродяга имел в тот или иной момент тот или иной дурацкий успех...

— Никогда! — вскинулся мистер Ботибол. — Нет, сэр, никогда!

Сейчас я его ударю, сказал себе Клементс. Мне этого больше не выдержать, и если я не буду держать себя в руках, то вскочу и ударю его в нос.

— Вы хотите сказать, что они вам не нравятся? — спросил он у мистера Ботибола.

— Господи, да конечно же нравятся. Правду говоря, я ими очень восхищаюсь, очень восхищаюсь. Но к огромному сожалению... Господи, я даже не знаю, как это сказать... К сожалению, я не слишком умею с ними ладить. И никогда не умел. Никогда. Понимаете, мистер Клементс, я выгляжу довольно странно. Я знаю, что я странно выгляжу. Они глядят на меня, и я иногда замечаю, что они надо мной смеются. Я никогда не мог сблизиться с ними на дистанцию... так сказать, прямого удара.

В уголке его рта мелькнула слабая тень печальной улыбки. С Клементса было достаточно. Он пробормотал какую-то глупость насчет того, что мистер Ботибол, конечно же, все преувеличивает, затем взглянул на часы и затребовал счет — хочешь не хочешь, но пора возвращаться в офис.

Они расстались на улице перед гостиницей, мистер Ботибол поймал такси и вернулся домой. Он открыл парадную дверь, прошел в гостиную, включил приемник, уселся в большое кожаное кресло и прикрыл глаза. Он не то чтобы чувствовал себя пьяным, но в ушах у него звенело, а мысли приходили и исчезали быстрее обычного. Слишком много выпито вина, сказал он себе. Я посижу тут, послушаю музыку и, наверное, усну, и мне наверняка будет лучше.

По радио передавали симфоническую музыку. Мистер Ботибол часто ходил на концерты и без труда узнал одну из бетховенских симфоний. Но теперь, когда он полулежал в своем кресле и слушал эти волшебные звуки, в его нетрезвом мозгу зашевелилась некая идея. Это не было сном, потому что он не спал. Это была ясная, сознательная мысль, и она состояла в следующем: создатель этой музыки — я. Я великий композитор. Это премьерное исполнение моей новой симфонии. Огромный зал битком набит народом — критики, музыканты и просто любители музыки съехались сюда со всей страны, — а я стою пред оркестром и дирижирую.

Мистер Ботибол буквально видел, как это происходит. Он стоял на подиуме во фраке, а перед ним располагался оркестр: скрипки слева, виолончели впереди, альты справа, а за ними — духовые, фаготы, тарелки и барабаны. Музыканты следят за каждым движением его палочки с огромным, почти фанатичным почтением. А сзади, в полутьме огромного зала, ряд за рядом восхищенных лиц. Все взгляды устремлены на него, все с нарастающим восторгом слушают, как перед ними величаво разворачивается новая симфония величайшего в истории композитора. Кто-то из слушателей сжимает кулаки, так что ногти впиваются в ладони, — эта музыка настолько прекрасна, что они с трудом ее выдерживают. Эта сцена настолько захватила мистера Ботибола, что он начал в такт музыке размахивать руками, как это делает дирижер. И это так ему понравилось, что он решил встать и повернуться лицом к приемнику, чтобы иметь больше свободы в движениях.

Он стоял посреди комнаты, высокий, тощий и бесплечий, одетый в тесный синий двубортный костюм, и размахивал руками, его маленькая лысая головка дергалась из стороны в сторону. Он знал эту симфонию достаточно хорошо, чтобы заранее предвидеть изменения в темпе и громкости; когда музыка становилась особенно громкой и быстрой, он махал руками так энергично, что чуть не терял равновесие, когда же она звучала приглушенно, он наклонялся вперед, чтобы успокоить оркестрантов мягкими движениями вытянутых рук, и все это время, буквально все это время он чувствовал за спиной огромную аудиторию, напряженно застывшую, зачарованную музыкой. Когда симфония стала подходить к своему громкоподобному завершению, мистер Ботибол возбудился больше, чем когда-либо прежде, его лицо исказилось в мучительной по-

пытке заставить оркестр вложить как можно больше в эти мощные финальные аккорды.

Затем все кончилось. Диктор что-то там говорил, но мистер Ботибол торопливо выключил приемник и обвис в своем кресле, стараясь отдышаться.

— Фу! — громко выдохнул он. — Господи Иисусе, да что же такое я делал!

По его голове и лицу катились капельки пота, они забирались под воротник и щекотали ему шею. Мистер Ботибол достал носовой платок, вытер пот и несколько минут лежал, стараясь отдышаться, совершенно вымотанный, но при том радостно возбужденный.

— Да, скажу я вам, — сказал он вслух, — вот это было удовольствие. Такого удовольствия я не испытывал еще ни разу в жизни. Это было просто здорово, действительно здорово!

Почти сразу он начал думать, а не сделать ли так еще раз. Только стоит ли? Может ли он позволить себе повторить этот опыт? Теперь, успокоившись и глядя назад, он ощущал за собою какую-то вину и начал подозревать во всем этом что-то глубоко аморальное. Позволить себе такое поведение! Вообразить себя гениальным композитором! Нет, это не лезло ни в какие ворота. Он был уверен, что другие люди такого не делают. А если бы Мейсон случайно зашел и застал его за этим занятием! Это был бы кошмар!

Он взял со стола газету и сделал вид, что читает, но вскоре оказалось, что глаз его скользит по программе радио на вечер. Он наткнулся на строчку «8:30. Симфонический концерт. Брамс, Симфония № 2». Ботибол смотрел на нее и смотрел. Буквы слова «Брамс» стали тускнеть и расплываться, а затем исчезли совсем, сменившись буквами «Ботибол». «Ботибол, Симфония № 2». Так прямо и было напечатано. Ботибол прочитал строчку еще раз.

— Да, — прошептал он. — Премьерное исполнение. Мир застыл, нетерпеливо ждет. Это будет великое творение, все гадают, не будет ли оно еще значительнее его предыдущих работ. И как хорошо, что сам композитор будет дирижировать, что его сумели уговорить. Он очень стеснительный, нелюдимый, почти не выходит на публику, но сегодня его убедили...

Мистер Ботибол чуть наклонился и надавил кнопку звонка. В дверях появился маленький, старый и очень серьезный дворецкий Мейсон, единственный, кроме Ботибола, обитатель дома.

— Э-э-э... Мейсон, у нас есть какое-нибудь вино?

— Вино, сэр?

— Да, вино.

— О нет, сэр. У нас нет ни капли вина уже пятнадцать, даже шестнадцать лет. Ваш отец, сэр...

— Знаю, Мейсон, знаю, но все-таки хочется немного себя побаловать. Я хотел бы бутылку к ужину.

Дворецкий был глубоко потрясен.

— Прекрасно, сэр. Но какое именно?

— Кларет, Мейсон. Лучший, какой вы сможете купить. И берите сразу целый ящик. Велите им прислать незамедлительно.

Оставшись снова в одиночестве, он на секунду поразился простотой, с какой было принято это решение. Вино на ужин! Вот просто взял и сказал! А почему бы, собственно, и нет? Почему бы и не сейчас? Ведь он же сам себе господин. Да и вообще, нужно иметь вино в доме. Оно действует очень благоприятно. Он захотел вина, и он получит вино, и к чертовой матери Мейсона.

Он посвятил остаток вечера отдыху, а в половине восьмого Мейсон объявил ужин. На столе стояла бутылка вина, и он тут же за нее взялся. Ему было все равно, что там думает Мейсон, наблюдая, как он раз за разом доликает бокал. Он сделал это три раза, а затем встал из-за стола, сказал, чтобы его не беспокоили, и прошел в гостиную. Ждать оставалось еще четверть часа. Он не мог уже думать ни о чем, кроме предстоящего концерта, и, откинувшись на спинку кресла, позволил себе блаженно предвкушать, что будет в половине девятого. Он был великим композитором, напряженно ждавшим в артистической уборной консерватории. До него доносилось возбужденное бормотание, публика рассаживалась по местам. Он знал, о чем они там говорят. О том, что не сходило с первых полос газет уже несколько месяцев. Ботибол — гений, далеко превосходящий Бетховена и Баха, Брамса и Моцарта, да и кого угодно. Каждый его новый опус великолепнее предыдущего. Чем же таким станет эта симфония? Никто еще этого не знает, ожидания просто нестерпимы. Да, совершенно понятно, что они там говорят. Ботибол встал и начал мерить гостиную шагами. Время почти уже наступило. Он схватил со стола карандаш, чтобы использовать его как палочку, а затем включил радио. Ведущий как раз завершил вступительную беседу, раздался взрыв аплодисментов — дирижер занял свое место. Если предыдущий концерт был граммофонной записью, то здесь шла прямая трансляция. Мистер Ботибол повернулся лицом к ка-

мину и изящно, от пояса, поклонился. Затем вновь повернулся к приемнику и поднял палочку. Аплодисменты сразу умолкли, наступила пауза. Кто-то из зрителей откашлялся. Мистер Ботибол ждал. Симфония началась.

И снова, как только начал дирижировать, он ясно увидел перед собой лица оркестрантов и даже выражения этих лиц. Трое скрипачей были совсем седыми. Один из виолончелистов был очень толстый, а на другом были тяжелые очки в коричневой оправе. У валторниста из второго ряда щека подергивалась от тика. Но все они были великолепны. Как и музыка. В некоторых особо впечатляющих местах мистер Ботибол испытывал такое возбуждение, что даже вскрикивал от восторга, а в какой-то момент третьей части экстатическая дрожь, возникшая где-то в солнечном сплетении, липкими иголками расплзлась по коже его живота. Но лучше всего были громоподобные аплодисменты, обрушившиеся в конце. Ботибол повернулся к камину и поклонился. Аплодисменты не стихали, и он продолжал кланяться, пока зал не утих окончательно и голос ведущего не вырвал мистера Ботибола из сказки в будничном мире гостиной, смертельно уставшего, но счастливого.

Лежа в кресле, улыбаясь от счастья, вытирая взмокшее лицо и пытаясь отдышаться, он уже строил планы следующего концерта. Почему бы не сделать все толком, на серьезной основе? Превратить одну из комнат в некое подобие концертного зала со сценой и рядами стульев. И поставить проигрыватель, чтобы репертуар не зависел от радиопрограммы. Да, так он и сделает!

На следующее утро мистер Ботибол поручил одной из дизайнерских фирм переоборудовать самую большую комнату в некое подобие концертного зала. В одном конце было возвышение, а основную площадь зала занимали ряды красных плюшевых кресел. «Я буду устраивать здесь небольшие концерты», — объяснил он представителю фирмы, а тот кивнул и сказал, что это будет очень мило. Одновременно он заказал радиомагазину установку двух очень дорогих проигрывателей с автоматической сменой пластинок и двух мощных усилителей: один, чтобы стоял на сцене, а второй — в глубине зала. Покончив с этим, он купил все девять симфоний Бетховена и заказал в мастерской, специализировавшейся на записи различных шумов, аплодисменты восторженных слушателей. В довершение всего он купил дирижерскую палоч-

ку — изящный стержень из слоновой кости, лежавший в специальном ящичке на синей шелковой подушке.

Через восемь дней зал был готов. Все здесь было, как и задумывалось: красные кресла, проход посередине и даже маленький подиум у сцены, огороженный латунными перилами.

В семь часов вечера он сходил в спальню и переоделся во фрак. Он чувствовал себя просто великолепно. Когда он смотрел на себя в зеркало, зрелище гротескной бесплечей фигуры ничуть его не тревожило. Великий композитор, думал он с беспечной улыбкой, может выглядеть так, как ему хочется. Люди и ожидают, чтобы он выглядел несколько необычно. Впрочем, он был бы не прочь иметь на голове какие-нибудь волосы. И даже не какие-нибудь, а довольно длинные. Он спустился к ужину, быстро поел, выпил полбутылки вина и почувствовал себя еще лучше.

— И не надо, Мейсон, обо мне беспокоиться, — сказал он дворецкому. — Я ничуть не сошел с ума, а просто наслаждаюсь жизнью.

— Да, сэр.

— Сегодня вы мне больше не понадобятся. Проследите, пожалуйста, чтобы меня не тревожили.

Мистер Ботибол прошел из гостиной в миниатюрный концертный зал. Он взял пластинки Первой симфонии Бетховена, однако, перед тем как поставить их на проигрыватель, поставил две другие. Одна, которая шла первой, до начала музыки, имела этикетку «Длительные бурные аплодисменты». Вторая, шедшая по завершении симфонии, имела надпись длиннее: «Длительные аплодисменты, топот, крики „бис“ и „браво“». При помощи небольшого механического приспособления к сбрасывателю пластинок люди из радиомагазина устроили так, что звуки с первой и последней пластинок — аплодисменты — должны были идти только из зала. Все остальное — музыка — должно было идти из динамика, спрятанного среди стульев оркестра. Поставив пластинку на проигрыватель, он не стал его тут же включать, а сперва выключил в зале весь свет, кроме маленькой лампы, освещавшей дирижерский пюпитр, а потом сел в стоявшее на сцене кресло, прикрыв глаза, и отпустил свои мысли в свободный полет по знакомым блаженным пространствам: великий композитор, беспокойный и нервный, с нетерпением ждущий возможности представить публике свой последний

шедевр; зал постепенно заполняется, возбужденное бормотание публики и так далее. Привея себя в настроение, соответствующее роли, мистер Ботибол взял дирижерскую палочку и включил проигрыватель.

Зал взорвался громкими аплодисментами. Мистер Ботибол пересек сцену, поднялся на подиум, повернулся лицом к залу и поклонился. В темноте он смутно различал контуры кресел по сторонам центрального прохода, но не видел лиц людей, впрочем шума они производили более чем достаточно. Потрясающая овация! Мистер Ботибол повернулся лицом к оркестру. Аплодисменты, гремевшие у него за спиной, тут же стихли. На проигрыватель легла следующая пластинка. Симфония началась.

На этот раз все прошло еще лучше, и за время исполнения его несколько раз начинало покалывать где-то в области солнечного сплетения. Однажды, когда ему вдруг показалось, что концерт транслируется по всему миру, вдоль его позвоночника пробежало нечто вроде зябкой дрожи. Но самым потрясающим были аплодисменты, обрушившиеся в конце. Слушатели аплодировали в такт и топали ногами, они кричали «бис! бис! бис!». А он, повернувшись к полутемному залу, с серьезным лицом раскланивался налево и направо. Затем быстро ушел со сцены, но его вызвали снова. Несколько раз еще он раскланивался и уходил, но его опять вызывали. Зал словно взбесился, его просто не хотели отпускать. Это было потрясающе. Это были воистину потрясающие овации.

Потом он отдыхал в своем кресле и наново все переживал. Он прикрыл глаза, не желая, чтобы что-нибудь нарушало это волшебство. Он лежал и словно парил в воздухе. Чувство парения было воистину волшебным; когда он прошел наверх, разделся и лег, оно так с ним и осталось.

Следующим вечером он дирижировал бетховенской, вернее, ботиболовской Второй симфонией, и слушатели бесились не меньше, чем после Первой. Так он исполнял по симфонии в вечер и к концу девятого вечера завершил последнюю из них. С каждым разом это становилось все более потрясающе, потому что перед каждым концертом слушатели говорили: «Нет, он не даст нам нового шедевра, это выше человеческих возможностей». И каждый раз они ошибались. Все его симфонии были равно великолепны. Последняя из них, Девятая, была особенно потрясающей, потому что композитор, ко всеобщему восторгу, неожиданно вставил в конец

хорал. Ему нужно было дирижировать, кроме оркестра, огромным хором; для исполнения партии тенора из Италии прилетел Бенджамино Джильи. Басовую партию пел Энрико Пинса. Слушатели кричали с таким энтузиазмом, что многие сорвали себе голоса. Весь музыкальный мир был у его ног; они говорили, никогда не угадаешь, каких еще чудес можно ждать от этого потрясающего человека.

Сочинить и исполнить девять великих симфоний в девять дней — огромное достижение, с какой стороны ни посмотри, так что мало удивительного, что слава ударила мистери Ботиболу в голову. Он решил еще раз поразить публику. Да, он сочинит уйму прекрасной фортепьянной музыки и сам же ее исполнит. Так что на следующее утро он отправился в салон, где торговали «Бехштейнами» и «Стейнвейями». Он чувствовал себя настолько бодрым, что дошел до салона пешком, напевая по дороге себе под нос обрывки новых прелестных мелодий. Его голова почти разрывалась от этих звуков. Они все прибывали и прибывали, и в какой-то момент он вдруг ощутил, как тысячи крошечных нотных знаков, черных и белых, сыплются к нему в голову через некое подобие люка и его удивительный музыкальный мозг распутывает их и выстраивает в стройные ряды чудесных мелодий. Там были ноктюрны, там были этюды, там были вальсы, и скоро, говорил он себе, очень скоро он представит их благодарному и восхищенному миру.

Дойдя до салона, он широко распахнул его дверь и уверенно вошел. За эти последние дни он сильно переменялся. Его покинула большая часть прежней нервозности, и его уже почти не интересовало, что думают окружающие о его внешнем виде.

— Мне нужен, — сказал он продавцу, — концертный рояль. Только нужно устроить так, чтобы удары по клавишам были беззвучными.

Продавец чуть подался вперед и вопросительно вскинул брови.

— Так можно такое устроить? — спросил Ботибол.

— Да, сэр, думаю, что можно, если вы того желаете. Но не могу ли я поинтересоваться, как вы будете использовать такой инструмент?

— Если вам так уж интересно, я собираюсь притвориться Шопеном. Я сяду за рояль и стану играть, а музыка будет из проигрывателя. Это у меня такой способ развлекаться.

Прямо так и было сказано, и мистер Ботибол не понимал, какой черт его дернул за язык. Но что сделано, то сделано, и он даже испытал некое облегчение, убедившись, что не так уж и трудно рассказать постороннему, чем он занимается. Может, тот скажет, что это прекрасная идея. А может, и не скажет. Возможно, он даже скажет, что таких следует помещать в психушку.

— Так что теперь вы все знаете, — подытожил мистер Ботибол.

— Ха-ха! Ха-ха-ха! — расхохотался продавец. — Хорошо вы это сказали, сэр, очень хорошо. Отучит меня задавать глупые вопросы. — Он споткнулся посередине хохота и пристально взглянул на мистера Ботибола. — Конечно же, сэр, вы, наверное, знаете, что у нас есть в продаже простейшие клавиатуры для беззвучных упражнений.

— Я хочу концертный рояль, — твердо сказал мистер Ботибол.

Продавец внимательно на него взглянул, но предпочел промолчать.

Мистер Ботибол выбрал себе рояль и покинул салон со всей возможной поспешностью. Он пошел в магазин, где продавались пластинки, и заказал альбомы с записями всех шопеновских ноктюрнов, этюдов и вальсов в исполнении Артура Рубинштейна.

— Вот уж радость вы себе доставите!

Мистер Ботибол повернулся и увидел рядом с собой плотную коротконогую девушку с на редкость заурядным лицом.

— Да, — согласился Ботибол. — Воистину огромную.

Как правило, он не вступал в беседы с особами женского пола, но эта поймала его врасплох.

— Я люблю Шопена, — сказала девушка. У нее в руке был тонкий мешок из коричневой бумаги с веревочными ручками, содержащий только что купленную пластинку. — Я люблю его больше всех остальных.

Слышать голос этой девушки было очень приятно, особенно после хохота того продавца; мистеру Ботиболу хотелось с ней поговорить, но он не знал — о чем.

— Больше всего я люблю ноктюрны, — сказала девушка. — Они просто завораживают. А вам что нравится?

— Ну... — начал мистер Ботибол.

Девушка взглянула на него и улыбнулась, стараясь помочь ему справиться со смущением. Эта улыбка все и решила. Неожиданно для себя мистер Ботибол заговорил:

— Может быть, вы могли бы... я тут думаю... в смысле, я тут подумал... — (Девушка снова улыбнулась, не могла не улыбнуться.) — В смысле, я был бы рад, если бы вы зашли ко мне и послушали что-нибудь из этих пластинок.

— Очень мило с вашей стороны. — Она немного помолчала, задаваясь вопросом, нужно ли соглашаться. — Вы это всерьез?

— Да, я был бы очень рад.

Она прожила в этом городе вполне достаточно, чтобы знать: старики, если они грязные старики, не имеют обыкновения приставать к таким непривлекательным девушкам. Только раз или два за всю ее жизнь к ней приставали на людях, и приставали неизменно пьяные. Но этот человек не был пьяным. Он был нервным, выглядел он своеобразно, но пьянством тут и не пахло. Да и вообще, если разобраться, это она к нему пристала, а не он к ней.

— Прекрасная мысль, — сказала она, — просто прекрасная. Когда я могу зайти?

Ох господи, подумал мистер Ботибол. Ох господи, господи, господи.

— Я могла бы прийти прямо завтра, — продолжила девушка. — Завтра я после обеда свободна.

— Да, конечно, — медленно сказал мистер Ботибол. — Конечно же. Я дам вам свою карточку. Вот она.

— Э. У. Ботибол, — прочитала девушка. — Какая забавная фамилия. А моя фамилия Дарлингтон. Мисс Л. Дарлингтон. Как поживаете, мистер Ботибол? — Она протянула руку для пожатия. — Как я предвкушаю этот визит! Когда мне прийти?

— Когда угодно, — сказал Ботибол. — Пожалуйста, приходите когда угодно.

— В три часа?

— Хорошо, в три часа.

— Прекрасно! Непременно приду.

Он смотрел, как она выходит из магазина, коренастая толстоногая коротышка, и думал: да что же я сделал? Он поражался на себя, однако не был собой недоволен. Почти сразу же он задумался, показывать ли ей концертный зал. И он забеспокоился еще больше, когда осознал, что это единственное в доме место, где есть проигрыватель.

В этот вечер он не давал концерта, а сидел в своем кресле, размышляя о мисс Дарлингтон и как себя вести, когда она придет.

Следующим утром доставили рояль, прекрасный «Бехштейн» темного красного дерева, который принесли сперва без ножек, а потом собрали на сцене концертного зала. Это был весьма импозантный инструмент, и, когда мистер Ботибол открыл крышку и нажал одну из клавиш, не раздалось никакого звука. Первоначально он думал поразить мир исполнением своих первых фортепьянных сочинений — сборника этюдов — сразу, как только рояль доставят, но теперь все планы менялись. Его слишком беспокоили мисс Дарлингтон и три часа. Ко времени ланча его беспокойство настолько усилилось, что он не мог уже есть.

— Мейсон, — сказал он, — я... я жду к трем часам юную леди.

— Вы ждете что, сэр? — переспросил дворецкий.

— Юную леди, Мейсон.

— Хорошо, сэр.

— Проводите ее в гостиную.

— Да, сэр.

Ровно в три часа он услышал звон колокольчика. Секунды спустя Мейсон провел мисс Дарлингтон в гостиную. Она вошла, широко улыбаясь, а мистер Ботибол встал и пожал ей руку.

— Потрясающе! — воскликнула она. — Какой очаровательный дом! Я и не знала, что иду в гости к миллионеру.

Она пристроила свое пухлое тельце в большое кресло, а мистер Ботибол сел напротив. Он не знал, о чем говорить. Он чувствовал себя ужасно. Но говорить сразу же начала она и долго безостановочно щебетала о том и о сем. В основном о его доме, о мебели и коврах, и как это мило он сделал, что пригласил ее. В жизни ее так мало развлечений. Она работает с утра до вечера и живет в одной комнате с двумя другими девушками, и он себе просто не представляет, как это здорово, что он ее пригласил. Мало-помалу мистер Ботибол стал чувствовать себя лучше. Он сидел и слушал девушку, и она ему нравилась. Время от времени он кивал своей лысой головой, и чем больше мисс Дарлингтон говорила, тем больше она ему нравилась. Любой идиот мог понять, что за этой веселой болтливостью кроется одинокое усталое создание. Это было понятно даже мистеру Ботиболу. И чем дальше, тем понятнее. Вот тут-то и пришла ему в голову смелая, рискованная мысль.

— Мисс Дарлингтон, — сказал мистер Ботибол, — мне бы хотелось кое-что вам показать. — Он провел ее из гостиной в свой маленький концертный зал. — Смотрите.

Мисс Дарлингтон остановилась на пороге:

— Господи, вы только посмотрите! Театр! Настоящий маленький театр! — Затем она увидела на сцене рояль и дирижерский подиум с бронзовыми перильцами. — Это же для концертов! У вас действительно бывают здесь концерты? О мистер Ботибол, это просто потрясающе!

— Вам нравится?

— Да, конечно!

— Тогда вернемся в ту комнату, и я вам все про это расскажу. — Ее энтузиазм придал ему уверенности, и он решил идти до конца. — Вернемся в ту комнату, и я расскажу вам нечто забавное.

Когда они снова уселись в гостиной, он тут же начал ей рассказывать. Он рассказал ей все с самого начала — как однажды слушал симфонию, вообразил себя ее автором, как встал и начал дирижировать, как получил от этого огромное удовольствие, и как потом повторил этот эксперимент со сходными результатами, и как в конце концов построил себе концертный зал, где успел уже отдирижировать девятью симфониями. Однако, рассказывая, он немного сжульничал. Он сказал, что единственной причиной, побудившей его к этому, было желание максимально приблизиться к музыке. Есть единственный способ слушать музыку, сказал он ей, единственный способ заставить себя слышать каждую ноту, каждый аккорд. Ты должен делать две вещи одновременно. Ты должен вообразить себя ее сочинителем и в то же самое время вообразить себе, что публика слышит тебя впервые.

— Неужели вы думаете, — спросил он, — неужели вы действительно думаете, что кто-нибудь посторонний может получить от симфонии хотя бы половину того впечатления, как сам композитор, впервые слышащий, как она исполняется полным оркестром?

— Нет, — робко ответила мисс Дарлингтон. — Конечно же нет.

— Тогда станьте композитором! Украдите его музыку! Сделайте ее своей!

Он откинулся в кресле, и она впервые увидела, как он улыбнулся. Ботибол только что придумал это новое и довольно мудреное объяснение того, что он делал, но ему самому оно сразу понравилось, и он улыбнулся.

— Ну, мисс Дарлингтон, что вы об этом думаете?

— Я должна сказать, что это очень, очень интересно.

Она говорила вежливо, выглядела озадаченно и очень плохо его понимала.

— Хотели бы вы сами попробовать?

— О нет. Пожалуйста.

— Жаль, что вы не хотите попробовать.

— Боюсь, я не смогу прочувствовать все это так же, как вы, мистер Ботибол. Вряд ли я обладаю столь сильным воображением. — Она видела по его глазам, что он разочарован, и потому добавила: — Но я бы с радостью посидела в зале и посмотрела, как вы это делаете.

И тут мистер Ботибол вскочил со своего кресла.

— Придумал! — закричал он. — Фортепьянный концерт! Вы играете на рояле, а я дирижирую. Вы — величайший пианист, величайший в мире. Первое исполнение моего фортепьянного Концерта номер один. Вы играете, а я дирижирую. Величайший пианист и величайший композитор впервые сошлись в одном месте. Потрясающее событие! Слушатели сходят с ума! Ночные очереди за билетами. Концерт будет транслироваться по всему миру. Это будет... — Мистер Ботибол умолк; он стоял за своим креслом, держась руками за спинку, и как-то вдруг сразу смутился. — Извините, меня что-то занесло. Видите, как это бывает. Одна уже мысль о новом концерте заставляет меня возбудиться. Так скажите, мисс Дарлингтон, — добавил он умоляющим голосом, — вы сыграете со мной фортепьянный концерт?

— Ну прямо как дети, — сказала мисс Дарлингтон, но все же улыбнулась.

— Никто ничего не узнает. Никто, кроме нас, не будет об этом знать.

— Хорошо, — сказала она, чуть подумав. — Я согласна. Думаю, я немного свихнулась, но все равно я согласна. Это будет такая шутка.

— Прекрасно! — воскликнул мистер Ботибол. — Когда? Сегодня?

— Ну, я не знаю...

— Да, — с жаром сказал мистер Ботибол. — Пожалуйста. Пусть это будет сегодня. Приходите еще раз попозже, мы вместе поужинаем, а затем устроим концерт. — Было видно, что мистер Ботибол снова возбудился. — Нужно кое-что заранее спланировать. Мисс Дарлингтон, какой у вас любимый фортепьянный концерт?

— Ну, я сказала бы — бетховенский Императорский.

— Значит, Императорский это и будет. Сегодня вы его играете. Приходите на ужин к семи. Вечернее платье. На концерт всегда ходят в вечернем платье.

— У меня есть платье для танцев, но я его не надевала уже несколько лет.

— Вот сегодня вы его и наденете. — Он умолк и мягко спросил: — Мисс Дарлингтон, вы не слишком обеспокоены? Может, вам лучше этого не делать? Я боюсь, что меня снова занесет. Похоже, я вас на это толкаю. И я знаю, все это должно вам казаться огромной глупостью.

Вот так уже лучше, подумала мисс Дарлингтон, значительно лучше. Теперь я понимаю, что все будет нормально.

— Нет-нет, — сказала она. — Но вы меня немного напугали тем, что относитесь к этому слишком серьезно.

Когда она ушла, мистер Ботибол подождал минут пять, а затем пошел в пластиночный магазин и купил записи Императорского концерта. Дирижер Тосканини, играет Горовиц. Он тут же вернулся домой, сообщил пораженному дворецкому, что к ужину ожидается гостя, прошел наверх и переоделся во фрак.

Мисс Дарлингтон пришла ровно в семь. На ней было длинное платье без рукавов из какой-то блестящей зеленой материи, и мистеру Ботиболу она показалась не такой уже пухлой простушкой, как прежде. Он провел ее прямо в столовую, и, несмотря на молчаливое неодобрение Мейсона, ужин прошел вполне удачно. Она весело протестовала, когда мистер Ботибол налил ей второй бокал вина, однако не стала отказываться наотрез. На протяжении всех трех блюд она весело щебетала, а мистер Ботибол слушал, кивал ей и подливал в бокал, как только тот опорожнялся наполовину.

Потом, когда они сели в гостиной, мистер Ботибол сказал:

— Мисс Дарлингтон, нам пора входить в свои роли. — Как и обычно, вино привело его в благодушное настроение, да и девушка, еще менее привычная к вину, чем он, чувствовала себя совсем неплохо. — Мисс Дарлингтон, вы — великий пианист. Как ваше имя, мисс Дарлингтон?

— Люсиль.

— Великая пианистка Люсиль Дарлингтон. Я — композитор Ботибол. Мы должны говорить, действовать и думать так, словно мы пианистка и композитор.

— А как звать вас, мистер Ботибол? Что обозначает инициал «Э.»?

— Эйнджел¹.

— Да нет, не может быть.

— Не нет, а да, — раздраженно сказал мистер Ботибол.

— Эйнджел Ботибол, — пробормотала мисс Дарлингтон и начала хихикать, но тут же одернула себя и сказала: — Мне кажется, это весьма необычное и примечательное имя.

— Мисс Дарлингтон, вы готовы?

— Да.

Мистер Ботибол встал и начал нервно расхаживать по комнате. Затем он взглянул на свои часы.

— Уже почти девять, — сказал он. — Мне сказали, что зал набит битком. Нет ни одного свободного места. Я всегда перед концертом нервничаю. А вы, мисс Дарлингтон, вы нервничаете?

— Да, конечно, особенно когда выступаю с вами.

— Я думаю, слушателям понравится. Я вложил в этот концерт буквально всего себя. Сочинение едва меня не убило. Я болел потом несколько недель.

— Бедняжка, — сказала мисс Дарлингтон.

— Ну, теперь пора, — сказал мистер Ботибол. — Оркестранты все уже по местам, пойдем и мы.

Он провел ее по коридору, заставил задержаться перед дверью, пока сам он проскользнул внутрь, включил свет и проигрыватель. Затем он вернулся за ней, они вместе вышли на сцену, и раздались аплодисменты. Они стояли и кланялись темному залу, а аплодисменты никак не смолкали. Затем мистер Ботибол поднялся на подиум, а мисс Дарлингтон села за фортепьяно. Аплодисменты наконец утихли. Мистер Ботибол поднял палочку. Следующая пластинка легла на место, и зазвучал Императорский концерт.

Это было нечто потрясающее. Тонкий как тростинка, без малейшего следа плеч, мистер Ботибол стоял на подиуме в парадном фраке и размахивал руками приблизительно в такт музыке; пухлая мисс Дарлингтон, в блестящем зеленом платье, сидела за клавиатурой огромного рояля и что есть силы барабанила обеими руками по немым клавишам. Она замечала те эпизоды, где рояль не участвовал, и в таких случаях чопорно складывала руки на ко-

¹ Angel — то есть «ангел». У англичан редко, но встречается такое имя.

лени и смотрела отрешенно вперед. Мистер Ботибол подумал, что она особенно великолепна в медленных пассажах второй части. Ее руки мягко скользили вверх и вниз по клавиатуре, она наклоняла голову то в одну, то в другую сторону, а однажды, продолжая играть, совсем прикрыла глаза. Дирижируя бурной последней частью, мистер Ботибол утратил равновесие и упал бы с подиума, не успей он схватиться за латунные перила. Но как бы то ни было, концерт царственно приближался к своему мощному завершению. А затем раздались аплодисменты. Мистер Ботибол прошел назад, взял мисс Дарлингтон за руку и подвел ее к краю сцены; они стояли и кланялись, кланялись, кланялись под громкое хлопанье и крики «бис» и «браво». Четырежды они покидали сцену и четырежды возвращались, а затем, в пятый раз, мистер Ботибол прошептал:

— Это они вас вызывают. Выйдите к ним одна.

— Нет, — сказала мисс Дарлингтон, — это вас. Пожалуйста.

Но он вытолкнул ее вперед, она вышла и раскланялась, а затем вернулась и сказала:

— Теперь вы. Это вас они вызывают. Вы разве не слышите, что они кричат?

Тогда мистер Ботибол уже один подошел к краю сцены, сдержанно поклонился направо, налево и в центр и вернулся как раз в тот момент, когда аплодисменты стихли.

Они тут же вернулись в гостиную. Он учащенно дышал, по лицу его стекали струйки пота. Она тоже немного задыхалась, ее щеки стали пунцово-розовыми.

— Потрясающее исполнение, мисс Дарлингтон. Примите мои поздравления.

— Но это же ваш концерт, мистер Ботибол! И какой великолепный концерт!

— Вы играли его просто изумительно, мисс Дарлингтон. Вы по-настоящему чувствуете музыку. — Он обтер лицо от пота носовым платком. — А завтра у нас мой Второй концерт.

— Завтра?

— Конечно же. Вы что, забыли, мисс Дарлингтон? У нас распланирована вся будущая неделя.

— О... о да... Боюсь, я действительно это забыла.

— Но вас ничего не беспокоит? — озабоченно спросил мистер Ботибол. — После сегодняшнего исполнения я не могу и помыслить, чтобы мою музыку играл кто-нибудь другой.

— Нет, ничто меня не беспокоит, — сказала мисс Дарлингтон. — И я думаю, все будет нормально. — Она вдруг заметила стоявшие на камине часы. — Мамочки, я и не думала, что уже так поздно! Мне нужно сейчас же бежать! Иначе я утром просто не встану на работу!

— На работу? — удивился мистер Ботибол. — На работу? — Затем он медленно, неохотно заставил себя вернуться к реальности. — Да, конечно, на работу. Конечно же, вам нужно идти на работу.

— Конечно же нужно.

— А где вы работаете, мисс Дарлингтон?

— Я? Ну... — Она на секунду замялась и взглянула на мистера Ботибола. — Я учу детей в школе.

— Надеюсь, это приятная работа. И чему же вы их там учите?

— Я учу их играть на рояле.

Мистер Ботибол высоко подскочил, словно кто-то уколол его сзади булавкой; его рот широко распахнулся.

— Да нет, все в полном порядке, — улыбнулась мисс Дарлингтон. — Я всегда мечтала быть Горовицем. Как вы думаете, не могла бы я завтра быть Шнабелем?

КОРПОРАЦИЯ «И АЗ ВОЗДАМ»

Когда я проснулся, густо шел снег.

Я знал, что идет снег, потому что в комнате было как-то по-странному светло и с улицы не доносилось ни звуков шагов, ни шелеста автомобильных покрышек, а только рычание моторов. Я вскинул глаза и увидел около окна Джорджа, в его зеленом халате; он склонился над парафиновой плиткой, заваривая, видимо, кофе.

— Снег идет, — сказал я.

— Холодно, — откликнулся Джордж. — Жуткая холодрыга.

Я встал с постели и вытащил из-под двери утреннюю газету. И вправду было очень холодно, так что я быстро прошлепал назад и снова лег под одеяло, грея мгновенно простывшие пальцы в самом теплом месте — в паху.

— Писем нет? — спросил, не оборачиваясь, Джордж.

— Нет, нет никаких писем.

— Что-то старик не спешит раскошелиться.

— А может, он думает, что четыре с половиной сотни достаточно на месяц.

— Он никогда не был в Нью-Йорке. Он даже не подозревает, какая здесь дорогая жизнь.

— Вольно ж тебе было потратить все за одну неделю.

Джордж распрямился и взглянул на меня:

— Ты имеешь в виду, вольно было *нам* потратить.

— Верно, — согласился я. — Нам.

Я развернул газету.

Кофе уже заварился, Джордж принес кофейник и поставил его на столик между нашими кроватями.

— Человек не может жить без денег, — заметил он рассудительно. — Старику следовало бы об этом знать.

Он нырнул в свою постель, не снимая халата. Я продолжал читать. Покончив с беговой страницей и футбольной страницей, я взялся за Лайонела Панталуна, великого политического и светско-

го колумниста. Я всегда читаю Панталуна — как и двадцать или тридцать миллионов других американцев. Он вошел у меня в привычку, он более чем привычка, он непременная часть моего утра, как три чашки кофе или бритве.

— Вот же нахалюга, — заметил я.

— Кто?

— Этот Лайонел Панталун.

— Что он там еще пишет?

— Да то же, что и всегда. Те же самые скандалы. И всегда про богатеньких. Вот послушай: «...замечен в клубе „Пингвин“... банкир Уильям С. Вумберг с очаровательной старлеткой Терезой Уильямс... три вечера подряд... миссис Вумберг слегла с головной болью... так было бы, пожалуй, с любой женой, чей муженек стал бы таскаться за такой вот мисс Уильямс...»

— Кранты этому Вумбергу, — подытожил Джордж.

— Ну и паскудство, — поморщился я. — Такая вот статейка может стать причиной развода. И как это этому Панталуну все сходит с рук?

— Конечно же сходит, они его просто боятся. Только, будь этим Вумбергом я, — сказал Джордж, — знаешь, что бы я сделал? Пошел бы и дал этому Панталуну в морду, вот что бы я сделал. Такие сволочи слов не понимают.

— Мистер Вумберг не может это сделать.

— Почему?

— Потому что он старый, — объяснил я. — Мистер Вумберг — важный и уважаемый пожилой человек. Видный банкир. Он никак не может...

И тут это случилось. Неожиданно меня осенила идея. Она пришла ко мне на середине фразы, и я умолк, давая ей затопить мой мозг, и молчал, наблюдая за ней со стороны, и едва ли не прежде, чем я понял, что же тут происходит, в моем мозгу созрел весь план, весь блестящий, восхитительный план, и я уже видел всю его прелесть.

Я повернулся и увидел, что Джордж взирает на меня в полном недоумении.

— В чем дело? — спросил он. — Что-нибудь не так?

Я сохранял спокойствие. Я вытащил руку из-под одеяла, налил себе еще кофе и только потом заговорил.

— Джордж, — сказал я, все так же сохраняя спокойствие, — у меня появилась идея. Слушай меня внимательно, потому что у меня есть идея, которая сделает нас с тобой очень богатыми. Мы ведь совсем на мели, верно?

— На мели.

— А этот Уильям С. Вумберг, как ты думаешь, он разозлится сегодня утром на этого Панталуна?

— Разозлится?! — переспросил Джордж. — Кой черт, да он просто взбесится!

— Совершенно верно. И не думаешь ли ты, что ему хотелось бы посмотреть, как этот Лайонел Панталун схлопочет хороший удар по морде?

— Еще как хотелось бы.

— А теперь скажи мне — вполне вероятно же, что мистер Вумберг будет готов заплатить некоторую сумму денег, если кто-нибудь возьмется чисто и без особого шума провести эту мордорасшибательную операцию?

Джордж повернулся, посмотрел на меня и медленно, осторожно поставил кофейную чашку на стол. По его лицу начала расплзаться широкая улыбка.

— Врубаюсь, — сказал он. — Я врубаюсь в твою идею.

— Но это лишь малая часть идеи. Если ты прочитаешь эту Панталунунову колонку, то увидишь, что там сегодня оскорблена и еще одна личность. — Я снова взялся за газету. — Есть еще такая миссис Элла Гимпль, заметная в обществе дама, имеющая на счете не меньше миллиона долларов...

— Ну и что же Панталун пишет про нее?

Прежде чем ответить, я снова заглянул в газету.

— Он намекает, что она делает кучу денег, давая для друзей вечеринки с рулеткой, на которых сама же и выступает в качестве банка.

— С этой Гимпль уже все понятно, — сказал Джордж. — И с Вумбергом тоже. Гимпль и Вумберг.

Он сидел на кровати, напряженно ожидая, чтобы я продолжил.

— Итак, — сказал я, — у нас есть двое, которые страстно возненавидели сегодня Лайонела Панталуна; оба они хотели бы набить ему морду, но никто из них на это не решается. Теперь понимаешь?

— Прекрасно понимаю.

— Так что с Панталуном мы разобрались. Но ты не забывай, он же не один такой. Есть и десятки других колумнистов, которые только и знают, что оскорблять тех, кто побогаче и повлиятельней. Есть Гарри Вейман, Клод Тейлор, Джейкоб Свински, Уолтер Кеннеди и вся остальная свора.

— Верно, — согласился Джордж, — абсолютно верно.

— И должен тебе сказать, что ничто не приводит богачей в такую ярость, как газетные насмешки и издевательства.

— Дальше, — сказал Джордж. — Давай дальше.

— Хорошо. — За это время я и сам возбудился. Я наполовину вылез из постели, положил одну руку на край столика, а другой помахивал в такт речи. — Мы немедленно организуем фирму, назвав ее... как же мы ее назовем... мы ее назовем... думай, думай... мы назовем ее «Корпорация „И Аз воздам“». Ну, как тебе?

— Странное название.

— Библейское¹. Мне нравится. «Корпорация „И Аз воздам“». Звучит великолепно. Мы напечатаем карточки и будем посылать их всем возможным клиентам, напоминая, что их публично оскорбили и унизили, и предлагая покарать оскорбителя в обмен на небольшую сумму денег. Мы будем покупать все газеты, читать всех колумнистов и рассылать ежедневно по дюжине и более карточек.

— Великолепно! — воскликнул Джордж. — Потрясающе!

— И мы станем богатыми, — добавил я. — Мы за самое малое время станем исключительно богатыми.

— Нужно сейчас же начинать!

Я спрыгнул с кровати, схватил блокнот и карандаш и снова нырнул в постель.

— Так вот, — сказал я, сгибая колени под одеялом и пристраивая сверху блокнот, — первым делом нужно решить, что мы напишем на печатных карточках, которые будут рассылаться клиентам. — И написал сверху листа заголовок «КОРПОРАЦИЯ „И АЗ ВОЗДАМ“».

Затем я, чуть не высовывая язык от старания, красиво сформулировал и зафиксировал цели и функции организуемой фирмы. Кончалось мое объяснение следующим образом: «Итак, корпорация „И Аз воздам“ готова вместо вас на условиях абсолютной кон-

¹ Мне отмщение и Аз воздам (Втор. 32: 35). В синодальном переводе: «У Меня отмщение и воздаяние...»

фиденциальности должным образом покарать колумниста, для чего мы со всем подобающим уважением предоставляем вам набор возможных способов (с указанием стоимости)».

— Это в каком же смысле «набор способов»? — спросил Джордж.

— Мы должны предоставить им выбор. Надо придумать целый ряд... различных наказаний. Номером первым будет... — И я написал в блокноте: «1. *Прямой удар в нос, один, сильный*». — Сколько мы здесь запросим?

— Пятьсот долларов, — мгновенно откликнулся Джордж.

Я записал это без малейших споров.

— Что еще?

— Синяк под глазом, — сказал Джордж.

Я записал: «2. *Синяк под глазом... \$500*».

— Нет! — возмутился Джордж. — Я не согласен с ценой. Чтобы красиво поставить синяк, нужно гораздо больше умения, чем для простого удара по морде. Это квалифицированная работа. Тут должно быть шесть сотен.

— О'кей, — согласился я. — Шесть сотен. А что дальше?

— Конечно, и то и другое вместе. С правой руки и с левой.

Теперь мы были на Джорджевой территории, он у нас спец по этой части.

— И то и другое?

— Совершенно верно. Удар в нос и синяк под глазом. Тысяча сто долларов.

— За комплект должна быть скидка, — возразил я, немного подумав. — Пусть будет ровно тысяча..

— Это вообще считай что задаром, — сказал Джордж. — Они вцепятся в этот вариант, как Бобик в косточку.

— Что дальше?

Мы оба умолкли и стали яростно думать. На Джорджевом невысоком покато лбу появились морщины. Он начал медленно, но очень сильно скрести свой череп. Я смотрел в пустоту и старался думать о всяких кошмарных вещах, причиняемых людьми друг другу. В конце концов я придумал и написал, а Джордж смотрел, как кончик карандаша двигается по бумаге. Я написал: «4. *Подложить гремучую змею (удалив предварительно ядовитые зубы) на пол его машины в районе педалей*».

— Господи Иисусе, — прошептал Джордж, — да он же сдохнет с перепугу.

— Конечно, — согласился я.
— Да и вообще, где ты возьмешь гремучку?
— Где-где. Куплю. Купить их не стоит большого труда. Так сколько мы за это зарядим?

— Полторы тысячи, — твердо сказал Джордж; я записал эту цифру.

— Для солидности нужно еще.

— Вот, — сказал Джордж. — Похитить его вместе с машиной, снять с него всю одежду, кроме трусов, носков и ботинок, а затем скинуть его в самый час пик посреди Пятой авеню.

Он расплылся в широкой торжествующей улыбке.

— Мы не сможем такое сделать.

— Пиши, пиши. И заряди две с половиной косых. Если старик Вумберг согласится платить такие деньжищи, все ты прекрасно сделаешь.

— Да, — согласился я. — Наверное, сделаю. — И записал этот вариант. — Пожалуй, и хватит. Выбор достаточно широк.

— А где мы напечатаем эти карточки? — спросил Джордж.

— У Джорджа Карноффски, — решил я. — Еще один Джордж, ага. Он мой приятель, держит маленькую типографию на Третьей авеню. Печатает свадебные поздравления и тому подобное для больших магазинов. Он нам все сделает, я точно знаю.

— Так чего же мы ждем?

Мы оба прыгнули с кровати и начали одеваться.

— Сейчас двенадцать, — сказал я. — Если поторопимся, то поймем его до обеденного перерыва.

Когда мы выскочили на улицу, все еще шел снег; снега навалило четыре или пять дюймов, но мы так спешили, что пробежали четырнадцать кварталов до типографии Карноффски за рекордное время и успели как раз, когда он надевал пальто, чтобы идти обедать.

— Клод! — заорал он радостно. — Привет, старик! Ну как делишки? — и стал трясти мне руку.

У него было толстое дружелюбное лицо и кошмарный нос; огромные, вывернутые наружу ноздри закрывали его щеки на добрый дюйм с каждой стороны. Я поздоровался с ним и сказал, что мы пришли обсудить одно срочное дело. Он снял пальто, провел нас в типографию, и я стал излагать ему наши планы.

Когда я рассказал их примерно на четверть, он стал покатываться от хохота, и продолжать было просто невозможно, так что

я умолк и просто сунул ему лист бумаги с текстом, который нужно было напечатать. Читая, он тоже трясся от хохота, он сгибался почти пополам, хлопал ладонью по столу и буквально захлебывался — псих, да и только. Мы смотрели на него с изумлением. Мы не видели тут ничего такого уж сильно смешного. В конце концов он утих, вытащил носовой платок и долго вытирал глаза.

— Никогда еще столько не смеялся, — сказал он ослабевшим голосом. — Отличная шутка, просто пять баллов. Пойдемте, накормлю вас за это ланчем.

— Послушай, — очень серьезно проговорил я, — никакая это не шутка. И нечего тут особенно смеяться. Ты присутствуешь при рождении новой могучей организации...

— Брось, — сказал он и опять захохотал. — Брось, и пошли поедим.

— Когда эти карточки будут напечатаны? — спросил я максимально деловым голосом.

Он умолк и удивленно вытаращился:

— Так что же... так вы действительно... вы все это серьезно?

— Абсолютно. Ты присутствуешь при рождении...

— Хорошо, — отмахнулся он и встал, — хорошо. Думаю, вы сошли с ума и нарываетесь на неприятности. Эти ребята любят соваться в чужие дела, но не терпят, когда кто-нибудь отвечает им тем же.

— Когда ты сможешь все напечатать и чтобы не видел никто из твоих работников?

— Для такого случая, — ответил Джордж, — я даже пожертвую ланчем. И весь набор сделаю сам. Это самое меньшее, что я должен сделать. — Он снова прыснул, его огромные ноздри затряслись от восторга. — Сколько вам надо?

— Тысячу для начала, и еще конверты.

— Подходите к двум, — сказал Джордж Карноффски, а я рассыпался в благодарностях; уже выйдя из типографии, мы всё слышали его ревуший хохот.

Вернулись мы ровно в два. Джордж был в своем кабинете, и первое, что мы увидели, это огромную пачку карточек на столе перед ним. Большие карточки, раза в два крупнее обычных свадебных или приглашений на вечеринку.

— Ну вот, — сказал он. — Все для вас готово.

Этот идиот все еще смеялся.

Он вручил каждому из нас по карточке, и я внимательно изучил свою. Это был истинный шедевр, Джордж постарался как следует. Карточка была толстая и жесткая, с узкой золотой каемкой. Шрифт заголовка был исключительно элегантен. Не имея возможности показать ее во всем великолепии, я могу хотя бы воспроизвести текст:

«КОРПОРАЦИЯ „И АЗ ВОЗДАМ“

Уважаемый

Вы, наверное, успели уже ознакомиться с ничем не спровоцированной атакой на Вашу персону колумниста, напечатанной в сегодняшней газете. Все это возмутительные инсинуации и злонамеренное искажение истины.

Неужели Вы допустите, чтобы этот жалкий клеветник оскорблял Вас подобным образом?

Мир давно уже знает, насколько противно природе американцев допускать в свой адрес оскорбления, не возмущаясь и не требуя — нет, не исполняя — справедливого воздаяния.

С другой стороны, вполне естественно, что человек Вашего положения и репутации не захочет лично еще глубже погружаться в такие мелкие гнусности и вступать в какой бы то ни было прямой контакт с этой низкой и злобной личностью. Но как же тогда Вы можете с ним расплатиться?

Ответ очень прост: „И АЗ ВОЗДАМ“ расплатится за Вас. Мы готовы на условиях абсолютной конфиденциальности должным образом покарать колумниста, для чего мы со всем подобающим уважением предоставляем Вам набор возможных способов (с указанием стоимости):

1. Прямой удар в нос, один, сильный \$500.
2. Синяк под глазом \$600.
3. Удар в нос и синяк под глазом \$1000.
4. Подложить гремучую змею (удалив предварительно ядовитые зубы) на пол его машины в районе педалей \$1500.
5. Похитить его вместе с машиной, снять с него всю одежду, кроме трусов, носков и ботинок, а затем скинуть его в самый час пик посреди Пятой авеню \$2500.

Данная работа осуществляется профессионалом.

Если Вы желаете принять какое-нибудь из этих предложений, пришлите, пожалуйста, ответ по адресу, указанному в сопроводи-

тельном листке. По дополнительному запросу Вы получите предварительное извещение о месте и времени проведения акции, а потому сможете наблюдать с безопасного расстояния за всеми событиями.

Предварительной оплаты не требуется; когда же Ваш заказ будет должным образом выполнен, Вам в обычном порядке вышлют счет».

Джордж Карноффски не поленился, печать была просто загля-
денье.

— Клод, — сказал он, — тебе нравится?

— Сказка.

— Лучшее, что я мог для вас сделать. Это вроде как когда видишь, как солдаты уходят на войну, где их, возможно, убьют, и ты готов отдать им что угодно и сделать для них что угодно.

Он снова начал смеяться, и я поторопился сказать:

— Мы, пожалуй, уже пойдем. У тебя есть конверты для этих карточек?

— Все, все готово. И вы можете расплатиться не сейчас, а когда начнут поступать деньги.

Тут, похоже, ему стало еще смешнее, он буквально рухнул в свое кресло и захихикал как придурок; мы с Джорджем поспешили на улицу под мерно падавший с неба снег.

Всю дорогу до нашего дома мы бежали бегом и, прежде чем подняться, в телефоне-автомате у лифта позаимствовали телефонный справочник Манхэттена. «Вумберг, Уильям С.» нашелся сразу же, и, пока я читал вслух адрес — где-то в районе Восточных Деяностых, — Джордж написал его на одном из конвертов.

«Гимпль, миссис Элла Х.» также быстро нашлась, и второй конверт мы адресовали ей.

— Письма Вумбергу и Гимпль мы пошлем прямо сегодня, — сказал я, заклеив конверты. — Хотя мы толком и не развернулись. Завтра мы отправим дюжину.

— Надо бы успеть к ближайшей выемке почты, — заметил Джордж.

— Мы доставим их сами, — твердо сказал я. — Теперь, незамедлительно. Чем скорее они их получают, тем лучше. Завтра может быть поздногато, завтра они не будут и вполонину такими злыми, как сегодня. За ночь люди всегда остывают. Так что ты беги и сей-

час же доставь эти карточки, а тем временем я порыскаю по городу и постараюсь что-нибудь разузнать о привычках Лайонела Панталуна. Увидимся вечером.

Часов в девять я вернулся домой; Джордж лежал на кровати, курил сигарету и пил кофе.

— Доставил и ту и другую, — отчитался он. — Просто сунул в щель почтового ящика, нажал на звонок и дунул по улице. У Вумберга огромный домина, огромный белый домина. А как у тебя?

— Я сходил к одному знакомому, который работает в спортивной секции «Дейли миддл». Он мне все рассказал.

— Ну и что же он рассказал?

— Он сказал, что передвижения Панталуна совершенно предсказуемы. Он работает допоздна, но, где бы ни был раньше, всегда — это важно, — всегда заканчивает свой вечер в клубе «Пингвин». Он приходит туда около полуночи и остается до двух или до половины третьего. Его агенты приносят туда последние сплетни.

— Это все, что нам нужно знать, — обрадовался Джордж.

— Как-то слишком уж просто.

— Деньги буквально ни за что.

На радостях Джордж достал из шкафа бутылку виски, и мы два часа сидели на кроватях, попивая дешевый бленд и строя чудесные планы развития нашей фирмы. К одиннадцати часам мы уже наняли штат из пятидесяти человек, включая двенадцать знаменитых боксеров, и наш офис располагался в Рокфеллер-центре. К полуночи мы захватили контроль над всеми колумнистами и диктовали им их колонки по телефону прямо из нашей штаб-квартиры, стараясь ежедневно оскорбить и разозлить по крайней мере двенадцать богатых персон, проживавших в той или иной точке страны. Мы сказочно разбогатели, у Джорджа был английский «бентли», а у меня пять «кадиллаков». Джордж заранее тренировался, как будет говорить с Лайонелом Панталуном по телефону:

— Это ты, Панталун?

— Да, сэр.

— Так вот, слушай меня внимательно. Твоя сегодняшняя колонка — вонючее дерьмо. Ты что, ничего не умеешь?

— Извините, пожалуйста, сэр, больше не повторится.

— Да ты уж, мать твою, постарайся. Правду говоря, мы уже подумывали взять вместо тебя кого-нибудь другого.

— Пожалуйста, сэр, дайте мне еще один шанс.

— Хорошо, Панталун, но этот раз будет последним. К слову сказать, сегодня ребята подложат тебе в машину гремучую змею по поручению мистера Хирама Ч. Кинга, мыльного фабриканта. Мистер Кинг будет смотреть с другой стороны улицы, так что не забудь испугаться, когда заметишь змею.

— Да, сэр, конечно же, сэр, не забуду ни в коем случае...

Мы наконец утомонились, легли спать и выключили свет, но у меня долго стояло в ушах, как Джордж распекает Панталуна по телефону.

Утром мы проснулись, когда часы угловой церкви пробили девять. Джордж встал и пошлепал к двери за почтой; вернулся он с письмом.

— Распечатай, — сказал я.

Он распечатал конверт и осторожно развернул лист тонкой бумаги.

— Да читай же ты! — заорал я.

Он начал читать письмо вслух; его голос звучал сперва тихо и серьезно, но, по мере того как он осознавал его значение, возрос до визгливого, почти истерического торжествующего крика. В письме говорилось:

«Ваши методы не назовешь обычными. В то же самое время я могу лишь одобрить все, что вы сделаете с этим пакостником. Так что флаг вам в руки. Начинайте с пункта 1. И если вы добьетесь успеха, я с радостью дам вам заказ на последовательную проработку всего списка. Счет присылайте мне.

Уильям С. Вумберг»

Я помню наш тогдашний восторг; мы исполнили прямо в пижамах какой-то дикарский танец, громко восхваляя мистера Вумберга и крича, что теперь мы сказочно богаты. Джордж ходил по кровати колесом; возможно, я делал то же самое.

— Когда мы это сделаем? — спросил он, чуть отдышавшись. — Сегодня?

Я ответил не сразу. Я не хотел спешить. Страницы истории пестрят именами великих людей, лишившихся многого только потому, что позволили себе в возбуждении момента принять торопливое решение. Я надел халат, закурил сигарету и начал расхаживать по комнате.

— Спешить нам некуда, — сказал я. — Заказ Вумберга будет исполнен в надлежащий момент, но сперва нам нужно разослать сегодняшние карточки.

Я быстро оделся, и мы сбегали к газетному ларьку, который через улицу, купили по экземпляру всех ежедневных газет, какие там были, и вернулись к себе в комнату. Следующие два часа мы провели за чтением колонок известных колумнистов и под конец составили список на одиннадцать человек — восемь мужчин и три женщины, — которых так или иначе оскорбил один из колумнистов. Так что дела шли хорошо, мы работали быстро и слаженно. Еще полчаса ушло на то, чтобы узнать адреса оскорбленных — двоих мы так и не нашли — и заадресовать конверты. Потом мы доставили их по адресам и примерно в шесть вечера вернулись в свою комнату, усталые, но довольные. Мы приготовили кофе, поджарили гамбургеры и поели прямо в постели. Затем мы несколько раз вслух перечитали друг другу Вумбергово письмо.

— Он ведь что делает, — сказал Джордж, — он дает нам заказ на шесть тысяч сто долларов. Пункты с первого по пятый включительно.

— Неплохое начало. Отнюдь не плохо для первого дня. Шесть тысяч в день — это будет... дай-ка подумать... это примерно два миллиона в год, не работая по воскресеньям. По миллиону каждому. Это больше, чем зарабатывает Бетти Грейбл¹.

— Теперь мы очень богатые люди, — сказал Джордж и улыбнулся медленной мирной улыбкой.

— Через день или два мы переедем в «Сент-Реджис».

— Я подумывал об «Уолдорфе», — сказал Джордж.

— Хорошо, пусть будет «Уолдорф». А потом нам нужно будет купить себе дом.

— Вроде как у Вумберга?

— Хорошо, вроде как у Вумберга. Но первым делом работа. Завтра нам нужно разобраться с Панталуном. Мы поймаем его на выходе из клуба «Пингвин». В полтретьего ночи мы будем его поджидать, и, когда он выйдет на улицу, ты шагнешь вперед и двинешь ему прямо в нос, как предусмотрено договором.

— С огромным удовольствием, — сказал Джордж. — С превеликим удовольствием. Только как мы потом смоемся? Убежим?

¹ *Бетти Грейбл* (1916–1973) — известная американская певица, актриса, танцовщица.

— Мы найдем на час машину. Денег у нас на это хватит, и я буду сидеть за рулем, со включенным мотором; машина будет ярдах в десяти от входа, и дверца будет открыта, и как только ты его двинешь — прыгай в машину, и поминай нас как звали.

— Великолепно. Я двину его изо всех сил. — Джордж умолк, сжал правый кулак и принялся разглядывать побелевшие костяшки. Затем снова улыбнулся и медленно добавил: — Что касается его носа, возможно, тот сильно затупится, так что не сможет больше лезть в чужие дела.

— Вполне возможно, — согласился я, и с этой радостной мыслью мы выключили свет и уснули непривычно рано.

Утром я проснулся от крика, сел и увидел Джорджа, тот стоял в пижаме рядом с моей кроватью и махал руками.

— Гляди! — крикнул он. — Четыре штуки!

Я посмотрел, и действительно, в его руке было четыре письма.

— Открой их. Открой сейчас же.

Первое письмо гласило:

«Дорогие „И АЗ ВОЗДАМ“, это лучшее предложение, какое я получала за многие годы. Вперед — и устройте мистеру Джейкобу Свински обработку гремучей змеей (п. 4). Я с радостью удвою ваш гонорар, если вы забудете удалить ядовитые зубы. Ваша Гертруда Портер-Вандербельд.

P. S. Вы бы для надежности застраховали змею. Укус этого парня куда ядовитее укуса гремучки».

Затем Джордж зачитал вслух второе письмо:

«Я уже выписал чек на \$500, и он лежит у меня на столе. В тот момент, как я получу доказательства, что вы крепко двинули Лайонелу Панталуну в нос, чек будет вам отослан; и если можно, я предпочел бы с переломом.

Ваш и т. д.

Уилбур Г. Голлогли»

Джордж зачитал третье письмо:

«В моем теперешнем состоянии духа и против всякого разумения я склонен ответить на вашу карточку и заказать, чтобы вы сбросили этого негодяя Уолтера Кеннеди на Пятой авеню, одетым в одно исподнее. Я ставлю дополнительное условие, что на асфальте в это время должен быть снег и температура ниже нуля.

Г. Грешем»

Зачитал он и четвертое:

«Хороший удар Панталуну по морде стоит пяти сотен моих, да и чьих угодно денег. Я бы с радостью понаблюдала.

Искренне ваша

Клодия Колтрон Хайнс

Джордж осторожно, словно с опаской, положил письма на кровать. На какое-то время повисла тишина; мы смотрели друг на друга, слишком ликующие и удивленные, чтобы что-нибудь говорить. Я начал подсчитывать про себя стоимость этих заказов.

— Тут на пять тысяч долларов, — прошептал я, еле веря собственным словам.

По лицу Джорджа расплылась огромная радостная улыбка.

— Клод, — сказал он, — не пора ли нам переехать в «Уолддорф»?

— Потом, — охладил его я, — сейчас у нас нет времени на переезды. У нас нет даже времени разослать сегодня новые карточки. Нужно выполнять уже полученные заказы. Нас завалили работой.

— Не следует ли нам нанять дополнительный персонал, наша фирма должна расширяться.

— Потом, — отмахнулся я, — сегодня нет времени даже на это. Ты только подумай, что мы должны сделать. Мы должны подложить гремучую змею в машину Джейкоба Свински... мы должны сбросить Уолтера Кеннеди на Пятой авеню в одних подштанниках... мы должны двинуть Панталуну в нос... дай-ка посмотреть... да, для трех различных людей мы должны двинуть Панталуну...

Я умолк. Я закрыл глаза. Я сидел совершенно неподвижно. В который уж раз я осознал, что в ткани моего головного мозга втекает прозрачный ручеек озарения.

— Дошло! — крикнул я. — Дошло! Дошло! Три птички одним камнем! Три клиента одним ударом по морде.

— Как это?

— Неужели ты не видишь? Нам достаточно шарахнуть Панталуна один раз, и каждый из троих клиентов — Вумберг, Голлогли и Клодия Хайнс — будет думать, что это было сделано для него или для нее.

— Повтори-ка еще раз.

Я повторил.

— Блестяще.

— Обыкновенный здравый смысл. Тот же принцип применим и ко всем остальным случаям. Гремучка и прочая экзотика могут

подождать, пока мы не получим больше заказов. Может быть, за ближайшие дни мы получим десять заказов на гремучих змей в машине Свински. И тогда мы их выполним одним махом.

— Чудесно.

— Сегодня ночью, — начал я планировать, — мы разберемся с Панталуном. Но сперва нужно нанять машину. Кроме того, нужно разослать телеграммы Вумбергу, Голлогли и Клодии Хайнс, сообщить им, где и когда они могут наблюдать удар в нос.

Мы быстро оделись и вышли на улицу. В маленьком грязном безлюдном гараже, расположенном на 9-й Восточной стрит, мы наняли машину, «шевроле» 1934 года выпуска, по цене восемь долларов за вечер. Затем мы послали три телеграммы с одной и той же фразой, искусно скрывавшей истинный смысл: «Надеюсь увидеть Вас около клуба „Пингвин“ в два тридцать пополуночи. С уважением, И. А. Воздам».

— И еще, — сказал я. — Весьма существенно, чтобы ты изменил свой внешний вид. Панталун или там, к примеру, швейцар не должен потом тебя опознать. Тебе нужны накладные усы.

— А как насчет тебя?

— Без нужды. Я же буду сидеть в машине, они меня не увидят.

Мы пошли в игрушечный магазин и купили Джорджу роскошные черные усы, такую штуку с длинными острыми кончиками, напомаженную и блестящую, и, когда мы приложили усы к лицу Джорджа, он стал тютелька в тютельку германский кайзер. Продавец посоветовал нам купить заодно тюбик клея и показал, как прилаживать усы к верхней губе.

— Детишек будете забавлять? — спросил он у нас.

Джордж согласно кивнул и сказал:

— Вот уж точно.

Все уже было готово, но ждать предстояло довольно долго. На оставшиеся три доллара мы купили по бутерброду и пошли в кино. Затем в семь часов вечера забрали машину в гараже и начали, чтобы убить время, медленно курсировать по улицам.

— Ты бы приклеил усы заранее, чтобы попривыкнуть.

Мы притормозили под уличным фонарем, я выдавил Джорджу на верхнюю губу капельку клея и приладил поаккуратнее эту огромную волосатую штуку с заостренными кончиками. Потом мы поехали дальше. Было холодно и в машине, и снаружи, и снова пошел снег. Я видел в лучах фар, как падают маленькие снежинки.

А Джордж раз за разом спрашивал: «Как сильно мне его ударить?» — и я раз за разом отвечал: «Ударь его как можно сильнее и прямо в нос. Непременно в нос, как предусмотрено контрактом. Все должно быть сделано честь по чести, ведь клиенты будут смотреть».

В два часа ночи мы медленно проехали мимо входа в клуб «Пингвин», чтобы исследовать обстановку.

— Я поставлю машину здесь, — сказал я. — Сразу за входом, в тени. И оставлю для тебя открытую дверцу.

Мы поехали дальше. Через пару минут Джордж спросил:

— А как он выглядит? Как я его узнаю?

— Успокойся, — гордо сказал я, — я уже все придумал. — Я вынул из кармана листок бумаги и вручил ему. — Возьми эту записку, сверни ее в несколько раз и передай швейцару, чтобы он поскорее доставил ее Панталуну. Веди себя так, словно ты перепуган до смерти и жутко спешишь. Сто к одному, что Панталун тут же выскочит; такую приманку заглотит любой колумнист.

На листке бумаги было написано:

«Я работник советского консульства. Пожалуйста, подойдите скорее к двери. Мне нужно рассказать вам одну вещь, и как можно скорее, а то я в страшной опасности. Я подошел бы к вам сам, но не могу».

— Видишь ли, — пояснил я, — с этими усами ты похож на русского. Все русские носят большие усы.

Джордж взял листок, свернул его в крошечный квадратик и зажал между пальцами. Было уже почти половина третьего, и мы поехали прямо к клубу «Пингвин».

— Готов? — спросил я.

— Да.

— Ну, начинаем. Я поставлю машину у входа... здесь. Вломи ему покрепче, — сказал я, а Джордж открыл дверцу и вышел.

Я прикрыл за ним дверцу, но чуть нагнулся вбок и держал руку на ручке, чтобы в любой момент открыть; кроме того, я опустил стекло, чтобы было получше видно. Мотор тихо работал на холостом ходу. Я видел, как Джордж быстрым шагом подошел к швейцару, стоявшему под красно-белым полотняным навесом. Я увидел, как швейцар повернулся и посмотрел на Джорджа, и мне не понравилось, как он это сделал. Высокий, заносчивого вида тип, швейцар был одет в пурпурную униформу с золотыми пуговицами

и золотыми погонами, по каждой из его пурпурных штанин тянулся широкий белый лампас. Кроме того, он был в белых перчатках и свысока смотрел на Джорджа, хмурясь и поджимая губы. Он смотрел на Джорджевы усы, и я думал: «Господи, мы малость перестарались. Мы перестарались с этими усами. Если швейцар заподозрит, что они фальшивые, ему достаточно дернуть за один из острых кончиков, и усы тут же отвалятся». Но швейцар ничего такого не сделал. Его отвлекла от подобных мыслей Джорджева игра, а Джордж играл почище любого актера. Я видел, как он буквально мечется, нервно сжимая и разжимая руки, раскачиваясь всем телом и трясая головой; я даже слышал, как он говорит:

— Пожаста, пожаста, паскарее. Это тело жизни и смерти. Пожаста, несите быстро эту пумагу мистер Панталуну.

Джорджев русский акцент звучал ужасно, и все равно в его голосе звенело неподдельное отчаяние. В конце концов швейцар снизошел до Джорджа и мрачным голосом произнес:

— Дайте мне вашу записку.

Джордж тут же сунул ему свою мятую бумажку и рассыпался в благодарностях:

— Шпашибо, шпашибо. И пусь он паймет, што это срочно.

Швейцар исчез во внутренних помещениях, а через секунду вернулся и сказал:

— Доставлено.

Джордж нервно расхаживал по тротуару. Я ждал, наблюдая за дверью. Прошло три или четыре минуты.

— Где он? — спросил Джордж, заламывая руки. — Где он? Пожаста, сходите и пасмотрите, не идет ли он.

— Да что с вами такое? — спросил швейцар; он снова глядел на Джорджевы усы.

— Это тело жизни и смерти! Мистер Панталун может помочь! Он должен выйти!

— Почему бы вам малость не заткнуться? — спросил швейцар, однако снова открыл дверь, сунул голову внутрь и с кем-то о чем-то коротко поговорил.

Затем сказал Джорджу:

— Он сейчас выйдет.

Секунду спустя дверь распахнулась и явился Панталун собственной персоной, маленький, юркий и щеголеватый. Он задержался на пороге, быстро поглядывая по сторонам, очень сейчас похо-

жий на любопытного хорька. Швейцар притронулся к краю фуражки и указал на Джорджа. Я слышал, как Панталун сказал:

— Да, так чего вы хотите?

— Пажаста, — сказал Джордж, — атайдемте немного, чтобы нас никто не слышал.

Он повел Панталуна по тротуару, прочь от швейцара и поближе к машине.

— Да хватит, — возмутился Панталун. — Что вам, собственно, нужно?

Неожиданно Джордж крикнул: «Глядите!» — и указал куда-то вдоль улицы. Панталун крутнул головой, в этот самый момент Джордж размахнулся и ударил его с правой прямо в нос. Я видел, как Джордж качнулся вперед, вкладывая в удар весь свой вес, а Панталун вроде как оторвался слегка от земли, отлетел фута на два-три и врезался спиной в стену клуба. Все это случилось очень быстро, а потом Джордж был рядом со мной в машине, и мы рванули с места под пронзительную трель швейцарова свистка.

— Получилось! — выдохнул Джордж; он был очень возбужден и никак не мог перевести дыхание. — Хорошо я ему врезал. Ты видел, как я ему врезал?

Снег теперь так и валил, я гнал как сумасшедший и сворачивал на каждом углу, понимая, что в такую метель нас уже никто не поймает.

— Я так ему врезал, что сучий кот чуть не прошиб головой стенку.

— Отлично было сделано, Джордж, — похвалил я. — Чистая работа.

— А ты видел, как он подлетел? Видел, как он оторвался от земли?

— Вумберг будет доволен, — сказал я. — И Голлогли, и эта самая Хайнс. Все они будут довольны, — сказал я. — Теперь только денежки считай.

— За нами машина! — заорал вдруг Джордж. — Висит у нас на хвосте! Гони как бешеный!

— Невозможно, — качнул головою я. — Они не могли найти нас так быстро. Это просто какая-то там машина.

Я резко свернул направо.

— Она все так же у нас на хвосте, — сказал Джордж. — Сворачивай на каждом углу, мы скоро от них оторвемся.

— Хрен там оторвешься от полицейской машины в «шеви» тридцать четвертого года, — пробурчал я без всякого энтузиазма. — Лучше я остановлюсь.

— Да гони ты! — заорал Джордж. — У тебя отличная скорость.

— Лучше я остановлюсь, — повторил я. — Если гнать и дальше, это только их разозлит.

Джордж яростно протестовал, но мне было понятно, что гнать дальше нет никакого смысла; я прижал машину к обочине и затормозил. Другая машина резко вильнула, проскочила мимо, взвизгнула покрышками и остановилась.

— Быстрее, — выдохнул Джордж. — Мотаем отсюда.

Он уже приоткрыл дверцу и был готов бежать.

— Не будь идиотом, — сказал я, — сиди, где сидишь. Уж теперь-то точно никуда не уйти.

— Что за спешка, ребята? — спросил снаружи чей-то голос.

— Да никакой спешки, — ответил я. — Мы просто едем домой.

— Да?

— Да, мы просто едем домой.

Мужик сунул голову в окошко с моей стороны, взглянул на меня, потом на Джорджа и снова на меня.

— Скверная погода, — сказал Джордж. — Мы хотели успеть домой, прежде чем улицы совсем занесет.

— Ладно, — сказал мужик. — Можете успокоиться. Я просто подумал, что стоит расплатиться с вами сразу же. — Он уронил мне на колени пачку банкнот. — Я Голлогли, Уилбур Г. Голлогли. — Он стоял под падающим снегом, притопывая ногами и потирая руки, чтобы совсем не замерзнуть. — Я получил вашу телеграмму и все это наблюдал с другой стороны улицы. Прекрасная работа, и я решил заплатить вам вдвойне. Оно того стоит. Самая веселая сценка, какую я в жизни видел. Счастливо, ребята, и давайте поосторожней, за вами будут гоняться. Я бы на вашем месте смылся куда-нибудь из города. Пока.

И не успели мы хоть что-нибудь ответить, как он сел в машину и уехал.

Вернувшись домой, я стал тут же паковать наши шмотки.

— Ты что, сдурел? — спросил Джордж. — Нам только подождать несколько часов, и мы получим по пять сотен от Вумберга и от этой Хайнс. Тогда у нас будет целых две тысячи, и мы сможем ехать куда угодно.

Так что следующий день мы провели, почти не вылезая из комнаты и читая газеты, в одной из которых была целая колонка на первой полосе с кричащим заголовком: «Зверское нападение на известного колумниста».

И все получилось как надо. С последней почтой нам принесли два письма, и в каждом из них было по пять сотен.

А сейчас, в этот самый момент, мы сидим в пульмановском вагоне, потягивая скотч и направляясь на юг, где всегда светит солнце и скачки каждый день. Мы сказочно богаты, и Джордж все твердит, что, если поставить все две тысячи на лошадь, идущую десять к одному, мы выиграем двадцать тысяч и сможем уйти на пенсию.

— У нас будет дом в Палм-Бич, — говорит он, — и мы устроим себе сладкую жизнь. Очаровательные светские дамы будут сидеть на краю нашего бассейна, попивая прохладительные напитки, а потом нам, возможно, захочется поставить другую крупную сумму на другую лошадь, и мы станем еще богаче. Возможно, нам наскучит Палм-Бич, и мы, не торопясь, проедемся по всяким обиталищам богачей — Монте-Карло и тэ пэ. Вроде как Али-Хан или герцог Виндзорский. Мы станем видными светскими фигурами, и кинозвезды будут нам улыбаться, а метрдотели кланяться, и, возможно, наступит время, когда нас даже упомянет в своей колонке Лайонел Панталун.

— Это будет что-то, — поддержал его я.

— Что-то, — согласился он. — Вот уж точно — что-то.

ДВОРЕЦКИЙ

Как только Джордж Кливер сделал свой первый миллион, он и миссис Кливер переехали из маленькой загородной виллы в элегантный лондонский дом. Они наняли себе французского шеф-повара мсье Эстрагона и английского дворецкого Тиббса, кошмарно дорогих. С помощью этих двоих экспертов Кливеры начали карабкаться по социальной лестнице, для чего устраивали по несколько раз в неделю щедрые приемы. Но эти приемы как-то не заладились. На них не было веселья, в разговорах не было искры, совершенно не было стиля. И это при великолепной пище и безукоризненном обслуживании.

— Тиббс, — сказал как-то мистер Кливер, — что это такое с нашими приемами? Чего это люди никак не расслабляются, не дают себе полную свободу?

Тиббс чуть наклонил голову в сторону и взглянул на потолок:

— Надеюсь, сэр, вас не обидит, если я позволю себе маленькое предположение.

— Какое?

— Это вино, сэр.

— Так что такое насчет вина?

— Понимаете, сэр, мсье Эстрагон подает превосходную пищу. Превосходная пища должна сопровождаться превосходным вином. А вы подаете дешевое и довольно-таки мерзкое испанское красное.

— Так какого хрена ты, ублюдок, не сказал мне этого раньше? — воскликнул мистер Кливер. — У меня что, не хватает денег? Я подам им лучшее в мире долбаное вино, если уж им так хочется! Какое вино лучшее в мире?

— Кларет, сэр, — ответил дворецкий, — из великих бордоских *châteaux* — дафит, датур, о-брион, марго, мутон-ротшильд и шеваль-блан. И только величайших винтажных годов, каковыми, по моему мнению, являются тысяча девятьсот шестой, четырнадцатый, двадцать девятый и сорок пятый. Шеваль-блан было великолепно

также в тысяча восемьсот девяносто пятом и тысяча девятьсот двадцать первом, а о-брион — в тысяча девятьсот шестом.

— Покупай их все, — приказал мистер Кливер. — Забей долбанный погреб от пола и до потолка.

— Я могу попытаться, сэр, — сказал дворецкий, — но вина подобного рода весьма редки и стоят целое состояние.

— А мне плевать, сколько они стоят! — сказал мистер Кливер. — Ты просто иди и покупай.

Это было легче сказать, чем сделать. Ни в Англии, ни во Франции Тиббс не смог найти никаких вин 1895, 1906, 1914 и 1921 года. Однако он сумел все-таки достать несколько бутылок двадцать девятого и сорок пятого. Счета за эти вина были просто астрономическими. Они были настолько огромны, что даже мистер Кливер начал вздрагивать от удивления и интересоваться этим вопросом. Его интерес быстро перешел в пылкий энтузиазм, когда дворецкий намекнул ему, что знание вин является весьма существенным социальным капиталом. Мистер Кливер накупил книг по этому вопросу и прочел их от корки до корки. Кроме того, он многое перенял от самого Тиббса, который научил его среди прочего тому, как следует пробовать вино.

— Сперва, сэр, вы нюхаете длинным глубоким вдохом, поместив кончик носа в верхнюю часть бокала — вот примерно так. Затем набираете вино в рот, чуть раздвигаете губы и осторожно вдыхаете, чтобы воздух пробулькивал через вино. Смотрите, как я это делаю. Затем вы активно катаете вино в полости рта. И наконец его глотаете.

Со временем мистер Кливер начал считать себя большим специалистом по винам и, конечно же, превратился в жуткого зануду.

— Леди и джентльмены, — возглашал он за ужином, поднимая бокал, — это марго двадцать девятого! Лучший год за все столетие! Фантастический букет! Запах первоцвета! Обратите внимание на послевкусие и на то, как еле различимые следы танина придают ему восхитительный вяжущий вкус! Потрясающе, не правда ли?

Гости согласно кивали и бормотали какие-то дежурные фразы, но — и все.

— В чем дело с этими придурочными типами? — спросил мистер Кливер у Тиббса после того, как это случилось уже в который раз. — Неужели никто из них не может оценить прекрасное вино?

Дворецкий склонил голову на сторону и посмотрел в потолок:

— Думаю, сэр, они бы непременно его оценили, будь у них возможность его попробовать. Но у них такой возможности нет.

— В каком это, на хрен, смысле они не могут его попробовать?

— Я думаю, сэр, что вы сказали мсье Эстрагону щедро использовать уксус в салатной заправке.

— Ну и что тут такого? Я люблю уксус.

— Уксус, — наставительно сказал дворецкий, — это страшный враг вина. Он оглушает нёбо. Заправка должна состоять из чистого оливкового масла с маленькой примесью лимонного сока. И ничего больше.

— Чушь, — сказал мистер Кливер.

— Как вам будет угодно.

— Я могу повторить, Тиббс. Ты говоришь стопроцентную чушь. Уксус ничуть не оглушает мое нёбо.

— Вам очень повезло, сэр, — пробормотал дворецкий, вежливо пятясь из комнаты.

Тем же вечером мистер Кливер стал измываться над дворецким в присутствии гостей.

— Мистер Тиббс, — сказал он, — пытался доказать мне, что нельзя толком распробовать вкус моего вина, потому что я употребляю в салатной заправке уксус. Было это, Тиббс?

— Да, сэр, — мрачно ответил Тиббс.

— А я сказал ему, что это чушь. Я сказал, Тиббс?

— Да, сэр.

— Это вино, — сказал мистер Кливер, поднимая бокал, — напоминает мне шато-лафит сорок пятого года; более того, это и есть шато-лафит сорок пятого.

Дворецкий Тиббс стоял, вытянувшись в струнку, рядом с буфетом, его лицо побелело.

— С вашего разрешения, сэр, это не лафит сорок пятого.

Мистер Кливер резко развернулся и уставился на дворецкого.

— Какого хрена ты там бормочешь? — спросил он. — Вот же рядом с тобой пустые бутылки.

В этих великих кларетах из-за их старости всегда было много осадка, и Тиббс перед ужином их переливал. Они подавались на стол в хрустальных графинах, а пустые бутылки, по обычаю, выставлялись на буфет. Вот и сейчас на буфет для всеобщего обозрения были выставлены две пустые бутылки из-под лафита 1945 года.

— Вино, которое вы пьете, — спокойно сказал дворецкий, — это дешевое и довольно гнусное испанское красное.

Мистер Кливер взглянул на вино в своем бокале, затем на дворецкого; к его лицу прихлынула кровь.

— Вы лжете, Тиббс!

— Нет, сэр, я не лгу, — возразил дворецкий. — За все время, что я у вас служу, я ни разу не подавал вам другого вина, кроме испанского красного. Похоже, оно вас полностью удовлетворяло.

— Я ему не верю! — обратился мистер Кливер к своим гостям. — Этот человек сошел с ума.

— С великими винами, — сказал дворецкий, — нужно обращаться уважительно. Глушить свое небо перед ужином тремя-четырьмя коктейлями, как то принято в вашей компании, — это уже достаточно плохо. Так вы вдобавок бухаете в пищу уксус. В таких условиях все равно, что пить — вино или помои.

На дворецкого оставились десять возмущенных лиц. Все это было для гостей совершенно неожиданно, они потеряли дар речи.

— Это, — сказал дворецкий и любовно погладил одну из пустых бутылок, — была последняя из сорок пятых. Двадцать девятые кончились раньше. Это были сказочные вина. Мы с мсье Эстрагоном получили от них ни с чем не сравнимое удовольствие.

Дворецкий поклонился и спокойно вышел из комнаты. Он пересек холл и вышел через парадную дверь на улицу, где мсье Эстрагон уже загружал их чемоданы в багажник маленькой машины, принадлежавшей им на половинных паях.

ТАЙНА МИРОЗДАНИЯ

На рассвете моей корове понадобился бык. От этого мычания можно с ума сойти, особенно если коровник под окном. Поэтому я встал пораньше, позвонил Клоду на заправочную станцию и спросил, не поможет ли он мне свести ее вниз по склону крутого холма и перевести через дорогу на ферму Рамминса, чтобы там ее обслужил его знаменитый бык.

Клод явился через пять минут. Мы затащили веревку на шее коровы и пошли по тропинке. Было прохладное сентябрьское утро. По обеим сторонам тропинки тянулись высокие живые изгороди, а орешники были усыпаны большими зрелыми плодами.

— Ты когда-нибудь видел, как Рамминс спаривает? — спросил у меня Клод.

Я ответил, что никогда не видел, чтобы кто-то по правилам спаривал быка и корову.

— Рамминс делает это особенно, — сказал Клод. — Так, как Рамминс, не спаривает никто на свете.

— И что он делает особенного?

— Тебя ждет приятный сюрприз, — сказал Клод.

— Корову тоже, — сказал я.

— Если бы в мире знали, как Рамминс спаривает, — сказал Клод, — то он бы прославился на весь белый свет. В науке о молочном скотоводстве произошел бы вселенский переворот.

— Почему же он тогда никому об этом не расскажет?

— Мне кажется, этого он хочет меньше всего, — ответил Клод. — Рамминс не тот человек, чтобы забивать себе голову подобными вещами. У него лучшее стадо коров на мили вокруг, и только это его и интересует. Он не желает, чтобы сюда налетели газетчики с вопросами, — а именно это и случится, если о нем станет известно.

— А почему ты мне об этом не расскажешь? — спросил я.

Какое-то время мы шли молча следом за коровой.

— Меня удивляет, что Рамминс согласился одолжить тебе своего быка, — сказал Клод. — Раньше за ним такого не водилось.

В конце тропинки мы перешли через дорогу на Эйлсбери, поднялись на холм на другом конце долины и направились к ферме. Корова поняла, что где-то там есть бык, и потянула за веревку сильнее. Нам пришлось прибавить шаг.

У входа на ферму ворот не было — просто неогороженный кусок земли с замощенным булыжником двором. Через двор шел Рамминс с ведром молока. Увидев нас, он медленно поставил ведро и направился в нашу сторону.

— Значит, готова? — спросил он.

— Вся на крик изошла, — ответил я.

Рамминс обошел вокруг коровы и внимательно ее осмотрел. Он был невысок, приземист и широк в плечах, как лягушка. У него был широкий, как у лягушки, рот, сломанные зубы и быстро бегающие глазки, но за годы знакомства я научился уважать его за мудрость и остроту ума.

— Ладно, — сказал он. — Кого ты хочешь — телку или быка?

— А что, у меня есть выбор?

— Конечно есть.

— Тогда лучше телку, — сказал я, стараясь не рассмеяться. — Нам нужно молоко, а не говядина.

— Эй, Берт! — крикнул Рамминс — Ну-ка, помоги нам!

Из коровника вышел Берт. Это был младший сын Рамминса — высокий вялый мальчишка с сопливым носом. С одним его глазом было что-то не то. Он был бледно-серый, весь затуманенный, точно глаз вареной рыбы, и вращался совершенно независимо от другого глаза.

— Принеси-ка еще одну веревку, — сказал Рамминс.

Берт принес веревку и обвязал ею шею коровы так, что теперь на ней были две веревки, моя и Берта.

— Ему нужна телка, — сказал Рамминс. — Разворачивай ее мордой к солнцу.

— К солнцу? — спросил я. — Но солнца-то нет.

— Солнце всегда есть, — сказал Рамминс. — Ты на облака-то не обращай внимания. Начали. Давай, Берт, тяни. Разворачивай ее. Солнце вон там.

Берт тянул за одну веревку, а мы с Клодом за другую, и таким образом мы поворачивали корову до тех пор, пока ее голова не ока-

залась прямо перед той частью неба, где солнце было спрятано за облаками.

— Говорил тебе — тут свои приемы, — прошептал Клод. — Скоро ты увидишь нечто такое, чего в жизни не видывал.

— Ну-ка, попридержи! — велел Рамминс — Прыгать ей не давай!

И с этими словами он поспешил в коровник, откуда привел быка. Это было огромное животное, черно-белый фризский бык с короткими ногами и туловищем, как у десятитонного грузовика. Рамминс вел его на цепи, которая была прикреплена к кольцу, продетому быку в ноздри.

— Ты посмотри на его яйца, — сказал Клод. — Бьюсь об заклад, ты никогда таких яиц не видывал.

— Нечто, — сказал я.

Яйца были похожи на две дыни в мешке. Бык волочил их по земле.

— Отойти-ка лучше в сторонку и отдай веревку мне, — сказал Клод. — Тут тебе не место.

Я с радостью согласился.

Бык медленно приблизился к моей корове, не спуская с нее побелевших, предвещающих недоброе глаз. Потом зафыркал и стал бить передней ногой о землю.

— Держите крепче! — прокричал Рамминс Бертю и Клоду.

Они натянули свои веревки и отклонились назад под нужным углом.

— Ну, давай, приятель, — мягко прошептал Рамминс, обращаясь к быку. — Давай, дружок.

Бык с удивительным проворством вскинул передние копыта на спину коровы, и я мельком увидел длинный розовый пенис, тонкий, как рапира, и такой же прочный. В ту же секунду пенис оказался в корове. Та пошатнулась. Бык захрапел и заерзал, и через полминуты все кончилось. Он медленно сполз с коровы. Казалось, он доволен собой.

— Некоторые быки не знают, куда его вставлять, — сказал Рамминс. — А вот мой знает. Мой может в иголку попасть.

— Замечательно, — сказал я. — Прямо в яблочко.

— Именно так, — согласился Рамминс. — В самое яблочко. Пошли, дружок, — сказал он, обращаясь к быку. — На сегодня тебе хватит.

И он повел быка обратно в коровник, где и запер его, а когда вернулся, я поблагодарил его, а потом спросил, действительно ли он верит в то, что если развернуть корову во время спаривания в сторону солнца, то родится телка.

— Да не будь же ты таким дураком, — сказал он. — Конечно верю. От фактов не уйдешь.

— От каких еще фактов?

— Я знаю, что говорю, мистер. Точно знаю. Я прав, Берг?

Затуманенный глаз Берта заворочался в глазнице.

— Еще как прав, — сказал он.

— А если повернуть ее в сторону от солнца, значит родится бычок?

— Обязательно, — ответил Рамминс.

Я улыбнулся. От него это не ускользнуло.

— Ты что, не веришь мне?

— Не очень, — сказал я.

— Иди за мной, — произнес он. — А когда увидишь, что я собираюсь тебе показать, то тут уж, черт побери, тебе придется мне поверить. Оставайтесь здесь оба и следите за коровой, — сказал он Клоду и Берту, а меня повел в дом.

Мы вошли в темную грязную комнатку. Он достал пачку тетрадей из ящика шкафа. С такими тетрадями дети ходят в школу.

— Это записи об отелах, — заявил он. — Сюда я занову сведения обо всех спариваниях, которые имели место на этой ферме с того времени, как я начал, а было это тридцать два года назад.

Он раскрыл наудачу одну из тетрадей и позволил мне заглянуть в нее. На каждой странице было четыре колонки: «Кличка коровы», «Дата спаривания», «Дата рождения», «Пол новорожденного». Я пробежал глазами последнюю колонку. Там были одни телки.

— Бычки нам не нужны, — сказал Рамминс. — Бычки на ферме — сущий урон.

Я перевернул страницу. Опять одни телки.

— Смотри-ка, — сказал я. — А вот и бычок.

— Верно, — сказал Рамминс. — А ты посмотри, что я написал напротив него во время спаривания.

Я заглянул во вторую колонку. Там было написано: «Корова развернулась».

— Некоторые так раскапризничаются, что и не удержишь, — сказал Рамминс. — И кончается все тем, что они разворачиваются. Это единственный раз, когда у меня родился бычок.

— Удивительно, — сказал я, листая тетрадь.

— Еще как удивительно, — согласился Рамминс. — Одна из самых удивительных на свете вещей. Знаешь, сколько у меня получается в среднем на этой ферме? В среднем — девяносто восемь процентов телок в год! Можешь сам проверить. Я тебе мешать не буду.

— Очень бы хотел проверить, — сказал я. — Можно я присяду?

— Давай садись, — сказал Рамминс. — У меня другие дела.

Я нашел карандаш и листок бумаги и самым внимательным образом стал просматривать все тридцать две тетради. Тетради были за каждый год, с 1915-го по 1946-й. На ферме рождалось приблизительно восемьдесят телят в год, и за тридцатидвухлетний период мои подсчеты вылились в следующие цифры:

Телок — 2516

Бычков — 56

Всего телят, включая мертворожденных, — 2572

Я вышел из дома и стал искать Рамминса. Клод куда-то пропал. Наверное, повел домой мою корову. Рамминса я нашел в том месте фермы, где молоко наливают в сепаратор.

— Ты когда-нибудь рассказывал об этом? — спросил я у него.

— Никогда, — ответил он.

— Почему?

— Да ни к чему это.

— Но, дорогой ты мой, это ведь может произвести переворот в молочной промышленности во всем мире.

— Может, — согласился он. — Запросто может. И производству говядины не повредит, если каждый раз будут рождаться бычки.

— А когда ты впервые узнал об этом?

— Отец рассказал, — ответил Рамминс, — когда мне было лет восемнадцать. «Открою тебе один секрет, — сказал он тогда, — который сделает тебя богатым». И все рассказал мне.

— И ты стал богатым?

— Да в общем-то, я неплохо живу, разве не так? — сказал он.

— А твой отец не объяснил тебе, почему так происходит?

Кончиком большого пальца Рамминс обследовал внутреннюю кромку своей ноздри, придерживая ее большим и указательным пальцами.

— Мой отец был очень умным человеком, — сказал он. — Очень. Конечно же, он рассказал мне, в чем дело.

— Так в чем же?

— Он объяснил, что, когда речь идет о том, какого пола будет потомство, корова ни при чем, — сказал Рамминс. — Все дело в яйце. Какого пола будет теленок, решает бык. Вернее, сперма быка.

— Продолжай, — сказал я.

— Как говорил мой отец, у быка два разных вида спермы — женская и мужская. До сих пор все понятно?

— Да, — сказал я. — Продолжай.

— Поэтому когда бык выбрасывает свою сперму в корову, между мужской и женской спермой начинается что-то вроде состязания по плаванию, и главное, кто первым доберется до яйца. Если победит женская сперма, значит родится телка.

— А при чем тут солнце? — спросил я.

— Я как раз к этому подхожу, — сказал он, — так что слушай внимательно. Когда животное стоит на всех четырех, как корова, и голова повернута в сторону солнца, сперме тоже нужно держать путь прямо к солнцу, чтобы добраться до яйца. Поверни корову в другую сторону, и сперма побежит от солнца.

— По-твоему, выходит, — сказал я, — что солнце оказывает какое-то влияние на женскую сперму и заставляет ее плыть быстрее мужской?

— Точно! — воскликнул Рамминс. — Именно так! Оказывает влияние! Да оно подталкивает ее! Поэтому она всегда и выигрывает! А разверни корову в другую сторону, то и сперма побежит назад, а выиграет вместо этого мужская.

— Интересная теория, — сказал я. — Однако кажется маловероятным, чтобы солнце, которое находится на расстоянии миллионов миль, было способно оказывать влияние на стаю сперматозоидов в корове.

— Что за чушь ты несешь! — вскричал Рамминс. — Совершенно несусветную чушь! А разве луна не оказывает влияния на океанские приливы, черт их побери, да еще и на отливы? Еще как оказывает! Так почему же солнце не может оказывать влияния на женскую сперму?

— Я тебя понимаю.

Мне показалось, что Рамминсу вдруг все это надоело.

— У тебя-то точно будет телка, — сказал он, отворачиваясь. — На этот счет можешь не беспокоиться.

ТАЙНА МИРОЗДАНИЯ

— Мистер Рамминс, — сказал я.

— Что там еще?

— А почему к людям это неприменимо? Есть на то причины?

— Люди тоже могут это использовать, — ответил он. — Главное, помнить, что все должно быть направлено в нужную сторону. Между прочим, корова не лежит, а стоит на всех четырех.

— Понимаю.

— Да и ночью лучше этого не делать, — продолжал он, — потому что солнце находится за горизонтом и не может ни на что влиять.

— Это так, — сказал я, — но есть ли у тебя какие-нибудь доказательства, что это применимо и к людям?

Рамминс склонил голову набок и улыбнулся мне своей продолжительной плутоватой улыбкой, обнажив сломанные зубы.

— У меня ведь четверо мальчиков, так? — спросил он.

— Так.

— Краснощечкие девчонки мне тут ни к чему, — сказал он. — На ферме нужны парни, а у меня их четверо. Выходит, я прав?

— Прав, — сказал я, — ты абсолютно прав.

БУКИНИСТ

Если пройти с Трафальгарской площади на Черинг-Кросс-роуд, то через несколько минут вы увидите по правой стороне магазина с вывеской «УИЛЬЯМ БАГГЕДЖ — РЕДКИЕ КНИГИ».

Если вы заглянете через витрину, то увидите стены, уставленные книгами от пола до потолка, а если толкнете дверь и войдете, то сразу же ощутите этот легкий запах картона и чайных листьев, который свойственен всем букинистическим лавкам Лондона. Почти неизбежно вы увидите двух-трех посетителей, молчаливые фигуры в пальто и мягких фетровых шляпах, роющиеся на полках Джейн Остин и Троллопа, Диккенса и Джордж Элиот в надежде найти первое издание.

Никакой продавец не следит своим бдительным оком за покупателями, и, если кто-нибудь действительно хочет заплатить за книгу, а не попросту стащить ее и уйти, ему или ей придется толкнуться на задах магазина в дверь «КОНТОРА — ПЛАТИТЬ ЗДЕСЬ». Если вы войдете в контору, то увидите там мистера Уильяма Баггеджа и его ассистентку, мисс Мьюриел Тоттл, сидящих за своими столами и очень занятых делами.

Мистер Баггедж сидит за очень дорогим, восемнадцатого века, столом из красного дерева, а в нескольких футах от него мисс Тоттл сидит за несколько меньшим, но не менее элегантным предметом мебели, письменным столом периода регентства, обтянутым выцветшей зеленой кожей. На столе мистера Баггеджа непременно лежат сегодняшняя «Лондон таймс», а также «Дейли телеграф», «Манчестер гардиан», «Уэстерн мейл» и «Глазго геральд». Здесь лежит также последнее издание «Кто есть кто» — толстый красный, изрядно потрепанный том. На столе у мисс Тоттл стоит электрическая пишущая машинка и простой, но очень милый открытый ящичек с писчей бумагой и конвертами, а также скрепками, степлерами и прочей секретарской параферналей.

Иногда, но не очень часто, какой-нибудь клиент входил из магазина в контору и подавал отобранную книгу мисс Тоттл, которая

проверяла цену, написанную карандашом на форзаце, принимала деньги и давала при необходимости сдачу из ящичка, стоявшего на ее столе слева. Мистер Баггедж никогда не удостаивал клиентов вниманием, и, когда кто-нибудь из них задавал какой-нибудь вопрос, отвечала ему мисс Тоттл.

Ни мистера Баггеджа, ни мисс Тоттл вроде бы даже ничуть не беспокоило, что происходит в торговом помещении. Правду говоря, мистер Баггедж даже считал, что, если кто-нибудь хочет украсть книгу, всякой ему удачи. Он лучше кого бы то ни было знал, что на полках не было ни единого ценного первого издания. Ну, были там относительно редкие томики Голсуорси и раннего Ивлиана Во, пришедшие с аукциона при оптовых покупках, ну и приличные собрания Босуэлла, Вальтера Скотта, Роберта Льюиса Стивенсона и всяких в этом роде, зачастую в изящной полукоже или даже в коже. Но это не такие штуки, которые незаметно сунешь в карман, и даже если какой-нибудь ворюга уйдет с полудужиной книг, мистер Баггедж отнюдь не собирался терять из-за этого сон. Да и с чего бы, если он знал, что его магазин зарабатывает меньше за целый год, чем контора в заднем помещении за пару дней. Вот то, что творилось в этой конторе, действительно имело значение.

Однажды февральским утром, когда погода была гнуснейшая и падающий снег залеплял окна косыми мокрыми полосами, мистер Баггедж и мисс Тоттл сидели на своих обычных местах и были глубоко погружены в свою всегдашнюю работу — даже, можно сказать, увлечены ей. Мистер Баггедж с золотым паркером в руке читал «Таймс» и делал иногда пометки. Время от времени он справлялся по «Кто есть кто» и черкал в блокноте.

Мисс Тоттл, вскрывшая перед этим почту, теперь разглядывала чеки и подбивала суммы.

— Три за сегодня, — сказала она.

— Ну и сколько всего? — спросил мистер Баггедж, не отрываясь от чтения.

— Тысяча шестьсот, — сказала мисс Тоттл.

— Из этого епископского дома в Честере так еще ничего и не слыхать, верно? — спросил мистер Баггедж.

— Епископ, Билли, живет во дворце, а не в доме, — поправила мисс Тоттл.

— А мне лично плевать, где этот тип живет, — сказал мистер Баггедж. — Просто мне всегда немного не по себе, когда от кого-нибудь в этом роде долго нет ответа.

— Вот сегодня ответ как раз и пришел.
— Раскошелились честь по чести?
— До последнего пенни.
— Приятно слышать, — сказал мистер Баггедж. — Я никогда еще раньше не связывался с епископами и не совсем уверен, что это было разумно.

— Счет пришел от юридической фирмы.

Мистер Баггедж вскинул голову.

— А письмо там было? — спросил он.

— Да

— Прочитай.

Мисс Тоттл нашла письмо и начала читать:

— «Уважаемый сэр, в связи с Вашим сообщением от четвертого текущего месяца мы прилагаем чек на пятьсот тридцать семь фунтов для полного расчета. Искренне Ваши Смитсон, Бриггс и Эллис». — Мисс Тоттл немного помолчала. — Вроде бы все в порядке?

— На этот раз в порядке, — подтвердил мистер Баггедж. — Но нам не нужно никаких юридических фирм, так что давай не будем больше связываться с никакими епископами.

— Я согласна насчет епископов, — кивнула мисс Тоттл. — Но надеюсь, ты там не решил отсечь графов, лордов и всякую такую публику?

— Лорды — нормально, — сказал мистер Баггедж. — Ни с лордами, ни с графами проблем у нас никогда не было. А ведь раз мы вообще и герцога оприходовали?

— Герцог Дорсетский, — подтвердила мисс Тоттл. — Сделали его в прошлом году. Больше тысячи фунтов.

— Очень было мило, — сказал мистер Баггедж. — Помню, сам же и отобрал его прямо с первой страницы. — Он замолчал и стал выковыривать ногтем мизинца кусочек пиццы, застрявший между передними зубами. — Что я хочу сказать, так это, чем важнее титул, тем больше олух. Да и вообще, любой, за чьим именем стоит титул, почти наверняка олух.

— Вот тут ты, Билли, не совсем прав, — заметила мисс Тоттл. — Некоторым людям дают титул, потому что они делают абсолютно потрясающие вещи, вроде как придумывают пенициллин или забраться на Эверест.

— Я говорю о наследственных титулах, — поправился мистер Баггедж. — Если кто так прямо и родился с титулом, можно смело спорить, что он олух.

— Вот тут ты полностью прав, — сказала мисс Тоттл. — У нас ни разу не было никаких проблем с аристократией.

Мистер Баггедж откинулся на спинку кресла и весьма серьезно взглянул на мисс Тоттл.

— А ты знаешь что? — спросил он. — Однажды мы можем расколоть даже члена правящего дома.

— Вот уж было бы здорово, — восхитилась мисс Тоттл. — Раскрутить их на целое состояние.

Мистер Баггедж продолжал тарашиться на профиль мисс Тоттл, и в его глазах появился слегка похотливый блеск. Нужно признать, что внешность мисс Тоттл, если судить по высоким меркам, была весьма разочаровывающей. Если уж говорить полную правду, она разочаровывала по любым меркам. Лицо у нее было длинное, как у лошади, зубы также довольно длинные и имели грязно-желтый оттенок. То же касается и ее кожи. Лучшее, что можно сказать про мисс Тоттл, — это что она имела внушительную грудь, но даже та была с заметными недостатками. Это был такой длинный, туго затянутый выступ, тянувшийся с одного края грудной клетки до другого; с первого взгляда казалось, что у нее не две отдельных груди, а просто зачем-то подложен один длинный пухлый батон.

С другой стороны, и сам мистер Баггедж не имел оснований быть особенно переборчивым. Когда кто-нибудь видел его впервые, в голове сразу же появлялось слово «неопрятный». Он был приземистый, с заметным брюшком, лысый и дряблый. А что касается его лица, можно было лишь предполагать, как оно выглядит, потому что взгляду открывалось совсем немного. По моде, весьма, к сожалению, обычной в эти дни, большая часть его была покрыта обильной порослью черных, лохматых, немного вьющихся волос, что и глупо, и, к слову, весьма неопратно. Почему столь многие особи мужеского пола желают скрыть черты своего лица, это выше нашего, обычных смертных, понимания. Можно лишь предположить, что, представься им возможность растить волосы на носу, щеках и глазах, они бы так и сделали, в результате чего не осталось бы никакого лица, а только малопрстойный волосяной шар. Единственное, что можно предположить, глядя на этих бородачей, — это что их волосяная растительность является чем-то вроде дымовой завесы и выращивается, дабы скрыть нечто весьма неблагоприятное — в каком угодно смысле слова.

Это было почти наверняка верно в случае мистера Баггеджа, так что всем его окружающим, а особенно мисс Тоттл, следова-

ло бы эту растительность благодарить. Мистер Баггедж продолжал мечтательно пялиться на свою помощницу. В конце концов он сказал:

— Почему бы тебе, милочка, не подсуетиться и не снести чеки на почту; когда с этим будет покончено, я сделаю тебе маленькое предложенье.

Мисс Тоттл оглянулась через плечо на мистера Баггеджа и одарила его очаровательной, во все тридцать два серно-желтых зуба, ухмылкой. Когда он называл ее милочкой, это было вернейшим знаком, что в его груди, а также в иных частях тела начинают шевелиться плотские чувства.

— Ты бы сказал мне сейчас, — сказала она.

— Сперва разберись с чеками, — сказал мистер Баггедж; временами он мог быть весьма повелительным, и мисс Тоттл была от этого в восторге.

Теперь мисс Тоттл начала то, что она называла своим ежедневным аудитом. Нужно было проверить все банковские счета мистера Баггеджа и ее собственные, а затем решить, на какие из них лучше внести поступившие чеки. Дело в том, что к этому моменту у мистера Баггеджа было шестьдесят шесть различных счетов на его имя, а у мисс Тоттл — двадцать два. Все они были рассеяны по различным отделениям трех крупных банков — Барклайс, Ллойда и Национального Вестминстерского; большая часть этих отделений располагалась в Лондоне, а кое-какие — в пригороде. В этом не было ровно ничего незаконного, а по мере того, как их бизнес становился все более успешным, было совсем нетрудно кому-либо из них сходить в какое-нибудь отделение одного из этих банков и открыть текущий счет с первоначальным депозитом в несколько сотен фунтов. Затем он или она получит чековую книжку, приходную книжку и обещание присылать ежемесячный отчет.

Мистер Баггедж довольно быстро обнаружил, что, если у человека есть счета в одном или даже во многих отделениях банка, тамошний персонал и ухом не ведет. Каждое отделение занимается сугубо своими клиентами, и даже в эти компьютерные времена их имена не сообщаются ни другим отделениям, ни центральному офису. С другой стороны, закон требует от банка сообщать Главному финансовому управлению имена всех клиентов, имеющих на депозитных счетах тысячу фунтов и более. Точно так же банки должны сообщать о доходах по этим счетам. Однако этот закон не

относится к текущим счетам, потому что по ним клиенты не получают никаких доходов. Никто не обращает внимания на чьи-либо текущие счета, пока не происходит перерасхода или, что случается крайне редко, сумма на них не возрастает до смехотворно больших величин. Текущий счет, на котором лежит, ну, скажем, сто тысяч фунтов, может вызвать легкое недоумение у персонала, и клиент почти наверняка получит от управляющего письмо, предлагающее положить часть суммы на депозит, чтобы текли проценты. Но мистеру Баггеджу на проценты было наплевать, и в то же время он не хотел вызывать никакого недоумения. Именно поэтому они с мисс Тоттл имели на пару восемьдесят восемь различных банковских счетов. В обязанности мисс Тоттл входило следить за тем, чтобы сумма на любом из этих счетов никогда не превосходила двадцати тысяч фунтов. Все, что больше, могло, по мнению мистера Баггеджа, вызвать недоумение, особенно если деньги лежали на текущем счете нетронутыми несколько месяцев или лет. По соглашению между партнерами семьдесят пять процентов дохода от бизнеса шло мистеру Баггеджу, а двадцать пять — мисс Тоттл.

В порядке своего ежедневного аудита мисс Тоттл должна была просматривать список балансов по всем восьмидесяти восьми банковским счетам, который она же и вела, а затем решать, куда удобнее перевести ежедневно поступавшие чеки. У нее имелись ящик с восьмидесятью восьмью папками, по одной на каждый банковский счет, а также восемьдесят восемь различных чековых книжек и восемьдесят восемь платежных книжек. Работа мисс Тоттл не отличалась особой сложностью, но ей было нужно всегда пребывать в здравом уме и ничего не путать. Всего лишь неделю назад им пришлось открыть четыре новых банковских счета, три для мистера Баггеджа и один для мисс Тоттл.

— Скоро у нас будет сотня счетов на наши имена, — сказал тогда мистер Баггедж.

— А почему бы и не две? — отозвалась мисс Тоттл.

— Наступит день, — сказал мистер Баггедж, — когда мы используем все банки в этой части страны и, чтобы открыть новые, нам придется ездить аж в Сандерленд или Ньюкасл.

Но в данный момент мисс Тоттл была углублена в свой ежедневный аудит.

— Готово, — сказала она, засунув в конверт последний чек и последнюю платежную квитанцию.

— А сколько у нас на счетах всего, на нынешний момент? — спросил мистер Баггедж.

Мисс Тоттл открыла средний ящик своего письменного стола и достала оттуда самую обычную школьную тетрадку. На обложке тетрадки было ею написано «Мои старые школьные упражнения». Эта, как она считала, весьма остроумная уловка должна была сбить со следа нехорошего человека, в чьи руки попала бы тетрадка.

— Дай-ка я добавлю и сегодняшние депозиты, — сказала она, отыскав нужную страницу и начиная писать цифры. — Ну вот. Считая сегодняшнее, у тебя набирается во всех шестидесяти шести банковских отделениях один миллион триста двадцать тысяч шестьсот сорок пять фунтов — если только ты не выписывал в последние дни какие-нибудь чеки.

— Я не выписывал, — сказал мистер Баггедж. — А что там у тебя?

— У меня... четыреста тридцать тысяч семьсот двадцать пять фунтов.

— Весьма прилично, — заметил мистер Баггедж. — А сколько времени нам потребовалось, чтобы скопить эти милые суммы?

— Всего лишь одиннадцать лет, — сказала мисс Тоттл. — А что там за предложеньице ты хотел мне сделать?

— А, — сказал мистер Баггедж, затем отложил свой золотой карандаш, прислонился спиной к спинке стула и снова уставился на мисс Тоттл бледными развратными глазами. — Я вот тут как раз думал... и вот что я, значит, думал... на черта, спрашивается, такой миллионер, как я, торчит здесь в эту мерзопакостную погоду вместо того, чтобы роскошно раскинуться где-нибудь рядом с плавающим бассейном в компании прелестной девочки, вроде тебя, и чтобы холуи поминутно подносили фужеры с холодным шампанским?

— А и действительно, на черта? — воскликнула мисс Тоттл и широко ухмыльнулась.

— Тогда вытаскивай книжку и посмотрим, где мы еще не были.

Мисс Тоттл подошла к стеллажу на противоположной стене и достала с полки пухлую книгу в бумажном переплете с названием на обложке «300 лучших отелей мира, отобранные Рене Леклером». Вернувшись с книгой на свое место, она спросила:

— Куда теперь, дорогой?

— Куда-нибудь в Северную Африку, — сказал мистер Баггедж. — Сейчас февраль, и, чтобы было по-настоящему тепло, нуж-

но ехать, по крайней мере, в Северную Африку. Италия не годится, так же как Испания. Вест-Индию я и даром не хочу. Хватит, навидался. А где мы еще не были в Северной Африке?

Мисс Тоттл задумчиво листала книгу.

— Это не так-то просто, — сказала она. — Мы были в Фесе, в «Пале-Жамэ»... в Тарудане, в «Газель д'Ор» мы тоже были... и в Тунисе, в тунисском «Хилтоне» мы тоже были. Там, я помню, нам не понравилось...

— А сколько мы объехали из этой книжки? — спросил мистер Баггедж.

— Последний раз, как я считала, было вроде бы сорок восемь.

— И я твердо намерен объехать все три сотни, — сказал мистер Баггедж. — Это моя главная мечта, и зуб даю, что такого никто еще не делал.

— А я вот думаю, мистер Рене Леклер это сделал.

— Это еще кто?

— Человек, написавший эту книжку.

— Он не считается, — отмахнулся мистер Баггедж. Перекосившись в кресле направо, он принялся задумчиво почесывать левую ягодицу. — И можно поспорить, он их тоже не объехал. Эти туристические справочники собирают сведения у всякого встречного-поперечного.

— Вот!— воскликнула мисс Тоттл. — Отель «Ла Мамунья» в Марракеше.

— А где это?

— В Марокко. Сразу за правым верхним углом Африки.

— Ну, давай. Что там о нем сказано?

— Тут сказано... — Мисс Тоттл начала читать: — «Это было любимое пристанище Уинстона Черчилля; со своего балкона он раз за разом писал закат над Атласом».

— Я не рисую, — сказал мистер Баггедж. — А что там еще?

Мисс Тоттл стала читать дальше:

— «С того момента, как одетые в ливреи мавританские слуги проводят вас в устанный метлахской плиткой, огороженный колоннадой и решетками двор, вы буквально вступаете в картину из „Тысячи и одной ночи“...»

— Это уже больше по делу, — пробурчал мистер Баггедж. — Читай дальше.

— «Ваш следующий контакт с действительностью наступит, когда при отъезде вам подадут счет».

— Это не важно для нас, миллионеров, — сказал мистер Багедж. — Поехали, и прямо завтра. Сейчас же звони в туристическое агентство. Первым классом. Мы закроем магазин на десять дней.

— Ты разве не поработаешь по сегодняшним письмам?

— В гробу я видал сегодняшние письма, — сказал мистер Багедж. — С этого момента мы в отпуске. И не мешкай с этим агентством.

Он перегнулся в другую сторону и начал правой рукой скрести правую ягодицу. Мисс Тоттл на него смотрела, и Багедж видел, что она на него смотрит, но это его ничуть не волновало.

— Так звони же в агентство, — сказал он.

— И нужно бы взять сколько-нибудь дорожных чеков, — сказала мисс Тоттл.

— Бери на пять тысяч фунтов, я выпишу чек. Это будет на мне. Достань-ка мне чековую книжку на ближайший банк. И позвони в этот отель, где уж там он находится, и закажи самый большой номер, какой у них есть. Когда заказываешь самый большой номер, тебе никогда не ответят, что мест нет.

Через сутки мистер Багедж и мисс Тоттл уже загорали рядом с плавательным бассейном марракешского отеля «Ла Мамуния» и пили холодное шампанское.

— Вот это действительно жизнь, — сказала мисс Тоттл. — Почему бы нам не уйти от дел и не купить роскошный дом в климате вроде этого?

— С какой это стати нам уходить от дел? У нас лучший бизнес во всем Лондоне, и лично мне он доставляет удовольствие.

На другой стороне бассейна дюжина марокканских слуг накрывала для гостей роскошный ланч. Тут были гигантские холодные омары и большие розовые окорока, крошечные жареные цыплята, несколько разновидностей риса и не меньше десятка различных салатов. Шеф-повар лично жарил на углях бифштексы. Гости начинали вставать с шезлонгов и матрасов и топтались с тарелками в руках вокруг буфета. Кто-то из них был в купальнике, кто-то в легком летнем костюме, и почти на всех головах были соломенные шляпы. Мистер Багедж наблюдал за ними, почти все они были англичанами. И это были очень богатые англичане: холеные, с хорошими манерами, излишне толстые, зычноголосые и бесконечно скучные. Он встречал таких на Ямайке и Барбадосе и в прочих подобных местах. Было ясно, что многие из них знакомы друг с другом: дома, конечно же, они вращались в одном кругу. И уж знали

они друг друга или нет, они, конечно, принимали друг друга, потому что все принадлежали к одному и тому же безымянному клубу избранных. Любой член этого клуба мог без труда, в силу некоей тонкой социальной алхимии, распознать другого члена с первого же взгляда. Да, говорили они себе, он один из наших. Она одна из наших. А вот мистер Баггедж не был одним из них и никогда не будет. Он был *nouveau*¹, и это, сколько бы миллионов он ни скопил, было совершенно неприемлемо. Кроме того, он был совершенно вульгарен, и это тоже было неприемлемо. Очень богатые могли быть столь же вульгарными, как мистер Баггедж, а то и еще вульгарней, но у них это было как-то иначе.

— Вот они, голубчики, — сказал мистер Баггедж, глядя через бассейн. — Они наш хлеб и наше масло; каждый из них имеет шанс стать нашим клиентом.

— Как же ты прав, — согласилась мисс Тоттл.

Мистер Баггедж, лежавший на сине-красно-зеленом полосатом матрасе, приподнялся на локте и смотрел на гостей. Его живот выпячивался из складок купальных трусов, с его жирного тела катились капельки пота. Затем он перевел взгляд на мисс Тоттл, лежавшую навзничь на соседнем матрасе. Хлебобулочная грудь мисс Тоттл была затянута полоской алого бикини. Нижняя часть бикини была рискованно краткой и, пожалуй, чуточку тесновата, так что мистер Баггедж видел в промежности кончики черных волос.

— Вот сейчас поедим, милая, пойдем в нашу комнату и немного отдохнем.

Мисс Тоттл продемонстрировала свои грязно-желтые зубы и согласно кивнула.

— А потом напишем несколько писем.

— Писем? — возмутилась мисс Тоттл. — Я не хочу писать никаких писем! Я считала, что еду в отпуск!

— Это и есть, милая, отпуск, но не хочется выпускать дело из рук. Отель одолжит тебе пишущую машинку, это я уже узнал. И отель одолжит мне «Кто есть кто». В каждом приличном отеле мира есть английский «Кто есть кто». Управляющему хочется знать, кто тут настолько важная шишка, что нужно целовать ему задницу.

— Тебя-то там не найдешь, — заметила мисс Тоттл немного обиженным тоном.

¹ Новый (*фр.*), в первую очередь воспринимается как обрезанное «нувориш»

— Нет, — подтвердил мистер Баггедж, — это уж я тебе ручаюсь. Но там немного таких, у кого больше денег, чем у меня. В этом мире, девушка, не так уж важно, кто ты такой. Не важно даже, с кем ты знаком. Главное — сколько у тебя есть.

— Мы никогда еще прежде не писали писем во время отпуска, — сказала мисс Тоттл.

— Все бывает когда-нибудь в первый раз.

— Как мы можем писать письма без газет?

— Я прекрасно знаю, что в места вроде этого всегда приходят авиапочтой английские газеты. Сразу же по приезде я купил в вестибюле «Таймс». В общем-то, это та же самая газета, которую я изучал вчера в конторе, так что большая часть работы уже выполнена. Что-то мне захотелось кусочка этого здешнего омара. Ты видала когда-нибудь таких больших омаров?

— Ну ты же, конечно, не собираешься посылать письма отсюда? — встревожилась мисс Тоттл.

— Конечно нет. Мы оставим их пока без даты и отошлем по возвращении. Таким образом, у нас будет очень приличная заготовка.

Мисс Тоттл посмотрела на омаров, отделенных от нее плавательным бассейном, на людей, толкущихся около них, а затем положила ладонь на бедро мистера Баггеджа так, что пальцы залезли под купальные трусы. И стала поглаживать его бедро.

— Да брось ты, Билли, — сказала она, — почему бы нам не отдохнуть немного от писем, как мы делаем это всегда во время отпуска?

— Но ты же не хочешь просто так выбрасывать по тысяче фунтов в день? — спросил мистер Баггедж. — Не забывай, что четверть из них твоя.

— Господи, но у нас же нет фирменной бумаги, и мы не можем использовать гостиничную.

— А я вот привез бумагу нашей фирмы, — торжествующе сказал мистер Баггедж. — У меня ее целая пачка. И конверты тоже привез.

— Ну ладно, — сдалась мисс Тоттл. — Так ты принесешь мне кусочек этого омара?

— Мы пойдем вместе, — решил мистер Баггедж.

Он встал и пошел вокруг бассейна, красуясь длинными купальными трусами, купленными пару лет назад в Гонолулу. Трусы бы-

ли усеяны веселенькими зелеными, желтыми и белыми цветочками. Мисс Тоттл встала, потянулась и последовала за ним.

Мистер Баггедж сосредоточенно накладывал себе порцию, когда сзади какой-то мужчина сказал:

— Фиона, ты, кажется, еще незнакома с миссис Смит-Суизин... а это леди Хеджкок.

— Как поживаете... Как поживаете, — сказали два женских голоса.

Мистер Баггедж украдкой взглянул на говоривших. Там были мужчина и женщина в купальниках и две пожилые леди в платьях из какой-то хлопчатобумажной ткани. Эти фамилии, подумал он. Я уже слышал эти фамилии, точно слышал... Смит-Суизин... Леди Хеджкок... Он пожал плечами и продолжил наполнять свою тарелку.

Пару минут позднее они с мисс Тоттл сидели за маленьким столиком под тентом, и каждый из них уминал гигантскую половину омара.

— А скажи, тебе ничего не говорит такое имя — леди Хеджкок? — пробубнил с полным ртом мистер Баггедж.

— Леди Хеджкок? Да это же одна из наших клиенток. Точнее говоря, была. Я никогда не забываю таких фамилий. А что?

— А как насчет миссис Смит-Суизин? Это тоже что-нибудь напоминает?

— Напоминает, — кивнула мисс Тоттл, — и по той же причине. А чего это ты вдруг спросил?

— Потому что обе они здесь.

— Господи помилуй! Откуда ты знаешь?

— Больше того, девушка, они здесь вместе. Они подружки.

— Не может быть!

— Еще как может!

И мистер Баггедж рассказал ей все, что видел и слышал.

— Вон они, — указал он вилкой, желтой от майонеза. — Вон те две толстые старые шлюхи, говорящие с высоким мужиком и его бабой.

Мисс Тоттл с интересом уставилась на женщин.

— Ты знаешь, — сказала она, — я никогда еще не видела наших клиентов, за все эти годы.

— И я тоже, — поддержал ее мистер Баггедж. — В одном я совершенно уверен, я выбрал их правильно, верно? Они прямо идут на крючок, это очевидно. И все они идиоты, это еще очевиднее.

— А тебе не кажется, Билли, что это опасно, когда две из них знакомы друг с другом?

— Это дикое и неприятное совпадение, но мне оно не кажется опасным. Ни одна из них не скажет другой ни слова, в том-то вся и прелесть.

— Думаю, ты прав.

— Опасность возникнет только в том случае, — продолжил мистер Баггедж, — если они увидят мою фамилию в списке постояльцев. У меня необычная фамилия, в точности как у них, и это сразу наведет на воспоминание.

— Гости не заглядывают в список постояльцев, — сказала мисс Тоттл.

— Нет, не заглядывают, — согласился мистер Баггедж. — Никому это и в голову не придет. Они не заглядывают и никогда не заглянут.

— Потрясающий омар, — сказала мисс Тоттл.

— Омар — сексуальная пища, — объявил мистер Баггедж и съел еще кусок.

— Ты путаешь с устрицами, милый.

— Я совсем не путаю с устрицами. Устрицы тоже сексуальная пища, но омары куда сильнее. Обед из омаров может буквально свести мужчину с ума.

— Например, тебя? — спросила мисс Тоттл, ерзая задом по стулу.

— Возможно, — сказал мистер Баггедж. — Нам нужно только немного подождать и посмотреть, что из этого получится.

— Да, — согласилась мисс Тоттл.

— Хорошо, что они такие дорогие, — заметил мистер Баггедж. — Если бы их мог купить всякий встречный-поперечный, мир был бы полон сексуальных маньяков.

— Да ты ешь, — напомнила мисс Тоттл.

После ланча они поднялись в свой номер и там недолгое время неуклюже кувыркались на необъятных размеров кровати. Потом они уснули.

Теперь они находились в своей гостиной, накинув на голое тело одни лишь халаты: мистер Баггедж — шелковый, цвета зрелой сливы, мисс Тоттл — тоже шелковый, но пастельно-розовый, со светло-зеленым орнаментом. Мистер Баггедж развалился на софе со вчерашним номером «Таймс» на коленях, справочник «Кто есть кто» лежал рядом с ним на кофейном столике. Мисс Тоттл сидела

за письменным столом с пишущей машинкой перед ней и с блокнотом в руке. Оба они пили шампанское.

— Высший класс, — сказал мистер Баггедж. — Сэр Эдуард Лейшман, некролог на первой полосе. Глава компании «Аэродайне-микс энд инджиниринг». «Один из наших крупнейших промышленников», так здесь сказано.

— Прелесть, — сказала мисс Тоттл. — Проверь, жива ли его жена.

— «Оставил вдову и троих детей», — прочитал мистер Баггедж. — И... подожди-ка секунду... в «Кто есть кто» еще сказано: «Отдых: прогулки и рыбная ловля. Клубы: „Уайтс“ и „Реформ“».

— Адрес? — спросила мисс Тоттл.

— Ред-Хаус, Эндовер, Уилтс.

— Как пишется Лейшман? — спросила мисс Тоттл; мистер Баггедж прочитал по буквам. — Сколько мы зарядим?

— Побольше, — сказал мистер Баггедж, — у этого парня денег куры не клевали. Попробуй сотен девять.

— Вставим «Опытного рыболова»? Тут сказано, что он рыбачил.

— Да, первое издание. Четыреста двадцать фунтов. Остальное ты знаешь наизусть. Отшлепай поскорее, тут у меня еще один отличный номер.

Мисс Тоттл вставила в машинку лист бумаги и быстро забарабанила по клавишам. За долгие годы она составила так много подобных писем, что печатала, считай, на автопилоте. Она даже знала, как составить список книг, которые стоят около девятисот фунтов, или около трехсот пятидесяти, или около пятисот двадцати, или около сколько уж там. Она могла подогнуть список под любую сумму, подходящую, по мнению мистера Баггеджа, для данного клиента. Мистер Баггедж прекрасно понимал главный секрет этой торговли: никогда чересчур не жадничать. Никогда не заходить за тысячу фунтов, ни для кого, будь он самым знаменитым миллионером.

Письмо, которое печатала мисс Тоттл, звучало следующим образом:

«„УИЛЬЯМ БАГГЕДЖ — РЕДКИЕ КНИГИ“

Черинг-Кросс-роуд, 27а

Лондон

Уважаемая леди Лейшман.

Я очень сожалею, что приходится тревожить Вас в это печальное время тяжелой утраты, но, к сожалению, при сложившихся обстоятельствах я не имею другого выбора.

Я имел удовольствие многие годы обслуживать Вашего мужа, и мои счета всегда посылались к нему на адрес клуба „Уайтс“, так же как и многие пачки книг, которые он собирал с таким энтузиазмом.

Он всегда незамедлительно рассчитывался, и иметь с таким джентльменом дело было очень приятно. Ниже я перечисляю его самые последние покупки, которые он заказывал в последнее время, перед тем как отойти в мир иной, и которые были ему доставлены обычным образом.

Может быть, мне следует Вам объяснить, что публикации подобного рода зачастую являются довольно редкими и потому стоят довольно дорого. Некоторые печатались частным образом, некоторые находятся в нашей стране под запретом, что еще больше повышает их цену.

Будьте уверены, уважаемая мадам, что я всегда веду свои дела на условиях строгой конфиденциальности. Моя собственная репутация и профессиональный стаж являются лучшей гарантией моего благоразумия. После того как счет будет оплачен, Вы никогда уже не услышите об этой истории, разве что, конечно, в Ваши руки случайно попадет собрание эротики, принадлежавшее Вашему покойному мужу, в каком-то случае я буду рад сделать Вам за нее выгодное предложение.

Возвращаясь к книгам:

ОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ, Айзек Уолтон, первое издание.
Хороший чистый экземпляр. Немного потерт по краям. Редкая.
(ф.) 420

ВЕНЕРА В МЕХАХ, Леопольд фон Захер-Мазох, издание 1920.
Суперобложка. 75

СЕКСУАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ, перевод с датского. 40
КАК ДОСТАВИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ЮНЫМ ДЕВУШКАМ, КОГДА ВАМ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ, иллюстрации. Частное парижское издание. 95

ИСКУССТВО НАКАЗАНИЯ – ТРОСТЬ, КНУТ И ХЛЫСТ, перевод с немецкого
Запрещена в Британии. 115

ТРИ БЕСПУТНЫЕ МОНАХИНИ, хороший чистый экземпляр.
60

ОКОВЫ И ШЕЛКОВЫЕ ВЕРЕВКИ
Иллюстрации. 80

ПОЧЕМУ ЮНЫЕ ДЕВУШКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ СТАРИКОВ,
иллюстрации.

Американская. 90

ЛОНДОНСКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЭСКОРТ-УСЛУГАМ И ДО-
МИНАТОРЩАМ, последнее издание. 20

Итого: (ф.) 995

Искренне Ваш,

Уильям Баггедж»

— Все готово, — сказала мисс Тоттл, выкручивая письмо из машинки. — С этим покончено. Но ты же понимаешь, что у меня нет с собой моей «библии», так что проверять фамилии придется дома перед тем, как послать.

— Ну, так и сделай, — сказал мистер Баггедж.

«Библией» мисс Тоттл была объемистая картотека, куда она записывала фамилии и адреса всех клиентов, которым посылала письма, от самого начала бизнеса. Целью этой, вроде бы излишней, работы было максимально гарантировать, что никакие два члена одной семьи не получают письмо от Баггеджа. Случись такое, возникла бы опасность, что они расскажут друг другу. Вдобавок — страховка от того, что жене, получившей счет после смерти первого мужа, будет послан новый счет после смерти второго; это неизбежно привело бы к краху. Полной гарантии, что такая опасная ошибка не будет сделана, конечно же, не было, поскольку жена при повторном браке меняла фамилию, но мисс Тоттл научилась буквально вынюхивать такие ловушки, и «библия» ей в этом помогала.

— Что там дальше? — спросила мисс Тоттл.

— Следующий у нас генерал-майор Анстрадер. Вот он тут. Добрых дюймов шесть в «Кто есть кто». «Клубы: Армейский и Военно-морской. Отдых: охота с борзыми».

— Упал, наверное, с лошади и сломал свою долбаную шею, — предположила мисс Тоттл. — Я начну с «Записок охотника на лисиц», первое издание, верно?

— Верно. Двести двадцать фунтов, — сказал мистер Баггедж. — И сделай, чтобы всего что-нибудь между пятью и шестью сотнями.

— О'кей.

— И вставь туда «Удар хлыстом». Для этих охотников на лисиц хлыст самое подходящее дело.

Так оно и шло.

Марракешский отпуск продолжался самым приятным образом, а через девять дней мистер Баггедж и мисс Тоттл снова были в своем магазине, докрасна загорелые, как вареные омары, которыми все это время питались. Они быстро вошли в нормальную, деловую колею. День за днем отправлялись письма, день за днем приходили чеки. Можно было только удивляться, как гладко идет их бизнес. Его психологическая подоплека была, конечно, весьма разумна. Ударь вдову в момент наибольшего горя, ударь ее чем-то невыносимо отвратительным, чем-то таким, что ей захочется тут же забыть, оставить в прошлом, чем-то, что нельзя никому рассказать. И ведь тут со дня на день похороны, так что она торопится расплатиться и убрать из головы это мелкое гнусенькое дело.

Мистер Баггедж знал свою клиентуру; за все эти годы он ни разу не нарвался на отказ — только чеки в конвертах. Время от времени, но не очень часто, ответа не было вовсе; недоверчивая вдова имела достаточно смелости, чтобы выкинуть письмо в мусорную корзину, но тем все и кончалось. Ни одна из них не решалась оспорить предъявленный счет, ведь они не были на все сто процентов уверены, что их покойные мужья были настолько честны и непорочны, как им хотелось надеяться. Мужчины, они все с червоточинкой, и очень даже нередко вдова прекрасно знала цену своему покойному муженьку, так что счет от мистера Баггеджа не был особенным сюрпризом. Такие платили еще быстрее.

Через месяц после возвращения из Марракеша в дождливый и промозглый мартовский день мистер Баггедж удобно расположился в своем кресле, положив ноги на антикварный письменный стол, и штудировал подробности биографии недавно скончавшегося знаменитого адмирала.

— «Отдых, — зачитывал он мисс Тоттл по „Кто есть кто“, — сад, парусный спорт, собирание марок...»

В этот момент дверь из главного магазина открылась и вошел молодой человек с книгой в руке.

— Мистер Баггедж? — спросил он.

Мистер Баггедж поднял глаза.

— Туда, — махнул он рукой в сторону мисс Тоттл, — она вас обслужит.

Молодой человек не шевельнулся; его темно-синее пальто промокло от дождя, с волос стекала вода. Он даже не взглянул на мисс Тоттл, его глаза были прикованы к мистеру Баггеджу.

— Вы разве не хотите получить деньги? — спросил он довольно приятным тоном.

— Заплатите ей.

— А почему вы сами не хотите получить?

— Потому что она заведует кассой, — объяснил мистер Баггедж. — Хотите купить книгу, так давайте. Она с вами разберется.

— Я бы предпочел разобраться с вами, — сказал молодой человек.

Мистер Баггедж взглянул на него в упор.

— Будьте любезны, — сказал он, — делайте, как вам сказано.

— Но ведь вы же владелец этого заведения? — спросил молодой человек. — Вы — мистер Уильям Баггедж?

— Ну и что, если вдруг я? — спросил мистер Баггедж, не снимая ног со стола.

— Так вы или не вы?

— Ну и что с того, что я? — спросил мистер Баггедж.

— Что ж, с этим разобрались, — сказал молодой человек. — Как поживаете, мистер Баггедж.

В его голосе ощущалась смесь презрения и насмешки.

Мистер Баггедж спустил ноги со стола и сел немного ровнее.

— А вам не кажется, что вы нахальный сосунок? — спросил он вызывающе. — Если вам нужна эта книга, платите ей деньги и забирайте. Вам все понятно?

Молодой человек повернулся к так и не закрытой двери в переднюю часть магазина; сразу за дверью пара обычных клиентов, мужчины в дождевиках, брали со стеллажей книгу за книгой и внимательно их рассматривали.

— Мама, — негромко позвал молодой человек. — Заходите, мама. Мистер Баггедж здесь.

В магазин вошла и встала рядом с юношей женщина лет шестидесяти. У нее была прекрасная с учетом возраста фигура, лицо, когда-то очень красивое, но теперь со следами изнеможения, и светло-голубые глаза, затуманенные горем. На ней было простое черное пальто и простая черная шляпа. Она тоже оставила дверь неприкрытой.

— Мистер Баггедж, — сказал молодой человек, — это моя мать миссис Норткот.

Мисс Тоттл, с ее памятью на фамилии, быстро оглянулась на мистера Баггеджа и беззвучно что-то прошептала. Мистер Баггедж

мгновенно оценил ситуацию и спросил со всей возможной вежливостью:

— Чем могу помочь вам, мадам?

Женщина открыла свою черную сумочку, достала письмо, аккуратно его развернула и протянула мистеру Баггеджу:

— Так, значит, это вы мне его послали?

Мистер Баггедж взял письмо в руки и какое-то время его рассматривал. Мисс Тоттл развернулась на вращающемся кресле и смотрела на мистера Баггеджа.

— Да, — подтвердил наконец мистер Баггедж. — Это мое письмо и мой счет. Все правильно, и все в порядке. Так в чем проблема, мадам?

— Мне хотелось бы спросить вас, — сказала женщина, — вы совершенно уверены, что все это правильно?

— Боюсь, что да, мадам.

— Но это просто невероятно... Мне невозможно поверить, что мой муж покупал все эти книги.

— Понимаете ли, ваш покойный муж мистер... мистер...

— Норткот, — подсказала мисс Тоттл.

— Да, мистер Норткот, да, конечно же мистер Норткот. Он заходил сюда не очень часто, раз или два в год, но он был прекрасным клиентом и очень достойным джентльменом. Позвольте, мадам, выразить вам глубочайшее сочувствие ввиду столь печальной утраты.

— Благодарю вас, мистер Баггедж. Но вы окончательно уверены, что не путаете его с кем-то другим?

— Ни малейших шансов, мадам, ни самых малейших шансов. Это может подтвердить и моя секретарша.

— А можно я взгляну? — спросила мисс Тоттл; она встала и взяла у мистера Баггеджа письмо. — Да, — подтвердила она, бегло просмотрев письмо. — Это я его печатала, так что ошибки нет никакой.

— Мисс Тоттл работает у меня уже длительное время, — вновь заговорил мистер Баггедж. — Она знает этот бизнес насквозь. Я не припомню ни разу, чтобы она сделала ошибку.

— И надеюсь, не сделаю, — гордо добавила мисс Тоттл.

— Так что вы видите, мадам, — развел руками мистер Баггедж.

— Это попросту невозможно, — стояла на своем женщина.

— Увы, мужчины — это мужчины, — сказал мистер Баггедж. — Им время от времени хочется поразвлечься, и в этом нет ничего такого уж страшного. Вы согласны, мадам?

Он сидел в своем кресле и ждал, когда же вся эта тягомотина кончится. Он чувствовал себя хозяином положения.

Но женщина даже не шелохнулась.

— Эти забавные книги из вашего списка, — спросила она, глядя мистру Баггеджу прямо в глаза, — они напечатаны Брайлем?

— Кем?

— Брайлем, азбукой Брайля.

— Я не знаю, о чем это вы, мадам.

— Я так и думала, что не знаете, — сказала женщина. — Но иначе мой муж не смог бы их прочитать. Он потерял зрение на войне, в битве под Аламейном, больше сорока лет назад. И с той поры ровно ничего не видел.

В комнате воцарилась полная тишина. Мать и сын стояли и смотрели на мистера Баггеджа. Мисс Тоттл отвернулась и смотрела в окно. Мистер Баггедж откашлялся, словно собираясь что-то сказать, однако передумал. Двое мужчин в дождевиках, стоявшие достаточно близко, чтобы слышать через открытую дверь каждое слово, сказанное в конторе, тихо переступили порог. Один из них показал мистру Баггеджу пластиковую карточку и представился:

— Инспектор Ричардс, отдел тяжких преступлений, Скотленд-Ярд. — И добавил мисс Тоттл, уже направившейся к своему столу: — Пожалуйста, мисс, ничего там не трогайте, пусть все останется на месте. Вы оба поедете с нами.

Сын ласково взял мать под руку и вывел ее через магазин под дождь.

ПОПУТЧИК

Я купил себе новую машину. Это была восхитительная игрушка, большой «БМВ 3.3 Li», что обозначает объем двигателя 3,3 литра, длинная колесная база, непосредственный впрыск. Машина имела предельную скорость 129 миль в час и потрясающую приемистость. Она была светло-голубая. Сиденья были тоже голубые, но потемнее, кожаные, из самой натуральной мягкой кожи наилучшего качества. Окошки открывались и закрывались нажатием кнопки, как и окошко в крыше. Когда я включал приемник, сама по себе выскакивала антенна; когда выключал, она убиралась. На маленькой скорости мощный двигатель нетерпеливо порывкивал, но уже при шестидесяти милях в час рычание стихало и мотор начинал довольно мурлыкать.

В тот день я ехал в Лондон один. Стоял прекрасный июньский день. В полях метали стога, обе обочины заросли лютиками. Я бесшумно несся со скоростью семьдесят миль в час, удобно откинувшись на спинку сиденья, едва касаясь пальцами баранки, чего вполне хватало для устойчивости машины. Потом я увидел на обочине человека с опущенным вниз большим пальцем. Я притормозил и остановился прямо рядом с ним. Когда голосуют, я всегда останавливаюсь. Я знаю, как себя чувствуешь, когда стоишь у дороги, а мимо проносятся машины. Я ненавижу водителей, притворяющихся, что они меня не видят, особенно водителей больших машин с тремя пустующими сиденьями. Большие дорогие машины останавливаются редко; те, кто предлагает подвезти, сидят обычно в маленьких или ржавых, до отказа забитых детьми; водитель обычно говорит:

- Думаю, если ужаться, одного человека мы точно втиснем.
- Автостопщик сунул голову в открытое окошко и спросил:
- В Лондон едем, начальник?
- Да, — кивнул я. — Залезай.

Он сел рядом со мной, и мы поехали дальше. Это был жалконький плюгавый человечек с серыми зубами. Его темные глаза были быстрыми и умными, как у крысы, а уши — слегка заостренными кверху. На его голове сидела матерчатая кепка, на нем была сероватая куртка с непомерно огромными карманами. Эта куртка вместе с бегающими глазами и заостренными ушами делала его необыкновенно похожим на огромную человекообразную крысу.

— В какую часть Лондона едешь? — спросил я.

— Насквозь и дальше, — ответил человечек. — Я добираюсь в Эпсом на скачки. Сегодня же как раз дерби.

— Верно, — согласился я. — Жаль, что не могу сделать то же самое; я люблю играть на скачках.

— В жизни не ставил на лошадей, — сказал человечек. — Я даже не смотрю, как они там бегают, абсолютно глупое занятие.

— Тогда зачем же ты едешь? — удивился я.

Он словно меня не слышал. Его крысиное лицо было лишено какого бы то ни было выражения, он глядел перед собой на дорогу и молчал.

— Наверное, ты работаешь с машинами, принимающими ставки или что-нибудь еще в этом роде, — сказал я наугад.

— Это еще глупее, — отрезал человечек. — Ну какая радость возиться с вшивыми машинами и продавать всяким олухам билеты? Это может делать любой идиот.

Повисло долгое молчание. Я решил больше его не расспрашивать; мне сразу же вспомнились мои автостопные дни и как раздражали *меня* вопросы водителей. Куда ты едешь? Зачем ты туда едешь? Где ты работаешь? Ты женат? У тебя есть девушка? Как ее звать? Сколько тебе лет? И так далее и так далее. Это доводило меня до бешенства.

— Извини, пожалуйста, — сказал я. — Не мое, конечно, это дело, чем ты там занимаешься. Дело только в том, что я писатель, а писатели в большинстве очень любят совать свой нос, куда их не просят.

— Ты пишешь книги? — спросил он.

— Да.

— Книги писать — дело хорошее, — сказал он. — Это то, что я называю «квалифицированная работа». Я тоже занимаюсь квалифицированной работой. Кого я презираю, так это тех людей, ко-

торые всю свою жизнь заняты каким-нибудь вшивым делом, не требующим никакой квалификации. Ты понимаешь, о чем я?

— Да.

— Главное в этой жизни, — сказал он, — это стать очень-очень большим специалистом в чем-нибудь, что делать очень-очень трудно.

— Вроде как ты, — сказал я.

— Вот именно. Как ты и я.

— А почему ты думаешь, что я хорошо справляюсь со своей работой? — спросил я. — Есть уйма очень плохих писателей.

— Не будь ты хорош на своей работе, ты бы не ездил на такой машине. Эта игрушка, она, наверное, стоит кругленькую сумму.

— Да в общем-то, не дешевая.

— На сколько она может разогнаться?

— Сто двадцать девять миль в час, — сказал я.

— Спорю, что не сможет.

— А я спорю, что сможет.

— Все производители машин брехуны, — сказал он. — Купи какую угодно машину, она в жизни не выдаст того, что производители объявляют в рекламе.

— Эта выдаст.

— А ты вот дай полный газ и докажи, — сказал человечек. — Давай, начальник, газани, и посмотрим, на что она способна.

Около Чалфонт-Сент-Питер есть круговая развязка, а сразу же за ней — протяженный участок хайвея с разделителем. Мы выехали с развязки на хайвей, и я даванул педаль газа. Машина прыгнула вперед как ужаленная; через десять секунд мы уже делали девяносто.

— Здорово! — воскликнул он. — Прелесть! Гони дальше!

Я вжал педаль газа до самого пола и не отпускал ее.

— Ровно сто! — крикнул он. — Сто пять! Сто десять! Сто пятнадцать! Гони что есть мочи!

Я держался крайней полосы; мы обогнали несколько машин так, словно они стояли неподвижно. Зеленый «мини», большой, цвета сливок «ситроен», белый «лендровер», огромный грузовик с контейнером в кузове, пламенный «фольксваген-минибас»...

— Сто двадцать! — крикнул мой пассажир, подпрыгивая на сиденье. — Давай! Гони! Выжми из нее сто двадцать девять!

И тут нас ударил по ушам вой полицейской сирены. Она звучала так громко, словно находилась внутри машины. А затем рядом с нами появился полицейский на мотоцикле; он обогнал нас по внутренней полосе и вскинул руку, приказывая остановиться.

— О моя благословенная тетя, — сказал я сквозь зубы.

Фараон делал, видимо, хорошие сто тридцать и, когда нас обогнал, долго не мог затормозить. В конце концов он прижался к обочине, я остановился сразу за ним.

— Вот уж не думал, что полицейские мотоциклы могут гнать с такой скоростью, — пробормотал я жалким голосом.

— Этот может, — сказал мой пассажир. — Та же фирма, что и у тебя. Это же «БМВ эр-девьяносто-эс». Самый быстрый из байков, теперь они все на таких.

Фараон слез со своего мотоцикла и откинул у него подпорки. Затем снял перчатки и аккуратно положил их на сиденье. Теперь он никуда не спешил. Нам было никуда не деться, и он прекрасно это понимал.

— Крупно мы влипли, — пробормотал я. — Как-то мне все это не нравится.

— Не говори с ним больше, чем необходимо, — посоветовал мой компаньон. — Главное — сиди и молчи.

Фараон подошел неторопливой походкой, словно палач к жертве. Это был здоровый мясистый мужик с хорошо намеченным брюхом. Его синие бриджи едва не лопались на непомерно огромных бедрах. Вздернутые на шлем очки открывали взору красное, словно вареный рак, лицо с широченными скулами.

Мы сидели, как напроказившие школьники, и ждали, пока он не подойдет.

— Осторожнее с этим мужиком, — прошептал пассажир, — с виду он злобный как черт.

Фараон обошел машину и положил свою мясистую лапу на край моего открытого окошка.

— Куда такая спешка? — спросил он.

— Да никакой особой спешки, офицер, — ответил я.

— Может быть, какая-нибудь женщина готова разродиться и вы спешно доставляете ее в больницу? Да?

— Нет, офицер.

— Или, может быть, ваш дом горит и вы спешите выручить свою семью, застрявшую на верхнем этаже?

В его голосе звучали опасная мягкость и откровенная издевка.

— Мой дом не горит, офицер.

— В таком случае, — сказал фараон, — вы нарвались на большие неприятности, вы согласны? Вам известно, какой у нас в стране предел разрешенной скорости?

— Семьдесят, — сказал я.

— А вы не могли бы мне сказать, с какой скоростью вы только что ехали?

Я пожал плечами и промолчал.

Когда фараон снова заговорил, это было так громко, что я подпрыгнул на сиденье.

— Сто двадцать миль в час! — рявкнул он. — Это на пятьдесят миль в час больше лимита.

Он повернул голову и выплюнул большой комок слюны; плевок угодил на крыло моей машины и начал медленно сползать по прекрасной голубой краске. А затем он вскинул голову и уставился на моего пассажира.

— А вы кто такой? — спросил он резким голосом.

— Это автостопщик, — объяснил я. — Я согласился его подвезти.

— Я вас не спрашиваю, — отрезал фараон. — Я спросил его.

— Я сделал что-нибудь плохое? — поинтересовался пассажир. Сейчас его голос был мягкий и масляный, словно крем для лица.

— Более чем возможно, — ответил фараон. — И в любом случае вы являетесь свидетелем, я займусь вами через минуту. Права! — рявкнул он и протянул руку.

Я отдал ему свои водительские права.

Он расстегнул левый нагрудный карман мундира и вытащил проклятую талонную книжку. Аккуратно переписал из моих прав адрес, имя и фамилию. Затем вернул мне права. Он зашел к машине спереди и списал ее номер с номерного знака. Зафиксировал дату, время и подробности моего нарушения. Затем оторвал талон. Прежде чем вручить его мне, он проверил сделанную под копирку копию, все получилось ясно и разборчиво. В конечном итоге он вернул талонную книжку в карман и застегнул пуговицу.

— Теперь вы, — сказал он моему пассажиру и зашел с другой стороны машины; из другого нагрудного кармана он достал маленький черный блокнот. — Имя?

— Майкл Фиц, — сказал мой пассажир.

- Адрес?
- Лутон, Виндзор-лейн, дом четырнадцать.
- Покажите мне что-нибудь, доказывающее, что это ваши настоящие имя и адрес.

Мой пассажир покопался в карманах и достал свои собственные права. Полицейский проверил имя и адрес и отдал права ему обратно.

- Ваша работа? — спросил он резким тоном.
- Я — козлонос.
- Что?!
- Козлонос.
- Произнесите по буквам.
- К-о-з-л-о...
- Хватит. Не могли бы вы сказать, что такое «козлонос»?
- Козлонос, офицер, — это человек, подносящий каменщику по лестнице раствор. А козел — это в чем он его подносит. У него такая длинная ручка и деревянные стенки, приделанные под углом...
- Хватит, хватит. Кто ваш работодатель?
- У меня нет работодателя, я безработный.

Фараон записал все это в свой черный блокнот, сунул его обратно в карман и застегнул пуговицу.

— Когда я вернусь в участок, обязательно проведу по вам небольшую проверку, — пообещал он моему пассажиру.

— Меня? Проверять? Разве я сделал что-нибудь плохое? — заверещал крысopodobный человечек.

— Мне подозрительно ваше лицо, вот и все, — сказал фараон. — Может быть, в наших файлах найдется где-нибудь ваш портрет.

Он обошел машину и вернулся к моему окошку.

- А вы, похоже, крупно влипли, — сказал он мне.
- Да, офицер.
- Вы теперь долго не будете раскатывать на этой своей роскошной машине, мы уж позаботимся. Да и вообще не будете раскатывать ни на какой машине ближайшие несколько лет. И хорошо, что не будете. И я надеюсь, для комплекта вас еще на сколько-то упрячут.

- Вы говорите про тюрьму? — встревожился я.
- Абсолютно верно, — подтвердил фараон и жирно причмокнул. — В каталажку. За решетку. Вместе с другими преступниками,

нарушающими закон. Ну и заодно приличный штраф. Все это доставит мне огромное удовольствие. Так что увидимся в суде с обоими вами. Вас вызовут повестками.

Он повернулся и пошел к своему мотоциклу. Пинком поднял подпорку. Затем сел в седло, включил стартер и с ревом умчался по дороге.

— Ух! — выдохнул я. — Теперь хоть можно вздохнуть поспокойнее.

— Нас поймали, — напомнил пассажир. — Нас поймали, и никуда тут не денешься.

— В смысле, что *меня* поймали.

— Тоже верно, — согласился пассажир. — Ну и что ты, начальник, будешь делать?

— Поеду сейчас же в Лондон и потолкую со своим адвокатом. Я запустил мотор и поехал дальше.

— Ты не верь, что он тут натрепал про тюрьму, — сказал пассажир. — Никто не сажает в тюрьму за превышение скорости.

— Ты уверен? — спросил я.

— Абсолютно, — ответил пассажир. — Они не могут даже забрать права; влепят, конечно же, охрещенный штраф, но тем дело и кончится.

У меня словно груз свалился с плеч.

— Кстати, — сказал я, — зачем ты ему соврал?

— Кто, я? А почему ты думаешь, что я ему соврал?

— Ты назвал себя безработным козлоносом. Но мне-то ты говорил, что занимаешься высококвалифицированным трудом.

— Так оно и есть, — сказал мой попутчик. — Но я не обязан все докладывать фараонам.

— Так чем же ты занимаешься? — спросил я.

— Что, — спросил он в ответ, — очень любопытно?

— Это что-нибудь, чего ты стесняешься?

— Стесняюсь? — с жаром воскликнул пассажир. — Я стесняюсь своей работы? Да я горд ею, как никто другой на свете. Очень уж вы, писатели, любопытны, — усмехнулся он. — И ты, наверное, не успокоишься, пока не получишь точного ответа.

— Да мне, в общем-то, все равно, — соврал я.

Пассажир хитро взглянул на меня краем глаза.

— А вот мне что-то кажется — не все равно, — сказал он. — По твоему лицу вижу, ты подозреваешь, что я занимаюсь чем-то необычным, и у тебя прямо зудит узнать, чем именно.

Мне не понравилось, как он читает мои мысли. Я молчал и глядел на дорогу.

— И в общем-то, ты прав, — продолжил пассажир. — У меня весьма своеобразная профессия. Самая необычная, какая может быть.

Я ждал продолжения.

— И поэтому, понимаешь ли, мне приходится быть очень осторожным, с кем и о чем говорю. Откуда я знаю, к примеру, что ты не фараон в штатском?

— Я похож на фараона?

— Нет, — мотнул головой попутчик. — Не похож. Более того, ты и не фараон, это видно любому идиоту.

Он достал из необъятного кармана жестянку с табаком и начал крутить самокрутку. Я смотрел на него краешком глаза; скорость, с которой он выполнял эту непростую операцию, поражала воображение. Сигарета была готова уже через пять секунд. Он провел языком по краешку бумаги, заклеил ее и сунул в рот. Словно из ниоткуда, в его руке появилась зажигалка. Вспыхнул язычок пламени, мой попутчик глубоко затянулся. Зажигалка снова исчезла. Что и говорить, замечательное представление.

— В жизни не видел, чтобы кто-нибудь так быстро крутил самокрутку, — сказал я.

— А, — сказал он, выпуская клуб дыма. — Так ты заметил.

— Конечно заметил, это ж чистая фантастика.

Пассажир откинулся на спинку и улыбнулся. Ему очень понравилось, что я обратил внимание, как быстро он скрутил самокрутку.

— Хочешь знать, что мне в этом помогает?

— Давай расскажи.

— Это потому, что у меня фантастические пальцы. Мои пальцы, — сказал он, растопырив передо мною обе пятерни, — быстрее и умнее, чем пальцы лучшего в мире пианиста.

— Ты играешь на пианино?

— Не строй из себя идиота, — сказал он. — Разве я похож на пианиста?

Я взглянул на его пальцы. Они имели великолепную форму, были такими тонкими, длинными и изящными, что никак не сочетались с остальной его внешностью. Такие пальцы скорее подошли бы нейрохирургу или часовщику.

— Моя работа, — продолжил пассажир, — во сто раз труднее, чем играть на пианино. Любого олуха можно научить играть на пианино. В наше время малолетние клопы барабанят по пианино едва ли не в каждом доме, так ведь?

— Более или менее, — сказал я.

— Конечно же, это так. Но и один человек из десяти миллионов не научится тому, что делаю я. Ни один из десяти миллионов. Ну, как тебе это?

— Поразительно, — сказал я, ничего не понимая.

— Ты абсолютно прав, что это поразительно, — согласился он.

— Пожалуй, я знаю, чем ты занимаешься, — сказал я. — Ты показываешь фокусы. Ты хороший фокусник.

— Я? — презрительно фыркнул мой попутчик. — Фокусник? Ты можешь себе представить, как я таскаюсь по вшивым детским утренникам и достаю из цилиндра кроликов?

— Значит, ты играешь в карты. Подбиваешь людей на игру и сдаешь себе роскошную карту.

— Я и какое-то вонючее шулерство! — фыркнул он. — Вот уж действительно жалкое занятие.

— Ладно, сдаюсь.

Теперь я вел машину медленно, не больше сорока миль в час, чтобы уж точно не остановили. Мы выехали на шоссе Лондон—Оксфорд и теперь катили под уклон к Денему.

И вдруг в руке моего пассажира оказался черный кожаный ремень.

— Видел такой где-нибудь раньше? — спросил он; у ремня была латунная пряжка с необычным орнаментом.

— Ой! — удивился я. — Это же точно как мой. Да это действительно мой! Где ты его взял?

Он ухмыльнулся и покачал пряжкой из стороны в сторону:

— Конечно, из твоих брюк.

Я схватился за свой ремень, вернее — попытался схватиться.

— Ты хочешь сказать, что снял его с меня, пока я вел машину? — изумился я.

Он кивнул, не спуская с меня своих маленьких крысиных глазок.

— Это невозможно, — твердо сказал я. — Для этого нужно растегнуть пряжку и протащить ремень через все петли по кругу.

Я бы увидел, как ты это делаешь. И если бы даже не увидел, наверняка бы почувствовал.

— А ты ничего не почувствовал, — сказал он торжествующе и бросил ремень себе на колени, а потом вдруг оказалось, что он держит в пальцах коричневый ботиночный шнурок. — А как насчет этого? — спросил он, болтая шнурком.

— Что насчет этого? — спросил я.

— У кого-нибудь тут, часом, не пропал шнурок из ботинка? — спросил он, широко ухмыляясь.

Я бросил взгляд на свои ботинки. В одном из них не было шнурка.

— Господи! — воскликнул я. — Да как ты это сделал? Я даже не заметил, как ты нагибаешься.

— А ты ничего не заметил, — гордо сказал пассажир. — Ты вообще не видел, чтобы я шевельнулся, и знаешь почему?

— Знаю, — кивнул я. — Потому что у тебя фантастические пальцы.

— Абсолютно верно! — воскликнул попутчик. — Быстро ты ображаешь. — Он откинулся на спинку сиденья, затянулся своей самокруткой и выпустил на ветровое стекло тонкую струйку дыма. Мужик понимал, что два его фокуса произвели на меня впечатление, и откровенно этому радовался. — Не хотелось бы мне опоздать, — сказал он. — Сколько сейчас времени?

— Да вот же часы, прямо перед тобой.

— Не верю я этим автомобильным часам, сколько сейчас по твоим?

Я поддернул рукав, чтобы взглянуть на часы. Их там не было. Я взглянул на мужика, он смотрел на меня и улыбался.

— Ты и их с меня снял, — сказал я.

Он протянул руку, на его ладони лежали мои часы.

— Отличная штука, — сказал он. — Высшее качество, восемнадцатикаратное золото. И продать проще простого. Пристроить качественный товар вообще очень просто.

— Если ты не возражаешь, я бы не прочь получить их назад, — пробурчал я обиженно.

Мужик осторожно положил часы перед собой на кожаный поддон.

— Я в жизни, начальник, ничего у тебя не возьму, — сказал он. — Ты мне друг. Ты меня подвожишь.

— Рад это слышать, — немного оттаял я.

— Все, что я делаю, это просто ответ на твой вопрос, — продолжил он. — Ты спросил меня, чем я зарабатываю на хлеб, вот я тебе и показываю.

— А что у тебя еще есть из моего?

Он снова улыбнулся и начал одну за другой доставать из своих карманов принадлежащие мне вещи: мои водительские права, связку из четырех ключей, несколько фунтовых бумажек, несколько монет, письмо от моих издателей, мой дневник, маленький огрызок карандаша, зажигалку и самым последним номером — великолепное старинное кольцо моей жены с большим сапфиром и мелкими жемчужинами вокруг него. Я вез это кольцо к лондонскому ювелиру, потому что одна из жемчужинок выпала.

— А вот это уж точно отличная вещь, — сказал он, разглядывая кольцо. — Восемнадцатый век, насколько я понимаю, период Георга Третьего.

Его познания впечатляли.

— Ты прав, — подтвердил я. — Ты абсолютно прав.

Он положил кольцо на кожаный поддон рядом с другими вещами.

— Так, значит, ты карманник, — сказал я.

— Ты бы сказал еще «щипач»! — возмутился попутчик. — Я не люблю это грубое вульгарное слово. Карманники — это грубые, вульгарные люди, способные только на примитивнейшую работу. Они воруют деньги у слепых старушек.

— И как же ты тогда себя называешь?

— Себя? Я — пальцедел, профессиональный пальцедел.

Он произнес это гордо и торжественно, словно сообщая мне, что он президент Королевского хирургического колледжа или архиепископ Кентерберийский.

— В жизни не слышал такого слова, — сказал я. — Ты его сам придумал?

— Конечно же, не я его придумал. Так называют тех, кто достиг вершины этой профессии. Вот ты слышал, конечно же, про золотоделов. Они выполняют тончайшую работу по золоту. А я выполняю тончайшую работу пальцами, поэтому я пальцедел.

— Интересная, наверное, работа.

— Великолепная работа, — согласился мой попутчик. — И очень приятная.

— И потому-то ты и едешь на скачки?

— Скачки, это самое милое дело, — подтвердил он. — Ты просто бродишь после заезда и высматриваешь счастливых, встающих в очередь за своими выигрышами. И когда ты видишь кого-нибудь, кто получает толстую пачку денег, ты просто следуешь за ним и берешь у него сколько хочешь. Ты только, начальник, не пойми меня неверно, я ничего не беру у проигравших, а также у бедняков. Я занимаюсь только выигравшими и богатыми.

— Весьма благородная политика, — сказал я. — И часто ты попадаешься?

— Попадаюсь? — возмутился попутчик. — Чтобы кто-то там поймал меня? Ловят только карманников, пальцеделов — никогда. Послушай, при желании я мог бы вынуть у тебя изо рта вставную челюсть, и даже тогда ты меня бы не поймал.

— У меня нет вставных зубов.

— Я знаю, что нет, — сказал попутчик, — иначе я давно бы их вынул.

Я ему верил; эти длинные тонкие пальцы были способны на что угодно.

Какое-то время мы ехали молча.

— Этот полицейский думает проверить тебя вдоль и поперек, — сказал я. — Это тебя не беспокоит?

— Да откуда он знает, кого проверять?

— Как это откуда? Все твои данные аккуратно записаны в его черном блокнотике.

Попутчик одарил меня очередной хитрой крысиной улыбкой.

— Да, конечно, — согласился он, — в блокнотике все записано. Только зуб даю, что в его памяти ровно ничего не записано. Я в жизни еще не видел фараона с приличной памятью. Иногда они забывают даже собственное имя.

— А при чем тут какая-то память? — удивился я. — Все записано у него в блокноте.

— Да, начальник, записано. Беда только в том, что он потерял свой блокнот. Он потерял и блокнот с моим именем, и талонную книжку, где записан ты.

Он торжествующе показал мне блокнот и талонную книжку, изъятые им из карманов полицейского.

— Это было проще простого, — объявил он с гордостью.

От радости я чуть не врезался в молоковоз.

НОВЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

- Так что у этого фараона нет теперь на нас ровно ничего, — сказал мой попутчик.
- Ты — гений! — воскликнул я.
- Ни имен, ни адресов, ни номера машины — ровно ничего.
- Ты просто великолепен!
- Думаю, нам стоит поскорее свернуть куда-нибудь на проселок, разложить небольшой костерок и сжечь эти поганые книжки.
- Ты просто фантастический мужик! — воскликнул я.
- Спасибо, начальник, — сказал он. — Все-таки приятно, когда твой талант оценивают должным образом.

ХИРУРГ

— Вы поправились на удивление быстро, — сказал Роберт Санди, снова садясь за стол. — С любой стороны великолепное выздоровление; я не думаю, что вам нужно будет еще ко мне приходить.

Его пациент закончил одеваться и спросил у хирурга:

— Извините, но можно задать вам один вопрос?

— Конечно, — сказал Роберт Санди. — Садитесь, пожалуйста.

Пациент сел напротив хирурга и положил ладони на стол:

— Так вы по-прежнему не хотите принять гонорар?

— Я никогда еще не принимал гонораров и совсем уже не молод, чтобы менять жизненные привычки, — объяснил Роберт Санди приятным голосом. — Я полностью работаю на национальную службу здравоохранения, и мне платят вполне приличную зарплату.

Роберт Санди, магистр гуманитарных наук, магистр хирургии, член Королевского хирургического колледжа, работал в Радклиффской больнице Оксфорда уже восемнадцать лет, а всего ему было пятьдесят два года. У него была жена и трое взрослых детей. В отличие от многих своих коллег он не гонялся за известностью и богатством; он был, по сути, очень простой человек, полностью преданный делу.

Ровно семь недель назад этого вот пациента, университетского старшекурсника, спешно привезли на «скорой помощи» в травматологию после очень серьезной автомобильной аварии, случившейся на Банбери-роуд неподалеку от больницы. У него были сильно травмированы органы брюшной полости, и он потерял сознание. Когда позвонили из травматологии и затребовали хирурга, Роберт Санди только что сел в своем кабинете выпить чаю и отдохнуть после весьма тяжелой утренней работы, включавшей операции на желчном пузыре, на простате и полную колостомию, но как-то уж вышло, что в этот момент других свободных хирургов попросту не было. Он последний раз глотнул из чашки и сразу пошел в операционную снова мыть руки и всякое прочее.

После трех с половиной часов, проведенных на операционном столе, пациент все еще был жив, и Роберт Санди делал все от него зависящее, чтобы так оно было и дальше. На следующий день, к вящему удивлению хирурга, пациент начал выказывать признаки того, что он действительно выживет. К тому же его сознание было совершенно ясным, и он говорил вполне разумно. И лишь тогда, утром после операции, Роберт Санди начал понимать, что за персона попала ему в руки. В больницу заявились представительные господа из посольства Саудовской Аравии, включая самого посла, и первым делом они захотели вызвать на консультацию всяких знаменитых хирургов с Харли-стрит. Пациент, весь обвешанный капельницами, с уймой прозрачных шлангов, вставленных ему в различные части тела, упрямо покачал головой и пробормотал послу что-то по-арабски.

— Он говорит, что доверит свое лечение только вам, — объяснил посол Роберту Санди.

— В общем-то, если вам хочется, вызывайте любых консультантов, — предложил Роберт Санди.

— Но он же этого не хочет, — сказал посол. — Он говорит, что вы спасли ему жизнь и он полностью вам доверяет. Мы должны уважать его пожелания.

И посол рассказал Роберту Санди, что его пациент ни больше ни меньше как принц королевских кровей. Иными словами, это был один из многочисленных сыновей короля Саудовской Аравии.

Через несколько дней, когда принца перевели из реанимации, посольство еще раз попыталось уговорить его сменить хирурга. Его хотели перевезти в роскошную больницу, принимавшую только избранных пациентов, но принц об этом и слышать не пожелал.

— Я останусь здесь, — сказал он. — С хирургом, спасшим мне жизнь.

Роберт Санди был тронут безграничным доверием пациента и все последующие дни старался его оправдать. И вот теперь в кабинете для консультаций принц говорил:

— Мне бы хотелось, мистер Санди, чтобы вы мне позволили хоть как-то заплатить вам за все, что вы для меня сделали. — Молодой человек проучился в Оксфорде целых три года и знал уже, что в Англии обращаются к хирургу не «доктор», а «мистер». — Пожалуйста, мистер Санди, позвольте мне заплатить.

Роберт Санди покачал головой.

— Простите, — сказал он, — но я все же должен сказать вам нет. Это мое личное правило, и я не намерен его нарушать.

— Да бросьте, вы же спасли мне жизнь, — сказал принц, барабня ладонями по столу.

— Я сделал ничуть не больше, чем сделал бы на моем месте любой компетентный хирург, — сказал Роберт Санди.

Принц убрал руки со стола и сцепил их у себя на коленях.

— Хорошо, мистер Санди, но, пусть и отказываясь от гонорара, вы не запретите моему отцу выказать свою вам благодарность небольшим подарком?

Роберт Санди пожал плечами. Благодарные пациенты нередко дарили ему ящик виски или дюжину бутылок вина, и он с чистым сердцем принимал такие подарки. Он никогда на них вперед не рассчитывал, но принимал их с радостью. Это был удачный и изящный способ сказать спасибо.

Принц достал из кармана куртки маленький мешочек из черного бархата и подтолкнул его к хирургу.

— Мой отец, — сказал он, — просил меня сказать вам, что он в неоплатном долгу перед вами за то, что вы для меня сделали. Он сказал мне, что вне зависимости от того, примете вы гонорар или нет, я должен добиться, чтобы вы приняли этот маленький подарок.

Роберт Санди взглянул на бархатный мешочек с большим подозрением и даже не шевельнулся, чтобы его взять.

— Мой отец, — продолжил принц, — велел вам сказать, что для него моя жизнь бесценна и ничто не может быть достойной наградой за то, что вы ее спасли. А это просто... ну, как бы это сказать... подарок на ваш ближайший день рождения. Маленький именинный подарок.

— Не нужно ему было ничего мне дарить, — сказал Роберт Санди.

— Вы посмотрите, пожалуйста, — предложил принц.

С некоторой опаской хирург взял мешочек и распустил шелковую нитку, которой тот был затянут. Когда он перевернул мешочек, сверкнул ослепительный свет, и на стол вывалился белый сверкающий камешек. Камешек был размером с орех кешью или чуть побольше, длиною, наверно, с три четверти дюйма, сливообразной формы, сильно заостренный на узком конце. Его многочисленные грани сверкали и переливались самым удивительным образом.

— Боже мой, — пробормотал Роберт Санди, глядя на камень, но боясь к нему прикоснуться. — Что это такое?

— Это бриллиант, — сказал принц. — Белый, чистейшей воды. Не слишком большой, но хорошего цвета.

— Я не могу принять такой подарок, — сказал Роберт Санди. — Нет, это было бы неправильно. Он наверняка очень дорогой.

Принц широко ему улыбнулся:

— Мистер Санди, я должен вам кое-что сказать. Никто не отвергает подарки короля. Это было бы ужасным оскорблением. Такого ни разу еще не было.

Роберт Санди взглянул на принца.

— Господи, — сказал он, — вы ставите меня в неловкое положение.

— Ничего в этом нет неловкого, — сказал принц. — Просто возьмите, и всё.

— Вы можете подарить его больнице.

— Мы уже внесли в пользу больницы некоторую сумму, — сказал принц. — Пожалуйста, примите его не только ради моего отца, но и ради меня.

— Вы очень добры, — сказал Роберт Санди. — Хорошо, я приму, только мне очень неловко. — Он взял бриллиант и положил его на ладонь. — В нашей семье никогда еще не было бриллиантов. Господи, какой же он красивый. Передайте, пожалуйста, его величеству мою благодарность и скажите, что я сохраню этот камень как величайшее сокровище.

— Вы совсем не обязаны так уж за него держаться, — сказал принц. — Мой отец ничуть не обидится, если вы его продадите. Кто знает, может быть, однажды вам понадобится немного карманных денег.

— Не думаю, чтобы я стал его продавать, — сказал Роберт Санди. — Он очень красивый. Возможно, я сделаю из него кулон для моей жены.

— Прекрасная мысль, — сказал принц, поднимаясь со стула. — И пожалуйста, не забывайте того, что я сказал вам раньше. Вы и ваша жена всегда будете в нашей стране желанными гостями. Мой отец будет рад с вами познакомиться.

— Очень мило с его стороны, — сказал Роберт Санди. — Я не забуду.

Когда принц ушел, Роберт Санди снова взял бриллиант со стола и начал восхищенно его рассматривать. Камень потрясал своей

красотой, при легком покачивании из стороны в сторону свет падал то на одну грань, то на другую, и он вспыхивал синим, розовым и золотым. Роберт Санди взглянул на свои часы. Было десять минут четвертого. И тут ему в голову явилась мысль. Он поднял телефонную трубку и спросил секретаршу, записаны ли на сегодня какие-нибудь срочные дела. Дел особых не было, и он сказал ей, что уйдет сегодня пораньше.

— Нет ничего такого, что не подождало бы до понедельника, — сказала секретарша, чувствуя, что в кои-то веки у этого очень работающего человека появилась некая причина уйти.

— У меня тут есть кое-какие дела, которые надо бы сделать.

— Да вы идите, мистер Санди, — сказала секретарша. — Постарайтесь хоть немного отдохнуть за выходные. Увидимся в понедельник.

На больничной автостоянке Роберт Санди отстегнул от цепочки свой велосипед, сел на него и поехал в направлении Вудсток-роуд. Он всегда ездил на работу на велосипеде, если только погода не была особо скверной. Это помогало сохранить форму, а также означало, что машина остается в распоряжении жены. И в этом не было ничего странного, половина населения Оксфорда ездила на велосипедах. Свернув на Вудсток-роуд, он направился к Хай. Единственный в городе хороший ювелир держал свою мастерскую на Хай, примерно посередине правой стороны, и звали его Г. Ф. Голд, так было написано над витриной, и большинство людей знало, что Г. обозначает Гарри. Гарри Голд бывовал здесь уже долгое время, но Роберт был внутри его лавки всего однажды, несколько лет назад, когда покупал своей дочери на конфирмацию маленький браслетик.

Он привалил велосипед к обочине прямо перед лавкой и вошел. Женщина, стоявшая за прилавком, спросила, чем она может ему помочь.

— Мистер Голд на месте?

— Да.

— Я бы хотел, если можно, поговорить с ним пару минут. Моя фамилия Санди.

— Подождите, пожалуйста, минуту. — Женщина исчезла во внутренней части лавки, а через полминуты вернулась и сказала: — Зайдите, пожалуйста.

Роберт Санди вошел в большое, порядком захламленное помещение, где за столом сидел маленький пожилой человек с седой

эспаньолкой и очками в проволочной оправе; увидев входящего Роберта, он встал.

— Мистер Голд, меня зовут Роберт Санди, я хирург в Радклиффской. Не могли бы вы мне помочь?

— Всемерно постараюсь, мистер Санди. Садитесь, пожалуйста.

— Так вот, это очень странная история, — начал Роберт Санди. — Я тут недавно оперировал одного из саудовских принцев. Он третьекурсник в колледже Святой Магдалины и попал в очень серьезную автомобильную аварию. А сегодня он дал мне, вернее, вручил от имени своего отца бриллиант совершенно восхитительного вида.

— Господи помилуй, — сказал мистер Голд. — Какая удивительная история.

— Я не хотел принимать этот бриллиант, но он меня фактически заставил.

— И вы бы хотели, чтобы я на него взглянул?

— Да, хотел бы. Понимаете, я не имею никакого представления, стоит он пятьсот фунтов или пять тысяч, и было бы интересно знать его приблизительную цену.

— Конечно же, интересно, — сказал Гарри Голд, — и я с радостью вам помогу. Врачи Радклиффской помогали мне за долгие годы не раз и не два.

Роберт Санди достал черный мешочек из кармана и положил на стол; Гарри Голд развязал мешочек и вытряхнул бриллиант себе на ладонь. Когда камень упал на ладонь старика, тот на мгновение застыл. Все его тело стало неподвижным, он сидел и смотрел на сверкающий бриллиант. Затем он медленно встал. Подошел к окну, взял бриллиант таким образом, что на него падал свет, и стал осторожно его поворачивать. Он не говорил ни слова. Его лицо ничего не выражало. Все так же держа бриллиант, он двинулся к своему столу, достал из ящичка лист бумаги, сложил его пополам, снова распрямил и положил бриллиант в складку. Затем снова подошел к окну и с минуту рассматривал бриллиант, лежащий в бумажной складке.

— Я изучаю его цвет, — объяснил он в конце концов. — Это первое, что нужно делать. Цвет изучают на фоне белой бумаги и предпочтительно в северном свете.

— А это северный свет?

— Да, северный. Мистер Санди, у этого камня восхитительный цвет. Самый лучший D-цвет, какой я только видел. Среди специа-

листов наилучший белый цвет называют D-цветом. Кое-где его называют «Ривер», но это главным образом в Скандинавии. В обиходе такие камни называют голубыми белыми.

— На мой взгляд, он не слишком-то голубой, — заметил Роберт Санди.

— Чистейший белый цвет всегда содержит следы голубого, — сказал Гарри Голд. — Поэтому раньше белые непременно подсинивали, так оно казалось белее.

— Да, конечно же, помню.

Гарри Голд вернулся к своему столу и достал увеличительное стекло.

— Это десятикратная лупа, — объяснил он.

— Как вы назвали эту штуку?

— Лупа. Это просто увеличительное стекло, которым пользуются ювелиры. С помощью лупы я обследую этот камень на наличие дефектов.

Еще раз вернувшись к окну, Гарри Голд стал придирчиво разглядывать бриллиант через десятикратную лупу, держа бумагу с камнем на ней в одной руке, а лупу в другой. Так продолжалось минуты четыре, Роберт Санди смотрел и молчал.

— Насколько я вижу, — сказал наконец Гарри Голд, — дефекты полностью отсутствуют, это воистину прекрасный камень. Первоклассное качество и прекрасная, хотя точно старая огранка.

— А сколько примерно граней у таких бриллиантов? — спросил Роберт Санди.

— Пятьдесят восемь.

— Вы хотите сказать, что знаете это точно?

— Да, я знаю совершенно точно.

— Господи помилуй. И сколько же он приблизительно стоит?

— За бриллиант вроде этого, — сказал Гарри Голд, переложив его с белой бумаги на ладонь, — камень цвета D таких размеров и чистоты можно легко получить от двадцати пяти до тридцати тысяч долларов за карат. В магазине он стоил бы в два раза больше. До шестидесяти тысяч долларов за карат при розничной продаже.

— Господи спаси и помилуй! — воскликнул Роберт Санди, вскакивая на ноги.

Слова ювелира буквально сбросили его со стула; он стоял как громом пораженный.

— А теперь, — продолжил Гарри Голд, — нам нужно выяснить, сколько же каратов он весит. — Он пересек свой кабинет и подо-

шел к полке, на которой стоял небольшой аппарат. — Это просто электронные весы, — объяснил он Роберту, а затем отодвинул стеклянную дверцу и положил бриллиант на весы. Покрутив пару каких-то ручек, он прочитал цифру на шкале. — Он весит пятнадцать целых двадцать семь сотых карата. В каком случае, если вас это интересует, он стоит приблизительно полмиллиона долларов при оптовой продаже и свыше миллиона в магазине.

— Вы заставляете меня нервничать, — сказал Роберт Санди и нервно засмеялся.

— Будь это мой камень, — сказал Гарри Голд, — я бы тоже стал нервничать. — Садитесь, мистер Санди, а то еще вдруг упадете в обморок.

Роберт Санди послушно сел. Гарри Голд неторопливо вернулся в свое кресло, за большой письменный стол.

— Мистер Санди, — сказал он, — это просто поразительный случай. Я не часто имею удовольствие так приятно кого-нибудь поразить. Меня это радует едва ли не больше, чем вас.

— Я еще слишком потрясен, чтобы действительно радоваться, — сказал Роберт Санди. — Дайте мне секунду-другую, чтобы прийти в себя.

— Вы поймите, — сказал Гарри Голд, — что от короля Саудовской Аравии ожидать меньшего было просто нельзя. Вы, кажется, сказали, что спасли этому принцу жизнь?

— Не помню, говорил ли, но, наверное, спас.

— Этим все и объясняется. — Гарри Голд снова уложил бриллиант в бумажную складку и глядел на него влюбленными глазами. — Я бы предположил, что этот камень взят из сокровищницы старого короля Ибн Сауда Аравийского. В этом случае он совершенно неизвестен специалистам, что делает его еще более привлекательным. Вы собираетесь его продавать?

— Господи, да я и вообще не знаю, что мне с ним делать, — сказал Роберт Санди. — Все это так неожиданно.

— Позвольте мне дать вам совет.

— Да, конечно, пожалуйста.

— Если вы действительно думаете его продать, нужно сделать это с аукциона. Никем еще не виденный камень вроде этого привлечет к себе массу интереса; богатые частные покупатели будут буквально за него сражаться. А если вы к тому же раскроете источник его происхождения, расскажете, что камень поступил прямо

от саудовской королевской семьи, цена может вовсе пробить потолок.

— Вы были очень ко мне добры, — сказал Роберт Санди. — Если я решу его продавать, непременно приду к вам за советом. Но только скажите мне, действительно в магазине бриллиант стоит вдвое больше, чем при оптовой продаже?

— Мне бы не надо вам это говорить, — сказал Гарри Голд, — но, боюсь, это действительно так.

— Так что, покупая его на Бонд-стрит или где-нибудь вроде, ты платишь вдвое больше его действительной стоимости?

— Более или менее так. Многие юные леди бывают неприятно поражены, когда пытаются перепродать ювелирное украшение, подаренное им джентльменами.

— Выходит, неверно, что бриллианты — лучшие друзья юной девушки?

— И все же хорошо иметь таких друзей, — сказал Гарри Голд, — как вы только что успели заметить. Но, вообще говоря, они для любителя далеко не лучшее вложение капитала.

Выйдя на Хай, Роберт Санди сел на велосипед и поехал домой. Голова его была легкая, как воздушный шарик, словно он только что прикончил в одиночку бутылку хорошего вина. Вот он, солидный пожилой Роберт Санди, мирно едет на велосипеде по улицам Оксфорда — с полумиллионом долларов в кармане старой твидовой куртки! Бред, сумасшествие, небывальщина. И все же это было правдой.

Он доехал до своего дома на Акация-роуд примерно в половине пятого и поставил велосипед в гараж рядом с автомобилем. Затем вдруг оказалось, что он не идет, а бежит по бетонной дорожке, ведущей к дому.

«Прекрати сейчас же! — одернул он себя, переходя на шаг. — Успокойся. Нужно подать это Бетти получше, не торопясь».

Но ему никак не терпелось поделиться новостью со своей прелестной женой, посмотреть на ее лицо, когда она будет слушать о сегодняшних событиях. Он нашел Бетти на кухне, где она укладывала в корзинку банки домашнего варенья.

— Роберт! — обрадовалась она. — Сегодня ты рано пришел, как здорово!

— Я и вправду сегодня немножко рановато, — сказал он, целуя жену.

— Ты не забыл, Реншо приглашали нас на уик-энд? Нам скоро уже и ехать.

— Забыл, — честно признался Роберт. — А может, не забыл. Может, потому-то я и пришел домой рано.

— Я думаю отвезти Барбарет немного варенья.

— Вот и хорошо, — сказал Роберт. — Очень хорошо. Отвези ей немного варенья. Это прекрасная мысль отвезти Барбарет немного варенья.

Что-то в его голосе заставило Бетти повернуться и взглянуть на него в упор.

— Роберт, — спросила она, — что случилось? Я же вижу, что что-то случилось.

— Налей нам обоим выпить, — сказал Роберт. — У меня есть небольшая новость.

— Милый, что-то плохое, да?

— Нет, это нечто хорошее. Думаю, тебе понравится.

— Тебя сделали главным хирургом?

— Куда интереснее, — ответил он. — Налей нам обоим покрепче, а потом сядь, и я тебе расскажу.

— Рановато еще пить, — сказала Бетти, но все же достала из холодильника поддон со льдом и стала мешать виски с содовой. Параллельно она поглядывала на мужа с некоторой опаской. — Таким я тебя никогда не видела, — сказала она. — Ты очень почему-то возбудился, но притворяешься спокойным. У тебя все лицо покраснело. Ты точно уверен, что это хорошая новость?

— Я думаю, что хорошая, — сказал Роберт, — но суди сама.

Он сел за кухонный стол и подождал, пока жена не поставит перед ним стакан с виски.

— Ну вот, — сказала Бетти. — А теперь рассказывай.

— Сначала налей и себе, — сказал Роберт.

— Господи, да что же это такое? — вздохнула Бетти, однако плеснула в свой стакан джина и потянулась за льдом.

— Побольше, побольше, — остановил ее Роберт. — Налей себе покрепче, по-настоящему.

— Вот теперь уже я начинаю тревожиться, — сказала Бетти, однако долила джина, добавила льда и долила стакан тоником. —

А теперь, — сказала она, садясь за стол с другой стороны, — давай выкладывай.

И Роберт принялся выкладывать. Он начал с того, как принц пришел на последнюю консультацию, рассказывал со всеми мельчайшими подробностями и добрался до бриллианта только минут через десять.

— Сильная, наверное, штука, — сказала Бетти, — что ты так покраснел и странно себя ведешь.

Роберт сунул руку в карман, достал маленький черный мешочек и положил его на стол.

— Вот посмотри, — сказал он. — И что ты об этом думаешь?

Бетти распустила шелковую нитку и вытряхнула камешек на ладонь.

— Господи, — выдохнула она, — но он же совершенно потрясающий!

— Красивый, правда?

— Изумительный.

— Но я не все еще тебе рассказал, — сказал Роберт и, пока его жена перекатывала бриллиант с ладони на ладонь, рассказал ей о своем визите к Гарри Голду. Дойдя до того момента, когда ювелир заговорил о стоимости камня, он прервал рассказ и спросил: — Ну и как ты думаешь, сколько он стоит?

— Очень много, — сказала Бетти. — Он должен быть очень дорогим, ты только взгляни на эту красоту.

— Ну попробуй все-таки угадать. Сколько?

— Десять тысяч фунтов, — сказала наугад Бетти. — В общем-то, я не имею никакого представления.

— Попробуй еще раз.

— Ты хочешь сказать, что больше?

— Да, значительно больше.

— Двадцать тысяч фунтов!

— Тебя бы потрясло, если бы он столько стоил?

— Конечно же потрясло бы, милый. Так он действительно стоит двадцать тысяч фунтов?

— Да, — кивнул Роберт. — И двадцать тысяч стоит, и все остальное.

— Роберт, кончай меня дразнить. Скажи мне человеческим языком, что тебе сказал мистер Голд.

— Только сперва глотни еще джина.

Бетти сделала глоток, поставила стакан на стол и замерла в ожидании.

— Он стоит по крайней мере полмиллиона долларов, а может быть, и больше миллиона.

— Ты шутишь, — сказала Бетти срывающимся голосом.

— Это называется форма сливы, — сказал Роберт, — а на тонком конце он острый, как иголка.

— Я совершенно потрясена, — сказала Бетти все тем же срывающимся голосом.

— А ведь ты бы и не подумала, что он столько стоит, верно?

— В жизни не имела дела с такими суммами, — сказала Бетти; она встала, подошла к мужу, крепко обняла его и чмокнула. — Ты самый прекрасный, самый потрясающий человек во всем мире.

— Я был совершенно ошарашен, — сказал Роберт. — Я и сейчас совершенно ошарашен.

— О Роберт! — воскликнула она, глядя на мужа глазами сверкающими, как звезды. — Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что мы можем забрать Диану и ее мужа из этой ужасной квартиры и купить им небольшой дом.

— Господи, а ведь и правда!

— И Джону мы тоже можем купить приличную квартиру, а заодно давать ему побольше денег, пока он учится в медицинском колледже! И Бену... Ему не нужно будет мерзнуть, добираясь зимой до работы на мотоцикле, мы купим ему что-нибудь получше. И... и... и...

— И что? — улыбнулся Роберт.

— И мы с тобой в кои-то веки сможем устроить себе настоящий отпуск, поехать куда угодно. Отправимся в Египет или Турцию, чтобы ты посетил Баальбек и прочие места, о которых мечтаешь уже долгие годы! — Бетти задыхалась от восхитительных перспектив, рисовавшихся ей в мечтах. — И ты как следуетполнишь свою коллекцию!

Еще со студенческих дней Роберт Санди пылал страстью к истории Средиземноморья, Италии, Греции, Турции, Сирии и Египта и стал потихоньку чем-то вроде эксперта по этим древним цивилизациям. Для этого он читал много книг и при каждой возможности посещал Британский музей и музей Эшмола. Но, имея на шее троих детей, которым нужно дать образование, при пристойной, но дале-

ко не роскошной зарплате, он всегда был обязан себя сдерживать в проявлении этой страсти.

Больше всего он хотел бы навестить некоторые из удаленных районов Малой Азии, а также оказавшийся теперь под землей Вавилон в Ираке, он хотел бы увидеть арку Ктесифона, Мемфисского сфинкса и сотню других вещей и мест, однако не имел для этого ни денег, ни времени. Но даже и так длинный кофейный стол в их гостиной был сплошь заставлен мелкими предметами и фрагментами предметов, которые Роберту удалось недорого купить на протяжении всей его жизни. Тут была таинственная ушебти из бледного алебастра, имевшая форму мумии, происходившая из Верхнего Египта, примерно седьмого тысячелетия до Р. Х. Тут была бронзовая чаша из Лидии с гравировкой в виде скачущей лошади, ранневизантийское ожерелье из перекрученных серебряных нитей, часть деревянной раскрашенной маски из египетского саркофага, красный терракотовый древнеримский кратер, маленький черный этрусский диск и штук пятьдесят других интересных предметов. Ни один из них не был особенно ценным, но Роберт Санди все их любил.

— Здорово будет, да? — спросила его жена. — Куда мы отправимся первым делом?

— В Турцию, — ответил Роберт.

— Послушай, — сказала она, указывая на бриллиант, сверкавший на кухонном столе, — ты бы припрятал куда-нибудь это богатство, пока не потерял.

— Сегодня пятница, — задумчиво сказал Роберт. — Когда мы вернемся от наших Реншо?

— В воскресенье вечером.

— Ну и что же мы будем тем временем делать с нашим миллионным камешком? Таскать его в кармане?

— Нет, — мотнула головой Бетти, — это было бы полной глупостью. Нельзя болтаться целый уик-энд с миллионом фунтов в кармане. Нужно положить его в банковскую ячейку. Так мы сейчас и сделаем.

— Сегодня пятница, и уже вечер, все банки закрыты до понедельника.

— Так и есть, — согласилась Бетти. — Тогда припрядем его куда-нибудь прямо в доме.

— Пока мы не вернемся, дом будет пустой и без охраны, — сказал Роберт. — Вряд ли это хорошая мысль.

— Всяко лучше, чем таскать его у тебя в кармане или у меня в сумочке.

— Я ни за что его дома не оставлю. Пустой дом так и напрашивается, чтобы его обокрали.

— Да брось ты, милый, — сказала Бетти, — неужели мы не придумаем места, где никто его не найдет?

— В чайнике, — предложил Роберт.

— Или в сахарнице, закопать в сахаре.

— Или уложить его в чашечку одной из моих трубок, — сказал Роберт, — и присыпать сверху табаком.

— Или закопать в горшке с азалией, — предложила Бетти.

— Слушай, Бетти, а ведь это неплохо. Лучшее, что нам удалось придумать.

Они сидели за кухонным столом, глядели на радужно сверкающий камень и серьезно обсуждали, что им делать с ним в ближайшие два дня, пока сами будут в отъезде.

— И все-таки мне кажется, что лучше его взять с собой, — сказал Роберт.

— А вот мне так не кажется. Ты же будешь ежеминутно хвататься за карман, проверять, на месте ли камень. И ни секунды не отдохнешь.

— Пожалуй, что ты и права, — согласился Роберт. — Так что же, действительно закопаем его в гостиной под азалией? Уж туда-то никто не полезет.

— И все же это не полная гарантия. Кто-нибудь сшибет этот горшок, земля рассыплется по полу и — пожалуйста, бриллиант лежит на самом виду.

— Вероятность этого один против тысячи, — сказал Роберт. — Да и вообще вероятность, что дом взломают, та же, наверное, тысячная.

— Вот уж нет, — возразила Бетти, — дома взламывают каждый день, так что рисковать не стоит. Но послушай, милый, я не могу позволить, чтобы эта штука так тебя тревожила.

— Вот уж не было печали, — согласился Роберт.

Какое-то время они молчали и прихлебывали из стаканов.

— Знаю! — вскочила со стула Бетти. — Я знаю отличное место!

— Где?

— Здесь, — воскликнула Бетти, схватив со стола поддон со льдом и указывая на пустую ячейку. — Мы просто положим его

туда, зальем водой и поставим в морозилку. Через час-другой он будет скрыт в кубике льда.

Роберт Санди взглянул на поддон.

— Ты гений! — сказал он. — Так мы и сделаем!

— Ты твердо решил?..

— Конечно. Это потрясающая мысль.

Бетти взяла бриллиант, положила его в одну из маленьких пустых ячеек, подошла к раковине и аккуратно заполнила поддон водой. Затем открыла дверцу морозильной секции и задвинула поддон на место.

— Верхний левый поддон, — сказала она, — нужно бы это запомнить. И он лежит в самом дальнем кубике справа.

— Верхний левый поддон, — повторил Роберт. — Постараюсь запомнить. Теперь, когда он надежно упрятан, чувствуешь себя поспокойнее.

— Допивай, милый, — сказала Бетти, — нам пора двигаться. Я уже собрала твой чемоданчик. И постараемся не думать о нашем миллионе, пока не вернемся домой.

— А людям мы будем говорить? — спросил Роберт. — Реншо и кто там еще будет?

— Я бы не говорила, — сказала Бетти. — Такую невероятную историю тут же начнут пересказывать, ты и моргнуть не успеешь, как она будет в газетах.

— Не думаю, чтобы саудовскому королю это очень понравилось.

— Вот и я не думаю. Так что давай пока не будем рассказывать.

— Совершенно верно, — согласился Роберт. — Я очень не люблю всякие сплетни.

— И ты сможешь купить себе новую машину, — рассмеялась Бетти.

— А что, так и сделаю. И тебе куплю тоже. Ты какой хочешь марки?

— Надо подумать, — сказала Бетти.

Полчаса спустя они уже ехали к пригласившим их Реншо. Это было недалеко, сразу же за Уитни, в получасе езды от их дома. Чарли Реншо работал в той же больнице терапевтом-консультантом, их семьи были знакомы уже много лет.

Уик-энд прошел без происшествий, в воскресенье вечером Роберт и Бетти попрощались с хозяевами и отправились домой; на

Акация-роуд они добрались часам к семи. Роберт взял из машины два чемоданчика, они подошли к дому, он отпер входную дверь и широко ее распахнул.

— Я бы поджарила сейчас яичницу с хрустящим беконом, — сказала Бетти. — А ты не хотел бы сначала выпить?

— А почему бы нет?

Он захлопнул дверь и уже собирался отнести наверх чемоданы, как из гостиной вдруг донесся пронзительный вопль.

— Нет! — кричала Бетти. — Нет! Нет! Нет!

Роберт выронил чемоданы и бросился на голос. Бетти стояла посреди гостиной, прижимая ладони к щекам, по ее лицу катились слезы.

Гостиная являла собой сцену полнейшего разрушения; занавески были задернуты, и они остались в комнате едва ли не единственной уцелевшей вещью, все остальное было разнесено в мелкиедребезги. Чьи-то руки пошвыряли в стенку все любовно собранные Робертом Санди древности, и теперь они, разбитые и перекореженные, валялись на полу. Застекленный шкафчик был разбит и перевернут, из комода вытащены все четыре ящика, и теперь их содержимое — альбомы с фотографиями, игры «Скрэббл» и «Монополия», шахматные фигуры и доски и много всякого прочего — валялось где и как попало. С высокого, до потолка, стеллажа, стоявшего у дальней стены, были вытащены все книги, и теперь они, открытые, мятые и рваные, кучами валялись по комнате. У всех четырех акварелей были разбиты стекла, а портреты маслом Дианы, Джона и Бена в детском возрасте были порезаны ножом. Кресло и кушетка тоже были разбиты, из них клочьями торчала набивка. В общем, в комнате было уничтожено все, за исключением ковра и занавесок.

— О Роберт, — простонала Бетти и бессильно обвисла у него на руках. — Я этого просто не выдержу.

Роберт промолчал, его физически тошнило.

— Оставайся здесь, — сказал он через некоторое время. — Я взгляну наверху.

Он взбежал по лестнице, шагая через ступеньку, и вошел для начала в их спальню. Здесь было то же самое. Все ящики были выдвинуты, на полу валялись рваные рубашки, блузки и нижнее белье. С их двуспальной кровати были сдернуты белье и одеяла, матрас изрезан ножом. Все шкафы были нараспашку, каждое платье и каждые брюки, все жакеты и все куртки — сорваны с веша-

лок. В другие спальни Роберт заходить не стал, он бегом вернулся на первый этаж, обнял жену за плечи, и они, уже не глядя на разгром, учиненный в гостиной, пошли на кухню. Здесь они остановились как вкопанные. На кухне царил абсолютный хаос. Содержимое всех пищевых контейнеров было высыпано на пол, а сами они были разбиты. Тут была пустошь, усыпанная осколками бутылок и банок, вперемешку с различной едой. Все домашние соленья и варенья, все консервированные фрукты были сброшены с длинной полки и валялись на полу. То же самое случилось со шкафчиком, где хранились майонез, кетчуп, уксус, оливковое масло, подсолнечное масло и всякое в этом роде. На дальней стене висели еще две длинные полки, и на них стояло штук двадцать больших красивых стеклянных банок с большими стеклянными пробками: рис и мука, коричневый сахар, геркулес и отруби и прочее. Теперь все банки были разбиты, их содержимое рассыпано по полу. Холодильник стоял нараспашку, а все его содержимое — недоедки, молоко, топленое масло и йогурт, помидоры и салат — было вышвырнуто и разбросано по веселенькому кафельному полу. Внутренние ящики холодильника были вытащены и растоптаны, пластиковые поддоны для льда выдернуты с мест, каждый из них разломан пополам и отброшен в сторону. Даже покрытые пластиком полки были выдернуты из холодильника, согнуты вдвое и отшвырнуты. Все, что имело в себе алкоголь, — бутылки виски, джина, водки, хереса и вермута, равно как и полдюжины банок пива, — было опустошено и поставлено на стол. Пожалуй, эти пустые посудины были единственным, что уцелело, практически все остальное валялось на полу толстым слоем мусора и грязи. Будто шайке озверевших детей велели попробовать, какой бедлам они могут сотворить, и они блестяще справились с заданием.

Роберт и Бетти Санди утратили от ужаса дар речи и неподвижно стояли на пороге.

— Где-то тут, в этом разгроме, лежит и наш бриллиант, — сказал наконец Роберт.

— Мне все равно, какой там бриллиант, — сказала Бетти. — Я бы хотела лично задушить тех, кто это сделал.

— Вот и я тоже, — сказал Роберт, — но придется просто звонить в полицию.

Он вернулся в гостиную и взял телефонную трубку; каким-то чудом телефон работал.

Первая патрульная машина примчалась через несколько минут. За нею в течение получаса последовали полицейский инспектор, пара сыщиков в штатском, дактилоскопист и фотограф.

Инспектор был черноусый, невысокий и мускулистый.

— Это не профессиональные воры, — уверенно сказал он Роберту Санди, бегло оглядев сцену. — И даже не воры-любители. Это просто уличные хулиганы. Гопота, шпана. Вероятно, их было трое. Эти ублюдки высматривают дом, оставшийся без присмотра, а взломав его, бросаются искать бухло. Как тут у вас, много было алкоголя?

— Как обычно, — пожал плечами Роберт. — Виски, джин, водка, херес, несколько банок пива.

— Они должны были выпить все до капли, — сказал инспектор. — У таких парней на уме всего две вещи: пьянка и разрушение. Они выставляют все бухло на стол и допиваются до полного безумия, а затем учиняют разгром.

— Вы хотите сказать, они сюда вломились не для того, чтобы что-нибудь украсть? — спросил Роберт.

— Я сомневаюсь, чтобы они вообще что-нибудь украли, — сказал инспектор. — Будь они ворами, так забрали бы хотя бы ваш телевизор, а вместо этого они его разбили.

— Но почему они так поступают?

— Спросите у их родителей, — сказал инспектор. — Это же мусор, хлам, барахло. В наше время уже не умеют воспитывать.

Затем Роберт рассказал инспектору про бриллиант; он рассказал все с самого начала, так как понимал, что с точки зрения полиции это, вполне возможно, самая главная часть всего дела.

— Полмиллиона фунтов! — воскликнул инспектор. — Господи Иисусе!

— А возможно, и в два раза больше, — добавил Роберт.

— Тогда это первое, что мы должны искать, — сказал инспектор.

— Лично я не собираюсь сейчас вставать на карачки и разгребать эту кучу мусора, — сказал Роберт. — Сейчас у меня не то настроение.

— Оставьте это нам, — сказал инспектор, — уж мы-то его найдем. Хорошее, кстати, вы придумали место.

— Это жена моя придумала. Ну скажите мне, инспектор, есть хотя бы отдаленный шанс, что они нашли...

— Невозможно, — прервал его инспектор. — Ну каким таким образом?

— Они могли заметить его на полу после того, как лед растаял, — сказал Роберт. — Я согласен, что это почти невероятно, но, если бы все-таки они его заметили, так украли бы или нет?

— Пожалуй, они бы его взяли, — сказал инспектор. — Никто не может противиться бриллиантам, в них есть какой-то магнетизм. Да, если бы кто из них заметил бриллиант на полу, он бы, наверно, сунул его в карман. Но вы, доктор, не беспокойтесь, камешек непременно обнаружится.

— Да я о нем и не беспокоюсь, — сказал Роберт. — Сейчас я беспокоюсь о своей жене и о нашем доме. Сколько лет мы потратили, стараясь устроить здесь уютный дом.

— Послушайте, сэр, — сказал инспектор, — что вам нужно сейчас сделать, так это отвезти вашу жену в какую-нибудь гостиницу и немного отдохнуть. Возвращайтесь завтра вместе с ней, и мы начнем разбираться. А тем временем за домом присмотрит кто-нибудь из наших.

— Завтра я начинаю оперировать с самого утра, — сказал Роберт, — но моя жена, наверно, придет.

— Вот и хорошо, — кивнул инспектор. — Мерзкая, конечно же, история, когда твой дом так вот разнесут. Это большое потрясение. Я видел такие истории не раз и не два, и всегда это бьет очень больно.

Роберт и Бетти Санди переночевали в гостинице «Рандольф», а наутро уже в восемь часов Роберт стоял в операционной и был готов приступить к работе.

Вскоре после полудня Роберт закончил последнюю из плановых операций, удаление доброкачественной опухоли простаты у престарелого пациента. Сняв резиновые перчатки и маску, он прошел через дверь в соседнее помещение, небольшую ординаторскую, чтобы выпить чашку кофе. Но прежде чем наливать себе кофе, снял телефонную трубку и позвонил жене.

— Ну как там у вас, дорогая? — спросил он.

— О Роберт, это все чистый ужас, я просто не знаю, с чего начать.

— Ты уже позвонила в страховую компанию?

— Да, они сейчас приедут и помогут мне в составлении списка.

— Хорошо, — сказал Роберт. — Полиция нашла бриллиант?

— Боюсь, что нет, — сказала Бетти. — Они перебрали на кухне весь мусор и чем угодно клянутся, что его там нет.

— Так куда же он подевался? Думаешь, вандалы все-таки его нашли?

— Наверное, да, — вздохнула Бетти. — Когда они ломали эти поддоны, все кубики льда должны были выпасть. Они вываливаются, даже если поддон согнуть совсем немножко, так специально устроено.

— Но они бы его все равно не заметили, — сказал Роберт, — ведь он был в кубике льда.

— Не увидели сразу, так увидели потом, когда лед растаял. Они же были в нашем доме несколько часов, за это время лед сто раз растаял.

— Пожалуй, что ты права.

— На полу он должен был броситься в глаза, — сказала Бетти. — Он даже ведь не блестел, а просто сиял.

— Господи, — вздохнул Роберт.

— Но если мы его и не вернем, — сказала Бетти, — это не будет такой уж утратой. Ведь мы не успели к нему привыкнуть, он и был-то у нас всего пару часов.

— Правда, — согласился Роберт. — А у полиции есть какие-нибудь ниточки?

— Ни единого ключа, — сказала Бетти. — Обнаружена масса отпечатков пальцев, но они не принадлежат никаким известным преступникам.

— И не могут принадлежать, — сказал Роберт. — С какой бы стати, если это просто уличные хулиганы.

— Вот так инспектор и сказал.

— Послушай, дорогая, — сказал Роберт, — я только что закончил утреннюю смену. Сейчас я глотну немного кофе, а потом вернусь домой и буду тебе помогать.

— Хорошо, — сказала Бетти. — Ты мне нужен, Роберт, ты мне очень нужен.

— Я только немного отдохну, а то ноги совсем устали, и вообще я весь как выжатый.

В операционной номер два, до которой было ярдов десять, другой старший хирург по имени Брайан Гофф тоже заканчивал утреннюю смену. На столе лежал последний пациент, юноша, в

тонком кишечнике которого застряла какая-то кость. Гоффу ассистировал довольно веселый молодой ординатор по имени Уильям Хэддок. Они уже вскрыли брюшную полость, и теперь Гофф приподнимал по частям тонкий кишечник и внимательно его прощупывал. Дело было рутинное, нехитрое, и в операционной шел оживленный разговор.

— Я рассказывал тебе про мужика с уймой маленьких рыбок в мочевом пузыре? — спросил Уильям Хэддок.

— Да вроде бы нет, — сказал Гофф.

— Когда мы учились в Бартсе, — начал Уильям Хэддок, — у нас преподавал некий особо неприятный профессор урологии. Однажды этот кретин собирался нам показать, как обследовать мочевой пузырь при помощи цитоскопа. Пациентом был такой старикашка, про которого подозревали, что у него в пузыре камни. Так вот, в одной из больничных комнат ожидания стоял аквариум, полный этих крошечных разноцветных рыбок, которых называют неонки. Один из студентов засосал штук двадцать этих рыбок в шприц и исхитрился ввести их пациенту в пузырь прямо перед тем, как того положили на стол, чтобы провести цитоскопию.

— Как отвратительно! — воскликнула операционная сестра. — Замолчите, мистер Хэддок!

Брайан Гофф улыбнулся под маской и спросил:

— Ну и что случилось потом?

К этому времени уже фута три тонкой кишки пациента лежало на зеленой стерильной подстилке, и Гофф продолжал ощупывать.

— Когда профессор ввел цитоскоп в пузырь и посмотрел в него, он стал возбужденно подпрыгивать и что-то кричать. «В чем дело, сэр? — невинно спросил этот хулиган. — Что вы там видите?» — «Там рыбы! — вскричал профессор. — Сотни маленьких рыб! Они там плавают!»

— Вы это придумали, — сказала сестра. — Это не может быть правдой.

— Самая истинная правда, — сказал ординатор. — Я тоже заглянул в цитоскоп и увидел там рыбок. И они там действительно плавали.

— Следовало ожидать рыбацкую байку от доктора по фамилии Хэддок¹, — подытожил Гофф. — Ага, вот в чем дело с этим беднягой. Хотите пощупать?

¹ Haddock (англ.) — треска, пикша.

Уильям Хэддок взял светло-серый кусок тонкой кишки и осторожно сжал его пальцами.

— Да, — сказал он, — чувствую.

— И если вы посмотрите повнимательней, то увидите место, где косточка проколола слизистую. Там уже началось воспаление.

Брайан Гофф держал кусок тонкого кишечника в левой руке; сестра подала ему скальпель, и он сделал маленький надрез. Затем сестра подала ему пинцет, и Гофф начал ощупывать кишку, пока не нашел мешающий предмет. Он крепко сжал его пинцетом, вытащил и уронил в небольшую нержавеющую кювету, которую держала сестра. Предмет был сплошь покрыт светло-бурой слизью.

— Ну вот, — сказал Гофф. — Дальше уже можете сами. У меня совещание внизу, я уже на пятнадцать минут опаздываю.

— Да вы идите, — сказал Уильям Хэддок, — я и сам тут зашью.

Старший хирург торопливо вышел из операционной, а ординатор принялся зашивать, сперва разрез на тонком кишечнике, а затем и саму брюшную полость. Все это заняло не больше нескольких минут.

— Ну конец, — сказал он анестезиологу.

Анестезиолог кивнул и снял с лица пациента маску.

— Спасибо, сестра, — сказал Уильям Хэддок, — завтра увидимся. — Отходя от пациента, он прихватил с собой нержавеющую кювету, где лежал покрытый слизью предмет. — Десять к одному, что это куриная кость, — добавил он, пустив воду из крана и промывая предмет. — Господи, что это? — воскликнул он. — Вы посмотрите, сестра.

Сестра подошла и взглянула.

— Это какая-то фальшивая драгоценность, — сказала она. — Возможно, кусок ожерелья, только как он сумел ее проглотить?

— Она бы, наверное, проскочила, если бы не этот острый кончик, — сказал Уильям Хэддок. — Думаю, я подарю ее своей девушке.

— Так нельзя, мистер Хэддок, — сказала сестра, — это собственность пациента. Подождите секунлочку, дайте-ка мне взглянуть.

Она взяла камень у Хэддока и поднесла его к мощной лампе, висевшей над операционным столом. Пациента тем временем сняли со стола и повезли в сопровождении анестезиолога в расположенную рядом реанимацию.

— Идите сюда, мистер Хэддок. — В голосе сестры звучало возбуждение; Уильям Хэддок подошел и стал с ней рядом. — Порази-

тельно, — продолжила она, — вы только посмотрите, как она сверкает и переливается. Это не может быть просто стекляшка.

— Может быть, это хрусталь, — предположил Хэддок. — Или топаз, или какой-нибудь еще из полудрагоценных камней.

— А вы знаете, что я думаю? — спросила сестра. — Я думаю, это бриллиант.

— Не говорите глупостей, — сказал Уильям Хэддок.

Младшая сестра уже откатила тележку с инструментами, ассистент помогал ей прибирать на операционном столе; никто из них не обращал внимания на молодого хирурга и операционную сестру. Сестре было лет двадцать восемь, и теперь, сняв маску, она оказалась очень симпатичной юной леди.

— Да и вообще, тут проверить проще простого, — сказал Уильям Хэддок. — Проверим, режет ли он стекло.

Они подошли к матовому окошку операционной. Сестра зажала камень между большим и указательным пальцем, прижала острый конец к стеклу и повела им вниз. Раздался резкий скрип, камень процарапал на стекле глубокую бороздку длиной в пару дюймов.

— Господи! — воскликнул Уильям Хэддок. — Это же действительно алмаз.

— Если даже это и так, то он принадлежит пациенту, — напомнила сестра.

— Может, и так, — сказал Уильям Хэддок, — но он должен быть рад-радешенек от него избавиться.

— Подождите секунду, где его медкарта?

Он торопливо шагнул к вспомогательному столику и взял папку с надписью «ДЖОН ДИГГС». В папке лежал рентгеновский снимок кишечника пациента с пояснительным примечанием: «Джон Диггс. Возраст: 17. Адрес: Оксфорд, Мейфилд-роуд, 123. Ясно просматривается некое затемнение в верхнем сегменте тонкого кишечника. Пациент не помнит, чтобы глотал что-нибудь необычное, но говорит, что ел в воскресенье вечером жареную курицу. Предмет имеет острый конец, проколовший слизистую кишечника; возможно, это обломок кости...»

— Ну как можно проглотить такую штуку и не знать об этом? — удивился Уильям Хэддок.

— Странно как-то, — согласилась сестра.

— По тому, как эта штука режет стекло, нет никаких сомнений, что это алмаз, — сказал ординатор. — Вы согласны?

— Абсолютно, — сказала сестра.

— И притом здоровенный, — добавил Хэддок. — Вопрос теперь в том, насколько он хорош? Сколько он стоит?

— Отправим его в лабораторию, — предложила сестра.

— А на фиг лабораторию, — отмахнулся Хэддок. — Разузнаем сами, все-таки интересно.

— И как мы это сделаем?

— Отнесем его на Хай к ювелиру Голду. Он-то уж точно знает. Наверное, эта штука стоит целое состояние. Мы совсем не думаем ее воровать, но хотелось бы выяснить о ней побольше. Ну как, ты играешь?

— Ты знаешь кого-нибудь в магазине Голда?

— Нет, но это не имеет значения. У тебя есть тут машина?

— Мой «мини» стоит на стоянке.

— Вот и хорошо, иди переоденься, я встречу тебя у выхода. И вообще, у нас уже время ланча. Я прихвачу камень.

Двадцатью минутами позднее, в без четверти час, маленький «мини» остановился перед ювелирным магазином Г. Ф. Голда и припарковался прямо на двойной желтой линии.

— Да какая разница, — сказал Уильям Хэддок, — мы же буквально на минутку.

Они вошли в магазин.

Внутри были два покупателя, молодой человек и девушка; они изучали витрину с кольцами, им помогала в этом ассистентка. Как только вошли двое новых посетителей, ассистентка нажала под прилавком звонковую кнопку, и из заднего помещения появился Гарри Голд.

— Здравствуйте, — сказал он Уильяму Хэддоку и медсестре. — Чем могу вам помочь?

— Вы не могли бы нам сказать, сколько эта штука стоит? — спросил Уильям Хэддок и положил бриллиант на кусок зеленой материи, которой был затянут прилавок.

Гарри Голд буквально замер, увидев камень. Затем взглянул на молодого человека и женщину, стоявших перед ним. Его мысли проносились с необычайной быстротой. «Успокойся, — сказал он себе, — главное, не делать глупостей. Веди себя по возможности естественно».

— Ну что ж, — сказал он почти безразлично, — это похоже на хороший бриллиант, очень хороший бриллиант. Вы не могли бы немного подождать, пока я его не взвешу и повнимательнее не обследую, тогда я, возможно, сумею дать более точную оценку. Вы пока тут посидите. Садитесь, пожалуйста.

Гарри Голд прошаркал в свою контору, держа бриллиант в руке, включил электронные весы и взвесил его. Пятнадцать целых двадцать семь сотых карата, это в точности вес камня мистера Роберта Санди! Да, в общем, он и сразу не сомневался, что камень тот самый, ну кто же перепутает такой бриллиант? А теперь и вес это подтвердил. Его первым порывом было позвонить в полицию, но он был человеком очень осторожным и не любил попадать впросак. Может быть, доктор успел продать свой бриллиант. Может быть, он подарил его детям, кто знает? Он схватил оксфордскую телефонную книгу. Номер Радклиффской больницы был Оксфорд 249891. Он набрал его и спросил мистера Роберта Санди, его связали с секретаршей Роберта. Он сказал, что должен срочно поговорить с мистером Санди. «Подождите секундочку», — сказала секретарша и позвонила в операционную. Ей сообщили, что мистер Санди ушел домой полчаса назад. Она вновь взяла трубку внешнего телефона и передала мистеру Голду эти сведения.

— А какой у него домашний номер? — спросил мистер Голд.

— Это как-нибудь связано с кем-то из пациентов?

— Нет! — крикнул Гарри Голд. — Это связано с ограблением! За ради всего святого, женщина, дайте мне поскорее его номер!

— Скажите, пожалуйста, с кем я говорю?

— Я Гарри Голд, ювелир с Хай! Пожалуйста, не тратьте напрасно время!

Секретарша продиктовала номер.

Гарри Голд начал снова крутить диск:

— Мистер Санди?

— Да, с кем я говорю?

— Это Гарри Голд, мистер Санди, ювелир. Вы, случайно, не утратили свой бриллиант?

— Да, утратил.

— Двое людей только что принесли его в мой магазин, — возбужденно прошептал Гарри Голд. — Мужчина и женщина. Молодые. Они пытаются его оценить. Они в магазине, ждут моего ответа.

— А вы уверены, что это мой камень?

— Абсолютно, я его взвесил.

— Задержите их, мистер Голд! — воскликнул Роберт Санди. — Заговорите их, наболтайте чего угодно, а я звоню в полицию.

Роберт Санди позвонил в полицейский участок; через несколько секунд он уже излагал новость следователю, ведущему его дело.

— Приезжайте скорее, и вы поймаете их обоих, — сказал он в конце. — Я тоже сейчас приеду. — И крикнул жене: — Поехали, милая! Прыгай в машину. Похоже, нашелся наш бриллиант — воры сейчас в магазине Гарри Голда, пытаются его продать.

Когда через девять минут Роберт и Бетти Санди подъехали к магазину Гарри Голда, перед ним уже стояли две полицейские машины.

— Пошли, дорогая, — сказал Роберт. — Посмотрим, что у них там происходит.

В магазине, куда вбежали Роберт и Бетти Санди, жизнь была ключом. Двое полицейских и двое агентов в штатском, в том числе сам инспектор, окружили со всех сторон разъяренного Уильяма Хэддока и еще более разъяренную операционную сестру. И юный хирург, и сестра были уже в наручниках.

— Где-где, говорите, вы его нашли? — с улыбочкой спрашивал инспектор.

— Да снимите вы, к черту, с меня эти ваши наручники! — кричала сестра. — Вы не смеете!

— Так повторите, пожалуйста, где вы его нашли? — ядовито спросил инспектор.

— В желудке одного парня! — крикнул Уильям Хэддок. — Я об этом вам уже третий раз твержу!

— Не пудрите мне мозги! — возмутился инспектор.

— Господи, Уильям! — крикнул Роберт Санди, увидев ординатора. — И сестра Уаймен! Что вы тут делаете?

— Это у них был бриллиант, — сказал инспектор. — Они пытались его загнать. Мистер Санди, вы знаете этих людей?

Уильяму Хэддоку потребовалось очень немного времени, чтобы объяснить Роберту Санди, а заодно и инспектору, как и где был найден бриллиант.

— Ради бога, инспектор, — попросил Роберт Санди, — снимите с них наручники. Они говорят вам чистую правду. А парень, который вам нужен, — один из парней, которые вам нужны, — лежит сейчас в больнице, отходит от наркоза. Правильно, Уильям?

— Конечно правильно, — кивнул Уильям Хэддок. — Его звать Джон Диггс, он сейчас в реанимации.

И тут вперед шагнул Гарри Голд:

— Мистер Санди, вот ваш бриллиант.

— А теперь послушайте, — сказала операционная сестра, все еще не успевшая успокоиться, — не мог бы кто-нибудь объяснить мне, каким образом этот пациент умудрился проглотить такой бриллиант и даже этого не заметить?

— Пожалуй, я могу угадать, — сказал Роберт Санди. — Он позволил себе роскошь положить в свой стакан кубики льда. Затем он вусмерть напился и проглотил полурастаявший кубик.

— Все равно я не понимаю, — сказала сестра.

— Остальное я растолкую тебе в более спокойной обстановке, — сказал Роберт Санди. — И вообще, почему бы нам всем не сходить тут за угол и не выпить?

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕХОЖУ НА ПРИЕМ

Перевод И. Богданова

Смерть старого человека	7
Африканская история	18
Пустяковое дело	32
Мадам Розетт	44
Кагина	75
Прекрасен был вчерашний день	99
Они никогда не станут взрослыми	104
Осторожно, злая собака	120
Быть рядом	132
У кого что болит	137

У КОГО ЧТО БОЛИТ

Перевод И. Богданова

Вкус	147
Агнец на закланье	161
Человек с юга	171
Солдат	182
Моя любимая, голубка моя	191
Концы в воду	206
Фоксли Скакун	217
Кожа	232
Яд	249
Фантазер	260
Шея	264
Звуковая машина	283
Nunc Dimittis	296
Автоматический сочинитель	319

СОДЕРЖАНИЕ

Собака Клода	
Крысолов	339
Рамминс	350
Мистер Ходди	360
Мистер Физи	367

ПОЦЕЛУЙ

Перевод И. Богданова

Хозяйка пансиона	397
Уильям и Мэри	406
Дорога в рай	432
Четвертый комод Чиппендейла	445
Миссис Биксби и полковничья шуба	469
Магочное желе	486
Джордж-Горемыка	512
Бытие и катастрофа	535
Эдвард-завоеватель	542
Свинья	560
Чемпион мира	580

«СУКА»

Перевод И. Богданова

Ночная гостя	607
Сделка	654
Последний акт	679
«Сука»	709

НОВЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

Перевод М. Пчелинцева

*Перевод И. Богданова (помечен *)*

Зонтичник	741
Мистер Ботибол	748
Корпорация «И Аз воздам»	769
Дворецкий	789
Тайна мироздания*	793
Букинист	800
Попутчик	820
Хирург	833

ЛИТЕРАТУРА ТВОРИТ ДОБРО

«Если у тебя добрые мысли, они засияют на твоём лице солнечными лучами и ты будешь выглядеть очаровательно», — говорил Роальд Даль.

Мы верим в добрые дела.

Вот почему 10% всех доходов* наследники Роальда Даля перечисляют благотворительным организациям. Мы финансировали программы поддержки нуждающихся семей, образовательные программы, обеспечивали вызов сиделок и медсестер со специальными навыками. Спасибо вам, что помогаете нам в этой важной работе.

См. подробности на roalddahl.com

Благотворительный фонд Роальда Даля зарегистрирован в Великобритании как благотворительная организация под номером 1119330.

ROALD DAHL 

* Доходов, полученных от продажи книг, за вычетом комиссии третьих лиц.

Даль Р.

Д 15 Дорога в рай : полное собрание рассказов / Роальд Даль ; пер. с англ. И. Богданова, М. Пчелинцева. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. — 864 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-12381-6

Полное собрание «взрослых» коротких историй одного из лучших рассказчиков нашего времени, выдающегося мастера черного юмора, адепта воинствующей чистоплотности и нежного человеконенавистничества. За свою долгую жизнь Даль успел послужить в военной авиации, написать несколько киносценариев, в том числе для Уолта Диснея, и множество книг, пользовавшихся феноменальным успехом у детей и взрослых и неоднократно экранизированных («Чарли и шоколадная фабрика», «Бесподобный мистер Фокс», «Большой и добрый великан» и др.). Итак, вашему вниманию предлагается полное собрание знаменитых рассказов; здесь орудием убийства стала баранья нога, картину классика современной живописи обнаружили на коже уличного бродяги, хозяйка пансиона увлеклась таксидермией — а знаменитый «Человек с юга» (также известный как «Пари») лег в основу фильмов А. Хичкока и К. Тарантино.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

РОАЛЬД ДАЛЬ

ДОРОГА В РАЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ

Ответственный редактор Александр Гузман
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректор Ирина Киселева

Подписано в печать 19 12 2016 Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆
Печать офсетная Тираж 4000 экз Усл печ л 64 Заказ № 6452/17

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436 ФЗ от 29 12 2010 г)

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
119334, г Москва, 5 й Донской проезд, д 15, стр 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г Санкт-Петербург Воскресенская наб, д 12, лит А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г Киев, Московский пр, д 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ

В Москве ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail sales@atticus-group.ru, info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел (812) 327-04-55, факс (812) 327 01-60 E-mail trade@azbooka.spb.ru

В Киеве ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс (044) 490-99-01 E-mail sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу www.azbooka.ru/new_authors/



Y1LN2041401R

Право же, тут мало сказать, что Роальд Даль остроумнее всех прочих английских комедиографов (понятно, что по сравнению с ним какой-нибудь Вудхаус или Том Шарп курят в сторонке); в далевских сюжетах есть какая-то сорокинская или даже, пожалуй, сергей-шнуровская дикость... Более всего это похоже на пелевинские рассказы: полудетектив, полшутка — на грани фантастики... Еще приходит в голову Эдгар По, премии имени которого не раз получал Роальд Даль.

*Лев Данилкин
(Афиша)*

В короткой форме Роальд Даль ничуть не уступает О. Генри — так же мастерски приковывает внимание читателя и приберегает под конец такой же убийственный сюрприз.

Financial Times

Роальд Даль — один из тех немногих авторов, чьи книги вызывают привыкание сродни наркотическому. В его историях бьется нерв особого, неповторимого злорадства, тем более эффектного, что проистекает оно из, казалось бы, малозначительных, почти незаметных, будничных вещей. Результат — черный юмор самого утонченного толка.

Irish Times

Роальд Даль — выдающийся рассказчик, славящийся именно что своей непредсказуемостью: никогда не знаешь, кто в итоге возьмет верх — злодей или жертва злодейства.

The Telegraph



СПАСИБО!

Купив эту книгу, вы помогли еще одному ребенку.
10% всех доходов наследники Роальда Даля перечисляют благотворительным организациям.
См. подробную информацию внутри книги на с. 862
www.roalddahl.com

ROALD DAHL →

